

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

— И —

ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА.

Томъ IV-й.

ЯЗЫКЪ, КАКЪ ТВОРЧЕСТВО.

(Психологическія и соціальныя основы творчества рѣчи).

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЯЗЫКА.

Проф. *А. Л. Погодинъ.*

Изд.-Ред.—*Б. А. Лезинъ.*

- Главы:
- I. Объемъ задачи и методы рѣшенія ея. 1.
 - » II. Особенности духовнаго склада въ мірѣ животныхъ. 8.
 - » III. Внутренняя рѣчь. 29.
 - » IV. Афазія и другія расстройства рѣчи. 49.
 - » V. Расстройства рѣчи при истерии, слабоуміи и душевныхъ болѣзняхъ. 68.
 - » VI. Формы внутренней рѣчи у глухонѣмыхъ и ихъ духовная жизнь. 91.
 - » VII. Мимика и жестъ. 113.
 - » VIII. Роль языка въ состояніяхъ экстаза и въ сновидѣніяхъ. 125.
 - » IX. Психологія дѣтскаго возраста и рѣчь дѣтей. 146.
 - » X. Языки некультурныхъ народовъ. 213.
 - » XI. Искусственные языки. 289.

- Главы:
- XII. Образъ и слово. — Развитие значенія слова. — Слова безъ образа. — Понятія. — Сужденія. 308.
 - » XIII. Взгляды греческихъ и римскихъ философовъ и грамматиковъ на происхожденіе языка. 364.
 - » XIV. Взгляды на происхожденіе языка и сущность названій въ средніе вѣка. 375.
 - » XV. Лейбницъ и Гаррисъ. Руссо и французская философія 18 вѣка. Гердеръ и Гаманнъ. Гумбольдтъ. Гриммъ. Кейзе. 393.
 - » XVI. Дальнѣйшее развитіе ученій о происхожденіи языка (19 и 20 в.в., кончая Вундтомъ). 451.
 - » XVII. Происхожденіе языка. Языкъ и ритмъ.

ХАРЬКОВЪ.
1913.

Вопросы теории и психологии творчества.

Т. I, изд. 2-е исправленное, переработанное, значительно дополненное

I ч.	Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Изъ лекціи объ основахъ художественнаго творчества	Стр. 1—20
	Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Лингвистическая теорія происхожденія искусства и эволюція поэзіи	20—33
	К. Тиандеръ. Очеркъ эволюціи эпическаго творчества	33—84
	Е. Аничковъ. Историческая поэтика А. Н. Веселовскаго	84—110
II ч.	А. Горнфельдъ. Трагедія	149—148
	К. Тиандеръ. Обзоръ сюжетовъ драматической поэзіи	148—163
	К. Тиандеръ. Сущность комедіи	164—174
III ч.	А. Горнфельдъ. Изъ статьи „Муки слова“	174—202
	Б. Лезинъ. Художественное творчество, какъ особый видъ экономіи мысли	202—244
IV ч.	К. Тиандеръ. Историческія перспективы современной лирики	244—291
	Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Нѣсколько мыслей о происхожденіи чувства „Безконечнаго“ въ чистой лирикѣ	294—317
	Т. Райновъ. Лирика научно-философскаго творчества	294—317
V ч.	А. Горнфельдъ. Проза	317—318
	В. Харціевъ. Что такое проза?	318—335
	А. Горнфельдъ. Фигура въ поэтикѣ и риторикѣ	335—340
	„ Эпитетъ	340—343
VI ч.	А. Горнфельдъ. Тропъ	343—347
	В. Харціевъ. Элементарныя формы поэзіи	347—399
	А. Горнфельдъ. Поэзія	399—408

Приложенія: К. Кавелинъ. Мефистофель Антокольскаго. В. Харціевъ. Психологія поэтическаго образа въ примѣненіи къ воспитанію. Д. Н. Овсяннико-Куликовский. О преподаваніи теоріи словесности въ средней школѣ. Указатель

432

Цѣна 1 р. 75 к.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

— И —

ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА.

Томъ IV-й.

ЯЗЫКЪ, КАКЪ ТВОРЧЕСТВО.

(Психологическія и социальныя основы творчества рѣчи).

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЯЗЫКА.

Проф. *А. Л. Погодинъ.*

Изд.-Ред.—*Б. А. Лезинъ.*

Главы:	I. Объемъ задачи и методы рѣшенія ея. 1.	Главы:	XII. Образъ и слово.— Развитие значенія слова.— Слова безъ образа.— Понятія.— Сужденія. 308.
..	II. Особенности духовнаго склада въ мірѣ животныхъ. 8.	..	XIII. Взгляды греческихъ и римскихъ философовъ и грамматиковъ на происхожденіе языка. 364.
..	III. Внутренняя рѣчь. 29.	..	XIV. Взгляды на происхожденіе языка и сущность названій въ средніе вѣка. 375.
..	IV. Афазія и другія разстройства рѣчи. 49.	..	XV. Лейбницъ и Гаррисъ. Руссо и французская философія 18 вѣка. Гердеръ и Гаманъ. Гумбольдтъ. Гриммъ. Гейзе. 393.
..	V. Разстройства рѣчи при истеріи, слабоуміи и душевныхъ болѣзняхъ. 68.	..	XVI. Дальнѣйшее развитіе ученій о происхожденіи языка (19 и 20 в.в., кончая Вундтомъ). 451.
..	VI. Формы внутренней рѣчи у глухонѣмыхъ и ихъ духовная жизнь. 91.	..	XVII. Происхожденіе языка. Языкъ и ритмъ.
..	VII. Мимика и жестъ. 113.		
..	VIII. Роль языка въ состояніяхъ экстаза и въ сновидѣніяхъ. 125.		
..	IX. Психологія дѣтскаго возраста и рѣчь дѣтей. 146.		
..	X. Языки некультурныхъ народовъ. 213.		
..	XI. Искусственные языки. 289.		

ХАРЬКОВЪ
1913.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ основаніи книги, предлагаемой вниманію читателей, лежатъ мои лекціи по языкознанію, которыя я читалъ въ продолженіе двухъ лѣтъ на „Историко-филологическихъ и юридическихъ высшихъ женскихъ курсахъ“ Н. П. Раева въ Петербургѣ и въ продолженіе одного года—въ Варшавскомъ университетѣ. По инициативѣ и предложенію Б. А. Лезина, онѣ подверглись мною совершенной переработкѣ и появляются теперь въ печатномъ видѣ. Чтобы оправдать свою рѣшительность, я долженъ сказать нѣсколько словъ. Нани общіе курсы по языкознанію совершенно минуютъ психологическую сторону вопроса: они берутъ языкъ, какъ уже сотворенное, тогда какъ мнѣ представляется чрезвычайно важнымъ и нужнымъ пріучить образованнаго лингвиста видѣть въ языкѣ, прежде всего, процессъ творчества. Обширная область психологій должна, по моему убѣжденію, войти въ сферу общаго языкознанія, и этому своему пониманію я старался слѣдовать въ настоящемъ трудѣ. Насколько это удалось мнѣ, пусть судятъ читатели. Я же могу только сказать, что старался не подходить къ вопросамъ психологій, затронутымъ въ моей книгѣ, по диллетантски. Ея появленію предшествовали спеціальныя статьи: „Почему не говорятъ животныя“ (въ Варшавскихъ „Университетскихъ извѣстіяхъ“, потомъ отдѣльной брошюрой въ изданіи М. Вольфа 1908) и „Внутренняя рѣчь и ея расстройства“ (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія за 1906 годъ). Литературныя указанія, которыя я считалъ нужнымъ приводить, помогутъ читателю, желающему подробнѣе ознакомиться съ тѣмъ или другимъ вопросомъ. Такъ какъ изданіе Б. А. Лезина предназначается для молодежи и для цѣлей самообразованія, то естественно, что я старался говорить ясно и просто, не затемняя вопроса излишними подробностями. Только сознаніе, что книга съ тѣмъ содержаніемъ, по тому плану, который я намѣтилъ, представляетъ одну изъ назрѣвшихъ задачъ въ нашей высшей школѣ, только это сознаніе заставило меня рѣшиться выступить на широкую арену печати

со своимъ трудомъ. Быть можетъ, онъ не пройдетъ безслѣдно въ нашей популярно-научной литературѣ, приучить внимательнаго читателя наблюдать психологическіе процессы своего языкового творчества и обратить его вниманіе на нѣкоторые вопросы, которые нуждаются въ дальнѣйшей разработкѣ.—Мнѣ бы хотѣлось связать свой трудъ со славнымъ именемъ покойнаго А. А. Потебни, который въ своемъ сочиненіи „Мысль и языкъ“, напечатанномъ въ 1862 г. (втор. изд. 1892), указалъ пути для изслѣдованія отношеній между мыслью и словомъ и уже намѣтилъ тѣ вопросы, къ изученію которыхъ пришла современная наука. Дыннѣ образованный лингвистъ долженъ былъ хорошо знакомъ съ этимъ замѣчательнымъ сочиненіемъ, которое въ Россіи положило начало и научному изученію теоріи поэзіи и прозы и изслѣдованіямъ (къ сожалѣнію, столь рѣдкимъ у насъ) въ области психологіи языка.

ГЛАВА I.

Объемъ задачи и методы рѣшенія ея.

Языкъ человѣка есть постоянное творчество мысли, выраженіе самосознанія его. Въ то время, какъ непроизвольно вырывающееся восклицаніе, не имѣющее, по большей части, опредѣленно артикулированной формы, есть продуктъ инстинкта, подобно мимикѣ,—слово является уже надстройкой надъ инстинктомъ. Для того, чтобы смогла возникнуть его внѣшняя форма, т. е. извѣстное звуковое сочетаніе, было необходимо инстинктивное сотрудничество различныхъ органовъ: голосовыхъ связокъ, языка, губъ, носонебной занавѣски. Но для созданія внутренняго содержанія слова, его значенія, потребовались весьма сложные психическіе процессы, въ основѣ которыхъ лежало когда-то, вѣроятно, также инстинктивное теченіе зрительныхъ и слуховыхъ образовъ, но которые въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи вышли уже очень далеко изъ области этой образности. Поэтому, нашъ теперешній человѣческій языкъ есть чисто человѣческое созданіе, и языкъ ребенка или языкъ дикаря представляетъ иныя формы творчества, чѣмъ языкъ взрослого культурнаго человѣка. И вмѣстѣ съ тѣмъ языкъ cadaго изъ насъ въ каждую минуту является новымъ произведеніемъ нашихъ душевныхъ состояній, новымъ творчествомъ. Иначе творить свой языкъ здоровый и больной человѣкъ, зрячій и слѣпой, обученный глухонѣмой, мистикъ, впавшій въ состояніе экстаза и т. д. Для познанія рѣчи, какъ процесса творчества мысли, очень полезно изученіе всѣхъ этихъ состояній говорящаго лица. Конечно, мы выходимъ при этомъ далеко за предѣлы инстинкта.

Инстинктивно мы понимаемъ крикъ ужаса или радости, изданный человѣкомъ, который говоритъ на чужомъ, неизвѣстномъ намъ языкѣ, хотя самое слово, которое онъ выкрикнулъ, намъ непонятно. Инстинктивно мы различаемъ веселый и тревожный лай собаки, испуганное мяуканіе кошки; нашъ повелительный тонъ понимаетъ животное такъ же, какъ жестъ или выраженіе лица. Младенецъ, едва различающій звуки, инстинктивно схватываетъ разницу между ласковымъ приголубиваніемъ матери и равнодушнымъ тономъ доктора. И душевнобольной афатикъ, теряя образы словъ, переставая говорить и понимать, еще сохраняетъ способность напѣвать арію, различать тоны. Прирожденный инстинктъ еще не утратилъ своей силы, но приобрѣтенныя знанія исчезли. Для того, чтобы самому творить

языкъ, каждый изъ насъ еще долженъ приобрести способность творить его, долженъ набрать необходимое количество матеріала и орудій для собственной постройки. Представляется совершенно неправдоподобнымъ, что только недостаточное развитіе нервной системы не позволяетъ ребенку сейчасъ же послѣ рожденія начать говорить. Однако, высказывался и такой взглядъ. Напротивъ, психологія дѣтской рѣчи показываетъ, какъ медленно собирается нужный для языка матеріалъ. Та или иная форма взаимобщенія между людьми, — разговоры, чтеніе книгъ и т. под., позволяетъ собрать первичный матеріалъ. Это соты, которые духъ человѣка наполняетъ содержаніемъ, переработаннымъ въ сознаніи, но воспринятымъ изъ жизни. До сихъ поръ только человѣкъ достигъ способности говорить, и нѣтъ признаковъ того, чтобы какое-либо иное животное уже приближалось къ уровню, на которомъ создается рѣчь.

Этими общими замѣчаніями опредѣляется планъ книги о языкѣ, какъ творествѣ. Здѣсь необходимо прежде всего рассмотреть проблему инстинкта. Занятая собираніемъ цѣточной пыли, пчела хлопотливо жужжитъ. Курица, перелетая черезъ заборъ, отчаянно кричитъ, хотя за ней никто не гонится; осель, пасясь на полѣ, задираетъ голову и неистово вопитъ, раздувая бока. Что это: выраженіе эмоціи въ извѣстныхъ звукахъ или разговоръ съ самимъ собой, въ родѣ того, какъ иногда говорятъ сами съ собой разсѣянные или волнующіеся люди? Если такъ, то по существу между рѣчью человѣка и этими животными криками не было бы разницы. Однако, мы сразу видимъ, что это величины несравнимыя: содержаніе рѣчи человѣка, говорящаго съ самимъ собой, измѣняется, тогда какъ крики животныхъ въ высшей степени однообразны. Только источникъ ихъ всѣхъ одинаковъ: это возбужденіе, но въ то время, какъ у животныхъ одного вида опредѣленное возбужденіе вызываетъ одинаковый звуковой рефлексъ, у человѣка эта реакція является различной и весьма сложной, при чемъ на ея видоизмѣненія оказываетъ вліяніе тотъ факторъ, который въ звуковыхъ разряженіяхъ энергіи у животныхъ, повидимому, отсутствуетъ, — именно самосознаніе. Въ обоихъ случаяхъ, какъ уже указано выше, мы имѣемъ дѣло со сложнымъ инстинктомъ, но у человѣка рѣчь выходитъ за предѣлы инстинктивной реакціи на раздраженія. Если бы животные не были способны къ болѣе сложнымъ звуковымъ выраженіямъ, нежели простой крикъ, птичій свистъ, лай, вой, то отсутствіе у нихъ членораздѣльной, человѣкообразной рѣчи могло бы объясняться, пожалуй, несовершенствомъ ихъ говорильнаго аппарата. Но дѣло въ томъ, что нѣкоторые виды животныхъ при дрессировкѣ, а другіе и отъ природы способны производить довольно сложные звуки, произносить цѣлыя слова. Говорящіе собаки, попугай, воспроизводящіе безразлично человѣческія слова и всевозможные звуки, скворцы и т. д. указываютъ на то, что и нѣкоторые животныя могли бы говорить. Такимъ образомъ первый вопросъ, который

возникаетъ передъ изслѣдователемъ проблемы происхожденія человѣческой рѣчи, сводится къ выясненію тѣхъ особенностей, которыя отличаютъ душевную жизнь человѣка отъ животной. Именно въ этихъ особенностяхъ должна заключаться причина того, что человѣкъ говоритъ, а животное нѣтъ, что ни одно изъ нихъ не достигло способности *разнообразно и условно* выражать свои чувства и представленія, сознавая при этомъ, что цѣлью такого выраженія служить передача соотвѣствующихъ представленій и душевныхъ состояній себѣ подобнымъ.

Благодаря этой способности, которую приобрѣлъ человѣкъ, его духовная жизнь должна была вылиться въ формы, которыхъ лишены такія состоянія его духовнаго организма, когда рѣчь отсутствуетъ, когда человѣкъ *не можетъ* говорить. Однако, подѣ говореніемъ надо понимать въ данномъ случаѣ не внѣшнюю рѣчь, не внѣшнее выраженіе чувствъ и мыслей въ словахъ, но внутреннюю рѣчь, мышленіе словами. Эта рѣчь является постояннымъ и необходимымъ спутникомъ нашей сознательной духовной жизни, переводчикомъ на языкъ *нашей* мысли того, что мы слышимъ, и что безъ нея, безъ помощи этой нашей внутренней рѣчи, было бы для насъ лишено всякаго смысла. Когда замолкаетъ внутренняя рѣчь, духовная жизнь человѣка или идетъ въ разбродъ, какъ это бываетъ въ безсвязныхъ сновидѣніяхъ, или становится просто потокомъ образовъ, или сводится къ застывшему въ неподвижности созерцанію, какъ это наблюдается въ извѣстныхъ состояніяхъ экстаза. Слѣдовательно, изучая рѣчь, какъ творчество, необходимо отвѣтить на вопросы: что такое внутренняя рѣчь, и какой характеръ имѣютъ состоянія, лишеныя внутренней рѣчи? Елена Келеръ, Лаура Бриджменъ и другіе люди, отъ рожденія слѣпо-глухонѣмые, но научившіеся говорить, представляютъ большой интересъ для изслѣдователя психологическихъ основаній рѣчи. Какъ складывается духовная жизнь глухонѣмыхъ, до которыхъ не доходитъ ни одного звука нашей рѣчи? А если они къ тому же слѣпы, то какіе образы заполняютъ ихъ сознаніе? Или въ этомъ мракѣ, въ этомъ вѣчномъ безмолвіи нѣтъ никакихъ образовъ? Но тогда въ чемъ же заключается духовная жизнь этихъ бѣдныхъ человѣческихъ существъ? Необходимо заглянуть въ ихъ духовный міръ и рассмотреть, что происходитъ съ нимъ, когда благодѣяніе человѣческой рѣчи становится доступнымъ и глухонѣмымъ. Возникновеніе внутренней рѣчи преобразуетъ весь душевный міръ глухонѣмого, какъ это достаточно ярко обнаруживали воспоминанія Елены Келеръ и наблюденія надъ Лаурой Бриджменъ. Мы видимъ смѣну хаоса порядкомъ, бессознательности или полусознанія какого-нибудь животнаго полнымъ самосознаніемъ человѣка.

Но мы можемъ идти и въ другомъ порядкѣ, наблюдая, какъ съ погашеніемъ самосознанія таетъ и пропадаетъ внутренняя рѣчь, пока не исчезнетъ вовсе. Нѣкоторые виды душевныхъ болѣзней чрезвычайно поучительны для языковѣда.

Въ своемъ развитіи не только эмбриональномъ, но и позднѣйшемъ человеческое дитя проходитъ черезъ тѣ этапы, черезъ которые проходило въ своемъ развитіи человѣчество. Сначала ребенокъ не говоритъ, но инстинктъ творчества звуковъ пробуждается рано: младенецъ начинаетъ „разговаривать“, пытается слагать звуки и произносить среди нихъ множество такихъ, которые потомъ, въ зрѣломъ возрастѣ, будутъ считать для себя невозможными: подобно современному дикарю, какому-нибудь южно-африканцу, онъ произноситъ на своемъ „языкѣ“ всасывающіе, прищелкивающіе и причмокивающіе звуки, всевозможные отгѣнки и нашихъ „культурныхъ“ звуковъ членораздѣльной рѣчи. Какъ ни богаты и эти послѣдніе всевозможными вариациями, устанавливаемыми съ помощью приборовъ т. наз. экспериментальной фонетики, несомнѣнно, на первыхъ шагахъ дѣтской рѣчи мы встрѣчаемъ такіе звуки, которые представляютъ далекое наслѣдіе отъ первыхъ людей, начавшихъ говорить. Такимъ образомъ, и внѣшняя форма первыхъ дѣтскихъ попытокъ рѣчи представляетъ огромный интересъ для изслѣдователя одного изъ кардинальныхъ вопросовъ психологіи, вопроса о происхожденіи человеческого языка. Однако, еще важнѣе, еще поучительнѣе развитіе психической жизни ребенка, заставляющее его переходить отъ мычанія къ слогамъ и отъ слоговъ къ цѣлымъ словамъ, заимствованнымъ у окружающихъ людей. Инстинктъ созданія собственной рѣчи настолько силенъ у человѣка, что и позже, научившись говорить такъ, какъ взрослые, ребенокъ любитъ сочинять собственные слова, выдумывать иногда собственный языкъ, строеніе котораго напоминаетъ особенности языка дикарей. И чуть не въ каждой школѣ у дѣтей складывается такой самобытный искусственный языкъ. Замѣчено при этомъ, что всего сильнѣе такой инстинктъ созданія собственного языка обнаруживается у дѣтей школьного возраста въ томъ періодѣ, когда первобытный человѣкъ, да и теперь среди еще уцѣлѣвшихъ дикихъ племенъ, начинаютъ свою самостоятельную жизнь. Слѣдовательно, психологія дѣтской рѣчи входитъ съ несомнѣнной необходимостью въ трудъ, главная задача котораго заключается въ выясненіи условій возникновенія рѣчи и опредѣленія богатства, полученнаго человѣкомъ вмѣстѣ съ языкомъ. Что же именно приобрѣтъ человѣкъ, научившись говорить или создавъ у себя внутреннюю рѣчь? Онъ получаетъ *слово*, условный знакъ, съ которымъ у каждаго изъ насъ связываются свои собственные представления и образы. Какъ отвлеченный, самъ по себѣ ничего незначащій знакъ, слово даетъ возможность мыслить не конкретными образами, но отвлеченными знаками, т. е. создать абстрактное мышленіе, сужденіе, наконецъ— сознание. Вмѣсто того, чтобы плыть по теченію своихъ образовъ, регулируя его лишь настроеніемъ, которымъ охвачена душа, мы становимся, благодаря слову, хозяевами надъ этими образами, мы изгоняемъ ихъ изъ нашихъ словъ, мы соединяемъ блѣдныя тѣни многихъ сходныхъ образовъ

въ одно слово, мы получаемъ размѣнную монету для культурнаго общенія. Безъ понятій не можетъ быть отвлеченной мысли, а по своему происхожденію понятія вѣдь только слова, лишеныя образнаго содержанія. Такимъ образомъ, мы возвращаемся къ тому мѣсту, изъ котораго вышли, говоря о духовной жизни животныхъ; кругъ психологическаго изслѣдованія языка завершенъ. Передъ нами встаетъ другая сторона его, социальная. Человѣкъ сознаетъ, что рѣчь нужна ему прежде всего для него самого, что онъ не можетъ думать, не говоря, но онъ сознаетъ также, что рѣчь только мыслимая, а не произносимая, лишь на половину достигаетъ своей цѣли, что люди говорятъ между собой для того, чтобы понимать другъ друга. Въ долгомъ одиночествѣ обычный человѣкъ утрачиваетъ способность рѣчи и вмѣстѣ съ тѣмъ впадаетъ въ какое то звѣриное состояніе, становится тѣмъ *Homo sapiens ferus*, о которомъ столько любопытныхъ матеріаловъ собралъ нѣмецкій ученый Рауберъ. Вообще, рѣчь внѣ общенія съ себѣ подобными представляетъ нѣчто невысказанное: лишь благодаря общественному инстинкту человѣка, могъ развиваться даръ сознательной рѣчи. Есть племена дикарей, которые, какъ рассказываютъ путешественники, предпочитаютъ прибѣгать къ помощи т. наз. „языка жестовъ“: вмѣсто того, чтобы позвать товарища, они подбѣгаютъ къ нему и опредѣленными, разъ на всегда условленными жестами, объясняютъ ему необходимое. Однако, значеніе этихъ случаевъ нельзя преувеличивать; нѣтъ никакого сомнѣнія, что рядомъ съ языкомъ жестовъ у этихъ американскихъ индѣйцевъ существуетъ и обычный языкъ, состоящій изъ словъ. Слово есть то орудіе, которымъ сколочена социальная жизнь человѣка. Но слово, какъ нѣчто отдѣльное, не существуетъ въ живомъ языкѣ. Ему мѣсто только въ словарѣ, а мы говоримъ не словами, а фразами. Что же первоначальнѣе: слово или предложеніе? Слово ли выдѣлилось изъ предложенія, или слово было сначала и цѣлымъ предложеніемъ, которое лишь впоследствии раздѣлилось на слова? Передъ нами одна изъ новѣйшихъ проблемъ языковѣдѣнія, которая могла возникнуть лишь теперь, когда психологическое изученіе языка достигло извѣстнаго развитія; сначала казалось такъ ясно и просто, что фразы состоятъ изъ словъ, а не слова выдѣляются изъ фразы. Но въ настоящее время выдвинуто противоположное ученіе: языкъ возникъ изъ сложныхъ выраженій, имѣвшихъ значеніе все не одного слова, означающаго предметъ или дѣйствіе, но цѣлаго предложенія. Такимъ образомъ, мы приходимъ постепенно къ основному вопросу книги: какъ возникъ человеческій языкъ? Здѣсь необходимо рассмотреть различныя теоріи, которыя были выставлены для разрѣшенія этого вопроса, волновавшаго, по свидѣтельству Геродота, уже египетскихъ фараоновъ. Я постараюсь развить ту точку зрѣнія, согласно которой происхожденіе языка нельзя отдѣлять отъ начала человеческой пѣсни: книга Бюхера о ритмѣ даетъ, по моему мнѣнію, чрезвычайно цѣнныя ука-

занія на то, какъ въ связи съ первоначальной пѣсней стоитъ и первоначальный языкъ. Мы спускаемся еще глубже того синкретизма, которому посвятилъ столько блестящихъ страницъ покойный А. Н. Веселовскій. Такова программа труда, который изучаетъ языкъ, какъ творчество.

Въ настоящей книгѣ мы рассмотримъ сначала особенности душевнаго уклада животнаго, затѣмъ явленія внутренней рѣчи у здороваго и больного человѣка, вопросъ объ афазіи и разстройствѣхъ рѣчи при истеріи, особенности душевныхъ явленій, въ которыхъ наличность языка придаетъ порядокъ и стройность теченію образовъ (сновидѣніе, экстазъ). вмѣстѣ съ тѣмъ мы остановимся на духовной жизни глухонѣмыхъ, на психологіи дѣтской рѣчи, на особенностяхъ рѣчи у дикихъ народовъ, на искусственныхъ языкахъ и затѣмъ перейдемъ къ „психологіи слова“ (слово и образъ, сужденіе, развитіе значенія слова) и къ отношеніямъ между словомъ и предложеніемъ. Такъ подготовивъ отвѣтъ на вопросъ о началѣ человѣческой рѣчи, мы рассмотримъ взгляды старыхъ и новыхъ ученыхъ на этотъ предметъ. При такой постановкѣ проблемы, быть можетъ, удастся избѣжать той произвольности въ разрѣшеніи ея, которая вызвала такое великое разнообразіе точекъ зрѣнія на возникновеніе языка, какъ одного изъ видовъ умственнаго творчества.

ГЛАВА II.

Особенности духовнаго склада въ мірѣ животныхъ.

Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ приходилось полемизировать съ „антропоморфизмомъ“, съ тѣмъ ненаучнымъ направленіемъ въ изученіи животной психики (зоопсихологіи), которое отождествляло духовную жизнь животныхъ съ человѣческой. Множество авторовъ популярныхъ книжекъ и Бремъ въ числѣ ихъ разсказывали про умъ животныхъ такія вещи, которыя заставляли удивляться, какъ это при чисто человѣческихъ способностяхъ и чувствахъ собака, или кошка, или муравей не говорятъ. Впрочемъ, доходило и до рѣчи: американецъ Гарнеръ изучалъ языкъ тосковавшей въ плѣну обезьянки и хотя не понималъ ея длинныхъ монологовъ, зналъ, что она жалуется на сѣрое небо и холодъ своего плѣна и вспоминаетъ о своемъ прекрасномъ югѣ. Лѣббокъ открылъ способъ общенія между собой муравьевъ, и если не составилъ грамматики и словаря ихъ языка, то все же научился понимать муравьиный языкъ. Бремъ насмѣхъ видѣлъ душу кошки, которая изъ любезности провожала гостей ея хозяйки. Нечего и говорить, что люди, писавшіе съ опредѣленной цѣлью разжалобить человѣка по отношенію къ животному, не скупились на самыя фантастическія разсказы. Отъ нихъ не отставали дѣтскіе писатели, которые, выдумывая всякій вздоръ о душевныхъ стремленіяхъ своихъ героевъ

изъ животнаго царства, воображали, что воспитываютъ въ дѣтской душѣ гуманность и доброту къ животнымъ. На самомъ дѣлѣ, они оказывали только несомнѣнный вредъ развитію ребенка, такъ какъ необходимо открывать ребенку глаза на жизнь природы такъ, какъ она есть, нужно приучать его наблюдать и узнавать, а не сантиментально фантазировать. Кажется, однако, популяризаторы и дѣтскіе писатели еще долго не поймутъ этого. Зато научное изслѣдованіе духовнаго міра животныхъ сдѣлало за послѣдніе годы такіе гигантскіе шаги впередъ, что уже совершенно невысказаннымъ представляется возвращеніе къ старому наивному уподобленію животной душевной жизни человѣческой. И научная психологія, которая раньше чуждалась „зоопсихологіи“, теперь не можетъ уже миновать ея: въ такихъ серьезныхъ ученыхъ изданіяхъ, какъ *Revue philosophique*, *Année psychologique*, *Zeitschrift für Psychologie* и т. под., этой отрасли психологіи удѣляется все большее вниманіе. Особенно же высоко поставлено экспериментальное изученіе зоопсихологіи въ Америкѣ, гдѣ одинъ изъ изслѣдователей начала нашего вѣка, Thorndike, указалъ новые методы для изслѣдованія животной сообразительности и подражательности. У насъ же, въ Россіи, безсмертная заслуга въ дѣлѣ основанія и пропаганды зоопсихологіи принадлежитъ проф. В. А. Вагнеру, который написалъ рядъ крупныхъ изслѣдованій о ласточкахъ, паукахъ и др. и превосходный синтетическій трудъ „Биологическія основанія сравнительной психологіи (біо-психологія)“, первый томъ котораго вышелъ въ 1910 году¹⁾.

Повидимому, у низшихъ животныхъ дѣйствуетъ исключительно инстинктъ, управляющій и памятью ихъ, тогда какъ у высшихъ къ этому присоединяются извѣстныя формы соображенія. По опредѣленію французскаго ученаго, Фореля, которое можетъ считаться классическимъ, „инстинктъ есть непреклонное и врожденное желаніе исполнить рядъ дѣйствій, направленныхъ къ достиженію цѣли, которой обычно дѣйствующее лицо (*l'acteur*) не понимаетъ“. Къ этому надо только прибавить, что инстинктъ принадлежитъ не отдѣльному животному, а цѣлому виду, и представляетъ чрезвычайную устойчивость. „Инстинкты животныхъ представляютъ собою признаки для опредѣленія видовъ болѣе надежные, чѣмъ признаки морфологическіе. Очень интересными въ этомъ смыслѣ являются наблюденія Фертона, который изучилъ *Hymenoptera* острова Корсо и удостовѣрился, что нравы этихъ насѣкомыхъ ничѣмъ не отличаются отъ нравовъ ихъ

¹⁾ Въ дальнѣйшемъ изложеніи я цитирую это сочиненіе просто, какъ *Вагнеръ*. Другую литературу, кромѣ указанной ниже, въ этой главѣ см. въ моей брошюрѣ „Почему не говорятъ животные?“ (изд. Вольфа СІВ. 1908), гдѣ даны и подробности, имѣющія отношенія къ настоящей главѣ. Кромѣ того, см. прекрасную статью проф. Г. Челпанова „Объ умѣ животныхъ“ въ „Вопросъ Фил. и Психол.“ 1908 и хорошій обзоръ литературы въ книгѣ G. Bohn. *La naissance de l'Intelligence*. Paris. 1910.

родичей на континентѣ. Этотъ фактъ получаетъ тѣмъ большее значеніе, что островъ Корсо отдѣлился отъ континента въ одну изъ эпохъ плейстоцена, и что такимъ образомъ насѣкомыя этого острова, съ тѣхъ временъ, которыя отдѣлены отъ насъ сотнями тысячелѣтій, не скрещивались съ насѣкомыми континента. Продолжительность изолированнаго положенія острова была такъ велика, что привела къ возникновенію мѣстныхъ видовыхъ вариаций, свойственныхъ только насѣкомымъ Корсо. Несмотря на такую древность видовъ, Фертонъ за шесть лѣтъ своего изслѣдованія не встрѣтилъ ни одного раза, ни одного случая отклоненій отъ характерныхъ особенностей инстинкта: они остались неизмѣнными для островныхъ насѣкомыхъ и для насѣкомыхъ континента, даже у осмій, которыхъ гнѣздо-строеніе представляетъ большую сложность“ (Вагнеръ, 252—3). Однако, не только у вида, но и у одной и той же особи возможны отклоненія отъ шаблона инстинктивной дѣятельности, которыя вытекаютъ, конечно, не изъ сознательнаго отношенія къ дѣйствительности, но изъ различныхъ условій въ жизни нашихъ животныхъ. Такъ, тарантулы на югѣ строятъ свои жилища съ большимъ совершенствомъ въ смыслѣ защиты отъ враговъ, чѣмъ на сѣверѣ; это, по выраженію В. А. Вагнера (291), новообразованія строительнаго инстинкта, которыя произошли „путемъ накопленія уклоненій“, а „не путемъ счастливыхъ идей“, на которыя паукъ въ одинъ прекрасный день натолкнулся, разрушая зимнюю покрывку отверстія норы и рѣшивъ превратить ее въ настоящую крышку, т. е. скомбинировать два явленія, ничѣмъ между собою не связанныхъ и не имѣющихъ другъ къ другу никакого отношенія. И это тѣмъ болѣе, что мы сейчасъ, въ современной намъ фаунѣ, имѣемъ рядъ моментовъ, которые указываютъ на этапы въ филогеніи (родовомъ развитіи) рассматриваемаго инстинкта“. Другими словами, эти новообразованія инстинкта совершались въ цѣлыхъ видахъ, которые можно расположить въ послѣдовательномъ порядкѣ уклоненія отъ первоначальнаго шаблона. Значитъ элементъ соображенія здѣсь совершенно отсутствовалъ. Эти новообразованія создались, говоритъ В. А. Вагнеръ (308), путемъ естественнаго подбора, черезъ медленное накопленіе многочисленныхъ, мелкихъ и полезныхъ уклоненій, ибо „мотивы дѣйствій насѣкомыхъ лежатъ не въ психологіи, а въ біологіи“ (315); нѣтъ надобности предполагать у нихъ ни наличности ума, ни наблюдательности, ни способности къ размышленію.

При этомъ инстинктивныя дѣйствія отличаются въ примѣненіи къ обычнымъ условіямъ жизни животнаго чрезвычайнымъ совершенствомъ: такъ, напр., пчела строитъ свою ячейку со строго-математическою точностью для полученія наибольшей вмѣстительности при наименьшей затратѣ матеріала. Съ нарушеніемъ же этихъ условій, инстинктивное дѣйствіе становится нелѣпо нецѣлесообразнымъ. Когда птица сидитъ на неоплодотворенныхъ яйцахъ, бѣлка зарываетъ въ коверъ оставшіяся у нея орѣхи,

пчела кладетъ медъ въ пробуравленную ячейку, откуда онъ вытекаетъ, и т. д., то все эти дѣйствія не приводятъ къ результатамъ, которые нужны для сохраненія рода, но ихъ совершенство не становится отъ этого меньшимъ. Учиться инстинктивнымъ дѣйствіямъ нельзя: они оказываются врожденными, и молодая птица иногда лучше вьетъ свое гнѣздо, чѣмъ старая, опытная, но уже утомленная. Съ возрастомъ у одного и того же животнаго инстинкты мѣняются. „Вся совокупность данныхъ постъ-эмбриональнаго развитія инстинктовъ свидѣтельствуетъ намъ, что тамъ, гдѣ съ возрастомъ инстинкты измѣняются, мы наблюдаемъ не развитіе, а смѣну однихъ другими, при чемъ смѣна эта часто происходитъ безъ всякой внутренней связи смѣняющихся способностей. Даже тогда, когда мы можемъ прослѣдить у нихъ эволюцію данной психической способности, даже тогда намъ приходится признать, что инстинкты этихъ животныхъ въ извѣстный определенный моментъ ихъ жизни являются сразу готовыми въ точной мѣрѣ, въ какой это необходимо для даннаго момента жизни даннаго животнаго. Эти готовые для даннаго періода жизни „знанія“ въ слѣдующій періодъ смѣняются новыми, тоже готовыми, какъ декорации театральнаго сцены“ (Вагнеръ, 343). Конечная цѣль дѣйствія оказывается иногда просто недостижимой для пониманія животнаго: паучиха, которая откладываетъ яичко въ подводный колоколь, покидаемый ею развѣ навсегда, не знаетъ, какую пользу сея зародышу окажетъ это гнѣздо-колоколь; африканская курца, зарывающая яйцо въ горячій песокъ и оставляющая его на произволъ судьбы, также не соображаетъ, что зародышъ разовьется въ пыленка и безъ ея помощи, такъ какъ она не увидитъ вылупливанія этого пыленка изъ яйца. Самка страуса, которая сноситъ 14 яицъ, не понимаетъ, что ея потомство находится въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ у самки новозеландскаго козуара, которой достаточно спасти 3—5 яицъ: „у потомства козуаровъ, говоритъ Вагнеръ (413), враговъ несравненно меньше, такъ какъ Новая Зеландія не знала хищныхъ животныхъ, и вотъ число яицъ здѣсь оказывается въ четыре раза меньше, а уходъ самки отсутствуетъ вовсе“.

Недавно французскій ученый Plateau задался цѣлью опредѣлить экспериментально, обладаютъ ли насѣкомыя памятью фактовъ (L'Année psychologique. 1909). Онъ избралъ для своихъ опытовъ шмелей, которыхъ для различенія окрашивалъ въ яркіе цвѣта. Какимъ образомъ пчелы, шмели и осы находятъ свой улей, возвращаясь къ нему иногда съ далекаго разстоянія? Только благодаря чрезвычайно сильной памяти о совершенномъ однажды пути. Стоитъ этотъ путь измѣнить самымъ незначительнымъ образомъ, и улетающее насѣкомое окажется въ самомъ безпомощномъ состояніи. По словамъ французскаго изслѣдователя Ж. Бонна, достаточно передвинуть улей днемъ, когда большая часть пчелъ работницъ улетила, на какіе-нибудь два метра и замѣнить его табуретомъ,

покрытымъ блюдомъ, и работницы соберутся на прежнее мѣсто улья, т. е. на блюдѣ, не будучи въ состояніи найти въ двухъ метрахъ отъ себя входъ въ улей. Отправляясь за медомъ къ уже ранѣе найденному медоносному цвѣтку, насѣкомое летитъ не прямо, а зигзагами, совершая тотъ самый путь, который случайно привелъ его къ добычѣ. Такія же зрительныя впечатлѣнія лежатъ въ основаніи „измѣренія времени“, которое наблюдается у этихъ насѣкомыхъ: въ извѣстное время дня они появляются въ томъ или другомъ мѣстѣ. Определенныя тѣни, связанные съ часомъ, окраска и освѣщеніе предметовъ представляютъ зрительныя образы, которыми руководится пчела или шмель при полетѣ къ цвѣтамъ. Смѣна этихъ зрительныхъ впечатлѣній, направляя дѣятельность животнаго, замкнутую въ предѣлахъ инстинкта, приводитъ его къ извѣстному „умозаключенію“: надо летѣть, потому что солнце высоко, или цвѣтокъ близко, потому что осина уже осталась позади. Конечно, это „умозаключеніе“ насѣкомаго абсолютно не похоже на человѣческое и не нуждается въ словахъ: только *влеченіе* испытываетъ насѣкомое, летя въ знакомомъ направленіи къ предмету, образъ котораго остался въ его памяти. И такъ будетъ поступать каждая пчела, каждый шмель, обнаруживая этимъ постоянствомъ инстинктивную природу дѣйствія. Когда же дѣло выходитъ за предѣлы инстинкта, они покажутъ свое неразуміе. Plateau отрицаетъ память на факты у насѣкомыхъ. Шмель испытывалъ на извѣстномъ цвѣткѣ рядъ неприятныхъ ему манипуляцій и тѣмъ не менѣе упорно возвращался на этотъ самый цвѣтокъ, повидимому, забывая сразу все неприятное, что съ нимъ произошло, потому что это неприятное (хватаніе, завертываніе въ вату, даже увѣчіе) выходило изъ среды обычныхъ, соответствующихъ его инстинкту впечатлѣній. Подобно этому, нѣмецкій ученый Bethe опускалъ краба въ аквариумъ, въ темномъ углубленіи котораго находился враждебный ему и гибельный для него моллюскъ. Повинуясь инстинкту, этотъ крабъ немедленно свѣшилъ въ темный уголь, гдѣ попадалъ въ лапы моллюска. Его освобождали, опять опускали въ аквариумъ, и съ полной точностью повторялась та же самая исторія столько разъ, сколько разъ продѣлывался опытъ. Разумѣется, говорить при этихъ условіяхъ о сознательности насѣкомыхъ или этого краба невозможно. Инстинктивное же пониманіе, или, вѣрнѣе, постоянная реакція на извѣстныя раздраженія не есть языкъ, тѣмъ болѣе, что даже защитники какого-нибудь „муравьянаго языка“ сводятъ его къ соприкосновенію щупальцевъ или обнюхиванію. Такимъ образомъ, можно сказать, что психическая жизнь насѣкомыхъ, поскольку, вообще, можно о ней говорить (знавая крайности теоріи тропизмовъ), есть нѣчто несоизмѣримое нашей психической дѣятельности, и потому въ жизни низшихъ животныхъ нельзя найти даже зародышей нашей способности рѣчи. Жужжаніе пчелы есть или инстинктивное разряженіе энергіи, не связанное съ „самосознаніемъ“ насѣкомаго, или дѣйствіе аппарата, при-

мающаго участіе въ собраніи и усвоеніи пѣвочной пыльцы. Такъ, жужжаніе комара или шмеля, гудѣніе майскаго жука точно соответствуетъ шуму пропеллера на летательной машинѣ. Кваканье лягушекъ хоромъ также не сможетъ считаться, вопреки убѣжденію антропоморфистовъ и грезамъ поэтовъ, какимъ-нибудь хоровымъ пѣніемъ: это просто инстинктивная подражательность, проявляющаяся у лягушки не только въ доступной ей музыкальной области, но и въ другихъ сферахъ ея дѣятельности: разомъ онѣ появляются на поверхности пруда, разомъ скачутъ въ воду. Такъ, въ водѣ стадами ходятъ рыбки, которыя всѣ разомъ поворачиваются и улываются; такъ стадо овецъ, стая гусей сразу замолкаютъ или всѣ вмѣстѣ подишмаютъ крикъ. Быть можетъ, приятное чувство или возбужденіе вызываютъ у лягушекъ ихъ „восторженное“ кваканье вечеромъ, въ лунный тихій вечеръ, но, конечно, онѣ не говорятъ себѣ при этомъ: „какъ приятно такъ полѣтъ“, а тамъ, гдѣ нѣтъ самосознанія, нѣтъ самаго основнаго элемента нашего человѣческаго языка и нашего пѣнія¹⁾.

Обратимся къ животнымъ болѣе высокаго психического строя, къ тому разряду ихъ, который, по преимуществу, поетъ и „разговариваетъ“, — къ птицамъ. Уже Потенія въ своей замѣчательной книгѣ „Мысль и языкъ“ (2 изд., стр. 77) отмѣтилъ, что „для животнаго высшіе предметы существуютъ только, какъ и причина его личныхъ состояній... Въ чувственности животныхъ преобладаетъ эгоистическое чувство удовольствія и неудовольствія и исчезаетъ колоритъ, свойственный возбуждающимъ ихъ предметамъ. Одному человѣку свойственно безкорыстное стремленіе проникать въ особенности предметовъ, неутомимо искать отношеній между отдѣльными воспріятіями и дѣлать эти отношенія предметами новыхъ мыслей“. Въ недавнее время тщательному изслѣдованію подверглась психическая жизнь одной изъ самыхъ умныхъ птицъ, курицы. Долгое пребываніе въ обществѣ человѣка, несомнѣнно, воспитательнымъ образомъ дѣйствуетъ на умственные способности животнаго, освобождая въ немъ ту нервную энергію, которая тратилась на добываніе пищи и самозащиту, и направляя ее на образованіе новыхъ ассоціацій „культурной жизни“. Поэтому, изученіе духовнаго склада такой *par excellence* домашней птицы, какой является съ незапамятныхъ временъ человечества курица (отсюда и убѣжденіе, что курица не птица), представляется особенно поучительнымъ. Два изслѣдователя, Катцъ и Ревесъ,²⁾ продѣлали надъ ней рядъ опытовъ, чтобы убѣдиться, насколько сильна память у куръ. Они брали 20 рпсовыхъ зеренъ, которыя курица предпочитаетъ пшеничнымъ, и приклеивали ихъ къ листу коричневой бумаги, между рисомъ были раск-

¹⁾ О подражательности у животныхъ см. статьи В. А. Вагнера „Общественность у животныхъ и человека“ въ журналѣ „Природа“ за 1912 г.

²⁾ D-Katz и G. Révész. Experimentell psychologische Untersuchungen mit Hühnern. Zeitschrift für Psychologie. Band 50. 1908.

даны 10 зеренъ пшеницы. Пущенная курица хватала прежде всего рисинки, но, убѣждаясь, что всѣ овѣ приклеены, переходила къ пшеницѣ. Черезъ нѣкоторый промежутокъ времени та же курица совершала уже меньше ошибокъ при отличеніи риса отъ пшеницы, дѣлала уже меньше бесполезныхъ клевковъ, пока наконецъ не достигала полнаго совершенства, т. е. совершенно оставляла рисъ безъ вниманія и, клюнувъ 10 разъ, получала десять зеренъ пшеницы. Опыты производились надъ 7 курами. Эти опыты обнаружили, во-первыхъ, различныя способности запоминанія у разныхъ экземпляровъ: въ то время, какъ одна при опытахъ, производившихся съ промежуткомъ въ 15 секундъ, лишь на шестой разъ научилась хорошо различать между рисомъ и пшеницей и связала съ зернами первого опредѣленные ассоціаціи, вторая при паузахъ въ 30 минутъ достигла этого умѣнія ориентироваться уже на третій разъ, третья же при паузахъ въ цѣлыя сутки прогрессировала въ приобрѣтеніи этого знанія чрезвычайно быстро: въ первый разъ она клюнула 52 раза, чтобы съѣсть 10 зеренъ пшеницы, во второй всего 25, въ третій 16 и въ четвертый уже съ полной правильностью только 10. Исслѣдователи пришли къ выводу, что человѣкъ въ этомъ опытѣ проявилъ бы менѣ блестящіе результаты, чѣмъ курица. Затѣмъ былъ поставленъ другой вопросъ: насколько тверды впечатлѣнія у куръ. Выводъ получился слѣдующій: „Послѣ извѣстнаго времени приобрѣтенное знаніе настолько утрачиваетъ свое дѣйствіе, что уже не оказываетъ вліянія на дѣятельность курицы. Но слѣды его все-таки сохраняются“. Такъ, одна изъ куръ, спустя 4 недѣли послѣ первыхъ опытовъ, сдѣлала лишь ничтожную ошибку при выклеваніи зеренъ пшеницы, другая и послѣ 6 недѣль потребовала меньше усилій для того, чтобы возобновить въ своей памяти различіе между зернами. Но опытъ разрушался, если въ дѣло вступалъ инстинктъ птицы: курица инстинктивно хватается то, что летитъ и падаетъ передъ ней, и если это были зерна риса, мимо которыхъ она проходила равнодушно въ опытѣ, она хватала и ихъ. Если же ей давали неприклеенныя рисинки и пшеницу, то она начинала хватать при этихъ условіяхъ и то, и другое, но потомъ первое знаніе въ дальнѣйшихъ опытахъ брало верхъ надъ позже приобрѣтеннымъ. Дѣлались опыты и надъ различеніемъ направленій и массъ курами; такъ, производились любопытныя наблюденія надъ способностью этихъ птицъ къ „счету“: два зерна были приклеены, третье оставалось свободнымъ. Послѣ нѣсколькихъ опытовъ куры научились „считать“ черезъ два, тогда какъ ребенокъ обнаружилъ соотвѣтствующую способность только на пятомъ году. Уже этотъ фактъ (въ названной статьѣ ихъ нѣсколько) указываетъ на глубокое различіе въ психикѣ птицы и человѣка; четырехлѣтній ребенокъ, который сбивался, вынимая игральныя марки черезъ двѣ, умѣлъ уже, конечно, говорить и оперировать съ цѣлымъ рядомъ собственныхъ сужденій, ошибался же онъ въ усвоенныхъ знаніяхъ именно вслѣдствіе вмѣ-

пательства мысли въ приобрѣтенные навыки и т. д., тогда какъ курица, такъ удивительно ориентировавшаяся въ счетѣ, руководилась просто несложными зрительными ассоціаціями: „на основаніи частаго повторенія зѣрна, которыя стоило клевать, ассоціируются съ извѣстнымъ разстояніемъ, отдѣляющимъ ихъ одно отъ другого, а отчасти съ ихъ положеніемъ на землѣ. Относительно другого фактора, который можетъ играть роль при нахожденіи годныхъ зеренъ, даетъ указанія слѣдующій опытъ. Если въ какомъ-нибудь мѣстѣ въ ряду прикрѣпленныхъ рисинокъ лежитъ одно свободное рисовое зерно среди двухъ прикрѣпленныхъ, то оно сейчасъ же выклевывается. Такимъ образомъ, курица, повидимому, замѣчаетъ мѣста, гдѣ зерна лежатъ болѣе густо“. Руководится птица въ этой операціи, которая не выходитъ изъ предѣловъ ея обычнѣйшаго занятія собиранія зеренъ, своимъ развитымъ зрѣніемъ. Можно думать, что именно потому, что въ поискахъ пищи птица руководится не обоняніемъ, не слухомъ, а только зрѣніемъ, выработались материнскіе инстинкты клекта, созывающего цыплятъ на извѣстное мѣсто, гдѣ курица видитъ свою пищу. Этотъ призывъ матери птенцы понимаютъ немедленно послѣ того, какъ вылупились изъ яйца, а иногда еще и раньше, въ самомъ яйцѣ. Слѣдовательно, природа какъ куриного призыва, такъ и пониманія его цыплятами основана на инстинктѣ. Въ усвоеніи курицей новыхъ знаній, не выходящихъ однако за предѣлы ея обычной инстинктивной дѣятельности, обнаруживается та же пропасть при сравненіи съ человѣкомъ, что и въ психикѣ какого-нибудь насѣкомаго. И про крики нашихъ домашнихъ птицъ, конечно, нельзя говорить, какъ о „языкѣ“. Оставляя пока въ сторонѣ попугаевъ, можно сказать, что именно самыя „умныя“ птицы не склонны къ пѣнію. Такова, напр. кукушка, крикъ которой такъ однообразенъ и элементаренъ. Кукушка единственная изъ птицъ нашихъ лѣсовъ, которая пожираетъ волосатыхъ гусеницъ. Ея дѣятельность благодѣтельна для лѣсовъ, которымъ иначе грозило бы обезлистенье, но для выполненія ея кукушка должна быть свободна, а между тѣмъ лѣтніе мѣсяцы, когда нормальная птица должна сидѣть на яйцахъ, являются временемъ усиленной пожирательной работы этихъ гусеницъ.¹⁾ Вотъ кукушка и подкидываетъ свои яйца другимъ птицамъ (какъ бы въ интересахъ общаго дѣла, сохраненія лѣсовъ), а сама занимается спасеніемъ лѣсовъ отъ вредныхъ гусеницъ. Вылупившійся изъ яйца кукушонокъ также проявляетъ большую заботливость о сохраненіи своего рода: пользуясь углубленіемъ въ своей спинѣ, онъ вкладываетъ въ него другія яйца или даже штенцовъ, подноситъ ихъ къ краю гнѣзда и выбрасываетъ вонъ. Казалось бы, при такой сообразительности кукушка должна была бы говорить, но ей-то какъ разъ и не для чего говорить, такъ какъ о своихъ дѣтяхъ кукушка не заботится. Еще

¹⁾ См. классическое сочиненіе о жизни птицъ В. Altum. Der Vogel und sein Leben. цит. по 7 изд. (1903), стр. 178.

бѣднѣе „рѣчь“ вороны, хотя эта птица обладает большой способностью къ ассоціаціямъ и обладает острымъ чутьемъ. Съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ взглянуть и на птичье пѣнье. Какъ извѣстно, народная словесность связываетъ со многими птичьими криками извѣстныя фразы, слова, въ былое же время составлялись цѣлыя словари птичьихъ „словоревъ“.

„Всякое пѣніе птицы есть крикъ спариванія (Paarungsruf)“, утверждаетъ Альтумъ. Поэтому взрослая птица поетъ „полную пѣсню“. Но эту пѣсню, говоритъ изслѣдователь, не слѣдуетъ понимать по человѣчески: она совпадаетъ съ физическимъ половымъ развитіемъ въ различныя времена года, и потому молодая птица начинаетъ пѣвать, „учится“ пѣть. И это ученіе опять таки не есть человѣческое ученіе, связанное съ повтореніями, самопроѣвкой, воспоминаемъ. Птица же, „до тѣхъ поръ, пока она продолжаетъ учиться, является еще не способной къ размноженію, необходимые органы еще не получили должнаго развитія, какъ въ достаточной мѣрѣ убѣдилъ меня анатомическій кокъ; половое развитіе идетъ параллельно со степенью способности и усердія къ пѣнію“ (Altum. 83). Въ подтвержденіе того, что пѣніе птицы есть не что иное, какъ „выраженіе половой жизни“ (eine sexuelle Lebensäusserung) ея, Альтумъ приводитъ слѣдующія доказательства: какъ только птица становится способна къ размноженію, и сколько разъ въ годъ это ни повторяется, она начинаетъ пѣть. Съ другой же стороны, за исключеніемъ времени размноженія, птица не поетъ. И по временамъ года пѣніе чрезвычайно сильно варьируется. Въ концѣ іюня пересмѣшникъ, жаворонокъ, дроздъ поютъ, но какъ отличается ихъ пѣніе отъ весенняго, замѣчаетъ Альтумъ. „Болѣе позднее пѣніе уже не такъ пламенно, полно и живо: оно сдѣлалось блѣднѣе и хуже. Мы говорили о такъ наз. періодѣ обученія. Казалось бы, можно думать, что птица въ достаточной мѣрѣ обучилась. Разсуждая по человѣчески, слѣдовало бы ожидать, что птица тѣмъ лучше и свободнѣе будетъ исполнять свою пѣсенку, чѣмъ больше она въ ней упражнялась. Въдѣ повтореніе—мать ученья. Здѣсь мы находимъ, однако, противоположное; виртуозъ начинаетъ спотыкаться, и если мы предпущаемся къ нему еще черезъ нѣсколько недѣль, то недостатки станутъ еще болѣе стѣснительными. Уже при второмъ спариваніи пѣснѣ не достаетъ изящества и металличности тона, звукъ уже не имѣетъ прежней нѣжности, мелодія становится не такъ мила. Для тонкаго уха различіе очень явственно. При позднѣйшихъ спариваніяхъ пѣніе, вообще говоря, все болѣе падаетъ“. Что касается цѣлей, которыя природа вложилла въ птичье пѣнье, то онѣ заключаются, во-первыхъ, въ разграниченіи извѣстныхъ пространствъ, необходимыхъ для питанія каждой пары, а во-вторыхъ въ привлеченіи парныхъ птицъ одна къ другой. До какой степени, при этомъ, пѣніе не является выраженіемъ сознательнаго радостнаго или влюбленнаго чувства птицы, видно изъ того, что борьба самцовъ изъ-за самки начинается

очень часто подъ аккомпаниментъ ихъ собственнаго пѣнія и ведется съ прерывистой пѣсней. Однажды ручной красношейкъ—самцу показали ея собственное изображеніе въ зеркалѣ; она сейчасъ же заплѣла и бросилась на своего мнимаго соперника. Самецъ, обращенный въ бѣгство, поетъ иногда даже въ то время, когда скрывается отъ побѣдителя. Этими общими замѣчаніями можно ограничиться для характеристики птичьяго пѣнія. Очевидно, оно не имѣетъ ничего общаго съ человѣческой рѣчью. Когда весной просыпается половое чувство птицы, у нея появляется брачное оперенье, которое не зависитъ ни отъ ея сознанія, ни отъ воли. И какъ это оперенье, такъ же помимо желанія и сознанія птицы появляется у нея даръ пѣнія, и чѣмъ сильнѣе возбужденіе, тѣмъ лучше самая пѣсня. Какъ разряженіе накопившейся въ избыткѣ нервной энергіи, это инстинктивное пѣніе должно доставлять птицѣ удовольствіе, но поетъ она не ради удовольствія, какъ и кричитъ при видѣ ястреба не для того, чтобы показать свои страхъ, а потому, что возбужденіе въ числѣ другихъ реакцій вызываетъ и крикъ.

Есть, однако, говорящія птицы. Не является-ли, напр., „рѣчь“ попугая предварительной ступеню, на которой стояла когда-то человѣческая? не можетъ-ли попугай усовершенствоваться своей даръ рѣчи до того, чтобы заговорить? Одинъ попугай слышалъ, какъ дворовую собаку называли Коко, и вотъ этимъ именемъ онъ сталъ называть всякую собаку (*O. Flügel. Das Seelenleben der Tiere. 3 изд. 1897*). Слѣдовательно, въ его сознаніи совершился тотъ же самый процессъ, который заставляетъ насъ называть словомъ *собака* всякую собаку, а не только именно эту, которую мы видимъ передъ собой. Какъ бы ни квалифицировать то представленіе о собакѣ, которое сложилось въ сознаніи птицы, во всякомъ случаѣ, здѣсь произошло соединеніе зрительнаго образа со словомъ, т. е. въ конечномъ своемъ результатѣ получилось нѣчто человѣческое. Но, по существу, мы имѣемъ здѣсь нѣчто совсѣмъ непохожее на человѣческія слова. Попугай увидѣлъ собаку, которая прибѣгала на крикъ: Коко. *Онъ воспринялъ и этотъ крикъ, и образъ животнаго.* Сходные образы вызывали у него ту же самую реакцію, т. е. именно этотъ крикъ Коко. Названіе собаки онъ воспринялъ при своемъ инстинктѣ подражанія звукамъ такъ же механически, какъ и другіе звуки. Разсказываютъ, что при видѣ кошки попугай начинаетъ мяукать, при видѣ собаки лаять и т. п. Онъ будто бы сознательно дразнить этихъ животныхъ, тогда какъ въ дѣйствительности мы имѣемъ здѣсь ассоціацію зрительныхъ и слуховыхъ образовъ, которая съ повелительной силой вызываетъ подражаніе мяуканію и лаянію. Языкъ человѣка состоитъ и долженъ былъ состоять уже на первыхъ порахъ своего развитія не изъ однихъ названій, но изъ сочетанія названій, и вотъ на это послѣднее попугай уже совершенно не способенъ. Мяуканіе, лаянье, скрипъ колеса, человѣческое слово чередуются въ безсвязномъ выкрикиваніи попугая, но самое выкрикиваніе доставляетъ ему

удовольствие, являясь выражением желанія кричать и руководясь какими-то ассоціациями. Въ своемъ развитіи „рѣчь“ попугая, повидимому, уже выходитъ изъ области того элементарнаго инстинкта, о которомъ говоритъ Альтумъ. Тѣмъ не менѣе, не замѣчено, чтобы попугай приобрѣталъ свое умѣніе говорить съ возрастомъ, чтобы онъ учился, накоплялъ свой „словарь“ и т. д. Онъ подражаетъ такъ же сразу, какъ сразу бросается въ воду и плыветъ вылупившійся утенокъ. Такимъ образомъ, даже въ самомъ созданіи своего словаря попугай отличается стѣ ребенка: въ послѣднемъ случаѣ мы видимъ сознательное и потому несовершенное подражаніе, сначала пониманіе, потомъ подражаніе; здѣсь, напротивъ, только удачное воспроизведеніе замѣтovanýchъ словъ и звуковъ. Съ этимъ багажомъ духовная жизнь птицы не обогащается нисколько, какъ мы, зная нѣсколько иностранныхъ словъ и не понимая своего роднаго языка, не смогли бы приобрѣсти ровно ничего отъ своего знакомства съ нѣсколькими разрозненными чужими словами. Можно опредѣлить это различіе между рѣчью ребенка и „рѣчью“ попугая или другой говорящей птицы, какъ различіе между творческимъ актомъ и чисто механическимъ повтореніемъ заложенныхъ звуковъ. Въ этомъ отношеніи крикъ попугая ближе къ пѣснямъ граммофона, чѣмъ къ лепетанію ребенка; поэтому, все одинаково выкрикиваетъ попугай запомнившееся ему слово или звукъ. Но ближе къ человѣку рѣчь попугая въ томъ смыслѣ, что она показываетъ, какъ при инстинктѣ звукоподражанія и при инстинктивномъ разряженіи энергіи въ формѣ звуковъ можетъ образоваться зародышъ чело-вѣческаго слова въ видѣ твердой ассоціаціи зрительнаго и слухового образовъ. Дальше этого, конечно, не идетъ „рѣчь“ попугая, скворца или другой говорящей птицы.

Перейдемъ къ животнымъ млекопитающимъ, духовная жизнь которыхъ въ послѣдніе годы стала изучаться также экспериментальнымъ путемъ. Въ настоящее время существуетъ уже очень значительная литература по этому вопросу, который заслуживаетъ со стороны психологовъ величайшаго вниманія. Съ методами и результатами этой экспериментальной науки слѣдуетъ быть знакомымъ и тому, кто хочетъ понять языкъ, какъ творчество. Благодаря прекраснымъ обзорамъ литературы въ современныхъ философскихъ журналахъ, эта задача значительно облегчается.¹⁾ Однако, прежде чѣмъ остановиться на этомъ предметѣ подробнѣе, необходимо отмѣтить нѣкоторые выводы прежнихъ изслѣдователей, разрушившихъ представленія о какомъ-то необыкновенномъ умѣ животныхъ. Кому не известны рассказы о старой кавалерійской лошади, которая начинаетъ „танцовать“ при звукахъ военной музыки и т. д. Цѣлое учрежденіе (die

¹⁾ Такъ, укажу на „Sammelbericht über Tierpsychologie“ von Dr. Max Ettliger (wichtigere Specialarbeiten seit 1907). Zeitschrift für Psychologie. т. 56. 1910.

zoologische und botanische Abteilung für Westphalen und Lippe) занялось опытами надъ слухомъ лошадей и пришло къ убѣжденію, что эти рассказы представляютъ вымыселъ. „Законченныя теперь изслѣдованія, говорится въ отчетѣ этого учрежденія (Flügel 50—51): изслѣдованія о музыкальномъ слухѣ лошадей показали, что лошади обладаютъ чрезвычайно слабой воспримчивостью къ музыкѣ, такту и военнымъ сигналамъ. Испытанія, поставленныя секціей, обнаружили самымъ очевиднымъ образомъ, что лошадямъ всякое понятіе о тактѣ чуждо, и что, напр., въ циркѣ не столько онѣ танцуютъ и скачутъ въ тактъ музыки, сколько, наоборотъ, музыка примѣняется къ такту ихъ шаговъ. Другія изслѣдованія свидѣтельствуютъ о томъ, что военныя лошади не понимаютъ сигналовъ трубы. Только всадникъ или подражательный инстинктъ лошади заставляютъ ее совершать движенія, которыхъ требуетъ сигналъ; когда лошадь, даже наилучшимъ образомъ вышколенная, слышитъ сигналъ, она остается совершенно безучастной къ нему; то же самое происходитъ, когда трубный сигналъ слышитъ цѣлый отрядъ кавалерійскихъ лошадей безъ всадниковъ“. Благодаря устойчивости зрительныхъ ассоціацій, лошадь легко дрессируется, и это производитъ впечатлѣніе исключительнаго ума, присущаго этому животному. Такъ, въ послѣднее время много толковъ вызвала необыкновенная умная лошадь „Разумный Гансъ“ (der kluge Hans), которая будто бы производила ариѳметическія дѣйствія. Гансъ былъ подверженъ изслѣдованію со стороны О. Пфунгста и профессора Штумпфа¹⁾, который резюмировалъ свои наблюденія въ слѣдующихъ словахъ: „Лошадь, способная правильно производить ариѳметическія дѣйствія. Люди безспорной честности, которые получали отвѣты отъ животнаго, въ присутствіи его хозяина, и которые увѣряютъ, что не было никакого мошенничества. Тысячи зрителей, присутствовавшихъ въ теченіе цѣлыхъ мѣсяцевъ на представленіяхъ, которыя давалъ Фонъ-Остенъ, не замѣтивъ никакого сообщенія между животнымъ и его хозяиномъ. Такова была задача, а ключъ къ ней: не замѣтивъ совсѣмъ мелкихъ произвольныхъ движеній“. Гансъ складывалъ, вычиталъ, т. е. кивалъ головой, стучалъ копытомъ нужное число разъ. Онъ читалъ, т. е. показывалъ на большой таблицѣ слово, которое читали передъ нимъ и т. д. Но всѣ эти вещи лошадь продѣлывала правильно лишь тогда, когда экспериментаторъ зналъ отвѣтъ; въ противномъ случаѣ, Гансъ оставался самой обыкновенной лошадию, не обнаруживая никакого смущенія отъ нерѣшенной задачи, видимо не понимая, чего отъ него хотятъ. Отвѣтъ подсказывался лошади экспериментаторомъ, который зналъ его. Произвольный жестъ, движеніе глазъ въ извѣстномъ направленіи и т. под. подсказывали умному Гансу, куда повернуть голову, какъ реагировать на вопросъ, значенія котораго лошадь, конечно, не понимала.

¹⁾ О. Pfungst. Das Pferd des Herrn von Osten (Der kluge Hans). Mit einer Einleitung von Prof. Dr. v. Stumpf. 1907.

Удаленная от такого соприкосновения с хозяином или исследователем, лошадь теряет все свои удивительные способности. Таким образом, дело заключалось только в дрессировке, которая была основана в данном случае на чрезвычайно остром, вообще, у лошадей зрении. Дрессировка установила постоянную связь между известными движениями человека, стоящего перед лошадью, и ее собственной реакцией на него также в виде движения. Так, при счете три экспериментатор трижды качал головой, и за ним то же самое проделывал Ганс. Как известно, дрессировка воспитывает у животного такие прочные ассоциации, которые заставляют его исполнять выученное и тогда, когда в этом нет никакой надобности. Собака, научившись делать сальтомортале через палку, прыгает назад, когда это не надо; осель, научившись кивать головой в такт музыки, мерно качает головой в своем стойле, хотя на него никто не смотрит. Все это лежит в природе животной бессознательности: животное выучило то или другое, но не сознает, для чего оно выучило, и что делать с выученным, и на той же ступени развития остался, конечно, и умный Ганс, будто бы умевший читать, складывать и вычитать. То же самое следует сказать и про другое „умнейшее“ животное, находящееся в постоянном общении с человеком, про слона. Даже Брем, на котором лежит тяжкий грех распространения массы антропоморфических небывших в обществе, пишет по этому поводу следующее: „Люди, мало знакомые с характером слонен, нередко готовы видеть в их действиях последствия самостоятельного обдумывания, тогда как, в действительности, животные исполняют только то, что приказывают им вожаки. Едва ли между конем и всадником существует более тонкое понимание, чем между слоном и его вожаком, сидящим на его затылке. Выдающейся чертой в характере ручного слона является именно его послушание, и оно исполняет многое по самому ничтожному знаку своего вожака, действия которого совершенно незамечны для того, кто не посвящен в тайны дрессировки“. Таким образом, и здесь перед нами та же легкость и устойчивость ассоциаций, дрессировка, воспитание животного с помощью искусственных мер. Но эти ассоциации возможны лишь в той области, которая соответствует ограниченности животного „разума“. Можно приучить животное реагировать поступками на известные приказания, т. е. установить связь между его волей и зрительными или слуховыми образами, осязательными восприятиями и т. д. Как выражается в своем исследовании о животном уме Эшберн, „в то время как идеи, вероятно, уже имеют в известной степени в уме высших млекопитающих, они еще так тесно связаны с внешними побуждениями, что животное оказывается не в состоянии отделить чувственный

мир (внешний мир) от своего сознания и жить в мире идей“¹⁾. Вне выученных ассоциаций животное остается совершенно беспомощным (поскольку не отдает опять-таки своих приказаний инстинкты). Оно оказывается не в состоянии применить самостоятельно свои приобретенные знания в новой области, даже не пытается сделать это, потому что цель поступков, совершаемых им вследствие дрессировки, остается для него неясна, потому что животное не мыслит, не рассуждает. Без языка не существует мышления. Для испытания сообразительности наших домашних животных был совершен ряд опытов американским ученым Thorndike,²⁾ который поставил для своих исследований три вопроса: что делают наблюдаемые животные, как они это делают, что они чувствуют во время данной деятельности? Предметом своего наблюдения он делал собак, кошек и цыплят, которые в продолжение известного времени не получали пищи и сильно голодные помещались в клетку. Одна из стенок этой последней состояла из решетки, в которой была сделана дверка. Дверка открывалась с помощью различных приспособлений: задвижки, веревки, за которую нужно было дернуть, даже платформы, на которую следовало вскочить. За клеткой лежала пища, заставлявшая голодное животное искать выхода из своего помещения. Следовало установить ассоциации, совершенно новые для животного, при том оно должно было дойти до них самостоятельно, хотя действия, которые оно должно было совершить испытуемое животное, не выходили из области его привычной деятельности. Опыты производились над 13 кошками и тремя собаками. Поведение животного, посаженного в клетку в первый раз, было обыкновенно бурно: оно высовывало лапки сквозь решетки, старалось перекусить их и т. п. Потом случайно находил выход, и животное с радостью освобождалось. Посаженое вторично в ту же клетку, оно сразу хваталось за тот способ выхода, который дал ему свободу в первый раз; посаженное в другую клетку, оно уже не так пугалось и не рвалось наружу, но искало того способа освобождения, что и в первой клетке. Так, кошка, которой потребовалось 160 секунд, чтобы найти выход сначала, в конце концов освобождалась уже через 5 секунд. При этом обнаружилось, что успешность действий животного находится в зависимости от его наследственности, от богатства его опыта, от внимания, с которым оно относится к своим действиям. Таким образом, это уже целесообразная сознательная деятельность,

¹⁾ M. F. Washburn. The Animal Mind. 1909, стр. 294 (с богатой библиографией).

²⁾ E. L. Thorndike. Animal Intelligence. An experimental study of the associative process in animals. Series of monograph supplements of Psychological Review. 1908. Опыты Торндайка изложены и проверены французскими учеными N. Vaschide и P. Rousseau. См. их статьи La vie mentale des animaux в Revue Scientifique. 1903.

направленная волей. Однако, даже в том случае, когда животное проявляет спокойствие, необходимое для сосредоточения внимания, оно не *изыскивает* средства освобождения, не *пробует* того или другого способа выйти, но случайно и слѣпо *натывается* на выходъ, и тогда устанавливается ассоціація между этимъ послѣднимъ и опредѣленнымъ дѣйствіемъ. Но сначала эта ассоціація очень слаба: если для нахождения выхода изъ клѣтки кошкѣ понадобилось въ первый разъ 160 секундъ, то во второй разъ число секундъ равнялось 130, потомъ 90, 60, 15, 28, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5. Эти цифры показываютъ, какъ еще силенъ элементъ случайности сначала, какъ медленно устанавливаются прочныя ассоціаціи. Поведеніе собаки довольно сильно отличалось отъ кошачьяго. „Собака, посаженная въ одну изъ клѣтокъ, обнаруживаетъ менѣе усилій выйти, чѣмъ котенокъ; даже тогда, когда она испытала прелесть вѣды и уже нѣсколько разъ выбралась изъ клѣтки, она не проявляетъ такого усердія въ исканіи свободы, какъ кошка молодая или старая. Она царапаетъ или кусаетъ прутья, она старается протиснуться между ними; но, убѣдившись въ бесплодности своихъ усилій, она скорѣе отказывается отъ нихъ. Впрочемъ, ея вниманіе устремлено на пищу, а не на тотъ фактъ, что она сама находится въ клѣткѣ. Она стремится къ пищѣ, а вовсе не къ тому, чтобы выбраться изъ заключенія“. Что касается цыплятъ, опыты съ которыми были поставлены нѣсколько иначе, то они проявили меньшую способность къ образованію ассоціацій, чѣмъ кошки и собаки, но, въ общемъ, ихъ поведеніе не отличалось отъ поведенія другихъ изслѣдуемыхъ животныхъ. Торндайкъ отказывается установить градацію для опредѣленія относительнаго ума кошки, собаки и курицы, что представляетъ особенный интересъ послѣ того, какъ экспериментальнымъ образомъ была изслѣдована психическая жизнь куръ (см. выше). Однако, онъ все-таки полагаетъ возможнымъ утверждать, что изъ этихъ трехъ животныхъ цыпленокъ стоитъ всѣхъ ниже, и собака всѣхъ выше. Затѣмъ тотъ же изслѣдователь поставилъ рядъ опытовъ для испытанія способности животныхъ подражать внѣ инстинктивной области ихъ поведенія. Торндайкъ утверждаетъ, — и это, несомнѣнно, отвѣчаетъ природѣ инстинкта, — что подражаніе птицъ въ области звуковой не можетъ быть сопоставлено съ подражательной дѣятельностью млекопитающихъ, и эти послѣднія повинуются также инстинкту, подражая въ стадѣ дѣйствіямъ вожаковъ. Такимъ образомъ, рѣчь шла о подражательности сознательной, какъ у человѣка. Два цыпленка были посажены въ клѣтку, изъ которой выходъ шелъ черезъ дыру. Одинъ изъ цыплятъ уже зналъ этотъ способъ освобождения, другой нѣтъ. И вотъ неученый потребовалъ почти 10 минутъ, чтобы найти выходъ, тогда какъ ученый за это самое время 9 разъ проскользнулъ въ дыру, при чемъ нѣсколько разъ другой цыпленокъ смотрѣлъ на это. Ни одинъ изъ многихъ опытовъ, произведенныхъ съ цып-

лятами, не обнаружилъ у нихъ способности узнавать новое съ помощью наблюденія за дѣйствіями другихъ. Такъ же привели къ полной неудачѣ опыты съ подражательностью у кошекъ и собакъ. Всѣ эти животные оказались „неспособны создать ассоціацію, ведущую къ поступку, руководясь только наблюденіемъ за однимъ или нѣсколькими себѣ подобными, совершившими этотъ поступокъ въ опредѣленныхъ условіяхъ. Животныя не только не образуютъ ассоціацій, которыя сопровождаютъ, модифицируютъ или болѣе или менѣе видоизмѣняютъ опытъ и сужденіе, но они совсѣмъ не обладаютъ ассоціаціями, которыя смогутъ быть приобретены отъ другихъ животныхъ съ помощью подражанія“. По мнѣнію американскаго изслѣдователя, подражательная способность находится въ особенно рудиментарномъ состояніи у высшихъ млекопитающихъ животныхъ. На основаніи этихъ опытовъ, Thorndike полагаетъ, что способности къ образованію ассоціацій у животнаго и человѣка представляютъ явленія неравныя. „Психическій миръ (intellection) животнаго состоитъ изъ суммы специальныхъ ассоціацій, которыя служатъ непосредственно практическимъ цѣлямъ“. Этотъ „разумъ“ животнаго можно сравнить съ сознаниемъ, образуемымъ ассоціаціями, которыя руководятъ поведеніемъ играющаго въ лаунъ-теннисъ. „Основное явленіе, наличие котораго я нахожу въ сознаніи животнаго, говоритъ Thorndike, заключается, съ одной стороны, въ наслѣдственности установившихся соединеній образовъ и рефлексовъ, которые соединяются, конечно, со множествомъ явленій въ жизни животнаго, а съ другой стороны въ томъ фактѣ, что наша умственная жизнь развилась, какъ нѣчто посредствующее между возбужденіями и реакціями“. Таковы были эти опыты Торндайка, которые положили основаніе цѣлой отрасли экспериментальной психологіи животныхъ, разрабатываемой, по преимуществу, въ Америкѣ. Задача этой науки заключается въ изученіи не того, что животное дѣлаетъ, но того, что оно способно дѣлать. И въ этой постановкѣ вопроса лежитъ и нѣкоторая опасность экспериментации: не слѣдуетъ при опытахъ ставить животное въ такое мучительное положеніе, въ какое ставилъ его названный американскій изслѣдователь, заставляя животное голодать по цѣлымъ суткамъ. Естественно, что пища, лежащая за клѣткой, такъ поглощала вниманіе животнаго, что оно въ этихъ условіяхъ оказывалось *неспособнымъ* дѣлать то, что оно могло бы совершить въ нормальныхъ отношеніяхъ. И самый выборъ опытовъ иногда какъ бы заранѣе предвидѣлъ отвѣтъ.

Въ 1902 г. появилась работа, посвященная психологіи обезьянъ ¹⁾. Для опыта были взяты двѣ обезьяны изъ породы макакъ, которыя въ

¹⁾ A. I. Kinnaman. Mental Life of two Macacus Rhesus Monkeys in captivity. Americ. Journ. of Psych. XIII. 1902. Рефератъ Э. Клапареда въ Année psychol. 1903. Ср. также S. Bohn. L'Acquisition de habitudes chez les animaux. Année Psychol. 1907.

неволя не обнаруживают таких явлений оуптѣнія, какъ другія обезьяны. Это были самецъ 8 мѣсяцевъ и самка 12 мѣсяцевъ. Опыты Киннэмана производились по тому же шаблону, что и у Торндайка, т. е. брался ящикъ, который раскрывался съ помощью различныхъ приспособленій, задвижки, пуговицы, которую надо было надавить, петля, крючка, засова и т. п. Обыкновенно, ассоціаціи устанавливались у обезьяны очень скоро, но при этомъ наблюдались такія колебанія во времени разрѣшенія требовавшейся задачи, которыя могутъ быть объяснены только безосознательностью, съ какой совершался ею удачный актъ.

Если бы животное сознавало, какъ раскрывается клѣтка, и затѣмъ, раскрывая ее, дѣйствовало съ сознаниемъ цѣлесообразности своихъ поступковъ, конечно, не было бы возможно, чтобы на раскрытіе клѣтки съ помощью крючка она употребила въ первый разъ 65 секундъ, въ третій разъ 3 секунды, въ пятый 2 секунды, а въ шестой 40, въ девятый 67 секундъ, т. е. больше, чѣмъ въ первый разъ, и т. д. То же самое—и съ засовомъ: въ первый разъ обезьяна справилась съ нимъ въ 125 секундъ, а во второй только въ 266 секундъ. Въ общемъ, однако, устанавливались ассоціаціи прочныя, которыя доводили до минимума время, нужное для выхода изъ клѣтки. Но источникомъ ихъ были случаи. Слѣдовало установить возможность ассоціацій въ болѣе сложныхъ условіяхъ. Для этого американскій изслѣдователь пробовалъ установить связь между пищей и какимъ-нибудь зрительнымъ впечатлѣніемъ. Обезьянѣ показывали черную карту: это должно было означать, что въ ящикѣ положенъ кормъ, что его стоитъ раскрыть; бѣлая карточка означала противоположное. Было сдѣлано 300 опытовъ, и не обнаружилось въ сознаниі животного никакой связи между зрительнымъ впечатлѣніемъ и его символическимъ значеніемъ. Повидимому, опытъ былъ слишкомъ труденъ. Лучшие результаты получились, когда тотъ же опытъ былъ продѣланъ со стаканами: пустой былъ покрытъ бѣлой картой, наполненный—черной. Здѣсь карта играла роль символа. Точно также зеленый флагъ на желѣзнодорожной службѣ имѣетъ одно значеніе, красный—другое. И это символы, значеніе которыхъ устанавливается съ помощью словеснаго объясненія. Если бы намъ самимъ пришлось догадываться о значеніи того или другого символа, мы могли бы поступать двоякимъ образомъ: или установить съ помощью множества однородныхъ ассоціацій, исключивъ привходящіе случайные элементы, значеніе символа, т. е. приучиться ожидать вслѣдъ за опредѣленнымъ поражающимъ наше вниманіе знакомъ опредѣленныхъ впечатлѣній, или путемъ логическаго умозаключенія изъ двухъ (по крайней мѣрѣ) совпаденій знака съ результатомъ составивъ сужденіе о значеніи символа. Такъ, при взглядѣ на географическую черту, если мы знаемъ расположеніе горъ въ странѣ, мы поймемъ, что извѣстные штрихи должны означать горы, или что почтовая труба надъ линіей дороги означаетъ,

что это почтовая дорога и т. д. Но такой трудный символъ, какъ извѣстный цвѣтъ, самъ по себѣ ничего не значащій, требуетъ или растолкованія, или множества однородныхъ воспріятій.

И такъ, какъ былъ поставленъ этотъ опытъ съ обезьянами, онъ указываетъ на послѣдній источникъ ассоціацій, отрицая наличность какого-либо разсужденія у животного. А между тѣмъ слово есть именно символъ, и если бы въ области звуковой удалось достигнуть такого же результата, т. е. пониманія символа, какой былъ полученъ при установленіи зрительной ассоціаціи у животного, это означало бы, что обезьяна стала понимать слово. Но Киннэманъ утверждаетъ, что опыты не обнаружили у испытуемыхъ имъ обезьянъ способности разсуждать. Удача достигалась только счастливымъ случаемъ (fortunate accident). Для того, чтобы выяснить отношеніе обезьяны къ числу, брали доску въ 3 метра длиной, на которой, въ разстояніи 10 сантиметровъ одинъ отъ другого, располагали 21 флаконъ, обернутый въ бумагу. Лишь одинъ изъ нихъ заключалъ пищу, и обезьяна должна была найти его и при повторныхъ опытахъ находить также. При каждой серіи опытовъ, состоявшей изъ 30, флаконъ съ пищей ставился въ опредѣленномъ мѣстѣ. При этомъ оказалось, что постепенно обезьяна научилась болѣе или менѣе вѣрно находить мѣсто нужнаго ей флакона: такъ, при второй серіи опытовъ (т. е. 30—60 опытовъ съ начала) она 5 разъ схватила флаконъ съ пищей, который стоялъ четвертымъ въ ряду, при третьей также лишь 5, потомъ два раза по 6, въ шестой серіи сразу 9 разъ (изъ 30), въ седьмой, однако, уже меньше—8, потомъ число удачъ подымается до 12 и потомъ опять падаетъ до 10. Значеніе этихъ цифръ становится ясно, если посмотрѣть, сколько разъ та же обезьяна хватается во время этихъ опытовъ за иные флаконы. Всего за 270 опытовъ она выбрала флаконъ правильно 61 разъ, тогда какъ пятый, пустой флаконъ былъ ею схваченъ 86 разъ, шестой 50 разъ, а потомъ наступаетъ сразу сильное паденіе чиселъ. При дальнѣйшихъ опытахъ, послѣ четвертаго, обезьяна почти совсѣмъ не трогаетъ 7-го флакона. Въ первой серіи опытовъ она 25 разъ изъ 30 бралась за флаконы дальше 7-го, во второй серіи уже только 7 разъ, а дальше или ни разу, или по одному разу. Такимъ образомъ, наблюдалась варіація между 4, 5 и 6-ымъ флаконами, и числа, приведенныя американскимъ изслѣдователемъ, указываютъ вовсе не на то, что обезьяна запомнила номеръ флакона съ пищей и, стало быть, обнаружила способность отвлеченнаго мышленія, а лишь на то, что она стала ориентироваться въ пространственномъ положеніи, которое принадлежит флакону на доскѣ. Если бы она умѣла говорить, она сказала бы: „вотъ гдѣ-то въ этомъ мѣстѣ стоитъ флаконъ съ пищей“. Вѣдь въ 9-ой серіи опытовъ (т. е. 240—270) она все еще нужнѣй флаконъ взяла 10 разъ, а ненужнѣй пятый—12. Это совершенно такая же способность ассоціировать два зрительныя впечатлѣнія, какую обнаружила и курница въ изложен-

ныхъ выше опытахъ, тѣмъ болѣе, что и самые флаконы имѣли различную форму. Къ этой ориентаціи въ пространствѣ обезьяна обнаружила, вообще, большую склонность и способность. Будучи посажена въ „лабиринтъ“, довольно сложное построение котораго открывало ей лишь одинъ способъ добраться до середины, гдѣ находилась пища, обезьяна (самецъ) въ течение 12 минутъ въ первый разъ достигла цѣли, а послѣ 113 опытовъ уже безошибочно, меньше, чѣмъ въ минуту, десять разъ подрядъ пробѣжала лабиринтъ. Посаженная въ то же приспособленіе кошка оказалась несостоятельной: за два часа она только приблизилась къ центру. Такимъ образомъ, опыты Киннэмана не обнаружили у вышшаго изъ представителей животнаго міра, обезьяны, способности къ мышлению. Мы видимъ здѣсь ту же способность къ зрительнымъ ассоціаціямъ, тѣ же дѣйствія подъ вліяніемъ сильнаго стимула, что у кошки, собаки, даже курицы, и если этотъ изслѣдователь полагаетъ, что разница между „умомъ“ животнаго и человѣческимъ, хотя и очень значительная, является только количественной, а не различіемъ по существу, то данныя, представленныя имъ, указываютъ, скорѣе, на это послѣднее. Животное не размышляетъ, не судитъ, а повинуется инстинкту или овладѣвшимъ его волей ассоціаціямъ. И въ области подражанія, поскольку опять-таки рѣчь идетъ не объ инстинктивномъ подражаніи и стадномъ чувствѣ этого животнаго, обезьяна оказалась далеко ниже своей репутаціи. Изслѣдователь на глазахъ у животнаго тридцать разъ подъ рядъ открылъ клѣтку ключомъ и потомъ положилъ ключъ передъ обезьяной, которая не сдѣлала изъ него никакого употребленія. Но другъ у друга животныя заимствовали навыки: когда обезьяна самецъ (обнаружившая, вообще, большія умственныя способности, чѣмъ самка) открыла дверь клѣтки съ помощью приспособленія, до котораго самка ни разу не дошла своимъ умомъ, она также усвоила это искусство. Указаніе на то, что обезьяна схватила оставленный ключъ зубами, даетъ нѣкоторыя указанія на то, что опытъ съ подражаніемъ не былъ обставленъ должнымъ образомъ, но во всякомъ случаѣ, стоитъ сопоставить съ этой беспомощностью животнаго розказни различныхъ популяризаторовъ, въ родѣ Брема, полученныя безъ критики изъ рукъ фантазеровъ—путешественниковъ или невѣжественныхъ людей, чтобы увидѣть, какъ далека дѣйствительность въ области зоопсихологіи отъ распространенныхъ антропоморфическихъ суетвѣрій.

Съ 1907 года изученіе психологіи животныхъ пошло еще болѣе быстрымъ ходомъ, благодаря тому живому интересу къ этой новой отрасли знанія, который проявили американскіе университеты. Новый свѣтъ, не связанный никакими предразсудками и традиціями старой Европы, создалъ спеціальныя кафедрныя по психологіи животныхъ въ Итакѣ (въ штатѣ Нью-Йоркѣ), Чикаго, Эннарборѣ (въ штатѣ Мичиганѣ), Вустерѣ (Worcester въ

штатѣ Массачусетсъ)¹⁾ и др. При этихъ кафедрахъ устроены обширныя лабораторіи, въ Чикаго издается спеціальныи журналъ, посвященный зоопсихологіи, *Journal of animal Behaviour*; здѣсь же появился чрезвычайно цѣнный синтетическій трудъ Маргариты Вешбернъ „*The Animal Mind. A. Text-book of Comparative Psychology*“ (1909) и т. под. Такимъ образомъ, вопросъ объ умственной жизни животныхъ получить, вѣроятно, въ ближайшемъ будущемъ новый обширный матеріалъ для своего разрѣшенія. Психологіи обезьянъ посвящено въ 1908—9 годахъ нѣсколько работъ американскими изслѣдователями, Watson и Haggerty. Первый изъ нихъ пользовался для своихъ опытовъ экземплярами, не привыкшими уже къ давнему заключенію въ клѣтку и не истощенными суточнымъ голоданіемъ (какъ у Торндайка), но недавно пойманными и хорошо накормленными. Приманкой служила особенная любимая пища, а задачи, которыя предлагались животнымъ, распались на двѣ группы: съ одной стороны, обычныя, уже описанныя выше пробы раскрыванія клѣтки съ помощью различныхъ средствъ, съ другой болѣе сложные приемы, употребленіе которыхъ зависятъ отъ воспріятія какого-нибудь отношенія: напр., надо было втянуть пищу въ клѣтку съ помощью извѣстнаго прибора, достать пищу изъ бутылки вилкой и т. п. Такіе опыты продѣлывались передъ животнымъ самимъ экспериментаторомъ съ цѣлью убѣдиться, насколько велика подражательная способность обезьяны. Первая группа опытовъ производилась при содѣйствіи ручной, хорошо уже выдрессированной и привыкшей къ экспериментатору обезьяной.

Трудные опыты съ подражаніемъ и употребленіемъ орудія не удавались вовсе; во второй группѣ Ватсонъ не находилъ также ни малѣйшихъ признаковъ дѣятельнаго подражанія. Американскій ученый, такимъ образомъ, отрицаетъ у обезьянъ „вышшія формы подражанія“, но признаетъ у нихъ „рудиментарную форму подражанія“, которую онъ считаетъ просто извѣстнаго рода реакціей. Это подражаніе не сознательно и не цѣлесообразно. Быть можетъ, правильнѣе было бы исходить изъ подражательныхъ способностей обезьяны, какъ извѣстнаго инстинкта ея, ограниченнаго въ своей дѣятельности опредѣленнымъ кругомъ возможностей. Подражаніе человѣку, прибѣгающему къ орудіямъ, неизвѣстнымъ и непонятнымъ животному, требуетъ такой степени разумности, которая, конечно, превышаетъ способности обезьяны. Путемъ дрессировки, создающей по-

¹⁾ См. Г. П. Челпановъ. „Объ американскихъ психологическихъ институтахъ“. М. 1911 (съ англійскимъ заголовкомъ: *American Psychological Laboratories*). Къ сожалѣнію, русскіе университеты очень отстали въ этомъ отношеніи, третируютъ психологію животныхъ свысока, не выписываютъ почти совершенно американскихъ психологическихъ журналовъ. Поэтому, въ дальнѣйшемъ изложеніи этой главы и вынужденъ опираться на выше приведенный рефератъ Макса Этлингера.

стоянныя ассоціаціи, возможно, какъ мы знаемъ, научить обезьяну производить рядъ сложныхъ дѣйствій, но это именно дрессировка, не соединенная съ сознательнымъ стремленіемъ къ цѣли съ помощью опредѣленныхъ средствъ, а просто рядъ заученныхъ движеній. При нѣкоторыхъ дѣйствіяхъ, напр. при исканіи блохъ другъ у друга, дѣятельность сопровождается характернымъ причмокивающимъ звукомъ, въ которомъ Ватсонъ видитъ простое разряженіе энергіи.

Какъ и слѣдовало ожидать, опыты съ подражаніемъ обезьянъ экземплярамъ того же вида оказались болѣе успѣшными. Американскій же исследователь, Хаджерти, экспериментировалъ съ 11 обезьянами изъ породы *Cebus* и *Macacus*, при чемъ подражать должны были обезьяны, не сумѣвшія найти выхода изъ клѣтки, тѣмъ, которыя его нашли. Оказалось, что такъ поставленные опыты (а, конечно, только такъ ихъ и слѣдовало ставить) обнаружили у обезьянъ способность быстро и точно воспроизводить движенія себѣ подобнаго. Какъ животное стадное, обезьяна, несомнѣнно, инстинктивно подражаетъ товарищамъ, или—вѣрнѣе—совершаетъ тѣ же дѣйствія, что и они: такъ же точно, въ силу инстинкта, а не сознательнаго соображенія, подражаютъ другъ другу овцы въ стадѣ, гуся въ стаѣ и т. п. Хаджерти резюмируетъ свое мнѣніе въ видѣ слѣдующихъ четырехъ положеній: 1. Подражающее животное сначала наблюдаетъ поведеніе другого животнаго. 2. Болѣе или менѣе непосредственно послѣ этого его собственное поведеніе измѣняется въ направленіи тѣхъ поступковъ, которые оно наблюдало. 3. Обыкновенно это измѣненіе происходитъ сразу. 4. Поведеніе измѣняется въ значительной степени и является въ случаѣ успѣшности точной копіей замѣченныхъ поступковъ. Эти положенія, какъ видимъ, исключаютъ рѣчь о сознательности дѣйствій у животнаго: никакого колебанія, никакого соображенія о надобности, а просто точная передача образа, запечатлѣвагося въ сознаніи и передающагося волѣ для воспроизведенія. Инстинктивный характеръ этого подражанія подчеркивается еще любопытнымъ наблюденіемъ Хаджерти, что подражаніе оказывается гораздо болѣе успѣшнымъ, когда оно вызывается гнѣвнымъ чувствомъ, желаніемъ подражать съ незнакомымъ животнымъ, а не тогда, когда обезьяна подражаетъ другой, къ которой она уже привыкла. Несомнѣнно, что въ первомъ случаѣ вниманіе гораздо острѣе: нельзя упустить ни одного движенія соперника; инстинктъ велитъ отвѣтить на всякое его нападеніе такимъ же умѣлымъ жестомъ, и подражаніе совершается рефлекторно. Но, научившись открывать клѣтку, положимъ, съ помощью задвижки, ни одна самая способная обезьяна, навѣрное, не устроитъ сама ничего подобнаго, т. е. не приладитъ самой простой задвижки къ двери. *Творчество въ области воспринятаго съ помощью подражанія является способностью только одного человѣка. Такимъ образомъ, если бы обезьяна или другое высшее животное научилось подражать звукамъ че-*

ловѣческой рѣчи, даже ассоціировать рядъ словъ съ поступками или зрительными образами (у собаки это нерѣдко), то все же это не былъ бы даже зародышъ человѣческой рѣчи, потому что важнѣйшій элементъ ея, самостоятельное творчество, отсутствовалъ бы. Нельзя представить себѣ попугая, говорящую собаку, скворца, которые попытались бы изъ знакомыхъ имъ словъ или по способу этихъ послѣднихъ образовать фразу или новое слово. Ни одно изъ животныхъ даже въ самой отдаленной степени не приближается къ этой способности: его духовная жизнь идетъ по совершенно другой линіи, внѣ творчества рѣчи. Разовьется-ли то или другое животное до способности говорить, этого никто, конечно, не знаетъ, но признаковъ такого развитія пока нѣтъ ¹⁾.

ГЛАВА III.

Внутренняя рѣчь.

Рѣчь человѣка возникла въ тотъ моментъ, когда онъ созналъ, что звукъ, *инстинктивно* имъ произведенный, *соответствуетъ* извѣстному чувству или представленію его. Съ этого момента крикъ превратился въ сознаніи человѣка въ *означеніе* чувства или представленія, въ первичное слово. Въ животномъ мірѣ не образъ, но чувство вызываетъ крикъ: курица не созываетъ цыплятъ потому, что увидѣла ястреба, но ужасъ при видѣ этой птицы разряжается въ формѣ крика, инстинктивно понимаемаго птенцами ея. Въ условіяхъ ея теперешней жизни, пожалуй, было бы *разумнѣе* со стороны курицы не кричать, а спѣшить подъ надежную защиту человѣка. Но курица, когда кричитъ, конечно, не соображаетъ о разумности своего поведенія, а просто не можетъ не кричать и не замѣчаетъ того, что кричитъ. Если бы она это замѣтила и сознала, въ родѣ того, что подумала бы про себя: „я кричу потому, что испугалась; мой крикъ означаетъ испугъ, а другимъ крикомъ я созываю цыплятъ“,—тогда у курицы возникло бы то, чѣмъ теперешній говорящій человѣкъ отличается отъ животнаго, т. е. внутренняя рѣчь, слово, какъ выраженіе сознанія. Человѣкъ можетъ руководиться въ своихъ поступкахъ образами, которые подчиняютъ себѣ его сознаніе; онъ можетъ дать волю потоку зрительныхъ или слуховыхъ образовъ проноситься въ его сознаніи, но, когда онъ *мыслитъ*, составляетъ *сужденія*, то онъ мыслитъ только словами. Слова могутъ сопровождаться образами, но могутъ оставаться и только словами, только отвлеченными символами вещей и отношеній. Слова могутъ ассоціироваться съ образами, но также и другъ съ другомъ, не выходя изъ предѣловъ

¹⁾ Къ вопросу о теченіи образовъ въ психической жизни животныхъ мнѣ еще придется вернуться при анализѣ отношеній между словомъ и образомъ въ главѣ о душевной жизни глухонѣмыхъ.

чисто словесныхъ ассоціацій: они могутъ вызывать тѣ или другія чувства, но могутъ также оставаться совершенно безцвѣтными въ смыслѣ чувственной окраски, быть лишь выраженіемъ мысли. Такимъ образомъ, внутренняя рѣчь (или мышленіе словами) является существеннѣйшимъ условіемъ въ образованіи рѣчи внѣшней, произносимой. Съ другой же стороны, такъ какъ пониманіе невозможно безъ сознанія, а сознаніе находитъ свое выраженіе въ видѣ мышленія словами (особые случаи, какъ пониманіе чертежей, формулъ и т. п., не требующее словъ, только подтверждаютъ приведенное сужденіе, такъ какъ обычный способъ общенія между людьми — та или иная форма рѣчи), то внутренняя рѣчь необходима для пониманія другихъ. Такъ, русская внутренняя рѣчь нисколько не поможетъ человѣку, не знающему французскаго языка и попавшему въ общество людей, говорящихъ по-французски. Такимъ образомъ, какъ для разговора съ другими, такъ и для пониманія ихъ человѣкъ долженъ обладать лабораторіей языка, внутренней рѣчью. Чужія слова воспринимаются, какъ комплексы звуковъ, въ слова они превращаются для насъ уже нашимъ собственнымъ аппаратомъ рѣчи (понимая подъ нимъ и слуховые, двигательные и зрительные центры рѣчи), который, въ свою очередь, приводитъ въ движеніе органы, необходимые для произнесенія словъ. Каждое слово, которое мы услышимъ и повторимъ, проходитъ два пути: отъ внѣшняго міра къ нашей внутренней рѣчи, отъ этой послѣдней къ внѣшней рѣчи, къ говоренію. Слѣдовательно, если испортится (или отсутствуетъ) одинъ изъ этихъ путей, то рѣчь въ человѣческомъ смыслѣ этого слова прекращается, какъ и тогда, когда повреждены самые центры рѣчи. Отсюда ясно, какъ важно остановиться на этомъ процессѣ претворенія сознанія во внутреннюю рѣчь.

Удивительнымъ образомъ, эта форма мышленія сдѣлалась предметомъ систематическихъ наблюденій лишь во второй половинѣ 19 вѣка, хотя наличность ея не ускользнула отъ вниманія уже очень старыхъ наблюдателей. Аврелій Августинъ въ своемъ сочиненіи „De Trinitate“ дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: „Si verba non sonant, in corde suo dicit utique qui cogitat“ (если не звучатъ слова, въ сердцѣ своемъ какъ бы говорить тотъ, кто думаетъ¹⁾). Для христіанскихъ мистиковъ вопросъ о внутренней рѣчи получилъ значеніе практическое: наблюдая за выраженіемъ своей мысли въ словѣ, они приходили въ смущеніе, какъ отличить эту произносимую ими про себя рѣчь отъ внушенной посторонней силы. Такъ, католическая мистичка 16 вѣка, Тереза де Ахумада, такъ отличала свою внутреннюю рѣчь отъ „сверхъестественныхъ словъ“, т. е. слуховыхъ галлюцинацій, основанныхъ, въ свою очередь, на ней же, но сводившихся болѣе къ внушенію высшей силы. „Мнѣ хотѣлось бы

¹⁾ Эти и слѣдующіе примѣры заимствованы изъ статьи Леруа: „Le langage intérieur“ (Annales Medico-psychologiques de l'aliénation mentale et de la Médecine legale des aliénés. 1905, стр. 353—375).

объяснить, чѣмъ слова Духа Св. отличаются отъ тѣхъ, которыя нашъ разумъ образуетъ внутри насъ, или которыя онъ говоритъ самъ себѣ. Душа, которая услышитъ божественныя слова, ясно различитъ ихъ происхожденіе, потому что между ними и другими словами существуетъ рѣзкое различіе. Когда складываетъ свои слова разумъ (пониманіе, l'entendement), онъ поступаетъ, какъ человѣкъ, который ведетъ разговоръ; а когда слова идутъ отъ Бога, разумъ внимаетъ тому, что говорить другой. Въ первомъ случаѣ онъ ясно видитъ, что онъ не слушаетъ, но самъ поступаетъ, и слова, которыя онъ образуетъ, заключаютъ въ себѣ что-то глухое, фантастическое, лишены той ясности, которая составляетъ неотдѣлимую особенность Божьихъ словъ. Въ первомъ случаѣ мы можемъ обращать наше вниманіе и на другой предметъ, подобно тому, какъ лицо говорящее можетъ замолчать; но когда намъ говоритъ самъ Богъ, это уже не въ нашей власти“. Такъ оцупью, но достаточно опредѣленно отмѣчено различіе между мыслью, которая переходитъ съ предмета на предметъ, и галлюцинаціей, охватывающей вниманіе съ полнымъ могуществомъ. Однако, этотъ родъ „внушенія“ мистики сами не признаютъ галлюцинаціями. Главный представитель той мистической школы, изъ которой вышла названная сейчасъ мистичка, Жанъ-Де-Ла-Круза (1542—91) выражается по этому предмету въ слѣдующихъ словахъ: „Разумъ образуетъ обыкновенно слова, которыя мы назвали послѣдовательными, такъ какъ, углубляясь самъ въ себя, онъ съ силой предается изысканію какой-нибудь истины. Онъ бываетъ всецѣло поглощенъ этимъ занятіемъ; онъ дѣлаетъ въ это время чрезвычайно вѣрные сужденія по своему предмету, совершая ихъ легко, отчетливо, ясно; онъ открываетъ вещи, которыхъ онъ раньше не зналъ. Ему кажется, что трудится не онъ самъ, но что кто-то другой ему говоритъ и отвѣчаетъ, что онъ его внутренне наставляетъ, и поистинѣ, такъ можно думать и можно этому вѣрить; ибо онъ говоритъ самъ съ собой, и онъ самъ отвѣчаетъ себѣ, какъ если бы одинъ человѣкъ говорилъ съ другимъ человѣкомъ, и дѣйствительно, это происходитъ именно такимъ образомъ: вѣдь, хотя это все производитъ самъ разумъ, тѣмъ не менѣе Духъ Св. нерѣдко посылаетъ ему свою помощь, чтобы онъ могъ складывать свои мысли, вести разсужденіе, находить слова, соотвѣтствующія истинѣ, о которой онъ размышляетъ. Отсюда происходитъ, что онъ произноситъ эти слова, и что онъ говоритъ ихъ самъ себѣ, какъ будто бы это была самостоятельная, состоящая изъ словъ рѣчь“. Такъ христіанскіе мистики путемъ глубокаго изученія своей духовной жизни уже подходили къ пониманію одного изъ важнѣйшихъ психологическихъ актовъ. Въ 18 вѣкѣ нѣсколько писателей упоминаютъ о внутренней рѣчи. Такъ, аббатъ Рпшаръ въ своей „Théorie des songes“ (1766) уже почти выражается современнымъ языкомъ. „Привычка постоянно связывать идеи съ изобразительными знаками (avec les signes représentatifs)—говоритъ онъ—является причиной того,

что разумѣніе или душа никогда не образуетъ ни одной мысли безъ того, чтобы воображеніе не представило ей въ то же самое время подходящихъ знаковъ или названій. Когда размышляешь, то говоришь и выражаешься про себя (on s'exprime intérieurement)“. Въ 19 вѣкѣ начинаются болѣе пристальныя попытки понять значеніе рѣчи для мысли.

Уже въ 1845 году психіатрія беретъ за эту область знаній. Авторъ сочиненія о помѣшательствѣ и галлюциѣ, Моро, замѣчаетъ слѣдующее: „Въ нормальномъ состояніи *мыслить* это значитъ внутренно говорить; въ томъ случаѣ, когда мыслить галлюцинирующій, онъ говоритъ громко; ибо душа не можетъ высказать свою мысль, не слыша ея, въ виду особеннаго состоянія, въ которомъ она находится, состоянія, при которомъ всѣ продукты воображенія съ необходимостью принимаютъ формы, доступныя органамъ нашихъ чувствъ. Итакъ, когда мы мыслимъ, мы умственно говоримъ. Ни одна идея не можетъ явиться у насъ безъ посредства написаннаго или произносимаго знака, который ее изображаетъ. Достаточно внимательно присмотрѣться къ себѣ, чтобы замѣтить, что мысля мы какъ бы слышимъ звуки словъ и рѣчей, которыя переводятъ (traduisent) нашу мысль; мы слышимъ ихъ особеннымъ образомъ, въ воображеніи, мы чувствуемъ, однако, что это слышаніе не такъ уже далеко отъ дѣйствительнаго“. Нужно было, чтобы это чрезвычайно важное для психіатріи наблюденіе получило санкцію со стороны какого-нибудь общепризнаннаго авторитета, чтобы оно крѣпко утвердилось въ наукѣ. Это и было сдѣлано школой Шарко, которая разработала вопросъ о значеніи различныхъ формъ внутренней рѣчи для объясненія галлюцинацій. Въ педагогикѣ же этотъ вопросъ еще не получилъ должнаго мѣста, хотя совершенно ясно, что обладатели различныхъ типовъ внутренней рѣчи различнымъ образомъ воспринимаютъ сообщаемое имъ знаніе.

Шарко установилъ три типа внутренней рѣчи, т. е. три рода мышленія словами. По ученію его школы, мыслить можно словами произносимыми, слышимыми или написанными; послѣднее не есть память зрительная, мышленіе образами, но есть мышленіе образами словъ, словами написанными или напечатанными. О томъ, какъ образное мышленіе относится къ мышленію словами, мы находимъ въ клиническихъ лекціяхъ Шарко (Leçons sur les maladies du système nerveux. 1890. III. 180—188) очень яркій примѣръ. Психіатръ описываетъ случай челоѣка, который до болѣзни обладалъ живой образной памятью, но потомъ утратилъ ее и пережилъ въ соотвѣтствіи съ этимъ рѣзкое измѣненіе своей психики. „Не будучи въ состояніи представлять себѣ видимое и сохранивъ въ совершенствѣ отвлеченную память, я ежедневно испытываю удивленіе при видѣ вещей, которыя я уже давно долженъ знать. Мои ощущенія или, вѣрнѣе, мои воспріятія безконечно новы; мнѣ кажется, что въ моемъ существованіи произошла полная перемѣна и, разумѣется, вмѣстѣ съ тѣмъ значительно

измѣнился мой характеръ. Прежде я былъ впечатлительнымъ энтузіастомъ и обладалъ огромнымъ воображеніемъ; теперь я спокоенъ, холоденъ, и моя фантазія нигде не увлекаетъ меня. Такъ какъ дѣятельность внутренняго воображенія у меня совершенно отсутствуетъ, то значительно измѣнились и мои сны. Теперь я вижу во снѣ только *слова*, тогда какъ прежде мои сновидѣнія состояли изъ зрительныхъ образовъ. Приведу примѣръ: попросите меня представить себѣ башню собора Notre Dame, пасущагося барашка, судно, потерпѣвшее крушеніе на морѣ, и я скажу вамъ, что, умѣя прекрасно различать всѣ эти вещи и отлично зная, о чемъ идетъ рѣчь, я не представляю себѣ рѣшительно ничего съ помощью внутренняго зрѣнія. Теперь я *принужденъ говорить себѣ то, что я хочу удержатъ* въ памяти, тогда какъ прежде мнѣ было достаточно фотографировать это съ помощью зрѣнія“. Указанный случай свидѣтельствуетъ о томъ, что съ перемѣной основной формы мысли на сцену выступаетъ иная форма, и то же можно сказать о видахъ внутренней рѣчи. Не подлежитъ сомнѣнію, что нормальный челоѣкъ пользуется весьма сложнымъ аппаратомъ для мышленія словами, а не какой-либо обособленной формой его. Такъ, весьма вѣроятно, что таблица умноженія удерживается въ памяти съ помощью слуха, тогда какъ при правописаніи мы пользуемся памятью о движеніяхъ, необходимыхъ для написанія слова ¹⁾. Эта способность нашего творческаго воображенія пользоваться при построеніи нашей духовной жизни матеріаломъ, доставляемымъ различными чувствами, представляетъ источникъ, откуда вытекло и творчество рѣчи. Формула Потебни: „слово есть орудіе созданія единства образа“ ²⁾ получаетъ свое блестящее подтвержденіе въ современной психологіи, которая удѣлила большое вниманіе внутренней рѣчи, какъ характерной способности челоѣка.

Несмотря на то, что рѣзкое обособленіе типовъ внутренней рѣчи едва ли возможно, все-таки у каждаго изъ людей выступаетъ отчетливѣе одинъ изъ нихъ. Таковъ, напр., одинъ изъ первыхъ изслѣдователей внутренней рѣчи, французскій писатель Эджеръ ³⁾, который увѣренъ въ томъ, что всегда и всѣ люди думаютъ про себя слышимыми словами. „Моя внутренняя рѣчь (слово, *la parole intérieure*) является воспроизведеніемъ моего голоса“, опредѣляетъ Эджеръ, и при этомъ прибавляетъ: „Но, конечно, эта особенность не является постоянной; когда я вспоминаю слова услышанныя или прочитанныя, я отчетливо слышу въ себѣ слова и фразы, произносимыя съ выраженіемъ, которое часто варьируется въ зависимости отъ того, кто ихъ произноситъ“. Этотъ психологъ полагаетъ, что „вну-

¹⁾ E. Peillaube. Les images. Essai sur la mémoire et l'imagination. Paris. 1910.

²⁾ Ср. Д. Н. Овсянко-Куликовскій. Языкъ искусство. 1895, стр. 15.

³⁾ V. Egger. La parole intérieure. Essai de psychologie descriptive. Paris. 1881. (2-е изд. 1909).

треннее слово является обыкновенно эхомъ ослабленнымъ, но вѣрнымъ нашего индивидуального голоса; но оно можетъ подражать также и другимъ голосамъ; самые различные тембры, самыя странныя произношенія и съ тѣмъ же правомъ все звуки природы могутъ подвергнуться внутреннему воспроизведенію. А голосу нашему, наоборотъ, способность подражанія присуща въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ. Между тѣмъ способность внутренняго воспроизведенія совершенно неограничена: для того, чтобы звукъ былъ воспроизведенъ ею, достаточно, чтобы онъ былъ замѣченъ въ то время, когда дошелъ до нашего слуха, и чтобы затѣмъ память дошла до него, согласно своимъ законамъ. Другой человѣкъ, принадлежащій къ тому же типу, выражается еще болѣе опредѣленно: „Я слышу внутри себя всю дѣятельность своей мысли; я не говорю ея, она мнѣ говорить. И мое слово можетъ только выразить продиктованную мнѣ мысль, надъ которой я не властвую“. Этотъ пассивный характеръ слухового (аудитивнаго) типа внутренней рѣчи подтверждается, хотя бы такого рода замѣчаніями наблюдателей своей духовной жизни. „Я не произношу тѣхъ словъ, которыя я слышу, когда думаю; мнѣ кажется, что я не оказываю никакого вліянія на ихъ возникновеніе. Мнѣ представляется, что воля остается пассивной, и что слова слѣдуютъ одно за другимъ вѣ всякаго усилія съ ея стороны. Я думаю словами; мой умъ почти лишень зрительныхъ образовъ“. Для вопроса о происхожденіи языка не лишена интереса жалоба Эджера на то, что въ извѣстныхъ состояніяхъ (напр., во время безсонницы) мы не можемъ заставить нашу мысль замолчать; мы ее слышимъ тогда, потому что у нея есть свой голосъ. Мы не только ее слышимъ, но слушаемъ: она противорѣчитъ нашимъ желаніямъ, нашему рѣшенію; она изумляетъ, тревожитъ насъ; она явилась неожиданно и какъ врагъ: мы стараемся ее побѣдить, усмирить, обратить на безразличные предметы, чтобы заставить замолчать“. Отсюда уже всего одинъ шагъ до галлюцинацій, до скратовскаго „демона“, обращающагося съ властнымъ словомъ предостереженія къ аѳинскому мудрецу, до таинственнаго голоса, который приказывалъ Жаннѣ Д'Аркъ вооружиться и т. п.

Такъ, въ клиникѣ проф. В. М. Бехтерева одинъ душевно-больной жаловался на то, что боленъ „мышленіемъ“. По его словамъ, „самъ онъ будто бы мыслить не можетъ, такъ какъ каждый разъ, когда онъ начнеть мыслить, всегда мысли его тотчасъ же произносятся впередъ; онъ старается переменить ходъ мыслей и вновь за него мыслить впередъ. Этотъ разговоръ онъ слышитъ всегда лѣвымъ ухомъ. Голосъ, который больной слышитъ уже въ продолженіе 13 лѣтъ и притомъ всегда въ лѣвое ухо, влоднѣ ясный, мужской, но съ различнымъ характеромъ, то болѣе тонкій, то болѣе грубый, а иногда сиповатый“. Это вышпательство какъ будто посторонней рѣчи въ ходъ нашего логическаго мышленія представляетъ, несомнѣнно, явленіе болѣзненное, выраженіе диссоціаціи личности. Но возможно

оно, говоря словами Потепни („Мысль и языкъ“, 2 изд. 1892, стр. 83), лишь при условіи „существованія въ душѣ звукового образа, какъ цѣли“. Въ концѣ концовъ, эти слуховыя галлюцинаціи, основанныя на ненормальныхъ отправленіяхъ дѣятельности внутренней рѣчи, до такой степени овладѣваютъ сознаниемъ больного, что онъ уже перестаетъ ориентироваться въ томъ, что относится къ міру дѣйствительности, и что принадлежитъ къ міру его воображенія. Постепенно больной доходитъ до того, что почти одновременно отвѣчаетъ на вопросы доктора и разговариваетъ съ существомъ, которое въ немъ живетъ. Это послѣднее получаетъ также свое объясненіе изъ міра галлюцинацій и такъ овладѣваетъ сознаниемъ больного, что для реальныхъ впечатлѣній остается уже все меньше и меньше мѣста. Связная рѣчь, которую прежде держалъ овладѣвшій имъ духъ, теперь превращается въ безсвязныя выкрикиванія, а такъ какъ настроеніе больного угнетенное и растерянное, то и выкрикиванія принимаютъ непріятный для него характеръ, превращаются въ брань, насмѣшки и т. п.¹⁾ Стоитъ однако съ этими галлюцинаціями сравнить заявленіе другого больного о томъ, что „преслѣдователи его устроили у него въ глоткѣ телефонъ, отъ чего его языкъ дрожить“²⁾, или жалобы больной, страдавшей словесными галлюцинаціями, на дрожаніе ея языка и т. п., чтобы видѣть, что въ той рѣзкой формѣ, какую принимаютъ процессы нормальной психической жизни при разстройствѣ ея, выступаетъ, какъ нѣчто самостоятельное, и иная форма внутренней рѣчи. Ощущаемое въ болѣзненномъ состояніи „дрожаніе“ языка при мысли представляетъ иннервацію органовъ рѣчи при мышленіи у весьма многихъ людей. Если слуховая (аудитивная) форма внутренней рѣчи является состояніемъ пассивнымъ, то эта форма двигательная (моторная) можетъ быть характеризована, какъ по преимуществу активная. Вообще, въ нашей духовной жизни двигательные образы играютъ чрезвычайно видную роль; въ мышленіи же, совершающемся съ помощью словъ, ихъ участіе, вѣроятно, необходимо всегда при активномъ отношеніи къ содержанію мысли.

„Когда, спокойно усѣвшись, я зажмуриваю глаза—разсказываетъ одинъ изъ изслѣдователей моторнаго типа внутренней рѣчи, вѣнскій психологъ Штрикеръ—и когда я стараюсь при этомъ вызвать въ своей памяти нѣсколько хорошо извѣстныхъ стиховъ, мнѣ кажется при этомъ, если я сосредоточиваю свое вниманіе на своихъ органахъ рѣчи, что я про себя внутренне говорю. Губы мои сомкнуты; зубы плотно сжаты и остаются въ совершенной неподвижности, языкъ также неподвиженъ и находится въ соприкосновеніи со всемъ, что его окружаетъ. Даже сосредоточивъ все

¹⁾ См. I. Berze. Ueber das Bewusstsein der Hallucinirenden. Jahrbücher für Psychologie und Neurologie 1897. XVI, 285—331).

²⁾ I. Séglas. Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses. Paris. 1895, стр. 12—18.

свое вниманіе на органахъ рѣчи, я не могу открыть ни малѣйшаго слѣда движеній, и тѣмъ не менѣе мнѣ кажется, что я произношу тотъ стихъ, о которомъ думаю“. Другой наблюдатель, Балле, говоритъ про себя слѣдующее: „У меня двигательные образы обладаютъ въ обычныхъ условіяхъ мышленія чрезвычайно сильной интенсивностью. Я отчетливо ощущаю, что, кромѣ исключительныхъ случаевъ, я не вижу и не слышу своей мысли, но умственно произношу ее“. Нѣкоторые изъ наблюдателей своей внутренней рѣчи выражаются еще болѣе категорически. Такъ, одинъ юристъ, прокуроръ, который по обязанности службы долженъ былъ много говорить, естественнымъ образомъ *привыкъ* думать въ формѣ произносимой имъ рѣчи. „Я совершенно не могу думать иначе, какъ говоря про себя умственно. И даже это умственное произношеніе мысли оказывается для меня недостаточнымъ. Это лишь минимумъ того, что мнѣ нужно! Я думаю *быстро* лишь тогда, когда говорю громко. Въ кабинетѣ мысль меня увлекаетъ, работа становится тягостна; и наоборотъ, я всегда бываю изумленъ, какъ широко развивается моя мысль, какъ-то сама собой, когда я говорю публично о дѣлахъ, къ которымъ я даже довольно плохо подготовился, и къ которымъ я боялся приступать“. Это цѣнное заявленіе, вѣроятно, встрѣтитъ полное подтвержденіе со стороны многихъ, которые по своимъ профессиональнымъ занятіямъ должны много говорить, т. е. со стороны юристовъ, учителей, профессоровъ. О томъ, что и при молчаливомъ мышленіи словами произносимыми происходитъ болѣе или менѣе значительная иннервация органовъ произношенія, свидѣтельствуетъ наблюденіе, которое сдѣлалъ надъ собой Штрикеръ и которое легко проверить каждому. Онъ старался напр. думать о звукѣ *б* со сжатыми губами и ощущалъ при этомъ очень явственное напряженіе въ обѣихъ губахъ, при звукѣ *д* движеніе, которое совершалъ непроизвольно кончикъ языка, при звукѣ *к* толчокъ, который дѣлалъ языкъ въ своемъ основаніи. Точно также, думая про себя латинскія слова *pater* и *mater*, онъ ощущалъ очень ясно различіе между начальными звуками этихъ двухъ словъ, и передъ этимъ ощущеніемъ отступали на задній планъ менѣе сильныя и отчетливыя ощущенія непроизвольнаго движенія при мысли о дальнѣйшемъ сочетаніи звуковъ.

Эти моторные образы словъ чрезвычайно рѣдко выступаютъ въ чистомъ своемъ видѣ, обособленно отъ акустическихъ. Даже люди, обладающіе ярко выраженной моторной формой внутренней рѣчи, какъ напр. американскій психологъ Даджъ (Dodge), находятъ у себя наличность слуховыхъ словесныхъ образовъ. „При отчетливомъ познаніи акустическаго слова, — говоритъ онъ, — слова, сначала познаваемого не отчетливо, въ сознаніи выплываютъ моторныя словесныя представленія, но обыкновенно они сопровождаются отзвукомъ акустическаго воспріятія“. Въ другомъ мѣстѣ тотъ же изслѣдователь прибавляетъ: „Я принужденъ думать, что тотъ элементъ сознанія, который *дѣлаетъ представленія движенія представ-*

леніями о звукѣ и словѣ, есть не что иное, какъ извѣстнаго рода локализованныя, блѣдныя, акустическія представленія, которыя у меня достигаютъ степени самостоятельнаго, отчетливаго воспроизведенія лишь въ видѣ исключенія. Однако, въ всякаго сомнѣнія, моторныя представленія являются у меня рѣшительнымъ моментомъ въ представленіяхъ словъ. Акустическій элементъ, — хотя, вѣроятно, и онъ постоянно участвуетъ въ нихъ, — даетъ отчетливому цѣльному представленію о звукѣ лишь неопредѣленную полноту, которая отличаетъ его отъ простаго представленія движенія и положенія“. Слѣдуетъ отмѣтить, что самъ Даджъ является по своей профессіи университетскимъ преподавателемъ, т. е. человекомъ, который по необходимости думаетъ говоря. Иногда эти два вида внутренней рѣчи какъ бы расщепляются. Одинъ изъ корреспондентовъ Ст.-Поля сдѣлалъ слѣдующее любопытное заявленіе: „Вообще говоря, я произношу слова своей мысли; при этомъ, произнося ихъ умственно, я слышу свой голосъ. Иногда моя мысль принимаетъ форму діалога; тогда я слышу, какъ голосъ челоуѣка, мнѣніе котораго мнѣ извѣстно, дѣлаетъ мнѣ возраженія; умственно я произношу слова отвѣта... Моя мысль принимаетъ эту форму безъ всякаго добровольнаго вмѣшательства съ моей стороны“. Съ другой стороны, даже тѣ чисто аудитивные типы внутренней рѣчи, какими считаютъ себя Эджеръ и подобные ему, несомнѣнно, обладаютъ и двигательными представленіями словъ. Возраженія противъ этого пониманія, выдвинутыя Болдуиномъ¹⁾, основаны, какъ мнѣ кажется, лишь на недоразумѣніи. Весь этотъ вопросъ такъ важенъ для пониманія языка, какъ творчества, что я остановлюсь на замѣчаніяхъ названнаго американскаго психолога. „Мы узнаемъ и понимаемъ такія слова, которыхъ не умѣемъ произнести и которыхъ никогда не писали; это узнаваніе должно совершаться при помощи зрительныхъ или слуховыхъ образовъ. О роли, которую у меня самого играютъ то зрительныя, то двигательныя воспоминанія, можно судить по тому, что, когда я собираюсь говорить на какомъ-нибудь языкѣ, кромѣ англійскаго, мнѣ прежде всего приходятъ на умъ нѣмецкія слова; а когда я сажусь писать на иностранномъ языкѣ, у меня непрерывно всплываютъ тотчасъ же французскія слова. Это значитъ, что знаніе нѣмецкаго языка носить у меня рѣчедвигательный и слуховой характеръ, такъ какъ этому языку я учился путемъ разговоровъ въ Германіи, между тѣмъ какъ знаніе французскаго языка, который былъ усвоенъ въ школѣ съ помощью чтенія и письменныхъ упражненій, носить зрительный и рукодвигательный характеръ“. Именно вслѣдствіе этого двигательные образы французскихъ словъ не укрѣпились въ сознаніи Болдуина, и онъ не могъ *говорить* по французски, т. е. былъ *нѣмъ* съ точки зрѣнія среды, говорящей только по французски. Таковую же необходимость

¹⁾ Д. М. Болдуинъ. Духовное развитіе дѣтскаго индивидуума и челоуѣческаго рода. (Рус. пер. Москва, 1912). II. 160.

наличности двигательной внутренней рѣчи можно извлечь и изъ дальнѣйшаго возраженія Болдуина: „Интересно также отмѣтить радостное узнаваніе, обнаруживаемое маленькими дѣтьми, когда они правильно произносятъ какой-нибудь новый гласный или согласный звукъ. Въ этомъ случаѣ, очевидно, воспоминаніе правильнаго звука не можетъ исходить изъ двигательныхъ центровъ“. Противъ этого можно возразить слѣдующее: слышащее лицо контролируетъ свою рѣчь съ помощью слуха (глухонѣмые съ помощью мускульнаго ощущенія). Когда слуховой образъ слова, запомнившася изъ чужой рѣчи, совпадаетъ съ тѣмъ слуховымъ же образомъ, какой дается намъ нашимъ собственнымъ произношеніемъ, тогда мы убѣждаемся въ томъ, что произносимъ правильно. То радостное изумленіе, о которомъ говоритъ Болдуинъ, является лишь выраженіемъ этого сознанія и послѣдствіемъ того, что двигательный образъ слова наконецъ даетъ удовлетворительное слуховое ощущеніе. Безъ двигательныхъ образовъ вообще едва-ли возможно какое-либо дѣйствіе человѣка, а стало быть и рѣчь. „Двигательный образъ входитъ, какъ существенный элементъ, въ весьма значительное число умственныхъ комбинацій (de combinaisons mentales), хотя зачастую о наличности его и не догадываются. Воспоминаніе о движеніи зиждется на двигательныхъ образахъ; когда эти образы разрушены, воспоминаніе о движеніи утрачивается, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже, что особенно любопытно, теряется и способность выполнить движеніе. Патологія даетъ намъ рядъ примѣровъ этого въ моторной афазіи, въ аграфіи“¹⁾. Дикарь обводитъ рукой рисунокъ, чтобы лучше запомнить очертанія предмета, изображеннаго на картинкѣ; больной, потерявшій способность читать, оказывается въ состояніи прочесть слово, обводя пальцами буквы и возстановляя въ своей памяти знакомые ему двигательные образы написанія словъ.

Въ генеалогіи развитія языка оба типа внутренней рѣчи занимаютъ мѣсто рядомъ. Нужно было, чтобы воспринятый слухомъ звукъ былъ сознанъ, какъ знакъ чувства или образа, т. е. былъ воспринятъ, какъ слово, и чтобы затѣмъ явилось его двигательное представленіе. Но могъ идти этотъ же процессъ и обратнымъ путемъ: произнесенный звукъ превратился въ сознаніе произнесшаго его въ *знакъ*, въ слово, и создатель такимъ образомъ первичное двигательное представленіе слова, которое при произнесеніи его было воспринято и слухомъ. Т. наз. аудитивно-моторный типъ является первичнымъ типомъ внутренней рѣчи. На почвѣ развитого въ естественныхъ условіяхъ жизни зрительнаго воображенія могъ развиваться третій видъ этой послѣдней, наличность котораго несомнѣнна у грамотныхъ людей. Чтобы рассмотреть, какъ это происходитъ, я приведу нѣсколько фактовъ. Вотъ самонаблюденіе юноши 18 лѣтъ: „Я

1) A. Binet. La psychologie du raisonnement. 3 éd. Paris. 1902.

думаю всегда про себя, постепенно развивая мысль. Если учу что-нибудь, читаю всегда однимъ глазами, не шевеля губами. Совершенно то же было въ дѣтствѣ. Помню, будучи еще совсѣмъ мальчуганомъ, я молился даже всегда мысленно, *не произнося* словъ молитвы. Въ младшихъ классахъ мнѣ приходилось съ любопытствомъ наблюдать за товарищами, учившими что-либо вслухъ. Иногда, когда я не могъ отнестись со вниманіемъ къ читаемому или учимому, я пытался повторять это громко, но при этомъ я произносилъ слова совершенно машинально, почти не понимая ихъ значенія. Вообще, я никакъ не могу сосредоточить вниманіе на чемъ-нибудь, произносимомъ мною вслухъ: понятно, это не относится къ обыкновенному разговору. Когда я не могу уловить какую-нибудь мелодію, я стараюсь припомнить обстоятельства, при которыхъ я ее слышалъ, и тогда въ большинствѣ случаевъ она *является вдругъ* совершенно отчетливо. Всѣ мои сны, очень, впрочемъ, рѣдкіе, *необыкновенно ярки и послѣдовательны* до того, что иногда въ теченіе цѣлаго дня я не могу освободиться отъ впечатлѣнія, оставленнаго ими. Привожу еще одно замѣчаніе, которое, можетъ быть, не будетъ для васъ безынтересно. Не знаю, впрочемъ, можетъ быть, это общее явленіе? Именно: почти каждому слову у меня соотвѣтствуетъ вполне опредѣленный и постоянный образъ, въ видѣ какой-нибудь фигуры въ той или иной позѣ, съ тѣмъ или инымъ выраженіемъ. Особенно отчетливо эти образы являются при словахъ, выражающихъ просьбу или угрозу. Теперь это нѣсколько ослабѣло, но года два-три тому назадъ при каждомъ болѣе или менѣе живомъ разговорѣ я видѣлъ какъ бы цѣлую галерею“. Такимъ образомъ, какъ мы видимъ, и у этого человѣка, обладавшаго столь развитой зрительной памятью, не отсутствовала слуховая внутренняя рѣчь, по крайней мѣрѣ, музыкальная. Но и эта послѣдняя ассоціровалась со зрительными образами, наличность которыхъ оказывалась необходимой для того, чтобы вызвать въ памяти мелодію. „Картинная галерея“ потускла въ своей живости, когда „фигуры“ смѣнились зрительными образами словъ.

И опять-таки патологія производитъ любопытный экспериментъ съ нормальной духовной жизнью человѣка, окрашивая въ особенно яркій цвѣтъ извѣстную особенность ея. Такъ, мы еще не выходимъ изъ предѣловъ нормальной жизни въ слѣдующемъ случаѣ, приводимомъ Гальтономъ¹⁾. Одна дама рассказала ему слѣдующее: „Печатныя слова всегда имѣли для меня лицо; они обладали извѣстнымъ выраженіемъ, и извѣстныя лица заставляли меня думать объ извѣстныхъ словахъ. За исключеніемъ нѣсколькихъ случаевъ, слова не имѣли *никакой* связи съ ними“. Несомнѣнно, однако, что какія-то ассоціаціи вызывали при видѣ *напечатанныхъ* словъ извѣстные зрительные образы; однако, это были ассо-

1) Fr. Galton. Inquiries into human faculty and its Development. London. 1883, стр. 157—158.

ціація случайна. Трудно представити собі внаше, чому слова *зелений* или лучший вызвали у этой дамы представлення о лицѣ съ большими зубами, или слово *голубой* „имѣло глупый видъ и обращалось въ правую сторону“. Наличие такихъ ассоціацій подтверждается замѣчаніемъ наблюдательницы, что „слово вниманіе имѣло большіе глаза, обращенные въ лѣвую сторону“. Тутъ уже есть внутренняя связь между значеніемъ слова и образомъ: глаза вѣдь именно служатъ символомъ вниманія. „Выраженіе, конечно, находится въ большой зависности отъ выраженія (лица) буквъ, которыя имѣютъ точно также лица и фигуры. Всѣ маленькіе *a* обращаютъ свои глаза въ лѣвую сторону, и это даетъ направленіе глазамъ Вниманія (attention). Ant, напротивъ, смотритъ нѣсколько внизъ. Разумѣется, этихъ лицъ безчисленное множество, какъ и словъ, и когда я хочу всѣ ихъ представити себѣ, у меня просто разбалывается голова“. Въ этомъ случаѣ напечатанныя слова, хотя бы и представляющіяся столь живо, что они оказываются снабженными лицами и фигурами, все-таки воспринимаются сознаніемъ только, какъ слова внутренней рѣчи. Отсюда, однако, уже не далеко до утверженія одной душевной больной, которая „писала глазами“ и переписывалась этимъ способомъ съ жителями отдаленныхъ странъ. Это болѣзненное развитіе той формы внутренней рѣчи, которую было бы правильнѣе называть „внутреннимъ чтеніемъ“ (la lecture intérieure Леруа)¹⁾. Весьма вѣроятно, что эта способность является новѣйшей модификаціей чрезвычайно древней, еще до—человѣческой формы духовной жизни, зрительнаго мышленія. По справедливому замѣчанію Леруа, „зрительная идеографическая внутренняя рѣчь близка болѣе или менѣе къ идеографическимъ письменамъ, употребляемымъ нѣкоторыми народами“. Написанное слово, представляющее элементъ мысли, по существу, не отличается отъ любого другого условнаго знака. Тѣмъ сдѣлалъ наблюдение, что дѣти, приученныя считать въ головѣ, умственно пишутъ мѣломъ на воображаемой доскѣ указанныя имъ цифры, такъ же продѣлываютъ съ ними нужныя дѣйствія и подписываютъ результатъ. То же самое наблюдается и въ правильномъ орфографически писаніи; люди, которые въ произношеніи различаютъ слова *ее* и *ея* или произносятъ *его* (не *ево*), несомнѣнно, представляютъ себѣ современныя написанія этихъ формъ.

Одинъ изъ корреспондентовъ С.-Поля далъ ему слѣдующія свѣдѣнія: „У меня не бываетъ мыслей безъ того, чтобы не являлись слова, которыя служатъ переводомъ ихъ. Стоитъ мнѣ подумать: я пойду въ садъ и выкурю папиросу, какъ я сейчасъ же вижу эту мысль написанной моимъ собственнымъ почеркомъ. При этомъ мнѣ нѣтъ никакой надобности представити себѣ самый фактъ, т. е. въ данномъ случаѣ увидѣть себя

¹⁾ E. B. Leroy. Le langage. Essai sur la psychologie normale et pathologique de cette fonction. Paris. 1905.

прогуливающимся и курящимъ папиросу“. Такое внутреннее письмо можетъ выражаться въ различныхъ формахъ: слова являются то напечатанными, то написанными извѣстнымъ почеркомъ, чаще всего принадлежащимъ самому данному лицу. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ являющіеся образы написаннаго слова оказываются чрезвычайно блѣдными. Какъ мнѣ кажется, вообще, мы часто имѣемъ дѣло скорѣе съ мускульными воспоминаніями писема, чѣмъ съ видимыми образами написаннаго слова. Если мы желаемъ написать правильно слово, которое писали много разъ и правописаніе котораго вдругъ представляется намъ неясно, то мы пишемъ его съ закрытыми глазами. Въ этомъ случаѣ, конечно, на помощь намъ приходятъ привычныя двигательныя ощущенія, а не зрительныя образы слова.

Другое дѣло, однако, когда эти привычныя двигательныя ощущенія „сбиты“ другими подобными же ощущеніями (что наблюдается въ нашей обычной безобразной системѣ диктовокъ, устраняемыхъ съ цѣлью „изловить“ ошибки въ правописаніи). Въ этомъ случаѣ передъ пишущимъ лицомъ являются два одинаково явственные зрительные или двигательные образа слова, и ему приходится прибѣгать къ помощи размышленія для выбора наиболѣе правильнаго. Наличие подобныхъ образовъ написанныхъ словъ чувствуется, вѣроятно, каждымъ, кто изучилъ чужой языкъ по книгамъ. Ихъ роль въ качествѣ замѣстителей первоначальныхъ образовъ предметовъ, которые играютъ столь важную роль въ духовной жизни безъ языка, проливаетъ извѣстный свѣтъ и на связь образнаго мышленія и языка. Чаще всего это „слова безъ образовъ“, по терминологіи Бине, но иногда образы, связанные со словомъ написаннымъ, однако связанные иначе, чѣмъ въ вышеприведенномъ примѣрѣ, заимствованномъ изъ книги Гальтона. Исследователь внутренней рѣчи у дѣтей, Ог. Леметръ, приводитъ любопытный примѣръ этого рода изъ жизни 11-лѣтняго мальчика. „То, о чемъ онъ думаетъ, онъ слышитъ своими ушами, какъ будто произносимое его собственнымъ голосомъ, и въ то же время онъ видитъ это написаннымъ красивымъ и довольно крупнымъ почеркомъ, фіолетовымъ цвѣтомъ, на разстояніи около 25 сантиметромъ отъ его глазъ; однако, почеркъ этотъ не принадлежитъ ни ему, ни кому-либо изъ его знакомыхъ. Къ написанію большинства конкретныхъ словъ онъ присоединяетъ конкретный образъ написаннаго предмета, который входитъ въ написанное слово такимъ образомъ, что не терзается ничего: ни образъ, ни написаніе. Все это находится на одномъ уровнѣ, а не одно на другомъ; домъ, столъ, лодка и т. п. сохраняютъ свой естественный цвѣтъ, не покрывая ни одной частички фіолетовой надписи“. На рисункѣ, приложенномъ къ этимъ наблюденіямъ, мы видимъ, дѣйствительно, какое-то подобіе картинокъ, которыя рисовались воображенію мальчика, но, очевидно, были переданы имъ совершенно схематически. Такъ, на словѣ *maison* красуется очертаніе дома, на словѣ *route* двѣ

лиц, которыя должны изображать дорогу и т. п.¹⁾ Картинки, конечно, не соответствують тѣмъ неяснымъ зрительнымъ образамъ, которые являлись въ воображеніи мальчика. Тѣмъ не менѣе, отрицать достовѣрность наблюденій Леметра, какъ это дѣлается нѣкоторыми критиками, едва ли справедливо. По существу, такого рода переходъ отъ чисто зрительныхъ образовъ къ графическимъ вполне возможенъ. Вообще, наблюденія надъ внутренней рѣчью въ отроческомъ возрастѣ представляютъ живой интересъ для психологій языка, и потому надъ новѣйшими изслѣдованіями Леметра, посвященными этому предмету, я считаю необходимымъ остановиться²⁾. Несомнѣнно, что за предѣлами той схемы, которая установлена наблюдателями внутренней рѣчи у взрослыхъ (особенно, Ст.-Полема) остаются самыя разнообразныя формы ея у подростковъ. Какъ внѣшняя рѣчь устанавливается требованіями взаимнаго общенія, такъ экономія духовной жизни, профессиональныя привычки и т. п. устанавливаютъ болѣе или менѣе сходныя формы и внутренняго языка у взрослыхъ. Въ отрочествѣ этотъ шаблонъ психической жизни дѣйствуетъ съ меньшей силой и еще не успѣваетъ проявить свою мощь. Особенно ярко обнаруживается здѣсь типъ, который Леметръ называетъ *symbolo-visuel*, и примѣръ котораго былъ приведенъ выше. Такъ, подростокъ 16 лѣтъ видитъ свои слова изображенными въ видѣ простыхъ чертъ, написанныхъ на ярко освѣщенномъ фонѣ и занимающихъ столько пространства, сколько эти слова заняли бы на бумагѣ. 12-лѣтній мальчикъ мыслить фразу: „Les montagnes de la Suisse sont belles“ (горы Швейцаріи красивы) въ видѣ ряда буквъ L m d S s h, за которыми стоитъ смутное очертаніе линіи горы, схема; мальчикъ отличался большими способностями къ математикѣ. Третій изъ наблюдаемыхъ мальчиковъ, 14-лѣтній подростокъ, съ ярко выраженными техническими способностями, видитъ, когда думаетъ, свою мысль въ формѣ написаннаго слова, составляющаго предметъ мысли; потомъ это слово замѣняется другимъ, составляющимъ предметъ слѣдующей мысли. Въ этомъ случаѣ мы видимъ, что зрительная форма внутренней рѣчи постепенно уже отмираетъ; мышленіе превращается изъ образнаго въ словесное, и зрительная форма внутренней рѣчи уступаетъ свое мѣсто, по всей вѣроятности, моторной, которая здѣсь выражается въ двигательныхъ образахъ письма.

Однимъ изъ такихъ ярко выраженныхъ зрительныхъ словесныхъ типовъ является тринадцатилѣтній мальчикъ, описанный Леметромъ. Онъ „видитъ свои мысли на разстояніи болѣе метра, написанными его собственнымъ, но увеличеннымъ почеркомъ и бѣлыми буквами. Мысль написана на одной линіи длиною отъ одного до двухъ метровъ; она нече-

заетъ, какъ бы стирается, для того, чтобы уступить свое мѣсто другой чертѣ, которая начинается, какъ и первая, слѣва и т. д. Идя, онъ видитъ, приблизительно на полъ-метра передъ собой, фонъ размѣровъ обыкновенной черной доски, на которой записываются слова его мысли. Этотъ фонъ нерѣдко помѣщается на землѣ вслѣдствіе его привычки ходить съ опущенной головой. Особенностью внутренней рѣчи этого юноши является то обстоятельство, что величина буквъ все уменьшается и уменьшается, когда его мысль коротка, или увеличивается, когда она болѣе длинна, до извѣстнаго мѣста, начиная съ котораго буквы сохраняютъ одинъ и тотъ же размѣръ. Въ среднемъ, первая буква достигаетъ 12—13 сантиметровъ, а слѣдующія уменьшаются до 8. Это представляетъ какъ будто бы подчеркиваніе начальнаго или нѣсколькихъ первыхъ словъ мысли“. И въ этомъ примѣрѣ я не нахожу ничего подозрительнаго въ смыслѣ недостовѣрности, хотя, несомнѣнно, *постоянно* такъ мыслить мальчикъ не могъ. Школьныя впечатлѣнія должны были породить эту привычку видѣть передъ собой даже мысленно черную доску съ написанными на ней бѣлымъ мѣломъ словами. Подобныхъ примѣровъ Леметръ приводитъ нѣсколько. Все они сводятся, по моему мнѣнію, къ излишнему утомленію отъ школьныхъ занятій и обнаруживаютъ весьма любопытный фактъ, на который педагогамъ слѣдовало бы обратить вниманіе: именно, они показываютъ, съ какой силой школа вытѣсняетъ изъ познавательной дѣятельности ребенка зрительные образы, и какъ настойчиво она прививаетъ ему привычку мыслить *только* словами, безъ образовъ. Смѣна прежняго образнаго мышленія словеснымъ и вызываетъ и указанныя многочисленныя и однообразныя явленія, которыя обладаютъ какимъ-то болѣзненнымъ элементомъ. Мы нерѣдко встрѣчаемъ указанія юныхъ самонаблюдателей на то, что такой процессъ писанія глазами ихъ сильно утомляетъ. У другихъ даже въ темнотѣ продолжается эта неустанная работа внутренней мысли, при чемъ слова представляются красными на зеленомъ фонѣ или зелеными на красномъ. Такъ какъ написаніе такой графической внутренней рѣчи производится обычно или почеркомъ учителя, или собственнымъ *лучшимъ* почеркомъ самого субъекта, то ясна связь этого типа мысли съ элементомъ *усилія*, необходимаго для школьнаго усвоенія. Поэтому, въ дѣтскомъ возрастѣ этотъ „вербо-визуализмъ“ (словесно-зрительный типъ) оказывается гораздо болѣе распространеннымъ явленіемъ, чѣмъ у взрослыхъ. Однако, и здѣсь онъ почти никогда (или, можетъ быть, вообще никогда) не является чистымъ и единственнымъ типомъ: смѣшанные типы (аудитивно-моторно-визуальные) оказываются обычнымъ явленіемъ, чистые рѣдкимъ исключеніемъ, уже почти переходящимъ въ область патологій.

Тѣмъ не менѣе, преобладаніе воспринимающаго (аудитивного) или воспроизводящаго (моторнаго) элемента во внутренней рѣчи замѣчается, конечно, у всѣхъ говорящихъ людей, и педагогика съ этимъ должна была

¹⁾ Aug. Lemaître. Le langage intérieur chez les enfants. Lausanne. 1902.

²⁾ Aug. Lemaître. La vie mentale de l'adolescent et ses anomalies. Saint-Blaise. 1910.

бы считаться. Въ то время, какъ одни ученики лучше усваиваютъ со словъ учителя, другіе могутъ усвоить лишь то, что они произнесли про себя, сами прочли, сами рѣшили; третьи, наконецъ, лучше всего запоминаютъ написанное. Только считаясь съ различіями въ характерѣ *переводчика знаній*, каковымъ является для каждаго говорящаго лица его внутренняя рѣчь, школа окажется въ состояніи правильно оцѣнивать способности учащихся.

Но прежде всего она должна устанавливать связь между слуховыми и двигательными представлениями словъ у учащихся, т. е. приучать ихъ все слышимое произносить. „Связь между рѣчевыми символами и соответствующими имъ объектами искусственная, и процессъ изученія языка¹⁾ состоитъ въ томъ, чтобы путемъ упражненія выработать прочную сочетательную связь между слѣдами отъ опредѣленныхъ звуковыхъ впечатлѣній (рѣчевые символы) и отпечатками впечатлѣній отъ внѣшнихъ объектовъ, соответствующихъ рѣчевымъ звукамъ, какъ символамъ. Благодаря установленію такой связи, вырабатывается одна изъ двухъ основныхъ рѣчевыхъ функций: именно *пассивная* (рецептивная). Но рука объ руку съ ней идетъ развитіе и другой основной функции рѣчи, именно *активной* (продуктивной); въ основѣ этой послѣдней лежитъ выработка сочетательной связи между слуховымъ слѣдомъ, соответствующимъ символу даннаго объекта (герр. слѣдомъ, соответствующимъ самому объекту), и слѣдами тѣхъ двигательныхъ процессовъ рѣчевой мускулатуры, которые приводятъ къ воспроизведенію словеснаго знака, соответствующаго данному объекту“²⁾. Если нельзя отождествлять мышленіе съ рѣчью, т. е. утверждать, что *всякая мысль* есть сужденіе, выраженное словами, такъ какъ, повидному, существуютъ и низшія формы заключеній безъ словъ (объ этомъ ниже), то, во всякомъ случаѣ, логическое мышленіе не можетъ обойтись безъ сужденій, выраженныхъ словами, ибо такое мышленіе можетъ быть только символическимъ, а какіе иные символы, кромѣ словъ, могутъ передать отвлеченную мысль, лишенную всякой образности? Именно примѣры расстройства рѣчи въ афазіи, истеріи, различныхъ душевныхъ болѣзняхъ, въ экстазѣ или даже сновидѣніи обнаруживаютъ, какой уронъ теритъ отъ нихъ и вся душевная жизнь человѣка. Если могла возникнуть теорія (P. Marie), отождествлявшая афазію со слабоуміемъ, и если на опроверженіе ея потребовалось столько усилій, не значить ли это, что нарушеніе въ той или другой степени внутренней рѣчи наноситъ интеллекту тяжкое положеніе, лишая человѣка способности мыслить символами словесными

¹⁾ и всего, что усваивается съ помощью языка, т. е. почти всякаго знанія. А. П.

²⁾ М. П. Аствацатуровъ. Клиническія и экспериментально-психологическія изслѣдованія рѣчевой функции. (1908, стр. 168—169).

и заставляя его или находить имъ какую-либо замѣну или переставать думать.

Какъ артикулированная рѣчь человѣка восходитъ, какъ къ своему непремѣнному первоисточнику, къ рефлекторному инстинктивному крику, такъ и музыкальный языкъ его, т. е. пониманіе и воспроизведеніе музыкальных мелодій, имѣютъ своимъ источникомъ ритмъ и тонъ, понимаемые и производимые человѣкомъ инстинктивно. Внутренняя музыкальная рѣчь соответствуетъ словесной. Какъ опредѣляетъ ее I. Инженеросъ („Le langage musical et ses troubles hystériques“ 1907, стр. 92), это— функция, аналогичная обыкновенному языку, но все же отличная отъ него, съ самостоятельнымъ ходомъ развитія, подчиненная собственнымъ нервнымъ центрамъ и могущая измѣняться или разрушаться, независимо отъ другихъ формъ словесной рѣчи. Такимъ образомъ, и музыкальный внутренний языкъ можетъ быть слуховымъ, двигательнымъ или зрительнымъ, и авторъ названной монографіи перечисляетъ пять различныхъ центровъ, которымъ, по его мнѣнію, подчинена внутренняя музыкальная рѣчь человѣка. Это чувствительный центръ (*centre sensoriel*) слуховыхъ образовъ музыкальных звуковъ, управляющій образами звуковъ; чувствительный центръ зрительныхъ образовъ читаемыхъ нотъ—эта особенность приобретаетъ спеціальнымъ воспитаніемъ такъ же, какъ обыкновенное чтеніе; двигательный центръ образовъ артикуляціи, управляющій различными движеніями, которыя исполняетъ во время пѣнія спеціальныи голосовой аппаратъ; двигательный центръ графическихъ образовъ, предназначенный для управленія сложными мускульными движеніями, необходимыми для написанія нотъ; двигательный центръ для образовъ инструментальнаго исполненія. Какъ мы видимъ отсюда, въ области музыкальнаго языка и письма Инженеросъ находитъ полное соответствіе словесной рѣчи и письму. При этомъ онъ констатируетъ возможность превращенія одного музыкальнаго типа въ другой. Примѣняя номенклатуру внутренней словесной рѣчи къ музыкальной, авторъ утверждаетъ, что съ помощью воспитанія индивидуумъ, представлявшій первоначально слуховой или зрительный типъ, можетъ превратиться постепенно въ „чувствительно-моторный“ (*sensitif-moteur*) или чисто-моторный типъ. „Эти лица вспоминаютъ музыкальную мелодію, когда исполняютъ ее или поютъ. Зрительная память, которой они пользуются, чтобы выучить мелодію, можетъ быть слаба у нихъ. При этомъ слѣдуетъ отмѣтить, что такіе двигательные типы не должны непременно обладать слухомъ, какъ это бываетъ съ двигательными типами (*moteurs*), не умѣющими читать нотъ; человѣкъ можетъ научиться пѣть и играть, не обладая слухомъ: такъ случается съ глухимъ, который научается пѣть или играть, или со всякимъ индивидуумомъ, который пишетъ на машинѣ, ударяя по клавиатурѣ и не смотря на слова, которыя онъ пишетъ. Такія лица не могутъ научиться со слуха, они учатся съ помощью музыкальнаго

упражнения; воспитание моторных образов исполнения является здесь господствующим и позволяет им исполнять мелодию на память, при чем они вовсе не должны слушать то, что играют, или видеть ноты. Многие из „виртуозов“ отличаются плохим слухом, — это „зрительно-двигательные типы“: воспитание может превратить их в чисто двигательные“.

Эти замечания специалиста по внутренней музыкальной речи, несомненно, представляют значительный интерес и для психолога словесного языка. Если двигательные образы оказываются такими могущественными в исполнении музыкальной мелодии человеком, обладающим не достаточно музыкальным слухом, то, разумеется, они должны обладать еще большим значением в области, где эти двигательные образы (словь) возникают постоянно. Если, далее, с помощью обучения достигается возможность развития внутренней музыкальной речи у лиц, почти лишенных ее первоначально, то в области словесного языка это достигается скорее и проще. Как и в вышеизложенных примерах Леметра, мы видим, что один тип сменяется другим под влиянием обучения. Но мелодия должна быть первичнее фразы, потому что музыкальный звук первичнее слова, не являясь сам по себе символом, как последнее. И возникновение внутренней музыкальной речи должно предшествовать возникновению словесной. Этот вывод, имеющий несомненное значение для разрешения проблемы о происхождении языка, диктуется аналогией между двумя рассмотренными категориями внутренней речи, по отношению одна к другой независимыми. Но как услышанный звук превратился у человека в звук его собственной, сначала слуховой, а потом и двигательной внутренней музыкальной речи, так и услышанное „чужое“ слово теми же путями превращалось и превращается в свое слово, в элемент собственной внутренней словесной речи. От ритма и тона, понимаемых и сознаваемых инстинктивно, к музыкальному звуку и мелодии; от рефлекторного крика к символу—слову: это один и тот же путь от внешнего к внутреннему и обратно: от внутреннего к внешнему миру. В музыке, в жизни наличие двигательных образов гораздо более ощутительно, чем в словесной речи, хотя вышеприведенные заявления „моторных“ типов (в роду Штрикера или Даджа), кажется, ставят ее вне сомнений. Между тем не только психологически между ними и речью существует близкая связь. По утверждению доктора Ниженьеросъ, эта связь простирается и на анатомическую область. „Физиологические центры музыкального языка развились специально (sont spécialisés) в центрах обыкновенного языка и остаются в связи с ними, как часть с целым“. Таким образом, именно это близкое соотношение между словесным и музыкальным языком заставляет искать корни обоех рядом. Не произошло ли, однако, обратное, т. е. не развились ли центры речи в музыкальных? Повидному, мелодия

предшествует слову; ее начатки ближе к инстинктивной деятельности человека. Ритм и тонь позже утрачиваются при разрушении интеллектуальной жизни, чем речь.

Несмотря на то, что наличие двигательных (моторных) образов как в музыкальной, так и в словесной внутренней речи засвидетельствована и самонаблюдениями и объективным исследованием последствий их утраты и их нормальной деятельности, — однако, вопрос об их возникновении у каждого отдельного человека одновременно с другими словесными представлениями представляется еще не совсем ясным. Не возникают ли они в позднейшей психической жизни его? Так, французский психиатр Бернхейм совершенно отрицает существование словесных моторных образов слова. „Если мы подумаем о том, что называется словесными образами, мы не сможем увидеть в слуховых и зрительных образах словь что-нибудь иное, кроме разновидности слуховых и зрительных образов вообще; иначе их и нельзя себя представить. Что же касается двигательных образов словь, то чем больше стараешься мысленно представить их себе, тем меньше это удается. Больные, пораженные моторной афазией, как говорят нам обыкновенно, теряют способность координировать двигательные образы словь, которые создают артикулированную речь. Если бы это было так, было бы достаточно снова обучить (rééduquer) этих больных, чтобы возстановить в их памяти утраченную координацию. Однако результат, который получается от такого нового воспитания, оказывается очень посредственным; в награду за все усилия, получается самое большее только несколько словь или несколько односложных сочетаний... В действительности, моторный афатикь вовсе и не теряет своих двигательных образов словь и их координации, просто потому, что таких образов не существует“¹⁾. На это слѣдует возразить, что невозможность возстановить утерянные двигательные образы словь (главный аргумент Бернхейма против их существования) указывает именно на отдельный центр, управляющий ими, и на глубокое поражение этого центра при моторной афазии. Центром двигательных представлений словь является открытая в 1861 г. извилина Брока (левая третья лобная извилина); центром слуховых представлений, открытым Вернике в 1874 г., — первая височная извилина. „Двигательные центры коры, подобно зрительным центрам, точно локализованы: они находятся у человека преимущественно в передней центральной извилине, лежащей впереди центральной борозды. Эта локализация может быть установлена еще более точно: верхняя треть этой извилины связана с нижними конечностями, средняя — с верхними, а нижняя (вместе с соседней нижней лобной извилиной) связана с мышцами рта и языка.

¹⁾ F. Bernheim. L'évolution du problème des aphasies. L'Année psychologique. 1907 г. стр. 367.

Таким образом, нижний конец центральной извилины и нижняя лобная извилина имѣютъ особенно важное значеніе для рѣчи, и потому называются еще двигательнымъ центромъ рѣчи¹⁾. Такъ опредѣленно устанавливается современной психологіей наличие особаго мозгового центра, управляющаго двигательными образами словъ. Школа французскаго психіатра П. Мари, признающая лишь одну форму афазіи (кортикальную сексорную афазію Вернике), видитъ въ расстройствахъ рѣчи (*les troubles du langage*) только извѣстное ослабленіе интеллекта. Послѣдователь этого ученаго, Мутье, авторъ обширной монографіи („*L'aphasie de Broca*“ 1908), приходитъ къ выводу, что „мнимые слуховые (чувственные) симптомы афазіи не существуютъ; словесная слѣпота и словесная глухота являются интеллектуальными расстройствами въ пониманіи рѣчи“. Эта крайняя точка зрѣнія заставила пересмотрѣть и вопросъ о словесныхъ образахъ. Уже въ началѣ текущаго столѣтія Шторхъ (1903) отрицалъ возможность обособленія различныхъ формъ словесныхъ образовъ; раздѣляющій его точку зрѣнія, но не идущей такъ далеко, какъ школа П. Мари, нѣмецкій психіатръ Куртъ Гольдштейнъ такъ резюмируетъ эту среднюю точку зрѣнія²⁾. „Психологическая основа рѣчи представляетъ единство, различіе между слуховыми и двигательными образами словъ слѣдуетъ съ психологической точки зрѣнія отвергнуть и на мѣсто его поставить единое представленіе слова, которое съ одной стороны возбуждается акустическими языковыми воспріятіями, которыя не отличаются принципиально отъ другихъ воспріятій, а съ другой становится поводомъ къ моторнымъ движеніямъ рѣчи (*Sprachbewegungen*), которыя принципиально не отличаются отъ другихъ движеній. Языковыя представленія обладаютъ у большинства людей акустическимъ элементомъ, безъ котораго они вообще не являются. Съ такимъ же скептицизмомъ къ прежнимъ ученіямъ о центрѣ пониманія словъ относятся и многіе другіе современные психіатры. Такъ, извѣстный изслѣдователь расстройствъ рѣчи въ душевныхъ заболѣваніяхъ, проф. А. Пикъ въ своемъ докладѣ на сѣздѣ экспериментальной психологіи во Франкфуртѣ (1908) представилъ изложеніе современныхъ противорѣчивыхъ взглядовъ на этотъ предметъ и доказывалъ, что „пониманіе рѣчи представляетъ явленіе синтетическое, состоящее изъ цѣлаго ряда процессовъ“. (*A. Pick. Ueber das Sprachverständnis*. 1909). Однако это возраженіе, важное съ точки зрѣнія локализациі расстройствъ рѣчи, не имѣетъ особаго значенія для психологическаго изслѣдованія функций рѣчи. Какъ бы ни былъ, по своему образованію, сложенъ процессъ утраты словесныхъ представленій, эта утрата имѣетъ одно психологическое послѣдствіе—разрушеніе внутренней рѣчи.

¹⁾ *Эббингауза*. Основы психологіи. Спб. 1912, стр. 122.

²⁾ *K. Goldstein*. Einige Bemerkungen über Aphasie. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*. 45 т. 1908, стр. 416.

Изъ всего вышесказаннаго вытекаетъ, что классическое ученіе о внутренней рѣчи, установленное Шарко, подвергается въ настоящее время пересмотру и рѣшительной критикѣ со стороны психіатровъ. Но эта критика не отрицаетъ значенія словесныхъ представленій, безъ которыхъ не можетъ обойтись внѣшняя рѣчь. Факты, указывающіе на преобладаніе въ томъ или другомъ интеллектѣ двигательныхъ, слуховыхъ или зрительныхъ образовъ слова и на наличие ихъ въ каждомъ изъ нихъ, остаются непровергнутыми фактами и указываютъ на разные способы приобрѣтенія и выраженія словесныхъ образовъ, безъ которыхъ, вообще говоря, не обходится мышленіе. Когда эти образы разрушены, мышленіе бываетъ сильно поражено; съ другой же стороны, расстройства мышленія, вызванныя какими бы то ни было причинами, отражаются на ясности и связности рѣчи. Словесное представленіе, несомнѣнно, въ нашемъ сознаніи обладаетъ единствомъ, ибо безъ этого единства (если бы напр. словесный образъ расчленился на слуховой и двигательный) оно и не было бы *словомъ* человѣческой рѣчи. Какъ только возникло это единство, т. е. сознаніе того, что и слышимое слово, и понимаемое, и произносимое есть одно и то же слово,—образовался языкъ въ человѣческомъ смыслѣ этого слова. До тѣхъ поръ это слышимое слово оставалось для человѣка, какъ для птицы, для собаки, только извѣстнымъ звуковымъ воспріятіемъ, а произносимое имъ „слово“ только безсознательнымъ разряженіемъ энергіи.

Г Л А В А IV.

Афазія и другія расстройства рѣчи.

Уже въ предшествующей главѣ мнѣ пришлось не разъ упоминать о тѣхъ расстройствахъ внутренней рѣчи, которыя сопровождаютъ афазію, и это указываетъ на необходимость коснуться и въ трудѣ, посвященномъ отношеніямъ между языкомъ и мыслью, вопроса о различныхъ формахъ расстройства рѣчи. Мнѣ пришлось также упомянуть и о томъ, что вопросъ о природѣ афазіи является въ настоящее время однимъ изъ острыхъ вопросовъ психіатріи, потребовавшимъ полнаго пересмотра. Едва ли, однако,—какъ можно судить по книгѣ д-ра Аствапатурова, по руководству Эббингауза (о центрѣ двигательной рѣчи), по литературнымъ обзорамъ въ спеціальныхъ журналахъ и т. д.,—старое классическое ученіе объ афазіи

Литература о внутренней рѣчи (кроме указанной въ текстѣ). *G. Saint Paul*. Le langage intérieur et les paraphasies. 1904. *G. Ballet*. La parole intérieure et les diverses formes de l'aphasie. 1886, 2-е изд. 1904. *V. Egger*. La parole intérieure. Essai de psychologie descriptive. 1881, 2-е изд. 1904. *S. Stricker*. Studien über die Sprachvorstellungen. 1880. *R. Dodge*. Die motorische Wortvorstellungen. 1896. *А. Погодинъ*. Внутренняя рѣчь и ея расстройства. Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. 1906, ноябрь.

должно будет уступить свое мѣсто новымъ взглядамъ школы Поля Мари и другихъ критиковъ его, и потому изслѣдователь психологии рѣчи можетъ, по моему мнѣнію, не вдаваясь въ вопросъ о физиологическихъ причинахъ афазіи, но, руководясь установленнымъ ученіемъ объ этой послѣдней, ограничиться изложеніемъ тѣхъ особенностей психической жизни человѣка, которыя являются послѣдствіемъ или выраженіемъ различныхъ формъ афазіи. *Afasia*, какъ показываетъ этимологія этого слова (*a*-отрицаніе при греч. *φρη*—говорю), означаетъ собственно *неговореніе*, какъ извѣстное, болѣзненное явленіе. Причины его могутъ заключаться въ разрушеніи какъ самыхъ центровъ рѣчи, такъ и путей между ними или отъ нихъ къ центрамъ слуха и центрамъ мышцъ рѣчи. Въ однихъ случаяхъ сохраняется способность понимать слова при утратѣ способности произвольной рѣчи (двигательная афазія), въ другихъ, напротивъ, больной утрачиваетъ пониманіе чужой рѣчи, способность повторять чужія слова, но не лишена дара произвольной рѣчи (чувствительная афазія), въ третьихъ разрушается путь между слуховымъ и двигательнымъ центрами, и возникаетъ „проводниковая“ афазія, утрачивается способность повторять слышимыя слова¹⁾). Разумѣется, при этомъ наименьшая потеря интеллекту наносится двигательной афазіей, такъ какъ при ней сохраняется связь больного съ внѣшнимъ міромъ,—тогда какъ въ чувствительной (сенсорной) афазіи больной перестаетъ понимать слова и словесные символы. Это—„словесная глухота“, которая неминуемо разрушаетъ элементы внутренней рѣчи, не находящія для себя подкрѣпленія въ слухѣ. Однако, по утверженію Кусмауля, и въ моторной афазіи интеллектъ почти всегда испытываетъ ослабленіе. Правда, это ослабленіе онъ не связываетъ непосредственно съ афазіей, но сводитъ оба эти пораженія къ общей причинѣ, которой служитъ извѣстное заболѣваніе мозга; тѣмъ не менѣе, вызывается психологически этотъ упадокъ интеллекта тѣмъ, что больной остается какъ бы въ одиночномъ заключеніи, самъ съ собой. При „словесной слѣпотѣ“, или чувствительной афазіи, связь съ міромъ становится еще болѣе слабой, потому что все, что идетъ оттуда въ видѣ высказанныхъ словъ, для человѣка не существуетъ.

Изъ книги д-ра Бернхейма, посвященной моторной афазіи („*De l'aphasie motrice*“, 1900), я приведу примѣръ, который самъ онъ считаетъ типическимъ. Больная, 27-лѣтняя женщина, захворала три года тому назадъ, подвергшись параличу правой стороны съ афазіей. Черезъ три дня послѣ родовъ она потеряла сознание; черезъ шесть недѣль послѣ удара больная стала ходить, но въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ она не могла произнести ни одного слова, кромѣ какого-то непонятнаго и бессмыслен-

¹⁾ Схема афазіи приведена въ книгѣ Штерринга „Психопатологія въ примѣненіи къ психологіи“ Спб. 1903, въ книгѣ С. Поля о внутренней рѣчи (см. гл. 3) и др.

наго *sonson*. При поступленіи въ клинику параличъ еще оставался, афазія поправлялась. Произвольная рѣчь еще оставалась затрудненной, и больной приходилось подолгу искать слово прежде, чѣмъ произнести его. Но даже трудныя и длинныя слова, которыя произносили передъ ней, она оказывалась въ состояніи повторять, читать же вслухъ оказывалось почти не подъ силу больной, которая прочитывала только обыкновенныя слова. Потеря двигательныхъ образовъ распространилась и на пѣніе: ни мелодія, ни слова пѣсни не сохранились въ памяти пациентки. И чтеніе про себя сдѣлалось неправильнымъ: больная прочла по буквамъ на кубикахъ слова *mer, ciel*, но вмѣсто *rain* прочла *Paris* и вмѣсто *soif-soleil*. Способность письма также пострадала, при чемъ больная могла писать только лѣвой рукой: она написала правильно и самостоятельно свое имя и лѣта, но длинную продиктованную ей фразу исказила. Болѣзнь отразилась также на счетѣ: пациентка написала подъ диктовку число 15,108, но почти совсѣмъ не могла складывать, а при умноженіи 3×4 получила въ произведеніи 10.

Спустя годъ, въ продолженіе котораго больная оставалась въ клиникѣ, она сдѣлала нѣкоторые успѣхи въ письмѣ. Она могла написать произвольно извѣстное число словъ и именъ, но все еще была не въ состояніи написать фразу или письмо. Чтеніе оставалось по прежнему неправильнымъ; больная не могла понять фразу, читать газету или книгу. Даръ слова еще не возвратился вполне. Больная съ трудомъ складывала фразы, подолгу искала слова. При возбужденіи всѣ эти недостатки обострялись. Черезъ два съ половиной года произвольная рѣчь возстановилась настолько, что пациентка уже могла, правда, короткими, отрывочными фразами разсказывать о своей жизни; трудныя слова ей все еще не удавалось повторять правильно, но болѣе легкія она могла повторять, при чемъ дѣлала ихъ на слоги. Однако, произнести на память какую-нибудь изъ извѣстнѣйшихъ басенъ Лафонтена, которую больная когда-то знала наизусть, она оказывалась не въ состояніи, точно также не могла пропѣть какую-нибудь мелодію изъ тѣхъ, которыя пѣла раньше. Слова марсельезы она прервала на первыхъ строчкахъ и объяснила: „я хорошо знаю слова, но языкъ не можетъ сказать“. Докторъ, желая провѣрить ее, произнесъ: „*Allons, enfants de la Patrie, le jour de terreur est arrivé*“. „Больная поправляетъ: „*ce n'est pas terreur, c'est jour de gloire*“. Читать вслухъ ей трудно: она дѣлаетъ это медленно и съ ошибками.

Для прочтенія коротенькой фразы въ двѣ строки потребовалось четверть часа. Больная останавливается послѣ каждаго слога и не исправляетъ ошибокъ, которыя дѣлаетъ при чтеніи. „Я знаю, что это не такъ, но я не могу сказать“. При называніи буквъ и чтеніи цифръ точно также ошибки чередуются съ правильными отвѣтами. По словамъ д-ра Бернхейма, больная „не можетъ вспомнить звукъ, который образуется сочета-

нѣмъ буквъ“. Все, что ей читаютъ, она понимаетъ безъ колебанія. Длины фразы понимаются ею со всѣми подробностями. „Она произвольно вызываетъ въ своей памяти слуховые образы словъ, но съ чрезвычайной медленностью. Чтобы, называя предметы, припомнить какое-нибудь слово, ей приходится иногда употреблять много усилій, но она никогда не ошибается“. Однако, цифровыя вычисленія не удаются; больная утверждаетъ, что она не можетъ считать. „Интеллектъ ея немного ослабленъ, но все же совершенно достаточенъ для того, чтобы позволять больной хорошо понимать и правильно отвѣчать“. Изъ всѣхъ способностей наиболѣе поражена память.

Слѣдующее изслѣдованіе, которое произведено было восемь мѣсяцевъ спустя, дало такіе результаты. Больная оказалась въ состояніи давать правильные и длинные отвѣты на вопросы, довольно правильно повторяла слова, но попрежнему не помнила ни одной басни, ни одной молитвы, не могла пропѣть никакой мелодіи, ни со словами, ни безъ словъ. На просьбу произнести слова Марсельезы, она отвѣчаетъ: „Allons, enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard est arrivé“. Чтеніе вслухъ оказывается уже болѣе удачнымъ, чѣмъ раньше, хотя все еще далеко не свободно отъ ошибокъ, но теперь больная сохраняетъ на нѣкоторое время память о прочитанномъ и вполне понимаетъ его. Точно также она понимаетъ и отдѣльныя слова, при чемъ надъ нѣкоторыми изъ нихъ задумывается. Иногда она старается угадать послѣдній слогъ и впадаетъ въ ошибки (вмѣсто *paradis* читаетъ *paraplui*, вмѣсто *caramel-carafon* и т. д.), но всякій разъ замѣчаетъ свою ошибку и старается исправить ее, что ей не всегда удается. „Она произвольно вызываетъ въ своей памяти первый слогъ, съ большимъ трудомъ послѣдній слогъ слова, соответствующаго указываемому предмету. Но это вызваніе совершается медленно и съ трудомъ, и вообще оказывается возможнымъ только въ самыхъ обыкновенныхъ словахъ“. Арифметическія дѣйствія производятся уже лучше прежняго: сложеніе и вычитаніе хорошо, умноженіе и дѣленіе ошибочно. Вычисленія въ умѣ дѣлаются сплошь неправильно. Состояніе интеллекта характеризуется д-ромъ Бернхеймомъ такъ: „Интеллектъ пораженъ мало; память, несомнѣнно, уменьшена, но не въ значительныхъ размѣрахъ. Возбудимость меньше, чѣмъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Вниманіе утомляется не такъ скоро. Мимика сохранилась“. На этомъ заканчиваются протоколы изслѣдованія, которые для психологій рѣчи представляютъ значительный интересъ своей послѣдовательностью. Больная, какъ мы видимъ изъ нихъ, утратила память о двигательныхъ представленіяхъ словъ, которая восстанавлилась чрезвычайно медленно. Что дѣло идетъ именно о *памяти* образовъ, видно какъ изъ общаго пораженія памяти у больной, такъ и изъ ея собственныхъ заявленій, что она чувствуетъ неправильность своего произношенія, но не

можетъ сказать правильно. И при повтореніи словъ видно то же пораженіе памяти; образъ слова, произнесеннаго передъ ней, передавался двигательному центру рѣчи слишкомъ смутно. Вмѣсто *constitutionnel* больная произносила „*constitu... te... te... не могу... constitusonnel... вотъ*“, вмѣсто *Камчатка* уже въ одно изъ послѣднихъ изслѣдованій она сказала *камчат...* Общее ослабленіе памяти отразилось особенно явственно на отвлеченномъ мышленіи: простѣйшія арифметическія дѣйствія стали недоступны больной, и только два элементарнѣйшія изъ нихъ, сложеніе и вычитаніе, потомъ до извѣстной степени возстановились. Понятъ *чужую* рѣчь больная могла, но передать ее оказывалась не въ состояніи: отсюда съ одной стороны пониманіе прочитаннаго, съ другой невозможность произнести молитву, басню, даже слова народнаго гимна, запомнившіяся въ самомъ раннемъ дѣтствѣ. Не видно, однако, чтобы за предѣлами этого упадка памяти, выражающагося въ забвеніи отвлеченныхъ символовъ (словъ и цифръ и ихъ комбинацій), духовная жизнь больной потерпѣла сильное нарушеніе. Это—„недостатокъ двигательныхъ представленій, т. е. неспособность произнесенія словъ при сохранности сферы движенія и чувствительности“, какъ опредѣляетъ моторную афазію академикъ Бехтеревъ (цит. у Аствацатурова, стр. 94). Для больного оказывается невозможнымъ „сочетать слоги и отдѣльныя буквы въ опредѣленномъ порядкѣ, необходимомъ для произнесенія слова, что требуетъ уже воспроизведенія полнаго двигательнаго представленія даннаго слова“. Въ концѣ концовъ это неминуемо приводитъ къ болѣе серьезному поврежденію интеллекта, потому что больной продолжаетъ мыслить словами, но онъ обреченъ на постепенную утрату двигательныхъ представленій словъ внутренней рѣчи; и образы внутреннихъ словъ должны у него постепенно блѣднѣть, потому что мускульное ощущеніе ихъ произнесенія исчезаетъ изъ его памяти. Больной можетъ сознавать, что онъ говоритъ *кажъ-то не такъ*, какъ нужно, но, если болѣзнь не излѣчивается (какъ это было въ приведенномъ случаѣ), то это сознаніе неправильности исчезаетъ, двигательные образы словъ совершенно пропадаютъ, и наступаетъ нѣмота. Обычно, конечно, моторная афазія наступаетъ сразу вслѣдствіе пораженія центра высшей рѣчи. Приведенная же мною схема имѣетъ въ виду психологическое значеніе моторной афазіи. „Понятія, въ общемъ, все-таки оказываются нѣсколько пораженными“ и у моторнаго афатика¹⁾. Такимъ образомъ, для развитія человѣческаго мышленія (понятій, числовыхъ отношеній и т. п.) необходима способность *говорить*, произносить слова, обладать ихъ двигательными представленіями.

Чувствительная (сенсорная) афазія вызываетъ болѣе тяжкія пораженія сознанія, такъ какъ она заключается въ „словесной глухотѣ“. Стра-

1) С. r. Monakow. Gehirnpathologie. 1897, стр. 553.

даючіе ею, по выраженію Кусмауля ¹⁾, оказываются въ положеніи людей, сразу перенесенныхъ въ среду народа, который пользуется тѣми же самыми звуками, но другими словами, и эти послѣдніе представляются ихъ слуху какимъ-то непонятнымъ шумомъ. Они пробуютъ даже говорить на этомъ языкѣ, который они когда-то, можетъ быть, знали въ дѣтствѣ, но который потомъ они почти совершенно позабыли. Однако, они не могутъ найти подходящихъ словъ, а тѣ, которыя они подыскиваютъ, оказываются искаженными и неправильными. Вотъ примѣръ чувствительной афазіи, приведенный Кусмаулемъ. „Молодая женщина 25 лѣтъ была поражена черезъ десять дней послѣ родовъ внезапной потерей сознания. Когда это послѣднее возстановилось, она не находилась въ параличѣ, но подверглась афазіи и парафазіи (постоянному искаженію и смѣшенію словъ). Она съ трудомъ подыскивала слова, не находила ихъ, искажала и смѣшивала, говорила *масло* вмѣсто *докторъ* (Butter-Doktor), откидывала слоги и буквы, замѣняла ихъ другими, употребляла неопредѣленное наклоненіе вмѣсто нужнаго ей наклоненія и спрягала неправильные глаголы, какъ правильные. Сначала на нее смотрѣли, какъ на глухую, потому что въ началѣ болѣзни она не понимала ни одного слова. Вскорѣ, однако, замѣтили, что она различаетъ стукъ двери и тиканіе часовъ такъ же хорошо, какъ здоровые люди, что она отпичаетъ по звуку одинъ колоколъ отъ другого. Зато, по ея собственному позднѣйшему разсказу, слова представлялись ей какимъ-то глухимъ шумомъ. Она слышала только нѣсколько гласныхъ и повторяла ихъ. Если односложное слово произносили обычнымъ образомъ, она не понимала; если же его произносили буква за буквой, то она повторяла слова. Въ многосложныхъ словахъ слѣдовало сначала произнести ясно одинъ слогъ, затѣмъ другой, потомъ два вмѣстѣ, и лишь тогда она могла разобрать все слово. Тоже самое было и съ чтеніемъ. Она съ большимъ вниманіемъ разсматривала слова, затѣмъ старалась произнести ихъ отдѣльно, потомъ вмѣстѣ. Излѣченіе шло медленно. Только по истеченіи шести мѣсяцевъ она стала понимать короткія фразы, и то ихъ слѣдовало произносить медленно и ясно. И все-таки, въ концѣ концовъ, въ ея рѣчи осталось что-то тяжелое“. Вопросу объ отношеніи между пониманіемъ словъ и ихъ повтореніемъ въ 1907 году посвятилъ нѣсколько интересныхъ наблюдений извѣстный изслѣдователь афазіи, К. Хейльброннеръ ²⁾. Этотъ вопросъ, конечно, имѣетъ особый интересъ и для рѣшенія вопроса о происхожденіи человеческого языка, такъ какъ повтореніе чужихъ словъ явилось однимъ изъ источниковъ взаимнаго пониманія и сознания рѣчи. По даннымъ,

¹⁾ Пользуюсь французскимъ переводомъ этого классическаго сочиненія. „Les troubles de la parole“. 1884, стр. 227.

²⁾ К. Heilbronner. Zur Symptomatologie der Aphasie. Arch. f. Psych. u. Nervenkrankheiten. n. 43. 1907.

приведеннымъ Хейльброннеромъ въ его статьѣ, „повтореніе чужихъ словъ (Nachsprechen) у больной было съ самаго начала наиболѣе сильно поражено, в это нарушеніе осталось всего дольше наиболѣе ярко выраженнымъ“. При этомъ оказывалось, что больная повторяла слово, „какъ выраженіе *представленія*, возбужденнаго предшествующимъ разговоромъ (Vorsprechen)“; она нападала иногда на нужное слово въ результатѣ извѣстныхъ ассоціативныхъ процессовъ (aux associativem Umwegen). Это не было повтореніе простого звукового сочетанія, но сознательное пониманіе: единственное число при повтореніи замѣнялось множественнымъ, слово принимало уменьшительную форму, снабжалось прибавками (Gott—der liebe Gott), такъ что „реакція получала эгоцентрической характеръ“; автоматическое повтореніе, по мнѣнію автора, не привело бы къ положительному результату даже при послѣднемъ изслѣдованіи психическаго состоянія больной, когда оно уже значительно улучшилось. И даже такія ошибки, какъ отвѣтъ на слово *лампа* (вотъ она виситъ), указываютъ на стремленіе пациентки повторять слова по содержанію, а не по комплексу звуковъ. Вслѣдствіе этого слова, не обладающія значеніемъ, возбуждающимъ живыя ассоціаціи (напр. числа), вызывали особенно много ошибокъ при повтореніи. Плохіе результаты дали также повтореніе коротенькихъ фразъ. Изслѣдованіе другого сенсорнаго афатика, старика 66 лѣтъ, приводитъ инымъ путемъ къ тому же самому выводу о потерѣ значенія словъ при сенсорной афазіи. Онъ повторялъ чужія слова не по разумѣнію, но такъ, какъ слышалъ ихъ, и вотъ результаты оказались довольно печальны: кое-какъ еще удавалось повтореніе односложныхъ словъ, но уже двусложныя оказывались для него недоступны. Знакомыя имена повторялись легче.

Д-ръ Аствацатуровъ приводитъ изъ своихъ наблюденій примѣръ сенсорнаго афатика, который могъ совершать сложныя дѣйствія, хотя не понималъ словъ. Больной подвергся сильному ушибу, послѣ котораго лишился чувствъ. „Когда же пришелъ въ себя, то оказалось, что онъ совершенно не понимаетъ обращаемыхъ къ нему словъ, а самъ, при попыткахъ сказать что-нибудь, сильно извращаетъ слова. Въ клиникѣ больной обнаруживалъ абсолютную глухоту къ словамъ; обращаемыя къ нему слова онъ слышалъ, но совершенно не понималъ ихъ смысла; равнымъ образомъ, онъ могъ отличать стукъ, звонъ, свистъ, крикъ, музыку, пѣніе и т. под. Что касается собственной рѣчи больного, то она представлялась мало понятной въ виду сильнаго извращенія произносимыхъ словъ. Чтеніе и письмо были также разстроены, но въ незначительной степени. За все время пребыванія въ клиникѣ (около 8 мѣсяцевъ) больной ни разу не подалъ повода къ переводу его въ психіатрическое отдѣленіе, никакихъ признаковъ слабоумія обнаружено у него не было. Наоборотъ, онъ давалъ письменныя исполнѣнія толковья объясненія по поводу своего состоянія и относился къ нему вполне критически. Ко времени выписки изъ клиники

состояніе больного нѣсколько улучшилось: онъ могъ произносить короткія фразы, прекрасно понималъ читаемое и могъ излагать свои мысли письменно; что касается сенсорной функціи рѣчи, то она совершенно не восстановилась, и больной, по прежнему, не понималъ ни одного изъ обрашаемыхъ къ нему словъ; несмотря на это, онъ по выплскѣ изъ клиники принялся за прежнюю свою дѣятельность—живопись; каждое дѣло онъ отправлялся одинъ на окраины Россіи писать этюды, которые зимою продавалъ, чѣмъ и добывалъ себѣ средства къ существованію“. Черезъ 8 лѣтъ больного постигъ новый ударъ, и его душевное состояніе настолько измѣнилось, что его пришлось помѣстить въ психіатрическое отдѣленіе.

Какимъ образомъ происходила психическая жизнь этого больного, который былъ лишенъ сенсорныхъ представленій словъ и слѣдовательно слуховой внутренней рѣчи, необходимой для контроля за произносимыми словами? Эта жизнь должна была имѣть такія же формы, какъ у глухонѣмыхъ, съ тою только разницею, что отъ своего прежняго опыта больной унаслѣдовалъ способность писать. По профессіи художникъ, онъ долженъ былъ обладать развитою зрительною памятью, которая помогла ему выработать у себя зрительную внутреннюю рѣчь, зрительные образы словъ. „Во время своихъ поѣздокъ, рассказываетъ д-ръ Аствацатуровъ, больной объяснялся съ окружающими при помощи записокъ, благодаря чему его принимали за глухонѣмого. Хотя онъ и могъ произносить короткія фразы, однако предпочиталъ объясняться письменно“. При полной потерѣ слуховыхъ представленій слова (какъ у глухонѣмыхъ), больной художникъ, какъ оказывается, все-таки могъ произносить слова и фразы: подъ конецъ своего пребыванія въ клиникѣ, гдѣ онъ оставался 8 мѣсяцевъ, онъ былъ въ состояніи „произносить короткія фразы“. Какъ же онъ контролировалъ правильность своего произношенія? Несомнѣнно, такъ же, какъ глухонѣмые, т. е. при помощи мускульнаго ощущенія, указывающаго на отклоненіе отъ нормы.

Разсмотрѣнныя двѣ основныя формы афазіи, двигательная и чувствительная или слуховая, представляютъ лишь два наиболѣе типичныхъ разстройствъ функціи рѣчи. Однако, слѣдуетъ упомянуть о той формѣ (транскортикальной) афазіи, которая происходитъ отъ разрушенія сочетательной связи между центрами. Какъ описываетъ это состояніе акад. Бехтеревъ („Основы ученія о функціяхъ мозга“. 1907, стр. 1489), „Больной, несмотря на то, что воспринимаетъ слышанное, не можетъ его понять. Во всякомъ случаѣ, это явленіе не зависитъ отъ того, что больной утрачиваетъ отпечатки прошлыхъ звуковыхъ образовъ и лишается этимъ самымъ ихъ запаса. Отпечатки прошлыхъ звуковъ, образовъ, навѣрное, даже остаются, такъ какъ больной можетъ иногда писать подъ диктовку и повторить сказанное. Вообще, остается въ цѣлости почти весь запасъ звуковъ отпечатковъ и ихъ дальнѣйшихъ сочетаній; въ силу чего больной отлично знаетъ,

что только что произнесенное передъ нимъ слово и повторенное имъ самимъ ему знакомо; онъ знаетъ, что это слово онъ слышалъ и произносилъ неоднократно, и въ то же время онъ самъ удивляется тому, что это слово ему непонятно, ничего ему не говоритъ, такъ какъ оно теперь не связывается съ соответствующимъ ему конкретнымъ впечаткомъ. Оно, такимъ образомъ, является простымъ звукомъ, а не символомъ, возбуждающимъ образъ того или другого предмета. Въ этихъ случаяхъ больной слышитъ и повторяетъ слова, но не можетъ ихъ понять, хотя самъ больной можетъ еще говорить, вслѣдствіе сохраненія связи центровъ конкретныхъ представленій съ двигательнымъ центромъ рѣчи. Это суть состоянія, извѣстныя подъ названіемъ транскортикальной чувственной афазіи“. Углубляясь въ подробности относительно формъ и происхожденія афатическихъ разстройствъ здѣсь, конечно, не мѣсто. Поэтому, минуя эти вопросы, представляющіе область спеціального психіатрическаго изслѣдованія, я останавливаюсь на той формѣ афазіи, которая представляетъ живой интересъ и для психологіи рѣчи. Это *амнестическая* афазія, потеря всѣхъ, вообще, словесныхъ представленій или лишь нѣкоторыхъ изъ нихъ. Амнестическая афазія является однимъ изъ видовъ амнезіи, которая характеризуется, какъ „утрата способности къ воспроизведенію представленій“ (Штеррингъ. 109). Поскольку это пораженіе распространяется только на словесныя представленія, амнезія превращается въ афазію. Въ частыхъ случаяхъ амнестической афазіи, по словамъ акад. Бехтерева (тамъ же. стр. 1314), „больные слышатъ и понимаютъ чужую рѣчь, могутъ повторять за другими всѣ рѣшительно слова и понимаютъ даже ихъ значеніе, могутъ читать и писать, но они забываютъ названія предметовъ, и потому рѣчь ихъ лишена существительныхъ, а сами они не въ состояніи назвать окружающихъ предметовъ ни при какихъ условіяхъ“. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ наступаютъ состоянія омраченія сознанія, такъ что душевная жизнь нарушается въ гораздо большей степени, чѣмъ въ разсмотрѣнныхъ выше случаяхъ афазіи. Такъ, въ клинической картинѣ такого афатика, представленной въ сочиненіи д-ра Аствацатурова и относящейся къ больному мальчику 16 лѣтъ, мы находимъ слѣдующія подробности: „Самъ больной ни на что не жалуется и, вообще, ничего не высказываетъ. На обрашаемые къ нему вопросы не даетъ соответствующихъ отвѣтовъ. Выраженіе лица тупое, бессмысленное; взрѣдка смѣется. Въ общемъ мало подвиженъ, по временамъ дѣлаетъ такія движенія пальцами, какъ будто разыскиваетъ какіе-то мелкіе предметы. Настроеніе духа безразличное или благодушное. Судя по словамъ и поступкамъ больного, теченіе идей у него крайне замедлено; количество представленій крайне скудно и однообразно, способность реагированія на процессы внѣшняго міра понижена почти до полного отсутствія. Въ окружающей обстановкѣ, повидимому, не ориентированъ; сознаніе собственной личности сохранено. Способность къ *логиче-*

скимъ операціямъ, повидному, вполне утрачена. Инициативная осмысленная рѣчь у больного отсутствуетъ совершенно: онъ не заявляетъ никакихъ требованій, ни о чемъ самъ не заговариваетъ, ничего не высказываетъ. Иногда подолгу повторяетъ одно и то же слово, послѣ его произнесения кѣмъ-либо изъ окружающихъ. Называть показываемые ему предметы не въ состояніи. Если назвать ему показываемый предметъ, то онъ эхологически¹⁾ повторяетъ его названіе; если послѣ этого начать показывать ему другіе предметы, прося ихъ назвать, то больной бессмысленно продолжаетъ повторять названіе перваго предмета. Пониманіе рѣчи также отсутствовало. При этомъ оказывается, что больной можетъ произнести необходимое въ этомъ случаѣ слово: такъ, если послѣ вопроса о его фамилии, на который онъ не даетъ соответствующаго отвѣта, произнести при немъ его фамилію, то онъ ее повторяетъ“. Вотъ самыя существенныя черты изъ клинической картены, изложенной изслѣдователемъ. Резюмируетъ онъ ее, какъ утрату пониманія словъ и осмысленной продуціи словъ, при сохраненіи способности слышать слова и произносить ихъ; какъ комбинацію извѣстныхъ формъ чувствительной и двигательной афазіи. „Больной сохранилъ способность оживленія и фиксированія словесныхъ звуковыхъ слѣдовъ, но совершенно утратилъ способность пользованія этими звуками, какъ символами“. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ амнезія распространяется на говореніе, но не касается пониманія словъ. Кусмауль рассказываетъ о больномъ портномъ, который послѣ операціи въ ногѣ подвергся параличу правой стороны. Мало-по-малу, онъ прошелъ, не оставивъ никакихъ слѣдовъ на лицѣ или въ движеніяхъ языка. „Больной потерялъ способность находить слова при сохраненіи артикуляціи. Онъ правильно произносилъ всѣ буквы азбуки, за исключеніемъ инициала, который онъ называлъ шпекъ. Но произвольно, самостоятельно произносить алфавитъ онъ не былъ въ состояніи: вмѣсто того, чтобы говорить буквы, онъ принимался считать и сразу останавливался, когда замѣчалъ свою ошибку; иногда же онъ начиналъ съ особенной поспѣшностью и произносилъ подрядъ шесть или восемь буквъ, потомъ онъ замолкалъ или выговаривалъ рядъ буквъ, которыя уже были или еще не были имъ названы. Онъ могъ также воспроизводить, повторяя ихъ за говорящимъ, слоги или слова въ два-три слога: однако онъ произносилъ *bobe* вмѣсто *bebo*; за предѣлы трехъ слоговъ онъ выйти не могъ. Вмѣсто Constantinopel онъ говорилъ Stozati, Stozate, Stozatalsch. Когда его просили произносить слогъ за слогомъ и при этомъ внимательно смотрѣть на ротъ собесѣдника, онъ добирался до Constanti, но дальше не могъ. Онъ считалъ то до 12, то до 16, потомъ начиналась путаница, которую онъ иногда замѣчалъ, и которая въ другой

¹⁾ Эхологія—бессмысленное повтореніе услышаннаго слова, иногда лишь части его. Часто больные начинаютъ бесконечно твердить схваченное слово, ритмически напѣвать его и т. д.

разъ ускользала отъ его вниманія. Онъ смогъ найти и произнести свое имя только при второмъ опытѣ; лишь только послѣ нѣсколькихъ попытокъ и съ помощью другого онъ смогъ произнести названіе своего мѣсторожденія Buchheim. На вопросъ: „Въ какомъ кантонѣ находится это мѣсто“, онъ отвѣтилъ „здѣсь“. (Это было правильно, такъ какъ Buchheim находится въ кантонѣ Фрейбургъ, въ клиникѣ котораго происходило изслѣдованіе больного). Когда его просили назвать главный городъ кантона, онъ заявилъ, что знаетъ его, но никакъ не могъ назвать. Тогда ему подсказываютъ: Фрейбургъ, онъ повторяетъ: „feig-burg-burg-frei-fro“. Такой же результатъ при вопросѣ о странѣ, въ которой лежитъ Фрейбургъ. Увѣренность, что онъ это знаетъ, и невозможность вспомнить имя. Когда его просятъ внимательно смотрѣть на ротъ говорящаго, онъ наконецъ произноситъ Фрейбургъ“. Потеря словесныхъ представленій обнаруживается въ томъ, что больной оказывается не въ состояніи называть такіе обыкновенные предметы, какъ ложка, вилка. Его пробуютъ научить этимъ словамъ, и это иногда удается, иногда нѣтъ: такъ, вмѣсто Gabel онъ произноситъ Gasser, вмѣсто Löffel—Plofe. Когда же больной хочетъ говорить самостоятельно, онъ оказывается не въ состояніи находить слова. Онъ довольствуется тѣмъ, что жестами обозначаетъ то, что хотѣлъ сказать. Впрочемъ, въ запасѣ у него еще остается нѣсколько словъ и фразъ, которыя онъ и пускаетъ въ ходъ то и дѣло. Это междометія: *oje, o weh, mein Gott, Maria Josef, das ist zu arg, ja freilich*, иногда *sacrament*. Людей онъ называетъ общимъ мѣстоименіемъ *Sie*, на вопросы отвѣчаетъ постоянно *da* или *niem* или „zu viel, zu arg, nicht so arg“. Въ жизни палаты больной принималъ самое живое участіе. Вскорѣ послѣ этого наступило ухудшеніе, начался бредъ; больной умеръ, и при вскрытіи въ его мозгу было обнаружено размягченіе.—Другой примѣръ, который Кусмауль приводитъ въ своемъ изслѣдованіи, обнаруживаетъ, что и правильно произносимыя слова у амнезического афатика не создаютъ рѣчи, такъ какъ нарушена связь между идеей и словомъ. Священникъ 16 лѣтъ страдалъ сильными головными болями и обнаруживалъ разстройства рѣчи, ради которыхъ обратился къ Кусмаулю. „Онъ поздоровался со мной, рассказываетъ этотъ слѣдній, довольно свободно, словами, произнесенными достаточно хорошо, и напомнилъ мнѣ о недавней встрѣчѣ въ Штутгартѣ. Но скорѣ онъ сталъ зашпаться на каждой фразѣ, едва достигалъ имени существительнаго; иногда же онъ вмѣсто одного существительнаго употреблялъ другое (нарафазія). Если ему помогали, онъ доводилъ фразу до конца, если только его усилія не разбивались въ концѣ концовъ о какой-нибудь глаголь. При этомъ иногда казалось, что этотъ глаголь не попадался ему на языкъ только потому, что первая часть фразы ускользала изъ его памяти. Неспособность находить имена существительныя приводила его въ волненіе; онъ старался выразить ихъ съ помощью какого-нибудь описательнаго обо-

рота, и такъ впадалъ въ фразы, все болѣе и болѣе сбивчивыя, нить которыхъ онъ окончательно утеривалъ... Когда больного просили пожать руку, показать языкъ, закрыть глаза, онъ произносилъ нѣсколько одобрительныхъ словъ, но выполнялъ эти движенія только тогда, когда ему показывали ихъ одинъ или нѣсколько разъ. Онъ напоминалъ человѣка, которому отдають приказанія на иностранномъ, непонятномъ ему языкѣ, и которому приходится растолковывать приказанія жестами". Болѣзнь также прогрессировала и закончилась смертью, послѣ которой при вскрытїи было найдено размягченіе мозга.—Потеря произвольной рѣчи иллюстрируется примѣромъ паралитика, который, лишившись движеній рукъ и ногъ, постепенно излѣчился отъ этихъ поражений, но остался не въ состоянїи говорить. „Онъ отчетливо произносилъ нѣсколько отдѣльныхъ словъ, которыя приходили ему въ голову, или которыя говорили передъ нимъ громко и медленно: въ противномъ же случаѣ его рѣчь представляла непонятное бормотаніе. Когда въ руки ему давали книгу или рукопись, онъ читалъ ее такъ легко и такъ отчетливо, что нельзя было замѣтить ни малѣйшей ошибки. Но, оставляя книгу, онъ сейчасъ же оказывался неспособенъ повторить уже прочитанныя слова“.

Такимъ образомъ, амнестическая афазія является нарушеніемъ связи между внѣшнимъ и внутреннимъ словомъ; только послѣднее оказывается символомъ, тогда какъ первое остается лишь комплексомъ звуковъ. Иногда это нарушеніе распространяется только на извѣстную группу словъ: то на имена существительныхъ, то на глаголы. „Изолированная утрата памяти именъ существительныхъ есть результатъ не полного разрушенія центра памяти словъ. При полномъ же его разстройствѣ должна произойти, естественно, совершенная утрата памяти словъ, т. е. полная неспособность произвольной рѣчи, несмотря на сохранность моторнаго центра“ (Аствацатуровъ 160). Эта форма афазїи, разобщая глаголы отъ именъ, указываетъ на психологическое различіе этихъ частей рѣчи, вообще на тѣ соотношенія, которыя создаются въ нашемъ сознанїи только словами. При амнестической афазїи теряется синтаксисъ, склоненіе и спряженіе, но, вѣроятно, это присходитъ лишь съ тѣми больными, которые говорятъ на нашихъ сложныхъ флектирующихъ языкахъ. При всѣхъ тѣхъ формахъ афазїи, о которыхъ рѣчь была выше, исчезаетъ наиболѣе рѣзко способность счисленія, какъ, вѣроятно, послѣдняя изъ приобретенныхъ человѣкомъ способностей, возможная лишь при развитїи мышленія только словами (такъ какъ числа являются только названіями или только зрительными образами въ случаѣ ихъ написанія: конкретный же образъ не связывается, напр., съ 998 такъ же, какъ съ 567 или 999); при потерѣ способности мыслить словами, какъ символами, утрачивается та или другая категорія частей рѣчи: очевидно, различіе между глаголомъ и именемъ является уже позднѣйшимъ приобретеніемъ человѣческой мысли. Но сохра-

няющаяся въ случаяхъ амнестической афазїи способность учиться произношенію по губамъ другого говорящаго, т. е. создавать въ своемъ сознанїи моторные образы словъ, относится, несомнѣнно, къ глубокой древности человѣческой рѣчи, и она, какъ мы видѣли, восстанавливается при утратѣ раньше другихъ утерянныхъ способностей рѣчи или же удерживается при ихъ потерѣ. Точно также производитъ впечатлѣніе большой старинности страсть амнестическаго афатика (да и всякаго изъ насъ въ состоянїи нормальной быстро проходящей афазїи) прибѣгать вмѣсто названія предмета къ его описанію. Больному показываютъ *тетрадь*, онъ отвѣчаетъ: „это, какъ называется, пишемъ отсюда“, показываютъ *спички*; онъ говоритъ: *такъ* (дѣлаетъ движеніе рукой, соответствующее зажиганію спичекъ) и т. под. На тѣсную связь между *словомъ* и образомъ предмета указываетъ, такъ называемая, еще не вполне выясненная *оптическая афазія*. Она объясняется, по указанію В. М. Бехтерева, „нарушеніемъ связи между обоими центрами зрѣнїя и центромъ словесныхъ слуховыхъ образовъ, тогда какъ связь между осязательными и мышечными центрами и центромъ словесныхъ слуховыхъ образовъ остается сохраненной“.

Ученіе объ оптической афазїи было установлено только въ 1889 г. извѣстнымъ психіатромъ Фреундомъ, который видѣлъ въ ней разрушеніе проводника между оптическимъ и рѣчевымъ двигательнымъ центрами. Болѣзнь заключается, какъ полагалъ этотъ ученый, въ невозможности назвать предметъ, который больной только видитъ, но не осязаетъ. Быть можетъ, разстройство здѣсь болѣе глубоко или заключается просто въ ослабленїи зрѣнїя. Но, во всякомъ случаѣ, для психологїи рѣчи эта форма болѣзни представляетъ выдающійся интересъ, такъ какъ именно здѣсь выступаетъ очень ярко связь между образомъ предмета и его названіемъ. И въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ другихъ, душевное разстройство обособляетъ рѣзко ту или другую функцію нормальной психической дѣятельности и ставитъ ее въ положеніе, благопрїятное для спеціальнаго изученія. ¹⁾ Вотъ случай, приведенный Фреундомъ. Больной Шлюквердеръ потерялъ способность называть многіе предметы при видѣ ихъ. Но, если ему при закрытыхъ глазахъ вкладывали ихъ въ руки, онъ сейчасъ же правильно произносилъ ихъ названія: монета, пробка и т. под. Очевидно, осязательныя представленія, связанныя съ этими предметами, были настолько живы, что сознаніе сейчасъ же воспринимало ихъ при соприкосновенїи. Въ другихъ же случаяхъ осязательное воспрїятіе, связанное со зрительнымъ, позволяло найти названіе предмета: надо было взять его въ руки, чтобы правильно назвать. Съ нѣкоторыми предметами у насъ, дѣйствительно,

¹⁾ C. S. Freund. Ueber optische Aphasie und Seelenblindheit. Archiv für Psychiatrie. Bd. 20. 1889. G. Wolff. Klinische und Kritische Beiträge zur Lehre von den Sprachstörungen 1904. „Случай Фойта“ подробно изложено Штернгомъ.

связаны прежде всего осязательныя представленія: таковы, напр., пробка, бархатъ, кусокъ металла, воронка, спичечная коробка, мыло, облатка и т. п. Больной, страдавшій поражениемъ зрѣнія, сталъ обнаруживать афатическія расстройства. „Пониманіе рѣчи и способность говорить не пострадали. Нарушеніе рѣчевой функціи у него заключается въ томъ, что для отдѣльныхъ предметовъ, окружающихъ его, больной не находитъ самостоятельно звукового образа (т. е. слова), хотя прекрасно знаетъ, къ чему служитъ предметъ, и т. под. Для называнія такихъ предметовъ онъ прибѣгаетъ къ описаніямъ или замѣчаніямъ, въ родѣ того, что „можно его и такъ назвать, (такъ онъ поступалъ, когда передъ нимъ произносили правильное названіе предмета), но у него есть и другое названіе“. Ему показываютъ красную таблетку, и онъ отвѣчаетъ: „Какъ же мнѣ его назвать, это новый цвѣтъ, это противный цвѣтъ“. Дни, недѣли, числа, названія мѣсяцевъ онъ называетъ хорошо и правильно. Короткія слова онъ читаетъ иногда правильно, иногда ошибочно. Изъ многосложныхъ словъ онъ читаетъ правильно, по большей части, первый слогъ; вмѣсто другихъ онъ приводитъ сочиненныя имъ самимъ окончанія: такъ, вмѣсто *Hamburg* онъ произноситъ *Hammelingen*. Написанное, особенно свое собственное имя онъ можетъ прочесть, тогда какъ болѣе сложныя написанныя слова отъ него ускользаютъ“. Настоящій случай, собственно, не относится къ оптической афазіи, но онъ интересенъ тѣмъ, что обнаруживаетъ, какъ необходима для правильности рѣчи, для правильного называнія предметовъ способность удерживать въ своей памяти зрительныя впечатлѣнія предметовъ. А отвѣты больного („но у него есть и другое названіе“) указываютъ на то, что даже при называніи видимаго предмета онъ еще не убѣждался въ его правильности: настолько неясны сдѣлались для него образы предметовъ. Но, быть можетъ, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ подобнаго рода, мы видимъ не „оптическую афазію“ (самое существованіе которой сомнительно), но гораздо болѣе глубокое расстройство, „душевную слѣпоту“, которая заключается въ потерю способности узнавать предметы съ помощью зрѣнія. „Воспроизведеніе въ памяти зрительныхъ ощущеній возможно (при оптической афазіи) только въ случаѣ воздѣйствія другихъ представленій“ (Штеррингъ 63). Такъ, больному показываютъ различныя предметы, нѣкоторые изъ нихъ онъ называетъ послѣ колебанія, другіе можетъ назвать лишь тогда, когда ощущаетъ ихъ. Въ нѣкоторыхъ же, болѣе рѣзкихъ случаяхъ названіе совсѣмъ не приходитъ ему въ голову, и приходится прибѣгать къ описаніямъ: вмѣсто „термометръ“ — „это для погоды“, вмѣсто „шприцъ“ — „это хирургическій инструментъ“. Наконецъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ больной отговаривается просто незнаніемъ предмета, при чемъ здѣсь, по видимому, на сцену выступаетъ психическая слѣпота, такъ какъ предметъ (штопоръ) очень обыченъ (Wolff 39). Другой больной не былъ въ состояніи назвать ни одинъ изъ указываемыхъ ему предметовъ, все на-

зывать однимъ словомъ: „Готлебъ“ (послѣ волненія онъ сразу потерять рѣчь), но вопросы пониманія и кивкомъ головы обнаруживаетъ пониманіе предлагаемыхъ ему вопросовъ. Повторять слова за другими онъ былъ не въ состояніи, даже собственное свое имя. Разумѣется, въ данномъ случаѣ дѣло идетъ вовсе не объ оптической афазіи; по наблюденіямъ лѣчившихъ его врачей, больной до такой степени утратилъ способность распознавать предметы по зрѣнію, что казался слѣпымъ. На самомъ же дѣлѣ это была психическая слѣпота. Случай, описанный въ 1890 году докторомъ Мели, даетъ нѣсколько любопытныхъ подробностей. Больной при видѣ *ложки* сказалъ: „Ну, это у меня каждый день въ рукахъ“; при видѣ бритвы онъ провелъ съ недовольнымъ видомъ пальцемъ по щекѣ; не могъ онъ также назвать по имени газовую лампу и щетку. „Особенно же сильно было разрушено названіе цвѣтовъ“. Когда заиграли на скрипкѣ, которую передъ тѣмъ онъ не могъ узнать, пользуясь зрѣніемъ, онъ радостно воскликнулъ: „скрипка“. На основаніи осязанія, онъ правильно назвалъ и игральныя кости, и шаръ и т. п.; обоняніе и вкусъ также сохранились и помогали больному находить имена предметовъ.—Въ этомъ случаѣ ослабленная способность вызывать въ сознаніи ясное представленіе о вещахъ съ помощью зрѣнія до извѣстной степени возмѣщалась живостью представленій, связанныхъ съ другими воспріятіями. Но въ состояніяхъ *асимболии*¹⁾ разумѣется предметы получаютъ самыя различныя названія. Получается *переносъ значенія*, нѣчто въ родѣ *метафоры*. Больному даютъ ключъ, онъ называетъ его селедкой (Wolff 47); ножъ онъ называетъ ключомъ и т. д. Почему? Несомнѣнно, не случайно, но потому, что между этими предметами есть какое-то сходство (длинный и узкій предметъ), обуславливающее смѣшеніе названій.

На основаніи анализа важнѣйшихъ данныхъ, извѣстныхъ о такъ наз. „оптической афазіи“, Вольфъ приходитъ къ отрицанію самаго существованія этой послѣдней и высказываетъ убѣжденіе, что „всѣ воспріятія (Sinneswahrnehmungen) для того, чтобы вызвать въ памяти слово (das Wort auszulösen), должны *вызвать прежде всего оптическое представленіе*, которое одно только и оказывается въ состояніи возбудить акустическое или моторное представленіе слова“. Для вопроса о происхожденіи человеческого языка этотъ выводъ имѣетъ, конечно, извѣстное значеніе: оказывается, что зрительныя представленія играютъ особенно выдающуюся роль въ называніи предметовъ. Однако, не только они играютъ эту роль.

¹⁾ „Когда дѣло идетъ о прерываніи всѣхъ вообще связей между центрами конкретныхъ образовъ и центрами рѣчи, наступаетъ полная *асимболия*, когда слова, утрачивая свое значеніе, произносятся безъ всякаго смысла въ видѣ простого безсодержательнаго набора“. В. М. Бехтеревъ. Основы ученія о функціяхъ мозга. 1907, стр. 1494.

Есть не мало предметовъ, представленіе о которыхъ связано прежде всего съ осязательными воспріятіями. По справедливому указанію Вольфа (стр. 66), мыло, ножъ и т. п. вызываютъ въ нашемъ сознаниіи прежде всего осязательныя представленія. Такимъ образомъ, не звуки природы, но впечатлѣнія зрительныя и осязательныя прежде всего вызываютъ у насъ потребность называть вещи *своими* именами. „Оптическая афазія, какъ и другія афазіи отдѣльныхъ чувствъ, оказывается только частнымъ выраженіемъ общаго ослабленія способности называть предметы“, говоритъ д-ръ Вольфъ. Слово перестаетъ *значить* для больного, какъ символъ. Больная, правильно повторяющая за докторомъ слово *ключъ*, на вопросъ, гдѣ ключъ, беретъ этотъ предметъ, но откладываетъ его въ сторону, очевидно, не связывая зрительнаго и осязательнаго воспріятій его съ названіемъ. Другая правильно назвала наперстокъ, но не могла найти его среди другихъ предметовъ¹⁾. Особенно поучителенъ для изслѣдователя возникновенія значенія словъ широко извѣстный въ психіатріи „случай Фойта“. Онъ изложенъ обстоятельно въ названной выше книгѣ Штерринга, и потому я ограничусь самыми существенными чертами. Молодой человекъ, Фойтъ, упавъ съ лѣстницы, получилъ переломъ черепа, почти оглохъ на правое ухо, почти ослѣпъ на оба глаза. Вмѣстѣ съ тѣмъ у него обнаружилась неспособность называть предметы. По словамъ перваго описавшаго этотъ случай наблюдателя, больной тотчасъ же узнавалъ всѣ предметы, которые зналъ раньше, но не былъ въ состояніи называть ихъ. Онъ прибѣгалъ къ обычнымъ въ такихъ случаяхъ описаніямъ („это то, чѣмъ дѣлаютъ такъ“, говорилъ онъ при видѣ ножа, изображая рукой дѣйствіе рѣзанія); ни созерцаніе, ни ощупываніе ножа не возстановляли въ его памяти названія этого предмета. Эти же самыя названія онъ понималъ, однако, при разговорѣ вполне правильно и умѣлъ отмѣтить ихъ среди другихъ; однако ни глаголы, ни имена прилагательныя не удавалось ему называть самостоятельно. Память *на символы* у него была настолько ослаблена, что онъ не могъ прочесть слово буква за буквой, если остальные буквы, кромѣ той, которую онъ произносилъ, были закрыты. Но эта память возстановлялась, когда больной могъ дать волю своимъ *моторнымъ представленіямъ* слова, которыя, очевидно, сохранились при ослабленіи зрительнаго мышленія и вмѣстѣ съ тѣмъ развитіи „оптической афазіи“. Если передъ Фойтомъ находился образъ того предмета, который ему слѣдовало назвать, то, взглядываясь въ него и медленно выводя буквой за буквой, онъ могъ написать требуемое названіе. Получалось совершенно такое же явленіе, какъ у слѣпоглухонѣмыхъ, которые создавали себѣ моторно графическую внутреннюю рѣчь, подлежащую въ дальнѣйшемъ нашему изученію. Черезъ

¹⁾ Эти примѣры приведены А. Пикомъ въ его статьѣ „Neue Beiträge zur Pathologie der Sprache“. Arch. für Psych. B. 28. 1896, ср. мою статью о внутренней рѣчи, стр. 59.

нѣсколько лѣтъ послѣ этого больной былъ подвергнутъ новому изученію. Къ этому времени онъ достигъ уже гораздо большаго совершенства въ развитіи своей двигательной внутренней рѣчи, чѣмъ въ первомъ случаѣ. Названія онъ находилъ съ помощью письма. При этомъ, „чтобы найти требуемое слово, онъ обыкновенно тайкомъ производилъ движенія письма руками и ногами. Если руки и ноги ему удерживали, онъ производилъ соответственныя движенія языкомъ. Если же ему не только удерживали руки и ноги, но и заставляли высунуть языкъ, то онъ не въ состояніи былъ найти слово, обозначающее данный предметъ“. Но, какъ категорически утверждаетъ изслѣдовавшій Фойта врачъ, этому написанію *не предшествовали* ни письменный, ни звуковой образъ названія. Въ сознаниіи больного это послѣднее возникало, стало быть, лишь *при написаніи*, какъ въ нормальной внутренней рѣчи слово возникаетъ при его внутреннемъ произношеніи или воспроизведеніи внутреннимъ слухомъ. Такимъ образомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло не съ ассоціаціей двигательныхъ ощущеній съ соответственными образами словъ, какъ полагаетъ Штеррингъ, а съ настоящей двигательной графической рѣчью, которая съ помощью этихъ движеній создавала слово. Такъ, съ помощью жестовъ создается слово въ условной рѣчи зрячихъ глухонѣмыхъ. Разумѣется, наличность хотя бы такой формы внутренней рѣчи, какая создалась у Фойта, допускаетъ возможность символовъ, необходимыхъ для возникновенія понятій. Поэтому, не представляется удивительнымъ, что на вопросъ, можно ли назвать два предмета общимъ именемъ, Фойтъ легко находилъ отвѣтъ, когда ему не мѣшали написать слово, какъ названіе болѣе общаго понятія, обозначающаго оба предмета. „Если же движенія его задерживали, то онъ не въ состояніи былъ найти подходящаго слова. Его просили обозначить мотаніемъ или кивкомъ головы, знаетъ ли онъ внутренне требуемое слово. *Постоянно получали отрицательный отвѣтъ*“. Иного, конечно, нельзя было и ожидать, разъ слово *создавалось* у Фойта только при написаніи его, чему предшествовало, какъ у нормальныхъ людей, при словесно двигательной внутренней рѣчи, смутное сознаніе существованія такого слова. Нѣсколько лѣтъ спустя, тотъ же больной былъ изученъ Г. Вольфомъ, авторомъ книги объ оптической афазіи, изъ которой я привелъ въ предшествующемъ изложеніи рядъ данныхъ. Вольфъ констатировалъ, что больной не можетъ называть качества предметовъ, воспринимаемыхъ органами чувствъ, если не имѣетъ для этого достаточно сильнаго возбужденія во внѣшнемъ мірѣ, но легко справляется съ названіями *отвлеченныхъ качествъ*.

Такъ, чтобы сказать, что деревья зелены, кровь красна, онъ долженъ былъ увидѣть зеленыя деревья и красную кровь. Важно, что у этого больного съ такой слабой способностью воспринимать впечатлѣнія внѣшняго міра ассоціація между предметомъ и словомъ устанавливалась все-таки

съ помощью зрѣнія. Такъ, онъ не могъ припомнить названіе часовъ, когда слышалъ ихъ тиканье, но, если онъ вытаскивалъ ихъ изъ кармана и видѣлъ, то съ помощью написанія онъ называлъ ихъ правильно. И вообще, какъ констатируетъ послѣдній наблюдатель Фойта, Вольфъ, предметы, которые больной воспринималъ съ помощью зрѣнія, онъ обыкновенно называлъ правильно; и наоборотъ: по большей части, онъ не находилъ названій предметовъ, которые онъ воспринималъ съ помощью другихъ чувствъ. Такимъ образомъ, въ созданіи словъ, какъ символовъ, первое мѣсто принадлежало зрѣнію. Это положеніе, устанавливаемое психіатріей, настолько важно и для нормальной психологіи, что и посвящу ему здѣсь же нѣсколько строкъ. На IV конгрессѣ экспериментальной психологіи въ Инсбрукѣ (въ апрѣлѣ 1910 г.) О. Липманъ прочелъ рефератъ о зрительныхъ типахъ¹⁾. По словамъ этого ученаго, онъ задался цѣлью разрѣшить вопросъ, какимъ образомъ люди относятся къ разноцвѣтнымъ, разнообразнымъ по величинѣ и формѣ впечатлѣніямъ обыденной жизни, т. е. какъ они воспринимаютъ предметы съ помощью зрѣнія. „Аудитивно-моторному типу, говоритъ Липманъ, мы не должны противопоставлять *единный* зрительный типъ; напротивъ, мы должны различать нѣсколько зрительныхъ типовъ, отличающихся одинъ отъ другого исключительнымъ или лучшимъ воспріятіемъ разныхъ оптическихъ качествъ, тона цвѣта, насыщенности, яркости, величинны, положенія“. Одни замѣчаютъ прежде всего цвѣта, другіе — форму предмета, третьи — тѣ группы, которыя образуются нѣсколькими сходными предметами, и это преимущественное замѣчаніе тѣхъ или другихъ оптическихъ особенностей оказывается, по мнѣнію изслѣдователя, не случайнымъ, но типическимъ для каждаго отдѣльнаго лица. Продолжая этотъ выводъ дальше, придется сказать, что такіе зрительные типы могутъ имѣть преобладаніе въ извѣстной средѣ и отразиться на самомъ называніи предметовъ тѣмъ или другимъ словомъ. Даже мимолетное зрительное впечатлѣніе оставляетъ свой слѣдъ и содѣйствуетъ воспроизведенію образа при повтореніи его. Опыты Виганда съ чтеніемъ словъ на разныхъ разстояніяхъ и при различной быстротѣ передвиженія буквъ²⁾ указываютъ на то, съ какой силой залегаетъ въ нашей памяти зрительный образъ³⁾.

¹⁾ O. Lippman. Visuelle Auffassungstypen. Bericht über den IV. Kongress für experimentelle Psychologie. Leipzig. 1911.

²⁾ C. F. Wiegand. Untersuchungen über die Bedeutung der Gestaltqualität für die Erkennung von Wörtern. Zeitschrift für Psychologie. Bd. 48 (1908), стр. 231. Интересна по заглавію, но весьма мало даетъ по существу статья Decroly et Degand. Expériences de mémoire visuelle verbale et de mémoire des images, chez les enfants normaux et anormaux. L'Année psychologique. 1907.

³⁾ Въ полномъ противорѣчій съ этимъ стоятъ утвержденія Дежерина, что зрительные образы предметовъ возникаютъ у насъ позже слуховыхъ,

Приведенныя выше разстройства рѣчи, тѣ формы афазіи, которыя разрушаютъ внутреннюю рѣчь или ея связи съ внѣшней рѣчью, съ органами слуха или говоренія, не исчерпываютъ собой разстройство, которыя наблюдаются въ области языка въ ненормальныхъ состояніяхъ. И въ нормальной жизни мы вдругъ забываемъ слово, оговариваемся въ произношеніи, обнаруживаемъ явленія „оптической афазіи“ и т. п., но эти скоропроходящія состоянія вызываются нарушеніемъ единства и ясности сознанія вслѣдствіе волненія, усталости и другихъ причинъ, не вызывающихъ болѣе глубокихъ разстройствъ нашего интеллекта. Но машинальное повтореніе чужихъ словъ превращается въ болѣзненное состояніи въ *эхолалию*, вмѣсто обмолвки получается *парафазія* и т. д. На этихъ явленіяхъ необходимо остановиться, такъ какъ именно эти болѣзненные уклоненія подчеркиваютъ нормальное. Подъ парафазіей, говоритъ Кусмауль, мы понимаемъ такое разстройство рѣчи, при которомъ представленія уже не соответствуютъ словеснымъ образамъ, такъ что на мѣсто соответствующихъ смыслу словъ появляются слова съ противоположнымъ значеніемъ, или совсѣмъ странныя и не понятныя. Это не бормотаніе или лепетъ, объясняющіеся моторной афазіей, но воспроизведеніе вмѣсто желаемыхъ словесныхъ образовъ другихъ. Вмѣсто *Butter* (масло) больной произноситъ *Mutter* (мать), вмѣсто *Doktor-Butter*, вмѣсто *Trinkgeschirr-Nachtgeschirr* и т. п. Не всегда, однако, парафазія представляетъ слова, сходныя съ требовавшимися; она можетъ принимать различныя формы, вырождаясь иногда въ простой наборъ бессмысленныхъ словъ или звуковыхъ комплексовъ, при чемъ больной думаетъ, что говоритъ совершенно правильно и логически развиваетъ свою мысль. Происходитъ это отъ отсутствія контроля за собственной рѣчью, отсутствія, которое объясняется извѣстными разстройствами въ сознаніи или слишкомъ быстрой смѣной представленій и т. под. *Эхолалия* есть бессмысленное повтореніе услышанныхъ чужихъ словъ, *вербигерация* повтореніе одной и той же собственной мысли, происходящее, по указанію д-ра Аствацатурова¹⁾, вслѣдствіе рѣзкаго суженія круга представленій, отражающагося на рѣчи больного. „Выйти изъ этого ограниченнаго круга представленій онъ не можетъ, новымъ представленіямъ въ его психикѣ нѣтъ мѣста. Въ этомъ

выхъ, и т. п. Изъ этого факта, что „начало распада интеллекта характеризуется распадомъ, утратой зрительныхъ представленій при сохранности слуховыхъ“ (В. В. Селецкий. „Диссоціація представленій и ея значеніе“. Журналъ невропатологіи и психіатріи имени С. С. Корсакова. 1908, кн. 1. стр. 41), — дѣлать подобный выводъ мнѣ представляется невозможнымъ. Мы имѣемъ дѣло именно съ диссоціаціей, съ перерывомъ проводниковъ между различными центрами и отраженіемъ этой диссоціаціи въ психической жизни человека.

¹⁾ О вербигерации. (Обозрѣніе психіатріи, неврологіи и экспериментальной психологіи. 1906, ноябрь).

особенно наглядно можно убедиться, если попросить больного что-нибудь прочесть. Читать онъ, въ сущности, можетъ и прочитываетъ правильно даже длинныя и трудныя для произношенія слова, напр. Гельсингфорсъ, Биржевыя, крестьянскій банкъ и т. п. Но такъ какъ въ его психикѣ прочитываемыя слова не вызываютъ никакого представленія, а сохранившіяся въ немъ отрывочныя представленія, быть можетъ, уже въ силу своей малочисленности имѣютъ особенную пятенсивность, то больной, прочтя одно или два слова, говоритъ свои обычныя фразы: *Манюша придетъ*, или же, показывая на сапоги, говоритъ: *зелененькія*. Этими двумя фразами ограничивается запасъ его заветныхъ мыслей: „Зелененькія, скончалась, куда пошелъ, солнце тутъ, Манюша, теперь куда пошелъ, солнце тутъ, куда пошелъ, куда пошелъ“ и т. д.

Такъ, расстройства рѣчи тѣсно связаны съ расстройствами психики. Общительность, перейдя за нормальныя предѣлы, превращается въ страсть высказываться, *эйфазію*; неясное представленіе объ отношеніяхъ между явлениями принимаетъ въ рѣчи душевно больного характеръ *аграматизма*, въ которомъ отсутствуютъ грамматическія формы нашей нормальной рѣчи. И только ясное сознаніе создаетъ ясную рѣчь со словами, передающими впечатлѣнія жизни.

(Литература къ этой главѣ приведена въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ. См. также учебники по психіатріи Корсакова, Щербака и др. Очень обстоятельно изложены различныя формы болѣзни рѣчи въ книгѣ Леруа. *Le langage*. 1905).

ГЛАВА V.

Расстройства рѣчи при истеріи, слабоуміи и душевныхъ болѣзняхъ.

Послѣ того, какъ въ предшествующей главѣ были рассмотрѣны главныя расстройства рѣчевой функціи человѣка, въ этой главѣ я намѣренъ остановиться на тѣхъ особенностяхъ, которыя принимаетъ рѣчь при нарушеніяхъ нормальной психической жизни человѣка. Здѣсь идетъ рѣчь не о поврежденіи рѣчевыхъ центровъ или проводниковъ отъ нихъ къ периферіи, но о такихъ явленіяхъ, которыя сводятся къ патологическимъ сознаніямъ, о такихъ формахъ, которыя сопровождаютъ душевныя заболѣванія. „При извѣстной степени двигательнаго возбужденія, говоритъ проф. Корсаковъ въ своемъ „Курсѣ психіатріи“: рѣчь перемѣняется въ своемъ темпѣ, дѣлается быстра, словообильна, плавна: больной сыплется рѣчами, созвучіями, поговорками и говоритъ стихами. При большей степени возбужденія мы видимъ, что въ разговорѣ мысль не доканчивается, фраза обрывается на половинѣ, постоянно мѣняется тема рѣчи, разсказъ прерывается пѣніемъ, побочными вопросами, обращеніями. При еще боль-

шей степени возбужденія рѣчь теряетъ смыслъ, представляется простымъ наборомъ фразъ, въ которыя вставляются безъ всякой надобности поговорки и безсмысленныя, постоянно повторяющіяся присловія, дальше разстраивается правильность образованія фразы, являются синтаксическія и этимологическія ошибки; затѣмъ, вмѣсто словъ являются обрывки словъ, наконецъ нечленораздѣльные звуки. Но темпъ рѣчи можетъ измѣниться и въ другую сторону; рѣчь можетъ становиться все медленнѣе и медленнѣе. Это бываетъ при меланхоліи и при другихъ болѣзняхъ съ подавленіемъ душевной дѣятельности. Смотря по степени подавленія, рѣчь дѣлается то болѣе, то менѣе медленной; сначала больной только молчаливъ; затѣмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ больной говоритъ только вяло, въ другихъ еле-еле скажетъ слово. А бываетъ много случаевъ, когда молчаливость доходитъ до полного молчанія—*mutacismus* или *mutismus*“. Уже изъ этой схемы видно, какъ важно для пониманія глубокой связи между мыслью и языкомъ, сознаніемъ и рѣчью рассмотреть ту роль, какую играетъ языкъ въ различныхъ формахъ душевныхъ расстройствъ. Эта роль представляетъ опредѣленный симптомъ болѣзни, и записи рѣчи душевнобольныхъ, произведенныя стенографически двумя нѣмецкими врачами, предназначались для цѣлей практическихъ, служа матеріаломъ для распознаванія извѣстныхъ формъ психическихъ болѣзней¹⁾.

Прежде, чѣмъ остановиться на характеристикѣ роли языка въ истеріи, слабоуміи, идиотизмѣ и душевныхъ болѣзняхъ, я приведу любопытный случай созданія собственнаго языка больной, истеричкой. Этотъ случай описанъ русскимъ врачомъ и наблюдался въ больницѣ Николая Чудотворца въ Петербургѣ. Женщина, бывшая предметомъ наблюденія, служила у переплетчика неподалеку отъ города. Хозяева ея нерѣдко отправлялись въ столицу и оставались тамъ ночевать, а ей дали для безопасности револьверъ и ножъ,²⁾ что ее неприятно поразило. Черезъ нѣсколько дней, когда она оставалась одна, къ ней пришли въ гости римскій папа, митрополитъ Исидоръ и прусскій король Фридрихъ. Такъ начиналъ развиваться бредъ, который потомъ создалъ цѣлую сложную картину отношеній. Между прочимъ, одинъ изъ гостей превратился въ лягушку, которую больная, по приказанію короля Фридриха, разрѣзала на четыре части и съѣла. Это „убійство“ являлось единственной связью бреда съ реальной жизнью, въ которой больная также должна была бы совершить убійство изъ револьвера, если бы кто-нибудь забрался къ ней. Уже съ ранята дѣтства больная страдала галлюцинаціями, которыя преслѣдовали ее всюду, и во время работы, и въ церкви и принимали обыкновенно ска-

¹⁾ *A. Lieberman und M. Edel*. Die sprache der Geisteskranken nach steno-graphischen Aufzeichnungen. Halle. 1903.

²⁾ *Lydia Felicina-Gurwitsch*. Ueber produktive Tätigkeit bei hysterischen Halluzination. Archiv für Psychiatrie. B. 48. 1911.

зочный характеръ. Во время одной изъ такихъ галлюцинацій передъ ней предсталъ юноша въ бѣлой одеждѣ съ золотымъ поясомъ и сказалъ ей: „учись“, а вслѣдъ за нимъ явился палачъ, который отрубилъ юношѣ голову. Не будучи въ состояніи противиться повелѣнію видѣннаго юноши, больная рѣшила учиться и поступила въ вечернюю школу для взрослыхъ, гдѣ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ научилась читать и писать. Какъ видно изъ біографіи больной, желаніе учиться было у нея уже въ дѣтствѣ, но жизнь не позволила ему осуществиться, и желаніе перешло, по выраженію г-жи Фелициной-Гурвичъ, въ подсознательную сферу.—Юноша продолжалъ навѣщать больную, являясь къ ней съ тетрадью, изъ чего она заключила, что должна научиться и писать, черезъ полтора мѣсяца она научилась правильно писать буквы. Тогда явился тотъ же юноша, держа тетрадь, въ которой были записаны какіе-то непонятныя звуки; больная списала ихъ въ свою тетрадь и убѣдилась, что знаки представляютъ буквы неизвѣстнаго ей алфавита. Она въ скоромъ времени научилась читать и писать этой азбукой, и страсть къ писанію такъ обуяла ее, что ей пришлось оставить работу на фабрикѣ, чтобы имѣть больше досуга. Горы бумаги она изводила на свое писаніе и тщательно ихъ берегла отъ чужихъ и родныхъ. Она списывала изъ тетради мнимаго юноши рассказы, которые разъяснили ей смыслъ жизни, но содержаніе этихъ рассказовъ она не была въ состояніи передать врачамъ больницы. Самыя же тетради были уничтожены сыномъ во время пребыванія больной въ больницу Николая Чудотворца. Тамъ она также пробовала писать своей новой азбукой, записывая на листы, повидимому, какія-то мистическія мысли. Попрямому ее навѣщала юноша, и дѣло кончалось всегда тѣмъ же самымъ: появлялся палачъ, который отрубалъ юношѣ голову, а ей, самой,—если она не переставала писать.—пальцы. Эта бредовая борьба, по предположенію врачей, являлась психическимъ отраженіемъ непріятностей, которыя больной пришлось вынести отъ сына и родныхъ, издѣвавшихся надъ ея поступленіемъ въ школу и уничтожавшихъ ея писанія. Другія галлюцинаціи не имѣли прямого отношенія къ созданію больной собственнаго языка, и потому я не стану ихъ касаться.

Что же касается стремленія больной создать свой языкъ, то психологическая причина его та же, которая заставляетъ дѣтей школьнаго возраста прибѣгать съ наивной безпомощностью къ сочиненію *своего* языка посредствомъ перестановки или присоединенія нѣсколькихъ слоговъ; та же, — которая влагаетъ въ уста матери, баюкающей свое дитя, или въ ибжныя сміянія влюбленныхъ, или въ пѣсни поэта оригинальныя, малопотребительныя или только что ими самими сочиненныя слова. Это есть потребность, присущая человѣку съ древнѣйшихъ временъ созданія языка, —выражать содержаніе своей личной жизни съ помощью своихъ собственныхъ словъ. Кон-

троль внѣшняго міра не позволяетъ намъ заходить слишкомъ далеко въ этомъ отношеніи, и даже люди, которые, подчиняясь, по существу, тому же бессознательному влеченію, видятъ признаки какого-то высшаго своего призванія въ оригинальности и искусственности своей рѣчи, поэта декаданса, „футуристы“ и т. п.,—и тѣ остаются въ предѣлахъ „школы“, не будучи понимаемы посторонними, но другъ для друга понятные. И они не говорятъ каждый по своему, но вырабатываютъ въ лонѣ общаго всеѣмъ имъ литературнаго языка свой собственный *диалектъ*, въ образованіи котораго, какъ и вообще въ образованіи діалекта, обнаруживается вліяніе извѣстной индивидуальности. Такъ говорятъ, что поэты создаютъ языкъ. Ниже мы увидимъ, какой могущественный факторъ въ созданіи языка представляетъ это личное вліяніе. Здѣсь же я отмѣчу только, съ какой настойчивостью пробивается у человѣка стремленіе создавать свой языкъ. Въ нормальной жизни оно также дѣйствительно и могуче, но направляется общеніемъ съ людьми по извѣстному пути. Тамъ, гдѣ общеніе прекращается, или гдѣ намѣренно избѣгаютъ его, это стремленіе даетъ себѣ полную волю и приводитъ къ такимъ явленіямъ, какъ сочиненіе нелѣпныхъ собственныхъ словъ умалишенными или даже пѣлаго языка—истериками. Конечно, душевный міръ этихъ послѣднихъ отличается отъ нормальнаго, иногда представляя ограниченіе сознанія, иногда же особенное направленіе его, такъ что на созданіи языка не можетъ не лежать отпечатка нѣкотораго убожества и ненормальности. Такимъ образомъ, разсматриваемый случай, описанный петербургскимъ психіатромъ, представляетъ живой интересъ и для изслѣдователя отношеній между мыслью и рѣчью.

Сама г-жа Фелицина-Гурвичъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ тотъ психологическій фонъ, на которомъ созданъ „языкъ“ малограмотной и бѣдной истерички. „Она очень интенсивно стремится къ преобразованію своей жизни, хотя сначала пути къ этому представляются ей совершенно неясно. Такимъ руководящимъ перстомъ ей представляется сначала изученіе грамоты; возникаетъ стремленіе, которое находитъ поддержку на фабрикѣ въ общеніи и вліяніи другихъ работницъ. Ироническое отношеніе сына къ ея занятіямъ прищипываетъ ее; какъ истеричка, она хочетъ непременно настоять на своемъ. Побужденіе падаетъ на плодородную почву; естественно, что у человѣка, который съ дѣтства подвергался галлюцинаціямъ, содержаніе галлюцинаціи находится подъ вліяніемъ новыхъ душевныхъ переживаній. Послѣднимъ душевнымъ переживаніемъ госпожи I. было изученіе русской азбуки; но это приобрѣтеніе было связано для нея съ большимъ разочарованіемъ. (Оно не открыло ей никакихъ новыхъ путей жизни). Отсюда понятно, какъ ученіе превратилось для нея въ объектъ галлюцинаціи и приняло такую фантастическую форму. Однако, мы не хотимъ утверждать, что изученное содержаніе галлюцинаціи представляетъ единственный логически пріемлемый мотивъ; совер-

шенно такія же, мистическія по своему содержанію галлюцинаціи были бы понятны, логически разсуждая, и на русскомъ языкѣ. Но то, что мы отмѣтили здѣсь, представляетъ болѣе интенсивное стремленіе вырваться изъ рамокъ среды. Изученіе обыкновеннаго языка оказало ей мало помощи. Поэтому пришлось искать чего-нибудь новаго. Теперь ей мозгъ принимается работать надъ тѣмъ, чтобы превратить ничтожныя свѣдѣнія, которыми она обладаетъ, въ новое знаніе. Она мечтаетъ о какихъ-нибудь жизненныхъ правилахъ, которыя предуть къ ней на другомъ чудесномъ языкѣ, и изъ едва знакомой ей азбуки она конструируетъ новыя буквы, новыя слова. Она вѣритъ, что эти знаки откроютъ ей путь къ новой жизни. Такимъ образомъ происходилъ, вѣроятно, процессъ созданія новаго языка, при чемъ повсюду обнаруживается скудный запасъ знаній у больной; письмо ея отличается большой скудостью фантазій, мы видимъ въ немъ только отдѣльныя слова и фразы. Тѣмъ не менѣе, больная чувствуетъ себя иначе, чѣмъ раньше; она видитъ въ своемъ поведеніи нѣчто высшее, что дастъ ей удовлетвореніе и спокойствіе. Такимъ образомъ, творческій актъ относится не къ содержанію, но только къ средствамъ выраженія. Въ особенности же ярко обнаруживается эта безконечно наивная вѣра въ значеніе средствъ выраженія, какъ орудія познанія, въ сочиненіи новыхъ словъ для собственныхъ именъ, что совершенно противорѣчитъ установившемуся обычаю. Быть можетъ, наше мнѣніе субъективно, но намъ представляется, что для русскаго уха собственные имена, сочиненныя г. I., звучатъ особенно пышно и торжественно¹⁾. Въ нашей попыткѣ объясненія намъ приходится сдѣлать еще одинъ шагъ дальше: казалось бы, если принять наше толкованіе галлюцинацій г-жи I., было бы достаточно пользоваться чуждыми звуками; для чего ей потребовалось сочинить еще собственный алфавитъ? Нерѣдко случается, что больные употребляютъ непонятныя слова, которыя для нихъ полны значенія. Но при этомъ они вовсе не нуждаются въ новыхъ письменныхъ знакахъ. Госпожа I., однако, ихъ создала, и притомъ въ такомъ же количествѣ и

¹⁾ Это т. наз. эмоциональная окраска словъ. Чтобы не возвращаться дальше къ этому предмету, я здѣсь же коснусь вопроса о такъ наз. эмоциональномъ значеніи словъ. Слова, употребляемые въ извѣстной исключительной обстановкѣ или въ примѣненіи только къ извѣстнымъ лицамъ, вызываютъ извѣстное исключительное настроеніе. Такъ, слово *десница*, означающее просто правую руку въ древнемъ славянскомъ языкѣ, получило особое эмоциональное значеніе въ русскомъ языкѣ, такъ какъ вошло въ него изъ языка богослуженія. На этомъ принципѣ было, какъ извѣстно, основано и помпосовское дѣленіе „стилей“ на высокой, средней и подлый. По отношенію къ высокопоставленнымъ лицамъ употребляются нерѣдко иные термины, чѣмъ по отношенію къ другимъ людямъ (*прославдовать* вмѣсто *прозвать* и т. п.). Иное эмоциональное значеніе имѣютъ слова *крушатъ* и *гсть*, а слово *жрать* считается неприличнымъ, хотя въ звукахъ этого слова

съ тѣмъ же произношеніемъ, что и въ русской азбукѣ. Здѣсь обнаруживается извѣстный импульсивный актъ: она только что научилась читать: эта работа происходила медленно и тяжело, и, повидимому, именно этому обстоятельству она была обязана тѣмъ, что у нея укрѣпилась мысль, что пріобрѣтеніе новаго языка совпадаетъ существеннымъ образомъ съ изученіемъ новыхъ буквъ. Повышенному, чающему, мистическому настроенію г-жи I. не могло бы соответствовать, если бы юноша явился къ ней съ тетрадью, написанной русской азбукой“. *Новыя* чувства — *новый* языкъ, *новый* языкъ — *новая* азбука: такъ можно было бы резюмировать изложеніе г. Фелициной-Гурвичъ.

Самый языкъ больной представляетъ стремленіе сочинить совсѣмъ новый языкъ, новый словарь, но, какъ и дѣти, она не можетъ уйти и отъ заученныхъ образцовъ: *межа* = *чека*, *солнце* = *волме*, *рубка* = *лира*, не говоря уже о *луна* = *лонь*, *лугъ* = *гултъ* (изъ обратнаго чтенія *лугъ*), придерживаются тѣхъ же окончаній и звуковыхъ сочетаній. Другія слова связаны съ какими-то иными ассоціаціями: *поле* = *гамае*, *полоса* = *виша*, *облако* = *крутось*, *озеро* = *рудикъ*, *заря* = *говса* и т. д. созданы больно по какимъ-то инымъ ассоціаціямъ. Что касается собственныхъ именъ, то превращеніе въ нашемъ помѣщицьемъ быту Ивановъ въ Жаны и Прасковій въ Полинъ, страсть къ избраннымъ собственнымъ именамъ у романтиковъ или декантентовъ, психологически совершенное такое же явленіе, только не выходящее изъ сферы социальной необходимости взаимопониманія, какъ и сочиненныя г. I. для нея самой звучныя и громкія имена *Аргентъ* (Иванъ), *Арфотъ* (Егоръ), *Арфентъ* (Александръ), *Альсонтъ* (Михаилъ), *Альсанъ* (Дмитрій), *Альгартъ* (Гавриилъ), *Дамисъ* (Федоръ), *Дарментъ* (Радионъ), *Доргентъ* (Дюмидъ). Быть можетъ, и здѣсь не обошлось безъ внѣшнихъ влияній. *Дамисъ*, *Аргентъ* и др. больно смахиваютъ на молюеровскія имена. Петербургскій рабочій могъ увидѣть на сценѣ Народнаго дома комедію Мольера, могъ прочесть въ какомъ-нибудь „Пинкертопѣ“ подходящія имена и включить ихъ въ собственный словарь¹⁾.

нѣтъ, конечно, ничего неприличнаго. Нѣкоторыя слова нравятся намъ именно своей экстраординарностью, „торжественностью“: таковы напр. *монументъ*, *саркофагъ* (греческое *σαρκοφάγος* — хищникъ, мясоѣдъ употреблялось о хищныхъ птицахъ или звѣряхъ) и т. п. Донъ-Кихотъ назвалъ своего коня Росинантомъ ради пышности этого названія; щедринская знакомая (см. „За рубежомъ“) очень обидѣлась, когда ее назвали женщиной, а не дамой, а герой Горькаго, напротивъ, заявилъ, что слово *че-ло-вѣкъ* „звучитъ гордо“. Ср. Б. Кутерманъ. Эмоциональный характеръ слова. Журн. Мин. Нар. Просв. 1909, январь. В. Bourdon. L'expression des émotions et des tendances dans le langage 1892. Zazarus. Xer Geist der sprache.

¹⁾ Припомните стих. Пушкина:

„Бывало, писывала кровью
Она въ альбомы нѣжныхъ дѣвъ,
Звала Полиню Прасковью

Мы видимъ, такимъ образомъ, какую роль приобретаетъ языкъ въ творческихъ галлюцинаціяхъ истеріи. Слѣдующій примѣръ, который я заимствую изъ книги вѣнскихъ психіатровъ Брейера и Фрейда (*I. Breuer unds, Freud. Studien über Hysterie*), обнаруживаетъ, что для *особенныхъ* переживаній нуженъ и *особенный* языкъ. На этотъ разъ мы видимъ высоко интеллигентную больную, которая не прибѣгла къ сочиненію собственнаго языка, но перестала говорить на *родномъ*. Пользуясь методомъ распризнаній, противъ котораго такъ справедливо высказались Бине и Симонъ (въ статьѣ объ истеріи въ *L'Année psychologie* 1910), вѣнские врачи добились того, что больная, — серьезная и хорошо образованная дѣвушка, горячо любившая своего отца и заболѣвшая тяжелой формой истеріи во время продолжительнаго ухода за нимъ и бодрствованій по ночамъ, — больная изложила всю исторію своей болѣзни въ загнипнотизированномъ состояніи. Въ нормальномъ же, какъ это обычно бываетъ у истериковъ, она не могла отдать себѣ отчетъ въ своихъ переживаніяхъ. Каждый вечеръ она начинала произносить нѣчто въ родѣ стихотвореній въ прозѣ (по-нѣмецки, хотя пробужденная, если и говорила, то дѣлала это заикаясь и только по-англійски), которыя напоминали доктору стиль Андерсена. Она излагала свои мысли и переживанія, при чемъ, рассказавъ о своихъ страхахъ, она отдѣлялась отъ нихъ. Характерно, однако, что Анна О., лишившись способности говорить на своемъ родномъ языкѣ, сохранила эту способность по отношенію къ англійскому, на которомъ она и вела свою исповѣдь. Какъ это объяснить? Фрейдъ и Брейеръ даютъ объясненіе весьма простое и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма неправдоподобное. По ихъ словамъ выходитъ, что необходимость для больной прибѣгать къ англійскому языку вызвана была слѣдующей *случайностью*. Однажды,

И говорила нараспѣвъ“, а потомъ
... стала звать

Акушкой прежнюю Селлму.

А вотъ наборъ именъ изъ итальянскаго „футуристическаго“ стихотворенія:

Antonietta Solare,
Aurora del Sole,
Giuseppina Solamore,
Alba Qaggi,
Isola Meriggi,
Meridiana Tornasole,
Cleofe Stelladoro,
Caterina Solastro,
Regina Solenne,
Corinna e Beatrice Tramonti.
Pensate che cosa sono per loro
Le brutte giornate!

(Il Futurismo, 1909, № 7, 3, стр. 64).

во время утомительнаго ночнаго бодрствованія, находясь въ состояніи полудремоты, Анна О. увидѣла, будто отъ стѣны къ ней ползетъ черная змѣя. Она хотѣла прогнать ее, но правая рука у нея не дѣйствовала (опущенная съ кресла, она просто затекла), и когда она взглянула на нее, она увидѣла, что пальцы руки превратились въ маленькихъ змѣекъ съ мертвыми головами. Послѣ этого рука больной потеряла способность двигаться и утратила чувствительность. Въ ужасѣ несчастная дѣвушка начала молиться, но вдругъ оказалось, что она не можетъ припомнить *по нѣмецки* ни одного слова. Зато ей пришли въ голову дѣтскіе стишки на англійскомъ языкѣ, и съ этого момента она могла говорить только на этомъ языкѣ. Припомнивъ, какъ все это произошло, больная вернула себѣ способность рѣчи по-нѣмецки. Почему она говорила раньше только по-англійски? По мнѣнію Брейера, вслѣдствіе того, что случайно вспомнила англійскія слова, когда забыла нѣмецкія. Но вопросъ, конечно, надо перенести въ другую плоскость: почему она не могла въ состояніи *необычныхъ* переживаній говорить на своемъ обычномъ языкѣ? Отвѣтъ ясенъ изъ предыдущаго случая: особые переживанія требуютъ и языка необычнаго, въ данномъ случаѣ не сочиненнаго, да и времени для сочиненія его не было, англійскаго. Однако, и англійская рѣчь больной отличалась большими дефектами, переходя иногда почти въ нѣмоту. Брейеръ резюмируетъ психологическія причины, вызывавшія это поражение рѣчи у рассматриваемой больной, въ слѣдующихъ словахъ: „языкъ ея отказывался дѣйствовать: а) вслѣдствіе страха, внушеннаго ночной галлюцинаціей, б) вслѣдствіе того, что она *подавила въ себѣ* однажды желаніе высказаться, отвѣтить на несправедливый упрекъ больного отца; в) вслѣдствіе аналогичнаго случая, проглоченнаго ею безъ возраженія несправедливаго замѣчанія; г) вслѣдствіе другихъ подобныхъ случаевъ“. Иными словами, причины были лишь двѣ: 1) у больной „отъ страха отнялся языкъ“ (состояніе, которое въ болѣе слабой формѣ наблюдается и въ нормальныхъ условіяхъ, вызываясь по существу той же самой причинной, — распаденіемъ сознанія), и 2) она *подавила* въ себѣ желаніе говорить. И эта послѣдняя причина оказывается обычной въ нормальныхъ условіяхъ жизни: люди, скрытные не отъ природы, но вслѣдствіе разочарованій жизни, объясняютъ свою скрытность тѣмъ, что „все равно не стоитъ говорить“.

Анна О. покашливала, когда слышала музыку. „Этотъ кашель возникъ, рассказываетъ Брейеръ, послѣ того, какъ больная услышала въ соседнемъ домѣ бальную музыку; ей невольно подумалось, какъ хорошо было бы теперь побыть на балу, но она подавила въ себѣ это грѣховное желаніе и при этомъ кашлянула, и съ этого момента въ продолженіе всей своей болѣзни она реагировала на всякую сильно ритмическую музыку нервными кашлемъ“. Отсюда уже недалеко до т. наз. истерическаго

„мутизма“, которому въ дальнѣйшемъ изложеніи необходимо посвятить нѣсколько строкъ.

Но прежде я остановлюсь на тѣхъ явленіяхъ истеріи, которыя объясняютъ, вообще, различныя отклоненія въ правильности рѣчи у этихъ больныхъ, и указываютъ на то, какое громадное значеніе для концентраціи личности представляетъ языкъ. Одинъ изъ крупнѣйшихъ авторитетовъ въ области изученія истеріи, парижскій психіатръ Бабинскій (въ письмѣ къ Бинне, напечатанномъ въ вышеупомянутой статьѣ объ истеріи L'année psychologique за 1910 г.), утверждаетъ, что „чистый истерикъ никогда не бываетъ вполне безсознательнымъ, и что онъ всегда обладаетъ полусознаніемъ призрачности (vanité) явленій, которыми онъ пораженъ; по этой причинѣ онъ оказывается чаще всего наименѣ опечаленъ своей болѣзью, а выздоровленіе его гораздо менѣ поражаетъ его самого, чѣмъ пользовавшихся его врачей¹⁾ и присутствующихъ. Во всѣхъ житейскихъ обстоятельствахъ истерикъ ведетъ себя такъ, какъ будто бы онъ былъ отчасти хозяиномъ своей болѣзни, и какъ будто бы онъ не былъ вполне искрененъ: въ противоположность эпилептику, онъ подвергается припадкамъ только въ опредѣленныхъ мѣстахъ; почти всегда онъ выходитъ безъ всякаго потрясенія изъ такихъ припадковъ (des crises étonnantes), которые напугали окружающихъ: будучи одержимъ страшными галлюцинаціями, онъ не совершаетъ, какъ хотя бы галлюцинирующій алкоголикъ, опасныхъ для него самого дѣйствій, пораженный термической анестезіей (нечувствительностью къ теплу), на видъ весьма глубокой, онъ нисколько не рискуетъ сгорѣть; суженіе поля зрѣнія, какъ бы оно ни было ярко выражено, не мѣшаетъ ему, какъ это бываетъ при органическомъ суженіи поля зрѣнія, быстро ходить взадъ—впередъ, не натываясь на препятствія. Все это приближаетъ истерію къ притворству, и обыкновенно я говорю, что истерикъ есть до известной степени притворщикъ“.

При этомъ, однако, нарушеніе сознанія все таки наступаетъ, и „притворство“ поражаетъ личность настолько глубоко, какъ это никогда не бываетъ при притворствѣ нормальномъ. Дѣло въ томъ, что „притворство“ начинается съ момента, когда одна идея, внушенная больному имъ самимъ или окружающей средой (напр., гипнотизирующимъ врачомъ), охватываетъ сознаніе съ такой силой, что начинается подборъ представленій, соответствующихъ этой идее: известная группа возбужденій не воспринимается сознаніемъ, но остается въ сферѣ подсознательной жизни, выступая, напр., только въ гипнотическомъ снѣ. „Влѣдствіе своей безсознательности истерикъ теряетъ ощущеніе идеи (le sentiment de l'idée), которую ему внушили:

¹⁾ Такимъ образомъ, напр., истерикъ, не владеющій рукой или ногой, относится къ своему пораженію съ полнымъ безразличіемъ; г. I. описанная г-жей Фелициной-Гурвичъ, жалѣла объ утратѣ своего бреда, появленія юности въ бѣломъ платьѣ, который училъ ее.

онъ теряетъ память объ обстоятельствахъ, въ которыхъ было совершено внушеніе, и такимъ образомъ окончательно становится жертвой идеи, которой онъ не знаетъ и о которой не можетъ судить“. (Binet et Simon L'hysterie. 112). Это слово inconscience (безсознательность) авторы предпочитаютъ замѣнять понятіемъ *раздѣленія сознаній*. Почти то же самое подразумѣваетъ П. Жане подъ терминомъ *раздвоенія личности* (le dédoublement de personnalité).

По его мнѣнію, „истерія является формой духовнаго разобщенія (désagregation mentale), характеризующаяся тенденціей къ постоянному и полному раздвоенію личности“. При истеріи, полагаетъ онъ, наблюдаются „ослабленіе психологическаго синтеза, абулія и суженіе поля сознанія, которое обнаруживается специфическимъ образомъ: извѣстно число элементарныхъ явленій, ощущеній и образовъ перестаетъ восприниматься и представляется чуждымъ личному воспріятію. Отсюда вытекаетъ тенденція къ длительному и полному раздѣленію личностей, къ образованію многочисленныхъ группъ, независимыхъ одна отъ другой; эти системы психологическихъ фактовъ или смѣняютъ одна другую, или сосуществуютъ. Наконецъ, это отсутствіе синтеза благоприятствуетъ образованію извѣстныхъ паразитарныхъ идей, достигающихъ полнаго развитія внѣ контроля личнаго сознанія, обнаруживаясь въ разнообразныхъ расстройствахъ на видъ чисто физическаго свойства“. (П. Жане. Неврозы и фиксированныя идеи, рус. пер. 1903; второй томъ французскаго оригинала, кажется, не переведенъ на русскій языкъ; другое классическое сочиненіе этого автора L'automatisme psychologique).

Уже изъ вышеприведенныхъ замѣчаній специалистовъ о сущности истерическихъ расстройствъ видно, что эти послѣднія же могутъ не отразиться и на языкѣ. Дѣйствительно, зависимость образности и живости рѣчи отъ настроенія едва-ли обнаруживается гдѣ-нибудь такъ ярко, какъ въ истеріи. Въ каждомъ изъ трудовъ, посвященныхъ этой болѣзни, можно найти примѣры этого. Поэтому, я ограничусь указаніемъ на одинъ случай, въ которомъ эта зависимость выступаетъ особенно ярко. Въ лѣтописяхъ истеріи извѣстны явленія смѣны двухъ сознаній, больного и здороваго, при чемъ въ одномъ состояніи человекъ не помнитъ о другомъ. Въ беллетристическомъ освѣщеніи (и, конечно, съ извѣстнымъ преувеличеніемъ ради красочности) мы находимъ изложеніе такого „раздвоенія“ въ рассказѣ Джерома „Смитъ и Смайтъ“. Смитъ былъ благовоспитаннымъ молодымъ человекомъ, который изысканно одѣвался и такъ же говорилъ; виталъ въ сферѣ возвышенныхъ чувствъ и утонченныхъ воспріятій, но, превращаясь въ Смайта (вульгарное произношеніе того же Smith), онъ становился разгульнымъ бушманомъ, который ситался по кабакамъ въ обществѣ подозрительныхъ личностей и отчаянно ругался. Въ наукѣ подобную смѣну состояній представляла „Фелида“, изученная однимъ изъ психіатровъ. Жане создалъ съ помощью

гипнотизма „искусственную Фелиду“, исторія которой очень поучительна и для языковѣдѣн¹⁾. Больная дѣвушка—истеричка, съ весьма тяжелой наследственностью, съ припадками рвоты послѣ всякаго приема пищи, достигла такого истощенія, что лежала пластомъ на постели, почти не проявляя признаковъ жизни и сознанія. Въ этомъ состояніи ее подвергли гипнозу, внушивъ ей бодрость и способность ѣсть. Весь день Марселлина провела бодро; вечеромъ ее разбудили, и она пришла въ свое обычное вялое, полубезсознательное состояніе. Тогда ее перестали будить вечеромъ и оставляли подъ влияніемъ гипнотическаго возбужденія въ продолженіе нѣсколькихъ дней, а потомъ и нѣсколькихъ недѣль. Съ іюня 1887 года до конца своей жизни (она умерла отъ чахотки въ концѣ 1901 года) Марселлина вела такое странное искусственное существованіе, пробуждаясь отъ времени до времени и тогда требуя новаго „завода“ для продолженія своей жизни. Благодаря прекращенію рвоты, у нея появлялся аппетитъ, прибылъ вѣсъ тѣла; она могла поступить приказчицей въ магазинъ и даже получила здѣсь повышение, была сдѣлана надзирательницей. Характерно при этомъ, что „раздвоеніе личности“ у нея не принимало формы амнезій предшествующаго состоянія: она сознавала, что нуждается во внѣшнемъ внушеніи для того, чтобы выйти изъ апатіи; сама шла къ Жане, гипнотизировавшему ее, за новой порціей душевной бодрости: когда же впадала въ свое естественное удрученное настроеніе, то старалась скрывать его отъ хозяевъ и товарищей по службѣ и ухитрялась достигать этого.

Отражалась смѣна состояній и на ея рѣчи. Когда дѣйствіе внушенія проходило, Марселлина „возвращалась изъ магазина медленно, печально, пробираясь вдоль стѣнъ; придя домой, она не говорила съ матерью ни слова, ничего не ѣла или ѣла съ усиліемъ и сейчасъ же послѣ этого ложилась спать. Но ночью она не спала, а лежала съ полуоткрытыми глазами, какъ будто у нея не хватало силъ закрыть ихъ; въ дѣйствительности, она не спала, но лежала неподвижно. На разсвѣтѣ она поднималась, чтобы идти въ магазинъ, при чемъ она и теперь не раскрывала рта. Тщетно было заговаривать съ нею, чтобы развлечь ее; она не отвѣчала или имѣла такой видъ, точно не понимала. Никогда отъ нея нельзя было добиться ни одного слова, ни одного жеста, который бы не былъ абсолютно необходимъ для ея работы“ и т. д. Совершенно иная картина, когда подъ влияніемъ внушенія абулія и тяжелыя навязчивыя идеи, угнетавшія Марселлину, исчезали: она становилась „болѣе весела, болѣе откровенна, она лучше знала людей, она уже не приходила такъ легко въ ужасъ; она принимала приглашенія и дѣлала визиты. Вернувшись изъ своего магазина, она разговаривала съ матерью и принималась

¹⁾ Pierre Janet. Une Félicité artificielle. Revue Philosophique, T. 69, 1910.

за всевозможныя руководствія“. Такимъ образомъ, общее возбужденіе сейчасъ же отражалось и на ея языкѣ. Чувство растерянности, презрѣніе къ себѣ („работать съ такими куриными мозгами“, говорила про себя Марселлина) заставляли ее молчать: кому и что интересное она могла сказать?

Отсюда уже одинъ шагъ до полнаго прекращенія рѣчи, до истерической нѣмоты (мутизма), которая происходитъ нерѣдко отъ того, что истерически предрасположенному человѣку не дали возможности высказаться, когда это было такъ необходимо для него. Нордгофъ въ своей диссертациі „Ueber hysterischen Mutismus“ (1890), не представляющей, впрочемъ, большого психологическаго интереса, приводитъ нѣсколько относящихся сюда случаевъ. Такъ, дѣвушка служанка 22 лѣтъ, уже ранѣе бывшая въ больницѣ для умалишенныхъ, была несправедливо обвинена въ кражѣ и взята въ полицію; здѣсь она лишилась отъ ужаса сознанія, а когда очнулась, уже въ больницѣ, то оказалась нѣмой. Другую служанку, 17-лѣтнюю дѣвушку, которая также представляла странности въ своемъ поведеніи, хозяйка несправедливо обидѣла и даже побила, что она, однако, отрицала; какъ бы то ни было, дѣвушка была сильно потрясена, сдѣлала попытку повѣситься; когда ее вынули изъ петли, она оказалась также нѣмой. Третій случай таковъ: молодая женщина терпитъ отъ мужа обиды и находится въ тяжеломъ, угнетенномъ состояніи; иногда дѣло доходило до мани преслѣдованія; однажды мужъ побилъ ее даже на улицѣ, и бѣдная женщина отъ страха и боли потеряла сознаніе; когда же она очнулась, то оказалась также нѣмой. Во всѣхъ этихъ случаяхъ мы видимъ одно и то же душевное настроеніе; человѣкъ не могъ высказаться: положеніе молодой служанки, беззащитной передъ своей госпожей, или жены, гонимой мужемъ, не дало имъ возможности отвѣтить немедленно на обиду, заставило затаить горечь, и онѣ *затаили ее совѣсть*, т. е. замолчали; это диссоціація душевной жизни, которая привела не къ скрытности, какъ можно было бы ожидать въ нормальной жизни отъ человѣка, вынужденнаго молчать, но къ разстройству функціи рѣчи. Этотъ *мутизмъ* (въ отличіе отъ мутизма при душевныхъ болѣзняхъ, напр. въ меланхоліи) подвергался излѣченію, если больному давали возможность высказаться, прибѣгая къ гипнозу или осторожнымъ распросамъ. Въ такихъ состояніяхъ истерическаго мутизма¹⁾, „подвергалась пораженію только система моторныхъ образовъ произносимой рѣчи (du langage vocal): это, конечно, создавало извѣстное препятствіе въ мыслительной дѣятельности. Когда одна больная поправилась, она рассказывала, что въ эти періоды мутизма, испытывала двоякое чувство: иногда ей казалось, что она знаетъ очень хорошо то, что хочетъ сказать, но только не можетъ выразить это; иногда же ей казалось, что она просто не знаетъ, что сказать“.

¹⁾ P. Janet. Les nevroses. II. 451.

Тот же ученый приводит въ названномъ сочиненіи случай, который бросаетъ свѣтъ на природу рѣчи: 25-лѣтняя дѣвушка, истощенная неправильнымъ образомъ жизни, теряетъ на время, иногда даже на срокъ въ 48 часовъ, способность рѣчи. „Она сохраняетъ способность пониманія звуковой рѣчи, но оказывается лишенной двигательныхъ представленій слова, не знаетъ, какъ говорить. Она негодуетъ, что ея не понимаютъ, и старается высказаться, придавая различныя интонаціи своему единственному слову *petit bedable*“. Стоило загипнотизировать эту больную, т. е. отвлечь ея вниманіе отъ того, что ее угнетало, и она начинала говорить правильно и по-французски, и по-английски, при чемъ въ этомъ состояніи высказывала и такія вещи, которыхъ, навѣрное, не хотѣла бы говорить. Но стоило остановить ея гипнотическій бредъ, и она опять возвращалась къ своему невразумительному слову: *petit bedable*. Такъ, истерія создала и мутнизмъ, и моторную афазію. Еще дальше разстройство рѣчи при истеріи заходитъ въ случаяхъ истерической глухонѣмоты. Нѣсколько любопытныхъ примѣровъ этого рода изъ литературы и собственныхъ наблюденій приводитъ французскій врачъ Робенъ (*F. Robin. De la surdité et des moyens employés pour communiquer avec les personnes atteintes de surdité. Thèse. Bordeaux. 1902*). Такъ, одной больной явился призракъ со страшнымъ лицомъ, который сказалъ ей: „ты умрешь“. Больная лишилась чувствъ и почти не проявляла признаковъ жизни. Очнувшись, она не могла пользоваться органами своихъ чувствъ и была слѣпа, глуха и нѣма. Излѣченіе, которое шло очень медленно и трудно, имѣло характеръ внушенія. Ухаживавшая за больной монахиня сумѣла вступить съ ней въ общеніе съ помощью написанія (рукой самой больной) вопросовъ и отвѣтовъ. Такъ, ей была внушена сначала способность рѣчи, потомъ зрѣнія и наконецъ слуха. Характерно, что органы рѣчи при нѣмотѣ были поражены настолько сильно, что больная не только не могла говорить даже шепотомъ, но и оказалась не въ состояніи глотать.

Такимъ образомъ, разстройства и особенности рѣчи въ истерическихъ состояніяхъ представляютъ тотъ интересъ, что они стоятъ на рубежѣ нормальнаго и болѣзненнаго: увеличьте нормальную молчаливость, созданную нравственными причинами, и получите истерическій мутнизмъ, а отъ него уже одинъ шагъ до тѣхъ формъ прекращенія рѣчи, которыя наблюдаются при сильныхъ разрушеніяхъ мозговыхъ центровъ и проводниковъ или при тяжкихъ душевныхъ болѣзняхъ. Въ волненіи, въ порывѣ увлеченія наша рѣчь прерывается, мы забываемъ нѣкоторыя слова и т. под. Истерическое волненіе приводитъ къ афазии, отъ которой опять таки уже одинъ шагъ до кортикальной и транскортикальной афазии, поскольку, разумѣется, дѣло идетъ о пораженіяхъ рѣчевой функціи, а не физиологическихъ причинахъ этихъ поражений.

Въ виду этого мнѣ казалось необходимымъ посвятить истеріи извѣстное вниманіе и въ трудѣ, занимающемся отношеніями между рѣчью и мыслью. Но не лишены интереса и другія явленія ненормальной душевной жизни человѣка, отражающіяся на языкѣ его. Не вдаваясь въ большія подробности, я останавлюсь лишь на нѣкоторыхъ изъ нихъ. Таковъ, напр., „психическій инфантилизмъ“, задержка въ развитіи, которая дѣлаетъ взрослого человѣка во всемъ подобнымъ ребенку. Это „патологическое переживаніе характерныхъ признаковъ дѣтства въ такомъ возрастѣ, который уже переступилъ за предѣлы физиологическаго дѣтства“¹⁾. Дѣвушка въ 21 годъ производитъ по своему физическому развитію впечатлѣніе 12-лѣтняго ребенка; по умственному развитію она также не превышаетъ ребенка этого возраста; въ своихъ настроеніяхъ и сужденіяхъ она обнаруживаетъ совершенную зависимость отъ окружающихъ, и авторитетъ сосѣдокъ въ ея глазахъ неизблѣмъ. Въ рѣчи ея сказывается затрудненность (*Sprechergewicht*) даже при передачѣ самыхъ простыхъ вещей. Другая пациентка, 23 лѣтъ, „обладаетъ извѣстнымъ количествомъ понятій, но эти послѣднія только нахватаны ею, не представляя продуктовъ собственнаго убѣжденія и умственной работы“. Беспомощность въ душевной жизни этихъ отсталыхъ полудѣтей обнаруживается и въ ихъ характеристикахъ предметовъ. Какъ бы они назвали, напр., *солнце*, какой признакъ выбрали бы для того, чтобы въ словѣ дать описаніе? Пяти пациентамъ отсталымъ былъ предложенъ этотъ вопросъ. Вотъ ихъ отвѣты: „это, что является на небѣ“, „это, что появляется только днемъ“, „что за насъ заходитъ и свѣтитъ“ (*was auf uns untergeht und leuchtet*), „небесное тѣло, какихъ много“, „что есть на небѣ, даетъ свѣтъ и тепло, лѣтомъ больше, чѣмъ зимой“. Характерно также для рѣчи этого типа людей стремленіе избѣгать отвлеченныхъ словъ и ихъ пристрастіе къ стихамъ и къ звонкимъ приемамъ. Общая умственная беспомощность выражается въ скудости словеснаго матеріала. „Замѣчательно также, что нѣкоторые (изъ отсталыхъ въ развитіи) вмѣсто всякаго отвѣта при разговорѣ, а особенно при изслѣдованіи, ограничивались пожиманіемъ плечъ“ (*Di Gaspero. 83*). Конечно, сами додуматься до пониманія значенія словъ эти больные не могли бы, но и въ томъ богатомъ наследіи языка, которое досталось имъ отъ предшествующихъ поколѣній, они совершенно не умѣютъ ориентироваться. Такимъ образомъ, характерными для психического инфантилизма явленіями оказываются склонность къ ритму и риму, восходящая, какъ я постараюсь доказать въ дальнѣйшемъ изложеніи, къ самымъ первоисточникамъ человѣческой рѣчи, затѣмъ незначительность абстрактныхъ словъ и стремленіе вмѣсто названій давать примитивнѣйшія и случайныя описанія предметовъ. Съ точки зрѣнія изслѣдователя языка

¹⁾ См. подробное изслѣдованіе *H. di Gaspero. Der psychische Infantilismus. Eine klinisch-psychologische Studie. Archiv für Psychiatrie. B. 43. 1907.*

эта форма представляет, можно сказать, не индивидуальный психический, но расовый инфантилизм, нечто присущее человечеству на первых шагах его умственного развития. В данном случае, таким образом, приходится, согласно с Бине и Симонъ, „видѣть въ психопатологии одинъ изъ лучшихъ методовъ психологическаго анализа“ (Année psych. 1909, стр. 1).

Отъ инфантилизма перейдемъ къ тому явленію, которое составляетъ симптомъ различныхъ душевныхъ болѣзней и представляетъ состояніе спутанности ¹⁾ сознания, которое заключается въ нарушеніи его ясности и порядка. По словамъ названныхъ изслѣдователей спутанности, не трудно самимъ на себѣ провѣрить это состояніе, припомнивъ сложные, нелѣпыя, непередаваемые сны свои или вспомнивъ первыя степени опьяненія, или возстановивъ въ своей памяти тѣ переживанія страха, когда „предметы, лица, слышимыя слова кажутся покрытыми какою-то вуалью и производятъ впечатлѣніе чего-то новаго, страннаго, таинственнаго“. Умственная спутанность можетъ сопровождаться бредомъ, галлюцинаціями, возбужденіемъ или, наоборотъ, апатіей: она выражается въ непониманіи окружающаго, въ безсвязности словъ и дѣйствій. Такъ, въ состояніи отупѣнія, когда воспріятія или соеѣмъ не достигаютъ сознания, или доходить до него очень медленно и поздно, получается слѣдующая картина. „Сначала (до постепеннаго выздоровленія, описаннаго д-ромъ Режи) больная не выражала ничего, и лицо ея оставалось совершенно безстрастнымъ, какъ будто бы она ничего не слышала и не понимала. Позже мы замѣтили, что послѣ того, какъ ей былъ предложенъ вопросъ, но все-таки лишь по прошествіи извѣстнаго времени, причеъ ни тѣло, ни лицо попрежнему ничего не выражали, глаза ея на мгновеніе всныживали. Это былъ первый признакъ связи съ внѣшнимъ міромъ послѣ двухъ мѣсяцевъ кажущейся душевной смерти. Потомъ блескъ глазъ стала сопровождать улыбка, мелькавшая по ея губамъ; потомъ на лицѣ стало обнаруживаться движеніе; низкимъ голосомъ больная произносила нѣсколько словъ, и такъ, наконецъ, постепенно складывалось все остальное. Но, что было наиболѣе замѣчательно, это—то, что эти различныя выраженія дѣятельности, даже будучи возстановлены, производились лишь чрезвычайно медленно и съ большими промежутками между однимъ и другимъ. Такъ, напр., больной, сидѣвшей рядомъ на креслѣ, задавали вопросъ, и сначала не наступало никакой реакціи; лицо, какъ маска, оставалось безъ всякаго выраженія. Но спустя одну или двѣ секунды глаза ея загорались и начинали блистать; спустя мгновеніе, на лицѣ появлялась улыбка, затѣмъ голова медленно поворачивалась къ собесѣднику, и, наконецъ, оче-

¹⁾ E. Régis. La confusion mentale. Annales médico-psycholog. 1905. 4. Binet et Th. Simon. La confusion mentale. Année psych. 1911.

редь доходила до отвѣта, послѣдняго заключенія этой мимики, которая медленно складывалась, точно механически, изъ шести частей и кусковъ“. На рѣчь состояніе спутанности налагаетъ свою выразительную печать, которой въ менѣ яркой формѣ соответствуетъ и характеръ нормальной рѣчи въ нормальныхъ состояніяхъ растерянности. Слова слѣдуютъ одно за другимъ медленно и спутанно, больной забываетъ слова и никакъ не можетъ ихъ припомнить, съ трудомъ подыскиваетъ слова, соответствующія его мысли, не умѣетъ составить изъ нихъ фразы. Не будучи въ состояніи говорить связно и отчетливо, больной оправдывается: „въ моей головѣ все мѣшается“, или „я ищю свои мысли“, „у меня больше нѣтъ мыслей“, „я всегда въ облакахъ“, „я не отдаю себѣ отчета въ томъ, что происходитъ“ и т. под. Человѣкъ, который не можетъ говорить, потому что „ищетъ своихъ мыслей“, обнаруживаетъ, какъ общая спутанность сознания непосредственно отражается на способности говорить, т. е. въ данномъ случаѣ на внутренней рѣчи, какъ эквивалентъ сознания. Весьма характерно, что и здѣсь, какъ въ такъ наз. оптической афазіи, въ психическомъ инфантилизмѣ и тому подобныхъ явленіяхъ, слово замѣняется описаніемъ. Такъ, больная, страдающая спутанностью идей, меланхолическая и тревожная, сохранила довольно высокій уровень пониманія ¹⁾. „Но, когда вопросъ, предлагаемый ей, представляетъ извѣстную сложность, онъ становится источникомъ всяческихъ недоумѣній, и, можетъ быть, именно эти послѣднія заволакиваютъ ея сознание. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Мы спрашиваемъ ее, что такое *вилка*. Отвѣтъ: Вилка?.. Это, чтобы ѣсть... Иначе я не могу вамъ отвѣтить. Я не понимаю, что вы хотите сказать въ эту минуту, со мной что-то случилось, я не понимаю. То, чего она не понимаетъ, заключается въ причинѣ нашего вопроса, хотя мы объяснили ей, чего мы хотимъ, и просили ее сдѣлать надъ собой усиліе, чтобы отвѣтить намъ. Но здѣсь нашъ вопросъ былъ легокъ. Относительная неспособность больной примѣняться не помѣшала ей отвѣтить сначала точно. Мы переходимъ теперь къ вопросамъ болѣе труднымъ: что нужно сдѣлать, если пропустишь поѣздъ? Отвѣтъ: пропустишь поѣздъ? Я не понимаю, докторъ, *пропустить поѣздъ*? Вы хотите сказать, что я сѣла на поѣздъ? Вопросъ: нѣтъ, нѣтъ, рѣчь идетъ вовсе не о васъ! Вы просто отвѣтите на этотъ вопросъ (и мы повторяемъ его въ тѣхъ же выраженіяхъ). Отвѣтъ: пропустишь поѣздъ? Ахъ, докторъ, я никакъ не могу понять этого!“ Въ данномъ случаѣ непониманіе простаго вопроса обусловлено неспособностью сосредоточиться на немъ, массой сомнѣній, недоумѣній, постороннихъ чувствъ, которыя примѣшиваются къ акту пониманія. Отъ этого же получается и безсвязность рѣчи и письма при этой формѣ душевнаго расстройства. Случайныя ассоціаціи идей, нагроможденіе словъ, появленіе

¹⁾ Примѣръ изъ статьи Бине и Симона объ умственной спутанности.

нелѣпныхъ сочиненныхъ словъ и т. под. характерны для этой формы спутанности сознанія. Личность больного какъ будто носится безъ руля и компаса по взволнованному морю явленій, и всякая, болѣе сильная волна можетъ переменить направленіе ея ладьи.

Отъ спутанности сознанія временной и излѣчимой, не вычеркивающей изъ способностей чловѣка дара рѣчи, перейдемъ къ спутанности постоянной, къ слабоумію и идиотизму. Въ этихъ состояніяхъ рѣчь, несомнѣнно, должна подвергнуться значительному разстройству, но болѣе внутренняя рѣчь, чѣмъ внѣшняя. Солье полагаетъ, что словозверженіе идиотовъ зачастую совершенно не соотвѣтствуетъ актамъ сознанія. Это развитіе „рѣчи“ ихъ едва-ли превышаетъ, по существу, говореніе попугая или ученаго скворца. Иногда довольно обширный словарь идиота состоитъ изъ словъ, значеніе которыхъ остается для него темно, такъ что даже мышленіе его происходитъ, по мнѣнію Солье, „съ помощью образовъ, представляющихъ дѣйствіе“. „Нѣкоторые идиоты, благодаря слуховой или зрительной памяти, сохраняютъ память о слышанныхъ или написанныхъ словахъ, могутъ даже повторять и обладаютъ такимъ образомъ довольно значительнымъ словаремъ, не разумѣя однако идей, заключающихся въ словарѣ“¹⁾. Въ другомъ мѣстѣ своего сочиненія Солье опредѣляетъ этотъ уровень духовной жизни въ слѣдующихъ словахъ: „Тѣ идиоты, которые обладаютъ крайне ограниченнымъ словаремъ, знаютъ, тѣмъ не менѣе, довольно большое число предметовъ и способны къ извѣстнымъ работамъ, которыя должны быть понятны и требуютъ нѣкотораго навыка. И лучшимъ доказательствомъ того, что ихъ умъ способенъ къ такому навыку, служитъ фактъ совершенствованія ихъ въ своемъ дѣлѣ. Эта способность присуща только дѣятельности разумной, тогда какъ, напротивъ, акты чисто автоматическіе не способны къ совершенствованію. Они догадываются о томъ, что надо сдѣлать, и это указываетъ на извѣстную степень разсужденія, которое идиоты, впрочемъ, оказываются не въ состояніи формулировать. Въ этомъ смыслѣ ихъ можно сравнить съ животными: напр., съ собакой, которая угадываетъ на основаніи своихъ предшествующихъ опытовъ, что сдѣлаетъ сейчасъ хозяинъ, угадываетъ такъ же, какъ это сдѣлалъ бы и чловѣкъ, съ тою лишь разницей, что она разсуждаетъ безъ словъ, но съ помощью образовъ“. Характерна также для идиотовъ страсть къ стихамъ и ритму. „Идиотъ любитъ ритмическій шумъ, даже независимо отъ голоса. Поэтому ему нравится шумъ струга, пилы или мѣрно ударяющаго молотка“ (Sollier. 132). Что касается словаря идиотовъ, стоящихъ на сравнительно высокомъ уровнѣ умственнаго развитія и способныхъ сознательно говорить, то здѣсь наблюдаются также

¹⁾ P. Sollier. Psychologie de l'idiot et de l'imbécile. Paris, 2 изд., 1901, стр. 155.

любопытныя явленія: такъ, идиоты обнаруживаютъ стремленіе, какой-то искаженный остатокъ переживаній древнѣйшихъ временъ—давать всякому предмету какое-нибудь названіе, но, такъ какъ они весьма плохо ориентируются въ качествахъ, то одно и то же названіе получаютъ предметы, находящіеся въ какомъ-либо случайномъ отношеніи другъ къ другу (Штеррингъ, 227). Впрочемъ, въ говорящей средѣ, окружающей идиота или слабоумнаго, достаточно выйти изъ состоянія полной апатіи или животной жизни, чтобы усвоить себѣ съ помощью *инстинктивнаго подражанія* способность рѣчи. На этомъ основывается едва ли правильное, по существу, заключеніе Штерринга, будто развитіе рѣчи является сравнительно независимымъ отъ развитія другихъ умственныхъ отправленій, и что нерѣдко идиоты, значительно превосходящіе другихъ по способности рѣчи, въ то же время по общему умственному развитію стоятъ гораздо ниже послѣднихъ. Это можно понять лишь въ томъ смыслѣ, что рѣчь не является здѣсь процессомъ умственнаго творчества, но разряженіемъ энергіи по путямъ, созданнымъ подражаніемъ рѣчи окружающихъ людей.

Точное отграниченіе одной формы умственной отсталости отъ другой до сихъ поръ еще не установлено окончательно¹⁾, и Бине и Симонъ предлагаютъ установить слѣдующую классификацію: *идиотизмъ* соотвѣтствуетъ умственному развитію ребенка отъ 0 до 2 лѣтъ (т. е. отъ полной бессознательности до пробужденія сознанія), общеніе съ внѣшнимъ міромъ совершается при этомъ состояніи съ помощью жеста; *слабоуміе* характеризуется умственнымъ развитіемъ ребенка отъ 2 до 7 лѣтъ и общеніе происходитъ съ помощью слова, тогда какъ *неразвитость* (*débile* въ отличіе отъ *imbécile*) соотвѣтствуетъ возрасту отъ 7 до 12 лѣтъ и характеризуется уже способностью письма. Если стать на почву этой классификаціи, то придется идиотовъ, говорящихъ и декламирующихъ, отнести уже къ разряду слабоумныхъ, а напр. слабоумнаго Вузена, описаннаго тѣми же психологами въ монографіи „объ умѣ слабоумныхъ“²⁾, признать идиотомъ. Вузенъ, 20-лѣтній юноша, еще совершенно не говоритъ; „онъ похожъ на животное, которое только начинаютъ дрессировать. Если его зовутъ, онъ является и приближается, и даже, если онъ находится во дворѣ лѣчебницы, онъ прибѣгаетъ всякій разъ, когда открывается дверь: онъ устанавливается передъ дверью, чтобы видѣть, кто идетъ, обнаруживая такимъ образомъ наивное любопытство животнаго. Если сказать ему

¹⁾ „Со времени Эскироля эта работа подвинулась не слишкомъ далеко впередъ. Не удалось еще ни установить точныя и практически пригодныя подраздѣленія между различными степенями отсталости, ни отдѣлать отсталого отъ нормальнаго, ни даже опредѣлить истинную природу умственной слабости, которая характеризуетъ отсталого“. A. Binet et Th. Simon. L'Arriération. Année psychologique. 1910, стр. 352.

²⁾ L'intelligence des imbéciles. Année psychologique. 1909.

добрый день, протянувъ руку, то словами онъ на привѣтствіе не отвѣтитъ; онъ не умѣетъ говорить, но онъ понимаетъ значеніе протянутой руки: онъ подастъ вамъ палецъ, единственный палецъ, но это вовсе не результатъ плохого воспитанія, какъ у нормальнаго человѣка, или непроявленіе неудовольствія, а просто неумѣніе. Если ему подать какой-нибудь предметъ, то иногда онъ его вовсе не беретъ, иногда же, наоборотъ, схватываетъ его неловкимъ жестомъ; онъ протягиваетъ руку ладонью, съ вытянутыми пальцами; можно подумать, что онъ ждетъ, чтобы ему на руку положили два су. Иногда же онъ не прибѣгаетъ вовсе къ помощи рукъ, которыя висятъ, какъ плети, вдоль его тѣла, а если ему протянуть пищу, то онъ вытягиваетъ ротъ, чтобы взять ее, совершенно такъ же, какъ дѣлаетъ животное“. Такимъ образомъ, идиотизмъ въ той формѣ, какая описана въ вышеприведенныхъ строкахъ, представляетъ *состояніе до-языка*. И такъ же смотрѣли на идиотизмъ старые писатели, напр. Дагоне, Кусмауль и Грзингеръ. Ассоціаціи въ психикѣ идиота оказываются уже настолько прочными, что руководятъ поведеніемъ его; на этой почвѣ устанавливается даже пониманіе дрессировки. Вузенъ прибѣгаетъ на зовъ и подаетъ палецъ, какъ собака лапу. Но дальше онъ не идетъ. Это животное, но животное больное. Болѣзненное состояніе его въ отличіе отъ нормальнаго животнаго обнаруживается и въ неустойчивости вниманія: если передъ лицомъ Вузена держать бисквитъ, то онъ идетъ за нимъ, но не долго; вниманіе его скоро разсѣивается, тогда какъ собака можетъ долго и сосредоточенно смотрѣть на вкусный кусокъ, отвлечься отъ него и опять сосредоточиться на наблюденіи. Скорѣе, обезьяна обнаруживаетъ разсѣянность вниманія, которая напоминаетъ идиотизмъ. Вообще, этотъ послѣдній переноситъ насъ лишь до извѣстной степени въ то отдаленное прошлое человѣческаго рода, когда онъ еще не зналъ языка. Идиотъ не способенъ приспособиться къ самостоятельной жизни; онъ уже утратилъ тѣ навыки, съ помощью которыхъ первобытный человѣкъ добывалъ пищу или защищался отъ враговъ. Но умственная жизнь его руководится такъ же только теченіемъ образовъ, какъ и у отдаленныхъ предковъ говорящаго человѣка, а страсть къ болтовнѣ, ритму, рѣчь у высшихъ идиотовъ соответствуетъ пристрастіямъ и того „антропопитека“, отъ котораго пошли люди. Вѣроятно, въ дальнѣйшемъ своемъ расовомъ развитіи они прошли черезъ стадію современнаго „слабоумія“, при чемъ и здѣсь надо отвлечь его патологическіе признаки. Такой слабоумной, еще очень не далеко ушедшей отъ идиотизма, является Дениза, изученная въ названномъ изслѣдованіи Бине и Симономъ. Для нея характерна „эхомимія“, т. е. воспроизведеніе всѣхъ жестовъ, которые совершаются передъ нею, подражательность, доведенная до абсурда. Какъ звѣрокъ. Дениза общительна и довѣрлива съ тѣми, къ кому она привыкла, но присутствіе посторонняго дѣлаетъ ее серьезной и сдержанной; при этомъ

она очень склонна къ послушанію. Вниманіе Денизы разсѣивается очень легко. „Она понимаетъ довольно хорошо наши слова, но сама почти не умѣетъ говорить. Вообще, она относится очень внимательно къ тому, что мы говоримъ ей, но вниманіе ея коротко; она внимательно смотритъ на насъ, но затѣмъ ее привлекаетъ другое возбужденіе; напр., на нее оказываетъ свою протягательную силу окно; точно также она никакъ не можетъ не обернуться, когда открывается дверь въ кабинетъ; ей хочется посмотрѣть, кто это вошелъ, и въ такомъ случаѣ она забываетъ о насъ, потому что послѣ того, какъ она посмотрѣла на дверь, ея вниманіе не возвращается къ намъ“. Слабоумные, напротивъ, говорятъ, но и у нихъ слово является еще малоприспособленнымъ орудіемъ душевной дѣятельности. Въ то время, какъ нормальный человѣкъ можетъ произнести, вызвавъ въ своей памяти, до 100 словъ въ 3 минуты (столь, домъ, шляпа и т. д.), для слабоумнаго такое количество словъ совершенно недостижимо. При всемъ желаніи угодить экспериментатору, которое характерно для нѣкоторыхъ изъ слабоумныхъ, имъ удается произнести 20—30 словъ. „Созданіе идей“ (idéation) оказывается для нихъ недостижимо. „Они произносятъ названія только обыкновенныхъ вещей, по нѣсколько разъ они пользуются однимъ и тѣмъ же словомъ и наконецъ, что особенно характерно для нихъ, они ищутъ идеи, осматриваясь вокругъ, и часто называютъ вещи, которыя находятся тутъ же, что служитъ признакомъ бѣдности идеаци“. Другими словами, это значитъ, что на такой низкой ступени развитія, какую переживаетъ теперь слабоумный, и какую переживалъ когда-то весь человѣческій родъ, первыя названія понадобились для предметовъ видимыхъ, окружающихъ. Къ этому выводу мы уже пришли и раньше при изученіи разстройствъ рѣчи. Но глубоко слабоумные, произносящіе всего нѣсколько словъ, обнаруживаютъ и другой дефектъ, также не лишенный значенія для психологіи языка. Чѣмъ меньше человѣкъ способенъ говорить, тѣмъ ниже оказывается его способность что-либо изображать. Денизѣ даютъ перо, и она можетъ только нарисовать нѣсколько черточекъ, разбросанныхъ беспорядочно по листу бумаги; оказывается, однако, что и эти „рисунки“ не представляютъ еще самаго простаго, что можетъ нарисовать человѣкъ. Черточки Вузена еще болѣе просты и, кромѣ того, онъ не способенъ владѣть перомъ; его палочки расположены одна на другой, тогда какъ у Денизы онъ уже немного закруглены, какъ будто для письма, и не налѣзаютъ одна на другую. Немного болѣе развитой слабоумный, Жентиль, который можетъ произнести больше словъ, чѣмъ Дениза, обнаруживаетъ величайшее удовольствіе, когда ему даютъ карандашъ, хотя и засовываетъ его сначала глубоко въ ротъ. Когда онъ пишетъ перомъ, то обмакиваетъ его правильно въ чернильницу, но иногда забываетъ это сдѣлать и продолжаетъ чертить сухимъ перомъ. Онъ пишетъ уже не палочки, но зигзаги, какъ будто

рядъ соединенныхъ буквъ *n*. И такъ отъ идіотовъ къ слабоумнымъ развивается параллельно дару рѣчи способность создавать графическія изображенія, пока мы не доходимъ до буквъ. Болѣе развитое вниманіе, большая степень зрительнаго развитія, въ смыслѣ точности зрительныхъ образовъ, создаютъ и лучшее письмо у человѣка, едва начинающаго пробуждаться для умственной жизни. Но даже у слабоумныхъ, способныхъ говорить, обнаружилась чрезвычайная бѣдность словесныхъ ассоціацій. Обычный опытъ, заключающійся въ произнесеніи перваго попавшагося слова въ отвѣтъ на услышанное, давалъ у нихъ весьма жалкіе результаты: чаще всего это были повторенія того же слова (*пѣвецъ-пѣвецъ, бѣгу-бѣгу* и т. д.). Если же опытъ удается, то, въ общемъ, слабоумнымъ нужно меньше времени для находенія ассоціируемаго слова, чѣмъ нормальнымъ людямъ, которые какъ будто болѣе выбираютъ, а не говорятъ, что попало. „Когда нормальный человѣкъ размышляетъ о чемъ-нибудь, онъ не довольствуется тѣмъ, чтобы вызвать образъ, но у него есть и цѣль, къ которой онъ стремится; онъ старается примѣнить свои образы къ этой цѣли, и ради этого примѣненія онъ выбираетъ образы; онъ ищетъ ихъ, гонитъ отъ себя, удерживаетъ. Эта работа выбора есть трудъ, въ которомъ обнаруживается разумность дѣйствующаго лица. Когда его просятъ сказать слово послѣ того, которое произносятъ передъ нимъ, онъ болѣе или менѣе старается найти подходящее слово; вслѣдствіе этого у него нерѣдко является смущеніе; отъ этого также на нѣкоторые отвѣты уходитъ много времени. У слабоумнаго работа идеациі представляется намъ болѣе простой. Вѣроятно, слабоумный говоритъ первое слово, которое пришло ему въ голову; во всякомъ случаѣ, если онъ устраняетъ нѣкоторыя слова, какъ несоотвѣтствующія, эта работа избранія чрезвычайно коротка и ограничена“. Такимъ образомъ, и въ этомъ случаѣ мы видимъ, какъ близка рѣчь слабоумныхъ къ простому набору словъ.

Вялость и лѣность ума, характерная для современнаго дикаря (такимъ ли былъ первобытный человѣкъ, объ этомъ рѣчь будетъ ниже), представляетъ типическую особенность слабоумія. „Бесѣда, которую удается вести съ слабоумными, отличается поверхностностью; имъ нечего сказать, они не любятъ рассказывать, не увлекаются воображеніемъ и ограничиваются короткими отвѣтами“. Даже приподнятое чувство не формулируется въ словахъ. Слабоумный кроткій Альбертъ, 27 лѣтъ, умѣетъ давать на вопросы короткіе и отрывочные отвѣты. Однажды онъ явился въ кабинетъ доктора съ голубымъ тазомъ, который былъ привязанъ къ талии, лицо его расплывалось въ блаженную улыбку, голова была поднята вверхъ съ гордымъ самосознаніемъ. Видимо, у человѣка душа была переполнена. Между тѣмъ выразить это свое настроеніе Альбертъ оказывался не въ состояніи, хотя своимъ новымъ занятіемъ, порученіемъ мыть тарелки, онъ былъ необычайно гордъ. „Что же, вамъ нравится мыть тарелки? Да! Ну, такъ

скажите же что-нибудь объ этомъ, расскажите. Я не знаю, что сказать“. Болтливый слабоумный, который въ восхищеніи отъ себя, отъ своего ума, силы и красоты, любилъ давать пространные отвѣты, также обнаруживалъ при этомъ чрезвычайную скудость словъ, и мысль его двигалась путемъ самыхъ простыхъ ассоціацій. И въ томъ наборѣ фразъ, который представляетъ собою рѣчь этого слабоумнаго, мысль совершенно не развивается. Во всякомъ случаѣ, у него рѣчь является выраженіемъ живого чувства, сознанаго человѣкомъ, и этотъ выводъ представляетъ извѣстный интересъ для психологіи языка. Числовыя отношенія, какъ наиболѣе отвлеченныя, совершенно ускользаютъ отъ разумнія слабоумныхъ, когда они не связаны съ конкретными образами: больной знаетъ, что у него два уха и два глаза, но, складывая два и два, получаетъ три, охотно соглашается съ тѣмъ, что ему сто лѣтъ и т. п. Недостатокъ способности различать и сочетать не допускаетъ развитія сколько-нибудь сложнаго словаря, и опредѣленія слабоумныхъ носятъ описательный характеръ.

Отъ особенностей рѣчи у идіотовъ и слабоумныхъ перейдемъ къ языку умалишенныхъ. Уже вышеприведенная цитата изъ курса проф. Корсакова указываетъ на тѣсную связь между болѣзненнымъ возбужденіемъ и быстротой рѣчи, которая превращается, наконецъ, въ наборъ словъ. Подъ влияніемъ навязчивыхъ идей, измѣняется и словарь душевнобольнаго: онъ говоритъ торжественнымъ языкомъ Св. Писанія, декламируетъ стихами, коверкаетъ иностранные языки, даже сочиняетъ свой собственный языкъ (Kussmaul. 57), новые символы и слова для новыхъ чувствъ и новыхъ идей; старымъ словамъ онъ придаетъ новое значеніе: однимъ словомъ, для новыхъ состояній сознанія требуется и новый, свой языкъ, который или заключается въ присвоеніи старымъ словамъ новаго значенія, или состоитъ изъ совершенно новыхъ словъ. Это общій процессъ и въ истеріи, и въ другихъ формахъ новаго измѣненнаго состоянія, который бросаетъ яркій свѣтъ на волевой элементъ, дѣйствующій въ сознаніи языка.

Такъ, у страдающихъ маніей, по словамъ Либмана и Эделя, „логическая связь (въ рѣчи) часто совершенно отсутствуетъ. Ея мѣсто занимаютъ часто лишь словесныя ассоціаціи, которыя связываютъ между собою фразы. Зачастую больной привязывается именно къ тому, что онъ видитъ или слышитъ. Нѣкоторые впадаютъ въ безконечное речеплетство, при чемъ цѣпляются речю за речю по слабой внутренней связи или даже совсѣмъ бессмысленно“. При остромъ помѣшательствѣ, сообщаютъ эти изслѣдователи, больные говорятъ вслѣдствіе сильнаго возбужденія по большей части крикливымъ голосомъ. Иногда же рѣчь превращается въ таинственный шопотъ. Съ точки зрѣнія артикуляціи, рѣчь ихъ оказывается, по большей части, безупречной. Одной изъ больныхъ пришла въ

голову странная мысль, что звуки *h* и *f* неприличны; поэтому она стала выпускать („das sind Dinge, die ich immer ermieden abe“). Больные часто останавливаются и начинают раздумывать, как будто обрывалась нить их мысли. Некоторые говорят медленно, буква за буквой. Поражает в большинстве случаев говорливость страдающих острым помешательством. Многие говорят без перерыва несколько часов сряду, но речь их превращается в полнейшую бессмыслицу. Связное содержание совершенно отсутствует, потому что нить мысли постоянно прерывается вследствие внимания бредовых идей. Зачастую совершенно случайные ассоциации дают направление речи — „Эльба Одер“, „день ночь“, „Drei-Dreck“ (три-грязь). Многие начинают подбирать речемы, без всякого размера или съ размером. Поразительно частое повторение одних и тех же фраз; иногда речь превращается в простой набор слогов. Пока речь имеет связный характер, правила грамматики не нарушаются; склонение, спряжение совершаются правильно, но синтаксис начинается сильно хромать. Фразы превращаются иногда в безсвязное съ внешней стороны перечисление нескольких важнейших слов (телеграфный стиль). Наоборот, при *Paranoia hypochondrica* больной иногда опасается произносить некоторые слова или слоги, потому что слова, звучащая „неприлично“, могут повлечь за собой страшные кары со стороны врагов, или названия болѣзней вызовут появления этих болѣзней. Сувѣрія эти имеют, какъ известно, весьма широкое распространение среди некультурнаго человѣчества. Вотъ нѣсколько примѣровъ: больная, страдающая острым сумасшествіемъ, произноситъ такой монологъ. „Болѣло и бѣлѣло, что бѣлѣло, то бѣлѣло, чернѣло и бѣлѣло, и кто ихъ только слышалъ здѣсь, не мой скворецъ здѣсь, а... одинъ скворецъ, два, три, стая... скворешница, скворецъ, скворецъ мой молодецъ, и сказочкѣ конецъ, скворецъ и конецъ, коготокъ-поготокъ“ и т. д. (Штеррингъ. 151). Все это произносится залпомъ и съ чрезвычайной быстротой. Крестьянскій юноша, страдающій юношеским сумасшествіемъ, *dementia praecox*, неудержимо болтаетъ; монологи его характеризуются также господствомъ простѣйшихъ словесныхъ ассоциаций: „Das ist der Droschkenkutscher Kleist, nee Kleistertopf oder auch von Kleistertopf...“ (Liebmann-Edel, 43). Пожилой купецъ, страдающій острым помешательствомъ, нанизываетъ слова по созвучію, но у него оказывается и нѣчто руководящее: всѣ слова должны соответствовать понятію *nicht dasselbe* (не то же самое) или *dasselbe* и вотъ онъ выкрикиваетъ: „wir haben keine Waben und kein Fressen, alles und alles ist dasselbe und wir haben die Elbe... 50 gibt es keine Elbe und Flbe und Elbe ist nicht an der Oder. Es gibt keine Frau, auch keine Sau, es, gibt auch keine Au. Wir sind keine Aester, wir sind keine Aster“ и т. д. (ibid. 25). При *dementia praecox* наблюдаются и фонетическія раз-

стройства речи¹⁾, которыя въ нормальномъ состояніи речи только *нападаютъ*. Согласно Миньо, „разстройства речи (les troubles arthrolaliques) въ *dementia praecox* весьма отличаются отъ разстройствъ при общемъ параличѣ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ артикуляція оказывается дефектной главнымъ образомъ вслѣдствіе безполезнаго удвоения, переноса и измѣненія слоговъ, изъ которыхъ состоитъ слово, или вслѣдствіе дрожанія и разстройства координаціи мускуловъ речи. Въ *dementia praecox* подобныхъ разстройствъ не замѣчается; артикуляція неудовлетворительна, какъ будто едва намѣчена; *движенія, необходимыя для произношенія, только начинаются, но не довершаются*; отъ этого получаютъ модификаціи, которыя превращаютъ артикуляцію просто въ безразличное и совершенно неразборчивое бормотаніе. У многихъ пораженныхъ *dementia praecox* артикуляція подобна патологическому письму, гдѣ написаніе сводится къ нѣсколькимъ черточкамъ, въ которыхъ нѣтъ возможности различить конструктивные элементы слова. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаяхъ мы видимъ попытку выразить мысль, но попытка оказывается безрезультатной вслѣдствіе недостаточности двигательной координаціи или отсутствія въ ней точности“. На этомъ мы и закончимъ обзоръ разстройствъ речи у душевнобольныхъ.

ГЛАВА VI.

Формы внутренней речи у глухонѣмыхъ и ихъ духовная жизнь.

Въ жизни нормальнаго человѣка внутренняя речь принимаетъ, какъ мы уже видѣли выше, по большей части, форму словесныхъ, слуховыхъ и двигательныхъ образовъ. У глухонѣмого, который не научился говорить, обѣ эти формы отсутствуютъ: онъ не слышитъ никакихъ внѣшнихъ звуковъ и не произноситъ самъ никакихъ словъ. Онъ можетъ руководиться въ своей жизни только зрительными образами, приближаясь такимъ образомъ къ состоянію идиотизма, какъ духовной жизни безъ языка. Совершенно измѣняется картина, когда глухонѣмой приобретаетъ способность говорить или писать. Тогда у него можетъ возникнуть двигательная или же зрительная (графическая, двигательно-графическая) внутренняя речь, и духовная жизнь его сразу обогащается всеми тѣми средствами отвлеченнаго мышленія, какими обладаютъ нормальные люди. И здѣсь мы прежде всего обратимся къ тѣмъ подчеркнутымъ болѣзненнымъ явленіямъ, какія представляются галлюцинаціями различныхъ чувствъ. Одинъ душевно-больной, глухо-

¹⁾ Roger Mignot. Les troubles phonétiques dans la démence précoce. Annales Médico-psychologiques. 1907.

нѣмой съ дѣтства, страдалъ галлюцинаціями: ¹⁾ ему казалось, что кто-то кричитъ ему: *Kaiser er, Prinz er* (характерно здѣсь для глухонѣмого отсутствіе связки—*ist, est*), и больной усматривалъ въ этихъ словахъ, которыя онъ, вѣроятно, не слышалъ, а воспроизводилъ съ помощью внутреннихъ моторныхъ представленій слова, оскорбленіе, причиваемое ему кѣмъ-то извнѣ. По этому поводу врачъ спросилъ его: „Вы думаете про то?“ „Нѣтъ, не словами, а только знаками“. „Вы говорили раньше, что, когда слышите обращеніе къ вамъ *Prinz*, то происходитъ это *черезъ мысли* (*durch die Gedanken*); какъ же, въ такомъ случаѣ, совершаются самыя-то мысли: черезъ (*durch*) языкъ глухонѣмыхъ или черезъ устный языкъ?“— „Черезъ устный языкъ“.— „Когда вы обдумываете что-нибудь, вы дѣлаете это на языкѣ глухонѣмыхъ или на устномъ?“— „И то, и другое“.— „Когда вы слышите, что вамъ кричатъ *Prinz* или *Kaiser*, слышите-ли вы при этомъ звукъ?“— „Нѣтъ. Только *воздухъ—воздушный потокъ*, значитъ волшебнымъ образомъ“.— „Когда вы видите сонъ, грезите-ли вы при этомъ о разговорѣ, и на какомъ языкѣ ведутся разговоры?“— „На обоихъ“ (т. е. и на языкѣ жестовъ, и на словесномъ моторномъ). Мы видимъ изъ этихъ показаній, что здѣсь произошла своего рода диссоціація: языкъ жестовъ больной считалъ *своимъ*, а позже изученный и болѣе сложный словесный какимъ-то чужимъ. Галлюцинаціи осложнялись еще своеобразнымъ бредомъ: больному казалось, что на языкѣ жестовъ говорили вокругъ него другіе больные, обладавшіе способностью говорить, не глухонѣмые. Такимъ образомъ, галлюцинаціи приняли и двигательную форму, указывавшую на тѣсную связь, которая установилась у этого больного между языкомъ жестовъ и языкомъ словъ. Въ томъ же родѣ заявленіе одного глухонѣмого: „Я чувствую при мышленіи, что пальцы движутся, хотя они лежатъ покойно. Я вижу внутреннюю картину, которая получается движеніемъ пальцевъ“ (Г. Идельсонъ. Неврологич. Вѣстн., V, вып. 1, стр. 63). Отсюда видно, что моторный характеръ внутренней рѣчи выступаетъ чрезвычайно отчетливо у глухонѣмыхъ. Еще интереснѣе дѣлается постановка основного вопроса психологіи языка, вопроса объ отношеніи между словомъ и мыслью, въ тѣхъ случаяхъ, когда къ глухонѣмотѣ присоединяется слѣпота, когда, такимъ образомъ, связь человѣка съ внѣшнимъ міромъ поддерживается лишь съ помощью такихъ чувствъ, какъ осязаніе и обоняніе, причѣмъ послѣднее въ нашей нормальной жизни почти лишено познавательнаго элемента. Къ сожалѣнію, какъ ни важны для психологін вопросы, связанные съ душевной жизнью глухонѣмыхъ, они изучены съ этой психологической точки зрѣнія, насколько мнѣ извѣстно, мало. Среди массы работъ, посвященныхъ этому вопросу, психологическія затериваются. Въ популярныхъ книгахъ (даже, напр., въ извѣстной книгѣ

¹⁾ Dr. A. Kramer. Ueber Sinnestäuschungen bei geistkranken Taubstummen. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. B. 28. 1896.

г-жи Рагозиной объ Эленѣ Келеръ) выдвигается на первый планъ стремленіе расположить общество въ пользу несчастныхъ глухонѣмыхъ или доказать, что на нихъ нельзя смотрѣть, какъ на ненормальныхъ, слабоумныхъ людей. Поэтому, здѣсь подчеркивается слишкомъ сильно способность людей, глухонѣмыхъ отъ рожденія, къ развитому мышленію. Чисто медицинскія изслѣдованія выдвигаютъ вопросы, не имѣющіе спеціального отношенія къ психологіи глухонѣмоты (напр. *Wagner. Untersuchungen von Taubstummen*. 1899, объ остаткахъ слуха у глухонѣмыхъ), или разрабатываютъ методы ихъ наилучшаго обученія (напр., обширная монографія Вальтера „*Handbuch der Taubstummenbildung*“. 1895). Тѣмъ не менѣе, въ этой литературѣ мы встрѣчаемъ весьма цѣнные указанія на душевную жизнь глухонѣмыхъ. Поскольку эта жизнь регулируется только зрительными и осязательными образами, она не является способной къ созданію отвлеченнаго мышленія.

Какъ уже было отмѣчено выше, это, скорѣе, интеллектуальная жизнь высшаго животнаго. Уже натуралистъ 18 вѣка, Шарль Бонне, утверждалъ ¹⁾,—являясь въ этомъ отношеніи основателемъ современнаго научнаго міровоззрѣнія,—что „животныя имѣютъ и могутъ имѣть только частныя и чисто чувственныя (*purement sensibles*) идеи. Для нихъ оказывается невозможнымъ возвыситься до нашихъ общихъ идей; происходитъ это вслѣдствіе того, что они не одарены словомъ. Они совершенно не обобщаютъ своихъ идей; они не образуютъ умственныхъ абстракцій (*des abstractions intellectuelles*). Субъектъ сливается для нихъ со своими атрибутами, или, вѣрнѣе, не является для нихъ ни субъектомъ, ни атрибутомъ. Вещи познаются ими только въ формѣ нѣсколькихъ чувственныхъ качествъ. Всѣ ихъ сравненія, всѣ ихъ сужденія основываются непосредственно на этихъ качествахъ. Такимъ образомъ, выражаясь точно, животныя не размышляютъ: они не имѣютъ нашихъ посредствующихъ идей, потому что они не обладаютъ нашими знаками. Когда же имъ приходится рассуждать, они ограничиваются тѣмъ, что сравниваютъ или вспоминаютъ извѣстныя чувственныя идеи, изъ которыхъ вытекаетъ то или другое движеніе, то или другое дѣйствіе. Чѣмъ многочисленнѣе становятся эти сравненныя или запомнившіяся идеи, чѣмъ разнообразнѣе онѣ, тѣмъ болѣе кажется, что животныя размышляютъ. Между тѣмъ, это все-таки лишь кажущееся размышленіе“. Современная наука, какъ мы уже видѣли въ первой главѣ, принципиально стоитъ на той же точкѣ зрѣнія. Вопросъ о томъ, можно-ли видѣть въ такихъ актахъ сравненія и запоминанія процессъ *отвлеченія*, мнѣ представляется споромъ о словахъ. Ассоціаціи по сходству, которыя заставляютъ животныхъ реагировать одинаковымъ

¹⁾ Charles Bonnet. Contemplation de la nature. 1764, цит. у Ed. Claparède. La Psychologie animale de Charles Bonnet. 1909, стр. 70—71.

образомъ на „дѣльный классъ аналогичныхъ объектовъ“¹⁾, не требуютъ для своего проявленія разумной дѣятельности сознательнаго сравненія. Если это и абстракція, то даже защитники ея (какъ напр., нѣмецкій ученый Цуръ Штрассенъ) отказываются видѣть здѣсь „психическій процессъ“ и настаиваютъ на механическомъ характерѣ ея. По существу же, это именно ассоціація между извѣстнымъ зрительнымъ или инымъ образомъ, не достаточно отчетливымъ, и потому сливающимся съ другими подобными, и между возбужденіемъ, вызывающимъ опредѣленную реакцію. Въ этомъ образѣ, который играетъ роль побудительной причины, детали не настолько ярки, чтобы сходные образы, также со своими „прибавочными деталями“ (*des détails accessoires*), не могли съ нимъ слиться и получить въ духовной жизни животнаго то же значеніе возбудителя. Но при отчетливости воспріятія „детали“ могутъ приобрести настолько доминирующій характеръ, что и сходные образы не приведутъ къ одинаковымъ послѣдствіямъ. Собака, принявшая по одеждѣ чужого человѣка за своего хозяина, при большей отчетливости воспріятія отдѣляетъ черты сходства (одежду, ростъ и др.) отъ образа, который теперь ей уже не кажется сходнымъ, и реагируетъ на него иначе, чѣмъ прежде.

Однако, было бы неправильно видѣть въ поведеніи животнаго сознательное отношеніе къ своимъ представленіямъ: это просто смѣна образовъ, изъ которыхъ каждый вызываетъ отдѣльную реакцію. „Механизмъ явленія“ у животнаго и человѣка тождественъ, но различіе въ его конечныхъ результатахъ значительно. „Высшая память, говоритъ авторъ спеціальной монографіи объ эволюціи памяти²⁾, заключается въ томъ, что воспоминавія, рассматриваемыя каждое въ отдѣльности, сохраняютъ свою живость, которая ослабѣваетъ лишь постепенно, а также и особенно въ томъ, что они соединяются между собою чрезвычайно многочисленными цѣпами, которыя тѣмъ болѣе крѣпки, чѣмъ полезнѣе оказывается вызваніе однихъ звеньевъ другими; въ прогрессѣ человѣческой памяти, по сравненію съ памятью всѣхъ другихъ животныхъ, въ этомъ прогрессѣ, который создаетъ возрастающую индивидуализацію воспоминаній и ослабленіе ихъ ассоціативныхъ узъ вслѣдствіе непрерывнаго возрастанія ихъ множественности, особенно важнымъ представляется именно это умноженіе цѣпей, которыя соединяютъ всѣ воспоминанія въ одну связанную ткань“. Этотъ процессъ, какъ мы можемъ судить по многочисленности и крѣпости чисто словесныхъ ассоціаций, происходитъ уже на почвѣ развитія языка, такъ что состояніямъ до языка или состояніямъ безъ языка онъ не можетъ быть приписанъ. Тамъ передъ нами сравнительная незначительность этихъ ассоціативныхъ цѣпей и скудость ихъ звеньевъ; тамъ ассоціаціи имѣютъ исключительно

¹⁾ G. Bolm. La naissance de l'intelligence. Paris. 1910, стр. 261.

²⁾ H. Piéron. L'évolution de la Mémoire. Paris. 1910, стр. 289.

конкретный характеръ, здѣсь, въ состояніяхъ душевной жизни, одаренной языкомъ, мысль развивается съ помощью ассоціацій отвлеченныхъ, словесныхъ, и цѣпи ихъ чрезвычайно многочисленны и сложны. Но, разумѣется, основной законъ ассоціаціи — „освобожденіе воспроизведенныхъ представленій въ случаѣ простого сходства исходныхъ членовъ или подстановки сходныхъ исходныхъ членовъ“ (Эббингаузъ. Основы психологіи, гл. II. 186)—долженъ быть признанъ первичнымъ и общимъ какъ для животныхъ, такъ и для человѣка. И здѣсь сходство далеко отъ тождества: большій или меньшій размѣръ буквъ не внушаетъ намъ сомнѣній относительно значенія ихъ, подъ краснымъ цвѣтомъ мы объединяемъ множество разнообразныхъ оттѣнковъ и т. д.

Возвращаясь послѣ этого экскурса къ психологіи глухонѣмыхъ, слѣдуетъ отмѣтить прежде всего, что умственный уровень этихъ послѣднихъ ниже нормальнаго. Спеціалисты¹⁾ рѣшительно отрицаютъ, чтобы глухонѣмые вообще могли достигнуть высокой степени умственнаго развитія, особенно же глухонѣмые слѣпые. Русскій изслѣдователь, д-ръ А. В. Владимірскій („Характерныя особенности реакціи сосредоточенія въ умственной работѣ у глухонѣмыхъ“ 1908), представилъ чрезвычайно интересныя данныя для характеристики умственной отсталости у глухонѣмыхъ дѣтей. Такъ, онъ полагаетъ, что способность сосредоточиваться при выполненіи умственной работы у глухонѣмыхъ оказывается значительно пониженной въ сравненіи съ нормальными людьми. Въмѣстѣ съ тѣмъ у нихъ наблюдается отсталость какъ въ быстротѣ ея совершенія, такъ и въ точности выполненія. При этомъ онъ дѣлаетъ важное наблюденіе, что какъ и у нормальныхъ людей, у глухонѣмыхъ умственные способности возрастаютъ по мѣрѣ лѣтъ, когда укрѣпляется вниманіе, и усиливается тщательность труда; глухонѣмые оказываются способными къ дальнѣйшему развитію, и пропасть въ этомъ отношеніи между ними и слышащими людьми уменьшается. Стало быть, то обученіе, которое имъ дается, содѣйствуетъ ихъ умственному развитію. Именно, у глухонѣмыхъ возникаетъ внутренняя рѣчь, которая вводитъ ихъ въ сообщеніе съ внѣшнимъ міромъ, раскрывая передъ ними богатства письменнаго языка, остающагося главнымъ средствомъ познанія міра для грамотныхъ глухонѣмыхъ. Но все-таки та степень сосредоточенія вниманія, которая не представляетъ исключительнаго явленія у нормальныхъ людей, оказывается почти недоступна глухонѣмымъ. Эти послѣдніе „при всѣхъ равныхъ прочихъ условіяхъ, по существу своей природы, поставленные рядомъ со слышащими, обладаютъ болѣе неустойчивой степенью реакціи сосредоточенія, чѣмъ послѣдніе; если, предположимъ, глухонѣмой сегодня проявлялъ

¹⁾ Эд. Вальтеръ въ названной выше книгѣ, Руд. Броммеръ въ книгѣ „Wie soll man über Hellen Keller denken“, американскіе врачи, составившіе коллективный трудъ „The blind-deaf. A monograph, being a Reprint of the Deaf Blind, with Revision and additions by William Wade. 1904 и др.

во время умственной работы известную степень реакции сосредоточения, то больше вѣроятій, чѣмъ у слышавшихъ, что въ слѣдующій разъ онъ уклонится въ ту или другую сторону“. Но вотъ чрезвычайно любопытное наблюдение д-ра Владимірскаго, которое бросаетъ свѣтъ на развитіе зрительной памяти у глухонѣмыхъ. Руководясь въ своемъ познаніи внѣшняго міра по преимуществу зрѣніемъ, они должны обладать способностью къ рисованію соотвѣтственно въ большей степени, чѣмъ слышавшіе люди, которые узнаютъ многое другъ отъ друга, по слуху, съ помощью словъ. Уже лишенныхъ образнаго значенія. На эту сторону душевной жизни глухонѣмыхъ слѣдуетъ обратить тѣмъ большее вниманіе, что она переноситъ насъ въ эпоху, когда, вообще, слово не приобрѣло еще крупнаго значенія въ соціальной и личной жизни человѣка. Если до известной степени слабоумный представляетъ ту эпоху въ развитіи человѣчества, когда это послѣднее едва вышло изъ стадіи чисто животнаго существованія, то глухонѣмой, скорѣе, соотвѣтствовалъ бы той ступени, на которой человѣкъ, уже сознавъ важность слова, еще не достаточно овладѣлъ этимъ орудіемъ, и еще жилъ больше „по старинѣ“, руководясь преимущественно зрительными образами. Разумѣется, что и въ эту аналогію слѣдуетъ внести известныя поправки: глухонѣмой уже долженъ научиться говорить или читать, а дикарь не меньше, чѣмъ зрѣніемъ, руководится своимъ слухомъ. Тѣмъ не менѣе, по существу аналогія сохраняетъ свое значеніе: и здѣсь, и тамъ слово еще не вытѣснило иныхъ формъ мышленія, и „созерцаніе“ играетъ доминирующую роль въ интеллектуальной жизни. „Нужно отмѣтить, пишетъ д-ръ Владимірскій (стр. 42), что вообще рисунки глухонѣмыхъ, которые собрали мы у нихъ, несравненно превосходятъ тѣ, которые съ цѣлью сравненія мы получили отъ слышавшихъ. Насколько бѣдны и беспомощны оказались они въ письменномъ изложеніи. напр., понятія *лѣсъ*, настолько цвѣтны и богаты ассоціаціями явились они въ своихъ рисункахъ на ту же тему“. Дѣйствительно, приведенные образчики словесныхъ описаній указываютъ на то, что изображеніе словами не удается даже тѣмъ глухонѣмымъ мальчикамъ, у которыхъ съ названіемъ предмета связаны весьма живыя представленія. Такъ, описывая прогулку въ лѣсъ, одинъ изъ наиболѣе способныхъ мальчиковъ, составившихъ предметъ наблюденій д-ра Владимірскаго, создалъ слѣдующій шедевръ: „Я пошелъ въ лѣсъ, чтобы рвать грибы, небо покрылось тучами, *громъ*, засверкала молнія, потомъ сильно пошелъ дождь. Я испугался и упалъ подъ дубомъ, шишка мнѣ ударила голову; мнѣ сдѣлалось немного больно, безъ чувствъ; птицы *тѣли*, свѣтало, я оглянулся и прибѣжалъ домой“. Въ этомъ описаніи, гдѣ столько едва намѣченныхъ словомъ переживаній, бросаются въ глаза указанія на *громъ* и на *птичье пѣніе*, которыхъ глухонѣмой не слышалъ. Для него это были отвлеченныя *попѣтки*, возникшія на почвѣ приобрѣтенныхъ словесныхъ образовъ. Это

были *символы*, наличность которыхъ, несомнѣнно, обогащала сознаніе мальчика, какъ приобрѣтеніе и другихъ символическихъ представленій является расширеніемъ нашего міровоззрѣнія. Конечно, съ этими символами у него связывались иные образы, чѣмъ у человѣка, дѣйствительно слышавшаго громъ или птичье пѣніе, но, во всякомъ случаѣ, *свои* образы и настроенія у него соединялись и съ этими словами. Такъ, одинъ глухонѣмой въ сборникѣ стихотвореній („Poésies d'un sourd—muet“. Paris. 1844), написанныхъ красивыми и изящными стихами, воспѣвая красавицу, восклицаетъ: „j'aime ta *voix touchante*“. *Знаніе*, что въ поэтическую ночь поютъ соловьи, придаетъ его настроеніямъ тотъ лирическій оттѣнокъ, который прекрасно выраженъ въ небольшомъ стихотвореніи „Mes regrets“ („Мои жалобы“), достойнымъ того, чтобы привести его здѣсь цѣликомъ:

Ainsi, pauvre muet, pendant les belles nuits,
Quand sur l'urne des fleurs s'endorment tous les bruits,
Je prête envain l'oreille au rossignol qui chante!
Et, quand j'essaie un luth pour bercer mon chagrin,
Mes sons ne volent pas au delà de mon sein!
Nul écho ne répond à ma voix impuissante! ¹⁾

Такимъ образомъ, приобрѣтеніе способности мыслить словами, особенно, написанными, вносить въ душевную жизнь глухонѣмого тотъ элементъ отвлеченнаго мышленія, котораго она лишена была раньше. Одинъ изъ такихъ глухонѣмыхъ, анализируя свое душевное состояніе передъ поступленіемъ въ школу, говоритъ слѣдующее: „Пока я не поступилъ въ школу, я думалъ картинками и знаками (*I thought in pictures and signs*). Картины не были точны въ подробностяхъ, но имѣли общій характеръ. Онѣ проносились моментально передъ моими умственными глазами“. При этомъ, уже тогда нѣкоторые признаки предметовъ настолько запечатлѣлись въ его сознаніи, что создалось какъ бы отвлеченіе ихъ, весьма рудиментарное и, повидному, доступное и для высшихъ животныхъ, собаки, обезьяны, лошади. Такъ, по *бородѣ* онъ узнавалъ мужчину, по *грудѣ* женщину, и когда онъ думалъ о мужчинѣ, ему представлялось *ничто бородатое* и т. п. Другіе признаки, *зрительные символы* мыслимыхъ предметовъ оказывались болѣе сложными: рука, высоко поднятая и какъ будто бы дергающая веревку колокола, означала *воскресенье*, двѣ руки, раскрытыя передъ глазами и державшія какъ будто что-то, имѣли значеніе *бумаги* или *книги* и т. п. Къ сожалѣнію, по этимъ даннымъ трудно

¹⁾ „Итакъ, бѣдный нѣмой, въ прекрасныя ночи, когда надъ урной цвѣтовъ засыпаютъ все *шумы*, тихо я подставляю ухо *поющему соловью*. А когда я пытаюсь утишить свою скорбь звуками лютни, звуки мои не вылетаютъ за предѣлы моей груди. Ни одно эхо не отвѣчаетъ моему безсильному голосу“.

добиться до истиннаго психологическаго характера этих зрительных символовъ и до способа их возникновенія въ сознаниі глухонѣмого, но изъ его показаній вытекаетъ съ полной очевидностью, что до возникновенія словесныхъ представлений его мысль имѣла зрительную форму¹⁾. Я закончу изложеніе этой формы мышленія у разсматриваемаго типа правильнымъ, по моему мнѣнію, заключеніемъ одного изъ изслѣдователей глухонѣмоты: „Вниманіе глухонѣмого привлекаютъ видимыя явленія, и зрительныя впечатлѣнія вызываютъ у него зрительные рефлексы (образы); именно, эти послѣдніе становятся для него названіями вещей“ (т. е. зрительными символами)²⁾.

Такое состояніе глухонѣмого до обученія его. Кромѣ зрительныхъ и осязательныхъ образовъ, въ его душевной жизни необходимо признать извѣстное значеніе и за моторными представленіями жестовъ, которыми глухонѣмые объясняются между собой и съ нормальными людьми, и въ которыхъ нѣкоторые восходятъ, по всей вѣроятности, еще къ дочеловѣческому существованію людей, являясь пережиткомъ древнѣйшихъ временъ существованія челоуѣчества. Въ виду важности этого вопроса я посвящу ему въ дальнѣйшемъ изложеніи отдѣльную главу; здѣсь же остановлюсь на томъ фактѣ, что и въ жизни очень интеллигентныхъ глухонѣмыхъ, много читающихъ и въ отличіе отъ большинства ихъ прекрасно пишущихъ, языкъ жестовъ, превращаясь въ извѣстнаго рода „внутреннюю рѣчь жестовъ“, сохраняетъ особенное значеніе, прямо непонятное нормальнымъ людямъ. Одна изъ такихъ глухонѣмыхъ, окончившая за границей спеціальное учебное заведеніе и вполне усвоившая способность читать и писать, а также произносить (не отчетливо для непривычнаго слушателя) слова, любезно сообщила мнѣ о себѣ слѣдующія свѣдѣнія: „Большинство, когда мы думаемъ о чемъ-нибудь, мы представляемъ себя какъ будто говорящими при помощи рукъ, мимикой, хотя сами, конечно, остаемся въ покоѣ. Напримѣръ, я думаю о томъ, что такой-то поступилъ нехорошо; я представляю при этомъ такой жестъ, какой имѣлъ бы мѣсто, если бы разговаривала съ кѣмъ-нибудь; иногда при этой мысли укоризненно покачиваешь головой или мѣняешь выраженіе лица (это является какъ бы вспомогательной мимикой при нашихъ разговорахъ). Когда я еще не знала мимики и пальцевой азбуки, то не могла мыслить въ такой формѣ, а мыслила скорѣе въ формѣ представленія образовъ. Напр., въ дѣствіи мнѣ приходилось много терпѣть отъ какого-нибудь опредѣленнаго челоуѣка, близкаго мнѣ, и я его очень не любила. Въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ я встрѣчаю челоуѣка, похожаго по внѣшности на перваго, или челоуѣка, обидѣвшаго меня; я сразу чувствую къ нему антипатію, представляя себѣ

¹⁾ James Kerr Lore. Deaf Mutism. 1896, стр. 263.

²⁾ Heidsick. Der Taubstumme und seine Sprache. 1859.

того, перваго; позднѣе, когда я поняла значеніе словъ *злой* или *хорошій*, и знала соотвѣтствующій имъ жестъ, я и думала иначе. Но и теперь, когда я думаю, напр., объ авіаторѣ, то, вѣроятно, какъ и вы, представляю себѣ видѣнную картину и т. п. Не всегда мы думаемъ, какъ я писала вначалѣ, мимикой; въ томъ случаѣ, когда не думаешь о чемъ-нибудь сложномъ или же хочешь приучить себя къ правильному построенію фразы, то представляешь себя какъ будто говорящей по пальцамъ. Вы знаете разницу между мимикой и пальцевой азбукой? Въ послѣдней различныя комбинаціи изъ пяти пальцевъ соотвѣтствуютъ каждой буквѣ нашей русской азбуки; мимическіе же жесты иногда соотвѣтствуютъ цѣлой фразѣ. Напр., для того, чтобы сказать: „я хочу уходить“, требуется опредѣленный жестъ, занимающій одинъ моментъ по времени. *Потому и мыслить легче въ мимической формѣ*. Относительно свѣдѣній много сказать нельзя; они нисколько не отличаются по своему происхожденію отъ вашихъ, т. е. являются результатомъ продуманнаго или пережитаго за день и т. п. Въ нихъ я веду себя такъ же, какъ и въ жизни, и иногда только приходится удивляться тому, что люди, завѣдомо не умѣющіе изъясняться ни мимикой, ни пальцами, *вдругъ во снѣ свободно со мной разговариваютъ*“.

Это письмо замѣчательно уже уровнемъ своего изложенія, показывающимъ, какой свободы въ передачѣ своихъ мыслей могутъ достигать образованные глухонѣмые. Между тѣмъ примѣры письма глухонѣмыхъ, приведенные въ цитированной выше книгѣ д-ра Владимірскаго, въ статьѣ Бине и Симонъ: „Рѣчь у глухонѣмыхъ“¹⁾ (La parole aux sourds-muets) и т. п., указываютъ на весьма ограниченную способность глухонѣмыхъ писать правильно. Какъ видимъ, однако, высокій уровень интеллектуальнаго развитія позволяетъ достигнуть значительнаго совершенства въ этомъ отношеніи. Тѣмъ не менѣе, въ умственной жизни и г-жи Р. В. преобладаютъ моторныя представленія не словъ, но жестовъ, что, несомнѣнно, придаетъ ей извѣстный конкретный характеръ. „У глухонѣмыхъ замѣчается постоянная естественная тенденція прибѣгать къ жестуляціи: очень—очень рѣдко встрѣчаются такіе, которые не пользуются жестами; они прибѣгаютъ къ нимъ въ семьѣ; а особенно, когда они встрѣчаютъ другихъ глухонѣмыхъ, они не говорятъ никогда, но жестулируютъ“. Бездѣтвіе этого „языка“ глухонѣмыхъ, т. е. ихъ внутренняя моторно-жестулятивная рѣчь, должна быть очень бѣдна отбѣнками. Если мгновеннымъ жестомъ передается фраза: „я хочу уйти“, то все отбѣнки настроенія, которые передаются удареніемъ и интонаціей, исчезаютъ здѣсь. Еще болѣе бываетъ поражено отвлеченное мышленіе. Въ письмѣ г-жи Р. В. встрѣ-

¹⁾ Etude sur l'art d'enseigner la parole aux sourds-muets. L'Année psych. 1909.

чается характерное для глухонѣмыхъ дѣленіе на *хорошихъ* и *злыхъ*. При мысли о „зломъ“ появляется еще и мимика, выраженіе порицанія, или презрѣнія. Между тѣмъ еще сколько другихъ оттѣнковъ можетъ быть вложено въ сужденіе о добрѣ и злѣ. „Отецъ одного глухонѣмого, замѣчаютъ Бине и Симонъ, обратилъ наше вниманіе на то, что его сынъ обладаетъ очень упрощенными представленіями (*des idées très simplistes*), въ политикѣ всѣ люди бываютъ у него или совсѣмъ хорошими, или совсѣмъ дурными“. Это замѣчаніе, которое, вѣроятно, пришлось бы распространить на широкую область міровоззрѣнія всякаго глухонѣмого, указываетъ на неизбѣжную бѣдность отвлеченной мысли у людей, лишенныхъ отчасти словесной внутренней рѣчи или недостаточно развѣвшихъ ее. Повидимому, въ исключительныхъ случаяхъ, при выдающейся силѣ воли, и глухонѣмой можетъ выработать у себя двигательную внутреннюю рѣчь. Указанія на это мы встрѣчаемъ и у г-жи Р. В.

Однако, самыя слова, которыя провозносятъ глухонѣмые, представляютъ нѣчто непонятное для непривычныхъ слушателей. Это едва намѣченная и спутанная артикуляція. Въ большинствѣ случаевъ у глухонѣмыхъ весьма слабы и зрительныя представленія о произношеніи звуковъ; ошибки въ чтеніи по губамъ—оказываются обынѣйшимъ явленіемъ, вытекающимъ именно изъ этой недостаточности зрительныхъ образовъ слова. Такимъ образомъ, не устная, но письменная рѣчь является для нихъ главнымъ способомъ сообщенія съ людьми, не обучившимися языку жестовъ. Но наиболѣе легкимъ и обычнымъ способомъ остается этотъ послѣдній. Глухонѣмой оказывается, такимъ образомъ, по преимуществу конкретнымъ мыслителемъ. Въ противоположность этому, слѣпой имѣетъ склонность къ мышленію безъ образовъ; всякое слово, за исключеніемъ развѣ названій предметовъ, съ которыми легко связываются осязательные образы (мыло, ножъ и, вѣроятно, другіе, въ большемъ числѣ, чѣмъ у зрячихъ людей), всякое слово является для слѣпого прежде всего звуковымъ образомъ. Слова *зеленый*, *яркій* и т. п. имѣютъ для слѣпого такой же отвлеченный характеръ, какъ и слова *вѣчность*, *истина* и т. дал. Слѣпой руководится прежде всего и больше всего слуховыми представленіями. „Сначала душевная жизнь слѣпыхъ руководится въ гораздо большей степени слухомъ, чѣмъ осязаніемъ. Справедливость этого утвержденія въ достаточной мѣрѣ поддерживается довольно обычнымъ наблюденіемъ, что слѣпые дѣти въ началѣ своего обученія обнаруживаютъ полное отсутствіе развитія осязанія и не разбираются въ окружающихъ ихъ предметахъ, пока эти послѣдніе не начинаютъ располагаться по характернымъ для нихъ тонамъ и шумамъ... Тотъ безспорный фактъ, что большая часть слѣпыхъ не ориентирована въ практической жизни, что они должны быть всегда и вездѣ предоставлены опека зрячихъ, восходитъ, безспорно, отчасти и къ этому преимущественному предпочтенію чувства слуха и неспособности понимать пространственныя отно-

шенія внѣшняго міра“¹⁾. Осязаніе, какъ источникъ познанія этого внѣшняго міра, заключаетъ въ себѣ уже то неудобство, что требуетъ со стороны наблюдателя движенія. „При вѣнзмѣнномъ состояніи наблюдателя, измѣреніе предмета во всѣхъ направленіяхъ возможно только при особенномъ подборѣ объектовъ“. (Heller. 53). При этомъ съ помощью такого ощупыванія познается лишь одинъ предметъ. „Нахожденіе всѣхъ объектовъ въ болѣе значительномъ помѣщеніи является совершенно невозможнымъ при первомъ движеніи ориентаціи. Всякое слѣдующее развѣдочное путешествіе приноситъ слѣпому представленіе о новыхъ предметахъ, и такимъ уже образомъ возникаетъ необходимость расположить опредѣленные пространственныя отношенія по извѣстному, впервые установленному плану, вслѣдствіе чего передъ дѣятельностью разума и воображенія слѣпого встаетъ новая сложная задача“ (Heller. 103). Такимъ образомъ, та работа, которую зрячій совершаетъ, окинувъ взоромъ комнату, продѣлывается слѣпымъ съ помощью мышленія. Порядокъ расположенія предметовъ въ комнатѣ является для него конструированнымъ отвлеченнымъ понятіемъ, которому могутъ соответствовать, вѣроятно, только извѣстныя осязательныя представленія. При этомъ, однако, замѣчаетъ Хеллеръ, „удержать въ памяти расположеніе предметовъ, которые занимаютъ обширное пространство, представляется для слѣпого столь труднымъ, что нерѣдко при измѣреніи разстояній онъ ограничивается только установленіемъ числа шаговъ, которое необходимо для прохожденія извѣстнаго разстоянія“²⁾. Чрезвычайно важное замѣчаніе, которое указываетъ, какую роль въ безобразномъ мышленіи (какимъ является, по преимуществу мышленіе слѣпого) играютъ числовыя отношенія. И зрячій долженъ былъ отказаться отъ образа для того, чтобы мыслить о числѣ. Для слѣпого же число и пространство—слова, которыя соответствуютъ немногимъ типическимъ представленіямъ осязательнаго происхожденія. Звуковые образы, какъ уже упомянуто, доминируютъ въ душевной жизни слѣпого. „Цѣлый рядъ очень музыкальныхъ слѣпыхъ, говоритъ Геллеръ, утверждаетъ, что ихъ представленія о внѣшнемъ мірѣ являются просто слуховыми представленіями. Съ названіями вещей они не связываютъ, по ихъ словамъ, никакихъ пространственныхъ образовъ, но только звуки и шумы, которые особенно характерны для соответствующихъ объектовъ. Когда слѣпой говоритъ о какомъ нибудь лицѣ,

¹⁾ Th. Heller. Studien zur Blindenpsychologie. 1904, стр. 11—12.

²⁾ Въ полномъ согласіи съ вышензложеннымъ стоятъ изслѣдованія А. А. Крогиуса о пространственныхъ представленіяхъ у слѣпыхъ. По его мнѣнію, они имѣютъ „несравненно болѣе *отвлеченный характеръ*, чѣмъ тѣ же представленія зрячихъ... Знаніе пространственныхъ отношеній является у слѣпого не столько продуктомъ непосредственнаго чувственнаго воззрѣнія, сколько результатомъ сравненія и взаимоотношенія, *анализа и синтеза*“. („Процессы воспріятія у слѣпыхъ“. 1909, стр. 219).

то онъ мыслить при этомъ объ его голосѣ, а иногда также о своеобразномъ шумѣ его шаговъ. Подобнымъ образомъ, представленія о звѣряхъ зиждятся на улавливаніи ихъ голосовъ, которые *воспроизводятся нѣкоторыми слѣпыми очень живо*. Въ этихъ случаяхъ слѣпой, очевидно, оказывается не въ состояніи схватывать съ помощью осязанія тѣ различія въ формѣ и величинѣ, которыя представляютъ для зрячихъ отличительные признаки предметовъ. Такъ звукъ, издаваемый животнымъ или предметомъ, ассоціируется съ представленіемъ о немъ, становится какъ бы названіемъ его.

Сами слѣпые даютъ цѣнные показанія, свидѣтельствующія о громадномъ значеніи слуховыхъ воспріятій для познанія вѣшняго ¹⁾ міра. „Существуетъ особый языкъ для слуха, языкъ, выраженія котораго, правда, нѣсколько неопредѣленныя, передаютъ, тѣмъ не менѣе, всѣ *оттѣнки чувства и главныя движенія мысли*. Слепые способны достигнуть самаго полного пониманія этого языка, и овладѣть имъ съ такимъ совершенствомъ, какого рѣдко достигаютъ они въ управленіи словомъ“. Эти слова принадлежатъ Дюфо, автору изслѣдованія объ интеллектуальномъ уровнѣ слѣпыхъ, которое появилось въ 1837 г. Въ немъ прекрасно отмѣчена разница въ познаніи вѣшняго міра съ помощью различныхъ органовъ чувствъ: несомнѣнно, что для познанія *чувствъ* другихъ людей мы руководимся по преимуществу—слухомъ, для познанія предметовъ—зрѣніемъ. Этотъ выводъ имѣетъ прямое отношеніе къ вопросу о различности словъ языка, и потому на относящихся сюда данныхъ я остановлюсь нѣсколько подробнѣе. Пристрастіе къ ритму у идіотовъ и слабоумныхъ было отмѣчено выше. Эта, глубоко заложенная въ натурѣ человѣка страсть достигаетъ особаго развитія у существъ, которыя вынуждены въ своей душевной жизни руководиться, по большей части, слуховыми образами. „Таковъ источникъ интереса и способностей слѣпыхъ къ музыкѣ, говоритъ Дюфо. Ясно, что въ этой области у нихъ нѣтъ на пути никакихъ непреодолимыхъ препятствій; напротивъ того, для этого занятія они располагаютъ органами, достигающимъ, благодаря постоянному упражненію, высокой степени совершенства... Достаточно посмотреть, съ какимъ усердіемъ слѣпорожденный ребенокъ, только что выросшій изъ пеленокъ, *ищетъ ритма и интонаціи* на первомъ инструментѣ, который попадаетъ ему подъ руку. Этимъ же *предрасположеніемъ* къ музыкальной гармоніи нужно объяснить также и интересъ, проявляемый слѣпыми къ стихамъ, и способность ихъ писать стихи, несмотря на то, что они не поэты. Гармоническое сочетаніе звуковъ въ стихахъ очаровываетъ слухъ, а *ритмическій размахъ удовлетворяетъ, до известной степени, одну изъ самыхъ глубокихъ*

¹⁾ Нижеслѣдующія данныя почерпнуты изъ интереснаго труда А. А. Крогюса „Процессы воспріятія у слѣпыхъ“, 1909. Къ сожалѣнію, продолженіе этого труда еще не появилось.

потребностей ихъ природы“. Такое тонкое развитіе слуха, которое досталось слѣпымъ въ наслѣдіе отъ отдаленныхъ предковъ нашей расы, принужденныхъ жить въ условіяхъ, когда опасность или требованія само-сохраненія заставляли ихъ прислушиваться ко всякимъ звукамъ,—создаетъ особый „слуховой пейзажъ“. Объ этомъ послѣднемъ даетъ намъ представленіе слѣдующій разсказъ одного изъ слѣпыхъ, извѣстнаго писателя Де-Ля-Сизерана (*Maurice de la Sizeranne. Les soeurs aveugles. 1901, цит. по Крогюсу*): „Людямъ хорошо извѣстны всѣ великіе голоса природы, вой бури въ лѣсу или на морѣ, раскаты грома въ горахъ, шумъ потока или водопада. Но обыкновенно не слушаютъ, не обращаютъ вниманія на цѣлую массу чуть замѣтныхъ, легкихъ и вѣжныхъ звуковъ, которые природа расточаетъ въ изобиліи: порохъ, треніе наскочныхъ въ травѣ, стрекотаніе вечернихъ кузнечиковъ, удары крыльями птицъ, ропотъ тонкаго, какъ ниточка, ручейка, шумъ легкаго вѣтра, волнующаго только нѣсколько листьевъ. Вѣтеръ не только оживляетъ зрительный пейзажъ: онъ вноситъ движеніе и жизнь также и въ тотъ пейзажъ, который я назвалъ бы слуховымъ. Благодаря ему, оживаютъ для уха деревья—*каждое получаетъ звукъ, соответствующій своей природѣ*,—каждое окрашивается, такъ сказать, въ присущій ему слуховой колоритъ“. То же и въ городѣ. „Каждый домъ даетъ массу своеобразныхъ шумовъ. Шумъ дверей, оконъ видоизмѣняется до безконечности. Большая или меньшая звучность шаговъ, та или иная гулкость комнаты, лѣстницы, корридора, вся совокупность вѣшнихъ шумовъ, воспринимаемыхъ въ той или иной комнатѣ, въ тотъ или иной часъ, въ то или иное время года, звуки колокольчика, разнообразныя удары башенныхъ и стѣнныхъ часовъ, звуки плотничьихъ или слесарныхъ инструментовъ, грохотъ поѣзда, звонки конки, крикъ уличныхъ мальчишекъ—все это создаетъ особую обстановку“. Минутъ цѣлый рядъ чрезвычайно интересныхъ показаній слѣпыхъ, я приведу только свидѣтельства, относящіяся къ познанію *эмоціональной стороны* окружающей человѣческой среды съ помощью слуха. „Я полагаю, что душа человѣка открыта для насъ больше, чѣмъ для зрячихъ, писала одна слѣпая: голосъ передаетъ ея состояніе болѣе непосредственно, болѣе искренне, чѣмъ выраженіе ея лица. Люди, обреченные довольствоваться слухомъ, большею частью вырабатываютъ способность *наблюдать и изучать* самыя тонкія измѣненія голоса. Приходится обращать вниманіе не столько на звукъ голоса, сколько на его музыкальный тембръ: доброта или жестокость, благосклонность или озлобленіе, глупость, умъ, расположеніе къ неопредѣленности или мечтательности: все это передается удареніями, вибраціями голоса, его уклонами и изгибами, его очертаніями и контурами“. Еще опредѣленнѣе пишетъ Морисъ Де-ля-Сизеранъ: „Можно искусственно составить себѣ выраженіе лица, но невозможно сдѣлать это съ голосомъ, и вотъ преимущество въ пользу слѣпого. Часто даютъ себѣ извѣстную физиономію,

смотря по обстоятельствамъ, но всегда забываютъ приготовить тонъ голоса, и это даже почти невозможно. Трудно поддерживать споръ, даже простой разговоръ, не обнаруживая хоть сколько-нибудь чувства души: гнѣва, печали, довольства, пренебреженія. Фальшивая интонація тотчасъ же обнаружитъ принужденность, а легкое дрожаніе въ голосѣ, вронія въ его оттѣнкѣ, заставляють угадывать, подъ какими впечатлѣніями находится душа въ то время, когда за нею наблюдаютъ. Человѣкъ узнается по голосу, точно такъ же и по наружности, но голосъ менѣе способенъ измѣняться. Послеъ долгой разлуки можно вдругъ не узнать другъ друга, но довольно одной минуты, чтобы недоумѣніе разсѣялось. Есть особенность выговора, произнесенія словъ, особенности ударенія, которыя не забываются. Если же онѣ растрогали душу слѣпного въ одну изъ рѣшающихъ минутъ его жизни, то воспоминаніе объ этомъ жгучее или сладостное врѣзается въ сардцѣ того, кто не видѣлъ взгляда, но слышалъ и понималъ вздохъ; и вотъ, на краю свѣта, послеъ двадцатилѣтней разлуки, можетъ быть и равнодушной, это воспоминаніе заставитъ его назвать человѣка при первомъ его словѣ, при первомъ звукѣ его голоса". Такимъ образомъ, подводя итоги изложенному въ настоящей главѣ, мы можемъ сказать, что преобладаніе зрительныхъ образовъ въ душевной жизни человѣка придаетъ ей почти совершенно конкретный характеръ, преобладаніе же слуховыхъ почти совершенно отвлеченный: и глухонѣмые, и слѣпые представляютъ собою, такъ сказать, *половинныхъ людей*. Но чрезвычайная изощренность слуховыхъ представлений у слѣпыхъ передаетъ тѣ особенности душевнаго склада человѣка, которыя мы встрѣчаемъ донинѣ въ средѣ, обреченной ориентироваться по слуху въ сложныхъ условіяхъ существованія. Охотникъ, какъ и слѣпой, долженъ различать малѣйшіе оттѣнки въ звукахъ природы, чтобы уловить приближеніе добычи и опредѣлить ее качества. Съ другой же стороны, глухонѣмой представляетъ собою переживаніе того уровня духовнаго развитія человѣчества, когда мышленіе совершалось еще безъ словъ, въ видѣ смѣны образовъ. Образное мышленіе современнаго глухонѣмого и изощренная слуховая познавательная дѣятельность современнаго слѣпца и составляли въ своей совокупности душевныя способности того первобытнаго человѣка, который еще не создавалъ языка, но уже приближался къ его созданію. Обиліе и тонкость слуховыхъ образовъ, связанныхъ съ зрительными очень живыми воспріятіями тѣхъ же предметовъ, установили прочную ассоціацію между двумя рядами образовъ: на этой почвѣ возникло сознаніе того, что зрительному образу соответствуетъ звуковой. Когда такого звукового не было въ наличности, потому что предметъ не производилъ никакого звука, и когда, вслѣдствіе этого, въ одномъ изъ рядовъ не было соответствующаго члена, то, въ силу установившейся привычки имѣть его, онъ восстанавливался, и тогда названіе оказывалось уже чистымъ *символомъ* предмета. Разумѣется, такое по-

иманіе существа *называнія предмета словомъ* не разрѣшаетъ многихъ вопросовъ, связанныхъ съ проблемой происхожденія языка, но психологія глухонѣмыхъ и слѣпыхъ, во всякомъ случаѣ, бросаетъ яркій свѣтъ на то, въ какихъ условіяхъ возникало названіе, и какъ слово превратилось въ символъ.

Какъ же складывается душевная жизнь въ тѣхъ случаяхъ, когда отсутствуютъ и слуховыя, и зрительныя воспріятія, когда къ глухонѣмотѣ присоединяется еще и слѣпота? Объектами особенно тщательнаго психологическаго изученія были двѣ представительницы этого типа, американки Лаура Бриджменъ и Елена Келлеръ, приобрѣвшія большую извѣстность въ наукѣ. Носомѣнно гораздо большую научную цѣнность имѣетъ изученіе душевной жизни Лауры Бриджменъ, тогда какъ рассказы о необыкновенно обширныхъ знаніяхъ, приобретенныхъ Еленой Келлеръ, представляютъ въ значительной степени легенду. Laura Bridgman родилась 21 декабря 1829 г., а въ 1837 г. поступила въ институтъ для глухонѣмыхъ, основанный и руководимый знаменитымъ американскимъ врачомъ и филантропомъ Самуиломъ Хоуе (Samuel Howe). Здѣсь она провела много лѣтъ, пользуясь самымъ внимательнымъ уходомъ и обученіемъ. Самъ Хоуе и Мэри Свифтъ-Лямсонъ, обучавшая Лауру съ 1841 по 1845 годъ, оставили нѣсколько тщательныхъ описаній ея воспитанія и успѣховъ. Тому же вопросу были посвящены работы Стэнли Голла, Санфорда и другихъ американскихъ психологовъ, и наконецъ, на основаніи всѣхъ этихъ матеріаловъ, нѣмецкій ученый Иерусалемъ составилъ свою монографію, которой я буду пользоваться въ дальнѣйшемъ изложеніи ¹⁾. Лаура Бриджменъ скончалась въ преклонномъ возрастѣ, въ 1889 г., такъ что она могла представить полную картину развитія умственныхъ способностей у слѣпого глухонѣмого.

Лаура происходила изъ семьи зажиточныхъ фермеровъ и до двухъ лѣтъ развивалась вполне нормально. Она уже лепетала нѣсколько словъ и знала нѣсколько буквъ азбуки. Но въ это время семью постигло несчастіе: скарлатина унесла двухъ старшихъ сестеръ Лауры, а ее изувѣчила, лишивъ дѣвочку зрѣнія и слуха. Последній былъ пораженъ совершенно, и если впоследствии Лаура воспринимала какіе-нибудь звуки, то лишь съ помощью чрезвычайно развитого у нея осязанія, до котораго достигали и воздушныя волны, созданныя особенно сильными звуками. Что же касается зрѣнія, то оно утрачивалось болѣе постепенно: въ 1839 году же касается зрѣнія, то оно утрачивалось болѣе постепенно: въ 1839 году Лаура не различала уже никакихъ свѣтовыхъ впечатлѣній, но еще въ 1837 г. она отличала свѣтъ отъ темноты, могла указать, въ какомъ направленіи расположено окно, и что-нибудь бѣлое, поставленное передъ ея правымъ глазомъ, привлекало ее вниманіе. Во всякомъ случаѣ, и тогда

¹⁾ Laura Bridgman. Erziehung einer Taubstumm-Blinden. Eine psychologische Studie von Prof. Dr. Wilhelm Jerusalem. 2-er Abdruck. Wien. 1891.

зрительныя воспріятія были такъ слабы, что не имѣли почти никакого познавательнаго значенія. Чувства вкуса и обонянія были также поражены, но не окончательно. Тѣмъ не менѣе, для познанія внѣшняго міра у Лауры оставалось въ распоряженіи лишь одно чувство осязанія, которое и развивалось въ необыкновенной степени. Еще до начала обученія Лаура закончила весьма значительное число такнхъ впечатлѣній, и съ помощью ихъ она ориентировалась въ окружающей обстановкѣ. Она увѣренно двигалась по дому, различала комнаты, знала о коврахъ, покрывающихъ полъ, слѣдовала за матерью и распознавала, чѣмъ занята мать: она знала даже, что въ одной стѣнѣ есть щель, черезъ которую пролѣзаетъ кошка, ей доставляло удовольствіе качать на колѣняхъ, какъ куклу, саногъ или вертѣть въ водѣ точильный камень. Съ матерью Лаура общалась съ помощью нѣсколькихъ жестовъ. „Когда она хотѣла ѣсть, она протягивала руку: если ей хотѣлось хлѣба съ масломъ, она дѣлала такой жестъ, точно намазывала. Ударъ по спинѣ означалъ, что ея недовольны, тогда какъ прикосновеніе къ головѣ показывало довольство. Но, разумѣется, эти знаки оказывались недостаточными, и поэтому у Лауры часто происходила принадлежность общенства, которые ея отецъ могъ усмирять только съ помощью крутыхъ мѣръ“. Мать научила Лауру вязать, плести и немного шить, и этимъ ограничивалась познанія дѣвочки. Во всякомъ случаѣ, вельза не согласилась съ Іерусалемомъ, что то количество знаній, которое бѣдная глухонѣмая и слѣпая дѣвочка приобрѣла съ помощью осязанія, было весьма значительно. „Оно приводитъ въ изумленіе и показываетъ, какъ сильно у человѣка стремленіе использовать свои психическія силы“. Въ такомъ состояніи находилась Лаура, когда началось ея обученіе. Д-ръ Хоуе рѣшилъ обучить ее не языку жестовъ, но словесной рѣчи, съ помощью которой она могла бы объяснять свои желанія всему міру, а не немногимъ, изучившимъ ея языкъ жестовъ. Для этого у нея надо было создать „внутреннюю рѣчь“, которая могла бы пойти по единственно открытому для ея познанія пути, т. е. по пути осязательныхъ представленій. Это была бы внутренняя моторная рѣчь, лишенная, однако, контроля со стороны слуховыхъ воспріятіи и предоставленная въ своемъ образованіи и совершенствованіи только весьма развитымъ мускульнымъ и осязательнымъ ощущеніямъ глухонѣмой. Обученіе совершилось слѣдующимъ образомъ. Когда Лаура привыкла къ обстановкѣ заведенія для глухонѣмыхъ, д-ръ Хоуе пришелъ къ ней съ нѣсколькими полосками бумаги, на которыхъ были нанечатаны выпуклыми буквами названія наиболее обычныхъ предметовъ, ножа, вилки, ложки, стула и т. п. Каждая полоска имѣлась въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ былъ прирѣзленъ къ предмету, другой оставался свободенъ. Лаурѣ давали его осязывать вмѣстѣ съ предметомъ, имя котораго было нанечатано на полоскѣ, а потомъ подавали ей свободную полоску. Когда она осязывала и ту, и дру-

гую, указательные пальцы ея рукъ складывали, что должно было означать тожество двухъ пластинокъ. „Повидимому, Лаура легко поняла, что знаки на обѣихъ полоскахъ одинаковы. Но дальше этого она еще не шла“. Такъ продолжалось два дня; только на третій Лаура поняла, что эти тожественные знаки на предметѣ и на бумажкѣ и сами по себѣ означаютъ именно самый предметъ: мы сказали бы, служить его символомъ. „Это обнаружилось въ томъ, что полоску со словомъ *chair* (стулъ) она положила сначала на одинъ стулъ, потомъ на другой, причемъ разумная улыбка освѣтила ея до того времени надутое лицо“. Дальнѣйшій процессъ обученія Хоуе излагаетъ въ слѣдующихъ словахъ: „Въ то время, какъ на первыхъ урокахъ, она, подобно ученой собакѣ, терпѣливо подражала тому, что дѣлалъ учитель, теперь началъ дѣйствовать ея разумъ. Она оказалась въ состояніи понять, что здѣсь было найдено средство выразить все то, что происходило въ ея душѣ, и сообщить объ этомъ другой душѣ, и ея лицо сразу приняло по истинѣ человеческое выраженіе. Теперь это была уже не собака и не поугай; это былъ бессмертный духъ, который жадно хватался за связь, соединяющую его съ другими духами“.

Несомнѣнно, та легкость, съ которой совершилась эта великая перемѣна въ сознаніи Лауры, была подготовлена врожденнымъ человѣку стремленіемъ высказываться. Лишенная этой возможности, Лаура волновалась и неистовствовала. Конечно, первобытный человѣкъ не такъ легко пролѣзаетъ путь, пройденный ею, но и у него установившаяся ассоціація между „названіемъ“ (въ той или другой формѣ) и предметомъ сдѣлалась сначала его собственнымъ достояніемъ, потомъ средствомъ общенія съ себѣ подобными. Какъ мы видимъ изъ приведеннаго примѣра, этотъ переходъ отъ слова, какъ символа, къ слову, какъ орудію общенія, произошелъ мгновенно, не потребовавъ никакой промежуточной инстанціи. Но это стало возможно лишь вслѣдствіе того, что среда понимала знаки Лауры. Такимъ образомъ, вторая часть проблемы происхожденія языка не освѣщается даннымъ случаемъ; вѣдь нужно не только, чтобы человѣкъ говорилъ, но и чтобы его понимали. А какъ создается такое пониманіе? Несомнѣнно, путемъ подражанія одной особи другой, особи, менѣе значительной по своему положенію, особи авторитетной. Иначе разовьется всеобщее болтаніе, вѣчно смѣняющееся, безцѣльное, ни для кого непонятное. У Лауры вслѣдъ за пониманіемъ словъ легко уже было воспитать пониманіе буквъ и умѣніе складывать слова изъ нихъ: такимъ же путемъ усвоенія осязательныхъ ощущеній ей удалось внушить пониманіе пальцевой азбуки, хотя здѣсь она была предоставлена исключительно моторнымъ представленіямъ движенія пальцевъ. Преподавательница ея описываетъ слѣдующимъ образомъ методъ обученія: „Я давала ей сначала осязать предметъ, названію котораго я хотѣла научить ее; затѣмъ я приводила ей названіе его, складывая его

съ помощью пальцевъ. Она клала свою правую руку на мою и такъ могла чувствовать каждое мое движеніе и всякую перемену положенія. Этотъ языкъ движеній Лаура Бриджменъ усвоила себѣ въ совершенствѣ, и онъ сдѣлался для нея главнымъ средствомъ сообщенія съ міромъ. Она достигла въ немъ такого совершенства, что можно было читать ей „вслухъ“ по пальцамъ (т. е. на ея рукѣ прощѣлывать движенія пальцевой азбуки, въ соответствіи съ текстомъ), и она свободно понимала читаемое. Такимъ образомъ, у нея возникла настоящая внутренняя рѣчь моторными представленіями пальцевой азбуки, и она разговаривала пальцами сама съ собою, оставаясь наединѣ, и даже во снѣ говорила пальцами такъ быстро, что ее нельзя было понять. Разумѣется, все это относится къ гораздо болѣе поздней эпохѣ ея развитія; сначала же Лаура узнала названія только предметовъ, которые она могла ощущать. Это были имена предметовъ, тогда какъ слѣдовало научить Лауру понимать такія слова, которые означаютъ качества, чувства и т. п. Такъ было въ 1837 году, черезъ четыре мѣсяца послѣ начала обученія, а въ слѣдующемъ году Лаура уже умѣла складывать короткія предложенія: *shut door* (закрой дверь) и *give book* (дай книгу) или *Smit-head sick* — *Laura sorry* (у Смитъ-учительницы болитъ голова, Лаура печальна).

Въ этомъ усвоеніи Лаурой языка обнаруживается, дѣйствительно, та сложность психическаго процесса, приводящаго къ пониманію словъ, которая внушила психіатрамъ, на основаніи изученія афазіи, убѣжденіе, что „пониманіе словъ представляетъ процессъ, совершающійся въ послѣдовательномъ порядкѣ, по стадіямъ, и постепенно усложняющійся“¹⁾. Лаура, научившись употреблять слова для означенія качествъ, приобрѣла способность къ отвлеченному мышленію, которая выразилась въ сужденіи: „Лаура печальна“. Черезъ два года она могла уже свободно разговаривать съ людьми, которые понимаютъ пальцевый языкъ глухонѣмыхъ, и такимъ образомъ развила достаточно сложную внутреннюю моторную рѣчь. Десятилѣтняя дѣвочка писала письма, мало отличающіяся по складу своему отъ писемъ нормальныхъ дѣтей того же возраста: „*Laura will write letter to mother* (Лаура хочетъ написать письмо матери). *Laura will ride with father* (Лаура хочетъ ѣздить, или поѣдетъ съ отцомъ). *Laura will make purse for mother* (Лаура хочетъ сдѣлать щетку матери). *Laura will sleep with mother and father* (Лаура хочетъ спать съ матерью и отцомъ). *Mother will love and kiss Laura* (мать будетъ любить и цѣловать Лауру). *Naw Laura will carry letter for mother* (теперь Лаура понесетъ письмо матери). *Laura will go see Wales* (Лаура хочетъ пойти къ Уэльсамъ), *Laura will go home* (Лаура хочетъ пойти домой)“. Какъ ни просто содержаніе этого письма, ко-

¹⁾ „Das Wortverständnis darstellt einen stadienweise sich vollziehenden, zunehmend sich komplizierenden Prozess“ *A. Pick. Ueber das Sprachverständnis. 1909.*

торое выражаетъ только желанія Лаура и лишено всякаго отвлеченнаго характера, оно состоитъ изъ ряда сужденій, которые могутъ быть переданы только съ помощью языка. Такой уровень развитія позволялъ приступить къ дальнѣйшему обученію глухонѣмой. Первые дѣйствія арифметики съ простѣйшими числами дались ей легко. Такъ же успѣшно шло преподаваніе географіи, естественной исторіи и исторіи человѣчества, разумѣется, все это въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ. Къ сожалѣнію, насъ завело бы слишкомъ далеко за рамки настоящаго изслѣдованія подробное описаніе рѣчи и письма Лауры Бриджменъ. Поэтому, я ограничусь здѣсь заключеніемъ Іерусалема, что глухонѣмая „хорошо овладѣла языкомъ, но не обнаруживала совершенно никакой фантазіи“. Однако, тотъ фактъ, что она видѣла сны въ формѣ какихъ-то моторныхъ образовъ, обнаруживаетъ и въ данномъ случаѣ наличность воображенія, конечно, весьма скуднаго и ограниченнаго творчествомъ представленій движенія и пальцевой азбуки. Сама Лаура замѣчала по этому поводу: „я не вижу во снѣ, что я говорю ртомъ, я грежу, что я говорю пальцами“. Однако, какъ-то въ болѣе позднемъ возрастѣ она заявила, что грезила во снѣ, будто говорить ртомъ, но, во всей вѣроятности, этотъ сонъ былъ лишь результатомъ дневнаго чтенія. Вѣдь и въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которые она писала въ эту пору, говорится о вещахъ, совершенно непостижимыхъ для чувствъ Лауры, бѣломъ и черномъ, свѣтѣ и тьмѣ, о томъ, что въ загробной жизни разрѣшатся узы ея языка, откроются Божьими перстами ея очи и уши, и она будетъ слышать, говорить и видѣть. Конечно, представить себѣ хотя бы одно изъ этихъ чувствъ Лаура не могла, но она знала, что говорятъ ртомъ, и „видѣла“ объ этомъ сонъ.

Большой интересъ по вопросу о прирожденномъ современному человѣку стремленію говорить, представляютъ тѣ звуки (*noises*, скорѣе *шумы*), которые производила Лаура, какъ выражая свои чувства (*emotional*), такъ и называя ими извѣстныхъ людей. Еще до поступленія въ заведеніе д-ра Хоуе она, по собственнымъ воспоминаніямъ, „печально бормотала“ (*murmured*), когда ее покидала мать.

Первая воспитательница Лауры отмѣтила, что эта послѣдняя издавала сначала слабые и пріятные для слуха звуки, которые потомъ, когда она больше освоилась съ новыми людьми, стали громче и непріятны. Лаура издавала ихъ безсознательно, и, когда воспитательница, желавшая отучить ее отъ такой „плохой манеры“, клала ей руку на ротъ, она замолкала. Весьма важно, однако, что Лаура испытывала потребность излить душу въ такихъ крикахъ; на просьбы врача подавить ихъ, она отвѣчала иногда отказомъ („*I have so much voice*“ или „*God gave me much voice*“), а, оставшись одна, отводила душу въ этихъ „шумахъ“ (*she indulged herself in a surfeit of sounds*). При этомъ эмоціямъ соответствовали *опредѣленные звуки*: такъ изумленіе передавалось чѣмъ то

въ родѣ слога *Ho-o-ph-ph*. Мы стоимъ, такимъ образомъ, у самого первоисточника человѣческой рѣчи: возбужденіе передается въ видѣ звука, сходныя возбужденія разряжаются въ видѣ сходныхъ звуковъ. Лаура Бриджменъ показала намъ и вторую ступень въ процессѣ возникновенія языка: она *поняла*, что ея звуки привлекаютъ вниманіе другихъ, и стала употреблять ихъ цѣлесообразно. 29 іюня 1841 г., когда Лаурѣ было уже около 12 лѣтъ, и когда она уже хорошо знала пальцовой языкъ, она заявила своей воспитательницѣ: „я хотѣла, чтобы вы пришли, и я звала васъ“. Этимъ зовомъ былъ особенный звукъ. Надо, однако, оговориться, что такое пониманіе *цѣлесообразности* звуковъ было подготовлено у Лауры привычкой сообщаться съ людьми съ помощью другихъ знаковъ, а можетъ быть, и чтеніемъ о говорящихъ людяхъ. Во всякомъ случаѣ, она быстро ассоціировала два факта: свой звукъ и возбужденіе имъ чужого вниманія. Звуки, которые производила глухонѣмая, не воспринимались ею съ помощью слуха, но вызывали извѣстные моторныя представленія, а такъ какъ Лаура думала съ помощью именно моторныхъ образовъ словъ (выраженныхъ пальцовой азбукой), то неудивительно, что она стала думать и нѣкоторыми изъ своихъ звуковъ, которые связались у нея съ опредѣленными чувствами. Это было уже настоящее творчество человѣческой рѣчи, какое создало и, вообще, человѣческій языкъ и создаетъ у каждаго начинающаго говорить человѣка (младенца) *свой* словарь звуковъ для выраженія *своихъ чувствъ*. Примеръ Лауры Бриджменъ позволяетъ намъ идти еще дальше: звуки ея имѣли въ извѣстной мѣрѣ инстинктивный характеръ и, какъ таковыя, инстинктивно же понимались другими людьми. „Среди этихъ трехъ звуковъ имѣлся одинъ очень сильный, похожій на вой, звукъ гнѣва (*angry noise*), который удавалось услышать отъ нея лишь очень рѣдко. По просьбѣ Стэнли Голая, она попыталась произнести его, но *ей это не удалось*“ (Jerusalem. 43). Вѣроятно, потому что не было соответствующаго возбужденія. Установивъ ассоціацію между эмоціональными звуками и представленіями о внѣшнемъ мірѣ, Лаура Бриджменъ, говоря принципиально, создала свой языкъ, и теперь психологически ей уже не было трудно пополнять свой словарь. Пальцовой рѣчью и здѣсь подсказала ей, что словами означаются не только чувства (какъ могла бы сказать ей ея „эмоціональный“ языкъ), но прежде всего вещи, и вотъ она *придумала* до 60 звуковъ, которыми *называла* различныхъ людей. На вопросъ ея воспитательницы, сколько такихъ звуковъ она удерживаетъ въ своей памяти, она сейчасъ же произвела ихъ.

Очень интересны относящіяся сюда показанія д-ра Хоус (1841): „Стремленіе производить звуки оказывается настолько сильнымъ, что Лаура употребляетъ ихъ для нѣкоторыхъ изъ своихъ знакомыхъ, и притомъ для каждаго человѣка разный. Если она входитъ послѣ недолгой разлуки въ комнату, гдѣ находится 12 слѣпыхъ дѣвочекъ, она обнимаетъ ихъ одну

за другой, и при этомъ быстро и въ высокомъ тонѣ издаетъ особенный звукъ, который означаетъ каждую изъ дѣвочекъ, и эти звуки настолько отличаются одна отъ другой, что каждая изъ дѣвочекъ, услышавъ звукъ, можетъ сказать, за кого ее принимаетъ Лаура. Если же она будетъ говорить объ этой самой дѣвочкѣ съ кѣмъ-нибудь третьимъ, то она на пальцахъ сложитъ знакъ, означающій имя дѣвочки; тѣмъ не менѣе я склоненъ думать, что *мысль связывается сначала со звукомъ, а потомъ уже переводится на языкъ пальцевъ*, ибо, когда она остается одна, она издаетъ иногда эти звуки, или названія лицъ. На мой вопросъ, почему она издаетъ извѣстный звукъ вмѣсто того, чтобы сложить на пальцахъ имя извѣстнаго лица, она сказала мнѣ: я думаю о звукѣ для Жанетты часто, когда я думаю, какія хорошія вещи она мнѣ даетъ; тогда я не думаю о томъ, чтобы сложить ея имя“. Другими словами, осязательный образъ вещей, приятныхъ для Лауры, вызываетъ въ памяти ея имя въ видѣ звука, произносимаго при этомъ Лаурой. Одно изъ лицъ, наблюдавшихъ эту послѣднюю, составило списокъ такихъ словъ, и здѣсь передъ нами опять поразительный фактъ: слова Лауры сложены по законамъ, которые управляютъ рѣчью дѣтей и обнаруживаются въ языкахъ такъ называемыхъ дикарей. Это и повторенные слоги (*foo-foo-foo* или *too-too-too*, но *никогда too-too*, или *ра-ра-ра*, *pig-pig-pig*, или *ts-ts*). Повтореніе здѣсь, какъ и при вербигерации, какъ и у дѣтей и т. п., основано, конечно, на томъ, что стремленіе говорить направляется по линіи наименьшаго сопротивленія, т. е. по уже протореннымъ путямъ. Однако, въ словахъ Лауры нѣтъ ничего похожаго на *ономатопеическое* созданіе языка: *pig-pig-pig*, означавшее учительницу, или *ра-ра-ра*, названіе подруги, не представляли собою воспроизведенія какаго-либо звуковъ, такъ какъ Лаура ихъ и не слышала. *Нѣкимъ-то образомъ*, который для наблюдателя остался тайной, извѣстныя представленія связались съ совершенно непохожими на нихъ звуками, какъ и въ индо-европейскихъ языкахъ слова являются въ громадномъ своемъ большинствѣ условными символами. Значитъ—ограничимся пока такимъ выводомъ—примеръ Лауры Бриджменъ показываетъ, что для созданія словаря можно и не прибѣгать къ звукоподражанію.

По мнѣнію Іерусалима, эти слова Лауры были звуками, которые были выраженіями различныхъ степеней и формъ чувства. Такъ, имя сестры д-ра Хоус, Жанетты, Лаура *произносила* лишь потому, что любила ее, тогда какъ имена людей, къ которымъ она относилась равнодушно, она складывала на пальцахъ. Лишь *аффектъ* вызывалъ на уста Лауры опредѣленный звукъ. „Позже, когда эти звуки вѣдствие частаго употребленія ассоціировались все тѣснѣе съ представленіемъ объ извѣстномъ лицѣ, постепенно утратилась ихъ эмоціональная окраска, и они сдѣлались настоящими именами“. Замѣчаніе, представляющее непосредственный интересъ для вопроса о происхожденіи языка (Jerusalem. 48). Звуки Лауры Брид-

жмень не были простыми рефлексами, но выражениями все болѣе тонко дифференцирующагося чувства, при чемъ выраженіе ассоціровалось съ возбудителемъ чувства: такъ опредѣляетъ ихъ Иерусалемъ, который справедливо отмѣчаетъ необходимость также социальнаго элемента для развитія языка Лауры. Другія глухонѣмыя, которыя находились въ томъ же самомъ заведеніи, не достигли такого высокаго уровня умственнаго развитія, какой приобрѣла Лаура.

Онѣ также издавали извѣстные эмоциональные звуки, которыми привлекали къ себѣ вниманіе окружающей ихъ среды, но эти звуки не превратились въ слова. На преобразование интеллектуальной жизни Лауры усвоеніе ею языка имѣло чрезвычайно значительное вліяніе: тѣ неясныя общія представленія, которыя предшествовали въ ея сознаниі этому обогащенію его словами, смѣнились *понятіями*. При этомъ способность къ отвлеченному мышленію складывалась у нея лишь постепенно. Имена прилагательныя казались ей первоначально лишь другимъ именемъ предмета: „большая книга“ представляла собою какъ бы два имени одного и того же предмета, и Лаура спрашивала, какое еще другое имя есть у стула, стола и т. д. Тагформа моторнаго мышленія, которую выработала у себя глухонѣмая, представлялась весьма утомительной, и она постоянно жаловалась, что „думать тяжело“. Когда же она узнала, что у нормальныхъ людей пять чувствъ, а у нея всего три, она возразила: „Нѣтъ, у меня четыре чувства: думанье, носъ, ротъ и пальцы“. Лаура Бриджменъ, исторія которой была изучена столькими выдающимися психологами, даетъ картину весьма рѣдкаго развитія глухонѣмыхъ-слѣпыхъ. Нѣсколько подобныхъ больныхъ, попавшихъ въ благоприятныя условія обученія, также научились складывать слова на пальцевой азбукѣ. Но всѣ они далеко отстали отъ Лауры и еще дальше отъ нашей современницы, американки Елены Келеръ, если только вѣрить тому, что она изложила будто бы сама въ „Исторіи своей жизни“. Какъ уже было указано выше, рассказы о необыкновенномъ образованіи Елены Келеръ возбудили большія сомнѣнія среди специалистовъ. Преподаватель въ заведеніи для глухонѣмыхъ Руд. Бромеръ, посвятилъ цѣлую книжку доказательству того, что „Исторія моей жизни“, наполненная противорѣчіями и написанная напыщеннымъ языкомъ, не можетъ принадлежать Еленѣ Келеръ. Русскій читатель легко можетъ ознакомиться съ удивительными познаніями Елены Келеръ по запискамъ ея воспитательницы, миссъ Сюзливанъ, которыя иногда производятъ впечатлѣніе разсказовъ извѣстнаго барона Мюнхгаузена. Онѣ собраны въ написанной горячо, но безъ необходимой критики книгѣ г-жи Рагозиной: „Исторія души“.

Обученіе Елены Келеръ началось съ выпуклой азбуки. Слова, сложенные изъ такихъ буквъ, ей клали на руку и при помощи осязанія (сначала приходилось класть на ладонь выпуклыя буквы, потомъ ограничивалось тѣмъ, что писали ей слова пальцемъ на ладони) у Елены Келеръ возникла моторная форма внутренней рѣчи, которая

была достаточна для простѣйшаго познанія предметовъ. Но стоитъ прочесть поэмъ и воспоминанія Елены, чтобы замѣтить, что или она повторяетъ чужія слова, лишеныя для нея всякаго зрительнаго или другого образнаго содержанія, или что просто ей приписывали чужія сочиненія, совершая такимъ образомъ мистификацію. Когда она говорила о звукахъ и цвѣтахъ, о природѣ Бразильскихъ лѣсовъ и т. п., то что своего она могла сообщить о нихъ? Но Елена Келеръ обладаетъ, какъ утверждаютъ, такой массой всевозможныхъ знаній, которыя превышаютъ даже средній уровень образованія у нормальныхъ дѣтей ея возраста. Она объясняется не знаками, но словами, и притомъ, будто бы, говорить на нѣсколькихъ языкахъ. Въ университетѣ эта слѣпоглухонѣмая держала экзаменъ по математикѣ, т. е., проще говоря, по ариметикѣ, и изъ анализа ея сбивчивыхъ и высокопарныхъ показаній о трудности заданныхъ ей работъ можно извлечь лишь тотъ выводъ, который сдѣлалъ Бромеръ: „всѣ ея знанія по ариметикѣ были довольно жалки“. Что касается ея чтенія, то достаточно привести слѣдующее признаніе Елены Келеръ: „Только во время моего перваго пребыванія въ Бостонѣ, я начала систематически и усердно *читать*. Мнѣ разрѣшалось проводить каждый день извѣстное время въ библиотекѣ, переходить отъ одной книжной полки къ другой и вытаскивать всякую книгу, на которую наталкивались мои пальцы. И я читала и читала, хотя понимала всего одно слово изъ десяти или два слова на страницѣ. Слова сами по себѣ производили на меня чарующее впечатлѣніе; но у меня не было сознательнаго пониманія того, что я читала“. Можно-ли называть такое случайное нахожденіе знакомыхъ словъ чтеніемъ? И еще много лѣтъ спустя, Елена Келеръ должна была сознаться: „Я знаю, что есть много такихъ вещей въ Шекспирѣ и въ мірѣ, которыхъ я не понимаю“. Оставляя въ сторонѣ дальнѣйшія подробности изъ чудесной жизни этой глухонѣмой, я ограничусь замѣчаніемъ, что у нея, несомнѣнно, развилась богатая внутренняя жизнь съ помощью моторныхъ представленій произносимыхъ словъ и осязательныхъ образовъ буквъ и словъ, напечатанныхъ выпуклыми буквами, а также написанныхъ на ея ладони. Но въ области высшаго познанія Елена Келеръ, при неспособности самоконтролировать правильность своего произношенія и пониманія, оказалась бы совершенно безпомощной безъ постоянной опеки.

Г Л А В А VII.

Мимика и жестъ.

Къ числу средствъ сообщенія внѣшнимъ наблюдателямъ содержанія своего интеллекта относятся выраженіе лица, поза, жестикуляція. Съ помощью искусственныхъ жестовъ объясняются другъ съ другомъ глухонѣмые, богатая жестикуляція и мимика увеличиваютъ впечатлѣніе, произ-

видимой игрой актера. Насколько значителенъ здѣсь инстинктивный элементъ и какое отношеніе имѣеть онъ къ творчеству рѣчи? Эти вопросы составляютъ содержаніе настоящей главы. „Въ настоящее время, говорить Дежерандо¹⁾, глухонѣмые получаютъ свои знаки, какъ наслѣдіе, которое передается изъ поколѣнія въ поколѣніе и въ свое время достанется тѣмъ, кто послѣдуетъ за ними; такимъ образомъ, здѣсь нѣтъ возможности наблюдать, какъ это было бы въ случаѣ самаго возникновенія искусства, какъ глухонѣмые совершенствуютъ средства сообщенія другъ съ другомъ, какъ они развиваютъ свой языкъ, такъ какъ они получаютъ его уже со-всѣмъ готовымъ. Несомнѣнно, однако, что въ заведеніи (Institution nationale des sourds-muets въ Парижѣ) существуетъ традиція знаковъ, которые являются изобрѣтеніемъ самихъ глухонѣмыхъ; они и теперь еще постоянно выдумываютъ для общенія другъ съ другомъ такіе жесты, которыхъ они не выучили отъ учителей“. Много свѣта на существующіе теперь языки жестовъ у сѣвероамериканскихъ индѣйцевъ пролилъ въ своемъ извѣстномъ изслѣдованіи полковникъ Маллери. Этой книгой (Introduction to the Study of sign-language among the northamerican Indians as illustrating the gesture speech of mankind. Washington. 1880)²⁾ я и воспользуюсь въ дальнѣйшемъ изложеніи. Кромѣ того, о языкѣ жестовъ въ Австраліи и Африкѣ приводитъ цѣлый рядъ извлеченій Леви-Брюль въ своей фундаментальной книгѣ. „Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures“. 1910. Прежде всего, Маллери считаетъ нужнымъ разсѣять заблужденіе, которое пустили въ ходъ неосмотрительные путешественники, будто имѣются донинѣ племена, которыя не могутъ разговаривать другъ съ другомъ въ темнотѣ, такъ какъ жесты необходимы имъ для взаимнаго пониманія. Тѣ же сказки разсказывались и о сѣвероамериканскихъ индѣйцахъ, и въ опроверженіе ихъ Маллери приводитъ свое наблюденіе, какъ часто эти индѣйцы, завернувшись ночью въ свои одѣяла до самаго носа, ведутъ долгія бесѣды, во время которыхъ лежатъ совершенно спокойно. „Но если народъ, говорящій на извѣстномъ нарѣчій, немногочисленъ, и ему приходится вступать въ постоянное общеніе съ другими народами, говорящими на иныхъ нарѣчійяхъ и діалектахъ, то для объясненія съ этими послѣдними жестикюляція необходима и входитъ въ привычку и у нихъ самихъ, тогда какъ значительныя массы людей, пользующіяся общимъ языкомъ, или изолированныя отъ иностранцевъ, или при сношеніяхъ съ ними настолько доминирующія, что именно они, иностранцы, должны научиться ихъ языку,—эти массы не прибѣгаютъ къ жестикюля-

¹⁾ I. M. Dejerando. De l'éducation des sourds muets de naissance. Paris. 1827, цит. у E. Leroy. La langue. 1905, стр. 33—34.

²⁾ „Введеніе въ изученіе языка знаками у сѣвероамериканскихъ индѣйцевъ, какъ иллюстрація къ языку жестовъ въ человѣчествѣ“. Вашингтонъ. 1880.

ціи“. Иногда языкъ жестовъ замѣняется при развивающихся международныхъ сношеніяхъ какимъ-нибудь другимъ языкомъ. „Калапуи Южнаго Орегона, говорить Маллери, пользовались до недавняго времени языкомъ жестовъ, но постепенно усвоили для внѣшнихъ сношеній искусственный языкъ (the composite tongue), называемый обычно нарѣчьемъ Цзвукъ или Чинукъ, который, вѣроятно, возникъ для торговыхъ цѣлей на рѣкѣ Колумбіи до прихода туда европейцевъ и былъ основанъ на языкахъ чинуковъ, чихали, нутка и др., а теперь обогатился англійскими и французскими словами; въ настоящее время калапуи забыли свои старые знаки“. Изъ британской Колумбіи языкъ жестовъ былъ распространенъ еще въ 1890 году. Въ извѣстныхъ случаяхъ языки жестовъ возникаютъ вслѣдствіе *запрещенія* говорить словами. Не упоминая здѣсь о тѣхъ католическихъ монашескихъ орденахъ, которые выработали цѣлую систему изобразительныхъ жестовъ, я приведу (ср. Levy-Bühl. 175 и дал.) слѣдующія данныя. „У варрамунга (въ Австраліи) вдовамъ запрещается говорить иногда въ теченіе двѣнадцати мѣсяцевъ, и за все это время онѣ общаются съ другими только съ помощью языка жестовъ. Онѣ до такой степени становятся искусны въ немъ, что предпочитаютъ его устному языку даже тогда, когда ихъ ничто къ этому не обязываетъ. Нерѣдко, когда въ лагерѣ происходитъ собраніе женщинъ, на немъ господствуетъ полное молчаніе, хотя женщины самымъ оживленнымъ образомъ бесѣдуютъ между собой съ помощью пальцевъ или же рукъ; многіе изъ жестовъ состоятъ въ расположеніи рукъ или постановкѣ локтей въ различныхъ положеніяхъ. Онѣ разговариваютъ такимъ образомъ очень быстро, и очень трудно подражать ихъ жестама“. Въ округѣ порта Линкольна (въ Викторіи) необходимость прибѣгать къ языку жестовъ вызывается требованіемъ соблюдать тишину во время охоты, и туземцы обладаютъ жестама для изображенія всякаго рода дичи. У абиноновъ на языкѣ жестовъ говорятъ между собой колдуны, желая быть непонятными простымъ смертнымъ. Такимъ образомъ, во всѣхъ этихъ случаяхъ оказываются особыя причины, заставляющія замѣнить простой устный языкъ жестикюляціей, хотя несомнѣнно, что жестъ является въ языкѣ первобытныхъ народовъ гораздо болѣе обычнымъ спутникомъ рѣчи, чѣмъ въ языкѣ культурныхъ (особенно, сѣверныхъ) народовъ. Однако, это жестъ рефлекторный, естественный, а не символическое изображеніе предмета или дѣйствія, которое не можетъ быть инстинктивнаго происхожденія.

Однако, наличность какого-нибудь общеамериканскаго языка знаковъ, о которомъ говорили различные путешественники, и о которомъ разсказываетъ Тэйлоръ въ своей „Первобытной культурѣ“, Маллери рѣшительно отрицаетъ. „Существуетъ огромное различіе между знаками, употребляемыми отдѣльными группами индѣйцевъ для выраженія той же самой идеи“. Несмотря, однако, на это, изслѣдователь полагаетъ, что въ осно-

ваніи языка жестовъ лежать естественные жесты, которые были разработаны впоследствии. Здѣсь элементъ условности бросается такъ же ярко въ глаза, какъ и въ нашемъ искусственномъ словарѣ. „Искусство какого-нибудь племени въ этомъ языкѣ жестовъ и обиліе знаковъ пропорціональны случайному дарованію (to the accidental ability) немногихъ индивидуумовъ, принадлежащихъ къ нему, которые играютъ роль охранителей и учителей, такъ что отдѣльные племена въ различное время оказываются на разныхъ ступеняхъ совершенства (въ искусствѣ пользоваться языкомъ жестовъ). Вслѣдствіе этого, какъ точный способъ употребленія того или другого знака, такъ и общая ихъ сумма представляютъ собою всегда перемѣнную величину. Всѣ эти знаки были когда-то придуманы кѣмъ-нибудь, хотя бы самостоятельно и независимо другъ отъ друга, и нѣкоторые изъ нихъ были забыты и потомъ снова изобрѣтены. Ихъ побѣда надъ иными и переживаніе опредѣлялись испытаніемъ ихъ полезности“. Эти замѣчанія полковника Маллери имѣютъ, разумѣется, значительный интересъ и для изслѣдователя языка: слова, какъ и жесты, являясь знакомъ выраженія чувствъ и мыслей, представляютъ точно также продуктъ изобрѣтенія, условные символы. И подобно тому, какъ извѣстная группа словъ можетъ восходить въ своихъ первоисточникахъ къ естественнымъ рефлекторнымъ звукамъ, такъ и въ языкѣ жестовъ американскій ученый видитъ разработку матеріала, представленнаго инстинктивнымъ выраженіемъ эмоцій въ жестахъ. По его словамъ, глухонѣмые могутъ на этомъ языкѣ жестовъ вести бесѣды съ представителями племени, у которыхъ онъ получилъ извѣстное развитіе.

Такъ, будто бы въ заведеніе для глухонѣмыхъ въ Вашингтонѣ были приведены семь дикарей изъ племени Ута, съ которыми глухонѣмые и пустились въ разговоръ жестами. Этотъ разговоръ сейчасъ же передавался языкомъ словъ какъ переводчикомъ индѣйцевъ, такъ и наставниками заведенія. Маллери даетъ подробное описаніе этой бесѣды, которое я приведу здѣсь: ¹⁾ „Одинъ изъ глухонѣмыхъ изобразилъ слѣдующій рассказъ. Когда онъ былъ ребенкомъ, онъ взобрался однажды верхомъ на лошадь безъ сѣдла и узды, и такъ какъ лошадь побѣжала, то онъ схватился за ея шею, чтобы не упасть; на лошадь бросилась собака, которая принялась лаять; всадникъ былъ сброшенъ на землю и довольно тяжело раненъ. Въ этомъ мимическомъ рассказѣ знакъ для *собаки* былъ выполненъ такъ: рука сгибается и вытягивается сзади впередъ, чтобы показать вытянутую морду животнаго; затѣмъ выдвигаютъ оба указательные пальца, загибая остальные пальцы и большой: ихъ кладутъ по обѣимъ сторонамъ нижней челюсти снизу вверхъ, чтобы изобразить нижніе рѣзцы;

¹⁾ G. Mallery. Sign language among North American Indians compared with that among other peoples and deaf mutes. 1881.

этотъ жестъ сопровождается мимикой, которая изображаетъ, что ротъ открывается для того, чтобы показать зубы; затѣмъ вытягивая пальцы лѣвой руки и въ то же время растопыривая ихъ, глухонѣмой быстро выкидываетъ ихъ впередъ и слегка вверхъ (*голосъ* или *разговаривать*). Этотъ знакъ былъ истолкованъ, какъ означеніе *медведя*, такъ какъ мимика, означающая *собаку*, имѣетъ у рта совершенно иной характеръ и исполняется просто указаніемъ на высоту собаки и выдвиганіемъ плоской руки, пальцами впередъ. Другой глухонѣмой рассказалъ жестами, что, когда онъ былъ ребенкомъ, онъ пошелъ однажды на поле, засаженное дынями, и постукалъ нѣсколько дынь, которыя онъ нашелъ еще совсемъ зелеными и незрѣлыми; наконецъ, найдя хорошую дыню, онъ взялъ ножъ, отрѣзалъ кусокъ и съѣлъ его. Въ это время показался человекъ верхомъ; онъ слѣзъ съ лошади, пошелъ пѣшкомъ на поле, увидѣлъ разрѣзанную дыню и, замѣтивъ ворюшку, бросилъ ему дыню. Эта послѣдняя ударила его по спинѣ и онъ съ плачемъ убѣжалъ, а человекъ съѣлъ на лошадь и поѣхалъ въ противоположномъ направленіи. Всѣ эти знаки были поняты легко, хотя въ толкованіи индѣйцевъ нѣкоторые получили слегка иное значеніе. Исторія мальчишки, который отправился къ яблонѣ, нарвалъ зрѣлыхъ яблокъ, набилъ себѣ ими карманы, а потомъ былъ захваченъ на мѣстѣ владѣльцемъ яблони и получилъ отъ него ударъ камнемъ по головѣ,—эта исторія была весьма одобрена индѣйцами и прекрасно понята ими. Одинъ глухонѣмой спросилъ индѣйца, сколько времени ему понадобится, чтобы пріѣхать изъ дому въ Вашингтонъ. Индѣецъ отвѣтилъ такъ: указательный и второй пальцы правой руки онъ разставилъ въ согнутомъ положеніи на указательномъ пальцѣ лѣвой (остальные пальцы были согнуты); затѣмъ онъ поднималъ пальцы лѣвой руки спиной вверхъ (3); потомъ онъ вытянулъ пальцы обѣихъ рукъ и сложилъ ихъ концами, при чемъ большіе пальцы были вытянуты и прижаты къ ладони; потомъ онъ помѣстилъ руки передъ тѣломъ, такъ что кулаками онѣ сходились на разстояніи приблизительно четырехъ пальцевъ; вращая руками и передавая этимъ вращеніемъ движеніе колесъ, онъ поднялъ вытянутый указательный палецъ лѣвой руки (одинъ); тогда онъ раскрылъ пальцы и вытянулъ ладони, при чемъ большіе пальцы соприкасались, а тыльныя части руки были нѣсколько отклонены направо и налево, чтобы изобразить крышу дома; затѣмъ онъ повторилъ жестъ, воспроизводящій вращеніе колесъ; потомъ лѣвая рука была вытянута передъ тѣломъ, пальцами къ правой, горизонтально, ладонью внизъ поставленной и слегка согнутой; правый кулакъ держался внизу, пальцы были подняты и быстро и часто выскакивали вверхъ (дымъ); три послѣдніе знака обозначали: покрыть—вагонъ—дымъ, т. е. желѣзнодорожный вагонъ. Затѣмъ индѣецъ поднялъ четыре пальца лѣвой руки (четыре). Переводъ: Онъ ѣхалъ три дня верхомъ, одинъ день въ экипажѣ и четыре по желѣзной дорогѣ. Глухонѣ-

мые поняли весь рассказ, за исключеніем знака для *колось*, который они дѣлаютъ одной рукой въ видѣ большого круга“.

Представляется маловѣроятнымъ, чтобы эти знаки были поняты глухонѣмыми (если только, дѣйствительно, дѣло происходило такъ просто, какъ рассказываетъ Маллери), если бы они не знали, о чемъ идетъ рѣчь. Такъ, изображеніе дыма въ видѣ нѣсколькихъ пальцевъ, которые своимъ быстрымъ движеніемъ вверхъ должны изображать дымъ, вырывающійся изъ трубы локомотива, понятно въ одинаковой степени и глухонѣмому, и намъ, говорящимъ людямъ, лишь потому, что мы знаемъ о путешествіи индѣйцевъ, которое должно было происходить и по желѣзной дорогѣ. Нѣтъ никакого основанія видѣть здѣсь языкъ жестовъ, *общій* по своему естественному происхожденію дикарямъ и глухонѣмымъ. У того же Маллери мы встрѣчаемъ ясныя указанія на отсутствіе какой-нибудь *постоянной* внутренней связи между символомъ—жестомъ и предметомъ. Такъ, для обозначенія *возжда* существуетъ *семь* различныхъ знаковъ, для обозначенія *дня* также *семь*, умершаго или смерти—7, Бога—6, и т. д. Слѣдовательно, всѣ эти знаки быть естественнымъ выраженіемъ представленія не могутъ, и пониманіе ихъ индѣйцами другого племени, тѣмъ болѣе культурными глухонѣмыми представляется совсѣмъ невѣроятнымъ. Такъ, въ пяти изъ 6 знаковъ, означающихъ вожда, играетъ главную роль средней палецъ (правой руки), но въ одномъ случаѣ эта роль принадлежитъ указательному. При этомъ съ среднимъ пальцемъ связано представленіе о превосходствѣ надъ другими, а съ указательнымъ совершенно иное: „Онъ, который составляетъ центръ для окружающихъ подчиненныхъ“. Который же изъ этихъ знаковъ есть то первоначальное, что оказывается „приврожденнымъ“ (innate) человѣку языкомъ жестовъ? *День* передается жестомъ: „указательный палецъ проводится вдоль небосвода отъ востока къ западу“ (тотъ же знакъ у глухонѣмыхъ—отмѣчаетъ Маллери), но также и совершенно иными жестами: „просто описывается кругъ средними пальцами обѣихъ рукъ“, или дѣлаютъ видъ, что оглядываются назадъ, и т. п. Различные жесты, которые изображаютъ кругъ дня и, пожалуй, больше подходятъ къ солнцу, или представляютъ человѣка, оглядывающагося на прожитый день, или передаютъ образы: „разсѣяніе тьмы“, „раскрытіе всего“ и т. п. Таковъ этотъ языкъ жестовъ, который передаетъ сужденія, возникающія лишь съ помощью рѣчи, и уже поэтому не можетъ предшествовать возникновенію человѣческой рѣчи. Но, какъ языкъ словъ, онъ состоитъ изъ символовъ, которые устанавливаются путемъ переживанія наиболѣе распространенныхъ или поддержанныхъ тѣмъ или другимъ авторитетомъ,—символовъ, созданныхъ подъ вліяніемъ различныхъ образовъ. И въ этомъ заключается интересъ языка жестовъ для языкознанія. Подобно Маллери, и другой наблюдатель языка жестовъ (въ Квинслендѣ), составившій словарь его, Ротъ, указываетъ на то, что пониманіе жеста

тѣсно связано съ „контекстомъ“. Идеограммы,—говоритъ Леви-Брюль, которыя служатъ для обозначенія существъ, предметовъ или дѣйствій называются почти исключительно *двигательными описаніями* (les descriptions motrices).

Языкъ жестовъ до сихъ поръ сохранилъ извѣстное значеніе у нѣкоторыхъ народовъ и нашего культурнаго міра. По мнѣнію стараго изслѣдователя этого вопроса, Андреа де Джорія, напечатавшаго въ 1832 г. книгу о мимикѣ древнихъ на основаніи неополитанскаго языка жестовъ¹⁾ этотъ послѣдній унаслѣдовалъ свое богатство отъ глубокой древности, такъ какъ состоитъ изъ жестовъ, которые запечатлѣны классической скульптурой или упоминаются древними писателями. По мнѣнію Вундта, „языкъ жестовъ (Die Zeichensprache), употребляемый нынѣ южными народами Европы, является пережиткомъ болѣе живой жестикуляціи при разговорѣ, чѣмъ теперь, въ античномъ мірѣ“. Но въ этой особенности знаменитый психологъ видитъ не болѣе низкій уровень культуры, а лишь выраженіе болѣе живого темперамента. Повидимому, однако, эта точка зрѣнія Вундта несправедлива. Несомнѣнно, что жестикуляція въ нашемъ современномъ быту отражаетъ живость темперамента и степень возбужденія при разговорѣ. Но хотя бы сѣверо-американскихъ индѣйцевъ, употребляющихъ этотъ языкъ жестовъ *par excellence*, никто не описывалъ очень оживленными и возбужденными людьми. Напротивъ, это довольно лѣнныя и флегматическіе люди, и самое развитіе этого способа взаимопониманія, какъ мы видѣли выше, объясняется у нихъ и у другихъ народовъ требованіями культурнаго обмѣна. Возникновеніе его должно восходить къ тому времени, когда жестъ составлялъ инстинктивнаго спутника устной рѣчи. Но и тамъ, гдѣ возникаетъ искусственная жестикуляція, какъ *языкъ* (напр., у монаховъ, соблюдающій обѣтъ молчанія, см. Wundt. 151—154), она все-таки должна основываться на чемъ-то *безусловномъ*, понимаемомъ людьми той же среды сразу, а отчасти понятномъ и для всѣхъ людей. Это относится къ обѣмъ основнымъ категоріямъ языка жестовъ, которыя устанавливаетъ Вундтъ, къ жестамъ указывающимъ и подражающимъ; первые по самому существу своему представляются болѣе устойчивыми и общепонятными, чѣмъ вторые, для пониманія которыхъ надо имѣть представленіе, зрительный образъ предмета. Изъ сочетанія знаковъ различныхъ категорій образуется языкъ символическихъ жестовъ, которые означаютъ первоначально конкретные образы, но потомъ могутъ получить и абстрактное значеніе. Такъ, извѣстный неополитанскій жестъ, означающій собственно голову быка, теперь представляетъ знакъ ужаса, и человѣкъ, понимающій значеніе извѣстнымъ образомъ сложенныхъ пальцевъ, связываетъ съ ними не конкретное представленіе, но отвлеченный смыслъ.

¹⁾ *Andrea de Ioria. La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano. Napoli. 1832; цит. Вундтъ. Die Sprache. 2 Aufl. 1904, стр. 147.*

И въ нашемъ быту палець, приложенный къ губамъ, указываетъ на необходимость молчать, „грозящій“ палець, „зовущій“ палець, пожиманіе плечами, киваніе головой и т. п. имѣютъ свое самостоятельное, отвлеченное значеніе. Если и для ихъ пониманія необходима условность (такъ, отрицательный поворотъ головы можетъ быть понятъ у народовъ иной культуры, какъ знакъ согласія), то во всякомъ случаѣ это пониманіе гораздо болѣе широко и общедоступно, чѣмъ пониманіе словъ. Вѣроятно, оно предшествуетъ на нашемъ континентѣ развитію отдѣльныхъ языковъ и является древнѣйшимъ общимъ наслѣдіемъ отъ народовъ, населявшихъ Европу. Не касаясь дальнѣйшаго психологическаго значенія языка жестовъ и его отношенія къ возникновенію изобразительныхъ искусствъ, чему Вундтъ посвятилъ такъ много блестящихъ страницъ въ своемъ трудѣ о языкѣ, я ограничусь здѣсь указаніемъ на то, что жестъ, какъ изобразительное средство, подвергся совершенно той же эволюціи, что и слово. Восходя въ своей первоосновѣ къ инстинктивному разряженію энергій, жестъ ассоціировался самымъ производящимъ его лицомъ съ извѣстными переживаниями, сдѣлался, какъ у глухонѣмыхъ, символомъ, *словомъ* для аффектовъ; точно также онъ былъ понятъ и окружающими, такъ что жестъ сталъ средствомъ выраженія чувствъ. Отсюда мало по малу развилась и другая сторона жестикуляціи, показательная: человекъ показывалъ на себя, какъ на субъекта желаній и чувствованій, на другого, какъ на объектъ ихъ, на предметы, какъ на источникъ возбужденія. Когда такое употребленіе жестовъ получило всеобщее распространеніе, стала возможной и болѣе сложная комбинація ихъ для изображенія, а не только указанія предмета. Какъ совершалось такое изображеніе, это уже другой вопросъ. Жестъ сдѣлался словомъ для обозначенія конкретныхъ предметовъ, а потомъ могъ получить метафорическое значеніе („наставить рога“ невѣрность, Wundt 203 и т. под.) и превратиться въ знакъ отвлеченнаго понятія, справедливости, любви, Бога и т. д. Разумѣется, при этомъ условность жеста дѣлала его пониманіе доступнымъ только опредѣленному кругу людей. Во всякомъ случаѣ, эволюція жеста, какъ изобразительнаго средства, представляетъ полную аналогію эволюціи другихъ знаковъ, съ помощью которыхъ человекъ сообщаетъ содержаніе своего сознанія окружающей средѣ. Подобно этому, красный флагъ можетъ означать или опасность на желѣзнодорожномъ пути, или то, что полеты авіатора отменяются, или во время революціоннаго движенія народа опредѣленное отношеніе къ власти и т. под. Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ языкъ знаковъ понимается на основаніи усвоенныхъ ассоціацій, но напр., тотъ фактъ, что *красный* цвѣтъ связанъ съ отгѣнкомъ отрицанія, не симпатіи, а *синій* или *зеленый* съ настроеніемъ спокойствія, удовлетворенія и т. п. указываютъ и на нѣчто *безусловное*, что лежитъ въ основаніи этихъ символовъ. Итакъ, въ различныхъ способахъ выраженія мы находимъ тѣ же формы развитія

отъ инстинктивнаго къ сознательному и тѣ же дальнѣйшіе этапы: метафору, обобщеніе, чисто условное значеніе.

При изслѣдованіи вопроса о происхожденіи языка словъ приходится констатировать, что слово, какъ главный способъ выраженія, встрѣтилось въ исторіи человечества съ сильной конкуренціей другихъ знаковъ, и что, какъ наиболѣе совершенное орудіе чувства и мысли, оно вошло въ употребленіе позже другихъ знаковъ выраженія. Человеку, какъ говорящему существу, долженъ былъ предшествовать человекъ, какъ существо жестикулирующее, пользующееся мимикой или простѣйшими знаками для передачи своихъ несложныхъ чувствъ и требованій. Въ связи съ этимъ получаетъ извѣстное освѣщеніе и самый вопросъ о началѣ рѣчи словами. То естественное разряженіе энергій въ звукахъ, которое сопровождается жестикуляціою и мимикой, превратилось въ сознательное выраженіе чувства лишь по мѣрѣ того, какъ жестъ тѣсно связывался съ опредѣленными состояніями сознанія. И разобщеніе жеста и звука въ различныхъ категоріи выраженія произошло у нормальнаго человека такъ же постепенно, какъ у Лауры Бриджменъ при возникновеніи ея „именъ“. Звукъ превратился въ слово, а жестъ отступилъ на заднее мѣсто.

Почти ту же участь испытала и мимика человека, хотя слову оказалось болѣе трудно вытѣснить ее изъ ряда изобразительныхъ средствъ, такъ какъ ея корни еще глубже лежатъ въ области безсознательнаго. Мимика, какъ интонація, произвольна и не подчиняется нашей волѣ. Можно принять веселое или печальное выраженіе лица, но для этого надо, чтобы настроеніе соответствовало мимикѣ. Артистъ, играющій на сценѣ, воплощаетъ себя въ изображаемомъ имъ героѣ; холодная, чисто разсудочная игра не вызываетъ на лицѣ его „игры“ и не передается въ видѣ интонаціи восприимчивости зрителей, которые чувствуютъ „фальшь“ игры, т. е. несоответствіе произносимыхъ словъ и совершаемыхъ жестовъ „игрѣ лица“ и интонаціи. Неудовольствіе сопровождается сжатіемъ бровей, и нужно особое умѣніе владѣть собой, чтобы не выдать его этой мимикой. Съ другой же стороны, какъ отмѣчаетъ Вундтъ (Sprache. ² 120), „стоятъ только попробовать соединить съ выраженіемъ ярости веселыя и радостныя представленія, чтобы замѣтить, что это совсѣмъ не удается, и что выраженіе уступаетъ, какъ механическому принужденію, совершенно не подходящему къ нему настроенію“. Связь мимики съ настроеніемъ оказывается такимъ образомъ инстинктивнаго происхожденія, а мимика сопровождается извѣстными категоріями восклицаній и звуковъ. При широко раскрытомъ ртѣ, выражающемъ радость и веселіе, такимъ естественнымъ звукомъ окажется *a, ха-ха-ха*; иная мимика окажется связанной съ другимъ звукомъ. Можно въ состояніи изумленія, ужаса, восторга остаться неподвижнымъ, не выразивъ ни однимъ жестомъ своихъ чувствъ, но лицо выскажетъ эти чувства своей мимикой, а сопровождающій ее возгласъ

будетъ имѣть такое же инстинктивное происхожденіе, какъ мимика. Уже въ силу этой постоянной и неразрѣшимой связи мимика не можетъ имѣть условнаго характера, почти не можетъ быть сознательнымъ средствомъ общенія между людьми. Подмигиваніе, презрительное сморщиваніе носа, подниманіе бровей въ знакъ удивленія и т. под.: такими немногими „символами“ ограничивается роль мимики, какъ орудія взаимопониманія людей.

„Каждое настоящее или наслѣдственное выразительное движеніе, повидимому, имѣло нѣкоторое естественное или независимое начало. Но, разъ оно было приобрѣтено, такія движенія могутъ быть произвольно и сознательно примѣнены, какъ средства взаимнаго сообщенія. Даже младенцы, если они подвергаются тщательному уходу, въ очень раннемъ возрастѣ узнаютъ, что ихъ крики приносятъ облегченіе, и вскорѣ кричать произвольно. Часто можно видѣть, что кто-либо произвольно приподнимаетъ брови для выраженія изумленія и улыбается, чтобы выразить притворное удовольствіе или успокоеніе. Наклонность къ такимъ движеніямъ усилится или увеличится произвольнымъ и частымъ повтореніемъ; а результаты этого могутъ стать наслѣдственными“¹⁾. Но если даже допустить это, все-таки придется думать, что число такихъ изобразительныхъ мимическихъ движеній должно быть ограничено, тогда какъ произвольныхъ почти безконечное множество.

Лицевые мускулы играютъ главную роль въ мимической передачѣ аффектовъ. Это объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что мимическія движенія находятся въ тѣсной связи съ органами четырехъ чувствъ, соединенныхъ на лицѣ. Изъ этихъ органовъ нѣкоторые отличаются чрезвычайной подвижностью (глаза, ротъ, отчасти носъ) и, благодаря развитію обслуживающей ихъ дѣятельности мускулатуры, могутъ создавать значительное число разнообразныхъ выраженій. Въ основаніи этого разнообразія лежитъ однако не „простое накопленіе случайностей“, но, по мнѣнію Вундта, нѣчто цѣлесообразное. „Изъ инстинктивныхъ движеній, которыя первоначально были распределены довольно неопредѣленно и вызывались раздраженіями чувствъ, установились и усовершенствовались тѣ, которыя въ одномъ случаѣ, при впечатлѣніяхъ, доставляющихъ удовольствіе, были благоприятны воспріятію раздраженія, а въ другомъ случаѣ, при впечатлѣніяхъ противоположнаго свойства, содѣйствовали наиболѣе успѣшно ихъ устраненію. Такимъ образомъ возникшія соединенія затѣмъ укрѣпились, при чемъ инстинктивныя движенія переходили все болѣе и болѣе въ механически дѣйствующіе рефлексы“ (Wundt. 106). Мимика передаетъ первоначально лишь вкусовыя ощущенія. Ощущеніе сладости вызываетъ такое движеніе языка и губъ, которое содѣйствуетъ возможно большому сбли-

¹⁾ Ч. Дарвинъ. Выраженіе душевныхъ волненій (русск. переводъ М. Филиппова. 1896). стр. 214.

женію раздражимыхъ мѣсть органовъ вкуса съ раздражающимъ ихъ предметомъ: губы вытягиваются впередъ, языкъ придвигается къ губамъ. Напротивъ, раздраженіе, вызванное горечью, вызываетъ стремленіе поменьше чувствовать ее; оно сопровождается поднятіемъ носонебной занавѣски, сморщиваніемъ носа и т. под. Если же эти вкусовыя мимическія выраженія лица вышли изъ области только вкусовыхъ ощущеній и распространились и на другія пріятныя и непріятныя чувства, то произошло это потому, что чувственная окраска въ обоихъ этихъ случаяхъ была одна и та же, т. е. что вкусовая мимика потеряла свой специальный характеръ и стала служить реакціей на вообще пріятныя или непріятныя возбужденія. Другими словами, и здѣсь произошла *метафора*, какъ во всѣхъ изобразительныхъ символахъ. „Сладкая“ задумчивость, „горькое“ разочарованіе, „кислое“ настроеніе, „безвкусная“ одежда и т. п. оказываются метафорическими выраженіями, основанными на первоначальной вкусовой мимикѣ. Рѣзкій контрастъ между весельемъ и печалью передается точно также мимикой, въ основаніи которой лежитъ указанная Вундтомъ двойственность пріятныхъ и непріятныхъ вкусовыхъ ощущеній. „При смѣхѣ ротъ раскрывается болѣе или менѣе широко, при чемъ углы его оттягиваются сильно назадъ, а также немного впередъ, и верхняя губа нѣсколько приподнимается. Оттягиваніе назадъ угловъ рта всего лучше замѣчается при умѣренномъ смѣхѣ и особенно при широкой улыбкѣ; этотъ послѣдній эпитетъ показываетъ, какъ расширяется ротъ... Такъ какъ при смѣхѣ и широкой улыбкѣ щеки и верхняя губа сильно поднимаются, то носъ кажется укороченнымъ, а кожа на переносицѣ покрывается тонкими поперечными морщинами, по бокамъ же являются другія косыя продольныя линіи. Верхніе передніе зубы, вообще говоря, оскалываются. Образуется рѣзкая носово-губная складка, идущая отъ крыла каждой ноздри къ углу рта. Блестящіе и искрящіеся глаза такъ же характеристичны для довольнаго или веселаго состоянія духа, какъ и сжатіе угловъ рта и верхней губы. Даже глаза идиотовъ микроцефаловъ, существъ, стоящихъ настолько низко, что они никогда не научаются говорить, слегка блестятъ, когда эти идиоты довольны“. (Дарвинъ. 119—121). Уже изъ этого описанія Дарвина видно, что мимика смѣха старается использовать всю сумму пріятныхъ ощущеній, доставляемыхъ раздраженіемъ; все лицо реагируетъ на него: глаза широко раскрыты, чтобы увидѣть все хорошее, ноздри раздуты для воспріятія максимума пріятныхъ ощущеній, широко открытъ ротъ, изъ котораго вырываются отрывистые звуки, представляющіе лишь громкое выдыханіе. Смѣхъ обнаруживаетъ, что человѣку нечего опасаться, что онъ чувствуетъ себя въ полной безопасности, можетъ шумѣть, нюхать, смотрѣть („блескъ глазъ, говоритъ Дарвинъ, повидимому, зависитъ главнымъ образомъ отъ ихъ напряженнаго состоянія, происходящаго отъ сокращенія круговыхъ мускуловъ и отъ давленія приподнятыхъ щекъ“).

Звуки, издаваемые человеком в этом приятном состоянии, заключаются в однообразном повторении одних и тех же криков, происходящих от продолжительного вдыхания и короткого прерывистого выдыхания. Такая продолжительность вдыхания должна, по видимому, стоять в связи с общим стремлением организма насладиться, как можно больше, приятным раздражением. Все это характерно при выражении радости и у различных пород обезьян, также и у собак.

Со всем другую картину представляет плач и угнетенное душевное состояние, которое в мимике выражается стремлением соприкоснуться, как можно меньше, с предметом, вызывающим раздражение. Рот становится узким, глаза почти закрываются, брови принимают косвенное положение, что Дарвин признает „сложным движением, имѣющим единственной цѣлью выражение печали“. Онъ объясняет это сокращение мускулов стремлением „защищать наши глаза во время крика“, признавая таким образом этот послѣдній первичным инстинктивным отвѣтомъ на неприятное раздражение. Эта связь мимического выражения с крикомъ очень знаменательна. Такъ как мимика понимается в своих основных формах инстинктивно, то благодаря ей устанавливается ассоциация между чувством и крикомъ, при чемъ мимическое выражение служитъ соединительным звеномъ. Стоитъ этому звену выпасть изъ цѣпи ассоциаций, чтобы такая связь образовалась непосредственно между звукомъ и чувствомъ. На этомъ основанъ, конечно, и такъ наз. „идеомимическій языкъ“, т. е. выражение идей с помощью избранной системы мимическихъ выражений, настолько же условное, какъ и языкъ жестовъ. Въ поискахъ основного принципа мимики одинъ изъ изслѣдователей, нѣмецкій художникъ Рудольфъ¹⁾, исходилъ изъ шести первичныхъ выражений: страха, сконцентрированной энергии, отвращения, желанія схватить зубами, радости и озлобления. Но, по его мнѣнію, и эти первичныя выражения восходятъ къ болѣе элементарнымъ принципамъ, которые Рудольфъ видитъ въ двухъ основныхъ положеніяхъ тѣла. Именно, тѣло вытягивается впередъ, какъ бы желая сосредоточить всѣ свои силы для схватки, или же какъ бы готовится къ полету. Эти принципы мимики, оказывается такимъ образомъ, скрыты въ глубокой древности, предшествовавшей возникновенію человѣческаго рода и доставшейся ему въ силу наследственности отъ далекихъ предковъ. Доказательства Рудольфа мало убѣдительны, хотя частности его замѣчаній не лишены интереса. Но, во всякомъ случаѣ, эта несомнѣнная сводимость сложныхъ мимическихъ выражений къ комбинаціи простыхъ указываетъ на то, какъ долго выработывалось у человѣка современное богатство его мимики, какими сложными

¹⁾ Н. Rudolph. Der Ausdruck der Gemütsbewegungen des Menschen. 1903 (съ большимъ атласомъ, содержащимъ 680 изображеній одного и того же лица съ различными выраженіями).

явились уже чувства того существа, которое, еще не умѣя говорить, уже выражало ихъ на своемъ лицѣ. Если жестикуляція имѣетъ различное символическое значеніе у разныхъ народовъ, то мимика оказывается одинаковой подъ всеми широтами, и чувство страха создаетъ на лицѣ негра такую же гримасу ужаса, какъ на лицѣ самоѣда. Такимъ образомъ, мимика могла подготовить во всемъ человечествѣ зародыши рѣчи, придавъ инстинктивному крику, благодаря его постоянной связи съ выражениемъ лица, постоянное значеніе. Но, сама по себѣ, мимика осталась слишкомъ тѣсно соединена съ эмоціями, чтобы превратиться въ языкъ даже въ той мѣрѣ, какая оказалась доступной жесту. Можно мыслить осязательными и мускульными образами жеста, пальцевой азбуки и т. п., но какъ мыслить представленіями о выражении благоговѣнія, радости, печали, легкаго пренебреженія и т. д.? Безъ соответствующихъ чувствъ эти выраженія не представляются сознанию иначе, какъ извѣстные зрительные образы, не обладающіе идеомоторной силой. Такимъ образомъ, немислима мимика справедливости, божества или дерева, поѣзда, собаки, тогда какъ условными жестами возможно передать всѣ эти понятія. Однако, и для развитія условнаго языка жестовъ необходимо обладаніе той или иной формой внутренней рѣчи—словами. Только слово можетъ быть лишено конкретности и служить монетой для обмѣна умственными цѣнностями.

Г Л А В А VIII.

Роль языка въ состояніяхъ экстаза и въ сновидѣніяхъ.

При всемъ различіи между состояніями экстаза и сновидѣніями, ихъ объединяетъ, съ точки зрѣнія творчества рѣчи, одна общая черта. Это—выдающаяся роль, какую играетъ въ этихъ состояніяхъ нашего сознанія языкъ. Прекращается рѣчь, и начинается хаосъ образовъ, или образуется такое *единство*, при которомъ опять-таки невозможна никакая мысль. Мышленіе словами, или внутренняя рѣчь, здѣсь обнаруживаетъ всю свою важность для познанія внѣшняго міра и нашихъ собственныхъ душевныхъ переживаній. Цѣль мистика заключается въ полномъ сляніи его съ божествомъ, въ отрѣшеніи отъ всякаго мірскаго познанія и отъ суеты проходящихъ явленій и въ сосредоточеніи сознанія только на одномъ стремленіи почувствовать присутствіе божества. Это—„праведное созерцаніе“, по терминологіи буддійскихъ проповѣдниковъ аскетизма, которые такъ тщательно разработали ученіе о „разрушеніи страданія“ путемъ полной побѣды надъ страстями, исцѣленія, освобожденія, безстрастности¹⁾. Этотъ путь избавленія Будда опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ: „Вотъ путь

¹⁾ „Буддійскія сутты“, русскій переводъ и предисловіе И. П. Герасимова. Москва. 1900. Восточная Библиотека, т. II, стр. 87—88.

избавления, о Ананда, и въ немъ восемь ступеней. Кто постигъ, что есть видъ, тотъ ясно сознаетъ видъ: это первая ступень избавления. Въ внутренней мысли о формѣ, онъ зрѣтъ формы внѣшнимъ образомъ: это вторая ступень избавления. Мысль: вотъ въ чемъ благое, онъ становится бдительнымъ,—это третья ступень избавления. Отбрасывая совершенно всякую мысль о видѣ, уничтожая всякій образъ наличнаго, оставляя всякое различіе, онъ мыслью; „все есть единое и безконечное“ утверждаетъ въ томъ состояніи, въ которомъ пребываетъ въ духѣ одно только сознание безконечности: это четвертая ступень избавления. Отвлекаясь совершенно отъ мысли о безконечности, онъ мыслью: „все есть единое безмѣрное помышление“ утверждаетъ въ томъ состояніи, когда въ духѣ предстоитъ единое безмѣрное помышление: это пятая ступень избавления“. Такъ постепенно сознание утрачиваетъ подвижность и многообразіе воспріятій, расплываясь въ единствѣ „помышления“. Но высшихъ формъ созерцаніе достигаетъ только на послѣднихъ ступеняхъ избавления. Въ седьмой ступени, „сходясь съ сознанія безконечной духовности, онъ мыслью: *нѣтъ ничего существующаго* утверждаетъ въ томъ состояніи, когда *духъ не движется въ помыслахъ, но и не замеръ въ безмыслии*“. На послѣдней ступени избавления сознание достигаетъ уже полнаго единства. „Совершенно оставляя состояніе, которое не есть ни мышление, ни отсутствие мысли, онъ переходитъ въ то состояніе, въ которомъ духъ не тревожатъ ни ощущенія, ни помыслы“ (Сутты. 115—116). Это погруженіе въ бессознательность иллюстрируется такимъ примѣромъ. „Какъ непостижимо и чудесно, вспоминаетъ одна изъ суттъ объ отшельникѣ: что покинувшіе мірское могутъ пребывать въ состояніи столь глубокаго душевнаго спокойствія, что даже, бодрствуя и созная, человѣкъ не видитъ и не слышитъ, что пятьсотъ повозокъ проѣхало мимо, одна за другой, и каждая почти задѣвая его!“

Весьма характерно, что почти тѣ же самыя градации устанавливаетъ и христіанскій мистицизмъ. Иезуитъ Пуленъ перечисляетъ также *восемь*, какъ буддійская сутра, ступеней восхожденія къ единенію съ божествомъ. Онъ различаетъ два рода *проповѣди* (Oraison): обыкновенную, раздѣляющуюся на слѣдующія четыре ступени: проповѣдь устную (oraison vocale), проповѣдь чувства (oraison affective), размышленіе (méditation) и проповѣдь простоты (oraison de simplicité), и мистическую. Мистическая проповѣдь раздѣляется, въ свою очередь, на слѣдующія четыре ступени: простой союзъ или спокойствіе (union simple ou quiétude), полный союзъ или полукстазь (union pleine ou demiextatique), экстазь (extase) и наконецъ преображеніе, или обожествленіе, или духовный брачный союзъ (transformation, ou déification, ou mariage spirituel)¹⁾. Изъдѣсь,

¹⁾ P. Poulain. Des grâces d'Oraison, цитир. у A. Leclère. La psychologie des états mystiques. L'Année psychologique. 1911, стр. 132 и слѣд. гдѣ данъ анализъ состояній, перечисленныхъ Пуленомъ.

такимъ образомъ, какъ въ буддійскомъ мистицизмѣ, седьмая и восьмая ступени даютъ наиболѣе желанныя для вѣрующаго состоянія, которыя начинаются экстазомъ, а заканчиваются „преображеніемъ“, духовнымъ сочетаніемъ или сляніемъ съ божествомъ. Очевидно, это совпаденіе двухъ картинъ экстатического подъема, созданныхъ на разстояніи тысячелѣтій и десятка тысячъ верстъ одна отъ другой, основано на многочисленныхъ личныхъ опытахъ экстатиковъ и имѣетъ значеніе важнаго психологическаго документа. Такіе экстатики, какъ полагаетъ Леклеръ въ названной своей статьѣ, могутъ вести съ извѣстнаго момента какъ будто двѣ жизни сразу: одна изъ нихъ цѣликомъ превращается въ союзъ съ Богомъ, другая похожа на обыкновенную матеріальную жизнь этого міра. И именно эта двойственность существованія въ состояніяхъ высшаго мистическаго настроенія представляется Леклеру доказательствомъ интеллектуальнаго происхожденія такихъ состояній. Иначе говоря, постепенное намѣренное вычеркиваніе изъ своего сознанія всего того, что принадлежитъ къ жизни нормальной, мірской, составляетъ путь къ достиженію того сосредоточенія сознанія на одной идеѣ, которое понимается, какъ сляніе съ божествомъ. На низшихъ ступеняхъ сосредоточенія возможно разсѣянiе вниманія, воля еще можетъ „бороться съ Богомъ“, простое дребезжаніе желѣзнодорожнаго вагона окажется достаточнымъ для того, чтобы сверхъестественное не захватило души. Автоматизмъ душевной жизни начинается только со второй категоріи состояній, указанныхъ французскимъ иезуитомъ, и требуетъ со стороны человѣка отказа отъ своей воли. Но такой отказъ готовится лишь переживаніями первой категоріи. Вообще же, всѣ восемь ступеней Пуленъ представляютъ строгую послѣдовательность различныхъ состояній, которыя „являются группами симптомовъ, послѣдовательно возможныхъ“ (Leclère. 135). Разумѣется, развитію экстаза содѣйствуютъ различныя формы галлюцинацій, за которыя съ такой радостью хватаются мистики: это галлюцинаціи внутренняго осязанія (чувство „присутствія“), зрительныя, слуховыя и т. д.

Таковы ступени мистическаго познанія. Каковы же методы его? На этотъ вопросъ мы встрѣчаемъ въ мистической литературѣ различныя отвѣты, которые представляютъ живой интересъ и для изслѣдователя творчества рѣчи. Одинъ изъ мистическихъ писателей, Ресежакъ¹⁾, посвящаетъ въ своемъ „опытѣ изученія основаній мистическаго познанія“ специальную главу „мистическому синтезу“. Авторъ сразу даетъ намъ понять, что этотъ синтезъ совершается иначе, чѣмъ въ обычныхъ процессахъ познанія. „Не существуетъ болѣе безсодержательнаго понятія, нежели абсолютное, если взять его въ пониманіи (dans la conscience) чистаго ученаго или чистаго логика. Въ мистическомъ же сознаніи идея Бога оказывается

¹⁾ E. Récéjac. Essai sur les fondements de la connaissance mystique. Paris. 1897. Bibliotheque de Philosophie contemporaine.

не только самой богатой, но и обнаруживает способность создавать явления сознания, которые заслуживают особенного внимания. Мистический опыт стремится представить сознанию нечто иное, чем данные (concepts), допускающая объективную проверку. Умственный синтез, за который держатся (s'attachent) мистики, состоит не из понятий (concepts), но из *символов*... Эмпирическое сознание имеет свой объект. Мы увидим, что имеет объект и для мистического сознания, и что Паскаль верно определил его: *Le Coeur sent* (чувствует сердце)¹. Впрочем, Ресежак определяет этот объект весьма туманно, как бы не находя для него слов. „Объективность, несомненно, требует в своем определении (par définition), чтобы нечто оставалось в распоряжении интуитивных способностей, чувства, разума и т. д. Этот характер присущ и интуициям мистицизма, но только не в символических настроениях, которые возникают после мистического возбуждения сердца, слѣдует искать некоторой объективности. Существует нравственная материя, постоянная и общая всем людям, хотя не все знают это в равной мѣрѣ: она то и лежит в основании символов. Мы должны пройти все сознание, состоящее из представлений (traverser toute la conscience representative), и дойти по аналогии до того основания свободы и чистой дѣятельности, гдѣ открывает себя абсолютное“. Если перевести эти туманные слова на обыкновенный язык, то окажется, что способом познания абсолютного является, собственно, отречение от обычного узнавания: надо *только* чувствовать, сосредоточенно чувствовать, и тогда получится состояние „свободы“ от воспріятій внѣшняго міра, и чувство абсолютного. Это абсолютное Ресежак понимает, как высшее нравственное начало, „подчинение Всего Добру“, „синтез“ детерминизма и свободы, подчиненный верховному впечатлѣнію тождества, которое управляет одновременно и мной, и не мной“¹). О каких же символах идет рѣчь? Оказывается, что мистические символы имеют свое специальное значение и происхождение. „Когда Разумъ в одиночествѣ берется за синтез, его постигает неудача, и онъ откидывает одно за другимъ все представления, которые должны были бы сдѣлать для насъ Бога объективно присутствующимъ; и наоборот, если желаніе предоставляет себѣ полную свободу, отдавая себя подъ защиту Добраго Воли, сердце проходит в состояние экзальтаціи, сознание эмпирическое и сознание нравственное свободно соединяются в актъ, единственная цѣль котораго сдѣлать Добро субъективно присутствующимъ или „ощутимымъ для Сердца“. Такимъ образомъ возникаютъ символы. „Итакъ, передъ нами какая-то особая форма познания, не нуждающаяся в мысленіи словами, но раскрывающаяся съ помощью спеціального „мистическаго

¹) Намѣренно, сохраняю в переводѣ туманность выражений автора, столь характерную для мистики.

метода (la methode mystique). Этому послѣднему Ресежак посвящает отдельную главу, предупреждая, что мистицизмъ не слѣдуетъ смѣшивать съ агностицизмомъ. „Мистическое познание создаетъ само для себя предметы, которые принадлежать не міру, но моему я, и то состояніе, въ которое оно входитъ, отождествляя себя со своими созданіями, является, скорѣе, противоположнымъ познанию, поскольку это послѣднее призываетъ внѣшнее въ насъ, тогда какъ мистицизмъ только глубоко залегаетъ въ субъектѣ, благодаря любопытнымъ услиямъ символизма“¹). Правда, для обыкновеннаго пониманія такіа опредѣленія не особенно вразумительны, но изъ приведеннаго все-таки можно заключить, что въ мистицизмѣ, который проситъ не смѣшивать съ агностицизмомъ, элемента различія, сужденія, познания, собственно, нѣтъ. Яснѣе представляютъ этотъ фактъ свидѣтельства самихъ мистиковъ о переживаемыхъ ими состояніяхъ. Такъ одна изъ пѣсень обрядовой книги брахманизма, Атхарва-Веды, требуетъ отъ человека познания всего. „Это все есть духъ. Кто въ лонѣ сердца вмѣщаетъ знаніе *этого всего*, тотъ сбрасываетъ съ себя здѣсь, на землѣ, оковы невѣдѣнія“. Описанная Кернеромъ „Ясновидящая изъ Префорста“ (die Seherin von Prevorst) говоритъ о своемъ экстагическомъ состояніи въ выраженіяхъ, указывающихъ на совершенное сосредоточеніе духа на одномъ чувствѣ при полномъ прекращеніи связи съ внѣшнимъ міромъ. „Въ такомъ состояніи я не грежу“, говорила она. „Нѣтъ, нельзя считать за сонъ такое состояніе; оно можетъ быть названо сномъ только по отношенію къ внѣшнему міру, относительно же міра внутренняго это—полное бодрствованіе“²). То же самое рѣшительно повторяетъ другая сомнамбула, а одна изъ религиозныхъ индусскихъ пѣсень замѣчаетъ: „Кто соединяется съ Брамой, у того взоръ направленъ къ межбровію“, т. е. прекращается всякое внѣшнее вниманіе. Тома Аквинскій требуетъ, чтобы умъ человека отвлекся отъ *образовъ*, если онъ хочетъ видѣть существо Божіе (intellectus hominis necesse est quod a phantasmatis abstrahatur, si videat Dei essentiam)³). Jean De-la-Croix отрицаетъ всякую связь между истиннымъ экстагическимъ познаниемъ и „такимъ состояніемъ ума, которое позволяетъ на-

¹) Привожу это темное мѣсто въ оригиналѣ. „La conscience mystique se crée à elle-même des objets qui ne tiennent pas au monde, mais au moi, et l'état où elle entre en s'identifiant à ces fictions serait plutôt l'opposé de la Connaissance, en tant que celle-ci appelle le dehors en nous, tandis que le Mysticisme ne fait qu'enfoncer dans le sujet par de curieux effort de symbolisme“. Этому опредѣленію Ресежакъ (стр. 51) придаетъ особенное значеніе.

²) Карлъ Ю-Прель. Философія мистики. С.-Петербургъ (русскіе переводъ). 1895, стр. 156.

³) Этотъ примѣръ и нѣкоторые другіе заимствованы изъ интересной статьи *De Montmorand. Les états mystiques. Revue Philosophique. 1905. № 7.*

ходить термины или сравненія для выраженія чувственныхъ формъ“. Слѣдовательно, для „высшаго познанія“ никакихъ этихъ терминовъ не нужно, или, выражаясь иначе, все то человѣческое познаніе, которое выражается въ словахъ и сужденіяхъ, имѣетъ своимъ объектомъ внѣшній и внутренній міръ и обогащаетъ человѣческій интеллектъ, оказывается для мистика чѣмъ-то постороннимъ. И именно это рѣзкое разграниченіе между обычнымъ и „вышнимъ“ познаніемъ свидѣтельствуетъ о томъ, что безъ рѣчи не можетъ существовать то, что мы называемъ на обыкновенномъ языкѣ познаніемъ. „Есть три вида молчанія, заявляетъ одинъ изъ величайшихъ мистиковъ, Hugues de Saint-Victor (De contemplatione et ejus speciebus): молчаніе рта, молчаніе мысли, молчаніе разума. Уста безмолвны, когда душа, вся цѣликомъ, уходитъ въ свои внутреннія владѣнія; мысль также безмолвствуетъ, не будучи никакимъ способомъ не въ состояніи понять несказанную радость, которую она испытываетъ; и разумъ обреченъ на то же безмолвіе, ибо человѣческому разуму уже нечего болѣе дѣлать, когда святилище мысли залито Божественной благодатью. Опьяненный благоуханіемъ помазанія Божьяго, онъ объятъ сномъ небснаго блаженства, и онъ исполняется мира, чувствуя, какъ растворяется подъ лобзаніями высшаго свѣта. Есть три вида сна для души, потому что эти три силы бываютъ объаты тѣмъ же самымъ восхищеніемъ. Душа грезитъ пребывая въ блаженномъ снѣ, когда въ счастливомъ покоѣ, забывая міръ, забывая самое себя, она находится передъ престоломъ, подъ престоломъ Бога. Разумъ души спитъ, потому что, не вѣдая причины такого блаженства, душа не способна понять его происхожденіе, реальное присутствіе и конецъ. Память спитъ, потому что, совершенно поглощенная наслажденіемъ несказаннаго удовлетворенія, она не помнитъ ничего изъ того, что она вынесла. Воля спитъ, потому что она сама не знаетъ, что она наслаждается прелестями невыразимаго опьяненія. Такимъ образомъ, мертвая для себя и для міра, душа почиваетъ въ блаженствѣ и, въ абсолютной неподвижности чувствъ, она отдаетъ всю себя лобзаніямъ супруга“. Въ этомъ описаніи чрезвычайно характерны повторенія эпитетовъ: несказанный, невыразимый и т. д. Св. Тереза даетъ обстоятельное изложеніе своихъ мистическихъ переживаній. „Тѣхъ, которые начинаютъ свои молитвенныя пѣснопѣнія (oraison), можно сравнить съ тѣми, что черпаютъ съ великимъ трудомъ воду изъ колодца. Необходимо, чтобы они пребывали въ уединеніи, чтобы ничего не видѣть, ничего не понимать. Но въ этой работѣ въ продолженіе нѣсколькихъ дней найдешь только сухость и отвращеніе... Второй способъ есть oraison квіетизма. Тогда разумѣніе и память помогаютъ сдѣлать волю способной наслаждаться Богомъ; но случается иногда, что они мѣшаютъ ей вмѣсто того, чтобы помогать, и тогда на нихъ не слѣдуетъ обращать вниманія, потому что, желая извлечь ихъ изъ ихъ заблужденія, воля заблуд-

дится вмѣстѣ съ ними. Они подобны голубямъ, которые, не довольствуясь предлагаемой имъ пищей, летятъ въ деревню искать ее, но возвращаются въ голубятню, чтобы увидѣть, дадутъ-ли имъ ѣсть и еще, и, увидя, что не дадутъ, возвращаются снова искать кормъ. Такимъ же образомъ дѣйствуютъ и эти двѣ силы въ надеждѣ, что Воля удѣлитъ имъ милости, которыя она получаетъ отъ Бога. Онѣ воображаютъ, безъ сомнѣнія, что смогутъ воспользоваться ею (Волей), представляя то блаженство, которымъ она наслаждается, а часто случается наоборотъ, что онѣ ей вредятъ... Третій видъ Oraison подобенъ сну этихъ трехъ силъ. Тогда душа не знаетъ, что она дѣлаетъ; она не знаетъ даже и того, *говоритъ-ли она или молчитъ*. Это блаженное чудачество, это блаженное безуміе. Я часто испытывала ихъ; я видѣла хорошо, что это былъ Богъ, но я не могла понять, какимъ образомъ онъ дѣйствовалъ тогда во мнѣ... Четвертый способъ, которымъ душа получаетъ воду для орошенія своего духовнаго сада, подобенъ изобильному дождю... Тогда пребываешь въ совершенной радости, которую ни душа, ни тѣло не могутъ выразить, а если бы могли, то это *единеніе всѣхъ ихъ силъ* прекратилось бы. Я не знаю хорошо, что такое духъ (esprit), и какая разница существуетъ между духомъ и душой; мнѣ же кажется, что это одно и то же, хотя иногда мнѣ представляется, что душа исходитъ сама изъ себя, какъ пламя исходитъ изъ огня и подымается надъ нимъ въ бурномъ порывѣ, хотя нельзя же сказать, что это два различныя тѣла, такъ какъ это одинъ и тотъ же огонь. Я хочу этимъ сравненіемъ только дать понятіе, что испытываетъ душа въ этомъ божественномъ единеніи, которое дѣлаетъ то, что двѣ вещи, которыя прежде были отличны и раздѣльны, теперь составляютъ только одну. Такое состояніе *продолжается недолго, и одна изъ силъ пробуждается*. Воля оказывается тою силой, которая сохраняется дольше всего“. Конечная цѣль этихъ высшихъ состояній экстаза—чистое созерцаніе (contemplatio pura), при которомъ прекращаются не только слова и мысли, но и всякая волевая дѣятельность. „Когда восхищеніе становится полнымъ и общимъ, тогда съ нашей стороны не обнаруживается никакой дѣятельности, никакого поступка“. За то въ экстазѣ Св. Тереза „узнавала въ одно мгновеніе такое множество замѣчательныхъ вещей, что (въ обычномъ состояніи) она не могла бы при всѣхъ своихъ усиліяхъ представить себѣ и въ нѣсколько лѣтъ одной тысячной части. Другая экстазичка, Марина Д'Эскобаръ, утверждаетъ слѣдующее: „Когда въ глубокомъ экстазѣ Богъ неожиданно соединяетъ душу со Своимъ существомъ и наполняетъ ее Своимъ свѣтомъ, Онъ раскрываетъ передъ ней въ одно мгновеніе самыя возвышенныя тайны“.

„Я живу! Нѣтъ, не я, но Богъ во мнѣ“: таково послѣднее слово „мистическаго опыта“, говоритъ Ресежакъ. Это чувство даетъ сознанію мистика особое настроеніе спокойствія и неподвижности. Разумѣется, въ

такомъ состояніи, какъ справедливо отмѣчаетъ Гефдингъ¹⁾, „ни одно отчетливое представленіе не можетъ сформироваться, и общеніе съ собой подобными становится немислимымъ. Это и было выражено апостоломъ Павломъ, который хотѣлъ положить предѣлъ распространившемуся въ первоначальной христіанской церкви стремленію вѣрующихъ владать въ религіозный экстазъ. „Кто говоритъ на языкахъ, тотъ назидаетъ себя“; другими словами: тотъ, кто въ религіозномъ восхищеніи начинаетъ говорить что-то непонятное, чего нельзя и понять, тотъ назидаетъ лишь самого себя; „тотъ же, кто пророчествуетъ, назидаетъ церковь“. Это говореніе „на языкахъ“ весьма характерно для состояній религіознаго экстаза въ обществѣ; экстазъ же, который стремится къ одинокому слиянію души съ божествомъ, характеризуется напротивъ постепеннымъ прекращеніемъ рѣчи, по мѣрѣ того, какъ сужается поле вниманія экстастика. И это опять такъ прекрасно изложено Св. Терезой въ ея самонаблюденіяхъ. Въ первой степени экстаза душа получаетъ видѣнія или внимааетъ божественнымъ словамъ; это значитъ, по словамъ Св. Терезы, что восхищеніе еще не достигло высшей ступени своего развитія, когда всѣ силы души „покоются въ Богѣ“, и душа перестаетъ отзываться на впечатлѣнія внѣшняго міра. Но такое высшее состояніе длится недолго, всего одинъ моментъ. При наступленіи его постепенно утрачивается способность владѣть мыслями, рѣчь начинаетъ путаться, молитва превращается въ безсвязное бормотаніе отдѣльныхъ словъ, передъ глазами разливается какой-то туманъ, члены тѣла цѣпнѣютъ, и наступаетъ нѣчто въ родѣ усыпленія. Но проходитъ моментъ, и мысль пробуждается и „бьется тревожно, какъ ночная бабочка“, въ поискахъ словъ и не можетъ найти ихъ. Страшная душевная тревога охватываетъ сознаніе, и состояніе экстаза прекращается. Это „моновиденіе“ (Résejas. 179), который такъ же вызываетъ нѣмоту, какъ и сосредоточеніе душевнобольного меланхолика на одномъ чувствѣ страданія или оупѣніе въ другихъ случаяхъ болѣзней психики²⁾.

Но такихъ результатовъ экстазъ достигаетъ только на высшихъ ступеняхъ своего развитія. На низшихъ онъ характеризуется, напротивъ, возбужденіемъ, которое требуетъ для своего разрѣшенія движеній, криковъ и т. п. Обнаруживается особенная говорливость, страсть къ сочинительству новыхъ словъ, которыя должны соответствовать новымъ переживаніямъ, столь непохожимъ на обычные. Такъ какъ въ быту дикихъ пле-

мень экстазъ имѣетъ огромное общественное значеніе, и колдунъ, одержимый духами, шаманъ, бѣснующійся являются постоянно духовными вождями племени, то и въ вопросѣ о происхожденіи языка эта сторона не можетъ быть обойдена молчаніемъ. Импульсивныя движенія бѣснующагося являются для окружающихъ приверженцевъ его такимъ же высокимъ образцомъ для подражанія, какъ и его выкрикиванія, которыя схватываются на лету, съ благоговѣйнымъ вниманіемъ молящимися или гадающими. Къ этому вопросу еще придется вернуться въ дальнѣйшемъ изложеніи; здѣсь же я остановлюсь на тѣхъ явленіяхъ рѣчи въ экстазѣ, которыя наблюдаются въ современной намъ сектантской жизни. Богатѣйшій, собранный по первоисточникамъ матеріаль представляетъ замѣчательное изслѣдованіе Д. Г. Коновалова: „Религіозный экстазъ въ русскомъ мистическомъ сектанствѣ“ 1908. Дѣло въ томъ, что вслѣдъ за періодомъ двигательнаго возбужденія начинается „третій и послѣдній періодъ въ развитіи сектантскаго экстаза, который можетъ быть охарактеризованъ, какъ періодъ возбужденія функціи рѣчи“. Д. Г. Коноваловъ различаетъ здѣсь два типа: *непонятныя слова* („глоссы“), не существующія ни въ какомъ человѣческомъ языкѣ, или заимствованныя изъ другихъ языковъ, иныхъ по сравненію съ обычнымъ разговорнымъ языкомъ сектантовъ и непонятныхъ имъ, и *изреченія*, состоящія изъ словъ и выраженій родного или извѣстнаго и понятнаго сектантамъ языка. Въ основаніи обоихъ этихъ типовъ лежатъ, по моему мнѣнію, *психологическая* потребность экстастиковъ въ языкѣ возвышенномъ, не обычномъ, а отчасти и спазматическіе крики, происходящіе отъ спазмъ дыхательно-голосовыхъ органовъ.

„Собралися всѣ пророки въ соборъ; они гуляли по святомъ Божьемъ кругу, проповѣдали тайну Божию, что ни сестра, ни братъ не можетъ разобратъ“. Эта шалопутинская пѣсня объясняетъ психологическую необходимость непонятныхъ словъ для удовлетворенія сектантскаго религіознаго экстаза. Такъ, хлыстовскіе *пророки* „выражаются непонятными словами, что, по ихъ мнѣнію, знаменуетъ даръ языковъ; конечно, и сами пророки не понимаютъ таковой своей болтовни“. Сами эти „пророки“ и имъ подобныя судятъ однако иначе: „Духъ святой во мнѣ—разсказываетъ пророчица Мавра Ермакова—обнаружился чтеніемъ, не зная грамоты; говорю я, сама не знаю что, и даже на неизвѣстныхъ мнѣ языкахъ, а послѣ, когда этотъ духъ успокоится, я даже и не помню, что говорила“. Подобныхъ указаній на странные, или иностранныя, или непонятныя языки, какими говорили сектантскіе пророки и пророчицы, въ изслѣдованіи г. Коновалова множество. Такъ, закавказскіе прыгуны, послѣ изступленій тѣлодвиженій, часто безъ чувствъ падали на землю, „наступала мертвая тишина. На этомъ, однако, не все кончалось. Придя вновь въ чувство, молящіеся поспѣшно вскакивали на ноги, начинали пѣть и говорить на разныхъ тарабарскихъ нарѣчіяхъ, не понимая другъ друга и

1) Г. Гефдингъ. Философія религіи. Русскій переводъ. 1903, стр. 292.

2) Такимъ образомъ, Мюриэе (E. Murisier. Les maladies du sentiment religieux. Paris. 1903) справедливо считаетъ однимъ изъ существенныхъ признаковъ экстаза и другихъ мистическихъ состояній отсутствіе гносеологическихъ потребностей, безразличіе, какъ идеаль аскетизма, стремленіе къ полному единству, какъ цѣль экстастическаго возбужденія (unité de notre esprit).

стараясь, однако, убѣдить себя и другихъ, что они именно говорятъ разными языками“. Въ тѣхъ образцахъ этого экстатическаго говоренія, которые приведены въ изобиліи въ книгѣ Коновалова, обнаруживаются тѣ же особенности, что и въ рѣчи маниакальной или у идиотовъ, и это придаетъ имъ общее значеніе рѣчи, не контролируемой сознаниемъ. Это стремленіе къ рѣчѣ, къ повторенію тѣхъ же звуковыхъ сочетаній или къ ритму. „Памось, памось, багось“..., „Кулешка, улешка, лешка, ешка“..., „ренте, фенте, ренте, фанатифунтъ“..., „насонтось, лесонтось фуртъ лись“... или стихи: „Нарве-стане-наризонъ, Рами-стане-гаризонъ“: таковы примѣры этихъ „языковъ“, огненныхъ языковъ, какъ называется ихъ сектантская пѣсня. Нелѣпыя для насъ, эти „языки“ имѣютъ глубокой смыслъ для вѣрующихъ. *Такъ возникаютъ ихъ молитвы*, ихъ изреченія, ихъ тексты. „Между сектантскими духовными пѣснями и молитвами встрѣчаются иногда такія, которыя представляютъ изъ себя, подобно глоссолалическимъ изреченіямъ, наборъ непонятныхъ словъ или искаженіе иностранныхъ словъ. Вполнѣ вѣроятно, что нѣкоторыя изъ нихъ являются воспроизведеніемъ глоссолалическихъ изреченій, произнесенныхъ въ экстазѣ. Напр., въ обрядѣ (требникѣ) амурскихъ прыгуновъ имѣется слѣдующій тарабарскій текстъ, по ихъ словамъ, заключающій въ себѣ рѣчь на чужестранномъ языкѣ: „Стани донъ заневеренавинъ Навередонъ риванъ навидонъ Заневеравинъ востанъ невередонъ“ (Святъ, святъ, святъ, Господь Богъ Саваоель, исполни небо и землю славы Его во вѣки вѣковъ аминь)... У прыгуновъ Карской области существуетъ „бесконечная“ молитва, смысла которой ни одинъ изъ нихъ объяснить не можетъ: „Фолдырь анифей Фолдырь мефи царимей Царь мафами цаларей“ (Коноваловъ 170).

Въ этомъ случаѣ нелѣпца, которую произнесъ въ состояніи экстатическаго возбужденія кто-нибудь изъ главарей секты, *становится уже не нелѣпницей, но условнымъ языкомъ* молитвы, такимъ же непонятнымъ, но священнымъ изреченіемъ, какъ тѣ формулы, которыя произносили древне-римскіе жрецы и т. под. Какъ только сочетаніе звуковъ связывается въ сознаніи говорящаго и воспринимающаго лица съ извѣстнымъ представленіемъ, какъ оно превращается въ символическое выраженіе этого представленія. Приведенныя безсмысленныя для насъ слова составляютъ въ той же мѣрѣ *молитву* для сектанта, какъ для польскаго простолюдина, ни слова не понимающаго по латыни, *латинская молитва*, какъ для какого-нибудь „первобытнаго“ племени ритмическая глоссолалическая болтовня составляла *слова* еще новаго для него языка. Для созданія языка нуженъ только *авторитетъ*; для разговора нужно взаимное желаніе прежде всего говорить, а потомъ уже и понимать другъ друга. Это парадоксальное утвержденіе легко провѣрить на „разговорѣ на разныхъ языкахъ“, которому предаются экстатика. „Въ Спасскомъ уѣздѣ на хлыстовскихъ радѣніяхъ даръ языковъ, между прочимъ, про-

является въ томъ, что одинъ хлысть обращается къ другому и говоритъ: *ттрр-тлим-тлим-дзе*. Другой дѣлаетъ видъ, что его понялъ, и отвѣчаетъ: *агбалалатрр*“. Въ собраніяхъ первыхъ малеванцевъ иногда двое, большею частью женщины, обращались другъ къ другу и произносили безсмысленныя слова, какъ бы вели между собою разговоръ, сопровождая его при этомъ жестами. Это производило большое впечатлѣніе на окружающихъ. Авторы подобныхъ разговоровъ, видимо, интересовались производимымъ впечатлѣніемъ и вели себя величественно, какъ пророки. На одномъ моленіи Верхоценьскихъ хлыстовъ (Тамб. губ.) сектантка Арина, „опамятовавшись“ послѣ нервнаго припадка, „съ пляской“ направилась къ пророкамъ и *заговорила съ ними на разныхъ непонятныхъ языкахъ*; когда, немного спустя, сами пророки *заговорили на разные языки*, Арина имъ начала вторить—тоже лопотать“ (Коноваловъ. 173). Исторія сектантства въ Россіи и за границей представляетъ множество примѣровъ такого говоренія на разныхъ „языкахъ“. Оно должно основываться на глубоко заложеномъ въ натурѣ человѣка стремленіи выражать свои чувства въ звукахъ и сообщать содержаніе своихъ настроеній окружающей средѣ, при чемъ *особыя* настроенія требуютъ, какъ уже было отмѣчено при изложеніи истерическихъ „новыхъ языковъ“, и *особенной рѣчи*. Въ приведенныхъ случаяхъ настроеніе было одно у всѣхъ участвовавшихъ, и что бы они ни говорили, было ясно для всѣхъ, о *чемъ они говорили*, но говорить надо было *особенно*, не по вседневному, и каждый по мѣрѣ фантазіи сочинялъ свой собственный языкъ. Однако, и въ этомъ сочиненіи, несомнѣнно, дѣйствовали *общіе законы* творчества такой внѣшней рѣчи, т. е. стремленіе къ удвоенію слоговъ, созвучіямъ и т. д.

Эти повторенія въ экстатическихъ рѣчахъ сектантовъ Д. Г. Коноваловъ (стр. 245) считаетъ характерной особенностью экстаза. Мы знаемъ, что всякое безсмысленное говореніе будетъ происходить такимъ образомъ, такъ какъ это или разряженіе энергіи по уже проторенному пути, или просто повтореніе почему-либо понравившихся словъ. Такія же бессознательныя явленія, какъ дѣйствіе словесной ассоціаціи, приводятъ и къ господству рѣчи въ экстатической рѣчи. „При началѣ пророчества (скопческіе) пророки отъ высоты изреченій выговариваютъ ужасно много, и какая эта рѣчь ни случилась, все—въ рѣчю. Закавказскіе прыгуны, прорекая, цѣлыми часами говорятъ рѣчами. Обыкновенно, рядомъ съ рѣчами появляется и стихотворный складъ. Пророчество изливается „иногда въ простомъ глаголѣ, на подобіе речитатива, только почти всегда стихами правильной мѣры, съ рѣчами“. Такъ судятъ, по свидѣтельству г. Коновалова, сектанты о своихъ пророкахъ. Характеръ этихъ изреченій обнаруживается въ слѣдующихъ примѣрахъ: „Ну такъ *чтожъ, ничегожъ! Никогда, всегда! Гдѣ Исусъ, тамъ Петрусь? Никогожъ я не боюсь!*“ или „*Пшеницу разсѣй, а тарницу висѣй*; пойдеши въ *лѣсъ*,

будетъ *трескъ*, ты *воззирай* и на небо *пылай*“ (Коноваловъ 250—251). Конечно, чарующее впечатлѣніе на вѣрующихъ здѣсь производить прежде всего приема. „Пророческій экстазъ, подобно поэтическому вдохновенію—говоритъ Д. Г. Коноваловъ.—возбуждая автоматическую работу функцій рѣчи, имѣетъ, вообще, склонность выражаться въ речемованныхъ стихахъ“. На этомъ я и остановлюсь въ разсмотрѣніи тѣхъ особенностей рѣчи, которыя проявляются въ экстазѣ. Какъ на высшихъ, такъ и на низшихъ степеняхъ его разрушеніе правильной логической дѣятельности интеллекта отражается прежде всего на ясности и живости рѣчи. Возбужденіе, не управляемое сознаниемъ, стремится найти свое выраженіе и въ усиленной жестикуляціи, и въ быстрой, афектированной рѣчи, которая сначала состоитъ еще изъ разумныхъ словъ и осмысленнаго сочетанія ихъ, но потомъ, по мѣрѣ ускоренія темпа, превращается въ простой наборъ словъ и наконецъ въ отдѣльные звуки. Словарь этихъ рѣчей сводится къ подбору торжественныхъ и необыкновенныхъ словъ, а, когда существующія слова не удовлетворяютъ этой потребности въ особенно „высокомъ стилѣ“, то ad hoc сочиняются особые слова, которыя, какъ таковыя, и усваиваются средой. Такія слова создаются по обычному шаблону, какимъ руководится какъ сознательное сочиненіе „языковъ“ (напр., въ истеріи или въ условныхъ языкахъ дѣтей), такъ и бессознательное, въ маниакальномъ возбужденіи, въ идиотизмѣ и т. д., т. е. съ преобладаніемъ повторенія слоговъ, со склонностью къ созвучіямъ и ритму. А такъ какъ на низшихъ степеняхъ человѣческой культуры эти состоянія экстатического возбужденія и пользуются особымъ авторитетомъ въ массахъ, и вызываются особенно охотно¹⁾, то ихъ значеніе въ вопросѣ о происхожденіи языка не подлежитъ сомнѣнію.

Къ такимъ же низшимъ состояніямъ человѣческой жизни переносятъ насъ и сновидѣніе нормального человѣка. „Грезящій (le rêveur), какъ дикарь и какъ первобытный человѣкъ, оказывается почти чистымъ типомъ образнаго мышленія; онъ не придаетъ своимъ образамъ *объективныхъ* формъ пониманія, онъ не замѣняетъ конкретныхъ фактовъ сокращенными представленіями, искусственно связанными другъ съ другомъ съ помощью мыслимыхъ отношеній“. Эти слова, принадлежащія одному изъ новѣйшихъ изслѣдователей тѣхъ психическихъ состояній, которыя наблюдаются во снѣ, выражаютъ довольно справедливо отношеніе бодрствующей жизни къ грезамъ сна²⁾, которыя въ настоящее время привлекаютъ чрезвычайно пристальное вниманіе изслѣдователей. Литература, посвященная сновидѣніямъ, на всѣхъ европейскихъ языкахъ громадна, и, конечно, въ предѣ-

¹⁾ Ср. напр. O. Stoll. Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie. 2 изд. 1904.

²⁾ G. L. Duprat. Le rêve et la pensée conceptuelle. Revue Philosophique. 1911, т. 72, стр. 286.

лахъ настоящей работы о языкѣ нѣтъ ни возможности, ни надобности подробно углубляться въ нее. Тѣмъ не менѣе, въ виду важности самаго вопроса, мнѣ представляется нелишнимъ назвать нѣсколько новѣйшихъ работъ, посвященныхъ сновидѣніямъ. Начало имъ было положено въ 1878 г. знаменитой книгой Морн (Maury) „Le sommeil et les rêves“. Литература до 1898 года перечислена въ книгѣ Ph. Tissié „Les rêves. Physiologie et pathologie“. 2-е изд. 1898. Изъ новѣйшихъ работъ надо назвать: I. Tobolowska. Etude sur les illusions du temps dans les rêves du sommeil normal. 1900. Leroy et Tobolowska. Sur le mécanisme intellectuel du rêve. Rev. Philos. 1901, т. 51. Sante de Sanctis. Die Träume (переводъ съ итальянскаго). 1901. Sigm. Freud. Die Traumdeutung. 1900 Foucault. Le rêve. Paris. 1906. Morton Prince. The mechanism and interpretation of Dreams. Journal of abnormal Psych. 1910. Mourly Vold. Ueber den Traum. I Band. 1910. Semi Meyer. Zum Traumproblem. Zeitschrift für Psychologie und Physiol. I. Abt. Bd. 53. 1909. Weygandt. Beiträge zur Psychologie des Traumes. Philos. Studien. Bd. 20. 1902. N. Kostyleff. Freudet le problème des rêves. Revue philoso. m 72. 1911. Особенно интересна для психологін рѣчи при сновидѣніяхъ недавно появившаяся обширная монографія Фр. Хаккера (Fr. Hacker. Systematische Traumbeobachtungen mit besonderer Berücksichtigung der Gedanken. Archiv für die gesamte Psychologie. 21 т. 1911, стр. 1—131). Въ этой статьѣ разсмотрѣны какъ теченіе представленій въ сновидѣніи, такъ и та роль, которую играетъ въ нихъ языкъ. Высказанная выше точка зрѣнія французскаго ученаго Дюпра на возвращеніе спящаго человѣка къ состояніямъ первобытнымъ можетъ быть принята, конечно, только съ большимъ ограниченіемъ, такъ какъ спящій человѣкъ лишентъ въ своей прихотливой и чудесной жизни контроля дѣйствительности, который въ бодрствующей жизни не только исправляетъ ошибки въ теченіи образовъ, но и даетъ имъ исходный пунктъ. Спящій человѣкъ летаетъ, переносится сразу въ другую мѣстность, бесѣдуетъ съ умершими: все это такіе образы, которые не могутъ представиться нормальному сознанію иначе, какъ неосуществимыя пожеланія, созданія его фантази. Но въ извѣстной степени сновидѣнія, дѣйствительно, возвращаютъ насъ къ тѣмъ первоначальнымъ состояніямъ духовной жизни человѣка, когда аффективная сторона господствуетъ почти всецѣло надъ интеллектуальной. По мнѣнію Фрейда, сновидѣнія выражаютъ желанія, иногда таинья человѣкомъ отъ самаго себя, иногда восходящія къ отдаленному прошлому его жизни, вплоть до дѣтства. Въ новѣйшее время Костылевъ предложилъ нѣкоторую поправку къ этой формулѣ, видя въ сновидѣніяхъ, вообще, возрожденіе чувственной стороны жизни (le processus d'une régression sensorielle). Эта аффективная окраска жизненныхъ впечатлѣній придаетъ имъ различную степень жизненности въ воспоминаніяхъ. „Извѣстные слова и извѣстные образы, совершенно второстепеннаго значенія, запечатлѣваются въ памяти и удерживаются въ ней

годами, тогда какъ другіе, которые были бы намъ очень полезны, никакъ не могутъ удержаться въ ней“. Изъ такихъ образовъ, соотвѣтствующихъ аффектамъ, и складывается содержаніе сновидѣнія. Въ этомъ отношеніи, т. е. по этому преобладанію въ сновидѣніи аффективныхъ состояній или образовъ, ими созданныхъ, спящій человѣкъ дѣйствительно отличается отъ бодрствующаго и напоминаетъ или маленькаго ребенка, или дикаря. Теченіе образовъ въ сновидѣніи находитъ свой исходный пунктъ въ желаніи (какъ полагаетъ Фрейдъ), которое во снѣ представляется выполненнымъ, или въ иномъ сильномъ чувствѣ.

Остановимся прежде всего на теченіи образовъ и идей въ нормальномъ состояніи бодрствующаго сознанія и въ сновидѣніи¹⁾. Въ бодрствующемъ состояніи мы различаемъ руководящую идею: „думая о чемъ нибудь, мы знаемъ, что намъ нужно думать объ этомъ. Видя портретъ своего друга, я бываю увѣренъ, что черты его лица, а вовсе не рамка, которую я вижу въ то же самое время, являются причиной воспоминаній, которыя пробуждаются во мнѣ“. Но это прошлое, оставившее свои слѣды въ моей памяти, можетъ возстановиться въ формѣ воспоминаній только благодаря посредничеству моего теперешняго сознанія. Оно оказываетъ могущественное вліяніе на мое теперешнее поведеніе. По остроумному замѣчанію Жуссена, „все происходитъ такимъ образомъ, какъ будто бы сознательное существо стремилось въ каждую минуту начать заново всю свою прошлую жизнь, и какъ будто бы внѣшнія обстоятельства могли возстановить въ ней то или другое пережитое состояніе“. Но въ дѣйствительности такое возстановленіе не происходитъ на яву, и сознаніе не относится пассивно къ тѣмъ образамъ, которые механически вызываются сходными, но избираетъ между ними тѣ, которые соотвѣтствуютъ его основной идеѣ (*l'idée suggérante*). „Воля и дѣятельность чувства оказываютъ непосредственное вліяніе на теченіе нашихъ идей. Желаніе унижить человѣка сейчасъ же припоминаетъ намъ такія подробности изъ его жизни, которыя можно поставить ему въ укоръ, или которыя дѣлаютъ его смѣшнымъ; желаніе понравиться сейчасъ же вызываетъ въ нашемъ умѣ и на нашихъ устахъ такія идеи и слова, которыя, по нашему предположенію, должны быть пріятны этому человѣку. Наконецъ, мы можемъ въ извѣстной степени думать о томъ, о чемъ мы хотимъ... Но цѣликомъ наша мысль не сводится въ смыслѣ своего происхожденія къ содержанію нашего сознанія въ настоящую минуту; она предполагаетъ и такія причины, которыя дѣйствуютъ внѣ насъ. Направленіе нашей мысли отчасти зависитъ отъ нашей воли, нашихъ чувствъ и представленій, а отчасти ускользаетъ отъ ихъ вліянія. Такимъ образомъ, тенденція прошлаго къ возстановленію себя пред-

¹⁾ Относительно теченія идей въ бодрствующемъ состояніи см. интересную статью А. *Joussain*. *Le cours de nos idées* (Revue Philosoph. 1910), изъ которой и почерпнуты эти фразы.

ставляется то сознательной, то бессознательной (въ основаніи послѣдней лежатъ физиологическія причины)“. Иначе говоря, теченіе нашихъ мыслей опредѣляется какъ сознательнымъ интересомъ къ опредѣленному кругу идей, сознательнымъ стремленіемъ къ цѣли, такъ и неясными для насъ самихъ тенденціями, настроеніями, смутными воспоминаніями и причинами физиологическаго характера. Какъ мы видѣли выше, именно явленія этой послѣдней группы начинаютъ господствовать въ состояніяхъ нарушеннаго психическаго равновѣсія (напр., въ истеріи). Но, несомнѣнно, и въ нормальной бодрствующей жизни имъ принадлежитъ чрезвычайно крупная роль. Въ сновидѣніи „внушающая идея“ (*l'idée suggérante*) лежитъ обыкновенно по ту сторону сновидѣнія, въ бодрствующей жизни, и самое теченіе образовъ, получивъ толчокъ извнѣ, развивается дальше внѣ контроля сознанія. Это видно изъ развитія внушенныхъ сновъ, изъ тѣхъ опытовъ, которые производилъ, напр., Моурли Фольдъ, обставившій засыпаніе такъ, что послѣдній изъ образовъ, представлявшихся въ полусонномъ состояніи, давалъ толчокъ грезамъ сна¹⁾. Санте де Санктисъ однажды шепнулъ на ухо своему 9-лѣтнему спящему сыну слово *блѣдный* и черезъ минуту разбудилъ мальчика. Изъ трехъ опытовъ два не дали никакихъ результатовъ, но при третьемъ мальчикъ проснулся сразу и испуганный, и на вопросъ, что онъ видѣлъ во снѣ, отвѣтилъ: „ужасный сонъ, папа; я думалъ, что ты меня ругаешь, и дрожалъ отъ страха, потому, что ты былъ совсѣмъ *блѣдный* отъ гнѣва“. На слово *задача* мальчикъ реагировалъ сномъ, что ему надо идти въ школу, а у него не рѣшена задача и т. д. При этомъ оба названные наблюдателя внушенныхъ сновъ констатируютъ фактъ, хорошо намъ извѣстный изъ нормальнаго теченія идей въ бодрствующемъ состояніи, именно, что одни и тѣ же раздраженія почти никогда не вызываютъ одинаковаго теченія мыслей и образовъ. Развитіе сновидѣнія обусловливается не только исходнымъ пунктомъ, но и совокупностью впечатлѣній и настроеній, накопленныхъ въ бодрствующемъ состояніи. Но очень сильное впечатлѣніе, полученное въ этомъ послѣднемъ состояніи, можетъ вызвать у ряда лицъ сходный по своему настроенію сонъ. Впрочемъ, то же наблюдается и въ жизни наяву. Извѣстный разсказъ Тэна („Объ умѣ и познаніи“) о галлюцинаціи ангела, пронесшагося надъ судномъ, котораго видѣлъ весь экипажъ карабля, показываетъ, какъ складываются эти коллективныя галлюцинаціи среди нормальныхъ и бодрствующихъ людей. Въ сновидѣніи же это совпаденіе наблюдается при одинаковости импульса. Одинъ итальянскій полковникъ врачъ рассказываетъ слѣдующій случай изъ своей практики: большой отрядъ солдатъ долженъ былъ переночевать, послѣ тяжелаго 40 верстнаго перехода подъ жгучимъ солнцемъ, въ заброшенномъ аббатствѣ, о которомъ среди окружаю-

¹⁾ *Mourly Föld*. Einige Experimente über Gesichtsbilder im Traume. Zeitschrift für Psychol. und Physiol. der Sinnesorgane. XII 1897.

ших солдат ходили страшные слухи. Ночью все солдаты вскочили со своих постелей и с криками бросились из залы: они видели дьявола, который в образе большой черной собаки пробѣжалъ по ихъ тѣламъ и скрылся. На другую ночь солдаты согласились остаться в аббатствѣ лишь при условіи, что офицеры и докторъ не будутъ спать. Они выполнили свое обѣщаніе и спокойно сидѣли в залѣ, когда солдаты подъ впечатлѣніемъ того же ужаснаго сна опять поднялись къ паннѣкѣ. Здѣсь, конечно, къ сновидѣнію примѣшался и элементъ психической заразы, который передался въ видѣ не постижимаго ужаса всему отряду солдатъ. Налугались и вообразили, что видѣли дьявола, и тѣ солдаты, которые ничего подобнаго во снѣ не видѣли, но нѣкоторые изъ нихъ, несомнѣнно, напуганные разсказами о появленіи дьявола въ видѣ черной собаки въ стѣнахъ аббатства, дѣйствительно, имѣли соответствующее сновидѣніе. „Если бы нашъ разумъ могъ обзрѣть въ одно мгновеніе все общія индивидуальныя, внѣшнія и внутреннія, физиологическія и психологическія условія, которыя оказываютъ вліяніе на данное наше сновидѣніе, то мы замѣтили бы, что сонъ представляетъ необходимый результатъ, вѣрнѣйшее отраженіе нашего я“ (Sanctis).

Въ развитіи мысли и чувства въ сновидѣніи и въ бодрствующемъ состояніи наблюдается тѣмъ большее различіе, чѣмъ глубже пропасть между психическими состояніями, лишенными внутренней рѣчи и одаренными ею. Въ сновидѣніи нелѣпица, происходящая отъ отсутствія контроля со стороны мысли, выраженной словами, вовсе не кажется странной. На этомъ вопросѣ о соединеніи представленій во снѣ слѣдуетъ остановиться для опредѣленія той роли, какую и во снѣ играетъ рѣчь. Фр. Хаккеръ справедливо отмѣчаетъ любопытный фактъ диссоціаціи между представленіями и ихъ значеніями для насъ, который наблюдается во снѣ. Представленіе можетъ быть связано въ этомъ состояніи со значеніемъ, которое ему не принадлежитъ согласно опыту бодрствующей жизни. Такъ, человѣкъ видитъ во снѣ сѣверный полюсъ и догадывается, что онъ долженъ послать отсюда нѣсколько открытокъ съ видами, или съ представленіемъ о знакомомъ лицѣ, увидѣнномъ во снѣ, не связывается сознание о томъ, что это лицо знакомо. „Я многократно видѣлъ во снѣ брата или отца, при чемъ совершенно отсутствовало сознание, что этотъ человѣкъ не есть первый попавшійся, но мой отецъ. Образы сновидѣнія здѣсь совершенно соответствовали дѣйствительности, но имъ не хватало сознания ихъ значенія въ качествѣ родныхъ. Здѣсь мы находимся въ положеніи афатика, который видитъ своего брата и признаетъ въ немъ человѣка, но не можетъ индивидуализировать его въ качествѣ брата“ (Hacker. 29). Это послѣднее замѣчаніе, конечно, не вѣрно: афатикъ не можетъ назвать брата братомъ, какъ и человѣка человекомъ, но онъ, конечно, различаетъ людей и связываетъ съ ними чувство, тогда какъ въ сновидѣніи получается разобщеніе между образомъ

предмета и тѣмъ чувствомъ, которое сопровождаетъ этотъ образъ въ бодрствующемъ состояніи, или, наоборотъ, получается постоянная связь между однимъ образомъ и другимъ, который съ нимъ ассоціируется на яву: напр., въ бодрствующемъ состояніи при видѣ гроба вызывается представленіе о покойникѣ, въ сновидѣніи эта самая ассоціація приводитъ къ тому, что при видѣ гроба мы сейчасъ же затѣмъ видимъ въ немъ покойника, и т. п. Вслѣдствіе этого сны пріобрѣтаютъ иногда такой странный видъ: человѣкъ видитъ во снѣ свой домъ, но потомъ сразу этотъ *свой* домъ превращается просто въ домъ, и его образъ уже не соответствуетъ дѣйствительности. Не понимая значенія вещей, мы и не удивляемся во снѣ, что съ ними происходятъ самыя удивительныя превращенія. Желаніе, чтобы видимое во снѣ лицо было именно тѣмъ или другимъ человѣкомъ, совершаетъ соединеніе образа съ неприущимъ ему смысломъ, и мы опять таки безъ удивленія узнаемъ, что нашимъ другомъ оказывается совершенно непохожій на него человѣкъ и т. под. Сознаніе отношеній между явленіями точно также принимаетъ въ сновидѣніи своеобразный характеръ. И во снѣ мы стараемся понять причину видимаго и объясняемъ ее по своему.

Случайныя ассоціаціи замѣняютъ здѣсь объясненіе. Изъ изслѣдованія Леруа и Тоболовской я приведу слѣдующій примѣръ такого „умозаключенія“ безъ словъ. „Одинъ изъ насъ увидѣлъ, разсказываетъ Тоболовская, въ темномъ неопредѣленномъ мѣстѣ молодую дѣвушку въ темномъ платьѣ какого то грязнаго цвѣта; ея лицо и руки были сѣрыя. Этотъ сумрачный обликъ образа находился въ соответствіи съ общимъ фономъ сновидѣнія, но спящій немедленно извлекъ отсюда непосредственный выводъ, что эта дѣвушка—дочь угольщика. То же лицо видѣло во снѣ, что нашло золотую монету съ изображеніемъ Наполеона III. Въ изображеніи этой монеты спящаго поразила одна подробность: монета была слишкомъ блѣднаго цвѣта. Отсюда слѣдоваль непосредственный выводъ: значитъ, эта монета не французская, а нѣмецкая“. Этотъ выводъ здѣсь переданъ словами, но во снѣ, конечно, дѣло происходило иначе: непосредственно за тѣмъ, какъ спящій видѣлъ монету *со значеніемъ* французской, онъ увидѣлъ ту же монету, но уже *со значеніемъ* нѣмецкой монеты. Это было такое же соединеніе представленій, какое происходитъ въ сознаніи высшаго животнаго при пониманіи значенія явленія. Такъ, собака сначала принимаетъ чужого человѣка по костюму за хозяина, а потомъ, когда образъ становится для нея ясенъ, его значеніе измѣняется для нея. Общее же теченіе идей въ сновидѣніи, по опредѣленію Хаккера, „вслѣдствіе недостатка упорядоченнаго мышленія, вслѣдствіе отсутствія опредѣляющихъ стремленій и значительнаго ослабленія способности сосредоточивать вниманіе должно быть названо бредовымъ (Ideenflucht, бредъ въ извѣстныхъ разстройствахъ психики); обыкновенно, одно

представленіе выступаетъ впередъ и подчиняетъ себѣ другія (констеллація). Къ одному такому образу присоединяется другой ассоціативно, по большей части внѣ всякаго послѣдовательнаго перехода. Однако, особенно въ легкомъ снѣ передъ пробужденіемъ, новыя быстро возникающія ощущенія или же представленія обладаютъ обратной силой, благодаря которой *они измѣняютъ предшествующій образъ въ духъ послѣдующаго*, такъ что могутъ образоваться на видъ очень длинныя связныя исторіи. Само-сознаніе въ глубокомъ снѣ бываетъ очень сильно поражено. Хотя я, какъ эмпирической центръ, обыкновенно остается сосредоточеніемъ событій, однако оказываются возможными всѣ формы двойной личности, такъ какъ отсутствуетъ сознаніе того, что эти дѣйствія относятся къ я. Волевыя возбужденія наблюдаются, по большей части, утромъ, и при томъ въ различныхъ формахъ; однако, собственно волевой актъ совершенно чуждъ сновидѣнію такъ же, какъ настоящія волевыя дѣйствія, такъ какъ во снѣ волевой импульсъ замѣняется представленіемъ о движеніяхъ. Описанная многими авторами независимость чувствъ отъ представленій въ сновидѣніи наблюдается часто. Повидимому, чувства обуславливаются только чувственнымъ тономъ органическихъ и тепловыхъ ощущеній. Въ глубокомъ снѣ чувства, обыкновенно, совершенно исчезаютъ. Представленія, обладающія чувственнымъ тономъ, обладаютъ въ сновидѣніи вовсе не большей тенденціей къ идеаци, чѣмъ другія представленія“.

Что же касается характера представленій въ сновидѣніи, то по этому предмету мы находимъ у названнаго изслѣдователя слѣдующія указанія (Hacker. 127-129). „Вслѣдствіе прекращенія всѣхъ психическихъ функцій еще сохранившаяся психофизическая энергія можетъ пойти цѣлкомъ на образованіе представленій. Эти послѣднія проецируются во внѣшнемъ мірѣ, а такъ какъ они распредѣляются на обширномъ полѣ зрѣнія и выступаютъ независимо отъ нашей (сознательной) воли, то они реализуются и являются въ видѣ воспріятій, отъ которыхъ слѣдуетъ отличать тѣ представленія, которыя кажутся представленіями и въ сновидѣніи. Живость представленій увеличивается по мѣрѣ того, какъ сонъ дѣлается менѣе глубокъ. Въ то время, какъ въ бодрствующемъ состояніи уже въ воспріятіи дается значеніе ощущеній или представленій, въ сновидѣніи наступаетъ диссоціация представленій и мыслей, которая приводитъ къ тому, что представленія не сопровождаютъ при своемъ появленіи сознаніемъ ихъ значенія или же зачастую получаютъ значеніе, которое не принадлежитъ имъ въ опытѣ бодрствующаго состоянія. Въ болѣе глубокомъ снѣ почти совершенно прекращаются соотношенія отдѣльныхъ представленій сновидѣнія между собой, и они теряютъ всякую связь со спящимъ субъектомъ. Это явленіе обнаруживается особенно ярко при говореніи во снѣ, когда словесныя представленія не служатъ носителями своего обычнаго значенія“.

Таковы особенности психической жизни въ сновидѣніяхъ. Сравнить ихъ просто съ нормальной жизнью не говорящаго существа, напр. вышшаго животнаго или гипотетическаго первобытнаго человѣка, еще не научившагося говорить, какъ уже отмѣчено выше, конечно, нельзя, такъ какъ въ состояніи бодрствованія именно отсутствуетъ та *безразличность* образовъ, которая такъ велика во снѣ. Образы бодрствующей жизни управляются тенденціями необходимости и цѣлесообразности, которыхъ нѣтъ во снѣ, и дѣйствительность вноситъ постоянныя поправки въ ихъ теченіе. Но, все же, спящій человѣкъ, пока и во снѣ не вступаетъ въ свои права регулирующая умственную жизнь дѣятельность языка, ближе къ міру низшихъ существъ, чѣмъ бодрствующихъ и нормальныхъ людей, такъ какъ его желанія создаютъ образы, а мышленіе его совершается въ формѣ смѣны образовъ. „Лирической элементъ“, какъ называетъ Селли¹⁾ то чувство радости или печали или иное чувство, которое придаетъ не создаваемую спящимъ связь образовъ сновидѣнія, является въ концѣ концовъ движущей силой и въ нормальной жизни существъ, лишенныхъ рѣчи, и даже у человѣка.

Ассоціативная сила этого „чувственного тона“ весьма значительна. „Чувства, сопровождающія содержанія сознанія, которыя заключаются въ ощущеніяхъ, воспріятіяхъ или представленіяхъ, а также въ формѣ настроеній, оказываютъ вліяніе на дальнѣйшій ходъ воспроизведенія, такъ какъ содержанія или переживанія, окрашенные въ извѣстный чувственный тонъ, обладаютъ тенденціей къ воспроизведенію содержаній или переживаній съ тѣмъ же чувственнымъ тономъ“¹⁾. Такъ, въ ненависти, въ гнѣвѣ, или въ пріятномъ расположеніи подбираются такія черты изъ жизни или характеристики объекта, которыя соотвѣтствуютъ настроенію. „Не по хорошему миль, а по милу хорошъ“: это изреченіе совершенно правильно опредѣляетъ какъ общее направленіе „теченія идей“ въ бодрствующемъ состояніи, такъ и всю ту пеструю смѣну неопровергаемыхъ дѣйствительностью образовъ, которая происходитъ въ сновидѣніи. Эта смѣна можетъ быть введена въ рамки логическаго порядка только съ помощью сознанія, которое функционируетъ иногда и во снѣ въ формѣ внутренней рѣчи. Сами по себѣ словесныя представленія не оказываютъ такого воздѣйствія на порядокъ сна; они могутъ остаться на уровнѣ другихъ образовъ, смѣняющихся одинъ другой по внѣшнимъ сходнымъ чертамъ. Сюда относится напр., случай, описанный еще Мори. Онъ видѣлъ во снѣ, что идетъ по дорогѣ, возлѣ которой стоятъ столбы съ указаніемъ на число *километровъ*. Потомъ онъ увидѣлъ себя на чашкѣ вѣсовъ у лавочника, который опредѣлялъ вѣсъ его тѣла съ помощью *кило*. Этотъ лавочникъ сказалъ ему, что они находятся не въ Парижѣ, но на островѣ *Гилоло*; потомъ онъ увидѣлъ цвѣтокъ *лобелии*, потомъ генерала *Лопеца*, о кон-

1) I. Sully. Etude sur les rêves. Revue scientifique. 1882.

чнѣ котораго на островѣ Кубѣ онъ прочиталъ незадолго передъ тѣмъ, и наконецъ онъ проснулся; передъ самымъ пробужденіемъ онъ игралъ въ *лото*. Мы видимъ такимъ образомъ, что словесныя ассоціаціи сейчасъ же вызывали соотвѣтствующія словамъ картины, но отъ вмѣшательства рѣчи въ сновидѣніе это послѣднее не сдѣлалось ни болѣе сложнымъ, ни разумнымъ. Совсѣмъ другой характеръ получаетъ сновидѣніе, когда, дѣйствительно, начинается дѣятельность рѣчи. Тогда мы можемъ спать и говорить во снѣ, но не *видѣть* ничего. Поэты, которые слагали во снѣ стихи, математики, рѣшавшіе задачи, и мыслители, обдумывавшіе философскія проблемы, конечно, лишь благодаря внутренней рѣчи могли мыслить и во снѣ. Но и въ обычной жизни обыкновенныхъ людей рѣчь вноситъ связь въ сновидѣніе, хотя самые образы могутъ оставаться столь же странными, какъ и въ снахъ безъ языка. Тисье приводитъ слѣдующій сонъ. „Однажды вечеромъ за нѣсколько минутъ до отхода ко сну, я въ разговорѣ съ сестрой чѣмъ то разсердилъ ее. Несмотря на это, мы разошлись спать въ мирномъ настроеніи. На слѣдующее утро сестра рассказала, что она видѣла меня во снѣ, но видѣла она двухъ братьевъ, которые по внѣшности очень походили другъ на друга, и оба носили мое имя. Она отлично понимала, что, въ сущности, эти двое представляютъ одно и то же лицо; тѣмъ не менѣе, одинъ изъ нихъ былъ кротокъ и любезенъ, а другой угрюмъ и золь. Замѣтивъ, что дурной братъ забавляется японской саблей, которая виситъ у меня въ кабинетѣ, сестра посоветовала ему быть осторожнымъ, такъ какъ она отравлена; другой братъ только засмѣялся въ отвѣтъ на это замѣчаніе, заявивъ, что онъ не то еще видѣлъ (иногда и мнѣ случается говорить это послѣ нѣсколькихъ поѣздокъ по Южной Америкѣ). Это правда, сказала моя сестра доброму брату, но вѣдь и ты тоже путешествовалъ. Добрый братъ посоветовалъ злому быть поосторожнѣе, но злой вдругъ нанесъ себѣ смертельную рану. Сестра немного проследила, но видя, что у нея остается еще добрый братъ, скоро успокоилась“. (Tissié. 44—45). Анализируя этотъ сонъ, мы видимъ, что основной нелѣпостью въ немъ является раздвоеніе личности: обычный симпатичный образъ брата воплотился въ добраго брата сновидѣнія, случайный несимпатичный въ злого, который вскорѣ и погибъ. Не превратись этотъ сонъ въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи въ смѣну разговоромъ, изъ этого раздвоенія пошли бы, вѣроятно, и дальше всякія сверхъестественныя превращенія. Но этого не случилось: сонъ получилъ чрезвычайно правильное, логическое развитіе, благодаря тому, что дѣйствующія лица его стали разсуждать, или—иначе говоря потому, что лицо, видѣвшее сонъ, начало и во снѣ мыслить словами. Даже въ состоящихъ патологическихъ, когда у больного развиваются бредовыя идеи, рѣчь вноситъ въ сновидѣніе смыслъ и порядокъ. Такъ, одинъ душевнобольной видѣлъ во снѣ,

*) Max Offner. Das Gedächtniss. 2 Aufl. Berlin. 1911, стр. 196-197.

что упалъ въ пропасть, откуда клубами вырывались сѣрые пары; подъ этимъ впечатлѣніемъ онъ жилъ до тѣхъ поръ, пока другое сновидѣніе не замѣнило этого образа инымъ. Онъ услышалъ во снѣ голосъ короля, который приказывалъ людямъ, сопровождавшимъ его карету: „Переѣзжайте черезъ этого, давите его!“ На это онъ отвѣтилъ: „Ваше величество, не дѣлайте этого! Если я виновенъ, подождите приговора“. Напрасно доктора убѣждали его, что это не могло произойти, такъ какъ его не было въ Парижѣ во время пребыванія короля. Но больной продолжалъ бредить и въ связи съ этимъ обнаруживалъ наклонности преступнаго характера. Тѣмъ не менѣе, какъ мы видимъ, самый сонъ былъ логически правиленъ. (Tissié. 86). Истерическій больной, Освальдъ, былъ пораженъ парезіей. Передъ этимъ онъ имѣлъ сонъ осязательнаго характера, именно: онъ видѣлъ, что летаетъ по воздуху. Онъ увѣрялъ, что съ тѣхъ поръ, какъ заболѣлъ, ничего больше не видитъ во снѣ. Заболѣлъ онъ за годъ передъ тѣмъ, послѣ сильнаго волненія, причиненнаго однимъ процессомъ. Спустя двѣ недѣли послѣ этого волненія, около полуночи, онъ имѣлъ галлюцинацію: онъ увидѣлъ человека небольшого роста, который выходилъ изъ его комнаты съ вытянутыми впередъ руками. На слѣдующую ночь ему приснилось, что онъ присутствуетъ при землетрясеніи и обвалѣ своего дома, и, проснувшись, онъ былъ очень удивленъ, что все остается на своемъ мѣстѣ. Но вотъ сонъ, который совпадаетъ съ его паретическимъ состояніемъ „Я былъ одинъ, рассказывалъ этотъ больной, въ Аркашонскомъ лѣсу, въ мѣстечкѣ, которое далеко не производило веселаго впечатлѣнія. Вдругъ я вижу оголенные бедра и ноги, величественно прохаживающіяся по каменной дорогѣ; особенно бросилась мнѣ въ глаза пара плохихъ ногъ (*une paire de mauvaises jambes*), которыя еле-еле передвигались. Вотъ что мнѣ надо, воскликнулъ я: этихъ-то ногъ уже никто не потребуетъ. Дайте мнѣ лучшую изъ нихъ и вставьте ее вмѣсто моей, сказалъ я, и мое приказаніе было тотчасъ исполнено. Но послѣ операціи я испытывалъ такое отвращеніе, что изъ моего рта на подушку потекла какая-то лизкость, которая заставляла меня содрогнуться отъ ужаса“. Подъ влияніемъ этого сна, больной отправился на излѣченіе въ госпиталь Св. Андрея въ Бордо. Любопытно то, что онъ продолжалъ вѣрить, будто владеетъ одной изъ ногъ, видѣнныхъ имъ во снѣ. „Съ тѣхъ поръ, говорилъ онъ, ногѣ этой лучше, благодаря уходу проф. Питра, и никто до сихъ поръ не требуетъ этой ноги обратно. Значитъ, я поступилъ правильно, когда выбралъ именно эту, а не какую-нибудь другую ногу, и если бы теперь пришлось ее отрѣзать, чтобы отдать настоящему хозяину, я сталъ бы бороться. Проф. Питръ вылѣчитъ меня и будетъ выше тѣхъ докторовъ (которые вставили ему во снѣ ту ногу). Такимъ образомъ, сонъ сохранилъ для него значеніе полной истины“. (Tissié. 79-80).

Какъ бы ни формулировать тѣ психическіе процессы, которые происходятъ въ сновидѣніи, и въ чемъ бы ни видѣть ихъ исходнаго пункта, не подлежитъ сомнѣнію, что интеллектъ подчиняется въ нихъ пассивно той вереницѣ образовъ, которая проносится передъ нимъ, соединяясь между собой случайными ассоціаціями. Здѣсь нѣтъ мысли и нѣтъ сужденія. Но пробуждающаяся воля можетъ оказать влияние на теченіе образовъ. „Нерѣдко, говорятъ Селли, ощущение движенія, выполненнаго или задержаннаго, представляетъ исходный пунктъ сновидѣнія“. Точно также можетъ при усилеиіи чувствъ еще оставаться въ полубодствующемъ состояніи мысль, и тогда изъ того матеріала образовъ, который даетъ сонъ, мышленіе создаетъ стройную и логическую цѣпь сужденій. Но для этого процесса оказывается уже необходимой рѣчь. Безъ рѣчи не можетъ быть сужденій въ нашемъ смыслѣ слова. Это будетъ только замѣна однихъ образовъ другими. „Нѣкто видитъ во снѣ, рассказываетъ Тоболовская, что онъ хочетъ ударить штыкомъ сову. Онъ сознаетъ, что долженъ прежде всего оглушить эту птицу, такъ какъ сова защищается бѣшено и глубоко ранитъ тѣхъ, кто ее задѣваетъ. *Эта мысль не была выражена въ словахъ, но выразилась образами,* потому что въ ту же минуту спящій представилъ себѣ (или, вѣрнѣе, почувствовалъ) птицу, которую онъ держалъ въ рукахъ, и которая старалась ударить его клювомъ. Только эта птица уже не походила на сову: скорѣе, это былъ сѣрый подугай съ маленькой круглой головой и прямымъ клювомъ“. Насколько иной характеръ носятъ вышеприведенные сны, въ которыхъ умозаключенія составлялись съ помощью словъ!

ГЛАВА IX.

Психологія дѣтскаго возраста и рѣчь дѣтей.

Человѣческая рѣчь представляетъ собой, какъ явствуетъ изъ всего предшествующаго изложенія, творческій процессъ. Взрослый человѣкъ, уже умѣющій говорить, пользуется для этой творческой дѣятельности матеріаломъ, накопленнымъ имъ съ дѣтства. Ребенку приходится еще создавать этотъ матеріалъ. И вотъ является вопросъ, представляется ли необходимымъ, чтобы этотъ матеріалъ у всѣхъ дѣтей извѣстной говорящей среды оказывался одинаковымъ. Вѣдь каждый ребенокъ можетъ образовать свой собственный языкъ, а группа дѣтей можетъ для взаимнаго пониманія сочинить языкъ, не имѣющій ничего общаго съ языкомъ взрослыхъ. Какъ отдѣльное говорящее лицо, каждый ребенокъ какъ бы начинаетъ собой новый языкъ человѣчества; каждый долженъ понять значеніе той связи, какая существуетъ между условнымъ, символическимъ звукомъ и представленіемъ о предметѣ, т. е. понять, что „слово“ есть названіе предмета. Иными словами, каждый ребенокъ долженъ совершить, хотя бы въ облег-

ченныхъ условіяхъ, тотъ же трудъ созданія рѣчи, какой совершилъ „первобытный человѣкъ“, начавъ говорить. Дѣйствительность показываетъ, что и въ этой области, какъ въ другихъ сферахъ культурной жизни, человѣкъ пользуется накопленнымъ опытомъ предшествовавшихъ поколѣній. Ребенокъ избавленъ отъ необходимости продѣлать тотъ громадный путь умственнаго развитія, который привелъ первобытнаго человѣка къ сознанию связи между словомъ и предметомъ, и отъ труда составлять свой собственный словарь. Этотъ послѣдній дается ему окружающей средой, которая спѣшитъ съ возможно ранняго возраста внушить дитяти убѣжденіе, что между извѣстными сочетаніями звуковъ, словами съ точки зрѣнія взрослого человѣка, и предметами существуетъ въ сознаніи постоянная связь, такъ что представленіе о предметѣ вызываетъ по ассоціаціи соотвѣтствующее слово, названіе его, и обратно. Вслѣдствіе этого, самая трудная задача, которую пришлось разрѣшить человѣчеству, впервые заговорившему, ставится ребенку въ высшей степени облегченной формѣ: вокругъ него люди уже говорятъ.

И самое обученіе рѣчи происходитъ почти такъ же инстинктивно, какъ обученіе ходить, брать предметы и т. под. вмѣстѣ съ тѣмъ готовый словарь, который дается ребенку, съ такой силой вторгается въ его сознаніе, что собственное творчество его въ этой области оказывается и нецужно, и даже нерѣдко почти невозможно: иначе его не поймутъ окружающіе. Тѣмъ не менѣе, стремленіе создавать *свой* собственный языкъ настолько сильно у человѣка въ дѣтскомъ возрастѣ, что т. наз. дѣтскіе языки вовсе не представляютъ исключительнаго явленія, а школьные искусственные языки являются принадлежностью, вѣроятно, всякаго младшаго класса въ среднеучебномъ заведеніи. Однако, будучи окруженъ говорящей средой и, стало быть, находясь въ условіяхъ благоприятныхъ для возникновенія рѣчи, ребенокъ начинаетъ понимать, для чего языкъ служить, только тогда, когда достигнетъ извѣстнаго психическаго развитія, изслѣдованіе котораго такимъ образомъ входитъ въ нашу задачу.

Духовный складъ ребенка отличается извѣстными особенностями, которыя присущи человѣку на низшихъ стадіяхъ культурнаго развитія, т. наз. дикарямъ. Это—неустойчивость вниманія, легкая возбудимость, которая разряжается въ формѣ бурныхъ выраженій чувства, преобладаніе аффектовъ надъ мыслью и т. под. Какъ увидимъ ниже, въ слѣдующей главѣ, дикарь не можетъ быть названъ вообще представителемъ дѣтства человѣчества, но извѣстныя психическія особенности, обычныя и у дѣтей, должны объясняться пережитками въ эволюціи человѣчества духовныхъ свойствъ весьма отдаленныхъ поколѣній. Такимъ образомъ, изученіе дѣтской психологіи переноситъ насъ до извѣстной степени въ минувшія эпохи жизни современнаго культурнаго человѣчества, позволяя заглянуть въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ его очень отдаленное прошлое.

Конечно, и это утверждение должно приниматься съ большой осторожностью, такъ какъ первобытный человѣкъ при той умственной беспомощности, которую обнаруживаетъ нашъ современный ребенокъ, не былъ бы способенъ къ борьбѣ за существованіе. Въ области логическаго мышленія и онъ, конечно, былъ очень слабъ, но извѣстные навыки въ поискахъ пищи, въ защитѣ отъ врага и въ нападеніи на него должны были передаваться изъ поколѣнія въ поколѣніе уже въ ту пору, когда человѣкъ еще не сдѣлался существомъ говорящимъ и мыслящимъ. Отъ этого—до—человѣческаго прошлаго, можетъ быть, кое-что дошло и до насъ.

Американскій психологъ, Стенли Голль, основатель „педологіи“, указываетъ на нѣкоторыя особенности дѣтской психики, которыя представляютъ, по его мнѣнію, атавистическіе признаки нашей расы. „Обнаруживающееся въ самомъ раннемъ дѣтствѣ стремленіе хвататься за волосы и бороды взрослыхъ и судорожнымъ образомъ вцѣпляться въ нихъ указываетъ, очевидно, на атавистическое отношеніе къ необходимости, представлявшейся антроподамъ вслѣдствіе ихъ жизни на деревьяхъ крѣпко держаться за волосы родителей“¹⁾. Если здѣсь Стенли Голль заходитъ даже слишкомъ далеко, такъ какъ съ такой же цѣпкостью дѣти хватаются за все выдающееся на лицѣ наклонившихся къ нимъ взрослыхъ, за уши и за носъ, какъ и за свѣшивающіеся волосы, то въ другихъ случаяхъ передъ нами, дѣйствительно, почти несомнѣнные случаи атавизма. Одновременно съ появленіемъ зубовъ у ребенка обнаруживается сильное „психическое стремленіе“ пользоваться ими такъ же, какъ звѣри. Какъ животныя, дѣти облизываютъ предметы, чтобы познать ихъ; атавизмъ проявляется у младенцевъ въ упорныхъ попыткахъ скинуть съ себя всякую одежду, въ ихъ страхѣ передъ горящими глазами, скрежещущими или просто большими зубами. Въ высшей степени характерно въ смыслѣ атавистическаго расположенія дѣтей и ихъ отношеніе къ мѣху: дѣти, которыя никогда не видѣли ни кошки, ни собаки, пугаются при видѣ мѣха, причемъ нѣкоторыя боятся сѣраго мѣха, другія чернаго или пестраго. Полугодовые или восьмимѣсячные младенцы испытываютъ настоящій инстинктивный страхъ, когда имъ показываютъ муфту, боа или даже простой мѣховой воротникъ, и быть можетъ, Стенли Голль правъ, что, какъ страхъ дѣтей передъ мѣхомъ, такъ и особое пристрастіе къ мѣхамъ у нѣкоторыхъ людей являются пережитками тѣхъ временъ, когда человѣкъ жилъ еще очень близко къ животнымъ²⁾. Пережиткомъ же первобытной психики, сближа-

¹⁾ Статья „Einige Seiten des ersten Ichgeföhls“ въ сборникъ „Ausgewählte Beiträge zur Kinderpsychologie und Pädagogie von Dr. G. Stanley Hall.“ 1902. О Стенли Голлѣ см. статью А. П. Нечаева въ „Русской Школѣ“ 1903, № 9.

²⁾ Статья Стенли Голла „Eine Untersuchung über die Furcht“ въ томъ же сборникѣ.

ющимъ ребенка съ животнымъ, является тотъ страхъ, который внушаютъ ему движущіеся предметы. „Самостоятельное движеніе представляется наиболѣе бросающейся въ глаза особенностью животной жизни, и Дарвинъ, Бруксъ и др. описывали страхъ собакъ передъ предметами, которые двигались вслѣдствіе вѣтра или движенія незамѣтной нитки“, (ibid. 414). Перья, летящія по воздуху или шевелящіяся сами собою, сухіе листья, медленно падающіе на землю, и т. под. внушаютъ младенцамъ паническій ужасъ. Я не стану останавливаться на дальнѣйшихъ примѣрахъ такихъ атавистическихъ симпатій и антипатій, присущихъ дѣтскому возрасту. Но, конечно, и въ этой области нельзя заходить слишкомъ далеко, не рискуя увлечься собственной фантазіей. Какъ образчикъ таковой, я приведу слова одного англійскаго автора, писавшаго о дѣтской рѣчи. Именно, С. Бекманъ утверждаетъ, говоря о постепенномъ развитіи правильнаго произношенія звуковъ въ дѣтской рѣчи, что это развитіе повторяетъ (recapitulates) тѣ формы, которыя когда-то, въ отдаленномъ прошломъ, пережили взрослые индивидуумы той же самой расы. „Индивидуальная дѣтская рѣчь показываетъ, каково было это дѣтство языка у цѣлой расы, и словарь современнаго человѣческаго ребенка въ возрастѣ двадцати мѣсяцевъ соответствуетъ приблизительно рѣчи взрослыхъ до человѣческихъ предковъ ребенка“. ¹⁾ Между тѣмъ языкъ есть особенность именно только человѣка.

Не заходя, однако, настолько далеко, чтобы говорить о человѣкоподобныхъ предкахъ современнаго ребенка, мы все-таки имѣемъ право искать аналогичныя его психикѣ явленія въ такихъ духовныхъ особенностяхъ дикарей, которыя имѣютъ несомнѣнное отношеніе къ ихъ рѣчи, и потому будутъ рассмотрѣны въ слѣдующей главѣ. Но, какъ уже указано выше, это только аналогія. По существу между „дикарствомъ“ и дѣтствомъ та принципиальная разница, что первое предполагаетъ установившееся духовное состояніе, тогда какъ дѣтство есть состояніе всесторонняго и непрерывнаго развитія. На вопросъ, для чего надобно дѣтство (à quoi sert l'enfance), одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей дѣтской психологіи, Клапаредъ, отвѣчаетъ: „дѣтство нужно для того, чтобы играть и подражать. Ребенокъ бываетъ ребенкомъ не потому, что не обладаетъ опытностью, но потому, что онъ испытываетъ естественную потребность приобрести эту опытность. Ребенокъ является юнымъ существомъ не потому, что онъ не выросъ, но потому, что такой инстинктъ заставляетъ его дѣлать все, чтобы вырости... Отроческая дѣятельность, дѣтскій интеллектъ еще вовсе не являются необходимымъ послѣдствіемъ простаго недостатка опыта или развитія, пользуясь вульгарнымъ выраженіемъ. Неудовлетворительность функций недостаточна для того, чтобы создать дѣтскій типъ.

¹⁾ S. Buckman. The speech of Children. The Nineteenth Century. 1897.

Так напр., коровѣ, конечно, очень многого не хватаетъ въ смыслѣ мыслительныхъ способностей или общественныхъ добродѣтелей, тѣмъ же менѣе, вѣдь это же не ребенокъ. То, что дѣлаетъ извѣстное существо ребенкомъ, заключается не въ томъ фактѣ, что оно мало знаетъ, но въ томъ, что оно желаетъ знать, что оно стремится сдѣлаться большимъ¹⁾. Въ этихъ словахъ прекрасно выражено основное различіе между культурнымъ ребенкомъ и некультурнымъ взрослымъ человѣкомъ, который во многихъ отношеніяхъ такъ и не поднимается выше уровня дѣтской психики. „Ибо ясно, говоритъ Болдуинъ въ уже названномъ мною сочиненіи („Духовное развитіе дѣтскаго индивидуума и человѣческаго рода“ I, 39), что стадіи исторіи человѣческой жизни могутъ быть установлены на основаніи обширнаго ряда наблюденій надъ различными дѣтьми, находящимися въ различныхъ условіяхъ“.

Очень подробно рассмотрѣлъ аналогію между дѣтской и дикарской психикой А. Ф. Чемберленъ,²⁾ который, утопивъ свою собственную мысль въ безчисленной массѣ цитатъ, въ концѣ концовъ, повидимому, приходитъ къ ихъ отождествленію. По его мнѣнію, „тѣ же ключи“, съ помощью которыхъ легко проникнуть въ мысли и поступки первобытнаго человѣка, отпираютъ и всѣ двери, ведущія въ область дѣтской жизни. Дѣти и дикари одинаково смотрятъ на невосодушевленный міръ; дѣтскія представленія о предметахъ и явленіяхъ, о солнцѣ, звѣздахъ, бурѣ, представляютъ богатѣйшій матеріалъ для сравненія съ мнѣологическими вѣрованіями дикарей. Какъ эти послѣдніе, дѣти склонны къ подражанію, такъ же они вспыльчивы, такъ же склонны къ умозаключеніямъ по аналогіи и т. под. И дѣтскія игры и забавы донинѣ воспроизводятъ старый бытъ народовъ, къ которымъ дѣти принадлежатъ. „Въ настоящее время, когда мы пробѣгаемъ по деревнямъ въ ту пору года, когда у дѣтей всего больше въ ходу игрушечные луки и стрѣлы, мы видимъ, что древнее оружіе, которое у многихъ дѣвкихъ племенъ все еще занимаетъ свое смертоносное мѣсто на охотѣ и въ битвѣ, стало простымъ переживаніемъ въ видѣ игрушки“ (Тэйлоръ. „Первобытная культура“. 1896. I. 66). Этихъ данныхъ, число которыхъ можно безъ труда увеличить, достаточно для того, чтобы показать, какое значеніе въ исторіи человѣческаго рода принадлежитъ изслѣдованію дѣтскаго духовнаго и физическаго организма. Говоря о такой исключительно человѣческой особенностн, какъ языкъ, мы, конечно, должны удѣлать особенное вниманіе психологін ребенка.

Литература по психологін дѣтскаго вопроса на всѣхъ европейскихъ языкахъ громаднa и въ цѣли настоящаго изслѣдованія, разумѣется, во

¹⁾ Ed. Claparède. Psychologie de l'Enfant et Pédagogie expérimentale. 4 éd. Paris. 1911. стр. 202—203.

²⁾ Дети. Очерки по эволюціи человѣка, ч. II.

входить обзорѣніе ея, такъ какъ мнѣ придется ограничиться краткимъ изложеніемъ общаго духовнаго развитія ребенка и вопросами, относящимися спеціально къ языку. Въ примѣчаніяхъ названа литература, которой я пользовался въ настоящемъ очеркѣ¹⁾. Остановимся сначала на обзорѣ первыхъ лѣтъ младенчества.

„Новорожденный ребенокъ, по выраженію Вирхова, представляетъ собою существо, надѣленное только спиннымъ мозгомъ. Это сравненіе тѣмъ болѣе точно, что физиологическія реакціи нормальнаго новорожденнаго, обладающаго хорошо устроеннымъ мозгомъ, ничѣмъ не отличались бы отъ реакцій такого же ребенка, но только лишенаго головного мозга. Дѣйствительно, любопытно отмѣтить, что физиологія ребенка безъ мозга совершенно такова же, какъ и у самаго здороваго новорожденнаго младенца: это существо, обладающее только рефлексами. Изъ этихъ рефлексовъ первымъ по времени оказывается крикъ; кромѣ того, слѣдуетъ упомянуть о сосаніи, которое легко можно вызвать, раздраживъ губу новорожденнаго, даже не давая ему груди, или соска, или пальца; таковаго же происхожденія чиханіе, которое происходитъ при щекотаніи слизистой оболочки носа. Извѣстныя болѣе сложныя движенія являются движеніями защиты и даже представляются координированными для достиженія опредѣленной цѣли: если пощекотать или уколотъ внутреннюю сторону руки, она сжимается (Cruchet)“. Таковы же и другія рефлекторныя движенія новорожденнаго младенца, который приноситъ съ собою на свѣтъ рядъ инстинктивныхъ движеній²⁾, а также позже обнаруживающихся атавистическихъ склонностей. Насколько у него развиты органы чувства? Кусмауль констатируетъ, что раздраженіе вкуса младенца сахаромъ или хининомъ вызываетъ у новорожденнаго совершенно такія же мимическія движенія, что и у взрослого, и притомъ эта реакція обнаруживается не только у дѣтей, родившихся въ нормальный срокъ, но и у такихъ, которые родились на седьмомъ или восьмомъ мѣсяцахъ; колебалась только индивидуально степень чувствительности на раздраженіе горькимъ или сладкимъ. Такимъ образомъ, одно

¹⁾ Dietrich Tiedemanns. Beobachtungen über die Entwicklung der Seelenfähigkeiten bei Kindern. 1787. Изд. 1897. A. Kussmaul. Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen. 3 Aufl. 1896. Преферъ. Душа ребенка, (переводъ съ 7 нѣмецкаго изд.) Спб. 1912. M. W. Shinn. Notes on the development of a Child. 4 части. 1893—99, того же автора Notes on the development of a Child. 1909. Трзси. Психологія перваго дѣтства, рус. пер. 1899. B. Perez. Les trois premières années de l'enfant. 1878. Cruchet. Evolution psycho-physiologique de l'enfant du jour de la naissance à l'âge de deux ans. L'Année psychologique. 1911. Binet et Simon. Le développement de l'Intelligence chez les enfants. Année psychologique. 1908. B. A. Лай. Экспериментальная педагогика 1911. Кромѣ того, см. литературныя указанія въ примѣчаніяхъ.

²⁾ Ср. Преферъ 105. Shinn 290.

изъ важнѣйшихъ познавательныхъ средствъ для ориентировки въ мирѣ, средство, къ которому постоянно приходится прибѣгать животному, оказывается прирожденнымъ человѣку: съ инстинктивной безошибочностью новорожденный отличалъ вкусное отъ невкуснаго. По мнѣнію Прейера, новорожденные различаютъ различныя качества вкусовыхъ ощущеній. Обращаясь къ чувству осязанія, которое, какъ мы знаемъ изъ данныхъ психологіи глухонѣмыхъ, играетъ также важную роль въ распознаваніи внѣшняго міра, Кусмауль отмѣчаетъ живость реакціи на раздраженія языка, губъ, слизистой оболочки носа, рѣсницъ, ладони и пятки у новорожденнаго. Точно такъ же воспримчивъ младенецъ и къ запахамъ: „сильные запахи, говоритъ Кусмауль, производятъ на новорожденныхъ неприятное впечатлѣніе“. Ребенокъ просыпается, если ему приходится обонять во снѣ сильные запахи, но вскорѣ его чувствительность къ нимъ притупляется. Зрѣніе выражается у новорожденнаго прежде всего раздражимостью на свѣтловыя возбужденія: младенецъ обнаруживаетъ явленія свѣтобоязни, фотофобии. По словамъ Кусмауля, уже въ первые часы послѣ рожденія новорожденный расширяетъ или сужаетъ зрачки въ зависимости отъ силы свѣта, падающаго на глазъ. Шиннъ утверждаетъ, что ребенокъ поворачиваетъ голову и глаза къ лампѣ уже въ первую ночь послѣ своего рожденія. Ребенокъ, родившійся на седьмомъ мѣсяцѣ беременности, въ сумерки на второй день своей жизни поворачивалъ голову въ направленіи окна, какъ будто стремился къ свѣту. Такія крошечныя существа, вообще, уже очень индивидуально реагируютъ не только на свѣтловыя раздраженія, но и на тепловыя ощущенія, и обнаруживаютъ большія различія въ душевномъ развитіи. Большинство ихъ держитъ почти постоянно глаза закрытыми и дремлетъ, но бываютъ и такія, которыя часто раскрываютъ глаза и обнаруживаютъ извѣтную живость. Въ этомъ отношеніи любопытны старинныя наблюденія Тидемана, который подмѣтилъ правильно и ту особенность духовной жизни новорожденнаго, что его глаза слѣдятъ за движущимися предметами. Но только, если онъ воспользовался своимъ наблюденіемъ для того, чтобы противопоставить эту способность ребенка равнодушію животнаго ко всему, что не служитъ къ удовлетворенію его физическихъ нуждъ, то онъ былъ, конечно, не правъ, такъ какъ и животное (напр., собака, обезьяна) обнаруживаетъ живой и безкорыстный интересъ къ тому, что происходитъ на его глазахъ. Напротивъ, новорожденный слѣдитъ глазами за движущимся предметомъ съ полной безсознательностью. „Глаза вращаются во всѣхъ направленіяхъ, но не постоянно и не безпорядочно, а такъ, какъ будто бы они ищутъ предметы, но упорно останавливаются они только на движущихся предметахъ.“ Конечно, это еще очень далеко отъ фиксаціи предметовъ взглядомъ въ нашемъ смыслѣ слова. Фиксировать дѣти научаются значительно позже—на третьей-

шестой недѣлѣ¹⁾. Чувство слуха остается еще долго бездѣятельнымъ; только на третій день дѣти обнаруживаютъ нѣкоторую воспримчивость къ громкимъ звукамъ, но эта реакція на звукъ не есть слышаніе въ нашемъ смыслѣ слова. Что касается мускульныхъ ощущеній, то движенія ребенка еще въ утробѣ матери должны оставлять извѣстный слѣдъ въ его психикѣ и готовить пути для будущихъ сознательныхъ и цѣлесообразныхъ движеній. Этотъ вопросъ о „знаніяхъ“, которыя ребенокъ приноситъ съ собою въ жизнь изъ утробнаго существованія, конечно, не имѣетъ здѣсь никакого метафизическаго значенія. Это вопросъ не о прирожденныхъ идеяхъ, но о томъ опытѣ, который человѣкъ приобрѣлъ еще до своего рожденія. Это отмѣтилъ уже первый изслѣдователь дѣтской психологіи, Тидеманъ. „Ребенокъ охотно оставался распеленутымъ, не охотно и съ видимымъ сопротивленіемъ онъ позволялъ себя запеленать; но въ движеніи его членовъ не обнаруживалось ничего намѣреннаго, за исключеніемъ развѣ болевого ощущенія, которое ненамѣренно и непривольно приводило тѣло въ безпокойство“. Ту же мысль яснѣе выражаетъ Кусмауль, изъ сочиненія котораго я извлекаю слѣдующія разсужденія: „Довольно сложной оказывается уже психика, если, напр., рука при щекотаніи схватываетъ щекочущій предметъ, губы начинаютъ сосать палецъ или сосокъ груди, прикосновеніе хинина вызываетъ извѣстныя мимическія движенія или вѣки смыкаются подъ вліяніемъ падающаго на глаза свѣта. И въ этихъ случаяхъ движеніе сначала совершается непосредственно, какъ рефлексъ ощущенія, но къ ощущенію присоединяется не только сознаніе ощущенія, но и сознаніе выполненнаго движенія; затѣмъ сюда присоединяются мускульныя ощущенія, чувства удовольствія и неудовольствія съ соответствующими стремленіями; отсюда постепенно создаются чувственные представленія простѣйшаго рода, и наконецъ воля научается сдерживать эти движенія, подчинять ихъ или усиливать: однимъ словомъ, управлять ими въ интересахъ индивидуума. Выше всего стоятъ тѣ движенія, которыя совершаются уже непосредственно послѣ ощущенія, являясь его рефлексами, но требуютъ для своего выполненія представленій и желаній, которыя создаются у насъ подъ вліяніемъ ощущеній. Когда ребенокъ, желая ѣсть, ищетъ пицци, когда онъ поворачиваетъ свою голову въ ту сторону, на которой по его щекѣ провели пальцемъ, схватываетъ этотъ палецъ и принимается сосать его, то эти явленія уже нельзя свести просто къ рефлексамъ ощущенія; мы уже оказываемся вынуждены для объясненія ихъ привлечь ихъ къ дѣлу представленія, вызывающія движеніе. Это уже, несомнѣнно, такіе поступки, источникъ которыхъ слѣдуетъ искать только въ разумѣ, ибо это движенія, совершаемыя съ извѣстнымъ подборомъ

¹⁾ Ребенокъ Шинна началъ фиксировать предметы на 25 день, а на 33 день внимательно слѣдилъ за движущимся предметомъ и поворачивалъ вѣдѣ за нимъ голову.

средствъ, и индивидуумъ выполняетъ ихъ для того, чтобы осуществить свое желаніе. Въ тотъ моментъ, когда человѣкъ, покидая лоно матери, вступаетъ въ жизнь, онъ уже обладаетъ хорошо устроеннымъ чувствительнымъ аппаратомъ (sensorium), дающимъ ему возможность съ помощью внѣшнихъ и внутреннихъ чувствъ узнавать то, что происходитъ внѣ его и въ немъ самомъ. Кромѣ того, онъ обладаетъ большимъ числомъ превосходно организованныхъ, очень сложныхъ двигательныхъ аппаратовъ, машинъ, которыя онъ только долженъ научиться приводить въ движеніе, чтобы пользоваться ими самымъ целесообразнымъ образомъ уже безъ всякой дальнѣйшей посторонней помощи. Но новорожденный не только обладаетъ превосходными орудіями и способностью быстро и легко научиться ихъ употребленію, но онъ начинаетъ уже въ материнской утробѣ пользоваться частью этихъ орудій; несмотря на неблагоприятныя условія мѣста, онъ успѣваетъ уже собрать кое-какой опытъ и стремится примѣнить его къ дѣлу. Совершенно неправильно утверждать, что жизнь новорожденного ребенка подобна жизни растенія, какъ это дѣлали извѣстные философы (Гегель) и естествоиспытатели (Херхольдтъ, Нассе и др.). Не подлежитъ сомнѣнію, что человѣкъ является на свѣтъ съ нѣкоторымъ, хотя и темнымъ, представленіемъ о чемъ-то внѣшнемъ, съ извѣстной интуиціей пространства (Raumanschauung), со способностью локализовать извѣстныя осязательныя ощущенія, съ извѣстнымъ умѣніемъ управлять своими движеніями. Какъ иначе объяснить, что голодный младенецъ, еще ни разу не накормленный, не только ищетъ груди, но и крикомъ ищетъ ее въ той области, которая во время исканія дала ему особенно сильныя осязательныя ощущенія? Этотъ поразительный фактъ можетъ быть понятъ только при слѣдующихъ предположеніяхъ; во-первыхъ, что уже новорожденный пріобрѣтаетъ смутное представленіе о чемъ-то внѣшнемъ, что можетъ устранить непріятное ощущеніе голода или жажды, и что для этой цѣли должно попасть ему въ ротъ; во-вторыхъ, что уже новорожденный оказывается въ состояніи опредѣлять мѣсто, откуда исходило ощущеніе поглаживания (пальцемъ), и въ третьихъ, что онъ уже научился поворачивать голову по своему произволу въ ту или другую сторону... Осязаніе еще неродившагося ребенка зачастую возбуждается уже въ лонѣ матери; онъ постоянно касается стѣнокъ матки, и члены его собственнаго тѣла часто приходятъ въ соприкосновеніе другъ съ другомъ. Такимъ образомъ, еще неродившееся дитя (плодъ) имѣетъ достаточно возможности постепенно пріобрѣсти, руководясь этимъ чувствомъ, темное представленіе о внѣшнемъ мірѣ, а также при нѣкоторомъ упражненіи въ локализацию своихъ осязательныхъ ощущеній извѣстную интуицію пространства. Тѣмъ не менѣе, мы имѣемъ право сомнѣваться въ способности плода пріобрѣтать опытъ, и изъ наблюденій надъ дѣтми, родившимися на седьмой или восьмой мѣсяцы беременности, явствуетъ, что они нѣсколько быстро учатся ловко

сосать, слѣдить, поворачивать голову за умѣренно сильнымъ свѣтомъ и т. д. Изъ изслѣдованій же содержимаго кишечника или желудка плодовъ вытекаетъ внѣ всякаго сомнѣнія, что они проглатываютъ уже въ материнскомъ чревѣ амниотическую жидкость, и потому не представляется нѣвѣроятнымъ, что эта послѣдняя преслѣдуетъ цѣли питанія, и какимъ-то образомъ удовлетворяетъ жажду. Правда, она имѣетъ отвратительный вкусъ, но такъ какъ она не во всякое время обладаетъ одинаковыми свойствами, то и она, вѣроятно, способна иногда возбуждать чувство вкуса. И мы имѣемъ полное основаніе предполагать, что отъ времени до времени плодъ изливаетъ въ нее содержимое своего мочевого пузыря. Такимъ образомъ, уже во чревѣ матери плодъ обладаетъ источниками опыта, и если новорожденный приходитъ въ сильное возбужденіе отъ голода и жажды, и живо выражаетъ свое желаніе пить, то, вѣроятно, онъ руководится *воспоминаніемъ*, которое заставляетъ его искать питательныхъ соковъ внѣ его и направлять эти поиски въ ту сторону, откуда онъ получаетъ явственныя признаки существованія чего-то внѣшняго. Но только мы не должны представлять себѣ дѣло такъ, какъ будто бы уже новорожденный оказывается въ состояніи совершать волевые акты, связанные съ яснымъ самосознаніемъ и опредѣленными силлогизмами. Этому человѣкъ научается очень поздно и очень трудно. Передъ нами, несомнѣнно, инстинктивные дѣйствія, которыя вытекаютъ съ необходимостью изъ ассоціаціи извѣстныхъ ощущеній или желаній и простыхъ чувственныхъ представленій, сопровождаемыхъ сознаніемъ, которое едва-ли можетъ быть болѣе отчетливымъ, нежели у взрослого человѣка, дѣйствующаго въ полуснѣ... Въ то время, какъ чувство осязанія, а также, вѣроятно, вкусъ и чувства голода и жажды доставляютъ человѣку уже въ утробной жизни ощущенія и представленія, съ которыми связывалось упражненіе извѣстныхъ мускульныхъ аппаратовъ рукъ, шейныхъ мускуловъ, орудій сосанія и глотанія,—только уже послѣ рожденія его зрѣніе, слухъ и обоняніе доставляютъ ребенку ощущенія и представленія. Въ первыя недѣли жизни чувства слуха и обонянія не могутъ доставить еще никакихъ представленій. Но образованіе представленій съ помощью зрѣнія происходитъ, повидному, скорѣе: по крайней мѣрѣ зрѣніе возбуждается чаще и живѣе и зачастую вызываетъ чувства удовольствія и неудовольствія. Я видѣлъ, какъ т. наз. семимѣсячный младенецъ уже на второй день послѣ рожденія искалъ сумеречнаго свѣта и поворачивалъ голову по направленію къ нему. Связанное со свѣтовымъ ощущеніемъ чувство удовольствія заставляло его совершить это движеніе, которое уже не можетъ быть сведено къ непосредственному рефлексу. Новорожденный уже въ первые дни попеременно закрываетъ и открываетъ глаза. Я думаю, что эту забаву его слѣдуетъ объяснить слѣдующимъ образомъ. Когда младенецъ закрываетъ глаза, то ничтожное количество свѣта проникаетъ черезъ его вѣки, которые отъ этого полу-

чаютъ пріятное возбужденіе и вызываютъ дѣятельность мускула, поднимающаго верхнее вѣко. Но едва его коснется яркій свѣтъ, глазъ быстро закрывается снова. Вскорѣ ретина опять отдыхаетъ, умѣренный свѣтъ, который проникаетъ черезъ вѣки, снова доставляетъ ей пріятное возбужденіе, и дитя опять открываетъ глаза, и т. д. Такимъ способомъ младенецъ постепенно пріучается къ употребленію глазныхъ мускуловъ и управленію ихъ движеніями, которыя, какъ онъ уже сознаетъ, сопровождаются осязательными и, несомнѣнно, также мускульными ощущеніями. При такихъ упражненіяхъ, конечно, возникаютъ и простѣйшія чувственные представленія о свѣтѣ и мракѣ“ (Kussmaul. 48—56). Такъ совершается умственная жизнь новорожденнаго. Какъ мы видимъ, съ такимъ же разбуженнымъ чувствомъ вкуса и т. под. должны являться на свѣтъ и высшія животныя. Если у младенца первыя рефлекторныя движенія сопровождаются ощущеніемъ выполненія, то вѣдь то же самое должно происходить и у животнаго. Такимъ образомъ никакихъ особенностей психической жизни, которыя служили бы предварительной ступенію къ развитію человѣческой рѣчи, у новорожденнаго младенца не наблюдается, въ такой же мѣрѣ, какъ и у новорожденнаго животнаго. Только это послѣднее становится гораздо скорѣе самостоятельнымъ существомъ, чѣмъ человѣкъ. Въ возрастѣ отъ трехъ до четырехъ мѣсяцевъ, по анализу Крюше, ребенокъ уже различаетъ на разстояніи 4-5 метровъ людей и нѣкоторые предметы; извѣстныя дѣйствія, для совершенія которыхъ необходимо знакомство съ разстояніями, отъ совершаетъ безошибочно: такъ, онъ подноситъ палецъ ко рту, хватаетъ одной рукой пальцы другой и т. под. Руки его, когда онъ распеленатъ, находятся въ постоянномъ движеніи, за которыми дитя пристально наблюдаетъ. Въ специальной главѣ, названной интересомъ къ смотрѣнію (*interest in seeing*), Шиннъ отмѣчаетъ, что на 25 день его дитя обнаружило несомнѣнное удовольствіе и вниманіе при созерцаніи освѣщенной поверхности. „Съ этого времени до четвертаго мѣсяца почти исключительно лица привлекали его вниманіе; на пятой недѣлѣ оно начало смѣяться, смотря на лица; впервые я замѣтилъ это на 32 день, и мнѣ разъ сказали, что ребенокъ не только смѣялся, но просто хохоталъ, уставившись въ тотъ же самый день глазами на лицо отца. Съ этихъ поръ его взглядъ былъ постоянно устремленъ на наши лица, когда мы разговаривали или играли съ нимъ, при чемъ иногда дитя обнаруживало живѣйшій интересъ, выпрямляя грудку, двигая руками и ногами и т. п. Насколько этотъ интересъ возбуждался лицомъ и насколько голосомъ, я не могу сказать. На 42 день его жизни мать увидѣла тѣ же самыя проявленія интереса со стороны ребенка, которыя были вызваны лучами солнца на бѣлой поверхности, но я до третьяго мѣсяца, до 63 дня, не замѣчалъ, чтобы этотъ интересъ возбуждался чѣмъ-либо инымъ, кромѣ лица, и лишь съ этого времени такое же возбужденіе вызывалось цвѣт-

ными полосами“. Въ это время, вообще, пробуждается у ребенка вниманіе и къ предметамъ внѣшняго міра, и погремушка становится объектомъ его интересовъ. Качаясь надъ его постелью, эта игрушка вызываетъ у дитяти желаніе схватить ее, и эти попытки сопровождаются уже извѣстными звуковыми разряженіями энергіи: младенецъ что-то щебечетъ, выкрикиваетъ и т. под. Развивается у него и слухъ. „Уже съ первыхъ недѣль жизни кричащее дитя успокаивается подъ впечатлѣніемъ того или другого звука, голоса кормилицы или окружающихъ, свиста, музыкальнаго инструмента; по крайней мѣрѣ, оно сразу останавливается, что доказываетъ, что оно услышало эти звуки. Но только начиная съ третьяго или четвертаго мѣсяца, ребенокъ распознаетъ, съ какой стороны донесся до него замѣченный имъ звукъ; тогда онъ поворачиваетъ голову и глаза въ томъ направленіи, откуда онъ слышалъ звукъ, старается поднять голову на 2-3 сантиметра надъ подушкой и повернуть поднятую голову направо или налево, въ зависимости отъ случая. Привычка видѣть человѣка, производящаго шумъ или свистъ, всегда на одномъ и томъ же уровнѣ дѣлаетъ то, что звуки, доносящіеся выше или ниже, сравнительно съ этимъ уровнемъ, сначала плохо локализируются; но это воспитаніе совершается скоро: оно почти заканчивается къ четвертому мѣсяцу“. По утверженію Шиннъ, слуховыя впечатлѣнія становятся доступны младенцу уже на 6 день жизни, если не раньше, но раньше 23-го дня они не вызываютъ отчетливой реакціи. Съ 57-го дня дитя начинаетъ распознавать направленіе, откуда исходитъ звукъ, и это особенно важно, такъ какъ способность распознавать направленіе и уровень звуковъ, которые слышитъ ребенокъ, является необходимой ступенію для возникновенія рѣчи, такъ какъ иначе вмѣсто звуковъ, вмѣсто словъ, человѣкъ слышалъ бы только безсвязный шумъ. Такимъ образомъ, образованіе слуховыхъ словесныхъ представленій (правда, еще не понимаемыхъ, какъ слова) предшествуетъ возникновенію двигательныхъ образовъ: ни крикъ, ни инстинктивное щебетаніе, слишкомъ неопредѣленное и измѣнчивое, не оставляютъ въ сознаніи такихъ слѣдовъ, которые могли бы служить матеріаломъ для собственныхъ попытокъ издаванія звуковъ, артикулированныхъ въ видѣ слова или его элементовъ. Это только упражненія дыханія, голосовыхъ связокъ и органовъ артикуляціи звуковъ,—упраженія, необходимыя для *будущаго* развитія языка, но въ *настоящемъ* еще не представляющія матеріала для него. Точно также и въ развитіи разума младенецъ 3-4 мѣсяцевъ еще не выходитъ изъ стадіи предварительнаго накопленія силъ; онъ кое-что распознаетъ, уже иногда пытается подражать, уже явственно радуется или огорчается. Прорѣзыванію зубовъ Тидеманъ приписывалъ огромное интеллектуальное значеніе: руки, которыми младенецъ прежде мало пользовался, такъ какъ въ этомъ не было надобности, теперь все тянутся ко рту, нащупываютъ болящее мѣсто. Такъ создаются новыя представленія.

Къ восьми мѣсяцамъ ребенокъ достигаетъ уже значительнаго прогресса. Онъ успѣлъ вполне освоиться съ употребленіемъ своихъ рукъ и теперь забавляется уже не пальцами, но игрушкой, ключами, одѣяломъ: однимъ словомъ, всѣмъ, что можетъ схватить руками; особенно же онъ любитъ ловить собственныя ноги, сбрасывая съ нихъ всякое покрывало. Вѣроятно, инстинктивно онъ совершаетъ рядъ движеній, которыя содѣйствуютъ пока сидѣнію безъ посторонней помощи, а потомъ и ходьбѣ. Но рядомъ съ этимъ у младенца развиваются и умственныя способности. „Подражательность не подлежитъ сомнѣнію; ребенокъ протягиваетъ обѣ руки навстрѣчу тому, кто протягиваетъ руки ему, или поднимаетъ ихъ вверхъ, если продѣлать тотъ же жестъ передъ нимъ. Если ему говорятъ *a* или *па*, или *та*, онъ внимательно, очень серьезно смотритъ на того, кто это произноситъ, и отчетливо произноситъ самъ сходное или соедѣнное слово, напр. вм. *па—та* и наоборотъ; можно продѣлать тотъ же опытъ и на разстояніи, произнося громкимъ голосомъ гласный *a* или простой слогъ со звукомъ *a*; рѣдко случается, что ребенокъ не попытается повторить услышанный звукъ, не видя человѣка“. (Cruchet). Развитие памяти въ этомъ возрастѣ обнаруживается и въ той радости, съ какою ребенокъ тянется къ любимымъ людямъ, которыхъ онъ не видалъ нѣкоторое время, иногда цѣлыя недѣли. Этимъ замѣчаніемъ о памяти и здѣсь ограничусь, такъ какъ къ развитію отдѣльныхъ умственныхъ способностей въ дѣтскомъ возрастѣ еще придется вернуться въ дальнѣйшемъ изложеніи. Здѣсь, въ схематическомъ обзорѣ общаго развитія младенца, достаточно отмѣтить, что въ возрастѣ семи-восьми мѣсяцевъ ребенокъ обнаруживаетъ уже вполне дифференцированныя чувства радости, гнѣва, страха, зависти и т. под. Онъ оказывается способенъ уже и къ извѣстной дисциплинѣ и удерживается отъ шалостей, вспомнивъ о запретѣ.

Около года нормальный ребенокъ начинаетъ уже ходить: сначала онъ привыкаетъ садиться самъ, потомъ передвигается на четверенькахъ, потомъ онъ учится становиться на ноги и стоять, придерживаясь за какой-нибудь предметъ, наконецъ онъ приобретаетъ послѣдній важный навыкъ, и уже стоитъ, ни за что не держась. Около года или 15 мѣсяцевъ весь этотъ сложный процессъ остается, обыкновенно, уже позади, и рѣчь младенца приобретаетъ характеръ сознательнаго произнесенія отдѣльныхъ слоговъ или двусложныхъ словъ для обозначенія предметовъ и чувствъ. Подражательность приобретаетъ различныя формы: отчасти это подражательность безсознательная, какъ въ первый періодъ, т. е. простое повтореніе воспринятыхъ зрѣніемъ чужихъ дѣйствій, отчасти уже цѣлесообразное приспособленіе къ требованіямъ жизни съ помощью наиболѣе совершеннаго воспроизведенія чужихъ цѣлесообразныхъ дѣйствій. Въ этомъ же возрастѣ наблюдается и начало человѣческой личности. Ребенокъ, который до того времени былъ покорнымъ предметомъ въ рукахъ воспита-

телей, теперь уже обнаруживаетъ неудовольствіе по поводу тѣхъ или другихъ подробностей своего обихода, сердится, когда его одѣваютъ или причесываютъ; и къ людямъ онъ начинаетъ относиться по разному: къ инымъ съ нескрываемой симпатіей, къ другимъ съ такой же антипатіей. При этомъ годовалый ребенокъ уже, несомнѣнно, сознаетъ свою привлекательность для нѣкоторыхъ людей, рисуется и позируетъ. Онъ держится иногда „неестественно“,—лучшее доказательство того, что въ немъ уже пробудилась личность.

Къ двумъ годамъ ребенокъ становится уже маленькимъ человѣкомъ. Онъ не только хорошо ходить, но и бѣгаетъ, прыгаетъ, качается на ногахъ или пробуетъ танцевать, взбирается по лѣстницамъ и осторожно спускается съ нихъ. По прежнему и даже еще въ большей степени онъ любитъ подражать взрослымъ, а иногда даже и животнымъ, въ чемъ обнаруживается сильное стремленіе узнавать новое. Словарь его еще очень скуденъ, но все же онъ уже можетъ сложить коротенькую фразу въ два-три своеобразно расположенныя слова. Однако, потребность сообщаться съ посторонними въ ребенкѣ уже очень сильна, и за неимѣніемъ словъ, онъ прибѣгаетъ къ жестамъ, хватаетъ взрослыхъ за платье и подводитъ ихъ къ шкалу съ игрушками или буфету. На картинкахъ онъ распознаетъ знакомые ему предметы и при видѣ изображеній, которыя возбуждаютъ въ немъ сильныя эмоціи, выражаетъ свое чувство восхищенія смѣхомъ, подражаніемъ крику животного, нарисованнаго на картинкѣ, и т. под. Нравственная жизнь также пробуждается, принимая нерѣдко несимпатичныя формы сознательнаго эгоизма, лукавства, злобы, иногда же выражаясь трогательными проявленіями любви и состраданія. Въ этомъ возрастѣ уже обнаруживается очень ярко та психическая неустойчивость, которая, вообще, свойственна дѣтскому возрасту, какъ и духовной жизни низшихъ человѣческихъ расъ. Быть можетъ, къ двумъ годамъ уже намѣчаются и такія особенности характера, которыя присущи разнымъ поламъ. „Еще до истеченія двухъ лѣтъ маленькая дѣвочка, которая едва умѣетъ стоять на ногахъ, обладаетъ болѣе нѣжными, мягкими, округленными жестами; она овладѣваетъ предметами съ меньшей порывистостью и ласкаетъ ихъ съ большей нѣжностью. Она отличается особеннымъ пристрастіемъ къ кукламъ, вѣчно прячется за юбки матери, играетъ въ материнство. Стоитъ взглянуть, какъ отвѣчаетъ двухлѣтній мальчуганъ на вопросъ, не дѣвочка-ли онъ. Онъ отвѣчаетъ отрицательно или вовсе не отвѣчаетъ, всѣмъ своимъ видомъ обнаруживая отрицательный отвѣтъ: въ немъ уже пробудилась гордость самца“. (Cruchet).

Трехлѣтній ребенокъ не только повторяетъ чужія отдѣльныя слова, но можетъ повторять и фразы въ 6 слоговъ, и двѣ какія-нибудь однозначныя цифры (3-7, 6-4). На картинкѣ его не столько интересуется сюжетъ, сколько признаніе въ изображаемомъ предметѣ знакомаго ему.

Трогательная картинка, изображающая старика съ дочерью, замерзающих на скамейкѣ парка, или тюремнаго узника, взбравшагося на постель къ окну, или двухъ бѣдняковъ, старика и мальчика, перевозящихъ свой скудный скарбъ, въ гололедацу, на ручной тележкѣ,—такія картинки (онѣ воспроизведены въ статьѣ Бине и Симона „Le développement de l'intelligence“ *Année psych.* 1911) заинтересовываютъ трехлѣтняго ребенка не сюжетомъ, но тѣмъ, что на нихъ изображены „господинъ“, „дама“, „папа“, „телѣжка“, „мальчкѣ“ и т. под. Передъ интересомъ нахождения знакомыхъ предметовъ совершенно отступаетъ на задній планъ интересъ къ тому, что дѣлаетъ этотъ найденный „дядя“: ребенокъ скажетъ „постель“, „столъ“, но не отвѣтитъ: „онъ спитъ“. Иногда происходитъ перечисленіе нарисованныхъ предметовъ: на картинѣ, изображающей тюремную камеру, „два стола, стулъ, постель, чашкѣ“, на картинѣ перевозки мебели бѣдняками: „телѣга, господинъ, ведро, корзинка“, на картинѣ замерзанія ночью старика и дочери: „господинъ, дама, скамейка“. Это, дѣйствительно, пока еще исключительно процессъ „отожествленія предметовъ“, конечно, въ высшей степени важный для развитія всей духовной жизни человѣка и въ томъ числѣ языка.

Въ четыре года ребенокъ уже долженъ уметь называть предметы своего обихода; въ трехлѣтнемъ возрастѣ эта задача не всегда удается. Въ этомъ возрастѣ дитя уже должно уметь говорить, и за дальнѣйшимъ его погоднымъ развитіемъ, которое доведено въ названной статьѣ Бине и Симона до 13 лѣтъ, я уже не стану здѣсь слѣдить. Вместе этого я обращусь къ изученію развитія въ дѣтскомъ возрастѣ тѣхъ способностей, которыя необходимы и для возникновенія языка, и остановлюсь на дѣтской нехикѣ въ томъ возрастѣ, когда ребенокъ еще не способенъ говорить. Особенностью душевной жизни ребенка, которая сближаетъ его съ животной, заключается въ „аффективномъ“ ея характерѣ: иными словами, въ томъ, что логическій элементъ отступаетъ на задній планъ передъ чувствами, раздраженіями чувствительной стороны человѣка, эмоціями. Анализъ воспоминаній о дѣтствѣ даетъ весьма поучительную въ этомъ отношеніи картину. Въ нашей и въ другихъ литературахъ имѣется весьма цѣнный матеріалъ для изученія вопроса о томъ, какой характеръ (по крайней мѣрѣ, по воспоминаніямъ взрослыхъ) имѣетъ дѣтская жизнь. Было бы очень интересно пересмотрѣть и проанализировать этотъ матеріалъ, но такая задача, разумѣется, выходитъ изъ рамокъ настоящаго изслѣдованія, и я ограничусь немногими замѣчаніями. Французскій психологъ, Дюгасъ, посвятилъ любопытную статью аффективнымъ воспоминаніямъ своего дѣтства¹⁾. „Я вижу себя около матери, которая говоритъ со мной такимъ тономъ, какимъ родители говорятъ исключительно съ дѣтьми,

¹⁾ L. Dugas. Mes souvenirs affectifs d'enfant. *Revue Philos.* 1909, т. 68.

когда имъ нужно обратиться къ нимъ, какъ къ взрослымъ. Мать моя умираетъ и чувствуетъ, что ей не спастись; она жалѣетъ меня и себя самое и говоритъ мнѣ: „Если твоя мама умретъ, ты будешь ее вспоминать“? Должно быть, она произнесла эти слова безразличнымъ голосомъ, потому, что она не хотѣла волновать меня своимъ видомъ; быть можетъ, она и дѣйствительно не была какъ-нибудь особенно взволнована въ эту минуту; можетъ быть, она предложила мнѣ этотъ вопросъ, дѣйствительно, потому, что хотѣла *узнать*. Но нужно полагать, что она пожалѣла о томъ, что задала мнѣ этотъ вопросъ, когда увидѣла, какой тревожный и вопросительный взглядъ я бросилъ на нее, какой смущенный видъ у меня явился. Я не думаю, что какъ-нибудь особенно разнѣжился, что, напр., бросился въ ея объятія; я подчинился вліянію ея спокойнаго естественнаго тона, и мнѣ въ голову не пришло, что она ждетъ отъ меня чего-нибудь большаго, какого-нибудь слова или, по крайней мѣрѣ, жеста, который обнаружилъ бы привязанность. Тогда моя мать, должно быть, сказала, тихонько отстраняя меня отъ себя: „Ну, теперь, милый, иди играть на дворъ“! И я пошелъ вдоль стѣнки, но не игралъ, а только притворился что играю, копаясь въ стѣнѣ палочкой, чтобы придать себѣ видъ спокойнаго человѣка. Потомъ я глубоко задумался по поводу того, что услышалъ. Боязни потерять мать я противопоставлялъ упорный ребяческій оптимизмъ; я признавалъ эту боязнь пустой и неосновательной. Но достаточно было, чтобы она опредѣленно формулировалась, чтобы она больше не выходила у меня изъ головы. Я представлялъ себѣ возможность несчастія, что я буду мальчикомъ безъ мамы; вѣдь сама мама сказала мнѣ объ этомъ, и меня охватило чувство полной покинутости, совершеннаго одиночества. Въ этотъ день было, вѣроятно, воскресенье: домъ былъ пустъ, на дворѣ никого не было. Должно быть, была осень, сѣрое небо, въ саду не было зелени. Но этого послѣдняго я твердо установить не могу; пожалуй, я этого и не помню; мнѣ только такъ кажется, я такъ предполагаю; можетъ быть, я уже впоследствии присоединилъ въ своемъ воображеніи пейзажъ, который соответствовалъ состоянію моей души. Единственная вещь, которую я помню твердо, это то, что *идея* сиротства, нѣтъ, даже просто смутный страхъ, вызванный этой идеей, которую я плохо понималъ, проникла въ меня, поразила меня до остолбенѣнія, подавила меня, наполнила меня чувствомъ какой-то неопредѣленной печали. Это было чувство, которое доминировало надъ всѣми моими воспоминаніями, которое ихъ вызывало, заставляло подниматься, группировало ихъ и опредѣляло. Въ сущности говоря, единственное, что осталось въ моемъ воспоминаніи, это чувство. Я не помню рамокъ, въ которыхъ разыгралась эта сцена; я вижу только уголь двора или, точнѣе, уголь стѣны, передъ которой я остановился и задумался; я вижу только, но смутно и очень спутанно, силуэтъ моей матери, которая сидѣла на низкомъ креслѣ, а я

передь ней стоялъ; я знаю, что она была одѣта въ домашнемъ неглижѣ, и что мнѣ было бы пріятнѣе, если бы она была одѣта хорошо. (У дѣтей бывають такія идеи среди самыхъ серьезныхъ мыслей). Но остальное, рѣшительно все остальное, я только угадываю, восстанавливаю, и именно припомнившееся чувство руководить мной въ этой работѣ восстановления, воображенія, которую я не смѣшиваю съ самостоятельнымъ пробужденіемъ настоящихъ воспоминаній. Восстановленіе, совершенное съ помощью воображенія, остается чрезвычайно скуднымъ. Такъ, напр., совершенно ускользають отъ меня черты лица моей матери; я даже не пытаюсь восстановить ихъ въ своей памяти, такъ я убѣжденъ, что не могу сдѣлать это, до такой степени мнѣ не хватаетъ мнемоническихъ данныхъ; точно также я не воображаю себѣ звука ея голоса; у меня осталось только общее представленіе (*une vision*) или схематическій и отвлеченный образъ, *какой-то*, или *вѣрнѣе никакой*. Такимъ образомъ, это воспоминаніе дѣтства свелось къ самымъ немногимъ чертамъ, какія только можно представить; его психологическій интересъ, можно сказать, заключается въ самой скудости его. Это воспоминаніе смутное, лишенное образовъ или представлений въ собственномъ смыслѣ слова“.

Этотъ мастерской анализъ типическаго дѣтскаго воспоминанія обнаруживаетъ, какъ бѣдна психическая жизнь ребенка сравнительно съ жизнью взрослого познавательными элементами, какъ скудно даже воображеніе ребенка. Аффективная сторона имѣетъ настолько сильный перевѣсъ передъ дѣятельностью ума въ жизни дитяти, что на почвѣ того или другого чувства развивается и эта послѣдняя дѣятельность. У иныхъ людей этотъ родъ памяти преобладаетъ и впоследствии, у другихъ получаютъ перевѣсъ представленія о предметахъ, мысли, и они-то находятъ свое выраженіе въ памяти о прошломъ. Но, какъ глубоко залегшимъ въ интеллектъ человѣка наслѣдіемъ прошлаго, ребенокъ живетъ прежде всего чувствами и ихъ вѣдѣніями.

Анализъ Дюгаса подтверждается воспоминаніями, правда, менѣе систематичными и полными, другихъ писателей, особенно беллетристовъ. Въ русской литературѣ мы находимъ, напр., весьма цѣнные для психологич. автобіографическія замѣтки Карамзина. Его воспоминанія о матери отличаются тѣмъ же аффективнымъ характеромъ, что и у Дюгаса. „Душа Леонова образовалась любовью и для любви... Любовь питала, согрѣвала, тѣшила, веселила его; была первымъ впечатлѣніемъ его души“. „Сколько разъ въ день, въ минуту, нѣжная родительница цѣловала его, плакала и благодарила Небо, сколько разъ и онъ маленькими своими рученками обнималъ ее, прижимаясь къ ея груди: голосъ его тверже и тверже проносилъ: „Люблю тебя, маменька!“ Эта утрированная чувствительность въ духѣ литературной школы слишкомъ ярко подчеркиваетъ фактъ аффективныхъ переживаній дѣтскаго возраста, но самый фактъ переданъ вѣрно. „Об-

разъ твой священный, милый въ груди моей напечатлѣвъ и съ чувствомъ въ ней соединивъ“, восклицаетъ Карамзинъ (см. изслѣдованіе В. В. Сиповскаго „Н. М. Карамзинъ, авторъ Писемъ русскаго путешественника“. 1899). Приведу еще нѣсколько данныхъ изъ нѣмецкой литературы. ¹⁾ Такъ, Л. Рихтеръ, извѣстный нѣмецкій художникъ, рассказываетъ слѣдующее: „Однимъ изъ самыхъ раннихъ моихъ воспоминаній является визитъ къ дѣдушкѣ Мюллеру, у котораго была маленькая лавка и домъ съ очень большимъ садомъ. По дорогѣ къ дѣдушкѣ мы проходили мимо одного дома, передъ которымъ лежалъ прекрасный лугъ съ массой голубыхъ колокольчиковъ и бѣлыхъ астръ. Этотъ лугъ до такой степени завладѣлъ моимъ вниманіемъ, что я просто не могъ двинуться съ мѣста. Когда же я пришелъ къ дѣдушкѣ и бабушкѣ, получилъ сладкаго и бѣгалъ рысцою передъ домомъ, а было мнѣ тогда года три, мнѣ опять вспомнились прекрасныя астры“. Это воспоминаніе восходитъ къ трехлѣтнему возрасту, какъ и „первое настоящее“ воспоминаніе Генриха Зейделя („Von Perlin nach Berlin“) о слонѣ, между ногъ котораго пробѣгалъ пони, и о деревенскихъ мальчишкахъ. Аффективный характеръ этихъ воспоминаній обнаруживается вполне отчетливо именно въ воспоминаніяхъ объ этихъ послѣднихъ. „Городскіе мальчики были народъ, на который я привыкъ смотрѣть со смѣшаннымъ чувствомъ ужаса и презрѣнія. Необычайная увѣренность ихъ осанки, благородная дерзость, съ которой они смотрѣли на меня и критиковали меня, высокомеріе, которое обнаруживалось во всѣхъ ихъ рѣчахъ и поступкахъ—я видѣлъ, что они не считались даже съ силой закона и смѣялись надъ полиціей: однимъ словомъ, все это, вмѣстѣ взятое, создавало въ моей душѣ почтительную робость, которая была проникнута нѣкоторымъ страхомъ. И вотъ однажды, когда я шелъ съ родителями вдоль рва, наполненнаго водой, мимо насъ прошелъ стоящій представитель этого рода людей, съ руками въ карманахъ штановъ и съ шапкой набекрень. Такъ какъ я шелъ у края рва, то, проходя мимо, онъ обратился ко мнѣ съ такимъ добродушіемъ, какого я никогда не ожидалъ отъ этого жестокосерднаго племени молодыхъ героевъ, и сказалъ: „ну, ты, смотри, не упади въ канаву“. Это снисхожденіе меня и подняло въ своихъ глазахъ, и тронуло, и хотя я съ тѣхъ поръ не видѣлъ этого мальчика, однако я никогда не могъ забыть объ его благородствѣ“.

Итакъ, первыя душевныя переживанія человѣка отличаются очень скуднымъ познавательнымъ содержаніемъ. Міръ является ребенку не какъ *объектъ* познанія, но какъ *субъектъ*, вызывающій въ немъ постоянно извѣстныя чувства, то пріятно возбуждающія, то угнетающія, подавляющія

¹⁾ Они собраны въ книгѣ „Von der Kinderseele. Beiträge zur Kinderpsychologie aus Dichtung und Biographie, herausgegeben von Gertrud Bäumer und Lili Droscher“. Leipzig. 1908.

его. Въ этомъ отношеніи душевный міръ младенца едва-ли значительно разнится отъ пассивной психики животнаго.

Какъ уже было указано выше, ребенокъ въ три года съ трудомъ распознаетъ на картинѣ предметы, и называніе самыхъ обыкновенныхъ вещей оказывается для него своего рода умственнымъ подвигомъ. И тѣ воспоминанія, которыя были приведены выше, восходятъ къ тому же возрасту, къ тремъ—четыремъ годамъ. Съ этой поры, повидимому, и возникаетъ активная умственная дѣятельность у ребенка, и языкъ его приобретаетъ для своего развитія необходимыя психологическія основанія. Познавательная сторона духовной жизни ребенка получаетъ свои первыя возбужденія изъ области внѣшняго міра въ видѣ извѣстнаго чувства или категоріи чувствъ. Какая изъ этихъ категорій первична? Если принять во вниманіе, что чувство удовлетворенія, отсутствіе боли, голода, жажды, даетъ организму состояніе равновѣсія, спокойствія, а неудовлетвореніе насущнѣйшихъ потребностей организма вызываетъ крикъ и слезы, то нельзя сомнѣваться, что изъ своей алатіи „душа“ ребенка выводится именно чувствами неприятными. Инстинктивное „воркованіе“, сопровождающее движенія довольнаго, распеленатаго и барахтающагося ребенка, не есть выраженіе сознательнаго чувства, но инстинктивный спутникъ раздраженія энергіи. Другое дѣло чувства неприятныя, связывающіяся прежде всего съ жадностью грудного младенца. Отъ жести до пресыщенія, больше, чѣмъ велѣлъ бы ему простой инстинктъ самосохраненія. Онъ проявляетъ живые признаки гнѣва, если грудь его кормилицы слишкомъ бѣдна молокомъ; если къ кормилицѣ его обыкновенно груди приложенъ иной ребенокъ, онъ обнаруживаетъ явные признаки гнѣва¹⁾. Но особенно значительный познавательный элементъ несетъ съ собою чувство страха. „Страхъ необходимъ потому уже, что онъ представляетъ собою корень многихъ изъ сильнѣйшихъ интеллектуальныхъ интересовъ. Никогда какой-нибудь предметъ не обладаетъ такой заманчивостью для ребенка, какъ въ то мгновеніе, когда онъ побѣждаетъ свой страхъ передъ нимъ. Одно изъ главныхъ побужденій къ познанію и наукѣ заключается въ преодоленіи страха, и многія вещи, которыя теперь намъ особенно близки, прежде казались особенно страшными. Сознаніе, что извѣстный страхъ уже не властвуетъ *нами*, но что мы владемъ *имъ*, доставляетъ намъ счастливое чувство своей силы. Даже любовь можетъ возникать изъ нѣкоторой боязливости“ (Stanley Hall. 435).

Страхъ необходимъ прежде всего потому, прибавляетъ тотъ же изслѣдователь, что онъ привождаетъ вниманіе и воспитываетъ способность сосредоточиваться. Такимъ образомъ, переходъ отъ первичныхъ чисто пассивныхъ состояній сознанія, какія составляютъ духовную жизнь

¹⁾ G. Compaugé. L'évolution intellectuelle et morale de l'enfant. 3-ème éd. 1903 глава V. Les premières émotions et leur expression.

младенца въ первые мѣсяцы его жизни, къ состояніямъ активнымъ создается въ значительной мѣрѣ чувствомъ страха. *Неизвѣстное, новое и темнота*: вотъ что возбуждаетъ всего раньше и всего сильнѣе страхъ у дѣтей; перестать бояться—значить, *узнать* то новое, что прежде казалось неизвѣстнымъ, а потому и страшнымъ. Совершенно естественно, что сознаніе ребенка возбуждается внѣшними раздраженіями. Его душевная жизнь отличается первоначально пассивнымъ характеромъ, пассивнымъ запоминаніемъ и реакціей на извѣстныя возбужденія. Съ пробужденіемъ любопытства дитя вступаетъ уже въ новый фазисъ своего развитія, который характеризуется активнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности, стремленіемъ узнать внѣшній міръ и овладѣть имъ. Конечно, для возникновенія запаса самыхъ первоначальныхъ знаній объ этомъ мірѣ ребенокъ долженъ обладать врожденной способностью къ ассоціациямъ представлений. Память возникаетъ у младенца очень рано. По словамъ Пере, „число настоящихъ приобретений, которыя дѣлаетъ маленький ребенокъ, и его личныхъ воспоминаній оказывается значительнымъ уже въ возрастѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ отъ рожденія. Въ три съ половиной мѣсяца Марія различаетъ уже нѣкоторыя части своего тѣла. Когда мать спрашиваетъ ее: гдѣ твои ножки, она въ нерѣшительности сначала водитъ глазами справа налево, а потомъ, сгибая шею, устремляетъ ихъ на ноги. То же самое она дѣлаетъ съ платьемъ, которое она принимаетъ, повидимому, за часть своей личности. Она играетъ со своей матерью, ласкаетъ ее; когда та прижимается къ ней щекой, малютка трогаетъ своими неловкими ручками материнское лицо, ощупываетъ его и хватается съ ясно выраженнымъ желаніемъ показать свою нѣжность. По выраженію ея матери, она болтаетъ съ цвѣтами. Она питаетъ настоящую страсть къ цвѣтамъ, особенно къ самымъ яркимъ. Стоитъ ей показать раскрашенную картинку, чтобы она подскочила на мѣстѣ и, не бросая однако груди, потянулась своими трепещущими ручками къ картинѣ. Вскорѣ она оставляетъ грудь и, задыхаясь отъ желанія или удовольствія, не отрывая внимательныхъ глазъ, испуская короткіе птвичьи крики и со смѣющимся личикомъ она старается добраться до прельстившаго ее предмета, хватаетъ его обѣими руками, мнетъ его и восхищается, не замѣчая ничего, кромѣ цвѣтовъ. Слово *картинка* заставляетъ ее улыбаться“. Совершенно справедливо французскій психологъ видитъ въ этомъ сложномъ поведеніи трехмѣсячнаго ребенка сумму сложныхъ накопленныхъ впечатлѣній, которая предполагаетъ уже развитую дѣятельность памяти. Едва-ли можно считать эти запоминанія младенца хрупкими и скоро преходящими. Тѣ данныя, которыя приводятся въ сочиненіяхъ, посвященныхъ психологіи дѣтскаго возраста, указываютъ, скорѣе, напротивъ, на то, что приобретенія памяти у неговорящаго младенца достаточно устойчивы для того, чтобы ориентировать его во внѣшнемъ мірѣ, но что они обладаютъ извѣстнымъ

характеромъ, въ силу котораго въ послѣдствіи почти совершенно стираются изъ нашей памяти, такъ что воспоминанія почти всѣхъ людей восходятъ къ возрасту трехъ-четырехъ лѣтъ. Происходитъ это въ слѣдствіе того, что пріобрѣтеніе языка до такой степени преобразуетъ характеръ духовной жизни человѣка, озаряя такъ ярко сознаниемъ его переживанія, оформленные словомъ, что все пріобрѣтенное раньше уходитъ куда-то въ область подсознательныхъ воспоминаній. И эти послѣднія иногда всплываютъ то въ видѣ воспоминаній о чемъ-то бывшемъ въ какомъ-то прежнемъ существованіи, то въ состояніи гипнотическаго высказыванія.

Но, какъ основа для послѣдующихъ умственныхъ пріобрѣтеній, первыя дѣтскія воспоминанія обладаютъ, несомнѣнно, громаднымъ значеніемъ. Маленькій ребенокъ запоминаетъ гораздо раньше, чѣмъ начинаетъ говорить, — утверждаетъ Трәси. Мальчикъ шести мѣсяцевъ, который слегка обжегъ себѣ руку о горячую воду, откинулся назадъ нѣсколько дней спустя при видѣ той же воды. Въ это время дѣти узнаютъ нѣкоторые лица, обнаруживая такимъ образомъ, что въ ихъ памяти сохранились черты этихъ лицъ. Они замѣчаютъ также незнакомыя лица и отличаютъ ихъ отъ знакомыхъ, но еще не способны замѣчать отсутствіе этихъ послѣднихъ. Другой наблюдатель дѣтской психологіи, Сигизмундъ, приводитъ интересный примѣръ силы памяти у восьмимѣсячнаго мальчика. Находясь въ ваннѣ, онъ пробовалъ нѣсколько разъ подняться, хватаясь за край ванны, но это ему не удавалось. Наконецъ, онъ какъ-то схватился за ручку, около которой находился, и въ слѣдующій разъ, когда его посадили въ ванну, онъ сейчасъ же потянулся къ ручкѣ и съ видимымъ торжествомъ уцѣпился за нее и поднялся. Селли энергично указываетъ на способность маленькихъ дѣтей къ быстрымъ и прочнымъ запоминаніямъ. „Всякій, кто много разговаривалъ съ маленькими дѣтьми, замѣчаетъ онъ, навѣрное, бывалъ пораженъ силою ихъ памяти, ихъ способностью припоминать послѣ значительныхъ промежутковъ времени мельчайшія черты какого-нибудь предмета или ничтожныя событія, которыя едва-ли были замѣчены другими, и которыя, если даже и были тогда замѣчены, давно успѣли изгладиться изъ памяти. Одной маленькой дѣвчкѣ, которой было 9 мѣсяцевъ, на прогулкѣ какъ-то показали ягнятъ въ полѣ, у забора. Спустя три недѣли, когда ее вынесли на ту же дорогу, она, приблизясь къ этому забору, поразила свою мать восклицаніемъ бэ-бэ!“ Постепенное накопленіе въ памяти запаса такихъ образовъ есть необходимое условіе для разсужденія и размышленія. Именно потому, что дитя, вспоминая какой-нибудь предметъ, какъ бы видитъ его, и наоборотъ вспоминаетъ его при видѣ, оно становится вдумчивымъ и наблюдательнымъ. Прочность запоминаній въ нѣкоторыхъ случаяхъ поразительна: ребенокъ узнаетъ лицо няни иногда послѣ такого длиннаго промежутка, какъ нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ. Слѣдуетъ отмѣтить также вмѣстѣ съ Пере интенсивный характеръ этихъ воспоминаній,

которымъ дитя подчиняется до такой степени, что становится какъ бы одержимымъ ими на нѣсколько мгновеній (*obsession passagère*). Слуховыя и зрительныя впечатлѣнія подчиняютъ себѣ его сознание, и чѣмъ чаще они повторяются, тѣмъ прочнѣе залегаютъ въ немъ. Это относится, конечно, въ полной мѣрѣ и къ тѣмъ звуковымъ образамъ, которые составляютъ первоначальный словарь ребенка, тѣ простѣйшія слова, которыя постоянно произносятся около него (мама, няня, папа). Ассоціаціи между извѣстными представленіями и звуками—словами устанавливаются механическимъ образомъ. На этой быстротѣ и прочности ассоціацій зиждется и подражаніе. „Если передъ груднымъ ребенкомъ продѣлывать движеніе, часто совершаемое имъ самимъ, то онъ начнетъ успѣшно подражать гораздо раньше, чѣмъ обыкновенно принято думать“ (Прейеръ, 147). Такое полунстинктивное подражаніе, по мнѣнію Прейера, восходитъ уже къ 15-ой недѣли жизни ребенка, но лишь на 7-омъ мѣсяцѣ „попытки подражанія продѣланнымъ передъ нимъ движеніямъ головы и заостреніи рта такъ явно бросались въ глаза, что я не могъ ихъ приписывать случайному совпаденію, тѣмъ болѣе, что ребенокъ часто смѣялся, когда передъ нимъ смѣялись“.

Подражаніе ребенка долго носить тѣ же черты пассивности, какъ и вся его духовная жизнь. Въ этомъ же заключается существенное различіе между *вниманіемъ* взрослого человѣка и ребенка. У этого послѣдняго вниманіе гораздо менѣе сосредоточенно, „раскидывается“, поглощается большимъ числомъ предметовъ, чѣмъ при интенсивной концентраціи вниманія у взрослого. „Но, какъ замѣчаетъ выдающійся современный пслѣдователь дѣтской психологіи Мейманъ, это разсѣяніе вниманія основывается у ребенка не на большемъ количествѣ предметовъ, которые одновременно отчетливо воспринимаются, но на непостоянствѣ и быстрой смѣнѣ вниманія. Въ слѣдствіе этого разсѣянность (*die Distribution*) вниманія у ребенка оказывается не преимуществомъ его, какъ это бываетъ у взрослыхъ, но слабостью“¹⁾. Вмѣстѣ съ тѣмъ особенностью вниманія у дѣтей представляется его чрезвычайная неустойчивость; легкое раздраженіе отклоняетъ его совсѣмъ въ другое направленіе. Настойчивое, *фиксирующее* вниманіе развивается у человѣка, въ общемъ, сравнительно поздно, годамъ къ 11—12, хотя встрѣчаются уже семилѣтнія дѣти съ способностью напрягать свое вниманіе на одномъ предметѣ. У нихъ сильнѣе оказывается память, и ихъ сужденія о внѣшнемъ мірѣ отличаются большей точностью. Пассивный характеръ вниманія у ребенка обнаруживается и въ томъ самоуглубленіи, какое зачастую наблюдается у дѣтей, увлеченныхъ игрой. Конечно, это стоитъ въ связи съ важнымъ вопросомъ о развитіи интересовъ въ

¹⁾ *E. Meumann. Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik und ihre psychologischen Grundlagen. 2 тома. 1907 (I. 89). Есть русскій переводъ.*

дѣтскомъ возрастѣ, которому, однако, я не могу удѣлить мѣста въ настоящемъ изслѣдованіи ¹⁾). Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ и здѣсь отмѣтить, что внѣшній міръ различнымъ образомъ привлекаетъ къ себѣ вниманіе мальчиковъ и дѣвочекъ: первые въ своихъ рисункахъ отдаютъ предпочтеніе животнымъ, различнымъ сценамъ изъ жизни, пароходамъ, всадникамъ и т. п., тогда какъ дѣвочки—геометрическимъ фигурамъ, цвѣтамъ, домашней утвари и т. под. Все это, конечно, какъ особенности вниманія у дѣтей, такъ и кругъ интересовъ, отражается на способности усвоенія дѣтьми языка взрослыхъ и на составѣ дѣтскаго словаря. Подражаютъ люди тому, что привлекаетъ ихъ вниманіе, что ихъ интересуетъ, и даже бессознательное подражаніе основывается на поглощеніи вниманія извѣстнымъ раздраженіемъ. Такимъ образомъ, способности подражать должно предшествовать развитіе сосредоточеннаго вниманія; при томъ неустойчивомъ, поверхностномъ вниманіи, которое присуще младенцамъ, подражаніе невозможно. Повидимому, слѣдуетъ отнести къ области анекдотовъ рассказы старыхъ наблюдателей о способности дѣтей въ возрастѣ трехъ-четыреухъ мѣсяцевъ подражать. На основаніи того, что было мною изложено выше, приходится согласиться съ утвержденіемъ Болдуина ²⁾, что подражаніе возникаетъ сравнительно поздно, не раньше начала девятаго мѣсяца или, если согласиться съ Прејеромъ, не раньше седьмого. При этомъ оно направляется сейчасъ же на копированіе жестовъ, производимыхъ взрослыми, и звуковъ, произносимыхъ ими, т. е. на выразительную сторону человѣческой дѣятельности. „Когда возникаетъ импульсъ къ подражанію, онъ сразу становится очень сильнымъ. Въ теченіе многихъ мѣсяцевъ послѣ его возникновенія его можно, пожалуй, назвать преобладающимъ импульсомъ, если оставить въ сторонѣ регулярные жизненные процессы. Значеніе его въ развитіи душевной жизни ребенка связано преимущественно съ развитіемъ рѣчи и произвольныхъ движеній вообще“ (Болдуинъ). Конечно, это еще не есть намѣренное подражаніе, потому что у девятимѣсячнаго ребенка нельзя предполагать сознанія цѣлесообразности своихъ дѣйствій. Продолжая анализъ Болдуина (ср. также названное сочиненіе Клапареда, стр. 194), слѣдуетъ отмѣтить отсутствіе элемента *обдумыванія* у такого младенца. Передъ нами только „чувственно двигательная ассоціація“ (*les associations sensorio-motrices*) или, какъ говоритъ Болдуинъ, „здѣсь различные элементы входятъ въ составъ одного чувственаго комплекса, одного внушенія, и двигательная реакція является результатомъ этого цѣлага. Взаимная борьба различныхъ процессовъ, вѣроятно, въ большей степени совершается въ корѣ головного мозга. Такимъ образомъ, это состояніе все же надо

¹⁾ Много интересныхъ данныхъ, относящихся сюда, и литературу предмета можно найти въ книгѣ Клапареда „Psychologie de l'enfant et pédagogie expérimentale“. 1911. Ср. также Лай. Экспериментальная педагогика.

²⁾ Д. М. Болдуинъ. Духовное развитіе. I. 144 и дал.

опредѣлить, какъ *чувственно-двигательное*, а не какъ *идео-моторное*, потому что оно не требуетъ разумной памяти и способности представленія. Последніе три мѣсяца перваго года жизни ребенка, мнѣ кажется, явно принадлежатъ этого рода сознанію. Число двигательныхъ раздраженій увеличилось, эмоціональная жизнь развивается въ разнообразіи многообѣщающихъ чертъ, матеріаль сознательнаго характера имѣется на лицо; но скелетъ духовной структуры все еще просвѣчивается, и реакція является сложнымъ, но все же механическимъ отвѣтомъ на раздраженіе. У ребенка отсутствуетъ самосознаніе, самоопредѣленіе, вообще понятіе о своемъ „я“ въ сколько-нибудь развитой формѣ“. Такой же характеръ полусознательнаго дѣйствія имѣетъ и подражаніе у ребенка въ эти послѣдніе мѣсяцы перваго года, когда онъ уже начинаетъ воспроизводить слышанные звуки человѣческой рѣчи. Подражаніе становится игрой, которая даетъ человѣку цѣлый рядъ важнѣйшихъ навыковъ и приучаетъ его связывать съ извѣстными представленіями соотвѣтственныя чувства, создавая такимъ образомъ основы для пониманія чужихъ чувствъ. Подражаніе лежитъ въ основаніи пониманія.

По прекрасному выраженію англійскаго изслѣдователя, Херна, „будучи дѣтьми, мы подражали всему, не понимая, и благодаря этому подражанію, мы научились понимать“ (*Hirn. Origins of art. 1900, цит. Claparède. 201*). О болѣе позднемъ сознательномъ подражаніи я не буду здѣсь говорить, такъ какъ совершенно ясно его значеніе въ созданіи и распространеніи человѣческой рѣчи.

Подведемъ итоги изложенному до сихъ поръ. Мы видѣли, что первичныя воспоминанія человѣка отличаются аффективнымъ характеромъ, что чувства, возбуждаемыя внѣшними раздраженіями, всецѣло подчиняютъ себѣ его вниманіе, но что это вниманіе скоро утомляется и разсѣивается. Тѣмъ не менѣе, благодаря этой особенности дѣтскаго вниманія, заключающейся въ его *разбросанности* (*Distribution*), получается великая экономія въ умственной жизни ребенка: создается множество быстро возникающихъ ассоціацій, не всегда прочныхъ, но охватывающихъ огромное количество представленій. При другой формѣ вниманія, болѣе сосредоточенной, кругъ ассоціацій былъ бы гораздо ограниченнѣе. На основаніи устанавливающихся связей представленій возникаютъ и первичныя бессознательныя формы подражанія, которыя раскрываютъ передъ духовными очами ребенка не только внѣшній, но и его внутренній міръ. Такъ развиваются умственныя способности младенца, необходимыя для созданія рѣчи. Теперь передъ нами встаетъ, такимъ образомъ, другая задача: рассмотреть, какимъ характеромъ отличаются дѣтскія представленія, какова логика дѣтской мысли. Первый изъ этихъ вопросовъ имѣетъ отношеніе къ развитію словаря дѣтской рѣчи, второй къ особенностямъ умственной жизни, еще не обладающей такими средствами обобщенія и отвлеченія,

какія представляются языкомъ, или еще только недавно приобрѣтшей ихъ. При этомъ я не буду касаться интереснаго въ психологическомъ отношеніи, но не имѣющаго непосредственной связи съ моей темой вопроса о „кругѣ представлений“ у дѣтей извѣстнаго возраста (очень обстоятельно этотъ вопросъ изложенъ въ упомянутыхъ выше лекціяхъ Меймана), но остановлюсь специально на томъ типическомъ характерѣ, какимъ обладаютъ дѣтскія представленія. Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить прежде всего отличие мышления дѣтей отъ взрослыхъ. Первыя мыслятъ по преимуществу индивидуальными представленіями, т. е. представленіями не о предметѣ вообще (напр., розѣ, собакѣ), но объ опредѣленномъ предметѣ (именно, *этой* розѣ, *такой-то* собакѣ). Вызывая въ сознаниі изслѣдуемаго лица представленія, связанныя со словомъ, Мейманъ обнаруживаетъ существенное различіе между ассоціаціями взрослыхъ и дѣтей¹⁾. У послѣднихъ, какъ уже отмѣчено выше, индивидуальныя представленія встрѣчаются гораздо чаще, чѣмъ у взрослыхъ, которые, вообще, довольно мало склонны къ такимъ представленіямъ. „Я самъ, говоритъ Мейманъ (I. 224), во многихъ тысячахъ опытовъ воспроизведенія (т. е. вызванія представленій по ассоціаціи) находилъ у взрослыхъ лишь очень немного (часто всего 5—6% у отдѣльнаго лица) репродукцій съ индивидуальными представленіями. Взрослый человѣкъ почти сразу воспринимаетъ вызывающее ассоціаціи слово (das Reizwort), обыкновенно, въ качествѣ общаго или отвлеченнаго слова и переходитъ къ общимъ или отвлеченнымъ значеніямъ. Совсѣмъ иначе совершается этотъ процессъ у ребенка. Вызывающее слово онъ сразу понимаетъ, какъ *конкретное индивидуальное представленіе*, и при томъ въ большинствѣ случаевъ, какъ индивидуальное представленіе, опредѣляемое пространственными, рѣже временными отношеніями. *Вся дѣятельность представленія у ребенка оказывается въ этомъ пунктѣ совершенно отличной отъ дѣятельности взрослога*. При этомъ болѣе наглядный пространственный показатель (пространственное опредѣленіе представленія) встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ менѣе наглядный временный. Чрезвычайно любопытный фактъ указанъ Циэномъ. Я самъ провѣрялъ его на множествѣ опытовъ. Онъ заключается въ томъ, что у *болѣе* одаренныхъ дѣтей въ возрастѣ отъ 6 до 12 или 13 лѣтъ индивидуальныя представленія преобладаютъ въ болѣе сильной степени, чѣмъ у менѣе одаренныхъ дѣтей въ томъ же возрастѣ... Я объясняю это тѣмъ, что въ годы своего развитія дитя должно оставаться возможно дольше при индивиду-

¹⁾ Вопросу объ ассоціаціяхъ представленій у дѣтей посвящена монографія Циэна (Th. Ziehen): „Die Ideenassoziation des Kindes“. Sammlung von Abhandlungen aus dem gebiete der pädagogischen Psychologie und Physiologie. 1898 и 1900. Циэнь констатируетъ какъ различіе въ характерѣ ассоціаціи у взрослыхъ и дѣтей, такъ и различіе во времени, когда совершается ассоціація у тѣхъ и другихъ: у взрослыхъ значительно скорѣе, чѣмъ у дѣтей.

альныхъ представленіяхъ; оно приобретаетъ, благодаря этому, запасъ конкретныхъ наглядныхъ представленій (Anschauungsvorstellungen), изъ которыхъ впоследствии оно можетъ создать свои абстрактныя понятія“. Въ томъ же смыслѣ высказывается и Лай (стр. 129), который приводитъ статистику вызванныхъ ассоціаціей представленій у дѣтей школьнаго возраста. На первомъ мѣстѣ стоятъ зрительные образы (138 разъ изъ 283), за ними слѣдуютъ слуховые (96) и лишь значительно дальше двигательные и осязательные (49 изъ 283).

Несомнѣнно, что это же прирожденное дѣтскому уму стремленіе къ конкретнымъ представленіямъ заставляетъ ребенка объяснять непонятныя явленія простѣйшимъ уподобленіемъ ихъ знакомымъ предметамъ, образы которыхъ настолько западали въ сознаниі ребенка, что какъ бы *подсовываются* ему сами собой при необходимости объяснить нѣчто, не поддающееся непосредственному наблюденію. Быть можетъ, слишкомъ смѣло говорить объ *анимизмѣ* дѣтскихъ представленій о природѣ, сравнивать дѣтей въ этомъ отношеніи съ первобытными людьми (не говоря уже о томъ, что „анимизмъ“ и у дикарей вызываетъ большія сомнѣнія въ современной наукѣ); „антропоморфизмъ“ же этихъ представленій, повидимому, не есть остатокъ какихъ-то первобытныхъ формъ отношенія къ міру, но просто простѣйшій способъ объясненія движенія. По наблюденіямъ Ст. Голля, П. Ламброзо и многихъ другихъ, все непонятное сводится въ толкованіяхъ ребенка къ простѣйшимъ конкретнымъ представленіямъ. Напримѣръ, что такое звѣзды? На этотъ вопросъ получаютъ такіе отвѣты: это искры отъ паровой машины, или изъ печки; или Богъ зажигаетъ ихъ спичками и раздуваетъ своимъ дыханіемъ; другія дѣти говорили, что Богъ по утрамъ открываетъ двери и созываетъ звѣзды обратно. Громъ происходитъ отъ того, что „Богъ стонетъ, или стучитъ ногой, или катаетъ бочки, или вертитъ большой кубарь, или сгребаетъ снѣгъ, или съ шумомъ прохаживается, что-нибудь ломаетъ, переворачиваетъ кучи камней, велитъ ссыпать уголь, колотитъ большимъ молотомъ, все переворачиваетъ вверхъ дномъ въ домѣ, сталкиваетъ другъ съ другомъ облака“ и т. под.

Подобныхъ толкованій, которыя носятъ, повидимому, довольно случайный характеръ перваго пришедшаго въ голову объясненія, Ст. Голль приводитъ множество. О громѣ, молніи, солнцѣ, мѣсяцѣ и т. п. дѣти судятъ именно по тѣмъ конкретнымъ представленіямъ, которыя по ассоціаціи представленій вызываютъ въ ихъ сознаниі знакомые образы. Это не есть вѣра въ то, что весь міръ воодушевленъ, не есть уподобленіе дѣйствій животныхъ или атмосферическихъ и иныхъ явленій дѣятельности человѣка (антропоморфизмъ), но просто ассоціаціи съ конкретными представленіями. *Предметы* до такой степени поглощаютъ вниманіе ребенка (мы видѣли это уже выше на примѣрѣ распознаванія значенія картинки), что для *отношеній* у него уже не хватаетъ вниманія. Однако, слабость наблюдательныхъ и мысли-

тельных способностей у ребенка обнаруживается и в поверхностности его представлений, и в самой недостаточности их. Если ребенок утверждает, что „месяц бѣгаетъ кругомъ, когда бываетъ свѣтлая ночь, и люди хотятъ идти гулять, и забываютъ зажечь нѣкоторые фонари“, то еще просто перечисляетъ наглядные признаки лунной ночи, не заботясь о причинномъ омысленіи ихъ. Этимъ же объясняется и тотъ поразительный, на первый взглядъ, фактъ, что уже очень маленькія дѣти умѣютъ понимать схематическія изображенія, напр., ландшафтовъ. Какъ полагаетъ Мейманъ (I. 237), схематическій рисунокъ передаетъ только нѣсколько главныхъ частей явленія, и потому болѣе соответствуетъ представленію ребенка, чѣмъ рисунокъ, содержащій множество подробностей. Такой интересъ дѣтей къ картинкамъ иногда возникаетъ очень рано: такъ, Shinn (I. 71) утверждаетъ, что одинъ ребенокъ заинтересовался не раскрашенной картинкой, изображавшей цвѣты, уже на 113 день своей жизни; на 13-мъ мѣсяцѣ нормальный ребенокъ понимаетъ изображеніе животного на картинкѣ уже во всякомъ положеніи.

Въ рисункахъ дѣтей обнаруживаются тѣ же особенности ихъ воспріятія дѣйствительности, что и въ ихъ представленіяхъ, и будучи, какъ справедливо отмѣчаетъ Чемберленъ, описаніемъ предметовъ съ помощью нѣсколькихъ знаковъ, эти рисунки соответствуютъ описанію предмета по нѣсколькимъ или одному выдающемуся признаку, какимъ является весьма часто по своему этимологическому происхожденію слово. Какъ дѣти воспринимаютъ окружающіе ихъ предметы, пытаюсь дать ихъ изображеніе въ рисункѣ? Этотъ вопросъ давно уже привлекъ къ себѣ вниманіе изслѣдователей дѣтской психологіи и подвергся обстоятельной разработкѣ въ трудахъ супруговъ Шинъ, итальянскаго психолога Риччи, англійскаго ученаго Селли и др. Результаты различныхъ изслѣдованій въ этой области прекрасно изложены въ уже названной выше книгѣ Паолы Ломброзо, къ которой я и обращаюсь въ настоящемъ изложеніи.

Стремленіе рисовать появляется у ребенка въ возрастѣ 20—24 мѣсяцевъ, когда онъ начинаетъ изъ отдѣльныхъ черточекъ складывать подобіе человѣческой фигуры, звѣря и т. п. Что весьма характерно и важно, дитя вовсе не испытываетъ влеченія къ изображенію какихъ-нибудь незначущихъ фигуръ (геометрическихъ или декоративныхъ), но повинуется тому же стремленію къ завоеванію съ помощью своихъ чувствъ внѣшняго міра, которое заставляетъ его въ ту же пору безъ устали называть предметы. Несомнѣнно, мы видимъ здѣсь творческій процессъ, который заключается въ *созданіи* міра дѣйствительности изъ разрозненныхъ образовъ предметовъ, для чего, очевидно, необходимо ихъ омысленіе съ помощью слова или рисунка, создающаго связь представленія объ *этомъ* (определенномъ) предметѣ съ другими предметами. Такъ создаются ассоціаціи, сначала случайныя и неустойчивыя, потомъ все крѣпче залегающія въ

сознаніи, какъ основы міросозерданія. Разумѣется, при этомъ особенно полезны *символическія* представленія, и вотъ въ своихъ самыхъ раннихъ изображеніяхъ дѣти ограничиваются по большей части схемами. Человѣкъ на такихъ рисункахъ схематически изображается, по наблюденіямъ Шинъ, въ видѣ кружка съ двумя точками по краямъ и черточкой по срединѣ (голова, два глаза и носъ) и изъ какой-то извилистой черты, которая должна замѣнять собой изображеніе тѣла. Очевидно, въ представленіи о человѣкѣ у младенца доминируетъ голова съ глазами и носомъ, при чемъ, какъ оказывается, ротъ гораздо менѣе считается принадлежностью лица, чѣмъ глаза. Точно такъ же и дѣти, дѣля изъ снѣга бабу, непременно, дѣлаютъ ей глаза и носъ, но забудутъ нерѣдко про ротъ.

Голова продолжаетъ занимать вниманіе молодого художника и позже; изъ шара она превращается въ овалъ, носъ рисуется особенно отчетливо. Когда голова, какъ символъ человѣка, уже въ достаточной степени усвоена ребенкомъ, онъ начинаетъ придѣлывать къ ней и туловище, причемъ особенностью дѣтскаго искусства остается очень долго отсутствіе шеи. Къ чему она, дѣйствительно? Человѣку нужны ноги (двѣ палочки подѣ туловищемъ) и руки (двѣ черточки по бокамъ его), которыя иногда еще снабжаются нѣкоторымъ количествомъ пальцевъ. Что касается дома, то и здѣсь бросается въ глаза схематическій характеръ дѣтскихъ представлений о предметѣ: труба и дымъ являются настолько важными признаками въ изображеніи жилища, что черѣдко только ими и ограничивается все изображеніе дома. Выѣстъ съ тѣмъ, однако, у ребенка сказывается стремленіе, уже отмѣченное мною ранѣе, къ индивидуальнымъ представленіямъ: дитя рисуетъ не человѣка, но папу, маму, брата и т. д., не домъ вообще, но именно *этой* домъ, *эту* лошадь. Отличительные признаки предметовъ настолько заслоняютъ въ воспріятіи ребенка все остальное, что получаютъ постоянно курьезныя изображенія. Дитя хочетъ нарисовать солдата, и на его туловищѣ оно вырисовываетъ съ большой тщательностью необходимое количество пуговицъ; на головѣ каска, на лицѣ громадныя ушицы, но забыты руки, которыя, очевидно, для солдата, какъ такового, вовсе не являются необходимой принадлежностью. Но лицо безъ двухъ глазъ не бываетъ, и потому даже на изображеніи, обращенномъ въ профиль, мы находимъ два глаза; въ рукахъ у этой фигурки, изображающей тоже военнаго, двѣ сабли, въ каждой рукѣ по саблѣ. Офицеръ—излюбленный персонажъ дѣтской живописи, не только у народовъ, гдѣ людямъ съ дѣтства внушаютъ милитаристическіе вкусы, но и у насъ: его форма, оружіе дѣлаютъ его особенно яркимъ образомъ дѣтскихъ представлений. Съ нимъ можетъ конкурировать только одна фигура: человѣкъ съ трубкой во рту, особенно если изъ трубки кругами поднимается дымъ. Паола Ломброзо приводитъ очень любопытный рисунокъ въ профиль, на которомъ схематизмъ доведенъ до того, что изображены не только пуговицы (съ одной

стороны), но и петли для них (съ другой). Конечно, чтобы застегнуть такого человека, его надобно было бы сложить пополам, но психология дѣтской живописи до такихъ соображеній не доходитъ.

Пассивное вниманіе ребенка не приковывается къ явленіямъ обычной жизни, но все чрезвычайное сильно захватываетъ его. То же обнаруживается и въ дѣтскихъ рисункахъ, конечно, въ томъ возрастѣ, когда изъ знакомыхъ образовъ дитя начинаетъ комбинировать уже новые образы, продукты воображенія. Сначала же дѣтская живопись ограничивается фиксированіемъ на бумагѣ усвоенныхъ зрительныхъ представленій. Въ изображеніи сложныхъ сценъ, которое перѣдко совершенно увлекаетъ молодыхъ художниковъ восьми—деяти лѣтъ, передъ нами тотъ же схематизмъ; отмѣчается только или самое необходимое, или наиболѣе поразительное, „отдѣльные драматическіе характерные признаки“, какъ выражается П. Ламброзо. Подводя итоги своимъ наблюденіямъ надъ дѣтской живописью, Риччи (С. Ricci. *L'arte dei bambini*. 1887) отмѣчаетъ, что особенности ея объясняются желаніемъ дѣтей изобразить предметъ съ помощью нѣсколькихъ знаковъ. Конечно, послѣ этого правильнаго опредѣленія, бросающаго свѣтъ и на причины дѣтскихъ метафоръ въ языкѣ, нѣсколько странно звучитъ сѣтованіе того же автора, что „умъ ребенка рано отдается подробностямъ и мелочамъ, оставаясь равнодушнымъ къ возвышенному и большому: труба и гвоздь достаточны для того, чтобы дать ему представленіе о человекѣ“ (Чемберленъ. I. 271). Замѣчая самое существенное въ предметѣ, дитя совершаетъ обобщенія въ родѣ того, что называетъ *ключомъ* всевозможные блестящіе предметы, или *звездой* все свѣтлое, горящее, свѣчу, газовое пламя и т. д., или *булавкой* все то, что приходится съ трудомъ захватывать пальцами, напр. крошку хлѣба, мушку и т. п. Въ этомъ же заключается источникъ метафоръ въ языкѣ, не только у дѣтей, но и въ развитіи языка взрослыхъ: дѣвочка, называющая матовый шаръ на зажженной лампѣ *мѣсяцемъ*, оказывается такимъ же поэтомъ, какъ человекъ, говорящій про „утра часть *золотой*“ и т. п. (ср. *Селли*. *Очерки по психологіи дѣтства*. 1901, стр. 189).

Послѣ всего изложеннаго остается сказать уже немного о логикѣ дѣтей. Вопросъ заключается въ томъ, какъ совершается мышленіе дѣтей до того времени, когда они научились говорить, и какой характеръ оно носитъ въ ту пору, когда дитя еще не вполне овладѣло такимъ совершеннымъ и труднымъ орудіемъ мысли, какимъ является слово. Не подлежитъ сомнѣнію, что на первый вопросъ приходится отвѣтить въ томъ смыслѣ, что мышленіе неговорящаго ребенка руководится, какъ у животнаго, ассоціаціями.

Дитя Прейера въ годовомъ возрастѣ обнаружило, впрочемъ, довольно высокое пониманіе дѣйствительности. Въ печь почти каждый день высыпали съ шумомъ уголь; однажды стали насыпать уголь въ печь, нахо-

дившуюся въ сосѣдней комнатѣ. Ребенокъ устремлялъ взоры туда, гдѣ находилась эта печь, но ничего не увидѣлъ. Тогда онъ повернулъ голову къ той печкѣ, въ которую, обыкновенно, при немъ насыпали уголь, но она была уже наполнена. Таковъ этотъ фактъ, который даетъ поводъ Кейра (*La logique chez l'enfant*) предполагать, что мышленіе не нуждается въ словѣ. Конечно, дѣйствительное значеніе этого факта совѣмъ иное: у ребенка установилась прочная ассоціація слухового представленія о шумѣ, который происходилъ при насыпаніи угля, и зрительнаго представленія печки, въ которую сыпали этотъ уголь. И вотъ нарушеніе этой связи заставило его представить другую знакомую ему печь въ сосѣдней комнатѣ. Когда было дано одно изъ звеньевъ цѣпи, естественнымъ образомъ въ сознаніи ребенка возстало и другое звено.

Такой же процессъ происходитъ въ сознаніи собаки, которая при звукѣ птичьяго крика настораживается и бросается искать дичь, въ сознаніи самца-птицы, которая летитъ на зовъ самки и т. п. Это одинъ и тотъ же уровень мышленія образами, и примѣръ Прейера, весьма типичный для дѣтской психологіи извѣстнаго возраста, какъ разъ подчеркиваетъ эту примитивную форму дѣтскаго мышленія. Тотъ же характеръ носить и другой случай, который Кейра признаетъ „весьма поучительнымъ“. Опъ долженъ указывать на способность полугодоваго младенца совершать цѣлесообразныя „обдуманная движенія“. Случай заимствованъ изъ извѣстной книжки Линднера (*Aus dem Naturgarten der Kindersprache*. 1898). Дѣвочка, у которой изо рта выпала бутылочка, придала ей съ помощью ногъ такое положеніе, что могла съ удобствомъ сосать молоко. „Это дѣйствіе не было результатомъ подражанія, что разумѣется само собою; оно не могло также зависѣть отъ случайности; дѣйствительно, когда на слѣдующій разъ бутылочку нарочно положили такъ, что ребенокъ не могъ ничего высосать изъ нея, если бы не помогъ себѣ руками и ногами, то онъ принялся опять за тѣ же самыя манипуляціи и поступилъ такъ же, какъ въ предшествовавшей разъ. На слѣдующій день, когда дитя пило свое молоко въ томъ же самомъ положеніи, я сталъ ему мѣшать, отстранивъ его ножки отъ бутылки; но ребенокъ сейчасъ же подобралъ ихъ опять, пользуясь ногами съ такой ловкостью и увѣренностью, въ качествѣ регулятора для направленія правильной струи молока, какъ будто бы его ноги были созданы специально для этой цѣли. Отсюда слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, что дитя поступаетъ разсудительно (съ размышленіемъ) задолго до того, какъ научится говорить. Съ другой же стороны этотъ фактъ показываетъ, какъ еще несовершенно и неуклюже это мышленіе ребенка, потому что моя дѣвочка пила свое молоко такимъ неудобнымъ способомъ въ продолженіе цѣлыхъ трехъ мѣсяцевъ, пока однажды не открыла, что рука гораздо болѣе приспособлена для выполненія тѣхъ функций, которыя она совершала съ помощью ноги“. Этотъ случай, подобныхъ которому

можно найти не мало в литературѣ, посвященной дѣтской психологіи, заслуживаетъ тѣмъ большаго вниманія, что изъ него и ему подобныхъ дѣлаются обычно именно такіе выводы: ребенокъ мыслить, еще не умѣя говорить; онъ сознательно и обдуманно поступаетъ, понимая, какъ надо дѣйствовать, еще въ то время, когда не говоритъ. Такъ утверждаютъ постоянно популяризаторы дѣтской психологіи, такъ еще недавно говорили люди, открывавшіе въ дѣйствіяхъ животныхъ умъ и мысль. По существу же, наблюдение Пинднера даетъ совершенно тѣ же результаты, что и опыты съ изобрѣтательностью животныхъ (см. стр. 21—29). Какъ тамъ первая удача приводила къ дальнѣйшимъ удачамъ при повтореніи того же самаго опыта въ той же самой обстановкѣ, такъ и здѣсь обычное орудіе хватанія и отталкиванія у младенца, его вѣчно развертывающіяся изъ пеленокъ ноги, сослужило ему службу. Надо видѣть, какъ безпомощенъ младенецъ, когда его бутылочка, вывалившись изъ рта, лежитъ около его головы, хотя бы руки его были распеленаты, чтобы констатировать, что соображеніе здѣсь не причемъ. Удача оказалась случайной, а мыслительная способность полугодоваго ребенка едва ли выше „ума“ какого-нибудь изъ высшихъ животныхъ.

О томъ же, что сила ассоціацій у младенца очень велика, и что именно на этой особенноти дѣтской психологіи зиждется все будущее развитіе челоуѣка, мною уже было говорено выше. Любопытство къ движущимся предметамъ пробуждается у ребенка уже очень рано, но фактъ интересуется его самъ по себѣ, а не какъ слѣдствіе неизвѣстныхъ искомымъ причинъ. „Въ шесть мѣсяцевъ Марсель обнаруживаетъ большой интересъ къ китайскимъ тѣнямъ, производимымъ на бѣлой стѣнѣ движеніями пальцевъ. Онъ слѣдитъ за ними глазами, но постоянно поворачиваетъ голову въ сторону руки отца“. Вотъ фактъ, который въ сознаніи ребенка устанавливаетъ, вѣроятно, представленіе о связи двухъ движеній, пальцевъ и рисунковъ на стѣнѣ; два одновременныя представленія ассоцируются между собой. Компейрѣ (L'évolution intellectuelle et morale de l'enfant. 1903, стр. 201) идетъ гораздо дальше: „Есть-ли это простая подвижность глазъ и взгляда? Не есть-ли это, скорѣе, потребность объяснить себѣ, найти причину наблюдаемаго явленія?“ Для такихъ вопросовъ психологія ребенка не даетъ права. Почему только тѣнями интересуется ребенокъ, почему онъ не ищетъ причины всего? Позже онъ, дѣйствительно, ищетъ ее, когда языкъ взрослыхъ объяснить ему понятіе причины, но теперь онъ только устанавливаетъ фактъ. Процессъ запомнанія предметовъ, созданіе индивидуальныя представленій поглощаетъ теперь всецѣло умственную дѣятельность младенца. Его ассоціаціи, его рисунки, все то, что мы знаемъ съ несомнѣнной достовѣрностью о духовной жизни ребенка въ возрастѣ около года, устанавливають, что прежде всего и больше всего ему нужно составить *инвентарь* окружающаго міра. Познавъ этотъ послѣдній и раз-

вивъ у себя способность къ подражанію, дитя переходитъ къ важнѣйшей дѣятельности своего умственного развитія: оно начинаетъ *называть предметы*, которые сначала возбуждаютъ въ немъ только чувства (аффективная память ребенка), теперь же начинаютъ вызывать и безразличныя въ чувственномъ отношеніи представленія, имѣющія прежде всего познавательное значеніе. Такъ мы переходимъ къ періоду возникновенія *дѣтской рѣчи*.

Въ огромной литературѣ, посвященной этому вопросу, господствуютъ два главныя направленія¹⁾. Одно изъ нихъ ищетъ причину того, что дитя научается говорить, въ творчествѣ самого дитяти, создающаго языкъ. По мнѣнію Руссо, „такъ какъ дитя было вынуждено объяснять все свои потребности матери, и потому должно было сообщить матери больше, чѣмъ мать ему, то именно ему и приходилось больше всего придумывать, и такимъ образомъ языкъ, который оно приспособило для этой цѣли, былъ по преимуществу его собственнымъ созданіемъ“. Изъ этого мы видимъ, что Руссо еще не отдавалъ себѣ отчета въ психологическомъ значеніи проблемы; дѣйствительно, какъ могъ ребенокъ понять цѣлесообразность „языка“, хотя бы въ видѣ криковъ, какъ онъ могъ дифференцировать ихъ для выраженія *различныхъ* потребностей? Если даже допустить, что въ индивидуальныхъ отношеніяхъ между извѣстной парой матери и дитяти возникло такое пониманіе, основанное на одинаковыхъ ассоціаціяхъ между крикомъ и желаніемъ, то какимъ образомъ это пониманіе передалось и другимъ парамъ? Посредствомъ сознательнаго обученія придуманному имъ языку отцомъ другихъ своихъ дѣтей? Но это, конечно, уже переходить за предѣлы допустимаго изученіемъ первобытныхъ обществъ, не говоря уже о психологическомъ неправдоподобіи сочиненія младенцемъ, не слышащимъ вокругъ себя челоуѣческой рѣчи, какихъ-нибудь хотя бы и примитивнѣйшихъ „словъ“.

Слова Руссо восходятъ по времени къ половинѣ 18 вѣка, когда проповѣдывалась вѣра въ геній первобытнаго челоуѣка. Съ другимъ типическимъ мнѣніемъ мы встрѣчаемся въ эпоху религіи челоуѣческаго я, въ началѣ тридцатыхъ годовъ минувшаго столѣтія. Оно было высказано Шубертомъ („Die Geschichte der Seele“. 1831). Онъ указывалъ на то, что въ настоящемъ своемъ видѣ языкъ является передъ нами, какъ нѣчто завѣщанное намъ предшествующими поколѣніями, уже данное. „И это ученіе о дальнѣйшемъ распространеніи (Fortpflanzung, Fortzeugung) языка, которое предполагаетъ первоначальное, духовное созданіе его, сохраняетъ свою внутреннюю силу и значеніе, если даже мы не оставимъ безъ вниманія того высоковажнаго дара языкообразованія (Sprachgestaltung), который мы находимъ у дѣтей, у выросшихъ въ полномъ одиночествѣ и пустынѣ людей и даже у глухонѣмыхъ“. Эта способность заключается, по мнѣнію Шуберта,

¹⁾ Исторія взглядовъ дана Аментомъ въ его книгѣ „Begriff und Begriffe der Kindersprache“. 1902, а также Компере.

въ томъ, что „въ здоровомъ состояніи человѣческой природы, и даже на той низшей ступени ея развитія, которая можетъ считаться только приближеніемъ къ этому здоровому состоянію, на встрѣчу данному извнѣ побужденію говорить подымается изъ глубины души внутреннее стремленіе, которое иногда даже предшествуетъ ему“.

На одномъ изъ вопросовъ, поднятыхъ въ этой цитатѣ, слѣдуетъ остановиться, потому что въ разрѣшеніи проблемы о происхожденіи языка онъ имѣетъ, дѣйствительно, выдающееся значеніе. Это вопросъ о языкѣ людей, выросшихъ въ одиночествѣ и одичавшихъ. Съ конца 17 вѣка начинаются достовѣрныя сообщенія о рѣдкихъ и важныхъ для психологін случаяхъ такихъ одичаній¹⁾. Въ 1672 г. амстердамскій врачъ Николай Тульпъ сообщилъ о привезенномъ въ Амстердамъ 16-лѣтнемъ ирландскомъ мальчикѣ, который бѣжалъ въ дѣтствѣ изъ родительскаго дома и выросъ среди дикихъ овецъ. Это былъ совершенно одичавшій человѣкъ, жившій въ глухихъ бездорожныхъ горахъ и приобрѣвшій физическія особенности, сближавшія его съ животными. По словамъ Тульпа, „онъ не имѣлъ человѣческаго голоса, но *блеялъ, какъ овца*“, что указываетъ на присущій человѣку инстинктъ подражанія „языку“ окружающей среды. Въ 1657 году въ литовскихъ лѣсахъ былъ найденъ мальчикъ, который выросъ среди медвѣдей. Онъ имѣлъ совершенно звѣриный видъ и нравы (*mores*). „Съ большимъ трудомъ удалось научить его ходить на двухъ ногахъ, но и тогда онъ скорѣе передвигался по медвѣжьему (*ursi more*), чѣмъ ходилъ по человѣчески. У него была сухая кожа, силы его были огромны, *vox nulla nisi murmur ursinum* (кромѣ медвѣжьяго рычанія, никакихъ звуковъ); все его занятіе заключалось въ томъ, что онъ свертывался въ клубокъ, забивался по медвѣжьему въ уголъ и возился тамъ опять-таки по медвѣжьему“. Это любопытное описаніе, принадлежащее очевидцу, рисуетъ и въ дальнѣйшемъ изложеніи существо, принявшее звѣриный обликъ, медвѣжьи вкусы и крики. Подражательный инстинктъ человѣка, внѣ его сознанія, совершилъ эту удивительную метаморфозу. Въ лѣсистой, изобиловавшей медвѣдями, Литвѣ подобные случаи были, повидному, не рѣдки, и англійскій писатель Конноръ (*History of Poland*. 1698) рассказываетъ о мальчикѣ, котораго видѣлъ въ монастырѣ его соотечественникъ Клеверскеркъ. „Ему было 12 или 13 лѣтъ. Какъ только я приблизился къ нему, онъ бросился ко мнѣ, какъ будто его поразила моя одежда, и ему было пріятно видѣть ее. Сначала онъ схватилъ въ обѣ руки одну изъ монхъ серебряныхъ пуговицъ, прижался къ ней носомъ и обнюхалъ ее. Потомъ онъ вдругъ прыгнулъ въ уголъ и поднялъ странный крикъ, который имѣлъ извѣстное сходство съ медвѣжьимъ ревомъ“. Позже объ этомъ же мальчикѣ Конноръ получилъ чрезвычайно любопытное сообщеніе, что понемногу онъ началъ принимать человѣческій видъ;

¹⁾ *A. Rauber. Homo Sapiens feras oder die Zustände der Verwilderten. 1885.*

его научили ходить прямо, сидѣть за столомъ, „выражать свои желанія дикимъ и почти нечеловѣческимъ голосомъ“. Но при этомъ онъ *совершенно утратилъ память о своей жизни* и „такъ же не могъ ничего сообщить о ней, какъ мы не можемъ рассказать о томъ, что дѣлали въ колыбели“. Несомнѣнно, это забвеніе прошлаго объясняется именно той бессознательностью, которая окружала лѣсную жизнь одичавшаго ребенка, который среди звѣрей и думалъ по звѣриному, съ помощью зрительныхъ и иныхъ образовъ и ассоціацій представлений. При этомъ и медвѣжье ворчаніе, заимствованное имъ отъ окружающихъ, оставалось для него только *бессознательнымъ* выраженіемъ настроенія, не способнымъ превратиться въ языкъ человѣка, вопреки мнѣнію Руссо, приведенному выше.

Вопреки этому мнѣнію Руссо и его послѣдователей, современная наука настаиваетъ на томъ, что младенецъ долженъ *научиться* и видѣть, и слышать, и различать пространственныя отношенія. „Въ нашемъ дѣтствѣ, говоритъ проф. Равицъ¹⁾, мы должны научиться видѣть, должны научиться различать вокругъ себя отдѣльные предметы, должны научиться распознавать ихъ отношенія къ намъ, т. е. ихъ отдаленность и ихъ направленія. Появляясь на свѣтъ, никто не имѣетъ ни малѣйшаго представленія обо всемъ этомъ, ибо каждый изъ насъ рождается на свѣтъ только съ функциональной способностью видѣть, при чемъ эта возможность превращается въ дѣйствительность лишь вслѣдствіе раздраженія органовъ чувствъ, исходящаго изъ окружающаго насъ міра“. Наслѣдственность духовныхъ качествъ (*die Vererbung geistiger Eigenschaften*), апіорность представлений, понятій и т. п. рѣшительнѣйшимъ образомъ отрицаются тѣмъ современнымъ научнымъ направленіемъ, представителемъ котораго является названный ученый. Примѣры, приведенные Рауберомъ, вполне подтверждаютъ указанія Равица на позднѣйшій характеръ всѣхъ приобретаемыхъ человѣкомъ познаній, въ томъ числѣ и языка. Не имѣя возможности останавливаться здѣсь подробно на этомъ вопросѣ, я укажу на то, что и „дикий человѣкъ“, какъ глуховѣмая Лаура Бриджменъ, испытываетъ *инстинктивное* стремленіе къ выраженію своихъ чувствъ съ помощью криковъ. Такъ, найденная въ 1731 году въ Шампаньи одичавшая 10-лѣтняя дѣвочка выражала свой гнѣвъ или испугъ крикомъ, въ которомъ было нѣчто пугающее окружающихъ: такъ онъ былъ дикъ. Но артикулированный языкъ становится удѣломъ ребенка только при извѣстной выучкѣ. Иезуитъ Ювенціусъ (*Hist. Soc. Iesu, Pars V, l. 18, p. 461 Romae. 1710*, у Раубера, стр. 81) сообщаетъ о томъ, что нѣкій монгольскій царь заперъ тридцать еще не говорящихъ младенцевъ, оградивъ ихъ отъ всякаго соприкосновенія съ говорящими людьми. Ни одинъ изъ нихъ не дошелъ

¹⁾ Prof. Dr. med. B. Rawitz. Der Mensch. Eine fundamental philosophische Untersuchung. Beilage zu Heft 3 des Archivs für Systematische Philosophie. Band. XVIII. Berlin. 1912.

самостоятельными усилиями до образования артикулированного языка. То, что рассказывает Геродотъ объ опытѣ фараона Псамметиха, вполне согласуется съ вышеизложеннымъ. Этотъ фараонъ „двухъ новорожденныхъ мальчиковъ простого званія передалъ пастуху на воспитаніе при стадахъ, при чемъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы никто въ присутствіи дѣтей не говорилъ ни единого слова, чтобы они были предоставлены самимъ себѣ въ уединенной хижинѣ, и чтобы только пастухъ въ опредѣленные часы пригонялъ къ младенцамъ козъ, кормилъ бы ихъ козьимъ молокомъ и дѣлалъ все прочее, что понадобится. Все это было сдѣлано и приказано Псамметихомъ изъ желанія услышать, какое первое слово прорвется у дѣтей послѣ безсвязнаго младенческаго лепета. Такъ и было сдѣлано. Когда послѣ двухъ лѣтъ такого воспитанія пастухъ открылъ дверь и вошелъ въ хижину, оба младенца припали къ нему и, протягивая ручонки, говорили *бекосъ*“ (II. 2). Это слово, которое оказалось во фригійскомъ языкѣ въ значеніи хлѣба, конечно, не было артикулировано отчетливо, а являлось только подражаніемъ козлиному крику. Руссо едва-ли удовлетворился бы этимъ примѣромъ такъ легко, какъ египетскій фараонъ.

Въ такой рѣзкой формѣ, въ какой Руссо высказалъ свое мнѣніе о прирожденности языка у дѣтей, конечно, въ 19 вѣкѣ этотъ взглядъ не выражался. Онъ эволюционировалъ въ томъ направленіи, что для творчества рѣчи въ дѣтскомъ возрастѣ различные писатели подчеркивали необходимость активнаго участія со стороны самого ребенка и подготовки его умственныхъ способностей къ этой дѣятельности. Я не стану приводить относящейся сюда литературы, отсылая читателей къ уже упомянутому историческому очерку Аменты и къ книгѣ Компэре. Но необходимо остановиться обстоятельно на взглядахъ Компэре, который въ своей книгѣ объ умственномъ развитіи ребенка особенно тщательно изслѣдовалъ вопросъ о необходимыхъ психологическихъ предпосылкахъ дѣтскаго творчества рѣчи. Компэре исходитъ изъ взгляда, высказаннаго въ 1859 году французскимъ философомъ Мэнъ-де-Биранъ. Въ исторіи дѣтскаго развитія, говоритъ онъ, „наступаетъ моментъ, когда существованіе ребенка перестаетъ быть исключительно чувственнымъ (*sensitive*), и въ немъ начинается дѣйствовать человѣческая личность; и этотъ моментъ совпадаетъ съ тѣмъ, когда ребенокъ, который кричалъ такъ же, какъ исполнялъ всѣ другія движенія, т. е. безъ всякаго намѣренія, замѣчаетъ эти крики, эти движенія, произведенныя въ немъ безъ него извѣстной силой, не то естественной или жизненной, не то сверхъестественной или божественной, и повторяетъ ихъ по собственной волѣ съ помощью своей силы, связывая съ ними въ первый разъ намѣреніе или пониманіе“. Мы знаемъ уже, что именно этотъ процессъ, изображенный французскимъ философомъ, произошелъ въ сознаніи Лауры Бридженъ, когда отъ своихъ воплей она перешла къ крикамъ-символамъ. Но Лаура уже знала, что нормальные

люди говорятъ словами, младенецъ же долженъ еще это понять, такъ что пониманіе является необходимымъ условіемъ самостоятельнаго языковаго творчества ребенка. По мнѣнію Компэре, созданіе ребенкомъ своей рѣчи проходитъ черезъ слѣдующія стадіи развитія.

На первой стадіи мы находимъ только „голосовую жестикуляцію“, и крики младенца ничему не подражаютъ, ничего не выражаютъ; на второй „голосовыя выраженія (*les manifestations vocales*), которыя первоначально были только самовольными и автоматическими дѣйствіями, превращаются, и при томъ довольно быстро, въ рефлексы, опредѣленные акустическими впечатлѣніями. Еще до того возраста, когда дитя сможетъ повторять слова, которыя оно постепенно различаетъ все болѣе отчетливо, оно побуждается какимъ-то смутнымъ подражаніемъ къ крику, къ испусканію звуковъ; его вызываетъ на это, такъ сказать, шумъ, который поражаетъ болѣе или менѣе смутно его слухъ, и какъ будто въ отвѣтъ тѣмъ, кто говоритъ съ нимъ, онъ начинаетъ охотно что-то лепетать.“ На третьей стадіи развитія дѣтской рѣчи появляется уже элементъ сознательности; до того времени младенецъ самъ не связывалъ съ произносимыми имъ звуками какого-нибудь смысла. Теперь же, еще не придавая значенія тѣмъ звукамъ, которые онъ произноситъ самъ, ребенокъ уже начинаетъ связывать опредѣленный смыслъ съ тѣми звуками, которые онъ слышитъ, т. е. начинаетъ понимать чужія слова. За этимъ пониманіемъ естественно слѣдуетъ четвертый періодъ сознательнаго говоренія. Охарактеризовавъ каждую изъ стадій въ развитіи дѣтской рѣчи и перечисливъ мнѣнія различныхъ ученыхъ о способности ребенка создавать свой языкъ (отсюда заимствовалъ свой историческій обзоръ и В. Аментъ), Компэре останавливается на вопросѣ, въ какой мѣрѣ можно говорить о томъ, что ребенокъ изобрѣтаетъ свой языкъ.

При этомъ онъ различаетъ „три серіи фактовъ“, въ которыхъ обнаруживается самостоятельное языковое творчество ребенка: 1) дитя создаетъ само звукъ или слово, но только родители придаютъ смыслъ слогамъ, которые дитя артикулировало бессознательно; 2) дитя въ одно и то же время придумываетъ слово и опредѣляетъ его значеніе, „это случай наиболѣе любопытный, наиболѣе рѣдкій и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе спорный“; 3) наконецъ въ другихъ случаяхъ, и это бываетъ очень часто, слова для языка доставляютъ ребенку родители, но, повторяя ихъ, ребенокъ даетъ имъ собственное толкованіе и употребляетъ ихъ въ новыхъ значеніяхъ. Анализируя эти случаи, мы видимъ, что собственному языковому творчеству ребенка открывается довольно мало простора. Дѣйствительно, „созданіе“ звуковъ, которымъ только родители придаютъ извѣстное значеніе, весьма мало похоже на творчество рѣчи: „весь этотъ безконечный потокъ артикулированныхъ слоговъ, которые ребенокъ повторяетъ или варьируетъ съ неистощимой легкостью, есть не что иное, какъ

шумъ; это чисто автоматическія движенія, которыя дитя вовсе и не думаетъ утилизировать, которыя не имѣютъ никакой цѣнности въ смыслѣ знаковъ, и къ которымъ не примѣшивается ни малѣйшая частичка мысли или желанія выразиться“ (*volonté expressive*). Гораздо важнѣе второй изъ указанныхъ Компэре случаевъ, когда дитя само выдумываетъ слова, и само связываетъ съ ними извѣстный смыслъ. Въ томъ, что это происходитъ довольно часто въ позднѣйшемъ возрастѣ, когда дѣти сочиняютъ просто свой собственный языкъ, конечно, нельзя и сомнѣваться: это слишкомъ общеизвѣстно.

Здѣсь же рѣчь идетъ о томъ раннемъ возрастѣ, когда ребенокъ только начинаетъ говорить. Возможно ли въ эту пору подобное творчество? Прейеръ и многіе другіе рѣшительно отрицаютъ это, хотя и допускаютъ инстинктивное оноματοпоэтическое творчество, въ родѣ *коко*, *кикирики* (пѣтухъ), *пипинъ* (птица), *тикъ-такъ* (часы) и т. п. Я полагаю, что и въ этихъ примѣрахъ мы не должны видѣть самостоятельное языковое творчество ребенка: *тикъ-такъ* для обозначенія тиканья часовъ, *кикирики* для крика пѣтуха представляютъ слова, которыми *взрослые* передаютъ извѣстные звуки; достаточно сказать, что русскій младенецъ воспроизводитъ по своему крикъ пѣтуха въ видѣ *кукареку*, какъ у насъ подражаютъ пѣтушину крику взрослые (у нѣмцевъ *kikiriki*), далѣе—что тиканіе часовъ весьма отдаленно передается черезъ *тикъ такъ*, которое въ языкъ взрослыхъ, вѣроятно, вошло изъ литературы, а отъ взрослыхъ перешло къ дѣтямъ. Наконецъ, въ третьемъ случаѣ мы видимъ просто развитіе значенія заимствованнаго слова, которое основано или на неправильномъ пониманіи заимствования, или на метафорическомъ перенесеніи значенія: во всякомъ случаѣ, къ первоначальному языковому творчеству оно не имѣетъ прямого отношенія.

Другое направленіе въ вопросѣ о происхожденіи дѣтской рѣчи основывается на убѣжденіи, что дитя заимствуетъ свой языкъ изъ окружающей его среды. Въ своей поэтикѣ Аристотель отмѣтилъ, что „подражаніе составляетъ природенную способность человѣка и знакомо ему съ дѣтства; отъ другихъ живыхъ существъ онъ отличается въ смыслѣ этой способности и тѣмъ, что такимъ путемъ онъ пріобрѣтаетъ первыя свои познанія; и не менѣе общераспространеннымъ является удовольствіе, которое доставляетъ подражаніе“. Это такое же крайнее мнѣніе, какъ и то, что высказалъ въ противоположномъ духѣ Руссо: подражаніе, какъ мы уже видѣли, развивается медленно и оказывается дѣятельной силой лишь тогда, когда со стороны самого духовнаго организма ребенка идетъ встрѣчная волна, когда воспроизведенныя подражаніемъ дѣйствія ложатся на подготовленную почву. Это прекрасно выражено Вундтомъ, на взглядахъ котораго необходимо остановиться здѣсь. Въ своемъ трудѣ, выпущенномъ въ 1880 году (*Grundzüge der physiologischen Psychologie*, 2 изд.), знаменитый психо-

логъ высказалъ слѣдующую мысль: „Повидимому, усвоеніе языка ребенкомъ встрѣчаетъ значительную поддержку въ присущемъ ему влеченіи къ языку (*Sprachtrieb*). Иногда считается особенно яснымъ указаніемъ на дѣятельное значеніе этого влеченія и самое существованіе дѣтскаго языка, причемъ предполагается, что отдѣльные звуки этого послѣдняго образуются самимъ ребенкомъ съ цѣлью обозначенія опредѣленныхъ предметовъ. Однако, внимательное наблюденіе, какъ кажется, не оправдываетъ этого предположенія. *Дѣтскій языкъ является совместнымъ произведеніемъ ребенка и окружающихъ его взрослыхъ людей*. Дитя создаетъ звуки, но только взрослый придаетъ значеніе этимъ звукамъ, и такимъ образомъ придаетъ имъ характеръ языковыхъ звуковъ. Матери и няни, которыя приспособляются къ этой способности (*Lautfähigkeit*) ребенка и его пристрастію къ повторенію звуковъ, оказываются такимъ образомъ настоящими изобрѣтательницами дѣтскаго языка. Чтобы быть понятными ребенку, онѣ избираютъ въ качествѣ вспомогательнаго средства отчасти оноματοпоэтическіе звуки, отчасти указательные и подражательные жесты“. Въ своемъ послѣднемъ трудѣ, посвященномъ языку, Вундтъ подробно развилъ свою точку зрѣнія на способъ возникновенія дѣтской рѣчи. Онъ раздѣляетъ всю исторію развитія этой послѣдней на три періода, изъ которыхъ первый, завершающійся обыкновенно къ шестой недѣлѣ жизни младенца, заключается только въ крикѣ (*Schreilaute*), порождаемомъ болью или чувствомъ неудовольствія, которое въ своей наиболѣе крайней формѣ принимаетъ характеръ бѣшенства (*Wutschrei*). Эти два вида криковъ (выражающіе боль и бѣшенство) представляютъ исходные пункты въ выраженіи настроеній у животныхъ, и въ такомъ же порядкѣ, полагаетъ Вундтъ, возникаютъ звуки рѣчи у ребенка. Мало-по-малу, начинаютъ сопровождаться выраженіемъ въ звукахъ и болѣе слабыя чувства, какъ напр. не столь сильное раздраженіе, нетерпѣніе, а также и чувства удовольствія. Въ силу того, что звуки вызываются не такими интенсивными чувствами, какъ первоначально, напряженіе голосовыхъ связокъ при воспроизведеніи ихъ становится менѣе значительнымъ и модуляція тоновъ разнообразнѣе, вмѣстѣ съ тѣмъ, формируется резонирующее пространство, полость рта, и возрастаетъ, хотя пока еще въ ограниченныхъ размѣрахъ, количество артикуляцій звуковъ. Къ концу перваго года у ребенка набирается уже достаточный матеріалъ для образованія языка. Это тотъ запасъ собственныхъ пріобрѣтеній въ области языкового творчества, съ которымъ дитя приступаетъ къ подражанію рѣчи взрослыхъ. Въ концѣ перваго года жизни самостоятельное звукообразованіе (*Lautbildung*) ребенка вступаетъ впервые въ соотношенія съ вліяніями окружающей среды. Именно, дитя начинаетъ подражать внѣшнимъ звукамъ, иногда всевозможнымъ случайнымъ шумамъ, особенно же тѣмъ звукамъ рѣчи, которые ему подсказываются. Склонность къ такому „эхо“—языку (*Echo Sprache*) оказы-

вается различной у разных дѣтей, но самое явленіе состоитъ въ совершенно безмысленномъ подражаніи звукамъ, подобно „эхолалии“, встрѣчающейся въ состояніяхъ душевнаго слабоумія и, повидному, представляющей въ случаяхъ прирожденнаго идиотизма остановившейся на этой ступени развитія дѣтскій языкъ“. (Die Sprache. I. 275). Изъ этихъ словъ Вундта видно, что онъ смотритъ на дѣтское творчество языка, какъ на процессъ двусторонній: во взаимодействіе съ собственнымъ стремленіемъ ребенка къ говоренію—стремленіемъ, которое, однако, не могло бы привести къ сочиненію языка,—вступаетъ инстинктъ подражанія, доставляющій для этого стремленія говорить обильный матеріалъ. Слѣдовательно, въ пониманіи Вундта рѣчь ребенка не могла бы образоваться безъ помощи взрослыхъ говорящихъ людей. Такъ же смотритъ на этотъ вопросъ основатель новѣйшаго направленія въ индоевропейскомъ сравнительномъ языковеденіи, Г. Пауль, который въ своей извѣстной книгѣ „Principien der Sprachgeschichte“ утверждаетъ, что дѣтскія слова въ родѣ *auwaу, nuntъ, papa, mama*, (т. наз. „языкъ нянь“, Ammensprache) не являются произведеніемъ самихъ дѣтей. „Этотъ языкъ не есть изобрѣтеніе ребенка. Какъ всякій другой языкъ, онъ передается отъ однихъ другимъ“. Еще категоричнѣе слова Прейера: „Способа выражать существующія представленія съ помощью звуковъ и артикуляціи не *изобрѣтаетъ* ни одинъ ребенокъ; онъ *передается*, но каждый отдѣльный ребенокъ *открываетъ*, что съ помощью воспроизведенія услышанныхъ звуковъ онъ можетъ сообщить свои представленія и этимъ способствовать приобрѣтенію приятныхъ чувствъ и устраненію неприятныхъ“. Принципіально на той же точкѣ зрѣнія стоитъ и Дельбрюкъ въ своей критикѣ сочиненія Вундта о языкѣ. Обращусь къ новѣйшей литературѣ. Такъ, указывая на важное вліяніе языка на развитіе самосознанія у ребенка, болгарскій ученый Георговъ отмѣчаетъ, что „сознаніе своего тѣла (das körperliche Bewusstsein), въ которомъ впервые пробуждается чувство своего я, образуется уже гораздо ранѣе образованія рѣчи, при чемъ въ этомъ принимаютъ участіе всѣ чувства ребенка“¹⁾. Такимъ образомъ, и проф. Георговъ предполагаетъ взаимодействіе двухъ психическихъ явленій: собственнаго смутнаго представленія ребенка объ его отдѣльности, какъ физическаго тѣла, и почерпаемаго имъ въ заимствованномъ изъ внѣшней среды языкѣ указанія на я, какъ субъекта рѣчи.

На защиту самостоятельнаго творчества ребенка въ созданіи своего языка выступилъ въ 1904 году В. Наузестеръ, который, какъ и названный выше болгарскій изслѣдователь, исходитъ изъ первыхъ попытокъ ребенка опредѣлить свою личность съ помощью языка. Къ этому послѣд-

¹⁾ I. A. Gheorgov. Die ersten Anfänge des sprachlichen Ausdrückes für das Selbstbewusstsein bei Kindern. Archiv für die gesamte Psychologie. 1905. т. V, стр. 330.

нему вопросу я еще вернусь въ дальнѣйшемъ изложеніи, теперь же не буду отклоняться отъ принципіальнаго вопроса: въ какихъ формахъ взаимодействия личнаго творчества и внѣшнихъ вліяній выражается созданіе ребенкомъ его языка. Авторъ изслѣдованія, напечатаннаго въ серьезномъ изданіи, исходитъ изъ нѣсколько страннаго убѣжденія, что „первое, смутное представленіе младенца о внѣшнемъ мірѣ состоитъ въ наблюденіи, что всѣ вещи или прикрѣплены, или подвижны“, и что въ этомъ его наблюденіи „заключается настоящій фундаментъ всякой формы языка (Sprachform), такъ какъ при всякомъ языковомъ выраженіи господствуетъ стремленіе разложить мысль на постоянное и подвижное“, или, какъ вытекаетъ изъ предшествующаго изложенія Наузестера, на основу и окончаніе, при чемъ вымирание формальной стороны въ нѣмецкомъ склоненіи наводитъ его на мысль, что флексія (Abwandlung) оказывается только „внѣшнимъ украшеніемъ рѣчи“. Такъ, по представленію автора, „во всѣхъ формахъ флексіи обнаруживается извѣстная игра человѣка со своимъ языкомъ“.

И въ дальнѣйшемъ своемъ изложеніи Наузестеръ обнаруживаетъ полнѣйшее непониманіе историческаго развитія языка, въ теченіе котораго глагольныя и именныя формы теряютъ лишь съ теченіемъ времени свое первоначальное значеніе. Страдательный залогъ, конечно, теперь употребляется и въ такихъ формахъ, которыя нынѣ лишены пассивнаго значенія (Nausester. 31), но не значитъ ли это, что передъ нами именно не *игра*, а исторія, такъ сказать, геологія языка? Вѣдь *играть* можетъ и надоѣсть. Свои парадоксы авторъ резюмируетъ въ положеніи, будто „Вундтъ ищетъ долю ребенка въ созданіи языка тамъ, гдѣ она не можетъ быть, именно въ творествѣ словъ. *Создавать слова* дитя не способно. Но есть въ человѣческомъ языкѣ нѣчто, что не менѣе важно: форма. То, что мы думаемъ, представляетъ прежде всего хаосъ. Не представляется никакой необходимости, чтобы мы выражали наши мысли прямо въ формѣ предложенія: дерево цвѣтетъ, солнце свѣтитъ. *Но объ формы*, имя и глаголь, съ помощью которыхъ мы выражаемъ всѣ наши мысли, созданы нѣжнымъ младенцемъ.“¹⁾ Такъ какъ языкъ не передается, какъ наука, которую уже свѣдущій въ ней передаетъ еще не свѣдущему, но такъ какъ дитя, едва способное передвигаться изъ одного угла дѣтской въ другой, еще совсѣмъ слабое и неразвитое существо, должно научиться языку, то этотъ послѣдній долженъ быть построенъ такъ, чтобы его изученіе было доступно ребенку. И онъ станетъ доступенъ, понятенъ, если дитя станетъ само дѣятельнымъ сотрудникомъ. Опредѣлить эту долю ребенка въ языкѣ уже потому трудно, что мы представляемъ себѣ само собою разумѣющимся существованіе двухъ родовъ словъ, именъ и глаголовъ. Поэтому мы и не оцѣниваемъ

¹⁾ Насколько это невѣрно и не подтверждается изученіемъ реальнаго матеріала, см. въ слѣдующей главѣ, посвященной рѣчи дикарей.

въ достаточной мѣрѣ работы, которая заключается въ разложеніи всего содержанія мысли по формѣ на постоянное и подвижное. Заслугой младенца является указаніе того пути, по которому въ продолженіе всей нашей жизни идетъ нашъ языкъ“. ¹⁾ Конечно, представляется непонятнымъ, какимъ образомъ представленіе о постоянномъ (fest) и подвижномъ получаетъ такую преобладающую роль въ сознаніи ребенка, что переносится даже въ область его грамматическаго творчества; непонятно также, почему въ такомъ случаѣ въ цѣломъ рядѣ языковъ грамматическое развитіе пошло совсѣмъ другимъ путемъ. Наузестеръ фантазируетъ, но и фантазируя долженъ признать, что *словарь* языка заимствуется дѣтскою рѣчью непосредственно отъ взрослыхъ, и стало быть долженъ примкнуть къ вышележащимъ взглядамъ на зависимость языкового дѣтскаго творчества отъ окружающей среды. Гораздо важнѣе то, что отмѣтилъ польскій лингвистъ, Карль Аппель ²⁾, именно приспособленіе ребенка къ своему произношенію матеріала, заимствованнаго изъ языка взрослыхъ (взглядъ, высказанный и развитый подробно французскимъ ученымъ Grammont). Это есть „известное постоянство въ замѣнѣ артикуляціи среды иными собственными артикуляціями ребенка“, взаимодействие личности и среды, которое должно распространяться и на всю область языкового творчества ребенка, да и не одного ребенка, но и всякаго говорящаго человѣка, связывающаго со словами *свои* образы.

Прежде, чѣмъ перейти къ изложенію тѣхъ фазисовъ, черезъ которые проходитъ развитіе дѣтскою рѣчи, укажу на принципиальныя точки зрѣнія наиболѣе авторитетныхъ изъ современныхъ специалистовъ въ этой области, Меймана ³⁾ и супруговъ Штернъ ⁴⁾. Первый изъ нихъ, повидимому, такъ далекъ отъ предположенія какого-нибудь врожденнаго человѣку стремленія создать свой языкъ, что только мимоходомъ затрагиваетъ этотъ вопросъ. При этомъ онъ исходитъ изъ убѣжденія, что человѣкъ уже рождается съ органами, приспособленными для говоренія. Такъ, Мейманъ отмѣчаетъ важность

¹⁾ Das Kind und die Forme der Sprache. Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der Pädagogischen Psychologie und Physiologie. VII Band, 7 Heft. 1904. Въ опроверженіе теоріи автора здѣсь достаточно привести замѣчаніе Меймана (Die Sprache des Kindes. 1903, стр. 7), что ребенокъ въ 1½ года обладаетъ только 12 глаголами, располагая въ то же время 150 существительными. Такъ мало онъ стремится отличать въ языкѣ своемъ детализмъ *постояннаго и подвижнаго*.

²⁾ Karol Appel. O mowie dziecka. Urywek z wykładów, wygłoszonych w. 1906—7 г. а. на „Kursach naukowych“ T. K. N. w Warszawie. 1907.

³⁾ E. E. W. Meumann. Die Sprache des Kindes. Abhandlungen herausgegeben von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Zürich. Zürich. 1903

⁴⁾ Monographien über die seelische Entwicklung des Kindes. Von Clara und William Stern. I. Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. Leipzig. 1907.

зрительныхъ воспріятій ребенка въ процесѣ усвоенія языка. Слѣпые дѣти позже научаются говорить, чѣмъ взрослые. „Нормальный ребенокъ часто устремляетъ все свое вниманіе на губы и общее выраженіе лица говорящихъ съ нимъ людей, и не представляется невѣроятнымъ, что этому участию зрѣнія въ обученіи говорить слѣдуетъ приписать известное влияніе въ той послѣдовательности, въ которой выучиваются отдѣльные звуки. Слѣдуетъ, однако, имѣть въ виду, что побужденіе, исходящее изъ видимыхъ рѣчевыхъ движеній, слишкомъ сложно для того, чтобы приниматься въ расчетъ въ языковомъ развитіи ребенка. Но весьма вѣроятно, что здѣсь появляются *унаследованныя* соединенія между центральными органами зрительнаго воспріятія и акустическо-моторнымъ аппаратомъ, вслѣдствіе чего видъ игры лица у взрослога вызываетъ непосредственно соответственныя движенія у ребенка“. Дитя издаетъ звуки сначала совершенно непроизвольно, и главная проблема дѣтскою рѣчи заключается, по мнѣнію Меймана, именно въ томъ, „какъ первоначально непроизвольное воспроизведеніе звуковъ (Lauterzeugung) превращается въ произвольное“. Совершается это подъ влияніемъ среды, но требуетъ подготовки воспримчивой почвы и у самого ребенка. Такимъ образомъ, взаимодействие внѣшней среды и самостоятельнаго стремленія дитяти къ говоренію не подлежитъ въ глазахъ Меймана сомнѣнію. „Если развитіе рѣчи у ребенка должно протекать нормально, говорить онъ въ другомъ своемъ сочиненіи ¹⁾, то это предполагаетъ, что общее духовно-физическое развитіе его не обнаруживаетъ *ни съ однимъ пунктомъ* какого-нибудь дефекта или отсталости. Вниманіе дитяти, его способность сосредоточиваться, его память, а прежде всего его душевная жизнь, и спеціальныя инстинкты, каковы напр. инстинктъ подражанія, должны находиться въ совершенно нормальномъ состояніи и соответствовать среднему уровню достижимаго въ этотъ періодъ. Если только *одно* изъ этихъ общихъ предварительныхъ психологическихъ условій для развитія языка не соблюдено вовсе или не въ полной мѣрѣ то языкъ или совсѣмъ не развивается, или сильно задерживается въ своемъ развитіи. Вниманіе ребенка должно достигать такого уровня въ способности сосредоточиваться, какой нуженъ для наблюденія за звуками и движеніями, создающими звуки, и жестуляціей взрослога человѣка: но точно также должна быть развита энергія, которая нужна ребенку для выполненія собственныхъ попытокъ говорить“. Среднюю линію между двумя крайними, по ихъ мнѣнію, взглядамъ стараются провести Штернъ. Имъ кажется одинаково неприемлемымъ взглядъ Аммента, согласно которому дѣтскій языкъ (die gesamte Ammensprache) есть созданіе безчисленныхъ поколѣній дѣтей, передающееся дальне тѣмъ же няньками и кормилицами, и взглядъ Вундта, что языкъ ребенка представляетъ собою только продуктъ

¹⁾ E. Meumann. Die Entstehung der ersten Wortbedeutungen beim Kinde. Philosophische Studien. т. 20 (1902), стр. 160.

окружающей среды, къ которому дитя приспособляется пассивно. Быть можетъ, опредѣленіе этихъ взглядовъ супругами Штернъ, какъ противоположныхъ одинъ другому, основано на недоразумѣніи: ни Аментъ, ни Вундтъ не исключаютъ взаимодействія обоихъ факторовъ, дѣтскаго стремленія говорить и вліянія среды. Въ болтовнѣ младенца, модифицированной въ примѣненіи къ рѣчи взрослыхъ нянями и кормилицами и передающейся ими новымъ и новымъ поколѣніямъ дѣтей, нельзя отрицать со стороны его активнаго элемента, какъ въ томъ сознательномъ человѣческомъ языкѣ, которымъ дитя начинаетъ *говорить*, конечно, нельзя не видѣть заимствованія, сдѣланнаго ребенкомъ у взрослыхъ. И Штерны стоятъ принципиально на той же точкѣ зрѣнія, опредѣляя „факторы естественнаго симвоолообразования“ („взаимное приближеніе другъ къ другу взрослого и ребенка“, взрослый „или схватываетъ фактически созданныя ребенкомъ выраженія и возвращаетъ ихъ ему въ видѣ части рѣчи, напр. слово *мама*, или самъ создаетъ выраженія, которыя, хотя въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ и не создаются самостоятельно ребенкомъ, однако достаточно *ребячливы*, т. е. соотвѣтствуютъ дѣтскому влеченію къ естественной символикѣ, напр. *vau vau*“). Отъ этихъ элементовъ Штернъ отмѣчаетъ „факторы условнаго симвоолообразования“, которымъ принадлежитъ созданіе наибольшей части дѣтскаго языка. Такимъ образомъ, принципиально они стоятъ на совершенно той же точкѣ зрѣнія, что и Вундтъ, и почти всѣ современные психологи. Взаимодействіе умственныхъ способностей и естественнаго влеченія ребенка къ говоренію, съ одной стороны, и развитіе на этой почвѣ языка съ его словами и грамматикой, языка заимствованнаго у взрослыхъ, съ другой стороны: вотъ что составляетъ исходный пунктъ въ созданіи дѣтской рѣчи. Я думаю, что безъ помощи взрослыхъ, заключающейся въ томъ, что они даютъ ребенку языкъ и *мысль*, дитя не научилось бы и мыслить сколько-нибудь по человѣчески. Стоитъ только посмотреть, какія блага *самопознанія* даетъ человѣку рѣчь, заимствованная изъ окружающей среды, чтобы видѣть, какъ далекъ отъ человѣческаго существованія былъ бы ребенокъ, поставленный въ условія одиночества или обособленія отъ говорящихъ людей. Homo sapiens ferus Раубера или ненаучившіяся читать глухонѣмой представляютъ въ этомъ отношеніи нѣкоторое подобіе доязыковаго человѣчества. Въ слѣдующей главѣ мы рассмотримъ тѣ формы духовной жизни, которыя связаны съ особенностями, языковъ т. наз. дикарей. Если назвать культурный ребенокъ мыслить иначе, чѣмъ австралійскій или африканскій дикарь, то онъ обязанъ этимъ только взрослымъ людямъ, передавшимъ ему вмѣстѣ съ языкомъ и нашу культурную логику, какъ ребенокъ кафра съ языкомъ отца наследуетъ и его способы мыслить. Проецируя эти положенія въ отдаленное прошлое, мы можемъ себя представить, какъ безмѣрно далекъ былъ даже отъ совре-

меннаго самаго дикаго, но говорящаго дикаря первобытный человѣкъ, еще не пришедшій къ созданію рѣчи.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи психологін дѣтской рѣчи необходимо остановиться на слѣдующихъ вопросахъ: 1) о самыхъ раннихъ проявленіяхъ человѣческаго стремленія къ говоренію, 2) о звуковой сторонѣ дѣтской рѣчи, 3) о значеніи слова и его своеобразномъ развитіи въ языкѣ ребенка, 4) о грамматической сторонѣ дѣтской рѣчи, ея этимологін и синтаксисѣ, 5) о собственномъ творествѣ ребенка въ области рѣчи (удвоеніе, придуманныя ребенкомъ слова и т. п.), 6) о развитіи дѣтскаго *я* въ связи съ языкомъ. Конечно, это перечисленіе не охватываетъ цѣлаго ряда другихъ важныхъ вопросовъ, связанныхъ съ дѣтской рѣчью, но въ книгѣ, посвященной изслѣдованію социальныхъ и психологическихъ основаній творчества языка, мнѣ кажутся наиболѣе существенными именно указанные вопросы.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Гутцманъ ¹⁾ произвелъ любопытныя наблюденія надъ крикомъ грудного ребенка. Исходя изъ предположенія, что періодъ „крика“ у дѣтей имѣетъ существенное значеніе для выработки ихъ послѣдующей рѣчи, Гутцманъ обратилъ вниманіе на отношеніе между вдыханіемъ и выдыханіемъ у ребенка въ спокойномъ состояніи и во время крика. Въ спокойномъ состояніи на вдыханіе требуется совершенно столько же времени, сколько на выдыханіе, но это отношеніе измѣняется при крикѣ: выдыханіе становится гораздо болѣе продолжительнымъ, чѣмъ вдыханіе. Такое положеніе вещей оказывается чрезвычайно полезнымъ для развитія рѣчи ребенка, потому что это „дыханіе при крикѣ“ (Schreiatmung) содѣйствуетъ выработкѣ позднѣйшаго „разговорнаго дыханія“ (Sprechatmung), которое отлично отъ дыханія спокойно молчащаго человѣка. Такимъ образомъ, крикъ ребенка продѣлываетъ для него необходимую подготовительную работу, облегчая трудную и весьма сложную организацію говорильнаго аппарата. Въ періодъ крика эта организація еще довольно проста, такъ какъ при дѣйствіи голосовыхъ связокъ, обусловленномъ рефлекторными движеніями гортани, самая артикуляція звуковъ находится въ зачаточномъ состояніи. Пока передъ нами еще и не артикуляція, а только *интонація*, стоящая въ тѣснѣйшей связи съ инстинктивной *мимикой* (ср. К. Appel. О *tonie dziecka*. 6). Въ первый годъ жизни ребенка тщательное наблюденіе супруговъ Штернъ установило слѣдующіе факты. У дочери ихъ въ первые дни послѣ рожденія въ крикѣ выдѣлялся по преимуществу комплексъ звуковъ, который они передаютъ черезъ *ähä*. Начиная съ седьмой недѣли жизни, насытившись, ребенокъ издавалъ иногда звуки, въ родѣ *krä Krä*, а въ два мѣсяца отъ рожденія выраженіемъ пріятнаго самочувствія сдѣлались звуки *erre, erre*. На 11 недѣлѣ они замѣтили, что болтовня (Lallen, щебетаніе, какъ называютъ у насъ матери и няни) ста-

¹⁾ Gutzman. Die Schreiatmung des Säuglings. 1902.

новится все обычае и служить признакомъ большого удовольствія. Она начинается обыкновенно послѣ того, какъ ребенокъ наѣлся, и продолжается часто 10—15 минутъ; звуки становятся все болѣе многочисленными и дифференцированными; главную роль играютъ по прежнему сочетанія въ родѣ *erre, erre*, иногда также *ekche, ekche* (съ твердымъ *x*). „Очень любопытно слѣдующее наблюдение, которое мы сдѣлали съ полной увѣренностью въ началѣ 11-й недѣли. Если сказать ребенку, находящемуся въ хорошемъ расположеніи духа, это самое *erre, erre*, онъ зачастую реагируетъ на это, при чемъ производитъ эти слоги, въ обыкновенномъ случаѣ произносимые бессознательно и безъ всякаго труда, съ очевиднымъ напряженіемъ, занимающимъ нерѣдко секунды. Усиліе вызываетъ даже краску на лицѣ ребенка. Случайность этого повторенія исключена, такъ какъ опытъ часто удавался безъ того, чтобы ребенокъ раньше или позже самъ собой производилъ эти звуки. Напротивъ, это производило на насъ опредѣленное впечатлѣніе сознательнаго и удачнаго подражанія. Недѣлю спустя, удавался тотъ же самый опытъ со слогами *kräkrä*, которыхъ дѣвочка не произносила сама уже въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль“. Въ возрастѣ 2½ мѣсяцевъ вообще, въ этомъ отношеніи наблюдается періодическое ослабленіе и усиленіе, при чемъ всякій періодъ продолжается по нѣскольку недѣль. У мальчика супруги Штернъ отмѣтили начало щебетанія на 10-й недѣлѣ; оно было или произвольно, послѣ кормленія, или служило какъ бы отвѣтомъ на звуки, обращенные къ младенцу. Первые звуки въ этомъ щебетаніи звучали, какъ у дѣвочки, подобно *ähä* или *erre* и производили впечатлѣніе высочайшаго наслажденія. Но въ слѣдующія недѣли появилось и щебетаніе неудовольствія, которое иногда переходило въ плачь. Въ возрастѣ 3 мѣсяцевъ возбужденное состояніе, вызываемое прогулкой въ колясочкѣ, когда даже занавѣски въ этой послѣдней были опущены, создавало также потребность такой младенческой болтовни. „Особенно легко создавались звуковыя реакціи, если къ ребенку обращались со звуками: особенно охотно онъ реагировалъ на простые звуки, похожіе на его собственные, какъ напр. *ä* или *erre*, такъ что его отвѣтъ производилъ иногда впечатлѣніе подражанія“. Въ 5 мѣсяцевъ въ монологѣ („Lallmonolog“, терминъ Аменга) мальчика начинаетъ играть большую роль звукъ *a* или *ä* (повтореніе *da da da da*). Къ 7-ми мѣсяцамъ ребенокъ уже начинаетъ вводить въ свое щебетаніе дифференціацію звуковъ, и его подражаніе звукамъ, производимымъ взрослыми, становится сложнѣе и болѣе совершенно: „слогъ *na* повторяется при однократномъ произношеніи однажды, при двукратномъ дважды и при многократномъ много разъ. Удвоеніе воспроизводится чаще всего правильно, но иногда встрѣчается и въ такихъ случаяхъ, когда это *na* было произнесено передъ ребенкомъ однократно. Далѣе мы наблюдали несомнѣнное подражаніе охотно и часто производи-

мому ребенкомъ картаваго *rrrr*. Въ 8 мѣсяцевъ было констатировано подражаніе такому сочетанію звуковъ, которое до того времени было совершенно чуждо дѣвочкѣ. Она уже съ недѣлю назадъ образовала глухой звукъ *p*: и вотъ мы произносили передъ ней *rara*. Однажды послѣ этого, минутъ черезъ 5—10, въ отвѣтъ намъ послышалось изъ колясочки *ra-rara*. Когда же опытъ съ произнесеніемъ словъ передъ дѣвочкой былъ повторяемъ, дѣвочка отвѣчала на это и часто, и безъ всякаго усилія произношеніемъ слоговъ. Иногда эти подражанія превращались въ извѣстнаго рода примитивную бесѣду, которая доставляла большое удовольствіе младенцу. Дѣвочка и раньше уже часто издавала звукъ, выражающій удовлетворенное состояніе, *ä* или *ä*. И вотъ, если мать обращалась къ ней съ этимъ самымъ звукомъ, дѣвочка сейчасъ же реагировала на это точно такимъ же образомъ, и этотъ „монотонный“ разговоръ продолжался по нѣскольку минутъ, прерываясь только частыми восторженными восклицаніями ребенка. Между тѣмъ щебетаніе дѣлалось все разнообразнѣе; мы отмѣтили, напр., слоги, похожіе на *da pa ja pepei* и сложное *äääää* (въ 9 мѣсяцевъ). Въ этомъ же возрастѣ, когда я просвистѣлъ очень высокимъ тономъ, дѣвочка въ видѣ подражанія издала пискъ въ чрезвычайно высокомъ тонѣ. Въ послѣдніе мѣсяцы перваго года началось уже пониманіе рѣчи и незадолго до конца перваго года жизни осмысленное произношеніе отдѣльныхъ словъ“. Такіе же этапы продѣлалъ въ своемъ языковомъ развитіи и мальчикъ. Въ 7 мѣсяцевъ отчетливое произношеніе слоговъ, однако, едва-ли возможно сочетать съ извѣстнымъ характеромъ возбужденія. Супруги Штернъ отмѣчаютъ, что чувство удовольствія сопровождалось у ребенка слогами *da-da-da* или *ra-ra-ra*, а неудовольствія *ä (vu) ä, u (w) ä*, иногда также *ra-ra-ra*. Радостное возбужденіе при игрѣ (протягивали предметъ и, когда младенецъ тянулся къ нему, поднимали его) вызывало звукъ *pi pi*. Въ 7½ мѣсяцевъ, слѣдовательно почти въ томъ же самомъ возрастѣ, что и у дѣвочки, началось „разговариваніе“, реагированіе на произнесенный передъ ребенкомъ короткій звукъ *ä*. „Особенно охотно онъ пользуется этимъ средствомъ сообщенія, когда лежитъ въ комнатѣ одинъ въ своей колясочкѣ, никого не видя и такимъ способомъ можетъ установить общеніе съ близкими людьми, находящимися въ сосѣдней комнатѣ. Уже очень скоро онъ оказался въ состояніи внести нѣкоторое разнообразіе въ эту подражательную дѣятельность, реагируя на однократное *ä* тоже однократнымъ *ä*, на двукратное же *ää*“. Въ 8 мѣсяцевъ мальчикъ повторялъ уже вслѣдъ за произносившимъ, хотя и съ большимъ усиліемъ *ta ta*, а въ девять довольно свободно воспроизводилъ *tata, rara, da-da, tette* и др. Въ это же самое время началось пониманіе словъ, и впервые было произнесено сознательное слово.

„Это был слогъ *да*, употреблявшійся при игрѣ въ прятки. Когда мы набрасывали ему на голову салфетку, онъ стягивалъ ее съ лица, произнося этотъ слогъ“. Около года пониманіе словъ дѣлаетъ уже большіе успѣхи, но самостоятельное говореніе еще совершенно отсутствуетъ: только при словѣ *papa*, которое было обычно въ щебетаніи ребенка, было какое-то смутное представленіе о значеніи его. Говореніе началось нѣсколько позже и сразу обнаружило довольно богатый запасъ словъ, большой, чѣмъ у сестры. Къ этимъ тщательнымъ и точнымъ наблюденіямъ супруговъ Штернъ я присоединю нѣсколько замѣчаній о языковомъ развитіи моихъ сыновей. Старшій изъ нихъ, С. въ возрастѣ 7 мѣсяцевъ обнаружилъ подражательную дѣятельность въ области рѣчи. Какъ было отмѣчено его матерью въ дневникѣ развитія ребенка, здѣсь наблюдалось уже указанное мною выше различіе между бессознательнымъ и подражательнымъ произношеніемъ тѣхъ же самыхъ слоговъ. „Однажды утромъ я услышала въ полуснѣ Сережинъ голосъ, настойчиво повторявшій *ма-ма, ма-ма*. Я приняла все это за сонъ, и увѣрилась только тогда, когда онъ при мнѣ отчетливо выговорилъ это слово. Сначала онъ только слѣдилъ за движеніемъ моихъ губъ, когда я произнесла *мама*, а потомъ и самъ сталъ чмокать губками и наконецъ съ усиленіемъ выговорилъ нѣсколько разъ подрядъ *ма-ма, ма-ма*“. Эта запись (25 февр. 1897 г., ребенокъ родился 28 іюля 1896 г.) предшествуетъ на 10 лѣтъ появленію книги Штернъ, изъ которой я привелъ вышеуказанную исторію развитія дѣтской рѣчи. Она отмѣчаетъ фактъ, наблюдавшійся и Штернами совершенно въ томъ же возрастѣ: въ 7 мѣсяцевъ первое подражаніе, повтореніе съ успіемъ того, что само собой произносится легко. Черезъ двѣ недѣли у того же ребенка было отмѣчено удовольствіе, съ которымъ онъ слушалъ музыку; мальчикъ отличался хорошимъ музыкальнымъ слухомъ, который сохранилъ и впоследствии. „Можно сказать положительно, что у Сережи больше всего развитъ слухъ: каждый звукъ привлекаетъ его вниманіе, а когда я играю или пою, онъ весь превращается въ слухъ, а иногда захлебывающимся отъ восторга голоскомъ начинаетъ и самъ подпѣвать“.

Пѣніе въ это время доставляло видимое удовольствіе ребенку, который часто слышалъ голосъ много пѣвшей матери. „Не знаю, меня-ли онъ передразниваетъ—отмѣчено въ тотъ же день въ записяхъ его матери (7 марта 1897 г.)—пли отца, когда онъ свиститъ, но только онъ преуморительно раскрываетъ ротикъ, *вытягиваетъ губки* и прижмуривъ глазки, *начинаетъ пѣть*. При этомъ видъ у него такой важный и *самоуверенный*, какъ будто онъ какой-нибудь Мазини“. Очевидно, этотъ процессъ доставлялъ удовольствіе ребенку.

17 марта онъ сталъ болтать слово *nana*, которое твердилъ нѣсколько дней. Это совпало съ прорѣзываніемъ новыхъ зубовъ: ребенокъ

безпокоился, держалъ во рту палецъ и при этомъ произносилъ слово *nana*, которое, очевидно, не имѣло для него никакого значенія. Вообще же, въ возрастѣ 7½ мѣсяцевъ настроенія ребенка стремились выразиться въ звукахъ. Такъ, когда его привозили въ коляскѣ въ мой кабинетъ, онъ выражалъ свое удовольствіе какъ жестикуляціей (поклонами), такъ и торпливымъ бормотаніемъ неясныхъ звуковъ, и мимикой (его лицо расплывалось отъ удовольствія, когда я обращался къ нему). 1 мая, т. е. въ 9 мѣсяцевъ, обнаружилось уже, какъ отмѣчено и Штернами, нѣкоторое первоначальное пониманіе чужихъ словъ. Въ дневникѣ его матери записано слѣдующее:

„Онъ уже началъ понимать многое изъ того, что ему говорятъ, умѣетъ дѣлать ладошки, молится Богу, т. е. колотитъ себя рученкой въ грудь и, смотря на образъ, восклицаетъ „*бо, бо, бо*“, вполне сознательно цѣлуетъ няню, а утромъ съ восторгомъ трещитъ *па-па, па-па* когда я несу его къ отцу“. Повидимому, это слово къ 10 мѣсяцамъ у него уже прочно соединилось съ представленіемъ объ отцѣ. Когда я уѣхалъ въ городъ съ дачи, гдѣ жилъ ребенокъ, „Сережа только и твердитъ *nana, nana*, да такимъ высокимъ-высокимъ голоскомъ, точно зоветъ. Въ особенности сегодня (23 мая): мы пошли на пристань, и няня все твердила ему: *вотъ папочка придетъ*, а онъ поворачиваетъ во всѣ стороны головку и все зоветъ, да такъ отчетливо, какъ еще никогда не говорилъ *па-па*“.

Къ году ребенокъ уже знаетъ много словъ, которыя произносилъ въ искаженной и сокращенной формѣ: няню онъ называлъ *ба*, молоко *ма*, и сочетаніе *ба-ма* означало на его языкѣ няню въ связи съ молокомъ (няню, несущую молоко, и т. п.). Второй мой сынъ, родившійся 14 февраля 1899 года, впервые обнаружилъ стремленіе говорить на 6 мѣсяцѣ жизни. Подъ 5 августа 1899 г. мать его отмѣчаетъ, что утромъ услышала „тоненькій голосокъ, старательно произносившій: *а-та-та-та-та*. Началось это съ того, что онъ два дня тому назадъ сталъ какъ-то особенно *шлепать губками, какъ человекъ, говорящій шепотомъ*, а сегодня *случайно* вышло что-то похожее на рѣчь“. Въ девять мѣсяцевъ (19 ноября) этотъ мальчикъ уже сознательно подражалъ тѣмъ звукамъ, которые производили взрослые (крикъ пѣтуха, бляеніе овцы и т. под.); онъ подолгу разсматривалъ въ книжкѣ картинки, шепча про себя „дяди“ и „ахъ“; отца онъ называлъ то *nana*, то *бана*, то *пафа*, съ неустойчивой и неотчетливой артикуляціей звуковъ.

Резюмируя вышеизложенное, слѣдуетъ отмѣтить въ этотъ первоначальный періодъ языкового развитія ребенка до года жизни слѣдующіе этапы, представляющіе собою не столько смѣну, сколько наростаніе: ребенокъ, который въ два мѣсяца жизни выражаетъ свое удовольствіе звуками, продолжаетъ дѣлать это и впоследствии, но только ему стано-

вится доступно позже то, что въ эти два мѣсяца не представлялось возможнымъ. Сначала инстинктивное разряженіе энергіи въ звукахъ, потомъ сознательное удовольствіе отъ ихъ произведенія, потомъ попытка подражанія и рядомъ съ этимъ огромное стремленіе болтать, производи всевозможные звуки, потомъ отвѣтъ звуками на звуки, воспринимаемые отъ виѣшняго міра. „щебетаніе“, какъ отвѣтъ на звуки, производимыя няней или матерью передъ младенцемъ, наконецъ пониманіе чужихъ словъ и самостоятельное говореніе.

Перейдемъ теперь къ другому вопросу, къ развитію звуковой и дѣтской рѣчи. Общеустановленнымъ является тотъ фактъ, что дитя оказывается въ состояніи въ періодъ своего болтанія произносить всевозможные звуки (Ament. 54. Appel. 9 и др.) Быть можетъ, въ этотъ взглядъ надо внести небольшую поправку, предложенную Гутцманомъ. Этотъ послѣдній полагаетъ, что артикуляція ребенка нѣсколько выдвинута впередъ, такъ что въ его болтовнѣ чаще всего выступаютъ согласные зубные и губные звуки, гортанные же оказываются „заученными“ менѣе твердо, и потому въ позднѣйшую пору, когда ребенокъ уже начинаетъ говорить, представляютъ для него нѣкоторую трудность. Тѣмъ не менѣе, въ общемъ ребенокъ произноситъ въ этотъ періодъ разряженія энергіи въ звукахъ весьма значительное число самыхъ разнообразныхъ звуковъ. Фонетически болѣе трудные звуки и ихъ сочетанія, какъ отмѣчаетъ Мейманъ, нерѣдко предшествуютъ болѣе легкимъ, при этомъ изъ устъ младенца раздаются такіа сочетанія, какъ *brw*, *grrb*, раньше, чѣмъ онъ произноситъ тѣ же согласные звуки въ отдѣльности; глухонѣмыя дѣти, учась говорить, зачастую легче, скорѣе запоминаютъ трудныя звуковыя сочетанія, чѣмъ простые, отдѣльные звуки. Болѣе трудные звуковые комплексы оказываются нерѣдко болѣе прочными при первыхъ попыткахъ ребенка говорить, потому что ихъ произношеніе сопровождается болѣе сильнымъ ощущеніемъ движенія. Этимъ Мейманъ объясняетъ, почему легкіа слова дитя очень часто заучиваетъ позже, чѣмъ трудныя. Иногда ребенокъ и просто превращаетъ эти легкіа и простыа звуковыя сочетанія словъ въ такіа нагроможденія согласныхъ, которыа представляются едва-ли даже произносимыми для взрослого. При этомъ слѣдуетъ отмѣтить, что той же особенностью обладаютъ и языки дикарей, которыа, какъ и дѣтскіа, приобѣгаютъ иногда къ звукамъ, просто непередаваемымъ на письмѣ, къ всевозможнымъ прищелкиваніямъ, причмокиваніямъ, всасывающимъ звукамъ и т. п. Артикуляція ребенка очень неустойчива: одно и тоже слово варьируется на разные лады. Объ этой специальной сторонѣ развитія звуковъ въ дѣтской рѣчи имѣется вышедшее недавно изслѣдованіе О. Блоха „Замѣтки о языкѣ ребенка“ (Notes sur le langage d'un enfant. Mémoires de la Société de linguistique de Paris. T. XVIII. 1912). Авторъ разсматриваетъ слѣдующіе вопросы: 1) усвоеніе глухихъ согласныхъ въ сочетаніи согласнаго звука съ

гласнымъ. Здѣсь онъ отмѣчаетъ продолжавшуюся въ теченіе нѣсколькихъ недѣль неустойчивость артикуляціи въ произношеніи *parā-babā* (какъ отмѣчено выше и мною) и весьма медленное укрѣпленіе въ рѣчи ребенка (не ранѣе, чѣмъ съ 2-го мѣсяца) глухихъ звуковъ, на что потребовалось, по крайней мѣрѣ, полтора мѣсяца. Кроме того, авторъ утверждаетъ, что изъ всѣхъ глухихъ согласныхъ, прежде всего, появилось *t*, которое предшествовало на долго появленію согласныхъ *p* и *s*. Этотъ выводъ о болѣе раннемъ возникновеніи звонкихъ согласныхъ сравнительно съ глухими, конечно, не лишенъ значенія для вопроса о генезисѣ человѣческой рѣчи: тѣ звуки, которые требуютъ для своего произношенія участія голосовыхъ связокъ, оказываются возможными тогда, когда надставная труба, полость рта и носа, еще не настолько развита, чтобы въ ней производились глухіе согласные звуки. 2) О подвижности артикуляціи согласныхъ звуковъ. Этотъ интересный вопросъ даетъ О. Блоху возможность отмѣтить какъ чрезвычайную неустойчивость дѣтскаго произношенія звуковъ (*gōgō*—яйцо вдругъ уступаетъ свое мѣсто *tōtō*, *vavon* или *vonvon*, или *fafon* вмѣсто *savon*—мыло и т. п.), такъ и, дѣйствительно, поразительный фактъ, что „эта неустойчивость гораздо менѣе бросается въ глаза въ первые мѣсяцы, чѣмъ въ слѣдующіе“: это явленіе объясняется изслѣдователемъ тѣмъ соображеніемъ, что „въ мѣсяцы, предшествующіе 22-му, когда словарь ребенка ограничивался приблизительно сорока словами, и когда рѣчь выступала менѣе часто, произношеніе могло сохранить болѣе устойчивости, чѣмъ съ того момента, когда словарь сталъ обогащаться съ каждымъ днемъ, и когда лингвистическая дѣятельность сдѣлалась очень энергичной“. 3) О подвижности артикуляціи гласныхъ, которая, по мнѣнію изслѣдователя, объясняется главнымъ образомъ вліяніемъ сосѣднихъ звуковъ: при этомъ гласный звукъ конечнаго слога отличается гораздо большей устойчивостью, чѣмъ гласный конечнаго (вмѣсто *rouree*—кукла *réré* и *rire*, вмѣсто *plumes*—перья *piri*, *päppi*, *püri*, *pürü* и т. под.). Такимъ образомъ, изслѣдованіе О. Блоха въ области, гдѣ до сихъ поръ было мало такихъ точныхъ и послѣдовательныхъ записей, представляетъ и въ смыслѣ методологическомъ—предметъ, достойный подражанія. Въ работѣ, посвященной вопросамъ возникновенія человѣческой рѣчи, я считаю правильнымъ подчеркнуть здѣсь факты *поразительной неустойчивости* дѣтскаго произношенія, которыа, по своему психологическому значенію, переносятъ насъ, какъ мнѣ кажется, къ древнѣйшимъ стадіямъ развитія языка у людей. На подобныа же факты изъ области языковъ дикарей мнѣ придется обратить вниманіе въ слѣдующей главѣ.

Такъ накапливается, по выраженію Тэна, сырой матеріалъ языка, изъ котораго впоследствии человѣкъ выбираетъ тѣ звуки, какіа ему надобны для подражанія рѣчи взрослыхъ. Органы рѣчи получаютъ прекрасное упражненіе въ артикуляціи того „необходимо разнообразнаго“

(Wundt. 274) материала, который создается случайным созданием звуков, вызванным инстинктивной потребностью ребенка дать исход своей энергии в болтовню. Несколько позже, в возраст около года, к этой последней присоединяется, по большей части, не вытесняя ее, стремление воспроизводить услышанные звуки. Ребенок пытается подражать не только произносимым словам, но и тиканию часов, и крику зверей, и разнообразным шумам. Как в самостоятельной болтовне, так и в подражании чужим звукам у ребенка постоянно наблюдается стремление к удвоению слогов, которое должно быть основано на доставляющем ребенку удовольствие разряжении энергии по пути наименьшего сопротивления. На этом основано и т. наз. *ономатопэтическая* ступень в развитии детской речи, т. е. называние предмета сочетанием тех звуков, которое он сам производит. При виде пѣтуха дитя радостно восклицает *кюкю*, при виде собаки *ваувау* и т. п.

В среде говорящих людей такая звукоподражательная называния для животных и некоторых предметов является постоянной особенностью детской речи. Какой ребенок не называет корову *мууу* или просто *му* с протяжным, удлиненным последним звуком, или при виде игрушечной желѣзной дороги не начинает производить звуков, которые должны передать шум локомотива? Однако, по моему мнению, заключать отсюда, что эти звукоподражания сами собой, без помощи взрослых, могут крѣпко ассоциироваться в сознании ребенка с зрительными представлениями этих животных и предметов, едва ли возможно. На опыте обыденной жизни мы видим, какую громадную роль в создании таких ассоциаций играют окружающие младенца взрослые люди, которые на картинке показывают ему зверя и при этом подражают его крику. Так, если дѣти Штерновъ называли колоколь *bindaunt*, то русский ребенок скорее назовет его *бом-бом* (как в известной пѣснѣ: „бомь-бомь, телебомь“...). К ономатопэтическому словопроизводству у ребенка слѣдует приложить те же самые принципы, что к теоріи ономатопэтического происхождения языка: ономатопэтическія, звукоподражательныя слова являются такими же условными названиями вещей, как и всякія другія слова. Если у дочери супруговъ Штернъ почти половина словаря в возраст полутора лѣтъ представляла материал звукоподражательный, то, как сами они отмѣчают, лишь в пяти случаях можно было предположить самостоятельное языковое творчество дѣтей: так, на вопрос о маленькой игрушечной мельничѣ, которая скрипѣла колесами, когда ее катили, дѣвочка сказала, что это *отт*; мальчикъ распространить звукъ задувания, который онъ слышалъ сначала только къ задуваемой спичкѣ, постепенно и на все блестящія предметы (лампу, но также цилиндръ, колокольчикъ и т. под.); шарканіе ногами по мату дѣвочка передала советѣмъ неподходящими къ

этому шуму звуками *not, not* и просила еще разъ подѣлать *not, not*. В этомъ последнемъ случаѣ элементъ звукоподражания, который, несомнѣнно, присутствовалъ в сознании дѣвочки, былъ выраженъ настолько слабо, что слово имѣло только символическій смыслъ. „Множество другихъ звукоподражаний, которыя встрѣчаются в словарѣ нашихъ дѣтей, возникло не изъ непосредственнаго воспроизведенія звуковъ, но вследствие повторенія словъ, которыя ребенокъ воспринялъ изъ внѣшняго міра“.

Это—искаженія словъ, произносимыхъ взрослыми: такъ, дѣвочка в возрастѣ года и трехъ мѣсяцевъ уронила портмонэ; взрослый сказалъ при этомъ: *knaps*, и дитя стало повторять в примѣненіи къ паденію предметовъ *atzatz*. Но подобнымъ образомъ подвергалась искаженіямъ и такія слова, которыя в представленіи взрослыхъ заключаютъ элементъ звукоподражательный: изъ *kuckuck* (кукушка) дитя сдѣлало *kikā* и т. п. Ребенокъ испытываетъ удовольствіе отъ техъ звукоподражательныхъ словъ, которыя сообщаютъ ему взрослые, и которыя живѣе задѣваютъ его возбужденіе, чѣмъ слова чисто символическія, но онъ не сочиняетъ ихъ самъ.

Эти соображенія переносятъ насъ къ вопросу объ усвоеніи ребенкомъ значенія словъ. В возрастѣ одного года и трехъ мѣсяцевъ нормальный ребенокъ уже понимаетъ тѣ простыя слова, съ которыми къ нему обращаются взрослые, но самъ еще не говоритъ. Онъ дѣлаетъ жесты в соответствии съ просьбами этихъ послѣднихъ, протягиваетъ руки, бьетъ в ладоши, цѣлуется и т. под. Но пониманіе словъ, которое наблюдается нерѣдко еще до года, не вызываетъ у ребенка стремленія къ самостоятельному воспроизведенію ихъ.

Съ другой же стороны, дитя подражаетъ звукамъ, еще не понимая ихъ, какъ подражаетъ,—и при томъ особенно охотно,—жестамъ, неартикулированнымъ шумамъ (Stern. 153) и тону голоса. Такимъ образомъ, два эти процесса, пониманіе словъ и ихъ произнесеніе, развиваются в продолженіе приблизительно первыхъ полутора годовъ жизни ребенка въ зависимости одинъ отъ другого. Но когда первый изъ нихъ достигнетъ известнаго развитія, одновременно съ этимъ или нѣсколько недѣль спустя обнаруживаются первыя удачныя попытки сознательнаго говоренія. Однако затѣмъ пониманіе чужой речи в своемъ дальнѣйшемъ развитіи значительно обгоняетъ говореніе. Вопросъ о томъ, какъ возникаетъ ассоціація между представлениями о вещи и представленіемъ о словѣ, является основной проблемой в изученіи перваго активнаго говоренія ребенка. Мейманъ в статьѣ о развитіи пониманія речи у ребенка¹⁾ формулируетъ свой отвѣтъ на этотъ вопросъ в слѣдующихъ выраженіяхъ: „Дитя постепенно научается выдѣлять известные конкретныя звуковыя представленія (sachliche Lautverstellungen) изъ остальныхъ конкретныхъ представленій и относить

¹⁾ „Die Entstehung der ersten Wortbedeutungen beim Kinde“. Philosophische Studien 1902.

ихъ ко всѣмъ конкретнымъ представленіямъ въ качествѣ словесныхъ представленій или значеній: и вотъ представленія о словѣ или значеніи могутъ ассоціироваться съ конкретными представленіями, которыя постепенно становятся все сложнѣе. Когда это произошло, то уже можетъ функционировать извѣстный репродукціонный аппаратъ: слышаніе словъ воспроизводитъ представленія о значеніи, а воспріятія вещей, для которыхъ уже имѣются выученныя названія, воспроизводятъ слово“.

Можетъ-ли этотъ процессъ ассоціаціи представленій о словѣ и вещи произойти въ сознаніи младенца безъ участія посторонней помощи или онъ, непрѣмляе, требуетъ участія внѣшняго фактора, представляя результатъ извѣстной „дрессировки“? Само собою разумѣется, что этотъ вопросъ имѣетъ ближайшее отношеніе къ нашей темѣ, и потому я считаю необходимымъ остановиться на немъ. У старыхъ ученыхъ преобладало убѣжденіе, что подобная ассоціація не нуждается въ содѣйствіи постороннихъ. Такъ, одинъ изъ нихъ (Франке) полагалъ, что пониманіе окружающей среды звуковъ, бессознательно производимыхъ ребенкомъ въ томъ или другомъ состояніи, создаетъ у младенца ассоціацію между этими звуками и достигнутымъ результатомъ. Такъ, дитя, проголодавшись, издаетъ звукъ *mhm*: взрослые уже схватили внутреннее значеніе этого звука, они уже знаютъ, что ребенокъ издаетъ его, проголодавшись, и дитя получаетъ пищу. И потому, опять проголодавшись, ребенокъ *непроизвольно* издаетъ этотъ звукъ снова. Такъ еще грудной младенецъ создаетъ свое первое слово (см. Аментъ. 62). Едва-ли, послѣ всѣхъ вышеприведенныхъ соображеній о духовномъ развитіи ребенка, слѣдуетъ останавливаться на совершенно произвольномъ толкованіи Франке: если и въ первый, и во второй, и въ послѣдующій разы младенецъ *непроизвольно* издаетъ, проголодавшись, звукъ *mhm*, то нѣтъ никакого вѣроятія, что онъ самостоятельно уяснитъ себѣ весьма сложную связь между этимъ несознаннымъ имъ звукомъ и появленіемъ пищи. Въ виду этого затрудненія получила преобладаніе иная точка зрѣнія, выраженная Компере, Паулемъ, Преферомъ и др. и сводящаяся къ признанію необходимости посредствующаго вліянія взрослыхъ. Последнее, дѣйствительно, обнаруживается всегда при внимательномъ изученіи первыхъ шаговъ дѣтской рѣчи. Мало помогаетъ средня, компромиссная точка зрѣнія Аментъ, который обращаетъ вниманіе на двѣ особенности въ образованіи ассоціацій у дѣтей. По его мнѣнію, слѣдуетъ имѣть въ виду какъ способность младенца къ ассоціаціямъ, такъ и причину возникновенія ассоціаціи въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Способность къ ассоціаціямъ должна быть предположена а priori, потому что, если бы ея не было, какъ бы можно создать ее содѣйствіемъ среды: что же касается возникновенія ассоціаціи въ отдѣльныхъ случаяхъ, то, по мнѣнію Аментъ, „едва-ли кто-нибудь можетъ серьезно придерживаться того взгляда, что дитя можетъ ассоціировать только такія представленія,

одновременность или послѣдовательность которыхъ выясняются ему средой“. Выходитъ, стало быть, что и нѣтъ никакого вопроса, а Аментъ побѣдоносно заключаетъ: „Если бы самостоятельная ассоціація не обусловливала перваго значенія слова, то, вообще, дитя не научилось бы говорить“. Вотъ типичный образчикъ разсужденій той школы, которая видѣтъ въ говореніи ребенка нѣчто самозарождающееся. Въ сущности, нѣтъ надобности Аменту говорить о *первомъ значеніи слова*, которое было понято ребенкомъ; тотъ же самый процессъ ему приходится продѣлывать при всякомъ новомъ усвоеніи. Само собою разумѣется, что способность ассоціаціи у ребенка въ извѣстномъ возрастѣ имѣется, и выше были приведены примѣры ранняго проявленія ея. Но вѣдь самая послѣдовательность причины (напр., крика) и результата (напр., появленія пищи) вовсе не такъ проста, какъ изображаетъ Аментъ. Какъ отмѣчаютъ многие писатели этого направленія, вѣдь крикъ то издается ребенкомъ сначала бессознательно. Крикъ, беспокойная мимика, жестикуляція со стороны младенца и рядъ очень сложныхъ дѣйствій со стороны взрослыхъ: вотъ тѣ моменты, между которыми должна установиться ассоціація. Изъ всей совокупности этихъ моментовъ почему-то выдѣляются два: крикъ и его результатъ, появленіе молока, пищи. Но вѣдь ассоціація можетъ установиться между тѣмъ же результатомъ и инымъ моментомъ перваго ряда, напр. протянутыми къ взрослому ручками и т. п. Что это теоретическое соображеніе находитъ подтвержденіе въ реальныхъ наблюденіяхъ надъ дѣтьми, извѣстно всякому, имѣвшему съ ними дѣло. Такъ, я наблюдалъ младенца, который, замочивъ въ постелькѣ свои пеленки, начиналъ претально сморѣть въ лицо матери или няни, „ѣть глазами“, какъ выражалась няня, понимавшая значеніе этой мимики и спѣшившая на помощь ребенку.

Если бы этотъ послѣдній выросъ въ средѣ нѣмыхъ людей, то, вѣроятно, къ такой мимикѣ и жестикуляціи и свелись бы выразительныя средства ребенка. Но онъ жилъ между говорящими людьми, которые сопровождали всѣ свои дѣйствія съ младенцемъ постоянными приговорами: напр., говорили *молочко*, когда несли ребенку молоко, или восклицали *тиска, тиска-тиска*, показывая ему игрушечную кошку, такъ что путь для созданія ассоціаціи между словомъ и представленіемъ о предметѣ былъ облегченъ для дитяти взрослыми. И уже очень рано этотъ младенецъ сталъ восклицать *мо* при видѣ бутылочки съ молокомъ или радостно восклицать *кис, кис* при видѣ кошки. Первые слова дѣтской рѣчи были созданы, такимъ образомъ, взрослыми: они были *одвинуты* ихъ условіями въ дѣтскія ассоціаціи представленій, или выдѣлены, какъ *важнѣйшій моментъ*, изъ цѣлаго ряда моментовъ, отъ непроизвольнаго и бессознательнаго крика къ конечному результату. Но этому предшествуетъ еще болѣе ранняя стадія, которая заключается въ установленіи ассоціаціи не между словесными и предметными представленіями, но между простой дви-

гательной реакціей и сложнымъ слуховымъ впечатлѣніемъ (Stern 155), т. е. ассоціируется не слово съ представленіемъ, но цѣлая совокупность не разрозненныхъ, неотчетливыхъ слуховыхъ образовъ, въ видѣ фразы, словъ, пропзнесенныхъ въ извѣстномъ тонѣ, и т. п. ассоціируется съ какимъ то аффектомъ, вызывающимъ двигательную реакцію. Приблизительно тоже самое, вѣроятно, происходитъ въ сознаниі дрессированнаго животнаго, которое по командѣ совершаетъ извѣстныя дѣйствія. Посредствующимъ звеномъ въ установленіи такой ассоціи не только у ребенка, но и у животнаго оказывается жестъ. „Проникновеніе въ смыслъ нѣкоторыхъ естественныхъ жестовъ взрослыхъ представляетъ гораздо болѣе простой процессъ, чѣмъ проникновеніе въ смыслъ звуковъ, ибо эти послѣдніе имѣютъ, въ общемъ, лишь вѣшнюю связь съ своимъ значеніемъ, а жесты связь внутренней необходимости. Когда мать приближается съ раскрытыми руками къ младенцу, лежащему въ коляскѣ, и при этомъ дѣлаетъ легкія движенія подниманія (Hebebewegungen), то дитя съ полнымъ пониманіемъ ея намѣреній поднимается и стремится навстрѣчу ея рукамъ, говорить-ли при этомъ мать: *ну, иди ко мнѣ*, или *viens, ton bébé*, или *убирайся прочь*, или неговорить ничего. Очень медленно, лишь по мѣрѣ того, какъ съ однимъ и тѣмъ же жестомъ связывается постоянно одно и тоже слово, устанавливаются чувственно двигательныя соединительныя нити между звуковымъ комплексомъ и реакціей, пока наконецъ уже въ третьей стадіи развитія—ассоціація становится настолько прочной, что теперь уже жестъ можетъ отсутствовать, и одного звука достаточно для разрѣшенія (Auflösung) движенія. вмѣсто естественной всеобщей формы пониманія возникаетъ теперь искусственная и специальная. Жестъ вытянутыхъ рукъ понимаютъ все дѣти міра, опредѣленные звуки только дитя опредѣленной языковой среды. Нѣсколько индѣйскій характеръ получаетъ генезисъ перваго пониманія рѣчи тогда, когда исходнымъ пунктомъ становится жестъ не взрослого, но самого ребенка. Въ этомъ случаѣ можетъ быть использовано раздражательное, самовольческое или произведенное съ чужой помощью движеніе дитяти, если только взрослый достаточно часто сопровождаетъ его опредѣленными словами. Тогда и въ этомъ случаѣ постепенно устанавливаются тѣ сенсомоторныя проводники, которые послѣ извѣтнаго навыка могутъ возбуждаться и съ помощью акустическаго впечатлѣнія. Этотъ процессъ имѣетъ нѣкоторое сходство съ дрессировкой животнаго“. Такимъ образомъ, повидимому, слѣдуетъ принять за прочно установленный наукою фактъ, что созданіе ассоціи между словесными и предметными представленіями, приводящее къ пониманію значенія слова, не обходится у младенца безъ содѣйствія со стороны говорящей среды.

Однако, извѣстно не мало случаевъ, когда дитя не только занемовало свой словарь отъ взрослыхъ, но частью сочиняло и само. По существу, нельзя ничего возразить противъ предположенія, что дитя усво-

ивъ себя значеніе рѣчи, состоящей изъ словъ, непытываетъ потребность къ сочиненію собственнаго словаря. Конечно, предѣлы дѣтскаго творчества не могутъ быть здѣсь очень широки, такъ какъ, вообще, творческое воображеніе дитяти не представляетъ богатства сюжетовъ: ребенку еще не откуда почерпнуть достаточное количество матеріала для своихъ образованій. То, что на первый взглядъ можетъ показаться продуктомъ самобытнаго творчества ребенка, въ дѣйствительности, нерѣдко окажется просто искаженіемъ плохо услышаннаго и слабо запомниваемаго. Но въ отдѣльныхъ случаяхъ возможно допустить и просто сочинительство, въ родѣ того, что было отмѣчено въ главѣ объ истеріи. Какъ правильно отмѣчаетъ изслѣдователь одного изъ такихъ случаевъ, Штумпфъ,¹⁾ „если человекъ, вообще, можетъ быть названъ машиной, то это названіе гораздо болѣе примѣнимо къ взрослому, чѣмъ къ ребенку, который свободенъ, по крайней мѣрѣ, отъ гнета привычекъ“.

Остановимся на примѣрѣ, описанномъ Штумпфомъ. Мальчикъ Феликсъ, родившійся 3 февраля 1885 г., въ 8 мѣсяцевъ отъ роду сталъ повторять вслѣдъ за своимъ старшимъ братомъ слогъ *wa-wa-wa-wa*, при чемъ оба ребенка находили большое удовольствіе въ этой забавѣ и предавались ей въ теченіе нѣсколькихъ дней. Нѣсколько дней спустя онъ сталъ произносить вслѣдъ за взрослыми слова, *papa, mama*, при чемъ значеніе этихъ словъ оставалось ему еще непонятно. Поэтому, мѣсяца черезъ полтора, 27 ноября, эти же слова, но съ легкимъ искаженіемъ: *pap-n, mam-n*, были употреблены для обозначенія ѣды, а затѣмъ и всего пріятнаго. Въ концѣ копцовъ, однако, выраженіе *pap-n* получило значеніе технического термина для означенія ѣды. Въ концѣ января 1886 г., когда ребенку почти уже исполнился годъ, у него появился еще другой знакъ для выраженія удовольствія, сочетаніе *va*, а въ маѣ того же года для той же цѣли онъ пользовался удвоеніемъ *gaga*. Птицу въ клеткѣ онъ привѣтствовалъ восклицаніемъ *na*, которое произносилось съ пониженіемъ тона, отсутствіе человека или вещи выражалось звуками *ta*. Въ возрастѣ года ребенокъ сложилъ изъ этого матеріала и первое предположеніе *papn-tu*, означавшее отсутствіе хлѣба.

При этомъ слово *tu* сопровождалось *жестикмуляціей*: рука подымалась ладонью вверхъ. Своеобразный словарь Феликса продолжалъ обогащаться и послѣ года: 10 ноября 1886 года мальчикъ сталъ примѣнять къ мясу и рыбѣ сочетаніе *fisch*, которое, конечно, восходило къ нѣм. *Fisch* (какъ въ языкѣ одного изъ монхъ сыновей *fisch*, произносимое, когда онъ бывалъ сытъ, восходило къ слову *ссы*, т. е. вся бутылочка съ молокомъ). Это *fisch* вскорѣ было забыто Феликсомъ, но потомъ опять появилось.

¹⁾ C. Stumpf. Eigenartige sprachliche Entwicklung eines Kindes. Zeitschrift für pädagogische Psychologie und Pathologie. III. 1901.

Только въ возрастѣ 16 мѣсяцевъ мальчикъ научился правильно и съ обычнымъ значеніемъ употреблять слова *mama* и *papa* для означенія родителей: до того времени онъ обращался къ матери со словомъ *mette*, а *papa* не произносилъ вовсе. Въ 17 мѣсяцевъ словарь Феликса нѣсколько обогатился, но все тѣми же своеобразными словами: онъ называлъ мясо *w*, брата Руди (Рудольфа) *ulul, olul, olol* (= *Rudolf?*), иногда также *ululul*; изъ *ura* (*hurrah*) Феликсъ образовалъ слово, употреблявшееся имъ сначала, когда онъ видѣлъ, какъ машутъ флагомъ, а потомъ при всякомъ приятномъ зрѣлищѣ—*rah*; быть можетъ, въ связи съ этимъ солдаты получили названіе *kurrâh* (потомъ *krâh*) и т. д. Въ возрастѣ 23 мѣсяцевъ прибавились новыя слова: *tap* для раскупориванія бутылки, *kap* (*kaput*) для уничтоженія чего-нибудь, а для выраженія смѣшного *krarar* и *larar* (первое слово, какъ предполагаетъ Штумпфъ, пошло отъ имени забавнаго персонажа въ театрѣ марионетокъ *Kasperli*). Не умѣя говорить, мальчикъ довольно хорошо понималъ языкъ окружающихъ (съ начала 3 года). Вообще, онъ не представлялъ никакихъ признаковъ отсталости и отличался цвѣтущимъ здоровьемъ. Только въ области языкового развитія онъ продолжалъ обнаруживать тѣ же странности. Слово *aid*, появившееся въ возрастѣ около двухъ лѣтъ для выраженія восторга, къ половинѣ 3-го года жизни было нѣсколько измѣнено въ *aja* съ удареніемъ на первомъ слогѣ и употреблялось для обозначенія всего приятнаго. Себя самого ребенокъ называлъ въ этомъ возрастѣ иногда *ich* (или *ik*), иногда совсѣмъ неяснымъ въ смыслѣ произношенія *job* или *job-tobbelob*. Въ сентябрѣ 1887 года словарь Феликса продолжалъ отличаться той же скудностью, но онъ ухитрялся изъ своихъ словъ складывать цѣлыя фразы: *ik olol ei hara* (я и Руди ѣдимъ яйцо), *da ä haru nâh* (этотъ противный супъ я не хочу ѣсть,—и при этомъ указываетъ на супъ), *da aja haruja* (эту вкусную пищу я хочу,—указывая на мясо и овощи), *papa schisch haru tu nâh* (=папа мясо ѣда пречъ нѣтъ, т. е. папа не съѣлъ мяса). Зимой 1887/8 и весной 1888 г., когда ребенокъ былъ въ возрастѣ между 3 и 4 годами, число его словъ значительно возросло, при чемъ эти по большей части односложныя слова представляли чаще всего искаженныя слова взрослыхъ. Есть указанія на то, что эти искаженія восходили уже къ известной мѣрѣ къ *возмателъному* пристрастію къ оригинальному. Такъ, Феликсъ называлъ молоко—*PraMick*. Генезисъ этого слова удалось восстановить: однажды стая, оговорившись, сказала вмѣсто *Milch*—*malik*; ребенокъ сейчасъ же подхватилъ эту оговорку и сталъ варинировать ее: *malik, praMick*, при чемъ это последнее искаженіе такъ поправляетъ ему, что онъ сдѣлалъ его постояннымъ названіемъ молока на своемъ языкѣ. Тотъ же элементъ намѣренной путаницы обнаружился и въ

названіи словомъ *miri* сначала кошки, потомъ жаркого¹⁾. Въ числѣ словъ, употреблявшихся мальчикомъ, огромное большинство представляло просто искаженіе обычныхъ словъ (*nkn*=*Onkel*, дядя *tul*=*stuhl*, стулъ, *bich*=*Brief*, письмо, *apclah*=*Heidelbeeren*, малина, *hu*=*Hund*, собака и т. п.); другія были звукоподражательнаго происхожденія: *tuff* (свгары), *sch-sch* (железная дорога) и т. п., третьи создавались съ помощью удвоенья: *bambam* (кинка, изъ *Buch*), *nam nam* (Марья, имя горничной) и т. д. На языкѣ Феликса оказывалось возможнымъ создавать не только сложныя слова (*pap-tube*—столовая, *bu-tube*—спальная), но и цѣлыя предложения, *olol pa nâh, ich pa ja*—Руди ничего не получить, а я получу; *olol hara u kru wara*—Руди повалилъ большія прекрасныя кегли). Все это оригинальное развитіе дѣтской рѣчи прекратилось сразу: 5 мая 1888 г. вечеромъ родители, вернувшись изъ театра, были встрѣчены извѣсткованной бонной, которая, внѣ себя отъ изумленія, объявила, что Лики (Феликсъ) сразу заговорилъ. Дѣйствительно, мальчикъ почти правильно повторялъ за родителями слова и фразы и произнесъ нѣсколько коротенькихъ молитвъ. Штумпфъ объясняетъ этотъ неожиданный переворотъ тѣмъ, что мальчикъ „достаточно наигрался“, и при томъ почувствовалъ, что его своеобразный языкъ представляетъ нѣчто стыдное. Запасъ акустическихъ словесныхъ представленій у него уже имѣлся, такъ какъ онъ постоянно слышалъ вокругъ себя рѣчь взрослыхъ, которую хорошо понималъ. Если же и моторныя представленія словъ оказались у Феликса настолько совершенными, то причина этого заключалась, вѣроятно, въ томъ, что мальчикъ принадлежалъ къ ясно выраженному моторному типу внутривней рѣчи. Возможно также, какъ предполагаетъ Штумпфъ, что Феликсъ уже давно повторялъ про себя потихоньку правильное произношеніе взрослыхъ. Подобный случай извѣстенъ мнѣ въ нѣсколько иной формѣ: въ русско-нѣмецкой семьѣ говорили съ дѣтми то по русски, то по нѣмецки, но одинъ мальчикъ ни за что не хотѣлъ говорить по нѣмецки, и окружающіе были убѣждены, что онъ просто не знаетъ по нѣмецки, когда однажды неожиданно онъ заговорилъ на этомъ языкѣ правильно и бойко. И въ этомъ случаѣ, какъ въ исторіи Феликса, передъ нами являлось психологическое явленіе: ребенокъ почему-то стыдился показывать свое знаніе языка. Эта странная застенчивость не вполне нормальна; вѣроятно, она имѣетъ историческое происхожденіе.

Феликсъ не просто *игралъ*, какъ полагаютъ его отецъ, но былъ одержимъ скорѣе истерическою навязчивой идеей—созданія собственныхъ словъ. Конечно, у младенца эта идея представляла собой не болѣе, какъ

¹⁾ Однѣжды, когда подали жареного яйца, и назвалъ его, какъ шутка въ старину, *schisch miri*. Это дало Феликсу поводъ примѣнить это выраженіе ко всякому жаркому, съмасти, соевидному, съ желаніемъ пощипать, а потомъ и въ серьезъ". Ibid. 430.

импульсъ къ сочиненію *своего* языка, и эта страсть къ оригинальнѣйшій осталась у мальчика и въ послѣдствіи, проявляясь въ довольно разнообразныхъ формахъ. У вполне нормальныхъ дѣтей количество такихъ „сочиненныхъ“ или словъ *блуждающаго* наименованія. Оно не составляетъ собою словъ, заимствованныхъ правильно, и восходитъ къ искаженіямъ языка взрослыхъ. Такъ, Штерль отмѣчаетъ у своей двухлѣтней дѣвочки слова *eischei* (богатырь, изъ *ein-zwei*, разъ-два), *stecatze* (разрывать, изъ *ritsche-ritsche*, приговорки взрослыхъ при разрываніи), *biche* (комодъ, изъ *bücher*—книжки, которыя лежали въ комодѣ) *lillebille* (лапоница изъ *schmiere-schmiere*), *siete* (отраженіе рукъ на стѣнѣ, изъ *sichst-du?*) и т. п. Быть можетъ, Штерль заходитъ слишкомъ далеко въ своемъ скептицизмѣ, утверждая, что „совершенно свободное изобрѣтеніе словъ абсолютно не наблюдается въ первые годы развитія языка нормального ребенка“ (Stern, 342); нѣсколько голословно также предположеніе Бундта (I, 282), что слова дѣтскаго языка, необъяснимыя, какъ искаженія, даются ребенку *независимо* окружающей его средой. Но, даже не соглашаясь съ этими мнѣніями, необходимо признать, что самостоятельное творчество ребенка въ области словаря начинается лишь постѣ того, какъ ребенокъ понялъ, *къ чему служатъ слова*. Это не есть изобрѣтеніе *языка*, какъ средства общенія между людьми, но лишь сочиненіе словаря. *Принципъ* языка дается ребенку только изъ окружающей среды, это самое главное. Къ тому же обширному матеріалу дѣтскихъ языковъ, который дается въ старшихъ, мало критическихъ изслѣдованіяхъ, приходится створиться съ полнымъ недоумѣніемъ: такъ, Габелентцъ приводитъ примѣры удивительной „символически гласныхъ“ въ языкѣ своего племянника, который называлъ *lakail* обыкновенный стулъ, *lukull* большое кресло, *likill* маленькій стульчикъ или *mat*—маленькій кругъ (чаша, тарелка), а *mit*—большой кругъ (блюдо, круглый столъ) и т. п. Это была или просто игра, поддерживаемая взрослыми, или систематизація сначала малоотчетливаго произношенія, не обходящая также безъ участія взрослыхъ, или просто выдумка взрослыхъ. Никонимъ образомъ нельзя дѣлать отсюда умозаключеній о первоначальномъ типѣ человѣческой рѣчи. Поразительна та дѣтскость, съ какой напр. Чемберленъ („Дитя“, ч. I) черпаетъ изъ всевозможныхъ источниковъ примѣры подобнаго лингвистическаго творчества дѣтей и взрослыхъ. Ему кажется даже, что 20-лѣтняя женщина, которая „какъ разъ въ настоящее время отдается съ любовью творчеству въ языкѣ“, представляетъ „языкъ въ процессѣ его созданія“. Напротивъ, мы можемъ утверждать на основаніи строго провереннаго современнаго матеріала, что пользованіе языкомъ, какъ средствомъ общенія, вынуждается ребенку окружающей его средой, и что дитя не было бы въ состояніи создать свой словарь, а было бы обречено или не говорить, или заимствовать свой словарь у взрослыхъ. Это можетъ свидѣтельствовать о значеніи *лично-*

сти въ возникновеніи человѣческой рѣчи: *заимствованіе* есть источникъ всего нашего словаря.

Но вотъ фактъ, имѣющій большое значеніе въ вопросѣ о происхожденіи языка: первыя слова ребенка служатъ для выраженія его желаній, стремленій или нежеланій. Это языкъ аффектовъ, а не звукоподражаній или называнія предметныхъ представленій. Мейманъ утверждаетъ, что въ аффектѣ дитя нѣрѣдко говорить лучше, чѣмъ въ безразличномъ настроеніи духа. По его убѣжденію, интеллектуальному употребленію словъ всегда предшествуетъ такая стадія языкового развитія, на которой слова имѣютъ значеніе выраженія только эмоций и желаній (*emotionell-volitionale Sprachstufe*). Къ этому убѣжденію Меймана приводитъ анализъ первоначальнаго словаря всякаго младенца, даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ на видѣ дѣло идетъ просто о называніяхъ. Такъ, дитя начинаетъ говорить со слова *дада*, которое означаетъ отца, мать, няню, сестру, а также бутылочку съ молокомъ, наконецъ всякій предметъ, овладѣвшій вниманіемъ младенца. Это слово, однако, не является обобщеніемъ, но только замѣной указывающаго жеста, какъ полагаетъ Мейманъ, или быть можетъ, просто разряженіемъ энергіи въ звукахъ, сопровождающимъ усиліе. Дѣвочка, получивъ кусокъ яблока (*apfel*), научилась новому для нея слову *appa*, и это слово приобрѣло для нея значеніе всего съѣдобнаго и выраженія чувства голода или желанія получить съѣдобную вещь. Такимъ образомъ, въ дѣтскомъ языкѣ *шляпа* означаетъ, собственно, не предметъ, но желаніе надѣть или снять шляпу, *стулъ* сѣсть на стулъ, *дверь* закрыть или открыть дверь и т. п. Примѣры этого рода и разеужденія Меймана, которыхъ я здѣсь приводить не буду, позволяютъ, какъ мнѣ кажется, дѣйствительно, придти къ убѣжденію, что человекъ начинаетъ говорить не потому, что затронуты его интеллектуальные интересы, но потому, что его сознание охвачено стремленіемъ. Если заимствованіе даетъ матеріалъ для словаря ребенка, то аффектъ вызываетъ у него желаніе высказаться, причемъ выразительными средствами являются, въ равной мѣрѣ, и крикъ, и жестъ. Лишь позже изъ слова выпадаетъ его эмоциональный отбѣнокъ, и оно становится просто обозначеніемъ предмета. Такъ устанавливается значеніе слова. Вслѣдствіе скудости словъ у ребенка и безпомощности его мысли одно и то же слово можетъ означать различные предметы, такъ или иначе связанные между собою, т. е. ассоціаціи по сходству или по смежности создаютъ перенесеніе значенія. отождествлять этотъ процессъ съ возникновеніемъ метафорическаго языка было бы неправильно. „Ребенокъ, который назвалъ диванъ стуломъ, вовсе не имѣлъ въ виду выразить общее понятіе, охватывающее всѣ предметы, на которыхъ можно сидѣть, но именно только *одинъ* предметъ, на который названіе было перенесено по ассоціаціи. Но такая ассоціація выступаетъ, когда имѣется какое-нибудь сходство или вышнее отношеніе, которое оказывается достаточнымъ для

того, чтобы при видѣ новаго предмета воспроизвести то же самое слово, какое связалось съ представленіемъ о прежнемъ“ (Wundt. I. 289). Этотъ процессъ очень далекъ отъ настоящихъ метафоръ, которыя дѣти понимаютъ лишь довольно поздно. Метафоръ въ дѣтской рѣчи нѣтъ, какъ нѣтъ ничего подобнаго мифологическому мышленію или первобытному анимизму въ ребяческихъ воззрѣніяхъ на природу. Солнце ночью *ходитъ*, или *кашится*, или *летитъ*, или *несется по ветру*, или Богъ его *подымаетъ выше*; Богъ *беретъ его на небо* и, вѣроятно, *кладетъ въ постель*, снимаетъ съ него *платье*, которое утромъ опять надѣваетъ, или же *кладетъ солнце подъ деревья*, гдѣ его сторожатъ ангелы. и т. п. (См. Голль. „Содержаніе дѣтскаго сознанія при поступленіи въ школу“. Ausgewählte Beiträge. 94—95).

Въ этихъ примѣрахъ, которыхъ такъ много по разнымъ сюжетамъ въ изслѣдованіи американскаго ученаго, обнаруживается вовсе не поэтическое умозаключеніе ребенка, а, вѣрнѣе, его безразличіе въ познавательномъ отношеніи, лѣность мысли, которая удовлетворяется первымъ появившимся объясненіемъ. Этимъ же должно объясняться метафорическое перенесеніе значеній въ дѣтской рѣчи. Постепенно словарь ребенка обогащается, и тогда языкъ его теряетъ свой „поэтический“ характеръ.

Изъ вопросовъ, поставленныхъ въ настоящей главѣ, остается разсмотрѣть еще два: о грамматическомъ развитіи дѣтской рѣчи и о выраженіи личности ребенка въ его языкѣ. Обоимъ этимъ вопросамъ посвящены очень детальныя изслѣдованія болгарскимъ ученымъ И. А. Георговымъ; кромѣ того, относящійся сюда матеріалъ мы находимъ и въ другихъ трудахъ по дѣтской психологіи. Приведемъ сначала данныя, указанныя супругами Штернъ. „Чѣмъ болѣе условнымъ становится языкъ, тѣмъ болѣе онъ грамматиченъ; и если на начальныхъ стадіяхъ развитія рѣчи мы должны остерегаться прилагать къ дѣтскимъ словамъ обычныя грамматическія нормы, то въ позднѣйшемъ развитіи примѣненіе грамматики становится все болѣе непринужденнымъ“. Первыми частями рѣчи, которыя выдѣляются изъ недифференцированной дѣтской болтовни являются *междометія*, какъ остатки первоначальной стадіи въ развитіи дѣтской рѣчи, выражающей аффективно-волевою эпоху ея. На этомъ уровнѣ развитія и имена существительныя имѣютъ значеніе также аффективно-волевыхъ выраженій: когда дитя, утомившись ходить на ногахъ и просясь на руки, кричитъ „ручка“ (*учки*, какъ отмѣчено въ дневникахъ моихъ дѣтей), то для него это слово есть не имя существительное, а своего рода междометіе. Однако, совершенно такой же смыслъ имѣютъ и глаголы. Одинъ изъ моихъ сыновей, въ возрастѣ менѣе 2 лѣтъ (1 годъ 9—10 мѣсяцевъ), страдалъ по ночамъ мучительными приступами кашля; ему становилось нѣсколько лучше, когда его носили на рукахъ въ сидячемъ положеніи, и онъ просилъ объ этомъ восклицаніемъ: „*гаать*“ (гулять). Разумѣется, ни

„ручки“, ни „гулять“ не являлись въ сознаніи ребенка наименованіями, первое—предмета, второе—дѣйствія. Поэтому, признавая вмѣстѣ съ супругами Штернъ, что первой стадіей въ развитіи дѣтской рѣчи, является періодъ выраженія воли и аффектовъ въ формѣ „междометій“, я полагаю, что они не правы въ опредѣленіи „перваго сознательнаго фазиса рѣчи, возникающаго изъ дограмматическаго состоянія, какъ стадіи преимущественно предметнаго характера, которую поэтому слѣдуетъ называть стадіей существительнаго (Substanzstadium)“. Нѣсколько позже процессъ узнаванія и называнія предметовъ, дѣйствительно, поглощаетъ вниманіе ребенка, и имена существительныя получаютъ значительное преобладаніе надъ глаголами. Штернъ сопоставляютъ пять статистическихъ таблицъ распредѣленія глаголовъ и существительныхъ въ словаряхъ различныхъ дѣтей. Въ возрастѣ полутора лѣтъ процентное отношеніе именъ существительныхъ къ другимъ словамъ колеблется между 74 и 85, въ возрастѣ двухъ лѣтъ оно составляло у четырехъ изъ пяти изученныхъ дѣтей 60—70 процентовъ и только у одного 90. Но едва-ли подобное преобладаніе именъ существительныхъ надъ другими частями рѣчи не является обычнымъ явленіемъ въ рѣчи и взрослыхъ людей. Вотъ нѣсколько примѣровъ: въ баснѣ „Лебедь, щука и ракъ“ именъ существительныхъ 21, глаголовъ 12, въ баснѣ „Котъ и поваръ“ 60—29, въ стихотвореніи Пушкина „Утопленникъ“, гдѣ такъ много дѣйствія, 92 именъ существительныхъ, 28 глаголовъ, считая въ томъ числѣ и вспомогательный глаголь. Такимъ образомъ, двухлѣтнее дитя достигаетъ въ своемъ усвоеніи различныхъ частей рѣчи приблизительно того же соотношенія, что и взрослый человѣкъ. Глаголы не такъ нужны ребенку, какъ названія предметовъ, и въ условіяхъ дѣтской жизни дѣятельность предметовъ въ достаточной мѣрѣ ограничена; поэтому и только поэтому дитя называетъ гораздо больше предметовъ, чѣмъ дѣйствій. На особенности грамматическаго склада дѣтской рѣчи это, по моему убѣжденію, не даетъ никакихъ указаній.

Въ обстоятельной работѣ проф. Георгова ¹⁾ изложено грамматическое развитіе рѣчи у двухъ мальчиковъ. Первое слово, которое произнесъ одинъ изъ нихъ, было *да* (дай), сказанное на 412 день жизни. Это слово служило ему для выраженія желанія какъ получить что-нибудь, такъ и передать. Затѣмъ послѣдовали слова *фа* въ смыслѣ междометія *фу* (грязно, противно), *леа* (хлѣбъ) и *ча* (чай). Этими четырьмя словами, обозначающими не самые предметы, а связанныя съ ними эмоціи, и ограничивался словарь ребенка въ возрастѣ 476 дней отъ роду. Другой ребенокъ проф. Георгова заговорилъ нѣсколько позже: на 433 день онъ воскликнулъ *эзэ* (горячо); на 453 день появилось восклицаніе *дэе*, которымъ дитя выра-

¹⁾ „Приносъ къ грамматичнаго развои на дѣтския говоръ“. Годшникъ на Софійския университетъ. София. 1906.

жало свой восторгъ, играя въ прятки, и *йои, йос* (=боць) для выраженія неприятнаго ощущенія (мальчикъ укололъ палець). Погоня деревянную лошадь, мальчикъ кричалъ (на 530 день) *ди* (т. е. дди): показывая на знакомое ему лицо, прибавлялъ *ете* (это) и т. п. Такимъ образомъ, въ возрастъ полутора лѣтъ оба ребенка были еще чужды первымъ попыткамъ грамматическаго подраздѣленія словъ. Ихъ словарь, весьма скудный, состоялъ изъ нѣсколькихъ восклицаній, и только слово *это* для указанія на определенное лицо указывало на пробуждающійся у дитяти интересъ къ названію. Въ возрастъ около полутора лѣтъ у дѣтей появились первые глаголы: у перваго на 516 день оставшееся на два мѣсяца одинокимъ *мимъ* (нѣма, нѣтъ), у втораго на 585 день *мъс* (=съ *сапа*, шапка), на 587 *могэ* (=моге съ мягкимъ *с*=не може—не можетъ, нельзя). Въ эту же пору Георговъ отмѣчаетъ появленіе въ дѣтской рѣчи прошедшаго времени глаголовъ и любопытныхъ безглагольныхъ выраженій: *мама те го* (это я, мама), *чодко ни* (деньги, пари, для человѣка, который что-то принесть въ домъ), *Кана ева* (Кана, служанка, пошла за водой). Въ томъ же возрастѣ обнаруживается уже не мало повелительныхъ наклоненій: у одного ребенка *седъ* (садись, 715 день), *свнй* (соверши, 717), *легъ се* (ложись, 712) и т. под., у другого *бега* (бѣгай, 601), *ми тасъ* (=зemi тозъ, возьми это, на 653 день), *ми ме* (возьми меня, 679). Къ двумъ годамъ дѣти проф. Георгова оказались обладателями уже всего того богатства глагольныхъ формъ, которые сохранилъ и развилъ болгарскій языкъ. Болгарское склоненіе, которое заключается въ прибавленіи различныхъ предлоговъ къ неизмѣняемому именительному падежу, представляется для ребенка больше трудности, чѣмъ склоненіе въ языкахъ, сохранившихъ флексію. Немыслимы у русскаго ребенка неправильности обычныя у болгарскаго вслѣдствіе неумѣлаго расположенія словъ въ предложеніи. Такъ, дательный падежъ образуется съ предлогомъ *на*, который или опускается ребенкомъ (*Ладо седено, и папа седено*, т. е. и Володѣ холодно, и папѣ холодно), или помѣщается не на своемъ мѣстѣ (*мама даде Ладо леп*: выходитъ, что мама дала Володѣ хлѣбъ, тогда какъ ребенокъ хотѣлъ указать совершенно противоположное, что Володя далъ мамѣ хлѣбъ). Эта ошибка была сдѣлана мальчикомъ на 726 день жизни, а нѣсколько дней спустя тотъ же мальчикъ, съ трудомъ справляясь съ грамматической формой, опять ошибся, сказавъ: *на папа Ладо даде* вмѣсто *папа даде на Ладо* (папа далъ Володѣ). Это отсутствіе согласованія является характерной особенностью рѣчи у двухлѣтняго (болгарскаго) ребенка.

Въ изслѣдованіи Георгова представлено очень детально развитіе частей рѣчи въ дѣтскомъ языкѣ. Здѣсь указано время появленія перваго прилагательнаго, нарѣчія и т. п. Минѣ представляется такая детализація излишней, потому что нѣтъ основанія думать, что, кромѣ подраздѣленія

словъ на названія предметовъ и дѣйствій, которое вытекаетъ въ періодъ ориентировки ребенка въ окружающемъ мірѣ изъ потребностей двоякаго рода (волевыхъ—для дѣйствій, интеллектуальныхъ—для предметовъ), у ребенка есть еще сознаніе различія между качествомъ и предметомъ. И, дѣйствительно, имя прилагательное появляется очень рано: *най* говоритъ дитя, заимствуя это слово у нянь, такъ же рано, какъ *мо* (молоко) и т. п. Числительныя: *одинъ, два* также появляются въ возрастъ полутора лѣтъ. Еще раньше Георговъ отмѣчаетъ нарѣчіе *вонъ* въ рѣчи своихъ дѣтей, но остается неяснымъ, не случайно-ли это появленіе одной части рѣчи раньше другой у ребенка. Элементъ случайности здѣсь долженъ быть очень силенъ. Такъ, одинъ изъ сыновей проф. Георгова употребилъ слово *фа* (фи) на 430 день, а цѣлую фразу: *това цаца, дугото фа* (это хорошо, а другое противно) на 716 день, тогда какъ нарѣчіе *вонъ* въ возрастѣ между 600 и 700 днями, другой назвалъ первое прилагательное (*голеци*, т. е. горячій, болг. *горещъ*) на 590 день и въ томъ же самомъ возрастѣ сталъ употреблять нарѣчія *сюда* и отрицаніе *нѣтъ*. Болгарскій языкъ со своимъ богатымъ спряженіемъ и съ вымершимъ склоненіемъ обнаруживаетъ, что дѣтямъ гораздо легче примѣняться къ такому грамматическому развитію, при которомъ формы флексіи рѣзче отличаются одна отъ другой. Для взрослога человѣка, изучающаго языки съ вымершей флексіей, значительное облегченіе представляетъ это упрощеніе склоненія съ помощью предлоговъ и упрощеніе спряженія съ помощью вспомогательнаго глагола. Система предлоговъ и вспомогательныхъ глаголовъ запоминается легче, чѣмъ схема флексіи. Оказывается, что ребенокъ представляетъ въ этомъ отношеніи иныя явленія. Глагольное спряженіе далось дѣтямъ проф. Георгова раньше, и ошибокъ въ немъ они дѣлали меньше, чѣмъ въ склоненіи. А изъ грамматическихъ формъ оказались наиболѣе доступными тѣ, которыя образуются съ помощью особыхъ окончаній: будущее время, требующее для своего образованія вспомогательнаго глагола, постоянно смѣшивается въ рѣчи ребенка съ настоящимъ, но прошедшее время выражается съ удивительной правильностью. Не значить-ли это, что ребенокъ не столько самъ склоняетъ и спрягаетъ, сколько запоминаетъ уже готовыя формы частей рѣчи, и потому запоминаніе дается ему тѣмъ легче, чѣмъ болѣе отличается одна форма отъ другой. Въ интересной области грамматическаго развитія дѣтской рѣчи еще слѣдовало бы произвести тщательныя изслѣдованія, преимущественно въ такихъ языкахъ, гдѣ флексія хорошо сохранилась. Извѣстно, что безконечно сложныя грамматическія формы дикарскихъ языковъ передаются изъ поколѣнія въ поколѣніе, безъ видимаго стремленія къ ихъ упрощенію. Однимъ изъ вопросовъ, представляющимъ чрезвычайный интересъ въ анализѣ значенія словъ, является отношеніе имени прилагательнаго къ существительному. Въ языкѣ тасманійцевъ вмѣсто обозначенія качествъ употребляются, какъ рассказываетъ одинъ старшій путешественникъ, сравни-

тельные обороты или приложенія въ формѣ именъ существительныхъ. Въмѣсто *твердый* говорится какъ *камень*, вмѣсто *высокій*—*длинные ноги*, вмѣсто *круглый*—*какъ мячъ, какъ луна* и т. д., причемъ обозначеніе сопровождается жестомъ, указывающимъ на форму предмета. На островахъ Бисмаркова архипелага существительное безъ всякихъ перемѣнъ употребляется въ качествѣ имени прилагательнаго ¹⁾. Въ виду этого представляеть извѣстный интересъ вопросъ о томъ, какъ обозначаютъ качества дѣти, еще не усвоившія въ достаточной мѣрѣ языка взрослыхъ? Какъ уже было указано, имена прилагательныя заимствуются нашими дѣтьми изъ рѣчи взрослыхъ очень рано, одновременно или почти одновременно съ существительными, и первоначально имѣютъ, какъ и эти послѣднія, значеніе аффективно-волевыхъ выраженій. Повидимому, европейскія дѣти самостоятельно уже не примѣняютъ существительныхъ для означенія качествъ, т. е. если и дѣлаютъ это, то лишь подъ влияніемъ взрослыхъ и въ той же мѣрѣ, какъ взрослые. *Медведь* для означенія неуклюжаго человѣка, *бой-дѣвица* для характеристики бойкой дѣвушки и т. п. имена существительныя въ качествѣ прилагательныхъ представляютъ ту же форму выраженія свойствъ, что и въ указанныхъ выше реченіяхъ дикарей, и это употребленіе словъ, конечно, можетъ заимствоваться дѣтьми у взрослыхъ, не представляя, однако, само по себѣ, чего-нибудь характернаго для дѣтской рѣчи. Что касается развитія предложеній у дѣтей, то произношенію предложеній въ нѣсколько словъ предшествуетъ здѣсь, какъ и при первыхъ попыткахъ ребенка говорить, пониманіе ихъ. Затѣмъ начинается соединеніе словъ для выраженія мысли, которое представляеть на первыхъ порахъ сочетаніе двухъ-трехъ словъ безъ всякой грамматической связи. Предложенія эти по своему значенію являются или пожеланіями, требованіями и т. под., или вопросами, такъ что интонація даетъ опредѣленный смыслъ этому соединенію словъ. Въ языкахъ, гдѣ необходимо вспомогательный глаголь *есть*, мы находимъ его на первыхъ стадіяхъ фразообразованія, причемъ, естественно, предложенія ребенка являются простымъ повтореніемъ готовыхъ образцовъ, даваемыхъ взрослыми. Мальчикъ Штернъ, который въ 1 годъ 2 мѣсяца говорилъ *da is puppe*, конечно, повторялъ уже данную формулу, а не складывалъ самостоятельно предложенія. Тамъ же, гдѣ маленький ребенокъ образуетъ самъ предложеніе, онъ начинаетъ съ простаго соединенія нѣсколькихъ короткихъ словъ. Въ этомъ отношеніи языкъ ребенка опять-таки отличается существеннымъ образомъ отъ языковъ современныхъ дикарей, гдѣ предложенія имѣютъ чрезвычайно сложную форму и представляютъ совокупности словъ, которыя можно только заучивать наизусть.

¹⁾ L. Lévy-Bruhl. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. 1910, стр. 191.

Понявъ назначеніе рѣчи и свою собственную способность сообщаться съ внѣшнимъ міромъ посредствомъ языка, дитя становится существомъ, сознающимъ свое личное *я*. Пробужденіе самосознанія, совершающееся при помощи рѣчи, представляеть одинъ изъ важнѣйшихъ процессовъ въ развитіи душевной жизни человѣка. Если мы не можемъ спуститься въ ту древность, на которой совершилось это „очеловѣченіе“ людей, то по отношенію къ современному индивидууму такое изслѣдованіе оказывается возможнымъ ¹⁾. Изъ двухъ сыновей проф. Георгова первый произнесъ первое сознательное слово на 412 день, первую фразу (*дай хлеба* = *дай ле*) на 577 день, а мѣстоименіе *я* употребилъ сознательно на 711 день; съ этого времени личное мѣстоименіе въ различныхъ падежныхъ формахъ довольно твердо укрѣпилось въ его языкѣ, хотя съ глагольными формами оно связывалось еще довольно медленно. У другого сына его первое слово появилось на 433 день, первая фраза (также *дай ле*) на 601 день, тогда какъ вся категорія личныхъ мѣстоименій и личныхъ глагольных окончаній опередила довольно значительно соответствующее развитіе у старшаго мальчика; этотъ второй ребенокъ уже на 586 день сознательно примѣнялъ къ себѣ мѣстоименіе *я* и на 620 день произнесъ глагольную форму съ окончаніемъ перваго лица. Въ то время, какъ первый сынъ проф. Георгова любилъ долго говорить о себѣ въ третьемъ лицѣ, присоединяя къ предложенію (иногда только въ умѣ, про себя) свое имя, второй мальчикъ сталъ выражаться о себѣ въ первомъ лицѣ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ началъ, вообще, говорить о себѣ. Авторъ отмѣчаетъ, что этотъ ребенокъ *ни одного раза* не говорилъ о себѣ въ третьемъ лицѣ и не употреблялъ по отношенію къ себѣ вмѣсто мѣстоименія своего личного имени, что объясняется, по мнѣнію Георгова, прирожденной сильной волей мальчика. То же самое наблюдалось и надъ другими дѣтьми, которыя въ спокойномъ состояніи говорили о себѣ еще въ два года *дитя* (*baby*), но подъ влияніемъ аффекта начинали выражаться о себѣ въ первомъ лицѣ (*I want it*—я хочу, *I afraid*—я боюсь). Это развитіе личности, обнаруживающееся въ языкѣ, происходитъ у различныхъ дѣтей въ разные моменты. Проф. Георговъ сопоставилъ на основаніи литературы о психологій дѣтства 15 такихъ наблюденій. Дитя Прейера употребило первую фразу (*haim mimi*—домой пить молоко) на 707 день, мѣстоименія *я*, *меня*, *мнѣ* въ возрастѣ 29—32 мѣсяцевъ; дочь Линднера употребила *я* только на 30 мѣсяцѣ, и лишь три мѣсяца спустя это мѣстоименіе вытѣснило употребленіе собственного имени для обозначенія субъекта; у сына Линднера *я* появилось на 26 мѣсяцѣ, тогда какъ вмѣсто *меня* выступало еще собственное имя; значительно раньше наблюдались мѣстоименія у дѣвочки

¹⁾ См. обстоятельную монографію проф. I. A. Георгова: „Die ersten Anfänge des sprachlichen Ausdrucks für das Selbstbewusstsein bei Kindern“. Archiv für die gesamte Psychologie. 1905, т. V, стр. 329—404.

Амента: первое предложенье (*babbed dschidschi*—бабушка уѣхала по желѣзной дорогѣ) на 573 день, *мнѣ* на 602 день, *мой* на 626, *мы*—722. *я* сначала на 637 день, потомъ исчезаетъ и опять занимаетъ прочное положеніе въ языкѣ на 756 день. Уже изъ этихъ данныхъ видно, какъ сильны колебанія въ хронологіи личнаго мѣстоименія у различныхъ дѣтей. Въ среднемъ, однако, въ возрастѣ двухъ лѣтъ дитя начинаетъ понимать себя, какъ личность, которую не только называютъ другіе извѣстнымъ именемъ, но которая уже сама себя опредѣляетъ, какъ *я*. При этомъ, впрочемъ, личность еще нуждается для подкрѣпленія своего индивидуальнаго сознанія въ употребленіи, рядомъ съ мѣстоименіемъ, имени: *та газан* (мой Suzanne) постоянно твердила дочь Девилля, которая въ первый разъ употребила *moi* на 674 день и до 683 дня постоянно сопровождала это мѣстоименіе объясненіемъ: *Suzanne*. Любопытный случай отмѣчаетъ Треси: одинъ мальчикъ въ примѣненіи къ себѣ употреблялъ мѣстоименіе *you* (*вы* или въ просторѣчій въ значеніи *ты*), а по отношенію къ другимъ употреблялъ мѣстоименіе *J* (*я*). Это смѣшеніе едва ли можетъ быть объяснено иначе, какъ предположеніемъ, что обращеніе къ *себѣ* мальчикъ усвоилъ, какъ обозначеніе личности, какъ имя, которымъ онъ сталъ называть себя, когда созналъ свое *я*; мѣстоименіе же *я*, которое употреблялъ тотъ или другой говорящій съ нимъ человѣкъ, получило для него значеніе именно постороннихъ людей, и каждый изъ нихъ сдѣлался для него *я*. Но въ этомъ забавномъ уклоненіи обнаруживается существо того процесса, которое приводитъ ребенка къ сознанію своей личности. Дѣло въ томъ, что къ ребенку взрослые обращаются или по имени, или съ мѣстоименіемъ *ты*. Имя въ сознаніи дитяти ассоциируется съ его личностью, и онъ называетъ себя тѣмъ самымъ именемъ, какое даютъ ему взрослые. Но себя эти взрослые называютъ не по именамъ, но однимъ и тѣмъ же, для всѣхъ однообразнымъ *я*. Необходимо совершить извѣстный процессъ отвлеченія, чтобы понять значеніе этого мѣстоименія. И здѣсь опять-таки аффектъ приходитъ на помощь интеллекту: повидимому, *мнѣ* предшествуетъ болѣе спокойному *я*. *Я* есть выраженіе самосознанія субъекта, совершающаго дѣйствіе, тогда какъ *мнѣ* выражаетъ активное стремленіе къ полученію чего-либо. Конечно, въ этой области должны существовать большія индивидуальныя колебанія. Какъ бы то ни было, ассоціаціи могутъ соединить въ представленіяхъ ребенка его имя съ его личностью, но ни откуда онъ не можетъ *заимствовать* убѣжденія, что это имя и *я* тождественны. Такое убѣжденіе дитя можетъ выработать лишь само, замѣтивъ, что и всѣ окружающіе говорятъ про себя *я*. Сознавъ себя, какъ *я*, человѣкъ обособляетъ себя отъ внѣшняго міра, для котораго онъ никогда не будетъ *я*, а всегда останется только человѣкомъ съ опредѣленнымъ именемъ. *Я* становится самоопредѣляющимъ себя центромъ воли и сознанія.

Таковы пути развитія дѣтской рѣчи: инстинктивный крикъ, какъ рефлексъ, какъ разряженіе энергіи, крикъ неудовольствія или восторга, лишенный сознанія своего выразительнаго значенія, потомъ лепетаніе, какъ одно изъ выраженій общаго стремленія къ движенію, къ использованию всѣхъ своихъ органовъ, и начало общенія съ другими путемъ полуинстинктивнаго пониманія тоновъ. Аффективная натура дѣтскаго психическаго организма заставляетъ его сильно реагировать на раздраженія, идущія изъ внѣшняго міра; пониманіе этихъ аффектовъ взрослыми людьми ускоряетъ процессъ ассоціаціи между ними и представленіями о предметахъ, а ребенокъ отъ природы обладаетъ прекраснымъ ассоціационнымъ аппаратомъ; прирожденная способность къ подражанію открываетъ ребенку двери въ сокровищницу роднаго языка, и онъ начинаетъ черпать отсюда, сначала и очень неумѣло, свой строительный матеріалъ и складывать изъ него первое зданіе. И наконецъ, какъ яркій лучъ свѣта, въ это зданіе врывается сознаніе личности, человѣческое *я* ребенка.

Г Л А В А X.

Языки некультурныхъ народовъ.

Безпомощная мысль ребенка долго и усиленно бьется надъ первымъ выраженіемъ своимъ въ словѣ. Дитя усваиваетъ, наконецъ, языкъ взрослыхъ людей, и въ его распоряженіи оказываются могущественнѣйшія средства не только для передачи содержанія своего *я* окружающимъ людямъ, но и для развитія собственнаго мышленія. Такъ дитя наследуетъ отъ предшествующихъ поколѣній ихъ вѣрованія, ихъ формы мысли, ихъ общественныя и инныя стремленія. И то свое, что нарастаетъ съ жизнью этого новаго поколѣнія на почвѣ традиціи, представляетъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ продуктъ сознательнаго стремленія людей къ новшеству. Въ области же языка подобныя реформы еще болѣе рѣдки, и чаще всего наши дѣта думаютъ, что говорятъ такъ же, какъ мы. Съ чрезвычайной медленностью и внѣ контроля человѣческаго сознанія измѣняются звуковыя законы языковъ, обогащается или упрощается глагольная или именная флексія. Дѣти берутъ языкъ взрослыхъ, какъ нѣчто готовое, съ его словаремъ и грамматикой. Поэтому и сложныя формы, и звуковой составъ какого-нибудь языка заимствуются новымъ поколѣніемъ безъ всякой критики ихъ трудности для запоминанія или удобопроизносимости. Отсутствие письменности на какомъ-нибудь языкѣ опредѣляетъ особенности его сохраненія въ народѣ, слишкомъ многочисленномъ для того, чтобы единство произношенія поддерживалось непрерывнымъ общеніемъ между сочленами его: здѣсь, непремѣнно, разовьются значительныя отклоненія отъ того,

что признавалось или признается нормой в других местах, где говорят на том же языке. Вследствие этого, можно а priori предположить, что языки, лишенные письменности, и потому подверженные в значительной степени процессу диалектических изменений, вообще говоря, не могут занимать обширных пространств, и множественность родственных языков должна быть естественным результатом мирного развития оседлого и длительного спокойствия являются редкими явлениями, то уже заранее можно предположить и другое явление: именно, что район распространения языка не велик, что в область одного языка врывается область другого, что самые различия между языками велики, потому что это именно языки не родственные, но случайно сказавшиеся соседями. Таким образом, принципиально допустимы оба возможности: развитие диалектов (потом превращающихся к самостоятельные языки, опять-таки с диалектами) из общего языка, занимающего обширную, удобную для распространения народов, обособленную от вражеских вторжений территорию, и скопление на одной территории нескольких взаимно чуждых языков, обладатели которых заняли одну и ту же область вследствие охотничьих или скотоводческих переселений, нападений и всяческих вторжений. Между этими двумя противоположностями и возможны, и несомненно существуют различные переходные ступени, в виде ассимиляции прежде чуждых языков, их взаимных наслонений и т. п.

Иные особенности языков некультурных народов должны вытекать из „психологии дикарей“. Поэтому, здесь необходимо остановиться на вопросе, в каком смысле в настоящем труде можно говорить о дикарях. Я буду подразумевать под ними то же, что немецкие ученые разумют под термином *Naturvölker*, французские под термином *les sauvages* (или *les sociétés inférieures* Леви-Брюля), английские *the native races* (туземцы) Африки, Америки, Австралии. Эти термины подразумевают известные психологические особенности, представляющие в своей совокупности, при всех индивидуальных отличиях отдельных племен и народов, нечто присущее именно дикому состоянию человечества. Соответственно с планом этой книги, которая стремится выяснить психологические и социальные основы творчества речи, приходится неизбежно коснуться вопроса и о психологическом типе, который признается в силу какого-то безмолвного соглашения между учеными и, вообще, образованными людьми типом дикарским. Ведь никто не усомнится в том, что огнеспельцев или нануасов надо причислить к представителям этого типа, а арабов или древних перуанцев нельзя. Отсюда попытки дать психологию „первобытных народов“, нарисовать с точки зрения эволюционизма первобытную культуру и т. д. Разумеется, в эти специальные вопросы

я не буду здесь входить¹⁾, но изложению особенностей речи в языках дикарей я считаю необходимым, во-первых, предпослать кое-где характеристику отдельных племен, а, во-вторых, указать на возможность синтеза вообще психологии дикарей или, если стать на почву эволюционной теории, первобытных народов. В области изучения развития языка, как орудия человеческой мысли, совершенствовавшегося вместе с умственным совершенствованием человечества, — в этой области так же необходимо исследование „психических предварительных стадий“ (*die psychischen Vorstadien*), употребляя выражение Бастiana как и в этнологии²⁾. Здесь, на этих „стадиях возникновения“, кристаллизуются первые формы культуры. История человечества здесь сводится к истории человеческого ума. Однако, изучение дикарских языков завело бы нерядко на ложный путь, если бы мы захотели принять за правило, что эти языки всегда представляют больше или меньше первобытное состояние языкового развития человечества. Но ведь допустимо и такое предположение, что, по крайней мере, некоторые из этих языков представляют позднеjšíе „одичание“ больше утонченных форм. Так склонны смотреть, напр., теперь на полинезийские языки³⁾. Но от этого не уменьшается их значение для изучения характеристических особенностей дикарских языков. „Мы можем изучать сущность первобытных языков до известной степени и там, где перед нами не природная, но приобретенная первоначальность. Психологические особенности их, если и не тождественны, то во всяком случае очень сходны, а это представляет самое существенное во всем вопросе“. Так говорит один из лучших современных знатоков т. наз. первобытных языков, Мейягоф. Перед нами, таким образом, и здесь, как во всех предшествующих главах, психологическая проблема.

Только в психологическом смысле можно говорить о первобытности каких бы то ни было современных людей. У всякого племени, заброшенного в глубь материков, едва открытую или даже еще не открытую европейцами, есть свое далекое прошлое, с бесконечной массой унаслед-

¹⁾ См. статью Е. Е. Кагарова о теориях мифологического творчества в V томѣ „Вопросов теории и психологии творчества“. Из новейшей литературы по психологии первобытного человека я назову здесь следующие: *L. Frobenius. Die Weltanschauung und der Naturvölker. 1898. Ego-жж. Aus den Flegeljahren der Menschheit. 1901. K. Weule. Die Kultur der kulturlosen (рус. пер. в приложении к журналу „Природа и люди“ за 1913 г.). Ego-жж Leitfaden der Völkerkunde. 1912. Kurt Breysig. Die Völker ewiger Urzeit. I Band. 1907. N. Visscher. Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern. I-II B. 1912. Frazer. The Golden Bough. 3 edition. 1912. а также названные ниже труды Фиркалда и Леви-Брюля.*

²⁾ A. Bastian. Allgemeine Grundzüge der Ethnologie. 1884, стр. 92.

³⁾ C. Meinhof. Die moderne Sprachforschung in Afrika. 1910 г.

дованныхъ навыковъ и традиціонныхъ взглядовъ. Среди народовъ центральной Бразиліи еще настолько мало культурныхъ, что передъ путешественникомъ воскресъ „каменный вѣкъ“ Европы; Штейненъ нашелъ признаки чрезвычайно долгаго знакомства съ земледѣліемъ и широкаго товарообмѣна. Главнымъ занятіемъ ихъ была охота. „Мы можемъ понять этихъ людей, только если будемъ видѣть въ нихъ продуктъ охотничьяго быта. Главную массу своихъ наблюденій они дѣлали на звѣряхъ, и съ помощью этихъ наблюденій,—такъ какъ новое можно понять только съ помощью стараго,—они по преимуществу и объясняли себѣ природу и складывали свое міровоззрѣніе. Согласно съ этимъ, и ихъ художественные мотивы оказываются заимствованными съ поразительною односторонностью изъ міра животныхъ. Болѣе того, все ихъ поразительно богатое искусство восходитъ своими корнями къ охотничьей жизни и расцвѣло лишь тогда, когда болѣе спокойное существованіе обезпечило безопасность росткамъ. Я намѣренно подчеркиваю это, потому, что иначе мы не могли бы правильно судить о матеріальной культурѣ туземцевъ и совсѣмъ не могли бы понять ихъ духовную культуру. Но съ другой стороны является фактомъ, что продукты земледѣлія находятся уже съ незапамятныхъ временъ въ обладаніи у (бразильскихъ) индѣйцевъ. Это доказывается неопровержимымъ образомъ сравненіемъ ихъ языковъ. Именно, оно обнаруживаетъ, что племена по рѣкѣ Шингу принадлежатъ къ различнымъ языковымъ семьямъ (и это раздѣленіе ихъ совершилось уже въ отдаленномъ прошломъ). Тѣмъ не менѣе, уже пра-народы знали имена важнѣйшихъ культурныхъ растений¹⁾. „Каменные орудія“ среднебразильскихъ туземцевъ оказываются заноснымъ товаромъ; въ одной изъ деревень Штейненъ (тамъ же, 127) нашелъ представителей всевозможныхъ народовъ, „почти всѣхъ главныхъ племенъ“. Давность и общность культурной традиціи не подлежатъ здѣсь, стало быть, никакому сомнѣнію. На то уже указываетъ и распространеніе различныхъ формъ культурныхъ издѣлій среди туземцевъ Африки. „Важнѣйшая характерная черта африканскихъ культуръ есть ихъ распадѣніе на два типа, говоритъ Фробениусъ²⁾. Мы можемъ отчетливо различить два типа: деревянной и кожаной культуры. То, что ихъ отличаетъ одинъ отъ другого, заключается не только въ различіи матеріала, не только въ различномъ способѣ питанія, хотя и это различіе оказалось уже довольно глубокимъ, но по преимуществу въ отличіи формъ распространенія ихъ, различіи времени возникновеніи особенностей. Азіатская культура здѣсь—нова. Она подвигается въ своемъ распространеніи здѣсь съ сѣвера на югъ, но и собственно

¹⁾ K. von den Steinen. Unter den Naturvölkern Zentral—Brasilien. 2 изд. 1897, стр. 194—195.

²⁾ L. Frobenius. Der Ursprung der Kultur I. Der Ursprung der afrikanischen Kultur. 1898, стр. 299.

африканская культура южнаго полушарія представляетъ собою также лишь африканскій отголосокъ азіатской мелодіи. Впрочемъ, она и слабѣе, чѣмъ сѣверная. Медленно распространяющееся движеніе имѣетъ на континентѣ своимъ постояннымъ послѣдствіемъ сочетаніе чуждыхъ элементовъ. Малайско-негрская культура (въ Африкѣ) носитъ признаки увяданія. Здѣсь отсутствуетъ живое стремленіе къ развитію, присущее молодости, а вмѣсто этого обнаруживаются старческая умѣренность и ограниченность. Всѣ эти процессы смѣны культурныхъ вліяній, образованія новыхъ путей распространенія культуры и т. д. предполагаютъ весьма почтенную древность сношеній между т. наз. первобытными народами и всевозможныя наслоенія, совершенно исключаютія понятіе первобытности. Поэтому, съ понятіемъ о дикаряхъ едва-ли можно связывать инныя представленія, кромѣ чисто психологическихъ. Если даже принять вмѣстѣ съ Ратцелемъ, что различіе между культурными и первобытными (Naturvölker) народами заключается не въ степени, но въ способѣ общенія съ природой, при чемъ эти послѣдніе народы находятся подъ гнетомъ природы (unter dem Naturzwange), то все же для этнографіи важно лишь то, какъ проэцируется этотъ гнетъ на психологическихъ особенностяхъ дикарей. Поэтому, кромѣ „гнета природы“, этнографъ долженъ считаться и съ самымъ складомъ психики дикаря, какъ изслѣдователь дѣтской психологіи изучаетъ въ равной мѣрѣ вліяніе среды на душу ребенка и тѣ способности дѣтскаго душевнаго склада, которыя дѣлаютъ возможнымъ воспріятіе вліянія. Таковыя, напр., логика дикихъ народовъ, какъ наша, которой мы учились у нашихъ предковъ, развивавшихъ свои знанія съ помощью письменности въ продолженіе тысячелѣтій, отъ эллинской и римской мудрости и христіанскаго Средневѣковья до нашихъ дней? Не созданъ ли у того типа чело-вѣчества, который представленъ народами иной культуры, и иной способъ воззрѣнія на внѣшній міръ, его воспріятія, представленій о немъ и связи представленій? Въ этомъ отношеніи изученіе языковъ дикихъ народовъ можетъ представить цѣнный матеріалъ. Конечно, въ рамкахъ настоящаго изслѣдованія мнѣ придется ограничиться, собственно, не изслѣдованіемъ вопроса въ его совокупности, но изложеніемъ отдѣльныхъ данныхъ, относящихся къ языкамъ дикарей. Грамматическіе анализы этихъ языковъ представлены въ двухъ капитальныхъ трудахъ, къ которымъ приходится обращаться всякому, желающему познакомиться со строеніемъ языковъ дикарей. Это трудъ Фр. Мюллера „Grundriss der Sprachwissenschaft“ (5 частей. 1879 и слѣд.) и J. Byrне General Principles of the Structure of Language“ (2 изд. 1892. 2 тома). Въ обоихъ этихъ трудахъ цѣнна, конечно, ихъ тактическая сторона, тогда какъ общія разсужденія о „структурѣ языка“ (вообще) представляютъ много произвольнаго и недоказательнаго. Большимъ недостаткомъ ихъ является также стремленіе уложить языковой матеріалъ въ рамки нашихъ грамматическихъ категорій, которыми,

въ сущности, совершенно не покрываютъ его. Тѣмъ не менѣе, систематическій грамматическій обзоръ языковъ дикихъ народовъ можно найти только въ трудахъ Фр. Мюллера и Байрна.

Обратимся къ языкамъ австрійскихъ дикарей. Прежде всего, слѣдуетъ сдѣлать оговорку относительно ихъ „первобытности“. Дѣйствительно, можно ли подходить къ ихъ культурѣ и къ ея созданіямъ, въ томъ члстѣ и къ языку, съ предвѣчнымъ убѣжденіемъ, что передъ нами нѣчто, вообще, первобытное, восходящее къ первичнымъ формамъ человѣческаго соеуществованія. Я напому очень цѣнное соображеніе Колера ¹⁾: „Австралийскіе негры, которые стоятъ на очень низкомъ уровнѣ жизненныхъ интересовъ и живутъ безъ постоянныхъ жилищъ, безъ земледѣлія, почти только добычей охоты и рыболовства, которые отчасти еще и теперь преданы самому грубому людоѣдству, а въ своихъ снарядахъ и утвари не поднялись за предѣлы самаго необходимаго.—австралийскіе негры со своими примитивными хижинами, со своими дубиной, дроткомъ и бумерангомъ: и они уже обладаютъ правомъ, и они имѣютъ правовые институты, которые подчинены санкціи общества“. Посвященіе юношей, объявленіе войны и другія важныя для племени событія совершаются на народныхъ собраніяхъ: одинаковая и чрезвычайно сложная система родства, основанная на еще болѣе древнихъ брачныхъ отношеніяхъ между племенами (австралийцы придерживались строго экзогаміи), матриархатъ и тому подобныя обычаи могутъ восходить только къ весьма отдаленному прошлому и быть результатомъ весьма долгаго культурнаго развитія. Соответственно съ этимъ и языки австралийскихъ дикарей, *первобытные* въ психологическомъ отношеніи, представляютъ продукты долгаго употребленія, если даже мы не можемъ говорить объ ихъ *развитіи*, не имѣя для этого данныхъ.

Фр. Мюллеръ отмѣчаетъ простоту ихъ звукового состава, которому неизвѣстны шипящіе, свистящіе и придыхательные звуки, а изъ гласныхъ неизвѣстны только *a, e, i, o, u*. Неизвѣстны этимъ языкамъ, по словамъ Фр. Мюллера, и двойные согласные, но едва ли это такъ, потому что самъ авторъ приводитъ ихъ въ грамматикахъ отдѣльныхъ языковъ, и Байрънъ (I. 300) отмѣчаетъ *тенденцію* къ усвоенію согласныхъ, происходящихъ отъ сложенія словъ, которое такъ обычно въ австралийскихъ языкахъ.

Объ отдѣльныхъ же языкахъ Мюллеръ даетъ слѣдующія указанія. Языкъ племени, живущаго у озера Macquarie „чрезвычайно богатъ основами и словообразовательными элементами, и смыслъ, который эти послѣдніе придаютъ основѣ, бываетъ часто поразительнымъ“. Однако, ни-

чего необычайнаго въ примѣрахъ, приведенныхъ Мюллеромъ, мы не находимъ. Такъ, отъ *pitul* (радость) образуются *pitul-muli* (доставлять радость), *pitul-katan* (жить въ радости), *pitul-likan* (радостное обстоятельство).—образованія, ничѣмъ по существу не отличающіяся отъ обычныхъ въ агглютинирующихъ и даже флексирующихъ языкахъ. Склоненіе и спряженіе этого языка Мюллеру удалось уложить въ рамки 10 падежныхъ окончаній и обычнаго дѣленія на времена настоящее, прошедшее и будущее. Нѣмецкія фразы въ нѣсколько словъ передаются на этомъ языкѣ предложеніями съ тѣмъ же или почти тѣмъ же числомъ небольшихъ словъ, такъ что едва-ли въ этомъ языкѣ можно найти какое-нибудь рѣзкое отличіе отъ обычнаго типа агглютинирующихъ языковъ (финскихъ или тюркскихъ) ¹⁾. Въ языкѣ *viraturai* тотъ же типъ образованій, при чемъ въ соотвѣтствіи съ древними образованіями индоевропейскихъ языковъ форма глагольной основы, указывающая на продолжительность дѣйствія, передается удвоеніемъ основы (*bumara*-бить, *buma-bumara* продолжать бить).

Конкретность языка обнаруживается въ обиліи прошедшихъ временъ: *bum-al-guain* (вообще побить въ прошломъ), *bum-al-awan* (только что побить), *bum-al-narin* (уже побить сегодня), *bum-al-gurani* (побить вчера), *bum-al-gunan* (побить уже давно), *bum-al-leini* (побить уже очень давно). Таково же разнообразіе для формъ будущаго времени: *вообще буду бить, сейчасъ буду бить, сегодня буду бить, сегодня навѣрное буду бить, побью*. По существу то же строеніе наблюдается во всѣхъ австралийскихъ языкахъ, описанныхъ Фр. Мюллеромъ. Въ языкѣ одного изъ племенъ Южнаго Квинсленда, Когай ²⁾, Мэтьюсъ отмѣтилъ три числа, нѣсколько падежей и т. под.: однимъ словомъ, опять-таки строеніе, которое возможно передать въ категоріяхъ европейской грамматики. Какъ особенность языковъ этой страны, авторъ отмѣчаетъ „двойную форму перваго лица двойств. и множ. числа, съ помощью которой лицо, къ которому обращаются, можетъ быть исключено и включено“. Такимъ образомъ, *ngaddyunda* означаетъ *ко мнѣ*, а *ngaddyuri*—*отъ меня* и т. под. Эта особенность любопытна въ томъ отношеніи, что указываетъ на *конкретный* характеръ языка. Кромѣ обычнаго языка, Мэтьюсъ указываетъ на существованіе у когаи мистическаго или тайнаго языка, на которомъ говорятъ мужчины во время обряда посвященій, и который скрывается отъ женщинъ или молодежи, еще не посвященной въ эти обря-

¹⁾ Подъ агглютинаціей здѣсь и въ дальнѣйшемъ я буду подразумевать такое сочетаніе формальныхъ элементовъ слова съ его корнемъ, при которомъ и тѣ, и другіе не подвергаются никакимъ фонетическимъ измѣненіямъ.

²⁾ К. N. Mathews Language, organization and initiation Ceremonies of the Kogai tribes. Zeitschrift für Ethnologie. 1904.

¹⁾ J. Kohler. Ueber das Recht der Australnegor. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft. VII Band. 1887 стр. 332.

ды. „Въ то время, какъ новички (the novitiates) уходятъ въ лѣсъ подь присмотромъ старшихъ членовъ племени, они изучаютъ мистическія названія окружающихъ предметовъ обыденной жизни, животныхъ, частей тѣла, и необходимыя въ обиходѣ коротенькія фразы“. Въ спискѣ 335 словъ на языкѣ коган, приведенныхъ Мэтьюсомъ, весьма незначительное число представляетъ формы удвоения основы. Такъ же мало здѣсь названій, которыя могутъ быть сведены къ звукоподражанію: таковы, можетъ быть, *gagul-gagul* (пересмѣшникъ, laughing jakass), *ngun-ngun* (Мороке), но, напр., ворона (*waddha*), лебедь (*birrur*) и даже какаду (*thikari*) и др. носятъ названія, не указывающія на ихъ звукоподражательное происхождение. Въ языкѣ австраійскаго племени, вудья вурру (въ Викторіи), которому Мэтьюсъ посвятилъ статью въ томъ же номерѣ нѣмецкаго журнала, ибисъ называется *bilbitdyerrak*, пеликанъ *bürdingul*, животное двутробка *ngur-ngur* и т. д., но эти названія, которыя могутъ восходить къ звукоподражанію, совершенно тонуть во множествѣ такихъ названій животныхъ и растений, которыя не могутъ имѣть подобное происхождение. Впрочемъ, въ виду такихъ формъ, какъ *wur-wur* (небо) *kurkart* (лѣто) и т. д. сомнительнымъ представляется звукоподражательное происхождение и вышеприведенныхъ словъ: не можетъ же названіе неба или лѣта воспроизводить какой-нибудь звукъ. Между тѣмъ изъ всѣхъ частей Океаніи Австралія (или Новая Голландія) оказывается наиболѣе дикой. Числовая система новоголландцевъ охватываетъ 1--2, причемъ 3 образуется изъ 2+1, 4 изъ 2+2, тогда какъ число 5 употребляется уже вообще рѣдко. Гораздо выше стоятъ папуасы, языкъ которыхъ обнимаетъ числовую систему отъ 1 до 5, и еще выше поли-микро-индонезійская числовая система, которая употребляетъ десятиричный счетъ. Разбираясь въ причинахъ этой исключительной культурной отсталости австраійскаго материка, Фробеніусъ ¹⁾ высказываетъ убѣжденіе, что „на этотъ материкъ, т. е. на самую южную окраину Океаніи, были отбѣснены напоромъ новыхъ переселенцевъ самые древніе и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе бѣдные культурой народы. Затѣмъ въ Меланезію явился другой, уже болѣе культурный пластъ населенія, которому, однако, еще не хватало, какъ можно думать, такого важнаго фактора передвиженія, какимъ было знакомство съ парусомъ. Если бы эти народы уже обладали знакомствомъ съ парусомъ и другими необходимыми культурными завоеваніями, тогда именно папуасы использовали бы теченія для того, чтобы добраться до болѣе отдаленныхъ острововъ. Наконецъ, наступаетъ третій періодъ въ исторіи заселенія Австрій, появленіе народовъ, знакомыхъ съ паруснымъ судоходствомъ. Они, разумѣется, прежде всего должны были вѣхать вокругъ береговъ, завладѣть

¹⁾ Leo Frobenius. Geographische Kulturkunde. II Teil. Ozeanien und die Ozeanier. 1904.

ими, а потомъ уже Новой Гвинеей и Меланезіей. Однако, и ту, и другую они нашли уже густо заселенными папуасами, которые отличаются негостеприимнымъ обычаемъ по возможности пожирать всѣхъ пришельцевъ... Поэтому эти парусные судоходы заняли разбросанный архипелагъ“. Такимъ образомъ, уже выводы культурной географіи заставляютъ видѣть въ туземныхъ обитателяхъ Австраліи наиболѣе дикія племена. Путешественники начала 19 вѣка и изслѣдователи еще сохранившихся туземныхъ народовъ рисуютъ ихъ быть чертами, указывающими на чрезвычайную низкую ступень культуры. Въ 1804 году John Turnbull утверждаетъ, что первобытные обитатели Новаго Южнаго Уэльса представляютъ собою самыхъ дикихъ людей на свѣтѣ, и что пребываніе здѣсь европейцевъ не оказало ни малѣйшаго вліянія на смягченіе ихъ нравовъ. Напрасно, поселенцы и чиновники Сиднея, Параматты и др. пытались что-нибудь сдѣлать для улучшенія жизни этихъ дикарей: они упорствуютъ въ своей приверженности къ туземному быту.

Хотя Фр. Мюллеръ утверждаетъ, что „пра-языкъ, къ которому восходятъ австраійскіе языки, долженъ быть признанъ совершенно лишеннымъ грамматическихъ формъ“, однако это можно понять лишь въ томъ смыслѣ, что въ этихъ языкахъ Мюллеръ, ученый старой школы, находитъ не флексію, но соединеніе окончаній съ основой, агглютинацію. Во всякомъ случаѣ, здѣсь приходится констатировать тонкое и точное распределеніе суффиксовъ для обозначенія различныхъ оттѣнковъ дѣйствія, систему склоненія, простыя, короткія, однако не односложныя слова, лишенныя въ значительномъ большинствѣ случаевъ признаковъ звукоподражательнаго происхожденія. Однимъ словомъ, крайняя дикость въ быту и возрѣніяхъ, крайняя первобытность культуры, а вмѣстѣ съ тѣмъ языкъ, вовсе не производящій впечатлѣнія первобытности. При этомъ слѣдуетъ отмѣтить, что и новѣйшій изслѣдователь австраійскихъ языковъ, Мэтьюсъ, изображаетъ ихъ грамматическій строй въ тѣхъ же чертахъ, что и источники Фр. Мюллера.

Новогвинейскіе папуасы изображаются еще въ 1886 году (Н. Künnp въ названной книгѣ Фробеніуса II. 122—130) чрезвычайно дикимъ народомъ, который живетъ въ первобытныхъ хижинахъ, лишенныхъ всякой утвари, ведетъ постоянныя войны (между отдѣльными племенами) со счетомъ головъ, добытыхъ той и другой враждующей стороной, и т. п. Featherman ¹⁾ характеризуетъ папуасовъ, какъ людей, отличающихся своей импульсивностью. „Они сильно жестикулируютъ въ разговорѣ и даютъ выраженіе своимъ чувствамъ и страстямъ въ формѣ криковъ, воя и неистовыхъ прыжковъ“. Папуасы обладаютъ чрезвычайно независимымъ харак-

¹⁾ A. Featherman. Social history of the Races of Mankind. II division: Papuo and Malayo Melanesians. 1887.

теромъ, не признають надъ собой никакой власти; „независимыя племена, которыя удалились въ горы, чтобы избѣжать преслѣдованія своихъ враговъ, отличаются энергіей и силой характера. Они не выносятъ никакого контроля и не желаютъ подчиниться высшей власти. Они раздѣляются на маленькіе кланы и избѣгаютъ всякихъ сношеній съ иностранцами, къ которымъ они питаютъ невыразимую ненависть, вслѣдствіе чего они не допускаютъ никого посторонняго (intruder) селиться между ними“. Нѣкоторыя друія папуасскія племена рисуются въ болѣе мягкихъ чертахъ: одиозко, повидному, всеѣмъ имъ присуща очень низкая ступень культурнаго развитія. Кое-гдѣ еще сохраняется, повидному, даже людоедство, „тамъ, гдѣ мало провизій“. Пищу различныя племена добываютъ тамъ, гдѣ это представляется возможнымъ по географическимъ условіямъ ихъ поселенія: рыба (альфуры), мясо слоновъ, носороговъ, обезьянъ и другихъ звѣрей, на которыхъ производится охота (семапги), растительная пища, сага, бананы, а также всевозможная птица и рыба (арруаны) и даже просто корни и дикіе плоды лѣсовъ (айета) вмѣстѣ съ добычей охоты; таковы различныя формы быта у народовъ папуасскаго племени. „Охота, рыболовство и земледѣліе представляютъ главныя занятія папуасовъ“, причѣмъ этимъ послѣднимъ занимаются исключительно женщины и дѣти подъ присмотромъ нѣсколькихъ мужчинъ. Наконецъ, папуасы ведутъ и торговлю, но преимущественно съ китайцами. Мы видимъ, такимъ образомъ, среди нихъ довольно разнообразныя формы хозяйства, которыя не могли не отразиться и на различіи въ умственномъ развитіи папуасовъ. О языкѣ ихъ Фетерманъ сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія: „Папуасскій языкъ является по существу полисиллабическимъ (многосложнымъ) и принадлежитъ къ числу агглютинирующихъ языковъ, такъ какъ формы обозначаются въ немъ съ помощью префиксовъ и суффиксовъ. Та же система словообразованія существуетъ во всеѣхъ полинезийскихъ языкахъ, съ которыми папуасскій имѣетъ много общаго. Они обладаютъ одними и тѣми же словами для обозначенія мѣстоименій, а также очень сходятся въ нарѣчійхъ мѣста и въ значительномъ числѣ частицъ. Папуасскій языкъ *раздѣляется на безконечное число диалектовъ*, которые болѣе или менѣе различаются между собой, но, повидному, всеѣ восходятъ къ одному общему языку“. Несомнѣнно, и къ папуасскому языку относится наблюденіе, сдѣланное надъ австралійскими языками и заслуживающее особаго вниманія. Именно, Featherman отмѣчаетъ (II. 135), что произношеніе въ этихъ языкахъ „далеко не грубо; оно становится очень быстрымъ и громкимъ, когда выражается неудовольствіе, а для выраженія удовольствія и удовлетворенія слогъ произносится медленно и высокимъ голосомъ (in atrailing and shrill tone of voice)“. Обращаясь къ языкамъ другихъ племенъ Меланезіи, слѣдуетъ отмѣтить слѣдующія данныя, разсѣяанныя въ уже названномъ сочиненіи Фетермана.

„*Біара* Новой Британніи и ближайше родственные имъ *вейра* острововъ Герцога Юркскаго восходятъ, по своему происхожденію, къ папуасамъ, хотя первоначальное племя ихъ нѣсколько смѣшалось съ эмигрантами изъ Новой Ирландіи, Соломоновыхъ острововъ и Новой Гвиней, съ которыми они находятся въ самомъ близкомъ родствѣ“. Оба эти племени говорятъ на одномъ и томъ же языкѣ, но *различіе между отдѣльными говорами* такъ велико, что на разстояніи всего нѣсколькихъ миль люди рѣдко понимаютъ другъ друга. Томбара на Новой Ирландіи (теперь Neu Mecklenburg), нѣсколько восточнѣе острова Нов. Британніи (теперь Neu-Pommern), говорятъ на языкѣ, „имѣющемъ нѣкоторое словесное родство съ языками біара и вейра“. Онъ отличается чрезвычайнымъ обиліемъ „спеціальныхъ названій“, обозначающихъ предметы природы, животныхъ и растенія. На Ново-Гебридскихъ островахъ (къ юго-востоку отъ Соломоновыхъ) живутъ племена ватеанъ. „Нѣкоторые изъ диалектовъ ватеановъ обладаютъ богатымъ словаремъ и благозвучны; они отличаются нѣкоторыми грамматическими особенностями, которыя встрѣчаются въ очень немногихъ другихъ языкахъ. Такъ, мѣстоименія имѣютъ отдѣльныя спеціальныя формы не только для двойственнаго, но и для тройственнаго числа. Единственное символическое средство, которымъ они пользуются для выраженія своихъ идей, заключается въ употребленіи сигнальных огней; выраженіе уваженія заключается въ томъ, что человекъ разстилается на землѣ, тогда какъ для изъясненія своего удивленія издаютъ необычныя крики, размахивая при этомъ правой рукой, такъ что пальцы трещатъ (so as to cause their fingers to snap)“. На островѣ Ванкоро (къ сѣв. отъ Нов.-Гебридскихъ), небольшомъ островѣ, заселенномъ очень примитивнымъ народомъ, Фетерманъ отмѣчаетъ три главные говора одного и того же языка. Самый же языкъ, по словамъ этого писателя, отличается отъ полинезийскихъ: его „звуки болѣе сложны, хотя они и не грубы, и не непріятны для слуха, и не представляютъ трудностей для произношенія“. На островѣ Тасманіи первобытное населеніе отличалось особенно низкимъ уровнемъ культурнаго развитія. Соответственно съ этимъ, какъ отмѣчаетъ Featherman (II. 102—3), „языкъ тасманійцевъ былъ бѣденъ въ словарномъ отношеніи и неразвитъ въ грамматическомъ. Значительное большинство словъ было многосложнымъ, и каждый слогъ, обыкновенно, заканчивался гласнымъ. Аллитерація гласныхъ звуковъ была очень распространена, а многочисленныя сокращенія дѣлали образованіе словъ нѣсколько сложнымъ. Слова въ предложеніи не распредѣлялись въ извѣстномъ опредѣленномъ порядкѣ, и случайныя условія (the accidental conditions), выражаемыя видомъ, наклоненіемъ и числомъ, не отмѣчались грамматической флексіей или съ помощью модифицирующихъ частицъ, но выполнялись особымъ способомъ произношенія и символизмомъ характеристическихъ жестовъ. Такъ какъ собственныя имена людей заимствовались

отъ предметовъ природы, которыми они были окружены, какъ напр. кенгуру, гуттаперчевое дерево, громъ, вѣтеръ, цвѣтокъ и т. д., то нѣкоторыя слова бывали совершенно изгнаны изъ общаго разговора въ семейномъ кружкѣ: племени, когда одинъ изъ членовъ его, носившій такое значущее имя, отдавалъ послѣдній долгъ природѣ. Равнымъ образомъ, языкъ былъ бѣденъ словами для выраженія отвлеченныхъ идей и даже качествъ, и туземцы имѣли лишь неопредѣленное представленіе объ обобщеніи. Они обладали отдѣльными названіями для всякаго особеннаго вида растений или животныхъ, но не имѣли слова, которое означало бы дерево или животное вообще. Ихъ знаніе вещей ограничивалось частностями; ихъ умъ еще не достигъ той высшей ступени развитія, на которой возможно распознаваніе сразу цѣлаго класса многочисленныхъ предметовъ съ помощью абстракціи извѣстныхъ качествъ, коими всѣ они обладаютъ. Абстрактныя качества могли обозначаться только съ помощью описанія. Такъ, вмѣсто *твердый* они говорили, *какъ камень*, вмѣсто *высокій* они говорили *длинные ноги*, а для того, чтобы обозначить, что предметъ круглъ, они прибѣгали къ сравненію его съ мячомъ или мѣсяцемъ. Они были находчивы въ обыкновенномъ разговорѣ, хотя и бывали вынуждены дополнять дѣйствіями и жестами недостаточное грамматическое строеніе ихъ языка, чтобы точно выразить свое мнѣніе и быть правильно понятыми. Чрезвычайно важны тѣ данныя, которыя мы находимъ въ трудѣ Фетермана (II, 198—9) относительно языка туземнаго населенія острововъ Фиджи. Авторъ указываетъ на развитіе этого языка, который обладаетъ обширнымъ словаремъ, хорошимъ развитіемъ грамматическихъ элементовъ. Языкъ Фиджи или Вити распадается болѣе, чѣмъ на 15 говоровъ. „*Профессиональные поэты*, которые образуютъ наследственный классъ, приписываютъ духъ и языкъ своихъ произведеній сверхъестественному внушенію. Они убѣждены, что во время сна облетаютъ воздушныя царства, гдѣ богъ поэзіи обучаетъ ихъ поэтическому искусству, и когда поэтическое произведеніе положено на музыку и приспособлено къ соотвѣтствующему танцу, поэты спускаются въ міръ и вводятъ среди своего народа новую пѣсню и пляску, которыя только что были сообщены имъ“. Это указаніе на существованіе особой касты поэтовъ, которая создаетъ не только музыкальныя произведенія, музыку и пляски, но и самый языкъ, внушаемый имъ богомъ, очень важно. Оно бросаетъ свѣтъ на самый способъ возникновенія человѣческаго языка, къ чему я еще вернусь въ дальнѣйшемъ изложеніи. Грамматическій строй фиджійскаго (или *вити*) языка представленъ Фр. Мюллеромъ въ его „*Grandriss der Sprachwissenschaft*“ (II, 2) и Байрномъ (I, 242—6). Изъ другихъ папуаско-меланезійскихъ языковъ упомяну о слѣдующихъ. На Андаманскихъ островахъ обитало довольно многочисленное племя минкошівъ, численность которыхъ доходила до 3000—3500 человѣкъ, и которые дѣлились на девять клановъ. Это было

племя, лишенное религиозныхъ представленій и, вообще, стоявшее очень низко въ своемъ культурномъ развитіи. Языкъ ихъ, по утверженію Фетермана (II, 230—231), не достигалъ полнаго развитія (is in an imperfect state of development), и словарь ихъ могъ выражать только самыя простыя потребности обыденной жизни; будучи лишены гортанныхъ звуковъ, говорить тотъ же писатель, языкъ манкошівъ грубъ и непріятенъ. Особенностью его въ грамматическомъ отношеніи, особенностью, которую онъ раздѣлялъ съ фиджійскимъ, являлось оригинальное употребленіе притяжательнаго мѣстоименія: именно, кромѣ обычнаго притяжательнаго мѣстоименія, было еще другое, которое примѣнялось только къ названіямъ извѣстныхъ классовъ предметовъ. Несмотря на то, что численность племени не превышала 3 съ половиной тысячъ человѣкъ, языкъ его распадался на семь отдѣльныхъ діалектовъ. Никобары, занимающіе острова того же названія, характеризуются путешественниками, какъ дикари, стоящіе на самой низкой ступени развитія (они „не сдѣлали никакихъ шаговъ въ промышленномъ развитіи“, не имѣютъ никакихъ постоянныхъ занятій, не употребляютъ ни малѣйшихъ усилій для поддержки своего существованія, почти совершенно лишены интеллектуальнаго развитія какихъ бы то ни было умственныхъ интересовъ). „Такъ какъ острова этой группы находятся на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, то совершенно естественно, что они говорятъ на разныхъ діалектахъ, различающихся между собой не только по произношенію, но и по словообразованію, и хотя, переѣзжая съ острова на островъ, они оказываются часто въ затрудненіи понимать другъ друга, однако не подлежатъ сомнѣнію, что первоначально всѣ діалекты восходили къ одному праязыку“. Самый же языкъ опредѣляется, какъ лишенный всякихъ грамматическихъ категорій и словообразованія.

Нашъ соотечественникъ, извѣстный путешественникъ Н. Миклухо-Маклай, сообщилъ данныя о папуаскихъ діалектахъ сѣверо-восточнаго побережья Новой Гвиней¹⁾. Онъ отмѣтилъ особенности, которыя имѣютъ большое распространеніе въ первобытныхъ языкахъ. Это прежде всего неустойчивость въ произношеніи слова: каждый туземецъ нѣсколько по своему (etwas abweichend) произноситъ одно и то же слово. Затѣмъ слѣдуетъ указать на чрезвычайное развитіе діалектовъ: „Почти каждая деревня на побережьи Маклая имѣетъ свой собственный говоръ. Деревни, удаленныя одна отъ другой на четверть часа, обладаютъ уже многими различными словами (такъ, въ Горунду камень называется *ubi*, а въ соедѣнемъ Бонгу *gitan*, въ первой зубы—*agi*, во второй *kagi* и т. д.). Жители деревень, расположенныхъ на разстояніи двухъ-трехъ часовъ,

1) G. v. d. Gabelentz und A. B. Meyer. Beiträge zur Kenntniss der melanesischen, mikronesischen und papuanischen Sprachen. Leipzig. 1882.

едва-едва понимают друг друга. Только люди постарше знают два или три говора; чтобы изучить их, они проводят некоторое время в чужих деревнях. Меня поразило, что нередко сами туземцы не знали какого-нибудь слова своего собственного диалекта. В этом случае они обращались к болѣе старым папуасам, чтобы узнать от них неизвѣстное имъ названіе. Насколько скуденъ словарь этихъ языковъ, видно изъ свидѣтельства Миклуха-Маклая, что, обладая 350 словами, онъ могъ по цѣлымъ днямъ свободно бесѣдовать съ мужчинами, женщинами и дѣтьми.

Въ области грамматическаго образованія фиджійскій языкъ¹⁾ представляетъ значительное развитіе формъ съ удвоеніемъ основы: глаголы приобрѣтаютъ въ этомъ случаѣ повторительное или интенсивное значеніе (*kere*—просить, а *kerekere*—умаливать) или, что очень характерно для происхожденія именного значенія въ отличіе отъ глагольнаго, становятся именами существительными (*motse*—спать, но *motsemotse*—мѣсто спанья; *mbulu*—хоронить, *mbulumbulu*—кладбище) или даже прилагательными (*ndre*—тянуть, отсюда *ndrendre*—тяжелый). Глагольные отгѣнки значенія передаются съ помощью различныхъ частицъ, стоящихъ передъ или послѣ основы. Существительныя могутъ быть употребляемы и въ значеніи прилагательныхъ, „но такъ какъ свойство не можетъ быть мыслимо безъ субъекта, которому оно принадлежитъ, то имена прилагательныя имѣютъ всего передъ собой родительный падежъ или послѣ себя притяжательное мѣстоименіе“ (Габеленцъ). Падежныя формы выражаются или положеніемъ слова въ предложеніи или особенными частицами, которыя ставятся передъ словомъ. Чрезвычайную сложность приобрѣтаетъ склоненіе въ тѣхъ случаяхъ, когда имя существительное соединяется съ притяжательнымъ мѣстоименіемъ. Габеленцъ насчитываетъ 15 личныхъ мѣстоименій (7 для перваго лица, по 4 для втораго и третьяго лицъ), которыя употребляются по разнымъ категоріямъ значенія, въ зависимости отъ того, стоитъ ли мѣстоименіе особнякомъ, или при глаголь, и т. п. Глаголь такъ же лишень флексій, какъ и имя существительное, но имѣетъ различныя формы въ зависимости отъ своего отношенія къ объекту. На этомъ основаніи различаются *intransitivum* (непереходное) *neutrum* и *activum*, *transitivum* (переходное) *indefinitum* и *definitum*, наконецъ *medium* или *passivum*. Глаголь *звать вообще* имѣетъ другую форму, чѣмъ *звать кого-либо определеннаго*. Особыми частицами обозначаются прошедшее и будущее времена, которыя здѣсь лишены того богатства отгѣнковъ, какое было отмѣчено нами въ австралійскихъ языкахъ. Спряженіе ограничивается постановкой передъ основой личнаго мѣстоименія: зато конкретный характеръ тре-

¹⁾ N. C. v. d. Gablentz Die melanesischen Sprachen nach ihrem grammatischen Bau. Leipzig. 1860. Fr. Müller. Grundriss der Sprachwissenschaft II. 2. Abteil. 1889. J. Byrne (ср. выше) цитируетъ *Hazlewoods*. Fijian Grammar.

буетъ точнаго обозначенія числа, и фиджійцы различали единственное, двойственное, тройственное и неопредѣленно—множественное числа. По мнѣнію Байрна, „глаголь мыслится здѣсь съ болѣшимъ интересомъ, чѣмъ въ полинезійскихъ языкахъ, такъ что здѣсь наблюдается болѣе развитіе“ глагольныхъ значеній. Другой особенностью фиджійскаго языка, отличающею его отъ полинезійскихъ языковъ, является развитіе въ немъ согласныхъ звуковъ, тогда какъ эти послѣдніе языки не допускаютъ ни стеченія нѣсколькихъ согласныхъ, ни согласнаго окончанія слова. Еще дальше въ развитіи консонантизма пошелъ языкъ населенія самаго южнаго изъ Ново-Гебридскихъ острововъ, Аннатомы. Въ общемъ, здѣсь тѣ же черты первобытнаго языка: удвоеніе основы для обозначенія извѣстныхъ отгѣнковъ (Вурне I. 247), употребленіе словъ въ смыслѣ и существительныхъ, и прилагательныхъ, и глаголовъ (*ihlup*—горячій и жара, *alupas* большой и расти). Меланезійскіе языки представляютъ, по сравненію съ австралійскими, нѣкоторыя особенности: такъ, они обладаютъ гораздо болѣшимъ количествомъ согласныхъ, чѣмъ эти послѣдніе: въ то время, какъ въ австралійскихъ языкахъ звуки *b*, *g*, *d* представляютъ только модификаціи глухихъ *p*, *k*, *t*, меланезійскіе имѣютъ цѣлый рядъ фрикативныхъ согласныхъ: *ç*, *γ*, *θ*, *δ*, *š*. Однако, утверждать, что это представляетъ высшую ступень развитія языковъ вообще, чѣмъ въ австралійскихъ языкахъ, было бы такъ же рискованно, какъ считать, напр., эстонскій языкъ выше финскаго потому, что въ первомъ есть звонкіе согласные, отсутствующіе во второмъ. Можно только отмѣтить примитивность и тѣхъ, и другихъ языковъ, выражающуюся въ ихъ конкретномъ характерѣ, неустойчивости произношеній, обособленности формообразующихъ частицъ отъ основы, скудости словаря и множествѣ говоровъ, обнимающихъ всего по нѣсколько сотъ, иногда даже меньше, говорящихъ людей. Въ названныхъ выше дополненіяхъ Г. Габеленца и А. Мейера къ труду Г. Габеленца о меланезійскихъ языкахъ мы находимъ сравнительный словарь этихъ языковъ. Насколько значителенъ здѣсь звукоподражательный элементъ? Уже а priori можно утверждать, что тамъ, гдѣ такого сильнаго развитія, какъ здѣсь, достигаютъ діалекты, такое звукоподражаніе не можетъ быть значительно, ибо именно развитіе говоровъ при общей неустойчивости произношенія внесетъ здѣсь разнообразіе, затемнитъ звукоподражательное происхожденіе слова. Такъ, одно и то же слово для обозначенія вѣтра выступаетъ въ слѣдующихъ діалектическихъ формахъ: *iengo*, *angia*, *cagi*, *eni*, *ang*, *lang*, *ˊnlang*, *lani*, *len*, *laniatu*, *danirho*. Для грома мы находимъ такія названія: *hodreng*, *drumk*, *dowarra*, *tavaï*, *tfa*, *lollo*, *kadadu*, *dorur*, *apil*, *noha*, *kurukuru*, *gelbygel*, *nidiu* и другія слова, которыя означаютъ, прежде всего, молнію, а потомъ уже и громъ, т. е. по существу своему должны быть лишены звукоподражательнаго элемента. Этотъ послѣдній въ приведенныхъ названіяхъ можетъ быть признанъ развѣ

только въ словахъ *drumk* и *kurukuru*, но, что характерно вообще для звукоподражаній, эти слова передаютъ совсѣмъ разные звуковыя впечатлѣнія. И то же самое слѣдуетъ отмѣтить въ названіяхъ нѣкоторыхъ птицъ въ меланезійскихъ языкахъ.

Такъ, *курица* называется здѣсь (возможныя звукоподражанія отмѣчены куривомъ) *manuk*, *maan*, *malk*, *kua*, *gua*, *tu*, *tutu*, *tue*, *mitoa*, *toa*, *to*, *gutu*, *kukreku*, *mang koko*, *kokok*, *rarek*, *kokaroko*, *kereke*, *kokiroko*, *kokeraku*, *oma*, *moa*, *onfa*, *uwa*, *ua*, *joa*, *iaver*, *puga*, *selame*, *oim*, *mangrio*, *mangwaf*, *koku*, *loio*. Изъ этого длиннаго ряда названій птицы, завезенной на полинезійскіе острова европейцами, настоящимъ туземнымъ звукоподражательнымъ словомъ можетъ быть признано только *kua* или *gua*, тогда какъ *kukreku* съ его вариантами представляется заноснымъ европейскимъ словомъ. Любопытно еще *lolo*, которое оказывается въ другомъ діалектѣ названіемъ *грома*. Въ словахъ, обозначающихъ попугая, еще менѣе распространѣнъ звукоподражательный элементъ: *manggras*, *mannabeef*, *uouga*, *manjouer*, *uioi*, *puirip*, *guagua* (ср. выше названіе курицы *kua* или *gua*), *kabrai*, *upuet*, *hanjaka*, *oijan*, *sawe*, *karabua*, *waitot*. Крики птицъ недостаточно разнообразны для того, чтобы превратиться въ названія отдѣльныхъ породъ, и одно и то же звукоподражаніе должно, въ силу сходства акустическихъ представленій различныхъ птичьихъ криковъ, служить названіемъ разныхъ породъ: напр., *gua* для курицы и попугая. Въ одномъ изъ полинезійскихъ языковъ *waitot* означаетъ попугая, въ другомъ же *waiton*—голубь, котораго другія названія гласятъ *guma*, *gainu*, *suibuik*, *buaralar*, *denhi*, *um*, *bue*, *pusip*, *ruve*, *daumer*, *pin*, *keijeb*. Ни одного звукоподражательнаго слова для обозначенія *собаки* (развѣ *baum*, *gaun*), *свиньи* и т. д.! Такимъ образомъ, при всей примитивности меланезійскихъ языковъ слова имѣютъ здѣсь въ громадномъ большинствѣ случаевъ уже только символическое значеніе.

Перейдемъ къ *малайскимъ* языкамъ. Какъ отражается въ ихъ развитіи національный характеръ малайцевъ, описанный въ такихъ яркихъ чертахъ различными путешественниками? По словамъ Картхауза ¹⁾, „не слѣдуетъ слишкомъ низко ставить умственныя способности малайцевъ,—ошибка. въ которую легко впасть, такъ какъ эти истинныя дѣти тропиковъ, вслѣдствіе своей чрезмѣрной вялости, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ обнаруживаютъ свои таланты. На Суматрѣ мнѣ не разъ представлялся случай подивиться на проницательность туземцевъ, которая обнаруживалась не только въ томъ, что, подобно индѣйцамъ, они распознавали своимъ орлинымъ взоромъ такія вещи, которыхъ европеецъ, навѣрное, никогда бы не увидѣлъ, но и въ томъ, что, когда нужно было, пользуясь прежде всего очами разума, они умѣли быстро схватывать всѣ особенности предмета и удерживать ихъ въ памяти...

Малаецъ не только способенъ быстро запечатлѣвать въ своемъ сознаніи образы предметовъ изъ окружающей его природы, онъ обладаетъ также несомнѣннымъ даромъ воспроизводить ихъ съ помощью рисунка. Я поистинѣ изумлялся, видя среди малайской школьной молодежи такое значительное число юныхъ художниковъ. Слухъ развитъ у туземцевъ Суматры менѣе, чѣмъ зрѣніе, а что касается ихъ музыкальнаго слуха, то ужъ никакъ не назовешь ихъ художниками звука. Къ счету и ариѳметическимъ дѣйствіямъ малайцы обладаютъ, несомнѣнно, хорошими способностями. Точно также нельзя отрицать у нихъ проворства рукъ и ловкости въ нѣкоторыхъ работахъ. Но весь малайскій народъ одержимъ злымъ духомъ, который задерживаетъ въ немъ всякое проявленіе жизни,—именно, духомъ лѣни“. Очень забавно путешественникъ описываетъ лѣнливую позу малайца, который просиживаетъ цѣлыми часами на пяткахъ, ровно ни о чемъ не думая. Съ вялостью и пассивностью соединяется чрезвычайная терпѣливость. „Только въ крайне рѣдкихъ случаяхъ эти люди теряютъ терпѣніе, такъ же, какъ они почти никогда не выходятъ изъ себя, или, по крайней мѣрѣ, не выражаютъ своего гнѣва! Но бѣда, если туземца охватитъ ярость. Она принимаетъ, обыкновенно, форму бѣшенства, которая извѣстна въ индійскомъ архипелагѣ подъ именемъ *амокъ* и вызываетъ здѣсь такой же страхъ, какъ у насъ буйное помѣшательство. Туземецъ, который „дѣлаетъ *амокъ*“, ведетъ себя, дѣйствительно, какъ сумасшедшій“. Впрочемъ, такія выходки, которыя кончаются, обыкновенно, довольно плачевно для самаго „героя“, становятся все болѣе рѣдки; малаецъ, по свидѣтельству Картхауза, отлично умѣетъ скрывать свои чувства,—умѣетъ или, вѣрнѣе, научился подъ властной рукой европейскаго, голландскаго правительства. При этомъ, однако, малаецъ отличается чрезвычайной мстительностью. Зато, если его не обижать, онъ кротокъ, любезенъ и услужливъ. Въ противоположность малайцамъ, Суматры, туземцы острова Борнео, принадлежащіе къ той же группѣ народовъ, рисуются очень усердными людьми ¹⁾. „Во всякое время года у нихъ оказывается довольно дѣла. Если они не заняты своей будничной работой, то они трудятся надъ выдѣлываніемъ лодки, такъ какъ селятся всегда по берегамъ рѣки, и вода является ихъ единственнымъ путемъ сообщенія“. Однако, и они стоятъ очень низко въ культурномъ отношеніи, какъ и туземцы острова Явы.

Что касается малайскихъ языковъ, то анализъ ихъ грамматическаго строя будетъ представленъ ниже. Предварительно же я извлеку изъ названнаго уже сочиненія Петермана матеріалъ, вообще характеризующій малайскіе языки. Давайки Борнео говорятъ на многочисленныхъ діалектахъ одного и того же языка, которые всѣ связаны между собой. Большинство ихъ словъ состоитъ изъ двухъ слоговъ. На Суматрѣ малайскій языкъ яв-

¹⁾ *C. Bock*. Unter den Kannibalen auf Borneo. 1890 въ *Geograph. Kulturkunde*. II. 189.

ляется общимъ языкомъ всего населенія архипелага, „средствомъ сообщенія между различными національностями архипелага, а также между туземцами различныхъ острововъ и иностранцами“. При этомъ какъ на Суматрѣ, такъ и на Явѣ наблюдается весьма любопытное различіе въ употребленіи малайскаго языка. „Существуетъ нѣсколько различныхъ стилей этого языка. Выраженія, которыя свойственны исключительно королю въ его сношеніяхъ съ внѣшнимъ міромъ, и которыя являются наиболее элегантными, называются придворнымъ стилемъ. Языкъ, на которомъ говоритъ аристократическій классъ, характеризуется обычной утонченной фразеологіей высшихъ классовъ общества. Стилъ, употребляемый купцами въ ихъ торговыхъ отношеніяхъ, простъ по своему строенію, отличается ясностью выраженій и не слишкомъ перегруженъ грамматическими правилами. Наиболее испорченнымъ является тотъ стилъ, на которомъ говорятъ на базарахъ и въ большихъ торговыхъ морскихъ портахъ, гдѣ представители всѣхъ народовъ понимаютъ другъ друга съ помощью условнаго языка, въ основаніи котораго лежитъ малайскій“ (II, 298). Указавъ на то, что малайскій языкъ переполненъ полинезийскими словами для обозначенія самыхъ обыкновенныхъ предметовъ жизни, санскритскими для обозначенія мифологическихъ и отвлеченныхъ понятій и арабскими для выраженія понятій высшей культурной жизни, авторъ прибавляетъ, что „малайскій языкъ совершенно лишенъ тѣхъ смѣлыхъ метафорическихъ выраженій, которыя указываютъ на дѣтство въ интеллектуальномъ развитіи народовъ, и что ихъ поэтическіе образы являются въ формѣ сходныхъ, но отличныхъ, а не интегральныхъ частей общей идеи¹⁾. Съ другой же стороны, онъ ненормально обилёнъ синонимическими выраженіями для обозначенія обыкновенныхъ предметовъ обыденной жизни и самыхъ ничтожныхъ пустяковъ, и ему не хватаетъ не только точности, но и правильности въ расположеніи словъ“. Байрънъ (I. 295) дѣлаетъ попытку связать двусложный составъ малайскихъ корней съ національными особенностями малайцевъ. Его довольно туманныя соображенія исходятъ изъ предположенія, что въ двойномъ (двусложномъ) корнѣ слова отражается двойной процессъ мысли, т. е. что умъ не способенъ охватить въ одномъ слогѣ всего содержанія идеи, но въ первомъ слогѣ намѣчаетъ ея содержанія, а во второмъ дополняетъ ее. Такимъ образомъ идеи, выраженные корнемъ или первымъ слогомъ, не являются обобщеніями, но „мыслятся какъ частичныя модификаціи. Такой конкретный характеръ мысли соответствуетъ малайской природѣ, которая даетъ человѣку все необходимое,

¹⁾ Это надо понимать, вѣроятно, въ томъ смыслѣ, что для выраженія своего образа туземцы прибѣгаютъ къ синонимамъ, заключающимъ въ себѣ, однако, различные отбѣнки значенія. Синонимы оказываются, однако здѣсь какъ видимъ дальше, и для обозначенія самыхъ обычныхъ отношеній

предоставляя ему только смотрѣть и исполнять. И натура малайца, отличающаяся легкой возбуждѣмостью къ умственной дѣятельности, повидимому, также соответствуетъ характеру его языка, какъ это наблюдается у другихъ народовъ съ меньшей возбуждѣмостью“. Подобныя метафизическія разсужденія вообще характерны для „философовъ“ языка. Разумѣется, искать отраженія національнаго характера въ грамматикѣ языка значить впадать въ крайній субъективизмъ.—Обратимся къ языку яванскаго населенія.

Языкъ туземцевъ острова Явы точно также переполненъ санскритскими, арабскими и полинезийскими словами; онъ находится въ ближайшемъ родствѣ съ другими малайскими діалектами. „Языкъ бѣденъ отвлеченными словами и общими выраженіями. Онъ очень пригоденъ для описанія человѣческихъ страстей и семейныхъ сценъ обыденной жизни, но совершенно не приспособленъ для выраженія отвлеченныхъ размышлений и идеальныхъ понятій возвышеннаго и прекраснаго; въ немъ нѣтъ словъ для выраженія предназначенія, пространства, природы и др. Здѣсь *отсутствуютъ даже родовыя названія* для животнаго, минерала, и болѣе того: для звѣря, птицы, пресмыкающагося и насѣкомаго. Съ другой же стороны, спеціальныя названія до такой степени изобилуютъ, что въ нихъ трудно разобраться. Языкъ отмѣчаетъ ничтожныя отличія и отбѣнки мысли и обладаетъ огромнымъ количествомъ синонимическихъ выраженій. Такъ, здѣсь пять названій для собаки, шесть для свиньи и слона, семь для лошади. Производитъ впечатлѣніе какой-то болѣзненной мелочности изобиліе выраженій для обозначенія самыхъ обыкновенныхъ дѣйствій повседневной жизни. Для понятія *стоять* употребляется десять различныхъ словъ, для понятія *сидѣть* двадцать, и не менѣе пятидесяти спеціальныхъ терминовъ для обозначенія модификацій звука“. Надо прибавить, что какъ на этомъ, такъ и на другихъ малайскихъ нарѣчіяхъ существуютъ болѣе или менѣе богатая литературы, вызванныя культурными и религіозными вліяніями брахманизма и ислама, такъ что малайскій языкъ слѣдуетъ отнести уже не столько къ языкамъ некультурныхъ, сколько къ языкамъ „полукультурныхъ“ народовъ. И только тотъ фактъ, что массы народа весьма мало затронуты такими культурными вліяніями, а пребываютъ въ состояніи болѣе или менѣе полнаго первобытнаго дикарства, позволяетъ включить и малайскіе языки въ настоящее разсмотрѣніе.

Такъ, въ горныхъ округахъ острова Явы туземцы говорятъ на языкѣ Сунда. По словамъ Петермана (II. 377), это основной яванскій діалектъ, неусовершенствованный и несмѣшанный съ иностранными словами и иностранными нарѣчіями, достаточно богатый для того, чтобы выразить всѣ отношенія практической жизни, и вполне приспособленный для всѣхъ цѣлей и объектовъ, которые входятъ въ кругозоръ простыхъ и нецивилизо-

важных горатей. Такое нарѣчіе, конечно, съ полнымъ основаніемъ должно войти въ предѣлы настоящей главы. Но можно-ли говорить о „первобытности“, напр., языка тагала, многочисленнаго (около 2 мил.) народа, занимающаго острова Люпонъ, Минданао и др.? Тагала—далеко не дикари и вовсе не чистокровные малайцы, такъ какъ въ ихъ жилахъ течетъ кровь всевозможныхъ этническихъ примѣсей, китайцевъ, японцевъ и даже европейцевъ. Они давно уже христіане, а языкъ ихъ сдѣлался языкомъ письменности еще до прибытія испанцевъ. Этотъ языкъ „ясенъ и элегантенъ, метафориченъ и поэтиченъ“. По своему внутреннему строенію, онъ оказывается совершеннѣе всѣхъ другихъ малайскихъ діалектовъ, а въ грамматическомъ отношеніи онъ наиболѣе развитъ изъ нихъ.

„Оригинальный геній языка сохранился здѣсь во всей своей чистотѣ“, утверждаетъ нашъ источникъ (II. 487), позволяя такимъ образомъ и языкъ тагала отнести къ разряду первобытныхъ языковъ. Во всякомъ случаѣ, приобщеніе тагала къ культурному міру произошло сравнительно такъ недавно, что языкъ не успѣлъ принять новый обликъ. Онъ состоитъ всего изъ 17 звуковъ; составъ его гласныхъ ограничивается *a, e, i, u*; склоненіе выражается положеніемъ слова во фразѣ, а также частицами и приставками; множественнаго числа нѣтъ, его замѣняетъ числительное или слово *manda* (много). Глаголь и имя не различаются, и „это ихъ смѣшеніе, а также *блѣдность* словами приводятъ къ тому, что одно и то же слово получаетъ нѣсколько значеній“: такъ, слово *aya* означаетъ *довольно, торговый рѣдъ, дороговизну*, а, кромѣ того, употребляется для выраженія восхищенія, слово *baba* означаетъ *связку, бороду, lingu—случайность, ширивъ, bobo—стѣть, растапливать, пугать, колдовать*. Всѣхъ съ тѣмъ, однако, отбѣнки одного и того же глагольнаго значенія передаются цѣлой массой отдѣльныхъ словъ: такъ, для обозначенія понятія *дать* языкъ тагала имѣетъ 140 отдѣльныхъ выраженій, для обозначенія понятія „*дѣлать*“ не менѣе 160. Все это, несомнѣнно, признаки того языковаго строя, который восходитъ къ начальнымъ стадіямъ въ развитіи человѣческой рѣчи. Однакожъ въ звуковомъ отношеніи слова съ разными значеніями должны распознаваться по удареніямъ, которыя играли когда-то, конечно, болѣе значительную роль въ языкѣ, чѣмъ теперь, и тоже указываютъ на первобытность языка.

Послѣ этихъ общихъ замѣчаній о малайскихъ языкахъ обратимся къ анализу нѣкоторыхъ изъ нихъ. Въ сѣверозападной части острова Люциона, въ провинціяхъ Pocos Norte, Pocos sur и Union, живетъ населеніе, говорящее на одномъ изъ языковъ малайской группы, илоканскомъ¹⁾. Первая грамматика его была составлена пенанскимъ миссіонеромъ, Франциско

¹⁾ Harold W. Williams. Grammatische Skizze der Pocosano-sprache mit Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu den anderen Sprachen der Malayopolynesischen Familie. München. 1904.

Лопецъ, уже въ 1628 году. Ею пользовался и Г. Вильямсъ, который сверхъ того изучилъ илоканскіе переводы Св. Писанія, изданные въ 1900 году. Такимъ образомъ, въ его рукахъ оказался языковой матеріалъ почти за 300 лѣтъ. Какъ особенность илоканскаго языка, авторъ отмѣчаетъ его сильное пристрастіе къ удвоенію основъ, которое въ старомъ языкѣ было, повидимому, еще сильнѣе, чѣмъ теперь. Удвоеніе употребляется для означенія множественнаго числа (*piripirok* деревни при *pirok* деревня), а также въ глагольныхъ основахъ со значеніемъ повторенія, въ сравнительной и превосходной степеняхъ и т. д. Но особенно характеренъ смыслъ удвоенныхъ словъ. „Обыкновенное удвоеніе служитъ признакомъ того, что слово употребляется въ своемъ самомъ неопредѣленномъ, самомъ общемъ значеніи. Это, такъ сказать, нерѣшительное, заикающееся пропозношеніе, которое выражаетъ неопредѣленность, исканіе, начинаніе, нащупываніе. Если видѣть во множественномъ числѣ неясное, неопредѣленное выраженіе того, что въ единственномъ числѣ понимается, какъ конкретное единство, то удвоеніе оказывается вполне пригоднымъ средствомъ, чтобы образовать множественное число“. Подобные случаи Г. Вильямсъ отмѣчаетъ и въ другихъ малайскихъ языкахъ. Въ иномъ смыслѣ формы съ удвоеніемъ употребляются, по его словамъ, для означенія незаконченности или постепенности въ развитіи дѣйствія. Для образованія различныхъ глагольных формъ или придачи извѣстнаго отбѣнка значенію основы илоканскій языкъ употребляетъ множество приставокъ, причемъ слѣдуетъ отмѣтить, что точной дифференціаціи въ употребленіи этихъ частицъ языкъ илокано еще не знаетъ. Такъ, частица *ta* „означаетъ обладаніе свойствомъ, которое выражено корнемъ“: напр., при *biag*—жизнь *mabiag* означаетъ жить. Но едва-ли съ этимъ согласуются другія значенія, приводимыя авторомъ: *manaket* (добрый), *mariri* (лгать) и т. п. Точно также приставка *ka* должна означать сопровожденіе, сходство, участіе, новизну (*itlog*—яйцо, а *kaitlog* новое, свѣжее яйцо), отвлеченный смыслъ (*kadakil* величіе, *dakil* большой), мѣстонахожденіе, порядковое число (*pito* семь, *kapito* седьмой). Только отсутствіемъ грамматическаго раздѣленія основъ на глагольныя и именныя, существительныя и прилагательныя возможно объяснить все это различіе значеній, и напр., такое образование, какъ *kaitlog*—свѣжее яйцо. Кромѣ множества приставокъ, назначеніе которыхъ состоитъ въ передачѣ всевозможныхъ отбѣнковъ, илоканскій языкъ широко пользуется помощью вставокъ, инфиксовъ. Эти послѣдніе служатъ для образованія глагольныхъ временъ и опять-таки для передачи различныхъ значеній глагольныхъ основъ. Получаются такія формы: *dakil*, большой, *bassit* маленький, отсюда *dumakil*, увеличиваться, *bumassit* уменьшаться, но при *surat* писать *sumurat* означаетъ немного писать, т. е. частица *um* придаетъ здѣсь совѣмъ иной отбѣнокъ значенія глагольной основѣ. Вильямсъ отказывается вообще опредѣлить категорію значеній, устанавливаемыхъ этой вставкой. Переходя

къ частямъ рѣчи, авторъ и здѣсь пытается устанавливать наши грамматическія категоріи тамъ, гдѣ онѣ оказываются малоподходящими. Такъ, по его словамъ, именами существительными *можно* считать простыя основы (*einfache Stämme*), затѣмъ такія слова, которыя имѣютъ передъ собою членъ, указательное мѣстоименіе или числительное, управляются предлогомъ или занимаютъ въ предложениіи мѣсто субъекта или объекта. Не ясно ли отсюда, что, въ сущности, языкъ инокано не различаетъ именъ существительныхъ въ нашемъ значеніи этого слова? Естественно, поэтому, онъ не различаетъ и родовъ именъ существительныхъ. Болѣе того, ему оказывается неизвѣстной грамматическая категорія множественнаго числа, и простое повтореніе основы опредѣляетъ и множественность предметовъ: такъ, если *ili*—„городъ“, то „городъ да городъ“, т. е. города, означается удвоеніемъ *ilili*, *basol* грѣхъ, *basbasol* грѣхи и т. п. Имена прилагательныя, въ сущности, не отличаются отъ существительныхъ; *dakel* означаетъ и величину, и свойство или качество (большой). Иногда же прилагательныя характеризуются приставкой къ корню, хотя та же самая приставка служитъ и для образованія глаголовъ. Разумѣется, въ языкѣ, который подвергся грамматической обработкѣ со стороны людей, взявшихъ въ свои руки все школьное образованіе въ новообращенной въ христіанство странѣ,—въ такомъ языкѣ должны были возникнуть категоріи мѣстоименій и личныхъ, и указательныхъ. Первобытныхъ особенностей языка здѣсь трудно искать, но кое-какія первобытныя черты выступаютъ и изъ подъ оболочки, созданной грамматическими попытками испанскихъ миссіонеровъ. Такъ, внести порядокъ въ категорію хотя бы личнаго мѣстоименія оказалось невозможнымъ: *iaak* означаетъ я, если на этомъ словѣ дѣлается особенное удареніе, а просто *ak* употребляется, какъ субъектъ при глаголѣ дѣйствительнаго залога, и стоитъ *nosak* глагола или отрицанія, опредѣляющаго глаголъ“. Между тѣмъ *si* оказывается частицей, которая будучи приставлена къ основѣ, образуетъ, согласно тѣмъ же грамматическимъ попыткамъ, имя существительное. Вильямъ отдастъ себѣ отчетъ въ непримѣимости европейскіхъ грамматическихъ нормъ къ иноканскому языку и приходитъ къ выводу, что „настоящихъ глаголовъ“ этотъ языкъ не знаетъ, что „не можетъ быть и рѣчи о различіи въ немъ глагольныхъ наклоненій“ и т. п. Времена же отмѣчаются употребленіемъ различныхъ префиксовъ или инфиксовъ, а лица мѣстоименіями. Иногда, впрочемъ, для обозначенія временъ языкъ употребляетъ просто на просто *указательное* мѣстоименіе.

Для характеристики другихъ малайскіхъ языковъ, я остановлюсь на даякскомъ, грамматика котораго написана Габелентцомъ¹⁾. Слова этого языка въ большинствѣ случаевъ состоятъ изъ двухъ слоговъ и, не измѣняясь, служатъ для обозначенія различныхъ категорій словъ: *belom*, жизнь,

¹⁾ H. C. von der Gabelentz. Grammatik der Dajak-Sprache. Leipzig. 1852.

процвѣтать, *awé*, дѣлать, черезъ, отъ, *sampai*, приходитъ, до. При такой неизмѣнности основъ образованіе формъ производится, какъ и въ языкѣ инокано, съ помощью префиксовъ и суффиксовъ, удвоенія и сложенія словъ. Габелентцъ перечисляетъ *одинадцать* префиксовъ, которые придаютъ различные оттѣнки значенію слова. Такъ, *pen*, (иначе *peng*, *pet*, *pe*, *p*) образуетъ имена, обозначающія дѣйствующее лицо, предметъ дѣйствія или самое дѣйствіе. Вариацин этого суффикса чрезвычайно сложны: имена отъ глагола *dohop* (помогать) образуется существительное *pendohop* (спаситель), отъ *mendawa* (обвинять) не *penmendawa*, но *pendawa* (обвинитель), отъ *tenga* (давать) не *pentenga* (при такомъ же сочетаніи звуковъ въ *pendohop*), но съ выпаденіемъ начальнаго *t* основы *penenga* (даръ), а отъ *solake* (сначала) уже не съ простымъ выпаденіемъ *s*, но съ превращеніемъ его въ *j*: *penjolak* и т. под. Такъ же разнообразны видоизмѣненія и другихъ суффиксовъ, которые образуютъ различныя глагольныя и именныя формы. По существу, даякскій языкъ мало чѣмъ отличается отъ иноканскаго: такъ же въ немъ отсутствуетъ различіе между именной и глагольной основами, такъ же лишь мѣстоименія и извѣстныя частицы служатъ для образованія глагольныхъ временъ, лицъ и чиселъ. Въ этомъ процессѣ Фр. Мюллеръ (*Grandriss II*, 2. 126) видитъ „внутреннее опредѣленіе глагола“. Имъ, по словамъ этого ученаго, исчерпывается сила малайскаго языка, и то, что лежитъ за предѣлами этого, „пробываетъ въ такой же неопредѣленности, какъ въ полинезійскихъ языкахъ“. Во всякомъ случаѣ, количество словообразующихъ элементовъ въ малайскіхъ языкахъ оказывается сравнительно съ языками болѣе развитыми (какъ финноугорскими, такъ и индоевропейскими) очень незначительнымъ. Для памяти здѣсь работы не особенно много. Но въ области словаря, вѣроятно, во всѣхъ малайскіхъ языкахъ господствуетъ явленіе, отмѣченное однимъ путешественникомъ въ мадагаскарскомъ нарѣчій малагасси¹⁾. Именно, на слова и слоги, изъ которыхъ состоятъ имена вождей и королей, налагается табу. Этотъ обычай, по указанію путешественника, влечетъ за собой многочисленныя діалектическія измѣненія. Такой священный характеръ государева имени превращаетъ всякое легкомысленное и неуважительное упоминаніе его въ оскорбленіе. Точно также считается неприличнымъ называть имена королевскихъ дворцовъ при сравненіи величины и размѣровъ различныхъ зданій. Такое же почтеніе оказывается именамъ всѣхъ другихъ лицъ, которыя занимаютъ болѣе высокое положеніе въ обществѣ. Здѣсь мы переходимъ, такимъ образомъ, къ вопросу о вліяніи личности на развитіе первобытныхъ языковъ. Возможность дѣлхъ діалектическихъ перемѣнъ влѣдствіе зауреченія употреблять въ разговорѣ значительное число именъ, влѣдствіе чего этотъ словарь двусложныхъ словъ

¹⁾ James Sibree. Madagaskar. 1881, цитир. Geograph. Kulturkunde II. 214.

долженъ, непременно, потерпѣть значительный уронъ,—эта возможность указываетъ на весьма значительное вліяніе личности на развитіе этого рода языковъ.

Перейдемъ теперь къ африканскимъ языкамъ. Благодаря названнымъ выше лекціямъ Мейнгофа объ африканскихъ языкахъ, мы имѣемъ теперь возможность составить себѣ представленіе о нѣкоторыхъ особенностяхъ ихъ. Я полагаю, однако, что для выясненія тѣхъ социальныхъ и психологическихъ условій, которыми обставлено здѣсь развитіе языковъ, будетъ правильнѣе отложить синтетическій очеркъ до конца обзора отдѣльных лингвистическихъ группъ чернаго материка.

Я начну этотъ обзоръ съ характеристики кафровъ, остановившись на психологическихъ особенностяхъ этого народа раньше, чѣмъ на языкахъ южноафриканскихъ дикарей другихъ лингвистическихъ семей. Я дѣлаю это потому, что характеристика кафрекой психологич. сдѣланная Киддомъ, должна имѣть значеніе и для сопоставленій съ кафрами народовъ, стоящихъ то нѣсколько ниже, то нѣсколько выше ихъ на лѣстницѣ культурнаго развитія¹⁾. „Весь умственный складъ кафра отличается отъ европейскаго. Его взглядъ на жизнь отягченъ отъ нашего, его пониманіе природы имѣетъ совсѣмъ иную форму. Европейцы нрѣдко воображаютъ, что они могутъ спуститься на дно кафрекой души, но болѣе тщательное наблюденіе обнаруживаетъ всю суетность не кафрекаго ума, но нашихъ первыхъ и послѣднихъ умозаключеній. Въ умѣ туземца глубокое уживается рядомъ съ мелкимъ. Повидимому, самыя несоединимыя вещи способны уживаться рядомъ гармонично и мирно въ тинистой и мутной рѣкѣ его идей. Онъ совершенно чуждъ западнымъ представленіямъ о яснои мышленіи и не имѣетъ абсолютно никакого понятія о логикѣ. Онъ не способенъ отличать совпаденіе отъ причинной связи“. По поводу распространеннаго сравненія дикарей съ взрослыми дѣтьми, авторъ монографіи о кафрахъ замѣчаетъ, что въ этомъ сравненіи есть много неправильнаго. „Немного побольше наблюденій, и легко приходишь къ убѣжденію, что это не столько взрослые, сколько неудавшіяся (overgrown-impish) дѣти“. Переходя къ характеристикѣ душевнаго склада кафровъ, Киддъ останавливается на памяти ихъ. Туземцы обладаютъ поразительной памятью на факты, которые интересуютъ ихъ. Не имѣя письменности, они должны полагаться на память, которая съ дѣтства не бываетъ обременена школьнымъ научами. Дѣятельность памяти усиливается отъ упражненія этой способности въ обетановкѣ примитивной жизни. Я видѣлъ засѣданіе вождей и старшинъ, которые совѣщались по важному юридическому вопросу. По поводу одного прецедента поднялся споръ. Не-

медленно старики стали приводить мельчайшія подробности дѣла, которое произошло лѣтъ за 60 или 70 до того. Они знали даже точный цвѣтъ различнаго скота, изъ-за котораго происходилъ споръ. Они должны были видѣть его умственно, блуждая по ландшафту прошлаго, и послѣ десятиминутнаго разговора старое дѣло ожило, такъ что каждый, кто слышалъ споръ, могъ запомнить различные пункты его на новыя 60 лѣтъ. Старики, которые были дѣтьми въ то время, единогласно вспоминали о приговорѣ и всѣхъ техническихъ подробностяхъ дѣла; во всемъ собраніи не раздавалось ни одного противорѣчія“. Объ умственныхъ способностяхъ кафровъ сужденіе наблюдателя гласитъ такъ же благоприятно для нихъ, но съ очень характерной оговоркой.

Именно, по словамъ Кидда, „кафрскіе мальчики очень способны къ усвоенію новыхъ понятій, и нрѣдко въ теченіе нѣкотораго времени дѣлаютъ болѣе быстрые успѣхи, чѣмъ европейскіе мальчики. Иногда туземныя дѣти производятъ впечатлѣніе даже слишкомъ равняго развитія по той быстротѣ, съ которой они усваиваютъ знанія, но при возмужаніи у нихъ наблюдается обыкновенно упадокъ этой способности, и бѣлые мальчики легко опережаютъ черныхъ. Энергія туземцевъ, повидимому, поглощается чисто физическими функциями, питаніемъ и чувственной жизнью, когда они достигаютъ возраста зрѣлости, тогда какъ развитіе мозга, обыкновенно, останавливается... Разъ туземецъ выросъ въ невѣжество, становится уже очень трудно вбить ему въ голову какія-нибудь знанія. Въ этомъ отношеніи туземцы различаются между собой; но, какъ обычное правило, можно сказать, что скучное и противное занятіе учить взрослога человѣка читать и писать, особенно пожилого... Что касается ихъ способности критиковать или логически разсуждать, то въ этомъ отношеніи туземцы оказываются безнадежными. Они обладаютъ чрезвычайно незначительной долей умственной устойчивости, хотя они очень находчивы. Точно также немного у нихъ воображенія или изобрѣтательности, но они умѣютъ хорошо копировать. Туземцы Замбези сдѣлаютъ платье или пару сапогъ, если имъ дать матеріалъ и предметъ для копирования, и тогда они вѣрно передадутъ каждую подробность. Если туземцу дать для подражанія пару сапогъ, то онъ воспроизведетъ ихъ въ совершенствѣ, вплоть до двухъ маленькихъ дырокъ на пяткѣ, которыя образовались отъ узла при вѣшаніи на веревкѣ въ лавкѣ. Туземцы еще не дошли до того, чтобы думать: они просто рабски подражаютъ“. Далѣе, авторъ отмѣчаетъ неспособность кафровъ различать картины и ихъ малую одаренность въ музыкальномъ отношеніи. Онъ констатируетъ у нихъ „странное отсутствіе всякаго чувства пропорціи или цѣнности“. Переходя къ эмоціальной сторонѣ жизни кафровъ, Киддъ утверждаетъ, что „туземцы, вообще, обладаютъ очень конкретнымъ и очень смутнымъ сознаниемъ. Они прекрасно знакомы съ цѣлой гаммой чувствъ, которыя группи-

¹⁾ Dudley Kidd. The essential Kafir. London. 1904. Chapter VII Mental Characteristics.

руются вокруг их сознания: каковы—внутреннее предчувствие, сердечное томление, подозренье, внутреннее предупреждение о приближающемся несчастии, борьба съ искушениемъ, ощущение послѣдствій дурного поступка, раскаяніе, угрызеніе совѣсти, желаніе заглушить ее и т. п.: со всѣмъ этимъ они вполне знакомы, и поэтому они не могутъ считаться чуждыми нравственности. Конечно, большая часть взрослыхъ людей прекрасно заглушила въ себѣ голосъ совѣсти, но въ некоторыхъ она не оставляетъ въ покоѣ даже въ старости. Составъ нравственнаго сознания кафра очень трудно описать. Его мысли бываютъ слишкомъ рѣдко окрашены философскимъ сомнѣніемъ или рефлексіей; и онъ шествуетъ по своему жизненному пути безъ большихъ церемоній⁴⁾. О нравственной сторонѣ духовной жизни кафровъ авторъ произноситъ, вообще, очень суровый приговоръ, который, однако, здѣсь насъ не касается. Важнѣе его указанія, что „туземцы при извѣстныхъ условіяхъ проявляютъ чрезвычайно сильную возбужденность; когда плотина разрушена, цѣлый потокъ возбужденія прорывается черезъ нее“. Однако это само собой подразумевающееся явленіе не находитъ себѣ подтвержденія въ данномъ изложеніи Кидда, такъ какъ описаніе веселости кафровъ во время извѣстныхъ праздниковъ еще не говоритъ объ ихъ ненормальномъ состояніи. Впрочемъ, изъ тѣхъ данныхъ, которыя приведены выше, вытекаетъ, что кафры представляютъ типичное дикарское племя, мировоззрѣніе котораго не соответствуетъ европейской логикѣ. По мнѣнію другого наблюдателя кафровъ, англичанина Брайса¹⁾, кафры при первомъ столкновеніи съ европейцами (въ 17 вѣкѣ) были дикарями, но стояли уже на сравнительно высокомъ уровнѣ развитія: они знали уже земледѣліе, умѣли готовить металлическія вещи, говорили на „высокоразвитомъ“ языкѣ и управлялись извѣстными обычнымъ правомъ.

Повсюду существовала организація общества по семьямъ, родамъ и племенамъ. Во главѣ племени стоялъ вождь, власть котораго у однихъ (напр. у зулусовъ) была неограничена, и который у другихъ (напр., у бедуановъ или басутовъ) долженъ былъ считаться съ мнѣніемъ народа, и при немъ высказывались совершенно открыто. Почтеніе къ старшимъ являлось основой этого быта. Упорство въ сохраненіи старыхъ обычаевъ составляло источникъ той остановки въ культурномъ развитіи кафровъ, которую Брейсъ считаетъ несомнѣннымъ явленіемъ. Жестокость, безчеловѣчное отношеніе къ врагамъ, казни и т. п. составляютъ особенности кафрекаго быта, которыя въ соединеніи съ ихъ неспособностью обобщать наблюденія и съ ихъ неумѣніемъ предвидѣть послѣдствія заставляютъ видѣть въ кафрахъ одно изъ самыхъ отсталыхъ племенъ. „Въ интеллектуальномъ отношеніи кафры еще дѣти“ : заявляетъ Петерманъ (I. 562).

¹⁾ James Bryce. Bilder aus Süd Afrika. 1900, стр. 108—118.

Еще ниже въ отношеніи культурнаго развитія стоятъ бушмены Южной Африки. Фр. Мюллеръ („Grundriss. IV. 1888. Nachträge aus den Jahren 1877—1887) даетъ слѣдующее описаніе бушменскаго языка на основаніи говора племени Kham, живущаго къ сѣверу отъ Каптоуна. Бушменскіе языки стоятъ на границѣ двухъ процессовъ, изоляціи и агглютинаціи. На послѣдній указываютъ какъ суффиксы, такъ и префиксы, тогда какъ въ языкѣ готтентотовъ префиксовъ еще нѣтъ. Предложенія, изъ которыхъ состоитъ рѣчь, представляютъ еще самую простую структуру: это субъектъ, предикатъ и относящаяся къ нимъ опредѣленія. Никакой грамматической связи между отдѣльными предложеніями не существуетъ. Въ области согласныхъ звуковъ, кромѣ чистыхъ и придыхательныхъ (даже *wh*), Мюллеръ отмѣчаетъ еще крайне нечистый звукъ *j*, который слышится то какъ *rgn*, то какъ *rgl*, то какъ *rdn*, и затѣмъ шесть различныхъ прищелкивающихъ звуковъ: гортанный, палатальный, небный, зубной, латеральный и лабиальный. Разумѣется, эти звуки невозможно передать съ помощью нашей азбуки. „Лабиальный прищелкивающий звукъ, говоритъ Фр. Мюллеръ, долженъ соответствовать звуку *ноцѣлуа*“, тогда какъ гуттуральный представляетъ сильный харкающій гортанный звукъ, который правильнѣе всего уподобить звуку, издаваемому при рвотѣ, особенно если въ горлѣ что-нибудь застряло, и хочется выплюнуть это. Разумѣется, вся эта категория звуковъ еще далека отъ того, чтобы соответствовать системѣ артикулированныхъ звуковъ культурныхъ языковъ. Что касается грамматическаго развитія бушменскаго языка, то „отчетливаго различія между корнемъ и словомъ съ одной стороны, и отдѣльными грамматическими категориями. съ другой, здѣсь нельзя замѣтить, такъ что не форма, а только синтаксическое употребленіе указываютъ на то, къ какой категоріи слѣдуетъ отнести извѣстный звуковой комплекс“. Въ этомъ отношеніи языкъ бушменовъ оказывается еще болѣе первобытнымъ, чѣмъ готтентотскій: послѣдній знаетъ, напр., различеніе грамматическаго рода съ помощью извѣстныхъ суффиксовъ, тогда какъ въ бушменскомъ нѣтъ ни подобныхъ элементовъ, ни „ощущенія необходимости такого различія“. Просто къ слову присоединяется слово, означающее самца или самку. Такъ, *koin* (собака, plur. *koin-koin*¹⁾ мужской родъ *koini goai*, plur. *koin-koin-ta tu-gen*, женскій родъ *koin-aiti*, plur. *koin-koin-ta-ga-gen*. Множественное число отличается отъ единственнаго съ помощью *цѣлаго ряда* суффиксовъ, что указываетъ въ свою очередь на отсутствіе достаточно опредѣленно выработаннаго различенія грамматическихъ чиселъ. Самымъ элементарнымъ оказывается и здѣсь

¹⁾ Передъ *o* стоитъ прищелкивающий звукъ, который здѣсь трудно передать. Тотъ же звукъ предшествуетъ и многимъ другимъ словамъ изъ приводимыхъ здѣсь.

наиболѣе распространенное образование съ помощью удвоения. „Среди падежей слѣдуетъ отмѣтить отношенія субъекта—Nominativus, объекта. Accusativus и опредѣленія Genitivus. Всѣ они означаются *только* простымъ *положеніемъ* слова въ предложеніи. Nominativus предшествуетъ глаголу, Accusativus слѣдуетъ за нимъ“. Однако отношеніе Genitivus опредѣляется точнѣе съ помощью нѣкоторыхъ частицъ, а соединеніе двухъ словъ, связанныхъ съ извѣстнымъ отношеніемъ, подчеркивается иногда частицами *e* или *a*, представляющими нѣчто въ родѣ указательно-относительнаго мѣстоименія. Такимъ образомъ, склоненіе въ бушменскомъ языкѣ представляетъ собою не ту стадію развитія языка, при которой уже устанавливается постоянное отношеніе между формой и содержаніемъ слова, но лишь начальную стадію, въ которой отношенія между словами понимаются и выражаются весьма смутно и неопредѣленно. Положеніе слова въ предложеніи, кое-какія частицы, не распределенныя однако точно и постоянно между падежами, должны намѣчать въ самыхъ общихъ чертахъ отношенія между представленіями. Такимъ образомъ, бушменскій языкъ можетъ быть отнесенъ къ числу безформенныхъ, при чемъ имя и глаголъ еще не выражены здѣсь грамматически, и „я показываю“ не отличается отъ выраженія „мое показываніе“. Однако, это далеко не первобытная форма спряженія, и донынѣ въ спряженіи финскихъ языковъ легко открыть слѣды тѣхъ же грамматическихъ отношеній. Между тѣмъ по образу жизни бушмены были обречены на то, чтобы остановиться на одной изъ самыхъ низкихъ ступеней культурнаго развитія. Ихъ единственнымъ постояннымъ занятіемъ служить охота. „Ихъ любимыми мѣстообитаніями являются недоступныя высоты горъ и дальнія пустыни, гдѣ они остаются въ безопасности и независимости, скрываясь въ пещерахъ, ущельяхъ горъ или глубокихъ пропастяхъ: здѣсь они находятъ для себя достаточно удобствъ и вслѣдствіе обилія листвы и травы“. При такихъ условіяхъ быта весьма естественно чрезвычайно сильное развитіе діалектовъ и по словамъ Фетермана, „различныя племена (tribes) говорятъ на различныхъ діалектахъ, и отличіе ихъ звуковой стороны настолько велико, что они съ трудомъ понимаютъ другъ друга, хотя говорятъ на одномъ и томъ же языкѣ. Словарь ихъ до такой степени скуденъ, а система счета такъ неудовлетворительна, что они имѣютъ отдѣльныя спеціальныя слова только для *одного* и *двухъ*: сверхъ этого всѣ числа для нихъ недоступны, и потому не имѣютъ названій“. О языкѣ готтентотовъ, которые въ настоящее время, конечно, уже очень далеки отъ первобытной дикости, намъ англійскій источникъ сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія: „Этотъ языкъ, который теперь почти уже умеръ, представляетъ весьма своеобразныя особенности произношенія. Почти каждое слово содержитъ одинъ или нѣсколько такихъ слоговъ, которые могутъ быть артикулированы только съ помощью прищелкиваній, производимыхъ языкомъ о пѣбо. Эти движенія языка варіи-

руются различнымъ образомъ, согласно съ обстоятельствами, связанными съ выраженіемъ, или въ зависимости отъ значенія слова. Но, несмотря на эту особенность, которая представляетъ нѣчто единственное въ своемъ родѣ, языкъ готтентотовъ достаточно приятенъ для слуха и легко усваивается (is easily mastered), хотя его произношеніе представляетъ почти непреодолимую трудность для иностранца, желающаго, чтобы его понимали. Словарь этого языка не очень богатъ, но онъ обладаетъ тѣмъ большимъ достоинствомъ, что многочисленныя производныя и модификаціи рода и числа образуются съ помощью простаго прибавленія суффикса къ корню. Такъ, *koi* представляетъ коренное слово со значеніемъ *мужчина*; отсюда образованы: *koi-b* (отъ мужчины), *koi-s* (женщина), *koi-gu* (супругъ), *koi-ti* (женщины), *koi-i* (личность), *koi-n* (народъ), *koi-si* (дружелюбно) и т. д. Членъ совершенно отсутствуетъ, отсутствуютъ также существительныя, подлежащія флексіи; падежи и отношенія опредѣляются по связи значенія, а также удареніемъ слова и особеннымъ жестомъ, сопровождающимъ произношеніе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ частички употребляются для того, чтобы замѣнить другія недостающія указанія. Языкъ не имѣетъ никакихъ вспомогательныхъ глаголовъ, и это обстоятельство заставляетъ отнести языкъ готтентотовъ къ числу наименѣ развитыхъ нарѣчій человѣчества. Глаголы не спрягаются, и только съ помощью кое-какихъ частицъ и искусственныхъ вспомогательныхъ средствъ, заключающихся въ тонѣ и жестѣ, можно установить отношеніе времени и способъ дѣйствія¹⁾. Когда глаголъ стоитъ самъ по себѣ, внѣ связи съ другими словами, онъ всегда разсматривается, какъ третье лицо, тогда какъ первое и второе лица обозначаются спеціальными мѣстоименіями. Прилагательныя являются по большей части существительными или глаголами, и они употребляются, какъ таковыя, безъ всякой перемѣны формы. Числительныя, которыя не выходятъ за предѣлы десяти, выражаются спеціальными названіями“. Такимъ образомъ, своеобразныя щелкающіе звуки, не соответствующіе нашимъ артикулированнымъ звукамъ, отсутствіе грамматическихъ формъ, словообразованіе съ помощью суффиксовъ, присоединяемыхъ къ корню, необходимость прибѣгать къ помощи интонаціи и жестикуляціи для выраженія различныхъ значеній слова въ предложеніи: таковы особенности этихъ языковъ южной Африки, бушменскаго и готтентотскаго. Языкъ кафровъ, о которомъ я хочу сказать здѣсь же, въ виду той культурной связи, какая соединяетъ ихъ съ готтентотами, принадлежитъ уже къ группѣ *банту* (см. ниже).

¹⁾ Подробнѣе объ этомъ см. Вугле I. 129: „Времена—слѣдующія: настоящее, абстрактное прошедшее или настоящее, прошедшее, продолжающееся въ настоящемъ, и будущее. Настоящее выражается глагольной основой, самой по себѣ, отвлеченное прошедшее или настоящее частицей *ge*, продолжающееся прошедшее *go*, будущее *ni*. Частица *ge* употребляется также, какъ связка для соединенія съ именемъ прилагательнымъ“.

Характеристика кафровъ, типичная и для другихъ народовъ этой страны, была дана выше. По мнѣнію Фетермана, кафрскій языкъ занимаетъ высокое мѣсто среди другихъ языковъ этой расы (the Nigrition tongues) по систематическому расположенію, точности выраженія, правильности: онъ мелодиченъ и, благодаря своимъ модуляциямъ и паузамъ, способенъ къ ясному и точному опредѣленію значенія. „Всѣ классы населенія выражаются въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ, съ одинаковой дикціей и грамматической правильностью. Въ языкѣ значительно преобладаютъ гласные звуки, которыми заканчивается почти всякое слово“. Щелкающіе звуки, имѣющіеся и въ кафрскомъ языкѣ, оказываются, по мнѣнію англійскаго этнографа, заимствованіями изъ языка готтентотовъ, которые, вообще, передали кафрамъ довольно много изъ своего быта.

Въ кафрскомъ языкѣ каждый префиксъ „имѣетъ соответствующіе ему благозвучные звукъ или звуки и обладаетъ специальной формой, которая употребляется исключительно съ именами, прилагательными, мѣстоименіями или глаголами. Такъ, префиксъ *in* употребляется передъ словами, обозначающими *мужчину, девочку* или *домъ*, а *uona* до известной степени соответствуетъ третьему лицу мѣстоименія. Префиксъ *ama*, который принимаетъ также формы *aba*, *ba* и *be*, означаетъ множественное число, тогда какъ префиксъ *umi*, съ его сокращеніями *um*, *mi* и *mo*, означаетъ единственное. Такъ, *ihashé*—лошадь, *amahashé*—лошади, *umkoosa*—кафръ, *amakoosa*—кафры. *Mo-chuana* означаетъ отдѣльнаго человѣка изъ племени бечуановъ, а *sechuana* употребляется для обозначенія ихъ языка, такъ какъ *se* является префиксомъ владѣнія. Всякое имя требуетъ своего собственнаго префикса, соответствующаго ему по формѣ и характеру (character), и другія слова, которыя зависятъ отъ него, требуютъ префикса, соответствующаго также имени существительному, къ которому они относятся“. Естественно, что и глагольные формы, собственно, не существуютъ, и образуются только известные отбѣнки глагольнаго значенія съ помощью префиксовъ. Происхожденіе этихъ частицъ неясно, но онѣ распределяются опредѣленнымъ образомъ и соответственно значеніямъ: *ikiwane* (фига), но *umkiwane* (фиговое дерево), *ilizwe* (страна), но *izizwe* (народъ). „Префиксы обозначаютъ каждый отдѣльную мысль съ объектъ, которому, какъ субстанціи, принадлежитъ свойство, отмѣченное его корневой частью. Они выражаютъ мысль о немъ (свойствѣ) такъ необыкновенно тонко и ствлеченно, что трудно или невозможно объяснить каждый префиксъ, установивъ его отвлеченное значеніе. И въ этомъ своемъ абстрактномъ смыслѣ они могутъ иногда встрѣчаться въ именахъ, выражая тѣнь мысли (a shade of meaning), которая ускользаетъ совершенно отъ пониманія туземца. Но, что въ нихъ особенно замѣчательно, это тотъ фактъ, что при всей отвлеченности ихъ значенія, они по большей части въ своемъ употребленіи выражаютъ весьма строго различныя отбѣнки

мысли“ (Вугне I. 89). Это сужденіе такая же крайность, какъ и мнѣніе пастора Бринкера ¹⁾, что „префиксы (въ языкахъ банту) являются остатками первобытнаго языка и имѣютъ общее происхожденіе и общій принципъ съ прицелкивающими звуками готтентотской расы, кафровъ и бушменовъ“. Прежде всего слѣдуетъ отмѣтить, что различеніе префиксовъ по значенію вовсе не такъ тонко, какъ утверждаетъ Байрнъ. Оно основано, несомнѣнно, на традиціонномъ употребленіи известныхъ корней съ известными префиксами, въ значеніи которыхъ просто не удастся открыть что-нибудь опредѣленное (см. примѣры у того же Байрна). Что касается сродства префиксовъ съ прицелкивающими звуками, то здѣсь можно установить лишь то сходство, что и эти послѣдніе стоятъ передъ словами, но въ системы, какъ префиксы.

Система префиксовъ заключается въ однообразіи въ формѣ словообразующаго элемента (префикса), который проходитъ черезъ все предложеніе, такъ что всѣ слова, стоящія въ известной логической связи одно съ другимъ, принимаютъ одинаковые или сходные элементы. Благодаря этому, пріобрѣтается какъ бы грамматическое единство въ цѣломъ предложеніи, которое, такимъ образомъ, является уже не сочетаніемъ отдѣльныхъ словъ, а скорѣе однимъ словомъ, однимъ сложнымъ образованіемъ. Впрочемъ, объ этомъ ниже. Здѣсь же я отмѣчу еще одну особенность, найденную въ языкѣ кафровъ.

Въ малайскихъ языкахъ мы имѣли случай констатировать любопытную особенность ихъ, заключающуюся въ различіи языковъ по классамъ. У кафровъ наблюдается нѣчто еще болѣе своеобразное, особый *женскій языкъ*, въ основаніи котораго лежатъ уже отмѣченные выше запрещенія, налагаемые на отдѣльныя слова и звуковыя сочетанія. „Имѣются нѣкоторыя идиоматическія выраженія, которыми пользуются только женщины. Это отличіе основывается на національномъ обычаѣ, запрещающемъ женскому полу употреблять слова, въ которыхъ попадаютъ слоговыя сочетанія, сходныя съ тѣми, какія встрѣчаются въ именахъ ихъ ближайшихъ мужскихъ родственниковъ. Взамѣнъ запрещенныхъ выраженій, женщинамъ приходится употреблять новыя слова, что дѣлаетъ языкъ неустойчивымъ и словарь его непостояннымъ“.

Этотъ элементъ личной воли, дающей известное сознательное направленіе развитію языка, представляетъ одно изъ интереснѣйшихъ явленій въ языкахъ малокультурныхъ народовъ. Онъ стоитъ въ ближайшемъ отношеніи къ двумъ другимъ явленіямъ, которыхъ придется коснуться дальше: во-первыхъ, къ возрѣніямъ народныхъ массъ (какъ у

¹⁾ H. Brincker. Zur Sprachen—und Völkerkunde der Bantuneger und Verwandter Stämme Südwestafrikas. Internationale Zeitschrift für die allgemeine Sprachwissenschaft. V^o т. 1889, стр. 42.

дикарей, так и у культурных народов) на языкъ, какъ на нѣчто сдѣланное сознательно людьми, а во-вторыхъ, къ элементу индивидуальнаго творчества, наблюдаемому и въ другихъ областяхъ культурной жизни первобытнаго человечества. Съ этой точки зрѣнія было бы весьма интересно собрать свѣдѣнія обо всѣхъ языкахъ народовъ, стоящихъ на низшихъ стадіяхъ цивилизаціи. Къ сожалѣнію, въ настоящей главѣ я не могу выполнить эту задачу, какъ потому, что у меня нѣтъ въ рукахъ достаточнаго матеріала, такъ и потому, что подробное изученіе этихъ вопросовъ далеко вывело бы меня за рамки предполагаемаго изслѣдованія. Въ виду этого я ограничусь здѣсь отдѣльными замѣчаніями и объ африканскихъ языкахъ, какъ это пришлось сдѣлать по отношенію къ малайскимъ и полинезийскимъ. Такъ, оставляя въ сторонѣ языки карликовыхъ народовъ Африки, возвращусь къ банту. По словамъ Ратцеля („Völkerkunde“ I. 232), важнымъ фактомъ африканской этнографіи является признаніе родства тѣхъ языковъ, которые господствуютъ въ Африкѣ отъ южной границы кафровъ, заходя на сѣверѣ далеко за экваторъ, при чемъ между этими языками и готтентотскимъ и бушменскимъ отмѣчается большое различіе. На этомъ послѣднемъ строятся извѣстныя заключенія по исторіи заселенія Африки, о которыхъ здѣсь нѣтъ надобности распространяться. Фробениусъ высказывается противъ термина „народы банту“ для наименованія народовъ, которые населяютъ страну отъ южной Африки до Судана, такъ какъ этотъ терминъ основывается только на общности языковъ. Что касается количества этихъ языковъ, то оно громадно. На картѣ Штрука, приложенной къ названному сочиненію Мейнгофа, отмѣчено 182 языка и 119 нарѣчій, т. е. всего свыше 300 языковыхъ группъ, на которыхъ говоритъ населеніе въ 8 миллионѣвъ человекъ. На языкъ такимъ образомъ приходится въ среднемъ не свыше 44 тыс. человекъ, а если принять въ соображеніе и нарѣчія, то всего около 25 тыс. Мы видимъ отсюда, что діалектическое дробленіе языковъ банту настолько же значительно, какъ и въ другихъ языкахъ некультурныхъ народовъ. То, что сближаетъ между собой эти языки, заключается въ одинаковомъ принципѣ ихъ строенія и въ извѣстныхъ словарныхъ совпаденіяхъ. Распространеніе этой семьи языковъ на такомъ обширномъ пространствѣ можетъ объясняться, по мнѣнію Ратцеля, только всевозможными переселеніями и взаимными проникновеніями негрскихъ народовъ, принадлежащихъ къ группѣ языковъ банту. Здѣсь различаются три главные подотдѣла: языки кафровъ, сечуана и тепеза. Отдѣльные языки примыкаютъ другъ къ другу съ помощью діалектическихъ переходовъ, но иногда по содѣйствію уживаются совсѣмъ разные языки одной группы, что объясняется опять-таки позднѣйшими вторженіями отдѣльныхъ племенъ и народовъ.

О губныхъ звукахъ въ языкахъ банту есть изслѣдованіе Клеве, которое представляетъ большой интересъ въ принципиальномъ отношеніи,

такъ какъ сводитъ одно изъ звуковыхъ явленій некультурныхъ языковъ къ искусственнымъ поврежденіямъ органовъ рѣчи. Это обычай прокалывать верхнюю губу для того, чтобы вставлять въ образующуюся дыру круглую палочку изъ дерева или глины. Такое поврежденіе губы производитъ особенности въ произношеніи губныхъ звуковъ, которыя при самой древности этого обычая и ему подобныхъ должны были имѣть болѣе широкое, нежели теперь, распространеніе ¹⁾. По указанію одного путешественника, съ помощью этого инструмента женщины издають рѣзкій переливчатый свистъ, быстро при этомъ ударяя языкомъ о нижнюю поверхность полости рта, чтобы въ минуту опасности созвать этимъ способомъ мужчинъ. Для той же самой цѣли въ другомъ африканскомъ племени подвергаютъ передніе зубы извѣстной операціи.

По мнѣнію туземцевъ, этимъ путемъ достигается правильное и красивое произношеніе звуковъ, которое весьма ими цѣнится, но, конечно, это не было первоначальной цѣлью самоизувѣченія, а практиковалось во имя красоты. При сравненіи словъ въ языкахъ племенъ, не знающихъ пелеле (палочки въ губѣ), съ языками народовъ, у которыхъ она имѣетъ большое распространеніе, обнаруживается, что въ послѣднихъ губные звуки подвергаются смягченію или искаженію. „Прободеніе верхней губы палочкой затрудняетъ образованіе билябиальныхъ (чисто-губныхъ) звуковъ и приводитъ прежде всего къ ихъ смягченію. Если ротъ сомкнуть для произнесенія звука *m*, то вслѣдствіе тяжести верхней губы наиболѣе близкимъ звукомъ оказывается *p*“. То же выпаденіе губныхъ звуковъ, связанное съ обычаемъ носить въ верхней губѣ украшеніе, отмѣчается и у нѣкоторыхъ племенъ Южной Америки. Вслѣдствіе того же обычая гибнутъ нижніе зубы, и сморщиваются и скорчиваются альвеолы, что, въ свою очередь, оказываетъ вліяніе на произношеніе гортанныхъ звуковъ: такъ, вмѣсто *k* возникаетъ *h*. Быть можетъ, данныя, приводимыя въ статьѣ Клеве, имѣютъ далеко не одно мѣстное значеніе: они показываютъ, насколько тѣсна зависимость между языкомъ некультурнаго народа и особенностями его внутренняго и внѣшняго быта. На высшихъ стадіяхъ культурнаго развитія эта зависимость гораздо менѣе значительна, и напр. предположеніе одного изъ авторитетнѣйшихъ изслѣдователей физиологіи звуковъ, проф. Зиверса, что особенности англійскаго произношенія стоятъ въ связи съ возрѣніями англичанъ на „приличное“ произношеніе,—было встрѣчено всеобщимъ недобѣриемъ. „Сочиненіе“ языка въ культурномъ народѣ, дѣйствительно, представляетъ нѣчто необычное. Однако, съ иными условіями созданія языка мы встрѣчаемся у племенъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ куль-

¹⁾ G. L. Clegg. Die Lippenlaute der Bantu und die Negerlippen, mit besonderer Berücksichtigung der Lippenverstümmelungen. Zeitschrift für Ethnologie. T. 35. 1903.

турного развитія: здѣсь „табу“, прободеніе губы и т. п. могутъ реформировать языкъ.

Остановимся на характеристикѣ отдѣльныхъ языковъ изъ группы банту, съ однимъ представителемъ которой, кафрекимъ языкомъ, мы уже имѣли дѣло. Зулусы говорятъ, по утверженію Фетермана (I. 592—3), на самомъ чистомъ кафрекомъ языкѣ, или, другими словами, въ языковомъ отношеніи оказываются близко родственными кафрамъ. Авторъ указываетъ на то, что этотъ языкъ въ достаточной мѣрѣ богатъ конкретными словами, но крайне бѣденъ отвлеченными понятіями. Прозношеніе его отличается трудностью для иностранца, такъ какъ въ языкѣ встрѣчается нѣсколько прищелкивающихъ звуковъ, чрезвычайно распространенныхъ. Большая часть словообразующихъ элементовъ ставится передъ корнемъ, такъ что языкъ зулусовъ является по преимуществу приставочнымъ (префиксы). Въ высшей степени сложна система образованія множественнаго числа: она заключается въ томъ, что опредѣленные префиксы замѣняются во множественномъ числѣ префиксами же, соответствующими только имъ, и такихъ классовъ *восемь*¹⁾. Такимъ образомъ *umfana* (мальчикъ)—*plur. abafana*. *izizi* (слово)—*plur. amazi*, *incoto* (скотъ)—*plur. izincoto*. Имена прилагательныя, или, точнѣе говоря, слова, означающія качества и свойства (такъ какъ категоріи именъ прилагательныхъ, какъ таковой, у зулусовъ не существуетъ), получаютъ тотъ же самый префиксъ, что и названія предмета; тому же самому процессу подвергаются обозначенія дѣйствій и свойствъ, т. е. по нашей грамматикѣ глаголы. *Abafana* (мальчики) требуетъ и въ имени прилагательномъ префикса *aba*: *abafana abakulu* (большіе мальчики); глаголъ *tanta* (любить) пріобрѣтаетъ въ соединеніи съ *abafana* форму *baianta* (мальчики любятъ); если же *tanta* относится къ *izincoto* (скотъ), то оно получаетъ форму *zi tanta*. Сочетаніе *bazi tanta* означаетъ: „они (мальчики—*abafana*) его (скотъ, *izincoto*) любятъ“. Такой же эволюціи подвергается и притяжательное мѣстоименіе въ зависимости отъ префикса слова, къ которому оно относится: *umfana wami* (мой мальчикъ), но *abafana bami* (мои мальчики). Поразительно сложный характеръ имѣютъ отглагольные и глагольные образованія для передачи разнообразнѣйшихъ оттѣнковъ значенія. Такъ, отъ *bona* (видѣть) образуются *bonisa* (заставлять видѣть, показывать), *bonisia* (показывать ясно), *bonela* (видѣть впередъ, предвидѣть), *bonelela* (смотреть и учиться, подражать), *bonana* (смотреть другъ на друга), *bonisana* (заставлять смотреть другъ на друга, или показывать одного другому), *bonakala* (появляться, быть видимымъ), *bonakalisa* (дѣлать видимымъ), *umboni* (видящій), *umboneli* (зритель), *umboniso* (зрѣлище), *umbonisi* (наблюдатель), *isibonakaliso* (дѣлать явленіе видимымъ) и мн. др. Вся эта вереница словъ.

¹⁾ Всего въ языкахъ банту Бранкеръ (см. выше) насчитываетъ 16 такихъ системъ приставокъ.

изъ которой здѣсь приведены далеко не все существующія образованія, можетъ быть повторена въ страдательномъ залогѣ: *bonwa* (быть видимымъ), *boniswa* (дѣлать такъ, чтобы стать видимымъ), *bonisiswa* (дѣлать такъ, чтобы быть видимымъ). Такое сдѣленіе частицъ, сохраняющихъ свою внѣшнюю форму безъ измѣненія, или *агглютинація* ихъ приводитъ къ развитію и широкому распространенію сложныхъ словъ: отъ *puma* (подниматься) и *ilanga* (солнце) образуется *impumalanga* (востокъ), тогда какъ *inchoholanga*—закатъ, западъ.

Разнообразіе языковъ на сравнительно ограниченномъ пространствѣ вызвало необходимость выработать какое-нибудь международное средство общенія. Уже въ главѣ, посвященной языку жестовъ, было отмѣчено, что такимъ средствомъ у сѣверо-американскихъ индѣйцевъ оказывается этотъ послѣдній. Это же самое наблюдается и въ Африкѣ, въ области, изученной Хуттеромъ. По остроумному замѣчанію его, здѣсь языкъ знаковъ (*Zeichensprache*) является жестикулированнымъ волапукомъ. Съ помощью его можно вести во время пути простѣйшіе разговоры о направленіи дороги, разстояніи, времени и т. под. Извѣстные жесты сопровождаются восклицаніями, имѣющими *звукотобразительное* происхожденіе. Такъ, для обозначенія утра надо сдѣлать знакъ, какъ будто протираешь со сна глаза (провести ладонью ото лба по глазамъ, носу и рту), и произнести слово *kókolokó* (крикъ пѣтуха); для того, чтобы выразить нѣкоторое непріятное удивленіе, надо сначала сложить руки, потомъ немного развести руками и протяжно произнести *ha* и потомъ *i*. Числа выражаются съ помощью подниманія пальцевъ и различныхъ фигуръ, образуемыхъ пальцами. Благодаря символическому изображенію руками различныхъ фигуръ, достигается возможность взаимопониманія и соглашенія по разнымъ предметамъ. Что касается произносимаго языка, то здѣсь слѣдуетъ обратить вниманіе на различіе тона, въ какомъ говорятъ съ разными людьми: съ вождемъ племени, вообще съ выше стоящимъ человѣкомъ, полагается говорить непотомъ, не жестикулируя; передавая чужія приказанія, слѣдуетъ принимать совершенно равнодушный видъ, показывать всею своимъ существомъ безразличіе и произносить слова отчетливо и громко, безъ жестовъ: обычный разговоръ—оживленный, быстрый, сопровождается жестами. Кромѣ общаго языка, есть еще условный, тайный, „на которомъ могутъ говорить только важные люди“, по словамъ одного негра. Общерапространенный языкъ бали представляетъ типъ односложнаго языка, въ которомъ отсутствуютъ грамматическія категоріи и ихъ выраженіе. Одно и то же звуковое сочетаніе можетъ имѣть разнообразныя значенія, различія между которыми опредѣляются нѣкоторыми оттѣнками ударенія: такъ, слово *fá* означаетъ *нести*, *насаждать*, *железугъ*, слово *mbi*—коза, орѣхъ кола, *fú*—ясный, холодный, лгать, *ndú*—пальмовое вино, *ndú*—медь и т. д.

Для усиленія значенія пріобрѣгаютъ къ удвоенію корня: такъ *ndung-*

pong означает глубокий сонъ при простомъ *pong* (спать). Нѣсколько словъ вмѣстѣ, образуя предложіе, допускаютъ въ цѣломъ сокращеніе: такъ изъ сложенія словъ *matì* (ожидать) *nì* (быстро) *túo* (приходить) образуется *mátin'tó*, означающее: „подождите немного, я сейчасъ вернусь“. Очень любопытно указаніе Хуттера на особыя частички (*ka, ket, kale, kerre, io* съ краткими гласными звуками), которыя служатъ, по его словамъ, только для цѣлей благозвучія. Однако, онъ самъ указываетъ на то, что они смягчаютъ рѣзкость тона, приказанія и т. п., такъ что представленіе объ ихъ благозвучіи кажется уже болѣе позднимъ, и происхожденіе ихъ должно сводиться къ словамъ, имѣвшимъ когда-то свое самостоятельное значеніе, но потомъ утратившимъ его, какъ наше—*съ,—ста* (*да-съ, по-жалуй-ста*) и т. д. Отсутствіе склоненія и спряженія не восполняется въ языкѣ бали никакими техническими средствами; только для образованія множественнаго числа говорящій присоединяетъ къ названію предмета соотвѣтствующее числительное или жестъ, указывающій на это число, да немедленно предстоящее совершеніе дѣйствія отмѣчается присоединеніемъ къ глагольному корню слова *gé*, означающаго движеніе, хожденіе. Такимъ образомъ, сочетаніе трехъ изолированныхъ односложныхъ словъ *mэ ge tán* означаетъ: „я буду сейчасъ стрѣлять“, *oge fá ndú* „принесешь-ли ты сейчасъ медь“ и т. д. Для обозначенія того, что дѣйствіе уже совершилось, языкъ прибѣгаетъ къ присоединенію слова *mí* (готовъ, готово), и наконецъ особой формой выраженія повелительнаго наклоненія является присоединеніе къ глагольному корню восклицанія *e*, которое само по себѣ является прежде всего средствомъ обратить вниманіе слушающаго на то, что представляетъ особую важность для говорящаго. Какъ ни простъ, однако, по своей структурѣ языкъ бали, и ему приходится пользоваться такими грамматическими элементами, которые по своему значенію соотвѣтствуютъ нашимъ предлогамъ. Именно, для выраженія направленія употребляется слово *má* (*me gé ma ndab*—я иду въ домъ), для указанія на пребываніе въ какомъ-нибудь мѣстѣ слово *ba*. Казалось бы, что въ такомъ первобытномъ языкѣ, какой мы видимъ въ лицѣ бали, междометія, какъ средство обращенія вниманія, должны бы были представляться въ большомъ изобиліи. Между тѣмъ нашъ источникъ приводитъ ихъ всего нѣсколько: *béte* (восхищеніе и удивленіе), *yé* (нѣчто въ томъ же родѣ, но съ оттенкомъ неудовольствія), *e* (удивленіе, недоумѣніе). Обращаясь къ словарнымъ записямъ Хуттера, слѣдуетъ отмѣтить и здѣсь, какъ въ австралійскихъ записяхъ словъ, чрезвычайную рѣдкость звукоподражанія. *Mistí* (дикая курица), *nwí* (собака), *kün* (свинья), *mbi* (роза, овца, а также орѣхъ кола) и мн. др. не заключаютъ въ себѣ, повидному, никакого звукоподражательнаго элемента, какъ и названіе барабана *nká*. *Kokoloko* съ краткими гласными (пѣтухъ) представляетъ, несомнѣнно, звукоподражательное слово, но едва-ли можно колебаться въ предположеніи позднѣй-

шаго (европейскаго) заимствованія какъ самой птицы, такъ и названія ея у негровъ бали. Резюмируя все сказанное выше объ этомъ языкѣ, можно придти къ заключенію, что передъ нами языкъ совершенно иного типа, чѣмъ языки банту. Намѣренно я разсмотрѣлъ его здѣсь же, не переходя пока болѣе обстоятельно къ анализу грамматическаго строя этихъ послѣднихъ.

Я имѣлъ въ виду отмѣтить тотъ фактъ, что рядомъ съ болѣе высоко развитыми въ грамматическомъ отношеніи языками банту существуетъ языкъ, представляющій совершенно иной типъ строенія, языкъ, повидному, гораздо болѣе первобытный и дикій, нуждающійся для дополненія своего, въ высшей степени скуднаго словаря въ жестикуляціи, особыхъ призывныхъ восклицаніяхъ и т. п. Въ культурномъ же отношеніи народы этой области Африки едва-ли стоятъ ниже или много ниже народовъ, говорящихъ на языкахъ банту. Такъ обособлены языки, и такъ связаны культуры. Этотъ выводъ, какъ мнѣ кажется, вмѣстѣ и общее значеніе для разрѣшенія вопроса объ общности языковъ у первобытнаго человѣчества. Въ данномъ случаѣ, какъ извѣстно, возможно предположеніе позднѣйшихъ миграцій народовъ, говорящихъ на различныхъ и разнотипныхъ языкахъ, но остается все-таки важнымъ и значительнымъ фактъ сосѣдства двухъ языковыхъ группъ, столь же противоположныхъ по принципу своего строенія, какъ языки русскій и китайскій. Но въ этомъ послѣднемъ случаѣ мы наблюдаемъ большія культурныя различія: весь укладъ жизни русскихъ и китайцевъ совершенно различенъ, и сохраненіе языковой независимости однихъ отъ другихъ легко объясняется пропастью, отдѣляющей ихъ обладателей въ государственномъ, религіозномъ и культурномъ отношеніяхъ. Фактъ подобной же языковой обособленности у народовъ, не представляющихъ въ иныхъ отношеніяхъ обособленныхъ культурныхъ формацій, указываетъ на присущую языкамъ устойчивость, поскольку не встрѣчается сознательное стремленіе авторитетныхъ людей къ измѣненію языка.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній я полагаю правильнымъ остановиться ближе на грамматическомъ строѣ языковъ банту. Основной ихъ особенностью является законъ *совпаденія*, требующій проведенія черезъ все предложеніе извѣстнаго префикса, иногда въ нѣсколько измѣненной языковой формѣ. Такъ, предложеніе: „приходитъ нашъ прекрасный человѣкъ, котораго мы любимъ“, передается кафрами въ формѣ: „человѣкъ нашъ прекрасный онъ появляется, мы его любимъ“ и звучитъ такъ:

u-mu-ntu w-etu o-mu-x'le u-ya-bonaka si-m-tanda,

но та же самая фраза во множественномъ числѣ получаетъ форму: *a-ba-ntu b-etu aba-x'le ba-ya-bonaka si-ba-tanda*, гдѣ префиксъ *ba* служитъ указаніемъ на множественное число каждаго слова. Если слово принадлежитъ въ *Singularis* къ классу *li*, а въ *Pluralis* къ классу *ma*, то получается слѣдующее образованіе: *i-li-zwe l-etu e-li-x'le li-ya-bonaka si-li-*

tanda (показывается наша страна, которую мы любим), а во множественном числе: *ama-zwe etu a-ma-x'le a-ya-bonaka si-wa-tanda*. Изъ этихъ примѣровъ¹⁾ (ср. *G. von der Gabelentz. Die Sprachwissenschaft. 1901, стр. 420—421*), видно, какую сложность образования формъ предполагаетъ этотъ законъ совпаденія. Почему въ первомъ предложеніи не *metu*, какъ *betu, letu* и т. д. въ другихъ, но особое образование съ губнымъ: *wetu*? Подобно этому, въ одномъ изъ языковъ группы банту, описанномъ польскимъ ученымъ Рогозинскимъ,²⁾ наблюдается „аллитерація“, такъ что *motu mat*—мой человекъ, но *bātu bam*—мой люди, *mueta ma motu* (сердце человека) и т. п. Въ языкѣ *волофъ* (въ Сенегамбіи) къ существительному присоединяются различные гласные: *i* указываетъ на присутствіе его, *a* на близость и т. д., такъ что возникаютъ сочетанія *baye bi, baye bu* и т. д. (отецъ), но *digene di, digene du* (мать). Въ языкѣ *вей* (въ Гвинее) въ предложеніи входитъ тотъ или другой слогъ для обозначенія увѣренности въ исполненіи факта, но и здѣсь наблюдается колебаніе звукового состава этого слова (правда, въ области гласныхъ). *Burne I. 103. 111*. Вызывается-ли это употребленіе опредѣленными законами измѣненія звуковъ или сохраняется только, благодаря устной передачѣ *готовыхъ*, установленныхъ изстарн формъ, и насколько значителенъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ элементъ случайности? Не происходило-ли дѣло такъ, что извѣстное авторитетное лицо произнесло, положимъ, вмѣсто *mwetu* простое *wetu*, и это произношеніе, индивидуальное, отчасти случайное, отчасти вызванное требованиями большей легкости, вошло во всеобщее употребленіе. Хотя современное индоевропейское языковѣдѣніе отрицаетъ элементъ случайности въ измѣненіи словъ и настаиваетъ на законѣрности звуковыхъ законовъ, подлежащихъ, однако, сомнѣнію, слѣдуетъ-ли исключитъ въ развитіи или, вѣрнѣе, преобразованіи некультурныхъ языковъ стхію *личнаго произвола* отдѣльныхъ лицъ? Объ этомъ произволѣ въ развитіи значеній словъ высказывается категорически Вундтъ, какъ будетъ подробно указано ниже.

Вопросу объ образованіи глагольныхъ формъ въ языкахъ банту посвящено специальное изслѣдованіе С. G. Büttner³⁾, который разсмотрѣлъ

¹⁾ Литература о языкахъ банту: *C. Meinhof. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen. Berlin. 1910. W. H. J. Bleek. A comparative grammar of South African languages. London. 1869. J. Torrend. A comparative grammar of the South-African Bantu languages. London. 1891. Brückner. H. Zur Sprach- und Völkerkunde der Bantuneger und verwandter Stämme Südwestafrikas. Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft. V. 1890* (главнымъ образомъ перечисленіе формообразующихъ суффиксовъ).

²⁾ *Rysy charakterystyczne murzynskiego narzecza „bakwiri“ używanego w Górach Kamerunskich Rozprawy... Akad. Umijętn. XIII 1889.*

³⁾ *C. G. Büttner. Die Temporalformen in den Bantusprachen. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. B. 16. 1885.*

этого рода образованія въ 13 языкахъ данной группы. Во всѣхъ нихъ онъ отмѣчаетъ тотъ же законъ совпаденія, который уже былъ разсмотрѣнъ выше, и общіе префиксы для образованія различныхъ типовъ предложенія. Языки банту обладаютъ значительнымъ числомъ глагольныхъ формъ для обозначенія, напр., различныхъ отбѣнковъ прошедшаго времени. Въ основѣ этихъ послѣднихъ лежитъ присоединеніе къ глагольному корню приставки, представляющей собой мѣстоименіе; по мнѣнію Бютнера, *праформа* глагольныхъ образованій, еще лишенная временного значенія, является именно такимъ соединеніемъ личнаго мѣстоименія съ глагольной основой; отсюда, уже отъ этой формы, образованы тѣ формы, которыя изслѣдователь называетъ аористомъ и перфектомъ (къ личному мѣстоименію въ аористѣ присоединяется *a*, въ перфектѣ—*ile*).

Долгой эволюціи подверглись, въ свою очередь, и личныя мѣстоименія въ зависимости отъ того, употреблялись-ли они самостоятельно или стояли безъ ударенія, часто на концѣ предложенія¹⁾. Такимъ образомъ, устанавливается какъ первоначальное единство языковъ банту, несмотря на ихъ современную обособленность и многочисленность, такъ и первичность ихъ своеобразнаго строенія, связанная съ закономъ проведенія *одного* типа мѣстоименія черезъ все предложеніе. Эта необходимость приставлять къ каждому слову фразы слоги *ta, ba, le* и т. п., чтобы отмѣтить логическую связь этихъ словъ, иначе говоря принадлежность ихъ къ одной и той же фразѣ, указываетъ на неспособность мысли оторваться отъ конкретныхъ представленій. Первоначальная фраза—слово была какъ бы разбита на части, но эти части приведены къ единству повтореніемъ передъ каждой изъ нихъ связующаго элемента. Таковъ основной типъ языковъ банту.

Прежде, чѣмъ перейти къ отдѣльнымъ языкамъ Судана, я приведу нѣсколько замѣчаній новѣйшаго французскаго изслѣдователя о тѣхъ семьяхъ африканскихъ языковъ, которыя принадлежатъ населенію французской западной Африки, области между Сахарой и экваторомъ. По множеству и разнообразію языковъ въ этой странѣ Деляфоссъ²⁾ называетъ ее истиннымъ Вавилономъ, такъ какъ здѣсь наблюдается не менѣе 16 лингвистическихъ группъ, изъ которыхъ нѣкоторыя принадлежатъ къ типу агглюгирующихъ языковъ (соединеніе неизмѣняемаго суффикса или префикса съ неизмѣняемой основой), другія къ флексирующимъ (соединеніе основъ и окончаній, которыя могутъ при соединеніи подвергаться различнымъ измѣненіямъ), третьи, наконецъ, къ изолирующимъ (полное разъединеніе словъ при отсутствіи окончаній и различенія глагольныхъ и именныхъ основъ). Одинъ изъ этихъ языковъ, именно тотъ, на которомъ гово-

¹⁾ *J. Homburger. Les pronoms de la 1-e et 2-e personne des parlers bantoas. Mémoires de la Société de Linguist. de Paris. 1911.*

²⁾ *M. Delafosse. Les langues voltaïques (Boucle du Niger). Mémoires de la Société de linguistique de Paris. T. 16. 1911.*

рять население плоскогорья Вольта (колонія Haut-Sénégal-Niger), а также часть населения Того, Дагомен, Золотого берега и т. д., охватывает семь различных групп или 21 говоръ, при чемъ говоры настолько различаются, что авторъ статьи называетъ ихъ языками. Общая численность населенія, говорящаго на этихъ языкахъ, достигаетъ 4¹/₂ мил. человекъ, такъ что въ среднемъ на одинъ языкъ приходится около 200 тыс. говорящихъ на немъ. Грамматическое развитіе большинства этихъ языковъ, повидному, представляетъ нѣчто среднее между изоляціей языковъ манде (на верхнемъ Нигерѣ) и агглютаціей: слово представляетъ собою уже соединеніе основы съ суффиксомъ.

Остановимся подробнѣе на языкахъ суданскихъ народовъ. Народъ ньямъ-ньямъ состоитъ изъ многочисленныхъ, широко разсѣянныхъ племенъ, которыя управляются болѣе, чѣмъ сотней наследственныхъ вождей. По словамъ путешественника по Африкѣ, Г. Швейнфурта ¹⁾, „изъ 35 самостоятельныхъ вождей, которые господствуютъ надъ территоріей свыше 4800 кв. миль, только немногіе заслуживаютъ названіе короля. Самыми могущественными являются Каина и Мофию, и ихъ владѣнія равняются дюжины остальныхъ“. Въ культурномъ отношеніи ньямъ-ньямъ, какъ извѣстно, стоятъ довольно высоко, хотя въ массѣ еще придерживаются (или придерживались до сравнительно недавняго времени) обычая поѣдать своихъ враговъ. Несмотря на государственную разрозненность, которую Швейнфуртъ называетъ „нормальной анархіей африканскихъ республикъ“, народъ ньямъ-ньямъ въ языковомъ отношеніи не представляетъ рѣзкихъ діалектическихъ различій. Чрезвычайно цѣнно указаніе того же путешественника („Im Herzen von Afrika“, стр. 244) на то, что „произношеніе звуковъ въ устахъ одного и того же лица колеблется чрезвычайно рѣзко въ предѣлахъ извѣстныхъ звуковъ“. Эта неустойчивость произношенія въ языкахъ дикарей, о которой мы уже приводилось говорить раньше, и которая составляетъ одну изъ характернѣйшихъ особенностей,—бросаетъ свѣтъ на первоначальныя формы человѣческихъ языковъ. Относительно же языка ньямъ-ньямъ Швейнфуртъ ограничивается немногими указаніями, которыя почти нѣблизкомъ, безъ всякихъ существенныхъ дополненій, повторяетъ за нимъ Фетерманъ (I. 22). Именно, нѣмецкій путешественникъ отмѣчаетъ здѣсь наличность особыхъ носовыхъ звуковъ (*a* и *ih*) и неяснаго глухого звука, напоминающаго русское *ы*. Въ грамматическомъ отношеніи этотъ языкъ довольно бѣденъ: такъ, въ немъ отсутствуютъ средства для обозначенія временъ глагола. „Странныя нагроможденія согласныхъ встрѣчаются въ немъ; вообще, вокализмъ его развитъ менѣе, чѣмъ въ языкѣ бонго. Абстрактными понятіями онъ, разумѣется, бѣденъ“. Ньямъ-

¹⁾ G. Schweinfurth. Im Herzen von Afrika. Reisen und Entdeckungen im Centralen Aequatorial Afrika während der Jahre 1868 bis 1871. Neue umgearbeitete Original-Ausgabe. Leipzig. 1878.

ньямъ занимаютъ восточную часть Центральной Африки, а еще далѣе къ востоку, на огромной равнинѣ, по которой медленно струится Бѣлый Ниль, живетъ многочисленный народъ динка, занимающійся скотоводствомъ и земледѣліемъ. По сообщенію Швейнфурта, оба пола у этого племени вырываютъ нижніе зубы-рѣзцы; „непосредственнымъ послѣдствіемъ этого кажется намъ ихъ неартикулированный языкъ, звуки котораго мы могли бы, какъ я полагаю, воспроизвести только въ томъ случаѣ, если бы мы захотѣли точно также вырвать себѣ зубы. Нѣкоторые африканскіе народы заостряютъ себѣ рѣзцы, другіе, какъ напр., батока на верхнемъ Замбези, вырываютъ верхніе рѣзцы. Первый обычай представляется совершенно понятнымъ, такъ какъ его цѣль заключается въ усиленіи средствъ нападенія при поединкѣ; задача послѣдняго обычая создать подражаніе обожествляемымъ жвачнымъ животнымъ; но причина обычая динка ускользаетъ отъ нашего пониманія“ (Schweinfurth. 41). Въ грамматическомъ отношеніи языкъ динка, который оказался недоступенъ для изученія нѣмецкому путешественнику, нѣсколько болѣе развитъ, чѣмъ ньямъ-ньямскій, хотя, по существу, принадлежитъ къ языкамъ безъ грамматическихъ категорій. Однако уже нѣкоторые элементы грамматическихъ образованій здѣсь выработались: такъ, слово, употребляемое во множественномъ числѣ, иногда измѣняетъ долготу своего коренного гласнаго звука; если въ Singularis была краткость, въ Pluralis оказывается долгота, и обратно. Корень нерѣдко употребляется безъ измѣненій въ качествѣ существительнаго, прилагательнаго, глагола или даже предлога. Имя существительное лишено грамматическаго рода; множественное число образуется съ помощью внутреннихъ измѣненій, для которыхъ однако нельзя привести никакого общаго правила (Burne I. 331 съ ссылкой на *Mitterrutznern*. Dinkasprache), а весьма часто и вообще нѣтъ никакой разницы между единственнымъ и множественнымъ числами. Весьма любопытное для психологій рѣчи явленіе отмѣчено въ языкѣ Динка: дѣло въ томъ, что существительныя вообще образуются съ помощью указательнаго суффикса—*ke*, и вотъ отвлеченныя имена существительныя, обозначающія качество, образуются отъ прилагательныхъ съ помощью этого суффикса, такъ что названія качествъ, какъ прилагательныя, оказывается, предшествуютъ этимъ же названіямъ, какъ отвлеченнымъ существительнымъ: это бросаетъ свѣтъ на вопросъ о первичности значеній существительныхъ или прилагательныхъ (см. въ слѣдующей главѣ замѣчанія по поводу теоріи Вундта). „Падежи“, если можно употребить это слово въ примѣненіи къ языку динка, обозначаются или просто положеніемъ слова во фразѣ, мѣстомъ его въ предложеніи или присоединеніемъ „шести различныхъ префиксовъ, которые обозначаютъ свойства или качества“. Глаголы представляютъ простые корни, которые „часто употребляются безъ матеріальныхъ модификацій (without material modifications), какъ имена существительныя, прилагательныя или предлоги“. Съ

помощью специальных частиц язык различает три основных времени дѣйствія: въ настоящемъ передъ кореннымъ глаголомъ ставится слогъ *a* (*gan a gam*—человѣкъ вѣрить, *ghog a gam*—мы вѣримъ), въ прошедшемъ *aci* или *ci*, въ будущемъ *abi*. Но по лицамъ и числамъ, какъ и по временамъ, глагольная основа совершенно не измѣняется. Тотъ же звукъ *a* является и соединительной связкой передъ прилагательнымъ. Такимъ образомъ, въ формальномъ отношеніи языкъ динка представляетъ типъ безформенныхъ корней (изоляция), въ которомъ однако уже намѣчаются зародыши грамматическихъ агглютивныхъ образований въ видѣ частицъ, выражающихъ уже *только* грамматическія отношенія. На той же ступени стоятъ, какъ мы видѣли, и туземные австралійскіе языки.

Къ югу отъ динка въ той же самой области живетъ народъ бонго, типичная раса суданскихъ негровъ. Это „маленькій народъ, несомнѣнно, обреченный на гибель“, какъ выражается Швейнфуртъ. „Его рѣзко выраженная индивидуальность и независимость отъ сосѣдей въ смыслѣ языка, расового типа и обычая заслуживаютъ болѣе внимательнаго изученія, такъ какъ передъ нами типъ чисто африканской жизни. Принадлежа на половину уже мнувшему, безъ государства и исторіи, безъ преданій какого бы то ни было рода, они угасаютъ, ихъ существованіе теряется, подобно прошлому отдѣльнаго человѣка, безслѣдно въ безконечной смѣнѣ времени, точно какая-то испаряющаяся капля въ морѣ народовъ Центральной Африки“. Характерной особенностью бонго является ихъ разбѣденность: въ 1856 г. Швейнфуртъ нашелъ всю территорію этого народа раздѣленной на множество мелкихъ округовъ и совершенно независимыхъ другъ отъ друга общинъ; въ каждой деревнѣ *былъ свой вождь*, причемъ такимъ вождемъ становился человѣкъ, который, будучи богаче другихъ, умѣлъ держать подъ своимъ вліяніемъ населеніе деревни. Въ нѣкоторыхъ болѣе рѣдкихъ случаяхъ къ имущественному перевѣсу вождя присоединялась, какъ еще особое право его на занятіе высокопоставленнаго положенія въ деревнѣ, его репутация *колдуна*. Разумѣется, при такой организаціи жизни бонго не могли противопоставить организованному нападенію культурныхъ завоевателей никакого реального сопротивленія, и нубійцы безъ труда подчинили ихъ себѣ, землю ихъ раздѣлили, а населеніе объявили своими крѣпостными: массы плѣнныхъ были проданы въ рабство, въ нѣсколько лѣтъ населеніе уменьшилось на двѣ трети; и во второе свое путешествіе по Центральной Африкѣ Швейнфуртъ опредѣлялъ численность бонго уже всего въ 100 тыс. душъ. При той разрозненности народа, о которой говоритъ Швейнфуртъ, слѣдовало бы думать, что въ языкѣ бонго неминуемы значительныя діалектическія различія. Однако, названный путешественникъ рѣшительно отрицаетъ это: „Ни въ одномъ изъ округовъ страны языкъ бонго не обнаруживаетъ діалектическихъ различій. Лучшимъ доказательствомъ этого факта служить для меня полное совпаденіе всякаго рода названій для предметовъ при-

роды во всѣхъ частяхъ этой территоріи. Языкъ бонго благозвученъ, пзобируетъ гласными; по своему грамматическому строенію онъ простъ, но зато отличается большимъ разнообразіемъ выраженій для всѣхъ конкретных понятій. Мое собраніе словъ содержитъ почти тысячу различныхъ выраженій. Этимологія сложныхъ словъ и расчлененіе отдѣльныхъ оборотовъ рѣчи въ языкѣ бонго представляетъ не мало интереснаго и переноситъ изслѣдователя непосредственно въ наивный міръ его первобытной жизни. Самые обыкновенныя изъ нашихъ отвлеченныхъ понятій, въ родѣ *духъ*, *душа*, *надежда* и т. под., повидимому, совершенно отсутствуютъ: опытъ показываетъ, что и другіе негрскіе языки въ этомъ отношеніи не болѣе щедро одарены природой“. Къ сожалѣнію, о типѣ грамматическихъ образований въ языкѣ бонго Швейнфуртъ ничего не говоритъ. Словарь языка бонго былъ обнародованъ Швейнфуртомъ въ „Linguistische Ergebnisse einer Reise nach Centralafrika“ (Zeitschrift für Ethnologie. IV. Supplement Band 1872). Составъ этого словаря, по крайней мѣрѣ, насколько онъ обнародованъ путешественникомъ, не обнаруживаетъ той особенности, о которой онъ говоритъ въ самомъ описаніи своего путешествія, т. е. особеннаго обилія конкретныхъ выраженій. Правда, онъ приводитъ 4 слова для *черепахи*, но эти четыре слова бонго соотвѣтствуютъ *четыремъ* же латинскимъ названіямъ (Stellio, Scineus, Geko, Varanus), а стало быть передаютъ различныя породы этого животнаго, и то же слѣдуетъ сказать относительно антилопы. Вообще же, въ соотвѣтствіе одному нѣмецкому слову Швейнфуртъ приводитъ одно слово бонго (за весьма рѣдкими исключеніями). Второй фактъ, на который слѣдуетъ обратить вниманіе, это рѣдкость и въ этомъ языкѣ звукоподражательныхъ словъ. *Sa* (корова), *dongo* (лошадь), *bini* (собака), *dedda* (шимпанзе), *ndollo, manga, gumbi* (другія породы обезьяны), *pull* (левъ), *nilu* (гіена), *mbira-u* (кошка), *kitibu* (голубь), *keke* (попугай), *gaki* (воронъ) и т. д.: во всѣхъ этихъ словахъ и въ десяткахъ другихъ, означающихъ ревущихъ звѣрей, кричащихъ птицъ и т. под., звукоподражательный элементъ, можно сказать, совсѣмъ отсутствуетъ. Чтобы не отвлекаться отъ этого предмета, я здѣсь же укажу на тѣ слова, которыя Рогозинскій считаетъ звукоподражательными въ языкѣ баквири: это *сто-сот* (мѣдныя браслетки, носимыя на плечѣ), *ngingi* (звонокъ), *jetiti* (мракъ, когда начинаютъ трещать цикады: *ти-ти-ти*), *ca-ca* (бѣга, кричатъ на собакъ, желая ихъ отпугнуть), *kobakoba* (индюкъ), *putu-putu* (морское волненіе), *ndžassu-ndžassu* (ножницы), *čaki-čaki* (икота). Вотъ и все! Да и въ этихъ словахъ звукоподражательный элементъ весьма сомнителенъ: чѣмъ, дѣйствительно, *putu* напоминаетъ морское волненіе, *koba*—индюка, а *čaki*—икоту?

Къ югу отъ народа динка живутъ *манбутту*, одинъ изъ самыхъ культурныхъ народовъ Центральной Африки, съ густотой населенія до 250 чел. на 1 кв. милю. Общая численность манбутту во времена путе-

шествѣ Швейнфурта достигала 1 милліона; здѣсь царствовали, въ двухъ частяхъ страны, два вождя, облеченные очень большой властью; мужчины проводили свое время въ войнахъ или охотахъ, женщины обрабатывали землю и занимались хозяйствомъ. Въ языковомъ отношеніи манбутту отличаются отъ семейства ньям-ньяма или Сандэ и принадлежатъ къ нубійской группѣ, въ виду чего я не буду здѣсь останавливаться на этомъ языкѣ. Изъ сочиненія же Швейнфурта я приведу еще нѣкоторыя данныя, относящіяся къ карликовому племени Африки, акка. „Постоянная смѣна выраженій на лицѣ, которая, какъ говоритъ Лихтенштейнъ, дѣлаетъ бушмена болѣе похожимъ на обезьяну, чѣмъ на человѣка, составляетъ въ высокой степени отличительную особенность акка: тоже самое опусканіе и подниманіе бровей при говореніи, но здѣсь еще болѣе подчеркиваемое чрезвычайной живостью ихъ большихъ глазъ, жестикуляція руками и ногами, которая должна помочь ихъ неартикулированному языку, непрерывное качаніе головой“. Эта картина, какъ мнѣ кажется, чрезвычайно близка къ тому, что мы можемъ возстановить въ глубокомъ мракѣ древности, когда человѣкъ, еще дѣйствительно первобытный, не настолько овладѣлъ новымъ средствомъ сообщенія своихъ переживаній другимъ, чтобы онъ могъ ограничиться говореніемъ, не прибѣгая къ мимикѣ и жестикуляціи. Къ сожалѣнію, Швейнфуртъ не могъ собрать систематическихъ записей словаря акка, такъ какъ онъ видѣлъ этихъ послѣднихъ только въ столицѣ манбутту. Кромѣ того, онъ и потерялъ то, что записалъ. У него сохранилось въ памяти только то обстоятельство, что звуки языка акка „не были артикулированы“, и что ихъ нельзя было передать съ помощью обычной европейской азбуки.

Послѣ этихъ къ сожалѣнію, краткихъ и отрывочныхъ замѣчаній о языкахъ африканскихъ первобытныхъ народовъ я перейду къ тѣмъ лингвистическимъ обобщеніямъ, которыя содержитъ уже не разъ цитированный мною трудъ Мейнгофа. Въ главѣ, посвященной эволюціи африканскихъ языковъ, онъ приводитъ для сравненія ихъ нѣсколько фразъ. Такъ, въ суданскомъ языкѣ зве предложеніе: „онъ далъ дѣтямъ грифель“ звучитъ такъ: *e-tso kpe-nlo-na la ni de-vi-wo*. Всѣ части этого предложенія состоятъ изъ отдѣльныхъ односложныхъ словъ, которыя могутъ употребляться въ языкѣ и отдѣльно. Именно, слова приведенной фразы означаютъ слѣдующее: *e* (онъ), *tso* (братъ), *kpe* (камень), *nlo* (писать), *ni* (вещь, нѣчто), причемъ сочетаніе *kpe-nlo-ni* означаетъ *камень, которымъ можно писать что-нибудь* или *грифель*; далѣе, *la* означаетъ нѣчто въ родѣ члена или представляетъ собою частицу съ указательнымъ отгѣнкомъ значенія, *na* (давать), *de* (кто-то, какой-то), *vi* (дѣтя), и, наконецъ, *wo* (они, или просто частица, указывающая на множественное число). Такимъ образомъ, предложеніе можетъ быть буквально переведено: „онъ братъ камень писать нѣчто это давать какіе-то дѣтя они“ или по смыслу:

„онъ беретъ грифель, даетъ его дѣтямъ“. Это, какъ справедливо указываетъ Мейнгофъ, не есть простое обозначеніе дѣйствія, но описаніе его. „Подобнымъ образомъ, каждый глаголь, который обозначаетъ сложную дѣятельность, распадается по своему значенію на отдѣльныя формы этой дѣятельности“. Предметы, ранѣе неизвѣстные, получаютъ *описательныя* названія: часы—„желѣзо-само-бѣетъ“, иглолка—„желѣзо-широкая головка“, кухня—„что-то варить мѣсто“. Что касается указательныхъ частицъ, приведенныхъ выше, то Мейнгофъ прибавляетъ, что въ сущности ихъ нельзя сравнивать съ нашими мѣстоименіями или съ какими-нибудь морфологическими элементами нашихъ языковъ: „это есть только кажущееся сходство“, въ дѣйствительности же языкъ лишенъ всякихъ признаковъ грамматической связи, кромѣ мѣстоположенія слова въ предложеніи. Въ языкѣ изъ группы банту, сухелли, фраза: „Старый ножъ обрѣзалъ пальцы маленькаго ребенка“ передается такъ: „*ki-le ki-su ki-kuku-u ki-me-vi-khata vi-le vi-dole vya m-toto m-dogo*“. Здѣсь слѣдуетъ имѣть въ виду прежде всего, что приставки *ki*, *vi*—и *m*—обозначаютъ три имени существительныя: *ki-su* (ножь), *vi-dole* (пальцы) и *m-toto* (дѣтя), указывая на ихъ принадлежность къ опредѣленнымъ категоріямъ или классамъ: именно *ki*—указываетъ на орудіе, *m*—на человѣка, и слово непременно должно состоять изъ обоихъ элементовъ, приставки и основы. Единственному числу *ki* соответствуетъ во множествѣ *vi*. „Приставки обнаруживаютъ далѣе, какія слова грамматически принадлежатъ къ именамъ существительнымъ; ибо каждое такое слово получаетъ приставку соответствующаго существительнаго“. Такъ, въ этой фразѣ *m-dogo* (маленькій) относится къ *m-toto* (дѣтя), *ki-kuku-u* (старый) къ *ki-su* (ножь); въ глагольной формѣ *kimevikhata* (онъ обрѣзалъ ихъ) субъектомъ представляется *ножь*, вслѣдствіе чего въ началѣ ея стоитъ *ki* (какъ въ *kisu*); затѣмъ слѣдуетъ *me*, какъ знакъ совершившагося дѣйствія, затѣмъ *vi*, которое подчеркиваетъ отношеніе дѣйствія къ пальцамъ (*vidole*) и наконецъ глагольная основа *khata* (рѣзать), окончаніе которой—*a* есть старое глагольное окончаніе. Такимъ образомъ, слово *ki-me-vi-khata* состоитъ изъ основы *khat* и ряда приставокъ, опредѣляющихъ отношеніе этого слова къ другимъ частямъ предложенія или имѣющихъ грамматическое значеніе. Въ этомъ образованіи фразы сказывается, пожалуй, еще болѣшая беспомощность мысли, чѣмъ въ изолирующемъ типѣ суданскихъ языковъ. Отношенія между предметами мыслятся настолько конкретно, что необходимы внѣшнія средства для того, чтобы указать на отношенія словъ, и часть одного слова представляется ко всѣмъ тѣмъ, которыя стоятъ въ извѣстной грамматической связи съ нимъ.

Для исторіи первыхъ стадій въ развитіи человѣческихъ языковъ, когда они, по моему убѣжденію, заключали въ себѣ еще много музыкальныхъ элементовъ, представляетъ большой интересъ то, что Мейнгофъ со-

общаетъ объ удареніи, ритмъ и „мелодіи“ въ африканскихъ языкахъ. Въ суданскихъ языкахъ, при односложности ихъ состава, отсутствуетъ выдыхательное (экспираторное) удареніе, выдѣляющее одинъ слогъ передъ другими по силѣ дыханія. Зато здѣсь оказывается значительно развитымъ музыкальное удареніе, состоящее въ томъ, что тонъ гласнаго звука повышается или понижается при произношеніи. Въ языкѣ эве слоги съ однимъ звуковымъ составомъ, но съ различными удареніями нерѣдко имѣютъ совсѣмъ разныя значенія. Такъ, если обозначить черезъ *i* звукъ *y*, произносимый съ пониженіемъ тона, а черезъ *ú* тотъ же звукъ, но съ повышеніемъ тона, то окажется, что *vú* означаетъ кровь, а *ví*—корабль, или *fú*—море, *fú*—кость, или съ нѣсколькими инымъ произношеніемъ *v* и *f*: *vú*—дыра, *vú*—разрывать, *fú*—страданіе, *fú*—волосы. Одна и та же фраза, представляя различныя мелодіи, обладаетъ совершенно разными значеніями: *éle àfi* (онъ здѣсь), *éle àfi* (онъ натеръ себя золою), *éle àfè* (онъ поймалъ мышъ). „Въ языкѣ эве, говоритъ Мейнгофъ, на первомъ планѣ стоитъ мелодія. Она составляетъ необходимую часть слова. Мы привыкли выражать понятія съ помощью согласныхъ и гласныхъ, но здѣсь еще необходимую составную часть выраженія представляетъ музыкальное удареніе. Оно служитъ не къ тому, чтобы выражать эффекты и настроенія, какъ у насъ, но къ тому, чтобы точно описать съ помощью изобразительныхъ средствъ, заключающихся въ модуляціяхъ голоса, тотъ предметъ, который хотятъ назвать“. Какъ примѣръ этого рода фактовъ, Мейнгофъ приводитъ изъ грамматики языка эве любопытный образчикъ: одно и то же прилагательное *goli* (круглый) произносится съ повышеніемъ тона, когда означаетъ маленькіе круглые предметы, и съ пониженіемъ, когда означаетъ большіе. Музыкальность развита не во всѣхъ африканскихъ языкахъ въ равной мѣрѣ: именно, въ языкахъ банту наряду съ музыкальнымъ удареніемъ выступаетъ и выдыхательное, а чѣмъ ближе къ Судану, тѣмъ явственнѣе выступаетъ необходимость различать одинаковые слоги съ помощью различныхъ удареній; вообще же, чѣмъ сложнѣе грамматическое развитіе языка, тѣмъ менѣе языкъ нуждается въ „музыкальномъ изображеніи“ предметовъ. Въ языкѣ суахели музыкальное удареніе отсутствуетъ вовсе, въ готтентотскомъ оно встрѣчается наравнѣ съ экспираторнымъ. Этими замѣчаніями я заканчиваю свой обзоръ явленій, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ задачѣ настоящаго изслѣдованія и почерпнутыхъ изъ африканскихъ языковъ.

Перейдемъ къ южно-американскимъ дикимъ народамъ. Племена, изученныя Штейненомъ во время его путешествія по Центральной Бразиліи, представляютъ много интереснаго не только въ культурно историческомъ, но и въ лингвистическомъ отношеніяхъ. Вотъ нѣкоторыя данныя, относящіяся къ одному изъ самыхъ дикихъ племенъ земли, бакайри. „Въ высшей степени замѣчательна была быстрота, съ которой они сочетали

неизвѣстныя имъ вещи съ извѣстными, при чемъ они немедленно и безъ всякихъ ограничительныхъ добавленій давали этимъ ранѣе неизвѣстнымъ предметамъ названія извѣстныхъ. Они обрѣзаютъ волосы острыми раковинами или зубами рыбы *пиранья*, и мои ножницы, предметъ безграничнаго восхищенія, орудіе, которое такъ гладко и ровно обрѣзало волосы, они называли просто зубомъ пиранья. Зеркало оказалось *водой*! Покажи воду, кричали они, когда хотѣли посмотрѣть на зеркало¹⁾. И я производилъ этимъ послѣднимъ гораздо меньше впечатлѣнія, чѣмъ я ожидалъ. Компасъ былъ названъ *солнцемъ*, часы *лѣтцемъ*. Я показалъ имъ, что игла компаса, какъ я ни вертѣлъ его оболочку, всегда поворачивалась на сѣверъ, а часы, которые были очень похожи на компасъ, и стрѣлку которыхъ они называли перомъ, казались имъ чѣмъ-то противоположнымъ, между прочимъ, и потому, что *они ночью не спятъ*. Нерѣдко во время бесѣды они настаивали на томъ, чтобы я вынулъ часы, и при этомъ смѣялись съ довольнымъ видомъ, по поводу того, что они постоянно бодрствовали и тикали. Было бы весьма ошибочно думать, что въ основаніи этого простодушнаго любопытства и восхищенія лежала дѣйствительная любознательность или болѣе глубокая потребность въ пониманіи. Дальше вопроса: „это ты сдѣлалъ?“ они не шли. Просто я далъ имъ свое какое-то цирковое представленіе, показалъ всѣ свои фокусы, и люди радовались, что я могу повторить ихъ во всякую минуту съ тѣмъ же самымъ проворствомъ рукъ, и никогда не порицали меня“. Оставляя нѣсколько интересныхъ примѣровъ того интеллектуальнаго безразличія, съ которымъ бакайри узнавали новые предметы, я перейду къ дальнѣйшимъ выводамъ Штейнена. „Стремленіе бакайри проникать въ существо новыхъ вещей исчерпывалось, кромѣ вопроса, я ли это сдѣлалъ, еще другимъ вопросомъ, *объ имени*. Какъ это называется, кричало хоромъ все общество, и всѣ принимались, не щадя себя, повторять португальскія слова. И долго еще, когда разговоръ переходилъ уже на другіе предметы, тотъ или другой шепталъ про себя это слово. Сочетаніе двухъ согласныхъ они не могли произнести. Если же кому нибудь удавалось воспроизвести хорошо подходящее слово, радость его была велика, и я получалъ впечатлѣніе, что и самый предметъ становился имъ какъ-то ближе. Такъ, у нихъ получило право гражданства слово *papéra* (отъ португальскаго *papel*—бумага) для обозначенія моей записной книжки, и въ то время, какъ сначала они не могли достаточно насмотрѣться и обшупать эту непонятную вещь, теперь они стали къ ней совершенно равнодушны, потому что теперь это была для нихъ просто *papéra*, и больше ничего.“²⁾

1) Я здѣсь же отмѣчу, что это не была метафора, не былъ „поэтический“ переносъ значенія, а просто названіе, общее для сходныхъ образовъ.

2) K. v. d. Steinen. Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens 1897, стр. 78—80.

О словарномъ составѣ языка бакапри Штейненъ сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія. „Обыкновенный разговоръ, который не выходилъ изъ рамокъ обычной жизни, не представлялъ никакихъ трудностей. Съ 50—80 словами возможно обойтись, при нѣкоторомъ навыкѣ, со всякимъ чужимъ языкомъ... Даже съ небольшою частью этихъ словъ можно устроиться вполне удовлетворительно, и было бы очень скверно, если бы было иначе. Ибо основныя грамматическія различія между, напр., португальскимъ и любымъ индѣйскимъ языкомъ Бразиліи настолько велики, что ни одинъ колонистъ или солдатъ не могли бы проникнуть въ ихъ сущность, такъ какъ уже мѣстоименныя приставки и постпозиціи представляютъ непреодолимое затрудненіе. Къ сожалѣнію, во многихъ случаяхъ совершенно не удается выдѣлить основу слова, въ которой наше языковое сознаніе нуждается прежде всего, изъ сплава элементовъ, связанныхъ съ нею. Основа глагола, не говоря уже о соединеніи ея съ мѣстоименными приставками, до такой степени подвергается смѣшенію и передѣлкѣ, для того, чтобы передать то, что мы называемъ флексіей,—что несчастный, начинающій учиться этому языку, впадаетъ въ полное отчаяніе. Такъ, *zâte* и *kanadile* представляютъ въ бакапри различныя формы съ однимъ и тѣмъ же значеніемъ: „я беру вмѣстѣ съ...“ Какъ мнѣ догадаться, что глагольная основа *za*, которая превращается согласно фонетическимъ законамъ языка въ *ha* или *a*, воспроизведена въ видѣ *a* въ *k-an-a-dile*? Такъ, въ этомъ языкѣ *ты видишь* гласитъ *meta* съ (уже измѣненной) глагольной основой *e*, а *ты не видишь* — *тсперйгата*, при чемъ эти формы слѣдуетъ расчленить такимъ образомъ: *m* (ты) + *e* (основа) + *ta* (флексія) и *m* (ты) + *an* (флексія) + *e* (основа) + *pûra* (не) + *ama* (ты). Простымъ слѣдствіемъ этой сложности является то, что къ основѣ относится все возможное, даже и то, что и вовсе не относится къ ней, и одна и та же форма употребляется во всевозможныхъ случаяхъ, безъ указанія на лицо, время и другіе отгѣнки значенія. Органическое расчлененіе словъ прекращается, и предложеніе превращается въ *грубѣйшую мозаику* изъ однихъ обломковъ. О томъ, чтобы ее можно было понимать, все таки наблюдается нѣкоторая забота; индѣйцу при его талантѣ находить и пользоваться самымъ характернымъ (*bei seinem Talent für das Charakteristische*) достаточно для пониманія фразы, вмѣсто цѣлаго предложенія, оборваннаго куска слова, и къ тому же онъ самъ приспособляетъ для своихъ требованій новыя выраженія (*et selbst eignet sich bald die neue Ausdrucksweise an*): люди ведутъ другъ съ другомъ оживленный разговоръ, пользуясь для обмѣна вмѣсто настоящихъ словъ какъ бы плохо отчеканенной разбѣнной монетой. Что не мало препятствовало моему общенію съ бакапри, это то обстоятельство, что они не понимали моего *вопросительнаго тона*. Вмѣсто того, чтобы отвѣчать, они подражали мнѣ. Для того, чтобы узнать названія имѣвшихся на лицо предметовъ,

не требовалось никакихъ усилій; они даже сами шли на встрѣчу мнѣ, показывали на такіе предметы, о которыхъ я не спрашивалъ, и называли ихъ имена. Очень подробно я записалъ названія частей тѣла, такъ какъ они всегда связаны съ мѣстоименными префиксами, и индѣецъ, такимъ образомъ, никогда не скажетъ просто *языкъ*, но всегда съ прибавленіемъ лица: *мой языкъ*, *твой языкъ*, *его языкъ*. Поэтому этой категоріи указаній присуще извѣстное грамматическое значеніе, и необходимо было внимательно слѣдить за тѣмъ, показываешь ли на себѣ самомъ или на другомъ ту часть тѣла, основное названіе которой хочешь узнать, ибо отвѣтъ гласилъ соотвѣтственно этому; твой *âlu*, мой *ulu*, его *ilu* или вообще *kulu*, насъ всѣхъ, которые здѣсь находятся, языкъ. Записывать названія животныхъ было истиннымъ наслажденіемъ, такъ какъ здѣсь особенно художественно выступало подражаніе съ помощью жестовъ и криковъ. Иногда на песокъ рисовали при этомъ змѣю, голову аллигатора и т. под. Для меня было большой помѣхой множество отдѣльныхъ указаній, такъ какъ я не былъ достаточно знакомъ съ голосами и образомъ жизни ихъ животныхъ; они предлагали мнѣ такія тонкости въ различеніи видовъ, какихъ я, къ ихъ удивленію, не могъ оцѣнить, и иногда я опасался выдать совершенно непостижимые пробѣлы въ самомъ обыкновенномъ школьномъ образованіи. Самая трудная задача заключалась въ *глаголахъ*, и при томъ не только вслѣдствіе сложности ихъ формъ. Если мнѣ удавалось записывать коротенькія предложенія, въ которыхъ заключались сужденія о какомъ-нибудь только что произошедшемъ событіи, если я даже самъ совершалъ всяческія дѣйствія, въ родѣ, напр., питья или ѣды того или другого, то все же были неизбежны грубыя ошибки. Къ сожалѣнію, они часто говорили другія вещи, чѣмъ я хотѣлъ, и вмѣсто того, чтобы назвать дѣйствіе, критиковали его. Они думали за себя (*für sich*), а не за меня. И при этихъ усиліяхъ въ высокой степени вредное вліяніе оказывала ихъ готовность подражать. Я полагалъ, что нѣтъ ничего проще, какъ записать, по крайней мѣрѣ, тѣ непереходные глаголы, которые выражались съ моей стороны мимикой, не допускающей двойкаго толкованія, и что мнѣ нужно только чесаться, кашлять, плакать, вставать, садиться, падать и т. д., чтобы получить нужные мнѣ глаголы. Но они или принимали совершенно въ серьезъ мое поведеніе, думали, что я хочу уйти, когда я вставалъ, добросовѣстно зѣвали вмѣстѣ со мной, когда также бывали утомлены, или просто отъ души забавлялись надъ мои выходками и принимались съ хохотомъ продѣлывать тоже, что и я, т. е. чихать, кашлять, чесаться, не произнося, однако, нужнаго мнѣ слова“. Наконецъ, Штейненъ нашелъ способъ узнавать слова; онъ твердилъ: „португалецъ говоритъ такъ, а какъ говорить бакапри?“ И тутъ, однако, встрѣчались различныя препятствія. „Меня очень огорчало, что я не могу добиться, чтобы они лучше понимали меня, и, смѣшивая слышаніе съ пониманіемъ, они упрашивали меня полѣчить ихъ;

я должен был брать слову на палец и тереть ею ихъ слуховой проходъ. Ихъ способность владѣть португальскимъ языкомъ была еще ничтожна, чѣмъ они сами думали. Въ ихъ языкѣ не имѣется, напр., *f*, и его приходится замѣнять звукомъ *p*. Если я произносилъ *fogo* (огонь), *fumo* (табакъ), они повторяли *rogo*, *rimo*. Но они слышали, вѣрнѣе, воспринимали *f* также, какъ *p*, и, насколько я могъ замѣтить, были совершенно убѣждены, что выговариваютъ именно тотъ самый звукъ, который я произносилъ передъ ними. Дѣло въ томъ, что они обнаруживали совершенно иное отношеніе, когда я задавалъ имъ слишкомъ длинное слово, они жаловались и приходили въ отчаяніе, но *fogo*, *fumo*, *f...*, чѣмъ настойчивѣе и громче я произносилъ эти слова, тѣмъ настойчивѣе и громче былъ ихъ отвѣтъ: *rogo*, *rimo*, *p...* съ явнымъ возмущеніемъ по поводу моего неудовольствія. Что касается словарнаго состава языка бакаври, то по этому поводу въ названномъ сочиненіи Штейнена мы встрѣчаемъ слѣдующія указанія: „Особенно странное впечатлѣніе производила на меня ихъ радость по поводу богатства ихъ словаря. Они обнаруживали большое удовольствіе вслѣдствіе того, что для каждой вещи у нихъ есть свое слово, какъ будто бы названіе это и было самой вещью“ и означало обладаніе ею. Совершенно ясно было, что число понятій зависитъ прежде всего отъ особенностей интересовъ; съ одной стороны, наблюдалось, по сравненію съ нашими языками, обиліе словъ, въ родѣ названій животныхъ и родства, съ другой же скудость, которая сначала просто поражала: *уело* значить и *громъ* и *молнія*, *кёрё*—*дождь*, *бура* и *облако*. Это потому, что въ ихъ странѣ почти всѣ дожди связаны съ явлениями грозы, а облако на небѣ имѣетъ для нихъ лишь тотъ интересъ, что возвѣщаетъ надвигающуюся грозу¹⁾. Настоящая бѣдность словаря заключается въ отсутствіи общихъ понятій, какъ у всѣхъ первобытныхъ народовъ. Они имѣютъ слово для *попугая*, которое, вѣроятно, означаетъ *крылатаго*, но сѣверные каранбы имѣютъ другую основу: *toro*—или *tomo*,—которая означаетъ у бакаври, кромѣ того, опредѣленныхъ, очень обыкновенныхъ птицъ, одинъ видъ попугаевъ и одинъ видъ дикихъ курочекъ. Каждый попугай получаетъ свое особое названіе, и болѣе общее понятіе *попугай* всецѣло отсутствуетъ, какъ и понятіе *пальма*. Но свойства каждаго вида попугаевъ и пальмъ они знаютъ прекрасно: они до такой степени опутаны этими отдѣльными многочисленными познаніями, что уже не заботятся объ общихъ признакахъ, которые и не имѣютъ для нихъ никакого интереса. Отсюда видно, что эта словарная бѣдность сводится, въ сущности, къ недостатку высшихъ обобщающихъ единицъ; они утопаютъ въ массѣ матеріала и не могутъ экономически распорядиться имъ“.

¹⁾ Въ главѣ о значеніи словъ мы увидимъ, что, дѣйствительно, знаніе слова есть въ глазахъ наивно мыслящаго человѣка почти обладаніе предметомъ.

Этими указаніями я ограничусь пока, желая резюмировать содержаніе тѣхъ важныхъ свѣдѣній, которыя даны намъ выдающимся нѣмецкимъ ученымъ, путевыя замѣтки котораго, какъ извѣстно, уже положены нѣкоторыми этнологами въ основаніе новыхъ взглядовъ на происхожденіе нашей культуры. И для психологіи той первобытной среды, которую представляло собой на извѣстныхъ стадіяхъ развитія, вѣроятно, все человѣчество, трудъ Штейнена даетъ такъ много, что я считалъ необходимымъ привести изъ его сочиненія рядъ крупныхъ извлеченій. Я считаю правильнымъ напомнить, на основаніи записей Штейнена, слѣдующее: 1) названія вещей переносятся бакаври съ одного предмета на другой безъ всякаго *метафорическаго* отгѣнка: зеркало *есть* вода, часы—мѣсяцъ, а вовсе не такъ, что *зеркало, какъ вода*, и мѣсяцъ подобенъ своей формой часамъ. 2) Психологически этотъ процессъ перенесенія основывается на убѣжденіи, что *названіе* есть самая *вещь*, и такимъ образомъ, онъ обнаруживаетъ полное отсутствіе вдумчивости въ существо явленій: если карманные часы и мѣсяцъ одно и то же, то у насъ естественно возникъ бы вопросъ, какъ могли эти часы оказаться на небѣ; мысль бакаври на этомъ не останавливается: сходство между явлениями устанавливаетъ для него ихъ тождество, которое въ дальнѣйшемъ не вызываетъ никакихъ недоумѣній; это можетъ объясняться лишь полнымъ несоотвѣтствіемъ психики культурнаго человечества дикарской, о чемъ современная наука (напр. Леви-Брюль, Фиркандтъ и др.) говоритъ все болѣе настойчиво. 3) Какъ и въ языкахъ банту, у бакаври предложеніе сливается, собственно, въ одно слово: отсутствіе раздѣльности словъ обнаруживается тамъ необходимостью повторять существенную принадлежность основного слова при каждомъ новомъ словѣ той же фразы, здѣсь тѣмъ, что это слово со всѣми относящимися къ нему вступаетъ въ неразрывную фонетическую связь. 4) Слова, *всегда* конкретныя, всегда обозначающія именно *этотъ* видъ явленій, а не вообще явленіе, не обнаруживаютъ звукоподражательнаго происхожденія, но требуютъ для достиженія ихъ полного пониманія побочныхъ изобразительныхъ средствъ, жестыкуляціи, мимики и т. под. 5) Наконецъ, слѣдуетъ отмѣтить неопредѣленность и неразвитость фонетической стороны языка.

Не имѣя ни надобности, ни возможности исчерпать матеріалъ, представляемый языками Южной Америки, я останавлиюсь здѣсь на характеристикѣ нѣсколькихъ языковъ бразильскихъ индѣйцевъ и на тѣхъ данныхъ, которыя представляютъ сочиненія Фетермана, Байрна и Фр. Мюллера. Такъ, словарный составъ языка акуэ¹⁾ (въ Центральной Бразиліи) представляетъ уже отмѣченную мною въ предшествующихъ обзорахъ бѣдность словъ, которая *могутъ* имѣть звукоподражательное происхожденіе: такъ, *mahi*

¹⁾ P. Ehrenreich. Materialien zur Sprachenkunde Brasiliens. Zeitschrift für Ethnologie. 1895.

(утка), *na* (голубь), *wapso* (собака), *kuti vayanproa* (лягушка), *siiä* (птица), *tiiwä-yanyü* (громъ), *ton* (дождь) и др., повидимому, ничѣмъ не напоминаютъ естественныхъ звуковъ, издаваемыхъ этими животными или явлениями природы. Рѣшительно ни одного звукоподражательнаго слова не приведено Эренрейхомъ въ томъ длинномъ словарномъ списокѣ, который имъ данъ. Слѣдуетъ здѣсь отмѣтить еще множественность названій для различныхъ видовъ попугая (мелкаго, краснаго, голубого, бѣлаго), хотя извѣстно и *общее* названіе этой птицы. *Нѣсколько разныхъ* названія (однако, съ повтореніемъ основной части слова) носятъ различные виды и другихъ животныхъ: такъ, нѣтъ общаго слова для муравьяда, но есть отдѣльныя названія маленькаго и большаго вида этихъ животныхъ, какъ и три названія видовъ муравья. Однако, было бы неправильно думать, что эти отдѣльныя слова для обозначенія отдѣльныхъ видовъ животныхъ или растений исключаютъ наличность родовыхъ названій. Это послѣднее явленіе, констатируемое въ различныхъ дикарскихъ языкахъ, не находитъ себѣ примѣненія въ данномъ случаѣ, такъ какъ языкъ акуэ знаетъ такія слова, какъ *рыба* вообще, *змея* и т. д.

Отъ Кордильеръ до Атлантическаго океана, отъ Лаплаты до Антильскихъ острововъ, говоритъ Штейнень, распространены четыре языка съ ихъ діалектами. Это караобы, нуаруакъ, тупи и тапуя. Первые живутъ въ сѣверномъ бассейнѣ рѣки Амазонки, языкъ ихъ совершенно отличенъ (*grundverschieden*) отъ тупи, которые занимаютъ огромное пространство: ихъ сѣверная граница лежитъ, въ общемъ, на сѣверныхъ притокахъ Амазонки, они живутъ по берегу океана отъ устья Амазонки до впаденія Лаплаты, но встрѣчаются и во многихъ мѣстностяхъ внутренней Бразиліи. Въ глазахъ первыхъ путешественниковъ и миссіонеровъ чуть не всякій туземецъ Бразиліи былъ *тупи*, а ихъ языкъ разсматривался іезуитами, какъ *lingoa geral* (общераспространенный языкъ международныхъ отношеній). Нуаруакъ занимаютъ верхнее теченіе Амазонки, а тапуя представляютъ туземное населеніе восточной Бразиліи, ея дѣвственныхъ лѣсовъ; языкъ акуэ принадлежитъ именно къ этой группѣ. Грамматическій строй языковъ аруакъ представляетъ, согласно изложенію Фр. Миллера, слѣдующія особенности. Мужескій и женскій родъ различаются своими окончаніями: *eionti*—мальчикъ, *elontu*—дѣвочка; *ahuduti*—умирающій, *ahudutu*—умирающая; *oikari*—купецъ, *oikare*—купчиха и т. д., но въ отличіе отъ нашихъ языковъ суффиксы присоединяются не къ концу основы, принимая сами окончанія флексій, но къ концу всего слова: такъ, *basabantikan* (маленькій мальчикъ), а *basabantukan* (маленькая дѣвочка). Къ основѣ же присоединяются суффиксы для обозначенія множественнаго числа: *iti-iti-nuti* (отецъ-отцы), *kalipi-kalipina* (карань-каранбы). Грамматическими признаками падежа не различаются, но грамматическія отношенія словъ опредѣляются ихъ положеніемъ во фразѣ: именно, субъектъ предшествуетъ

глаголу, объектъ слѣдуетъ за нимъ; при отношеніи родительнаго падежа опредѣляющее слово просто ставится передъ опредѣляемымъ. Для обозначенія другихъ именныхъ отношеній къ основѣ имени существительнаго присоединяются приставки: такимъ образомъ *datiamün* (моему отцу) состоитъ изъ частей: *da* (я)—*iti* (отецъ)—*amün* (суффиксъ). Съ помощью присоединенія различныхъ элементовъ отъ основы, которая можетъ быть и именной, образуются глаголы: *aekē* (платье), *k-aekē-de* (я имѣю одежды), *amün* (къ, суффиксъ дательнаго падежа), *k-amün-in* (присутствовать), *d-amün-in* (присутствовать при мнѣ), *l-amün-in* (присутствовать при немъ). Отъ вышеприведеннаго *damünin*, въ свою очередь, образуются слѣдующія формы: *d-amün-i-ka-bu* (ты присутствуешь при мнѣ), *l-amün-i-ka-de* (я присутствую при немъ), *l-amün-i-ka-u* (мы присутствуемъ при немъ) и т. под. Повидимому, однако, такихъ сложныхъ образований немного, и обычно глагольная основа снабжается только спереди личнымъ мѣстоименіемъ для обозначенія лицъ спряженія, не подвергаясь никакимъ нарощеніямъ суффиксовъ. Но спеціальныя болѣе рѣдкія глагольныя формы, какъ напр. нѣкоторые залогі и наклоненія, образуются съ помощью присоединенія суффиксовъ къ основѣ, вслѣдствіе чего возникаютъ иногда чрезвычайно длинныя и сложныя формы. Такъ, Фр. Мюллеръ приводитъ форму *Optativum Praeteriti* отъ глагола *aiyahad* (бродить): прежде я хотѣлъ бы бродить—*daiyahadinikubama*, а Байрнъ (I, 202) приводитъ еще болѣе длинную форму: *massukussukuttunnuanikaebiba* (если бы вы не мылись сегодня). Но такія формы не могутъ быть обычны. Обыденныя требованія разговора ограничиваются простѣйшими образованиями. Какъ бы то ни было, эти данныя показываютъ, что аруакскій языкъ предполагаетъ такія грамматическія образования, въ которыхъ цѣлое предложеніе превращается въ одно слово: *d-ansika-bu* (я тебя люблю), *m*—(отрицаніе)—*aiyahad-inika-de*—отрицательная форма настоящаго времени съ мѣстоименнымъ суффиксомъ. По существу, это представляетъ только иной способъ для выраженія той же потребности превратить всѣ элементы фразы въ одно тѣсно соединенное цѣлое, какая господствуетъ и въ изолирующихъ языкахъ и въ группѣ банту. Въ отношеніи фонетическомъ языкъ аруакъ, повидимому, не обладаетъ никакими особенными звуками, поражающими европейское ухо.

Судя по грамматическому очерку караибскаго языка, данному Фр. Мюллеромъ, онъ не представляетъ существенныхъ отличій отъ нуаруакскаго. И здѣсь надежи опредѣляются или положеніемъ слова во фразѣ, или особыми приставками, а глаголы образуются отъ основъ существительныхъ съ помощью различныхъ суффиксовъ, при чемъ и здѣсь возникаютъ въ извѣстныхъ случаяхъ необычайно длинныя и сложныя образования. „Массивный характеръ“ караибскаго языка, по выраженію Байрна, зависитъ „отъ нагроможденія опредѣляющихъ элементовъ, которые переполняютъ предложеніе“. Таковы формы объективнаго спряженія, распространен-

наго, какъ известно, не только въ языкахъ дикарей, но и въ агглютивныхъ языкахъ, какъ напр., венгерскомъ или мордовскомъ. Въ объективномъ спряженіи караибскаго языка къ основѣ глагола присоединяются частицы *kwa* (собственный) и *yen* (я дѣлаю), вслѣдствіе чего отъ глагола *скрывать*—*arameta* образуется, напр., форма: *я скрываю тебя*, буквально: „скрывать-собственно-я-дѣлать-ты“—*arameta-kwa-n-yen-ti-bu*: онъ самъ скрывается—*arameta-kwa-l-yen-l-o-kwa*. Несмотря на такую сложность образованія, мы, несомнѣнно, видимъ передъ собой всего лишь одно реченіе, которое съ очевидной беспомощностью отвлеченнаго мышленія заключаетъ въ себѣ самостоятельныя слова: *kwa* (два раза), *li* (два раза) и *yen* (дѣлать). Едва-ли говорящее лицо, произнося эти слова, забываетъ объ ихъ собственномъ значеніи и сознаетъ только тотъ результатъ дѣйствій, который содержится въ нашемъ словѣ: *скрывается*. Напротивъ, можно думать, что въ его сознаніи этотъ результатъ является въ видѣ представленій о дѣйствіи чловѣка, который собственную свою особу дѣлаетъ скрытой. Ни процессъ представленій объ этомъ дѣйствіи, ни результатъ этого процесса не соответствуютъ напимъ: здѣсь слово не является *указаніемъ* на дѣйствіе, но перечисленіемъ тѣхъ моментовъ, которые приводятъ къ известному результату, вслѣдствіе чего конкретный характеръ словеснаго образованія не утрачивается. Только держа въ памяти эти составные элементы дѣйствія, можно создавать такіа чудовищно-громадныя грамматическія образованія, какъ приведенное выше ¹⁾.

Языкъ *тупи*, о распространеніи котораго я уже говорилъ выше, принадлежитъ точно также къ языкамъ агглютивнымъ. По замѣчанію Ф. Мюллера, (II. 1.382), „онъ очень богатъ словообразующими элементами, и поэтому можетъ выражать всѣ отличительныя особенности представленія (die Hauptunterschiede innerhalb der Anschauung), но при ближайшемъ разсмотрѣніи эти элементы оказываются довольно грубыми и матеріальными. Такъ напр., въ тупи отъ *yuka*—убивать образуются *yuka-sara*—убійца и *yuka-saba*—убійство. Для нашего (европейскаго) пониманія этого достаточно. Но языкъ тупи идетъ еще дальше и образуетъ *yuka-sagoera*—убійство, которое уже совершено, въ отличіе *yuka-saōama*—убійство, которое будетъ совершено. Это различіе вноситъ временный моментъ въ сферу имени существительнаго, т. е. смѣшиваетъ двѣ сферы, которыя должны быть различны“. Таково же, какъ мы видѣли выше, по-

¹⁾ Изъ *Breton. Grammar Caraibe* Байрнъ приводитъ слѣдующія грамматическія образованія отъ того же глагола: *arameta-kua-n* — *i - em* (я скрываю), *arameta-kua-n-i en-li* (я скрываю его), *arameta-kua-n-i-em-buka* (я скрывалъ), та же форма съ присоединеніемъ *bu* (тебя) передъ *buka* означаетъ: „я скрывалъ тебя“; затѣмъ мы находимъ здѣсь такіа образованія какъ *aka-n-arameta-kua-haman* (если я скрываю), *aka-na-mhem-arameta-kua-n-o-a-ki-bu* (если бы я скрывалъ васъ) и т. под.

ложеніе вещей въ другихъ южно-американскихъ языкахъ. Такимъ образомъ, по своему грамматическому строю языкъ тупи едва-ли отличается отъ разсмотрѣнныхъ выше.

Падежныя отношенія выражаются здѣсь въ еще болѣе неопредѣленной формѣ, т. е. болѣе или менѣе опредѣляются мѣстомъ слова въ предложеніи или частицами, которыя имѣютъ ясное конкретное значеніе. Таковы же грамматическіе элементы, присоединяемые къ основамъ для образованія различныхъ отгѣнковъ глагольныхъ значеній: такъ, *biā* означаетъ *тогда* и служитъ указаніемъ на прошедшее время, причѣмъ присоединяется не только къ глагольной основѣ, но и къ цѣлой фразѣ: *a-so-biā* (я шелъ), *a-yuka-aba-biā* (я убилъ чловѣка, т. е. я—убить—чловѣкъ—тогда). Въ дальнѣйшемъ слѣдуетъ отмѣтить тотъ же характеръ глагольныхъ спряжений переходнаго и не переходнаго значеній, какой былъ разсмотрѣнъ выше. До какой степени беспомощенъ этотъ языкъ въ передачѣ самыхъ простыхъ выраженій, обнаруживаетъ слѣдующій примѣръ: отъ глагольной (и именной вмѣстѣ съ тѣмъ) основы *yuka* (убивать) 3-е лицо гласитъ: *o-yuka* (онъ убиваетъ), такъ что *o-yuka Pedro* значитъ: *онъ убиваетъ Петра*; но предложеніе *Pedro Ioane oyuka* могло бы означать и то, что Іоаннъ убиваетъ Петра, и обратное, и вотъ находится выходъ ихъ недоумѣнія въ видѣ такого предложенія: *Pedro i-yuka-sara Ioane i-yuka-pira*, т. е. „Петръ есть его убивающій (ein tödtender), Іоаннъ есть его убитый“, или еще проще: „Петръ—свой—убивать, Іоаннъ—свой—убитый“. Въ другихъ грамматикахъ южно-американскихъ языковъ, разсмотрѣнныхъ въ трудѣ Байрна, отличительной особенностью является то же строеніе. Такъ, въ языкѣ *куге* (въ Гватемалѣ) „синтетическая тенденція обнаруживается главнымъ образомъ въ образованіи глагольныхъ формъ“, но и самыя простыя сочетанія словъ представляютъ большую сложность. „Кровь нашего Господа“ передается черезъ *и* (3-е лицо притяжат. мѣстоименія) —*kik* (кровь)—*el* (элементъ соединенія)—*k* (нашъ)—*ahan* (господинъ)—*al* (тоже элементъ соединенія). Здѣсь, по словамъ Байрна, „*el* относится къ *kik*, соединяя его съ *и*, а *и* относится къ обладателю“. Въ языкѣ Юкатана, Майа, „синтетическая тенденція обнаруживается главнымъ образомъ въ глагольныхъ сложеніяхъ и производныхъ. Глаголь можетъ инкорпорировать имя, которое является его прямымъ объектомъ: *ta-ha-a* (носить воду, какъ одно слово“). Языкъ *куруа* (въ перу), принадлежа къ типу „мегасинтетическихъ“ языковъ (многосложныхъ), обладаетъ будто бы такими совершенными средствами для выраженія сложныхъ идей въ кратчайшей формѣ, какихъ нѣтъ ни въ одномъ европейскомъ языкѣ. Такъ, выраженіе: „будучи индѣйцемъ, я не понималъ“ передается однимъ словомъ: *runa-katay-ni-y-pi-mapa-una-pu-t'u*, гдѣ *ka* означаетъ глаголь *быть*, *ta* суффиксъ, означающій существованіе, *kata*—„существованіе бытія (the-essence of being), разсматриваемое, какъ глаголь, образуетъ для инфини-

тива или глагольного имени форму *katay*“, *ni* есть мѣстоименный элементъ; наконецъ, *gupa* означаетъ *человѣкъ, никто* (*man*), *u-moi*, *pi* въ, *tapa-ne*, *upa*-понимать. Въ такомъ же духѣ формальныя образованія и въ другихъ южно-американскихъ языкахъ, на которыхъ я уже не буду здѣсь останавливаться, хотя нѣкоторые изъ нихъ (напр. *кирири* въ Байѣ) представляютъ очень любопытныя образованія (такъ, въ языкѣ *кирири* 12 „частицъ согласія“—*particles of concord, as prefixes*—при соединеніи имени прилагательнаго съ существительнымъ). Какъ видно отсюда, всѣ разсмотрѣнные выше южно-американскіе языки представляютъ одинъ типъ грамматическихъ образованій: предложеніе—слово.

Къ этимъ даннымъ слѣдуетъ присоединить нѣкоторыя указанія, которыя находятся въ 3 томѣ сочиненія Фетермана „*Social History of the races of Mankind*“. Такъ, говоря о языкѣ караибовъ, онъ указываетъ на существованіе особаго языка у стариковъ и на то, что „раньше существовалъ разговорный языкъ, который относился къ войнѣ, и который не былъ понятенъ женщинамъ“. Тотъ же фактъ отмѣчаетъ и Ф. Мюллеръ у островныхъ караибовъ, гдѣ женщины говорятъ на аруакскомъ языкѣ, а мужчины на караибскомъ. Причина этого оригинальнаго явленія, которое въ первобытныя времена человѣчества имѣло, вѣроятно, гораздо большее примѣненіе и могло служить важнымъ фактомъ въ распространеніи известнаго языка въ новой области, заключалось въ томъ, что караибскіе войны, перебравшись съ материка на ближайшіе острова, перебили на нихъ всѣхъ мужчинъ, а женщинъ взяли замужъ за себя. Но такъ какъ исключительно на женщинахъ лежитъ все воспитаніе мальчиковъ до 10—12 лѣтъ, то и мужескій полъ этого народа пріобрѣлъ знакомство съ аруакскимъ языкомъ. Въ свою очередь, женщины узнали отъ мужчинъ, своихъ новыхъ мужей, важнѣйшія слова ихъ языка, такъ что на караибскихъ островахъ господствуютъ оба языка, мужчины говорятъ съ мужчинами по-караибски, а женщины съ женщинами на аруакскомъ языкѣ; мужчины съ женщинами говорятъ то на одномъ, то на другомъ языкѣ. Повидимому, такое положеніе вещей никого не тяготитъ, такъ какъ и въ своемъ быту мужчины и женщины значительно отличаются другъ отъ друга, какъ у многихъ дикихъ народовъ. Известныя различія въ словоупотребленіи у разныхъ половъ отмѣчаются и въ другихъ южно-американскихъ языкахъ: такъ, чикито, живущіе на плоскогоріи, которое отдѣляетъ долину Амазонки отъ бассейна Лаплаты, называютъ *отца* (мужчины) словомъ *iyai*, а (женщины) словомъ *uxiri*. „Названія предметовъ въ языкѣ женщинъ или отличаются отъ названій, употребляемыхъ мужчинами, или имѣютъ другія окончанія“ (Featherman. III. 315). И здѣсь, такимъ образомъ, возможно предположить иммиграцію мужского племени (безъ женщинъ) въ новую область, гдѣ мужское населеніе было перебито завоевателями. Какъ великъ иногда бываетъ путь, совершаемый такими переселенцами, видно

изъ того ¹⁾, что одно изъ немногочисленныхъ южно-американскихъ племенъ *Aniaka* совершило переходъ съ рѣки *Tarajoz* на *Токантиясъ*, т. е. прошло пространство въ 10 градусовъ широты черезъ земли нѣсколькихъ дикихъ и воинственныхъ племенъ.

Съ подобными фактами далекаго и неожиданнаго появленія родственныхъ языковъ на пространствахъ, отдѣленныхъ громадными разстояніями, какъ и съ послѣдствіями подобныхъ переселеній, въ родѣ созданія отдѣльныхъ мужскихъ и женскихъ языковъ, приходится, непременно, считаться изслѣдователю первобытныхъ языковыхъ отношеній. Слѣдуетъ также считаться и съ фактомъ, уже отмѣченнымъ выше, когда рѣчь шла о зубныхъ звукахъ въ африканскихъ языкахъ, именно съ искаженіемъ языка, происходящимъ отъ прободенія губъ, выбиванія зубовъ и т. п. По словамъ Фетермана (III. 356), языкъ ботокудовъ, которые живутъ въ Бразиліи и раздѣляются на многочисленныя, не зависящія одно отъ другаго племена, отличается „варварствомъ“ въ своемъ грамматическомъ строеніи и грубостью произношенія. „Такъ какъ ихъ нижняя губа до известной степени лишена возможности участвовать въ образованіи звуковъ *вслѣдствіе своей грубой орнаментации* (by their clumsy ornamentation), то язычные звуки оказываются по большей части гортанными и носовыми“. Къ этому нашъ источникъ присоединяетъ, что въ разговорѣ ботокудовъ тонъ голоса крайне однообразенъ, а когда они хотятъ усилить выраженіе своей рѣчи, то звуки ихъ исходятъ точно изъ глубины груди, и получается очень рѣзкій, крикливый, неприятный для слуха крикъ. Языкъ ботокудовъ не имѣетъ недостатка въ гласныхъ звукахъ, но когда встрѣчается вмѣстѣ нѣсколько согласныхъ звуковъ, они сливаются такъ, что ихъ нельзя различить въ отдѣльности. Отдѣльное слово, означающее общее понятіе, употребляется съ различными объяснительными добавленіями для выраженія родственныхъ идей. Такъ, словомъ *taru* обозначается всякое блестящее явленіе, и оно примѣняется какъ къ солнцу, такъ и къ мѣсяцу: *taru te ning* означаетъ восходящее солнце (буквально: солнце поднимается), *taru nion*—пасмурный день (бѣлое или пасмурное солнце). Для того, чтобы обозначить различіе между солнцемъ и мѣсяцемъ, они употребляютъ слово *taru*, когда оно должно означать солнце, въ связи съ его теченіемъ по небу, и они примѣняютъ *taru* къ мѣсяцу во время его появленія, когда не употребляется никакая пища, т. е. ночью“. Изъ этихъ неотчетливыхъ и отрывочныхъ замѣчаній можно все-таки извлечь убѣжденіе, что въ языкѣ ботокудовъ, какъ и въ другихъ первобытныхъ, только конкретныя слова являются элементами словаря. Грамматическій строй ботокудскаго языка чрезвычайно примитивенъ; формальные элементы едва намѣчены, и глаголы употребляются всегда въ „неопредѣленномъ наклоненіи“, а имена существительныя знаютъ только два падежа.

¹⁾ P. Ehrenreich. Materialien zur Sprachenkunde Brasiliens. Zeitschrift für Ethnologie. 1895. m. XXVII. 169.

Конечно, наши грамматическія категоріи не могутъ быть примѣнены къ этому языку. Не лишены интереса тѣ данныя, которыя нашъ источникъ приводитъ о немногочисленномъ (около 2 т. чел. въ 1820 г.) и чрезвычайно первобытномъ племени короадосъ въ Южной Бразиліи. „Языкъ его находится еще въ первобытномъ неразвитомъ состояніи, какъ онъ былъ передавъ короадосамъ ихъ отдаленными предками, отъ которыхъ они не отличаются существенно ни образомъ жизни, ни своими обычаями, одеждой, пищею или занятіями. И хотя они и подвигались,—какъ бы медленно ни совершался этотъ процессъ,—по пути социальнаго и политическаго развитія, все-таки имъ не представлялось случаевъ для приобрѣтенія и развитія новыхъ словъ и выраженій; ихъ ограниченныя умственные способности, ихъ изоляція, примѣненіе исключительно физическихъ силъ и *инстинктивный интуитивный способъ воспріятія впечатлѣній* не дѣлали необходимымъ для нихъ увеличивать основное количество словъ ихъ языка или придавать точность ихъ выраженіямъ. Ихъ словарь обладаетъ специальными названіями для всѣхъ предметовъ ихъ обычной жизни, которые составляютъ часть окружающаго ихъ физическаго міра, въ то время какъ преобладающее качество вещей часто выражается *подражательными* звуками. Какъ животныя, такъ и растенія, съ которыми они сталкиваются въ своемъ быту почти ежедневно, и которыя служатъ для нихъ пищею или употребляются для какихъ нибудь иныхъ экономическихъ цѣлей, или вредятъ имъ какими-нибудь своими свойствами, называются самостоятельными словами (*by proper words*), и ихъ части точно опредѣляются и различаются специальными терминами. Хотя они не имѣютъ яснаго представленія о классификаціи, они все-таки обозначаютъ отличительные признаки, которыми опредѣляются различные виды того же самаго класса животныхъ, и они имѣютъ специальныя названія для каждаго отдѣльнаго индивидуума¹⁾. Собственно говоря, короадосъ не имѣютъ никакого представленія объ отвлеченныхъ идеяхъ, и ихъ языкъ не содержитъ въ себѣ выраженія даже для такихъ качественныхъ обобщеній, какъ цвѣтъ, полъ, тонъ или видъ. Единственная идея о коллективной единицѣ, которую они имѣютъ, выражается глагольнымъ инфинитивомъ, который находится въ большомъ употребленіи. Ходить, ѣсть, плясать, слышать обладаетъ въ ихъ глазахъ значеніемъ коллективнаго дѣйствія безъ всякаго отношенія къ агенту, отъ котораго исходитъ дѣйствіе“. Само собою разумѣется, что въ словарь такого языка отсутствующія названія высшихъ отвлеченныхъ понятій, въ родѣ души, воздуха и т. п. „Такъ какъ они не имѣютъ правильнаго

¹⁾ Это, конечно, надо понимать не въ томъ смыслѣ, что каждый отдѣльный предметъ имѣетъ свое отдѣльное названіе (ср. по этому поводу взглядъ А. А. Потебни на первичное значеніе словъ, приведенный въ слѣдующей главѣ), но въ томъ смыслѣ, что каждый видъ предметовъ имѣетъ свое видовое названіе при отсутствіи общаго, родового.

построенія предложеній и окружены въ своемъ быту естественными первобытными условіями, то они оказываются достаточно понятны другъ другу, выражая свои простыя желанія безъ помощи грамматическаго измѣненія глаголовъ или именъ существительныхъ. Глаголь употребляется обычно въ неопредѣленномъ наклоненіи, а признаки времени и лица, какъ и другія отношенія, связанныя съ дѣйствіемъ, обозначаются *удареніемъ*, медленностью или живостью произношенія, извѣстными знаками, которые дѣлаются рукой или *ртомъ*, и характерными жестами, довершающими пониманіе и выполняющими недостатокъ грамматическаго построенія. Если короадосъ хочетъ сказать: я пойду въ лѣсъ, онъ употребитъ только два слова: *лѣсъ-идти* и поведетъ ротъ (*push out their mouth*) въ ту сторону, въ которую онъ намѣренъ двинуться; особенностью языка короадосъ является обиліе въ немъ носовыхъ и гортанныхъ звуковъ“. На этомъ обрываются краткія, но не лишеныя значенія замѣчанія Фетермана. Составляя ихъ съ сообщеніями Штейнена о языкѣ бакари, мы видимъ въ этихъ примитивныхъ языкахъ кое-какія общія типичныя черты, восходящія, вѣроятно, къ основнымъ особенностямъ всякаго первобытнаго языка. Здѣсь такими особенностями являются слѣдующія: достаточный запасъ словъ для обозначенія предметовъ окружающаго міра при отсутствіи общихъ названій, а въ области звуковой необходимости дополнять рѣчь особыми удареніями, интонаціей, мимикой и жестами. При отсутствіи грамматическаго измѣненія словъ въ предложеніи совокупность словъ составляетъ какъ бы одно слово—предложеніе. Наконецъ, очень значительно для первоначальныхъ стадій культурнаго развитія человѣчества замѣчаніе автора относительно того, что взаимное пониманіе въ общеніи этихъ дикарей между собой настолько облегчается одинаковостью ихъ переживаній, вызываемою тождествомъ условій, въ которыхъ они находятся, что иногда просто не является надобности въ произносимыхъ словахъ. Звукъ, изданный однимъ изъ нихъ, жестъ его, выраженіе лица понимаются другими безъ словъ. Это, такъ сказать, состояніе первобытнаго общенія людей между собой, предшествующее возникновенію языка. Уже отсюда вытекаетъ то слѣдствіе, что первоначальными словами не могли быть обозначенія предметовъ, но служили эмоциональныя выраженія чувствъ, желаній, гнѣва и т. под. Ср. объ этомъ подробнѣе въ концѣ слѣдующей главы.

Въ приведенномъ мною извлеченіи изъ сочиненія Фетермана этотъ авторъ повторяетъ, въ сущности то, что рассказали о языкахъ бразилійскихъ индѣйцевъ (не только короадосъ) извѣстные путешественники начала прошлаго вѣка, Спиксъ и Мартиусъ¹⁾. Не повторяя, поэтому, выше-

¹⁾ *Spix und Martius. Reise in Brasilien, in den Jahren 1817 bis 1820 gemacht und beschrieben. München. 1823—1831. 3 тома. Приведенное здѣсь мѣсто въ I томѣ, стр. 384—387. Здѣсь было обѣщано дать словарю этихъ языковъ въ приложеніи ко II части. Къ сожалѣнію, его нѣтъ.*

изложеннаго, я приведу только такія данныя изъ подлиннаго описанія этихъ путешественниковъ, которыя пропустилъ англійскій авторъ. Такъ, очень дѣбно указаніе ихъ на множество языковъ въ Бразиліи; въ провинціяхъ Minas Geraes, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará и Rio Negro они изслѣдовали 39 *отдѣльныхъ* языковъ. Крайне замѣчательно большое число различныхъ языковъ, которые встрѣчаются у американскихъ индѣйцевъ, и при томъ это не діалекты основнаго языка, а именно отдѣльные языки, такъ какъ у нихъ очень мало общихъ корней, и вообще они настолько отличаются одинъ отъ другаго, что индѣйцы, принадлежащіе къ разнымъ племенамъ, зачастую не понимаютъ другъ друга, и совершенно такъ же, какъ европейцы, которые вступаютъ съ ними въ общеніе, должны объясняться знаками“. Кромѣ того, Спикеръ и Мартиусъ обратили вниманіе на особенное обиліе въ южно-американскихъ языкахъ гортанныхъ и носовыхъ звуковъ.

Послѣ этихъ замѣчаній я перейду къ сѣверо-американскимъ языкамъ. Обзоръ ихъ сдѣланъ Поуэлемъ въ „Seventh Annual Report of the Bureau of Ethnology“ (1891) въ статьѣ „Семьи индѣйскихъ языковъ въ Америкѣ къ сѣверу отъ Мексики“, а психологическій анализъ данъ въ книгѣ К. Брейзига „Die Völker ewiger Urzeit“ I. Band. 1907, гдѣ приведена и литература. По даннымъ Поуэля (ibid. 44), индѣйскія племена Сѣверной Америки говорятъ на разныхъ языкахъ, принадлежащихъ различнымъ семьямъ, которыя, повидимому, не имѣютъ общаго происхожденія. Самое это индѣйское населеніе, въ противоположность нѣкоторымъ предшествовавшимъ изслѣдователямъ, было, по мнѣнію Поуэля, всегда малочисленнымъ, разсѣяннымъ на огромныхъ пространствахъ, при чемъ отдѣльные немногочисленные племена занимали, разселяясь весьма рѣдко, обширныя территории; племень же этихъ было, напротивъ, несоразмѣрно много. До появленія въ Сѣверной Америкѣ европейцевъ индѣйскія племена находились, повидимому, въ культурномъ отношеніи въ состояніи равновѣсія и вели по преимуществу осѣдлый образъ жизни, отъ котораго они перешли къ бродячему только послѣ того, какъ европейцы ввели лошадь въ Америкѣ и познакомили ея населеніе съ огнестрѣльнымъ оружіемъ. Такимъ образомъ, опираясь на выводы американскаго этнолога, мы стоимъ передъ уже знакомой намъ картиной: многочисленныя, немногочисленные племена, разсѣянныя на громадныхъ пространствахъ и говоряція на множествѣ языковъ, совершенно неродственныхъ между собой. Такое же положеніе вещей наблюдается въ лѣсахъ Южной Америки и въ пустыняхъ внутренней и южной Австраліи, гдѣ точно также первобытное населеніе занимается охотой. Только во внутренней Африкѣ съ ея обширными равнинами, на которыхъ искони ведется скотоводство, возникли большія деспотическія государства, и количество людей, говорящихъ на одномъ языкѣ, достигаетъ въ отдѣльныхъ случаяхъ сравнительно громадной цифры въ нѣсколько

милліоновъ человекъ. Самъ Поуэль насчитываетъ въ своемъ изслѣдованіи сѣверо-американскихъ языковъ 58 самостоятельныхъ языковъ (linguistic families). Не имѣя надобности повторять вслѣдъ за нимъ характеристику отдѣльныхъ этихъ фамилій, я ограничусь тѣми существенными для моей темы замѣчаніями, которыя разбросаны въ его изслѣдованіи.

Крошечное племя адаи, которое въ 1792 г. состояло изъ 40 семей, а въ 1820 г. насчитывало уже всего 30 человекъ (у озера Lac Macdon), говорило на языкѣ, который „отличался отъ всѣхъ остальныхъ и былъ такъ труденъ для пониманія и произношенія, что ни одинъ народъ не могъ сказать на немъ десяти словъ“. Алгонкины, занимавшіе обширную территорию отъ Лабрадора до Скалистыхъ горъ, распались въ свою очередь на цѣлый рядъ племенъ (діалектовъ), численность которыхъ была очень невелика, колеблясь между нѣсколькими сотнями и нѣсколькими тысячами людей. То же слѣдуетъ сказать про широко разбросанное племя атонаска, занимавшее почти всю Британскую Колумбію и часть Аляски. Семейство языковъ Каддо (въ сѣверной Дакотѣ) состояло по даннымъ 1889 г. всего изъ 2259 человекъ, которые однако дѣлились на семь племенъ: хотя, несомнѣнно, это были уже остатки вымиравшихъ народовъ, тѣмъ не менѣе въ суровыхъ условіяхъ своего существованія едва ли они были когда-нибудь значительно многочисленнѣе, и слѣдуетъ допустить, что и въ лучшія времена жизни народа сумма лицъ, говорящихъ на одномъ изъ нарѣчій этой семьи, была совсѣмъ ничтожна. Чимакумъ (у залива Педжетъ), по словамъ одного изъ первыхъ изслѣдователей этого нѣкогда довольно многочисленнаго племени, „остаются непонятны для всѣхъ своихъ сосѣдей, повидимому они держатъ свой языкъ въ тайнѣ“. Языкъ Коахуильтеканъ (въ югозападномъ Техасѣ и въ Мексикѣ), нынѣ почти совершенно вымершій, раздѣлялся еще въ 1760 году на 23 діалекта; языкъ копеханъ (около Mount Chasta) распался на двѣ главныя группы и на 22 діалекта. Эскимосы, общая численность которыхъ въ Сѣверной Америкѣ достигаетъ около 35 тыс. человекъ, говорятъ на огромномъ числѣ отдѣльныхъ нарѣчій, которыя объединяются въ цѣлый рядъ группъ. Подсчетъ Поуэля указываетъ 70 отдѣльныхъ поселеній и діалектовъ. Еще и теперь довольно многочисленное племя прокезовъ (около 43 тыс. человекъ) раздѣляется на 13 говоровъ, причемъ количество людей, говорящихъ на томъ или другомъ, колеблется между нѣсколькими сотнями (400—700) и 27 тыс. (чероки). Семейство языковъ селишъ (близъ береговъ Орегона) охватываетъ всего около 18 тыс. человекъ. По словамъ Поуэля (ibid. 104), „на территоріи его наблюдается большое различіе языковъ и значительная разница въ обычаяхъ. Языкъ распадается на множество діалектовъ, изъ которыхъ нѣкоторые, несомнѣнно, взаимно другъ другу непонятны“. Именно, Поуэль перечисляетъ 64 діалекта¹⁾, на которыхъ говорятъ, та-

¹⁾ Н. Н. Bancroft. (The native races of the pacific states of North Ame-

кимъ образомъ, всего 18 тыс. человѣкъ, раньше, быть можетъ, нѣсколько больше; но едва-ли когда-либо болѣе 500—600 человѣкъ составляли здѣсь группу лицъ, говорящихъ на одномъ діалектѣ. Семейство языковъ Siu (Siouan family), которому въ настоящее время принадлежатъ обширныя пространства (отъ 53 до 33° сѣв. шир.), и которое пришло сюда, по предположенію нашего источника (Powell. 112), съ рѣки Миссиссиппи,—это семейство охватываетъ теперь около 43 тыс. говорящихъ людей и распадается на 18 главныхъ племенъ, изъ которыхъ нѣкоторыя раздѣляются въ свою очередь на подотдѣлы. Таковы же отношенія и въ другихъ семействахъ сѣвероамериканскихъ языковъ, которыя было бы безцелезно и утомительно перечислять въ подробностяхъ. Заключение, къ которому приходитъ Поуэль на основаніи своего обширнаго матеріала, бросаетъ свѣтъ на всѣ тѣ первоначальныя языковыя отношенія, которыя господствовали когда-то въ Сѣверной Америкѣ. „Существующіе языки, какъ они ни многочисленны, указываютъ на то болѣе примитивное состояніе, когда число распространенныхъ языковъ было гораздо больше. Если мы встрѣчаемъ два или болѣе языковъ той же самой группы, то представляется вѣроятнымъ, что эта дифференціация на различные языки обязана своимъ происхожденіемъ, главнымъ образомъ, поглощенію чужероднаго матеріала. Такимъ образомъ это размноженіе діалектовъ и языковъ одной группы представляетъ доказательство того, что въ прежнее время здѣсь существовали еще другіе языки, которые теперь исчезли цѣликомъ, оставивъ развѣ слѣды свои въ чужеродныхъ элементахъ этой группы“. Это свое предположеніе американскій этнологъ основываетъ, между прочимъ, на убѣжденіи въ ошибочности ходячаго мнѣнія, согласно которому „низшіе“ языки измѣняются съ большою быстротой. Поуэль отрицаетъ эту особенность дикарскихъ языковъ. Напротивъ, говоритъ онъ: „эти языки отличаются особой силой сопротивленія, и языкъ, который зависитъ въ своемъ существованіи отъ устной традиціи, не такъ-то легко измѣняется. Тѣ же самыя слова въ той же самой формѣ повторяются изъ поколѣнія въ поколѣніе, такъ что лексическіе и грамматическіе элементы приобрѣтаютъ жизнь, которая измѣняется очень медленно. Это особенно вѣрно въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣстожителство племени остается безъ перемѣнъ. Миграція вноситъ могущественный факторъ измѣненія, новая окружающая среда налагаетъ свой отпечатокъ на языкъ, обнаруживая свое вліяніе скорѣе перемѣнами въ конкретномъ содержаніи языка, въ его словарномъ составѣ, нежели измѣненіями его формальной стороны. Здѣсь воздѣйствуетъ другой факторъ измѣненія языка, оказывающій огромное и заключающійся въ соединеніи одного языка вліяніе съ другими. Когда по мирнымъ или воинственнымъ побужденіямъ одинъ народъ погло-

rica. Volume III. Myths and languages. 1875) въ III томѣ (стр. 362—373) перечисляетъ только на тихоокеанскомъ берегу около 600 діалектовъ, которые онъ называетъ „туземными языками“ (the aboriginal languages)

щается другимъ, въ языкъ этого послѣдняго вторгаются новые матеріалы, и воспріятіе этого матеріала сказывается главнымъ факторомъ въ дифференціации языковъ одного и того же происхожденія“ (Powell. 140—141). Такимъ образомъ, для первоначальнаго населенія Сѣверной Америки, если хоть отчасти принять эту точку зрѣнія, слѣдуетъ предположить не менѣе тысячи отдѣльныхъ независимыхъ языковъ, которые принадлежали племенамъ, насчитывавшимъ каждое едва-ли болѣе нѣсколькихъ сотъ человѣкъ.

Остановимся на грамматическомъ строѣ сѣвероамериканскихъ языковъ. Почти всѣ они представляютъ въ этомъ отношеніи общія черты, которыя объединяютъ ихъ въ одну морфологическую семью при всемъ различіи ихъ словарнаго и фонетическаго состава. Основная особенность ихъ заключается въ стремленіи, присущемъ, какъ мы уже видѣли раньше, многимъ дикарскимъ языкамъ, связывать всѣ элементы предложенія въ одно цѣлое такъ, чтобы въ результатѣ получилось одно слово. По выраженію Фетермана (III. 2), здѣсь образуются цѣлыя фразы изъ множества маленькихъ обломковъ простыхъ словъ. При этомъ такая формація оказывается настолько эластичной, что ея составные элементы подвергаются всевозможнымъ сокращеніямъ и приспособленіямъ, а цѣлое выражаетъ сложную идею. Какъ примѣръ подобныхъ образованій, одинъ изъ изслѣдователей американскихъ языковъ, Депоно, даетъ ласкательное обращеніе делаварской женщины къ собацѣ, означающее: „дай мнѣ свою маленькую хорошенькую лапку“. На делаварскомъ языкѣ это предложеніе превращается въ одно слово *kuligatschis*, гдѣ *k* (вмѣсто *ki*) означаетъ *ты*, *uli* изъ *wulit* что-нибудь изящное, красивое, *gat* вмѣсто *witschgat* означаетъ лапу, а *schis* представляетъ уменьшительную частицу, такъ что цѣлое означаетъ буквально: „ты хорошенькая маленькая лапа“, и вмѣсто *kiwulitwitschgatschis* получилось *kuligatschis*. Другой путешественникъ приводитъ изъ того же самаго языка слово *nadholineen*, которое означаетъ: „пріѣзжай на кану и перевези насъ черезъ рѣку“, а восходитъ къ сложенію усѣченныхъ словъ: *nateu* (достигать, прибыть), *amochol* (лодка, кану), *ineen* или *millineen* (дай намъ), т. е. буквально: „придти лодку дать намъ“. Длинное слово *amangana-schiquiminschi*, означающее „дерево, которое имѣетъ широчайшіе листья, похожіе на руку“, является названіемъ дуба, введеннаго испанцами. Множество діалектовъ и языковъ, которые принадлежатъ населенію Сѣверной Америки, Фетерманъ справедливо сводитъ къ разсѣянности этого населенія на огромныхъ пространствахъ и къ особенностямъ бытовыхъ условій, окружавшихъ каждое изъ племенъ. „Перемѣняя мѣста, въ которыхъ они охотились, и селясь въ новыхъ областяхъ своей страны, они постоянно встрѣчались съ новыми предметами; вводились новые обычаи, вызванные мѣстными особенностями и новыми условіями ихъ обстановки; будучи отдѣлены отъ ближайшихъ родственныхъ племенъ, они были вынуждены силою вещей образовать со

временем множество новых словъ, такъ какъ первоначальныя выраженія подверглись измѣненіямъ въ произношеніи и составѣ вслѣдствіе комбинаціи слоговъ. И, кромѣ грамматическаго организма языковъ, который отражаетъ типъ интеллектуальнаго склада человѣка, не осталось иного неразрушимаго признака, свидѣтельствующаго объ ихъ родствѣ; этотъ же признакъ не могли уничтожить ни обстоятельства, ни время, ни пространство“. Эти сложные образованія происходятъ, по мнѣнію Брейзига (294), отъ стремленія выдвинуть на первый планъ глаголь, что является „признакомъ большой рѣшительности“ въ характерѣ сѣверо-американскаго индѣйца. Каждое такое слово оказывается „попыткой подчинить въ цѣломъ предложеніи дѣятельности глагола всѣ или возможно многія выраженія иного рода“. Психологическое обоснованіе такихъ длинныхъ глагольных образованій остается, конечно, сомнительнымъ, но и здѣсь выступаетъ, какъ въ другихъ дикарскихъ языкахъ, стремленіе представить предложеніе, какъ одно слово. Если можно спрягать предложеніе *i-pina-sapa-to-tra Vik* (онъ заставляетъ кого-нибудь провести ночь въ томительномъ и скучномъ ожиданіи), то очевидно, сознанію говорящаго лица это предложеніе представляется лишь однимъ словомъ. Такова вообще, за немногими исключеніями (напр., языка Тлинкитъ), структура сѣверо-американскихъ туземныхъ языковъ. Что касается словаря ихъ, то по обыкновенію мы слышимъ объ обиліи словъ для обозначенія конкретныхъ представлений и объ отсутствіи отвлеченныхъ понятій.

Нѣсколько родственныхъ типовъ грамматическаго строенія сѣверо-американскихъ языковъ приводитъ Фр. Мюллеръ (II томъ, 1 отд.). Языкъ чиппевеевъ, одного изъ племенъ семейства языковъ *атанаска*, представляетъ обиліе носовыхъ гласныхъ звуковъ и множество придыхательныхъ согласныхъ и сочетаній; какъ и въ другихъ языкахъ этого материка, его особенностью является инкорпорация, т. е. внѣдреніе объекта въ глагольное выраженіе, такъ что глаголь составляетъ настоящее предложеніе, а остальные слова служатъ только для его разъясненія. Падежныя формы отсутствуютъ и различаются только по мѣсту, которое онѣ занимаютъ въ предложеніи: такъ, отношеніе именительнаго падежа выражается положеніемъ слова въ самомъ концѣ или самомъ началѣ фразы, родительнаго—положеніемъ опредѣляющаго передъ опредѣляемымъ; другія отношенія выражаются присоединеніемъ частицъ, сохраняющихъ свое самостоятельное значеніе. Въ спряженіи личныя мѣстоименія соединяются съ глагольной основой. Къ сожалѣнію, въ своемъ постоянномъ стремленіи распредѣлять грамматическій строй всѣхъ языковъ по категоріямъ нашихъ Фр. Мюллеръ не счелъ нужнымъ обратить вниманіе на такое своеобразное явленіе, какъ инкорпорация, о которомъ уже В. фонъ-Гумбольдтъ писалъ въ своемъ сочиненіи „О различіи строенія человѣческихъ языковъ“. Именно, Гумбольдтъ, основываясь на мексиканскомъ языкѣ, рисуетъ процессъ, который приводитъ

здѣсь къ образованію одного цѣлаго изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ словъ путемъ внѣдренія ихъ въ глагольную форму. Такъ, слово *ni-nasa-qua* означаетъ: „я ѣмъ мясо“; если же слово *мясо* сознаниемъ говорящаго выдѣляется, какъ наиболѣе существенная по смыслу часть предложенія, то она замѣняется указательнымъ мѣстоименіемъ, а это слово стоитъ особнякомъ, составляя какъ бы само отдѣльное предложеніе: *nicqua in nasañl* (я это ѣмъ, мясо). „По мексиканскимъ представленіямъ глаголь вообще не можетъ мыслиться безъ этихъ дополнительныхъ второстепенныхъ элементовъ. Поэтому, при отсутствіи опредѣленнаго объекта языкъ соединяетъ съ глаголомъ особое неопредѣленное мѣстоименіе, употребляемое въ двойной формѣ, для лицъ и неодушевленныхъ предметовъ различной: *ni-tla-qua* (я нѣчто ѣмъ), *ni-te-tla-maca* (я кому-то что-то даю). Здѣсь языкъ обнаруживаетъ самымъ отчетливымъ образомъ свое стремленіе видѣть въ этихъ составныхъ образованіяхъ одно цѣлое: если такой глаголь, объемлющій въ себѣ предложеніе или какъ бы схему его, ставится въ прошедшемъ времени и при этомъ получаетъ приставку *o*,—то она помѣщается въ началѣ всего сложнаго образованія, что ясно обнаруживаетъ, въ какое тѣсное отношеніе къ глаголу вступаютъ эти второстепенныя опредѣленія. Такъ, отъ *ni-nemi* (я живу), представляющаго переходный глаголь, не требующій никакихъ другихъ мѣстоименій, прошедшее время гласитъ *o-ni-nen*, тогда какъ отъ *maca* (давать)—*o-ni-c-te-maca-c* (я кому-нибудь что-то далъ)“. Подобнымъ образомъ, глагольныя формы пріобрѣтаютъ въ связи съ этимъ чрезвычайную сложность. Въ языкѣ черока однимъ словомъ выражаются такія сужденія, какъ „я прихожу, чтобы нѣсколько разъ перевязать это“ (*galölsanihiha*), „я прихожу, чтобы перевязать здѣсь и тамъ“ (*galölıdölıhiha*), „я перестаю перевязывать это, какъ перевязывалъ постоянно“ (*galöonisihä*) и т. д. ¹⁾ Этотъ типъ образованія формъ принадлежитъ и другимъ языкамъ. Байричъ приводитъ изъ языка чиппевеевъ шесть отдѣльныхъ типовъ спряженія глаголовъ переходныхъ. Именно, съ помощью различныхъ суффиксовъ образуются глаголы, означающіе дѣйствіе съ примѣненіемъ силы, дѣйствіе съ помощью рта, руки, ладони и т. п. Такъ что *pikuham* означаетъ: „онъ ломаетъ съ силой“, *pikuscum* „онъ ломаетъ ногой“, *pikutum* „онъ (ломаетъ), разгрызаетъ зубами“, *pikunum* „онъ ломаетъ рукой“, *pikupittum* „онъ ломаетъ выдергивая“, *pikusum* „онъ ломаетъ надрѣзывая“.

О словарныхъ отношеніяхъ сѣверо-американскихъ языковъ рядъ любопытныхъ данныхъ сообщаетъ компилятивный трудъ Фетермана. Такъ, въ языкѣ гуруновъ „глаголь, означающій ѣсть, имѣетъ различную форму въ зависимости отъ того, какая именно пища была предметомъ этого дѣйствія. Глаголы дѣйствительнаго залога измѣняютъ свою форму, согласно

¹⁾ G. v. d. Gablentz. Die Sprachwissenschaft. 2 изд. 1901, стр. 357—358.

съ предметами, на которые переходить ихъ дѣйствіе. Въ приложеніи къ одушевленнымъ и неодушевленнымъ предметамъ употребляются отдѣльные глаголы. Различныя слова требуются для того, чтобы передать идею созерцанія человѣка, дерева или камня. Отдѣльные глаголы употребляются для обезпеченія факта заимствованія, если занятой вещь пользовался ею собственникъ или другой человѣкъ“. Здѣсь, такимъ образомъ, конкретность словарнаго состава языка достигаетъ своего наивысшаго развитія: для говорящаго лица представленія *естъ мясо* и *естъ орѣхъ* оказываются настолько несходными, что у него не имѣется въ распоряженіи общаго слова для обозначенія одинаковаго дѣйствія, и требуются отдѣльные глаголы, причемъ эти послѣдніе, какъ уже указано выше, вмѣстѣ съ тѣмъ являются цѣлыми предложеніями. Въ обонхъ этихъ отношеніяхъ сѣверо-американскіе языки поражаютъ своею примитивностью: по мѣрѣ развитія народовъ, измѣнялся составъ языковъ, но принципъ ихъ, повидимому, восходитъ къ самымъ отдаленнымъ временамъ человѣчества, когда люди говорили еще не отдѣльными словами, но цѣлыми предложеніями, и эти предложенія передавали содержаніе цѣлыхъ представленій. И это стремленіе принадлежитъ не тому или другому изъ сѣверо-американскихъ языковъ, но обще почти всѣмъ имъ. И еще на одно явленіе, также довольно обычное въ дикарскихъ языкахъ, слѣдуетъ обратить вниманіе: это распредѣленіе языковъ по классамъ общества. Такъ, у начезовъ существовали одновременно два діалекта: на одномъ говорили высшіе классы племени, его аристократія, на другомъ простой людъ. Словари обонхъ этихъ діалектовъ были достаточно богаты и изобиловали описательными выраженіями, хотя умственный уровень начезовъ былъ низокъ. Повидимому, писатели, оставившіе эту характеристику языка племени, имѣли въ виду именно эти длинныя слова, объединявшія цѣлое предложеніе. Характерно при этомъ указаніе Банкрофта (III. 533), что произнесеніе такихъ словъ-предложеній сопровождается жестикюляціей или особенными звуками, которые онъ безъ особенныхъ церемоній называетъ хрюканьемъ (a grunt).

Вышеизложенное въ этой главѣ позволяетъ, мнѣ кажется, сдѣлать нѣкоторыя обобщенія относительно особенностей, присущихъ языкамъ дикихъ народовъ, какъ таковымъ, особенностей, которыя бросаютъ свѣтъ и на первые ступени въ развитіи человѣческой рѣчи вообще. „Дикіе и грубые народы зачастую употребляютъ самыя произвольныя и неожиданныя звуки по капризу или случайности, чтобы выразить идею, которая прежде выражалась словомъ, теперь вышедшимъ изъ употребленія (вслѣдствіе извѣстнаго суевѣрнаго запрещенія): это является источникомъ искаженія языка, причиною образованія множества діалектовъ среди туземцевъ“¹⁾.

¹⁾ *Ling Roth. The aborigines of Tasmania*. 177, и ит. *A. Vierkandt. Die Stetigkeit im Kulturwandel*. Leipzig. 1908, стр. 141.

Здѣсь обнаруживается уже сознательное намѣреніе говорить не такъ, какъ говорили раньше, въ виду того, что на словѣ лежитъ табу: то извѣстныя сочетанія звуковъ, то цѣлыя слова подвергаются запрещенію. Но и, помимо того, внѣ всякаго запрета, произношеніе звуковъ въ языкахъ дикарей оказывается подверженнымъ чрезвычайно значительнымъ колебаніямъ, происходящимъ вслѣдствіе слабости моторнаго образа слова и совершеннаго отсутствія зрительнаго—графическаго. Тамъ, гдѣ рѣчь не фиксируется письмомъ, вообще говоря, легко развиваются отклоненія отъ обычнаго типа произношенія звуковъ, которыя сдерживаются въ извѣстныхъ рамкахъ только необходимостью взаимнаго пониманія, но иногда эти рамки могутъ быть очень широки, и неправильно думать, что даже въ предѣлахъ одного діалекта нашихъ культурныхъ языковъ произношеніе является точно опредѣленнымъ. Сплошь и рядомъ наблюдается у одного и того же человѣка изъ народа такое произношеніе звуковъ, которое восходитъ къ разнымъ скрещивающимся здѣсь діалектамъ. Говорятъ, какъ скажется, не отдавая себѣ отчета въ томъ, „правильно“ или „неправильно“ говорятъ. Внимательное изученіе любого говора обнаруживаетъ въ устахъ одного и того же говорящаго лица смѣшеніе различныхъ діалектическихъ особенностей. Такъ, изучая жмудскіе говоры лѣтомъ 1893 года, я записывалъ со словъ разныхъ людей пѣсни и выраженія, которыя давали особенности трехъ различныхъ діалектическихъ произношеній звука *uo* у одного лица. То же самое отмѣтилъ извѣстный изслѣдователь латышскихъ говоровъ, А. Беценбергеръ, который слышалъ въ устахъ одной женщины

произношеніе звука *ee* (напр. въ *deena*—день), какъ *e*, *e*, *e*, *i* и др. Между тѣмъ латыши почти всѣ сплошь грамотны, такъ что даже наличность (слабыхъ) графическихъ образовъ слова не помѣшала колебаніямъ въ произношеніи: впрочемъ, написаніе *ee* плохо выражаетъ дѣйствительное произношеніе этого звука. Во всякомъ случаѣ, приведенные примѣры обнаруживаютъ, что колебанія въ произношеніи звука могутъ быть очень значительны у одного и того же лица. Здѣсь, конечно, я не имѣю въ виду тѣхъ невоспринимаемыхъ невооруженнымъ ухомъ колебаній, которыя устанавливаются аппаратами, запасывающими живую рѣчь. Съ точки зрѣнія „физиологій звуковъ“ *a* въ *разъ* и въ *да* представляютъ различныя звуки. Я же имѣю въ виду тѣ грубыя колебанія, которыя слышатся всякимъ, и которыя указываютъ въ устахъ одного и того-же лица на значительную неустойчивость въ произношеніи звуковъ. Лингвисты постоянно подчеркиваютъ это, какъ характернѣйшую и основную особенность рѣчи дикарей¹⁾. Такъ Зиверсъ, изслѣдовавшій рѣчь одного пауаса, отмѣтилъ у него для слова *кофе* такія различія въ произношеніи: *voka*, *voha*, (*h*,

¹⁾ Ср. напр. *H. Sweet. A History of language*. 1901, стр. 27—30.

какъ въ Бога), *voga, voka* (съ легкимъ придыханіемъ при *k*) и *kokha* (съ сильнымъ придыханіемъ) ¹⁾.

Другой особенностью произношенія звуковъ въ языкахъ дикарей является чрезвычайно значительная роль, какую играютъ здѣсь интонація, „мелодія“ языка, какъ выражается Мейнгофъ. Такъ, изслѣдователь одного изъ полинезійскихъ языковъ, Huguenin ²⁾, приводитъ изъ этого языка рядъ одинаково звучащихъ словъ, которыя раздѣляются по значенію только благодаря различію интонацій, съ ними связанныхъ. Слова *ua* (дождь), *ua* (расти или изгонять), *ua* (земляной крабъ), *ua* (кричать), *ua* (признакъ прошедшаго времени), *uaa* (открываться) или *oe* (ты), *oe* (колоколь), *oe* (сабля), *oe* (ошибка, грѣхъ), *be* (голодь), *hoe* (одинъ) и т. д., или *faavae* (убійца), *faavaoa* (радоваться), *faae* (вызывать) и т. п.: эти слова различаются между собой удареніемъ, интонаціей, силой, съ которой они произносятся. Въ языкахъ односложныхъ иначе и не можетъ быть, такъ какъ ограниченное число такихъ звуковыхъ сочетаній требуетъ вспомогательныхъ средствъ для различенія значеній. Вместе съ тѣмъ, эта музыка языка является, по всей вѣроятности, переживаніемъ весьма отдаленнаго прошлаго человѣческой рѣчи, когда изъ мелодіи выдѣлялось слово, когда, по выраженію Бринтона („Races and peoples“, 1890, стр. 60), каждая фраза имѣла характеръ отдѣльнаго слова. Разсмотрѣніе формальной стороны языковъ дикарей привело меня, какъ помнятъ читатели, къ убѣжденію, что они стремятся, дѣйствительно, каждое предложение понять, какъ отдѣльное слово, при чемъ предложение, по своему значенію сложное, разбивается въ сознаніи говорящаго на нѣсколько такихъ словъ. „Я взялъ ножъ“ превращается въ языкахъ съ инкорпорацией въ предложение: „я его взялъ, это ножъ“, фраза: „Іоаннь убилъ Петра“ развивается въ Южной Америкѣ въ „Петръ его убитый, Іоаннь его убившій“, по существу въ два слова. Huguenin (ibid. 222) переводитъ на полинезійскій языкъ фразу: „царь только забавляется“ слѣдующимъ образомъ: „вовсе нѣтъ царемъ работа, напротивъ: онъ забавляется“. Морфологическая сторона языковъ дикарей находится подъ вліяніемъ ихъ конкретного отношенія къ дѣйствительности. Оказывается необходимымъ помѣстить въ самой глагольной формѣ такія конкретныя указанія, въ которыхъ наши языки не нуждаются. Сколько лицъ дѣйствуетъ, и на сколько предметовъ распространяется ихъ дѣйствіе? Это отношеніе, выражающееся въ нашихъ языкахъ *отвлеченными* средствами, какими являются числительныя, требуетъ въ языкахъ дикарей особыхъ грамматическихъ указаній. Такъ, папуаскій языкъ ³⁾ пользуется для этого суффиксами *rido* (дѣйствіе со-

вершалось двумя надъ многими въ прошломъ), *rimo* (дѣйствіе совершалось многими надъ многими въ прошломъ), *durudo* (двумя надъ многими въ настоящемъ), *durumo* (многими надъ многими въ настоящемъ), *amadurudo* (двумя надъ двумя въ настоящемъ), *amarudo* (двумя надъ двумя въ прошломъ), *amarumo* (многими надъ двумя въ прошломъ), *ibidurudo* (многими надъ тремя въ настоящемъ), *ibidurumo* (многими надъ тремя въ прошломъ), *amabidurumo* (тремя надъ двумя въ настоящемъ) и т. п. Выше было указано, что влѣдствіе такого нагроможденія суффиксовъ для обозначенія всевозможныхъ конкретныхъ отношеній получаются чрезвычайно длинныя слова, имѣющія по своему значенію характеръ вовсе не одного слова, но цѣлаго предложенія. Съ этимъ фактомъ намъ придется считаться при обзорѣ литературы о происхожденіи языка, начиная съ Руссо. Обратимся теперь къ особенностямъ словаря въ языкахъ дикарей.

Здѣсь прежде всего слѣдуетъ отмѣтить, какъ одинъ изъ источниковъ словарныхъ измѣненій, произволь личностей, обладающихъ достаточнымъ авторитетомъ для измѣненія словаря по своимъ соображеніямъ. Въ послѣднее изданіе своей знаменитой книги „The Science of language“ Максъ Мюллеръ внесъ главу „Новые матеріалы по вопросу о языкѣ“, въ которой онъ среди другихъ фактовъ, собранныхъ этнологами, отмѣтилъ и полную смѣну словаря въ извѣстномъ языкѣ за короткій срокъ. Такъ, Кукъ записалъ полинезійскія слова, которыя черезъ какія-нибудь сто лѣтъ замѣнились уже совершенно новыми: прежде слово *пять* звучало *rima*, теперь *naʻi* и т. под. Новые люди *выдумали* новые языки, которые и распространились. Разумѣется, слѣдуетъ принять, какъ факторы словарныхъ новообразованій, и такія явленія, какъ вторженія новыхъ племенъ, избиеніе мужчинъ, жены которыхъ выходятъ за побѣдителей, и т. под. Но и факторъ новаго сочиненія словъ не можетъ быть устраненъ изъ разсмотрѣнія. Далѣе слѣдуетъ отмѣтить конкретный характеръ словаря, отмѣченный мною уже раньше и подтвержденный Леви-Брюлемъ съ присущей ему обстоятельностью на цѣломъ рядѣ примѣровъ. Такъ, въ языкѣ сѣверо-американскихъ аяюновъ существуетъ 8 отдѣльныхъ словъ для выраженія понятія *схватить*, 12 для *отдѣлнить*, 14 для *мыть* и т. под. Въ глазахъ гуруновъ понятія *видѣть человека* и *видѣть камень* настолько различны, что требуютъ для своего выраженія отдѣльныхъ словъ и т. д. Причина такихъ образованій, по моему убѣжденію, двоякая: съ одной стороны, это, дѣйствительно, неспособность первобытнаго ума къ такимъ примитивнымъ отвлеченіямъ, какъ *видѣть безразлично что, идти безразлично куда* и т. под.; но, съ другой стороны, передъ нами переживанія того момента въ развитіи языковъ, когда люди говорили не словами, а словами—предложеніями, означавшими цѣлый комплексъ словъ. И длинныя американскія слова являются свидѣтельствомъ такихъ образованій. Такимъ образомъ, психологія языковъ дикарей приводитъ насъ

¹⁾ E. Sievers. Grundzüge der Phonetik. 4 изд. 1893, стр. 248—9.

²⁾ P. Huguenin. Raiatea la Sacrée. Bulletin de la Société Neuchâtoise de Géographie. т. 14. 1902—3, стр. 210.

³⁾ L. Lévy-Bühl. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. 1910, стр. 156.

неизбѣжно къ изученію, вообще, психологін первобытныхъ народовъ. Такъ, напр., въ предшествующемъ изложеніи мнѣ приходилось нѣсколько разъ касаться вопроса о той выдающейся роли въ образованіи языка, какая принадлежитъ въ дикарскомъ обществѣ отдѣльнымъ личностямъ. На этомъ вопросѣ здѣсь необходимо остановиться съ большей подробностью въ виду того значенія, какое ему свойственно въ быту низшихъ народовъ. Это тѣмъ удобнѣе сдѣлать, что въ настоящее время собранъ уже значительный матеріалъ для выясненія этой роли „лидеровъ“ или руководителей среди дикарей. Такъ, Гальтонъ, авторъ знаменитаго изслѣдованія „Inquiries into human faculty and its development“ (1883), отчетливо отмѣтилъ особенности социальнаго уклада низшихъ культуръ. „Варварское населеніе вынуждено жить разсѣянно, такъ какъ обширная площадь земли можетъ прокормить только немногихъ охотниковъ или скотоводовъ: съ другой стороны, варварское правительство не можетъ долго удержаться, если вождь не находится въ постоянномъ общеніи съ подчиненными, а это географически оказывается невозможнымъ, если его племя раскидано на большомъ пространствѣ“. Что касается характера власти въ этихъ „варварскихъ племенахъ“, то Гальтонъ справедливо указываетъ на то, что она должна отличаться „чрезвычайной силой тиранніи“. Болѣе того, эта власть у существующихъ дикарскихъ организацій „настолько превышаетъ аналогичную власть, проявляемую вожаками животныхъ стадъ, что составляетъ специфическую особенность человѣческаго общества, столь склоннаго къ рабству. Если какой-нибудь членъ стада становится опаснымъ для вожака, этотъ послѣдній нападаетъ на него, и между ними происходитъ свободный бой, при чемъ остальные животныя смотрятъ на него. Но если человѣкъ становится въ тягость вождю, то онъ подвергается нападенію не со стороны вождя, который не дѣйствуетъ собственноручно, но со стороны его чрезмѣрной исполнительной власти и ея органовъ“. Кроме того, однако, эта власть основывается и на извѣстномъ нравственномъ авторитетѣ. Въ чрезвычайно интересной статьѣ Фиркадта, посвященной этому вопросу ¹⁾, освѣщена психологическая сторона дѣла. Нѣмецкій этнологъ исходитъ изъ убѣжденія, что среди низшихъ племенъ вовсе не наблюдается какого-нибудь безразличія характеровъ, но что, напротивъ, здѣсь индивидуальности очерчены очень рѣзко, вслѣдствіе чего выступаютъ съ еще большей силой, нежели у насъ, авторитеты. Эти послѣдніе основаны прежде всего на возрастѣ, такъ какъ вступленіе въ разрядъ зрѣлыхъ мужчинъ обставляется у большинства малокультурныхъ народовъ сложными обрядами ²⁾. Такъ, у туземцевъ

¹⁾ A. Firskant. Führende Individuen bei den Naturvölkern. Zeitschrift für Socialwissenschaft. т. 11. 1908. Ср. ерѣ же „Die Stetigkeit im Kulturwandel“ 1908 и „Naturvölker und Kulturvölker“ 1896.

²⁾ Не имѣя возможности распространяться здѣсь по этому вопросу,

центральной Австраліи (Spencer and Gillen. The native Tribes of Central Australia) „въ этомъ случаѣ каждый мужчина находится подъ непосредственнымъ руководствомъ какого-нибудь отдѣльнаго стараго человѣка, который владѣть всеми традиціями племени. Безъ малѣйшаго видимаго успѣха и не наталкиваясь на самое легкое сопротивленіе, онъ управляетъ всемъ лагеремъ, который состоитъ болѣе, чѣмъ изъ ста, вполне взрослыхъ туземцевъ, принимавшихъ участіе въ церемоніяхъ. Окончательное рѣшеніе по всемъ возникающимъ вопросамъ принадлежало ему, но, кроме того, имѣлось своего рода министерство, состоявшее изъ этого человѣка и еще трехъ пожилыхъ людей, которые часто сходились вмѣстѣ для собесѣдованій. Нерѣдко вождь отдѣлялся отъ своихъ людей, среди которыхъ онъ сидѣлъ, и, хотя не было сказано ни одного слова и не было дано никакого замѣтнаго знака, трое остальныхъ поднимались съ мѣста и отправлялись вмѣстѣ съ нимъ въ сторону. Здѣсь разбирались важные вопросы, относившіеся къ предстоящимъ торжествамъ. И тогда руководитель отдавалъ свои приказанія, и все шло самымъ правильнымъ и гладкимъ образомъ. Это, разумѣется, оказывало свое вліяніе на людей въ томъ смыслѣ, что въ ихъ глазахъ поднимался авторитетъ пожилыхъ людей, и они подчинялись болѣе охотно власти вождя“. Такова самая элементарная форма авторитета. Болѣе развитой типъ общественной организаціи представляетъ власть, основанная на подчиненіи вождю или на извѣстныхъ жреческихъ функціяхъ лица. Тамъ, гдѣ нѣтъ еще наследственной княжеской власти, господствуетъ аристократія въ лучшемъ смыслѣ слова, т. е. „лучшій“, мѣткій стрѣлокъ, хорошій наѣздникъ или воинъ, пріобрѣтаетъ власть. Юнкеръ въ своихъ путешествіяхъ по Африкѣ замѣтилъ, что и здѣсь высокопоставленные лица, князья, вожди, оказываются, по большей части, наиболѣе сильными людьми по своему образованію и пониманію. Это происходитъ вслѣдствіе того, что негрскій князь, несмотря на скромный кругъ своей дѣятельности, въ качествѣ судьи, законодателя и повелителя все-таки долженъ въ гораздо большей степени напрягать свои умственные способности, нежели обыкновенный человѣкъ. Къ этому слѣдуетъ присоединить ежедневное упражненіе ума съ помощью длинныхъ парламентскихъ рѣчей на мѣстѣ собраній, при чемъ крылатое слово, часто украшенное образами и сравненіями, заставляетъ работать мысль и дѣлаетъ популярнымъ то или другое выраженіе. Столь же значи-

укажу на классическое сочиненіе въ этой области (H. Schurtz. Altersklassen und Männerbünde. Eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft. 1902). Шурцъ констатируетъ наличие братства людей одного возраста (мальчики, зрѣлые люди, старики) у чрезвычайно обширнаго числа дикихъ народовъ и въ пережиткахъ многихъ культурныхъ народовъ: до извѣстной степени къ этой первобытной организаціи общества относятся и обычай побратимства и „кровнаго родства“ (Blutsverwandschaft).

тельна роль жреца и чародѣя. Это носитель сверхъестественныхъ силъ, которому приписываются всяческія дѣйствія, возможные и невозможныя, при чемъ возможныя, по словамъ Штолля ¹⁾, распадаются на явленія гипноза и просто на шарлатанство и фокусничество. Авторитетъ жреца основанъ, прежде всего, на его медицинской дѣятельности, магическомъ удаленіи изъ тѣла больного болѣзнетворнаго начала ²⁾, которое представляется первобытному сознанию вторгшимся откуда-то пзвнѣ. вмѣстѣ съ тѣмъ жрецъ обладаетъ, вообще, высшими познаніями. „Въ обычныхъ жизненныхъ дѣлахъ жрецъ проявляетъ свое могущество, привлекая магическими плясками население водъ въ рыболовные снаряды или дикихъ звѣрей на встрѣчу охотникамъ, а въ земледѣльческомъ быту содѣйствуя произрастанію злаковъ устройствомъ годовыхъ праздниковъ или своимъ умѣніемъ управлять метеорологическими явленіями“. Бываютъ люди, *предназначенные* сдѣлаться жрецами: это особенно нервные люди: такъ, у кароадосъ человекъ, пораженный ру айа (злымъ сердцемъ), бѣгаетъ съ воемъ повсюду, у абнгоновъ такой предназначенный ведетъ жизнь среди группъ и т. под. Если въ всегдашн человѣка выдвигалъ авторитетъ ума и знаній, то въ духовные повелители племени, въ разрядъ его чародѣевъ и жрецовъ, людей возносила особенно нервная организація, заставлявшая ихъ искать уединенія, томиться по чему то высшему. Вѣдь всѣ знанія онъ получаетъ путемъ „внушенія“, и потому они не подвержены сомнѣнію. Впрочемъ, болѣе или менѣе всякое знаніе, всякое утвержденіе принимается умомъ дикаря безъ критики: встрѣчаетъ оппозицію нарушеніе традиціи и обычая, какъ это бываетъ вездѣ. Какъ утверждаетъ старый изслѣдователь Бразиліи, Фонтъ Мартіусъ, „физическая сила, ловкость, отважность, умъ и особенно рѣдко встрѣчающееся у индѣйцевъ честолюбіе, заключающееся въ думаніи за другихъ, чтобы руководить ими и приказывать имъ: вотъ тѣ свойства, которыя дѣлаютъ человѣка вождемъ. Чужость и вялость большинства подчиняютъ его безъ всякой критики высшей проникаемости и предприимчивости отдѣльныхъ лицъ“. Этими своими особенностями такіе люди пользуются не только для власти надъ толпой, но и для введенія новшествъ, конечно, преслѣдующихъ прежде всего эгоистическія цѣли самихъ вождей. Толпа порою ворчитъ, возмущается, но повинуется и потомъ привыкаетъ къ новому установленію. Точно также роли и авторитету отдѣльныхъ лицъ слѣдуетъ приписать введеніе того новаго культурнаго матеріала, который заносится у другихъ племенъ. Такъ, у нѣкоторыхъ племенъ Квинсленда спеціальныя лица командировались къ соседямъ для того, чтобы выучиться отъ нихъ

¹⁾ O. Stoll. Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie. 2 изд. 1904.

²⁾ A. Bastian. Ueber die priesterlichen Functionen unter Naturstämmen. Zeitschrift für Ethnologie. T. 21 1889.

новыми пляскамъ, пѣснямъ и магическимъ формуламъ, и потому эти пѣсни исполнялись безъ всякаго *пониманія* текста. Что касается изобрѣтеній, совершаемыхъ руководителями племени и вводимыхъ ими нерѣдко съ деспотической жестокостью, то они распространяются на различныя области жизни: и на политическія новшества, и на моду, и на способы сообщенія людей между собой. Особенно важнымъ для изучаемыхъ мною вопросовъ является тотъ фактъ, что среди самыхъ дикихъ племенъ имѣются поэты, сочинители пѣсней и музыки. „Творцами австралийскихъ пѣсней или сочинителями плясокъ, соединенныхъ съ пѣснями, являются поэты или барды своего племени, которые пользуются огромнымъ уваженіемъ. Ихъ имена извѣстны соседнимъ племенамъ, и ихъ пѣсни переходятъ отъ одного племени къ другому, пока не забудется и истинное значеніе ихъ словъ, и происхожденіе пѣсни“. Туземцы Андаманскихъ острововъ, которые долгое время считались самыми первобытными дикарями, пока братья Сарасинъ не открыли на Цейлонѣ еще болѣе дикое населеніе,—эти андаманцы вводятъ на своихъ періодически повторяющихся празднествахъ, обыкновенно, новыя пляски, сопровождающіяся новыми текстами. „Сочинители сначала долго упражняются въ нихъ сами и встрѣчаютъ знаки всеобщаго восхищенія“. У племени тогда въ Индіи бываютъ какъ въ погребеніяхъ, такъ и въ другихъ торжественныхъ случаяхъ опредѣленные люди, которые пользуются, какъ поэты, всеобщимъ уваженіемъ. Въ другихъ мѣстахъ, однако, господствуетъ массовое творчество, и каждый или почти каждый оказывается способенъ къ импровизаціи. Однако, разумѣется, необходимо виѣшній авторитетъ, чтобы индивидуальное творчество было признано массой.

Для того, чтобы эти продукты индивидуальнаго творчества въ области искусства, религіи, учреждений, а также и языка, могли получить распространеніе и утвердиться въ жизни, необходимы два существеннѣйшія условія: наличность авторитета, достаточно сильнаго, чтобы его воля была закономъ для другихъ, и немногочисленность среды, воспринимающей эту волю. Будь это племя, изъ предѣловъ котораго изобрѣтеніе и не выходитъ, или ближайшій кругъ, примыкающій къ изобрѣтателю и распространяющій плоды его творчества: во всякомъ случаѣ, въ первобытномъ обществѣ необходима незначительная группа лицъ, на которую первоначально распространяется изобрѣтеніе. Что касается перваго вопроса, именно авторитарнаго характера изобрѣтателя, то къ изложенному выше достаточно присоедиить слѣдующее замѣчаніе Фритча о кафрахъ: „Замѣчено, что отдѣльныя особенности (ихъ культуры) вовсе не обнаруживаютъ постоянства, что напротивъ, многое представляетъ только проходящія явленія, многое имѣетъ только мѣстный характеръ и, можетъ быть, ограничивается всего одной деревней, многое, вообще, возникаетъ только *вслѣдствіе причудливой фантазіи деспота*“. На незначительности первоначально

воспринимающих эту „фантазію“ группъ слѣдуетъ остановиться нѣсколько подробнѣе. Такой средой являются, напр., тайные союзы, обладающіе своими собственными тайными языками и существующіе повсюду, на всей землѣ, тамъ, гдѣ социальная организація недостаточно сильна для того, чтобы регулировать всѣ функціи народной жизни¹⁾. Среди самыхъ примитивныхъ охотничьихъ племенъ человечества единственно возможной социальной формой жизни является образованіе немногочисленныхъ группъ, которыя, держась болѣе или менѣе вмѣстѣ, преслѣдуютъ дичь въ определенной области. На Цейлонѣ, у веддаховъ, „вся страна раздѣлена на мелкіе охотничьи участки, изъ которыхъ каждый находится во владѣніи одной семьи“²⁾. Такое же положеніе вещей наблюдается въ сѣверной Австраліи, у туземцевъ, описанныхъ Греемъ, и въ другихъ областяхъ, занятыхъ охотничьимъ населеніемъ. Нерѣдко эти семьи отдѣлены одна отъ другой на большое протяженіе: такъ, относительно веддаховъ сообщается, что эти семьи весьма рѣдко приходятъ въ соприкосновеніе съ другими, а туземцы, вообще, боязливо сторонятся отъ постороннихъ. Нерѣдко однако и такое единеніе, которое ограничивается племенемъ. Оказывается невозможнымъ въ тѣхъ условіяхъ первобытной охотничьей жизни, какую приходится вести этимъ дикарямъ. Такъ, веддахи на Цейлонѣ строятъ свои хижины на деревьяхъ, живутъ парами и лишь въ извѣстныхъ случаяхъ соединяются большими группами; они не обнаруживаютъ никакихъ признаковъ самодѣйствующей цивилизаціи и знакомства съ формами общенія людей между собой. Про другое веддахское племя сообщаютъ слѣдующее: „они раздѣляются на маленькія племена (tribes) или семьи, которыя обыкновенно живутъ въ пещерахъ скалъ, хотя нѣкоторыя изъ нихъ владѣютъ маленькими хижинами изъ коры. Что касается средствъ къ существованію, то веддахи зависятъ исключительно отъ удачи охоты, и другъ съ другомъ они общаются чрезвычайно мало“. Туземцы Огненной земли живутъ, по сообщенію путешественника тридцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія, точно также семьями, а не племенами, и, какъ подтверждаетъ это другой изслѣдователь, семья представляетъ у нихъ извѣстную социальную единицу, но племя въ точномъ смыслѣ этого слова не существуетъ. Семьи независимы одна отъ другой и только въ случаѣ необходимости сходятся для общихъ дѣйствій. Кое-гдѣ по нѣсколькимъ семьямъ живутъ вмѣстѣ, населяя одинъ вигвамъ нѣсколькими семействами (отъ двухъ до пяти), но, внѣ этого общенія, обитатели Огненной земли держатся порознь, ведя свой охотничий промыселъ въ установленныхъ для нихъ предѣлахъ. Тоже говорится про австралійцевъ: въ западной Австраліи „вмѣсто племенъ господствуетъ еще, повидимому, патриархальный образъ жизни: каждая семья,

¹⁾ A. H. Post. Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz. 1894. I. 446—448.

²⁾ *Sarasin*, цитир. у E. Grosse. Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft. 1896, стр. 36.

которая насчитываетъ въ общемъ не болѣе 6-9 отдѣльныхъ лицъ, образуетъ настоящее маленькое общество, которое зависитъ только отъ собственного вождя. Каждая семья присваиваетъ себѣ своего рода округъ, которымъ, впрочемъ, пользуются и сосѣднія семьи, если онѣ предпринимаютъ какое-нибудь общее дѣло“. Другой изслѣдователь австралійскихъ туземцевъ отмѣчаетъ, что у нихъ „каждая семья располагалась лагеремъ отдѣльно“. Про одно изъ бразилійскихъ племенъ рассказывается, что „семьи его жили на далекомъ разстояніи одна отъ другой въ жалкихъ, сплетенныхъ изъ вѣтокъ хижинахъ, пытались добычей охоты и, если не хватало болѣе крупной дичи, довольствовались змѣями, мышами, муравьями, червями: короче говоря, всякими пресмыкающимися и пастѣкомыми“. Приведенныя цитаты заимствованы мною изъ сочиненія Вестермарка,¹⁾ который приводитъ еще не мало сходнаго матеріала. Подобно этому, индѣйцы квакиутль, живущіе на сѣверо-американскомъ побережьи Тихаго океана, принадлежатъ къ одному народу, обладаютъ довольно сложной культурой и множествомъ тайныхъ и общественныхъ обрядовъ. Ихъ языкъ раздѣляется на семь главныхъ нарѣчій и 31 діалектъ. Такое развитіе діалектовъ должно стоять въ связи съ образомъ поселеній квакиутль, которые живутъ въ огромныхъ квадратныхъ домахъ, каждая сторона которыхъ имѣетъ отъ 40 до 60 футовъ. Домъ населенъ нѣсколькими семьями, изъ которыхъ каждая обладаетъ своимъ собственнымъ очагомъ; нѣсколько семей составляютъ одинъ кланъ, причемъ каждый кланъ совершаетъ собственные танцы, имѣющіе религиозный характеръ; посвященіе въ эти танцы сопровождается сложнымъ и кровавымъ ритуаломъ, такъ что, въ сущности, племя квакиутль дробится на родъ отдѣльныхъ независимыхъ другъ отъ друга группъ²⁾. Развитію незначительныхъ и немногочисленныхъ группъ соотвѣтствуетъ и множество діалектовъ, на которые дѣлится языкъ. Эти данныя вполне сходятся съ социологическими выводами Фиркандта: „Чѣмъ меньше кругъ людей, тѣмъ меньшее сопротивленіе онъ оказываетъ новаторамъ. Вслѣдствіе своихъ численныхъ отношеній первобытные народы... предоставляютъ сравнительно широкій просторъ руководящему лицу“ (Die Stetigkeit... 161). Какъ мы видѣли примитивный бытъ требуетъ незначительныхъ группировокъ лицъ, составляющихъ первоначальную семью или племя. Въ этихъ рамкахъ и должно было совершаться зарожденіе человеческого языка. „Языкъ—доказательство первоначальной социальной природы человѣка. Его невозможно объяснить иначе, какъ дѣятельностью извѣстной группы“³⁾. Въ этой группѣ, далѣе, необходимо предположить

¹⁾ E. Westermarck. Geschichte der menschlichen Ehe. 1893, стр. 38—42.

²⁾ Th. Boas. Social organisation and the secret societies of the kwakiutl Indians. From the Report of the N. S. National Museum for 1895, стр. 311—337.

³⁾ D. Brinton. The Basis of social Relations. A study of Ethic Psychology. 1902, стр. 165.

лицо, пользующееся наибольшим авторитетом и повелевающее остальных. Быть может, авторитет его поддерживается религиозным обаянием, „спасительным страхом“ одного по отношению къ другому, страхом, которому некоторые социологи, повидимому, справедливо приписывают выдающуюся социальную роль¹⁾.

На образование этого первичнаго языка должна была, разумется, наложить свою печать психология первобытнаго человѣка, которая, по своему своему существу, должна была отличаться отъ нашей. Не вдаваясь подробно въ этотъ предметъ, которому въ послѣднее время этнологія удѣляетъ все больше вниманія (назову имена Фробениуса, Фиркандта, Шурца, Брейзига, Фиспера, Вейле и др.), я ограничусь тѣмъ основнымъ закономъ первобытнаго психики, который впервые установленъ изслѣдованіемъ Леви-Брюля и который указываетъ на „до-логическую“ (prélogique) эпоху человѣческаго интеллекта. Это—названный французскимъ этнологомъ „законъ сопрѣчастія“ (la loi de participation). „Умственный строй (первобытныхъ) обществъ развитъ въ иномъ направленіи, чѣмъ у насъ, и ихъ коллективные представленія обладаютъ прежде всего мистическимъ характеромъ, такъ какъ первобытные люди, въ общемъ, гораздо болѣе поглощены мистическими свойствами существъ, нежели логическою связностью ихъ собственной мысли“ (стр. 83). Отсюда самая невозможная, на нашъ взглядъ, представленія, не соответствующія нашимъ логическимъ навыкамъ мысли: одновременное присутствіе одного и того же лица въ разныхъ мѣстахъ, многочисленность душъ у человѣка и т. п. Иной характеръ носить вся умственная дѣятельность первобытнаго человѣка по сравненію съ нашей, и вмѣсто стремленія къ упрощенію матеріала, накоплагаемаго воспріятіями, умъ его довольствуется замѣннаніями. „У насъ, говоритъ Леви-Брюль (123), память сводится, поскольку рѣчь идетъ о функціяхъ интеллекта, къ подчиненной роли сохраненія результатовъ, приобретенныхъ логическою выработкой понятій. Но для до-логической умственной жизни воспоминанія оказываются почти исключительно весьма сложными представленіями, которыя слѣдуютъ одно за другимъ въ неизмѣнномъ порядкѣ, и надъ которыми логическія операциі, даже самыя элементарныя, были бы очень тягостны (такъ какъ и языкъ плохо отвѣчалъ бы этимъ требованіямъ), если бы даже предположить, что традиція разрѣшила бы эту работу, и человѣкъ имѣлъ бы смѣлость приняться за нее“. Вотъ почему вмѣсто простыхъ и отчетливыхъ грамматическихъ формъ нашихъ языковъ мы стоимъ передъ безконечно сложными и длинными словами-предложеніями въ языкахъ дикарей. Эти послѣдніе довольствуются запомнаніемъ несистематизированнаго традиціоннаго матеріала языка.

¹⁾ См. напр. статью „Религія, какъ явленіе“ въ книгѣ *Eugenio Regnault*. Essais de synthèse scientifique 1912, стр. 174 и слѣд.

Искусственные языки.

Говоря о языкахъ дѣтскихъ и школьныхъ и о той роли, которая принадлежитъ вождю первобытнаго племени въ дѣлѣ созданія языка, я уже долженъ былъ говорить о языкахъ сочиненныхъ, искусственныхъ. Въ этой главѣ я намѣренъ специально заняться вопросомъ о томъ, для какой цѣли и по какимъ общимъ законамъ создаются языки, которые такъ и понимаются сочинителями ихъ и воспринимающей ихъ средой, какъ „языки искусственные“. Быть можетъ, при всемъ желаніи дать нѣчто оригинальное въ области сочиненія языковъ составители ихъ дѣйствуютъ по одному шаблону и подчиняются совершенно тѣмъ же законамъ, что и дикарскій вождь, или школьникъ, или истерическій больной, которые желаютъ создавать для своихъ цѣлей свой собственный языкъ? На этотъ вопросъ я и хочу отвѣтить въ настоящей главѣ¹⁾. Я не буду здѣсь останавливаться на языкахъ, преслѣдующихъ вполне опредѣленные цѣли тайныхъ обществъ, каковы условные языки торговцевъ (на нашемъ сѣверѣ распространенъ такой языкъ офеней) или воровскіе и т. под. жаргоны. Такіе языки состоятъ изъ особенныхъ словарныхъ матеріаловъ, но въ грамматическомъ отношеніи не представляютъ замѣчательныхъ явленій. Словари ихъ часто заимствуются изъ тѣхъ существующихъ культурныхъ языковъ, которые послужили отправнымъ пунктомъ для развитія искусственнаго языка. Какъ среди дикарей наблюдаются случаи далекаго распространенія и тщательнѣйшаго исполненія пѣсенъ чужихъ, заносныхъ, въ которыхъ туземцы не понимаютъ ни слова, такъ же торговцы-офени могутъ употреблять, какъ слова тайнаго искусственнаго языка, элементы греческаго или финскаго происхожденія. Въ основаніи воровскаго жаргона точно также могутъ лежать слова, которыя оказываются искусственными въ такой же мѣрѣ, какъ всякое слово. Здѣсь только обычные слова получили особенное, метафорическое значеніе. Такъ напр., въ языкѣ каторги В. М. Дорошевича („Сахалинъ“, изд. 1903, стр. 350—9) отмѣтилъ такія слова, какъ *заслужить веревку* (попасть на вѣсилу), *получить наградную* (плети), *пчельникъ* или *сушилка* (карцеръ), *сарга* (деньги), *м-*

¹⁾ Я пользовался здѣсь по преимуществу слѣдующими матеріалами: *K. M. Meyer*. Künstliche Sprachen. Журналъ Indogermanische Forschungen, т. 12 за 1901. *L. Couturat et L. Jean*. Histoire de la langue universelle. 2-ème tirage. Paris. 1907. *L. Couturat, O. Jespersen, R. Lorenz, W. Ostwald und L. Pfau-undler*. Weltsprache und Wissenschaft. Gedanken über die Einführung der internationalen Hilfssprache in die Wissenschaft. 1909. *K. Brugmann und A. Leskien*. Zur Kritik der künstlichen Weltsprachen. 1907. Zur Frage der Einführung einer künstlichen internationalen Hilfssprache. 1908. Ср. также мою статью „Всемирные языки“ въ 8-мъ изданіи энциклопедическаго словаря бр. Гранатъ.

новая сарга (фальшивыя деньги, такъ какъ липовымъ каторга называетъ все фальшивое: деньги, паспортъ, имя), *пришить* или *припечатать бороду* (обмануть; слово основано на реальныхъ отношеніяхъ: именно, одинъ бродяга, грабившій сибирскихъ богачей— „столовѣровъ“, припечатывалъ имъ бороды къ столу, а потомъ грабилъ) и т. под. Конечно, въ основаніи и другихъ условныхъ метафорическихъ выраженій и крылатыхъ словъ лежатъ какія-то забытыя реальныя отношенія. Мастерской анализъ покойнаго С. В. Максимова этихъ крылатыхъ словъ обнаружилъ въ основаніи такихъ выраженій, какъ *точить лясы*, *бить баклуши*, *говорить всю подноготную*, и многихъ другихъ метафоръ старыя бытовыя подробности. Такъ или иначе къ бытовымъ отношеніямъ восходятъ языки офеней и т. п., и потому, подразумевая здѣсь подъ искусственными языками нѣчто иное, я не буду ихъ касаться.

Въ научный оборотъ мысль о всемірномъ искусственномъ языкѣ пустилъ первый, насколько это теперь извѣстно, Декартъ, который въ 1629 г. начертилъ слѣдующую программу этого языка, которая распространялась какъ на грамматическую, такъ и на словарную сторону. „Для обозначенія словъ онъ (неизвѣстный авторъ какого-то предложенія всемірнаго языка, по поводу котораго и высказался Декартъ) не предлагаетъ ничего особеннаго, ибо онъ говоритъ въ своемъ четвертомъ положеніи: *linguam illam interpretari ex dictionario*, т. е. изъ словаря, который человекъ, немного свѣдущій въ языкахъ, можетъ образовать безъ его помощи во всѣхъ извѣстныхъ языкахъ. То, что мѣшаетъ этому языку сдѣлаться общераспространеннымъ, заключается въ трудности его грамматики, и я угадываю, что въ этомъ и заключается весь секретъ вашего знакомаго. Но нѣтъ ничего болѣе легкаго. Если сочинить такой языкъ, въ которомъ будетъ имѣться лишь одинъ способъ склоненія или спряженія, и построить такія слова, среди которыхъ не будетъ встрѣчаться ни недостаточныхъ глаголовъ, ни исключеній (всѣ они явились послѣдствіемъ искаженія языка вслѣдствіе ошибочнаго употребленія), причемъ флексія глаголовъ и именъ и словообразованіе будутъ происходить съ помощью аффиксовъ, стоящихъ раньше или послѣ первоначальныхъ основъ (словъ) и обозначенныхъ со всѣми своими особенностями въ словарѣ,—въ этомъ случаѣ не будетъ чудомъ, если и самые обыкновенные умы окажутся въ состояніи послѣ шестичасовой работы слагать предложенія на этомъ языкѣ съ помощью словаря, который представляеть предметъ перваго предложенія“. Такимъ образомъ, Декартъ формулировалъ два главныя требованія, какія должны быть предъявлены къ международнымъ европейскимъ искусственнымъ языкамъ: это, во-первыхъ, словарный составъ, образующійся изъ элементовъ, родственныхъ возможно большому числу языковъ, и, во-вторыхъ, простѣйшій грамматическій строй, заключающійся въ присоединеніи постоянно однихъ и тѣхъ же формальныхъ элементовъ для обозначенія опредѣленныхъ формаль-

ныхъ отношеній. Какъ мы видѣли выше, эта послѣдняя задача въ значительной мѣрѣ разрѣшена тѣми агглютивными языками, которые (какъ напр., австралійскіе или нѣкоторые африканскіе) присоединяють всегда однѣ и тѣ же частицы для обозначенія тѣхъ же самыхъ отношеній. Только тамъ процессъ пошелъ, конечно, съ другого конца, чѣмъ въ искусственныхъ языкахъ, типъ которыхъ начерталъ французскій философъ. Такъ, изъ слова-предложенія выдѣлились формальныя элементы, которые сами по себѣ, вѣроятно, и не существуютъ въ сознаніи говорящаго лица. Извѣстный оттѣнокъ мысли, выраженной словомъ, послѣдняя часть котораго звучитъ такъ или иначе, ассоциируется съ его выраженіемъ и требуетъ того же самаго заключенія (или начала) слова для выраженія и въ другомъ случаѣ сходнаго оттѣнка, такъ что съ формальнымъ отношеніемъ связывается въ сознаніи людей опредѣленный формальный элементъ. Разложеніе же формы на ея составныя части едва-ли когда-либо представлялось сознанію дикаго оратора и возникло уже въ систематизирующемъ умѣ европейца, который сталъ писать грамматику австралійскихъ языковъ.

Иначе обстояло дѣло съ сочиненіемъ искусственныхъ языковъ; здѣсь грамматика сначала придумывается, а потомъ уже примѣняется къ языку, но въ результатѣ все же получилось лишь то, что естественнымъ образомъ возникло въ языкахъ дикихъ народовъ. О чисто философскихъ языкахъ, которые должны были состоять изъ алгебраическихъ знаковъ, я не буду распространяться, такъ какъ это уже выходитъ за предѣлы языкознанія. Въ 17 и 18 вѣкахъ былъ сдѣланъ рядъ попытокъ создать такіе алгебраическіе „философскіе“ языки, и лишь въ половинѣ 19 вѣка вернулись къ мысли о дѣйствительномъ всеобщемъ языкѣ, на которомъ можно было бы говорить. Задачу выработать его взяло на себя парижское „Международное лингвистическое общество“, которое въ 1855 году объявило о своемъ намѣреніи „распространить въ умахъ идею всеобщаго языка, потребность въ которомъ начинаетъ все болѣе ощущаться, найти основанія этого языка, опредѣлить его условія, сгруппировать элементы и подготовить пути для его утвержденія“. Избранный для этой цѣли комитетъ поставилъ своей цѣлью разработать языкъ „ясный, простой, легкій, раціональный, логическій, философскій, богатый, гармоничный и настолько эластичный, чтобы онъ былъ пригоденъ для всяческаго будущаго прогресса“. Вздумали было взять за основаніе какой-либо изъ живыхъ языковъ и передѣлать его на новый образецъ, но отъ этой мысли скоро отказались, такъ какъ подобный продуктъ былъ бы „неузнаваемъ“ и оставался бы все таки нерациональнымъ и нелогичнымъ. Теперь предстояло два способа созданія языка: а posteriori, т. е. составленіе языка изъ элементовъ, уже существующихъ, изъ корней, суффиксовъ и окончаній разныхъ языковъ, и а priori, т. е. сочиненіе совсѣмъ новаго языка. Первый способъ, какъ выяснилось скоро, былъ плохъ, такъ какъ ни одинъ изъ извѣстныхъ, дѣйстви-

тельно существующих языковъ, будучи продуктомъ историческаго развитія, не удовлетворяя требованіямъ ясности и логичности. Комитетъ призналъ за лучшее сочинить языкъ *a priori*, но на дѣлѣ это опять-таки должно было выйти „всеобщей классификаціей вещей“, т. е. философскимъ языкомъ въ родѣ прежнихъ попытокъ 17—18 вѣковъ. При разсмотрѣніи различныхъ предложенныхъ проектовъ такого языка комитетъ отдалъ предпочтеніе планамъ Сотоса Ошандо (Sotos Ochando): „всѣ тѣ, которые изучать этотъ языкъ, усвоятъ въ то же время аналитическія познанія“, полагалъ изобрѣтатель его. Въ этихъ попыткахъ, которымъ не было суждено осуществиться, бросается въ глаза совершенно правильное убѣжденіе, что слова суть лишь условные знаки для обозначенія понятій. Однако, сочиненіе совсѣмъ новыхъ словъ казалось чѣмъ-то фальшивымъ, и одновременно съ замыслами комитета философъ Ренувье предложилъ создать такой языкъ, въ которомъ словарь былъ бы взятъ изъ реальной сокровищницы языковъ, и только грамматика была бы „философскою“.

Такихъ философскихъ языковъ было предложено и послѣ академической неудачи не мало и кажется, послѣднюю попыткой въ этой области была предложеніе Дитриха въ 1902 году создать языкъ, одинаково чуждый всѣмъ народамъ, совершенно лишенный какого бы то ни было національнаго элемента. Языкъ Дитриха состоялъ изъ 7 гласныхъ и 22 согласныхъ; комбинація этихъ звуковъ даетъ до 50000 корней, а такъ какъ языкъ предназначался, главнымъ образомъ, для цѣлей письма, а не говоренія, то и сочетанія, почти невозможныя для произношенія, нисколько не смущали Дитриха. Получивъ такимъ образомъ достаточное количество корневыхъ словъ, изобрѣтатель предложилъ для ихъ сочетанія грамматическія правила, сводящіяся по существу къ процессамъ агглютинаціи съ той систематичностью, какая была уже отмѣчена мною въ нѣкоторыхъ дикарскихъ языкахъ. Такъ, множественное число образуется съ помощью окончанія *s*, падежи съ помощью различныхъ другихъ окончаній, имена прилагательныя также. Что касается глаголовъ, то здѣсь дѣйствуютъ двѣ системы: отчасти префиксы для обозначенія временъ, отчасти суффиксы для обозначенія наклоненій. Надо отмѣтить, что самая система была вовсе не проста: такъ, различныя суффиксы выражали переходъ въ извѣстное состояніе, дѣйствіе, которое вызываетъ состояніе, фактъ переживанія извѣстнаго состоянія и т. под. Глаголь оказывался измѣняемымъ по степенямъ сравненія, въ родѣ того, что *быть хорошимъ*, *быть лучшимъ* и т. п. выражаются однимъ и тѣмъ же глаголомъ въ положительной и сравнительной степеняхъ. Идя дальше въ направленіи систематизаціи, Дитрихъ даетъ длинный перечень частицъ, которыя должны служить для обозначенія различныхъ понятій: запомнить эти частицы, весьма похожія одна на другую, требуетъ конечно не малаго труда. Такъ, напр., съ согласнымъ *m* сочетается *i* для обозначенія людей, имѣющихъ то качество, которое отмѣчено словомъ, *em* для обозначенія мужчинъ

и женщинъ, — *am* — выдѣлывателя чего-нибудь, — *om* животныхъ, *um* растений. Подобно этому, — *iv* обозначаетъ науки, — *ev* искусства, — *av* ремесла, — *ov* торговлю, — *uv* транспортъ; — *en* — постоянныя вещества, — *an* — жидкости, — *on* — газы, — *un* — гипотетическія жидкости (электричество, магнетизмъ) и т. п. Не менѣе сложны суффиксы, означающіе время и мѣсто. Однимъ словомъ, передъ нами примѣръ языка, который, выражая систематизацію съ помощью агглютивныхъ прибавленій къ корню, создаетъ весьма сложную и произвольную грамматику. Вѣдь неясно, почему для животныхъ употребляется суффиксъ — *om*, а для растений — *um*, а для металовъ, минераловъ и т. п. какой же требуется суффиксъ? Точно также и суффиксъ — *en*, означающій постоянныя вещества (*les solides*). Развѣ дерево не является такимъ же постояннымъ веществомъ или предметомъ? Почему же къ нему примѣнять суффиксъ — *um*, а не — *en*? Такихъ вопросовъ не обойти при изученіи каждаго искусственнаго языка, и всѣ эти языки могутъ рассчитывать для своего распространенія только на особенно счастливыя условія: кружокъ энтузіастовъ, готовыхъ клясться *ad verba magistri*, общую подготовленность необходимаго настроенія въ извѣстной массѣ населенія и т. под. Во всякомъ случаѣ, и здѣсь, какъ въ языкахъ дикарей, исходнымъ пунктомъ является авторитетъ языкодавца.

Таковы по своей схемѣ эти апріорные, логическіе или философскіе языки. Такъ какъ звуки не играютъ въ нихъ никакой роли, а представляютъ алгебраическіе символы, то слова, очень сходныя по звукамъ, могутъ имѣть совершенно противоположное значеніе (*Conturat. 117*). А это, какъ справедливо замѣчаютъ авторы вышеназваннаго изслѣдованія объ искусственныхъ языкахъ, противорѣчитъ духу нашего да, вѣроятно, и всякаго языка, такъ какъ противоположно самому существу слова, ассоціаціи извѣстнаго комплекса звуковъ съ представленіемъ; при этомъ родственныя представленія должны выражаться родственными словами, чего вовсе не наблюдается въ искусственныхъ логическихъ языкахъ, гдѣ, напротивъ, схематизмъ можетъ заставить перенести два близкія представленія въ совершенно разныя категоріи словообразованія. Надо прибавить къ этому, что такіе логическіе языки постоянно заключаютъ въ себѣ внутреннюю опасность полнаго распада словаря. Дѣйствительно, кто можетъ поручиться, что я буду обладать тѣмъ же уровнемъ образованія *во всѣхъ* специальностяхъ, какъ и мой корреспондентъ, и потому совершенно одинаково съ нимъ построю формулу слова, или что я увижу растеніе или животное тамъ, гдѣ для него будетъ только нѣчто постоянное, *солидное*, требующее иной формы словообразованія, или что я не запутаюсь въ глагольныхъ отгѣнкахъ, выражаемыхъ различными системами суффиксовъ, и т. д. Логическіе языки противорѣчатъ существу языка, требующему эластическихъ формъ для выраженія *индивидуальнаго* содержанія сознанія. Языкъ, не способный выразить индивидуальность, не есть человѣчскій языкъ. Нарѣчіе дикаря.

допускающее хотя бы при посредствѣ грубыхъ средствъ морфологіи оттѣнки для выраженія личныхъ представленій говорящаго лица, безконечно выше каждаго отъ такихъ „философскихъ“ языковъ. Различные суффиксы, присоединяемые къ корню, покажутъ тамъ, какъ мыслить (быть можетъ, даже ошибочно) говорящій человекъ о предметахъ, и слово, употребленное имъ, будетъ понятно слушающему, потому что корень его будетъ ему извѣстенъ. Совсѣмъ иное дѣло эти „философскіе“, въ сущности далеко не философскіе, языки, которые представляютъ въ видѣ словъ алгебраическія формулы: здѣсь ошибка или даже простое индивидуальное отклоненіе въ представленіи вызоветъ уже совершенно иное построеніе формулы, непонятное другимъ людямъ. Такимъ образомъ, неизбежныя неудачи всякихъ подобныхъ логическихъ языковъ обнаруживаютъ сущность живого языка, его психологическое основаніе, которое заключается въ постоянно измѣняющемся процессѣ соединенія представленій съ символами, при чемъ самые-то символы должны быть также подвержены измѣненіямъ. Для меня *это* слово является символомъ, для моего друга *иное* слово, и еще болѣе: особое уменьшительное, особо-оригинальное слово можетъ иногда только одно выразить мою мысль удовлетворительнымъ образомъ, ибо слово не цифра.

Естественно, что ни одинъ изъ этихъ языковъ не получилъ никакого распространенія. Нѣсколько болѣе сульба улыбнулась языкамъ, созданнымъ *a posteriori*, т. е. на основаніи дѣйствительно существующихъ языковъ. Впервые программа такихъ языковъ была формулирована русскимъ дипломатомъ, фонъ-Гриммомъ, который выпустилъ ее въ Константинополѣ въ началѣ 1860 г. По его мнѣнію, всемірный языкъ долженъ обладать слѣдующими свойствами. „I. Онъ долженъ быть строго логиченъ, т. е. A. каждое слово должно означать точно и безъ всякихъ отступленій соотвѣтствующее понятіе (если бы даже всемірный языкъ не принесъ иной пользы, кромѣ того, что излѣчилъ бы насъ отъ смѣшенія идей, которое происходитъ во всѣхъ языкахъ вслѣдствіе неопредѣленнаго значенія столькихъ словъ, и тогда затраченный на это трудъ былъ бы въ высшей степени плодотворенъ). B. Образованіе словъ, грамматическихъ формъ и сложныхъ словъ должно происходить по опредѣленнымъ правиламъ, насколько возможно, простымъ, такъ, чтобы не могло существовать никакого сомнѣнія относительно значенія производныхъ или сложныхъ словъ. II. Онъ долженъ обладать не слишкомъ большимъ богатствомъ. A. Богатство словаря вытекаетъ уже само собой изъ предыдущаго условія. Было бы *досаднымъ излишествомъ* имѣть по нѣсколько словъ для обозначенія одного и того же понятія, но, если каждое слово должно означать точно соотвѣтствующее понятіе, отсюда *само собой вытекаетъ*, что каждый оттѣнокъ одного и того же понятія долженъ быть обозначенъ инымъ словомъ, или морфологическимъ элементомъ, или какимъ-

нибудь эпитетомъ. B. Разнообразіе въ порядкѣ словъ крайне необходимо для правильнаго выраженія мысли. Порядокъ словъ во всемірномъ языкѣ долженъ быть равно удаленъ *отъ произвольнаго разсыпанія* (de la dispersion arbitraire) словъ въ латинскомъ языкѣ и отъ строгихъ правилъ многихъ изъ живыхъ языковъ. Онъ долженъ допускать всевозможные обороты, но каждый изъ этихъ послѣднихъ долженъ имѣть свой смыслъ и преслѣдовать свою цѣль. C. Необходимымъ послѣдствіемъ богатства языка является большая гибкость и подвижность“. Въ третьемъ пунктѣ Гриммъ выступаетъ въ пользу гармоничности языка и одинаковой пригодности его для поэзіи и пѣнія, въ четвертомъ онъ требуетъ, чтобы изученіе этого языка такъ, чтобы на немъ можно было говорить и писать, было чрезвычайно легко; для этой же цѣли необходимо совершенное исключеніе всего произвольнаго въ образованіи корней, а „тамъ, гдѣ этотъ произвольный избытокъ, необходимо быть въ состояніи дать, по крайней мѣрѣ, основаніе, по которому избирается именно это выраженіе, а не иное“. Вооружаясь противъ всякаго „произвола“ въ языкѣ, противъ „чрезмѣрнаго“ богатства его словарнаго состава, что противорѣчитъ требованію имѣть для каждаго *оттѣнка* значенія отдѣльное слово, Гриммъ обнаруживаетъ совершенное непониманіе живого процесса языкового творчества. Какъ при такихъ условіяхъ на подобномъ языкѣ могла бы развиваться поэзія, требующая такъ часто оттѣнковъ значенія, произведенныхъ именно отъ *основнаго* слова, а не представляющихъ собой новыхъ самостоятельныхъ словъ? А вѣдь Гриммъ хочетъ еще и универсальной поэзіи на его языкѣ.

Большую извѣстность и распространеніе получили два всемірные языка, воляпокъ и эсперанто. Послѣдній насчитываетъ въ настоящее время тысячи приверженцевъ, и его успѣхъ внушилъ многимъ, въ томъ числѣ и нѣкоторымъ изъ специалистовъ по языковѣдѣнію, что возможно выработать всемірный условный языкъ науки. Къ этому вопросу, который такъ близко примыкаетъ къ темѣ настоящаго моего изслѣдованія, мнѣ придется обратиться въ дальнѣйшемъ изложеніи. Здѣсь же я пока ограничусь указаніемъ на строеніе этихъ языковъ. Авторомъ воляпока былъ католическій священникъ Іоаннъ Шлейеръ, который принадлежалъ къ числу полиглоттовъ и зналъ будто бы до 50 языковъ. Въ одну безсонную ночь 1879 года, когда Шлейеру было уже около 50 лѣтъ, его вдругъ охватило вдохновеніе, внушившее ему сочиненіе языка для дѣлей взаимнаго пониманія человечества и распространенія въ немъ безъ различія языковъ, идей любви и братства. Это былъ „языкъ міра“, изобрѣтенію котораго въ дѣятельности Шлейера предшествовало сочиненіе всемірной азбуки (въ 1878 г.), предназначенной для общечеловѣческой корреспонденціи и транскрипціи иностранныхъ именъ. „Развитіе путей сообщенія, учрежденіе всемірнаго почтового союза и т. д. казалось ему, влекутъ за собою съ полной необходимостью принятіе всемірныхъ писемъ, языка и грамматики. Все національ-

ные языки отличаются большими недостатками и бесчисленными трудностями. Всемирный языкъ, напротивъ, долженъ обладать абсолютно правильной и рациональной грамматикой“. (Couturat et Leau. 129). За основу своего языка Шлейеръ избралъ дѣйствительно существующій языкъ, простонародный англійскій языкъ, наиболѣе распространенный изъ всѣхъ культурныхъ языковъ человѣчества. Азбука воляпюка состоитъ изъ 28 буквъ, среди которыхъ мы находимъ, въ качествѣ отдѣльной буквы, *x* (кс). Отдѣльными буквами передаются звуки (русской азбуки) *x*, *ш*, *ц*, *ѣ*, *ч*, но почему то нѣтъ вовсе *жс*; звукъ *э* передается буквой *ä*, французское *и* буквой *ii*, но звука *ы* нѣтъ вовсе; придыханіемъ передается греческій *spiritus asper*. Удареніе всегда стоитъ на концѣ. Языкъ Шлейера различаетъ два члена, опредѣленный и неопредѣленный, но сочинитель рекомендуетъ употреблять ихъ только въ случаѣ крайней необходимости. Склоненіе совершается по способу агглютинаціи, съ помощью присоединенія къ именительному падежу окончаній: въ родительномъ *a*, дательномъ *e*, винительномъ *i* (*dom*, *doma*, *domē*, *domi* отъ слова *dom*-домъ), во множественномъ числѣ къ этимъ формамъ присоединяется *s* (*doms*, *domas* и т. д.). Само по себѣ имя существительное имѣетъ естественный родъ, не омѣчаемый никакимъ формальнымъ элементомъ, но для образованія женскаго рода отъ мужскаго передъ словомъ ставится *iii* (*ji*=англ. *she*): такъ, отъ *son* (сынъ) *jison* (дочь). Имена прилагательныя образуются съ помощью присоединенія *ik* (греч.-*ikós*) къ существительному: *glet* (величіе), а *gletik* (великій, большой). Для числительныхъ Шлейеръ придумалъ слова, не основанныя, повидимому, ни на одномъ изъ существующихъ языковъ; 1 *bal*, 2 *tel*, 3 *kil*, 4 *fol* и т. д.; съ помощью различныхъ суффиксовъ отсюда образуются разныя числительныя формы, опять таки совершенно произвольныя. Таковы же и мѣстоименія: *ob*, *ol*, *om*, *of*, *os* (я, мы, онъ, она, оно) и *obs*, *ols*, *oms*, *ofs* (мы, вы, они, онѣ).

Мѣстоименія указательныя сочинены едва-ли не безъ участія русскихъ познаній Шлейера. Въ Баденѣ, гдѣ еще хранится кое-какая связь съ русскими воспоминаніями, Шлейеръ могъ заинтересоваться русскимъ языкомъ и познакомиться съ нимъ: отсюда онъ взялъ, напр., свое окончаніе род. пад.—*a* (*doma*-дома); отсюда же, изъ мѣстоименія *этотъ*, по всей вѣроятности, получили свое происхожденіе въ воляпюкѣ *at* (этотъ), *et* (тотъ), *it* (самъ), *ot* (тотъ же), *ut* (тотъ, кто) и т. д. Зато, повсюду стремясь сохранить равноправіе языковъ при заимствованіи своего матеріала, изобрѣтатель языка взялъ вопросительныя мѣстоименія изъ французскаго языка: *kim* (кто) похоже на франц. *qui*, какъ и относительное мѣстоименіе *kel* (который) на франц. *quel*. Едва-ли не венгерскій языкъ внушилъ Шлейеру мѣстоименіе *nek* (нѣчто, нѣкто, или изъ рус. *никто*?) Подобныя же заимствованія изъ всевозможныхъ языковъ представляютъ другія мѣстоименія и формальные элементы, введенные изобрѣтателемъ воля-

пюка. А знакомство съ современнымъ ему уровнемъ сравнительнаго индоевропейскаго языковѣдѣнія (школой Шлейхера) обнаруживается въ той системѣ спряженія, которая была введена здѣсь: къ глагольной основѣ присоединялись личные мѣстоименія. Такъ, отъ *lof* (любить, т. е. англ. *love* въ обычномъ произношеніи) образуются *lofob* (я люблю), *lofobs* (мы любимъ) и т. под. Для образованія отсюда глагольныхъ временъ Шлейеръ заставляетъ присоединять къ основѣ (на основаніи древнегреческаго?) различные гласные звуки: *älöfob* (я любилъ), *elöfob* (я любилъ, perfectum), *ilöfob* (plusquamperfectum), *olöfob* (futurum), *ulöfob* (futur antérieur). Такимъ образомъ, въ спряженіи передъ нами оказывается неожиданное богатство временъ; точно нельзя было давнопрошедшее время или второе будущее, или perfectum выразить съ помощью нарѣчій? Что, кромѣ традиціи, заставило Шлейера прибѣгнуть къ сохраненію нѣсколькихъ глагольныхъ формъ, которыя вовсе не диктуются всеобщимъ языковымъ чутьемъ, даже культурныхъ народовъ: ни въ русскомъ, ни въ литовскомъ языкахъ, напр., нѣтъ различенія на imperfectum, perfectum и plusquamperfectum. Для выраженія тонкихъ оттѣнковъ мысли нужны вовсе не готовые глагольныя формы, но различныя прибавочныя средства въ видѣ нарѣчій, и воляпюкѣ, вообще, скудный на тонкости, здѣсь безъ всякой надобности проявляетъ излишнюю щедрость, обнаруживая этимъ всю произвольность методовъ изобрѣтенія. Для изученія же психологическихъ основъ языковъ изобрѣтенія слѣдуетъ отмѣтить, до какой степени крѣпко связанъ съ языковой средой человѣкъ, къ ней принадлежащій и изъ нея заимствовавшій свой родной языкъ. Несомнѣнно, Шлейеръ не могъ себѣ представить языкъ безъ грамматическаго члена, безъ второго будущаго и т. д. Съ помощью различныхъ суффиксовъ, придуманныхъ изобрѣтателемъ, образуются наклоненія, опять таки въ чрезвычайномъ числѣ: здѣсь есть не только optativus и imperativus, но еще и *jussivus* для обозначенія особенно повелительнаго приказанія: *lofolod* (люби, форма, которую трудно произнести вслѣдствіе негармонической смѣны *ö* и *o*, недопустимой почти въ живомъ языкѣ: въ такомъ языкѣ естественно возникаетъ гармонія гласныхъ, какъ въ финскомъ, гдѣ было бы *lofolöd* или *lofolod*), а *lofolöz* (люби непременно).

Такая мозаика изъ кусковъ, заимствованныхъ отъ разныхъ народовъ, составляетъ существенную особенность воляпюка. Но, если, напр., для русскаго понятно, почему вопросительной частицей служитъ здѣсь слогъ *li*, хотя и поставленное на необычномъ для русскаго языка мѣстѣ (*li lofom*—любить-ли онъ), или для итальянца близки *si* и *no* (да, нѣтъ), а для нѣмца *ni* (теперь, нѣм. *nun*) и т. под., то что говорятъ эти слова для людей иной народности? Ровно ничего. Для насъ это такія же произвольно вводимыя слова, какъ и окончанія склоненія и спряженія (*dat.*—*e*, какъ въ *dem Hunde*, *gen.*—*a*, какъ въ *сына* и т. д.). Словарь воляпюка, „языка міра“, отличается тѣми же самыми особенностями. Въ

основаніе его, по словамъ Шлейера, положенъ англійскій языкъ, такъ какъ на немъ говоритъ около ста милліоновъ человекъ; „послѣ англійскаго языка приняты во вниманіе по преимуществу нѣмецкій и французскій, а также испанскій и итальянскій“. Система изобрѣтателя основана на томъ соображеніи, что для массы людей, знающихъ англійскій языкъ, будутъ знакомы многія изъ словъ воляпюка: для другихъ, знающихъ нѣмецкій языкъ, окажутся знакомыми нѣмецкія слова и т. п. Другими словами, къ уже знакомому матеріалу каждому изъ людей придется присоединить только часть незнакомаго. Правда, является вопросъ, не лучше ли въ такомъ случаѣ пропагандировать идею принятія какого-нибудь языка за международный, напр. доказывать необходимость введенія въ дѣловыхъ отношеніяхъ англійскаго языка или французскаго? Вѣдь реальная жизнь такъ и поступаетъ: на всемъ Левантѣ каждый болѣе культурный человекъ говоритъ по французски, на Дальнемъ Востокѣ по англійски, въ Персіи, въ Манджуріи и т. д. по русски. Надо еще прибавить, что даже со словами живыхъ языковъ Шлейеръ раздѣлался такъ жестоко, что исказилъ ихъ до неузнаваемости: онъ исходилъ изъ соображенія краткости и изъ необходимости создать такой конецъ слова, къ которому можно было бы присоединить окончаніе *s* множественнаго числа. Въ живомъ языкѣ происходитъ нѣчто противоположное: онъ стремится, скорѣе, окончаніе измѣнить или уничтожить для сохраненія основы, какъ она понимается чутьемъ говорящаго человека. Шлейеръ превратилъ *imago* въ *mag*, *sapientia-sap*, *wunde* (рана)—*vun*, *knowledge* (знаніе, англ.)—*noł*, *speak* (рѣчь, англ.)—*pük*, *propagation* (распространеніе, франц.)—*pak*, *krona* (корона, нѣм.)—*kron* и т. д. Для образованія производныхъ словъ требуется знаніе весьма солиднаго количества суффиксовъ, придуманныхъ совершенно произвольно и психологически ненужныхъ. Такъ, зачѣмъ образовывать названіе *науки* съ помощью отдѣльнаго суффикса, точно такія слова, вообще, могутъ быть обычны. Отъ *stel* (звѣзда)—*stelav*—„астрономія“, но почему не „астрологія“? Потому, что это не наука, а лже-наука? Или отъ *lit* (свѣтъ)—*litav* „оптика“, но почему не ученіе о физическихъ свойствахъ свѣта? Или отъ *kaf* (кафе) кофейня *kaför* (le lieu de—). Почему, однако, это слово не можетъ означать магазина, гдѣ продаютъ кофе, или фабрики, гдѣ его приготавливаютъ? Съ—*em* образуются слова, означающія собраніе вещей: *flol* (*fleur*, цвѣтокъ)—отсюда *flolem* (букетъ). Почему, однако, это слово не означаетъ коллекція цвѣтовъ или оранжерей?

Этихъ недоумѣній Шлейеръ не можетъ разрѣшить. Углубленный въ свое сочинительство словъ, которыя ему представляются очень систематическими, но которыя въ дѣйствительности противятся живому словоупотребленію, онъ просмотрѣлъ, что говорящій человекъ, едва онъ захочетъ выразить на искусственномъ языкѣ содержаніе своего индивидуальнаго сознанія, выступитъ изъ рамокъ тѣхъ грубо сколоченныхъ словъ, которыя

сочинилъ Шлейеръ. Возьмемъ, хотя бы, слово *musig* (мусигъ), означающее *музыку*. Отсюда образуются слова *musigel* (музыкантъ) и *musigef* (оркестръ). Но что такое оркестръ, какъ не собраніе музыкантовъ, а такъ какъ—*ef*—означаетъ собраніе людей, то оркестръ, въ моихъ устахъ получитъ названіе *musigefef*, а отнюдь не *musigef* (*собраніе музыки*). Или, зная, что *kän* есть пушка, сапогъ, я образую съ помощью суффикса—*em* (*собраніе вещей*) слово *känem* въ значеніи нѣсколькихъ пушекъ, собранныхъ въ одномъ мѣстѣ, напр. въ значеніи пушечнаго завода или арсенала. Между тѣмъ Шлейеръ имѣетъ въ виду только одно значеніе такого собранія пушекъ, артиллерію. Живое сознаніе говорящаго лица производитъ *паутину* отъ *паука*; у Шлейера обратно: *spul* (паутина), но *spulaf*—дѣлатель паутины, паукъ.

Можно сказать, что словарь воляпюка съ начала до конца вымышленный, чуждый живому развитію языка словарь. Естественно, что воляпюкъ недолго продержался на поверхности общественныхъ интересовъ. Вызвавъ къ себѣ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ 19 столѣтія живое сочувствіе и вниманіе, онъ уже черезъ нѣсколько лѣтъ почти совсѣмъ сошелъ со сцены, и въ 1901 году насчитывалось уже всего около 150 человекъ, сохранившихъ ему вѣрность. Въ это время гремятъ его соперникъ, эсперанто Л. Заменгофа, которому предстоитъ, несомнѣнно, та же самая печальная участь въ ближайшемъ будущемъ, если только она и теперь уже не постигла его. Въ промежуткѣ между ними появился еще цѣлый рядъ попытокъ образовать всемірный легкій и гармоничный языкъ, которыя тщательно перечислены въ названномъ выше трудѣ Кутюра и Лео. Обращаться къ нимъ здѣсь я не имѣю возможности. Этихъ попытокъ было сдѣлано нѣсколько десятковъ, и изъ нихъ одна произвольнѣе и нелогичнѣе другой.

Но въ основаніи ихъ все же лежало здоровое и благородное чувство симпатіи къ общечеловѣческому. Исходя не изъ языковой потребности, не изъ необходимости стать понятными другимъ, но изъ апіорнаго убѣжденія, что единство языка создастъ единство гуманныхъ цѣлей человѣчества, эти изобрѣтатели „голубыхъ языковъ“, пасляивгвъ, пантось диму-глось и т. под. настойчиво повторяли, что, если даже ихъ „всемірный языкъ не хорошъ, можно собраться и выдумать лучшій, для всѣхъ пріемлемый“. Изъ идеальныхъ соображеній исходилъ и создатель эсперанто. Левъ Заменгофъ, по профессіи врачъ, по національности еврей изъ Бѣлостока, родившійся въ 1859 году. Съ дѣтства насмотрѣвшись въ этомъ городѣ на взаимную ненависть четырехъ національностей, составляющихъ его населеніе, видя, сколько огорченій вызываетъ политика, направленная противъ того или другого языка, Заменгофъ полагалъ возможнымъ улучшить человѣчскія отношенія съ помощью устраненія этихъ большихъ вопросовъ о языкѣ, съ помощью общаго для всѣхъ людей языка. Въ этомъ благо-

родномъ стремленіи изобрѣтатель отказался отъ всякихъ имущественныхъ правъ на свое изобрѣтеніе и предоставилъ распространять его всѣмъ желающимъ. Съ тѣмъ же энтузіазмомъ его послѣдователи стали выпускать очень дешевые учебники эсперанто.

Отдавая должное гуманности стремленій доктора Заменгофа, приходится все-таки констатировать, что его попытка такъ же неудовлетворительна, какъ и всѣ предшествующія, потому что она не считается и не можетъ считаться (какъ всѣ искусственные языки) съ многообразиемъ и индивидуальными тенденціями каждаго живого языка.

Эсперанто получило свое названіе отъ псевдонима *Doktoro Esperanto*, подъ которымъ Л. Заменгофъ выпустилъ въ 1887 году первую свою грамматику. Въ предисловіи къ ней авторъ говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: „Кто разъ попробовалъ жить въ городѣ, населенномъ людьми различныхъ, борющихся между собою націй, тотъ почувствовалъ, безъ сомнѣнія, какую громадную услугу оказалъ бы человѣчеству интернациональный языкъ, который, не вторгаясь въ домашнюю жизнь народовъ, могъ бы, по крайней мѣрѣ въ странахъ съ разноязычнымъ населеніемъ, быть языкомъ государственнымъ и общественнымъ“. При сочиненіи своего языка авторъ преслѣдовалъ двѣ главныя цѣли: 1) „чтобы языкъ былъ чрезвычайно легкимъ, такъ чтобы его можно было изучить шутя“, и 2) чтобы на немъ каждый изучившій его могъ немедленно вступить въ общеніе со всѣми, знающими этотъ языкъ. „Для достиженія первой цѣли“, говоритъ Л. Заменгофъ, „я упростилъ до незыблительности грамматику, и притомъ, съ одной стороны, въ духѣ существующихъ живыхъ языковъ, чтобы она могла быть легко усвоена, а съ другой нисколько не лишая этимъ языка ясности, точности и гибкости. Всю грамматику моего языка можно отлично изучить въ полъ-часа... Я создалъ правила для словообразованія и этимъ ввелъ огромную экономію въ количествѣ словъ для изученія, не только не лишая этимъ языка богатства, но, напротивъ, дѣлая его, благодаря возможности создавать изъ одного слова много другихъ и выражать всевозможные оттѣнки понятій—богаче самыхъ богатыхъ живыхъ языковъ. Этого я достигъ введеніемъ различныхъ приставокъ и вставокъ, съ помощью которыхъ изъ одного слова каждый можетъ образовать различныя другія слова, не имѣя надобности изучать ихъ. (Для удобства этимъ приставкамъ и вставкамъ дано значеніе самостоятельныхъ словъ, и, какъ таковыя, онѣ помѣщены въ словарь)“. Итакъ, принципъ, примѣненный Заменгофомъ, не новъ: это все та же агглютинація, только еще съ тѣмъ недостаткомъ, что формальные элементы не лишены самостоятельнаго значенія, вслѣдствіе чего неизбежно излишне конкретное значеніе словъ. Непозбѣженъ вмѣстѣ съ тѣмъ и произволъ въ опредѣленіи получающихся такимъ путемъ значеній. Такъ, (эти примѣры самъ изобрѣтатель приводитъ, какъ наиболѣе яркіе образчики достоинствъ

эсперанто) *mal* (прямо противоположно) производить отъ *bona* (добрый) — *malbona* (злой) и т. п. Эта противоположность весьма часто неопредѣлима и часто субъективна: напр., при *just* (справедливый) что должно означать *maljust*: несправедливый (но образованіе отъ *alta*—высокій *malalta* должно означать просто *невысокій*, а не *низкій* и т. д.) или злой, придирчивый, или еще что-нибудь? *Estimi* (уважать)—*malestim* (презирать), а при *inviti* (приглашать) что должно означать *malinviti*: не приглашать или (какъ противоположность) выгонять? *In* означаетъ женскій полъ: *patro* (отецъ)—*patrino* (мать); слѣдовательно, *matro* понятя только, какъ женскій родъ отъ *omec*, тогда какъ, несомнѣнно, понятя о матери этимъ противопоставленіемъ не покрывается. Въ этомъ же родѣи другія словообразовательныя приставки и вставки эсперанто. Общее число ихъ достигаетъ солидной цифры около 50. И это, по увѣренію д-ра Заменгофа, можно будто бы выучить въ полъ-часа! Обратимся къ грамматикѣ эсперанто.

Несмотря на свою видимую простоту, языкъ эсперанто требуетъ значительнаго напряженія памяти для изученія множества производныхъ элементовъ, представляющихъ, какъ во многихъ искусственныхъ языкахъ, схематизмъ, не укладывающийся въ рамки живого языка. Склоненіе заключается здѣсь въ присоединеніи предлоговъ: *de* (родит. пад.), *al* (дательн.), *per* (творительн.) и др. Признакомъ множественнаго числа служить приставка *j*, которая, быть можетъ, заимствована Заменгофомъ изъ финскаго языка, но совершенно чужда челоуѣку, говорящему на одномъ изъ современныхъ индо-европейскихъ языковъ. Винительный падежъ образуется съ нарушеніемъ общаго правила, допускающаго въ склоненіи только предлоги: именно, къ основѣ присоединяется окончаніе—*n* (изъ древне греческаго). Такъ, винит. пад. множеств. числа отъ *patro* (отецъ) будетъ гласить: *patrojn*, отъ *patrino* (мать)—*patrinojn*. Принципъ агглютинаціи, какъ видимъ, проведенъ здѣсь послѣдовательно, хотя, разумѣется, *fratrino* (жен. родъ отъ *brato*) не есть *sestra*, *bovino* (отъ *bovo*—быкъ) не есть *korova* для нашего обычнаго пониманія языка. Настоящую головоломку представляютъ многочисленныя словарныя образованія эсперанто: отъ *doktoro* (докторъ) образуются напр., *doktorozino* (жена доктора) и *doktorinedzo* (мужъ докторши), *gefratoj* (братъ и сестра вмѣстѣ) и мн. др. Такой же произволъ, какой отмѣченъ мною выше въ волянюкѣ, и который, вѣроятно, не избѣженъ вообще въ искусственныхъ языкахъ, господствуетъ и въ эсперанто. Образованія съ помощью различныхъ суффиксовъ могутъ имѣть то или другое значеніе, составитель эсперанто опредѣляетъ именно такое-то значеніе. Напримѣръ, возьмемъ суффиксъ агглютирующий коллективное значеніе: отъ *arbo* (дерево) образуется *arbaro*—лѣсъ, собств. собраніе деревьевъ, хотя, само собою разумѣется, собраніе деревьевъ еще не есть лѣсъ, какъ нѣсколько *вагоновъ*—*вагонаго* не

составляют поѣзда и нѣсколько словъ—*vortaro* не образуютъ словаря. Слово *лесъ* могло бы быть образовано и съ суффиксомъ —*uj*, означающимъ *мѣсто*, гдѣ собраны предметы (*potato*, яблоко, а *potujo*—яблоня). Такихъ недоумѣній у всякаго, кто захочетъ въ *полъ часа* выучить грамматику, и потомъ, по рекомендаціи самого составителя его, найдя непонятное слово, отыскивать его части въ словарѣ, должно быть много. беру, напр., слово *maristo* и ищу его части; *o*—окончаніе,—*ist*—суффиксъ (въ русскомъ изданіи словаря: *ist*—„занимающійся“), *mar*—море. Кто занимается моремъ? Ученый, изучающій морскую фауну и флору, гидрографъ, маринистъ? Оказывается, что въ пониманіи эсперантиста, „моремъ занимается“, т. е. есть *maristo*, *морякъ*. Слѣдовательно, для того, чтобы усвоить себѣ точку зрѣнія д-ра Заменгофа, что только *морякъ* есть „*мористъ*“, нужно просто посмотреть въ словарѣ, что означаетъ цѣлое слово, а знакомство съ отдѣльными его частями нисколько не поможетъ пониманію дѣла. И такъ же обстоятъ дѣло почти со всѣми словами эсперанто. Въ спряженіи господствуетъ тотъ же произволь: *as*—настоящ. время, *is*—прошедшее, *os*—будущее, условное наклоненіе—*us*—и т. п. Запомнить все это, конечно, не такъ легко и просто, какъ это кажется д-ру Заменгофу. Просматривая его „полный учебникъ“, состоящій изъ 16 параграфовъ и занимающій четыре странички самаго маленькаго формата, замѣчаешь отсутствіе хотя бы такого важнаго указанія, какъ правило объ удареніи. На какомъ мѣстѣ оно ставится? Читая стихи на языкѣ эсперанто, мы находимъ удареніе на предпоследнемъ слогѣ слова, что объясняется, вѣроятно, влияніемъ польскаго языка. Въ другихъ случаяхъ, однако, удареніе стоитъ на концѣ словъ. Что же касается *звучности* эсперанто, то ея источникъ (тамъ, гдѣ, дѣйствительно, она можетъ быть констатирована) заключается въ *подражаніи* языка итальянскому. „Но, *mia kor, ne battu maltrankvile!*“ (о, мое сердце, не бейся безпокойно!) восклицаетъ въ одномъ стихотвореніи составитель. Но вѣдь вся эта фраза является только искаженіемъ романскихъ словъ, какъ и подобная ей: „Но *mia kor, post longa laborada*“... Итакъ, *нужно знать* романскіе и германскіе языки, отчасти также славянскіе, чтобы легко и быстро разбираться въ эсперанто. Для человѣка, не обладающаго *никакими* лингвистическими знаніями, онъ представляетъ едва-ли меньшую трудность, чѣмъ всякій другой иностранннй языкъ. Вѣдь трудность этого послѣдняго заключается по большей части, а иногда почти исключительно въ словарѣ, а не въ грамматикѣ. Воспитанникъ русской классической гимназіи временъ процвѣтанія грамматической зубрежки, Л. Заменгофъ естественно могъ преувеличить значеніе трудностей такого изученія. Но представляеть-ли такія непреодолимая затрудненія грамматика французскаго или англійскаго языковъ, чтобы потребовалась замѣна ея грамматикой эсперанто? Конечно, только незнакомство со словаремъ этихъ языковъ можетъ

послужить главной помѣхой для того, чтобы понимать ихъ, а грамматику французскаго языка въ ея основныхъ чертахъ (безъ рѣдко употребляемыхъ глагольныхъ формъ) можно запомнить едва-ли съ большимъ трудомъ, чѣмъ грамматику эсперанто. Специальная критика этого языка (*Coouturat et Leau*. 330—363) указываетъ на произволь въ созданіи азбуки эсперанто, на допускаемыя имъ неблагозвучныя сочетанія звуковъ (*eksciti, sciencia*), на черезчуръ частое употребленіе звука *j* (*kaj la plejbonaj patroj*) и т. под. Будучи приверженцами идеи всемірнаго языка, названные авторы отдають должное и достоинствамъ эсперанто, который они считаютъ способнымъ жить и развиваться. Дѣйствительность, однако, уже въ значительной мѣрѣ обнаружила ошибочность этой надежды.

Несмотря на пламенные стремленія идеалистовъ, примкнувшихъ къ идеѣ Л. Заменгофа, число его приверженцевъ было все-таки довольно незначительно: въ началѣ 1903 года ихъ было всего около 8 тысячъ человѣкъ, теперь, вѣроятно, нѣсколько десятковъ тысячъ, а можетъ быть и нѣсколько сотъ тысячъ человѣкъ. По даннымъ, относящимся къ июню 1910 года, число эсперантистскихъ обществъ превысило уже 1500. Но въ эсперанто уже наступилъ расколъ: всемірннй языкъ, выйдя изъ предѣловъ маленькой группы людей, встрѣтилъ индивидуальныя требованія, съ которыми пришлось считаться. Въ концѣ 1907 года онъ подвергся основательной реформѣ. Создали *новую* грамматику и *новый* словарь, и получился *новый* языкъ Идо. Теперь, когда я пишу эти строки, передо мной лежитъ воззваніе пастора Шнеебергера, который горячо рекомендуетъ это „Идо“, утверждая, что его можно изучить *шутя*, такъ какъ его грамматика состоитъ изъ немногихъ простыхъ правилъ, не знающихъ исключеній. Запоминаніе словъ не требуетъ большого труда, *такъ какъ* многія изъ нихъ извѣстны изъ родного или иностранныхъ языковъ и т. под. Получается такимъ образомъ сказка „про бѣлаго бычка“. Идо, какъ оказалось, опять-таки не всѣхъ удовлетворило, и попытки новыхъ и новыхъ искусственныхъ языковъ продолжаютъ донынѣ. Еще въ 1907 году былъ предложенъ міру новый искусственный языкъ, *Novilatin*, проф. Беермана. Конечно, не подлежитъ сомнѣнію, что это далеко не послѣдняя попытка въ этой области, но признаніе пастора Шнеебергера, что словарь „Идо“ тѣмъ хорошъ, что въ немъ много уже *знакомыхъ* изучающему словъ, является убійственнымъ для дѣла. Точно также фантастическимъ надеждамъ одного изъ энтузіастовъ „всемірнаго языка“, проф. Бодуэна-де-Куртенэ, можно противопоставить его собственное заявленіе, что онъ достигъ возможности понимать безъ затрудненія всякій эсперантскій текстъ (за исключеніемъ тамъ и сямъ отдѣльныхъ словъ) постѣ двухнедѣльной работы, посвящая этому изученію ежедневно 12 часовъ. А такъ какъ проф. Бодуэнь-де-Куртенэ по специальности своей лингвистъ, который хорошо знаетъ много древнихъ и новыхъ языковъ и, конечно, можетъ найти почти всѣ источники

эсперантского словообразования, то онъ свидѣтельствуешь, въ сущности, о чрезвычайной трудности изученія не только этого, но и всякихъ искусственныхъ языковъ. Говорю: *всякихъ* потому, что, по существу, между однимъ или другимъ изъ этихъ языковъ разницы нѣтъ: надо заучивать не продуктъ коллективнаго творчества многихъ вѣковъ и поколѣній, но созданіе одного человѣка или группы людей, которымъ пришло въ голову создать такую-то грамматику и образовать такой-то словарь, по принципамъ, логичность и ясность которыхъ не отшлифовалась вѣками употребленія этого языка въ народѣ. Произволъ одного человѣка господствуетъ здѣсь такъ же, какъ и во всѣхъ искусственныхъ языкахъ, сочиненныхъ для извѣстнаго момента и извѣстной надобности. И именно вотъ это стремленіе *подчинить* себя въ языковомъ отношеніи группу людей является пережиткомъ весьма давнихъ отношеній между людьми: *cujus regio, ejus lingua*. Въ дѣтскомъ возрастѣ это стремленіе проявляется наивно и непосредственно, у взрослыхъ сочинителей языковъ оно принимаетъ характеръ идеалистическаго чувства: „для единого человечества нуженъ единый языкъ“, а въ политикѣ то же стремленіе къ *подчиненію* и въ области языка формулируется государственными соображеніями иногда весьма сомнительной доказательности. Одинъ нѣмецкій писатель рассказываетъ (Юстусъ Мёзеръ, см. интереснѣйшую названную выше статью Р. Мейера, стр. 268), что въ дѣтствѣ онъ съ нѣсколькими товарищами основалъ ученое общество, въ которомъ они пользовались особеннымъ, ими самими сочиненнымъ языкомъ. Одинъ составилъ грамматику этого языка, другой сочинилъ словарь: были придуманы и печать общества, и календарь, и стали издавать журналъ, при чемъ увлеченіе мальчиковъ было настолько велико, что учителя съ трудомъ побѣдили его.

Подобныхъ фактовъ наука знаетъ немало: они показываютъ, что элементъ *воли* до сихъ поръ играетъ еще очень важную роль въ образованіи языка, иногда принимая даже атактистическую форму сочиненія однимъ человѣкомъ языка, обязательнаго для другихъ. Не лишено справедливости замѣчаніе проф. Лескина („Zur Einführung“... 392), что, по словамъ д-ра Заменгофа, вѣмцы и русскіе и др. *должны* принять въ его языкъ то и то, „только самъ д-ръ Заменгофъ, повидимому, *никогда ничего не былъ долженъ*“ (въ области языка). Таковы, вообще, законодатели языка на всей землѣ. Выходило, такимъ образомъ, что культурное человечество должно принять для международнаго общенія не тотъ или другой изъ существующихъ и широкораспространенныхъ языковъ, но тотъ, который самъ единолично выдумалъ Л. Заменгофъ. Фактически же эта выдумка искусственнаго языка вовсе не диктуется культурными потребностями. Тамъ, гдѣ сталкиваются на незначительной территоріи многія разноязычныя племена, имъ, дѣйствительно, приходится прибѣгать къ какимъ-нибудь средствамъ взаимнаго пониманія, и, какъ мы видѣли, при скудости культур-

наго запаса, характерной для такихъ племенъ, имъ и удается изобрѣсти эти средства или въ видѣ языка жестовъ, или въ видѣ какого-нибудь общаго говора, или, наконецъ, въ формѣ пониманія обѣими говорящими сторонами языковъ другъ друга. Но у культурныхъ народовъ этой потребности просто не существуетъ: европейскихъ языковъ, на которыхъ говорятъ въ Азій и Европѣ, Африкѣ, Америкѣ и Австраліи, вовсе немного. Это языки французскій, распространенный во всей Европѣ, англійскій, на которомъ говорятъ въ Японіи и Китаѣ, Австраліи и Америкѣ, отчасти русскій и нѣмецкій языки. Этого совершенно достаточно, чтобы объѣздить весь культурный міръ и вести любыя сношенія съ иностранцами. А для того, кто читаетъ по англійски, нѣмецки, французски, русски, открываются еще такія богатства человѣческаго духа, такія великія произведенія человѣческаго разума, передъ которыми, конечно, блѣднѣетъ жалкая „литература“ любого искусственнаго языка, которая создана однимъ или нѣсколькими людьми и должна замѣнить богатства, накопленные цѣлыми вѣками жизни цѣлыхъ народовъ. Да и для дѣловыхъ сношеній веденіе корреспонденціи на языкѣ того иностраннаго народа, съ которымъ поддерживаются оживленныя торговыя связи, не представляетъ никакого практическаго неудобства, потому что эти связи требуютъ постояннаго взаимнаго обмѣна вовсе не только путемъ писемъ или поѣздокъ коммивояжеровъ. Въ области научной сама собой создается международная терминологія по всякой специальности. Естественное сближеніе народовъ вызываетъ образованіе множества тождественныхъ словъ для обозначенія различныхъ сторонъ культурной жизни. Въмѣстѣ съ предметами заимствуются и названія ихъ, и такъ было, несомнѣнно, уже въ древнѣйшія времена человечества. Такимъ образомъ, представляя съ точки зрѣнія психологическаго изученія языка явленіе весьма любопытное, искусственные языки, навѣрное, никогда не будутъ призваны къ сколько-нибудь значительной культурной роли и останутся лишь развлеченіемъ и прихотью людей, увлекающихся всѣмъ необычнымъ и склонныхъ къ фантазерству.

Какая мнѣ польза отъ того, что на языкѣ эсперанто я окажусь въ состояніи переписываться съ какимъ-нибудь бразильцемъ или жителемъ Сиднея, если меня съ нимъ не связываетъ ничего, кромѣ празднаго любопытства. Если же мнѣ, дѣйствительно, *нужно* вступить съ нимъ въ сношенія, то я найду для этого способъ помимо эсперанто. Но, вообще говоря, самая вѣроятность того, что мнѣ могутъ понадобиться эти отношенія, въ высшей степени ничтожна. Что же касается государства, то какой же „государственный“ народъ откажется отъ своего права вводить объединяющее начало въ видѣ *своего* языка въ присоединенныхъ областяхъ и замѣнить этотъ *свой* языкъ всѣмъ чужимъ, искусственнымъ языкомъ, придуманнымъ самолично Львомъ Заменгофомъ или даже цѣлой „Академіей“?

Конечно, вопросъ объ общемъ языкѣ науки представляетъ извѣстное значеніе, но возраженія противъ употребленія въ научныхъ сочиненіяхъ національныхъ языковъ, сдѣланныя кружкомъ ученыхъ защитниковъ искусственнаго языка (см. выше, кн. „Weltsprache und Wissenschaft“ 1909), эти возраженія не представляются убѣдительными. „Если бы даже ученые были совершенно свободны отъ національнаго эгоизма, то ихъ соотечественники все же принуждали бы ихъ пользоваться національнымъ языкомъ не для того, чтобы содѣйствовать развитію науки, но для того, чтобы своимъ ученымъ творчествомъ они оказывали помощь своему національному языку и *вмѣстѣ съ тѣмъ* (damit) своему народу“. Такъ полагаютъ совершенно правильно приверженцы „мирового языка“ науки, забывая, что претензіи, предъявляемыя „соотечественниками“ къ ученымъ, вполне справедливы и логичны, и что онѣ останутся въ силѣ и тогда, когда будетъ сочиненъ такой всеобщій языкъ. Тѣмъ не менѣе, уже въ 1900 году, благодаря всемирной выставкѣ въ Парижѣ, возникла „Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale“ (Делегация для принятія международнаго вспомогательнаго языка), которая въ 1907 году, закончивъ предварительную работу, рѣшила предложить свой проектъ международному союзу Академій. 15 октября 1907 года начались засѣданія коммисіи изъ 16 членовъ въ Collège de France; въ нее входили Оствальдъ, Кутюра, изъ лингвистовъ Бодуэнъ-де-Куртене и Есперсенъ и др. За основу международнаго языка былъ принятъ эсперанто, который и подвергся различнымъ реформамъ, вызвавшимъ большое возмущеніе среди правотѣрныхъ эсперантистовъ. Эти послѣдніе даже запретили именовать реформированный языкъ эсперанто, и тогда Делегация приняла названіе „internaciona linguo di la delegitaro“, откуда и пошло названіе *идо*. По словамъ изобрѣтателей языка *идо*, превосходство его надъ эсперанто просто бросается въ глаза. Однимъ изъ достоинствъ оказался, напр., словарь „основныхъ словъ“, заключающій въ себѣ 5400 названій, изъ которыхъ (что отмѣчается съ особеннымъ удовольствіемъ) *сорокъ процентовъ* содержится во *всѣхъ шести* нижепоименованныхъ языкахъ: нѣмецкомъ, англійскомъ, французскомъ, итальянскомъ, русскомъ и испанскомъ. Отсюда противникъ международнаго языка могъ бы сдѣлать выводъ, что количество общихъ словъ, созданныхъ культурообмѣномъ человечества, уже настолько велико, что нѣтъ надобности въ особыхъ искусственныхъ словаряхъ. И, повидимому, сами составители *идо* остановились передъ этимъ соображеніемъ. Такія общія слова, говорятъ они, „доказываютъ существованіе международнаго языка, независимо отъ всякой теоріи“. Это было бы правильно, если бы слово *языка* замѣнить выраженіемъ *словаря*.

Въ началѣ 1909 года была учреждена новая организція для распространенія всемирнаго языка, охватившая, какъ увѣряютъ составители

названной книги, всѣ части свѣта. Это былъ „Союзъ друзей международнаго языка“ (Unione di l'amiki di la linguo internaciona), состоящій изъ Comitato, комитета, завѣдующаго практическими сторонами дѣятельности Союза, и Академіи, взявшей на себя „научное изслѣдованіе международнаго вспомогательнаго языка“. Самымъ интереснымъ вопросомъ, какимъ задалась делегация, и который разработанъ и въ ея публикаціи о всемирномъ языкѣ, является „примѣненіе логики къ проблемѣ международнаго языка“. Здѣсь рѣчь идетъ, повидимому, о возрожденіи старинныхъ мечтаній о философскомъ языкѣ. Ни въ чемъ не обнаруживается такъ ярко нежизнеспособность искусственныхъ языковъ, какъ въ стремленіи ихъ составителей придать разъ навсегда законченный „философскій“ характеръ ихъ построеніямъ. Между тѣмъ, по мнѣнію автора этой главы въ коллективномъ изданіи, французскаго философа Кутюра, права на логическое совершенство языку *идо* даютъ слѣдующія его достоинства. Глаголь и имя различаются въ немъ только по окончаніямъ. „Это всегда одно и то же понятіе, выраженное основнымъ словомъ, которое переходитъ изъ одной грамматической категоріи въ другую. Это положеніе вещей вытекаетъ изъ одного принципа, на которомъ зиждется все строеніе международнаго языка. Каждый элементъ слова (морфема) представляетъ собою одно элементарное понятіе, которое *остаётся постоянно неизмѣннымъ* (immer derselbe bleibt), такъ однако, что комбинація этихъ элементовъ обладаетъ опредѣленнымъ смысломъ, даннымъ сочетаніемъ соответствующихъ мыслей (durch die Verbindung der korrespondierenden Gedanken)“. Стоитъ прочесть хоть это рассужденіе Кутюра, чтобы видѣть въ международномъ языкѣ вовсе не прогрессъ человѣческой мысли, но, напротивъ, возвращеніе къ той ея беспомощности, когда она не могла освободиться отъ путъ конкретности. Вѣдь въ австралійскихъ или негрскихъ языкахъ каждый формальный элементъ, т. е. суффиксъ или приставка, дѣйствительно, обладаютъ конкретнымъ, имъ присущимъ самостоятельнымъ значеніемъ, такъ что соединеніе этихъ элементовъ съ основой является „сочетаніемъ“ соответствующихъ мыслей, употребляя выраженіе Кутюра. Лишь постепенно мысль челоука освободилась отъ этого точнаго соответствія формальныхъ элементовъ слова опредѣленному значенію, и тогда явилась возможность выражать съ помощью грамматическихъ образованій всяческіе оттѣнки мысли, не связанной *разъ навсегда* (какъ въ *Идо*) опредѣленнымъ значеніемъ суффикса. Такимъ образомъ, искусственный всемирный языкъ, разработанный цѣлой коллегіей ученыхъ, или оказывается возвращеніемъ къ тому прошлому, когда мысль коснѣла въ устахъ конкретнаго словообразованія, или простымъ сочетаніемъ алгебраическихъ знаковъ, какъ въ т. наз. „философскихъ“ языкахъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ и *идо*, какъ эсперанто или воляпюкъ, обречено на распространеніе въ кругу немногочисленныхъ энтузіастовъ и въ свое время

забудется, уступивъ, какъ и его предшественники, живой потребности человечества въ языкахъ, въ которыхъ творчество совершается свободно всякимъ говорящимъ. Печальная судьба всѣхъ искусственныхъ языковъ даетъ яркое доказательство именно того положенія, что языкъ есть не что-нибудь заранѣе и разъ навсегда данное, но постоянное творчество говорящей среды и отдѣльныхъ членовъ ея.

ГЛАВА XII.

Образъ и слово.—Развитіе значенія слова.—Слова безъ образа.—Понятія.—Сужденія.

Обратимся теперь къ основнымъ элементамъ рѣчи. Мы говоримъ словами и, какого бы ни были происхожденія слова современныхъ языковъ, въ каждомъ изъ нихъ все-таки сознание говорящаго лица опредѣляетъ извѣстные звуковые комплексы, какъ цѣльныя слова. Какъ мы видѣли, въ нѣкоторыхъ изъ языковыхъ типовъ, напр. въ языкахъ банту и въ американскомъ типѣ инкорпорации, сочетаніе словъ производится такимъ образомъ, что цѣлое предложение, въ сущности, становится однимъ словомъ. Тѣмъ не менѣе, и здѣсь современный человѣкъ, говорящій на такомъ языкѣ, отдаетъ себѣ отчетъ, что это предложение раздѣляется на отдѣльныя слова, изъ которыхъ каждое является носителемъ особаго значенія. И вотъ вопросу о значеніи слова и будетъ посвящена настоящая глава. Прежде всего передъ нами психологическая проблема образа, такъ какъ и въ предшествующемъ изложеніи постоянно приходилось указывать на связь между образомъ и словомъ. Семасіология, ученіе о развитіи значеній слова, должна исходить именно изъ психологическаго изученія образнаго мышленія человѣка ¹⁾.

Образъ не есть что-нибудь цѣльное и опредѣленное. Напротивъ, „внимательное наблюденіе показываетъ, говоритъ Ж. Филиппъ, что наши обычные образы вовсе не являются картинами, которыя раскрываются сразу передъ глазами зрителя, но что они должны подвергаться процессу терпѣливой и медленной реконструкціи, подобно разсыпанной мозаикѣ. Каждый обломокъ этой послѣдней, будучи поставленъ на свое мѣсто, выясняетъ мѣсто другого обломка, который нужно отыскать, и въ этой работѣ терпѣливой реконструкціи нужно умѣть извлекать каждую подробность, одну за другой, изъ области безсознательнаго, гдѣ онѣ таятся и откуда ихъ вызываютъ эти непрерывные призывы.“ Но далеко не всѣ люди оказы-

¹⁾ I. Philippe. L'image mentale. Evolution et Dissolution. 1903. E. Peil-laube. Les images. Essai sur la mémoire et l'imagi nation. 1910. G. H. Betts. The distribution and functions of mental imagery 1909. O. Ganzmann. Ueber Sprach—und Sachvorstellungen. 1902.

ваются въ состояніи продѣлать этотъ трудъ и собрать разъединенные куски образа; только рѣдкимъ, особенно одареннымъ умамъ удается осуществить эту задачу въ полной мѣрѣ. Разумѣется, при такомъ состояніи нашего сознания образъ не есть нѣчто простое, поддающееся формулировкѣ безъ дальнихъ словъ. Наряду съ образами простыми и ограниченными, образами еще недавняго происхожденія и свѣжими въ памяти, имѣются и такіе, которые по своему характеру представляютъ уже какъ бы синтезъ, какъ будто бы они были составлены изъ побочныхъ образовъ, достаточныхъ каждый для того, чтобы остановить на себѣ пѣликомъ нашъ взглядъ. Какъ напр., создать въ своемъ воображеніи образъ какой-нибудь улицы? Этотъ образъ будетъ составной, состоящей изъ нѣсколькихъ частей, вызванныхъ сознаниемъ и сопоставленныхъ имъ. Но есть образы средняго типа, наиболѣе обычные въ нашей жизни. „На первый взглядъ они даютъ только общее впечатлѣніе, которое необходимо углубить, если желаешь большей точности, но которое и безъ того достаточно для обычнаго теченія нашей умственной жизни“. На ихъ анализѣ Ж. Филиппъ и останавливается подробнѣе, такъ какъ имъ и принадлежит самое видное участіе въ нашей духовной жизни. По его убѣжденію, всякій образъ состоитъ изъ двухъ рядовъ различныхъ элементовъ: одинъ образуетъ самое существо образа, его ядро; другой—его оболочку, прибавочные признаки, которые стали необходимы и, какъ таковыя, дополняютъ образъ и готовятъ его къ той роли, которую онъ долженъ играть въ мірѣ образовъ. Лишь благодаря этимъ послѣднимъ, онъ легко можетъ принять участіе въ нашей умственной дѣятельности. А между тѣмъ, эти элементы составляютъ въ дѣйствительности только часть образа, который можно понять и безъ нихъ, но тогда отъ образа осталось бы такъ немного, что едва ли его можно было бы и представить себѣ. „Поэтому, такая внѣшняя оболочка является, въ дѣйствительности, неотдѣлимой отъ образа, и для того, чтобы ихъ диссоциировать, необходимо дѣятельное участіе анализа“. Изъ этихъ какъ бы второстепенныхъ, но, въ сущности, совершенно необходимыхъ элементовъ нѣкоторые являются скорѣе логическими, чѣмъ изобразительными (représentatifs). Это наблюдается особенно въ образахъ, возникшихъ давно и нуждающихся для восстановленія своей полноты въ дѣятельности разума: та или другая подробность выпала изъ памяти, но сознание подсказываетъ, что она *должна* была существовать. Разумѣется, такіе образы, дополняемые путемъ словесныхъ умозаключеній, не могутъ быть приписаны доязыковому умственному существованію животнаго или человѣческаго предка. Здѣсь слѣдуетъ предположить очень смутные и общіе образы, легко смѣшивающіеся по извѣстнымъ признакамъ сходства съ другими болѣе или менѣе подходящими. „Рядомъ съ этими (логическими) элементами, говоритъ названный изслѣдователь, мы находимъ элементы вполне картинныя (figuratifs), и теперь составляющіе интегральную часть образа,

но его первоначальному воспріятію ни въ коемъ случаѣ не принадлежащія. Это элементы, прибавленные вполнѣдствіи для заполнения пустоты и пропусковъ, которые вредили бы связности образа. Откуда они явились? Теперь это трудно было бы опредѣлить, потому что мы собирали ихъ справа и слѣва, почти повсюду. Несомнѣнно, въ тотъ моментъ, когда мы ихъ вызвали, они находились въ обладаніи какого-то образа этого рода, но будучи тѣсно связаны ни съ однимъ“. Такъ, человекъ, забывъ всѣ детали видѣннаго имъ зданія, восполняетъ ихъ воображеніемъ вслѣдствіе того, что въ его памяти встаютъ сходныя особенности другихъ зданій; ему кажется, вслѣдствіе смѣшенія этихъ образовъ, что та или другая деталь наиболѣе гармонировала бы съ этимъ зданіемъ. Такой процессъ происходитъ внѣ сознательнаго стремленія дополнить и объяснить, какъ въ первомъ случаѣ, и его, повидимому, слѣдуетъ приписать умственной жизни, предшествующей возникновенію языка. При томъ при развитіи сознания и образованіи словъ именно это нарощеніе постороннихъ признаковъ въ образѣ должно было явиться причиной метафорическихъ выраженій того типа, о которомъ мы будемъ говорить дальше. Возникновеніе такихъ прибавочныхъ подробностей происходитъ слѣдующимъ образомъ: „Когда я представляю себѣ то, что есть въ дѣйствительности, и если мнѣ оказывается трудно представить это, я испытываю моментъ утомленія; я ищу, я не понимаю предмета безъ какой-то подробности, и вотъ непосредственно затѣмъ появляется образъ; я не выдумываю его, я могъ его видѣть гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ, но это всегда будетъ нѣчто, что окажется въ согласіи съ остальнымъ“. Весьма часто, однако, въ нашихъ образахъ остаются настоящіе пропуски, не восполняемые ни воображеніемъ, ни логическимъ размышленіемъ, и мы чувствуемъ, что образъ не полонъ.

Выдѣляя перечисленные выше прибавочные элементы, мы получаемъ самый образъ. „То, что является прежде всего, когда ищешь образъ самъ по себѣ, оказывается чѣмъ-то въ родѣ силуэта, совокупности или массы, въ которой быстро намѣчаются главныя линіи, и гдѣ фиксируются понемногу контуры и важнѣйшіе пункты. Все это еще очень не точно; это какое то смутное цѣлое; между тѣмъ, уже и этимъ образъ отличается отъ всякаго другого аналогичнаго или смежнаго. Онъ уже пріобрѣтаетъ свою индивидуальность“. Иногда такой образъ сопряженъ еще и съ чувствомъ, болѣе или менѣе отчетливымъ. Это чувство помогаетъ намъ находить подробности, необходимыя для полноты образа. Такія подробности, иногда слабо связанныя съ цѣлымъ, выплывающія въ нашей памяти, какъ отдѣльные образы, оказываются часто гораздо болѣе яркими, чѣмъ самый образъ, но гораздо болѣе мимолетными; фиксировать ихъ иногда не удается. И наконецъ, въ каждомъ образѣ есть нѣчто, что придаетъ ему жизненность, тотъ центральный элементъ, около котораго складываются вторичныя образованія. Эти „живыя подробности,

свидѣтели нашихъ чувствъ“, придаютъ всему образу его индивидуальность. Вотъ заключеніе, къ которому приходитъ французскій психологъ въ результатъ своего изслѣдованія природы образа. Для языкознанія оно полно значенія: вѣдь, если слово является названіемъ представленія, образа, то естественно предположить, что словомъ означаетъ именно эта *живая часть* образа, и остается только выяснить, какой изъ признаковъ предмета легче всего можетъ составить такую „живую часть“. Такимъ образомъ, уже исходя изъ фактовъ психологій, мы можемъ предположить, что слово могло быть названіемъ собственно не всего предмета, а только извѣстнаго признака его, „свидѣтеля нашихъ ощущеній“ (le témoin et résidu de nos sensations), что, въ свою очередь, находится въ связи съ *эмоціональнымъ* характеромъ первоначальной человѣческой природы.

Обратимся, однако, къ дальнѣйшему анализу образа въ изложеніи д-ра Филиппа. Онъ отмѣчаетъ, что смутность и неясность образа, дѣлающія изъ него простой субститутъ воспріятія, представляютъ большую экономію для умственной жизни. „Упрощенія этого рода необходимы для быстраго функціонированія умственнаго организма, и представляется вѣроятнымъ, что мы сами совершаемъ ихъ инстинктивно съ самаго начала умственной жизни, чтобы избѣгать переобремененія. При этомъ намъ прекрасную услугу оказываетъ наше умѣніе (aptitude) *отвлекать*, т. е. отнимать отъ образа и забывать бесполезные элементы; это отвлеченіе не ограничивается тѣмъ, что уменьшаетъ бремя образа; оно точно также уменьшаетъ самое число образовъ“. Въ основаніи *значенія словъ* и лежатъ, такимъ образомъ, или упрощенныя, или отвлеченныя представленія, такъ что иногда со словомъ можетъ связываться, какъ это вытекаетъ изъ природы образа, весьма упрощенное представленіе, а иногда слово не будетъ покрывать уже никакого образа вовсе. Это происходитъ вслѣдствіе свойства образа терять, мало-по-малу, свою изобразительную силу (la force représentative); вмѣстѣ съ тѣмъ съ нимъ происходитъ и другая перемѣна: онъ утрачиваетъ постепенно свою способность являться въ нашемъ сознаніи съ какой-то роковой силой, какъ бы навязанной намъ извнѣ, точно воспріятіе, въ которомъ мы не способны что-нибудь измѣнить. Въ концѣ концовъ, такое представленіе, конечно, совершенно исчезло бы изъ нашего сознанія, не оставивъ послѣ себя никакого познавательнаго элемента, если бы оно не было зафиксировано словомъ, которое когда-то означало именно самую живую часть образа. Но забываются изобразительные элементы представленія и замѣняются логическими, которые являются послѣдствіемъ нашихъ собственныхъ умственныхъ операцій (Filippe. 51). Переносъ это положеніе въ область ученія о значеніи словъ (семасіологій), мы можемъ сказать, что слово означаетъ первоначально извѣстный признакъ предмета, наиболѣе поразившій вниманіе того, кто сочинилъ и распространилъ его; потомъ, когда блѣднѣетъ

образъ, значеніе слова связывается уже не съ первоначальнымъ представленіемъ, но съ тѣмъ образомъ предмета, который конструированъ съ помощью элементовъ, привнесенныхъ сознаниемъ. Разумѣется, такой образъ настолько индивидуаленъ, что слово, собственно, не связывается уже ни съ какимъ опредѣленнымъ образомъ.

Психологическій анализъ природы образа обнаруживаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что духовная жизнь, въ которой преобладаетъ смѣна образовъ, осуждена на чрезвычайную скудость. Несомнѣнно, въ смыслѣ накопленія запаса познаній, эти образы представляютъ большое значеніе. „Большая часть нашихъ теперешнихъ воспріятій представляетъ собою не что иное, какъ старыя, но возстановленныя впечатлѣнія, болѣе или менѣе ожившія; отсюда вытекаетъ, что ихъ образы совершенно естественно входятъ въ группы, уже заранѣе созданныя другими аналогичными образами, гдѣ они и сливаются въ одно цѣлое. Иногда даже они совершенно исчезаютъ въ ней; тогда они живутъ въ далекомъ безсознательномъ мірѣ, гдѣ становятся такими смутными и блѣдными, что мы не можемъ даже возстановить ихъ въ своемъ сознаниі, когда мы этого хотимъ“ (J. Philippe. 61). Но когда-то эти смутные образы могли быть живыми и дѣятельными; съ ними могло связываться названіе, метафорическое выраженіе, и вотъ теперь, когда образъ сталъ блѣденъ и уже не можетъ быть вызванъ произвольно изъ глубины полусознательнаго, названіе осталось. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ это названіе можетъ прикрывать собою опредѣленный образъ, напр., новый образъ вмѣсто стараго; оно можетъ также не вызывать ровно никакого образа или вызывать такой образъ, который обладаетъ признаками вышеуказаннаго *логическаго* происхожденія, что, въ сущности, близко къ отсутствію образа совсѣмъ. Наконецъ, слово можетъ служить обозначеніемъ для *цѣлаго ряда образовъ*, и этотъ случай заслуживаетъ особеннаго вниманія. Анализъ д-ра Филиппа показываетъ, что уже въ нашемъ сознаниі, помимо нашей воли, подготавливается тотъ результатъ, который закрѣпляется словомъ. Заключается онъ въ смѣшеніи образовъ. „Мы легко можемъ вообразить себѣ, что число образовъ для каждаго предмета пропорціонально числу представленій, которыя мы получали отъ нихъ, и мы думаемъ, напр., что, желая мыслить о лошади, мы представляемъ себѣ сначала образъ одной лошади, которую мы видѣли, потомъ образъ другой, непосредственно за этимъ иные, и такъ до безконечности, пока мы не перестанемъ думать объ этомъ, придавъ нашему уму другое направленіе. А такъ какъ съ дѣтства мы видѣли почти безконечное число лошадей, то намъ остается только сказать, что количество образовъ ихъ у насъ почти безконечно, и что ихъ полное перечисленіе представило бы нескончаемый списокъ. Въ дѣйствительности дѣло обстоитъ иначе... Не слѣдуетъ думать, что число нашихъ образовъ возрастаетъ съ числомъ соответствующихъ представленій: напротивъ, первое тѣмъ меньше, чѣмъ чаще возобновля-

ются представленія, и чѣмъ болѣе обычные предметы даютъ эти представленія. *Повтореніе не умножаетъ образовъ: оно ихъ обобщаетъ.* Наблюденіе обнаруживаетъ (вопреки всякому ожиданію), что образы бываютъ тѣмъ болѣе рѣдки, чѣмъ многочисленнѣе и чаще ихъ представленія. Совсе не усиливая образа съ помощью накопленія общихъ элементовъ, появленіе образа, аналогичнаго предшествующему, ослабляетъ его и стираетъ присущіе ему характерные признаки... Образы, повторяющіеся послѣдовательно одинъ за другимъ, не накапливаются, но смѣшиваются и сливаются одни съ другими, и ихъ число уменьшается по мѣрѣ того, какъ увеличивается количество ихъ возвращеній“. Но сохраняется то, что объединяетъ всѣ эти образы: слово.

Наиболѣе конкретными являются наиболѣе рѣдкіе образы, характерныя черты которыхъ бываютъ очень отчетливыми, опредѣленными и легко доступными описанію. Но всякое представленіе охватываетъ не только предметъ, но и окружающую его обстановку; при видѣ статуи въ музеѣ, предметъ, но и окружающую его обстановку; при видѣ статуи въ музеѣ, мы вспоминаемъ и самый музей. Вспоминая, возстановляя въ своей памяти весьма живой образъ Сикстинской Мадонны Рафаеля въ Дрезденѣ, я не могу, напримѣръ, отдѣлаться отъ воспоминаній о маленькой, полукруглой залѣ, въ которой она стоитъ, о красныхъ диванахъ, расположенныхъ противъ этой картины, о публикѣ, бывшей одновременно со мной въ этой залѣ. Но, разумѣется, если бы я много разъ въ своей жизни былъ въ этой самой залѣ, всѣ постороннія рафаелевской Мадоннѣ представленія стерлись бы изъ моей памяти, а это значитъ, что въ центрѣ образа осталось бы лишь его ядро. „Чѣмъ чаще повторяется образъ, тѣмъ болѣе онъ имѣетъ тенденцію отдалиться отъ конкретнаго типа“ (J. Philippe. 76). Возникаютъ различныя переходныя формы, пока образъ не превращается въ чистое отвлеченіе. „Абстрактный образъ“—это нѣчто столь общее, что уже не поддается индивидуальному описанію. Какія индивидуальныя черты принадлежатъ, напр., печатному большому А, и не правы ли тѣ, кто на вопросъ наблюдателя объ этихъ чертахъ отвѣчали: „Если бы я долженъ былъ нарисовать А, это было бы самое банальное А, потому что ни одно изъ нихъ не останавливаетъ моего вниманія, и я не могу сказать: я видѣлъ такое-то А въ такомъ-то мѣстѣ... Особенно относительно А вы не найдете среди людей, какъ мы (много читающихъ), ничего, кромѣ абстракцій: слѣдовало бы спросить о немъ людей неграмотныхъ, которые видѣли его очень мало. Подобный отвлеченный образъ не будетъ соответствовать, напр., *этой* булавкѣ, но какой-то булавкѣ вообще, и иногда такая абстракція заходитъ настолько далеко, что уже теряется возможность вызвать соответствующій образъ. И тогда *слово*, какъ названіе этой абстракціи, остается единственнымъ хранителемъ ея въ сознаниі. Конечно, умственной жизни неговорящихъ существъ наличность такихъ „отвлеченныхъ образовъ“ не можетъ быть приписана.

Образы подвержены известнаго рода измѣненіямъ, и этотъ процессъ тѣмъ болѣе важенъ, что онъ бросаетъ психологическій свѣтъ и на измѣненіе значеній словъ, образованіе метафорическихъ выраженій. Иногда мы обладаемъ очень живымъ образомъ, и онъ стоитъ въ нашей памяти такъ ясно, точно мы его дѣйствительно созерцаемъ глазами. Но, какъ оказывается, въ дѣйствительности, этотъ образъ уже не соотвѣтствуетъ предмету. Когда-то и почему-то онъ подвергся незамѣтно для насъ самихъ измѣненію, несколько не утративъ при этомъ своей яркости. Причина этого заключается въ той умственной почвѣ, на которую ложатся представленія. Зрительный образъ нуждается для того, чтобы запечатлѣться въ сознаніи человѣка, въ известной умственной подготовкѣ. Д-ръ Филиппъ даетъ анализъ представленій, которыя связывались у одного и того же ребенка въ теченіе 29—39 мѣсяцевъ его жизни, послѣдовательно, съ одной и той же картинкой. Ребенокъ схватывалъ только отдѣльныя черты, по которымъ и давалъ свое толкованіе картинкѣ.

Выше мы видѣли, что *узнаваніе* предметовъ представляетъ одинъ изъ самыхъ важныхъ умственныхъ процессовъ въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ. Здѣсь же слѣдуетъ подчеркнуть, что передъ этимъ узнаваніемъ отодвигается на задній планъ различіе подробностей. По словамъ названнаго изслѣдователя, „дѣтя не рисуетъ такъ, какъ взрослый человѣкъ, по двумъ причинамъ: во-первыхъ, вслѣдствіе своей неумѣлости, а во-вторыхъ и особенно, потому, что его зрительныя представленія болѣе скудны и несовершенны, чѣмъ наши, и потому, что оно не видитъ такъ же хорошо, какъ мы, предмета, на который оно смотритъ такъ же, какъ и мы. Наши представленія являются продуктомъ чувствъ, терпѣливо воспитанныхъ; они дополняются каждый разъ съ помощью нашихъ предшествовавшихъ представленій. Дѣтя не настолько развито, его воспріятія не такъ полны, какъ наши, и дѣлаются такими лишь постепенно“. Тѣ измѣненія, которымъ подвергаются образы, могутъ быть сведены къ слѣдующимъ типамъ: образъ обнаруживаетъ тенденцію къ полному исчезновенію или, напротивъ, онъ становится болѣе точенъ, но при этомъ измѣняется и переходитъ въ другую группу образовъ или же приближается къ общему типу, представляющему группу, часть которой онъ составляетъ (J. Philippe. 116). Не трудно видѣть, что этимъ измѣненіямъ образа соотвѣтствуютъ т. наз. переносныя значенія словъ: метафоры и синекдохи. Не останавливаясь подробно на тѣхъ случаяхъ, когда образъ просто исчезаетъ, слѣдуетъ коснуться именно этихъ двухъ послѣднихъ случаевъ, имѣющихъ, какъ сейчасъ указано, значеніе для семасіологии. Какъ совершается процессъ измѣненія такихъ образовъ? По изслѣдованію д-ра Филиппа, „известныя подробности вынадаютъ, какъ въ случаяхъ абстракціи, но въ то же время другія болѣе выявляютъ себя, становятся выдающимися чертами и занимаютъ весь рисунокъ; такимъ образомъ, онъ постепенно превращаютъ его

въ очень отчетливое и очень индивидуальное представленіе, но относящееся къ другой группѣ, нежели первоначальное представленіе“. Что касается обобщенія образа, то здѣсь совершается эволюція этого послѣдняго въ направленіи къ прежде существующему типу, который представляеть „пунктъ притяженія“. Подъ влияніемъ уже имѣющагося образа, приобрѣтаютъ известныя подробности и вновь возникающіе, принадлежащіе къ той же группѣ. Но та или другая черта воспріятія настолько сильно врѣзалась въ память, что и при обобщеніи образа можетъ сохраниться, какъ его индивидуальный признакъ, и даже передаться обобщенному образу, какъ новая подробность его.

Подводя итоги изложенному выше анализу образа, можно сказать, что для пониманія семасіологии знакомство съ психологической природой образа совершенно необходимо. Какъ мы видѣли выше, въ основаніи образа лежитъ чувство, но вѣдь то же самое я долженъ былъ отмѣтить при изслѣдованіи первыхъ начатковъ дѣтской рѣчи: слова ея возникаютъ лишь тогда, когда эмоція вызываетъ потребность въ крикѣ. Этотъ эмоциональный элементъ, мало-по-малу, утрачиваетъ свою живость въ образѣ, который получаетъ все болѣе познавательный характеръ. Соотвѣтственно съ этимъ и слова дѣтской рѣчи изъ восклицаній, мало-по-малу, превращаются въ указанія, а потомъ становятся лишь обозначеніями, названіями. Образъ, данный *именно этимъ*, опредѣленнымъ воспріятіемъ, обобщается въ образъ опредѣленной группы, дѣлается, наконецъ, типомъ, если встрѣчается, повторяется часто. И здѣсь передъ нами опять-таки имѣется соотвѣтствіе въ семасіологии: какъ мы увидимъ въ дальнѣйшемъ изложеніи, Г. Пауль первый отмѣтилъ несомнѣнно существующее различіе между значеніями общими (*usuell*) и тѣмъ, которыя относятся именно къ этому, опредѣленному случаю (*casuell*).

Къ приведенному выше психологическому анализу природы образа я присоединю здѣсь наблюденія Бетса, не лишеныя значенія и для семасіологии, тѣмъ болѣе, что онъ изучалъ именно не-словесные образы (*non-verbal imagery*). Изслѣдуя способность людей вызывать по своему желанію образы предметовъ, онъ пришелъ къ заключенію, что этой способностью обладаютъ все люди, при чемъ индивидуальныя различія заключаются только въ степени живости образовъ. Люди, привыкшіе по своимъ специальнымъ занятіямъ къ отвлеченному мышленію, въ значительной мѣрѣ утрачиваютъ яркость образовъ, такъ что даже студенты, надъ которыми производились опыты, превосходятъ въ этомъ отношеніи своихъ преподавателей. Съ обычной точкой зрѣнія, согласно которой зрительные образы при намѣренномъ вызваніи образности имѣютъ перевѣсъ надъ иными, Бетсъ не согласенъ; по его мнѣнію, по своему качеству образы довольно равномерно распределяются въ нашемъ сознаніи, и это замѣчаніе относится не только къ зрительнымъ и слуховымъ, но и къ

осязательнымъ образомъ. Американскій психологъ отрицаетъ существованіе умовъ, способныхъ только къ тому или другому типу образнаго мышленія. „Не можетъ быть никакого сомнѣнія, полагаетъ онъ, что большинство умовъ избираетъ извѣстныя формы образности и пользуется ими больше, нежели иными типами; но съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что на практикѣ различныя типы образности могутъ занимать одинаково важное мѣсто въ нашемъ мышленіи, поскольку рѣчь идетъ о произвольномъ вызываніи образовъ“ (Betts. 47).

Что касается не зависящаго отъ нашей воли образнаго мышленія, то американскій психологъ отмѣчаетъ фактъ, несомнѣнно, не лишены значенія и для семаіологін: человекъ, способный вызвать по своему желанію тотъ или другой образъ, можетъ быть въ своемъ произвольномъ умственномъ обиходѣ очень бѣденъ образами и мыслить только съ помощью внутренней рѣчи. „Въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, умъ слѣдуетъ только основному закону экономіи силъ и пользуется такими элементами, которые исполняютъ больше всего работы при наименьшей затратѣ энергій“. Другими словами, мышленіе съ помощью внутренней рѣчи является болѣе производительнымъ, чѣмъ мышленіе съ помощью образа, и потому съ развитіемъ перваго все больше вытѣсняется второе. Какъ совершается этотъ процессъ, мы уже видѣли: чрезмѣрное накопленіе признаковъ обезцвѣчиваетъ образъ и превращаетъ его въ нѣчто столь блѣдное, что уже не можетъ быть вызвано въ воображеніи даже при усиліи. Но, покуда образность сохраняется, въ произвольномъ образномъ мышленіи преобладаютъ типы зрительные. Опытъ Бетса далъ въ такомъ мышленіи 73 процента зрительныхъ образовъ при анализѣ образовъ, связанныхъ со словомъ, тогда какъ съ 27 процентами словъ не связывалось никакого образа. Въ тѣхъ случаяхъ, когда слово связывалось съ образомъ, оно въ 27% всѣхъ наблюденій сопровождалось *позже* возникшимъ образомъ, тогда какъ въ 47% образъ и слово возникали одновременно. Но 11 человекъ, 14% всей группы, подвергавшейся изслѣдованію, обнаружили у себя полное отсутствіе образности: они думали только словами, а такъ какъ въ опытахъ Бетса фигурировали даже письменный образъ произносимаго или мыслившагося слова, то здѣсь приходится констатировать неспособность нѣкоторыхъ изъ современныхъ людей имѣть, вообще, образы предметовъ, о которыхъ они мыслятъ. Можно думать, что эта неспособность, вообще, возрастаетъ въ культурномъ человечествѣ: уже болѣе, чѣмъ въ четверти всѣхъ случаевъ, говорятъ Бетсъ, образное мышленіе совершенно отсутствовало, а болѣе, чѣмъ въ четверти ихъ, образъ возникалъ только послѣ слова, что, по существу, уже близко приближается къ первой группѣ. Особенно же это относится, конечно, къ отвлеченнымъ словамъ, въ родѣ *религія, молодость, животное, человечество* и т. п. Какъ обнаружили подобныя опыты, производившіяся надъ дѣтьми школьнаго возраста въ

Америкѣ (въ Чикаго), у дѣтей и съ такими словами связывались тѣ или другіе зрительные образы, тогда какъ въ наблюденіяхъ надъ взрослыми показанія ихъ относительно наличности того или другого образа производятъ впечатлѣніе чего-то придуманнаго. Напр., вотъ *образы*, связывавшіяся въ отвѣтахъ студентовъ Columbia University со словомъ *религія*: „Зрительный образъ человека, колѣнопреклоненнаго передъ идолами. Слуховой образъ слова религія. Зрительный образъ жреца и идоловъ. Смутный образъ склонившихся людей. Зрительный образъ слова религія. Образъ слова *вѣра*, а также и церкви. Зрительный образъ слова религія. Образъ слова *вѣра*, а также и церкви. Зрительный образъ христианина и язычника во время богослуженія. Зрительный образъ африканца. Зрительные и слуховые образы нѣкоторыхъ ораторовъ (speakers). Зрительный образъ людей, идущихъ въ церковь“. Въ концѣ-концовъ, ни одинъ изъ этихъ образовъ, кромѣ чисто словесныхъ, не даетъ чего-либо характернаго для понятія *религія*, и для человечества большая выгода отъ того, что, какъ указаніе на опредѣленный комплексъ настроеній и мыслей, это слово *не можетъ* покрывать собою опредѣленный образъ и огромнымъ большинствомъ людей мыслится уже внѣ всякой связи съ тѣмъ или другимъ образомъ.

Бине и Симонъ идутъ еще дальше въ этомъ отрипаніи значенія образа для развитія мысли. Въ отвѣтахъ лицъ, съ которыми Бетсъ производилъ свои опыты, постоянно подчеркивается наличность смутнаго чувства, сопровождавшаго отвѣты. Независимо отъ этихъ наблюденій, но на основаніи изученія психологій афатиковъ и слабоумныхъ, лишенныхъ внутренней рѣчи, французскіе психологи ¹⁾ утверждаютъ, что „мысль есть нѣчто отличное и отъ образа, и отъ слова, что она есть нѣчто другое, что она составляетъ иной элементъ. „Но въ чемъ состоитъ этотъ элементъ? Мы предполагаемъ, что онъ имѣетъ характеръ чувства. Это было бы чувство интеллектуальное, слѣдовательно, по своей природѣ довольно неопредѣленное; тѣмъ не менѣе, мы ощущаемъ его присутствіе, и особенно его послѣдствія. И именно своими послѣдствіями оно открывается передъ нами, ибо мысль вовсе не есть состояніе; это—дѣйствіе, жестъ; послѣдствія жеста можно замѣтить гораздо лучше, чѣмъ самый жестъ. Американскіе психологи прекрасно это поняли, когда установили противоположность между психологіей *структуры* и психологіей *функции*; первая является, по преимуществу, описательной, она рассказываетъ о состояніи того, что есть, вторая занимаетъ свое особое мѣсто съ точки зрѣнія дѣйствія, она подчеркиваетъ то, что служитъ, что оказываетъ пользу, то, что образуется. То, что составляетъ мысль, является ощущеніемъ смутнымъ и часто эмоциональнымъ того, что готовится и образуется въ насъ.

¹⁾ Binet et Simon. Langage et pensée. L'Année psychologique. 1908, стр. 338—339.

Это неопределенное чувство становится точным, когда оно является продуктом образов, слов и действий; представления, внутренней язык и действия служат сознательными формами мысли; они освещают ее, дѣлают ее видимой для насъ, раскрываютъ передъ нами ея подробности... Но они являются только послѣ мысли, они составляютъ ея результатъ; прежде, чѣмъ вообразить свою мысль и высказать ее, нужно ее понять, нужно ее сдѣлать. Это именно то *чувство*, которое диктуетъ слова и внушаетъ образы, и въ свою очередь образы и слова реагируютъ на это чувство, дѣлаютъ его болѣе широкимъ и точнымъ или модифицируютъ его при помощи отраженія (par un travail de répercussion), при чемъ причина становится дѣйствиємъ, а дѣйствіе причиной. Весьма вѣроятно, что это первоначальное (initial) интеллектуальное чувство, которое предшествуетъ образамъ и словамъ, и изъ котораго, повидимому, исходятъ эти образа и слова, подобно естественной эманации, весьма вѣроятно, это интеллектуальное чувство играетъ важную роль въ точномъ опредѣленіи (Appréciation) того, что есть наша мысль. Оно даетъ намъ предвкушеніе нашей мысли, позволяетъ намъ замѣчать ее прежде, чѣмъ она сдѣлалась опредѣленной... Во всякомъ случаѣ, существуетъ *мысль безъ образовъ, мысль безъ словъ, и мысль образуется интеллектуальнымъ чувствомъ*. Принявъ это положеніе, слѣдуетъ допустить, что *слово* можетъ принципиально и такъ могло всегда не сопровождаться образомъ, но что первоначально оно всегда связывалось съ чувствомъ, и въ анализѣ образа Ж. Филиппъ точно также отмѣчаетъ, какъ мы видѣли, присущій образамъ элементъ чувства. Въ вопросѣ о происхожденіи языка такое пониманіе, проводимое видными представителями современной психологіи, конечно, не лишено значенія. Повидимому, въ настоящее время уже никакъ нельзя видѣть въ словѣ прежде всего описательный моментъ: напротивъ, посредникомъ между словомъ и образомъ является чувство. Несомнѣнно, не только измѣненіе образа по законамъ, указаннымъ выше, но и измѣненіе чувства, вызывающаго связь извѣстной пары: образа и слова, создаетъ развитіе значеній слова, метафорическія выраженія и т. п. „Было время, говоритъ Д. И. Овсяннико-Куликовскій („Синтаксисъ русскаго языка“. СПб. 1912. Предисловіе, стр. XXIII—XXIV), когда люди дѣйствительно не имѣли въ своемъ распоряженіи отдѣльныхъ словъ, когда всякій актъ рѣчи-мысли являлся у нихъ либо въ видѣ предложенія, либо (и, повидимому, гораздо чаще) въ эмоциональной или аффективной формѣ“. Быть можетъ, только этимъ эмоциональнымъ содержаніемъ словеснаго значенія можно объяснить столь своеобразное явленіе, какъ развитіе словъ съ противоположными значеніями (напр., при *безцѣнный безцѣнокъ, худоба худоба* и т. д.). Подъ вліяніемъ различныхъ, сначала *индивидуальныхъ* условий со словомъ связывается иное чувство, чѣмъ раньше

(вмѣсто гордости—горкая иронія и т. п.), и самое значеніе слова измѣнилось¹⁾.

При изученіи психологическихъ основаній семазіологіи необходимо еще коснуться вопроса объ ассоціаціяхъ представленій, какъ чисто словесныхъ, которыя совершаются особенно быстро и легко, такъ и иныхъ²⁾. Въ основаніи ихъ также лежатъ чувство, „направляющее чувство“ (Richtungsgefühl), по выраженію одного изъ новѣйшихъ изслѣдователей этого вопроса³⁾. Слова могутъ вызывать по ассоціаціи другія слова какъ по своему количеству словъ, грамматической формѣ. Въ такихъ случаяхъ элементъ образности, конечно, отсутствуетъ. Чисто словесныя ассоціаціи приводятъ къ „игрѣ словъ“ и нерѣдко къ такимъ искаженіямъ ассоціаціи приводятъ къ „игрѣ словъ“ и нерѣдко къ такимъ искаженіямъ заимствованныхъ словъ, которыя иногда объясняются лингвистами, какъ „народно-этимологическія“ осмысленія, не будучи въ сущности таковыми. Вѣроятно, и самая народная этимологія нерѣдко является только позднѣйшимъ осмысленіемъ процесса, происшедшаго по инымъ, чисто ассоціативнымъ основаніямъ. Если, напр. *Макавей* превратились въ *Маковтевъ*, *Госпожинка* (праздникъ 15 августа) въ *Спожинки*, *Барклай-де-Толли* въ „*болтай да и только*“, то всѣ эти искаженія вытекали первоначально изъ словесныхъ ассоціацій, которыя были осмыслены⁴⁾. Направленіе этимъ ассоціаціямъ было дано, конечно, извѣстными чувствами. Но при извѣстныхъ условіяхъ источникомъ словесныхъ ассоціацій является самая вмѣшная сторона слова. „Рима и аллитерація (т. е. повтореніе извѣстныхъ звуковъ въ рядѣ словъ) обладаютъ способностью вызывать ассоціаціи“, замѣчаетъ совершенно справедливо П. Мензератъ⁵⁾ Съ очень обычными въ языкѣ словами чисто звуковая ассоціація (eine Klangassoziation) связывается въ гораздо меньшей степени, чѣмъ съ малообычными,

¹⁾ Примѣры этого явленія, однако, объясненные иначе, см. *В. И. Шериль* О словахъ съ противоположными значеніями. Филологическія записки. 1884 и *C. Abel*. Ueber den Gegensatz der Urworte. 1884 (работа весьма не критическая).

²⁾ Чисто словесныя ассоціаціи требуютъ мало времени (0,450 секунды). Слова, выражающія какія-нибудь отношенія, требуютъ больше времени“. *Г. И. Челпановъ*. Общіе результаты психометрическихъ изслѣдованій и ихъ значеніе для психологіи. Сборникъ статей (психологія и школа). М. 1912 стр. 25.

³⁾ *C. G. Jung*. Diagnostische Assoziationsstudien. Beiträge zur experimentellen Psychopathologie. I. 103 (1911). Относящееся къ интересующему насъ здѣсь вопросу о словесныхъ ассоціаціяхъ, тамъ же, на стр. 32—33.

⁴⁾ Ср. довольно, впрочемъ, вздорную статью *А. Тиммерманса* „Le rôle de l'association dans le langage“. Revue Scientifique. XX (1903), 656—660.

⁵⁾ *Paul Menzerath*. Die Bedeutung der sprachlichen Geläufigkeit oder der formalen sprachlichen Beziehung für die Reproduktion. Zeitschrift für Psychologie, 48 Band. 1908.

которые въ силу этого болѣе склонны къ измѣненіямъ. Но *слоги безсмысленные* вызываютъ особенно легко риму: *müt-röt, bim-lim*, чѣмъ и объясняется въ каждомъ языкѣ не мало созвучій, въ родѣ *чижики-пыжики*, нѣм. *Ach und Krach* и т. под. Наконецъ, въ значительной мѣрѣ словесными ассоціаціями только и могутъ быть объяснены аналогичныя грамматическія образования въ языкахъ въ родѣ: *рабъ-раба, сынъ-сына* (вмѣсто стараго *сыну*) и т. п. Всѣ эти данныя указываютъ на то, что соединеніе слова съ образомъ не есть постоянная и неизбѣжная связь, заключающаяся въ самой природѣ человѣческаго языка: можетъ измѣниться образъ, а прежнее слово будетъ связываться съ этимъ измѣненнымъ образомъ, можетъ въ индивидуальномъ сознаніи оставаться тотъ же образъ, но носить уже иное названіе.

Вопросы, которые еще подлежатъ нашему разсмотрѣнію, прежде, чѣмъ перейти къ изслѣдованію значенія словъ, слѣдующіе: 1) Можно ли мыслить одними словами, т. е. словами, не связывающимися ни съ какими образами, 2) можно-ли мыслить одними образами или исключительно такими словами, которые связаны съ образами, 3) каково отношеніе отвлеченныхъ словъ, абстракцій, къ словамъ съ образами, и 4) какова психологическая природа сужденія. Дѣло въ томъ, что значеніе слова опредѣляется не только наличностью или отсутствіемъ связи слова съ образомъ, не только развитіемъ этого послѣдняго, но и сужденіемъ, въ которое входитъ, какъ одна изъ составныхъ частей, слово. Данный въ одной изъ предшествующихъ главъ анализъ слова—фразы въ различныхъ диалектахъ языковъ показываетъ, что въ нихъ слово иногда не мыслится внѣ предложенія. То же самое, конечно, нерѣдко происходитъ и въ нашихъ языкахъ, хотя здѣсь мы можемъ отвлекать и „отдѣльныя слова“, почему и является необходимымъ выдвинуть здѣсь этотъ вопросъ объ отношеніи слова къ сужденію. Что касается мышленія съ помощью только словъ, то я ограничусь здѣсь указаніями А. Бине въ его „*Etude expérimentale de l'intelligence*“ (1903, глава VI: „Мысль безъ образовъ“). Бине ссылается на то, что при быстромъ чтеніи словъ *лошадь, домъ* и т. п. мы понимаемъ, о чемъ идетъ рѣчь, но не представляемъ себѣ никакихъ образовъ. Нужно нѣкоторое время, чтобы слово было понято, но образа при этомъ не появляется. Я думаю, что особенно легко замѣтить это на себѣ, когда читаешь текстъ на языкѣ, не настолько усвоенномъ, чтобы онъ сдѣлался почти собственнымъ языкомъ. Что значить напримѣръ выраженіе: „я говорю, по-нѣмецки, но думаю по-русски“? Не что иное, какъ то, что я перевожу свою мысль на нѣмецкій языкъ. Можетъ быть, съ русской фразой: „Его просили успокоиться“ у меня связывается (при желаніи) картина успокоенія кого то другими людьми, но, если я переведу эту фразу на нѣмецкій языкъ, то съ предложеніемъ:

„*Man bat ihn sich zu beruhigen*“ (Göthe. „*Wilhelm Meisters Wanderjahre*“) у меня связывается только представленіе о значеніи этого предложенія.

Когда я просматриваю словарь иностраннаго языка, то вовсе не образы предметовъ возникаютъ въ моемъ сознаніи при чтеніи словъ (англійскихъ) *crow, crowd, crown* и т. п., а только образы ихъ значеній или, проще, пониманіе ихъ значенія: *ворона, толпа, вѣнчность* и т. п., при чемъ и съ этими послѣдними словами не связывается никакого образа: *направленіе моей воли устремлено на пониманіе, а не на образное представленіе*. Въ такихъ случаяхъ, какъ справедливо отмѣчаетъ французскій психологъ, „рѣчь идетъ уже не о какой-нибудь смутной или неопредѣленной мысли; слово не только понимается, оно примѣняется къ опредѣленному предмету, который какъ будто отмѣченъ умственнымъ жестомъ; это господинъ такой-то или это колокольня такой-то деревни; объ этихъ предметахъ думаешь и иногда даже стараешься усиліемъ воли представить себѣ ихъ, но образъ все-таки не приходитъ“. Въ наблюденіяхъ, которыя Бине производилъ надъ дѣвочками, своими дочерьми, полное отсутствіе образовъ онъ констатировалъ все же не особенно часто; гораздо чаще было другое явленіе, объясняющееся именно ихъ стремленіемъ подыскать образъ, соответствующій слову: оно заключалось въ отсутствіи совпаденія между мыслью и образомъ. „Обыкновенно, мысль болѣе широка, болѣе объемиста: думаешь о цѣломъ, а образъ является только для части; эта часть можетъ быть важной, но иногда она оказывается только подробностью“. Слово *слонъ* вызываетъ въ воображеніи дѣвочки образъ помоста въ Jardin d'Acclimatation, съ котораго влѣзаютъ на слона, но образъ самого животнаго отсутствовалъ; при словѣ *церберъ* она сказала слѣдующее: „сначала я увидѣла это слово на золотомъ фонѣ. Я повторила это слово про себя, и тогда я увидѣла форму толстой женщины, о которой говорилъ Давидъ Копперфильдъ въ сценѣ съ Стеффордъ и маленькую карлицу (воспоминанія изъ романа Дикенса)“. На вопросъ Бине, представила-ли себѣ дѣвочка этотъ романъ, маленькую карлицу и т. д., дѣвочка отвѣтила: „О, нѣтъ. *Это должна быть мысль*. Я увидѣла какую-то толстую женщину, и я знала, что это романъ, я вовсе не сказала себѣ словами, что это—романъ „Давидъ Копперфильдъ“. Я знала это, и мнѣ не для чего было говорить“. Такимъ образомъ, можно заключить изъ приведенныхъ наблюденій: даже въ тѣхъ случаяхъ, когда при извѣстномъ напряженіи воли слову сопутствуетъ образъ, этотъ послѣдній вовсе не охватываетъ всего объема значенія слова. Мы знаемъ однако, что этотъ частичный образъ соответствуетъ такому-то слову: слѣдовательно, въ этомъ случаѣ слово не есть названіе образа, но есть названіе предмета, съ мыслью о которомъ индивидуально и въ данный моментъ былъ связанъ извѣстный образъ, но можетъ и не связываться никакого образа. То же самое относится и къ цѣ-

зовъ представляет рудиментарное состояніе жизни полусознанія, было говорено уже въ первых главахъ настоящаго изслѣдованія и тамъ же было отмѣчено, что это теченіе образовъ, направляемое извѣстнымъ чувствомъ, не можетъ дать жизни сознанія ни цѣлостности, ни характера личности. Въ этой главѣ разсмотрѣніе природы образа должно было еще крѣпче утвердить этотъ выводъ, такъ какъ здѣсь обнаружилось, какъ неустойчива, неполна и неясна эта природа образа. Зрительные и слуховые, и всѣ иные образы могутъ служить, скорѣе, спутниками чувства, побуждающаго къ дѣйствію. Возьмемъ примѣръ: слуховое воспріятіе опаснаго звѣря, укрытаго въ травѣ, можетъ вызвать одновременно и зрительный образъ его, и чувство испуга. Или страхъ, вызванный неизвѣстнымъ предметомъ (напр., при неожиданномъ шорохѣ въ травѣ), можетъ вызвать образъ предполагаемаго врага, звѣря или человѣка. Въ обоихъ этихъ случаяхъ образъ тѣсно связанъ съ чувствомъ, хотя зависимости именно какого-то чувства именно отъ какого-то образа нѣтъ: одинаковое чувство страха можетъ быть вызвано образомъ льва, тигра или другой опасности.

Но это мгновенное явленіе образа въ сознаніи животнаго и человѣка, конечно, не есть мышленіе, и ассоціація образовъ не есть послѣдовательная вереница картинъ, въ родѣ кинематографической ленты, которая даетъ намъ пониманіе событій, проходящихъ въ нашей памяти: едва ли безъ усилія воли, направленной специально на это, можетъ возникнуть такой послѣдовательный рядъ картинъ въ нашемъ сознаніи. Цитированный уже мною обладатель развитого зрительнаго воображенія (стр. 39) справедливо отмѣтилъ эмоциональный характеръ своихъ образовъ, которые будто бы соответствовали почти каждому слову. На самомъ же дѣлѣ, образъ и въ этомъ случаѣ соответствовалъ вовсе не слову, но цѣлому предложенію, которое, благодаря этому, приобрѣтало внутреннее единство. „То, что является даннымъ непосредственному опыту, говорить Пельоубъ ¹⁾, вовсе не представляетъ собою изолированныхъ состояній, смежныхъ, но внѣшнихъ (extérieurs) по отношенію другъ къ другу, какъ будто бы порхающихъ гдѣ—то въ воздухѣ, въ пустотѣ. Напротивъ, это есть масса, непрерывность, нѣчто цѣльное. Лишь впоследствии, когда усиліе анализа разрушаетъ эту непрерывность, создаются частичныя, особыя чувства и отдѣльные образы. То, что оказывается даннымъ сначала, сразу, заключается въ „непроницаемости“ внутреннихъ состояній или въ „теченіи сознанія“. Размышленіе подтверждаетъ это наблюденіе. Изолированныя состоянія никогда не смогутъ образовать рядъ, въ которомъ всякій членъ отражаетъ всѣ остальные, ассоціація идей не въ состояніи объяснить непрерывности жизни духа. Необходимо предположить существованіе подъ ассоціаціей идей (au-dessous de l'association des idées),

¹⁾ E. Peillaube. Les images. 1910, стр. 459.

примитивнаго процесса, гдѣ психологическія состоянія продолжаются одни въ другихъ и одни съ помощью другихъ. Ассоціація есть процессъ высшаго порядка, предполагающей диссоціацію: прежде, чѣмъ ассоциировать психологическіе факты, нужно предварительно выдѣлить, диссоциировать ихъ изъ массы. Ассоціація не есть примитивный процессъ; она имѣютъ дѣлю расположить въ новомъ и раціональномъ порядкѣ то, что было дано въ формѣ неупорядоченной и нераздѣленной непрерывности. Во внутреннемъ мірѣ сложное бываетъ дано раньше прорывности. Во внутреннемъ мірѣ сложное бываетъ дано раньше прорывности. Это антиподъ ассоціонизма, отрицаніе воображаемой аналогіи между матеріей и духомъ. Тѣмъ факторомъ, который разрушаетъ это единство, является, если не исключительно, то, во всякомъ случаѣ, по преимуществу, внутренняя рѣчь: слово фиксируетъ отдѣльные моменты, представленные слитнымъ образомъ въ первоначальномъ синтезѣ, выдѣляетъ части изъ цѣлаго. Съ чѣмъ же связанъ образъ: съ частью или съ цѣлымъ? Чтобы отвѣтить на этомъ вопросѣ, обратимся къ природѣ, вообще, тѣхъ знаговъ, съ помощью которыхъ люди передаютъ свои знанія и чувства другимъ людямъ. Такихъ знаговъ въ нашей обыденной жизни не мало: флаги, развѣшенные на улицахъ въ царскіе дни, иностранные флаги надъ консульствами и посольствами, красные флаги на желѣзнодорожномъ пути для указанія на опасность, андреевскій флагъ на военныхъ судахъ и т. д. вызываютъ въ нашемъ сознаніи не образы, но ассоціаціи отвлеченнаго характера, пониманіе значенія этихъ символовъ. При видѣ изображенія почтоваго рожа на географической картѣ мы понимаемъ, что та или другая линія должна означать почтовую дорогу, штрихи—горы, зеленая окраска—низменности и т. п., но едва ли найдется человѣкъ, у котораго при видѣ этихъ штриховъ на картѣ развернется передъ внутренними очами картина лѣса или въ связи съ зеленой полосой на той же картѣ картина болота. Символь заключаетъ въ себѣ толчекъ для опредѣленныхъ ассоціацій, но онъ такъ крѣпко соединенъ съ понятіемъ, что лишь при намѣренномъ усиліи съ нимъ можно связать образъ. Слово въ этомъ отношеніи гораздо болѣе подвижно. Но и здѣсь необходимо имѣть въ виду указанное г. Паулемъ различіе въ примѣненіи слова въ случайномъ (occasionell, individuell) или общемъ (usuell, generell) значеніи ¹⁾. „Подъ общимъ значеніемъ мы подразумеваемъ все содержаніе представленія, которое связывается у людей, принадлежащихъ къ одной языковой средѣ, съ извѣстнымъ словомъ, а подъ случайнымъ значеніемъ то содержаніе представленія, которое связывается съ произносимымъ словомъ говорящей человѣкъ, и котораго онъ ожидаетъ и отъ слышащаго человѣка, поскольку тотъ понялъ его мысль“.

¹⁾ H. Paul Principien der Sprachgeschichte. 3 изд. гл. IV (знаменитое сочиненіе по общимъ вопросамъ развитія рѣчи, составившее въ началѣ 80-ыхъ годовъ 19-го столѣтія эпоху въ языковеденіи).

ственное, оказывается для изслѣдователя всецѣло образнымъ. Строго говоря, и невозможно говорить о чувственномъ (sinnlich) и нечувственномъ значеніи, но можно говорить только объ образномъ, которое служить для обозначенія столько же чувственныхъ (конкретныхъ), сколько и нечувственныхъ понятій“. Я думаю, что послѣ всего изложеннаго выше относительно природы образа и относительно случайнаго, индивидуальнаго и общаго узуальнаго значеній словъ мнѣ нѣтъ надобности доказывать, что точка зрѣнія Бизе, раздѣляемая по традиціи весьма многими изъ пишущихъ по теоріи словесности, не соответствуетъ фактамъ. Слишкомъ много приписывалось роли антропоморфизму въ воззрѣніяхъ чловѣка на природу, отъ котораго будто бы и пошелъ метафорическій элементъ въ языкѣ. Я думаю, однако, что анализъ метафорическихъ выраженій долженъ привести къ инымъ выводамъ, если не считать априорной истиной, что первоначально (въ какомъ-то первобытномъ мышленіи, *Urdenken* Бизе) слово, непремѣнно, связывалось съ образомъ. Возьмемъ удачный примѣръ, приведенный датскимъ ученымъ Нюропомъ¹⁾. Онъ указываетъ на обычно связывающійся съ зеленымъ цвѣтомъ символъ надежды и радости. Отсюда выраженія „быть кому-нибудь зеленымъ“ (нѣм. *einem grün sein*) и т. под., которыя заключаютъ въ себѣ метафору, такъ какъ со словомъ *зеленый* здѣсь уже не связывается зрительнаго образа, который могъ первоначально связываться съ нимъ. Со словомъ *зеленый* въ этомъ выраженіи соединяется представленіе о благосклонности, которое ассоціируется и съ символическимъ значеніемъ зеленого цвѣта. „Сидѣть на зеленой сторонѣ“—значить пользоваться удачей; тогда какъ датское выраженіе „спать на своемъ зеленомъ ухѣ“ представляетъ, по словамъ Нюропа, бессмысленное перенесеніе имени прилагательнаго изъ одного сочетанія въ другое. „Метафорически слово *зеленый* употребляется въ другихъ значеніяхъ: напр. „молодо-зелено“, „vert et vigoureux“ (зелено и бодро, сильно), *une verte veillesse* (зеленая старость), *grüne Fische* (свѣжая рыба), *vin vert* (зеленое, еще не готовое вино), *verte réponse* (зеленый, неосновательный, поспѣшный отвѣтъ). „Къ собственному значенію слова, обозначенію цвѣта, присоединилось мало по малу множество переносныхъ значеній, которыя основаны на аналогіяхъ и сходствахъ. Перенесеніе названія одного предмета на другой на основаніи общаго обонимъ признакамъ представляетъ собою весьма обычное явленіе въ жизни языка“ (Nyrup. 114). Какъ справедливо указываетъ Фр. Бринкманъ въ своей интересной книгѣ о метафорѣ („Die Metaphern. Studien über den Geist der modernen Sprachen“. 1878), между метафорой и аллегоріей часто бываетъ трудно провести пограничную черту. Психологическое различіе между ними заключается, по его мнѣнію, въ слѣдующемъ: „Аллегорія представляетъ состоящее изъ одного или нѣсколькихъ предложеній,

¹⁾ *Kr. Nyrup. Das Leben der Wörter. 1903.*

но во вѣсѣ своихъ частяхъ совершенно образное выраженіе какой-нибудь мысли, при чемъ одна мысль выражается сходной мыслью, какъ образомъ, но этотъ послѣдній не обнаруживаетъ въ своемъ выраженіи, какъ образъ, того, что слова съ начала до конца имѣютъ нѣкоторое иное значеніе (*ἄλλο ἀφορματικῆ νοεῖ*); тогда какъ метафорическое выраженіе мысли является образомъ лишь отчасти, отчасти же употребляется въ дѣйствительномъ смыслѣ; оно обладаетъ двойственной натурой. понимается частью въ собственномъ смыслѣ, частью обратно, представляетъ въ большинствѣ случаевъ сочетаніе отвлеченнаго и конкретнаго элементовъ; слѣдовательно, во всякомъ случаѣ, понимается, какъ *образъ по себѣ*“.

Позволительно, однако, сомнѣваться въ томъ, что образное мышленіе выигрываетъ оттого, что мы говоримъ о *ножкахъ* стола, *крыльяхъ* вѣтряной мельницы, *отрасляхъ* науки, о *смысаніи* оскорбленій кровью, о *бремени* лѣтъ, о *зубѣ* противъ кого-нибудь и т. д. Со словами *отрасль науки* вовсе не связывается образа представленія объ *отрасли*, вѣтъ: вѣрнѣе всего, никакого образа въ нашемъ сознаніи не возникаетъ, когда мы говоримъ, напр., объ исторіи, какъ отрасли науки, а если мы и вызовемъ образъ исторіи, то онъ будетъ, скорѣе всего, соответствовать нашему представленію о содержаніи этой науки, а не представленію о вѣтви. Въ Лермонтовскихъ словахъ: „*румянымъ* вечеромъ или утра въ часъ *златой*“ должна быть дана зрительная картина: красный цвѣтъ неба во время заката и ярко-желтый цвѣтъ на востокѣ передъ восходомъ передаются указанными словами, Остановимся на образѣ, связанномъ со словомъ „*златой*“, золотой: когда я думаю о золотыхъ часахъ и вызываю въ своемъ воображеніи соответствующій образъ, то я рисую себѣ круглый, небольшой плоскій предметъ, производящій на ошупь ощущеніе холоднаго прикосновенія и имѣющій золотой цвѣтъ. Всѣ эти разнообразныя признаки встаютъ въ моемъ воображеніи одновременно и съ одинаковой силой. И то же самое я могу сказать о самомъ словѣ *золото*. Золота, какъ такового, я никогда не видалъ, но я видѣлъ различныя золотыя вещи и могъ бы увидѣть слитокъ золота: все это были бы различныя предметы, дающіе мнѣ конкретные образы золотыхъ вещей, и то общее, что связалось въ моемъ воображеніи со словомъ *золото*, заключается не въ одномъ золотомъ цвѣтѣ, но и въ тяжести золотыхъ вещей, и въ ихъ холодности и твердости. Между тѣмъ Лермонтовъ, называя утро золотымъ, конечно, отвлекалъ отъ образа, связываемаго различными людьми съ этимъ словомъ, лишь одинъ признакъ, его цвѣтъ. Правда, въ случайномъ, казуальномъ употребленіи такого эпитета мы видимъ средство вызвать и въ воображеніи слушателей болѣе яркій образъ, чѣмъ, должно быть, связывается со словомъ *желтый* или *ярко-желтый*, но это средство будетъ дѣйствительно лишь до тѣхъ поръ, пока употребленіе эпитета не станетъ обычнымъ. Однако, со словами „*золотое сердце*“ не соединяется пред-

ставленія о качествах золота: это уже совершенно отвлеченное слово, результат умозаключенія: „золотое, т. е. особенно хорошее сердце“. Метафора, такимъ образомъ, заключаетъ по самому своему существу ограниченіе образа, связаннаго со словомъ, и поэтому совершенно правъ О. Ганцманъ,¹⁾ указывая, что въ предложениі „поднялась буря“ заключается „переходъ отъ образнаго выраженія къ обыкновенному“. Первоначально, — справедливо полагаетъ онъ — съ этимъ предложениемъ связывался образъ; представленіе о начинающейся бурѣ соединялось съ представлениемъ о поднимающейся птицѣ. Но отъ частаго употребленія этого выраженія образный характеръ его стерся. Слово: „поднимается“ уже перестало вызывать какой-нибудь иной образъ, но непосредственно связалось съ представлениемъ о начинающейся бурѣ. Отъ выраженія: „поднимается буря“ идетъ дальнѣйшее развитіе безобразнаго употребленія этого глагола: какъ буря, такъ и волненіе на морѣ, и волненіе въ толпѣ могутъ *пониматься*, „какъ птица“.

Приведенныя соображенія имѣли цѣлью показать, что не слово, а комплексъ словъ, составляющій по смыслу одно цѣлое, могутъ быть связаны въ нашемъ сознаниі съ образомъ. Такъ, предложеніе: „гляжу, подымается медленно въ гору лошадка, везущая хворосту возъ“, сопровождается въ моемъ сознаниі лишь *одной* картиной, въ которой вовсе нѣтъ *остатъ* тѣхъ признаковъ, которые названы словами предложенія. Желая вызвать въ своемъ воображеніи соответствующую картину, я представляю себѣ снѣжную равнину, или гору, покрытую снѣгомъ, или другой зимній пейзажъ, быстро проносящійся въ моемъ воображеніи, а на этомъ пейзажѣ я вижу такой же мимолетный образъ саней, нагруженныхъ хворостомъ и везомыхъ маленькой крестьянской лошадкой. Мнѣ нужно большое усиліе, чтобы представить себѣ эту картину въ цѣломъ, такъ какъ та или другая подробность ея, вставая въ моемъ сознаниі, какъ бы вытѣсняетъ другіе признаки, и я *сознаю*, что она *служитъ эквивалентомъ цѣлой картины* или, переводя на соответствующее картинѣ предложеніе, цѣлаго предложенія. Такимъ образомъ, повидимому, анализъ умственной жизни каждаго человѣка, какъ одареннаго большимъ воображеніемъ, такъ и лишеннаго его, долженъ привести къ тому выводу, что мыслить только словами, связанными съ образами, невозможно: это противорѣчило бы и ученію о „случайномъ“ значеніи словъ, которое опредѣляется контекстомъ, связью съ другими словами, которая устанавливаетъ ихъ *единство* (и, стало быть, соответствуетъ и *единому* образу), и основному пониманію внутренней рѣчи, которая представляетъ мышленіе словами. Только благодаря указанному отсутствію связи каждаго слова съ образомъ и было возможно развитіе формальныхъ элементовъ въ языкѣ: если бы суффиксы, приставки и окончанія, являющіеся словами, отдѣль-

¹⁾ O. Ganzmann. Ueber Sprach- und Sachvorstellungen. 1902, стр. 31.

ными отъ основы (которая въ огромномъ большинствѣ языковъ равняется самому слову), — если бы эти формальные элементы такъ же связывались съ образами, грамматическое развитіе языка сдѣлалось бы невозможнымъ. Но стоитъ сравнить слова *маленькій* и *малюсенькій*, чтобы *почувствовать* различіе въ ихъ „значеніи“. Съ обоими словами связываются различныя образы, и это различіе основывается на соединеніи основы имени прилагательнаго съ суффиксомъ уменьшительнымъ, такъ что соединеніе *двухъ* частей слова даетъ *одинъ* образъ. То же самое происходитъ и при соединеніи имени прилагательнаго съ существительнымъ (большой домъ — одинъ образъ), и при соединеніи глагола съ существительнымъ (птица летитъ — одинъ образъ). Но какой образъ можетъ связываться съ глаголомъ *былъ* и, вообще, съ грамматическими элементами, указывающими на отношенія предметовъ? Итакъ, мыслить образами, какъ и мыслить только образными словами, нельзя.

Теперь передъ нами вопросъ о *семасіологическомъ* значеніи отвлеченныхъ словъ. Послѣ того, какъ было установлено въ предшествующемъ изложеніи, что слова не всегда должны соединяться съ образами, и что весьма часто слова и вовсе не соединяются съ ними, и что психологическая природа каждаго образа представляетъ нѣчто весьма неопредѣленное, мимолетное, склонное къ слиянію съ другими образами и т. под.; послѣ этого происхожденіе нашихъ абстрактныхъ словъ представляется довольно яснымъ. По методологическимъ соображеніямъ, въ силу которыхъ я уже ранѣе обращался къ патологій рѣчи, я начну и здѣсь свое изложеніе съ патологическихъ крайностей¹⁾. При прогрессивномъ слабоуміи отвлеченныя представленія исчезаютъ, причемъ сначала, на болѣе раннихъ стадіяхъ развитія этой болѣзни, выраженія ихъ еще не исчезаютъ. При нѣкоторыхъ явленіяхъ истеріи точно также, хотя и временно, исчезаетъ способность ствлеченныхъ представленій. Въ состояніяхъ афатическихъ подвергается нарушенію способность отвлеченнаго мышленія, что должно быть поставлено въ связь съ дефектами внутренней рѣчи, такъ какъ отвлеченнымъ представленіямъ соответствуютъ не образы, а слова. Тщательному обследованію этого пораженія профессоръ нѣмецкаго Пражскаго университета, И. Пякъ, подвергъ 46-лѣтнюю женщину, служившую на электрическомъ трамваѣ и доставленную въ клинику въ состояніи истерическаго сумеречнаго сознанія.

На рядъ поставленныхъ ей вопросовъ: что такое управляющій (трамваемъ), учитель, школа и т. п. (при чемъ слѣдуетъ отмѣтить, что вопросы вытекали изъ разговора, а не стояли внѣ связи съ кругомъ ея представленій) больная отвѣчала незваніемъ и нетерпѣливымъ недоумѣніемъ, и тогда же давала описательные отвѣты. Когда ее попросили рассказать басню, то съ помощью и подсказкой она рассказала басню про

¹⁾ A. Pick. Ueber das Sprachverständnis. Leipzig. 1909.

Андрокла и льва, по морали разказа не понимала и не могла натолкнуться на слова: „благодѣяніе, благодарность“ (въ баснѣ разсказывалось о томъ, какъ Андроклъ вылѣчилъ льва). Больная заявила, пересказывая басню, что, „если при словѣ ей ничего не приходитъ въ голову, то она не знаетъ, что оно означаетъ; она имѣетъ (hat) только слово, и ей ничего не приходитъ въ голову“. То же самое она подтвердила, когда ей предложили вопросъ о телефонѣ: „то, что она можетъ себѣ представить, она сейчасъ же узнаетъ, но, если она не можетъ это сдѣлать, то она и не знаетъ“. Наконецъ, при послѣднемъ изслѣдованіи, черезъ 5 мѣсяцевъ послѣ перваго, больная заявила, что „она можетъ теперь немного думать, а прежде для нея все было пусто. Напримеръ: ей говорили слово, а она не знала, что это такое; ей не приходило въ голову никакой мысли при словѣ. Она не знала слова, не узнавала его, не было никакой связи съ другими словами“. Такимъ образомъ, не было въ распоряженіи больной отвлеченныхъ словъ, и она не могла вслѣдствіе этого мыслить, хотя прежде, принимая извѣстное участіе въ социалистическомъ движеніи среди рабочихъ Праги, она должна была оперировать съ довольно разнообразнымъ кругомъ отвлеченныхъ представлений. Проф. Пикъ полагаетъ, что указанный дефектъ происходилъ отъ того, что у больной „отсутствовали соответствующія конкретныя представленія“: ей приходилось вызывать конкретныя представленія по буквальному смыслу слова, который не всегда соответствовалъ его значенію („Augenblick? Wenn man mit den Augen blinzelt“: „Мгновение? когда мигаютъ глазами“). Съ другими же отвлеченными словами соединялись представленія о хорошо извѣстныхъ пражской жителяхъ вещахъ. Такъ, на вопросъ, что такое *театръ*, она отвѣчала: „Národní Divadlo“ (національный театр); на вопросъ о гражданахъ она отвѣтила: „Пражскіе граждане, это тѣ, что носятъ форму (національная милиція); есть почетные граждане и затѣмъ простые городскіе жители“. На вопросъ о томъ, что такое благодѣяніе, она назвала фамилію чешскаго богача-благотворителя и т. д. Вообще, пониманіе общихъ и отвлеченныхъ представлений оказывалось возможнымъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ сознаніи больной возникали образы (конкретныя и специально оптическія воспоминанія, по выраженію Пика). Подобные случаи были указаны уже не разъ въ психіатрической литературѣ: такъ, одинъ больной, подвергшійся послѣ сильнаго ушиба полной амнезии, мало по малу приобрьлъ отвлеченныя представленія съ помощью конкретныхъ; про другого больного англійскіе врачи, изслѣдовавшіе его, полагали, что „его умъ состоитъ исключительно изъ понятій, тѣсно связанныхъ съ недавно приобрьтенными практическими свѣдѣніями“. Эти данныя указываютъ, такимъ образомъ, что конкретныя представленія гораздо раньше возникаютъ въ человѣческомъ сознаніи и гораздо крѣпче держатся здѣсь, позже исчезая при умственныхъ заболѣваніяхъ, чѣмъ общія представленія. Образы являются

первичнымъ приобрьтеніемъ человѣческаго сознанія; за ними слѣдуютъ общія и абстрактныя представленія, далеко не всегда связывающіяся съ образами, но требующія, какъ непремѣнное условіе своего возникновенія, наличности таковыхъ. Въ дальнѣйшемъ развитіи умственной жизни употребленіе этихъ общихъ и отвлеченныхъ представлений стираетъ ихъ обранный субстратъ, но въ извѣстныхъ болѣзненныхъ состояніяхъ, изученныхъ, какъ мы видѣли выше, психіатрами, отсутствіе такого субстрата дѣлаетъ невозможнымъ и самое отвлеченное мышленіе. Слѣдовательно, на глубинѣ отвлеченнаго мышленія покоются конкретные образы. Какъ увидимъ дальше, развитіе словъ, означающихъ понятія, вполне подтверждаетъ этотъ психологическій выводъ.

Здѣсь опять я обращусь къ изслѣдованію А. Бине¹⁾, которое полагаетъ прочныя основы для семасіологии. Бине ставитъ вопросъ о пониманіи словъ, для котораго, по его мнѣнію, вовсе не требуется наличности образа. при томъ преимущественно оптическаго, въ сознаніи воспринимающаго лица. Дѣйствительно, при *быстромъ* повтореніи словъ, при *быстромъ* пониманіи ряда произвольныхъ словъ испытуемый субъектъ оказывается не въ состояніи назвать сопутствующій слову образъ. Иногда же со стороны дочерей Бине, бывшихъ объектомъ изслѣдованія, слѣдовалъ характерный отвѣтъ: „Иногда, чтобы не терять времени, я сама избѣгала образа и старалась думать о чемъ-нибудь другомъ.—Ну, а если бы не избѣгала? Тогда я имѣла бы болѣе живой образъ“. Даже болѣе: подчеркивая свое желаніе получить указанія на образъ, связанный со словомъ, изслѣдователь и въ этомъ случаѣ не всегда получалъ удовлетворительный отвѣтъ. „О какой шляпѣ вы думаете?“ спрашивалъ Бине, и получалъ такіе отвѣты: „я думалъ о шляпѣ вообще“ или „я думалъ безразлично о какой-то шляпѣ“. „Неправильно сказать *вообще*; я старалась представить себѣ одинъ изъ тѣхъ предметовъ, которые связаны со словомъ, но я не представляю себѣ ничего“. Отсюда Бине дѣлаетъ выводъ, что это „мысли неопредѣленныя, остановившіяся въ своемъ развитіи, оставшіяся эмбрионами“. Затѣмъ онъ переходитъ къ вопросу объ образахъ, вызываемыхъ словомъ отвлеченнымъ или общимъ. Еще Рибо въ своемъ трудѣ объ эволюціи общихъ идей указалъ на то, что у всѣхъ людей то или другое слово не соединяется ни съ какими образами, а вызываетъ только мысли, часто неясныя и неопредѣленныя; иногда связываются съ ними образы написанныхъ словъ, иногда, довольно часто, какіе-нибудь частныя образы (при

¹⁾ A. Binet. L'étude expérimentale de l'intelligence. 1903, гл. VIII. „La pensée abstraite et ses images“. (Отвлеченная мысль и ея образы). Новая литература по этому вопросу (O. Taylor. Ueber das verstehen von Worten und Sätzen. Zeitschrift für Psychologie и др.) приведена и разсмотрѣна въ изслѣдованіи американскаго ученаго Мура: Th. Verner Moore. The process of abstraction. An experimental study. University of California Publications in Psychology. November. 1910.

словъ *собака* является образъ известной собаки). Наконецъ, можетъ явиться и общее представленіе; однако, данныя, приведенныя Бине, показываютъ, что лицо, ссылающееся на *общій* характеръ своего образа (зима вообще), сознавало, что это общее представленіе потому, что здѣсь не было ничего частнаго. При словѣ *лошадь* въ сознаниі одной изъ дочерей Бине явился образъ какой-то лошади, бѣгущей по Avenue Jacquemiot. „Это не была какая-нибудь лошадь, которую я знаю. Такъ какъ я знаю видъ лошадей, то я могла очень хорошо представить себѣ одну изъ нихъ“. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ пѣбующійся образъ не обладаетъ такими признаками, которые позволяли бы приурочить его къ опредѣленной датѣ или мѣсту. „Умъ, поставленный лицомъ къ лицу съ этимъ образомъ, можетъ сказать ему: ты не напоминаешь мнѣ ничего въ частности, я не могу связать тебя съ воспріятіемъ, которое я имѣлъ тогда то, тебѣ не хватаетъ конкретной реальности, ты—неполный образъ. Такимъ образомъ, это абстрактный образъ, понимая подъ этимъ словомъ образъ, лишенный элементовъ, которые позволили бы сдѣлать его частнымъ“. Въ другихъ же случаяхъ образъ слишкомъ не точенъ, чтобы его можно было связать съ известнымъ воспріятіемъ: такъ, является образъ человѣка, но его особенности совершенно ускользаютъ отъ воображенія, и онъ остается человѣкомъ вообще. И вотъ такой образъ, или неточный, или не связанный опредѣленно съ мѣстомъ и временемъ, становится общимъ, соответствуетъ отвлеченному или общему названію, какъ *человѣкъ* (вообще), *истина* и т. п. Если стать на точку зрѣнія наулевскаго подраздѣленія значеній на общія и частныя, то именно общему значенію и можетъ сопутствовать общій образъ. „Нашъ умъ, завладѣвая подобнымъ образомъ, говоритъ ему: такъ какъ ты не представляешь ничего въ частности, я заставлю тебя представлять все. Это назначеніе исходитъ отъ нашего ума. Другими словами, мысль объ общемъ исходитъ изъ направленія мысли къ совокупности вещей“. (Binet. 154). При анализѣ словарнаго состава языка дикарей мы видѣли, что на этомъ пути къ обобщенію словъ и останавливается мысль дикаря. Связанная цѣпями образности, она не можетъ освободиться отъ того первичнаго обобщенія, которое представляется въ названіяхъ какихъ-нибудь видовъ и предметовъ (породы птицъ, звѣрей, вида дѣйствій), но даже такія обобщенія, какъ *птица*, *человѣкъ*, *бить* (вообще) не всегда оказываются ей доступны, потому что она нуждается не въ общихъ образахъ и не въ словахъ безъ образовъ, но въ конкретныхъ образахъ.

Въ связи съ затронутымъ здѣсь предметомъ я посвящу еще нѣсколько замѣчаній „процессу абстракціи“, о которомъ я отчасти уже говорилъ раньше по поводу изслѣдованія д-ра Ж. Филиппа о природѣ психологическаго образа. Весьма обстоятельная работа Мура о процессѣ абстракціи привела его къ слѣдующимъ выводамъ: 1. Процессъ абстрак-

ціи начинается разрушеніемъ единства группы, представленной воспріятіемъ. Въ этомъ разложеніи группы общій элементъ подчеркивается въ ущербъ окружающимъ элементамъ. Эти послѣдніе оказываются не только внѣ вниманія (neglected), они положительнымъ образомъ выкидываются и исчезаютъ болѣе или менѣе совершенно изъ поля сознанія. 2. Разложеніе группы открываетъ собою процессъ воспріятія (of perceiving) общаго элемента. Этотъ процессъ совершается путемъ ассимиляціи воспринятыхъ ощущеній известнымъ умственнымъ категоріямъ. Воспріятіе направляется отъ того, что является болѣе общимъ, къ тому, что представляетъ собою частное. Созданіе воспроизводимаго образа представляетъ позднѣйшую и несущественную стадію воспріятія. 3. Удержаніе въ памяти воспринятой фигуры зависитъ въ значительной степени отъ способа запоминанія. Запоминаніе съ помощью анализа и ассоціаціи имѣетъ очень опредѣленные преимущества передъ запоминаніемъ съ помощью воображенія (образности, imagery)... 4. Воспризнаніе (фигуры, видѣнной одинъ разъ, заключаетъ элементъ увѣренности или неувѣренности, иначе говоря, въ воспризнаніи заключается утвержденіе или же сомнѣніе, а слѣдовательно это есть завершенное, остановившееся на пути (suspended) сужденіе... 5 Конечный результатъ абстракціи, то, что воспринимается, какъ общее многимъ группамъ, представляетъ собою главнымъ образомъ понятіе, отличное отъ образности и чувства. Это не есть какое-нибудь элементарное понятіе, но то, что представляетъ ассимиляцію воспринятаго чувствами болѣе или менѣе сложной умственной категоріи или, можетъ быть, многимъ такимъ категоріямъ. Эти умственные категоріи могутъ разсматриваться, какъ результатъ прошлаго опыта“. (Moore. 190—191).

То, что имѣетъ здѣсь ближайшее отношеніе къ семасіологіи, заключается въ справедливомъ указаніи изслѣдователя на необходимость въ процессѣ абстракціи разложить первоначальный образъ, выдѣлить изъ него одинъ изъ элементовъ, общій нѣсколькимъ группамъ. Языкъ отмѣчаетъ этотъ общій признакъ, создавая слова, заключающія въ себѣ указаніе на какую-нибудь общую черту цѣлаго ряда предметовъ. Такъ, разнообразныя вещества обладаютъ тѣмъ общимъ свойствомъ, что могутъ быть превращены тѣмъ или инымъ способомъ въ краски, и вотъ эти вещества, лазурь, тушь и т. под., объединены словомъ по одному общему имъ признаку въ понятіе *о краскѣ*, окрашивающемъ веществѣ, хотя другія свойства туши, лазури и др. могутъ быть совершенно различны. При этомъ, какъ указываетъ американскій психологъ, и это выдѣленіе признака, и запоминаніе воспринятаго совершается наилучшимъ образомъ съ помощью сужденія, т. е. той формы мысли, которая, непремѣнно, предполагаетъ сочетаніе словъ. Образы остаются и здѣсь въ тѣни передъ мышленіемъ словами. Каково же отношеніе понятія къ слову?

Понятіе тѣсно связано съ сужденіемъ. Генезисъ его представляется

однимъ изъ современныхъ психологовъ въ слѣдующихъ чертахъ ¹⁾. Понятія раздѣляются на аналитическія и синтетическія. „Первыя являются представленіями такихъ предметовъ, которые должны были выдѣлены съ помощью анализа изъ какого-нибудь большаго цѣлага, и которыя только въ соединеніи съ этимъ цѣлымъ могутъ быть представлены образно (*anschaulich*), сами же по себѣ эти предметы не доступны подобному образному представленію. Таковы представленія о признакахъ, свойствахъ, отношеніяхъ, которыя возникаютъ тогда, когда вниманіе отвлечено отъ того, что обладаетъ этими признаками или свойствами, и отъ тѣхъ звеньевъ, между которыми существуютъ отношенія. Эти представленія признаковъ и отношеній нуждаются, конечно, для своего возникновенія въ процессѣ отвлеченія: какъ бы этотъ послѣдній ни происходилъ, результатомъ его должна быть изоляція соотвѣтственнаго признака отъ окружающей его обстановки. Въ чемъ же заключается эта изоляція? Въ *представленныхъ сужденіяхъ*. Конкретно положеніе вещей представляется при этомъ слѣдующимъ образомъ. Пусть дѣло идетъ объ образованіи абстрактнаго представленія о формѣ доски, на которой я пишу слова. Исходный пунктъ для образованія этого абстрактнаго представленія даетъ представленіе поверхности доски (стола), какъ цѣлаго, это составляетъ *субстратное* представленіе. Изъ такого цѣлага, представленнаго съ помощью этого субстратнаго представленія, выдѣляется процессомъ отвлеченія форма; вниманіе играетъ здѣсь, какъ извѣстно, рѣшающую роль. Но одного его недостаточно. Для того, чтобы возникло отвлеченное представленіе, я долженъ отвлечь все вниманіе отъ всего остальнаго. кромѣ формы стола: я долженъ все остальное выкинуть изъ своего ума, а это выкидываніе происходитъ именно въ формѣ представленныхъ сужденій: „другое, остальное не существуетъ“, или „существуетъ только форма“. Что это именно представленные сужденія, объ этомъ нечего и распространяться, такъ какъ въ дѣйствительности никому бы не пришло въ голову составить сужденіе, что существуетъ только форма стола“. Понятія о признакахъ и отношеніяхъ, добытыя аналитическимъ путемъ, служатъ затѣмъ матеріаломъ для построенія другого типа такихъ безобразныхъ представленій, именно синтетическихъ понятій. Для образованія и такихъ понятій необходимы вышеуказанныя „представленные сужденія“, которыя присоединяютъ къ предмету субстратнаго представленія тѣ или другіе признаки, сохраняя первоначальные признаки предмета этого основнаго (субстратнаго) представленія или устраняя ихъ. Полученное аналитическимъ или синтетическимъ методомъ понятіе можетъ и само сдѣлаться субстратнымъ представленіемъ, вслѣдствіе чего получаютъ понятія, по необходимости лишеныя всякаго

¹⁾ K. Twardowski. Ueber begriffliche Vorstellungen. Wissenschaftliche Beilage zum XVI—ten Jahresbericht (1903) der philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien. Leipzig. 1903.

образнаго содержанія: напр., понятіе о звукѣ въ 100,000 колебаній или о сверхъ-человѣческой мудрости. Какъ мы видимъ изъ приведенныхъ умозаключеній К. Твардовскаго, этотъ конечный выводъ находится въ полномъ согласіи съ тѣмъ анализомъ отвлеченнаго представленія или понятія, который былъ полученъ Бине, Флиппомъ и др. путемъ изученія психологической природы образа.

Но какъ возможенъ тотъ сложный процессъ, который приводитъ къ привнесенію новыхъ признаковъ въ представленіе, лежащее въ основаніи понятія? Это возможно лишь благодаря содѣйствію языка, благодаря тому, что языкъ дѣлаетъ возможнымъ символическое мышленіе, потому что слово есть символъ, потому что обозначаемыя словами свойства, въ дѣйствительности, какъ отдѣльныя явленія не существуютъ. Если даже самые простые процессы отвлеченія могутъ обходиться безъ участія внутренней рѣчи, то все же лишь тогда эти процессы ведутъ къ образованію аналитическихъ понятій, когда выдѣленный вниманіемъ (изъ цѣлага) признакъ ассоциируется со словеснымъ представленіемъ, вслѣдствіе чего облегчается его отдѣленіе отъ всего остальнаго содержанія основнаго представленія. Другими словами, безъ трехъ видовъ представленій (1 слова, 2 основнаго представленія, 3 сужденія) не можетъ возникнуть понятіе, т. е. только существо, обладающее внутренней рѣчью, можетъ обладать мышленіемъ съ помощью понятій. Эта роль языка въ опредѣленіи того, что такое понятіе, подчеркивается психологіей уже съ древнѣйшихъ временъ, когда начался анализъ умственныхъ процессовъ. Историческій очеркъ Крейбига ¹⁾ обнаруживаетъ, какъ уже этимъ первымъ изслѣдователямъ душевной жизни человека было ясно, что пониманіе въ человѣческомъ смыслѣ этого слова тѣсно связано съ говореніемъ. „Понятіемъ я называю то, говорить Аристотель, что высказывается, и то, о чемъ высказываются, именно сказуемое и подлежащее, будетъ ли при этомъ прибавлено или отнято бытіе или небытіе“ (связка—*est*). Новѣйшіе психологи отмѣчаютъ также эту связь мышленія съ рѣчью. По словамъ Зиггарта, „мы называемъ понятіемъ въ логическомъ смыслѣ этого слова такое представленіе, которое удовлетворяетъ слѣдующимъ требованіямъ: полное постоянство, совершенная опредѣленность, всеобщее совпаденіе (*Uebereinstimmung*) и недвусмысленная языковая опредѣленность (*unzweideutige sprachliche Bestimmtheit*)“. Два толкованія слова понятіе предлагаетъ Юдль въ своей „Психологіи“. По его мнѣнію, „отъ понятія въ болѣе широкомъ смыслѣ или означающаго (*connotativ*) представленія, служащаго коррелятомъ къ значенію слова въ обыкновенной рѣчи, слѣдуетъ только отличать понятіе въ логической наукѣ и научномъ словоупотребленіи, или понятіе, какъ орудіе мышленія“. Наконецъ, и то опредѣленіе понятія, которое даетъ самъ Крейбигъ, получено вслѣдствіе

¹⁾ I. Kreibig. Ueber die Natur der Begriffe (въ томъ же сборникѣ, гдѣ и статья проф. Твардовскаго).

предположения процесса постепенного отвлечения, которое совершается сознанием лишь съ помощью рѣчи. „Подъ понятіемъ вообще слѣдуетъ понимать безобразное (unanschaulich) представление съ обособленіемъ признаковъ, произведеннымъ въ духѣ экономики мысли (denkökonomisch). Научныя понятія связаны съ относительно постоянными символами (знаками, словами, формулами)“. (Kreibig. 65). Въ вышеприведенныхъ опредѣленіяхъ понятія мы находили указанія на связь понятія съ сужденіемъ, изъ чего вытекало само собой важное значеніе слова въ духовной жизни человѣка. Нѣсколько иначе смотритъ на психологическую природу понятія Гейзеръ ¹⁾, который, однако, въ конечномъ выводѣ приходитъ къ заключенію, не слишкомъ отличающемуся отъ приведенныхъ выше. „Первыми познавательными содержаніями (Erkenntnisinhalte) мышления являются безъ сомнѣнія *намѣренныя* (intentionale) мысли, т. е. такія познавательныя содержанія, которыя мыслятся нами въ отношеніи (im Hinblick) къ опредѣленнымъ объектамъ узозрѣнія (Anschauung). Если же въ этихъ, какъ и въ другихъ, случаяхъ познавательное содержаніе мысли, какъ таковое, и воодушевляющее ее намѣреніе представляютъ не два отдѣлимые другъ отъ друга душевные процесса, но лишь одинъ процессъ, то все же въ этомъ единомъ процессѣ они должны быть отдѣлены одинъ отъ другого, какъ два момента одного и того же процесса, подобно тому, какъ высота и сила образуютъ два различные момента одного и того же тона. Въ случаяхъ синтетическаго намѣренія ²⁾ оба эти момента образуютъ даже два самостоятельные душевные процесса. Вслѣдствіе этого содержанія мысли могутъ разсматриваться независимо отъ элемента намѣренія, т. е. сами по себѣ. Если же такъ, то, естественно, въ этихъ мысляхъ мы имѣемъ дѣло уже не съ интенціональными мыслями, т. е. уже не съ *сужденіями*. Вѣдь, согласно указанному выше, мы именно устрояемъ изъ нихъ тотъ элементъ, который далъ имъ ихъ природу сужденій. Но, съ другой стороны, вслѣдствіе отвлечения этого элемента, самая мысль еще никоимъ образомъ не уничтожена: вѣдь отъ самаго познавательнаго содержанія, съ которымъ связано отвлечение, намъ нечего отказываться. Такимъ образомъ, оно и остается предметомъ нашего научнаго разсмотрѣнія. А потому намъ приходится принять во вниманіе такія содержанія сознания, которыя обла-

¹⁾ I. Geysen. Grundlagen der Logik und Erkenntnislehre. Münster. 1909.

²⁾ Подъ *Intention* (намѣреніемъ) авторъ понимаетъ „die urteilbildende Beziehung“ (отношеніе, образующее сужденіе), при чемъ съ мыслью можетъ синтетически связываться это намѣреніе или (аналитически) не соединяться. „Такимъ образомъ, говоритъ Гейзеръ, въ первомъ (аналитическомъ) случаѣ сужденіе возникаетъ путемъ чистаго мышления, во второмъ (синтетическомъ) съ помощью сочетанія волей (intentionale Gedanken). Но въ первомъ видѣ сужденій намѣренность внутренне присуща мыслямъ, во второмъ внѣшне“.

даютъ природой не представленій или чувствъ, но *мыслей*, однако специфически отличны отъ сужденій (von den urteilsmässigen Gedanken) вслѣдствіе отсутствія момента намѣренія. Эти мысленныя единства, не имѣющія природы сужденій, я называю *понятіями*“. Далѣе и этотъ авторъ устанавливаетъ ближайшее отношеніе между понятіями и сужденіями. „Повятія, хотя и не просто тождественны съ сужденіями, однако стоятъ во внутренней связи съ ними. Это утвержденіе надо понимать въ двоякомъ смыслѣ: во-первыхъ въ томъ смыслѣ, что понятія происходятъ изъ интенціональных (волевыхъ, намѣренныхъ, образующихъ сужденія) актовъ мышления, а во-вторыхъ, въ томъ смыслѣ, что они имѣютъ своей цѣлью сдѣлаться носителями интвенцій, и такимъ образомъ, съ помощью содержанія, которое мы знаемъ въ нихъ, дать намъ познаніе предмета, на который направляется ихъ (образующее сужденія) положеніе“. При такомъ пониманіи природы понятій, которыя являются „содержаніями, достигающимися нашему сознанию въ качествѣ специфическаго продукта (извѣстныхъ) актовъ мысли“,—конечно, не представляется возможности исключить въ процессѣ образованія понятій необходимое участіе рѣчи. Слово не есть понятіе, но есть названіе понятія, говоритъ Гейзеръ. Иначе выражаясь, слово означаетъ то или другое содержаніе понятія (Вундтъ, Die Sprache II 455), а стало быть, и измѣненіе значенія слова должно сводиться, въ концѣ концовъ, къ процессу измѣненія самаго содержанія понятій. Именно въ виду этого мнѣ казалось необходимымъ удѣлить въ настоящемъ изслѣдованіи нѣсколько страницъ вопросу о психологической природѣ понятій. А такъ какъ понятія находятся въ ближайшей связи съ сужденіями, и самое содержаніе первыхъ—такъ или иначе—зависитъ отъ того опредѣленія, какое получаетъ въ сужденіи содержаніе понятія, то при изученіи развитія значенія словъ оказывается необходимымъ остановиться и на самомъ сужденіи.

Разумѣется, мнѣ придется оставить внѣ рамокъ изученія логическія отношенія между сужденіями и остановиться лишь на психологій этихъ послѣднихъ ¹⁾. Прежде всего слѣдуетъ разсмотрѣть отношеніе между сужденіями и представленіями. Такая постановка вопроса, диктуемая современнымъ изученіемъ генезиса сужденій, имѣетъ то непосредственное значеніе для семасіологии, что и при изслѣдованіи значеній словъ приходится точно также исходить изъ представленій, связываемыхъ со словомъ. Какъ

¹⁾ По этому вопросу я пользуюсь здѣсь слѣдующей литературой: J. Volkelt. Erfahrung und Denken. 1886. W. Jerusalem. Die Urtheilsfunction. Eine psychologische und erkenntniskritische Untersuchung. 1895. K. Marbe Experimentell-psychologische Untersuchungen über das Urteil 1901. E. Schrader. Zur Grundlegung der Psychologie des Urteils. 1903. J. Uphues. Erkenntniskritische Logik. 1909. A. Meinong. Ueber Annahmen. 2 изд. 1910. J. Geysen. Grundlagen (см. выше) 1909.

утверждаетъ Іерусалемъ (loc. cit. 78 и слѣд.), „всякое сужденіе предпо- лагаетъ и заключаетъ въ себѣ въ качествѣ одного изъ элементовъ пред- ставленіе... Подъ представленіемъ я понимаю здѣсь какой бы то ни было образъ предмета въ сознаниі, данъ ли онъ въ настоящій моментъ чув- ственнымъ впечатлѣніемъ или воспроизводится памятью... Психологически сужденіе нельзя отдѣлять отъ представленнаго содержанія. Представленіе есть психическое явленіе, въ существѣ котораго заключается обладаніе какимъ-нибудь содержаніемъ, кажуцимъ представляющему лицу предме- томъ или явленіемъ такъ называемаго внѣшняго міра. Несомнѣнно, что въ такомъ пониманіи представленіе можетъ совершаться и, дѣйствительно, часто совершается внѣ всякой связи съ сужденіями. Когда я воспринимаю цвѣтущее дерево, то я могу усвоить себѣ его образъ, хотя бы я ничего не зналъ объ имени дерева, и еще никогда не составлялъ относительно него сужденія. Въ представленіи это цвѣтущее дерево дается, какъ одно цѣлое, и представленіе его можетъ, сообразно съ психическими предрас- положеніями представляющаго лица, вызывать самыя разнообразныя асо- ціаціи. Но къ сужденію „дерево цвѣтетъ“ ассоціація, какъ таковая, ни- когда не приведетъ... Сужденіе уже потому не является ассоціаціей, что внутри его не происходитъ никакой ассоціаціи. Такъ, въ сужденіи „де- рево цвѣтетъ“ къ представленію цвѣтущаго дерева не присоединяется ни- какого новаго элемента представленія. Но что же такое измѣняется въ представленіи, благодаря сужденію: „дерево цвѣтетъ?“... Прежде всего, какъ это каждый можетъ отчетливо замѣтить, комплексъ представленія разлагается на части. То, что прежде было дано, какъ нерасчлененное цѣ- лое, теперь оказывается разложеннымъ на части“. Но такое расчлененіе можетъ происходить и внутри представленія, если вниманіе сосредоточено на какой-нибудь одной части сложнаго представленія, и такое разложеніе представленія, по мнѣнію Іерусалема, еще вовсе не ведетъ къ сужденію. Съ другой стороны, въ сужденіи „дерево цвѣтетъ“ дерево представлено именно, какъ цвѣтущее дерево. „Дерево сужденія вовсе не является остат- комъ комплекса представленія, который остается, если цвѣтеніе его от- влечь. Дерево сужденія есть именно особенное, цвѣтущее дерево, и оно цвѣтетъ только, какъ таковое“. Въ виду этого Іерусалемъ считаетъ наиболѣе существеннымъ психологическимъ признакомъ сужденія не разложеніе представленія, но особенное формированіе его. Такъ, въ сужденіи „дерево цвѣтетъ“ цѣлый комплексъ представленія, нерасчлененный процессъ, при- нимаетъ такую форму, что въ представленіи является дерево, какъ „еди- ное, одаренное извѣстной способностью существо“, выраженіемъ котораго (Kraftäusserung) является именно его цвѣтеніе. „Такимъ образомъ, функція сужденія заключается не столько въ раздѣленіи и соединеніи, сколько въ расчлененіи (Gliederung) и формированіи представленныхъ содержаній“. Этотъ процессъ не совершается въ актѣ воспріятія, который даетъ намъ

единыя нерасчлененныя содержанія. „Какъ центры силы, которые совер- шаютъ дѣйствія по аналогіи нашихъ собственныхъ волевыхъ актовъ, пред- меты являются намъ только въ сужденіи и только черезъ него. Простое чувственное воспріятіе представляетъ со своимъ эмоциональнымъ элементомъ нѣчто хаотическое, спутанное, во что вносятъ порядокъ только сужденіе. Теперь дерево, птица, роза оказываются центрами силы, которые разви- ваютъ свою дѣятельность независимо отъ насъ. Познакомиться съ этой дѣятельностью представляетъ выдающийся практической интересъ. Въ од- ной и той же вещи обнаруживается то одна, то другая дѣятельность, и я понемногу узнаю, какъ вообще я долженъ смотрѣть на извѣстное суще- ство“. Къ этимъ замѣчаніямъ нѣмецкаго психолога я прибавлю, что, узна- вая съ помощью сужденія о различныхъ свойствахъ предметовъ, я вмѣстѣ съ тѣмъ расширяю или измѣняю значеніе того слова, которымъ обозна- чается предметъ.

Въ своихъ указаніяхъ на психологическій характеръ сужденія Іеру- залемъ исходилъ изъ самонаблюденія. К. Марбе поставилъ вопросъ нѣ- сколько иначе, перенеся его на экспериментальную почву, для того, чтобы узнать, какія переживанія должны присоединяться къ одному или нѣ- сколькоимъ процессамъ сознания, чтобы превратить ихъ въ сужденія, или, иначе говоря, какія именно представленія воспріятія (Wahrnehmungsvor- stellungen) сопутствуютъ превращенію извѣстнаго воспріятія въ сужденіе (напр., двѣ тяжести одной формы при взвѣшиваніи на рукѣ оказываются различными, и это формулируется въ видѣ сужденія тяжести, при чемъ этому процессу сужденія сопутствуютъ разнообразныя и случайныя пред- ставленія, не имѣющія прямого отношенія къ сужденію). Отвѣтъ получился отрицательный: „Конкретныя представленія, принимающія характеръ сужде- нія, не сопровождаются никакими психологическими явленіями, которыя при- даютъ имъ характеръ сужденія“. Когда изслѣдованію были подвергнуты суж- данія, которыя должны были выражаться не словами, а знаками (этотъ пред- метъ тяжели)или числами (30—7=23), то результатъ получался тотъ же: „Не имѣется никакихъ психологическихъ условій сужденія, каковы бы ни бы- ли тѣ переживанія, которыя въ отдѣльныхъ случаяхъ становятся сужденіями“ (Marbe. 43). Слѣдовательно, должны имѣться иные, „не психологическіе“ моменты, превращающія представленія (вообще, переживанія, Erlebnisse, „содержанія“ по номенклатурѣ Іерусалема) въ сужденія, или вызывающія правильное или неправильное присоединеніе предикатовъ къ этимъ „пе- реживаніямъ“. Такъ какъ конкретныя представленія становятся сужде- ніями, когда между ними и другими такими же конкретными, реальными или идеальными представленіями возникаетъ какое-нибудь отношеніе сход- ства, то отсюда явствуетъ, что самое-то уподобленіе должно вытекать изъ намѣренія (Absicht) переживающаго духовный процессъ лица. Т. е. эле- ментъ волевой оказывается въ личности и здѣсь, какъ въ психологій

понятія ¹⁾. Сужденія даютъ намъ знанія о предметахъ, создавая систему отношеній, которую иначе невозможно установить, и которая, разумѣется, играетъ выдающуюся роль въ развитіи словесныхъ значеній. „Строго говоря, утверждаетъ Уфуесъ (Erken. Logik. 24), мы познаемъ не предметы, но нѣчто о предметахъ. Мы подчиняемъ ихъ предикатамъ, и если мы хотимъ познать эти предикаты, то мы должны подчинить ихъ другимъ предикатамъ. Такимъ образомъ, мы приходимъ не къ отдѣльнымъ предметамъ, но къ системѣ отношеній, которая образуетъ собственный предметъ всякаго познанія и всѣхъ наукъ. Къ системѣ этихъ отношеній, иными словами: къ системѣ истины стремятся всѣ науки. Все—дѣйствительно и лишь то дѣйствительно, что образуетъ одно звено въ этой системѣ отношеній или истины, такъ какъ мы познаемъ дѣйствительность лишь такимъ путемъ, въ сужденіяхъ, которыя истинны“. Оставляя въ сторонѣ значеніе этихъ взглядовъ для теоріи познанія, я обращаю вниманіе на важность содержащагося въ нихъ указанія на систему отношеній, устанавливаемую сужденіями, для ученія о значеніи словъ. Сужденія опредѣляютъ такія соотношенія между понятіями, которыя вносятъ въ значеніе слова, выражающаго понятіе, новые оттѣнки. Такимъ образомъ, не только вслѣдствіе эволюціи образа, связаннаго со словомъ (въ предѣлахъ отъ полнаго измѣненія первоначальнаго образа до совершеннаго исчезновенія всякаго образа), но и вслѣдствіе того содержанія, которое вносится въ слово понятіемъ или сужденіемъ, измѣняется его значеніе. Я не буду останавливаться на томъ, что сужденіе требуетъ своего выраженія въ словахъ, и не просто въ сочетаніи словъ (ясное небо), но именно въ предложеніи. (небо ясно). „Само собой разумѣется, что всегда, когда нужно выразить сужденіе, приходится пользоваться предложеніемъ, и что, вообще, не имѣется никакого иного средства дать выраженіе къ своему сужденію относительно опредѣленнаго предмета“ (Meinong). Такія формы сужденія, какъ отдѣльное слово (*вотъ!*) или жестъ, являются, конечно, лишь случайными формами сужденія, предикатами къ содержанію сознанія, понятнаго безъ словъ.

На этомъ покончимъ съ анализомъ психологическихъ условій развитія значеній и перейдемъ къ семасіологіи въ узкомъ смыслѣ этого термина. Слово есть условный знакъ, и уже, какъ таковой, должно обладать абстрактнымъ и всеобщимъ значеніемъ, чтобы быть понимаемымъ въ различныхъ случаяхъ. Нужно, чтобы этотъ знакъ употреблялся однако лишь въ строго опредѣленныхъ условіяхъ: иначе, намѣренія лица, подающаго знакъ, разойдутся съ пониманіемъ чловѣка, этотъ знакъ воспри-

¹⁾ Marbe. 48. „So sind Sachvorstellungen Urteile, wenn die nicht nur in irgend einer Richtung in einer Ähnlichkeitsbeziehung zu anderen realen oder idealen Vorstellungen stehen, sondern wenn ihre Uebereinstimmung mit diesen Vorstellungen vom erlebenden Individuum beabsichtigt ist“.

нимающаго ¹⁾. „Если, напр., говорить Мартинакъ, ребенокъ желѣзнодорожнаго сторожа, совершенно не сознавая значенія своего дѣйствія, размахиваетъ краснымъ флагомъ передъ проходящимъ поѣздомъ и этимъ вызываетъ его остановку, то можно сдѣлать отсюда правильное заключеніе, что машинистъ понялъ знакъ, но не понялъ того, кто подалъ этотъ знакъ“. Такимъ образомъ, лишь въ томъ случаѣ, если пониманіе лица, подающаго знакъ, совпадаетъ съ пониманіемъ того, кто его воспринимаетъ, можно сказать, что намѣреніе лица, подающаго знакъ, было угадано. Но самый знакъ in abstracto понимается въ томъ случаѣ, если лицо, его воспринимающее, связываетъ съ нимъ не тѣ случайныя представленія, какія возникаютъ въ сознаніи подающаго знакъ (въ данномъ случаѣ красный флагъ), но тѣ постоянныя, условныя представленія, какія превращаютъ знакъ въ орудіе обмѣна мыслями. И при этомъ необходимо, чтобы одно лицо не только восприняло этотъ знакъ такъ, какъ этого хочетъ другое, но чтобы оно его и истолковало соотвѣтствующимъ образомъ. Но вѣдь лицо, подающее извѣстный знакъ, можетъ имѣть въ виду правильное, т. е. установленное традиціей, значеніе его, но можетъ также не связывать съ нимъ никакого значенія или соединять неправильное. Въ каждомъ изъ этихъ трехъ случаевъ лицо, воспринимающее знакъ, можетъ представить своимъ поведеніемъ опять-таки три возможности: или правильно воспринимать значеніе знака, или совершенно неправильно, или только отчасти правильно. Далѣе, и въ истолкованіи воспринятыхъ знаковъ возможно теоретически предположить рядъ возможностей: правильное или неправильное толкованіе или даже отсутствіе толкованія (когда, напр., мы правильно воспринимаемъ слово на непонятномъ для насъ языкѣ). Въ результатѣ оказывается, за исключеніемъ полнаго невоспріятія поданнаго знака, 21 возможность различныхъ истолкованій воспринятаго знака. Если въ случаяхъ конкретныхъ знаковъ (условныхъ цвѣтовыхъ или звуковыхъ символовъ и т. п.) весь этотъ рядъ возможностей является только логическимъ допущеніемъ, и фактически дѣло сводится къ тому, что знакъ, правильно воспринятый, понимается именно такъ, какъ этого хочетъ подающее знакъ лицо, то совсѣмъ иной характеръ принимаетъ вопросъ, если рѣчь идетъ о такихъ знакахъ, какими являются слова. Здѣсь на дѣлѣ оправдываются тѣ разнообразныя возможности иного воспріятія и иного пониманія другимъ лицомъ слова, съ которымъ говорящій связываетъ свое собственное значеніе, и на этомъ базируется развитіе оттѣнковъ значенія словъ у говорящаго и слушающаго людей, между которыми устанавливается, такъ сказать, третье компромисное значеніе слова, лишенное тѣхъ индивидуальныхъ (напр. эмоциональныхъ) оттѣнковъ, какіе связывались со словомъ тѣмъ или другимъ изъ говорящихъ лицъ. Оно, какъ указаніе на

¹⁾ Martinak. Psychologische Untersuchungen zur Bedeutungslehre. 1901.

содержаніе понятія, устанавливается *только* благодаря предложению, въ которомъ встрѣчается слово. Возьмемъ, напр., слово *небо*. Тотъ образъ, который связываетъ съ этимъ словомъ говорящее лицо, нисколько не отразится на пониманіи человѣка, который услышитъ фразу: „Буря мглою *небо* кроетъ, вихри снѣжные крутя“, или съ другимъ значеніемъ того же слова: „Лишь у епископа милостью *неба* полны амбары огромные хлѣба“ Но при сравненіи родственныхъ языковъ оказывается, что гдѣ-то произошло измѣненіе значенія этого слова: или говорящее лицо, связавъ съ индо-европейскимъ словомъ *nébhos* значеніе не небо, но облаковъ, покрывающихъ небо, создало новое значеніе этого слова (откуда греч. *νέφος*, облако), или понимающее лицо связало съ услышаннымъ словомъ—*nébhos* свое собственное пониманіе, которое оно передало по тѣмъ или инымъ причинамъ окружающей средѣ. При изслѣдованіи родства словъ съ этимъ психологическимъ фактомъ постоянно приходится считаться. Одновременно двумъ лицамъ не можетъ придти въ голову своеобразное метафорическое значеніе слова, но или говорящій понялъ слово по новому и сумѣлъ передать свое пониманіе другому человѣку, или этотъ внимающій человѣкъ связалъ иное значеніе. *Внѣ соціальной среды* слово не можетъ измѣнить свое значеніе, потому что установленіе значенія слова есть актъ двусторонній, выдѣляющій, — и подчеркивающій взаимнымъ пониманіемъ это выдѣленіе, — одинъ изъ признаковъ того образа, который связывается со словомъ. Для меня, какъ говорящаго лица, какъ думающаго словами человѣка, слово *небо* можетъ связаться съ представленіемъ то о ясномъ, лучезарномъ небосводѣ, то о тучахъ, закрывающихъ солнце, и все это разнообразіе представленій будетъ покрываться словомъ *небо*. Но, если имѣя въ виду именно туманное, обволоченное небо, я скажу, что небеса закрыли и землю, и море (Одиссея. IX. 68: *ὄν δὲ νεφέεσσι κάλυψεν γαῖαν ὄμοῦ καὶ πόντον*), то человѣкъ, желающій меня понять, долженъ связывать съ моими словами представленіе о тучахъ, нависшихъ на небѣ, и такимъ образомъ примѣнить общее значеніе слова къ специальному случаю.

И вотъ въ греческомъ языкѣ слово *небо* (*νέφος*) получило болѣе узкое значеніе облака, тучи. На этомъ, однако, развитіе значенія этого слова не остановилось. Понимающие и говорящие люди одинаково соединили со словомъ *туча* представленіе, какъ о такой массѣ, которая движется однимъ огромнымъ цѣлымъ, такъ и о туманѣ, который дѣлаетъ предметы невидимыми. Одинаковое пониманіе говорящими и воспринимающими лицами слова (а не образа) въ его специальномъ значеніи, съ которыми они могутъ связать свои образы (но могутъ и не связать), дало греческому *νέφος* такія примѣненія, какъ *νέφος πλοῦτου* (туча богатства, у Пиндара), *πολέμου νέφος* (туча битвы, т. е. свалка, у Гомера), затѣмъ *νέφος* въ смыслѣ забвенія, слѣпоты, печали и т. п. Итакъ, схема пониманія такова: *образъ* (у говорящаго)—*слово* и отсюда *слово* (у понимающаго)

—*образъ*. Для пониманія необходимо, чтобы въ главныхъ своихъ чертахъ представленія, связывающіяся у обѣихъ сторонъ со словомъ, были одинаковы, и это достигается какъ тѣми средствами, которые были рассмотрѣны выше, въ анализѣ „случайнаго“ (казуальнаго) и „общаго“ значенія словъ, такъ и прежде всего контекстомъ. *Слово получаетъ свое значеніе въ предложеніи, предложеніе создаетъ пониманіе между говорящими и воспринимающими лицами; слово приобретаетъ свое значеніе лишь въ соціальной средѣ*: таковы выводы, которые вытекаютъ изъ психологическихъ фактовъ, изложенныхъ въ настоящей главѣ.

Русской наукѣ принадлежитъ заслуга очень тонкаго анализа семаніологии (ученія о значеніи слова). Онъ былъ данъ А. А. Потебней, Д. Н. Овсяннико-Куликовскимъ и рано умершимъ даровитымъ ученымъ, И. Крушевскимъ. Потебня весьма отчетливо отмѣтилъ соціальный характеръ рѣчи, указавъ, что значеніе слова и сохраняется и понимается только въ рѣчи. „Слово въ каждый моментъ своей жизни есть одинъ актъ мысли, а не два“, и вотъ этотъ актъ мысли выясняется только въ связи слова съ другими, т. е. въ рѣчи. „Что касается до самаго субъективнаго содержанія мысли говорящаго и мысли понимающаго, то эти содержанія до такой степени различны, что хотя это различіе обыкновенно замѣчается только при явныхъ недоразумѣніяхъ, но легко можетъ быть создано и при такъ называемомъ полномъ пониманіи. Мысли говорящаго и понимающаго сходятся между собою только въ словѣ“ („Мысль и языкъ“, 2 изд. 1892, стр. 134). *Вмѣстѣ съ тѣмъ* Потебня отмѣчаетъ значеніе слова для самого говорящаго лица. „Слово есть настолько средство понимать другого, насколько оно средство понимать самого себя. Оно потому служитъ посредникомъ между людьми и устанавливаетъ между ними разумную связь, что въ отдѣльномъ лицѣ назначено посредствовать между новымъ воспріятіемъ (и вообще тѣмъ, что въ данное мгновеніе есть въ сознаніи) и находящимся внѣ сознанія прежнимъ запасомъ мысли. Сила человѣческой мысли не въ томъ, что слово вызываетъ въ сознаніи прежнія воспріятія (это возможно и безъ словъ), а въ томъ, какъ именно оно заставляетъ человѣка пользоваться сокровищами своего прошедшаго“ (тамъ же. 138—139). Итакъ, слово есть эквивалентъ собственнаго душевнаго содержанія, а такъ какъ у cadaго человѣка есть свое содержаніе, то обмѣнъ словами есть обмѣнъ эквивалентами, получающими значеніе отвлеченнаго знака. *И въ этомъ смыслѣ* слово должно быть названо „средствомъ сознанія единства образа“ (тамъ же, 149), хотя, конечно, опредѣленіе Потебни должно быть расширено: словомъ выражается не только *единство образа*, но и всякое *единство сознанія*. Греки, которые кричали „*θάλασσα, θάλασσα*“, спустившись на побережье долгожданнаго моря, выражали этимъ словомъ не актъ познанія, но эмоциональное состояніе. *Вмѣсто* „море, море“ они могли бы кричать „радость, радость“ или просто какое-нибудь восклицаніе, такъ какъ дѣло

зубы (издѣваться), *приложитъ руку* (подписать) и мн. др. Наконецъ, третій случай переноса значеній Потебня изображаетъ въ видѣ слѣдующей схемы: 3) „Понятіе *A* и *x* на первый взглядъ не совпадаютъ другъ съ другомъ ни въ одномъ признакѣ, напротивъ исключаютъ другъ друга: напримѣръ, *подошва обуви* и *часть горы*. Но психологически сочетанія *A* и *x* приводятся въ связь съ тѣмъ, что оба непосредственно или посредственно приводятъ на мысль третье сочетаніе *B*, или же оба производятъ сходныя чувства“. Это и есть метафора.

Разбирая выраженіе „капля жалости“ (Пушкинъ), Потебня полагаетъ, что въ основаніи этой метафоры лежитъ „прежде познанное, напр. *вода* и ея *капля*. Это прочное основаніе дальнѣйшаго познанія. Затѣмъ входитъ въ мысль *жалость* (чувство), и спрашивается, какъ понять, представить, назвать слабую степень этого чувства. Отвѣтъ *капля жалости* при позднѣйшемъ, чисто поэтическомъ пониманіи есть установленіе отношеній: *вода : капля = жалость : капля жалости*“. При лаконичности выраженій покойнаго изслѣдователя здѣсь многое остается неяснымъ: что именно „входитъ въ мысль“, чувство жалости или представленіе о жалости? И затѣмъ, что именно имѣлъ въ виду Потебня, говоря „понять, представить, назвать“? Въдѣ понять, представить и назвать оказываются различными актами сознанія: можно понять и ничего не представить, назвать и не представить и т. д.

И это вовсе не придирка къ словамъ: въ сочетаніи съ *жалость* слово *капля* можетъ и представлять образъ (жалость такъ мала, какъ капля), и не представлять его, если слово *капля* сдѣлалось просто синонимомъ очень малаго количества, очень слабой степени. Въ такомъ случаѣ *капля жалости* не связывается теперь (если нѣтъ сознательнаго намѣренія вызвать образъ) и не связывалось уже первоначально съ какимъ бы то ни было образомъ, а было лишь отвлеченнымъ указаніемъ на слабость жалости. Вѣроятно, весьма многія метафоры объясняются именно тѣмъ, что съ „переносомъ значенія“ не связывается уже никакого образа, послѣ того, какъ значеніе слова приобрѣло широкое содержаніе. „Тѣмъ низкихъ истинъ“... говоритъ Пушкинъ. Связывается ли онъ со словомъ *тѣма* какой-нибудь образъ даже въ этомъ поэтическомъ языкѣ: напр., образъ мрака или (какъ въ греческомъ *ύερος*) образъ массы. Затѣмъ, при словѣ *низкихъ истинъ* встаетъ ли въ его воображеніи образъ какихъ-нибудь *низкихъ предметовъ*? Я убѣжденъ, что на всѣ эти вопросы надо отвѣтить отрицательно: вмѣсто *тѣмы низкихъ истинъ* Пушкинъ могъ бы сказать о *многихъ истинахъ, лишенныхъ эмоціональнаго характера*, и въ обонхъ этихъ случаяхъ образности не было бы одинаково никакой. Если же въ поэтическомъ языкѣ Пушкинъ употребилъ слово *низкій*, въ которомъ заключается кульминаціонный пунктъ поэтическаго вліянія этой фразы, то онъ сдѣлалъ это вовсе не потому, что со

словомъ *низкій* онъ связывалъ образъ, а потому что съ этимъ выраженіемъ у насъ всѣхъ соединяется эмоціональный оттѣнокъ значенія. „Канія низости“, восклицаетъ Софья (въ „Горѣ отъ ума“), слушая признанія Молчалива Лизѣ, и хотя она называетъ этого героя Фамусовскаго салона *ужаснымъ* человѣкомъ, но и здѣсь передъ нами метафора: Молчаливъ своей *низостью* внушаетъ Софьѣ не *ужасъ*, но презрѣніе. Такимъ образомъ, переносъ значенія совершается не всегда тѣмъ путемъ, какой былъ указанъ Потебней. Конечно, метафора покоится на сравненіи, но въ сравненіи оба сравниваемые образа могутъ сохранить свою живость (*покосившаяся изба, согбенная старушка*, отсюда: *изба, какъ старушка*, стоит), тогда какъ въ метафорѣ одинъ изъ нихъ долженъ поблекнуть, чтобы вообще сталъ возможенъ переходъ значеній. „Татьяна увядаетъ“. Здѣсь картина *увяданья* не можетъ представляться отчетливо, потому что *увяданіе* распространяется прежде всего на растительность. Потомъ уже извѣстные признаки увяданія могутъ быть перенесены и на иные предметы, обнаруживающіе процессъ постепеннаго ослабленія жизнедѣятельности. Слово *увядать* такимъ образомъ получило болѣе широкое значеніе, чѣмъ прежде. Но съ нѣкоторыми словами связываются настолько конкретныя представленія, что метафорическое употребленіе ихъ еще не могло повліять на расширеніе ихъ значеній. Таково, напр., слово *змѣя*. Можно назвать человѣка *змѣей*, связывая съ этимъ словомъ эмоціональный оттѣнокъ значенія, но не соединяя съ нимъ образа извивающагося и пресмыкающаго существа, но возможно соединять и таковой. Однако „*змѣя* воспоминаній“ (у Пушкина), „его гложетъ *червякъ*“ и т. п. остаются только метафорическими выраженіями, не внеся въ значенія словъ *змѣя*, *червякъ* новаго содержанія. Вопреки мнѣнію Потебни, я долженъ повторить сказанное уже выше, что метафора является указаніемъ на уже начавшійся процессъ отмиранія образности, соединившейся со словомъ.¹⁾ И, благодаря этому, слова приобретаютъ новыя значенія. Первоначальное же значеніе слова представляется Потебнѣ соединеннымъ съ образомъ. Принадлежащій къ школѣ покойнаго Харьковскаго профессора, изслѣдователь теоріи и исторіи литературнаго творчества, Д. Н. Овсянко-Куликовскій (имѣю въ виду здѣсь, помню его многочисленныхъ статей, очень цѣльный и сжатый очеркъ „Языкъ и искусство“ 1895) пошелъ гораздо дальше своего учителя въ оцѣнкѣ зна-

¹⁾ Какъ выражается польскій изслѣдователь семазіологін и критикъ Вундта, проф. Розвадовскій, измѣненіе значенія основывается, въ общемъ, на актѣ отождествленія воспріятій. Мы называемъ извѣстныя части мебели или утвари *ножками* (напр. стула) или *ручками* (напр. чашки) потому, что въ нашемъ воспріятіи онѣ представляются тождественными соответствующимъ частямъ тѣла живыхъ существъ. Ср. подробнѣе объ этомъ I. V. Rozwadowski. Wortbildung und Wortbedeutung. 1904, стр. 23 и дал.

ченія образности въ словѣ. Потебня утверждалъ со своимъ обычнымъ логонизмомъ, что „слово и образъ есть духовная половина дѣла, его сущность“ (тамъ же 490); Овсяннико-Куликовскій, указывая на *пассивное* мельканіе звуковой стороны слова въ сознаниі, прибавляетъ: „Въ словахъ съ внутреннею формою *образъ*, конечно, играетъ извѣстную роль въ сознаниі, но о немъ приходится сказать то самое, что было сказано о звуковой формѣ. Образъ занимаетъ въ большинствѣ случаевъ очень мало мѣста въ сознаниі, часто лишь мелькаетъ, едва затрагивая его, нерѣдко совсѣмъ не сознается“. Онъ же справедливо настаиваетъ на легко забывающейся въ теоретическихъ разсужденіяхъ истинѣ, что противопоставлять значеніе слова самому слову невозможно: „Значеніе безъ слова есть такая же психологическая невозможность, какъ слово безъ значенія“. Мнѣ кажется, что это замѣчаніе можно передать и въ другой формѣ: всякое слово, употребляющееся въ связи съ другими, имѣетъ лишь *одно* значеніе, то самое, въ которомъ оно употреблено. Какъ ни проста эта истина, съ ней связывается другая, которая можетъ быть выражена такъ: когда мы употребляемъ слово въ рѣчи, мы соединяемъ съ нимъ лишь одно значеніе, а всѣ другія его значенія въ нашемъ сознаниі отсутствуютъ. Такъ, говоря о *подожвъ горы*, мы понимаемъ, что здѣсь подошва не означаетъ ничего иного, кромѣ предгорья, и мы такъ привыкли къ этому выраженію, что при употребленіи его въ наше сознание не врываються никакіе образы, ассоціативно связанные съ другими менѣе ходячими метафорами. Но въ первобытномъ языкѣ Д. Н. Овсяннико-Куликовскій, какъ А. А. Потебня признаетъ необходимой связь слова съ образомъ. „Его (это первичное слово) уже никакъ нельзя принять за простой знакъ понятія: оно, скорѣе, картина, умственный рисунокъ *понятія*, маленькое повѣствованіе о немъ. Оно именно—художественное произведеніе“. Если слово есть рисунокъ понятія, то понятіе должно предшествовать своему изображенію, рисунку, ибо нельзя себѣ представить, чтобы понятіе создавалось въ рисункѣ: вѣдь понятіе само по себѣ есть нѣчто отвлеченное. Вышеизложенный генезисъ понятія указываетъ, что безъ слова понятіе не можетъ образоваться. Такъ что можетъ ли быть слово изображеніемъ, рисункомъ того, что само по себѣ есть только слово? Скорѣе, напротивъ, „умственный рисунокъ понятія“ долженъ представлять собой тотъ образъ, который намѣренно или ненамѣренно мы вызываемъ въ своемъ воображеніи при употребленіи извѣстнаго слова. но не самое слово, которое не есть *рисунокъ*.

Какъ мы видимъ, школа Потебни исходитъ изъ предположенія первоначальной связи *образа со словомъ*. Потомъ образъ утрачивается, не всплываетъ въ сознаниі говорящаго лица. Есть однако способъ возстановить его: этотъ способъ заключается въ различныхъ поэтическихъ выраженіяхъ, благодаря которымъ слово становится „художественнымъ произведеніемъ“. Повидимому, болѣе или менѣе такъ же представляетъ себѣ

вопросъ о значеніи словъ Н. Крушевскій („Очеркъ науки о языкѣ“. 1883, стр. 132).

„Всякая вещь получаетъ свое названіе по одному какому-нибудь признаку“, утверждаетъ онъ, какъ бы забывая то, что было сказано нѣсколькими страницами раньше: „само собой разумѣется, что мы здѣсь ничего не можемъ сказать о первоначальномъ происхожденіи словъ“. Такой ригоризмъ автора едва ли вызывался и тогдашнимъ состояніемъ науки о языкѣ; я думаю, что теперь мы можемъ отъ него съ нѣкоторымъ правомъ отказаться.—Въ изложеніи Крушевскаго, впрочемъ, не совсѣмъ ясно, имѣетъ ли онъ въ виду, говоря о называніи предмета по одному его признаку, первоначальное образное значеніе слова. Примѣръ, который онъ приводитъ, позволялъ бы сдѣлать иное заключеніе. Именно, Крушевскій анализируетъ этимологическое происхожденіе слова *весло*, которое происходитъ отъ корня *вез* (везу). „Что сдѣлалъ бы тотъ, кому неизвѣстно слово *весло*? Онъ, вѣроятно, сказалъ бы: вещь, сдѣланная изъ дерева, длинная, одна половина тонкая и круглая, другая—пошире, плоская, служить для плаванія. Мы *выбираемъ* послѣднее качество, *кажущееся* намъ въ данное время *болѣе важнымъ*, беремъ уже существующее слово, обозначающее что-нибудь родственное этому качеству, и изъ него *дѣлаемъ* названіе нашему предмету. Такимъ образомъ, названіе предмета первоначально есть *часть его описанія*, служащая субститутомъ всего описанія“. Какъ видимъ, процессъ *дѣланія* словъ представленъ здѣсь Крушевскимъ въ формахъ, просто немислимыхъ не только для первобытнаго, но и просто для всякаго естественнаго языка: *берется* (къмъ?) признакъ предмета, который кажется особенно важнымъ; для этого признака уже имѣется коренное обозначеніе, и уже къ этому послѣднему присоединяется суффиксъ: въ результатѣ получается новое слово. Какой же признакъ *берется* для составленія слова *весло*? Оказывается, что не форма предмета, которая можетъ вызвать въ сознаниі образъ вещи, но нѣчто столь отвлеченное, какъ назначеніе предмета: мы сознаемъ, что съ помощью *весла* можно *везти* лодку, и дѣлаемъ слово *весло* (*вез-сло*). Однако, всякому непредубѣжденному человѣку ясно, что, скорѣе, словомъ *весло* можно было назвать лодку, какъ средство перевозки, или лошадь, которая везетъ, или повозку (греч. *ἄχος*—повозка). Элементъ психологическій оставленъ Крушевскимъ въ сторонѣ, и хотя онъ утверждаетъ, что слова обязаны своимъ значеніемъ ассоціямъ смежности¹⁾, но въ этой области молодымъ изслѣдователемъ было лишь кое-что намѣчено, и въ ясность не приведено: вѣдь „неразрывность“ слова съ образомъ нѣчто совершенно неприемлемое.

¹⁾ „Слово соединяется въ такую неразрывную пару съ представленіемъ о вещи, что становится собственнымъ и полнымъ ея знакомъ“ (стр. 129); слѣдовательно, образъ вещи соединенъ *неразрывно* со словомъ?

Всецѣло на психологическихъ основахъ развиваетъ свое ученіе о развитіи значеній слова Вундтъ („Die Sprache“. II, глава VIII.) Поэтому я нахожу полезнымъ болѣе обстоятельно изложить взгляды Вундта. Этотъ послѣдній совершенно справедливо указываетъ на то, что всѣ сравненія языка съ живымъ организмомъ и измѣненій въ языковой области съ ростомъ, жизнью и упадкомъ организма остаются, по существу своему, неправильными и необъяснительными: „Языкъ самъ не создается, но творится говорящимъ на немъ человѣкомъ. Это *функция* или, вѣрнѣе, совокупность функций, на которую только человѣкъ, создающій ее, переноситъ свою организующую дѣятельность“. Между звуковымъ составомъ слова и его значеніемъ ближайшаго отношенія нѣтъ, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ звуковыя измѣненія являются первопричиной того, что возникаетъ измѣненіе значеній. „Если слово *A* распадается въ звуковомъ отношеніи на *два* слова *A* и *B* или (даже, при исчезновеніи первоначального слова) на *B* и *C*, и если мы опредѣлимъ соотвѣтствующія этимъ словамъ значенія черезъ α , β и γ , то распадение (die Spaltung) *понятій* α , β и γ является всегда процессомъ, сопровождающимъ распадение звукового состава слова на *A*, *B* и *C*. Это, конечно, не предполагаетъ того, чтобы понятія β и γ не существовали передъ наступленіемъ этого распадения значеній. Напротивъ, ассоціація обособленныхъ значеній α , β , γ съ звуковыми образованиями *A*, *B*, *C* можетъ наступить повсюду уже послѣ того, какъ самыя понятія α , β , γ раздѣлились. Поэтому, новому порядку вещей, производящему параллельный ходъ измѣненія звуковъ и значеній, должна предшествовать дифференціація понятія и звукового состава словъ. Это подтверждается многочисленными историческими наблюденіями, обнаруживающими, что постоянное соотвѣтствіе звуковъ значенію подготавливается *неопредѣленнымъ* или *колеблющимся* употребленіемъ словъ“. Вундтъ подтверждаетъ это умозаключеніе нѣсколькими примѣрами изъ романскихъ и германскихъ языковъ: франц. *chose* происходитъ изъ лат. *causa*, но утратило свое значеніе *причина*, для котораго позже вошло въ употребленіе слово *cause*; подобно этому, изъ *fragilis* образовались *frêle* (хрупкій, слабый) и *fragile* (ломкій) и т. д. Подобно этому, въ русскомъ языкѣ разное значеніе имѣютъ слова *оградить* (интересы, жизнь) и *огородить* (заборомъ садъ), *чужой* и *чуждый*, *невѣжа* и *невѣжда*, *розница* (продавать въ *розницу*) и *разница* и мн. др. Оставляя въ сторонѣ такія измѣненія значенія, которыя сопровождаются перемѣной и въ звуковомъ составѣ словъ, Вундтъ подробно останавливается на перемѣнахъ, обуславливаемыхъ первоначальными признаками понятій. Здѣсь слѣдуетъ различать два основныя случая: *частичное* и *полное* измѣненіе значеній. Въ первомъ случаѣ слово, получая новое значеніе, сохраняетъ и старое, во второмъ же оно утрачиваетъ это послѣднее. При этомъ наблюдается или постепенное

расширеніе значенія, приводящее къ образованію новаго значенія, или мгновенный процессъ замѣны одного значенія слова другимъ, *переносъ* его, о которомъ уже была рѣчь выше, при анализѣ взглядовъ А. А. Потебни на метафору.

Этотъ послѣдній случай сводится къ *изобрѣтенію* новаго слова, или новаго значенія слова, изобрѣтенію, производимому отдѣльными лицами и передающемуся, какъ всѣ изобрѣтенія, путемъ заимствованія его изобрѣтенія другими людьми. Вундтъ приводитъ слово „Меркурій“, сдѣлавшееся названіемъ планеты и ртути. Къ созданію этого значенія слова привела такая специальная ассоціація, что слѣдуетъ предположить наличность какого-нибудь отдѣльнаго изобрѣтателя этого слова, астролога, примѣнившаго названіе бога Меркурія къ самой быстрой изъ планетъ. Латинское слово *moneta* сдѣлалось обозначеніемъ монетнаго двора (у римлянъ) потому, что около перваго такого двора находился храмъ *Iuno Moneta*, „такъ что отношеніе двухъ представленій было понятно каждому жителю Рима. Но, такъ какъ между самыми предметами (оставляя въ сторонѣ вопросъ объ ихъ соотвѣствіи) не существуетъ ни малѣйшей связи, то и это наименованіе монетнаго двора остается произвольнымъ и должно быть, съ точки зрѣнія психологической вѣроятности, сведено точно также къ изобрѣтенію отдѣльнаго лица“. Другой характеръ имѣетъ правильное, постепенное развитіе значеній: латинское *pecunia* получило значеніе денегъ потому, что скотъ (*pecunia*) представлялъ первоначальную денежную единицу чуть не во всемъ мірѣ, какъ представляетъ ее и до нынѣ въ скотоводческихъ областяхъ. Если бы слово *замокъ* въ значеніи *русской* помѣщицкой усадьбы вошло въ употребленіе на основаніи пушкинскаго стиха: „Старинный *замокъ* былъ построенъ, какъ *замки* строятся должны“ (объ усадьбѣ Лариныхъ), мы имѣли бы примѣръ мгновеннаго возникновенія новаго значенія въ словѣ *замокъ*, которое было бы обязано своимъ происхожденіемъ поэтической изобрѣтательности Пушкина. Русское *скотъ* въ значеніи совокупности извѣстнаго рода домашнихъ животныхъ представляетъ заимствованіе изъ германскаго *skat*-- (др.-в.-нѣм. *skaz*, англ.-сакс. *scat*, др.-сѣв. *skattr*) въ значеніи богатства, имущества, денежной единицы, денежнаго обложенія и т. д. Древне-рус. *скотница* (сокровищница) еще близко по своему значенію къ современному нѣмецкому *Schatz*. Но уже на русской почвѣ произошло постепенное развитіе значенія отъ *богатства* вообще (*скотъ*) къ богатству специальному, къ обладанію скотомъ. Процессъ развитія значенія, обратный тому, который привелъ *pecunia* (при *pecus*) къ значенію *денеги*. Такія ходячія слова, конечно, всегда обладаютъ особенной способностью къ развитію новыхъ значеній въ извѣстномъ опредѣленномъ направленіи. Вундтъ настаиваетъ на томъ, что развитіе значеній обусловлено строгой законностью. Это особенно замѣтно въ случаяхъ постепенныхъ измѣненій значенія, по то же самое должно происходить и

въ случаяхъ произвольнаго измѣненія, такъ какъ мотивы этого послѣдняго должны быть ограничены опредѣленными ассоціаціями. Не всегда эти послѣднія ясны, и въ ихъ толкованіи, конечно, возможенъ большой произволъ. Самъ Вундтъ далеко не свободенъ отъ субъективизма, заявляя, будто бы *Rabe* напоминаетъ крикъ ворона, а *Barre* (вороной конь) топотъ конскихъ копытъ. Во всякомъ случаѣ, законѣрность въ развитіи значеній слова должна быть признана, разъ, вообще, человѣческое мышление совершается въ порядкѣ законѣрности. Допуская трудность истолкованія ея въ извѣстныхъ случаяхъ („во многихъ случаяхъ оно бываетъ затруднительно вслѣдствіе конкуренціи многообразныхъ причинъ различнаго происхожденія“ II, 437), Вундтъ сводитъ возможные методы объясненія различныхъ значеній (Erklärungsgründe für den Bedeutungswandel) къ слѣдующимъ: историческая интерпретація (*cohors*—изгородь для отдѣленія скота на дворѣ, отдѣленіе войска, военная свита императора: всѣ эти значенія развились въ разныя эпохи Рима, и изъ послѣдняго значенія возникло романское *corte, cour* уже въ смыслѣ *двора* государя: нѣчто въ томъ же родѣ представляетъ и у насъ развитіе сословнаго названія *дворянинъ*), логическая классификація (расширеніе значеній или суженіе ихъ, основанное, вѣроятно, въ концѣ концовъ на томъ образномъ субстратѣ, который связывается со словами, и на вышерассмотрѣнномъ казуальномъ—случайномъ и узуальномъ обычномъ употребленіи словъ). Эти категоріи въ развитіи значеній слова были уже отмѣчены мною выше, но такъ какъ на нихъ-то и зиждется, по преимуществу, все словарное развитіе языка и къ нимъ, въ концѣ концовъ, сводятся и остальные категоріи значеній, то на этомъ вопросѣ будетъ полезно остановиться подробнѣе. Бреаль¹⁾ указываетъ на нѣсколько типическихъ случаевъ суженія значеній. Латин. *tegmen* (отъ *tegere*, покрывать, съ суффиксомъ *men*, соответствующимъ русскому—*мя* въ *зна-мя* и т. д.) означало крышу дома, но также покровъ, который представляетъ развѣсистое дерево, и всякаго рода покровъ, оболочку. Отъ того же корня происходило слово *tectum*, которое означало потолокъ комнаты, балдахинъ надъ постелью, сводъ подвала, крышу дома, и только въ этомъ послѣднемъ смыслѣ оно перешло во французскій языкъ, образовавъ здѣсь слово *toit* (крыша). Это несоответствіе слова вещи (*la disproportion entre le nom et la chose*) объясняется, по мнѣнію Бреаля, тѣмъ обстоятельствомъ, что наши слова происходятъ отъ глагольныхъ корней, соединяемыхъ съ суффиксами. „А между тѣмъ глаголь, по самому своему существу, обладаетъ общимъ значеніемъ, такъ какъ означаетъ дѣйствіе, взятое само по себѣ, безъ всякаго другаго ограниченія какого бы то ни было рода“. Такимъ образомъ, причина перехода значеній въ направленіи ихъ суженія должна быть чисто языко-

¹⁾ М. Bréal. Essai de Sémantique. 3 éd. 1904, гл. X и XI.

вой. „Сочетая глаголь съ суффиксомъ, отлично можно связать глагольную идею съ дѣйствующимъ существомъ, или съ предметомъ, который подвергается дѣйствію, или съ предметомъ, который является продуктомъ или орудіемъ дѣйствія, но, такъ какъ это дѣйствіе сохраняетъ свое общее значеніе, то имя существительное или прилагательное, такъ образованная, точно также будетъ обладать общимъ значеніемъ. Нужно будетъ, чтобы самое употребленіе ограничило его“. Противъ такого предположенія французскаго ученаго можно выставить, прежде всего, то возраженіе, что ограничивающимъ глагольное значеніе признакомъ является суффиксъ: суффиксъ дѣятельности—*тель* не позволяетъ слову *святель* получить значеніе слова *свѣтя* и обратно¹⁾. Но, помимо этого, надо выдвинуть не отмѣченный Бреалемъ моментъ психологическій: слово *покровъ* пріобрѣтаетъ болѣе широкое значеніе потому, что съ нимъ связывается общее представленіе о покровѣ, къ которому восходятъ частныя представленія о крышѣ дома или пріютѣ подъ деревомъ и т. п. И хотя бы французское выраженіе: „dire une chose sur les toits“ (разбалтывать вездѣ) показываетъ, что отсутствіе суффикса и глагольнаго корня въ этомъ словѣ въ его современной формѣ нисколько не поспособствовало сохраненію его узкаго значенія, тогда какъ выраженіе *toit à cochon* имѣетъ опять-таки еще болѣе узкое значеніе *свиного хлѣва*. Такимъ образомъ, и на томъ примѣрѣ, который приводитъ Бреаль, исходя изъ предположенія о первоначальности глагольныхъ корней, не подтверждается вышеизложенный взглядъ его. Глагольный корень здѣсь ровно не при чемъ, такъ какъ специализація значенія происходитъ и въ такихъ словахъ, которыя не произведены отъ глаголовъ. Самъ Бреаль даетъ примѣры этого: латин. *linteolum* (кусокъ матеріи), откуда франц. *linceul*, которое еще въ 17 вѣкѣ означало то же самое, но теперь означаетъ только матерію, въ которую завертываютъ покойника; *drapeau*, уменьшительное отъ *drap*, означало раньше куски матеріи, въ которые пеленали ребенка, теперь въ военномъ языкѣ это слово получило специальное значеніе знамени. Въ новогреческомъ языкѣ слово *ζλόιον* употребляется въ примѣненіи къ лошади, хотя имѣетъ весьма широкое значеніе безсловеснаго существа: слово *πειράτης* отъ *πειράω* (предпринимать, пробовать) означало прежде всего предпринимателя, потомъ человѣка, который занимается особыми предпріятіями на морѣ, т. е. пиратствомъ. Въ датскомъ языкѣ слово *orlog* означало первоначально, вообще, военныя дѣйствія, безразлично на сушѣ и на морѣ, но подъ вліяніемъ выраженій *orlogsskib* (военный корабль), *orlogslåde* (военный флотъ) значеніе этого слова приняло ограничительный характеръ только морской войны (*Nyrop. Das Leben der Wörter. 81*). Еще Квинтилиана поражало, что изъ вѣхъ „созданій земли“ (*humus*)

¹⁾ Въ языкахъ идишей, какъ мы видѣли, съ помощью суффиксовъ глаголь получаетъ весьма узкія значенія (бить сегодня, сейчасъ, намѣренно и т. д.).

значений явились „этические силы“. Таким образом, в этой области, как утверждает Вундт, „многие явления допускают подчинение (untergeordnet lassen) точки зрения повышения или понижения ценности слов“ (II. 445). Как-то странно говорить, однако, о ценности слов, точно самые слова заключают в себя нечто ценное. Следует подразумевать, скорее, эмоциональные оттенки, связуемые с известными значениями, о чем уже была речь выше. Если из *cohors* (часть загородки для скота) образуется франц. *la cour* (царский двор), из *minister* (служитель) — *министръ* (сановник) и т. д., то в этом случае расширение значения слова привело к тому, что слова стали обозначать „более важные“ вещи, но, по существу, это совершенно такое же явление, как превращение нѣм. *List* из мудрости в лукавство и нѣм. *Eland* из эмигранта в несчастного человека. Создавать из этой группы переходов значения особую категорию представляется решительно ни на чем не основанным. Точно также только излишнее стремление к систематизации заставляет Вундта выделять („наряду с исторической, логической и нравственной отъёмкой“) еще телеологический мотив переходов значений¹⁾. Этот мотив предполагает намѣренное, целесообразное изменение значения, совершенное в целях ясности, удобства, отчетливости. Впрочем, и сам Вундт относится несколько скептически к возможности установить подобное подразделение. Наконец, как нечто, покрывающее все остальное, предполагается еще „психологическая интерпретация“, о которой Вундт (II. 454) дает следующее толкование, доказывающее, в сущности, ее обобщающий характер, дѣлающий ненужными все предшествующие подразделения. „Каковы психические явления, лежащие в основании изменения значения, это можно выяснить, разумеется, только на основании исследования отдельных явлений. В этом смысле психологическая интерпретация, более, чем какая-либо другая, которая уже заранее прилагает к вещам логический, этический или телеологический масштабы, обречена на тщательный анализ отдельных явлений. Как бы то ни было, если здесь и возможно воспользоваться обычным психологическим опытом, то все же нельзя забывать, что психология языка есть не только одна из областей применения психологии, но что и она сама служит главным источником общих психологических сведений. Соответственно этой двойной цели, для психологической интерпретации можно намѣтить две цели: первая, более общая, будет заключаться в разъяснении того, как вообще возникают и далее развиваются понятия вследствие прогрессирующего изменения значений, и в выведении из общего процесса изменения зна-

¹⁾ Чтобы не нарушать плановѣрности настоящего исследования, я не углубляюсь в семасиологию более подробно и минуя критику взглядов Вундта, сдѣланную Зюттерлиномъ, Дельбрюкомъ, Розвадовскимъ и на русскомъ языкѣ проф. Кудрявскимъ.

чений *законовъ развитія понятій*¹⁾. Вторая, более специальная задача, относится к *психическимъ процессамъ*, которые лежат в основании отдельных явлений перехода значений“.

Къ этому надо присоединить то, что Бреаль называет „полисемией“. Это явление заключается в образовании нового значения слова при сохранении старого. Такъ, слово *корень* получило в прогрессивномъ ходѣ человеческой культуры особое значение в математикѣ и языковедѣ. Это значения метафорическія, но чужды поэтического характера, хотя, несомнѣнно, при возникновении ихъ потребовался известный поэтический процесс: какъ растение происходит отъ корня, такъ казалось, и слово *происходитъ отъ корня*, хотя съ этими выражениями мы теперь не связываемъ ровно никакихъ образовъ, а съ *корнями* алгебраическими, навѣрное, и никогда не связывалось никакихъ другихъ образовъ, кромѣ графическихъ представлений объ известномъ математическомъ изображеніи корня. Многочисленность разнородныхъ значений, связанныхъ съ однимъ словомъ, но соединенныхъ другъ съ другомъ уже невольными теперь ассоциациями, является продуктомъ долгаго культурнаго развитія языка. В сущности же, это разновидность тѣхъ психологическихъ переходовъ значений, о которыхъ уже была речь выше. Здесь в основѣ развитія значений должно быть положено сужденіе, в которое входило слово, но не образъ, который съ нимъ могъ связываться.

Такимъ образомъ, послѣ анализа развитія новыхъ значений слова вернемся къ основному вопросу о первоначальныхъ значенияхъ. Здесь нашему разсмотрѣнію подлежитъ вопросъ: каковы были первичныя значения словъ. Вундтъ выступаетъ противникомъ того взгляда, что первоначальные корни словъ имѣли глагольное значение, по крайней мѣрѣ, в большинствѣ случаевъ. „Такъ какъ число такихъ корней — говоритъ онъ — весьма незначительно по сравненію съ множествомъ словъ, которыми обладаетъ языкъ, то отсюда само собой вытекаетъ, что значения, приписываемыя корнямъ, должны быть очень общаго и неопредѣленнаго характера, и что они в большинствѣ случаевъ соотвѣтствуютъ глагольнымъ понятіямъ. Такимъ образомъ, предметы назывались первоначально по общимъ свойствамъ или по дѣятельностямъ, которыя при нихъ воспринимались (an ihnen wahrgenommen wurden): небо, какъ „сводъ“, земля (Erde), какъ ученія о развитіи значений. Во-первыхъ, согласно этому взгляду, уже первоначальное называніе вещей своими именами основывалось собственно на переходѣ значения, такъ какъ названія свойствъ и дѣйствій оказывались переносимыми на конкретные предметы, вмѣстѣ съ которыми они воспринимались. Такимъ образомъ, вопросъ о происхожденіи формъ по-

¹⁾ Ср. въ связи съ этимъ то, что было изложено выше по поводу психологической теоріи понятій.

нятий (Begriffsformen) въ духѣ этой теоріи долженъ былъ бы получить такое толкованіе, что образованіе понятій о свойствахъ и состояніяхъ должно было предшествовать образованію понятій о предметахъ. Во вторыхъ (второе слѣдствіе изъ вышеизложенной теоріи), процессъ первоначальнаго называнія представляетъ подведеніе предмета подъ общее понятіе, т. е., иначе говоря, ограниченіе значенія“. Невозможность этой теоріи, которая весьма долго господствовала въ языкѣ и была развита между прочимъ. А. А. Потебнѣй, — невозможность этой теоріи оказывается, по мнѣнію Вундта, тѣмъ болѣе очевидной, чѣмъ старше и первоначальнѣе понятія, къ которымъ она примѣняется. Анализъ этимологическаго происхожденія первоначальныхъ индоевропейскихъ названій родства представляетъ въ этомъ отношеніи весьма яркій примѣръ. *Pater* должно восходить къ глагольному корню *pa* (охранять), *matr* къ *ma* (измѣрять), *ducr* къ *dhugh* (доить) и т. д. „Не говоря уже о психологической невозможности предположенія, что понятія *охранять*, *раздавать*, *доить*, даже метафоры *нести* въ смыслѣ *сохранять* предшествуютъ возникновенію простыхъ обозначеній лицъ, постоянно окружающихъ человѣка, не говоря уже объ этомъ, слѣдуетъ отмѣтить, какое пониманіе историческаго развитія заключаетъ въ себѣ уже одно предположеніе о томъ, что опредѣленная организація семьи съ распредѣленіемъ домашнихъ работъ и съ установленнымъ порядкомъ наслѣдованія существовала еще ранѣе того, чѣмъ получили свои названія лица, которымъ эта организація указывала ихъ мѣсто въ семьѣ“. Противъ этого убійственнаго для теоріи первоначальныхъ глагольныхъ значеній анализа можно было бы возразить, что индоевропейскія названія явились лишь болѣе поздними образованіями, которымъ предшествовали иныя, первичныя названія. Но языки дикарей обнаруживаютъ, что слова ихъ имѣютъ прежде всего опредѣленный конкретный характеръ. Однако, и самъ Вундтъ едва ли правъ, такъ рѣзко выступая противъ теоріи глагольныхъ корней: вѣдь въ первобытныхъ языкахъ, какъ мы видѣли это на многочисленныхъ австралійскихъ и африканскихъ примѣрахъ, нѣтъ никакого существеннаго различія между глагольнымъ и именнымъ корнемъ, такъ что хотя бы корень *pa* можетъ означать и *охранять*, и *охранитель*. Съ образованіемъ новыхъ формальныхъ элементовъ, какими явились суффиксы, возникли новыя имена: вмѣсто *pa* для *охранителя* слово *pater* и т. п. Во всякомъ случаѣ, однако, этотъ корень *pa* не былъ самъ по себѣ глагольнымъ корнемъ, но былъ такъ сказать универсальнымъ словомъ, въ основаніи же его значеній должно было лежать понятіе о предметѣ. Въ объемъ этого понятія могли входить представленія о признакахъ и дѣйствіяхъ, вслѣдствіе чего названіе переносилось и на дѣйствія, или состоянія самаго предмета. Конечно, все это могло произойти лишь тогда, когда возникло самое слово, въ своей-ли простѣйшей формѣ, въ видѣ одного слога, или въ формѣ болѣе сложнаго образованія. Вопросъ

мнѣ представляется не такимъ простымъ, какъ это кажется на основаніи изложенія и возраженій Вундта. Именно, на основаніи вышеприведенныхъ соображеній онъ полагаетъ, что первоначальность въ образованіи словесныхъ значеній должна быть приписана понятіямъ предметовъ (die Gegenstandsbegriffe), ибо отлеченіе одного предмета отъ другихъ, окружающихъ его, должно было предшествовать различенію въ этомъ предметѣ его признаковъ. Такъ-ли это бываетъ въ дѣйствительности, объ этомъ должна дать свидѣтельство психологія образовъ. Какъ уже было отмѣчено выше, при мысли о предметахъ въ нашемъ сознаніи возникаютъ образы предметовъ, при чемъ извѣстныя особенности доминируютъ въ образѣ. Мысль о листкѣ дерева вызываетъ образъ не формы листка, но цвѣта (напр., мысль объ увядающихъ осенью листьяхъ, мы, скорѣе, вообразимъ желтый цвѣтъ, чѣмъ измѣнившуюся форму листьевъ); мысль о лошади можетъ сопровождаться образомъ движенія, при чемъ самый движущійся предметъ можетъ возникать въ воображеніи такъ смутно и неопредѣленно, что не вызоветъ потребности назвать именно его. Языкъ жестовъ подтверждаетъ, какъ мнѣ кажется, такое пониманіе: не скачущая лошадь, но дѣйствіе скаканія изображается пальцами, когда человѣкъ хочетъ назвать лошадь. Я полагалъ бы болѣе правильнымъ признать, что выдѣленіе предмета изъ окружающей его среды совершается еще въ доязыковый періодъ интеллектуальной жизни высшихъ животныхъ, въ томъ числѣ и человѣка. Очевидно, языкъ возникъ не потому, что явилась потребность называть эти предметы ихъ именами, а вслѣдствіе иной надобности эмоциональнаго происхожденія. Съ этого начинается, какъ мы видѣли выше, и рѣчь дѣтей. Предметы же являются сознанію ребенка, не какъ выдѣленные изъ окружающей среды объекты познанія, но какъ стимулы раздраженія, пріятнаго или непріятнаго: они уже выдѣлены ребенкомъ раньше, и сначала *онъ вовсе не называетъ* ихъ хочетъ. Лишь впоследствии начинается интенсивный процессъ называнія, и сыпятся изъ устъ ребенка безконечные вопросы: „а это что? а это почему?“ Но и теперь передъ нимъ раскрывается не только и не прежде всего міръ предметовъ, но въ равной мѣрѣ и одновременно міръ дѣйствій и качествъ. Нѣтъ основанія предполагать, что иначе обстояло дѣло, когда человѣкъ началъ говорить. Синкретизмъ образа, связаннаго съ эмоціей: вотъ то первичное состояніе сознанія, которое потребовало своего названія. Конечно, и этому предшествовалъ еще долгій періодъ *звуковыхъ сочетаній, которыя не означали ничего*. Когда же возникло то, что мы называемъ словомъ, оно вовсе не служило только названіемъ предметовъ: въ глазахъ человѣка оно было, а отчасти есть еще и теперь, самымъ предметомъ или представляло собою обладаніе предметомъ. Когда Юпитеръ заключаетъ съ Нумой Помпилиемъ договоръ о будущихъ римскихъ жертвоприношеніяхъ, хитрый законодатель сказочнаго Рима побѣждаетъ бога, ловя его на словѣ.

„Вы будете приносить мнѣ въ жертву живыхъ“... говоритъ Юпитеръ. „Рыбъ“, подсказываетъ Нума.— „Человѣческіе“... „Волосы“...— „Головы“... „Чесноку“. И такъ вмѣсто человѣческихъ жертвоприношеній римляне стали приносить въ жертву Юпитеру волосы, чеснокъ и рыбу. Въ нашей сказкѣ мужикъ зарываетъ кладъ съ приговоромъ на сто головъ, а съѣдъ его, подсматривавшій изъ-за дерева, трижды повторяетъ: „сто головъ“, пока и зарыватель клада не соглашается на это условіе. Во множествѣ народныхъ суевѣрій и другого фольклористическаго матеріала обнаруживается тотъ же фактъ: образъ, чувство такъ овладѣваютъ сознаниемъ первобытнаго (да и малокультурнаго, а можетъ быть и всякаго) человѣка, что ихъ замѣститель въ сознаниі, слово, пріобрѣтаетъ ту же власть надъ умами. А образъ можетъ быть вовсе не только предметнымъ, но и всякимъ другимъ, и первичное значеніе слова, подобно этому, не есть только предметное обозначеніе, потому что сознание не сумѣло еще отдѣлать предметъ отъ его качествъ и состояній, какъ нѣчто постоянное въ образѣ. Что представляетъ собою „наглядность рѣчи“, присущая народному языку, какъ именно не это живое соединеніе въ образѣ предмета съ его качествами и дѣйствіями? И качествами предмета представляются иной разъ даже тѣ эмоціи, которыя онъ вызываетъ: *auri sacra fames* должна была связывать съ образомъ золота и эту *sacram famem*.

Итакъ, резюмируя изложенное въ этой главѣ, я повторю свое основное положеніе: уже до человѣка эволюція животнаго ума выдѣлила предметъ и создала въ воображеніи образъ его, связанный съ эмоціями; въ образѣ беретъ перевѣсъ то представленіе о предметѣ, съ извѣстными его качествами, то представленія объ его дѣйствіяхъ или качествахъ, которыя отнѣняютъ самый образъ предмета. Слово закрѣпило ту или другую черту образа, сдѣлалось обозначеніемъ и предмета и качества или дѣйствія его. Слово, а не образъ вошло въ работу мысли. Образъ сталъ гаснуть, но выдвигались словесныя представленія; создавались понятія, объемъ которыхъ выянялся соединеніемъ словъ въ сужденіяхъ.

ГЛАВА XIII.

Взгляды греческихъ и римскихъ философовъ и грамматиковъ на происхожденіе языка.

Исторію изученія вопроса о происхожденіи языка можно излагать двоякимъ способомъ: исторически и систематически, т. е. по извѣстнымъ направленіямъ, въ которыхъ шло изученіе этого вопроса. Я полагаю, что въ трудахъ, подобныхъ моему, первому методу слѣдуетъ отдать предпочтеніе, такъ какъ тѣ направленія, о которыхъ идетъ рѣчь, не представляютъ чего-либо совершенно обособленнаго, и взгляды, высказанные представителями одного

изъ теченій, оказывали свое воздѣйствіе и на ходъ идей у представителей другихъ направленій. Поэтому, напр., сторонники ученія о прирожденной человѣку способности рѣчи иначе высказывали и подтверждали свои взгляды въ Средніе вѣка и иначе въ эпоху энциклопедистовъ, или въ 19 вѣкѣ. И то же самое приходится сказать о всѣхъ другихъ направленіяхъ. Конечно, при такомъ историческомъ изложеніи до извѣстной степени утрачивается внутренняя связь между теоріями одного порядка, но общая эволюція научнаго изученія становится болѣе наглядной, и болѣе опредѣленно обнаруживается, почему въ настоящее время устанавливается извѣстная господствующая точка зрѣнія на вопросъ о происхожденіи языка. При этомъ такую исторію слѣдуетъ начинать, по моему мнѣнію, съ изложенія греческихъ философскихъ воззрѣній, такъ какъ только они, а не восточная мудрость, составили тотъ исходный пунктъ, отъ котораго пошло европейское научное изслѣдованіе и въ этой области, какъ во многихъ другихъ. Индійскіе грамматикѣ и индійскія религіозныя представленія о началѣ человѣческой рѣчи имѣютъ, скорѣе, психологическій интересъ, такъ какъ обнаруживаютъ возможныя апріорныя толкованія этого вопроса. Такъ, ведійское представленіе о богинѣ *Vāc* (слово, лат. *vox*), „которая порождена богами и дана живестнымъ всѣхъ видовъ“¹⁾, является тѣмъ простѣйшимъ разрѣшеніемъ этого вопроса, которое дается религіей: богъ или боги, создавъ все, создали и человѣческій голосъ. Этой богинѣ, въ которой, быть можетъ, почиталось сверхъ того олицетвореніе грома, какъ голоса небесъ, былъ посвященъ одинъ изъ гимновъ Ригъ-Веды. Здѣсь богиня *Vāc* говоритъ про себя, между прочимъ, слѣдующее: „Гибнетъ тотъ, кто не хочетъ чтить меня! Внимай! Внимайте! Я возвѣщаю достовѣрное. Я правдива, сама я открываю то, что признано (истиной) богами и людьми. Я дѣлаю страшнымъ всякаго, кого полюблю: я дѣлаю его брахманомъ, поэтомъ и мудрецомъ“. Слово, какъ носитель молитвы, какъ выраженіе заклинанія, обладаетъ чудесной религіозной силой; „господинъ слова“ (*vacaspati*) отождествляется съ „творцомъ всего“. При такомъ отношеніи къ языку и при выработкѣ стихотворной формы гимновъ индійскіе ученые должны были обратить особенное вниманіе на разработку и изслѣдованіе грамматикѣ, и въ этой области званія индійскимъ языковѣдамъ принадлежить рядъ знаменитыхъ трудовъ (напр., грамматика Панини), о которыхъ здѣсь не мѣсто говорить. „Что такое слово?“ спрашивали индійскіе грамматикѣ, комментаторы Панини и уже давали на это правильный психологическій отвѣтъ. Слово не есть ни субстанція вещи, ни ея свойство: слово есть „то, при произношеніи чего возникаетъ познаніе“ вещи, обладающей извѣстными признаками (Benfey. 89). Это было уже научное

¹⁾ *Th. Benfey. Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland seit dem Anfange des 19 Jahrhunderts mit einem Rückblick auf die früheren Zeiten. 1869, стр. 40 и дал.*

воззрѣніе, которое не могло уживаться рядомъ съ ирежними представленіями о богинѣ Словѣ, созданной богами.

Въ греческой философіи вопросъ о томъ, имѣютъ ли слова свои значенія влѣдствие влѣшательства человѣческой воли (по закону, νόμος) или влѣдствие естественнаго происхожденія ихъ (отъ природы, φύσις), былъ поставленъ еще до Платона въ связи съ общими вопросами теоріи познанія¹⁾. Особенную остроту какъ эти вопросы, такъ и вопросы религіи и общественной нравственности, приобрѣли при софистахъ, и Платону досталась отъ нихъ по наслѣдству обязанность разобратъ въ вопросахъ νόμος или φύσις и въ психологіи языка. „Мы замѣтили, резюмируетъ Штейнгаль историческій обзоръ греческихъ философскихъ воззрѣній на νόμος и φύσις (Geschichte 75): какъ отвергали извѣстные слова Парменидъ, Эмпедоклъ, Анаксагоръ, Демокритъ, даже Протагоръ лишь потому, что они будто бы созданы νόμος; иначе говоря, они признавали ошибочными извѣстныя представленія, которыми жила народная масса. Но утверждали-ли кто-нибудь изъ нихъ, что языкъ въ цѣломъ, какъ справедливость или религія, созданъ νόμος или φύσις? Исключая Демокрита и Протагора, мы можемъ сказать объ ихъ предшественникахъ, что намъ ничто не даетъ права предположить, что кто-нибудь изъ нихъ обратилъ свое вниманіе на языкъ, какъ на таковой, какъ на цѣльную совокупность отдѣльных частей“. Этотъ вопросъ во времена софистовъ приобрѣлъ огромное общественное значеніе. По утверженію ученика Сократа, Ксенофонта, излюбленной темой для разговоровъ образованныхъ людей сдѣлался вопросъ о „правильности названій“. Вопросъ сводился къ тому, естественнымъ ли образомъ (φύσις) имена являются названіями вещей или только νόμος. ἔθεσι, συνθήκη (по уговору, обычаю, соглашенію). Кто же именно „возложилъ“ законъ названій, кто былъ θετέρος, укрѣпившій за вещами ихъ названія, надъ этимъ задумывались еще немногіе. Гераклитъ уже отмѣчаетъ въ своей философской системѣ связь между извѣстными отношеніями понятій и ихъ названіями²⁾, но вопросъ о происхожденіи языка едва ли вставалъ передъ нимъ, такъ какъ „распорядка вещей не создаетъ ни одинъ изъ боговъ и ни одинъ изъ людей; онъ былъ всегда и есть и будетъ, вѣчно живущій огонь, который массами воспламеняется и массами потухаетъ“. Иначе рассуждалъ Демокритъ, который выступилъ противникомъ теоріи естественнаго происхожденія языка³⁾. Онъ указалъ на „полисемию“ (см. выше, стр. 361)

¹⁾ Подробно объ этомъ *H. Steinthal. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 1890. L. Lersch. Die Sprachphilosophie der Alten 3 части. Bonn. 1838—41.*

²⁾ По мнѣнію Лерша, Гераклитъ видѣлъ въ словахъ непосредственныя, созданная самой природой отраженія вещей, которыя не находятся ни въ какой зависимости отъ субъективнаго вліянія человѣческаго произвола, но соответствуютъ дѣйствительности съ объективной необходимостью.

³⁾ Ср. *Th. Gomperz. Griechische Denker. 1893. I. 318 и дал.*

многихъ словъ, чему соответствуетъ, по его мнѣнію, многочисленность нѣкоторыхъ вещей; онъ имѣлъ въ виду также развитіе значеній въ нѣкоторыхъ словахъ и, наконецъ, отсутствіе названій у нѣкоторыхъ предметовъ. Слѣдовательно, рассуждалъ Демокритъ, названія далеко не совершенно соответствуютъ вещамъ, а потому это несовершенство, вполне естественное при погрѣшностяхъ человѣческаго разума, не можетъ быть приписано дѣйствіямъ высшихъ силъ. Будь это природа или заботливая опека боговъ. Такимъ образомъ, создателями языка явились люди. Такъ стоялъ вопросъ о происхожденіи языка и объ отношеніи названій къ предметамъ во времена Платона. Въ разговорѣ „Кратилъ“, въ которомъ Платонъ подошелъ ближе къ разсмотрѣнію этихъ вопросовъ, участвуютъ Сократъ, его ученикъ Гермогенъ и представитель школы Гераклита, Кратилъ (Gomperz. II. 448—450. Steinthal, 79 Lersch, 29 и дал.).

Въ этомъ діалогѣ Платонъ является сторонникомъ теоріи φύσις, согласно которой названія принадлежатъ вещамъ „правильно“, а не по случайному уговору между людьми. Въ діалогѣ участвуютъ Сократъ и его ученикъ Гермогенъ, а также приверженецъ гераклитовской философіи Кратилъ, у котораго учился и самъ Платонъ. Гермогенъ открываетъ разговоръ, обращаясь къ Сократу съ заявленіемъ, что, по его мнѣнію, названія даны вещамъ по соглашенію (συνθήκη καὶ ὁμολογία). „Каждое названіе, которое кто-нибудь дастъ предмету, мнѣ кажется правильнымъ, и если этотъ человѣкъ дастъ вещи новое названіе, а старымъ перестанетъ называть ее, какъ мы мѣняемъ имена рабамъ, то это новое, измѣненное названіе будетъ нисколько не менѣе правильно, чѣмъ прежде данное. Ибо не отъ природы названіе принадлежитъ вещи, но отъ употребленія и обычая“. Советамъ другого взгляда держится Кратилъ: „правильность названія прирождена каждой изъ вещей уже отъ природы“. Другими словами, Гермогенъ думаетъ, что каждое названіе достигаетъ своей цѣли, если служить названіемъ, тогда какъ, по мнѣнію Кратила, только названіе, естественно соответствующее вещи, можетъ служить ей названіемъ. „Ставится вопросъ о томъ, существуетъ-ли объективно доказанная связь между каждой вещью самой въ себѣ (an sich) и ея названіемъ, или же эта связь устанавливается по своему произволу каждымъ называющимъ. Не человѣкъ и не названіе являются центромъ и исходнымъ пунктомъ вопроса, т. е. не образование и не происхожденіе слова, но самая вещь и отношеніе къ ней ея названія“. (Steinthal. 89). Что касается замѣчанія Гермогена о томъ, что каждое названіе по существу одинаково пригодно, то Сократъ отдѣляется отъ него слѣдующимъ рассужденіемъ: „Ткацкій станокъ выдѣлываетъ плотникъ: но не каждый можетъ быть плотникомъ, а лишь тотъ, кто изучилъ это ремесло. Точно также не каждый человѣкъ кузнецъ, и потому не каждый можетъ сдѣлать буравъ. Неужели же каждый встрѣчный, каждый первый попавшійся окажется въ

состоянии создавать законы (νόμοι) и имена (ὀνόματα), быть законодателем, творцом названія (νομοθέτης, ὀνοματοποιός)? Не будет ли онъ, наоборотъ, самымъ рѣдкимъ изъ всѣхъ художниковъ“? Послѣ этого Платонъ переходитъ къ своему учению объ идеяхъ. Вещи обладаютъ, по учению Платона, развитому въ этомъ діалогѣ, своей собственной природой, и потому съ ними нельзя обращаться по нашему произволу, а стало быть нельзя ихъ и называть такъ, какъ намъ вздумается: „имя есть выполнение, осуществление идеи названія въ звукѣ“ (Steinthal. 98). Но имена распадаются на сложные, относительно которыхъ Платонъ высказываетъ рядъ не относящихся сюда соображеній, и на первичныя (τὰ πρῶτα ὀνόματα), которыя представляютъ собою στοιχεῖα τῶν ὀνομάτων (стихія названій). Ихъ правильность заключается въ томъ, что они обнаруживаютъ сущность вещи, показываютъ, каково каждое изъ существующихъ (οἷον ἕκαστον ἐστὶ τῶν ὄντων). Слѣдовательно, такое первичное слово должно быть признано, въ качествѣ соотвѣтствія существу вещи, объясненіемъ, опредѣленіемъ ея. А разъ это такъ, то Платону приходится хотя бы косвенно разсмотрѣть и вопросъ о происхожденіи этихъ элементарныхъ словъ, т. е. коснуться вообще вопроса о происхожденіи языка. Впервые, такимъ образомъ, не интуиція, не религіозный пафосъ, но строгій философскій анализъ поставилъ вопросъ о происхожденіи языка.

Платонъ предложилъ одно изъ наиболѣе распространенныхъ (хотя и въ иной формѣ) толкованій этого вопроса, сведя первоначальныя слова человѣческой рѣчи къ подражаніямъ. Сократъ, высказывающій въ діалогѣ эту мысль, обосновываетъ ее тѣмъ соображеніемъ, что и языкъ жестовъ, одинъ изъ способовъ изображенія (δῆλωμα), представляетъ собою подражаніе той вещи, которую требуется изобразить. Подобно этому, названіе вещи является подражаніемъ съ помощью голоса называемой вещи. Такъ какъ недостоверность такого объясненія была вполне очевидна, толкованіе же исходило не изъ наблюденія дѣйствительнаго матеріала, но изъ логическихъ заключеній по аналогіи, то требовалось только выяснить, чему же именно „подражаютъ“ названія. На это недоумѣніе Сократъ отвѣчаетъ указаніемъ на то, что слова воспроизводятъ не тонъ, не видъ, не цвѣтъ предметовъ, но ихъ сущность (οὐσία). Едва ли можно на основаніи этого толкованія считать Платона изобрѣтателемъ ономапоэтического принципа въ языкѣ, какъ это дѣлаетъ Штейнталь: вѣдь въ діалогѣ идетъ рѣчь не о подражаніи звукамъ, но о воспроизведеніи сущности вещи, т. е. именно не о звукоподражаніи. Строю сущностей соотвѣтствуетъ строй языка: какъ въ мірѣ вещей изъ простѣйшихъ элементовъ состоятъ всѣ предметы, такъ въ мірѣ языка изъ составныхъ элементовъ рѣчи, звуковъ и слоговъ, состоятъ всѣ слова, представляя собою звуковое отраженіе сущности всѣхъ вещей. И самое толкованіе звуковъ, которое въ этомъ діалогѣ даетъ Сократъ, сводится не къ подражанію чему-либо, но къ воспроизведенію сущности

вещей: такъ, согласный ε̄ есть органъ всякаго движенія, которое онъ и воспроизводитъ своей природой, такъ какъ при произношеніи этого звука языкъ приходитъ въ наибольшее колебаніе; ε̄ означаетъ нѣчто тонкое, черезъ все проникающее, вслѣдствіе чего оно и является въ словахъ *идти и сплшить* (ἵεναι, ἰεσθαι) и т. под.

Въ этомъ же родѣ и другія объясненія, предложенныя Платономъ. Насколько здѣсь силенъ элементъ тонкой насмѣшки, сказать трудно. Во всякомъ случаѣ, выслушавъ Сократа, Кратилъ заявляетъ, что онъ и самъ умѣетъ шутить. Заключать изъ этихъ словъ, что Платонъ не придавалъ серьезнаго значенія своей теоріи, невозможно: не чувствуя подъ своими объясненіями достаточно твердой почвы, онъ могъ намѣренно прикрыться шуткой отъ возможныхъ издѣвательствъ. Но самый методъ разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка отъ этого не потерпѣлъ никакого ущерба: могли быть ошибочны примѣненія метода, но самый методъ оставался правильнымъ. Не слѣдуетъ только, полагалъ Платонъ, злоупотреблять выраженіемъ, что слова являются образами вещей, такъ какъ такое злоупотребленіе должно привести къ выводу, будто есть плохія и хорошія слова. Это возраженіе дѣлаетъ Сократу Кратилъ. Въ дальнѣйшемъ спорѣ между Сократомъ и Кратиломъ обнаруживается, что, вообще, и самый-то принципъ сходства словъ съ сущностью вещей довольно сомнителенъ, и Сократъ, который такъ краснорѣчиво доказывалъ прирожденное (φύσει) въ словахъ, теперь заканчиваетъ свою рѣчь заявленіемъ, что „изображеніе создается не сходствомъ, но обычаемъ“ (ὅτι... τὴν ὁμοίωσιν ἀήλωμα εἶναι, ἀλλὰ τὸ ἔθος). Штейнталь утверждаетъ, что именно это заключеніе и является дѣйствительнымъ убѣжденіемъ Платона, но едва ли можно добиться въ этомъ вопросѣ полной ясности. Быть можетъ, Платонъ, какъ это предполагаетъ Гомперцъ, вѣрилъ въ то, что нѣкогда звуки, дѣйствительно, отражали сущность вещей, но знакомство съ греческими говорами открыло ему явленія звуковыхъ измѣненій. Такимъ образомъ, современное положеніе вещей уже разрушило прежнюю ясность и точность изображенія дѣйствій въ звукахъ и ввело новый принципъ созданія словъ, условіе. Какъ бы мы ни толковали этотъ діалогъ, во всякомъ случаѣ, онъ выясняетъ не лишенный значенія фактъ, что Платонъ зналъ уже объ основныя теоріи происхожденія языка, теорію естественнаго происхожденія его, которая говорила о присущемъ человѣку дарѣ рѣчи, основанной на инстинктивномъ воспроизведеніи явленій, и теорію искусственнаго происхожденія языка, сводящуюся къ условному созданію искусственныхъ словъ. Однако, вопросъ о происхожденіи языка отступалъ въ научныхъ интересахъ Платона на задній планъ передъ вопросомъ о сущности его. Аристотель точно также интересовался не столько вопросомъ о генезисѣ явленій, сколько ихъ анализомъ. „Еще не то: какъ образуются вещи, но только: изъ какихъ частей онѣ состоятъ, является задачей, которую ставитъ себѣ Аристотель. Онъ

анализируетъ, абстрагируетъ, классифицируетъ. Результатомъ этого стремленія оказываются категоріи и схемы. Такимъ образомъ, Аристотель начинаетъ, собственно, и изслѣдованіе языковыхъ категорій, частей рѣчи и формъ измѣненія словъ“ (Steinthal. 183).

Вопросъ о сущности словъ Аристотель разрѣшилъ слѣдующимъ образомъ: „языкъ является знакомъ для волненій души (τὸ ἐν τῇ ψυχῇ τῶν ἐν τῇ ψυχῇ παθημάτων σύμβολα), а написанное знакомъ для языка; и такъ же, какъ буквы не вездѣ одинаковы, неодинаковы и звуки. Что же касается душевныхъ волненій, знаками которыхъ служатъ эти послѣдніе, то они вездѣ одинаковы, и тѣ вещи, отраженіями которыхъ являются они (впечатлѣнія), то и они равнымъ образомъ одинаковы“. Отсюда самъ собою вытекалъ выводъ, что при сходствѣ оригинала и несходствѣ его изображеній, эти послѣдніе не являются прирожденными выраженіями душевныхъ переживаній. Аристотель формулировалъ этотъ выводъ въ краткомъ положеніи: „φύσει τῶν ὀνομάτων οὐδὲν ἔστιν“ (ни одно изъ названій не происходитъ отъ природы). Условность человѣческой рѣчи была уже ясна Аристотелю: вѣдь далеко не всѣ звуки, отражающіе душевныя состоянія, служатъ словами. „Не поддающіеся написанію звуки, въ родѣ тѣхъ, какіе издають звѣри, тоже обозначаютъ что-нибудь, но ни одинъ изъ нихъ не представляетъ слова“, замѣчаетъ Аристотель. Поэтому, лишь случайно (κατὰ συμβεβηχός), а не по внутренней необходимости слова пріобрѣтаютъ извѣстное значеніе: „каждое изъ названій есть (лишь) символъ“. При такомъ пониманіи сущности языка оставалось только выяснитъ, какимъ образомъ могли образоваться эти символы, но въ этотъ спеціальнй вопросъ о происхожденіи языка Аристотель, повидному, не углублялся. Его вниманіе было поглощено философскими и психологическими вопросами объ отношеніи слова къ мысли, и онъ проложилъ путь для будущихъ грамматическихъ изысканій, самъ уже занявшись изученіемъ переходовъ словесныхъ значеній и вопросами стилистики.

Послѣ Аристотеля созданное имъ направленіе въ изученіи человѣческой рѣчи обратилось уже къ изслѣдованію и вопроса о происхожденіи языка. „Какъ человѣкъ образуетъ слово, такъ что оно становится понятно?“ (Steinthal. 320). Надъ этимъ вопросомъ стала упорно работать научная мысль въ александрийскую эпоху. Опять подымается вопросъ о томъ, отъ природы (φύσει) или по уговору (νόμῳ, θέσει) образовался человѣческій языкъ. Въ этомъ спорѣ выдвинулся и чрезвычайно важный моментъ, который Аристотель оставилъ незамѣченнымъ. Такъ, Эпикуръ обратилъ вниманіе не на составъ того или другого языка, который не является, во всякомъ случаѣ, первичнымъ достояніемъ человѣческаго рода, но на самую потребность человѣка говорить. „Имена не явились съ самага начала по установленію, но самая натура людей, въ зависимости отъ національныхъ особенностей, испытываетъ пріусція ей переживанія и образуетъ собственныя свои

представленія, а потому и присущимъ ей способомъ выдыхаетъ воздухъ, который выдыхается вслѣдствіе полученныхъ возбужденій и представленій“. Поэтому, отождествляя выдыханіе, необходимое для произношенія звуковъ, съ самымъ произношеніемъ и даже съ языкомъ¹⁾, Эпикуръ признаетъ рѣчь (ὀνομασίαν) такимъ же естественнымъ отправленіемъ, какъ „видѣніе и слышаніе“, такъ что при естественной потребности человѣка говорить звуки его рѣчи являются только физическимъ (φυσικῶς) порожденіемъ функцій его организма. Однако, при такомъ пониманіи мысль наталкивается на тотъ фактъ, что въ концѣ концовъ языки народовъ все-таки различны. На чемъ же это можетъ основываться? Конечно, только на прирожденномъ различіи людей, и Эпикуръ признавалъ „различіе народовъ по мѣстамъ“ (ἢ παρὰ τοὺς τόπους τῶν ἐθνῶν διαφορά). Различны искони народы, различны и языки, на которыхъ они говорятъ. Однако, Эпикуръ не отрицалъ и другого фактора образованія языковъ, который заключается въ условномъ соглашеніи между людьми. Этотъ принципъ не создалъ языковъ, но содѣйствовалъ развитію каждаго изъ нихъ. Слова языка у каждаго народа сочиняются выдающимися людьми его. „Видимое, чувственное доступно каждому изъ людей въ народѣ. Но особенно одаренные умы создаютъ отвлеченныя представленія и вносятъ ихъ во всеобщее сознаніе, благодаря тому, что они обозначаютъ ихъ однимъ словомъ. Звукъ же для выраженія его они изобрѣтаютъ отчасти вслѣдствіе инстинктивнаго произведенія звуковъ, отчасти путемъ размышленія“. (Steinthal. 328). Это ученіе, какъ справедливо отмѣчаетъ Штейнталь, было бы уже довольно близко къ современному пониманію вопроса, если бы не ошибочный взглядъ Эпикура на природу человѣческаго духа. Говорить значить выполнять „органическую функцію“, какъ видѣть или слышать²⁾, и одинъ изъ греческихъ писателей, передавая ученіе Эпикура, утверждаетъ, что создатели человѣческаго языка были такъ же понуждаемы физическими страданіями, какъ люди стонущіе, икакіе и т. п. Это, быть можетъ, ироническое указаніе бросаетъ извѣстный свѣтъ на воззрѣнія Эпикура. Повидному, онъ не только установилъ физическую первопричину человѣческой рѣчи, но стремился выяснитъ уже и эмоціональное происхожденіе первыхъ человѣческихъ словъ. Въ обоихъ этихъ отношеніяхъ греческій философъ, дѣйствительно, уже приближался къ современной постановкѣ вопроса о происхожденіи языка.

Этотъ вопросъ интересовалъ и стоиковъ, которые стояли на точкѣ зрѣнія происхожденія языка φύσει, хотя подъ этимъ терминномъ они под-

¹⁾ Вопросъ о „тѣлесномъ“ характерѣ голоса породилъ въ древности цѣлую литературу. „Corporum quoque enim vocem constare fatendum est“, говорилъ Лукрецій (IV. 539). Витрувій опредѣлялъ его, какъ летящій духъ, ударяющій по слуху (vox est spiritus fluens et aeris ictu sensibilis auditus) и т. п. Ср. Lersch. III. 119—124.

²⁾ Ср. въ XVI главѣ изложеніе теоріи Ренана.

разумѣвали, можетъ быть, не совсѣмъ то, что прежніе философы. Въ понятіе *φύσις* они вкладывали представленія о томъ, что развивается естественнымъ образомъ, одинаково у всѣхъ, помимо ихъ настрѣнія и сознанія, и въ этомъ смыслѣ они говорили о „естественномъ“ (физическомъ) происхожденіи человѣческаго языка. По мнѣнію Штейнтала, въ этомъ заключался извѣстный прогрессъ по сравненію съ Эпикуромъ, такъ какъ понятіе *φύσις* предполагало нѣчто соответствующее самой натурѣ человѣка. Дѣйствительно, съ этой точки зрѣнія приходится признать, что указаніе на инстинктивное стремленіе человѣчества къ выраженію своихъ чувствъ въ звукахъ, которое предполагается этимъ словомъ *φύσις*, является шагомъ впередъ въ выясненіи условій возникновенія рѣчи. Что касается вопроса о значеніи словъ, то ученіе стоиковъ представляется Штейнталемъ въ слѣдующемъ видѣ: „Имена предметовъ давались безъ субъективнаго обсужденія и безъ научнаго сознанія, которымъ обладаетъ только философъ, но они не являются вмѣстѣ съ тѣмъ продуктомъ только чувственнаго раздраженія. Они создаются *φύσιν*, какъ всѣ лежащія непосредственно въ народномъ сознаніи представленія о религиозныхъ и нравственныхъ предметахъ. Такъ какъ эти представленія не приобретаются путемъ изученія, но создаются сами собою въ человѣкѣ, то они оказываются *φύσει*, имѣютъ всеобщую цѣнность и являются истинными. И именно въ такомъ смыслѣ, будучи созданы безъ искусства, названія заключаютъ въ себѣ и истинность“ (Steinthal. 331). Этимология вскрываетъ заключающуюся въ словѣ мудрость, которая должна лежать въ основаніи всяческихъ философскихъ опредѣленій и приводить косвеннымъ образомъ къ заключеніямъ и дальнѣйшимъ выводамъ. Но такое пониманіе было возможно лишь при предположеніи, что слова имѣютъ звукоподражательное происхожденіе: „первыя слова подражаютъ дѣламъ, откуда и названія“, какъ передаетъ это ученіе Оригенъ (*μυθομακρον των πρωτων φωνων τα πραγματα*). Августинъ, излагая то же стоическое ученіе, *ut res cum sono verbi aliqua similitudine concinat* (что вещь издастъ звуки, сколько-нибудь сходные со звуками слова) приводитъ въ качествѣ примѣровъ такія слова, какъ *hinnitus* (equorum, ржаніе коней), *balatus* (ovium, бляеніе овецъ), *clangor* (tubarum, звуки трубъ), *stridor* (catenarum, лязгъ цѣпей) и др. Сочиненіе Варрона „De origine verborum“, повидимому, занимало среднее положеніе въ спорѣ объ естественномъ и условномъ происхожденіи языка (Lersch III, 126), но и онъ настаивалъ въ отдѣльныхъ случаяхъ на принципѣ звукоподражанія: *murmuratur dictum a similitudine sonitus* и т. п. (ibid. 129—132).

Такимъ образомъ, мѣсто прежняго ученія о внутреннемъ сходствѣ названія съ предметомъ теперь занимаетъ уже гораздо болѣе научное толкованіе дѣйствительнаго звукоподражанія. Однако, не всѣ же предметы издають звуки, которые могутъ быть положены въ основаніе значеній

словъ. Какъ быть съ ними? „Такъ какъ есть вещи, которыя не звучатъ, продолжаетъ Августинъ,—то въ нихъ проявляетъ свое дѣйствіе сходство впечатлѣнія (*in his similitudinem tactus valere*): такъ, если они задѣваютъ наше чувство мягко или грубо, то мягкость или грубость буквъ, какъ дѣйствуетъ на слухъ, такъ же порождаетъ имъ имена: напр., когда мы произносимъ самое слово *lenis* (мягко), то оно и звучитъ мягко; съ другой же стороны, кто же не замѣтитъ грубости (жестокости, *asperitas*) и въ самомъ словѣ *asper*? Мягко ушамъ, когда мы произносимъ *voluptas* (наслажденіе); жестко, когда произносимъ *crux* (крестъ). И самыя вещи производятъ то же впечатлѣніе, какъ воспринимаются слова (*ita res ipsae adficiunt, ut verba sentiuntur*)“. И это ученіе возродилось впоследствии у Лейбница и др.

Далѣе въ изложеніи Августина слѣдуютъ такіе же произвольные примѣры, какъ приведенныя выше: медъ (*mel*) сладокъ на вкусъ, и названіе его пріятно ласкаетъ слухъ, а слово *горькій* (*acer*) соответствуетъ и непріятному вкусу, и непріятному слуховому впечатлѣнію и т. под. Оказывается, однако, что и этотъ принципъ не былъ пригоденъ для объясненія всѣхъ явленій, такъ, напр., *crura* (ноги) никакъ не соответствовало представленію о чемъ-то жестокомъ, непріятномъ, и стоикамъ пришлось прибѣгнуть къ иному объясненію. Въ словѣ *crux* „жестокость самого слова находится въ соответствіи съ жестокостью боли, которую причиняетъ крестъ“, *crura* же „названы такъ не вслѣдствіе жестокости страданія, а потому, что своей длиной и твердостью болѣе всего изъ всѣхъ членовъ подобны дереву креста“. Въ связи съ этимъ уже стоиками (какъ впоследствии въ 1860 году англійскимъ ученымъ Фераромъ) были предложены и другіе принципы словообразованія: аналогія, благодаря которой „берется имя не столь вещи сходной, сколько сосѣдней“ (т. е. идетъ рѣчь о метафорѣ: *piscina*, рыбный прудъ, вмѣсто пруда вообще), и противоположность. „Ибо *rocca* (*lucus*), какъ полагаютъ, называется такъ потому, что въ ней наименѣе свѣтло (*quod minime luceat*), а *bellum* (война) потому, что это вещь вовсе непріятная (*bellum, quod res bella non sit*), и договоръ потому, что это вещь вовсе не позорная (*foederis nomen, quod res foeda non sit*)“. Такимъ образомъ, наряду съ принципомъ звукоподражательности, стоики ввели для объясненія происхожденія словъ и другое начало, которое можно уже назвать, до извѣстной степени, символическимъ. Такое объясненіе называлось антифрастическимъ (*ἀντιφραστικόν*), и грамматики подробно разбирали вопросъ, основывается ли антифраза на ироніи (Донатъ: *ἀντιφρασις est unius verbi ironia*) или на серьезномъ пониманіи вещей, которое отстаивалъ напр. Исидоръ (Lersch. III. 132—133).

Если *lucus* происходитъ (какъ смѣялся Вольтеръ) отъ *non lucendo*, то нужно было условиться относительно символическаго значенія этого слова. Мы видимъ изъ приведенныхъ данныхъ, что древняя наука уже

постепенно подходила къ тѣмъ основнымъ положеніямъ, на которыхъ построены наши современные представленія о значеніи словъ и ихъ происхожденіи. Уже древнимъ грамматикамъ становилось ясно, что языкъ не возникъ сразу, вслѣдствіе внушенной извнѣ воли, но создавался постепенно, восходя своими первоосновами къ присущей всѣмъ людямъ потребности выражать свои эмоціи въ звукахъ. Самое же объясненіе этихъ принциповъ, конечно, оставалось очень несовершеннымъ и наивнымъ. Стоики занялись изученіемъ этимологическаго происхожденія словъ, и по этому пути за ними пошли позднѣйшіе грамматикѣ. Александрійскіе грамматикѣ опять выдвинули на первый планъ принципъ звукоподражательности. Слово, какъ „сдѣланное“ (*πεποιημένον*), представляло, по ихъ ученію, „выраженное подражательнымъ образомъ въ соотвѣтствіе особенностямъ звуковъ“. Но это ученіе не было разработано, но довольствовалось „механическими и внѣшними объясненіями“ (Steinthal. 349). Квинтиліанъ сокрушался, что римскіе писатели не рѣшались сами сочинять новыя слова: „Ономаптоэя, т. е. сочиненіе названій (*fictio nominis*), считалось у грековъ одной изъ величайшихъ добродѣтелей, тогда какъ у насъ едва разрѣшается“. Разработкой ученій о значеніи словъ и опредѣленіемъ требованій, которыя слѣдуетъ предъявлять къ этимологическимъ изысканіямъ, закончилась та работа античной мысли, которая была устремлена на вопросъ о происхожденіи языка.

Но, помимо грамматиковъ, историки и естествоиспытатели-философы внесли свою долю въ разрѣшеніе этого важнѣйшаго вопроса антропологии, которымъ, какъ мы знаемъ, интересовались уже египетскіе фараоны. Діодоръ Сицилійскій (жившій въ Римѣ во времена Юлія Цезаря и Августа), выступилъ со слѣдующей теоріей: „Первые люди вели скитальческую звѣриную жизнь; они рыскали въ поискахъ пищи, кормились вкусной травой и плодами дикорастущихъ деревьевъ. Но, находясь постоянно подъ угрозой нападенія дикихъ звѣрей, они были принуждены помогать другъ другу, и такимъ образомъ изъ страха они образовали общество; мало-по-малу, они начали приходить также къ познанію окружающихъ ихъ вещей. Сначала они издавали только безсвязные, ничего не значащіе звуки, а потомъ, мало-по-малу, они научились произносить и артикулированныя слова, иногда они даже стали давать вещамъ ихъ имена, пока не пришли къ тому, что были въ состояніи выражать всѣ свои мысли съ помощью языка“. Точно также восходитъ къ социологическимъ принципамъ и ученіе Витрувія, римскаго архитектора временъ Цезаря и Августа. Онъ начинается издадалека: люди не знали огня, возникавшаго отъ тренія вѣтвей въ лѣсу во время бурн, они боялись его, но потомъ познакомились съ благотворительнымъ дѣйствіемъ огня. Всѣ, кто убѣдился въ этомъ, старались поддержать огонь, подбрасывая въ него дрова; они подводили къ нему другихъ и знаками подсказывали имъ (*nutu monstrantes ostendebant*), насколько по-

лезень огонь. Это положило начало человѣческому обществу, и люди, живя совместно, издавали звуки, которые вслѣдствіе постояннаго упражненія превратились въ слова—звы (*vocabula*)¹⁾; отъ этихъ словъ, которыя стали обозначать вещи, образовались тѣ основанія человѣческой рѣчи, какими являются названія предметовъ. Какъ Діодоръ, такъ и Витрувій стоятъ, такимъ образомъ, уже на эволюціонной социологической почвѣ: языкъ развился изъ инстинктивныхъ криковъ въ первобытномъ человѣческомъ обществѣ. Въ этого инстинкта звукообразованія и внѣ социальнаго взаимодѣйствія не было бы рѣчи: эти принципы римскихъ социологовъ, высказанные еще, конечно, не отчетливо и не подтвержденные фактами, оказываются, по существу своему, твердыми основоположеніями и современныхъ изысканій въ этой области наравнѣ съ тѣми философскими наблюденіями, какія были сдѣланы Платономъ, Аристотелемъ и стоиками. Наконецъ, римскій поэтъ и философъ-материалистъ, Лукрецій Каръ (въ I в. до Р. Х.), пошелъ еще дальше въ этомъ направленіи, связавъ начатки человѣческой рѣчи съ животными криками и съ инстинктивными выраженіями чувства въ звукахъ. „Сама природа установила различные звуки рѣчи, необходимость назвала вещи ихъ именами“²⁾. Нелѣпо было бы думать, продолжаетъ Лукрецій, что кто-нибудь одинъ распредѣлилъ столько названій предметамъ, и что отъ него люди переняли свои первыя слова. Но вѣдь уже животныя, хотя они и безсловесны, выражаютъ различными криками свои чувства. Такъ и человѣкъ пріучился связывать съ разными предметами различные звы (*voces*). Мало-по-малу, съ теченіемъ времени, этотъ языкъ развивался, и наконецъ имъ завладѣлъ разумъ (*ratioque in luminis egiit oras*). Такимъ образомъ, къ началу среднихъ вѣковъ европейская мысль уже выработала какъ социологическія, такъ и психологическія основанія для разрѣшенія вопроса о происхожденіи человѣческой рѣчи. Правда, это были только первоосновы, которыя предстояло разработать.

ГЛАВА XIV.

Взгляды на происхожденіе языка и сущность названій въ Средніе Вѣка.

До сихъ поръ, къ сожалѣнію, не собраны взгляды средневѣковыхъ философовъ на вопросы, связанные съ происхожденіемъ языка. Не всѣ они придерживались библейскаго повѣствованія о называніи Адамомъ

¹⁾ In eo hominum congressu cum profundebantur aliter e spiritu voces, quotidiana consuetudine vocabula, ut obtigerant, constituerunt: deinde significando res saepius in usu, ex eventu fari fortuito coeperunt, et ita sermones inter se procreaverunt. Cp. Lersch I, 148.

²⁾ At varios linguae sonitus Natura subegit Mittere, et utilitas expressit nomina rerum.

вещей природы и видѣли въ этомъ наименованіи разрѣшеніе вопроса о происхожденіи языка. Наоборотъ, именно противъ этой теоріи и выступили нѣкоторые изъ первыхъ христіанскихъ философовъ. Изучить разсужденія средневѣковой схоластики по этому вопросу было бы чрезвычайно интересно, но подобной работы еще не было произведено, и потому въ настоящей главѣ я буду принужденъ ограничиться нѣсколькими несистематическими замѣчаніями, главнымъ образомъ, въ связи съ средневѣковымъ споромъ о номинализмѣ и реализмѣ. Во всякомъ случаѣ, извѣстное библейское сказаніе давало почву для разномыслія ¹⁾. Раввинская экзегеза понимала его въ томъ смыслѣ, что Господь самъ научилъ перваго человѣка, Адама, еврейской грамматикѣ и языку. Это ученіе было принято и аріанскимъ епископомъ Евноміемъ въ той формѣ, что вещи получили свои имена отъ Бога, который открылъ ихъ людямъ. Въ противоположность этому взгляду, св. Григорій Нисскій, ученикъ Василия Великаго, выступилъ съ ученіемъ, что Богъ не открылъ людямъ названій предметовъ, но только далъ имъ способность рѣчи, которой они и воспользовались для пріобрѣтенія именъ вещей. Человѣкъ былъ созданъ, какъ существо одаренное рѣчью (*λογικόν*), но самой-то рѣчи Богъ не создалъ. „Богъ далъ вещамъ ихъ названія“, заявляетъ новый толкователь божественныхъ знаній (Евномій), такъ какъ Онъ назвалъ камень, и траву, и злаки, и сѣмена, и деревья и т. под. еще до сотворенія человѣка, когда Онъ словомъ Своимъ давалъ образъ созданной Имъ матеріи... Евномій останавливается на томъ, что языкъ, состоящій изъ имени, глагола и союзовъ, онъ приписываетъ, какъ нѣчто великое, Богу, не замѣчая того, что Богъ не сказалъ, что онъ совершаетъ все наши дѣла, хотя Онъ далъ нашей природѣ способность къ работѣ. Правда, Онъ далъ и природѣ эту способность, но свой домъ, и скамью, и мечъ, и плугъ, и другіе предметы нашего жизненнаго обихода мы приготовляемъ сами. Каждая изъ этихъ вещей является дѣломъ нашихъ рукъ, хотя и она должна быть возведена къ дѣятельности нашего Творца, поскольку Онъ создалъ нашу природу способной ко всякому искусству. Точно также и способность рѣчи (*ἡ τοῦ λόγου δύναμις*) является, какъ будто, дѣломъ того, кто устроилъ нашу природу такимъ образомъ; но отъ насъ самихъ идетъ пріобрѣтеніе отдѣльныхъ словъ, которое происходило по мѣрѣ того, какъ являлась надобность давать названія существующему“.

Григорія просто возмущало предположеніе, что Господь, который выше всякаго слова и всякаго понятія, который властью своей воли управляетъ вселенной, могъ быть представленъ въ качествѣ сочинителя словаря и грамматики, „школьнаго учителя“. Продолжая свои разсужденія, этотъ писатель указываетъ на то, что, по Божьей волѣ, совершаютъ свои движенія и животныя, но кто же осмѣлится думать, что эти движенія совер-

¹⁾ А. Giesswein. Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft in ihren Beziehungen zur Theologie, Philosophie und Anthropologie. 1892, стр. 154—156.

шаетъ въ животномъ самъ Богъ? Напротивъ, только способность двигаться Творецъ далъ животнымъ. „Природа получила отъ Бога способность говорить, артикулировать и выражать съ помощью голоса желанія, но теперь она идетъ своимъ путемъ черезъ вещи, давая реальнымъ вещамъ обозначенія посредствомъ качественного различенія звуковъ. Эти обозначенія составляютъ то, что мы называемъ глаголами и именами существительными, и чѣмъ мы опредѣляемъ понятія вещей... По Божьей волѣ, возникла вещь, но не имя. Такимъ образомъ, существующая вещь есть созданіе творческой силы, но звуки, означающіе существующее и представляющіе средство языка для болѣе точнаго и яснаго познанія всего, являются дѣломъ и изобрѣтеніемъ логической силы (*τῆς λογικῆς δυνάμεως ἔργα τε καὶ εὑρήματα*); но самая-то эта сила оказывается, какъ и природа, Божіимъ твореніемъ“.

Этотъ взглядъ христіанскаго ученаго представляетъ отзвукъ греческихъ идей въ христіанскомъ пониманіи: *ῥῶσι* замѣняется здѣсь понятіемъ Бога, надѣливаго человѣческой разумъ извѣстными словами, но самыя-то слова устанавливаются соглашеніемъ между собою людей, *θέσει*. Въ предшествующей главѣ былъ изложенъ процессъ мысли, приведшій къ такому пониманію, и Григорій Нисскій повторяетъ, повидимому, только эти старые взгляды. И самый споръ о номинализмѣ и реализмѣ восходитъ своими первоосновами къ античной философій ¹⁾. Въ вопросѣ объ отношеніи общихъ понятій къ отдѣльнымъ вещамъ Платонъ училъ, что общее является существеннымъ и предшествуетъ отдѣльнымъ вещамъ; основатель стоицизма, Зенонъ, полагалъ, наоборотъ, что отдѣльное имѣетъ существенное значеніе и предшествуетъ общему, какъ всемъ понятіямъ; Аристотель занималъ промежуточное положеніе, высказывая убѣжденіе, что общее получаетъ свое проявленіе въ отдѣльномъ и вмѣстѣ съ нимъ составляетъ сущность. „Различіе платоновской и аристотелевской философій по вопросу о томъ, предшествуютъ-ли вещамъ общія понятія, имѣя дѣйствительную реальность, или же они создаются только логическимъ разсужденіемъ о вещахъ и не имѣютъ никакой реальности внѣ вещей,—это различіе могло быть небезызвѣстнымъ школамъ Средневѣковья, такъ какъ Боэцій и Порфирій (въ предисловіи къ Органону) упоминаютъ о немъ и даже оставляютъ рѣшеніе его подъ сомнѣніемъ, хотя оба были аристотеликами. И дѣйствительно, уже въ первыя столѣтія Среднихъ вѣковъ (до 1000 г.) мы находимъ кое-какіе слѣды знакомства съ номинализмомъ, если только мы уже теперь можемъ назвать Аристотелевскій взглядъ номинализмомъ“. Вопросъ имѣлъ прежде всего философскій интересъ, но до извѣстной степени онъ задѣвалъ и проблему происхожденія языка. Вѣдь, если понятія предшествуютъ вещамъ, то они должны имѣть

¹⁾ Н. О. Koehler. Realismus und Nominalismus in ihrem Einfluss auf die dogmatischen Systeme des Mittelalters. Gotha. 1858.

дочеловѣческое происхождение, и самыя слова, обозначающія понятія, не могутъ быть, логически разсуждая, изобрѣтеніемъ человѣческаго разума. Конечно, формальное мышленіе схоластикомъ чаще всего ограничивалось рамками умствованій объ отношеніи понятій къ вещамъ, не выходя отсюда въ область психологическихъ проблемъ, но касаясь прежде всего вопросовъ религіи, однако все-же эта область была слишкомъ близка, чтобы косвенно и на нее не распространялись взгляды схоластикомъ. Это обнаруживается уже у предшественниковъ схоластики. Такъ, жившій при дворѣ Карла Великаго аббатъ Фредегизъ представлялъ себѣ *ничто*, предшествовавшее мірозданію, какъ *verbum corporale* (слово физическое). Путемъ логическихъ умозаключеній онъ приходилъ къ выводу, что это ничто представляло первоначальную стихію, изъ которой образовался весь міръ, и не только тѣла, но и души. А отъ этого послѣдняго ученія являлся переходъ къ отождествленію Бога съ ничто, *incognita materies*. Казалось бы, что первоначальное, матеріальное *слово* должно было составлять вѣчто предшествующее отдѣльнымъ словамъ. Реализмъ Фредегиза, видѣвшій въ понятіяхъ реальныя сущности, какъ бы предполагалъ наличность ихъ въ первоначальномъ словѣ. Какъ возникли отдѣльныя слова, объ этомъ Фредегизъ едва-ли думалъ. На почвѣ реализма стоялъ и „отецъ схоластики“, Скотъ Эригенъ, современникъ Карла Тисаго, умершій около 877 г.¹⁾ Онъ утверждалъ, что „Богъ есть начало всѣхъ вещей, которыя имъ созданы, и Онъ есть цѣль (конецъ, *finis*) всѣхъ вещей, которыя къ нему стремятся, чтобы въ немъ вѣчно и неизмѣнно покоиться“. Изъ этого „пантеизма“, какъ называетъ ученіе Эригена Келеръ, вытекаютъ его представленія какъ о процессѣ міросозданія, такъ и о существѣ человѣческой природы. Специально вопросу о происхожденіи языка Эригенъ, повидимому, также не посвятилъ своего вниманія: быть можетъ, для него само собою было ясно начало человѣческой рѣчи отъ божьяго внушенія. „Твореніе есть переходъ отъ вѣчнаго къ временному, отъ абсолютнаго къ реальному, отъ безконечнаго къ конечному. То, что было вѣчно въ Богѣ, было создано, какъ временное, въ мірѣ явленій... Существо Божье заключается въ дѣйствіяхъ, какъ и въ причинахъ: оно вмѣщается все цѣликомъ въ каждой индивидуальности, оно не есть меньше въ отдѣльномъ зернѣ, чѣмъ во всей жатвѣ, и въ этомъ зернѣ оно не есть больше, чѣмъ въ отдѣльной части его. Весь міръ созданъ въ Словѣ. Какимъ образомъ совершается это твореніе? Богъ видитъ вещи и такимъ образомъ создаетъ ихъ. Видѣть и творить составляетъ для Него одинъ и тотъ же актъ. Но что Онъ видитъ? Природу иную, нежели Его собствен-

¹⁾ Въ изложеніи взглядовъ Эригена я пользуюсь здѣсь, кроме названнаго сочиненія Келера, *Th. Christlich. „Leben und Lehre des Johannes Scotus Erigena“*, 1860 и *M. Saint-René Taillandier. Scot Erigene et la philosophie scholastique*. 1843.

ная? Нѣтъ, вѣтъ Его ничего нѣтъ. Прежде, чѣмъ Онъ творилъ, не было ничего, кромѣ Него. Слѣдовательно, именно самъ Онъ видитъ и творить: Онъ видитъ себя самого, Онъ творитъ себя самого. Это составляетъ союзъ, неразрушимую связь Творца съ твореніемъ: Творецъ сотворенъ, и твореніе вѣчно; твореніе вѣчно въ Богѣ, который составляетъ его неизбѣжное, абсолютное основаніе, и Творецъ сотворенъ въ твореніи, ибо лишь въ немъ онъ дѣлается видимымъ и постижимымъ изъ невидимаго и непостижимаго, какимъ Онъ есть. Это Его теофанія, Его явленія.“ (Taillandier 124—126).

Среди твореній Божіихъ особое мѣсто занимаетъ человѣкъ, созданный по образу Божьему. Но лишь душа его, недѣлимая и равная себѣ во всемъ, является образомъ Бога: въ ней отпечатлѣвается Троицность Божья въ видѣ трехъ главныхъ силъ души: *intellectus, ratio, sensus*. „Подобно Отцу, который творитъ первопричины въ Словѣ, чистый интеллектъ откладываетъ въ разумѣ высшія понятія (*quae circa Deum voluntur*), творить ихъ въ немъ; и какъ Св. Духъ распредѣляетъ дѣйствія первопричинъ и раздѣляетъ ихъ до безконечности, такъ *sensus* раздѣляетъ чистыя понятія, различаетъ роды и виды, и изъ простоты причинъ выводитъ многосложность явленій. Съ помощью *intellectus* человѣкъ воспринимаетъ чистое единство, тождество противорѣчій, съ помощью *sensus* онъ видитъ противорѣчивыя соотношенія конечной природы“. (Taillandier. 141—142). Не вытекаетъ-ли изъ этого пониманія психической организаціи человѣка, что даръ рѣчи заложенъ въ душѣ человѣка, но что все таки лишь съ помощью *sensus*, различающаго виды и родовъ явленій, создается словарь его. Точно также Т. Христлибъ въ своемъ сочиненіи объ Эригенѣ (стр. 269) понимаетъ выше приведенное мѣсто въ томъ смыслѣ, что человѣкъ обладаетъ присущей его духу творческой силой. Все то, что духъ въ разумѣ разсматриваетъ *universaliter* (*quae intellectus in ratione universaliter considerat*), является первичнымъ, первоначальнымъ въ познаніи, и лишь изъ него чувство выдѣляетъ познаніе отдѣльныхъ вещей. Сдѣлать изъ этихъ общихъ положеній выводъ относительно того, какъ Скотъ Эригена смотрѣлъ на происхожденіе языка, конечно, не легко, но все же слѣдуетъ имѣть въ виду, что онъ видѣлъ въ троицности человѣческой природы нѣчто аналогичное „высшей Троицѣ, сотворившей всѣ вещи“. Троицность нашей природы, говоритъ Эригенъ, заботится о „всеобщности тѣла своего и невредимости всѣхъ чувствъ его, и движетъ его, и сдерживаетъ“. Отсюда, кажется, вытекаетъ, что основатель схоластики признавалъ врожденность человѣческой рѣчи, какъ тождество присущихъ человѣческому разуму понятій вещей (*quid autem interest inter notitiam et res ipsas, quarum notitia est, plane non video*).

Изъ ученія о реальности понятій, предшествующихъ вещамъ, логически слѣдовало извѣстное представленіе о существѣ человѣческихъ на-

званій. Ансельмъ Кентерберійскій (1033—1109)¹⁾ придавъ реализму слѣдующій характеръ: „за всѣми справедливыми вещами слѣдуетъ предположить, какъ нѣчто реальное, справедливость, за всѣми добрыми вещами доброту, и за всѣми великими величіе. Эти общія понятія остаются неизмѣнными въ самыхъ различныхъ вещахъ, и только они дѣлаютъ ихъ тѣмъ, что выражаетъ о нихъ имя прилагательное, тогда какъ понятія существующихъ сами по себѣ“. Къ учению о происхожденіи словъ Ансельмъ Кентерберійскій переходитъ въ изложеніи своей теоріи о первообразахъ міра. „Никомъ образомъ, говоритъ онъ, не можетъ быть сдѣлано кѣмъ-нибудь что-либо разумное, если предварительно въ разумѣ дѣлающаго не было прообраза (exemplum) того, что слѣдуетъ сдѣлать, форма или сходство, или правило. А такъ какъ всѣ вещи, прежде чѣмъ они возникли, существовали въ разумѣ высшей природы именно такъ, какъ или чѣмъ или какими они должны были быть, то становится ясно, что и тогда, когда они были созданы, не имѣлось ничего другого (до ихъ возникновенія), кромѣ этого отношенія, такъ какъ онѣ не были тѣмъ, чѣмъ являются теперь, и не существовало ничего того, изъ чего онѣ возникли. Тѣмъ не менѣе, онѣ не были ничѣмъ, такъ какъ онѣ уже существовали въ разумѣ дѣлающаго, въ силу котораго онѣ должны были сдѣлаться“. Эти прообразы вещей, существующіе въ Божьемъ разумѣ, Богъ не только мыслить, но и *называетъ*. Здѣсь Ансельмъ прибѣгалъ къ объясненію такихъ словъ человѣческой рѣчи, которыя у всѣхъ народовъ оказываются сходными, и которыя оказываются словами истинными и соответствующими природѣ. И „чѣмъ болѣе похожи слова на предметы“ (quanto magis rebus, quarum sunt verba, similia sunt), тѣмъ они истиннѣе (tanto sunt verba veriora). Это рѣдко наблюдается въ человѣческихъ словахъ: какъ примѣръ совпаденія названія, понятія и вещи, Ансельмъ приводитъ названіе буквы А или какой-либо другой буквы. Но въ разумѣ Божественномъ *locutio re-rit* (произношеніе вещей) является процессомъ ихъ созданія.

Мышленіе Бога, совершающееся съ помощью рѣчи и словъ, есть нѣчто столь же реальное, какъ и самое Его существованіе. „Эта рѣчь,— выражаетъ свое ученіе Ансельмъ,— не можетъ быть мыслима иначе, какъ мышленіе того же самаго духа, который все постигаетъ. Ибо, что значить у него говорить нѣчто, какъ не думать объ этомъ? И въ противоположность человѣку Богъ всегда говоритъ то, что Онъ думаетъ“. Въ дальнѣйшемъ развитіи этихъ представленій Ансельмъ встрѣтился съ противорѣчіемъ между ученіемъ церкви, которое требовало отождествленія единства съ тринностью (въ догматѣ Троицы), и возрѣвіями реализма, по которымъ понятіе и идея представлялись реально существующими внѣ мысли думающаго. Это противорѣчіе между единствомъ и мно-

¹⁾ Xavier Rousselot. Etudes sur la philosophie dans le moyen-âge. I (1840), 211. Koehler. 15—33.

жественностью Ансельмъ разрѣшалъ такъ, что представлялъ себѣ высшую субстанцію, духъ, мыслящимъ совокупность всего мыслимаго, и это ученіе затѣмъ переносилъ на объясненіе догмата Троицы. Но „кто отрицаетъ, что высшая мудрость, когда она познаетъ себя въ говореніи, создаетъ подобіе свое (similitudinem), т. е. слово? Если же это слово вслѣдствіе возвышенности вещи не можетъ быть названо точнымъ и вполне соответствующимъ, то все-же оно можетъ быть признано не вполне неподходящимъ сравненіемъ, образомъ, фигурой, очертаніемъ ея. Но то слово, которымъ высшая мудрость говоритъ, создаетъ сознаніе, оно вовсе не является равнымъ образомъ и словомъ этого созданнаго существа, такъ какъ оно есть не изображеніе этого послѣдняго, но первоначальная сущность. Отсюда слѣдуетъ такимъ образомъ, что высшая мудрость (говоритъ) создаетъ тварь не словомъ самой твари. Но какимъ же словомъ эта мудрость говоритъ ее (тварь), если она (создаетъ) говоритъ ее не ея словомъ? Ибо то, что она (мудрость) говоритъ съ помощью слова, то она говоритъ (создаетъ), а слово есть слово о чемъ-нибудь, т. е. изображеніе. Если же она говоритъ не что иное, какъ себя самое или созданное ею (высшей мудростью) существо, то она можетъ говорить только или собственнымъ словомъ, или словомъ созданія. Но если она ничего не говоритъ словомъ созданія, то она говоритъ все, что говоритъ, съ помощью собственного слова. Такимъ образомъ, однимъ и тѣмъ словомъ высшая мудрость выражаетъ (говоритъ) себя самое и все то, что она создала“. Въ этомъ ученіи Ансельма Кентерберійскаго слово понимается, какъ творческое начало: человѣческія слова, слова твари, являются понятіями и названіями, низшими по сравненію съ божественными словами, которыя неизмѣнны.

Но, во всякомъ случаѣ, по существу между ними не можетъ быть разницы. Слово человѣка не есть первоначальная сущность, но также и человѣкъ представляетъ собою лишь созданіе Божіе. Слово высшей мудрости является въ извѣстной мѣрѣ изображеніемъ ея, но такое же значеніе имѣетъ и слово человѣка. Едва-ли всѣ эти разсужденія, какъ они ни туманны, не позволяютъ сдѣлать того вывода, что схоластикъ-реалистъ 11 вѣка представлялъ себѣ разрѣшеніе вопроса о происхожденіи языка не подлежащимъ сомнѣнію: слова, какъ понятія, внушены созданному высшей мудростью человѣческому разуму самимъ Богомъ. Правда, будучи человѣческимъ содержаніемъ, они подвержены перемѣнамъ и искаженіямъ, тогда какъ Божьи слова неизмѣнны и вѣчны, но источникъ ихъ возникновенія, высшая мудрость, создающая словесной мыслью міры, не подлежитъ сомнѣнію.

Было бы чрезвычайно интересно выяснить, какъ смотрѣлъ на вопросъ о происхожденіи языка основатель номинализма, Росцеллинъ (въ концѣ 11 вѣка). Для реалистовъ этотъ вопросъ былъ болѣе или менѣе

ясенъ а priori: понятія и слова предшествуютъ по своему происхожденію человѣку, а слѣдовательно такъ или иначе они становятся достояніемъ человѣческаго ума свыше. Совсѣмъ иначе должно было представляться дѣло номиналистамъ.

Для нихъ виды, роды, общія названія были только словами, „дуновеніями голоса“ (flatus vocis). Росцеллинъ, по словамъ его антогониста Абеяра, „solis vocibus species et partes adscribebat“. Путь его логическихъ разсужденій, приведшій къ такому заключенію, меня здѣсь не касается, но слѣдуетъ отмѣнить, что онъ исходилъ изъ психологическихъ наблюденій. „Только одни чувства могутъ дать намъ познаніе дѣйствительности; виды, роды, наконецъ, общія названія являются только созданіями ума; внѣшнимъ образомъ они представляются словами, flatus vocis, внѣ же этого они не существуютъ. То же самое слѣдуетъ сказать о частяхъ предметовъ: какъ обломокъ какой-нибудь вещи, часть не существуетъ; напротивъ, она существуетъ только, какъ цѣлое, которое представляетъ собою отрицаніе части, и которое отличается отъ всякаго другого индивидуальнаго предмета. Допустивъ это, мы должны заключить, какъ онтологическое послѣдствіе, что только индивидуальности существуютъ субстанціально, что только онѣ матеріальны; и что, слѣдовательно, существуетъ только матерія; такимъ образомъ, существуетъ лишь одна субстанція, матерія. Какъ первый выводъ изъ этого онтологическаго принципа, мы всегда встрѣчаемся у Росцеллина со слѣдующимъ положеніемъ: соотношеніе вѣчнаго существованія трехъ ипостасей Троицы представляетъ собою только слово, и самая Троица есть лишь flatus vocis“. (Rousselot. I. 168). Всѣ качества предметовъ Росцеллинъ разсматривалъ, какъ отвлеченія словъ: душа (anima) остается сама по себѣ цѣльной и недѣлимой, хотя бы отъ нея были отвлечены „слова“, flatus vocis: воля, и память, и безсмертіе, и единство и т. п. Точно также лошадь представляетъ сама по себѣ единое цѣльное; realiter никакъ нельзя отдѣлить отъ нея цвѣтъ или другія качества. Но такое отдѣленіе вполне возможно на словахъ, оставаясь однако лишь flatus vocis. Признавая понятія только словами, основатель номинализма основывался, какъ на психологическихъ фактахъ, такъ и на логическихъ умозаключеніяхъ, которыя онъ проводилъ съ чрезвычайнымъ радикализмомъ. Какъ же возникла у человѣка эта способность создавать слова—понятія, на это въ данныхъ, относящихся къ Росцелину, нѣтъ указаній. Въ возраженіяхъ Ансельма Кентерберійскаго (de incarnatione verbi) встрѣчается такой намекъ на номиналистовъ: „Въ ихъ душахъ разумъ, который долженъ быть путеводителемъ и судьей всѣхъ вещей, заключающихся въ человѣкѣ, до такой степени *опутанъ физическими представленіями*, что не можетъ выпутаться изъ нихъ и не можетъ отдѣлить отъ нихъ то, что душа должна созерцать только сама и въ чистомъ видѣ“. Этотъ упрекъ вмѣстѣ съ обвиненіемъ Росцеллина въ безбожии указываетъ,

скорѣе всего, на то, что номиналисты отрицали Божье участіе въ происхожденіи человѣческаго языка и видѣли въ немъ въ той или иной формѣ созданіе человѣческой культуры, какъ писатели-матеріалисты начала нашей эры.

Номинализмъ былъ осужденъ церковью, но не прекратилъ своего существованія: ученикъ Росцеллина, бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ ученикомъ реалиста Ансельма, Вильгельмъ изъ Шампо (de Campellis, въ началѣ 12 вѣка), представилъ новую теорію отношеній понятій къ слову. Какъ передаетъ ее Абеяръ, онъ „полагалъ, что единая субстанція, тождественная по существу своему, одновременно вся цѣликомъ присутствуетъ въ своихъ индивидуальныхъ существахъ; такимъ образомъ, различіе между этими существами происходитъ не отъ ихъ сущности, но отъ различія и множественности явленій“¹⁾. Эта точка зрѣнія представляетъ попытку сохранить самобытность сущности явленій отъ стремленій Росцеллина видѣть въ отвлеченныхъ понятіяхъ только flatus vocis. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это уступка номинализму, который исходилъ изъ признанія внѣшняго міра вещей единственной реальностью. Русло несправедливо указываетъ на то, что въ этомъ пунктѣ Вильгельмъ изъ Шампо обособился отъ Ансельма и зашелъ гораздо дальше его въ тѣхъ выводахъ, которые вытекали изъ реализма. Напротивъ, я видѣлъ бы въ теоріи Вильгельма известную уступку именно номинализму: „Человѣкъ есть нѣкій видъ (quaedam species), одна вещь по существу, къ которой присоединяются нѣкоторыя формы (cui adveniunt formae quaedam) и создаютъ Сократа; эту матерію ту же самую по существу, тѣмъ же способомъ формируютъ формы informant formae), дѣлающія Платона и другія человѣческія существа; и нѣтъ ничего другого въ Сократѣ, кромѣ этихъ формъ, формирующихъ матерію для образованія изъ нея Сократа, и та же самая матерія образуетъ въ то же самое время въ другихъ формахъ Платона. Такъ понимаютъ эти философы отношеніе видовъ къ отдѣльнымъ особямъ и видовъ къ родамъ“. Слѣдовательно, самыя то формы или признаки индивидуальныхъ особенностей предметовъ составляютъ нѣчто реальное. „Если есть домъ, есть и стѣна, а если есть стѣна, то существуетъ и ея половина; если же есть половина, то есть и половина половинны, и такъ до послѣдняго камешка. Такимъ образомъ, если существуетъ этотъ домъ, то есть и самый послѣдній камешекъ; если же нѣтъ ни одного камешка, то нѣтъ и дома“. Въ этихъ умозаключеніяхъ обнаруживается опять-таки компромиссная точка зрѣнія Вильгельма: номиналисты отрицали существованіе половинъ, какъ таковыхъ, и для нихъ понятіе о части было лишь словомъ.

¹⁾ Erat autem in sententia de communitate universalium, ut eandem essentialiter rem totam simul singulis suis inesse adstrueret individuus quorum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed sola multitudine accidentium varietas. Rousselot. I. 254 Kœuler. 45.

откуда берутся элементы, соединеніе которыхъ составляетъ тѣлесныя субстанции? Ибо, какъ говоритъ Аристотель въ своихъ категоріяхъ, вода и огонь, изъ которыхъ образуется животное, предшествуютъ ему. Это весьма трудный вопросъ, на который, насколько я знаю, ни одинъ изъ нашихъ учителей не отвѣтилъ удовлетворительно. Вотъ, что мнѣ представляется правильнымъ. Физики въ своихъ изслѣдованіяхъ о природѣ вещей обратили свои изысканія прежде всего на то, что поражаетъ наши чувства. Но такъ какъ они не могли составить точную и полную идею о сложныхъ образованіяхъ, прежде чѣмъ узнать природу образующихъ элементовъ, то они раздѣлили ихъ на части самыя маленькія, какія только можно себѣ представить, и какія далѣе оказываются уже недѣлимыми. Съ такими частицами они стали производить изысканія, являются ли и онѣ результатомъ матеріи и формы, или онѣ совершенно просты“. Изложивъ взглядъ Платона на элементы, Абеляръ продолжаетъ: „Новѣйшія наблюденія подтвердили, что эта чистая сущность совершенно проста и никогда не была составлена изъ матеріи и формы: вотъ почему этой чистой сущности, какъ субъекту всѣхъ чувственныхъ формъ, даютъ наименование всеобщаго, т. е. безформеннаго, не потому, что она неспособна принять формы, но потому, что онѣ ея не составляютъ“. Слѣдовательно, чистая сущность, какъ таковая, какъ нѣчто, лишенное всякихъ качествъ, не обладаетъ и названіемъ. Имена могутъ быть даваемы лишь тому, что обладаетъ качествами, а такіе предметы являются предметами матеріальными, индивидуальными, доступными познанію съ помощью органовъ человѣческихъ чувствъ. Этотъ выводъ весьма важенъ для пониманія точки зрѣнія Абеляра на происхожденіе словъ.

И самъ философъ по этому поводу даетъ слѣдующія указанія. „Все матеріальное происходитъ изъ матеріальныхъ элементовъ; такимъ образомъ, животное, будучи матеріальнымъ, возникаетъ изъ субстанции и тѣлесности. Возражать мнѣ значитъ не понимать меня, ибо всеобщее не есть собраніе различныхъ сущностей, которыя состоятъ изъ души и тѣла, но есть единственно то, чѣмъ оно есть по отношенію къ этой множественности, самымъ основаніемъ и сущностью тѣлесности, которой сущность не сообщаетъ духа. Наставляютъ и говорятъ: невозможно, чтобы *имя, данное одной части этой множественности, не принадлежало другой части, которая не отличается отъ первой*, какъ это принимаютъ по отношенію къ виду; наоборотъ, не подлежитъ сомнѣнію, что нельзя давать двумъ сходнымъ вещамъ имя, которое обличаетъ различную природу; такъ говорили въ разсужденіи вида. Но никто не повѣритъ, что примѣненіе этого названія въ мысли будетъ однимъ и тѣмъ же для обозначенія духовныхъ сущностей и физическихъ сущностей, ибо для того, чтобы дойти до понимаемаго, нельзя исходить изъ нечувственного, но только изъ чувственнаго. Физикъ даетъ названія лишь той матеріи, кото-

рую мысль находить въ ея сущности, восходя отъ воспринимаемаго чувствами къ понимаемому умомъ, а не тому, что совершенно не отличается отъ мысли, и на что онъ, можетъ быть, не обратилъ и вниманія“. Таково наиболѣе важное, извѣстное мнѣ мѣсто въ трактатахъ Абеляра, имѣющее отношеніе къ вопросу о происхожденіи языка. Слова въ пониманіи Абеляра обозначаютъ лишь нѣчто данное въ опытѣ, сначала въ реальномъ, конкретномъ опытѣ, потомъ въ обобщеніи, основывающемся на этомъ послѣднемъ: отъ чувства къ разуму, отъ воспріятія къ понятію. Слѣдовательно, ту же эволюцію совершаетъ и значеніе слова: слово есть сначала обозначеніе вещи, воспринимаемой чувствами, потомъ названіе понятія, постижимаго только умомъ. Если изъ теоріи Абеляра, дѣйствительно, вытекаетъ такое пониманіе развитія словесныхъ значеній, то слѣдуетъ признать за нимъ уже извѣстную тонкость психологическаго анализа, какъ и вся, вообще, теорія его обнаруживаетъ стремленіе развить философскую систему на психологіи познанія. Въ такомъ случаѣ, Абеляръ долженъ быть признанъ сторонникомъ эволюціонныхъ воззрѣній на генезисъ человѣческой рѣчи. Особенно показательно въ этомъ отношеніи слѣдующее мѣсто изъ одного сочиненія Абеляра (Köhler. 68). „Если мы что либо высказываемъ о Богѣ, то мы переносимъ слова отъ тварей на Творца, а слова эти *изобрѣли люди*, чтобы обозначать ими тварей, которыя они могли познать, такъ какъ этими словами они хотѣли отмѣтить свои понятія (*intellectus suos*). Если же человѣкъ изобрѣлъ слова, чтобы обозначать ими свои понятія, а Богъ не доступенъ для пониманія, то человѣкъ совершенно правильно отказывается отъ выраженія словомъ неизреченнаго добра; поэтому и не было придумано какого-нибудь отдѣльнаго слова для Бога“. Итакъ, слова выдумали люди; между значеніемъ слова и предметомъ существуетъ какая-то внутренняя связь; эта связь устанавливается познаніемъ, а тамъ, гдѣ познаніе оказывается невозможнымъ (напр., въ отношеніи къ Богу), тамъ не можетъ быть и связи или, иначе говоря, тамъ не можетъ быть правильнаго названія. Поэтому, для Бога и не существуетъ, по мнѣнію Абеляра, никакого названія.

Минуя нѣсколькихъ изъ второстепенныхъ философовъ Средневѣковья, я перейду прямо къ одному изъ величайшихъ ученыхъ Среднихъ вѣковъ, Альберту Великому (умеръ въ 1280 году). Знатокъ и толкователь Аристотеля, собиратель различныхъ свѣдѣній античной древности по естествознанію, Альбертъ Великій не могъ отдался реализму. Онъ также не былъ чуждъ психологіи, и этой наукѣ онъ посвятилъ нѣсколько трактатовъ о способностяхъ души, о принципѣ индивидуализма, о морали и т. под. Психологическія воззрѣнія Альберта Великаго почерпнуты у Аристотеля и особенно у его арабскихъ комментаторовъ (Rousselot. II. 203). Онъ стремился „положить начало полному изученію человѣка, разсмотрѣть его какъ съ физической, такъ и съ другихъ точекъ зрѣнія, не только какъ

существо, одаренное разумомъ и дѣятельностью, но какъ существо, которое растеть, питается, движется и этимъ связано съ цѣлымъ рядомъ существъ, которыя являются по сравненію съ нимъ низшими“. По вопросу о номинализмѣ Альбертъ Великій высказался въ трактатѣ *De intellectu et intelligibili* слѣдующимъ образомъ: „Нѣкоторые изъ авторитетнѣйшихъ латинскихъ ученыхъ, отвергая теорію номинализма, утверждаютъ, что всеобщее (*universale*) представляетъ собою нѣчто реальное въ вещахъ: если бы было иначе, нельзя было бы ничего утверждать съ достовѣрностью о чемъ бы то ни было, тѣмъ болѣе, что въ самой природѣ всеобщаго заключается то, что оно есть; оно содержится цѣлкомъ въ каждомъ изъ своихъ частныхъ проявленій. Прибавимъ, что всякую вещь можно понять лишь въ томъ, что является, въ дѣйствительности, ея формой. Болѣе того, реальнымъ въ вещахъ является лишь то, что составляетъ все и единое въ многообразіи (*quod est totum et unum in multis et de multis*). Ибо всеобщее не теряетъ своего права на существованіе въ вещахъ потому, что оно заключается во многихъ изъ нихъ; напротивъ, благодаря этому, оно существуетъ въ вещахъ внѣ нашего пониманія (*extra animam*). Всеобщее должно, дѣйствительно, существовать въ вещахъ, потому что оно образуетъ единство въ многоразличіи?“ Однако къ этимъ сужденіямъ, заимствованнымъ изъ ученія реалистовъ, Альбертъ Великій присоединяетъ весьма важное ограничительное замѣчаніе: „Я же, предпочитая средній путь, полагаю, что сущность каждой вещи должна пониматься въ двухъ различныхъ смыслахъ“. Этотъ средній путь рисуется Альбертомъ Великимъ такъ: „Въ первомъ смыслѣ, согласно съ тѣмъ, что природа вещи отличается отъ природы матеріи или отъ того, что дѣлаетъ эту вещь именно такой; во второмъ смыслѣ, согласно съ тѣмъ, что сущность заключается въ матеріи или въ томъ, въ чемъ она является индивидуализированной (*in eo, in quo est individuata per hoc, quod est in ipso*). Первый смыслъ раздѣляется, въ свою очередь, на два другихъ. Первый прилагается къ сущности абсолютной въ себѣ, къ такой, которая, существуя сама собой, является только чистой и несомнѣнной сущностью. Второй смыслъ вытекаетъ изъ отношеній сущности къ предметамъ, совершенно ихъ свойствамъ, что происходитъ изъ способности сущности дать существованіе нѣсколькимъ предметамъ, хотя она никогда его не даетъ (*est essentia apta dare multis esse, etsiamsi nunquam det illud*); это именно и даетъ ей названіе всеобщаго. Благодаря этой способности, всеобщее находится въ вещи (*universale est in re extra*), но согласно акту существованія во многихъ оно пребываетъ только въ сознаниі (*in intellectu*), и потому перипатетики говорили, что всеобщее существуетъ только въ сознаниі, относя эти слова ко всеобщему, которое есть во многомъ и отъ многого согласно акту существованія (*ad universale, quod est in multis et de multis secundum actum existendi*), а не только согласно своей

примѣнимости“. Въ такой же неудобопонятной формѣ Альбертъ Великій продолжаетъ свои разсужденія объ особенностяхъ всеобщаго. „Не слѣдуетъ думать, что было бы неправильно сказать, что форма представляетъ собою все существованіе вещи; ибо матерія не имѣетъ никакого отношенія къ существованію вещи и не приходитъ въ соприкосновеніе съ ея природой: если бы форма въ своей дѣятельности (*in operatione*) могла обойтись безъ нея, она никогда бы не вводилась въ матерію (*nunquam induceretur in materiam*), но такъ какъ это оказывается невозможнымъ, то присутствіе матеріи необходимо, не ради существованія формы, но для ея проявленія. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ форма составляетъ предикатъ по отношенію къ вещи, а, будучи отдѣлена абстракціей, она становится всеобщимъ въ сознаниі (*et sic separata per intellectum est universale in intellectu*)“.

Какъ показываетъ это мѣсто, Альбертъ Великій занимаетъ, подобно Абеляру, среднее мѣсто между номиналистами и реалистами: онъ отрицаетъ отвлеченное существованіе „всеобщаго“, но допускаетъ вмѣстѣ съ арабскими философами существованіе *quidditas*, реальности каждой вещи, какъ сущности (*prout ipsa est totum esse rei, et sic vocatur quidditas*). Быть можетъ, это ученіе явилось компромиссомъ между двумя величайшими авторитетами Альберта, Платономъ и Аристотелемъ, которые въ этомъ отношеніи не были согласны. Три рода идей (формъ) предполагаетъ Альбертъ: „Одинъ родъ ихъ существуетъ раньше вещи, составляя ея образующую причину. Другой родъ есть самый родъ формъ, которыя всплываютъ (*fluctuant*) въ матеріи. Третій же есть родъ формъ, который отдѣляется отъ вещей абстрахирующимъ умомъ“. Отъ этого ученія гораздо труднѣе сдѣлать переходъ къ вопросу о происхожденіи языка, чѣмъ при изложеніи теоріи другихъ схоластиковъ. Если формы существовали раньше вещей, то, можно думать, и названія, имена вещей, соотвѣтствующія имъ, должны были предшествовать предметамъ, а тогда ихъ происхожденіе не можетъ восходить къ эволюціи человѣческаго ума. Однако, съ другой стороны, *abstrahens intellectus*, отдѣляющій форму отъ вещей, создаетъ самъ эту форму, эту идею предмета. Ему же, вѣроятно, слѣдуетъ приписать и наименованіе самой идеи, которая едва-ли можетъ быть приписана Божеству. Но Богъ есть разумъ, мыслящій всеобщими идеями (*intellectus universaliter agens*) и неразрывно создающій ихъ (*indesinenter est intelligentias dimittens*). Слѣдовательно, ему же слѣдуетъ приписать и созданіе названій, словъ для этихъ идей? Едва-ли Альбертъ Великій достигъ въ этомъ отношеніи полной ясности мысли.

Много вниманія вопросу объ отношеніи слова къ вещи удѣлялъ знаменитый философъ Тома Аквинскій (1227—1274). Въ одномъ изъ своихъ трактатовъ онъ развиваетъ слѣдующіе взгляды на сущность матеріи: „Формы, которыя заключаются въ матеріи, произошли отъ формъ, которыя лишены матеріи, и въ этомъ отношеніи справедливо изреченіе

Платона, что отвлеченныя формы представляют принципы формъ, которые заключаются въ матеріи (in materia); однако, онъ полагалъ, что эти формы существуютъ сами по себѣ и непосредственно создаютъ формы осозаемыхъ вещей, тогда какъ мы предполагаемъ ихъ существованіе въ сознаниіи (in intellectu) и думаемъ, что онѣ создаютъ (causant) низшія формы“. И далѣе: „Всеобщія идеи (universalia) не являются существующими вещами, но имѣютъ свое существованіе только въ отдѣльныхъ вещахъ“. „Всякая матерія становится опредѣленнымъ видомъ (species) вслѣдствіе присоединяющейся къ ней формы“. (Köhler. 101). Эти выраженія можно понять въ томъ смыслѣ, что для Фомы Аквинскаго понятія не являлись отдѣльно существующими предметами, какъ платоновскія идеи, но воплощались въ реальныхъ вещахъ міра, доступныхъ человѣческому познанию.

Формы могутъ быть получены человѣческимъ умомъ путемъ отвлеченія ихъ отъ вещей. „Ты долженъ знать, говорить Фома, что человѣкъ бываетъ всеобщимъ (universalis) не иначе, какъ потому, что онъ разсматривается всеобще. Но это разсмотрѣніе не касается бытія человѣка, поскольку онъ существуетъ въ матеріи. Ибо, поскольку онъ матеріаленъ, онъ индивидуаленъ, а поскольку онъ индивидуаленъ, ему не принадлежитъ всеобщее бытіе, ибо иначе къ противорѣчію присоединилось бы противорѣчіе, но всеобщее принадлежитъ ему по его существованію въ разумъ“. Самая же возможность такой абстракціи объясняется лишь при томъ условіи, что формы—идеи гдѣ-то существуютъ. Ихъ вмѣстилище—божественный разумъ. „Необходимо предположить идеи in mente divina. Идея по гречески означаетъ то же, что по латински форма, такъ что подъ идеями надо подразумѣвать формы другихъ вещей, которыя существуютъ внѣ самыхъ предметовъ. Но форма какой-нибудь вещи можетъ существовать внѣ ея двоякимъ образомъ: или такъ, что она является образомъ того, чего формой называется (exemplar eius, cuius dicitur forma), или такъ, что она составляетъ самый признакъ познаниа, въ виду чего говорятъ, что формы познаваемыхъ вещей находятся въ познающемъ. Въ обоихъ этихъ пониманіяхъ необходимо предположить идеи“. Безконечнообиліе этихъ идей заключается въ божественномъ разумѣ: Богъ есть causa exemplaris міра, всѣхъ вещей; въ Его мудрости покоятся rationes omnium rerum, „примѣрные формы, которыя существуютъ въ божескомъ разумѣ“. Разумѣется, къ этой мудрости должно быть сведено и созданіе человѣческаго языка, потому что она есть „причина различія вещей вслѣдствіе совершенства вселенной, а также причина несходства вещей, ибо міръ не былъ бы совершененъ, если бы въ вещи находилась лишь одна степень блага“. Разъ отъ Бога происходитъ различіе вещей, то необходимо предположить, что и наименованіе ихъ связано съ Божьимъ разумомъ.

Въ ученіи Раймунда Луллія (1235—1315) о божествѣ заключается какъ кажется, идея необходимости созданія Богомъ и человѣческаго

языка. „Богъ есть вѣчное сущее, безконечное единство, коренное начало всѣхъ вещей (radical rerum omnium principium); его существо есть свѣтъ безграничный: власть—всемогущество, воля—совершенное благо, мановеніе—абсолютное твореніе... Многие изъ мудрецовъ говорили, что міръ искони описанъ въ первообразѣ своемъ (mundum ab aeterno in archetypo suo descriptum fuisse), но самъ прообразъ есть Тотъ, кто весь—свѣтъ, въ себѣ осложненный (in se complicatus) до сотворенія міра“. Богъ не создалъ, такимъ образомъ, вселенной по вѣчному образцу, но онъ самъ есть образецъ. Что же такое вселенная? Это Богъ, открывшій себя (in mundi productione quasi parturiens se aperuit). Это—субстанція, обнаруживающая себя въ силѣ и дѣйствиіи (Rousselot III. 97). Выросшій въ Африкѣ и тѣсно связанный съ каббалистической мудростью, адептъ алхиміи, profundissimus Raymundus, величайшій изъ мистическихъ авторитетовъ Средневѣковья, не могъ не остановиться на вопросѣ о связи слова съ вещью. „Чѣмъ выше предметъ, тѣмъ болѣе онъ достоинъ познаниа. Отсюда слѣдуетъ, что истинное есть настоящій предметъ познаниа, и такъ какъ истинное предполагаетъ существованіе, то очевидно, что оно какъ бы существуетъ въ себѣ per se, поскольку тотъ, кто отрицаетъ существованіе, отрицаетъ самого себя, ибо, отрицая его, онъ его утверждаетъ. Поэтому существо или слово, будучи неотдѣлимо отъ вещей, является самымъ естественнымъ предметомъ каббалистической науки (propter quod esse sive verbum sub ratione inseparabilitatis a rebus est subjectum adaequatum hujus sapientiae kabbalisticae). Отмѣтимъ здѣсь двѣ вещи: общій принципъ, существованіе; затѣмъ его тожество со словомъ, откуда вытекаетъ могущество каббалистическихъ знаковъ. Такъ какъ существованіе или слово является регулирующимъ принципомъ всѣхъ вещей, то отсюда слѣдуетъ, что наука, объектомъ которой оно оказывается, есть верховная наука, регулирующая всѣ остальные“ (ibid. 103). Исторія міротворчества, какъ ее понимаетъ Раймундъ Луллій, заставляетъ думать, что для него самый вопросъ о происхожденіи человѣческаго языка не существовалъ: „Міръ и его части существовали во вѣки вѣковъ въ божественномъ разумѣ, какъ идея или идеи, и при томъ такъ, что божественный разумъ не отдаетъ во внѣ ничего изъ своего существа или изъ существа своихъ атрибутовъ. Такъ печать, которая дѣлаетъ отпечатокъ на воскѣ, такъ картина, которая отражается въ зеркалѣ, остаются неизмѣнными сами по себѣ. Когда Богъ создалъ міръ, то въ твореніи онъ ничего изъ бытія идеи не отдѣлилъ отъ себя, потому что иначе идея была бы подчинена измѣненію и не оставалась бы вѣчной, а это невозможно, такъ какъ самъ Богъ и есть идея (cum idea sit Deus)“. Въ этомъ пониманіи слышатся отзвуки ученія Среднихъ вѣковъ о реализмѣ (Köhler. 103), и языкъ, какъ всѣ явленія міра,—и тѣ, въ томъ числѣ, которыя развились во времени,—можетъ быть только созданіемъ Бога. Быть можетъ, Раймундъ Луллій

допустилъ бы инициативу человѣческаго разума въ дальнѣйшемъ развитіи языка людей, но первоосновы его, принципъ человѣческой рѣчи, должны быть, несомнѣнно, возведены къ волѣ и разуму Божества.

Я остановлюсь вкратцѣ еще на двухъ философахъ Среднихъ вѣковъ, причастныхъ къ основному спору средневѣковаго міросозерпанія о номинализмѣ и реализмѣ. Это Дунсъ Скотъ и Вильгельмъ Окамскій. Очень сложная система перваго касается интересующей меня здѣсь темы лишь постольку, поскольку онъ ставитъ себѣ вопросъ о существѣ *universalia*. Въ этомъ отношеніи Дунсъ Скотъ оказывается реалистомъ. „Слѣдуетъ сказать, что общее (*universale*) есть сущее (*ens*), такъ какъ подъ несуществующимъ (*sub ratione non entis*) ничего не понимается, такъ какъ пониманіе возбуждаетъ пониманіе (*intelligibile movet intellectum*). А такъ какъ понимаемое (интеллектъ) есть сила пассивная, то оно не дѣйствуетъ, если не возбуждается объектомъ: не существующее не можетъ возбуждать нѣчто, какъ объектъ, такъ какъ свойствомъ существующаго является возбужденіе къ дѣйствию. Поэтому, ничего нельзя понимать при условіи несуществованія; но все то, что понимается, понимается при условіи (*sub ratione*) всеобщаго; поэтому, это условіе, *illa ratio*, не есть вовсе не существующее“. Иными словами, общее, понятія должны имѣть реальное существованіе. Это всеобщее должно также обладать, по его убѣжденію, извѣстными свойствами. И его происхожденіе, какъ и происхожденіе словъ, должно быть приписано Божеству. Но Дунсъ Скотъ былъ, въ противоположность Томѣ Аквинскому, горячимъ сторонникомъ волевого начала въ нравственности (Rousselot. III. 63). Онъ утверждалъ, что „нравственные добродѣтели покоятся въ волѣ“, и что „добрые и злые поступки происходятъ отъ воли“. При такомъ пониманіи могъ-ли отрицать Дунсъ Скотъ волевой элементъ въ созданіи рѣчи? Къ сожалѣнію, на этотъ вопросъ я могу отвѣтить только незнаніемъ. Было бы чрезвычайно интересно, если-бы кто-нибудь произвелъ специальное изслѣдованіе взглядовъ средневѣковыхъ схоластиковъ на вопросъ о происхожденіи языка. Но подъ конецъ Среднихъ вѣковъ все-таки беретъ верхъ номинализмъ, и философъ 14 вѣка, Вильгельмъ Окамскій, заявляетъ, что „общее не представляетъ собою ничего реальнаго, что оно не обладаетъ субъективнымъ бытіемъ ни въ душѣ, ни внѣ ея, но имѣетъ лишь объективное существованіе въ душѣ: общее есть нѣчто придуманное, *fictum quoddam*“ и т. д. Въ другомъ мѣстѣ онъ утверждаетъ, что „каждая наука, будь она реальна или раціональна, есть только наука о положеніяхъ (*de propositionibus*), какъ таковыхъ, которыя и познаются, такъ какъ лишь одни положенія могутъ быть объектомъ познанія“. Въ развитіи этого ученія Вильгельмъ говоритъ уже прямо о психологіи познанія, дѣлая такимъ образомъ и самый вопросъ о понятіяхъ, какъ объективно существующемъ „всеобщемъ“, вопросомъ психологическимъ. На этомъ я и закончу изложеніе средневѣковыхъ воззрѣній

на отношеніе мысли къ слову. Вопросъ научный былъ отодвинутъ въ Средніе вѣка на задній планъ передъ проблемами богословскими, и такъ прекрасно начатая разработка его въ классической древности прекратилась въ угоду необходимости все связывать съ вопросами религіи. Едва-ли кто-либо изъ номиналистовъ и реалистовъ Среднихъ вѣковъ поставилъ проблему происхожденія языка, какъ вопросъ научнаго познанія. Онъ затерялся въ хаосѣ схоластики.

ГЛАВА XV.

Лейбницъ и Гаррисъ. Руссо и французская философія 18 вѣка. Гердеръ и Гаманнъ. Гумбольдтъ. Гриммъ. Гейзе.

По пути, начертанному ученой средневѣковой философійю, долго развивались ученія о происхожденіи языка. Только во второй половинѣ 17 вѣка, въ философіи Локка, номинализмъ получилъ обоснованіе на почвѣ эмпирическаго познанія. Въ 1678 году вышла книга Р. Симона „*Histoire critique du Vieux Testament*“, гдѣ было высказано убѣжденіе, что необходимость заставила людей изобрѣсти языкъ. На той же точкѣ зрѣнія стоялъ и философъ Гоббсъ (1589—1679). Лейбницъ выступилъ сторонникомъ звукоподражательной теоріи и старался подтвердить теорію, выставленную въ „Кратилѣ“, данными, заимствованными изъ нѣмецкаго языка. Такъ, онъ полагалъ, что звукъ *r* передаетъ „вслѣдствіе прирожденнаго инстинкта“ сильныя движенія и вызываемый ими шумъ. На огромномъ количествѣ примѣровъ подобранныхъ въ разныхъ языкахъ, онъ доказываетъ, что *r* имѣетъ именно такое значеніе въ языкѣ: нѣмецкое *Riss* (разрывъ), латин. *rumpo*, греч. *ρήγωμι*, франц. *arracher*, итал. *straccio* связаны между собой какъ звуковой стороной, такъ и значеніемъ. Иной характеръ имѣетъ *буква l* (Лейбницъ говоритъ еще о буквахъ, а не о звукахъ): она означаетъ или передаетъ болѣе тихій шумъ. „Такимъ образомъ, мы видимъ, что дѣти и другія лица, для произношенія которыхъ *r* оказывается слишкомъ труднымъ, вмѣсто него употребляютъ *l*, говоря, напримѣръ *mon lèveleud péle*. Это тихое движеніе обнаруживается въ *leben* (жить), *laben* (подкрѣплять), *lind* (мягкій, кроткій), *lenis* и *lentus*, *lieben* (любить), *lauffen* (быстро скользить, подобно текущей водѣ)“ и пр. Вслѣдствіе этого своего мягкаго произношенія „буква *l*, присоединяемая къ другимъ именамъ, образуетъ у латинянъ, полу-латинянъ и верхнихъ нѣмцевъ уменьшительныя имена. Однако, никакъ нельзя думать, что это основаніе встрѣчается повсюду, ибо левъ (*le lion*), рысь (*le lynx*) и волкъ (*le loup*) не заключаютъ въ себѣ ничего кроткаго. Но можно думать, что здѣсь имѣло значеніе другое обстоятельство, именно

быстрота (*Lauf*), которая пугаетъ въ нихъ, или которая заставляетъ бѣжать отъ нихъ. Быть можетъ, дѣло происходило такъ, что тотъ, кто видѣлъ такое животное, кричалъ другимъ: *Lauf* (бѣгите!). Однако, вслѣдствіе различныхъ случаевъ и измѣненій большая часть словъ подверглась чрезвычайно значительнымъ искаженіямъ и удалилась отъ ихъ произношенія и оригинальнаго значенія“. Желая подтвердить эту послѣднюю истину, Лейбницъ приводитъ эволюцію, которой подверглось первоначальное значеніе буквы *a*. „Сопровождаемая легкимъ придыханіемъ, она образуетъ *ah*, а такъ какъ именно испусканіе воздуха образуетъ звукъ, сначала довольно ясный, а потомъ исчезающій, то звукъ этотъ и означаетъ первоначально легкое придыханіе, *spiritus lenis*, такъ какъ *a* и *h* не слишкомъ сильны. Вотъ отчего получили свое происхожденіе слова *ἄω, aura, Haugh, halare, haleine, ἄτρος, athem, odem*. Но такъ какъ вода есть также жидкость и производить шумъ, то (какъ кажется) *ah*, ставшее болѣе грубымъ вслѣдствіе удвоенія, т. е. превратившееся въ *aha* или *ahha*, получило значеніе воды. Тевтоны и другіе кельты, чтобы лучше обозначить движеніе, присоединили къ нему свое *w*, вслѣдствіе чего *wehen, wind, vent* обозначаютъ движеніе воздуха, а *waten, vadum, water* движеніе воды или движеніе къ водѣ“. Съ помощью подобныхъ разсужденій Лейбницъ продолжаетъ оперировать и дальше, доказывая свое основное положеніе объ оноματοпоэтическомъ происхожденіи языка. Онъ, конечно, замѣчаетъ, что дѣйствительныя данныя любого языка не соотвѣтствуютъ его теоріи, но изъ этого затрудненія выходитъ съ помощью слѣдующаго разсужденія: „Предполагая даже, что по существу наши языки представляютъ собою явленія (вторичныя) производныя, слѣдуетъ все-таки допустить, что они заключаютъ въ себѣ нѣчто первобытное“. Названія животныхъ, слова, обозначающія издаваемые ими крики, и т. п.: вотъ основной звукоподражательный элементъ звуковъ. Мы видимъ, такимъ образомъ, что Лейбницъ въ сущности только развилъ теорію, выставленную въ „Кратилѣ“¹⁾.

Лишь во второй половинѣ 18 вѣка мы находимъ настоящій научный интересъ къ вопросу о происхожденіи языка. Въ 1751 году Джемсъ Гаррисъ въ своей книгѣ „*Hermes, or a philosophical inquiry concerning universal grammar*“ (Гермесъ, или философское изслѣдованіе о всеобщей грамматикѣ) возстановилъ единственно научный принципъ въ изслѣдованіи значенія словъ. Онъ опять увидѣлъ въ нихъ символы вещей. „Можно попытаться назвать языкъ своего рода галлереей вселенной, въ которой слова подобны фигурамъ или картинамъ всѣхъ отдѣльныхъ вещей. Но можно очень сомнѣваться въ томъ, насколько вѣрно было бы такое сравненіе. Ибо, если всѣ картины и фигуры являются подражаніями, то каждый, надѣленный естественной способностью познавать оригиналы, дол-

¹⁾ Трактатъ Лейбница я цитировалъ по *P. Regnaud. Origine et philosophie du langage ou principes de linguistique indo-européenne. 1888, стр. 67—75.*

женъ обладать такой же способностью познавать и ихъ подражанія. А между тѣмъ человѣкъ, знающій извѣстное существо, еще отнюдь не обладаетъ знаніемъ его латинскаго и греческаго названія. Дѣйствительно, всякое средство изобразить какую-нибудь вещь для другого должно или основываться на какихъ-нибудь естественныхъ свойствахъ этой вещи, и тогда мы имѣемъ передъ собой подражаніе, или происходитъ отъ другихъ, совершенно случайныхъ особенностей и тогда это символическій знакъ. Но, если признать, что въ названіяхъ огромнаго большинства предметовъ, въ звукахъ не выражается ни одно изъ ихъ природныхъ свойствъ, а между тѣмъ съ помощью такихъ звуковъ изображаются всевозможныя вещи, то необходимо слѣдуетъ допустить, что слова по необходимости являются лишь символическими знаками, ибо они не могутъ быть подражаніями“. Почему, однако, человѣкъ предпочелъ создать символическія обозначенія предметовъ, „откинувъ“ подражанія? На это Гаррисъ отвѣчаетъ указаніемъ на трудность, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и невозможность этихъ послѣднихъ. Такимъ образомъ, соглашеніе (*compact*) между людьми, а не природа создала человѣчскій языкъ¹⁾. Теорія Гарриса была, несомнѣнно, большимъ шагомъ впередъ, такъ какъ она черпала доказательства противъ *φύσις* изъ существа самого языка, а не изъ метафизическихъ разсужденій, какъ это дѣлали классическіе защитники *φύσις*. Тѣмъ не менѣе, основанія и у Гарриса были очень шатки: это была по существу теорія договора въ примѣненіи къ языку. Но стоитъ замѣнить принципъ соглашенія въ созданіи языка принципомъ вліянія однихъ на другихъ, чтобы увидѣть въ теоріи англійскаго ученаго не „нѣчто фантастическое“, какъ выражается Гейгеръ, но нѣчто приближающееся къ нашимъ современнымъ представленіямъ объ *условности* и символичности словъ нашего языка. Книга Гарриса не должна быть обойдена молчаніемъ въ исторіи ученій о происхожденіи языка.

Въ 1754 году появилось, какъ отвѣтъ на вопросъ Дижонской академіи: „Какова причина неравенства между людьми, и находить-ли оно оправданіе въ естественномъ правѣ“, знаменитое разсужденіе Ж. Ж. Руссо: „*Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes*“²⁾. Здѣсь Руссо сразу поставилъ вопросъ на вѣрный путь, обнаруживъ стремленіе представить первобытнаго человѣка, не какъ существо, близкое къ намъ по своему интеллектуальному развитію, но какъ существо, психика котораго должна была роднить его съ высшими животными. „Всякое животное обладаетъ идеями, говоритъ Руссо, потому что оно имѣетъ чувства; до извѣстной степени оно даже комбинируетъ эти свои

¹⁾ Извлеченія изъ Гарриса см. въ сочиненіи *L. Geiger. Der Ursprung der Sprache. 1869, стр. 3—5.*

²⁾ Цитирую по изданію сочиненій Руссо (*Oeuvres complètes de J. J. Rousseau. 1798, т. 1.*

идей; и человекъ въ этомъ отношеніи лишь болѣе или менѣе отличается отъ животнаго“. Поставивъ вопросъ о психологіи первобытнаго человека, Руссо высказываетъ положенія, подъ которыми до известной степени подписалась бы и современная эволюционная наука. „Дикій человекъ, предоставленный природой одному инстинкту, начнетъ съ функций чисто животныхъ: воспріятіе и чувство будутъ его первымъ состояніемъ, которое окажется у него общимъ со всѣми животными. Желать и не желать, стремиться и бояться: вотъ первыя и почти единственныя побужденія (operations) его души до тѣхъ поръ, пока новыя обстоятельства не дадутъ новаго толчка ея развитію. Что бы ни говорили моралисты, человеческій разумъ (l'entendement humain) многимъ обязанъ страстямъ, которыя, по общему призванію, также многимъ обязаны ему: влѣдствіе ихъ дѣятельности совершенствуется нашъ умъ: мы стремимся познавать лишь потому, что мы желаемъ пользоваться, и нѣтъ возможности постичь, зачѣмъ тотъ, кто не имѣетъ ни желаній, ни страха, далъ бы себѣ трудъ разсуждать“. Полемизируя съ изображеніемъ первобытнаго человека, какъ существа, стоящаго уже на высокой ступени умственнаго развитія, Руссо постепенно приходитъ къ выясненію значенія языка въ этомъ развитіи. „Подумайте только о томъ, сколь многими идеями мы обязаны употребленію языка, насколько грамматика упражняетъ и облегчаетъ дѣятельность ума“. Эта исходная точка зрѣнія давала Руссо возможность правильно отнестись къ теоріямъ, предполагавшимъ, что языкъ былъ изобрѣтенъ по взаимному соглашенію людьми, уже организованными въ общество. Эту теорію отстаивалъ и Кондильякъ (о немъ см. ниже). „Но, возражаетъ Руссо, я сказалъ бы, какъ многіе другіе, что языки зародились (les langues sont nées) въ домашнемъ взаимообщеніи отцовъ, матерей и дѣтей, но, не говоря уже о томъ, что это вовсе не устраняетъ возраженій, это значило бы повторять ошибку тѣхъ, кто, разсуждая о естественномъ состояніи, переносятъ на него идеи, заимствованныя изъ (развитыхъ) обществъ, видятъ семью всегда соединенной въ одномъ жилищѣ, и предполагаютъ, что члены ея хранятъ между собою такую интимную и постоянную связь, какъ у насъ, или имѣютъ столько же общихъ интересовъ (какъ и мы). Между тѣмъ въ этомъ первобытномъ состояніи, когда не было ни домовъ, ни хижинъ, ни собственности какого бы то ни было рода, каждый устранился, какъ случилось, и нерѣдко всего лишь на одну почву; самцы и самки соединились случайно, въ зависимости отъ встрѣчи, случая и желанія, при чемъ слово вовсе не являлось необходимымъ толкователемъ вещей, о которыхъ они могли бы говорить другъ съ другомъ. И такъ же легко они разставались“.

Это замѣчаніе Руссо глубоко справедливо: оно подтверждается безпристрастными, свободными отъ всякихъ теоретическихъ предпосылокъ наблюденіями современныхъ путешественниковъ, которые указали, что

кругъ духовной жизни и общенія у нѣкоторыхъ изъ первобытнѣйшихъ дикарскихъ племенъ настолько узокъ, что имъ просто нѣтъ надобности въ разговорахъ съ помощью языка. И то же самое имѣетъ въ виду Руссо, обнаруживающій поразительную проницательность въ характеристикѣ первобытныхъ состояній человечества. Достаточно прочесть его взглядъ на развитіе отношеній между матерью и дѣтями, чтобы убѣдиться въ этомъ. Неправъ только Руссо (и объ этомъ я уже говорилъ въ главѣ, посвященной дѣтской рѣчи), предполагая, что создателемъ языка былъ ребенокъ, стремившійся выяснитъ матери свои нужды, „что создаетъ такое же множество языковъ, сколько есть лицъ, которыя могутъ говорить на нихъ“. Но это положеніе Руссо стоитъ, вообще, какъ-то обособленно отъ общей его теоріи, которая базируется на правильныхъ психологическихъ предпосылкахъ.

„Минуемъ на одно мгновеніе громадное разстояніе, которое должно отдѣлять первобытное естественное состояніе человека отъ потребности его въ языкахъ, и предположивъ ихъ необходимость, будемъ искать того, какъ могло начаться ихъ установленіе¹⁾. Вотъ новое затрудненіе, гораздо большее прежняго. Ибо ежели люди имѣли надобность въ словѣ, чтобы научиться, какъ думать, то, конечно, имѣли они еще больше нужды умѣть мыслить для пріобрѣтенія словеснаго искусства: и когда бы можно было понять, какимъ образомъ произношеніе голоса стало принято за (условное) договорное выраженіе нашихъ понятій, то и въ этомъ случаѣ оставалось бы узнать, какія могли быть выраженія сего договора о такихъ понятіяхъ, которыя, не имѣя предмета чувствительнаго (un objet sensible), не могли быть изъяснены ни тѣлодвиженіемъ, ни голосомъ, такъ что едва-ли возможно выставить удовлетворительное предположеніе относительно того, какъ зародилось это искусство сообщать свои мысли, и какъ могли установиться сношенія между умами“. Такимъ образомъ Руссо правильно замѣтилъ основной характеръ словъ нашихъ языковъ, именно ихъ условное происхожденіе. Какъ мы видимъ, онъ указалъ на невозможность свести къ звукоподражанію такія слова, которыя не означаютъ какого-нибудь объекта, воспринимаемого нашими органами чувствъ. Можно сказать, что Руссо влѣдъ за философами древности, пытавшимися возстановитъ первобытное психическое состояніе человека, развилъ почти въ соотвѣтствіи съ нашимъ современнымъ знаніемъ ученія о первоначальномъ эмоціональномъ языкѣ. „Первымъ языкомъ человека, языкомъ наиболѣе всеобщимъ, наиболѣе энергическимъ (выразительнымъ),

¹⁾ Пользуюсь въ передачѣ нѣкоторыхъ выраженій переводомъ трактата Руссо, вышедшимъ въ Москвѣ въ 1770 году съ нѣкоторыми измѣненіями устарѣвшаго языка. Переводчикъ, П. Потемкинъ нашелъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ очень мѣткія выраженія для передачи французскаго текста.

единственнымъ, въ которомъ онъ нуждался прежде, чѣмъ ему понадобилось убѣждать собранныхъ вмѣстѣ людей, является вопль природный (*le cri de la nature*). А такъ какъ этотъ крикъ вызывался лишь извѣстнаго рода инстинктомъ въ особыхъ случаяхъ (*dans les occasions pressantes*), чтобы умолять о помощи въ большихъ опасностяхъ и объ облегченіи въ великихъ страданіяхъ, то онъ не могъ имѣть большого употребленія въ обычномъ ходѣ жизни, гдѣ господствуютъ самыя умѣренныя чувства. Когда понятія людей стали расширяться и умножаться, и когда между людьми установилось болѣе тѣсное общеніе, они стали искать знаковъ болѣе многочисленныхъ и языка болѣе широкаго (*un langage plus étendu*). Поскольку въ этомъ мѣстѣ Руссо говоритъ объ инстинктивномъ эмоциональномъ характерѣ языка, съ нимъ можно согласиться. Но дальше на сцену выступаетъ въ теоріи Руссо сознательное и произвольное сочиненіе рѣчи, изобрѣтеніе новыхъ средствъ для передачи чувствъ, и здѣсь приходится уже разстаться съ тѣмъ путемъ, который избралъ французскій философъ. Для того, чтобы увеличить количество словъ въ соответствіи съ ростомъ понятій (точно два эти процесса происходили не одновременно), люди будто бы „умножили оттѣнки голоса и присоединили къ нимъ жесты, которые, по самой природѣ, обладаютъ большей изобразительной силой, и значеніе которыхъ менѣе зависитъ отъ предшествующаго опредѣленія“. Въ дѣйствительности же, именно въ „крикѣ природы“ заключались тѣ изобразительныя средства, о которыхъ здѣсь говоритъ Руссо, т. е. различныя интонаціи, сопровождавшіяся жестами. Руссо полагаетъ, будто бы жесты явились изобрѣтеніемъ человѣческимъ. Люди „изображали видимые и движущіеся предметы жестами, а тѣ предметы, которые поражаютъ слухъ, подражательными звуками. Но такъ какъ жестъ изображаетъ только наличные или легкіе для описанія предметы и видимыя дѣйствія (а такой жестъ не можетъ имѣть всеобщаго употребленія, потому что темнота или междоположеніе какого-нибудь тѣла *l'interposition d'un corps*—дѣлаютъ его бесполезнымъ, и потому, что онъ требуетъ къ себѣ больше вниманія, чѣмъ самъ возбуждаетъ его), то наконецъ *придумали* (*on s'avis*) замѣнить жестъ артикуляціями голоса“. Здѣсь совершенно правильно указано неудобство жеста въ смыслѣ изобразительнаго средства и вслѣдствіе чрезмѣрно конкретнаго характера его, и вслѣдствіе чисто техническихъ особенностей жестикуляціи. Но самому предварительному положенію Руссо, согласно которому люди не могли заключить какой-нибудь договоръ, еще не имѣя языка, противорѣчить его предположеніе о *вымысли* болѣе подходящаго средства для передачи своихъ мыслей. Зато далѣе слѣдуетъ опять прекрасный анализъ передачи своихъ мыслей. Слова, „не имѣя такого отношенія къ нѣкоторымъ понятіямъ, гораздо способнѣе изображать ихъ всѣ, какъ *знаки* установленныя (*comme signes institués*)“. Какъ могло

произойти такое „установленіе“? Руссо не допускаетъ и мысли, что это могло произойти естественнымъ образомъ, безъ участія сознательной человѣческой воли. „Такая замѣна (жестовъ словами) не могла учинена быть безъ общаго согласія, и должна была стоить большого труда такимъ людямъ, коихъ грубые органы не имѣли еще никакого упражненія“. Аналитическій умъ Руссо увидѣлъ тѣ затрудненія, къ которымъ приводить гипотеза согласенія, и съ удивительной искренностью онъ спѣшитъ прибавить къ вышеприведеннымъ замѣчаніямъ, что „еще труднѣе понять (такую замѣну) самое по себѣ, такъ какъ подобное единодушное соглашеніе должно было чѣмъ-нибудь мотивироваться, и кажется, что слово оказывается уже въ высшей степени необходимымъ для того, чтобы слово вошло въ употребленіе“. По истинѣ гениальнымъ для того времени открытіемъ было утвержденіе Руссо, что первоначальныя слова должны были соответствовать цѣлымъ предложеніямъ, и что слово лишь впоследствии выдѣлилось изъ предложенія. Философъ формулируетъ эту мысль еще довольно спутанно, но общій смыслъ его выраженій открыть не трудно. „Должно разсуждать, что первыя людьми употребленныя слова имѣли въ ихъ мысляхъ (*dans leur esprit*) значеніе гораздо пространнѣе тѣхъ, которыя употребляются въ языкахъ уже учрежденныхъ (сформировавшихся); что они, не вѣдая раздѣленія рѣчи на ея составляющія части, давали сначала каждому слову смыслъ цѣлаго предложенія“. Не ускользнулъ отъ Руссо и тотъ фактъ, что первоначальныя названія вещей должны были имѣть специальное, конкретное значеніе, служа наименованіями именно этой вещи. Руссо формулировалъ это въ томъ смыслѣ, что, когда изъ предложенія выдѣлились имена существительныя и глаголы, то первыя являлись существительными собственными (*ne furent d'abord qu'autant de noms propres*), а вторыя употреблялись въ неопредѣленномъ наклоненіи. Изученіе языковъ дикарей подтвердило оба эти положенія французскаго писателя 18 вѣка: дѣйствительно, первоначальный глаголь ограничивается общимъ указаніемъ на дѣйствіе или состояніе (неопредѣленнымъ наклоненіемъ), а существительное обозначаетъ видъ, а не родъ предметовъ. Чисто умозрительнымъ путемъ Руссо пришелъ къ открытію того, что подтвердилось позднѣйшимъ изслѣдованіемъ дѣйствительнаго положенія вещей. Здѣсь онъ впалъ въ такую же крайность, отъ которой не ушелъ много лѣтъ спустя и Потебня: онъ полагалъ, что каждый предметъ получилъ свое отдѣльное названіе, тогда какъ въ дѣйствительности сходство двухъ образовъ должно было уже съ самаго начала вызвать общее для нихъ наименованіе. „Если одинъ дубъ былъ названъ *A*, то другой дубъ былъ названъ *B*, ибо первая идея, которая извлекается изъ этихъ двухъ вещей, это-то, что онѣ не представляютъ тождества: нѣрѣдко требуется много времени на то, чтобы замѣтить присущее имъ общее. Такимъ образомъ, чѣмъ болѣе были ограничены свѣдѣнія первобытнаго

человѣка, тѣмъ обширнѣе былъ его словарь“. Опять таки пренебрегая психологіей образа (что было понятно во времена Руссо), онъ полагаетъ, что уже потому первоначальныя слова должны были означать не видъ, но особъ предметовъ, что иначе это были бы названія „общихъ идей“, а эти послѣднія могутъ проникнуть въ сознаніе только съ помощью словъ, и „разумнѣе не иначе ихъ понимаетъ, какъ по предложеніямъ“. Психологія животныхъ подтверждаетъ, по мнѣнію Руссо, это положеніе: именно, животныя лишены общихъ идей, потому что лишены дара рѣчи. Обезьяна руководится въ своемъ поведеніи смѣной образовъ. Когда она бросается отъ одного орѣха къ другому, то „видъ одного изъ сихъ орѣховъ возобновляетъ въ памяти ея то чувствованіе, какое она имѣла отъ другого“. У человѣка слова также сначала связываются съ образами, но потомъ, „какъ только воображеніе остановится, то разумъ уже шествуетъ одною лишь помощью слова“. Какъ отъ конкретныхъ словъ „новые наши грамматики“ перешли къ словамъ общимъ, это представляется Руссо непостижимымъ. Его дальнѣйшія разсужденія о развитіи созданнаго такимъ образомъ языка не представляютъ особеннаго интереса, и я не буду здѣсь на нихъ останавливаться. Такимъ образомъ, въ основаніе своей теоріи Руссо клалъ первобытное состояніе человѣчества, когда это послѣднее состояло изъ паръ, соединяющихся на извѣстное время для сожитія, и изъ небольшихъ семейныхъ группъ, образовавшихся отъ болѣе дѣятельныхъ связей. Въ этой средѣ общность интересовъ была такъ велика, что просто не представляла надобности въ обмѣнѣ чувствами съ помощью какихъ-нибудь условныхъ средствъ. Но инстинктъ заставлялъ человѣка издавать „природныя вопли“, которые стали служить цѣлямъ социальнымъ: съ помощью такого крика человѣкъ просилъ о помощи, жаловался на страданія. Какъ совершился переходъ отъ крика, какъ инстинктивнаго спутника эмоціи, къ крику, какъ выраженію желанія или другого чувства: этотъ вопросъ, повидимому, еще не вставалъ передъ Руссо. Сдѣлавшись словомъ, крикъ не соотвѣтствовалъ наименованіямъ отдѣльныхъ предметовъ, свойствъ или дѣйствій; онъ выражалъ собою смыслъ цѣлыхъ предложеній, которыя, стало быть, предшествовали слову. Таково въ кратцѣ содержаніе взглядовъ на происхожденіе языка у Руссо, который въ этомъ отношеніи на много опередилъ свою эпоху.

Къ этому же вопросу Руссо вернулся въ своемъ трактатѣ „Essai sur l'origine des langues“ (Oeuvres complètes 1798, т. 16). Здѣсь теорія эмоциональнаго происхожденія языка развита съ особенной силой. „Слѣдуетъ думать, что необходимость (les besoins) продиктовала первые жесты, и что страсти вызвали первые звуки голоса. ...Геній восточныхъ языковъ, самыхъ древнихъ, какіе намъ извѣстны, совершенно отрицаетъ дидактическій путь (la marche didactique), который думаютъ открыть въ ихъ составѣ. Эти языки не имѣютъ въ себѣ ничего мето-

дическаго и разсудочнаго; они живы и образны. Намъ хотять представить языкъ первыхъ людей, какъ языкъ геометровъ, а мы видимъ, что это были языки поэтовъ. Такъ и должно было быть. Люди начинаютъ не съ разсужденій, но съ чувствъ. Предполагаютъ, что люди изобрѣли слово, чтобы выражать свои потребности. Это мнѣніе, какъ мнѣ кажется, *не выдерживаетъ критики*. Естественнымъ послѣдствіемъ стремленія удовлетворять свои нужды должно было являться желаніе избѣгать людей, а не приближаться къ нимъ. Это желаніе было необходимо и для того, чтобы видъ могъ распространиться, и чтобы земля быстро населилась людьми; безъ этого человѣческой родъ былъ бы загнанъ въ одинъ уголокъ міра, а все остальное было бы пусто. Уже отсюда слѣдуетъ съ полной очевидностью, что происхожденіемъ своимъ языки не могли быть обязаны первымъ потребностямъ человѣка, и что было бы нелѣпно, чтобы изъ причины, которая людей раздѣляетъ, вышло средство для ихъ соединенія. Какимъ же образомъ можетъ быть объяснено происхожденіе языка? Нравственными потребностями, страстями. Всѣ страсти соединяютъ людей, которыхъ необходимость искать пропитанія заставляетъ расходиться. Эти страсти— не голодъ, не жажда, но любовь, ненависть, состраданіе, гнѣвъ, которые и вызвали изъ ихъ устъ первые звуки. Плоды не прячутся отъ нашихъ рукъ; ими можно питаться, не говоря ни слова; въ молчаніи преслѣдуютъ дичь, появленіе которой такъ желательно. Но, чтобы взволновать молодое сердце, чтобы оттолкнуть несправедливаго обидчика,—для этого природа диктуетъ ударенія (des accents), крики, жалобы: вотъ древнѣйшія изобрѣтенныя слова, и вотъ почему первые языки были *пѣвучими* и страстными, и лишь впослѣдствіи сдѣлались простыми и методическими“. О характерѣ первоначальныхъ словъ Руссо въ этомъ трактатѣ говоритъ слѣдующее: „Такъ какъ первыми побужденіями, заставившими человѣка говорить, явились страсти, то первыя выраженія были тропами. Образный языкъ (le langage) родился сначала, собственный смыслъ (словъ) былъ найденъ впослѣдствіи. Вещи были названы своими настоящими именами лишь тогда, когда люди увидѣли ихъ въ ихъ настоящемъ видѣ. Сначала говорили только въ формѣ поэзіи (d'abord on ne parla qu'en poésie), и лишь много времени спустя, научились мыслить“. И самое это первоначальное произношеніе звуковъ человѣческой рѣчи чрезвычайно вѣрно указано Руссо. Онъ отмѣтилъ недостаточность артикуляціи въ нихъ: звуки естественно выходили изъ болѣе или менѣе широко раскрытаго рта, „но модификаціи языка и неба, которыя производятъ артикуляцію, требуютъ вниманія и упражненія... Во всѣхъ языкахъ наиболѣе живыя восклицанія оказываются неартикулированными; крики, вздохи являются непосредственными созданіями голоса (простыми голосами, de simples voix)“. Та же недостаточность артикуляціи должна была перейти отъ первоначальныхъ звуковъ человѣческаго голоса къ первоначальнымъ словамъ человѣческой

рѣчи. Какъ это мѣсто, такъ и непосредственно слѣдующее за нимъ обнаруживаютъ у Руссо чрезвычайную глубину пониманія вопроса и въ исторіи ученій о происхожденіи языка ихъ нельзя миновать. „Такъ какъ естественные голоса неартикулированы, говоритъ философъ (XVI. 190—191), то и (первобытные) слова являются мало артикулированными; нѣсколько согласныхъ, лежащихъ между гласными, позволяютъ избѣгнуть зіянія и оказываются достаточными для того, чтобы сдѣлать гласныя легкими и приятными для произношенія. Зато самые звуки должны быть очень разнообразны, и различіе удареній умножаетъ тѣ же самые звуки (т. е. позволяетъ слагать изъ однихъ и тѣхъ же гласныхъ, но съ разными удареніями, различныя слова, какъ это было отмѣчено мною въ главѣ о языкахъ дикарей); количество, ритмъ становятся новыми источниками комбинаций. Въ виду этого и такъ какъ голоса, звуки, удареніе, количество гласныхъ (*le nombre*), *которые происходятъ отъ природы*, предоставляютъ мало значенія артикуляціямъ, *которыя восходятъ къ условности* (*qui sont de conventions*), то (въ первобытномъ языкѣ) люди не говорятъ, а поютъ, и большая часть корневыхъ словъ представляетъ звуковыя подражанія (*des sons imitatifs*), или выраженіе страсти, или дѣйствіе объектовъ чувствъ; звукоподражаніе здѣсь постоянно даетъ себя чувствовать. Такой (первобытный) языкъ долженъ имѣть много синонимовъ для выраженія того же самого существа въ его различныхъ отношеніяхъ, но въ немъ должно быть мало нарѣчій и отвлеченныхъ словъ для выраженія самыхъ этихъ отношеній. Онъ долженъ быть богатъ увеличительными словами, уменьшительными формами, словами, состоящими изъ дополнительныхъ частицъ, чтобы завершать нисходящую часть періодовъ и закруглять фразы; онъ долженъ имѣть много неправильностей и аномалій, долженъ пренебрегать грамматической аналогіей, чтобы придавать тѣмъ большее значеніе благозвучію, количеству, гармоніи и красотѣ звуковъ; вмѣсто доказательствъ онъ пользуется сентенціями; онъ убѣждаетъ, не побѣждая доказательствами, и живописуетъ, не разсуждая; онъ долженъ походить на китайскій языкъ въ однихъ отношеніяхъ, на греческій въ другихъ и на арабскій въ третьихъ. Развейте эти идеи во всей ихъ полнотѣ, и вы увидите, что Кратиль Платона не такъ смѣшенъ, какъ кажется“. Такова теорія Руссо. Ея преувеличенія, въ родѣ того, что первобытный языкъ *сознательно* стремился къ достиженію наибольшей благозвучности и музыкальности, происходятъ отъ вполне допустимаго, но слишкомъ обобщеннаго представленія Руссо о музыкальности первоначальной человѣческой рѣчи. Но никто до него не указалъ такъ опредѣленно, что звуки человѣческой рѣчи должны восходить въ своихъ первоначальныхъ основаніяхъ къ „музыкѣ“ возбужденнаго эмоціями человѣческаго голоса, никто не указывалъ такъ отчетливо на первоначальный „поэтическій“ характеръ человѣческаго языка. И Руссо намѣтилъ именно тѣ пути, по которымъ двинулось позднѣйшее

языкознаніе: въ главѣ о значеніи словъ я уже имѣлъ случай указать на ученія о первоначальномъ „поэтическомъ“ происхожденіи нашихъ словъ. Стоитъ сравнить взгляды Руссо съ теоріями его ближайшихъ современниковъ, французскихъ же философовъ XVIII вѣка, чтобы увидѣть, какой прогрессъ представляла система, предложенная Руссо.

Мопертюи ¹⁾ устанавливалъ родство духовной жизни человѣка и животныхъ. „Все, что я могу утверждать, да и то, пожалуй, безъ особеннаго основанія, говорятъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ (II. 219), это, — что животные виды обладаютъ меньшимъ количествомъ идей и меньшей способностью ихъ сравнивать, чѣмъ я. Я перехожу отъ обезьяны къ собакѣ, лисицѣ, и такъ постепенно я нисхожу даже до устрицы и, можетъ быть, даже до растенія, которое является только животнымъ видомъ, болѣе неподвижнымъ еще, чѣмъ устрица, и я не встрѣчаю нигдѣ необходимости остановиться“. Какъ же смотрѣлъ Мопертюи, при этомъ своемъ эволюціонномъ взглядѣ на развитіе животной психологіи, на происхожденіе человѣческаго языка? Этому вопросу онъ посвятилъ въ 1784 году разсужденіе: „Философскія размышленія о происхожденіи языковъ и о значеніи словъ“. Онъ представляетъ себѣ человѣка мыслящимъ и разсуждающимъ уже до возникновенія языка, противъ чего съ такой пронзительностью возсталъ Руссо. По мнѣнію Мопертюи, получая различныя воспріятія, человѣкъ старался ихъ различить и, такъ какъ онъ еще не обладалъ установленнымъ языкомъ, долженъ былъ прибѣгать къ нѣсколькимъ признакамъ ихъ. Онъ „долженъ былъ довольствоваться выраженіями, *A* и *C*, для тѣхъ самыхъ вещей, которыя онъ подразумеваетъ теперь, когда говоритъ: я вижу дерево, я вижу лошадь. Получая затѣмъ новыя воспріятія, онъ могъ всѣхъ ихъ обозначать такимъ же способомъ, и когда произносилъ, напр., *R*, подразумевалъ тоже самое, что онъ подразумеваетъ теперь, говоря: я вижу море“. Такимъ образомъ, пониманіе значенія словъ предшествовало, по мнѣнію Мопертюи, возникновенію самыхъ словъ, что, конечно, психологически невозможно. Слѣдуетъ, однако, отмѣтить, что и этотъ ученый понималъ значеніе интонаціи и жеста въ вопросѣ о возникновеніи человѣческаго языка, и первый же параграфъ его „Dissertation“ гласитъ слѣдующее: „Если возможно возстановить въ своемъ воображеніи то время, когда люди не имѣли еще никакого языка, то (слѣдуетъ думать, что) сначала они старались выражать какъ-нибудь свои наиболѣе настоятельныя нужды, и что для этой цѣли было достаточно нѣсколько жестовъ и нѣсколько криковъ. Это былъ первый языкъ человѣка, и это тотъ языкъ, на которомъ еще и теперь понимаютъ другъ друга всѣ народы, хотя они могутъ выразить на немъ лишь очень небольшое число идей. Лишь много времени спустя *надумались* относительно другихъ способовъ выраженія.

¹⁾ Oeuvres de Mr. Maupertuis. Nouvelle édition corrigée et augmentée. Tome Second. A Lyon. 1756.

Можно было сдѣлать этотъ первый языкъ болѣе многообъемлющимъ, присоединивъ къ жестамъ и природнымъ крикамъ условные крики и жесты, которые дополняли то, что первые люди не сумѣли сдѣлать. Таково было, вѣроятно, первоначальное положеніе вещей“. Здѣсь, конечно, невѣроятно, будто бы люди, не довольствуясь своимъ первоначальнымъ инстинктивно-эмоциональнымъ языкомъ, задумали усовершенствовать его и условились относительно способовъ усовершенствованія. Но, оставляя въ сторонѣ этотъ слабый пунктъ теоріи Мопертюи, приходится признать, что и этотъ ученый правильно отмѣтилъ необходимыя предпосылки образованія человѣческой рѣчи, развитіе инстинктивной жестикуляціи и интонаціи. Лишь впоследствии языкъ вышелъ изъ подчиненія этимъ первоначальнымъ формамъ выраженія чувствъ. „Быть можетъ, не мало времени прошло, пока люди достигли способа выраженія, независимаго отъ жестовъ и тоновъ. *Замѣтили*, что безъ движеній тѣла и безъ усилій гортани, съ помощью простыхъ дѣйствій (удареній, *battements*) языка и губъ, можно образовать большое число артикуляцій, комбинируемыхъ до безконечности: *почувствовали* выгоду этого новаго языка, и всѣ народы удержали его, и это было *слово*“. Этапы развитія языка отъ крика къ слову, дѣйствительно, приблизительно таковы, и отпадаетъ только моментъ договора, который долженъ быть замѣненъ въ современной наукѣ инымъ принципомъ, именно началомъ вліянія одного человѣка на среду, а также слѣдуетъ исключить тѣ элементы сознательности („замѣтили, почувствовали“ и т. д.), о которыхъ говоритъ Мопертюи. Надо прибавить, что и въ дальнѣйшихъ параграфахъ своей „*Dissertation sur les langues*“ (Oeuvres. III, 437—486) Мопертюи высказываетъ не мало вѣрныхъ мыслей о развитіи человѣческой рѣчи.

Что касается Кондильяка, съ которымъ полемизируетъ Руссо, то при обзорѣ литературы о происхожденіи языка надо имѣть въ виду его „Опытъ о происхожденіи человѣческихъ познаній“¹⁾, первый изъ крупныхъ трактатовъ Кондильяка, появившійся въ 1746 году. Нашей темѣ французскій философъ удѣляетъ не мало вниманія во второй части своего разсужденія, снабжая свое изслѣдованіе слѣдующимъ характернымъ предисловіемъ: „Адамъ и Ева не были обязаны въ дѣятельности своей души какому-либо опыту и, едва выйдя изъ рукъ Бога, уже они были въ состояніи, благодаря сверхъестественной помощи (*par un secours extraordinaire*), размышлять и сообщать другъ другу свои мысли. Но я предполагаю, что нѣкоторое время спустя послѣ потопа двое дѣтей разныхъ половъ заблудились въ пустынѣ, раньше, чѣмъ научились употребленію какого-ни-

будь знака. Кто знаетъ, не обязанъ ли такому происшествію какой-нибудь народъ и самымъ своимъ происхожденіемъ? Позвольте мнѣ поставить такую гипотезу. Вопросъ, значить, заключается въ томъ, какъ образовалъ этотъ возникающій народъ свой языкъ“. Итакъ, за субстратъ своей теоріи Кондильякъ принимаетъ пару дѣтей, еще не понимающихъ ни культурнаго значенія рѣчи, ни самой возможности говорить и всецѣло предоставленныхъ въ своемъ умственномъ развитіи себѣ самимъ. Эти дѣти должны удовлетворить въ своемъ развитіи только общимъ психологическимъ условіямъ. Съ большимъ пониманіемъ существа проблемы Кондильякъ ставитъ ее въ плоскости психологическихъ вопросовъ.

Какъ складывалась душевная жизнь безъ языка? Она ограничивалась „дѣятельностью воспріятія и *сознанія* (*de la conscience*), которая не прекращается никогда въ бодрствующемъ состояніи, затѣмъ дѣятельностью вниманія, которая имѣла мѣсто всякій разъ, когда нѣкоторыя воспріятія возбуждали ее особеннымъ образомъ, дѣятельностью воспоминанія, когда поразившія это существо обстоятельства представлялись ему, и въ очень низкой степени дѣятельностью воображенія. Воспріятіе потребности связывалось, на примѣръ, съ воспріятіемъ предмета, который послужилъ ея удовлетворенію. Но этого рода соединенія, обязанныя своимъ возникновеніемъ случаю и не поддерживаемыя размышленіемъ, не удерживались надолго. Сегодня чувство голода напомнило этимъ дѣтямъ одно дерево, усыпанное плодами, которое они видѣли вчера. Но завтра это дерево бывало уже забыто, и то же самое чувство вызывало въ ихъ памяти другой предметъ. Такимъ образомъ, упражненіе воображенія не было въ ихъ власти; оно являлось лишь послѣдствіемъ обстоятельствъ, въ которыхъ они (дѣти) находились“. Такова предпосылка Кондильяка, въ которой современная психологія ввела бы иную терминологию, но, по существу, едва ли сдѣлала бы много исправленій: Кондильякъ вѣдь говоритъ именно о смѣнѣ образовъ, какъ основѣ умственной дѣятельности познанія, предшествующей языку. Отсюда Кондильякъ переходитъ къ предположенію о томъ, какъ инстинктивные крики, ассоціировавшись съ представленіями, превратились въ слова. Вотъ его разсужденія по этому предмету: „Когда эти дѣти стали жить вмѣстѣ, они получили большую возможность упражнять свои примитивныя душевныя способности, такъ какъ ихъ взаимообщеніе *заставило ихъ связывать съ криками каждой страсти воспріятія, естественными выраженіями которыхъ были эти крики*. Дѣти ихъ сопровождали обыкновенно какимъ-нибудь жестомъ или какимъ либо дѣйствіемъ, выраженіе котораго было еще болѣе доступно воспріятію (*encore plus sensible*). Такъ напр., тотъ, кто страдалъ, будучи лишенъ предмета, который его потребности сдѣлала для него необходимымъ, не воздерживался отъ испусканія воплей; онъ дѣлалъ усилія достать предметъ и приводилъ для этого въ движеніе голову, руки и всѣ части своего тѣла. Другой, взволнованный этимъ зрѣлищемъ, устремлялъ глаза

¹⁾ Oeuvres de Condillac. Essai sur l'origine des connoissances humaines. 1798.

на тот же самый предмет, и испытывая в душѣ своей наличность чувствъ, въ которыхъ онъ еще не былъ способенъ отдать себѣ отчетъ, онъ страдалъ, видя, какъ страдаетъ этотъ несчастный. Съ этого момента онъ испытываетъ желаніе помочь этому послѣднему, и онъ повинуется этому влеченію, поскольку это въ его власти. Такимъ образомъ, *подъ вліяніемъ инстинкта*, эти люди просили и предлагали другъ другу помощь“. Въ этомъ извлеченіи изъ трактата Кондильяка уже обнаруживается въ достаточной полнотѣ вся произвольность его теоріи, основанной на вѣрномъ базисѣ, инстинктивности эмоциональных криковъ, но развитой внѣ всякаго соприкосновенія съ реальными фактами.

Не доказано, что страданіе одного изъ членовъ первобытнаго общества вызываетъ сочувствіе у другихъ, и Руссо съ неменьшимъ правомъ могъ предположить, что при видѣ чужихъ страданій люди поскорѣе разбѣгались отъ страха. Въ самой формулировкѣ Кондильяка большая неясность: что значить „ассоціація криковъ каждой страсти съ воспріятіями“? Вѣдь одинъ и тотъ же вопль ужаса могутъ исторгнуть изъ груди первобытнаго человѣка самыя различныя воспріятія: крокодилъ, левъ, обрушившаяся скала и т. д. Между тѣмъ, такіе крики понимаются *инстинктивно*, и уже потому не могутъ сдѣлаться сразу *наименованіями* предметовъ, вызвавшихъ чувство: здѣсь путь идетъ отъ сердца къ сердцу, а не отъ головы къ головѣ. Тѣмъ не менѣе, исходный пунктъ теоріи Кондильяка былъ правильно указанъ въ инстинктивной потребности человѣка разряжать эмоциональную энергію въ крикахъ и другихъ звукахъ. Дальнѣйшій ходъ развитія рисуется этимъ ученымъ такъ: одни и тѣ же крики, порожденія страстей, стали прочно связываться съ извѣстными представленіями о причинахъ, вызывающихъ крики, стали, наконецъ ихъ *знаками*. „Чѣмъ болѣе люди осваивались съ этими знаками, тѣмъ болѣе они дѣлались въ состояніи припоминать ихъ по своему желанію. Ихъ память начала имѣть нѣкоторое упражненіе: они получили возможность располагать сами своимъ воображеніемъ, и незамѣтно они научились дѣлать съ помощью размысленія то, чего они не дѣлали съ помощью инстинкта“. Такъ постепенно изъ криковъ инстинктивнаго происхожденія стали образовываться слова, какъ символы. „Приобрѣтя привычку связывать нѣкоторыя идеи съ произвольными знаками, люди использовали естественные крики въ качествѣ элементовъ для составленія новаго языка. Они стали артикулировать новыя звуки и, повторяя ихъ нѣсколько разъ и сопровождая ихъ какимъ-нибудь жестомъ, указывающимъ на предметы, которые они хотѣли отмѣтить, они приучились давать наименованія вещамъ. Первые успѣхи этого языка были, однако, очень медленны. Органъ рѣчи былъ еще до такой степени не гибокъ, что онъ могъ легко артикулировать лишь нѣсколько звуковъ и при томъ самыхъ простыхъ. Помѣхи, препятствовавшія произносить другія слова, не позволяли даже подозрѣвать, что

голосъ можетъ варіироваться за предѣлами небольшого числа словъ, которыя были выдуманы“. Роль показателя будущаго значенія языка и составителя новыхъ словъ—Кондильякъ приписываетъ дитяти, на психологию котораго въ 18 вѣкѣ, вообще, обратили вниманіе. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что Кондильякъ намѣтилъ уже всѣ основные пункты въ вопросѣ о происхожденіи языка (инстинктъ, психологія до языка, слово—символь, значеніе дѣтской рѣчи и т. п.), но еще не былъ въ состояніи дать научный анализъ самого вопроса. Руссо, кое-что въ состояніи дать научный анализъ самого вопроса. Руссо, кое-что отвергнувъ у своихъ предшественниковъ, сдѣлалъ слѣдующій крупный шагъ къ выясненію проблемы, но онъ органически связанъ съ этими предшественниками.

Восемнадцатый вѣкъ, вообще, удѣлилъ много вниманія вопросу о происхожденіи языка, который былъ такъ важенъ для новаго рационалистическаго міровоззрѣнія. „Безъ слова нѣтъ мысли“: вотъ тотъ принципъ, который заставилъ представителей новыхъ философскихъ движеній 18 вѣка углубиться въ изученіе этого вопроса. „Безъ сугубаго условія, по силѣ коего понятія привязаны стали къ звукамъ, а звуки къ письменамъ, все осталось бы погребено въ челоуѣкѣ, и въ немъ бы погибло“. Такъ формулировалъ это положеніе Дидро. Въ уже данномъ изложеніи нѣкоторыхъ взглядовъ на этотъ вопросъ обнаруживается, что, въ общемъ, писатели 18 вѣка подошли къ предмету методически правильно, съ совершенно научной точки зрѣнія, рассматривая психологическія и антропологическія предпосылки, необходимыя для разрѣшенія самаго вопроса о началѣ языка. Основнымъ заблужденіемъ ихъ было предположеніе, что при „сочиненіи“ первоначальнаго языка существовали какія-то договорныя отношенія между людьми, и что, вообще, сознательная дѣятельность ихъ играла здѣсь большую роль. Оба эти заблужденія вытекали изъ присущей философамъ 18 вѣка переоцѣнки разумной дѣятельности въ организаціи общества. Но и при этой переоцѣнкѣ они все же высказали не мало вѣрныхъ и важныхъ сужденій о духовномъ состояніи челоуѣчества до языка и о перемѣнахъ произошедшихъ въ его психикѣ благодаря созданію рѣчи; и самое развитіе этой послѣдней, отъ „природнаго вопля“ до условнаго символа, было указано въ общемъ правильно уже въ 18 вѣкѣ. Слѣдствіе, которое отсюда можно сдѣлать, сводилось бы, пожалуй, къ тому, что самый вопросъ о происхожденіи языка вовсе не является такимъ неразрѣшимымъ и неразрѣшеннымъ, какимъ онъ нерѣдко представлялся впоследствии.

Въ виду того интереса, какой, какъ мнѣ кажется, имѣетъ въ исторіи этого вопроса философія XVIII вѣка, я остановлюсь, сверхъ Руссо, Мопертюи и Кондильяка, еще на нѣсколькихъ французскихъ писателяхъ этой эпохи, а потомъ перейду къ англійскимъ и нѣмецкимъ исследователямъ. Въ 1765 году появилось сочиненіе извѣстнаго исследователя новоткрытыхъ австралійскихъ странъ, Де Бросса (De Brosses): „Traité de la

formation mécanique des langues et des principes physiques de l'étymologie" ¹⁾. Авторъ горячій сторонникъ теоріи, которую можно было бы назвать антропологической: его этнографическіе интересы натолкнули его именно на этотъ путь въ изслѣдованіи вопроса о происхожденіи языка. „Физическія начала этимологін“ заключаются въ звукоподражаніи. „Когда человѣкъ хочетъ представить голосомъ какой-нибудь предметъ вещественный и передать уху другого человѣка о томъ предметѣ, который самъ въ умѣ имѣетъ, тогда не можетъ онъ употребить способа естественнаго, дѣйствительнаго, скорѣе, какъ только произвести голосомъ своимъ такой же звукъ, какой производится предметомъ, который наименовать ему надобно. Ибо мало предметовъ, кои не производили бы звука, и сей-то звукъ особенно служитъ для наложенія первоначальныхъ именъ. Нѣтъ ничего простѣе сего способа, когда слово относится къ слуху. Дикарь, если хочетъ назвать ружье, непременно, назоветъ его *ну*; если же хочетъ наименовать извѣстную птицу, конечно, скажетъ *куку*, потому что сія птица издаетъ подобный звукъ“. Но для обозначенія извѣстныхъ предметовъ и дѣйствій этотъ способъ наименованія оказывается неподходящимъ. Тогда „органъ принимаетъ по самой возможности образъ самаго предмета, который хочетъ представить голосомъ: издаетъ звукъ, какъ бы изъ нѣкоторой пустоты исходящій, ежели предметъ имѣетъ въ себѣ пустоту, или грубый, ежели предметъ грубъ, такъ что звукъ, происходящій отъ состава и естественнаго движенія органа, становится именемъ предмета“. Итакъ, передъ нами все-та же старая точка зрѣнія, развитая въ „Кратвлѣ“ и Лейбницемъ. То новое, что внесъ въ нее Де Броссъ, заключается въ апелляціи къ „дикарю“, какъ носителю первоначальнаго типа человѣческаго языка. Это уже не воображаемая пара дѣтей Кондильяка или вообще гипотетическій первобытный человѣкъ Руссо, но реальный дикарь, который *говоритъ* такъ или иначе, хотя *первобытнаго* языка уже не существуетъ. Де Броссъ отмѣчаетъ тѣ различія въ произношеніи языковъ, которыя происходятъ, по его мнѣнію, отъ измѣненія органовъ рѣчи подъ вліяніемъ климатическихъ условій. „Разности сіи укрываются отъ анатоміи, но легко могутъ быть примѣчены въ орудіяхъ слова, если выикнемъ, какія изъ оныхъ чаще употребляетъ каждый народъ въ словахъ языка своего, и какимъ образомъ употребляетъ ихъ. Черезъ то увидимъ, что у Готтентота нижняя часть гортани, а у Англичанъ оконечность зубъ одарены величайшей дѣятельностью“ (I, 54). Изъ этихъ основныхъ положеній Де Броссъ дѣлаетъ свои выводы, въ родѣ того, „что всѣ буквы или возможные звуки голоса, коихъ число безконечно, по количеству небольшого въ нихъ различія могутъ быть доведены по разрядамъ подъ первоначальный органъ.

¹⁾ Пользуюсь русскимъ переводомъ Александра Никольскаго „Разсужденіе о механическомъ составѣ языковъ и физическихъ началахъ этимологін“ (изданіе Императорской Россійской академіи), 2 тома. СПб. 1821—1822.

оний образующій, что число сихъ органовъ, составляющихъ орудіе слова человѣческаго, есть весьма невелико“ и т. д. Самое понятіе „ономатопеи“ Де Броссъ беретъ въ широкомъ смыслѣ слова. „Первое и естественное движеніе человѣка есть склонность въ данномъ отъ него имени вещамъ подражать тому впечатлѣнію, какое дѣлаетъ сама вещь въ его чувствахъ. Такимъ образомъ, чрезъ отвлеченіе можно составить языкъ первобытный“. Однако, авторъ тутъ же вноситъ весьма важную поправку: такія слова, передающія индивидуальное впечатлѣніе, не могли бы составить общаго языка.

Это былъ бы языкъ, „коимъ бы никто и никогда не говорилъ, по крайней мѣрѣ, во всемъ его пространствѣ, хотя всякій человѣкъ имѣетъ въ себѣ первобытные онаго зародыши“ (I, 183). Изученіе дѣтской рѣчи убѣждаетъ Де Бросса въ томъ, что первыми словами ея являются „междометія, выражающія внутреннее ощущеніе; они суть вопль природы. Чрезъ нихъ начинаетъ младенецъ показывать, что имѣетъ способность чувствовать и говорить“. Такимъ образомъ, оказывается въ концѣ концовъ, что междометія „суть первыя слова языка первобытнаго“, и что они у всѣхъ народовъ одинаковы. Младенецъ, начиная съ простыхъ восклицаній, вскорѣ переходитъ къ междометіямъ, которыя „живописуютъ“ внѣшній міръ. Человѣкъ „налагаетъ имена своимъ ощущеніямъ и впечатлѣніямъ звукомъ своего голоса, и то не самопроизвольно, а по необходимому слѣдствію механическаго своего состава, и вслѣдствіе способности, дарованной ему природою, произносить звуки“. Въ частностяхъ теоріи Де Бросса, конечно, много совершенно произвольнаго, и его стремленіе видѣть повсюду слова звукоподражательныя или производныя отъ нихъ не оправдывается матеріаломъ, но впервые, насколько мнѣ извѣстно, эта теорія была поставлена на основанія болѣе научныя, чѣмъ у Лейбница и др., и въ понятіе звукоподражанія вошли и „крикъ природы“, и „живописаніе“ голосомъ произведеннаго впечатлѣнія; т. е. къ разряду звукоподражательныхъ элементовъ отнесены уже и восклицанія, сознательно воспроизводящія рефлекторный крикъ. Въ этомъ отношеніи Де-Броссъ является предшественникомъ нѣкоторыхъ ученыхъ 19 вѣка. Ссылки на факты, наблюдаемые у дикарей, оправдываетъ, я думаю, признаніе за этой теоріей извѣстныхъ антропологическихъ заслугъ, хотя, конечно, эти ссылки еще очень поверхностны.

Вопроса о происхожденіи языка касались и попутно, при изслѣдованіи грамматики и исторіи литературы, даже нравственныхъ вопросовъ и социологическихъ основаній общества. Не выходя пока за предѣлы французской философіи, я отмѣчу здѣсь, напр., взгляды Баттѣ, Де Боналя, Дю Марсе, Дежерандо. „Первый языкъ людей былъ языкъ прозы“, говорить аббатъ Баттѣ ¹⁾, подразумѣвая подъ этомъ терминомъ извѣстную

¹⁾ „Principes de la littérature, par M. l'abbé Batteux“. Nouvelle édition. T. V. (1800). 101.

хронологію литературныхъ видовъ. „Сначала люди довольствовались той помощью, которую оказывалъ языкъ, устанавливая взаимобмѣнъ чувствами и мыслями. Когда языкъ въ достаточной мѣрѣ утвердился въ своихъ принципахъ и достаточно обогатился словами и оборотами, чтобы сдѣлаться болѣе изящнымъ (*pour reservoir des graces*), люди замѣтили, что между различными ораторами были такіе, которые, хотя и не говорили ничего лучшаго, были болѣе понятны, болѣе трогательны и, вслѣдствіе этого болѣе убѣдительны, чѣмъ другіе. *Произведя анализъ*, люди нашли, что часть тайны ихъ успѣха заключалась въ декламациі, въ мелодіи, въ гармоніи и въ такомъ распредѣленіи періодовъ (*dans la distribution des espaces et des repos*), при которомъ слушатель внималъ безъ утомленія и скуки“. Какъ все это могло произойти, надъ этимъ, повидимому, аббатъ Баттѣ не задумывался. Къ психологическимъ основаніямъ вернулся въ концѣ вѣка Де Бональ ¹⁾, который, однако, сдѣлалъ изъ нихъ выводы въ духѣ своего чисто средневѣковаго научнаго міровоззрѣнія. „Мы не можемъ начертить во внѣ фигуру какого-нибудь тѣла жестомъ или рисункомъ, если въ насъ самихъ нѣтъ соотвѣтствующаго представленія или образа, ибо образъ есть внутренняя фигура, и фигура есть образъ, получившій внѣшнее выраженіе. И точно также мы не можемъ произнести (*émettre*) какое-нибудь слово или фиксировать его на письмѣ, если въ насъ самихъ нѣтъ внутренняго произношенія. Такимъ образомъ, мыслить есть говорить самому съ собой *внутреннимъ словомъ* (слѣдовательно, Де Бональ уже имѣетъ представленіе о внутренней рѣчи), а говорить значитъ мыслить громко и въ присутствіи другихъ. Слѣдовательно, можно признать за общую истину, что *необходимо* имѣть выраженіе своей мысли, чтобы имѣть возможность выражать свою мысль, или, какъ я выразился въ другомъ мѣстѣ, человѣкъ мыслить свое слово, прежде чѣмъ высказать свою мысль“. Отсюда Де Бональ дѣлаетъ весьма поспѣшный выводъ: „Такимъ образомъ, слово не есть изобрѣтеніе человѣка, такъ какъ онъ не можетъ имѣть даже мысли объ изобрѣтеніи безъ слова, которое выражаетъ эту мысль“.

„Но смѣхъ и слезы, которыми мы выражаемъ наши чувства, истинныя или ложныя, наши чувства удовольствія или страданія, являются прирощенными знаками (*des signes natifs*), въ то время, какъ слово и даже жестъ оказываются выраженіями, прирощенными, *adventitiae*. Но и они натуральны, т. е. соотвѣтствуютъ натурѣ существа, ибо нѣтъ ничего болѣе натурального для существа, которое можетъ прирощать, чѣмъ прирощенное состояніе, и совершенствованіе есть наиболѣе естественное

¹⁾ *Legislation primitive, considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison*, par L. G. A. De-Bonald. 2 тома. 1802. (приведенное мѣсто I, 241 и дал.).

состояніе существа, одареннаго способностью совершенствоваться“. Такимъ образомъ, согласно Де Боналю, слово не можетъ быть „изобрѣтеніемъ человѣка“, потому что для изобрѣтенія необходимо сознаніе надобности этого изобрѣтенія, а такое сознаніе можетъ явиться лишь въ результатѣ употребленія слова. Въ эпоху, когда писалъ это французскій мыслитель, подобное возраженіе могло показаться не лишнимъ основательности въ виду теоріи договорнаго происхожденія языка, высказывавшейся, какъ мы видѣли, нѣкоторыми. Но въ наше время, конечно, возраженія Де Боналя совершенно не выдерживаютъ критики: слово — продуктъ длительного, безсознательнаго развитія существа стаднаго или семейнаго, продуктъ развитія не одного человѣка, но среды.

На этомъ покончу съ Де Боналемъ. Объ энциклопедистѣ Дю Марсѣ ¹⁾, горячемъ проповѣдникѣ новыхъ разумныхъ методовъ въ преподаваніи роднаго и латинскаго языка дѣтямъ, я упомяну лишь вскользь, потому что, если я не ошибаюсь, специальныхъ работъ о происхожденіи языка у него нѣтъ. Въ своей „*Exposition d'une méthode raisonnée pour apprendre la langue latine*“ (*Oeuvres*, t. I), отчасти и въ другихъ сочиненіяхъ онъ касается вопросовъ объ отношеніи мысли къ слову, „*la mécanique de la parole*“. И если я здѣсь упоминаю это имя, то дѣлаю это потому, что современники этого энциклопедиста-педагога среди людей, разрѣшившихъ вопросъ о происхожденіи языка, помѣщали и Дю Марсѣ. Дѣйствительно, въ его многочисленныхъ опытахъ разумной грамматики ссылки на психологическое основаніе языка очень обычны, такъ что его можно было отнести къ числу ученыхъ, имѣвшихъ въ виду въ разсматриваемомъ нами вопросѣ психологическое разрѣшеніе проблемы. Уже къ концу 18-го и къ началу 19-го вѣка относятся извѣстный историкъ философскихъ системъ, Дежерандо, который въ своемъ трактатѣ „*Des signes et de l'art de penser, considérés dans leurs rapports mutuels*“ (1800) и въ первомъ томѣ „Сравнительной исторіи философскихъ системъ въ отношеніи принциповъ человѣческихъ познаній“ (первое изд. 1804) предложилъ и свое разрѣшеніе вопроса, который такъ глубоко взволновалъ философію умы 18 вѣка ²⁾. Толкованіе Дежерандо чрезвычайно замѣчательно: онъ стоитъ уже всецѣло на психологической точкѣ зрѣнія и изучаетъ отношеніе психологін дѣтей и глухонѣмыхъ къ вопросу о происхожденіи языка. Удѣляетъ онъ вниманіе и психологін дикарей, т. е. беретъ вопросъ почти въ современномъ его объемѣ, и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ (напр., въ установленіи параллели между развитіемъ языка и мысли) Дежерандо является уже отчасти предшественникомъ В. Гумбольдта. „Край-

¹⁾ *Oeuvres de Du Marsais*. 1797. Paris.

²⁾ Я пользуюсь здѣсь, за невозможностью достать первый трактатъ, *Dejerando. Histoire comparée des systèmes de philosophie*, t. I (2-е изд.) 1822, гдѣ изложено содержаніе и перваго трактата.

нее несовершенство нарѣчій дикарей, говорить онъ (I. 216), указывает на то, какъ мало успѣховъ они сдѣлали въ умственной дѣятельности; въ свою очередь, это несовершенство дѣлается непреодолимымъ препятствіемъ, которое мѣшаетъ имъ подняться до отвлеченныхъ понятій и упражнять свои мыслительныя способности. Однако, иногда эти нарѣчія предполагаютъ со стороны тѣхъ, которые ихъ создали, такой строй мыслей, такое усиленіе разумѣнія, которые вызываютъ нѣкоторое удивленіе, особенно, если принять въ расчетъ, что тѣ, кто употребляетъ эти нарѣчія, оказываются неспособны что-нибудь прибавить къ нимъ, даже въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній“. Это наблюденіе приводитъ Дежерандо къ слишкомъ поспѣшному выводу, что, если не угодно предположить въ современныхъ дикаряхъ вырожденіе первоначально болѣе культурныхъ народовъ, то слѣдуетъ думать, „что они имѣли при своемъ возникновеніи въ качествѣ руководителей нѣсколько человѣкъ, превосходившихъ всѣхъ тѣхъ, изъ кого эти народы состоятъ теперь, и даже одаренныхъ своего рода гениемъ“. Безпристрастный анализъ языковъ дикарей, который даетъ современная наука, не позволяетъ, какъ мы видѣли уже, дѣлать подобныя обобщенія и заключенія, обнаруживая, напротивъ, большую беспомощность мысли въ грамматическихъ и лексикальных образованияхъ дикарскихъ языковъ. Отъ дикарей Дежерандо переходитъ къ психологіи глухонѣмыхъ. „Какъ дикари, они не слишкомъ высоко поднимаются надъ уровнемъ *чувственныхъ образовъ* (au-dessus de la région des images sensibles); и тѣ, и другіе дѣлаютъ болѣе или менѣе многочисленныя наблюденія, удерживаютъ въ памяти болѣе или менѣе значительную массу наблюденныхъ фактовъ, предполагаютъ болѣе или менѣе большое число фактовъ, отдаленныхъ (прошлыхъ) или будущихъ, съ помощью движенія воображенія или вслѣдствіе привычекъ, которыя образовала наслѣдственность (la succession). *Но ни тѣ, ни другіе не связываютъ событій между собою логической цѣлью; ни тѣ, ни другіе не испытуютъ собственного разума*“. Какъ видимъ, эта точка зрѣнія уже приближается къ современной. И въ методологическомъ отношеніи Дежерандо почти намъ современникъ, такъ какъ онъ черпаетъ свои данныя изъ изслѣдованій антропологовъ о некультурныхъ племенахъ и изъ психологіи. Въ результатѣ весьма интересныхъ соображеній, которыя я не могу здѣсь приводить, онъ приходитъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: „Первое изобрѣтеніе языка представляетъ явленіе, которое обыкновенно вызываетъ чрезвычайное смущеніе и удивленіе: иногда даже большіе умы приходятъ въ сомнѣніе, могло-ли быть это изобрѣтеніе дѣломъ человѣка. Между тѣмъ, разсужденіе (combinaison), которое разрѣшаетъ этотъ вопросъ, такъ же просто, какъ и естественно; наблюдая дѣтей, мы бываемъ каждый день свидѣтелями явленія, которое по своей природѣ совершенно тождественно, и которое объясняется такъ же точно. Ребенку для того, чтобы усвоить

первые зародыши родного языка, глухонѣмому для того, чтобы достигнуть употребленія нашихъ условныхъ знаковъ, нуженъ рядъ умственныхъ операцій, аналогичныхъ тѣмъ, которыя могли послужить къ изобрѣтенію этихъ знаковъ, и дѣйствительно, они (дѣти и глухонѣмые) ихъ изобрѣтаютъ (inventent), хотя и съ посторонней помощью. (I. 228)“. Болѣе удивительнымъ Дежерандо представляется изобрѣтеніе грамматическихъ формъ, такъ какъ онѣ являются „извѣстнаго рода отраженіемъ (снимкомъ) весьма тонкой метафизики“. Въ другомъ мѣстѣ (I. 287) Дежерандо подробнѣе останавливается на томъ, что роднитъ первоначальную дѣтскую рѣчь съ изобрѣтеніемъ языка. Конечно, дитя усваиваетъ свои слова отъ матери, которой достаточно указать на вещь и назвать ее. „Но какъ дитя понимаетъ намѣреніе, которое руководило матерью, когда она показывала ему предметъ? Вотъ что ни одно слово, никакой языкъ не объяснить ему, вотъ что онъ долженъ найти въ себѣ самомъ, и что заключаетъ въ себѣ разрѣшеніе проблемы“. Я надѣюсь, что въ главѣ, посвященной дѣтской рѣчи, я достаточно подробно освѣтилъ вопросы, возбуждавшіе недоумѣнія въ ученюмъ 18 вѣка, но уже изъ этихъ недоумѣній видно, какъ тщательно и глубоко философія эпохи Просвѣщенія и энциклопедистовъ изучала вопросъ о происхожденіи языка. Дежерандо (I. 194) ссылается уже на обширную литературу, посвященную этому вопросу. На немъ я закончу перечисленіе французскихъ ученыхъ 18 вѣка, разрѣшавшихъ проблему возникновенія человѣческой рѣчи, и обращусь къ англичанамъ.

О сочиненіи Гарриса я уже упоминалъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1759 году, появилось изслѣдованіе знаменитаго основателя политической экономіи, Адама Смита: „Соображенія о происхожденіи и формации языковъ“¹⁾, которыя, однако, въ этой области не представляютъ ничего замѣчательнаго. Адамъ Смитъ просто повторяетъ уже извѣстную намъ гипотезу о томъ, что первоначальныя слова были „собственными названіями“ для обозначенія отдѣльныхъ предметовъ. „Два дикаря, которые, будучи вскормлены (nourris) внѣ всякаго общенія съ другими людьми, никогда не научились говорить, приступили бы, конечно, къ образованію языка, съ помощью котораго они могли бы взаимно сообщать другъ другу свои нужды, произнося извѣстные звуки, когда они хотѣли бы означать извѣстные предметы. Они дали бы отдѣльныя названія сначала такимъ предметамъ, которые были бы имъ особенно знакомы, и о которыхъ имъ нужно было бы особенно часто говорить: этой пещерѣ, которая служила имъ убѣжищемъ противъ суровости климата, этому дереву, плоды котораго удовлетворили ихъ голодь, этому источнику, вода котораго облегчила

¹⁾ Пользуюсь здѣсь французскимъ переводомъ Кондорсе, приложеннымъ къ изданію „Théorie des sentimens moraux“, t. II, 1798.

ихъ жажду. Они и были бы названы сначала этими дикарями: *пещера, дерево, источникъ* или получили бы такія наименованія, которыя они сочли бы наиболѣе удобными на своемъ первобытномъ нарѣчій. Какъ видимъ, эта теорія не представляла ничего новаго уже въ то время, когда она появилась: она заимствована просто у Руссо (ср. стр. 399), на котораго и ссылается Адамъ Смитъ, однако лишена его тонкости указаній и психологической наблюдательности. Ничего новаго не представляетъ взглядъ и другого англичанина, лорда Монбоддо¹⁾, который сводился къ слѣдующимъ положеніямъ: „Языкъ создается на социальной почвѣ. Его первоначальные элементы таковы: 1. крики или междометія, 2. подражаніе естественнымъ шумамъ, откуда возникаетъ звукоподражаніе, ономаопоэя, на почвѣ которой прививается условное соглашеніе принимать извѣстный звукъ за знакъ идеи“. Эти положенія представляли въ эту пору уже ходячую монету, которая была отчеканена и пущена въ оборотъ французскими мыслителями. Опять-таки къ Божественному внушенію сводятся тѣ положенія, которыя высказалъ по этому предмету шотландскій ученый, профессоръ Эдинбургскаго университета, Блеръ, въ своемъ сочиненіи „*Lectures on rhetoric and belles lettres*“ (1783). Эти лекціи вышли въ 1797 году въ Парижѣ во французскомъ переводѣ, изъ котораго, въ свою очередь, воспитанники Университетскаго Благороднаго пансіона, кн. Г. Гагаринъ и П. Лихачевъ, сдѣлали русское извлеченіе: „О началѣ и постепенномъ приращеніи языка и изобрѣтеніи письма“ (Москва. 1799). Въ настоящемъ изложеніи я воспользуюсь этимъ русскимъ переводомъ.

Сочиненіе Блера интересно тѣмъ, что оно базируется на матеріалѣ, широко использованномъ уже предшествующими изслѣдователями, но приходится къ инымъ выводамъ. И здѣсь прежде всего разсматривается проблема первобытнаго общества. „Люди были разбѣяны и вели жизнь кочевую. Если существовали общества, то они ограничивались тѣснымъ только кругомъ семействъ, и то у народовъ ловчихъ и пастырей, т. е. у народовъ, промышлявшихъ охотою и скотоводствомъ. Поелику необходимою принуждаемы они были безпрестанно разлучаться другъ съ другомъ, то слѣдуетъ непремѣнно заключить, что семейственное общество было весьма несовершенно²⁾. Какъ же могли они согласиться ввести общіе звуки или слова для взаимнаго сообщенія своихъ мыслей? Положимъ, что небольшое число сихъ дикихъ, соединенныхъ нуждою или случаемъ, условились принять нѣкоторые звуки или знаки. Но спрашивается, какая власть могла ввести сіи знаки къ другимъ семействамъ или поколѣніямъ, одержать тамъ верхъ и достигнуть, наконецъ, до того, чтобы составить языкъ? Кажется, что для утвержденія и распространенія языка надобно

¹⁾ A dissertation on the origin and progress of language. 1774.

²⁾ Совершенно справедливое замѣчаніе, подтверждаемое современной этнологіей (ср. стр. 286—287).

было сперва, чтобы люди соединились въ великомъ множествѣ и чтобы они достигли уже извѣстной степени гражданского совершенства. Но, съ другой стороны, кажется также, что языкъ необходимо нуженъ былъ къ составленію общества: ибо какъ бы множество людей могло утвердиться въ одномъ мѣстѣ и содѣйствовать общей пользѣ, если бѣ они не были въ состояніи изяснить другъ другу свои нужды и свои намѣренія? Слѣдовательно, равно трудно, кажется, изяснить, какъ общество могло составиться прежде языка, или какъ прежде составленія общества слова могли произвестъ языкъ. Если жъ разсмотрѣть еще удивительное сходство всѣхъ почти языковъ, то затрудненія представляются въ толь великомъ множествѣ, что не безъ причины можно приписать образованіе языка Божескому наставленію или вдохновенію. Такой выводъ былъ, собственно, отказомъ отъ рѣшенія проблемы, такъ какъ объяснял происхожденіе языка сверхъестественными, непонятными человѣческому уму причинами. Послѣ тѣхъ объективныхъ доказательствъ, основанныхъ на психологіи и антропологіи, которыя были представлены французскими учеными различныхъ направленій, отъ Руссо до конца 18 вѣка, представляются просто удивительными утвержденія Блера, будто крупные человѣческіе агрегаты не могутъ существовать безъ языка, разъ существуютъ стада животныхъ¹⁾, и будто бы всѣ языки сходны между собой. Въ оправданіе Блеру надо только сказать, что онъ не былъ одинокъ: въ томъ же духѣ высказывался, какъ увидимъ ниже, нѣмецъ Гаманъ, къ такому же рѣшенію склонялся Де Бональ, и еще въ 19 вѣкѣ нашлись приверженцы теоріи божественнаго происхожденія языка (см. Giesswein. 141—142). Самый процессъ „внушенія“ Блеръ представляетъ „самымъ вѣроятнымъ образомъ“ въ такомъ видѣ: „Богъ сперва научилъ нашихъ Праотцевъ языку столько, сколько нужно имъ было въ тогдашнемъ ихъ положеніи, и касательно сего предмета, равно какъ и всѣхъ другихъ, представилъ онъ имъ самимъ трудъ распространять его и приводить въ совершенство, по мѣрѣ какъ требовали того ихъ нужды. Итакъ первый языкъ долженствовалъ быть весьма ограниченъ“. Разумѣется, спорить противъ такого пониманія не весьма ограниченъ. Разумѣется, спорить противъ такого пониманія не весьма возможно, такъ какъ мы выходимъ здѣсь за предѣлы познаваемаго. Если авторъ *вспрять* въ то, что Богъ далъ людямъ такой-то языкъ, то какъ же съ нимъ спорить: можно только самому или вѣрить, или не вѣрить.

Въ нѣмецкой наукѣ 18 вѣка вопросъ о происхожденіи языка сдѣлался предметомъ особенно тщательнаго изученія съ 1772 года, когда появились изслѣдованія Гердера и Тидемана. Съ нихъ я начну обзоръ нѣмецкой литературы по этому вопросу. Въ 1769 году Берлинская Академія объявила на слѣдующій годъ тему для сочиненія на премію: „Могутъ ли

¹⁾ Слѣдуетъ еще отмѣтить, что уже Руссо указывалъ на такое однообразіе потребностей въ первобытномъ обществѣ, при которомъ сообщеніе мыслей вовсе не необходимо.

люди, будучи предоставлены своимъ прирожденнымъ способностямъ, создать языкъ?“ Гердеръ уже съ 1764 года заинтересовался вопросомъ о происхожденіи языка, письма и грамматики, и планъ такой работы сохранился среди самыхъ старыхъ рукописей его. Онъ не переставалъ думать о ней и набрасывать свои мысли на бумагу. Сохранились замѣтки, относящіяся къ 1767 и 68 годамъ, при чемъ уже тогда Гердеръ высказывалъ убѣжденіе относительно человѣческаго происхожденія рѣчи. Еще въ 1756 году въ Берлинской академіи Зюсмилхъ прочелъ докладъ: „Доказательство божественности языка“. Лишь спустя десять лѣтъ, этотъ докладъ появился въ печати, и у Гердера явилось желаніе „сказать по этому поводу нѣсколько словъ публично“. Поэтому, когда Академія объявила свою тему, то Гердеръ энергично принялся за работу, и къ 1 января 1771 года рукопись была представлена на конкурсъ, а 6 июня увѣнчана преміей. Первое изданіе этого трактата вышло въ 1772 году, второе, „исправленное“, въ 1789¹⁾. Взгляды Гердера базируются на томъ, что, „еще будучи животнымъ, человѣкъ уже имѣлъ языкъ“. Это первая фраза его книги, достаточно обнаруживающая его отправной пунктъ. Источникъ человѣческаго языка—инстинктивный крикъ, издаваемый животнымъ подъ вліяніемъ ощущеній. „Страдающій звѣрь такъ же, какъ герой Филоктеть, одержимый болѣю, будетъ визжать и стонать, если даже оставить его на безлюдномъ островѣ, безъ наличности человѣка, безъ всякаго слѣда кого бы то ни было, безъ всякой надежды на помощь близкаго существа“. Такъ и струна дрожитъ и звенитъ, потому что „исполняетъ свою естественную обязанность“. Но эта струна, не сознавая этого, встрѣчаетъ въ нашей душѣ откликъ. „Въ эти струны природа заключила звуки, которые, будучи вызваны и возбуждены, въ свою очередь возбуждаютъ другія существа, одинаково нѣжно устроенныя, и могутъ, словно по какой-то невидимой цѣпи, передать искру какому-нибудь далекому сердцу, чтобы оно посочувствовало этому невидимому существу. *Эти вздохи, эти звуки—языкъ: есть такимъ образомъ языкъ ощущенія, непосредственно данный законъ природы.* Тотъ фактъ, что человѣкъ имѣлъ его первоначально наравнѣ съ животными, доказывается теперь, конечно, скорѣе извѣстными остатками, нежели полными формами (volle Ausbrüche), но эти остатки неопровержимы“. Заключаются они въ томъ пониманіи, которое устанавливается между человѣкомъ и животнымъ при долгомъ сожитіи. Эти естественные звуки, продуктъ природы, чрезвычайно просты, не поддаются артикуляціи и расчлененію на буквы. Если же эти звуки передавать на письмѣ, то „самыя противоположныя ощущенія получаютъ почти одинаковое выраженіе. Вялое *ахъ* (das matte Ach) является столько же звукомъ все расплавляющей любви, какъ и глубокаго отчаянія; пламенное *о!* выражаетъ и взрывъ

¹⁾ Пользуюсь здѣсь изданіемъ: Herders Sämmtliche Werke. Herausgegeben von Bernhard Suphan. V Band. 1891.

неожиданной радости, и надвигающейся ярости, и возрастающаго восхищенія, и прилива тоски. Но тѣ ли это звуки, которые являюся на бумагѣ въ видѣ междометій? Слеза, которая наполняетъ этотъ печальный, погасшій, жаждущій утѣшенія глазъ,—какъ трогательна она въ цѣльномъ образѣ лица скорби. Но возьмите ее самое по себѣ, и это будетъ холодная капля воды! Положите ее подъ стекло микроскопа, и я не хочу и знать, чѣмъ она окажется!“ Въ томъ же сентиментальномъ духѣ Гердеръ продолжаетъ свои разсужденія, доказывая, что „во всѣхъ первоначальныхъ языкахъ еще слышатся остатки этихъ звуковъ природы; но, правда, это не главные нити человѣческаго языка. Это не настоящіе корни, но соки, которыми питаются корни языка“. Гердеръ ссылается на „дикіе языки“, которые отличаются именно обиліемъ восклицаній. „Для меня еще не существуетъ ни одного слова, но только звуки для выраженія чувства (nur Töne zum Wort einer Empfindung), но посмотрите! въ названныхъ языкахъ, въ ихъ междометіяхъ, въ корняхъ ихъ Nominum и Verborum сколько сохранилось остатковъ этихъ звуковъ!“ Въ языкахъ вовсе не „какія-нибудь двадцать буквъ“, къ которымъ восходятъ слова всѣхъ извѣстныхъ намъ языковъ (чѣмъ восхищался Зюсмилхъ, защитникъ божественнаго происхожденія языка), но чрезвычайно много звуковъ въ зависимости отъ разнообразія артикуляціи. „Чѣмъ болѣе жизненности въ языкѣ, чѣмъ менѣе думали о томъ, чтобы замкнуть его въ буквы, чѣмъ примитивнѣе онъ восходитъ къ полнымъ, не обособленнымъ звукамъ природы,—тѣмъ менѣе такой языкъ пригоденъ для письменности, тѣмъ менѣе его можно изобразить съ помощью двадцати буквъ, а для чужеземцевъ онъ часто оказывается совершенно произносимымъ“. Разсмотрѣніе довольно значительной этнографической литературы, затронувшей этотъ вопросъ о несоответствіи написаній произношеніямъ, заставляетъ Гердера съ особенной силой подтвердить свое первоначальное положеніе, что „языкъ имѣетъ не божественное, но, напротивъ, звѣриное происхожденіе“. Инстинктивные крики и понимаются нашимъ сердцемъ непосредственно, вызывая въ немъ сочувствіе и состраданіе. Обращаясь опять къ этнографической литературѣ, Гердеръ приводитъ изъ сочиненій нѣкоторыхъ изслѣдователей дикарей данныя, указывающія на то, какъ были понятны и трогательны европейцамъ звуки, въ которыхъ эти дикари изливали свои чувства. „Происхожденіе ихъ никоимъ образомъ не представляется сверхчеловѣческимъ (übermenschlich); напротивъ, оно оказывается несомнѣнно животнымъ. Это естественный законъ чувствующей машины“. Но отсюда, по мнѣнію Гердера, еще далеко до человѣческаго языка. Онъ рѣзко polemизуруетъ съ тѣми, кто „выводитъ изъ этого крика ощущеній (aus diesem Geschrei der Empfindungen) происхожденіе человѣческаго языка: ибо развѣ не очевидно, что это нѣчто совсѣмъ другое? Вѣдь, всѣ звѣри, до самой нѣмой рыбы, выражаютъ въ звукахъ (tönen) свои ощу-

щенія, а между тѣмъ ни одно изъ животныхъ, даже совершеннѣйшее, не знаетъ ни малѣйшихъ дѣйствительныхъ начатковъ человѣческой рѣчи. „Образуйте, совершенствуйте и организуйте этотъ крикъ, сколько угодно; но если не будетъ разума для того, чтобы использовать этотъ звукъ цѣлесообразно, то не вижу, какимъ образомъ образуется человѣческой, произвольный языкъ“ (Herder. 17—18). Противъ Кондильяка Гердеръ выступаетъ съ возраженіемъ, что „двое дѣтей“, на которыхъ французскій ученый строить свою гипотезу, никакъ не могутъ сразу вступить между собой въ духовное общеніе и усвоить цѣли и средства рѣчи. Съ Руссо онъ также не согласенъ: по мнѣнію Гердера, изъ естественнаго крика (Geschrei der Natur) не могъ бы образоваться человѣческой языкъ, и онъ даже удивляется, какъ при всей своей проникательности Руссо впалъ въ такую ошибку. Эти точки зрѣнія не удовлетворяютъ нѣмецкаго ученаго, и онъ спрашиваетъ: „Такъ какъ люди являются для насъ единственными говорящими существами (Sprachgeschöpfe), которыя намъ извѣстны, и такъ какъ именно языкомъ они отличаются отъ всѣхъ звѣрей, то съ чего надежнее можно начать путь изслѣдованія, какъ не съ наблюдений относительно различія между животными и людьми?“ Какъ мы видимъ изъ предыдущаго обзора литературы о происхожденіи языка, этотъ вопросъ съ точки зрѣнія методологической представлялъ шагъ впередъ.

Однако, Гердеръ впалъ въ большое заблужденіе, утверждая, будто бы въ отличіе отъ животныхъ у человѣка инстинкты слабы и неточны, что у него совершенно отсутствуетъ то, что „мы называемъ у столь многихъ животныхъ породъ прирожденными художественными инстинктами и влеченіями“. Какъ извѣстно (напр., хорошо это развито въ „Лекціяхъ о душѣ человѣка и животныхъ“ Вундта), человѣкъ нисколько не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ животное, одаренъ инстинктомъ. Впрочемъ, это положеніе не играетъ особенно значительной рѣчи въ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ Гердера, тѣмъ болѣе, что о природѣ инстинкта у животныхъ онъ высказываетъ опять-таки неправильныя сужденія, слишкомъ суживая кругъ душевной дѣятельности высшихъ животныхъ. „Чѣмъ уже сфера дѣятельности животныхъ, тѣмъ менѣе они нуждаются въ языкѣ. Чѣмъ острѣе ихъ чувства, чѣмъ болѣе ихъ стремленія направлены на одно, чѣмъ болѣе могучи ихъ влеченія, тѣмъ болѣе ограниченъ кругъ ихъ взаимопониманія, сводящійся къ нѣсколькимъ звукамъ, знакамъ, выраженіямъ. Это живой механизмъ, господствующій инстинктъ, который здѣсь говоритъ и понимаетъ. Какъ мало надо ему сказать, чтобы быть понятымъ“. Психологія животныхъ, какъ мы знаемъ въ настоящее время, доказываетъ, что животныя понимаютъ другъ друга, въ предѣлахъ одного вида или рода, инстинктивно, и что они „говорятъ“ не для того, чтобы быть понятыми, но для того, чтобы инстинктивно излить свои чувства въ звукахъ. Такимъ образомъ, курица, завидѣвъ ястреба, не потому кудахчетъ, что хочетъ привлечь къ

себѣ пылать, но потому, что она испугана. Поэтому, если уже говорить объ аналогіи между звѣриной и человѣческой „рѣчью“, то эту проблему надо разрѣшить скорѣе въ духѣ „le cri de la nature“ Руссо, чѣмъ въ духѣ „Einverständnis ihrer etwannigen Schälle, Zeichen, Aeusserungen“ Гердера. А между тѣмъ этотъ послѣдній на задаваемый имъ себѣ вопросъ: „Какимъ языкомъ (кромѣ прежняго механическаго) человѣкъ владѣетъ такъ же инстинктивно, какъ всякій видъ животныхъ владѣетъ своимъ въ своей сферѣ и согласно своей сферѣ?“ отвѣчаетъ рѣшительнымъ отрицаніемъ: „никакимъ!“ Съ большимъ самодовольствіемъ Гердеръ прибавляетъ къ этому: „Именно этотъ короткій отвѣтъ рѣшаетъ дѣло“. Дѣйствительно, продолжаетъ онъ, „у всякаго животнаго его языкъ является выраженіемъ столь сильныхъ чувственныхъ представленій, что эти послѣднія становятся влеченіями: такимъ образомъ, языкъ, какъ и чувства, и представленія, и влеченія, прирождены и оказываются даны животными непосредственно отъ природы. Пчела жужжитъ, собирая медъ, птица поетъ, свивая себѣ гнѣздо, но *что говоритъ человѣкъ отъ природы?* Ровно ничего, такъ же, какъ онъ дѣлаетъ мало или даже ничего не дѣлаетъ, какъ животное, всецѣло по велѣнію инстинкта“. Сравнивать жужжаніе пчелы или птичье пѣніе съ рѣчью *говорящаго* человѣка представляло даже во времена Гердера непростительное смѣшеніе понятій. Вѣдь онъ долженъ былъ говорить не о современномъ языкѣ, а о *происхожденіи* языка, т. е. о такихъ языковыхъ явленіяхъ, которыя *могли* быть ближе къ животной инстинктивной „рѣчи“, чѣмъ къ нашему теперешнему языку! Но Гердеръ, повидимому, совсѣмъ не замѣтилъ внутренняго противорѣчія своихъ возраженій противъ теоріи Руссо. Вполнѣ справедливо доказывая, что въ человѣческомъ языкѣ должно быть нѣчто прибавочное къ „крику природы“, Гердеръ упускаетъ изъ виду, что, кромѣ человѣческаго прибавочнаго, въ языкѣ можетъ скрываться и нѣчто инстинктивное, дочеловѣческое. „Въ человѣкѣ, говоритъ Гердеръ, должны дремать инныя скрытыя силы“. Но не могутъ же характерную особенность человѣческаго рода составлять пробѣлы и недостатки (Lücken und Mängel). „Иначе природа была бы для человѣка самой суровой мачихой, въ то время, какъ по отношенію къ каждому насѣкомому она была самой любящей матерью. Каждому насѣкомому она дала именно столько и именно то, что ему было нужно: чувства, чтобы имѣть представленія, превратившіяся во влеченія; органы для говоренія, поскольку это было нужно, и органы для пониманія этого языка. У человѣка же все обнаруживаетъ полное несоотвѣтствіе: чувства и потребности, силы и кругъ дѣятельности, который ждетъ его, его органы и языкъ. Слѣдовательно, у насъ должно не хватать какого-то промежуточнаго звена, чтобы уравнивать (berechnen) столь далеко разошедшіяся члены соотвѣтствія (die so abstehende Glieder der Verhältniss). Найдемъ же его: судя по аналогіи природы, это *возмъщеніе убытковъ* у человѣка состав-

ляет его особенность, характер его рода... Будемъ же искать въ этомъ характерѣ причину указанныхъ недостатковъ (инстинкта у человѣка), и именно въ серединѣ этихъ недостатковъ, въ аду этого великаго лишенія художественныхъ влеченій скрывается сѣмя замѣны ихъ. Въ этомъ признаніи заключается генетическое доказательство того, что здѣсь лежитъ истинное направление человѣчества, и что родъ человѣческой стоитъ не на одну или другую ступень выше животныхъ, но что онъ отличается отъ нихъ по существу. И въ этомъ вновь найденномъ характерѣ человѣчества мы найдемъ даже необходимое генетическое основаніе для возникновенія языка у этого новаго вида существъ, какъ въ инстинктахъ животныхъ мы нашли непосредственную причину языка, присущаго каждому виду. Этимъ мы достигли цѣли. Въ такомъ случаѣ языкъ такъ же является существенной особенностью человѣка, какъ—самъ онъ есть человѣкъ. Какъ видите, я строю свою теорію не на какихъ-нибудь произвольныхъ или общественныхъ силахъ, но на всеобщей животной экономіи“ (Herder. 26—27).

Итакъ, по ученію Гердера, различіе между человѣкомъ и животнымъ въ психическомъ отношеніи сводится къ тому, что человѣкъ обладаетъ совершенно иной психологіей, нежели животное; между ними пропасть: животное находится всецѣло во власти инстинкта, человѣкъ совершенно лишентъ инстинкта. Какъ мы уже знаемъ, оба эти положенія представляютъ крайность. Они невѣрны, а такъ какъ на нихъ основывается вся теорія Гердера, то и она не можетъ быть вѣрна. Впрочемъ, послѣдуемъ за ходомъ мыслей Гердера.

Инстинктъ представляетъ слѣбую дѣятельность, а „такъ какъ человѣкъ не падаетъ слѣпо и не остается слѣпымъ ни въ одномъ пунктѣ (своей дѣятельности), то онъ является свободнымъ существомъ (freistehend), можетъ искать сферу своего отраженія, можетъ самъ въ себѣ отражаться. Не будучи уже безошибочно дѣйствующей машиной въ рукахъ природы, онъ самъ себѣ становится цѣлью и задачей обработки. Назовите, какъ хотите, все это расположеніе его силъ: разумомъ, разсудкомъ, размышленіемъ или какъ-нибудь иначе. Если вы не будете прилагать эти названія къ какимъ-нибудь обособленнымъ силамъ или къ простымъ ступенямъ въ восхожденіи животныхъ способностей (силъ), то для меня это безразлично. Это есть совокупность всѣхъ человѣческихъ силъ; это есть система (die ganze Haushaltung) его чувственной и познавательной, его познавательной и волящей природы. Или лучше, это—единственная положительная сила мышленія, которая связана съ извѣстной организаціей тѣла и у человѣка называется разумомъ такъ же, какъ у животныхъ становится способностью къ художественной дѣятельности (Kunstfähigkeit),—которая у него называется свободой, а у животныхъ становится инстинктомъ. Различіе заключается не въ степеняхъ или въ прибавленіи силъ, но въ совершенно различномъ направленіи и развитіи всѣхъ силъ“. Такимъ образомъ че-

ловѣчество въ своей дѣятельности повинуетъ только разуму. Какія же слѣдствія для теоріи происхожденія языка вытекаютъ изъ этого положенія? Гердеръ формулируетъ ихъ въ слѣдующемъ заключеніи: „Когда человѣкъ пришелъ въ состояніе рефлексіи, которое ему свойственно, и когда эта рефлексія впервые стала дѣйствовать, человѣкъ изобрѣлъ языкъ. Ибо что такое рефлексія? Что такое языкъ? Эта рефлексія ему характеристически свойственна и представляетъ существенную особенность его рода; точно также свойственны языкъ и изобрѣтеніе языка. Такимъ образомъ, изобрѣтеніе языка для него такъ же естественно, какъ то, что онъ человѣкъ! Разовьемъ же теперь оба эти понятія: рефлексія и языкъ. Человѣкъ размышляетъ (beweiset Reflexion), когда сила его души дѣйствуетъ такъ свободно, что въ цѣломъ океанѣ ощущеній, бушующемъ во всѣхъ чувствахъ (его души), онъ можетъ выдѣлить, такъ сказать, одну волну, ее задержать, обратить на нее свое вниманіе и сознать, что онъ замѣтилъ ее. Онъ размышляетъ, когда среди цѣлаго роя образовъ, проносящихся въ его душѣ, онъ можетъ сосредоточиться для момента пробужденія, когда онъ можетъ добровольно задержаться на одномъ образѣ, окружить его яснымъ и болѣе спокойнымъ наблюденіемъ и обособить его признаки такъ, чтобы это былъ для него именно тотъ, а не какой-либо другой предметъ. Онъ размышляетъ такимъ образомъ не тогда, когда онъ можетъ только распознать живо и ярко всѣ свойства, но тогда, когда онъ можетъ признать одинъ или нѣсколько признаковъ за отличительныя свойства: первый актъ этого признанія даетъ отчетливое понятіе; это первое сужденіе души, и—какъ происходитъ это признаніе? Благодаря признаку, который онъ долженъ былъ отдѣлать, и который, какъ признакъ рефлексіи, отчетливо сохранился въ немъ (въ его сознаніи). И вотъ! Позвольте мнѣ воскликнуть: εὐρηκα! Этотъ первый признакъ рефлексіи былъ словомъ души! Вмѣстѣ съ нимъ былъ изобрѣтенъ человѣческой языкъ“¹⁾ (Herder. 34—35).

Итакъ, обособленіе одного признака изъ совокупности ихъ, данной въ созерцанія: таковъ былъ первый актъ рефлексіи, который выразился въ словѣ. Однако мы знаемъ, что психологія образа приводитъ къ инымъ выводамъ: обособленіе предмета изъ совокупности созерцанія и признака изъ совокупности признаковъ происходитъ, повидимому, уже у высшихъ животныхъ и въ словѣ не нуждается. Но признаніе (Erkennen) того или другого признака отличительнымъ, рефлексія (Besonnenheit, Reflexion) не могутъ происходить безъ сужденій, т. е. требуютъ для своего осуществленія участія рѣчи. Получается, слѣдовательно, логическій кругъ: для возникновенія языка необходимо мышленіе, а для мышленія необходимо существованіе языка. Вотъ какъ Гердеръ рисуетъ самый процессъ первоначальнаго

¹⁾ „Dies es Erste Merkmal der Besinnung war Wort der Seele! Mit ihm ist die Menschliche Sprache erfunden!“

названия. Первобытный человек видит ягненка. „Бѣлый, кроткій, покрытый шерстью; его (человѣка) душа, упражняющаяся въ рефлексію (seine besonnen sich übende Seele), ищетъ признака,—ягненокъ *блеетъ*: она нашла этотъ признакъ. Внутренній смыслъ проявляетъ свою дѣятельность. Это *блеяніе*, которое производитъ на душу человѣка самое сильное впечатлѣніе, которое оторвалось отъ всѣхъ другихъ свойствъ, данныхъ оглядываніемъ и ощупываніемъ, выдѣлилось впередъ, запечатлѣлось наиболѣе глубоко,—это блеяніе остается въ душѣ. Ягненокъ показывается опять, бѣлый, кроткій, покрытый шерстью,—душа видитъ его, ощупываетъ, мыслить (besinnet sich), ищетъ признакъ;—ягненокъ блеетъ, и вотъ она опять познаетъ его. „А, это ты, блеющий!“ испытываетъ она внутреннее чувство; она познала его *по человѣчески* (menschlich), такъ какъ она познала его отчетливо, т. е. познала и назвала по одному признаку“. Но что такое признакъ (Merkmal)? спрашиваетъ Гердеръ. Это не что иное, какъ внутреннее названіе признака (Merk-wort). Звукъ блеянія былъ воспринятъ человѣческой душой, какъ признакъ овцы, и сдѣлался, въ силу этой рефлексіи, *названіемъ* овцы, если бы даже его языкъ никогда не пытался произнести (stammeln) это названіе. Онъ познавалъ овцу по блеянію: оно являлось понятнымъ признакомъ, при воспріятіи котораго душа отчетливо мыслила объ известной идеѣ (die Seele an eine Idee deutlich besann). Что же иное есть слово? И что есть весь человѣчскій языкъ, какъ не собраніе такихъ словъ? И если бы даже человѣку никогда не пришлось передать эту идею другому существу, т. е. если бы даже онъ никогда не захотѣлъ и не могъ проблеять своими губами этотъ признакъ, данный ему рефлексіей (dies Merkmal der Besinnung), то все же его душа въ глубинѣ своей уже проблеяла, когда она избрала этотъ звукъ въ качествѣ памятнаго знака (zum Erinnerungszeichen), и опять она проблеяла, когда она познала овцу по звуку... Языкъ найденъ! Такъ же естественно и внутренне необходимо для человѣка, какъ то, что человѣкъ есть человѣкъ!“ (Herder. 36—37).

Переводя это на языкъ современной психологіи, получимъ слѣдующія положенія: человекъ увидѣлъ овцу; онъ услышалъ ея блеяніе, и представленіе слуховое ассоціировалось у него съ образомъ зрительнымъ. Поэтому, при видѣ овцы человекъ вспоминаетъ объ ея блеяніи, или же по блеянію онъ узнаетъ овцу. Но вѣдь совершенно то же самое происходитъ и въ области ассоціацій у высшихъ животныхъ: лошадь, конечно, превосходно отличаетъ завываніе волка отъ собачьяго воя. Но значитель ли это, что волчій вой представляетъ ея „внутренне слово“, названіе ея для волка? „Если бы даже лошадь никогда не попробовала своими голосовыми средствами изобразить волчій вой“, скажемъ мы терминологіей Гердера: „все же фактъ ассоціаціи этого воя съ образомъ волка указывалъ бы на то, что для лошади вой сдѣлался признакомъ (Merk-mal) или

названіемъ признака (Merk wort) волка“. Если Гердеръ имѣетъ въ виду именно такое произвольное сочетаніе признаковъ, какимъ является ассоціація слуховыхъ и зрительныхъ образовъ, то вышеприведенное сужденіе должно быть признано правильнымъ. Если же его гипотетическій человекъ восклицаетъ при видѣ ягненка: „А, это ты—блеющий“, въ результатѣ *рефлексіи*, то въ какой формѣ, если не въ формѣ сужденій, можетъ совершиться этотъ процессъ размышленія? Но сужденіе, представляя расчлененіе содержанія сознанія, можетъ быть образовано только съ помощью языка. Далѣе, Гердеръ оставляетъ безъ вниманія самую важную сторону человѣческой рѣчи, ея соціальныи характеръ. Для человѣка уже говорящаго, дѣйствительно, безразлично, въ смыслѣ обладанія рѣчью, говорить онъ или нѣтъ: наличность внутренней рѣчи отъ этого не потерпитъ ущерба (не беру исключеній, въ родѣ долгаго принужденнаго молчанія человѣка, когда онъ *забываетъ* говорить). Но надо еще доказать, можетъ ли возникнуть и существовать внутреннее слово у человѣка, который (согласно Гердеру) никогда не дѣлалъ попытки создать моторный образъ слова, ограничиваясь слуховымъ; можетъ ли внѣ соціальной среды, внѣ необходимости взаимопониманія, внѣ постоянного общенія особи съ себѣ подобными возникнуть рѣчь? Гердеръ ведетъ путь происхожденія языка отъ внутреннего къ внѣшнему. Но онъ не устраняетъ возможности и обратнаго предположенія, что этотъ путь велъ отъ внѣшняго къ внутреннему, отъ бессознательнаго говоренія къ осмысленію слова. Во всякомъ случаѣ, пока не было доказано, что соціальная сторона рѣчи не представляетъ существеннаго значенія для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка, нельзя было, какъ это дѣлалъ Гердеръ, утверждать, что слово существовало у человѣка еще до происхожденія его. Такъ могъ говорить софистически Де Бональ, чтобы оправдать божественное происхожденіе языка, но вѣдь Гердеръ стоялъ на противоположной точкѣ зрѣнія, доказывая именно человѣческое начало языка.

Послѣ этого Гердеръ разсматриваетъ, какіе элементы природы должны были внушать человѣку его первые слова. Прежде всего, это различные звуки, издаваемые одушевленными и неодушевленными предметами. Но вѣдь не всѣ предметы издають звуки. Какъ получили свои названія именно такіе беззвучные предметы? Гердеръ формулируетъ свои взгляды на этотъ вопросъ въ слѣдующихъ двухъ положеніяхъ: „Такъ какъ всѣ чувства (Sinne) суть не что иное, какъ виды представленія (Vorstellungsarten) души, то она лишь имѣетъ отчетливыя представленія и, стало быть, признакъ, а съ признакомъ она имѣетъ и внутренній языкъ. Такъ какъ всѣ чувства (Sinne), особенно въ состояніи человѣческаго дѣтства, суть не что иное, какъ чувствованія (Gefühlsarten) души, а всякое чувствованіе, по закону ощущеній, присущему животной природѣ, вызываетъ *непосредственно свой звукъ*, то это чувствованіе только поднялось до отчетли-

вості признака; и такимъ образомъ готово слово для внѣшней рѣчи“ (Herder. 64). Значить, слова имѣютъ или звукоподражательное, или мѣстоименное эмоціональное происхождение. Въ этихъ положеніяхъ, какъ видимъ, не было ничего оригинальнаго. Но противъ предположенія, восходящаго уже къ классической традиціи, что первымъ языкомъ человѣческаго рода была пѣсня, Гердеръ возстаётъ по тѣмъ соображеніямъ, что „новосозданный человѣкъ со своими могучими инстинктами, со своими потребностями, со своими сильными ощущеніями, со своимъ почти всецѣло поглощеннымъ вниманіемъ и наконецъ со своимъ грубымъ горломъ“ никакъ не могъ дойти до того, чтобы „обезьяничать и подражать соловью, и пѣть съ его голоса пѣсню“ (Herder. 57). Такимъ образомъ, звукоподражаніе, накопленіе „звуковъ природы“ въ первобытномъ человѣческомъ словарѣ, Гердеръ понимаетъ не въ томъ смыслѣ, какъ нѣкоторые изъ его предшественниковъ. Что же касается пѣсни первобытнаго человѣка, то, даже не будучи подражаніемъ чему-либо, она все-таки могла при всѣхъ своихъ несовершенствахъ положить начало человѣческой рѣчи. По крайней мѣрѣ, Гердеръ ничѣмъ не опровергаетъ этого положенія. Зато совершенно справедливо онъ указываетъ на особенности словаря въ „дикихъ языкахъ“, на обиліе словъ для обозначенія нѣкоторыхъ предметовъ, на разницу въ говореніи у отдѣльныхъ классовъ и половъ (стр. 77). Въ вопросѣ о характерѣ первобытнаго словаря Гердеръ высказываетъ сужденія, которыя вытекаютъ изъ смѣшенія понятій отвлеченнаго значенія слова и „общаго“ (узуального, см. стр. 325) употребленія слова. Именно, онъ полагаетъ, что „человѣческой разумъ не можетъ существовать безъ абстракціи, а ни одна изъ абстракцій не можетъ возникнуть безъ слова, а потому языкъ у каждаго народа долженъ заключать въ себѣ и отвлеченныя слова“ (Herder. 82). Не уберется Гердеръ и отъ другого заблужденія, приписыванія человѣчеству въ созданіи словъ сознательнаго, намѣреннаго элемента. Такъ, напр., людямъ не хватало словъ, а между тѣмъ „выдумываніе на досугѣ изъ пустой головы было такъ трудно, вотъ они и брали подходящее слово, иногда развѣ измѣняя только придыханіе. Это былъ законъ бережливости, сначала весьма свойственный людямъ при ихъ взаимно проникающихъ другъ друга чувствахъ (bei ihren sich durchwebenden Gefühlen) и еще довольно удобный при ихъ болѣе сильномъ произношеніи словъ“ (ibid. 88).

Вторая часть изслѣдованія Гердера формулируетъ его взгляды на происхождение языка въ формѣ опредѣленія четырехъ естественныхъ законовъ, которыми управляется жизнь человѣческаго рода. „Человѣкъ есть свободомыслящее, дѣятельное существо, силы котораго находятся въ состояніи развитія; поэтому онъ является сознаніемъ говорящимъ (ein Geschöpf der Sprache).—Человѣкъ есть, по своему назначенію, стадное, общественное созданіе; поэтому дальнѣйшее развитіе рѣчи у него оказывается

естественнымъ, существеннымъ, необходимымъ явленіемъ.—Подобно тому, какъ весь человѣческой родъ не могъ остаться однимъ стадомъ, не могъ сохраниться и единый языкъ, этимъ и объясняется возникновеніе различныхъ національныхъ языковъ.—По всей вѣроятности, человѣческой родъ составлялъ одно прогрессивное цѣлое *единого* происхожденія и находился въ *единомъ* великомъ общеніи (Haushaltung): такъ же *цѣлое одно* составили и всѣ языки, и вмѣстѣ съ ними вся цѣпь образованія“. Таковы были выводы Гердера, которые представили важную страницу въ вопросѣ о происхожденіи языка, внесли въ нее психологическій методъ, устанавливая психологическое отличіе человѣка отъ животнаго, но критической мысли все-таки не могли удовлетворить, такъ какъ оставалось неясно, почему же человѣкъ использовалъ способность различенія предметовъ для созданія языка, а животное не могло этого сдѣлать. Противъ Гердера выступилъ и Цобель и Гаманнъ.

Первый изъ названныхъ ученыхъ издалъ въ 1779 году книгу: „Мысли о различныхъ взглядахъ на происхожденіе языка“¹⁾, гдѣ онъ удѣлилъ много вниманія и ученію Гердера. „Гердеръ утверждаетъ и доказываетъ, говоритъ Цобель, что человѣкъ можетъ въ своемъ представленіи отдѣлить части и свойства конкретнаго объекта отъ самаго объекта, воспринимать (anerkennen) ихъ независимо отъ него, вслѣдствіе естественнаго знакомства съ предметами и при новомъ представленіи одного признака вызывать въ своей памяти другіе. Мы же хотѣли бы знать, могли бы и, если да, то какимъ образомъ могъ бы человѣкъ самъ собой придти къ тому, чтобы связывать съ представленіями объектовъ, конкретныхъ или неконкретныхъ безразлично, произвольные знаки такъ, чтобы въ необходимыхъ случаяхъ онъ могъ сообщить объ этомъ другимъ людямъ съ помощью знаковъ? Какъ велика пропасть между вопросомъ и отвѣтомъ!“ Какъ мы видимъ, критика Цобеля устремлялась противъ самаго основанія теоріи Гердера, противъ его психологической гипотезы, согласно которой представленіе о свойствахъ и качествахъ, какъ признакахъ предмета, можетъ быть мыслимо безъ языка и предшествуетъ возникновенію человѣческой рѣчи. Воплотивъ справедливо Цобель распространяетъ теорію Гердера о процессахъ, совершавшихся въ сознаніи первобытнаго человѣка, когда онъ при видѣ овцы думалъ: „а, это ты, блеющая“, и на другихъ высшихъ животныхъ. Правда, Гердеръ ставилъ непроходимую стѣну между мірами животнымъ и человѣческимъ, приписывая первому только инстинктивную душевную жизнь и отрицая наличность этой послѣдней у человѣка; однако, доказательства Гердера въ этой области были малоубѣдительны, и естественно, что Цобель не былъ ими покоренъ. „Ахъ, это ты, блеющая“, гово-

¹⁾ Цитирую это сочиненіе по Штейнталю „Der Ursprung der Sprache im Zusammenhange mit den letzten Fragen alles Wissens“. 2. Auflag. 1858. стр. 31—33.

рилъ человѣкъ Гердера объ овцѣ. „Отлично! Такъ я докажу наличность языка и у собаки, заявляеть его антагонистъ. Собака получаетъ кормъ отъ хозяина; хозяинъ, желая накормить собаку, зоветъ ее къ себѣ по имени. Это имя представляетъ собою для собаки понятый знакъ. Собака слышитъ его и думаетъ: а, это дающій пищу“! Это замѣчаніе Цобеля мнѣ представляется весьма серьезнымъ. Конечно, этотъ ученый не достаточно взвѣсилъ то новое и плодотворное, что заключалось въ системѣ Гердера, но процессъ познанія міра человѣкомъ, процессъ, который предполагалъ этотъ послѣдній, ничѣмъ существеннымъ не отличался отъ того процесса, который можно предположить въ психической жизни высшихъ животныхъ, и потому, если ассоціація представленія о цѣломъ съ представленіемъ объ одномъ его признакѣ должна была привести еще до созданія языка къ „названію“ предмета, не произносимому еще, но уже какъ бы существующему потенциально въ сознаніи животнаго, то вѣдь совершенно тотъ же процессъ долженъ былъ или могъ происходить въ сознаніи собаки. Но вѣдь это еще не языкъ, и различіе образовъ по признакамъ не есть ихъ названіе. Именно это и отмѣтилъ Цобель въ своихъ возраженіяхъ.

Гамманъ, известный философъ эпохи нѣмецкаго Просвѣщенія, пользовавшійся въ свое время большой популярностью и вліяніемъ „Сѣверный магъ“ (der Magas im Norden), посвятилъ нѣсколько критическихъ статей вопросу о происхожденіи языка¹⁾. Въ „Königsbergische gelehrte und politische Zeitungen“ (27 Dec. 1771) онъ посвятилъ небольшую замѣтку книгѣ Харткноха „Versuch einer Erklärung des Ursprunges der Sprache“ 1772. Харткнохъ считалъ языкъ „собраніемъ звуковъ, соединеніе которыхъ и взаимное воздѣйствіе которыхъ даетъ возможность сообщать другъ другу свои мысли“. По его мнѣнію, слово есть „звукъ, съ которымъ произносящій его связываетъ опредѣленное представленіе; это послѣднее онъ можетъ вызвать и въ другомъ лицѣ, по отношенію къ которому (gegen den) этотъ звукъ произведенъ“. Отсюда видно, что Харткнохъ подходилъ къ вопросамъ языка съ точки зрѣнія психологической, и Гамманъ ничѣмъ не мотивируетъ своего рѣзко отрицательнаго отношенія къ его книгѣ. Нѣсколько позже (30 марта 1772) въ той же самой газетѣ появилась рецензія Гамманна на академическое сочиненіе Гердера, къ которому онъ вернулся еще нѣсколько позже въ отдѣльной брошюрѣ подъ названіемъ „Philologische Einfälle und Zweifel über eine academische Preis Schrift“. 1772. По мнѣнію Гамманна, „платоновское доказательство“, къ которому прибѣгаетъ Гердеръ, представляетъ собою ложный кругъ (Hamann. IV. 49). Надъ этимъ доказательствомъ Гамманъ подшучиваетъ,

¹⁾ Пользуюсь здѣсь изданіемъ его сочиненій „Hamann's Schriften“, herausgegeben von Friedrich Roth. IV. Theil. Berlin. 1823.

сравнивая его съ проповѣдью деревенскаго священника, который такъ искусно разложилъ свою проповѣдь на двѣ части, что каждая изъ частей представляетъ антитезу другой. По Гердеру же выходитъ, какъ полагаетъ Гамманъ, именно такъ: „Платоновское доказательство человѣческаго происхожденія языка состоитъ изъ двухъ частей, отрицательной и положительной. Первая содержитъ доказательства того положенія, что человѣкъ не есть животное, вторая же доказываетъ, что все-таки человѣкъ—животное“... Гамманъ отлично понялъ слабое мѣсто теоріи Гердера и въ своей обычной манерѣ, съ прибаутками, оригинальными словцами, намеками, отмѣтилъ, что у этого писателя „инстинкъ является *conditio sine qua* non всякаго животнаго для того, чтобы можно было поднять и пересадить человѣка съ тѣмъ большей силой и увѣренностью изъ сферы животныхъ въ высшій разрядъ созданій, отличающійся отъ нихъ не по степени, но по качеству“. Но всему этому противорѣчитъ положительная часть платоновскаго доказательства (т. е. теоріи Гердера). „Ибо что утверждаетъ болѣе положительно и выразительно вся позитивная часть этого послѣдняго, какъ нето, что человѣкъ мыслить и говорить вслѣдствіе инстинкта, что положительная способность мыслить и говорить ему прирождена и является для человѣка вполне естественной; что она, подобно инстинкту животныхъ, привлечена, устремлена и направлена на одинъ пунктъ *признака*; что вмѣстѣ съ первымъ словомъ былъ сочиненъ весь языкъ, вопреки закону вѣчной *прогрессии*; что сочиненіе языка было такъ же по существу свойственно человѣку, какъ пауку плетеніе паутины, а пчелѣ собираніе меда, и что ровно ничего не надо сдѣлать чтобы привести человѣка въ состояніе рефлексіи, которое ему свойственно, для того, чтобы изобрѣсти то, что для него естественно уже отъ природы“ (Hamann. IV. 58). Дѣйствительно, эти возраженія Сѣвернаго мага были очень сильны: языкъ явился, когда было изобрѣтено первое слово, а въ природѣ все развивается, почему же человѣкъ такъ сосредоточился на наблюденіи признаковъ (Merk-mal, Merk-wort, по Гердеру), если это не было велѣніе его инстинкта, а, вѣдь, Гердеръ отрицалъ наличность инстинктовъ у человѣка. Выходило такимъ образомъ, что едва былъ созданъ человѣкъ, какъ онъ уже самъ собой прішелъ въ свойственное ему состояніе, которое выразилось въ рефлексіи и въ сочиненіи языка. У Гердера отсутствовалъ тотъ элементъ, который нашелъ свое блестящее выраженіе въ теоріи Руссо: именно, начало эволюціи, и Гамманъ сумѣлъ это подмѣтить. Взгляды Гердера онъ окрестилъ (ibid. 59) въ стилѣ, который чрезвычайно напоминаетъ гейнцевскій, „сверхестественнымъ доказательствомъ человѣческаго происхожденія языка“. Что же онъ самъ могъ противопоставить ученію Гердера? На это Гамманъ отвѣтилъ въ своемъ собственномъ возраженіи на свою же критическую замѣтку о премированномъ сочиненіи Гердера, „Abfertigung“, помѣщенномъ въ той же Кенигсбергерской газетѣ. „На академическій вопросъ о происхожденіи языка

нашъ землякъ печальнаго образа не представилъ бы конкурснаго сочиненія въ семи главахъ, но, можетъ быть, пробормоталъ бы изъ праха своего униженія: что я могу знать объ этой вашей задачѣ? И какое мнѣ дѣло до нея? Восходъ, полдень и закатъ всѣхъ изящныхъ искусствъ и наукъ, которыя узнаютъ—увы!—по плодамъ ихъ, оказываютъ лишь то влияніе на мое теперешнее блаженство, что эти безжалостныя сестры (т. е. науки и искусства, Музы) прерываютъ глубокой сонъ моего спокойствія аллотріокосмическими грезами, отодвигаютъ священный пограничный камень моихъ расходовъ на какой-нибудь жалкій пфеннигъ моихъ потребностей, ограничиваютъ мои одѣянія сѣрымъ вывороченнымъ фракомъ, а мое пропитаніе плохимъ пивомъ и холодной кухней, и даже, что всего обиднѣе, покушаются даже на дорогія и чудныя мгновенія, которыя я долженъ былъ бы провести въ болтовнѣ и разсматриваніи картинокъ съ радостью моей души (т. е. младенцемъ-дочерью) и въ щебетаніи и улыбкахъ надъ колыбелью моей маленькой дочки“.

Такимъ образомъ, никакого отвѣта на вопросъ Гаманнъ не далъ, сославшись только на свою вѣрность религіозной традиціи и на праздность подобныхъ вопросовъ. Въ конечномъ результатѣ Гаманнъ приходитъ къ божественному происхожденію всѣхъ человѣческихъ способностей, а въ томъ числѣ и языка¹⁾. Самъ Гердеръ еще не разъ возвращался къ вопросу о происхожденіи языка. Въ книгѣ „Древнѣйшее свидѣтельство человѣческаго рода“ (Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts Riga. 1774—76), въ предисловіи къ нѣмецкому переводу англійскаго труда Монбоддо и въ своихъ „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ (1784—1791) онъ долженъ былъ коснуться этого вопроса²⁾. Въ первомъ изъ названныхъ сочиненій онъ опровергаетъ возраженія Цобеля противъ теоріи рефлексіи, утверждая, что способность размышленія такъ же присуща человѣку, какъ инстинктъ животному. „Она должна обнаружиться въ первой же мысли ребенка, какъ въ насѣкомомъ сразу сказывается, что оно насѣкомое“. Отрицая, такимъ образомъ, и теперь эволюціонный методъ, Гердеръ долженъ былъ вернуться къ своему первому выводу о прирожденности человѣку вмѣстѣ съ рефлексіей и языка. „Только благодаря языку человѣкъ могъ едѣлаться Божьимъ созданіемъ, какимъ онъ долженъ былъ быть. Развѣ эта будущая сила не съ перваго мгновенія его существованія оживила его, и вела, и направляла? И какъ вела? Извнутри? Извне? Мнѣчески? Физически? Какія различія! всецѣло! божественно и человѣчно! Соответственно внутреннимъ силамъ и внѣшнимъ потребностямъ: таково всемогущее руководительство Бога по отношенію къ Своему образу,

¹⁾ Соответствующія мѣста см. у Штейнтала (54), гдѣ ученіе Гаманна рассмотрѣно подробно, хотя изъ текста вынужены нѣкоторыя характерныя мѣста, мною здѣсь переведенныя.

²⁾ Steinthal, loc. cit., 33—41.

возлюбленному Своего сердца“. При такой точкѣ зрѣнія Гердера, дѣйствительно, нѣсколько странное впечатлѣніе производитъ его хвалебное предисловіе къ книгѣ Монбоддо „О происхожденіи и развитіи языка“, въ которой авторъ придерживается самымъ опредѣленнымъ образомъ эволюціонныхъ взглядовъ на эту проблему. Человѣчество, по мнѣнію его, довольствовалося долгое время языкомъ жестовъ и не артикулированными звуками, пока не придумало болѣе совершеннаго языка. Штейнталъ полагаетъ, что только неясность самыхъ идей о божественномъ и человѣческомъ началѣ человѣческихъ способностей дала возможность Гердеру сочетать свою точку зрѣнія съ рекомендаціей матеріалистическихъ воззрѣній англійскаго изслѣдователя. Едва ли это объясненіе справедливо, потому что почти въ то же самое время Гердеръ высказывалъ въ своихъ „Идеяхъ“ вполне отчетливое пониманіе того, что онъ хотѣлъ сказать. „Особымъ средствомъ для образованія людей является языкъ. Въ человѣкѣ, даже въ обезьянѣ, заложено (находится, sich findet) особенное влеченіе къ подражанію, которое никоимъ образомъ не есть послѣдствіе разсудочнаго размышленія, но оказывается непосредственнымъ свидѣтельствомъ органической симпатіи. Какъ одна струна звучитъ при звукѣ другихъ, и какъ вмѣстѣ съ чистой густотой (Dichtigkeit) и гомогенностью всѣхъ тѣлъ возрастаетъ и ихъ вибрирующая дѣятельность, такъ человѣческая организація, будучи наиболѣе тонкой изъ всѣхъ, оказывается по необходимости наиболѣе склонной къ тому, чтобы отразить въ себѣ (nachhallen) и почувствовать внутри себя звуки всѣхъ другихъ существъ. Исторія болѣзней показываетъ, что не только аффекты и физическія страданія, но даже сумасшествіе можетъ распространяться симпатическимъ образомъ. И вотъ у дѣтей мы находимъ проявленія этого единодушія (Consensus) одинаково настроенныхъ существъ въ высокой степени; и именно для этого ихъ тѣло должно оставаться въ теченіе долгаго времени струннымъ инструментомъ, которое легко звучитъ въ отвѣтъ на другіе звуки. Дѣйствія и жесты, даже страсти незамѣтно переходятъ въ нихъ, такъ что и они оказываются, по крайней мѣрѣ, расположенными къ тому, что они еще не могутъ выполнить, и бессознательно слѣдуютъ влеченію, которое представляетъ собою извѣстнаго рода духовную ассимиляцію. Именно это наблюдается у всѣхъ сыновъ природы, дикихъ народовъ. Прирожденные артисты мимики, они оживленно подражаютъ всему, что рассказываютъ передъ ними, или что они хотятъ выразить, и поэтому въ танцахъ, играхъ, шуткахъ и разговорахъ они обнаруживаютъ присущій имъ образъ мыслей. Именно, путемъ подражанія ихъ фантазія пришла къ воодушевляющимъ ихъ образамъ; въ образованіяхъ такого рода заключается сокровищница ихъ памяти и ихъ языка; поэтому, и ихъ мысли такъ легко переходятъ въ дѣйствіе и въ живую традицію. Но съ помощью всей этой мимики человѣкъ еще не пришелъ бы къ своему искусственному родовому характеру, къ разуму; къ нему онъ прихо-

дять только съ помощью языка. Позвольте же намъ остановиться на этомъ *чудѣ божественнаго вмѣшательства*: быть можетъ, послѣ созданія живыхъ существъ это величайшее изъ актовъ творчества Божьяго на землѣ“. Такимъ образомъ, и здѣсь Гердеръ оказывается сторонникомъ ученія о присущемъ человѣку, какъ таковому, дарѣ рѣчи, но онъ договорилъ здѣсь то, о чемъ раньше умалчивалъ: онъ уже совершенно опредѣленно апеллировалъ къ Божеству, какъ Создателю человѣческой рѣчи. Когда-то онъ возставалъ съ большимъ сарказмомъ противъ взглядовъ Зюсмилха на божеское внушеніе человѣку его языка; теперь же онъ говоритъ такъ опредѣленно о божественномъ вмѣшательствѣ (Einsetzung) въ процессъ человѣческой эволюціи, о *чудѣ* этого вмѣшательства, что остается неясно, сохранилось-ли какое-нибудь существенное различіе въ этихъ взглядахъ между Зюсмилхомъ и его прежнимъ противникомъ. А, вѣдь, почти въ то же самое время Гердеръ выступалъ сторонникомъ возрѣній Монбоддо. Возможно ли сочетать всѣ эти разногласія, подвести ихъ подъ какое-нибудь общее міровозрѣніе? Я полагаю бы, что Гердеръ просто пришелъ полубезсознательно къ тѣмъ выводамъ, которые съ повелительной силой диктовались уже его первоначальнымъ противоположеніемъ человѣческаго звѣриному. Дѣйствительно, онъ признавалъ человѣчскій языкъ созданіемъ человѣческимъ, и поэтому онъ могъ искренно сочувствовать теоріи Монбоддо; но въ то же время „человѣческое“, столь рѣзко обособленное отъ животнаго, получало свое объясненіе лишь при томъ условіи, что какая-то внѣшняя, нечеловѣческая сила вложила въ душу человѣка способности, которыхъ оказались лишены животныя. Но такой силой могло быть лишь Божество, которое, по выраженію Гердера, „дѣятельно разрѣшило проблему“ происхожденія человѣческаго языка. Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать, что высказанный имъ когда-то правильный и новый взглядъ на психологическое отличіе духовной жизни человѣка отъ психики животнаго не былъ Гердеромъ развитъ научнымъ образомъ, но совершенно затерялся въ дальнѣйшихъ метафизическихъ построеніяхъ, противъ которыхъ справедливыя и цѣнныя соображенія представили его критики, Цобель и Гаманъ, къ сожалѣнію, слишкомъ мало оцѣненные современниками.

Въ тотъ самый годъ, когда вышло премированное сочиненіе Гердера, появился „Опытъ объясненія происхожденія языка“ Тидемана¹⁾, который отстаиваетъ человѣческое начало языка. Но весьма характерно, что мысль ученыхъ еще до такой степени была въ плѣну у теоріи божественнаго происхожденія человѣческой рѣчи, что и Тидеманъ, какъ и Гердеръ лишь

¹⁾ *Tiedemann. Versuch einer Erklärung des Ursprungs der Sprache. Riga, 1772.* Съ оцѣнкой этого произведенія въ трудѣ Штейнталя я совершенно не согласенъ, какъ и, вообще, съ большинствомъ его взглядовъ на значеніе того или другого сочиненія.

съ трудомъ освобождались отъ ея чаръ. Въ пользу божественности языка говорятъ, по мнѣнію Тидемана, господствующій въ немъ порядокъ и ладъ, удивительная способность рѣчи выражать всѣ оттѣнки нашей мысли. „Такое великолѣпное зданіе не можетъ быть дѣломъ случайности; мудрость и разсужденіе, непременно, должны были начертать планъ его и осуществили его выполнение. Но развѣ можно было найти эту мудрость у грубыхъ и некультурныхъ людей, которые именно и должны были прожить многія тысячи лѣтъ, прежде чѣмъ они достигли нѣкоторой степени совершенства. Но можно-ли примѣнить это къ языку? Языки становятся изящнѣе, благозвучнѣе, богаче словами. Это мы знаемъ. Но основаніе всей этой системы остается все-таки неизмѣннымъ; лишь тамъ и сямъ оно подвергается нѣкоторымъ исправленіямъ, да и это послѣднее наблюдается только во внѣшнемъ строѣ языка. Какъ могъ бы языкъ такъ скоро сдѣлаться правильнымъ и упорядоченнымъ, если бы онъ имѣлъ человѣческое происхожденіе? „Здѣсь ставился вопросъ, на который наука попыталась дать отвѣтъ уже въ началѣ слѣдующаго вѣка, когда Гумбольдтъ представилъ теорію постепеннаго усовершенствованія самого „основанія“ языка, его формальной стороны. Для 18-го вѣка аргументы, приведенные противъ человѣческаго происхожденія языка, казались очень убѣдительными. Дѣйствительно, говоритъ Тидеманъ „для изобрѣтенія языка необходимо разумъ, но безъ языка и разумъ не можетъ достигнуть у человѣка достаточнаго развитія; такимъ образомъ, языкъ не можетъ быть изобрѣтенъ человѣкомъ“. Какъ ни сильны были эти доводы, самого Тидемана они, однако, не убѣдили. Онъ дѣлаетъ уже робкую попытку противопоставить имъ данныя, почерпнутыя изъ этнологіи и доказывающія, что примитивные языки не отличаются тѣмъ совершенствомъ, которое указываетъ на божественное происхожденіе человѣческой рѣчи. Языки американцевъ и китайцевъ уже здѣсь фигурируютъ, какъ въ позднѣйшемъ знаменитомъ сочиненіи Гумбольдта, въ качествѣ матеріала для оцѣнки эволюціи человѣческаго языка. Тидеманъ довольствуется пока замѣчаніемъ, что языки этихъ народовъ такъ примитивны, что нѣтъ основанія приписывать ихъ возникновеніе Божескому началу.

Правда, онъ долженъ признать, что все-таки и эти языки представляютъ уже такъ „мудро устроенное созданіе“, что выработка ихъ требовала размышленія, но отсюда еще большой шагъ до призванія божескаго вмѣшательства въ созданіи языка. Тидеманъ набрасываетъ въ общихъ чертахъ картину духовной жизни человѣчества до языка. „Предположеніе, что безъ языка мы не можемъ имѣть ни разума, ни разсудка, правильно лишь постольку, поскольку мы не можемъ безъ него сообщать другъ другу наши понятія и замѣчанія, не можемъ ихъ исправлять, обобщать и удерживать. Однако, и безъ языка человѣкъ можетъ воспринимать впечатлѣнія отъ вещей и создавать образы вещей (Dinge empfinden und sich Dinge einbilden), т. е.

имѣть представленія. Благодаря наличности представлений и другимъ причинамъ, относящимся сюда, возникаютъ слова; благодаря словамъ, образуется разумъ, а разумъ придаетъ языку порядокъ и связь“. Такъ формулируетъ Тидеманъ свой взглядъ на параллелизмъ умственного и языкового развитія человѣчества. Здѣсь нѣтъ еще отчетливой систематической разработки положеній, приведшихъ Вильгельма Гумбольдта къ его ученію объ отношеніи формальныхъ элементовъ рѣчи къ матеріальнымъ, но въ указаніяхъ на послѣдовательное развитіе „порядка и связи“ въ языкѣ, прогрессирующихъ по мѣрѣ усиливающейся дѣятельности разума, уже намѣчаются черты будущей теоріи. Тидеманъ справедливо утверждаетъ, что возникновеніе представлений предшествуетъ языку, но переходъ отъ представлений къ словамъ въ его изложеніи ничѣмъ не мотивированъ: повидимому, онъ казался этому ученому простымъ и непосредственнымъ явленіемъ, хотя, въ дѣйствительности, онъ именно обусловленъ косвенными, посредственными отношеніями: напр., эмоціональнымъ элементомъ, связаннымъ съ образомъ предмета. Во всякомъ случаѣ, возраженіе Тидемана на теорію божественнаго происхожденія человѣческой рѣчи не можетъ быть признано слабымъ. Тидеманъ настаиваетъ на томъ, что разумъ и самъ, подобно рѣчи, является объектомъ эволюціи. „Извѣстно, что всѣ человѣческія изобрѣтенія въ началѣ бывають грубы и несовершенны. Почему же языкъ долженъ составлять исключеніе изъ этого правила? Если же языкъ изобрѣтался постепенно, мало по малу исправлялся и наконецъ сдѣлался совершеннымъ, то я не вижу, почему время и опытъ, которые ввели порядокъ и связь въ остальные человѣческія знанія, не могли дать эти же свойства и языку. Исторія языка доказываетъ это слишкомъ ясно для того, чтобы могли оставаться какія-нибудь сомнѣнія на этотъ счетъ“. При этихъ общихъ воззрѣніяхъ, которыя можетъ раздѣлить съ Тидеманомъ современная наука, примѣненіе ихъ на практикѣ оказывается шаблоннымъ и неправильнымъ. И этотъ ученый не могъ отдѣлаться отъ фикціи какого-то договора между людьми по вопросамъ языка. Сначала люди объяснялись жестами, къ которымъ они пришли, повидимому, случайно (*man verfiel*). Потомъ они замѣтили недостаточность этого способа, а наблюденіе надъ животными навело ихъ на мысль, что существуетъ лучший способъ обмѣна мыслями въ видѣ языка.

Первыми словами явились звукоподражанія, къ которымъ потомъ люди стали присоединять и иначе сочиненныя слова. Эти послѣднія выдумывались то тѣмъ, то другимъ членомъ общества, въ зависимости отъ необходимости. Таковы основныя положенія Тидемана, которыя теперь, конечно, не соотвѣтствуютъ нашимъ представленіямъ о первобытномъ обществѣ: намѣренное сочиненіе словъ, отмѣченное, какъ выше было указано, въ дикарскихъ языкахъ, не можетъ быть предположено на той стадіи развитія человѣчества, когда оно еще едва переходило изъ без-

словеснаго состоянія въ положеніе говорящихъ существъ. Оно указываетъ только вообще на роль духовныхъ вождей въ первобытномъ обществѣ, которое должно было слѣпо подчиняться волѣ отдѣльныхъ людей. Тѣмъ не менѣе, Тидеману принадлежитъ та неоспоримая заслуга, что онъ выставилъ параллелизмъ въ эволюціи разума и рѣчи, какъ Гердеръ базировался на основаніи психологической разницы между человѣкомъ и животнымъ. Позднѣйшее знаніе использовало всѣ тѣ здоровыя начала, которыя были внесены умозрѣніями 18 вѣка. Изъ нѣмецкихъ ученыхъ этого столѣтія, которые писали о происхожденіи языка, я упомяну здѣсь еще о Тетенсѣ, Аделунгѣ и Зульцерѣ. Первый изъ нихъ¹⁾ въ приложеніи къ своему изслѣдованію о природѣ человѣка помѣстилъ нѣсколько замѣчаній „о прирожденной способности рѣчи у человѣка“. Онъ формулировалъ свои взгляды въ видѣ нѣсколькихъ положеній: „Изъ прирожденной способности разума и рѣчи у человѣка нельзя заключить, что таковая была достаточна для того, чтобы онъ самъ могъ изобрѣсти языкъ“. Слѣдующее, второе положеніе представляетъ извѣстный вкладъ въ научную разработку проблемы. Насколько мнѣ извѣстно, до Тетенса еще никто не указывалъ на то психологическое преимущество рѣчи въ смыслѣ средства общенія по сравненію съ другими средствами, какое заключается въ произносимомъ и одновременно воспринимаемомъ самимъ говорящимъ словѣ. Это положеніе Тетенса является первой стадіей въ *научномъ* пониманіи внутренней рѣчи. „Причина, по которой для обозначенія вещей употребляются преимущественно звуки, заключается не столько въ томъ, что чувство слуха является посредствующимъ чувствомъ, сколько въ томъ, что человѣкъ съ помощью своего голосового органа можетъ не только произвести впечатлѣніе на этотъ слухъ у другихъ, но и самъ воспринять его“. По вопросу о происхожденіи языка Тетенсъ выступаетъ со среднимъ мнѣніемъ. „Не доказано ни то, что человѣкъ, предоставленный самому себѣ, не можетъ изобрѣсти языкъ, ни то, что онъ съ необходимостью долженъ изобрѣсти его“. Авторъ высказываетъ слѣдующій взглядъ:

„Если человѣкъ жилъ въ общеніи съ другимъ человѣкомъ, то гдѣ-нибудь кто-нибудь могъ напасть (*gerathen können*) на выраженіе мыслей въ звукахъ, и такъ могли возникнуть языки въ безсловесномъ человѣчествѣ“. (*Tetens. 777*). Психологія дѣтей, по мнѣнію Тетенса, подтверждаетъ этотъ взглядъ, но все же онъ высказываетъ его съ извѣстной долей скептицизма, обставляя вопросительными знаками. Остается только доказать, что гениі, способные натолкнуться на такой новый способъ выраженія

¹⁾ Philosophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwicklung von Johann Nicolas Tetens, Professor der Philosophie zu Kiel. I Band. Leipzig. 1777. Его же болѣе раннее сочиненіе (*Abhandlung über den Ursprung der Sprache und der Schrift. 1772*) было мнѣ недоступно.

чувствъ, должны быть предположены уже въ самомъ первобытномъ обществѣ. Антропология, употребляя современный терминъ, или „всеобщая исторія путешествій“, говоря словами Тетенса, представляетъ свидѣтельства того, что различіе индивидуальностей наблюдается уже въ низшихъ дикарскихъ обществахъ. „Въ среднемъ, человѣкъ есть болѣе подражающее, нежели само изобрѣтающее животное; но попадаются тамъ и сямъ опредѣленные люди, которые обладаютъ прирожденными силами для изобрѣтеній, и у которыхъ предрасположеніе къ разуму (die Anlage zur Vernunft) и созданіе его, какъ и способность рѣчи, обнаруживаются въ большей степени, чѣмъ у остальной массы“ (Tetens. 780). Такимъ образомъ, Тетенсъ уже выдвинулъ принципъ, имѣющій громадное значеніе для разрѣшенія нашей проблемы, — психологическую неоднородность массы уже на самыхъ раннихъ ступеняхъ человѣческаго развитія. „Творцы“ должны быть предположены и среди первобытныхъ людей. Таковы весьма существенныя открытія Тетенса въ области какъ психологическихъ, такъ и социальныхъ основъ творчества рѣчи.

Одинъ изъ основателей сравнительнаго языкознанія, Аделунгъ¹⁾, изложилъ въ формѣ небольшой популярной книжки свои взгляды на происхожденіе языка. Онъ признаетъ, что все строеніе языка представляется „весьма человѣческимъ“. Изобрѣтеніе языка объясняется той крайней необходимостью, которую испытывалъ уже первобытный человѣкъ, „предназначенный для жизни въ обществѣ“ самой своей природой. Поэтому, языкъ былъ созданъ, полагаетъ Аделунгъ, не человѣкомъ, одареннымъ преимущественными способностями и познаніями, но простымъ, совершенно дикимъ и предоставленнымъ своимъ чувствамъ сыномъ природы, такимъ, какимъ онъ вышелъ изъ рукъ Творца. Вступивъ на этотъ путь, Аделунгъ оказывается уже логически вынужденъ представить первоначальную рѣчь человѣка чрезвычайно примитивной. *Впервые*, и въ этомъ заключается заслуга этого ученаго, была сдѣлана попытка выяснитъ, каковъ долженъ былъ быть первоначальный звуковой составъ человѣческаго языка. Рѣчь шла уже не объ однихъ звукоподражаніяхъ, но о словахъ, какъ таковыхъ, и Аделунгъ полагаетъ, что „тѣ слова, которыя состоятъ изъ двухъ главныхъ звуковъ (согласныхъ) и одного вспомогательнаго (гласнаго)“, воспроизводятъ древнѣйшіе звукоподражательные элементы человѣческой рѣчи. Въ дальнѣйшемъ развитіи его взглядовъ мы встрѣчаемся съ уже хорошо знакомыми намъ по литературѣ 18 вѣка представленіями о звукоподражаніи, какъ источникѣ языковаго творчества. Слѣдуетъ только отмѣтить, что Аделунгъ не ограничивается гипотетическими построеніями, но почерпаетъ свой матеріалъ изъ наблюденій

¹⁾ Ueber Ursprung der Sprache und den Bau der Wörter, besonders der Deutschen. Ein Versuch. Leipzig. 1781.

надъ живымъ нѣмецкимъ языкомъ и ссылается на пристрастіе народнаго говора къ украшенію рѣчи звукоподражаніями. Это послѣднее наблюденіе имѣетъ ту цѣнность, что обращаетъ уже вниманіе языковѣда-психолога на постоянно дѣйственное творчество рѣчи. Начиналось такимъ образомъ реальное направленіе въ изслѣдованіи основъ языка.

Зульцеръ коснулся вопроса о происхожденіи человѣческой рѣчи мимоходомъ, въ своихъ „замѣчаніяхъ о взаимномъ вліяніи разума на языкъ и языка на разумъ“¹⁾. По мнѣнію Зульцера (стр. 169), это вопросъ вовсе не особенно мудреный, не требующій проникновенія изслѣдователя до „утренней зари разума“. Дѣйствительно, „то, что совершаетъ теперь культурный человѣкъ (der unterrichtete Mensch), сдѣлаетъ намъ понятнымъ то, что совершалъ животный человѣкъ, еще лишенный дара рѣчи. Путь разума вездѣ остается одинаковымъ; языки обогащаются и совершенствуются, вѣроятно, съ помощью тѣхъ же самыхъ средствъ и вліяній, которыя положили первоосновы его. Поэтому, необходимо тщательно собрать то, что даетъ намъ въ этой области наблюденіе“. Эта точка зрѣнія представляется въ методологическомъ отношеніи очень цѣнной: именно, на изученіи тѣхъ общихъ законовъ развитія языка, которые управляютъ человѣческой рѣчью теперь и должны были управлять ея ферментами, построено современное научное языкознаніе, по крайней мѣрѣ, со времени „Принциповъ исторіи языка“ (Prinzipien der Sprachgeschichte) Германа Пауля, къ которымъ я еще возвращусь въ слѣдующей главѣ. Къ разрѣшенію вопроса Зульцеръ подходит съ психологическимъ критеріемъ, и въ этой области онъ мало оригиналенъ. Проблема представляется Зульцеру въ слѣдующихъ чертахъ: „Очевидно, что ранѣе, чѣмъ напасть на мысль дать наименованіе вещи, необходимо представленіе этой вещи отдѣлить отъ цѣлой массы имѣющихся представленій и увидѣть въ ней отдѣльный предметъ, обособленный или отличный отъ другихъ. И именно въ этомъ заключается первый шагъ, который человѣкъ долженъ былъ сдѣлать, чтобы придти къ языку; онъ долженъ былъ различать въ своихъ представленіяхъ извѣстныя части, какъ отдѣльныя (abgesonderte) и съ другими не связанныя сущности. Но этотъ первый шагъ не могъ быть сдѣланъ прежде, чѣмъ человѣкъ познакомился съ этими предметами достаточно хорошо, ибо, пока вещь кажется намъ чѣмъ-то новымъ, намъ представляется труднымъ замѣчать въ ней какія-нибудь отдѣльныя частности... Этотъ первый шагъ, который человѣкъ долженъ былъ сдѣлать для изобрѣтенія языка, былъ болѣе или менѣе тяжелъ въ зависимости отъ свойствъ предметовъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ было достаточно незначительнаго вниманія, въ другихъ для этого требовались духъ наблюденія и поддержанное гениемъ размышленіе; наконецъ, въ извѣстныхъ

¹⁾ Johann George Sulzers vermischte Philosophische Schriften. I Theil. 3 Auflage. 1800 (первое изданіе вышло въ 1773 году, второе въ 1782).

случаяхъ на помощь генію долженъ былъ являться случай“. Въ распознаваніи предметовъ главная роль принадлежала зрѣнію.

„Поэтому, представляется вѣроятнымъ, что видимые предметы были первыми, которые человекъ сталъ отличать, и о которыхъ онъ составилъ себѣ ясныя понятія“. Этому вопросу Зулцеръ удѣляетъ много вниманія. Установивъ эту основную точку зрѣнія на происхожденіе понятій, вѣмскій философъ переходитъ къ происхожденію языка. „Какъ могъ человекъ придумать такіе звуки, которые были бы пригодны въ качествѣ знаковъ служить тому, чтобы возбуждать именно тѣ же понятія въ умѣ другихъ? Въ языкѣ эти знаки не что иное, какъ звуки, и сразу никакъ не поймешь, какъ можетъ звукъ сдѣлаться разумѣемымъ знакомъ понятія, которое, повидимому, не имѣетъ съ нимъ ничего общаго. Чтобы отчетливо понять ходъ человѣческаго ума при этомъ изобрѣтеніи, мы должны прежде всего замѣтить, что въ природѣ есть очень много предметовъ, которые обнаруживаютъ свое присутствіе съ помощью звуковъ. Послѣ того, какъ человекъ различилъ эти предметы и составилъ себѣ понятія о нихъ, ему уже не представляло трудности обозначить ихъ; онъ долженъ былъ только воспроизвести съ помощью подражанія тѣ самые звуки, благодаря которымъ можно было познавать эти предметы; ибо всемъ извѣстно, что органы голоса у человека довольно подвижны, и что онъ воспроизводитъ безъ затрудненія большое число различныхъ звуковъ“. (Sulzer. 175).

Такимъ образомъ теорія Зулцера сводится опять-таки къ звукоподражанію. Какъ мы видимъ, психологическая наука конца 18 вѣка, вообще, видѣла по преимуществу въ звукоподражаніи источникъ человѣческой рѣчи, и только естественные крики (les cris de la nature Руссо и др.) и „междометія“ служили еще восполненіемъ того матеріала, который не могъ быть данъ звукоподражаніемъ. Но, оставаясь въ этихъ главныхъ чертахъ приблизительно все на той же почвѣ, наука все съ болѣе тонкимъ психологическимъ анализомъ подходила къ проблемѣ происхожденія человѣческой рѣчи, и въ этомъ углубленіи психологическаго обоснованія ея заключалось дѣйствительное развитіе научнаго изслѣдованія проблемы. Такъ были подготовлены составившіе эпоху знаменитые труды Вильгельма Гумбольдта о философіи языка: „Сравнительное языкознаніе въ отношеніи къ разнымъ эпохамъ въ развитіи языковъ“ (1821), „О происхожденіи грамматическихъ формъ и о вліяніи ихъ на развитіе идей“ (1822—1824) и „О различіи въ строеніи человѣческихъ языковъ и о вліяніи этого различія на умственное развитіе человѣческаго рода“ (1836¹). Особенно для моей темы важно послѣднее изъ названныхъ сочиненій В.

¹) Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (изд. Потта 1876). Ср. *Н. И. Житецкій*. В. Гумбольдтъ въ исторіи философскаго языкознанія („Вопросы философіи и психологіи“ 1900).

Гумбольдта, и потому на немъ я и остановлюсь въ настоящемъ изложеніи. По мнѣнію Гумбольдта, „въ языкѣ надо видѣть не столько мертвое созданіе (ein todttes Erzeugtes), сколько созданіе (Erzeugung); необходимо отвѣститься отъ того значенія, какое имѣетъ языкъ въ качествѣ обозначенія предметовъ и средства взаимнаго пониманія, но тѣмъ болѣе тщательно отнестись къ его происхожденію, тѣсно связанному съ внутренней душевной дѣятельностью, и къ ихъ взаимовліянію“. Языкъ, какъ творчество, постоянное творчество рѣчи, былъ открытъ, какъ мы видимъ, впервые Гумбольдтомъ. „Языкъ, взятый въ своей дѣйствительной сущности, говоритъ Гумбольдтъ: есть (одновременно) нѣчто постоянное и нѣчто въ каждый моментъ преходящее. Даже его сохраненіе съ помощью письма представляетъ собою лишь несовершенное консервированіе, въ родѣ муміи, и въ немъ является надобность лишь тогда, когда въ письмѣ стремятся придать конкретную форму (versinnlichen) живому изложенію. Самый же языкъ не есть дѣло (ergon), но есть дѣятельность (energeia). Поэтому, его истинное опредѣленіе можетъ быть только генетическимъ. Именно, языкъ является вѣчно повторяющейся работой ума (духа, Geist), которая стремится сдѣлать артикулированный звукъ выраженіемъ мысли. Непосредственно взятое, таково опредѣленіе всякаго *говоренія*, но въ настоящемъ, соответствующемъ существу дѣла смыслѣ можно также лишь совокупность этого *говоренія* разсматривать, какъ *языкъ*. Ибо въ разсѣянномъ хаосѣ словъ и правилъ, который мы, однако, привыкли называть языкомъ, имѣется на лицо лишь *отдѣльное* (das Einzelne), произведенное этимъ *говореніемъ*, да и то оно никогда не предстаётъ въ полнотѣ, но нуждается опять въ новой работѣ, которая можетъ открыть характеръ живого *говоренія* и дать истинный образъ живого языка. Именно, высшее и тончайшее нельзя понять по этимъ разрозненнымъ элементамъ; оно можетъ быть воспринято или смутно понято (geahndet) только въ *связной рѣчи*, и это служить лучшимъ доказательствомъ того, что настоящій языкъ заключается въ дѣятельности его дѣйствительнаго созданія... Обозначеніе языковъ, какъ работы *духа*, представляется уже потому совершенно правильнымъ и адекватнымъ выраженіемъ, что существованіе духа, вообще, можетъ быть мыслимо только въ дѣятельности и какъ дѣятельность. Необходимое для изученія ихъ расчлененіе ихъ состава заставляетъ насъ даже разсматривать ихъ, какъ *поведеніе* (ein Verfahren), которое устремляется съ помощью опредѣленныхъ средствъ къ опредѣленнымъ цѣлямъ, и въ этомъ смыслѣ слѣдуетъ видѣть въ языкахъ дѣйствительно *образованія* (die Bildungen) напій“ (Ueber die Verschiedenheit. 54—56). Естественно, что для Гумбольдта языкъ, какъ дѣятельность, неотдѣлимъ отъ человѣческаго духа, и самый вопросъ о происхожденіи языка представляется ему въ совершенно иномъ духѣ, чѣмъ предшествующимъ изслѣдователямъ, подготовившимъ взгляды Гумбольдта своими изысканіями о психологической природѣ рѣчи. Однако,

они видѣли въ языкѣ именно уже нѣчто *произведенное*, тогда какъ для Гумбольдта это было постоянное создаваніе. Когда и какъ оно началось: такой вопросъ долженъ быть, однако, вѣтать и передъ этимъ ученымъ. Ему онъ посвятилъ § 2 своего изслѣдованія, къ которому нужно обратиться, чтобы ознакомиться въ главныхъ чертахъ со взглядами Гумбольдта.

„Болѣе обстоятельное разсмотрѣніе современнаго состоянія политическаго, художественнаго и научнаго образованія приводитъ къ длинной, тянущейся черезъ многія столѣтія *цѣли* взаимно другъ друга обуславливающихъ *причинъ и слѣдствій*. Но при изслѣдованіи ея приходится скоро замѣтить, что здѣсь господствуютъ *два* различные элемента, изученіе которыхъ, однако, не одинаково легко въ обоихъ случаяхъ. Ибо, въ то время, какъ 1. одну часть развивающихся причинъ и слѣдствій можно удовлетворительно разъяснить, какъ вытекающія одна изъ другой, тѣмъ не менѣе отъ времени до времени натыкаешься на *узлы*, которыхъ уже никакъ не развяжешь: это обнаруживается во всякой попыткѣ дать культурную исторію человѣческаго рода. Причина этого заключается именно въ той духовной силѣ, которая не допускаетъ полного проникновенія въ существо свое и не позволяетъ заранѣе предугадывать ея дѣятельность. Она соединяется съ созданнымъ ею и около нея, но дѣйствуетъ и образуетъ сообразно заложенной въ ней особенности. 2. Съ каждой *великой личности* любого времени можно бы начинать развитіе міровой исторіи, на почвѣ которой она выступила, при чемъ работа предшествующихъ столѣтій мало-по-малу выработала ее. Однако, все же можно указать, какимъ образомъ эта личность сдѣлала свою дѣятельность, которая обусловлена прошлымъ и въ немъ находитъ себѣ поддержку, тѣмъ, что составляетъ ея своеобразный отпечатокъ,—и притомъ не столько указать, сколько почувствовать, не выводя этого въ свою очередь изъ дальнѣйшаго. Это есть естественное и повсюду повторяющееся явленіе *человѣческаго дѣйствованія* (des menschlichen Wirkens). Первоначально все оказывается въ немъ *внутреннимъ*, ощущеніе, желаніе, мысль, рѣшеніе, языкъ и дѣйствіе. Но когда внутреннее соприкасается съ міромъ, оно продолжаетъ присущую ему дѣятельность (wirkt es für sich fort) и опредѣляетъ съ помощью принадлежащаго ему вида (Gestalt) другое дѣйствованіе, внѣшнее и внутреннее. Въ дальнѣйшую эпоху (in der vorrückenden Zeit) образуются 1 *средства* удерживать то, что было сдѣлано сначала послѣшно (бѣгло), и изъ работы истекшаго столѣтія все менѣе утрачивается для послѣдующихъ. II вотъ это составляетъ область, въ которой изслѣдованіе можетъ идти все дальше со ступени на ступень. Но оно все время сталкивается 2 съ дѣятельностью новыхъ и не подлежащихъ учету *внутреннихъ силъ*. Безъ правильнаго обособленія и разъясненія двухъ этихъ элементовъ, изъ которыхъ матерія

(der Stoff) одного можетъ проявляться настолько сильно, что угрожаетъ подавить силу другого,—безъ этого выясненія невозможна правильная оцѣнка того самого благороднаго, что только можетъ отмѣтить исторія всѣхъ временъ. Чѣмъ болѣе мы будемъ углубляться въ минувшее (die Vorzeit), тѣмъ болѣе, конечно, уменьшается (таетъ, schmilzt) масса матеріала, увлекаемого слѣдующими другъ за другомъ поколѣніями. Но тогда сталкиваемся съ другимъ явленіемъ, которое до извѣстной степени переноситъ изслѣдованіе на другую почву. Опредѣленные, извѣстные своимъ внѣшнимъ житейскимъ положеніемъ, личности предстоятъ передъ нами рѣже и не такъ извѣстны: ихъ судьбы, даже ихъ имена, становятся темны, и даже дѣлается неясно, является ли то, что имъ приписывается, только ихъ дѣломъ, или ихъ имя образуетъ сборный пунктъ для дѣлъ нѣсколькихъ людей? Они какъ бы переходятъ въ царство тѣней и затериваются въ немъ. Такъ было въ Греціи съ Орфеемъ и Гомеромъ, въ Индіи съ Ману, Вьясой, Вальмики и съ другими прославленными именами древности. Но еще болѣе исчезаетъ опредѣленная индивидуальность, если углубиться еще дальше въ прошлое. Такой отшлифованный языкъ, какъ гомеровскій, долженъ былъ долго носиться по волнамъ пѣсни, въ продолженіе цѣлой эпохи, о которой у насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Еще болѣе это обнаруживается въ первоначальной формѣ *языковъ*. Языкъ глубоко заложенъ (verschlungen) въ духовномъ развитіи человѣчества; онъ сопровождаетъ это развитіе на каждой ступени его мѣстнаго движенія впередъ или назадъ, и въ немъ отчетливо обнаруживается всяческое культурное состояніе. Но есть эпоха, въ которой мы усматриваемъ только его (языкъ), и гдѣ онъ не только сопровождаетъ умственное (духовное) развитіе, но вполне занимаетъ его мѣсто. Впрочемъ, языкъ вытекаетъ (entspringt) изъ такой глубины человѣчества, которая препятствуетъ постоянно разсматривать его, какъ настоящее произведеніе (ein eigentliches Werk) и какъ созданіе народовъ. Языкъ обладаетъ самостоятельностью, которая явственно обнаруживается передъ нами, хотя остается по существу своему необъяснима, и разсматриваемый съ этой точки зрѣнія, языкъ является непродуктомъ дѣятельности, но произвольной эманацией духа, не дѣломъ народовъ, но даромъ, доставшимся имъ благодаря ихъ внутренней судьбѣ (durch ihr inneres Geschick). Народы пользуются языкомъ, не зная, какъ они образовали его. Тѣмъ не менѣе, языки всегда должны развиваться вмѣстѣ съ расцвѣтающими племенами народовъ, будучи вытканы (herausgesponnen) изъ ихъ духовнаго своеобразія, которое наложило на нихъ нѣкоторыя ограниченія. Это вовсе не пустая игра словъ, когда языкъ представляется возникающимъ въ своей самостоятельности лишь изъ самого себя и божественно свободнымъ, а языки изображаются обусловленными (gebunden) и зависящими отъ народовъ, которымъ они принадлежатъ. Ибо тогда они вступаютъ въ опредѣленные рамки. Когда рѣчь и

пѣня изливались сначала свободно, образовывался языкъ соответственно съ воодушевленіемъ и свободой и мощью совместно дѣйствующихъ душевныхъ силъ¹⁾. Но это могло исходить лишь изъ всѣхъ индивидуумовъ вмѣстѣ, при чемъ каждый отдѣльный человѣкъ долженъ былъ поддерживаться другими, такъ какъ воодушевленіе приобрѣтаетъ новый подъемъ только въ увѣренности, что его поймутъ и почувствуютъ. Такъ открывается здѣсь, хотя темно и слабо, возможность заглянуть въ то время, когда отдѣльные личности теряются въ массѣ народовъ, и когда самый языкъ является дѣломъ интеллектуально творящей силы“.

Такимъ образомъ, по мнѣнію Вильгельма Гумбольдта, которое при всей краткости и сжатости изложенія представляется чрезвычайно важнымъ для разрѣшенія нашей проблемы, для происхожденія человѣческаго языка необходимо, во-первыхъ, заложенное въ основаніе человѣческой природы, безсознательное, инстинктивное стремленіе говорить, во вторыхъ, среда, которая встрѣчаетъ съ сочувствіемъ и пониманіемъ первая произведенія этого инстинкта. Развитіе языка слѣдуетъ параллельно развитію духа, но особенно сильный толчокъ этому послѣднему даетъ самое возникновеніе языка, предшествующее, стало-быть, началу дѣятельности высшихъ мыслительныхъ способностей и возникновенію понятій. „Свобода“, о которой говоритъ Гумбольдтъ, заключается въ извѣстной независимости духовной жизни человѣка отъ дѣйствія слѣпнаго инстинкта, въ „сознательности“ ея; что же касается „воодушевленія“ (Begeisterung), необходимаго для возникновенія языка, то здѣсь надо подразумѣвать аффективное состояніе человѣка, которое стремится найти свое выраженіе въ звукахъ, понимаемыхъ средой. Такимъ образомъ, Гумбольдтъ, не указывая источника языка въ „естественныхъ крикахъ“ или звукоподражаніи, исходитъ въ поискахъ его изъ присущаго человѣку стремленія „высказаться“, когда онъ охваченъ чувствомъ, и когда онъ находитъ около себя людей, способныхъ понять его чувство. По этому поводу Гумбольдтъ замѣчаетъ въ дальнѣйшемъ изложеніи слѣдующее: „Языкъ есть одновременно необходимое завершеніе (Vollendung) мышленія и естественное развитіе заложенныхъ способностей, характерныхъ для человѣка, какъ такового. Но это развитіе не есть развитіе инстинкта, который можетъ быть объясненъ только физиологически. Не будучи актомъ непосредственнаго сознанія, даже мгновенной самовольности и свободы, языкъ все же можетъ принадлежать только существу, надѣленному сознаніемъ и свободой, и возникаетъ у него изъ невѣдомой ему самому глубины его индивидуальности и изъ дѣятельности лежащихъ въ немъ силъ. Ибо языкъ всецѣло зависитъ отъ *энергій*

¹⁾ Привожу это важнѣйшее мѣсто въ оригиналѣ: „Indem Rede und Gesang zuerst frei strömten, bildete sich die Sprache nach dem Maass der Begeisterung und der Freiheit und Stärke der zusammenwirkenden Geisteskräfte“. (21).

и отъ *формы*, съ которой и въ которой человѣкъ даетъ, для самого себя безсознательно, толчекъ всей своей *духовной индивидуальности*“ (ibid. 306). Такимъ образомъ, первоисточники рѣчи укрываются отъ человѣческаго сознанія; человѣкъ начинаетъ сознавать себя говорящимъ существомъ лишь тогда, когда онъ уже говоритъ. Этотъ выводъ Гумбольдта находитъ себѣ полное подтвержденіе въ фактахъ дѣтской рѣчи, о которыхъ я говорилъ выше. Справедливо и важно также постоянное подчеркиваніе Гумбольдтомъ того положенія, что языкъ продуктъ не только общечеловѣческой природы (Anlage), но и специально опредѣленной человѣческой индивидуальности.

Но языкъ представляетъ собою гораздо болѣе сложный продуктъ, чѣмъ это казалось писателямъ 18 вѣка: ихъ анализу, расчленявшему языкъ на его составные элементы, Гумбольдтъ противопоставилъ синтезъ, взаимодействие звуковъ и значенія, грамматической формы и слова, которые въ сознаніи являются нераздѣльными. Вотъ характерное, относящееся сюда мѣсто изъ сочиненія Гумбольдта: „Въ языкѣ, поскольку онъ дѣйствительно является у человѣка языкомъ, различаются два конститутивные принципа: внутреннее *языковое чутье* (подъ которымъ я понимаю не какую-нибудь особенную силу, но совокупность душевныхъ способностей, относящихся къ образованію и употребленію языка, т. е. только направленіе) и *звукъ*, поскольку этотъ послѣдній зависитъ отъ устройства органовъ и уже приобрѣтеннаго (auf schon Ueberkommenen). Внутреннее языковое чутье является принципомъ, управляющимъ языкомъ извнѣ и повсюду дающимъ направляющій импульсъ. Самъ по себѣ (an und für sich) звукъ можно было бы уподобить пассивной матеріи, воспринимающей форму. Однако, будучи проведенъ черезъ языковое чутье (vermöge der Durchdringung durch den Sprachsinne) и вслѣдствіе этого превратившись въ *артикулированный* звукъ, а потому замыкая въ себѣ, въ нераздѣльномъ единствѣ и постоянно обоюдостороннемъ взаимодействіи, и интеллектуальную и чувствующую силу, звукъ становится въ своей вѣчно символизирующей дѣятельности повстинѣ и, повидимому, даже самостоятельно *творящимъ* принципомъ въ языкѣ. Но такъ какъ, вообще, существуетъ законъ бытія человѣка въ мірѣ, по которому онъ не можетъ ничего произвести изъ себя, что мгновенно не обращалось бы обратно на него самого и не обуславливало его дальнѣйшаго творчества, то и звукъ опять-таки измѣняетъ видъ и ходъ внутренняго языковаго творчества. Поэтому, всякое дальнѣйшее творчество не просто сохраняетъ направленіе первоначальной силы, но принимаетъ направленіе, опредѣленное этой послѣдней и вмѣстѣ съ ней силой, данной прежде созданнымъ“. Это положеніе Гумбольдта весьма важно для тѣхъ, кто наблюдающіе нынѣ факты переносятъ въ прошлое для объясненія происхожденія различныхъ формъ быта и психологическаго развитія человѣка. Нѣмецкій философъ настаи-

ваетъ на необходимости большой осторожности въ этомъ отношеи, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ считаетъ методологически правильнымъ пользоваться матеріалами, указывающими на проявленіе индивидуальности въ быту уже первобытнаго человѣка.

„Уже на первыхъ порахъ своей жизни человѣкъ выходитъ изъ границъ *настоящаго* мгновения и не довольствуется однимъ чувственнымъ наслажденіемъ. У самыхъ дикарей есть наклонность къ нарядамъ, къ пляскѣ, къ музыкѣ и пѣснямъ, есть темныя гаданія о будущей судьбѣ за гробомъ“ (цит. у Житцакаго. 19 по переводу Билярскаго). Это обнаруживаетъ ту психологическую обособленность человѣка отъ животныхъ, которая привела къ возникновенію языка, едва возникъ человѣкъ. Какъ выражается Гумбольдтъ въ другомъ своемъ сочиненіи, „языкъ долженъ разсматриваться, какъ нѣчто непосредственно заложенное въ человѣкѣ, ибо онъ совершенно необъяснимъ, какъ созданіе его разума, одареннаго ясностью сознанія. Нисколько не помогаетъ дѣлу, если отводить на его изобрѣтеніе тысячу и тысячу лѣтъ. *Языка нельзя было бы изобрѣсти, если бы его прототипъ (ihg Typus) не существовалъ уже въ человѣческомъ разумѣ... Тотъ, кто воображаетъ, что изобрѣтеніе языка происходило постепенно и мало-по-малу, такъ что по мѣрѣ того, какъ сочинялась еще одна часть языка, человѣкъ дѣлался болѣе человѣкомъ и съ помощью этого подъема могъ сочинять и дальше языкъ, тотъ не разумѣетъ нераздѣльности человѣческаго сознанія и человѣческаго языка“ (Steinthal. 65). Конечно, эти слова надо понимать не въ томъ смыслѣ, что языкъ появился сразу, со всѣмъ богатствомъ своихъ формальныхъ образованій¹⁾, но въ томъ, что языкъ не есть нѣчто созданное, но вырывается самостоятельно изъ глубины человѣческой природы. „Человѣкъ есть поющее существо, но (въ отличіе отъ соловьиной пѣсни) онъ сочетаетъ со звуками мысли“.*

Въ 1831 году появилось обстоятельное сочиненіе Франца Вюльнера „О происхожденіи и первоначальномъ значеніи формъ рѣчи“²⁾, которое, въ общемъ, придерживается теоріи звукоподражанія. „Откуда человѣкъ взялъ матеріалъ для своихъ словъ? Не возникли-ли они изъ произвольныхъ звуковъ? Вообще говоря, послѣднее положеніе нельзя принять, если даже въ отдѣльныхъ случаяхъ и можетъ быть допущена произвольность.“

Настоящимъ источникомъ для образованія матеріала рѣчи служило, несомнѣнно, воспріятіе естественныхъ звуковъ, которые человѣкъ принималъ въ свое духовное умозрѣніе (in seine geistige Anschauung) и старался воспроизвести или хотя бы намѣтить своимъ собственнымъ голо-

¹⁾ О взглядахъ Гумбольдта на грамматическое развитіе языковъ я писать болѣе подробно въ книгѣ „Слѣды корней—основъ въ славянскихъ языкахъ“, 1903, стр. 1--11.

²⁾ „Ueber den Ursprung und Urbedeutung der sprachlichen Formen“ von Franz Wüllner. Münster. 1831.

сомъ, при чемъ онъ не проявляетъ при этомъ ни особеннаго искусства, ни художественнаго старанія. Но не слѣдуетъ думать, что полныя слова, которыми обладаетъ дѣйствительный языкъ, были созданы съ помощью слуха изъ естественныхъ звуковъ. Человѣкъ только принималъ въ свое духовное умозрѣніе воспріятыи звукъ и воспроизводилъ его съ помощью голоса: благодаря этому, онъ получалъ только основной матеріалъ или корень слова, или же, если мы будемъ видѣть въ звукѣ матеріалъ, только восклицаніе или животный крикъ (междометіе). Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы разсмотримъ, заявляетъ Вюльнеръ, какъ изъ такихъ корней развились слова“. Такимъ образомъ, какъ показываютъ приведенныя слова, Вюльнеръ уже не просто разыскиваетъ въ словахъ нашей рѣчи звукоподражательные элементы, но видитъ въ этихъ послѣднихъ только основной матеріалъ рѣчи. „Но какъ и откуда взялись наименованія того, что не познается чувствами или же воспринимается не слухомъ, но иными чувствами, зрѣніемъ, обоняніемъ, вкусомъ?“ На этотъ вопросъ Вюльнеръ отвѣчаетъ анализомъ нѣсколькихъ корней, приходя къ заключенію, что „наименованія всего, не познаваемаго съ помощью слуха, возникли или путемъ переноса значенія, или такъ, что предметъ, производившій или вызывавшій при движеніи или соприкосновеніи какой-нибудь звукъ, назывался именно этимъ звукомъ: впрочемъ, этотъ послѣдній процессъ называется также перенесеніемъ значенія“. Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ книги Вюльнера, вышло второе изданіе сочиненій французскаго академика Нодье¹⁾, который въ своихъ „Замѣткахъ по лингвистикѣ“ (Notions de linguistique) попробовалъ сочетать въ вопросѣ о происхожденіи языка самыя разнообразныя точки зрѣнія. По его мнѣнію, человѣкъ былъ созданъ Богомъ, уже будучи одаренъ двойной способностью: мыслить и произносить свою мысль (de penser et de parler sa pensée), но первоначально это былъ языкъ восклицаній, „просто голосовой (simplement vocal) языкъ, какъ у животныхъ“. Такой языкъ—въ противоположность вышеприведенному замѣчанію о способности первобытнаго человѣка мыслить—былъ очень несовершененъ и выражалъ сначала только чувства голода, изумленія, гнѣва и т. под. Но словарь человѣка становился съ каждымъ днемъ богаче, увѣряетъ Нодье: именно, человѣкъ перешелъ отъ первоначальныхъ восклицаній къ звукоподражанію. Слѣдовать далѣе за теоріями Нодье не стоитъ: въ нихъ нѣтъ ничего новаго и ничего удивительнаго.

Исслѣдованіе Якова Гримма, одного изъ знаменитыхъ основателей германской филологіи, основано не на философскихъ построеніяхъ, но на изученіи историческаго развитія языковъ. Хотя оно появилось уже только въ 1851 году, однако я отношу его къ разсматриваемому въ настоящей

¹⁾ Oeuvres complètes de Charles Nodier. Edition corrigée et augmentée par l'auteur. Philologie. Notions de linguistique. 1834.

главѣ періоду, такъ какъ оно написано было Яковомъ Гриммомъ въ глубокой старости и отражало воззрѣнія эпохи романтизма. Вліяніе Гримма было такъ велико, что изложенію его трактата необходимо удѣлить вниманіе, а затѣмъ я закончу главу ученикомъ Гумбольдта, Гейзе, отъ котораго идетъ уже прямая линія къ Штейнталу и современной намъ разработкѣ вопроса ¹⁾. Гриммъ подходитъ къ своей темѣ съ большой осторожностью, указываетъ на ея трудности и разсматриваетъ различные взгляды, высказывавшіеся его предшественниками на происхожденіе языка. „Я доказалъ, говоритъ онъ (стр. 29), что человѣческій языкъ точно такъ же не можетъ быть непосредственно откровеннымъ, какъ и даннымъ человѣку Богомъ при его созданіи; прирожденный языкъ сдѣлалъ бы человѣка звѣремъ, откровенный предполагалъ бы въ немъ бога. Остается думать только одно: именно, что мы имѣемъ передъ собой человѣческій языкъ, приобрѣтенный нами самими совершенно свободно и лишь намъ обязанный своимъ происхожденіемъ и развитіемъ. Онъ не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ нашей исторіей, нашимъ достояніемъ“. Человѣка отдѣляетъ отъ міра животныхъ мышленіе и рѣчь, которыя находятся въ тѣснѣйшей зависимости другъ отъ друга. Но, если языкъ былъ изобрѣтенъ самимъ человѣкомъ, то является вопросъ, дѣйствительно, весьма существенный, но впервые выставленный Гриммомъ: восходятъ ли всѣ самые различные языки міра къ одному праязыку или къ нѣсколькимъ, и если къ одному, то одну ли человѣческую пару или нѣсколько надо представить себѣ создателями языка? На этотъ вопросъ Гриммъ отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что человѣчество должно восходить къ нѣсколькимъ парамъ родоначальниковъ, хотя доводы его представляются довольно мало убѣдительными.

„И происхожденіе языка объясняется гораздо легче, если въ образованіи его участвовали одновременно двѣ или три человѣческія пары и вскорѣ за тѣмъ ихъ дѣти, такъ что всѣ языковыя отношенія могли на мѣстѣ повторяться многократно (sich zahlreich vervielfachen); единство возникающаго правила не испытываетъ при этомъ никакой опасности, такъ какъ уже и въ первой человѣческой парѣ два индивидуума, мужчина и женщина, должны были изобрѣсти языкъ, и затѣмъ въ этомъ приняли участіе ихъ дѣти. Женщинамъ, которыя спустя нѣсколько поколѣній, особенно когда имѣлось уже нѣкоторое число паръ, охотно проявили свои собственные, кое въ чемъ отличныя отъ мужскихъ бытовыя особенности, — женщинамъ можно приписать уже съ раннихъ временъ извѣстныя черты говора, служащія для выраженія особенно имъ присущихъ понятій, что обнаруживается особенно отчетливо въ пракритѣ по сравненію съ санскритомъ. Но, какъ мы видимъ, во всѣхъ древнихъ языкахъ различаются мужскія и

¹⁾ Пользуюсь здѣсь изданіемъ сочиненія Гримма 1852: „Ueber den Ursprung der Sprache“. Aus den Verhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften vom Jahr 1851. 3 Auflage. 1852.

женскія окончанія (въ склоненіи и спряженіи), а это никоимъ образомъ не могло обойтись безъ вліянія женскаго пола на образованіе языка. Изъ отношенія же языковъ, которое даетъ намъ гораздо болѣе надежныя указанія на родство отдѣльныхъ народовъ, нежели всѣ историческіе документы, можно сдѣлать заключенія о первобытномъ состояніи людей въ эпоху творенія и созданія языка, которое происходило между ними... Мы замѣчаемъ въ языкахъ, на которыхъ памятники дошли до насъ отъ глубокой древности, два различныя и расходящіяся направленія, изъ которыхъ можетъ быть съ необходимостью выведено третье, нѣмъ предшествующее, но лежащее за предѣлами нашихъ свѣдѣній“.

Это было весьма рискованная позиція. Дѣлать на основаніи извѣстныхъ намъ языковъ, санскрита и зенда, греческаго и латинскаго и другихъ, принадлежащихъ къ одной индоевропейской семьѣ, заключенія о первобытномъ языкѣ самага первоначальнаго населенія міра можно было лишь при сравненіи съ обширнымъ матеріаломъ, извлеченнымъ изъ языковъ другихъ группъ, а Гриммъ этого какъ разъ и не дѣлаетъ. Онъ ограничивается сравненіемъ старыхъ индоевропейскихъ языковъ съ новыми, напр. готскаго съ нѣмецкимъ, и его поражаетъ богатство формъ въ старыхъ языкахъ, скудость ихъ въ современныхъ. „Если мы возьмемъ готскій языкъ IV вѣка и сопоставимъ его съ нашимъ современнымъ, то мы увидимъ тамъ благозвучіе и изящество (schöne Behendigkeit), здѣсь же, развившуюся на счетъ этихъ свойствъ, во много разъ большую выработанность рѣчи. Старая сила языка повсюду представляется уменьшившейся соразмѣрно тому, поскольку на мѣсто прежнихъ достоинствъ (даровъ, Gaben) и средствъ выступило нѣчто иное, выгоды чего точно также не должны быть преуменьшаемы“. Въ этомъ и заключаются тѣ два направленія, о которыхъ говоритъ Гриммъ, находящіяся здѣсь подъ вліяніемъ схемы В. Гумбольдта объ отношеніи формальнаго развитія рѣчи къ мысли. Это обнаруживается еще яснѣе въ дальнѣйшемъ изложеніи. „Было бы вредной ошибкой, и при изслѣдованіи первобытнаго языка она кажется мнѣ особенно опасной, возводить это совершенство формы къ еще болѣе древнему времени, доводя его до самага мнимаго рая. Напротивъ, взаимоотношеніе двухъ послѣднихъ языковыхъ періодовъ представляется въ слѣдующихъ чертахъ: какъ мѣсто флексіи завяло разложеніе ея, такъ и сама флексія должна была первоначально возникнуть изъ соединенія аналогичныхъ частей рѣчи. Поэтому, необходимо предположить не двѣ, а три ступени въ развитіи человѣческой рѣчи: первый періодъ—созданіе, какъ бы ростъ и систематизація корней и словъ, второй—расцвѣтъ достигшей совершенства флексіи, третій—влеченіе къ мысли, при чемъ флексія, какъ уже не удовлетворяющая своей цѣли, опять падаетъ, и то, что въ первый періодъ происходило наивно, а во второмъ достигло такого пышнаго расцвѣта въ соединеніи словъ и точныхъ мыслей, осуществляется (безъ грамматическихъ формъ) опять съ

болѣе яснымъ сознаниемъ“. Эта градація позволяетъ, по мнѣнію Гримма, заглянуть и въ первоначальный типъ человѣческаго языка. „Древнѣйшій языкъ былъ мелодиченъ, но расплывчатъ и безсвязенъ, средній—исполненъ сосредоточенной поэтической силы, а новый языкъ стремится возмѣстить ущербъ красоты гармоніей цѣлаго и оказывается въ состояніи достигнуть большаго съ меньшими средствами. Такимъ образомъ (по мнѣнію Гримма), покровъ, скрывающій происхождение языка, немножко разсѣянъ, но еще не совершенно снятъ“.

Въ попыткахъ возстановить первобытный характеръ языка Гриммъ оказывается также мало оригиналенъ. Онъ пытается установить психологическое значеніе звуковъ. „Очевидно, всѣмъ гласнымъ должно быть прописано женское, а всѣмъ согласнымъ мужское происхожденіе (Grund). Изъ согласныхъ *l* будетъ обозначать мягкое, *r* грубое“. (Grimm. 40). Переходя къ частямъ рѣчи, авторъ утверждаетъ, что древнѣйшими словами являются глаголы и мѣстоименія. Последнія представляютъ не замѣстителей имени, но начала всякаго имени. „Когда человѣкъ въ первый разъ произнесъ свое *я*, которое въ санскритѣ гласитъ *aham*, онъ возгласилъ его полной грудью съ присоединеніемъ придыханія, и всѣ изначально родственные языки остались вѣрны этому; только они ослабили чистое *a* или измѣнили характеръ гортаннаго звука“. Покончивъ съ мѣстоименіями, Гриммъ переходитъ къ глаголамъ, въ которыхъ онъ видитъ „величайшую и истинную силу языка“. То, что онъ говоритъ о глагольныхъ корняхъ, представляетъ ни на чемъ не основанную гипотезу. „Какой гласный и какой согласный звуки *изобрѣтатель захотѣлъ взять для глагола* (der erfinder für ein verbum nehmen wollte), зависѣло, помимо естественно прорывающейся и осуществляющейся органической силы (Gewalt) звука, главнымъ образомъ, отъ его произвола, который не могъ бы проявиться, если бы онъ зависѣлъ всегда и всецѣло отъ вліянія этой силы, но который самъ могъ осуществляться съ болѣе тонкимъ или болѣе грубымъ чувствомъ. Такимъ образомъ, въ этихъ простѣйшихъ законахъ образованія мы видимъ и здѣсь взаимопроникновеніе необходимости и свободы. Если, напр., въ санскритѣ корень *pā*, греч. *πιειν*, слав. *пити* выражаетъ понятіе пить, то ничто не препятствуетъ тому, чтобы другой языкоизобрѣтатель употребилъ вмѣсто этого *kā* или *tā*. Большая часть индогерманскихъ корней обладаетъ только историческими исконными правами на существованіе, которымъ могутъ оказать поддержку только органическія опредѣленія. Но истинно было предусмотрѣно, чтобы въ отдѣльныхъ языкахъ не имѣлось вовсе однозвучныхъ корней для одинаковыхъ представленій, или чтобы ихъ было мало; другими словами, изобрѣтатели не избирали по нѣскольку разъ тѣ же самые звуки для совершенно различныхъ представленій, что, непременно, привело бы къ путаницѣ“.

Такимъ образомъ, „изобрѣтатели“, которые постоянно фигурируютъ

у Гримма, оказываются, дѣйствительно, какими-то сознательными сочинителями языка. „Изъ всего, что люди изобрѣли и выдумали, взлелѣяли у себя и передали другимъ, что они произвели въ согласіи съ заложенной въ нихъ и сотворенной природой, языкъ представляется величайшимъ, благороднѣйшимъ и нужнѣйшимъ обладаніемъ. Непосредственно оставъ изъ человѣческаго мышленія (aus dem menschlichen denken emporgestiegen), прилѣпившись къ нему, идя съ нимъ въ ногу, языкъ сдѣлался общимъ достояніемъ и наслѣдіемъ всѣхъ людей“: такъ резюмируетъ свой взглядъ Гриммъ (52—53 стр.). Съ современной точки зрѣнія, эти построения знаменитаго нѣмецкаго филолога представляются довольно шаткими: теорія Гумбольдта была, дѣйствительно, большимъ шагомъ впередъ, но Гриммъ внесъ только одно методологическое усовершенствованіе въ разрѣшеніе вопроса, именно: онъ предложилъ морфологическую реконструкцію первобытнаго языка. Этимъ, мнѣ кажется, и ограничивается вкладъ Гримма въ разработку этой проблемы, психологическое же обоснованіе его взглядовъ чрезвычайно слабо.

Въ тридцатыхъ же годахъ выработалось научное міросозерцаніе К. Гейзе, который воспитался на философіи Гегеля и Шеллинга и былъ ученикомъ основателя индоевропейскаго сравнительнаго языкознанія Боппа. Въ молодости Гейзе стоялъ довольно близко къ В. Гумбольдту, сына котораго онъ училъ, и въ домѣ котораго онъ жилъ нѣсколько лѣтъ. Въ 1829 г. Гейзе сдѣлался экстраординарнымъ профессоромъ въ Берлинскомъ университетѣ, гдѣ нѣсколько разъ читалъ курсы по философіи языкознанія. Уже послѣ его смерти, послѣдовавшей въ 1855 году, Штейнталь издалъ его главный трудъ „Система языкознанія“¹⁾, основанный на многолѣтнихъ предшествовавшихъ работахъ. Въ виду всего этого я считаю правильнымъ отнести и это изслѣдованіе къ тому періоду романтической философіи и науки, которому посвящена, въ своей послѣдней части, настоящая глава, хотя, напр., изслѣдованіе Ренана появилось раньше. Главѣ, посвященной вопросу о происхожденіи языка, въ „Системѣ“ Гейзе предшествуютъ главы, выясняющія сущность языка и его необходимость для человѣка и цѣлаго общества. „Человѣкъ отличается отъ животнаго своимъ разумнымъ умомъ. Тотъ фактъ, что у животнаго отсутствуетъ этотъ послѣдній, доказывается вполне опредѣленно неспособностью животнаго къ совершенствованію. Птицы строятъ свои гнѣзда, а пчелы свои соты и теперь такъ же, какъ онѣ это дѣлали тысячелѣтія тому назадъ. Ихъ поведеніе опредѣлено природой, а не самоопредѣленіемъ: отсюда вытекаетъ отсутствіе прогрессирующаго саморазвитія, отсутствіе исторіи. Человѣкъ отличается внѣшнимъ образомъ отъ животнаго языкомъ. Животное не имѣетъ языка такъ же, какъ не обладаетъ разумнымъ духомъ. Уже отсюда можно заключить, что

¹⁾ System der Sprachwissenschaft von K. W. L. Heyse. Nach dessen Tode herausgegeben von Dr. H. Steinthal. Berlin. 1856.

языкъ находится въ тѣснѣйшей связи съ разумнымъ духомъ, что, по существу своему, языкъ является выраженіемъ не ощущающей души (*empfindenden Seele*), но свободнаго духа“. Изъ этого основнаго положенія вытекаютъ дальнѣйшіе взгляды Гейзе на языкъ. „Бросимъ еще одинъ взглядъ, говорить онъ, на противоположность мышленія и ощущенія. Содержаніе языковаго выраженія составляютъ, по существу, мысли, духовныя представленія и понятія, а не чувства и ощущенія. Но какъ выражаются эти послѣднія? И не можетъ ли это выраженіе происходить также съ помощью языка? На это слѣдуетъ отвѣтить такъ: непосредственнымъ выраженіемъ ощущенія служатъ *естественные звуки*, *Naturlaute* (звуки ощущенія, *Empfindungslaute*, аналогичные животнымъ звукамъ) и восклицанія, *Töne*, которыя еще не образуютъ языка. Поэтому, междометія представляютъ нѣчто постороннее другимъ элементамъ языка; они не стоятъ ни въ этимологической, ни въ синтаксической связи со словами разумнаго языка. Если же они вступаютъ въ видѣ исключенія въ связь съ остальнымъ языкомъ, то оказывается, что они уже измѣнили свою первоначальную природу. Ср. напр., наше *weh!* съ лат. *vae*, греч. *ohai*. Если ощущеніе должно быть выражено съ помощью разумнаго языка, то оно уже не выражается непосредственно, какъ таковое, но высказывается, черезъ посредство мыслящаго духа, въ формѣ мысли. Ср. восклицаніе *ach!* съ предложениемъ: *я страдаю*, въ которомъ ощущеніе, черезъ посредство мысли, представляется, высказывается *отвлеченнымъ образомъ*, а не выражается непосредственно, такъ какъ сознательный умъ размышляетъ надъ этимъ и разумно анализируетъ непосредственное чувственное впечатлѣніе“.

Опредѣливъ, такимъ образомъ, сущность человѣческаго языка, какъ выраженіе разума, присущаго человѣчеству, но отсутствующаго у всего остальнаго животнаго міра, Гейзе долженъ былъ отрицать эволюцію языка отъ восклицанія къ слову-символу. Онъ близокъ къ В. Гумбольдту, когда полагаетъ, что „мы можемъ изслѣдовать только то, въ какой связи къ человѣческой природѣ стоитъ языкъ, но не то, какъ человѣкъ пришелъ къ языку; вѣдь не задаютъ же себѣ вопроса, какъ вообще человѣкъ пришелъ къ своей человѣческой природѣ, къ употребленію своихъ органовъ чувствъ и т. д.“. Правда человѣческой умъ, какъ мы знаемъ, не удовлетворился подобнымъ отказомъ отъ изслѣдованія, но захотѣлъ изслѣдовать и то, какъ человѣкъ приобрѣлъ свою человѣческую природу, и какъ были приобрѣтены органы чувствъ; но Гейзе былъ чуждъ этой эволюціонной точкѣ зрѣнія и не допускалъ даже мысли о связи первоначальнаго человѣческаго языка съ животными криками. Въ предѣлахъ человѣческой исторіи, однако, вопросъ о происхожденіи языка неразрѣшимъ. „Исторически мы ничего не можемъ знать о немъ. У всѣхъ намъ извѣстныхъ, даже самыхъ дикихъ племенъ мы находимъ уже совершенно и часто богато развитой

языкъ. Мы нигдѣ не можемъ наблюдать его первоначальное возникновеніе. И постепенное развитіе языка у дѣтей не можетъ дать намъ удовлетворительное объясненіе“. Къ этому Гейзе прибавляетъ, что каждый отдѣльный, конкретный языкъ является фактически продуктомъ самой человѣческой природы подъ вліяніемъ физическихъ, климатическихъ и географическихъ факторовъ. Но это еще не разрѣшаетъ вопроса о самомъ происхожденіи человѣческаго языка. Разсмотрѣвъ различныя теоріи по этому вопросу, Гейзе приходитъ къ убѣжденію, что „всеобщій духъ (*Jener allgemeine Geist*), существенно присущій человѣку разумъ, создаетъ себѣ языкъ въ силу внутренней потребности и путемъ естественнаго развитія, подчиняясь влеченію къ дѣятельности, которое существеннымъ образомъ принадлежитъ его субстанціи. Такимъ образомъ, не физической организмъ человѣка и не субъективный духъ его представляетъ творящее и образующее начало (принципъ) языка, но созданіе языка совершается съ необходимостью, безъ обдуманнаго намѣренія и яснаго сознанія, въ силу внутренняго *инстинкта духа*, т. е. въ формѣ органической естественной необходимости. Противорѣчіе между теоріями божественнаго и человѣческаго происхожденія языка оказывается возведеннымъ здѣсь (въ этомъ взглядѣ) къ высшему единству“. Доказывая то, что оставилъ безъ разъясненія В. Гумбольдтъ, Гейзе задаетъ вопросомъ, когда же именно, на какой стадіи своего духовнаго развитія, первобытный человѣкъ создалъ языкъ. „Въ своемъ первоначальномъ состояніи, полагаетъ Гейзе, человѣкъ не долженъ представляться намъ только ощущающимъ естественнымъ созданіемъ. Съ перваго же момента своего бытія онъ является, согласно своей сущности, самостоятельнымъ, разумнымъ существомъ и долженъ, какъ таковое, выражаться. Поэтому, и происхожденіе языка должно прямо совпадать съ происхожденіемъ человѣческаго рода, а этотъ послѣдній нельзя мыслить, какъ пребывающій долгое время въ звѣроподобномъ естественномъ состояніи, изъ котораго онъ только медленно и съ трудомъ пробуждается для сознательной жизни“.

Такимъ образомъ, пропасть между животной и человѣческой психической жизнью, которую вырылъ Декартъ, и на которой строили свои представленія о началѣ языка Гердеръ, Гумбольдтъ и Гейзе, привела къ тому, что на вопросъ: *какъ* возникъ человѣческой языкъ, это направленіе не могло уже дать никакого отвѣта. Оно ясно и опредѣленно показало, *почему* человѣкъ говоритъ, а животное нѣтъ, но *какъ* онъ заговорилъ впервые, ни Гумбольдтъ, ни Гейзе не могли сообщить. Дальнѣйшее развитіе языка, „какъ психологическо-физиологическаго процесса“ (Heuse. 66), было болѣе ясно, но происхожденіе его терялось въ такой же тайнѣ, какъ и происхожденіе человѣка. Эта точка зрѣнія, въ сущности, была уже не очень далека отъ утвержденія Гаманна, что первоисточникъ всѣхъ человѣческихъ способностей есть Божье творчество. Отказъ Гейзе и Гаманна углуб-

даться дальше сводился все къ той же противоположности между человѣческимъ и животнымъ, изъ которой исходилъ и библейскій рассказъ о названіи Адамомъ звѣрей въ раю ихъ именами. Естественно, что съ этой точки зрѣнія всякія попытки объяснить постепенное творчество языка встрѣчали рѣзкую критику со стороны Гейзе. Такъ, Фихте (въ изслѣдованіи „О языковой способности и происхожденіи языка“, появившемся въ 1795 г.) высказалъ правильную мысль что цѣлыя тысячелѣтія должны были пройти раньше, чѣмъ „праязыкъ сдѣлался языкомъ для уха“, т. е. чѣмъ инстинктивные звуки превратились для самого говорящаго и для окружающихъ въ символы, элементы рѣчи. Фихте же настаивалъ на томъ, что человѣчскій языкъ возникалъ постепенно, что въ созданіи его важную роль играли вожди, начальники племенъ и т. д.,—мысль, которая, какъ мы знаемъ, подтверждается современной этнологіей. Для Гейзе это объясненіе представляется „вполнѣ ошибочнымъ“ (*grundfalsche ansicht*), такъ какъ Фихте исходитъ изъ первоначальности, независимости въ чело-вѣкѣ разума, который предшествуетъ языку. Между тѣмъ, такой упрекъ былъ справедливъ лишь постольку, поскольку Фихте говорилъ о наличности другихъ символовъ взаимопониманія, предшествующихъ языку; къ представленіямъ же его о *постепенномъ* человѣческомъ образованіи языка онъ непримѣнимъ. Не согласенъ также Гейзе съ ученіемъ Бекера („*Organism der Sprache, als Einleitung zur deutschen Grammatik*“. 1827) объ органической необходимости рѣчи при мысли, и съ М. Вохеромъ („*Allgemeine Phonologie oder natürliche Grammatik der menschlichen Sprache*. 1841), который сводилъ происхожденіе языка только къ образованію звуковъ. Подробнѣе въ анализъ двухъ послѣднихъ¹⁾ изъ названныхъ

¹⁾ *K. Becker. Organism der Sprache. Zweite neubearbeitete Ausgabe. 1841* (посвящено В. Гумбольдту). § 1 содержитъ такія положенія: „Произносимый языкъ представляетъ собою образованное (*ein Gewordenes*) вслѣдствіе дѣятельности говоренія и вмѣстѣ съ тѣмъ, собственно, еще и теперь въ каждый моментъ *образующееся* (*ein Werdendes*) вслѣдствіе этой же дѣятельности... Дѣятельность говоренія есть *органическая* дѣятельность (*eine organische Verrichtung*), т. е. одна изъ тѣхъ дѣятельностей говорящихъ существъ, которыя возникаютъ съ внутренней необходимостью изъ самой жизни вещи и притомъ цѣлью своей имѣютъ жизнь этой самой вещи, при чемъ только благодаря этимъ дѣятельностямъ вещь можетъ пребы-вать въ присущемъ ей состояніи. Дѣятельность говоренія вытекаетъ съ внутренней необходимостью изъ органической жизни людей: „человѣкъ говоритъ, потому что онъ мыслить“.

M. Wocher (Th. Lic., лиценціатъ богословія). *Allgemeine Phonologie oder natürliche Grammatik der menschlichen Sprache*. 1841. Вопросу о происхожденіи языка посвященъ § 67, который развиваетъ теорію звукоподражанія съ нѣкоторыми модификаціями. Такъ, на стр. 400—401 Вохеръ говоритъ слѣдующее: „Не только чувства, но и *представленія* о безчисленныхъ чувственныхъ впечатлѣніяхъ и воспріятіяхъ внутренняго характера, которыя сопровождалась живымъ чувствомъ, успѣла фантазія, развлекаю-

сочиненій я входить не буду и упоминаю о нихъ только для полноты обзора литературы эпохи Просвѣщенія, энциклопедистовъ и романтизма, посвященной вопросу о происхожденіи языка. Какъ мы видимъ, изъ этого обзора, въ эту эпоху намѣтились три основныя направленія: эволюціонное, строившее мостъ отъ звѣринаго крика къ человѣческому слову, историческое, стремившееся отъ изученія структуры человѣческихъ языковъ восходить къ характеру первоначальнаго языка, и наконецъ, психологическое, полагавшее, что въ самомъ существѣ человѣческаго разума, у животныхъ отсутствующаго такъ же, какъ и языкъ, лежитъ непознаваемое далѣе начало человѣческой рѣчи. Всѣ эти построенія не столько сводились къ объективному научному изслѣдованію вопроса, какъ такового, сколько исходили изъ философскаго мировоззрѣнія ихъ авторовъ, и потому именно они изложены въ совокупности своей въ настоящей главѣ.

ГЛАВА XVI.

Дальнѣйшее развитіе ученій о происхожденіи языка (въ 19-мъ и началѣ 20-го столѣтія).

Въ этой главѣ, какъ и въ предыдущихъ, я буду придерживаться по возможности хронологическаго порядка, дѣлая исключенія лишь въ немногихъ случаяхъ, когда вслѣдъ за основателемъ школы будетъ необходимо перечислить его приверженцевъ. Выясненіе главнѣйшихъ направленій въ изслѣдованіи происхожденія языка при такомъ изложеніи, какъ мнѣ кажется, становится нагляднѣе, чѣмъ при распредѣленіи этихъ взглядовъ по извѣстнымъ категоріямъ (какъ это дѣлаютъ Реньо, Гисвейнъ, Вундтъ и др.). Дѣло въ томъ, что въ настоящее время едва ли возможно примыкать цѣлкомъ къ тому или другому направленію въ изученіи специальнаго научнаго вопроса, не считаясь съ тѣми данными, которыя предложены наукой, въ какомъ бы направленіи ни изслѣдовался вопросъ. Лингвистъ Шлейхеръ считается съ теоріей происхожденія видовъ, созданной Дарвиномъ, клерикальный католическій ученый Гисвейнъ считаетъ себя обязаннымъ вносить поправки въ ортодоксальную точку зрѣнія на божественное внушеніе человѣческаго языка и т. п. Поэтому,

шающаяся звуками, творящая и живописующая (*die sich im Laute vergnügende, schaffende und malende Phantasie*), фиксировать, согласно интеллектуальной потребности, въ разнообразныхъ и опредѣленныхъ артикуляціяхъ звука. И когда накопился извѣстный запасъ такихъ элементовъ рѣчи, то въ немъ заключался стимулъ для дальнѣйшаго развитія и какъ фонетической, такъ и интеллектуальной разработки ихъ, а также къ перенесенію и примѣненію удачной символики (звуковъ) ко многимъ предметамъ внѣшняго міра и къ абстрактнымъ понятіямъ, и вообще ко всемъ видамъ мыслей и чувствъ“.

лишь въ рамкахъ общаго развитія науки можно опредѣлить вѣсь и значеніе каждаго изъ изслѣдованій въ данной области и отмѣтить то накопленіе знаній, которое привело къ послѣднимъ изъ современныхъ намъ теорій происхожденія человѣческой рѣчи. Послѣдняя половина 19 вѣка и начало 20-го: вотъ тѣ хронологическіе предѣлы, которые должно охватить содержаніе настоящей главы. Однако, мнѣ придется заглянуть нѣсколько раньше и начать съ Ренана, который въ 1848 году выступилъ съ интереснымъ изслѣдованіемъ по этому вопросу¹⁾. Я не упоминалъ о немъ раньше, потому что Ренанъ стоитъ внѣ тѣхъ философскихъ міровоззрѣній, которымъ была посвящена предшествующая глава. Ренанъ заявляетъ уже въ предисловіи къ своему опыту, что онъ хочетъ базироваться только на данныхъ науки, именно на результатахъ науки сравнительнаго языкознанія. Ренанъ становится въ этомъ трудѣ на эволюционную точку зрѣнія. „Подобно тому, какъ на ряду съ наукой объ органахъ и ихъ отправленіяхъ существуетъ другая наука, обнимающая исторію ихъ образованія и развитія, точно также и наряду съ психологіей, пытающейся описать и распредѣлить явленія и функціи душевныя, слѣдовало бы создать исторію началъ (эмбриологію) ума человѣка, которая изслѣдовала бы появленіе и первое движеніе способностей, представляющихъ теперь столь правильную дѣятельность“. На чемъ же можетъ базироваться такое изученіе зародышей духовной жизни человѣчества?

По мнѣнію французскаго ученаго, на послѣдовательности эволюціи человѣчества, различные этапы которой встрѣчаются при изученіи этнологіи и теперь. „Для того, кто захочетъ научнымъ образомъ построить теорію о первоначальныхъ возрастахъ человѣчества, дитя и дикарь должны составить два великіе предмета для изученія“. Далѣе, Ренанъ настаиваетъ на изученіи матеріала, представляемаго современными языками. „Правда, первичные языки съ психологическимъ содержаніемъ, какое они представляли, исчезли для науки, и никто, конечно, не станетъ теперь вмѣстѣ съ древней филологіей гоняться за ними. Но, что между идиомами (нарѣчьями), знаніе которыхъ возможно для насъ, одни болѣе другихъ сохранили слѣды тѣхъ законовъ, которые дѣйствовали въ пору рожденія языка,—это ужъ не гипотеза, а фактъ очевидный. Такъ какъ произволь не могъ имѣть никакого мѣста въ изобрѣтеніи и образованіи языка, то поэтому не существуетъ между нашими самыми испорченными идиомами ни одного, который бы не имѣлъ прямого генеалогическаго отношенія къ какому-либо изъ языковъ, коими говорили праотцы рода человѣческаго“. Какъ видно изъ этихъ словъ, Ренанъ противопоставлялъ философскимъ умозрѣніямъ нѣмецкихъ ученыхъ факты реальнаго знанія,

¹⁾ Пользуюсь здѣсь русскимъ переводомъ „О происхожденіи языка“ въ переводѣ А. П. Чудинова. Воронежъ. 1865.

которые, вообще, могутъ получать свое объясненіе лишь при условіи закономѣрности ихъ. Отсюда вытекаетъ настойчивость, съ которой онъ отрицаетъ возможность произвола въ сочиненіи языка, гдѣ бы и когда бы оно ни происходило. Важно въ методологическомъ отношеніи и то, что Ренанъ говоритъ о способахъ возстановленія праязыка. „Было бы нелѣпостью пытаться отыскать слѣды первобытнаго міра сквозь сѣть преобразованій, которою укрыты многіе языки, сквозь безчисленныя силы смѣшеній, встрѣчаемыхъ мѣстами и въ народахъ, и въ идиомахъ. Но есть языки, сохранившіеся вслѣдствіе большей устойчивости органовъ, языки съ менѣе переменчивымъ механизмомъ, которыми говорятъ народы, находящіеся почти въ неподвижномъ состояніи. Эти языки существуютъ и теперь какъ бы свидѣтелями, послѣднимъ оговориться, не какого-либо общепервобытнаго языка или одного какого-нибудь первобытнаго языка, но *первобытныхъ процессовъ*, помощью которыхъ человѣкъ успѣлъ придать своей мысли внѣшнее, общественное выраженіе. Я говорю—*первобытность процессовъ*, потому что относительно самихъ языковъ нечего и надѣяться достигнуть этого когда-нибудь. Подобно тому, какъ геологи ошиблись бы, опредѣляя центръ земнаго шара составленнымъ изъ тѣхъ же элементовъ, которые встрѣчаются въ послѣднихъ, доступныхъ опыту глубинахъ,—точно также было бы смѣлымъ считать положительно первобытными тѣ языки, которые въ средѣ извѣстнаго семейства занимаютъ древнѣйшее мѣсто“. Эти положенія Ренана заслуживаютъ особеннаго вниманія. По сравненію съ предшествовавшими изслѣдованіями языка, какъ особенности, присущей человѣческому разуму и съ нимъ одновременно и какъ то таинственно возникающей, вмѣсто поисковъ тѣхъ первоначальныхъ элементовъ, изъ которыхъ, какъ изъ словъ, долженъ былъ состоять первобытный языкъ, французскій ученый выставляетъ принципъ современнаго знанія, изученія *законмѣрности* явленій, тѣхъ *общихъ законовъ*, по которымъ языкъ развивается теперь, и которые обусловили самое его возникновеніе. Ренанъ исходитъ изъ присущей человѣку потребности обозначать внѣшнимъ образомъ свои мысли и чувства: „все, что онъ думаетъ, выражается имъ внутреннимъ и внѣшнимъ образомъ“. Дальше онъ не идетъ. Дѣйствительно ли человѣку присуща эта потребность отъ природы или она приобрѣтена имъ впоследствии, и когда именно: въ эти вопросы Ренанъ не вдается, хотя, конечно, для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка они имѣютъ первостепенное значеніе. Вѣдь, суть дѣла именно въ томъ, что человѣкъ обладаетъ потребностью передавать, сообщать другимъ содержаніе своего сознанія. Совсе не важно, какіе знаки для осуществленія этой задачи употребляетъ человѣкъ: мимику, жесты, или какіе-нибудь звуки. Важно лишь то, что такая, чуждая всему животному міру потребность констатируется у всего человѣчества, *нынѣ извѣстнаго наукѣ*. Такъ что слѣдовало бы, прежде всего, разяс-

нить природу этой удивительной человеческой потребности. Ренанъ, видимо, просто не замѣчаетъ этой необходимости. „Въ самомъ дѣлѣ, мы же признаемъ за животными самобытность ихъ крика, почему же отказать человѣку въ самобытности его слова? Почему упорно желать видѣть въ немъ лишь подражаніе первому (т. е. звѣриному крику)? Было бы нелѣпо считать изобрѣтеніемъ примѣненіе, какое сдѣлалъ человѣкъ для себя изъ органовъ зрѣнія и слуха; не менѣе нелѣпо считать таковымъ и примѣненіе слова, какъ средства для передачи *нашихъ* мыслей. Человѣкъ *имѣетъ способность* выражать свой внутренній, духовный міръ извѣстными знаками, способность рѣчи, подобно тому, какъ имѣетъ способность видѣть и слышать; слово есть орудіе первой, такъ какъ глазъ и ухо—органы двухъ другихъ. Употребленіе рѣчи столько же есть плодъ размышленія, сколько употребленіе различныхъ органовъ тѣла—результатъ опыта. Не можетъ быть двухъ языковъ: языка естественнаго и языка искусственнаго; природа, раскрывая передъ нами цѣль, въ тоже время даетъ намъ и средства къ ея достиженію“.

Конечно, это не отвѣтъ на вложенные выше вопросы. По словамъ Ренана, выходитъ такъ, что человѣкъ такъ же говоритъ словами, какъ видитъ и слышитъ, т. е. инстинктивно или въ силу самаго устройства органовъ. Но при такомъ пониманіи дѣла какъ же онъ могъ говорить объ эволюціи человеческой рѣчи и о законмѣрности этой эволюціи? Вѣдь слухъ человеческій, зависящій отъ устройства слухового органа, не эволюционировалъ; пока не измѣнялось строеніе глаза, не эволюционируетъ и зрѣніе. И звуки человеческого голоса остаются тѣми же, пока неизмѣнными пребываютъ его голосовые органы. А рѣчь эволюционируетъ, и самъ Ренанъ это признаетъ. Стало бытъ, аналогія способности говорить способности слышать оказывается неподходящей, а вѣдь Ренанъ имѣетъ въ виду не аналогію, а отождествленіе. Какъ можно было назвать слово „орудіемъ“ (органомъ) рѣчи, подобно глазу—орудію зрѣнія, когда слово—есть, напротивъ, продуктъ рѣчи, какъ дѣятельности, какъ творчества. Такъ, законмѣрность эволюціи, установленная Ренаномъ, можетъ быть примѣнена лишь къ уже существующему языку; для объясненія же вопроса объ его происхожденіи она, какъ видимъ, не даетъ ничего. вмѣсто этого онъ повторяетъ все тѣ же самыя положенія: „Чѣмъ уже былъ первоначально кругъ полученныхъ воззрѣній, тѣмъ легче могло укрѣпиться сочетаніе звука съ воззрѣніемъ, и поступи и звуки (sein Thun und sein Tönen) соединились у человѣка въ одну неразрывную цѣпь“.

Въ развитіи языка Лацарусъ усматриваетъ три ступени, патогномическую, оноματοпозитическую и характеризующую. Здѣсь не мѣсто вдаваться въ подробное изложеніе этой теоріи, и я намѣчу лишь въ главныхъ чертахъ, что имѣлъ въ виду Лацарусъ, говоря о ступеняхъ въ развитіи языка. „Самая ранняя и нижняя изъ нихъ есть междометіе. Если еще и те-

перь мы обратимъ вниманіе на характеръ, какой имѣетъ эта часть рѣчи въ нашемъ развитомъ языкѣ, то она представится намъ послѣднимъ остаткомъ первоначальной стадіи въ образованіи языка, по крайней мѣрѣ, отраженіемъ ея; вѣдь междометія являются, по большей части, не передающимися изъ поколѣнія въ поколѣніе, не заученными, но естественными, первоначальными звуками: они произносятся непроизвольно, какъ долженъ былъ произноситься, по нашему представленію, весь цѣликомъ первоначальный языкъ; они пополняются вѣв всякой традиціи; они заключаютъ значеніе сами въ себѣ, безъ всякаго условнаго элемента. Но, если приглядѣться къ нимъ ближе, обнаруживается, что, хотя междометія и составляютъ начало языка, но именно лишь начало его; они не открываютъ возможности дальнѣйшаго развитія, дальнѣйшаго прогресса. Это—непосредственное выраженіе воспринятаго чувственнаго впечатлѣнія; междометіе состоитъ изъ одного звука, который не *обозначаетъ* чувства, но лишь указываетъ на него; вырвавшійся крикъ боли не есть *знакъ*, но есть *результатъ* боли. И хотя, какъ указано, языкъ возникаетъ изъ такого непосредственнаго выраженія, однако, истинный характеръ языка обнаруживается лишь тогда, когда звукъ перестаетъ быть непосредственнымъ выраженіемъ, когда онъ, превращаясь въ слово, дѣлается уже не просто указаніемъ (на предметы, вызвавшій раздраженіе), но представляетъ значеніе и символъ внутренняго содержанія“ (2 изд., стр. 112—113).

Дѣтская рѣчь, какъ мы видѣли выше, начинается съ крика, какъ выраженія возбужденія; потомъ этотъ крикъ становится спутникомъ жеста, сопровождающаго эмоцію (ребенокъ тянется къ предмету и кричитъ); крикъ не означаетъ чего-либо, но указываетъ на источникъ эмоціи: это третья стадія въ развитіи дѣтской рѣчи, и наконецъ, съ помощью говорящей среды, крикъ превращается въ слово, въ сказуемое къ содержанію сознанія, которое имѣетъ здѣсь значеніе подлежащаго, субъекта. Такимъ образомъ, не объяснивъ тайны возникновенія рѣчи, Лацарусъ, тѣмъ не менѣе, справедливо отмѣтилъ, что исходнымъ пунктомъ въ созданіи ея должно было служить рефлекторное восклицаніе. Не правъ онъ, однако, полагая, что междометія совершенно лишены условнаго характера. При анализѣ рѣчи дикихъ народовъ мы имѣли случай не разъ убѣдиться въ томъ, что одни и тѣ же чувства выражаются въ разныхъ мѣстахъ различными мѣстоименіями. Стовъ повсюду выражаетъ боль и страданіе, смѣхъ соотвѣтствуетъ вездѣ одинаковымъ эмоціямъ, но междометіе не есть стонъ или другой рефлекторный звукъ; междометіе, *какъ слово*, представляетъ такой же объектъ взаимнаго соглашенія въ качествѣ обозначенія чувства, названія, какъ и всякое другое слово. Отъ мѣстоименія, можетъ быть, и нельзя исходить въ разрѣшеніи проблемы происхожденія рѣчи, отъ крика же, конечно, возможно: кричать безсловесныя дѣти, кричать животныя.

Такова, по мнѣнію Лацаруса, первая ступень въ развитіи языка, но

„настоящий языкъ, говорить онъ, начинается тогда, когда выраженіе ощущенія (или нѣсколькихъ ощущеній, т. е. воззрѣнія) означаетъ уже не ощущение, но предметъ, который вызвалъ ощущение и его выраженіе“. О томъ, какъ это могло произойти, мы находимъ у Лапаруса слѣдующія объясненія: „Процессъ настоящаго образованія рѣчи основывается не только на первоначальной природѣ ощущенія; къ ощущеніямъ должны присоединиться еще психическіе процессы для того, чтобы рефлекторный звукъ приобрѣлъ свое значеніе (слова)“. Эти процессы заключаются въ звукоподражаніи. „Въ междометіяхъ мы имѣемъ выраженіе только *чувства*, но въ оноματοпэтическомъ звукѣ мы имѣемъ выраженіе *воззрѣнія, возбуждающаго чувство*. Тамъ чувство совершенно завладѣваетъ душой и задерживаетъ, и подавляетъ воззрѣніе, по крайней мѣрѣ, настолько, что оно уже не получаетъ выраженія; здѣсь же господствуютъ свобода и возбужденіе души, и если чувство приводитъ къ созданію звука, то этотъ послѣдній предполагаетъ ясность воззрѣнія и служить ему выраженіемъ“. Для того, чтобы выяснитъ сущность звукоподражанія, какъ фактора образованія рѣчи, Лапарусъ касается психологій глухонѣмого человѣка, съ одной стороны, и говорящихъ животныхъ (птицъ) съ другой. „Глухонѣмой испытываетъ внутреннее возбужденіе души съ помощью ощущеній и воззрѣній и обладаетъ органическимъ стремленіемъ выразитъ ихъ въ рефлекторныхъ движеніяхъ, но только не въ движеніяхъ голосовыхъ органовъ, потому что у него отсутствуетъ слуховой органъ; эти же (говорящія животныя) испытываютъ лишь возбужденіе слуха, и ихъ единственный рефлексъ на него заключается въ ихъ голосѣ, однако, безъ всякаго внутренняго, относящагося сюда возбужденія ощущеній. Между этими двумя разрядами существъ стоитъ обладающій слухомъ и потому говорящій человѣкъ; поэтому его звукоподражаніе не есть рефлексъ просто воспринятыхъ звуковъ, но рефлексъ воззрѣнія (*Anschauung*) *звукоиздающаго существа*, воззрѣнія, возникающаго въ услышанныхъ звукахъ и вмѣстѣ съ услышанными звуками. Что касается психическаго процесса, который долженъ привести къ творчеству языка, то звукоподражаніе стоитъ, такимъ образомъ, на одномъ уровнѣ съ тѣми звуками, которые созданы рефлекторнымъ движеніемъ и вызваны созерцаніемъ не звучащихъ предметовъ“.

(2-е изд. 123).

Изъ этихъ словъ видно, что Лапарусъ понимаетъ подъ звукоподражаніемъ весьма сложный психическій процессъ, который не покрывается обычными представленіями о звукоподражаніи, какъ копированія голосомъ услышанныхъ звуковъ. Къ сожалѣнію, я не могу здѣсь остановиться на подробностяхъ дальнѣйшихъ разсужденій Лапаруса, посвященныхъ этому вопросу и въ высшей степени заслуживающихъ вниманія языковѣда-психолога. Но я считаю необходимымъ привести его отвѣтъ на вопросъ о томъ, какимъ образомъ устанавливается тѣсная связь между звукомъ и значе-

ніемъ. Вмѣстѣ съ Штейнталемъ Лапарусъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что „связь воспріятія съ рефлекторнымъ звукомъ заключается въ чувствѣ“. Весьма характерно, что въ первомъ изданіи своего труда Лапарусъ не обратилъ должнаго вниманія на этотъ вопросъ и, минуя вышеприведенное заключеніе, весьма обстоятельно распространился о характерѣ и значеніи звукоподражанія въ созданіи языка. „Воспріятію каждаго простѣйшаго, а въ еще большей мѣрѣ каждаго болѣе сложнаго звукового образа присуще какое-нибудь чувство, которое находится въ родствѣ съ чувствомъ, даннымъ вмѣстѣ съ воспріятіемъ объекта. Это данное въ чувствѣ родство между звукомъ и значеніемъ служить самой глубокой причиной ихъ соединенія и ассоціаціи“, полагаетъ Штейнталь (въ трудѣ „*Abriss der Sprachwissenschaft*“). Стало быть, особое чувство, связанное какъ съ воспріятіемъ предмета, такъ и со звукомъ, который почему-либо явился рефлексомъ этого чувства, составляетъ соединительное звено между ними и является причиной, почему звукъ становится выраженіемъ какъ этого чувства, такъ и воспріятія, сопровождающаго чувство; другими словами, благодаря этому процессу соединенія, звукъ превращается въ *значущій звукъ*, въ слово. „Звуковой образъ и предметный образъ (*die Lautanschauung und die Sachanschauung*), несмотря на различіе ихъ элементовъ, ихъ содержанія и ихъ состава, оказываются обняты, какъ одно цѣлое, единствомъ чувства. И такъ какъ чувство бываетъ наиболѣе часто и наиболѣе непосредственно господствующимъ (состояніемъ) въ душѣ простаго человѣка, то вслѣдствіе этого оно распоряжается и наименованіемъ (*hält er auch den Namen*) недѣлимой сущности вещи“ (loc. cit. 137). Какъ мнѣ кажется, разрѣшеніе проблемы происхожденія языка въ нѣкоторой степени заключается въ вышеприведенныхъ заключеніяхъ, но лишь въ нѣкоторой степени: именно, чувство, какъ уже было отмѣчено мною въ началѣ изложенія взглядовъ Лапаруса, обладаетъ слишкомъ общей природой, чтобы соответствовать въ полной мѣрѣ различію воспріятій: съ воспріятіями нападающаго льва и тигра свяжется одно чувство, а слѣдовательно и одинъ рефлекторный звукъ, который долженъ превратиться, по теоріи Штейнталья-Лапаруса, въ наименованіе объекта этого воспріятія. Далѣе, тотъ процессъ, о которомъ говоритъ приведенное мною извлеченіе, совершается или можетъ совершаться и въ сознаніи животнаго, а между тѣмъ это послѣднее не говоритъ. Слѣдовательно, лишь съ извѣстнымъ ограниченіемъ эти взгляды могутъ быть примѣнены къ разрѣшенію вопроса о происхожденіи языка. Ограниченіе это должно состоять, по моему мнѣнію, въ указаніи именно на самую общую связь *группы* воспріятій съ соответствующими звуками, изъ которыхъ часть можетъ быть рефлекторнаго, междометнаго, часть звукоподражательнаго происхожденія. Если же эта связь укрѣпилась, то объясненіе этого факта надо искать какъ въ особой воспримчивости къ раздраженіямъ, присущей человѣческой психикѣ въ от-

личіе отъ животныхъ, т. е. въ такой нервной организаціи его, которая превышаетъ нервную воспримчивость другихъ животныхъ, такъ и въ связанной, вѣроятно, съ этой силой воспріятій живостью и прочностью ассоціацій у человѣка. Такимъ образомъ, сначала чувство вызываетъ рефлекторный крикъ или, можетъ быть, весьма сложный звуковой отвѣтъ на раздраженіе, представляющій цѣлую градацию криковъ (въ родѣ того, что американецъ Гарнеръ подслушивалъ у клѣтки обезьяны, и что онъ принялъ за „рѣчь“ обезьяны). Чувство связуетъ въ одно цѣлое этотъ звуковой отвѣтъ на раздраженіе и воспріятіе, вызвавшее раздраженіе. Но воспріятіе было соединено не съ предметомъ вообще, но именно съ *этимъ* опредѣленнымъ предметомъ, напр., не съ тигромъ, не съ деревомъ вообще, но именно съ *этимъ* напугавшимъ меня тигромъ или обрадовавшимъ мой взоръ плодовымъ деревомъ, фруктами котораго я могу утолить свою жажду. Такъ, теоретически говоря, звукъ превращается, благодаря выпаденію промежуточныхъ звеньевъ ассоціаціи, въ *названіе* опредѣленного предмета, даннаго въ воспріятіи, какъ это утверждалъ и Потебня. Но, въ дѣйствительности, этого, конечно, не было: скорѣе, языкъ исходитъ изъ слишкомъ общихъ названій; вѣдь воспріятіе вообще страшнаго звѣря, какъ такового, а не опредѣленнаго звѣря, было связано съ чувствомъ ужаса и рефлекторнымъ звукомъ, и дифференціація этого впечатлѣнія могла наступить лишь въ состояніи душевнаго равновѣсія, когда человѣкъ могъ *спокойно* разобраться въ видѣнномъ и слышанномъ. Этотъ послѣдній моментъ постоянно упускается изъ виду изслѣдователями происхожденія языка, а между тѣмъ вѣдь ясно, что въ состояніи аффекта языкъ, какъ человѣческій языкъ, не могъ возникнуть. Въ аффектѣ кричитъ звѣрь, кричитъ инстинктивно, и тотъ же крикъ вырывается изъ его пасти при повтореніи того же аффекта, но крикъ не превращается въ наименованіе предмета, вызвавшаго раздраженіе. Нужно было, чтобы первобытный, еще не говорящій человѣкъ находился при воспроизведеніи звука, вызваннаго воспріятіемъ, въ такомъ состояніи, когда бы аффектъ былъ слабъ или отсутствовалъ совершенно, и когда могло бы начаться *познаніе*. Только въ такомъ случаѣ могло возникнуть то, что Лацарусъ называетъ „внутренней формой рѣчи“, терминомъ, введеннымъ въ науку В. Гумбольдтомъ. Это — „укрѣпленное языкомъ, установленное наименованіемъ одностороннее отношеніе многосторонней вещи къ человѣку. Это, хотя и непроизвольное, но собственное дѣло души. Итакъ, внутренняя форма рѣчи состоитъ въ томъ, что воспріятіе (Anschauung), образованное изъ нѣсколькихъ ощущеній, удерживается въ душѣ съ помощью его соединенія со словомъ, но такъ, что слово, обозначая цѣлую вещь, выражаетъ лишь одно ощущеніе, т. е. одно свойство ея“. Отсюда Лацарусъ дѣлаетъ переходъ къ третьей стадіи языкового творчества, которую онъ называетъ характеризующей. „На этой стадіи также образуются слова, но уже не перво-

начально, а только съ помощью примѣненія и измѣненія уже существующихъ; т. е. новые элементы языка уже не создаются, но только развиваются и преобразовываются уже существующіе“ (loc. cit. 140). Эта стадія такимъ образомъ уже выходитъ за предѣлы моего изслѣдованія. На этомъ я и закончу пока обзоръ той школы, которая была начата Вильгельмомъ Гумбольдтомъ и нашла свое выраженіе въ трудахъ Гумбольдта, Гейзе, Штейнталя и Лацаруса. Психологическое направленіе ея углубило изысканія въ области зачатковъ человѣческой рѣчи. Оно показало, что проблема не разрѣшается такъ просто, какъ это представлялось философамъ 18 вѣка и даже историческому направленію Я. Гримма. Не отъ Рейана, не отъ Гердера, не отъ энциклопедистовъ, но отъ глубокихъ психологическихъ изысканій Гумбольдта и его послѣдователей ведетъ тотъ путь, который можетъ привести къ разрѣшенію вѣковой проблемы о возникновеніи величайшей способности человѣка, дара рѣчи.

Стоитъ сравнить съ *этимъ* то удивительно простое разрѣшеніе вопроса, которое предложили Дарвинъ, чтобы увидѣть, какой прогрессъ науки представляли воззрѣнія психологической школы. Въ своей книгѣ „Происхожденіе человѣка и половой подборъ“, вышедшей въ 1871 году, но представлявшей примѣненіе къ эволюціи человѣческаго рода взглядовъ, высказанныхъ въ основномъ сочиненіи Дарвина о происхожденіи видовъ (1859)¹⁾, Дарвинъ посвятилъ нѣсколько страницъ происхожденію человѣческаго языка. Само собою разумѣется, что для создателя теоріи естественнаго подбора начала языка креится въ глубокомъ до-человѣческомъ прошломъ человѣчества. Онъ начинаетъ съ заявленія, что „въ Парагваѣ обезьяна *Cebus Azarae*, *находясь въ возбужденномъ состояніи*, испускаетъ по крайней мѣрѣ шесть различныхъ звуковъ, вызывающихъ у другихъ соответственныя душевныя движенія“. Если даже допустить, что наблюденіе было точно, все же мы имѣемъ дѣло только съ криками инстинктивнаго происхожденія, представляющими разряженіе энергіи и сопровождающими возбужденное состояніе. Какъ эти „шесть различныхъ звуковъ“ понимаются животными того же рода, объ этомъ Дарвинъ не говоритъ, а между тѣмъ вся суть вопроса заключается именно въ этомъ: вѣдь если всѣ обезьяны изъ вида *Cebus Azarae* понимаютъ эти звуки, то, стало быть, мы имѣемъ дѣло съ актомъ инстинктивнаго происхожденія, и потому къ языку, какъ *условному способу* передачи однимъ лицомъ

1) Въ предисловіи къ „Происхожденію человѣка“ Дарвинъ говоритъ следующее: „Въ теченіе многихъ лѣтъ мнѣ казалось чрезвычайно вѣроятнымъ, что половой подборъ игралъ важную роль въ дифференцированіи человѣческихъ расъ; но въ моемъ „Происхожденіи видовъ“ я ограничился простымъ намекомъ на это мнѣніе. Когда мнѣ пришлось примѣнить этотъ взглядъ къ человѣку, то оказалось необходимымъ рассмотреть весь вопросъ очень подробно“.

содержанія своего сознанія другимъ, этотъ „языкъ обезьянъ“ не имѣетъ никакого отношенія. Онъ можетъ представлять интересъ лишь въ томъ смыслѣ, что обнаруживаетъ наличность дифференціаціи инстинктивныхъ криковъ въ зависимости отъ характера раздраженія. Быть можетъ, эта дифференціація сводится къ физиологическимъ причинамъ. Во всякомъ случаѣ, это еще даже не „мѣстоименія“, въ которыхъ видѣлъ зародышъ человѣческаго языка Лацарусъ, а такіе инстинктивные крики, какъ лай собаки или щебетанье воробья. Впрочемъ, Дарвинъ и лаю собаки приписываетъ извѣстное значеніе въ разрѣшеніи вопроса о происхожденіи языка; да и куры „испускаютъ, по крайней мѣрѣ, дожину имѣющихъ различное значеніе звуковъ“. Съ поразительнымъ смѣшеніемъ понятій Дарвинъ утверждаетъ далѣе, что „отличіемъ человѣка отъ низшихъ животныхъ служитъ никакъ не *пониманіе* членораздѣльныхъ звуковъ: каждый знаетъ, что собаки понимаютъ многія слова и фразы“. Точно намѣренно Дарвинъ смѣшиваетъ здѣсь пониманіе собакой словъ и тона: какъ человѣкъ, такъ и животное *инстинктивно* понимаютъ *тонъ*, представляющій собой до-человѣческое наслѣдіе человѣческой рѣчи. Пониманіе тона пропадаетъ при разстройствѣхъ психики позже, чѣмъ пониманіе рѣчи, и даже можетъ вовсе не пропадать при афазии; тонъ и ритмъ понимаютъ идиоты, лишенные способности рѣчи. Какое бы слово, ласковое или угрожающее, ни было произнесено передъ собакой ея хозяиномъ, она будетъ реагировать на тонъ и на *мимику*: произнесенное съ сердитымъ лицомъ грубымъ голосомъ ласковое слово такъ же испугаетъ собаку, какъ и слово ласкательное. Примѣръ *Sebus Azarae* говоритъ о томъ, что варіація тоновъ предшествуетъ человѣческой рѣчи, примѣръ собаки подтверждаетъ, что тонъ, инстинктивно создаваемый и инстинктивно понимаемый, предшествуетъ слову. „Способность произносить членораздѣльные звуки также не служитъ нашимъ отличительнымъ признакомъ: этой способностью обладаютъ также попуган и другія птицы“. Слѣдовательно,—можно было бы заключить отсюда,—сущность человѣческаго языка заключается не въ членораздѣльности звуковъ, а въ чемъ-то другомъ. Исходя изъ положенія, что „не только человѣку свойственна способность связывать опредѣленные звуки съ опредѣленными понятіями, и что нѣкоторые попуган, научившись говорить, безошибочно сочетаютъ извѣстные слова съ вещами и извѣстныхъ лицъ съ событіями“, Дарвинъ утверждаетъ, что „низшія животныя отличаются отъ человѣка единственно тѣмъ, что человѣкъ обладаетъ почти безконечно сильнѣйшей способностью сочетать между собою самые разнообразныя звуки и идеи, а это, очевидно, зависитъ отъ высокаго развитія его умственныхъ способностей“. Такимъ образомъ, сущность языка Дарвинъ видитъ въ способности сочетать звуки и понятія („идеи“) или звуки и „вещи“ (очевидно, не самыя вещи, а представленія о вещахъ). Даже ставъ на эту точку зрѣнія, приходится отмѣтить, что подобное со-

четаніе у попугая, который фигурируетъ здѣсь въ качествѣ свидѣтеля, является не естественнымъ, но привитымъ искусственно, извнѣ. Для говорящаго попугая эти заученныя слова не являются выраженіемъ его сознанія: онъ не связываетъ со словами *значенія*, которое можетъ эволюционировать въ направленіяхъ, рассмотрѣнныхъ мною въ одной изъ предшествующихъ главъ. Связующимъ элементомъ между воспріятіемъ и соответствующимъ ему звукомъ оказывается въ „рѣчи“ попугая чувство, какъ это предположено Лацарусомъ по отношенію къ происхожденію человѣческой рѣчи: радость, раздраженіе, желаніе вызываютъ опредѣленную реакцію въ видѣ заученныхъ словъ. Въ этомъ процессѣ мы находимъ, дѣйствительно, явленія, связующія эту птичку „рѣчь“ съ зародышевыми элементами человѣческаго языка, но аффектъ вѣдь не есть то состояніе духа, въ которомъ языкъ можетъ пріобрѣсти *условный* характеръ знака. Какъ я уже отмѣтилъ при рассмотрѣніи книги Лацаруса, для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка необходимо предположить такое состояніе, въ которомъ духъ, свободный отъ аффекта, можетъ *сосредоточиться* на звукѣ, какъ выраженіи спокойнаго сознанія. „Хорошее пѣніе“ лягушекъ или обезьянъ гораздо ближе вслѣдствіе этого къ началу человѣческаго языка, чѣмъ вопль попугая при видѣ собаки, или рулада несвязныхъ звукоподражаній, несущаяся изъ его клѣтки. Дарвинъ удовольствовался внѣшними, поверхностными сближеніями, и потому, конечно, онъ долженъ былъ свести происхожденіе человѣческой рѣчи къ звукоподражанію. При этомъ онъ ссылается на авторитетъ Уэдждуда, Феррара и Шлейхера, которыхъ мнѣ придется коснуться въ дальнѣйшемъ изложеніи. „Я не могу сомнѣваться въ томъ, говоритъ Дарвинъ, что языкъ обязанъ своимъ происхожденіемъ подражанію и видоизмѣненію (при содѣйствіи знаковъ и жестовъ) различныхъ, слышимыхъ въ природѣ звуковъ, каковы голоса другихъ животныхъ и собственныя инстинктивныя восклицанія человѣка“. („Происхожденіе человѣка и половой подборъ“, пер. М. Филиппова. СПб. 1896, стр. 80).

Какъ я упомянулъ, Дарвинъ ссылается на Шлейхера. Онъ имѣлъ въ виду открытое письмо этого послѣдняго къ Гекелю: „Дарвиновская теорія и языкознаніе“¹⁾. Шлейхеръ, виднѣйшій изъ представителей индоевропейскаго сравнительнаго языкознанія въ семидесятыхъ годахъ, создатель т. наз. родословнаго древа индоевропейскихъ языковъ, не былъ чуждъ естествовѣднѣи и особенно питалъ интересъ къ ботаникѣ. Поэтому теорія Дарвина нашла въ немъ искренняго приверженца, и онъ стремился примѣнить его „Происхожденіе видовъ“ къ языкознанію. Очень характерно для эпохи всеобщаго увлеченія естественными науками стремленіе Шлейхера объявить языковѣднѣи отраслью естествознанія. „Языки явля-

¹⁾ Пользуюсь здѣсь вторымъ изданіемъ этой брошюры, которое вышло въ 1873 году. Имѣется русскій переводъ ея.

ются естественными организмами, которые возникли независимо отъ человеческой воли, росли и развивались по опредѣленнымъ законамъ и по законамъ же дряхлѣють и вымирають; и имъ присущъ цѣлый рядъ явленій, которыя, обыкновенно, понимаютъ подъ словомъ жизнь. Поэтому, глоттика, наука о языкѣ, оказывается одной изъ естественныхъ наукъ; методъ ея въ общемъ тотъ же, что и въ естествознаніи⁴. Разумѣется, при такомъ пониманіи вопросъ о происхожденіи языка долженъ разрѣшаться чрезвычайно просто. „То, что Дарвинъ установилъ для видовъ животныхъ и растеній, примѣнимо, по крайней мѣрѣ, въ своихъ главнѣйшихъ чертахъ къ организмамъ языковъ“.

Дѣйствительно, по этой упрощенной схемѣ зоологическіе роды соотвѣтствуютъ въ языковѣдннн семьямъ языковъ и т. под. Отдѣльные языки представляютъ виды рода, „потомство одного общаго праязыка, изъ котораго они произошли путемъ постепенныхъ измѣненій“. Подробно изложивъ теорію генеологическаго дерева индоевропейскихъ языковъ, Шлейхеръ переходитъ къ морфологическимъ типамъ языковъ, которые онъ со своимъ грубоватымъ матеріализмомъ признаетъ не психологическими разновидностями, не выраженіемъ различныхъ „внутреннихъ формъ“, выражаясь терминомъ изящнаго и глубокомысленнаго В. Гумбольдта, но просто ступенями въ развитіи болѣе или менѣе каждаго языка въ направленіи отъ простѣйшихъ организмовъ къ болѣе сложнымъ, отъ какихъ-нибудь protozoa къ многоклеточному организму. „Строеніе всѣхъ языковъ показываетъ, что ихъ древнѣйшая форма была, по существу, одинаковой, той, которая сохранилась у нѣкоторыхъ языковъ простѣйшаго строенія (напр., въ китайскомъ языкѣ). Короче говоря, то, откуда пошли всѣ языки, представляло собой звуки со значеніемъ (Bedeutungslaute), простые звуковые образы для воззрѣній, представленій, понятій, которые могли функционировать во всякомъ примѣненіи, т. е. какъ всякая грамматическая форма, хотя бы для этихъ функций не имѣлось никакого звукового выраженія, т. е. органа. На этой самой древней, какую можно представить себѣ, ступени (auf dieser *urältesten* Stufe) языковой жизни отсутствуютъ, какъ выраженные звуками, имена и глаголы; здѣсь нѣтъ ни склоненія, ни спряженія и т. д.“ Въ связи съ этимъ разрѣшается и самый вопросъ о происхожденіи языка: „Для всѣхъ языковъ мы принимаемъ одно формально одинаковое происхожденіе. Когда человѣкъ нашелъ путь отъ *звуковыхъ жестовъ* (von den Lautgebärden) и звукоподражаній къ звукамъ значущимъ, то эти послѣдніе были именно только значущими звуками, простыми звуковыми формами безъ всякихъ грамматическихъ отношеній. Но по звуковому матеріалу, изъ котораго они состояли, и по значенію, которое они выражали, эти простѣйшіе зачатки языка были различны у разныхъ людей; на это указываетъ разнообразіе языковъ, которые развились изъ этихъ зачатковъ. Мы предполагаемъ поэтому

безчисленное множество праязыковъ, но для всѣхъ нихъ мы устанавливаемъ одну и ту же форму. До извѣстной степени соотвѣтствовало этому, вѣроятно, возникновеніе растительныхъ и животныхъ организмовъ; простая клетка есть ихъ общая пра-форма, какъ простой корень является праформой языковъ. Простѣйшія формы позднѣйшей животной и растительной жизни, клетки, возникли, какъ нужно думать, во множествѣ въ извѣстный періодъ жизни нашего міра, какъ въ мірѣ языковъ простые значащіе звуки“. Трудно, кажется, трактовать вопросъ о происхожденіи языка съ болѣею поверхностью, чѣмъ въ этой брошюрѣ. Въ сущности, разрѣшенія вопроса здѣсь и нѣтъ: языки принимаются, какъ готовое, какъ уже возникшее, и только дальнѣйшее развитіе ихъ простѣйшихъ организмовъ представляетъ научный интересъ для Шлейхера. Но нѣтъ такой книги, которая не заключала бы въ себѣ полезныхъ мыслей. И въ брошюрѣ Шлейхера заслуживаетъ полнаго вниманія его мысль о множествѣ первобытныхъ языковъ, хотя и эта мысль, какъ мы видѣли выше, не вполне нова. Одна группа людей, самое меньшее—пара, изобрѣла языкъ, или языки возникли въ разныхъ мѣстахъ вслѣдствіе психическихъ особенностей, присущихъ человѣку, какъ таковому? Шлейхеръ не замѣчаетъ, что этотъ вопросъ стоитъ въ самой тѣсной связи съ проблемой происхожденія самого человечества отъ одной пары или отъ нѣсколькихъ, независимыхъ одна отъ другой. Если для возникновенія языка требовалась извѣстная интеллектуальная подготовка, то едва ли одновременно образовались независимо одинъ отъ другого эти зародышевые языки. Скорѣе, надо думать, что они возникли то тутъ, то тамъ, когда первобытный человѣкъ эволюционировалъ до извѣстнаго уровня, или когда человѣкообразное неговорящее существо превращалось въ человѣка. Но психическая жизнь такого существа, поставленнаго въ различныхъ мѣстахъ въ разныя условія быта, уже не могла быть такъ элементарна, чтобы состоять изъ однихъ „клетокъ“ и представлять совершенное однообразіе возникновенія языка. По моему мнѣнію, дѣйствительно представляется вполне допустимымъ предположеніемъ, что слѣдуетъ говорить не о происхожденіи человеческого языка, но о происхожденіи человеческихъ языковъ, т. е. что при достиженіи первобытными людьми извѣстнаго уровня духовнаго развитія возникалъ языкъ, но самое возникновеніе его происходило вовсе не въ одной и той же формѣ, и „клеткой“ языка въ одномъ случаѣ могъ быть слогъ, въ другой длинное сочетаніе слоговъ. Если при такомъ пониманіи вопроса стать на точку зрѣнія моногенизма, то первичнаго человѣка надо представить себѣ еще не говорящимъ существомъ; если же допустить полигенизмъ въ духѣ Фритча¹⁾, то возможно, что уже

¹⁾ „При одинаковыхъ условіяхъ въ одинаковыхъ мѣстностяхъ различныя пары развились до такой степени, что могли назваться людьми“.

при своемъ возникновеніи люди выработали себѣ языкъ, но выраженія его были совершенно различны. Во всякомъ случаѣ, при обоихъ этихъ пониманіяхъ мы будемъ очень далеки отъ аналогіи корней органическимъ клѣткамъ, потому что процессы, заключающіеся въ самомъ называніи и въ развитіи словесныхъ значеній, очень сложны.

Проводникъ дарвиновскихъ воззрѣній, Гексли, имѣлъ, по крайней мѣрѣ, осторожность не выходить изъ предѣловъ физическаго строенія человѣка, но не трудно угадать, какой отвѣтъ онъ далъ бы на вопросъ о происхожденіи языка. „Слѣдуетъ ли намъ лаять и ходить на четверенькахъ—задаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ проницательскій вопросъ оппонентамъ эволюціоннаго ученія, опасавшимся униженія человѣчества при господствѣ Дарвинизма—на томъ несомнѣнномъ основаніи, что каждый изъ насъ былъ когда-то яйцомъ, и что этого яйца никакимъ изъ обычныхъ способовъ изслѣдованія невозможно было отличить отъ собачьяго“¹⁾ Конечно, лай собаки въ пониманіи этого ученаго является прототипомъ человѣческаго языка. Къ сожалѣнію, не высказался опредѣленнымъ образомъ о происхожденіи языка Уоллесъ, отрицавшій способность дарвиновской теоріи объяснить намъ происхожденіе ума человѣка такъ же, какъ она объясняетъ намъ происхожденіе его тѣла²⁾ (стр. 711). „То, что физически человѣкъ развился изъ нѣкоторой животной формы подъ вліяніемъ естественнаго подбора, вовсе не доказываетъ, что и психическая сторона его природы, даже при совмѣстномъ развитіи съ физической, развилась только подъ вліяніемъ того же фактора“. Далѣе Уоллесъ высказывается еще болѣе опредѣленно: „Я надѣюсь доказать, что извѣстная опредѣленная часть умственныхъ и нравственныхъ качествъ человѣка не могла бы развиться только путемъ измѣняемости и естественнаго подбора, и что поэтому въ такомъ случаѣ необходимо обратиться къ содѣйствию нѣкотораго другого воздѣйствія, закона или фактора. Если бы это удалось несомнѣнно доказать для одного или нѣсколькихъ качествъ разумнаго человѣка, мы тѣмъ самымъ нашли бы подтвержденіе того, что нѣкоторая неизвѣстная причина или сила могла имѣть гораздо большее вліяніе и даже могла вполне измѣнить общій ходъ его развитія“. Эту точку зрѣнія Уоллесъ примѣнилъ къ происхожденію математическихъ способностей („огромное современное развитіе математическихъ способностей совершенно необъяснимо теоріей естественнаго подбора, и было вызвано какой-нибудь другой причиной“),

Ср. М. Ноетес. Natur-und Urgeschichte des Menschen. 1909. I. 208. Гернетъ полагаетъ, что „колыбель человѣчества была едина“, т. е. стоитъ на сторонѣ моногенизма.

1) Т. Г. Гексли. О положеніи человѣка въ ряду органическихъ существъ. СПб. 1884, стр. 125.

2) А. Р. Уоллесъ. Дарвинизмъ. Изложеніе теоріи естественнаго подбора и нѣкоторыхъ изъ ея приложений. М. 1898.

а также къ искусству: „съ развитіемъ соціальной жизни происходитъ соотвѣтствующее развитіе художественнаго вкуса и умѣнья“.

Въ ту пору, когда эволюціонная теорія Дарвина составляла основу и въ ученіи о развитіи человѣческой культуры, вопросъ о происхожденіи языка, казалось, не представлялъ никакой трудности для человѣческаго ума. Не вдаваясь подробно въ изложеніе этихъ попытокъ разрѣшенія его, которыя велись по одному шаблону, я остановлюсь только на двухъ писателяхъ, пользовавшихся громаднымъ авторитетомъ. Это Леббокъ и Тэйлоръ, которые въ своихъ сочиненіяхъ о происхожденіи цивилизаціи остановились и на проблемѣ происхожденія языка.

Первый изъ названныхъ изслѣдователей¹⁾ склоняется къ тому, что слова произошли путемъ звукоподражанія. Примѣры, приводимые имъ, представляютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ просто поразительную для второй половины 19 вѣка произвольность. Такъ, „отъ звука, производимаго губами, когда мы пробуемъ что-нибудь, происходятъ греческое γλυκός (сладкій), латинское *dulcis* (сладкій), англійскія *lick* (лизать, локать), *like* (любить),—слова, которыя вначалѣ, безъ сомнѣнія, прилагались только къ съѣдобнымъ вещамъ, а въ настоящее время имѣютъ болѣе общее примѣненіе“. Отъ восклицанія *fu!* (*fie*) происходятъ англійскія слова *fiend* (непріятель), *foe* (врагъ), *feud* (раздоръ), *faul* (нечистый, скверный, гнусный)! Однако только звукоподражаніями и такими первичными восклицаніями не ограничивается первоисточникъ, изъ котораго возникъ человѣческій языкъ. Леббокъ справедливо указываетъ на присущее человѣчеству стремленіе къ условнымъ языкамъ, создающимся на почвѣ условности, соглашенія. „Всякій, наблюдавшій дѣтей или школьниковъ, долженъ былъ замѣтить, какъ прозвища, данныя нерѣдко на основаніи незначительныхъ и даже воображаемыхъ признаковъ, подхватываются и утверждаются всеобщимъ соглашеніемъ“. Этотъ фактъ былъ въ должной мѣрѣ учтенъ Леббоккомъ, который, не предполагая, что всѣ наши коренныя слова произошли отъ звукоподражаній, приписывалъ остальнымъ словамъ условное, символическое происхожденіе.

„Я думаю, что они явились тѣмъ же путемъ, какъ и прозвища и новые термины воровскаго и всякаго другого подобнаго жаргона, возникающіе въ настоящее время. Термины эти, какъ намъ извѣстно, часто выбираются въ силу сходства звуковъ или по связи идей, нерѣдко столь причудливой, фантастической и изысканной, что мы не въ состояніи возстановить истинное происхожденіе даже такихъ словъ, которыя возникли въ наше время“. Если откинуть то ненаучное, что внесъ Леббокъ въ свое изложеніе теоріи звукоподражанія, то придется признать, что въ дальнѣйшемъ онъ сталъ на болѣе вѣрный путь: элементъ условности, конечно, очень

1) С. Джонъ-Леббокъ. Начало цивилизаціи. Умственное и общественное состояніе дикарей. СПб. 1876. (Оригиналъ появился въ 1870 г.)

силень даже въ первобытномъ языкѣ, стремленіе сочинять языкъ очень бурно проявляется и въ извѣстныхъ психическихъ состояніяхъ, и въ дѣтскіе годы человѣка. Но основная проблема была, повидимому, и не замѣчена Леббокомъ, какъ эволюціонистомъ: въ сущности, онъ изучать не происхождение, а развитіе, и условный языкъ знаковъ, образуемыхъ съ помощью пальцевъ, онъ считаетъ, какъ кажется, предшественникомъ произносимаго языка. Самый же вопросъ о томъ, какимъ образомъ звукоподражаніе могло превратиться въ слово, какія психологическія особенности обуславливаютъ возможность возникновенія рѣчи, такой вопросъ просто и не существовалъ для Леббока: отъ животнаго къ человѣку тянется непрерывная цѣль развитія, которая продолжается и далѣе въ предѣлахъ развитія человѣческаго рода отъ дикаря къ современному культурному человѣку. Насколько былъ чуждъ этотъ ученый философскимъ предпосылкамъ, видно изъ его насмѣшливаго и немножко пренебрежительнаго отношенія къ Макеу Мюллеру. Но, какъ въ исторіи числительныхъ способностей человѣка Леббокъ ссылается на примѣры этихъ способностей у собаки, которая, какъ оказывается, считаетъ лучше некультурнаго человѣка, такъ, разумѣется, и выразительная способность человѣка должна восходить своими зародышами къ отдаленному прошлому его, когда онъ былъ какимъ-нибудь обезьянообразнымъ существомъ. Психологическая трудность вопроса просто не замѣчалась эволюціонистами.

Здѣсь же я коснусь двухъ англійскихъ изслѣдователей, у которыхъ теорія звукоподражательнаго происхожденія языка приобрѣла особенно интересный характеръ. Это сочиненіе Феррара „Опытъ о происхожденіи языка, основанный на новѣйшихъ изысканіяхъ, прежде всего на трудахъ г. Ренана“ (1860) и книга Уиджвуда „О происхожденіи языка“ (1866)¹⁾. Разсмотрѣвъ различныя теоріи по вопросу о происхожденіи языка, Ферраръ обстоятельно разбираетъ библейское свидѣтельство о божественномъ происхожденіи языка и утверждаетъ, что его надо понимать въ томъ смыслѣ, что языкъ „является даромъ Божиимъ лишь постольку, поскольку естественныя способности человѣка были результатомъ физическаго и духовнаго организма, созданнаго Богомъ. Это представляется болѣе естественнымъ и философскимъ предположеніемъ, нежели вѣра въ то, что откровеніемъ было именно эмбриональное ядро языка“. Такимъ образомъ, по мнѣнію Феррара, языкъ не является прирожденнымъ и органическимъ достояніемъ человѣка, какъ учили греческіе представители теоріи *φύσει*; онъ не былъ механическимъ изобрѣтеніемъ, какъ утверждали, по мнѣнію Феррара, Лукрецій, Мопертюи, Кондиллякъ, Руссо, Гердеръ и др.: не былъ также божественнымъ откровеніемъ. Это „естественная способность, быстро раз-

¹⁾ Fr. W. Farrar. An essay on the Origin of Language, based on modern researches, and especially on the works of M. Renan. 1860. H. Wedgwood. On the origin of language. 1866.

витая могучимъ инстинктомъ, продуктъ разума и человѣческой свободы, которая не имѣетъ мѣста въ чисто органическихъ функціяхъ“. Отсюда Ферраръ дѣлаетъ заключеніе, что „слова не могутъ быть вполне произвольными“. Эту мысль онъ доказываетъ наблюденіями надъ нашей современной непріязнью къ новосочиненнымъ, произвольно придуманнымъ словамъ и фактами народной этимологіи, которая стремится превратить безсмысленныя для насъ слова въ осмысленныя. „И вотъ мы можемъ высказать теперь наше убѣжденіе, не безъ торжественности заключаетъ Ферраръ (62—63), что почти все первобытныя корни были изобрѣтены по способу ономапоэи, т. е. съ помощью воспроизведенія человѣческимъ голосомъ звуковъ неодушевленной природы. Звукоподражаніе имѣло достаточную силу для того, чтобы изобразить большинство физическихъ фактовъ и внѣшнихъ явленій; и почти все слова, необходимыя для выраженія метафизическихъ и моральныхъ убѣжденій, были произведены отъ этихъ звукоподражательныхъ корней съ помощью *аналогіи* и *метафоры*“. Въ связи съ этимъ Ферраръ высказываетъ слѣдующія мысли: „Каковы были мотивы, которые привели во многихъ случаяхъ къ избранію опредѣленныхъ звуковъ, это лежитъ внѣ нашей возможности угадать или остается неопредѣленнымъ. Сила и тонкое развитіе способности наименованія у дикаря и ребенка должны были, непременно, существовать и у первобытнаго человѣка, а такъ какъ она пришла въ упадокъ вмѣстѣ съ упадкомъ необходимости упражненія, то мы оказываемся не въ состояніи опредѣлить съ извѣстной достовѣрностью тѣ направленія, въ которыхъ эта способность дѣйствовала. Природа не допускаетъ расточительности“. Однако, названія одного и того же предмета оказываются весьма различными въ разныхъ языкахъ. Для объясненія этого явленія Ферраръ предлагаетъ нѣсколько объясненій, не лишенныхъ значенія: правда, онъ не считаетъ возможнымъ свести все корни какого-нибудь языка къ подражанію шумамъ и звукамъ природы, звѣриннымъ крикамъ и т. под., „однако, въ то же время мы можемъ утверждать, что особенности произношенія въ извѣстныхъ мѣстностяхъ могутъ быть не только модифицированы, но даже созданы достопримѣчательными естественными звуками, обычными въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ эти особенности встрѣчаются. Такъ, на примѣръ, въ нѣкоторыхъ африканскихъ языкахъ (цитируетъ Ферраръ) извѣстны шипящіе согласные, очевидно, заимствованные отъ шипѣнія нѣкоторыхъ змѣй, неизвѣстныхъ въ нашей умѣренной полосѣ, а прищелкивающіе звуки готтентотскихъ діалектовъ напоминаютъ особые крики, издаваемые особымъ образомъ тиграми“¹⁾. Это одинъ изъ

¹⁾ The tigers, which *raucant*. Последнее слово, прибавляетъ Ферраръ (76), есть звукоподражательное: вѣроятно, оно заимствовано Бюффономъ изъ „Филомелы“ Альба Овидія Ювентина, гдѣ сказано

Tigris indomitae *raucant*, rugiuntque leones.
Вмѣсто *raucant* дрябле читаютъ *raucant*.

источниковъ разнообразія въ звукоподражаніи. Другой видитъ Феррарь въ различіи звуковъ, издаваемыхъ каждымъ животнымъ, или разнообразіи шумовъ въ природѣ. Слова выражаютъ только *отношенія* вещей, повторяетъ нѣсколько разъ авторъ, а отношенія эти почти безконечны; особенно же ихъ различіе должно было ощущаться „тонкими чувствами юнаго міра“. Такъ напр., громъ производитъ на разныхъ людей различное звуковое впечатлѣніе: одному онъ кажется раскатомъ, другому мгновеннымъ трескучимъ взрывомъ, у третьяго же при раскатѣ грома особенно запечатлѣвается въ сознаніи сопровождающая его молнія. Въ однихъ европейскихъ языкахъ насчитано свыше 350 подражательныхъ словъ для наименованія грома, основанныхъ на различныхъ звуковыхъ воспріятіяхъ его раскатовъ. Въ другихъ случаяхъ самые звуки природы такъ разнообразны, что именно къ этому ихъ разнообразію должно сводиться различіе названій. Такъ, въ соловьиномъ пѣньѣ одинъ изслѣдователь насчитывалъ двадцать колѣнъ: вотъ источникъ разныхъ словъ для названія соловья. „А, кромѣ названій, происходящихъ отъ пѣнья соловья (перс. *bulbul*), эта птица можетъ быть названа по нѣкоторымъ другимъ признакамъ, совершенно иного рода (напр. лат. *lusciniola*); однако, и въ этомъ случаѣ любопытно отмѣтить, какъ стремится возстановить свои прерогативы въ современныхъ языкахъ, звукоподражаніе: *usignuolo* (итальянское слово), *ruysenol* (испанское), *rossignol* (французское), которыя являются, вѣроятно, искаженіями уменьшительнаго *lusciniola*, которое встрѣчается у Плавта“. (Farrar. 83—84). Быть можетъ, послѣдній примѣръ не убѣдительно, такъ какъ въ словахъ *usignuolo* и т. под., какъ мнѣ кажется, не чувствуется никакого звукоподражательнаго элемента, но, во всякомъ случаѣ, ограниченія, которыя Феррарь вноситъ въ свое пониманіе звукоподражанія, заслуживаютъ полнаго вниманія. Вѣдь къ звукоподражаніямъ онъ относитъ и тѣ явленія эмоціональнаго происхожденія, которыя, будучи инстинктивнаго происхожденія, заимствуются въ качествѣ элементовъ рѣчи путемъ звукоподражанія. Подражательный корень (an imitative root) можетъ имѣть, по мнѣнію этого изслѣдователя, двойное происхожденіе: „Во-первыхъ, это артистическое воспроизведеніе звуковъ вѣшняго міра; во-вторыхъ, это выраженіе страха или тревоги, радости или неудовольствія, которыя можетъ вызвать въ человѣческомъ существѣ впечатлѣніе какого-нибудь событія или зрѣлища. Первый изъ этихъ элементовъ есть звукоподражательный, второй междометный“ (87). Въ дальнѣйшемъ изложеніи Феррарь приводитъ различные примѣры для доказательства своей мысли, но я вынужденъ рамками своего изслѣдованія не останавливаться на нихъ подробно, такъ какъ основная точка зрѣнія Феррара, какъ мнѣ кажется, достаточно выяснена. По сравненію съ уже разсмотрѣнными выше теоріями звукоподражанія“ взглядъ этого изслѣдователя, какъ мнѣ кажется, представляетъ извѣстный шагъ впередъ. Въ противоположность тѣмъ, которые сводили обиліе звукоподражательныхъ элементовъ языка

къ единству первичнаго, оригинальнаго, еще не испорченнаго словообразованія, Феррарь исходитъ именно изъ разнообразія и доказываетъ, что звукоподражаніе и не могло никогда дать единства словаря въ первичныхъ языкахъ, потому что различны и самые оттѣнки одного и того же звука, и воспріятія этихъ звуковъ человѣкомъ. Область звукоподражанія онъ значительно расширилъ включеніемъ въ нее совершенно правильно сознательнаго воспроизведенія такихъ звуковъ, такихъ восклицаній, которые первоначально производились безсознательно, инстинктивно. Наконецъ, въ доказательство самаго явленія звукоподражанія Феррарь ссылается на факты дѣтской психологіи („ономатопѣтические звуки *му, баа, бау-вау* и т. д. составляютъ ступени, по которымъ дитя постепенно подымается къ познанію коровы, овцы и собаки“). Такимъ образомъ, передъ нами уже не наивный подборъ фактовъ, но научно развитая теорія, въ которой заключается несомнѣнное ядро истины: безъ сознательнаго воспроизведенія путемъ подражанія звуковъ, произносимыхъ первоначально безсознательно, языкъ не могъ-бы образоваться. Если въ дикарскихъ языкахъ звукоподражаніе теперь и не играетъ особой роли, то при *изображеніи* животныхъ (какъ это отмѣчено особенно Штейненомъ и Мартиусомъ относительно южноамериканскихъ индѣйцевъ, ср. стр. 261 и 270) оно выступаетъ на первый планъ, какъ средство изобразить самое характерное.

Остановимся теперь на книгѣ Уиджвуда, который является также приверженцемъ теоріи звукоподражанія. И онъ основывается на убѣжденіи, что по даннымъ современныхъ языковъ нельзя судить о первобытномъ языкѣ. „Если языкъ былъ дѣломъ человѣческаго разума, то мы можемъ быть увѣрены, что оно было выполнено чрезвычайно медленно и постепенно, и если дѣйствительный путь его развитія, въ концѣ концовъ, выясненъ, то мы не должны удивляться, если мы встрѣчаемся здѣсь съ кажущимся несоотвѣтствіемъ между грандіозностью его (теперешней) структуры и ничтожествомъ механизма, которымъ онъ былъ пущенъ въ ходъ... Первая ступень представляетъ большую трудность въ разрѣшеніи проблемы. Если мы когда-нибудь сможемъ представить себѣ существо, подобное намъ, но только совершенно незнакомое съ языкомъ, при томъ поставленное въ условія, въ которыхъ оно должно было инстинктивно придти къ необходимости воспользоваться своимъ голосомъ для того, чтобы заставить другихъ подумать (to think) о чемъ-нибудь выходящемъ за предѣлы дѣйствительнаго воспріятія, то мы получимъ удовлетворительное объясненіе для перваго акта рѣчи. Если же человѣкъ въ своемъ прежнемъ состояніи обладалъ тѣми же самыми инстинктами, какими мы обладаемъ теперь, то онъ, несомнѣнно, еще не научившись владѣть рѣчью, выражалъ свои потребности съ помощью жестовъ или знаковъ, которые апеллировали (addressed) къ зрѣнію, какъ современный намъ путешественникъ среди народа, языкъ котораго ему совершенно неизвѣстенъ, будетъ вы-

ражать голодь, показывая на ротъ и подражая дѣйствию жеванія“ (Wedgwood. 9—10). Таково обоснованіе взглядовъ автора, которое съ психологической точки зрѣнія, конечно, совершенно неудовлетворительно: для того, чтобы выражать съ предвзятой цѣлью свои чувства какими бы то ни было знаками, необходимо сознаніе того, что цѣль взаимопониманія можетъ быть достигнута съ помощью какихъ бы то ни было знаковъ, а вѣдь въ этомъ-то и заключается вся проблема происхожденія языка. Уиджвудъ разрѣшаетъ эту проблему, какъ я уже упомянулъ, въ духѣ теоріи звукоподражанія, связывая ее съ жестикуляціей. Жесты являются не единственнымъ средствомъ подражанія, какое находится въ нашемъ распоряженіи, и мы можемъ воспроизводить голосомъ звуки природы, какъ жестаи передавать чьи-нибудь дѣйствія. Оба эти способа изображенія восходятъ, по мнѣнію Уиджвуда, къ инстинкту. Инстинктивнымъ же, очевидно, онъ признаетъ и самое стремленіе человѣка передавать содержаніе своего сознанія другимъ людямъ. „Человѣкъ, испуганный быкомъ, сочтетъ правильнымъ сообщить о причинѣ своего испуга, изображая одновременно движенія животнаго головой и подражая голосомъ его мычанію“. Психологическая слабость подобныхъ разсужденій послѣ всего изложеннаго раньше, я думаю, не должна быть доказываема. Что касается звукоподражанія, къ которому авторъ, такимъ образомъ, сводитъ первобытный языкъ, то „главная причина, почему человѣкъ интересовался крикомъ животнаго, должна была заключаться въ указаніи на присутствіе самаго животнаго, и главная цѣль, для которой человѣкъ могъ желать представить крикъ, должна была заключаться въ томъ, чтобы уму слушателя представилось то животное, которое производитъ данный крикъ“. Но звукоподражаніе является словообразующимъ принципомъ только на самыхъ первыхъ стадіяхъ развитія человѣческой рѣчи; впослѣдствіи же на ряду съ нимъ выступаютъ и другіе процессы. Такимъ образомъ, уже не говоря о слабой психологической мотивировкѣ своей теоріи, Уиджвудъ еще отнесъ ее дѣйствию къ той эпохѣ, до которой не доходятъ никакія историческія свидѣтельства. Цѣнность такихъ работъ, конечно, весьма незначительна, и я полагаю, что о книгѣ названнаго автора, пожалуй, не стоило бы говорить, если бы только не ссылки на нее, какъ на авторитетъ, у сторонниковъ эволюціонной теоріи. Но именно это послѣднее обстоятельство заставило меня посвятить достаточно детальнѣе обзоръ сочиненій Феррара и Уиджвуда, который я вставилъ между изложеніемъ взглядовъ Леббока и разсмотрѣніемъ теоріи одного изъ авторитетнѣйшихъ представителей эволюціоннаго ученія о ходѣ человѣческой культуры, Эдуарда Тэйлора. Знаменитое сочиненіе его „Первобытная культура“ появилось въ первомъ изданіи въ 1871 году ¹⁾. Точка зрѣнія

¹⁾ Имѣются два русскіе перевода, оба подъ редакціей Д. А. Корончевскаго. Первый вышелъ въ 1872—3 году, второй въ 1893 году: этимъ послѣднимъ изданіемъ я пользуюсь здѣсь.

автора достаточно обнаруживается уже въ слѣдующемъ замѣчаніи его: „Сравнивая грамматики и словари расъ, стоящихъ на различныхъ ступеняхъ цивилизаціи, оказывается, что въ великомъ искусствѣ рѣчи образованный человѣкъ въ настоящее время, въ сущности, употребляетъ тотъ же методъ дикаря, только расширенный и усовершенствованный въ выработкѣ деталей. Правда, языки тасманійцевъ и китайцевъ, гренландцевъ и грековъ различаются своимъ строеніемъ; но это уже второстепенное различіе, подчиненное первоначальному сходству метода, общаго имъ способа выраженія понятій членораздѣльными звуками. Именно, всѣ языки оказываются при изслѣдованіи содержащими нѣсколько членораздѣльных звуковъ прямо естественнаго и прямо выразительнаго рода. Это звуки междометнаго или подражательнаго характера, смыслъ которыхъ не наследуется отъ родителей или не перенимается отъ иностранцевъ, но получается прямымъ переходомъ изъ міра звуковъ въ міръ чувства. Подобно пантомимамъ, смыслъ ихъ можетъ быть понятъ самъ по себѣ, безъ отношенія къ частному языку, въ связи съ которымъ они употребляются. Изъ разсмотрѣнія такихъ звуковъ явилось соображеніе касательно происхожденія языка, принимающее такіе выразительные звуки за основныя составныя части языка вообще, и считающее, что тѣ изъ нихъ, которые до сихъ поръ сами по себѣ еще понятны, сохранились болѣе или менѣе въ своемъ первоначальномъ состояніи, и что изъ такихъ звуковъ продолжительнымъ примѣненіемъ и измѣненіемъ произошла значительная часть словъ всѣхъ языковъ, въ которыхъ уже болѣе не обнаруживается какой-либо связь между идеей и звукомъ“. Приведенная цитата, какъ мнѣ кажется, сразу раскрываетъ передъ читателемъ, уже знакомымъ съ исторіей звукоподражательной теоріи, что взглядъ Тэйлора на происхожденіе языка не отличается ни глубиной, ни оригинальностью. Это комбинація того, что писали по этому вопросу Ферраръ и Уиджвудъ. Въ дальнѣйшей части главы о языкѣ Тэйлоръ далъ много очень цѣнныхъ и интересныхъ указаній на особенности дикарскихъ языковъ и на связь этихъ послѣднихъ съ явлениями, наблюдаемыми въ жизни языковъ культурныхъ народовъ. Однако, для разрѣшенія основной проблемы, вопроса о происхожденіи языка, эти страницы даютъ мало. Характерно, во всякомъ случаѣ, и это слѣдуетъ отмѣтить, что эволюціонная школа въ исторіи культуры выработала нѣчто въ родѣ догмата въ разрѣшеніи этого вопроса: языкъ возникаетъ, учитъ она, изъ междометій и изъ звукоподражанія. Психологическое обоснованіе этого взгляда, къ сожалѣнію, нѣрѣдко остается въ пренебреженіи.

Продолжая обзоръ антропологической школы, я приведу слѣдующее мѣсто изъ труда Гернеса ¹⁾. „Въ силу присущей человѣку физической и духовной природы, онъ испытываетъ непреодолимое стремленіе

¹⁾ М. Hoernes. Natur-und Urgeschichte des Menschen. Zweiter Band. Urgeschichte der Kultur. 1909, стр. 534.

выражать свои представления и чувства, свои настроения и волнения, проецировать их вне себя, иметь их передь собою, какъ бы въ зеркалѣ, и этимъ способомъ объяснять себя себѣ самому и другимъ. Таково происхождение языка жестовъ и звуковъ, какъ и всяческаго искусства. Начатки этого, съ одной стороны, еще довольно „звѣрскіе“ (thierisch), съ другой же они могутъ быть съ удобствомъ наблюдаемы еще и на высшихъ ступеняхъ культурнаго развитія въ своихъ неизгладимыхъ остаткахъ. Припомните простѣйшія пѣсни, какія поются на работѣ, и банальнѣйшую общественную болтовню. Первые являются на видъ безцѣльными повтореніями словъ и просто даже бессмысленныхъ выкриковъ. Они возникаютъ при совмѣстной дѣятельности изъ инстинктивного подражанія шумамъ, которые вызываетъ эта дѣятельность, или даже просто вълѣдствие того, что при ритмическомъ напряженіи другихъ органовъ тѣла возбуждаются для совмѣстной дѣятельности и головные органы человѣка ¹⁾. Это облегчаетъ работу и отвлекаетъ ее отъ всякой другой, побочной и мѣшающей дѣятельности. Съ другой стороны можно и теперь ежедневно наблюдать, что разговариваніе само по себѣ, безъ всякаго отношенія къ содержанию, доставляетъ удовольствіе разговаривающимъ. Когда люди бываютъ вмѣстѣ, они чувствуютъ себя обязанными разговаривать о чемъ бы то ни было или даже пѣть. По существу это есть не что иное, какъ общественный шумъ (geselliger Lärm), подобный тому, какой производятъ многія животныя (птицы, нѣкоторыя обезьяны) только для того, чтобы дать выраженіе удовольствію совмѣстнаго пребыванія. Однообразіе производимыхъ всѣми звуковъ доставляетъ участникамъ такихъ собраній отрадное чувство общности, солидарности съ другими, большей безопасности и жизнерадостности. У человѣка къ этому присоединяется одинаковость содержанія сознанія, какъ бы ни было ничтожно самое это содержаніе. По большей части, ему нечего сообщить другому ничего, кромѣ того, что тотъ знаетъ уже самъ. Но въ гармоніи настроенія и его выраженія заключается прелесть „обращенія“ (Ansprache), безъ которой многіе чувствуютъ себя неудовлетворенными. Массовая рѣчь, къ которой прибѣгаетъ одновременно и единообразно большое количество людей, облагораживается искусственнымъ образомъ въ видѣ хора греческой трагедіи. Монологъ же представляетъ собою извѣстный, дѣйственный уже на низшихъ стадіяхъ культурнаго развитія источникъ силы для тѣхъ, которые умѣютъ обострить общее чувство своихъ слушателей и придать

¹⁾ Было замѣчено, говоритъ Гернесъ, что древнѣйшіе языковые корни обозначаютъ человѣческія дѣятельности и такимъ образомъ, вѣроятно, возникли, какъ сопровождающіе ихъ звуки; далѣе, что въ началѣ словообразованія стоятъ не существительныя, но глаголы, названія не самыхъ вещей, но ихъ назначеній. Съ этимъ взглядомъ Нуаре мы еще встрѣчимся ниже.

ему усиленное выраженіе. Такой монологъ составляетъ нерѣдко одинъ изъ источниковъ власти вождя у примитивныхъ племенъ“. Резюмируя эти заключенія Гернеса, слѣдуетъ отмѣтить слѣдующее: рѣчь человѣка восходитъ къ общественному инстинкту его и къ инстинктивному стремленію испускать эмоціальные рефлекторные звуки. Эти послѣдніе составляютъ источникъ удовольствія для дѣйствующихъ лицъ. Они сопровождаютъ также совмѣстную работу, отчасти какъ спутники разряжающейся энергіи, отчасти какъ подражанія шумамъ, производимымъ работой. Это, какъ намъ кажется, не только вполне допустимо, но и составляетъ дѣйствительный источникъ человѣческой рѣчи, о чемъ я буду говорить подробнѣе въ слѣдующей главѣ. Но вотъ что все-таки составляетъ слабое мѣсто въ теоріи Гернеса: вѣдь, по его словамъ, выходитъ, что человѣкъ еще до возникновенія рѣчи испытывалъ непреодолимое стремленіе „ставить передь собой, какъ въ зеркалѣ“, свои представления и чувства, и въ этомъ вѣнчкѣй археологъ видитъ источникъ языка. Стало быть, еще до происхожденія языка человѣкъ уже переживалъ потребность выразить какимъ-нибудь способомъ, жестаами или звуками, содержаніе своего сознанія: выйти, что языкъ возникъ вълѣдствие присущей человѣку потребности *говорить*. Между тѣмъ, такой выводъ совершенно неприемлемъ, и не можетъ подлежать сомнѣнію, что возникновенію языка предшествовалъ продолжительный періодъ хорового „пѣнія“, инстинктивныхъ рефлекторныхъ криковъ и т. под.: все это не вытекало изъ какого-нибудь влеченія къ выраженію своихъ чувствъ, но было бессознательнымъ выраженіемъ настроенія или опредѣленныхъ эмоцій. Какъ наступила дифференціація первоначальныхъ криковъ, и какъ они превратились въ слова, и какіе процессы лежатъ въ основаніи словъ,—на эти вопросы мы не находимъ отвѣтовъ у Гернеса, хотя онъ даетъ въ дальнѣйшемъ изложеніи много цѣнныхъ замѣчаній относительно характера языковъ у дикарей и некультурныхъ народовъ.

Къ цѣлому ряду первоосновъ сводитъ первоначальный языкъ Шуртцъ ¹⁾. Онъ исходитъ изъ звуковъ, производимыхъ животными и распадающихся на двѣ группы: произвольные и произвольные. Къ первымъ относятся тѣ, которые производятся рефлекторно или сопровождаютъ какія-нибудь движенія, представляютъ ненамѣренное и бессознательное выраженіе чувствъ и т. п., ко вторымъ же Шуртцъ относитъ такіе звуки, которые онъ называетъ произвольными: это различнаго рода зовы, призывы, крики предупрежденія и т. п., затѣмъ „звуки забавы“ (Spiellaute) и „совмѣстный шумъ“ (geselliger Lärm). „Spiellaute возникаютъ, пожалуй, всегда изъ рефлекторныхъ или сопроводительныхъ (Begleitlaute) звуковъ и зововъ, но они теряютъ свой первоначальный характеръ и цѣле-

¹⁾ H. Schurtz. Uebersicht der Kultur. 1900, стр. 473—480.

сообразность, и служить стремлению выразить и представить себя или желание разрешить с помощью игры накопившуюся энергию: они могут быть простыми подражаниями другим звукам: так, напр., играющие щенки подражают рычанию, вовсе не желая в действительности угрожать, или же птицы-пересмешники обезьяничают звукам других птиц, а попугай даже человеческой речи, или же развиваются художественные формы, как напр. у птиц гармоническое пение из призыва к спариванию“.

Здесь элемент произвольности, конечно, несколько преувеличен автором, так как трудно допустить сознательное подражание „в шутку“ у щенков или намеренное передразнивание человеческой речи у попугая: самое однообразие этих явлений у всех животных одного вида указывает на их инстинктивное, а стало быть лежащее вне сознания происхождение. Как материал, из которого могла быть построена впоследствии речь человека, эти зовы и крики заслуживают внимания, но сами по себе они никак не могут быть признаны элементами „языка животных“. Такое преувеличение значения животных криков для образования человеческого языка составляет, как мы знаем, обычную особенность эволюционных теорий. Что касается „совместного шума“, которому Шуртц справедливо приписывает значительное влияние на возникновение человеческого языка, то по этому поводу он высказывает следующие соображения: этот „geselliger Lärm“ охватывает все те звуки, которые производятся совместно многими животными для выражения своего удовольствия по поводу встречи. В этом определении, конечно, тоже замечается немалая доля антропоморфизма, так как по существу может идти речь лишь о разряжении в звуках энергии, в данном случае приятных эмоций, вызываемых удовлетворением общественного инстинкта. „Всякому совместному шуму присуще то свойство, что он выражает и закрепляет общее настроение, и потому он является очень важным средством общественного состояния (Zusammenhalt)“. В применении к человеческой речи такое совместное кричание или пение, происходившее в дочеловеческом состоянии людей, могло бы иметь, как я полагаю, прежде всего лишь то значение, что разбивало бы голосовые органы его, вырабатывало бы привычку к излиянию своего настроения в звуках и т. д. Но, вѣдь, в отличие от совместного пения птиц, лягушек, обезьян и других животных, речь человека представляет ту особенность, что она именно вырывается из хора, нарушает единство, выражает индивидуальное настроение или передает индивидуальное состояние сознания. Лишь тогда, когда кто-нибудь „заговорил“ или заплѣл не так, как все, и могло возникнуть человеческое индивидуальное выражение, легшее в основание речи. Конечно, этот процесс мог достигнуть скольконибудь заметной вели-

чины лишь очень медленно и постепенно и обнаружиться только в своем результате, но не в развитии. Пример этого мы можем видеть в образовании гозоров языка, которое поконится на незамѣтной в началѣ дифференціи в произношении звуков и становится замѣтной величиной лишь тогда, когда достигает известного развития. Так и в этом „совместном шумѣ“ кто-нибудь должен был уклониться от общей нормы, чтобы выработать в концѣ концов для выражения своего я свой собственный способ. И вот животные, как мы видим, в этом отношении остаются на уровнѣ хорового пения, и особи пользуются инстинктивным, от предков унаследованным выражением своих настроений, так что в качестве предшественника человеческой речи нельзя разсматривать этот „совместный шум“. Таким образом, Шуртц устанавливает схему „произвольности“ произвольных звуков, которые „вмѣстѣ или в одиночку“ составляют те зародыши, к которым могут восходить начатки языка: „языкъ должен был возникнуть то из рефлекторных звуков, то из зова, то из шутливого подражания животным и другим звукам. Всего меньше обращалось внимания на сопроводительные звуки и на совместный шум“. Этим двум послѣдним явлениям Шуртц приписывает особенно важную роль в возникновении языка. За междоветьями он отрицает это значение, так как они представляют собою „неизмѣняющіеся первобытные звуки (unbildsame Urlaute), которые приобретают больше смысла и содержания развѣ только при развитии языка, но сами не становятся посредниками (zu Medien) умственной жизни. Они не выходят из области чистого ощущения“. Это замѣчаніе нѣмецкаго этнолога применимо именно к уже развитому языку, в котором, действительно, восклицанія играют весьма незамѣтную роль, но едва ли оно справедливо по отношению к первобытному языку.

Отрицает Шуртц крупную роль в происхождении языка и за звукоподражаниями, которые принадлежать, в сущности, к разряду „шуточных звуков“ (Spiellaute). Тѣмъ большее значеніе онъ придаетъ тѣмъ звукамъ, которые сопровождаютъ какую-нибудь дѣятельность и вызываются стремленіемъ людей говорить. Люди говорятъ о пустякахъ, о томъ, что всемъ извѣстно, но все же постоянно говорятъ, точно подчиняясь требованіямъ какого-то инстинкта. „У дикихъ народовъ это обнаруживается еще отчетливѣе: до поздней ночи ведется веселая болтовня въ деревняхъ южно-американскихъ индѣйцевъ или негровъ; можетъ быть, какими-нибудь двумя фразами можно передать все умственное содержаніе и всю пользу этой болтовни. Здѣсь должно быть нѣчто, что перевѣшиваетъ трудъ говоренія, и что-то достигается съ помощью этой болтовни, и это что-то должно имѣть высокую цѣнность и порождать чувство внутренняго удовлетворенія. И такъ оно и есть въ действительности: разговоръ помогаетъ установить чувство общности: это главное средство для сохраненія и укрѣ-

пленія гармоніи и общественной связи. То, что въ животномъ мірѣ является, какъ уже упомянуто, общимъ беспорядочнымъ крикомъ, у чело-вѣка поднимается на болѣе высокую ступень, но, по существу, остается тѣмъ же самымъ; если этой своей совмѣстной возней животныя вызы-ваютъ другъ у друга общее *чувство*, то чело-вѣкъ создаетъ съ помощью разговора гармонію *мысли*“. Съ этимъ положеніемъ, опять-таки, можно согласиться лишь отчасти: вѣдь разговоръ на общественныя, безсодержа-тельные темы ведетъ къ установленію единства настроенія, а не мысли. Это во-первыхъ, а во-вторыхъ: въ разговорѣ не всѣ говорятъ одно и то же, какъ въ хорѣ лягушекъ или воронъ, но каждый говоритъ свое, такъ что мы видимъ здѣсь, скорѣе, аналогію, чѣмъ полное сходство. И самъ же Шуртцъ приводитъ изъ сочиненія Мартиуса о бразилійскихъ индѣй-цахъ слѣдующее мѣсто, которое показываетъ, насколько присуще перво-бытному чело-вѣку говорить именно это свое: „По большей части, собра-нія начинаются съ наступленія ночи. Въ началѣ засѣданія ведется среди толпы, спокойно сидящей кучками, болтовня въ полъ-голоса или общее какое-то ворчаніе; при этомъ всѣ говорятъ монотонно и одновременно, не обращая вниманія на то, слушаетъ ли ихъ кто-нибудь. Когда появляется вождь, все затихаетъ“. Здѣсь обнаруживается то существеннѣйшее, что есть въ чело-вѣческой рѣчи: именно, что люди говорятъ прежде всего, *для себя*.

Такимъ образомъ, главные источники языка Шуртцъ находитъ въ совмѣстномъ шумѣ и въ звукахъ, сопровождающихъ усиліе или извѣстное чувство. Поскольку дѣло идетъ о подготовкѣ того языкового матеріала, изъ котораго потомъ образуется рѣчь, съ этимъ вполне можно согласиться, но черезъ психологическую проблему, какъ эти звуки были осознаны въ качествѣ выраженія эмоций, и какъ изъ хорового пѣнія выдѣлилась инди-видуальная рѣчь, Шуртцъ не перекинулъ никакого моста, еще меньше, чѣмъ Гернестъ, развившій въ нѣкоторыхъ частностяхъ взгляды Шуртца. Между тѣмъ въ книгѣ Марти, о которой я буду говорить ниже, заклю-чалось обоснованіе этой возможности. Въ дальнѣйшемъ примѣненіи своихъ взглядовъ Шуртцъ пришелъ къ выводамъ, не соответствующимъ нашимъ знаніямъ о языкахъ дикарей. Именно, въ вопросѣ о происхожденіи корней языка онъ усваиваетъ точку зрѣнія Нуаре (см. ниже) и Гейгера (см. ниже), что первоначальные корни означали извѣстнаго рода дѣятельность, и полагаетъ, что языкъ возникъ изъ корней глагольного значенія, чему противорѣчитъ полное смѣшеніе гла-гольных и существительныхъ содержаній въ корняхъ многихъ дикар-скихъ языковъ. Впрочемъ, какъ мнѣ кажется, это предположеніе и не такъ важно, и не мѣшаетъ Шуртцу придти къ правильному заключенію о происхо-жденіи языка, основанному на данныхъ книги Бюхера о ритмѣ: языкъ возник-аетъ, прежде всего, какъ спутникъ работы. Этотъ взглядъ я постараюсь раз-

вить въ слѣдующей главѣ, подкрѣпивъ его нѣкоторыми данными. Слѣ-дуетъ отмѣтить такимъ образомъ, что современная этнологія подошла къ разрѣшенію вопроса о происхожденіи языка, исходя изъ звѣриныхъ инстинктивныхъ криковъ и анализируя языки и культурные навыки ди-карей. Теорія Шуртца, легшая въ основаніе вышеприведенныхъ взгля-довъ Гернеста, сдѣлалась въ настоящее время однимъ изъ наиболѣе крѣпко установленныхъ воззрѣній этнологовъ. Такъ, Вейле ¹⁾ формулируетъ его въ слѣдующихъ положеніяхъ: „Языкъ возникъ, какъ спутникъ чело-вѣческаго труда. Но чело-вѣкъ всегда работалъ, хотя бы сначала только забавляясь; онъ всегда долженъ былъ трудиться надъ тѣмъ, чтобы поддержать свое превосходство надъ остальной природой, добытое орудіемъ и оружіемъ. Поэтому, языкъ такъ же старъ, какъ и самъ чело-вѣкъ“.

Чтобы не дѣлать перерыва въ изложеніи этнологической теоріи, я нарушилъ хронологическія рамки. Теперь приходится вернуться опять къ шестидесятымъ годамъ прошлаго столѣтія и остановиться на взглядахъ Макса Мюллера, которые представляютъ любопытную эволюцію, вызван-ную развитіемъ новыхъ вліяній и ученій въ спеціальной литературѣ. Въ своемъ курсѣ, читанномъ въ Королевскомъ Британскомъ институтѣ въ 1861 году, Максъ Мюллеръ посвятилъ одну лекцію происхожденію языка ²⁾. Здѣсь онъ выступаетъ рѣшительнымъ противникомъ эволюціонной теоріи. „Существуетъ ли что-либо такое, что можетъ сдѣлать чело-вѣкъ, и призна-ковъ или начала чего мы не нашли бы во всемъ животномъ мірѣ? Отвѣ-чаю, не колеблясь: одна великая грань между чело-вѣкомъ и животнымъ состоитъ въ языкѣ. Чело-вѣкъ говоритъ, а животное еще никогда не про-износило ни одного слова. Языкъ нашъ Рубиконъ, и ни одинъ звѣрь не посмѣетъ переступить его. Вотъ нашъ фактической отвѣтъ тѣмъ, кто го-воритъ о развитіи, кто думаетъ, что, наконецъ, въ обезьянѣ открыто, по крайней мѣрѣ, начало всѣхъ чело-вѣческихъ способностей, и кто охотно провозгласилъ бы возможность того, что чело-вѣкъ есть только болѣе бла-гоприятствуемый звѣрь, торжествующій побѣдителемъ въ первобытной борьбѣ за существованіе“. Противъ обѣихъ теорій, выставленныхъ его предше-ственниками, Мюллеръ полемизруетъ: подъ теоріей „bau-vau“ онъ подразу-мѣваетъ тѣ ученія, которыя видѣли источникъ чело-вѣческаго языка въ звукоподражаніи, подъ теоріей „ба-ба“ ученіе о происхожденіи языка изъ восклицаній, междометій. Именно, Максъ Мюллеръ полагаетъ, „что, хотя въ каждомъ языкѣ встрѣчаются названія, образовавшіяся на основаніи простого звукоподражанія, однако они составляютъ весьма небольшую часть нашего словаря. Они *игрушки*, а не *орудія* (ср. 475 стр.) языка, и всякая по-пытка обратить самыя простыя и необходимыя слова въ подражательныя

¹⁾ K. Weule. Leitfaden der Völkerkunde. 1912, стр. 127.

²⁾ Пользуюсь здѣсь русскимъ изданіемъ 1865 г. „Лекціи по наукѣ о языкѣ“, переводъ съ 4-го англійскаго изданія.

корни кончается полным неуспехом". Как мы знаем, защитники этой теории уже во времена Макса Мюллера, напр. Феррарь, сочинение которого ему было известно, распространили теорию звукоподражания в том смысле, что признали звукоподражательные корни только основными элементами языка, из которых развились позднейшие слова, уже не имьющая характера звукоподражаний. Возражения Макса Мюллера очень поверхностны: „тщетно прилепливаемся мы къ сходству между гусемъ и гоготаніемъ, курицей и кудахтаніемъ, уткой и криканьемъ“ и т. п. Все это, конечно, знали и сторонники теории, и не этимъ аргументомъ можно было бороться съ ними. Не менѣе легко знаменитый санскритологъ раздѣляется съ теоріей междометій. „Отвѣтъ нашъ на эту теорію тотъ же, что и на первую. Безъ сомнѣнія, въ каждомъ языкѣ есть междометія, восклицанія, изъ которыхъ инья стали традиціонными и вошли въ составъ словъ. Но эти междометія суть только опушки настоящаго языка. Языкъ начинается, когда кончаются междометія. Между настоящимъ словомъ: какъ напр., *смѣяться* и восклицаніемъ: *ха, ха*, между: *я страдаю и ох!* такая же большая разница, какъ между невольнымъ дѣйствіемъ и звукомъ *чиханья* и глаголомъ *чихать*“. Опять-таки защитниками названной теоріи отстаивается не то, что ей ставитъ въ вину Максъ Мюллеръ: никто не утверждаетъ, что какой-нибудь языкъ состоитъ изъ междометій, но говорятъ о томъ, что первая связь между содержаниемъ сознания и символическимъ выраженіемъ его была создана восклицаніемъ. Самъ Максъ Мюллеръ замѣчаетъ, что „одно краткое междометіе можетъ быть выразительнѣе, точнѣе, краснорѣчивѣе длинной рѣчи“. Именно этотъ *выразительный* характеръ, присущій междометію, какъ таковому, и могъ сыграть известную роль въ образованіи человѣческаго языка, хотя бы восклицанія и не были словами въ нашемъ теперешнемъ смыслѣ. И, кромѣ того, ясно, что, если только обладаніе общими понятіями составляетъ полную существенную разницу между человѣкомъ и животнымъ, то языкъ, составленный изъ междометій и подражаній крикамъ животныхъ, не можетъ быть наружнымъ признакомъ этой отличительной способности человѣка. Всѣ слова, по крайней мѣрѣ, первоначально (только это занимаетъ насъ), были бы такимъ образомъ знаками личныя впечатлѣній и личныя ощущеній, и только постепенно примѣнялись бы въ выраженію общихъ понятій. Анализъ языка, произведенный по правиламъ сравнительной филологіи, даетъ намъ совершенно противоположную теорію. Мы добираемся въ заключеніе до корней, изъ которыхъ каждый выражаетъ общую, а не частную идею. Каждое имя содержитъ, по анализу, сказуемое, черезъ которое и познавался предметъ, означаемый этимъ именемъ“. Каждое имя существительное означаетъ, по мнѣнію Макса Мюллера, какое-нибудь качество, какой-нибудь признакъ предмета. „Солнце могло быть названо свѣтомъ, теплотою, золотымъ, предохранителемъ, разру-

шителемъ, волкомъ, львомъ, небеснымъ глазомъ, отцомъ свѣта и жизни. Вотъ отчего происходитъ изобиліе синонимовъ въ древнихъ языкахъ и та *борьба за существованіе* между словами, которая ведетъ къ уничтоженію менѣе сильныхъ, менѣе удачныхъ, менѣе плодотворныхъ словъ и оканчивается торжествомъ *одного* признаннаго и приличнаго имени для каждаго предмета въ каждомъ языкѣ“. Такимъ образомъ, въ противоположность тѣмъ теоріямъ, которыя сводили начало человѣческаго языка къ произвольнымъ естественнымъ процессамъ, Максъ Мюллеръ полагаетъ, что „всѣ имена безъ исключенія произведены отъ общихъ понятій, хотя они и выражаютъ частныя представленія“. Собственно говоря, къ другому выводу и не могъ привести тотъ путь, который избралъ этотъ ученый: онъ исходилъ изъ сравнительнаго индоевропейскаго языкознанія, которое возстановило на основаніи сличенія родственныхъ словъ въ различныхъ индоевропейскихъ языкахъ рядъ корней съ опредѣленными существительными значеніями, такъ что всякое слово оказывалось первоначально сказуемымъ. Такимъ образомъ, передъ анализомъ филолога предстояли уже готовые слова, не заключающія въ себѣ никакихъ признаковъ своего происхожденія. Мюллеръ полагаетъ, что эти 400 или 500 корней (почему онъ взялъ именно такое число?) составляютъ основныя части въ языкахъ различныхъ семействъ, и что это не междометія и не звукоподражанія. Откуда же они взялись? На это Максъ Мюллеръ не имѣлъ въ эту пору никакого отвѣта, кромѣ ссылки на Божью волю, надѣлившую человѣка опредѣленнымъ инстинктомъ. „Человѣкъ въ своемъ первобытномъ и совершенномъ состояніи былъ одаренъ не одною только способностью, подобно животнымъ, выражать свои ощущенія междометіями и свои понятія звукоподражаніемъ. Онъ обладалъ также способностью придавать разумнымъ представленіямъ своего ума болѣе членораздѣльныя выраженія. Онъ не самъ создалъ въ себѣ эту способность. Это былъ инстинктъ, инстинктъ его ума, столько же невольный, какъ всякій другой. Языкъ настолько принадлежитъ царству природы, насколько онъ есть продуктъ инстинкта“. По существу, это былъ отказъ отъ разрѣшенія проблемы: если человѣкъ говоритъ, придавая членораздѣльное выраженіе своимъ *разумнымъ* представленіямъ, — согласно своему инстинкту, то можетъ-ли идти рѣчь о томъ, какъ возникла эта членораздѣльная форма, какъ появились у человѣка *разумныя представленія*, которыя нашли себѣ только *выраженіе* въ его языкѣ и, стало быть, имѣлись еще до языка? Все это праздные вопросы, потому что спасительная ссылка на инстинктъ устраниваетъ яко бы всѣ эти недоразумѣнія, хотя въ самомъ понятіи *инстинкта* заключается представленіе о безсознательномъ цѣлесообразномъ побужденіи къ дѣятельности, совершаемой всегда одинаково (какъ младенецъ сосетъ грудь матери, какъ пчела собираетъ медъ и т. п.). Къ понятію инстинкта никакъ не можетъ подойти рѣчь сознательная, сложная, разнообразная

по своему содержанию. Таким образом, Макс Мюллер, в сущности, не далъ никакого отвѣта.

На этой точкѣ зрѣнія Макс Мюллеръ стоялъ довольно долго. „Когда мы говоримъ, мы пользуемся тѣмъ же самымъ матеріаломъ, какимъ пользовался и тотъ первый человѣкъ, который заговорилъ, т. е. истинный отецъ нашей расы“: утверждалъ онъ въ 1868 г. (Ships from a german Workship, 1868, цит. Regnaud. 23). Въ 1872 году, читая въ Страсбургѣ лекцію „О результатахъ языкознанія“, Макс Мюллеръ произнесъ, какъ извѣстный научный догматъ, положеніе: „Каждое слово имѣетъ свою исторію, и начало этой исторіи, которое открываетъ намъ этимологія, выводитъ насъ далеко за предѣлы его перваго появленія въ исторіи. Каждое слово имѣло первоначально, конечно, *предикативное значеніе*; я имѣю въ виду то значеніе, которое заключается въ самомъ корнѣ“¹⁾. Годъ спустя, въ своемъ „Введеніи въ науку о религіи“, Макс Мюллеръ возвращается къ тому же вопросу и настойчиво утверждаетъ: „Мы знаемъ, что всѣ слова произошли отъ корней, что эти корни выражаютъ общія понятія, и что за немногими исключеніями каждое названіе основывается на общемъ понятіи, которому подчиненъ предметъ, получившій наименованіе. Какъ возникли эти самые корни, это вопросъ, въ который намъ нѣтъ надобности углубляться здѣсь. Ихъ происхожденіе и развитіе составляютъ проблему, скорѣе, психологіи, чѣмъ филологіи, а каждая наука должна замыкаться въ свои границы. Когда потребовалось названіе для снѣга, то первые устроители языка (the early framers of language) *выбрали* одинъ изъ главныхъ признаковъ снѣга, его бѣлизну, холодность или мягкость, и назвали снѣгъ—*бѣлое, холодное или мягкое*, пользуясь корнями, соответствующими общей идеѣ бѣлизны, холодности или мягкости“²⁾. Здѣсь, какъ мы видимъ, послѣдовательно развивая тѣ основанія, которыя были высказаны въ публичныхъ лекціяхъ 1861 года, Макс Мюллеръ просто отказывается судить о происхожденіи языка, ссылаясь на то, что это вопросъ не столько лингвистическій, сколько психологическій, а каждая наука должна держаться поставленныхъ ей границъ.

Но уже нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1878 году, Макс Мюллеръ смотрѣлъ на вопросъ иначе. Подъ влияніемъ сочиненія Нуаре о происхожденіи языка онъ измѣнилъ свою точку зрѣнія. Макс Мюллеръ, который въ первую эпоху своей дѣятельности, такъ рѣзко выступалъ противъ эволюціонизма, теперь уже ничѣмъ существеннымъ не отличается отъ него и отстаиваетъ такую точку зрѣнія на происхожденіе языка, которая роднитъ его съ представителями этнологическаго

¹⁾ F. Max Müller. Ueber die Resultate der Sprachwissenschaft. 1872. стр. 22.

²⁾ F. Max Müller. Introduction to the science of religion. London. 1873. стр. 371.

направленія. Этотъ переходъ въ воззрѣніяхъ Макса Мюллера, по моему мнѣнію, очень знаменателенъ: наука все менѣе довольствовалась принципомъ „ignorabimus“ въ примѣненіи къ происхожденію человѣческихъ способностей, а вѣдь школа нѣмецкихъ философовъ—языковѣдовъ, Гумбольдта и Штейнтала, начинала и кончала тѣмъ, что человѣкъ, какъ таковой, надѣленъ даромъ рѣчи, безъ нея немислимъ, и потому не существуетъ для науки, какъ существо не говорящее. Уже ближайшій единомышленникъ названныхъ ученыхъ, Лапарусъ, попытался выйти изъ этого зачарованнаго круга. Макс Мюллеръ думалъ найти опору для своего агностицизма въ этой области открытіемъ атрибутивнаго характера первоначальныхъ корней, которые предполагали разумное мышленіе у первыхъ „устроителей языка“; однако и эта опора не устояла противъ натиска новыхъ умственныхъ теченій, настоятельно требовавшихъ разрѣшенія вопросовъ, на которые было наложено своего рода ученое *табу*. Почти незамѣтно Макс Мюллеръ вошелъ въ струю этихъ новыхъ учений. Переходомъ для него послужило установленное Нуаре иное значеніе корней, нежели полагалъ Макс Мюллеръ. Принявъ его точку зрѣнія, убѣдившись, что корни первобытнаго языка означаютъ не признаки и не понятія, но глагольные дѣйствія, этотъ ученый долженъ былъ перемѣнить и свой основной взглядъ на происхожденіе языка. Поэтому, эволюція воззрѣній Макса Мюллера, помимо ея спеціальнаго интереса въ настоящемъ изслѣдованіи, имѣетъ и болѣе широкое значеніе, какъ исторія образованія ученыхъ воззрѣній и школъ. Въ виду этого я считаю необходимымъ прервать на этомъ мѣстѣ изложеніе взглядовъ Макса Мюллера, остановиться на теоріи Нуаре и лишь потомъ возвратиться ко второй половинѣ научной дѣятельности англійскаго философа, которая ознаменовалась его крупнѣйшимъ трудомъ въ этой области, „Наукой о мысли“ (The Science of Thought), вышедшей въ 1887 году и посвященной Людвигу Нуаре.

Въ свою очередь и этотъ послѣдній не стоитъ одиоко въ разработкѣ этого вопроса; его ближайшимъ предшественникомъ является Л. Гейгеръ¹⁾. Въ 1869 году появилось его сочиненіе о происхожденіи языка, въ первой главѣ котораго, въ обзорѣ литературы, охарактеризованъ и взглядъ Макса Мюллера, какъ мистическая теорія. Эту главу Гейгеръ заканчиваетъ замѣчаніемъ, что тотъ путь, по которому шло изслѣдованіе проблемы происхожденія человѣческой рѣчи, могъ привести только къ скептицизму. При разсмотрѣніи корневыхъ значеній Гейгеръ опять-таки приходитъ къ заключенію, противорѣчащему взглядамъ какъ Макса Мюллера, такъ и приверженцевъ звукоподражанія. „Каждый звукъ можетъ озна-

¹⁾ L. Geiger. Der Ursprung der Sprache. 1869. Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft. 2 тома. 1868—1872 (второй томъ вышелъ послѣ смерти автора, послѣдовавшей въ 1870 г.).

чать любое понятие, каждое понятие может быть обозначено любым звуком; специальное значение, которое с течением времени было приобретено в конце концов каким-нибудь звуком, является всегда результатом простой случайности, или другими словами: результатом развития“. С анализа этой мысли Гейгер начинает третью главу своей книги: „Все звуки-корни соединяют в себе значительное число понятий, и при этом являются во многих совершенно различных формах с вполне одинаковыми основными значениями“. Вопросу о переходах значения Гейгер уделяет не мало места в своей книге. Он приходит к выводу (loc. cit. 98), что „единственно соответствующим действительности, согласующимся с целью разумия и вместе с тем допускающим развитие положением вещей оказывается многообразие звуков и многообразие значений в корнях (Mehrlautigkeit und Mehrdeutigkeit der Wurzeln)“. Развитие значений в каждом корне идет по своим собственным путям, нередко весьма сложным. „Значения слов развиваются в виде цепи, последнее звено которой не находится уже ни в какой ясной связи с первым. Передние члены ряда *забыты*, и лишь благодаря этому стал возможен последний. Слово, которое означает *хороший*, не может означать *дурной*, и то слово, которое означает *черный*, не может означать *бланный*, если не будут забыты прежние значения... Множественность значений слова не следует понимать, непременно, как одновременную массу; это, по большей части, последовательность. Если применить это положение к корням и спросить, нужно ли рассматривать присущее им общее (значение), как цельную массу или как последовательность, т. е. могли ли корни уже с самого начала применяться ко всем случаям, для которых существуют выражения в происходящих от них словах, или же их применение исходило от отдельных случаев употребления и постепенно распространилось на всю их позднейшую область, то ответить утвердительно, очевидно, приходится на второй вопрос“ (ibid. 122—123). Таким образом, по мнению Гейгера, развитие значений есть по существу своему не что иное, как развитие понятия. Отсюда важный вывод об отношении мысли к слову: „Возникновение общих понятий, или, вернее, так как каждое понятие бывает более или менее общим, возникновение всех понятий не может быть объяснено иным путем, кроме как возникновением *слов* для этих понятий“. (139). Язык предшествует разуму; более того, как выражается Гейгер, „язык создал разум; до него человек был неразумен“.

Если, таким образом, язык должен был возникнуть эволюционным путем, то следует розыскать его начатки. Гейгер исходит из присущих человеку познавательных способностей; с помощью органов чувств человек различает предметы, но постепенно чувство зренья, как источник познания, почти вытеснено в духовной жизни человека

чувство обоняния и стало, вообще, на первый план в его умственной жизни. „Именно в том пункте, где зверь разстается с человеком в смысле зрительных ощущений, и выступает язык. Он исходит из обозначения видимого животного движения, чем завершается наблюдение у животного. Самое первое и самое раннее, что выражает всякий человеческий язык, заключается именно в таком видимом животном и человеческом движении. Можно назвать этот объект жестом или, пожалуй, также миной; последнее тем вернее, что слово *мина* соответствует греческому *timos*, и собственно означает жест подражания, — именно тот жест, который, быть может, сопровождал первый звук рчи. Возможно и, пожалуй, даже нужно включить в первый объект языкового обозначения и звериный звук, ворчание, которое связано с характерной миной. Поэтому, можно видеть в первом звуке рчи отражение какого-нибудь предмета в животном внешнем мире, где восприятие звука и восприятие лица сходятся в одном центре, так что подражание, порождающее, может быть, и звук рчи (den Sprachlaut), было в известном смысле вместе с тем и звукоподражанием“.

Так в теории Гейгера мы встречаемся уже с указанием на „сопроводительный звук“, который занял такое видное место в новейших воззрениях этнологической школы, а у Гейгера еще едва намечен. Язык, таким образом, возникает вследствие ассоциации этого сопроводительного звука (Begleitlaut) и известной мимики или жестикуляции; первоначальное познавательное значение принадлежит этой последней группе явлений, а не звукам, и лишь впоследствии, благодаря их ассоциации, приобрели известное значение и звуки, зародыши позднейшего человеческого языка. Нам не для чего повторять здесь слабые пункты теории Гейгера: не один человек, но и другое высшее животное могло бы пойти этим путем к происхождению языка, однако не пошло, и слишком скуден запас восклицаний, сопровождающих мимику. Гейгер идет однако дальше этих основных положений, и лишь на этом пути он мог сделаться предшественником Нуаре. Изучение названий цветов привело Гейгера к убеждению, что не самый цвет лег в основание этих названий, но действие *намазывания* краской предмета. Другими словами, „человек называл сначала только свои действия или действия себя подобных; он замечал, что происходит в нем самом или в его ближайшем соседстве, уже тогда, когда он еще не обладал никаким пониманием, никакой способностью рассуждения о таких возвышенных вещах, как свет и тьма, блеск солнца и сверканье молнии. Разберемся в том множестве понятий, которое уже прошло мимо нас (ссылка на предшествующий анализ слов): в своих первоосновах они восходят к чрезвычайно ограниченному кругу чело-

вѣтскихъ движеній“. Такимъ образомъ, по мнѣнiю Гейгера, *дерево* оказывается чѣмъ-то *лишеннымъ коры* (der Baum—etwas Entrodetes), *земля* нѣчто растертое (die Erde etwas Zerriebenes), *зерно*, въ ней растущее, нѣчто *лишенное шелухи* (das Korn—etwas Enthülstes). На такихъ шаткихъ основанiяхъ Гейгеръ строитъ свою теорiю (ibid. 151—152). Современная филология¹⁾ отрицаетъ всякую связь между нѣмецкимъ *Baum* и какимъ-нибудь глагольнымъ корнемъ, не идетъ дальше сопоставленiя слова *korn* съ латинскимъ *grānum* и славянскимъ *зерно*, и признавая связь словъ *Erde* и греч. *ἄρβω*, слав. *орати* (пахать), не опредѣляетъ, однако, *Erde*, какъ „размолотую“ или „вспаханную“ землю; скорѣе, это просто пашня, какъ мѣсто примѣненiя извѣстнаго дѣйствiя. Я остановился подробнѣе на этихъ фактахъ, потому что самъ Гейгеръ придаетъ имъ особенно важное значенiе. Такъ же, повидимому, произвольны и его объясненiя семитическихъ словъ изъ глагольныхъ корней. Цѣль всѣхъ этихъ разсужденiй, которыя сводятся къ значительному числу этимологическихъ сопоставленiй весьма сомнительнаго достоинства, заключается въ доказательствѣ того, что первоначальныя значенiя глагольныхъ корней имѣли въ виду дѣйствiя человѣка. „Извѣстное движенiе производило столь сильное впечатлѣнiе, что дѣлалось исходнымъ пунктомъ дѣлаго мощнаго развитiя и могло составлять единственное явленiе, замѣченное и названное въ первый моментъ пробуждающагося воспрiятiя. Многiя основанiя заставляютъ меня думать, что дѣло происходило именно такъ, и что это великое чудо совершило человѣческое лицо“ (L. Geiger. 159). Это общее положенiе Гейгеръ специализируетъ указаниемъ на то, что „во многiхъ серияхъ словъ еще чувствуется энергiя, съ которой должны выражаться именно подергиванiе и гримаса человѣческаго рта (das Zucken und die Verzerrung des menschlichen Mundes wiedergegeben werden soll)“. Примѣры, которые Гейгеръ приводитъ въ подтвержденiе своей мысли, не выдерживаютъ критики со стороны научнаго языковѣдiя, и вся вообще эта теорiя остается очень бездоказательной²⁾. Въ своемъ этимологическомъ усердiи онъ подводитъ подъ одну категорiю всѣ слова, сколько-нибудь сходныя между собой, вплоть до глагола *grinsen* (скалнить зубы) и *Grund* (глубина). Особенно отчетливо выступаетъ основная точка зрѣнiя Гейгера въ слѣдующихъ его положенiяхъ (стр. 163—166). „Вполнѣ допустимо, что слова, обозначающiя всевозможные звуки, присоединяются къ перечисленнымъ здѣсь³⁾. Изъ корней съ *m* или *n* нѣкото-

1) *Fr. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 5 изд. 1894 г.

2) Такъ *mar* (тереть, кусать) восходитъ, по мнѣнiю Гейгера, будто бы къ *mar, mal* (растирать), а съ другой стороны сюда же относится лат. *mandio* (жевать) и т. п. Конечно, это чистая фантазiя.

3) Имѣются въ виду слова указанной группы.

рые уже упомянуты; но слѣдуетъ привести также совершенно спеціальныя обозначенiя животныхъ звуковъ: какъ напр., *muire* (мычать). Однако совершенно исключительные размѣры принимаетъ именно эта отрасль понятiй въ группѣ, которую мы причислили къ *grinsen*. Какъ *grin*, такъ и соответствующiй греческiй корень означаютъ *ржать*, а наряду съ этимъ: *скрежетать зубами*. Равнымъ образомъ оказываются родственными латинское *hinnire* (ржать), а также *grunnire* (хрюкать), *grunzen*. Нѣтъ никакой возможности хотя бы мимоходомъ коснуться здѣсь громаднаго множества относящихся сюда корней, которые означаютъ разнообразнѣйшiе звуки. Достаточно указать на родство ихъ съ *grollen* (гремѣть), съ *brummen* (бормотать) и *brüllen* (мычать), даже съ *dröhnen* (гудѣть) и *stöhnen* (стонать), и наконецъ съ *donnern* (гремѣть, какъ громъ). Звукъ со всѣмъ своимъ разнообразiемъ съ одной стороны, множественство не перемѣнно громкихъ движенiй съ другой находятъ свое средоточiе въ общемъ впечатлѣнiи сокращенiя (гримасы) рта, соединеннаго со звукомъ. По разнымъ причинамъ нельзя предположить, что понятiя ржанiя лошади, мычанiя коровы являются болѣе поздними. Какая роль должна быть приписана слуховому впечатлѣнiю при возникновенiи перваго слова, объ этомъ, кажется, можно спорить. Но слѣдуетъ отмѣтить, что, повидимому, именно, не тѣ звуки, которые производятъ болѣе сильное (слуховое) впечатлѣнiе, выступаютъ въ древнѣйшихъ обозначенiяхъ. Далѣе, не подлежитъ сомнѣнiю, что первоначально различныя слышимые звуки не представляютъ характерныхъ обозначенiй, хотя впоследствии извѣстная сила притяженiя со стороны ярко выраженнаго естественнаго звука вызвала вѣкорую систематичность въ этомъ отношенiи. Вообще, въ началѣ языка слѣдуетъ предположить лишь одинъ объектъ, а не нѣсколько. Этотъ одинъ объектъ былъ, вѣ всякаго сомнѣнiя, не только слуховымъ впечатлѣнiемъ, но съ нимъ связывалось и зрительное впечатлѣнiе. Первый объектъ рѣчи совпадаетъ, по всей вѣроятности, съ тѣмъ самымъ объектомъ, съ помощью котораго онъ приобретаетъ выраженiе: это было видимое и слышимое движенiе человѣческаго рта, можетъ быть совершенно сходное (völlig gleichende) съ первымъ языковымъ крикомъ, съ первымъ языковымъ движенiемъ“.

Такимъ образомъ, мимика, сопровождающаяся звукомъ, одновременно слуховое и зрительное впечатлѣнiя, неразрывная ассоциация, устанавливающаяся между ними: вотъ что лежитъ въ основанiи человѣческой рѣчи. Все это не ново и высказывалось, какъ мы уже видѣли, многими изъ предшествовавшихъ изслѣдователей. Ново въ теорiи Гейгера лишь то значенiе, которое онъ приписываетъ первоначальнымъ корнямъ. Оно сводится лишь къ обозначенiю различныхъ мимическихъ выраженiй. Такова въ своей основѣ теорiя Гейгера. „Такъ какъ въ этихъ своихъ основахъ языкъ совпадалъ со своимъ объектомъ, то онъ становился по-

нятенъ, или, правильнѣе, онъ дѣйствовалъ (wirkte) такъ же, какъ и представленное, ибо человекъ еще не имѣлъ цѣли сообщить нѣчто, что должно быть представлено“ (166). Рѣчь идетъ, стало быть, объ инстинктивномъ пониманіи и объ инстинктивномъ же произвольномъ произведеніи звуковъ. Проблема происхожденія языка заключается, однако, не въ установленіи этихъ положеній, которыя не выводятъ насъ за предѣлы животной психической жизни, гдѣ наблюдаются также явленія инстинктивного пониманія инстинктивно производимыхъ звуковъ (цыплята сбѣгаются на крикъ насѣдки, лягушка откликается на кваканье лягушки и т. п.). Эта проблема можетъ быть разрѣшена лишь тогда, когда мы выходимъ изъ границъ бессознательнаго, когда мы сталкиваемся съ *намкреніемъ* сообщать съ помощью какихъ бы то ни было знаковъ (жестовъ, мимики, звуковъ, рисунковъ безразлично) содержаніе одного сознанія другимъ подобнымъ существамъ. Поэтому и непосредственно слѣдующее за приведеннымъ положеніемъ Гейгера не прибавляетъ ничего новаго къ выясненію этого вопроса. „Уже въ это первое мгновеніе (появленія рѣчи по указанному способу) вступаютъ въ свои права дифференціація, языкоупотребленіе (Sprachgebrauch) и развитіе понятій съ тѣми самыми послѣдствіями, которыя обнаруживаются въ языкѣ всѣхъ временъ. Вырывался звукъ при нѣсколькихъ измѣненіяхъ жестъ, относительно отличій котораго еще не было никакого разумѣнія. Да и самый звукъ измѣнялся и дѣлался сложнымъ, хотя сначала онъ еще не систематизировался въ отношеніи опредѣленныхъ предметовъ. Эта систематизація произошла лишь тогда, когда при достаточной различимости объектовъ установился численный перевѣсъ для одного изъ звуковъ. Такъ какъ всѣ эти явленія происходили одновременно, то разумѣніе ихъ никогда не прекращалось. Звукъ рѣчи, благодаря указанному распредѣленію по значеніямъ, теперь напоминалъ всѣмъ о чемъ-то отличномъ, тогда какъ прежде онъ напоминалъ лишь объ одномъ“. Слѣдовательно, лишь эмансипація звука отъ жеста и соединеніе опредѣленнаго значенія уже не съ жестомъ, но со звукомъ могли создать то, что можно назвать человѣческимъ языкомъ. Предположить эти два процесса, дѣйствительно, необходимо; весьма вѣроятно, что уклоненіе звука отъ нормы могло облегчить эту эмансипацію. Но все же безъ сознанія того, что самъ человекъ произнесъ звукъ не по обыкновенному, и безъ пониманія этого же факта другими людьми нельзя обойтись въ поддержкѣ этой теоріи. Между тѣмъ, во первыхъ, уклоненія должны были происходить не какъ попало, но планомерно: иначе *этотъ* звукъ не связался бы съ *этимъ* значеніемъ, а, во вторыхъ, по самой своей природѣ эмоціональные звуки не допускаютъ настолько значительныхъ варіацій, чтобы изъ нихъ могли образоваться различныя слова. Теорія Гейгера наталкивается на всѣ тѣ препятствія, которыя связаны со всякой теоріей происхожденія языка изъ восклицаній, но, кромѣ нихъ, имѣетъ и свои соб-

ственные подводные камни: это непременно глагольное значеніе первобытныхъ корней, при томъ значеніе, тѣсно связанное съ мимикой рта. Сначала движенія рта, потомъ вообще движенія, называемыя словами, означавшими первоначально мимику рта: таковы зародыши человѣческой рѣчи. Поэтому, сначала корни имѣли только глагольное значеніе, которое отмѣчало лишь происходящее безъ всякихъ подробностей и отношеній. Употребленіе такого языка, говоритъ Гейгеръ („*Ursprung und Entwicklung d. menschl. Sprache und Vernunft*“. I. 213), должно было ограничиваться совмѣстнымъ созерцаніемъ того, о чемъ говорили. При этомъ пропасть во взаимопониманіи между слушающимъ и говорящимъ не могла быть слишкомъ велика. Ея размѣры должны были ограничиваться тѣмъ немногимъ, что могъ выражать тогдашній примитивный языкъ: то, чего мы не высказали, мы бываемъ обыкновенно и не въ состояніи высказать. Что касается значенія мимики въ происхожденіи языка, то Гейгеръ отстаивалъ свой взглядъ на ея значеніе и позже, въ посмертномъ второмъ томѣ своего труда о началѣ разума (II. 214).

Взгляды Гейгера примѣнили къ нѣсколькимъ иному пониманію вопроса Нуаре, труды котораго произвели особенно рѣшительное вліяніе на перемѣну научныхъ взглядовъ Макса Мюллера ¹⁾. Отъ Нуаре, вообще, ведутъ свое происхожденіе и вышеизложенныя воззрѣнія антропологической школы. Основной взглядъ названнаго ученаго сводится къ положенію, что „звукъ рѣчи въ своемъ возникновеніи является сопровождающимъ общую дѣятельность выраженіемъ повышеннаго чувства общности“. Такой звукъ долженъ возникать вмѣстѣ съ общей дѣятельностью нѣсколькихъ лицъ; онъ остается долгое время соединеннымъ съ ней неразрывными узами, превращается вслѣдствіе продолжительнаго соединенія съ ней, мало-по-малу, въ ея постоянный символъ и затѣмъ начинаетъ въ своемъ развитіи означать также вещи внѣшняго міра, по мѣрѣ того, какъ эта дѣятельность касается и этихъ послѣднихъ. Вслѣдствіе этого звукъ начинаетъ вступать въ соединеніе и съ предметами міра. Изслѣдуя слова, относящіяся къ опредѣленному роду человѣческой дѣятельности, означающія дѣйствія: копать, рыться, скоблить и т. под., Нуаре приходитъ къ убѣжденію, что такія слова представляютъ самый послѣдній этапъ, къ которому, какъ къ конечному пункту, можно возвести терминологию иныхъ родовъ дѣятельности. „Ибо не роющійся и копающійся звѣрь, но человекъ, который совмѣстно съ другими рылъ себѣ въ землѣ пещеру, явился тѣмъ существомъ, которое вызвало и вмѣстѣ съ тѣмъ создало этотъ древнѣйшій звукъ рѣчи, это древнѣйшее понятіе“. Отъ тѣхъ теорій, которыя клали въ основаніе языка восклицанія, какъ выраженія эмоций, воззрѣнія Нуаре отличаются своимъ

¹⁾ L. Noiré. Der Ursprung der Sprache 1877. Max Müller and the philosophy of language. 1879.

подчеркиваніемъ волевого момента. „Языкъ есть результатъ активнаго, а не пассивнаго процесса; это дитя *воли*, а не чувства. Исходя изъ этихъ двухъ положеній, мы приходимъ къ слѣдующему выводу: не только симпатія радости и симпатія страданія находятъ у человѣка свое выраженіе въ видѣ смѣха и слезъ; есть еще симпатія воли, дѣятельности, направленной на внѣшній міръ и обнаруживающейся, какъ явленіе, только въ своихъ результатахъ. Эта общая симпатическая дѣятельность сопровождалась первоначально звуками, которые иногда, какъ напр., въ игрѣ и въ пляскѣ, вырывались въ порывистомъ возбужденіи совмѣстной дѣятельности; а такъ какъ эти звуки возникали всякій разъ, когда имѣла мѣсто опредѣленная дѣятельность, которой они были порождены, то они ассоціировались съ ней настолько тѣсно, что приобрѣли силу *вызывать воспоминаніе* о соответствующей дѣятельности. Таково происхожденіе человѣческой мысли, и таково же происхожденіе фонетическихъ типовъ или корней (которые неотдѣлимы отъ нея). Отсюда слѣдуетъ, что первыя формы рѣчи обозначали человѣческія дѣятельности, каковы, напр., рыть, рѣзать, рвать, тереть и т. под.“. Въ другомъ мѣстѣ Нуаре опредѣляетъ свой взглядъ въ такихъ выраженіяхъ: „Было время, когда человѣкъ или, по крайней мѣрѣ, мысль человѣка не знали ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, ни солнца, ни луны, ни животнаго, ни дерева, ни моего, ни твоего, ни отношеній, обозначаемыхъ словами *здѣсь, тамъ* и т. д., но знали только небольшое число звуковъ, которыми человѣкъ сопровождалъ свои дѣйствія, и которые ассоціировались съ предметами, создаваемыми или видоизмѣняемыми съ помощью этихъ дѣйствій“. Передъ Нуаре стояла необходимость подкрѣпить свой взглядъ какъ въ антропологическомъ, такъ и въ психологическомъ отношеніяхъ. По этому поводу онъ заявилъ о своей прежней солидарности въ главныхъ чертахъ съ вышеизложенной теоріей Дарвина, который предположилъ возможнымъ существованіе обезьяноподобнаго животнаго, подражавшаго своимъ крикомъ завыванію хищнаго звѣря съ цѣлью предупредить объ его наличности сотоварищей. „Различіе между моею и Дарвиновскою гипотезой, говоритъ Нуаре, заключается только въ томъ, что я предположилъ въ качествѣ содержанія перваго звука рѣчи нѣчто болѣе обычное, извѣстное, и сказалъ бы, пожалуй, нѣчто болѣе человѣчное, именно враждебное племя, тогда какъ Дарвинъ сдѣлалъ первымъ объектомъ общаго познанія хищнаго звѣря, — попытка, которая при нѣкоторомъ раздуміи обнаруживаетъ свою полную несостоятельность, такъ какъ объектъ ужаса, испуга, отвращенія, представляетъ, повидимому, всего менѣе данныхъ для того, чтобы вступить въ ясную, свѣтлую, спокойную область языкового мышленія, не говоря уже о томъ, чтобы сдѣлаться ея зародышемъ. Впрочемъ, то же самое возраженіе можно сдѣлать и моей теоріи. Разсматриваемыя и съ другой точки зрѣнія, эти гипотезы никакъ не могутъ выдержать болѣе серьезную критику. Крикъ предупрежденія

есть крикъ испуга; страхъ сообщается симпатическимъ образомъ. Согласно же нашей теоріи пра-человѣкъ, особенно нами предполагаемый, особенно умный пра-человѣкъ, долженъ былъ остановиться и призадуматься: какъ я заставлю моихъ сообезьянъ представить себѣ и сознать угрожающую опасность? И тогда онъ долженъ былъ въ силу какого-то геніальнаго домысла испустить звукъ, какъ выраженіе испуга. Допустимъ даже такое невозможное, совершенно невѣроятное предположеніе, что онъ *расчитывалъ* на то, что его поймутъ, но какъ же онъ могъ быть, дѣйствительно, понять, если навстрѣчу ему не шло такое же геніальное вдохновеніе пониманія? И отсюда долженъ будто бы развиться языкъ? Яростное завываніе хищнаго звѣря, воинственный ревъ врага оказывались будто бы первыми зародышами, ядрами кристаллизаціи того удивительнаго духовнаго образованія, которое, покоясь на прочномъ основаніи человѣческаго разума, превратилось въ зеркало міра, земли, неба и всѣхъ ихъ чудесъ! Трудно придумать что-нибудь болѣе невѣроятное! И какъ я самъ признаю здѣсь невозможность моей гипотезы, такъ и великій Дарвинъ, отъ ума котораго, глубокаго и серьезнаго, надолго не могло укрыться все глубокое значеніе проблемы и вопиющая неосновательность этихъ столь легко опровержимыхъ замѣчаній, признавалъ съ полной искренностью неудовлетворительность своихъ взглядовъ“. Къ этому отричанію гипотезы о происхожденіи языка изъ восклицаній пришелъ, такимъ образомъ, и Нуаре. Что же касается его психологическаго основанія своихъ взглядовъ, то по этому поводу мы находимъ у Нуаре слѣдующія замѣчанія: „Какимъ образомъ и благодаря какимъ явленіямъ, могло развиться изъ предшествовавшихъ, менѣе совершенныхъ стадій такое созданіе (*Neuschöpfung*), какъ человѣческій разумъ? Какъ могло произойти разумное и мыслящее изъ неразумнаго и безсловеснаго? Если можно открыть средства, съ помощью которыхъ человѣческій разумъ выработался изъ слабыхъ зачатковъ, достигая все большей ясности по отношенію къ свойствамъ вещей, все болѣе высокаго самопознанія, то этого удастся достигнуть только, идя по историческому пути, изслѣдуя законмѣрное развитіе того содержанія понятій, которое заключается въ словахъ, представляющихъ сами по себѣ только простые звуки. Ибо, какъ выражается Гейгеръ, понятія взаимно обуславливаютъ другъ друга въ своемъ возникновеніи, такъ что не каждое можетъ возникнуть случайно изъ каждаго другаго, но только извѣстныя понятія законмѣрно изъ извѣстныхъ другихъ. Поэтому, въ то время, какъ не можетъ быть науки, которая устанавливала бы законмѣрную связь между *понятіемъ* и *звукомъ*, такъ съ другой стороны, долженъ быть найденъ научный методъ, съ помощью котораго можно было бы прослѣдить до самаго начала развитіе понятій другъ изъ друга, въ зависимости отъ звуковъ, въ которые они облечены, а также развитіе звуковъ независимо отъ ихъ значеній.

Мы должны отыскать эмпирические законы, по которымъ понятія, вообще, оказываются въ состояніи примыкать одно къ другому, и которые позволяютъ привести въ совершенную ясность дѣйствительное *родство понятій*, подобно тому, какъ звуковые законы позволяютъ устанавливать дѣйствительное сходство звуковъ. Только этимъ путемъ мы получимъ возможность проникнуть въ существо разума“. Эти положенія Нуаре ставятъ передъ изслѣдователемъ первобытнаго человѣческаго языка обязанность заглянуть въ такую глубину человѣческаго существованія, когда человѣкъ еще не былъ разумнымъ существомъ согласно воззрѣніямъ В. Гумбольдта. Съ нѣсколькихъ звуковъ началась человѣческая рѣчь, лишь нѣсколько первоначальныхъ понятій выработала эта первобытная рѣчь.

Въ этихъ своихъ основныхъ чертахъ теорія Нуаре произвела настолько сильное впечатлѣніе на научное міросозерцаніе Макса Мюллера, что онъ совершенно измѣнилъ свой первоначальный взглядъ. Тотъ агностицизмъ, на которомъ онъ базировался въ своихъ первыхъ трудахъ, посвященныхъ общимъ вопросамъ языковѣдѣнія, уступилъ свое мѣсто новому пониманію этихъ вопросовъ. Нуаре твердо стоялъ на эволюціонной почвѣ говора и о развитіи болѣе сложныхъ понятій изъ первоначальныхъ простѣйшихъ понятій, и о возникновеніи болѣе сложныхъ формъ рѣчи изъ простѣйшихъ. И вотъ на эту почву вступилъ влѣдѣ за нимъ Максъ Мюллеръ. „Я совершенно согласенъ съ проф. Нуаре, говоритъ онъ, что самыя первоначальныя дѣятельности человѣка и звуки, которые ихъ сопровождаютъ, представляютъ обильный матеріалъ для составленія полнаго словаря. Я согласенъ съ нимъ, далѣе, въ томъ, что человѣкъ находитъ самыя естественныя метафоры для обозначенія явленій природы, относя ихъ къ самому себѣ и разсматривая ихъ антропоморфически. Если онъ хотѣлъ обозначить красный цвѣтъ, то онъ называлъ его кричащимъ цвѣтомъ, горькій вкусъ былъ ѣдкимъ, а слишкомъ яркій топъ рѣзущимъ. Все это и еще многое другое справедливо. Но хотя я охотно восклицаю, обращаясь къ проф. Нуаре: *εὐρηκα*, я думаю, однако, что мы не должны преграждать всѣ другіе пути, которые ведутъ къ темнымъ вратамъ языка, и что въ своихъ изслѣдованіяхъ самыхъ раннихъ развѣтвленій человѣческаго мышленія и человѣческаго языка мы должны больше всего на свѣтѣ остерегаться злѣйшаго врага всякой истины, догматизма“¹⁾. Несмотря на такое предостереженіе, самъ Максъ Мюллеръ, который всегда горячо и съ энтузіазмомъ отстаивалъ какую-нибудь догматическую теорію, сталъ уже очень скоро проповѣдовать взгляды Нуаре. Въ своемъ трудѣ „о происхожденіи и развитіи религій“, который вышелъ въ концѣ семидесятыхъ годовъ, онъ высказываетъ уже совершенно точку зрѣнія Нуаре.

¹⁾ Статья „Ueber den Ursprung der Vernunft“ въ *Essays von Max Müller*. II Band. Beiträge zur vergleichenden Mythologie und Ethologie. 2 Auflage. 1881. (цит. мѣсто: II. 480—481).

Это мѣсто настолько замѣчательно, что я считаю необходимымъ привести его здѣсь: „Языкъ есть продуктъ дѣятельности. Нѣкоторыя изъ простѣйшихъ дѣйствій, каковы дѣйствія, выражаемыя глаголами ударять, толкать, обрѣзать, соединять, измѣрять, обрабатывать, ткать и т. д., сопровождалась, и теперь еще сопровождаются, извѣстными произвольными звуками, сначала неопредѣленными и измѣнчивыми, а потомъ принявшими мало по малу болѣе опредѣленную форму. Эти звуки были сначала неотдѣлимы отъ дѣйствія. Такъ, напр., звукъ *tar* сопровождалъ дѣйствіе натиранія, полированія камня, натачиванія оружія, и сначала онъ не означалъ ничего другого, ни для того, кто произносилъ этотъ звукъ, ни для другихъ. Но вскорѣ онъ сдѣлался указаніемъ: онъ означалъ, что человѣкъ собирается приняться за работу натиранія или полированія доски или камня: произнесенный съ особеннымъ выраженіемъ и сопровождаемый извѣстными жестами, которые служили цѣлямъ интерпретаціи, онъ дѣлалъ понятнымъ для дѣтей и для рабовъ приказаніе ихъ отца и повелителя, чтобы они не сидѣли со сложенными руками въ то время, какъ онъ работаетъ: *tar* сдѣлалось повелительнымъ наклоненіемъ. Слово было совершенно понятно, такъ какъ оно употреблялось уже съ самаго начала не однимъ человекомъ, а многими людьми, преданными совмѣстно одному и тому же занятію“. Итакъ, источникъ пониманія первоначальнаго слова заключается въ тождествѣ содержанія сознанія у нѣсколькихъ лицъ, находящихся въ одинаковыхъ условіяхъ.

Быть можетъ и, пожалуй, даже навѣрное, не отчетливо произносимый слогъ *tar* или какой-нибудь другой сопровождалъ дѣятельность этихъ нѣсколькихъ лицъ, направленную въ одну сторону. Но специфическій звукъ, вызываемый опредѣленнымъ усиленіемъ, могъ, дѣйствительно, настолько ассоціироваться съ самою дѣятельностью, что человѣкъ, слышавшій этотъ звукъ, по ассоціаціи связывалъ съ нимъ представленіе о дѣятельности. Слѣдовательно, исходный пунктъ въ образованіи языка, даже становясь на почву теоріи Гейгера, Нуаре и Макса Мюллера, будетъ находиться на противоположномъ концѣ линіи, проведенной ими, т. е. не *tar* (или другой слогъ), какъ приказаніе и потомъ слово, но сначала слово, созданное ассоціаціей дѣйствія со звукомъ, а потомъ уже приказаніе, понимаемое другимъ. Такая ассоціація, какъ мнѣ кажется, психологически допустима. Она не встрѣчается въ мірѣ животныхъ, потому что дѣйствія, съ которыми связаны эти сопроводительныя произвольныя звуки, присущи только человѣческой дѣятельности. Слѣдовательно, согласно вышензложенной теоріи, человѣкъ былъ уже человекомъ, т. е. совершалъ поступки изъ круга чисто человѣческой дѣятельности (приготовлялъ оружіе, пользовался орудіями), еще не обладая даромъ рѣчи. Это предположеніе представляетъ собою гипотезу, на которой базируется все вышеприведенное построеніе. Этнологія не даетъ намъ подтвержденія

этой гипотезы даже в фактах самой первобытной жизни современной дикарской культуры, которая не обходится без словесного сообщения мыслей одного лица другому, но я думаю, что принципиально нам не удастся обойтись без известных гипотез в разрешении вопроса о происхождении языка, восходящем к недосягаемой для науки древности человеческого существования на земле, и что приведенная гипотеза наиболее допустима. На ней же, как я отметил в своем месте, при обзорѣ взглядов антропологической школы, основана и теория этой последней. Стало быть, мы должны предположить вопреки учению психологической школы Гумбольдта, что не возникновение языка сдѣлало человека человеком, но что человек совершал уже цѣлесообразные поступки, основанные на ассоциациі послѣдствій съ дѣйствіями, уже жилъ въ известномъ образомъ организованномъ сообществѣ съ ему подобными, уже совершалъ сообщая съ ними болѣе или менѣе сложные дѣйствія, еще не превратившись въ говорящее существо. Въ эту пору, какъ возможно предположить на основаніи данныхъ этнологин, онъ былъ уже существомъ *говорящимъ для самого себя*; въ кругу себя подобныхъ этотъ первобытный человекъ, вѣроятно, произносилъ про себя „монологи“ (какъ объ этомъ рассказываетъ Мартіусъ, ср. стр. 489),—монологи, которые служили лишь выраженіемъ его эмоцій и не заключали въ себя никакого познавательнаго содержанія. Но они воспитали въ человечествѣ способность говорить, подготовили возможность ассоциаций звука съ жестомъ и дѣятельностью, и такимъ образомъ, на ряду съ эмоциональнымъ крикомъ, появились и *первыя названія*. Но были-ли эти послѣднія названіями дѣйствій или предметовъ, объ этомъ мы едва-ли можемъ теперь судить.

Такимъ образомъ, подѣ влияніемъ Гейгера и Нуаре Максъ Мюллеръ измѣнилъ свое пониманіе вопроса о происхожденіи языка; въ своемъ послѣднемъ крупномъ трудѣ „The Science of Thought“ (Наука о мысли)¹⁾, вышедшемъ въ 1887 году, онъ остается на почвѣ теоріи Нуаре. Но кое-въ-чемъ онъ уже выходитъ за предѣлы теоріи корней и намекаетъ на возможность теоріи первоначальныхъ словъ-предложеній. Пытливый, вѣчно идущій впередъ умъ знаменитаго англійскаго ученаго намѣтилъ здѣсь путь, который послѣ него разрабатывался другими выдающимися учеными. „Прежде всего необходимо опредѣлить, говоритъ Максъ Мюллеръ, чѣмъ не являются корни? Корни не представляютъ собою междометій и не служатъ подражаніями естественнымъ звукамъ. Восклицанія, въ родѣ *ну-ну*, или звукоподражанія, въ родѣ *бай-вай*, оказываются прямою противоположностью корней. Но почему? Потому что корни имѣютъ опредѣленную звуковую форму, но общее значеніе, тогда какъ междометія и звукоподражанія—общі. т. е. неопредѣленны и измѣнчивы въ звуковомъ

¹⁾ Это сочиненіе имѣется и въ русскомъ переводѣ, котораго, къ сожалѣнію, у меня не было въ рукахъ, когда я писалъ эти строки.

отношеніи, но опредѣленны или спеціальны по значенію“ (189). Впрочемъ, Максъ Мюллеръ допускаетъ, что съ помощью этихъ средствъ возможно сообщеніе. „Не подлежитъ сомнѣнію, что известнаго рода сообщеніе возможно съ помощью звукоподражаній или звуковъ, сочетающихся съ междометіями или эмоциональными выраженіями. Такъ, чтобы сообщить, что такая-то собака безопасна, мы можемъ сказать: *бай-вай, ну!* Но сообщеніе не есть языкъ, какъ и крики не суть корни“ (196). По вопросу объ эмоциональномъ языкѣ мы находимъ у Макса Мюллера такіа указанія: „Языкъ, которымъ мы говоримъ, происходитъ отъ корней, а корни служатъ выраженіемъ понятій, а понятія являются дѣломъ разума, такъ какъ разумъ есть не что иное, какъ способность или, если намъ не нравится это слово, дѣятельность образованія и направленія понятій. Если, поэтому, мы называемъ животныхъ неразумными, то мы вовсе не имѣемъ въ виду отрицать у нихъ всевозможныя способности, каковы наблюдательность, догадливость, расчетъ, наличность взвѣшивающаго, судящаго, рѣшающаго ума, даже болѣе того: утонченнаго вкуса или генія; но мы только отрицаемъ у нихъ способность образованія и управленія понятіями, которыя выражаются въ языкѣ, и только въ языкѣ“ (200). Полагая, что теоріи междометнаго или звукоподражательнаго происхожденія языка окончательно изгнаны изъ науки, Максъ Мюллеръ останавливается на теоріи корней, какъ „послѣднихъ фактовъ“ языка, не допускающихъ уже никакого дальнѣйшаго разложенія (209). Изъ нихъ приходится исходить и въ разрешеніи проблемы о началѣ языка. Эти корни, число которыхъ оказывается весьма незначительнымъ даже въ самой развитой семьѣ индоевропейскихъ языковъ, раздѣляются на двѣ основныя группы: предикативныя и демонстративныя корни. Первые выражаютъ дѣйствія (*every root expresses a concept, or... the consciousness of repeated acts*). Это положеніе Максъ Мюллеръ считаетъ не подлежащимъ никакому сомнѣнію (219). „Корни выражаютъ дѣйствія, переходныя или непереходныя, и сознаніе такихъ дѣйствій, выраженное какими бы то ни было знаками, фонетическими или какими-нибудь другими, должно быть разсматриваемо, какъ первая ступень къ образованію понятій“. Другая группа корней, очень немногочисленная, служитъ для цѣлей указанія: „это простые демонстративныя элементы“ (221).

Проанализировавъ нѣсколько такихъ корней, Максъ Мюллеръ продолжаетъ (243): „Корень можетъ быть по формѣ тождественъ съ именной или глагольной основой, но въ большинствѣ случаевъ онъ подвергся дифференциациі, такъ что служитъ лучше цѣлямъ именного или глагольнаго употребленія. Это достигается при помощи суффиксовъ, происхожденіе которыхъ часто сомнительно, хотя мы не можемъ сомнѣваться въ томъ, что этотъ процессъ долженъ былъ быть рациональнымъ, т. е. что эти суффиксы должны были являться первоначально демонстративными или пре-

диктативными. Так достигнув именных и глагольных основ, мы замечаем новый рациональный синтез образования, который теперь называется склонением и спряжением. И, хотя мы признаем свое бессилие в определении происхождения всякого именного или глагольного окончания, мы все же можем еще заметить общий принцип рационального синтеза. Из уже приведенного выше заключения из рассмотрения теории Нуаре, т. е. из теории первоначальных слов-приказаний, Макс Мюллер дѣлает теперь выводъ, что каждое слово служило вмѣстѣ съ тѣмъ предложениемъ. „Предполагая, что корень *tar* означает *тереть*, нѣсколько разъ произнесенное *tar*, обращенное вождемъ къ его подчиненнымъ, было, конечно, предложениемъ и передавало имъ известное значеніе, именно приказаніе; оно должно было дать имъ понять, что надо дѣлать, напримѣръ: что наступило время начинать ежедневную работу, шлифовку камней“ (245). Отсюда уже недалеко до образования словъ для называнія предметовъ или, какъ говоритъ Макс Мюллеръ, „отъ употребленія корня въ повелительномъ наклоненіи или въ формѣ общаго утвержденія представляется весьма легкимъ переходъ къ употребленію его въ другихъ смыслахъ или для другихъ цѣлей. Представимъ себѣ обстановку пещернаго жилища или озерной постройки, состоящую преимущественно изъ высокоблещенныхъ кожъ и рогожь, и вообразимъ, что здѣсь вдругъ вспыхнулъ огонь, или что хлынуло наводненіе, или что напали враги, не напомнить ли въ этомъ общемъ бѣгствѣ нѣсколько разъ повторенное *vā* ¹⁾ женщинамъ и дѣтямъ, чтобы они захватили свои рогожки? Не было ли бы это восклицаніе равнозначущимъ съ нашимъ предложениемъ „Рогожи, рогожи!“ Всякій логикъ знаетъ, что мы можемъ опредѣлять (predicate) только въ формѣ сужденія. Отсюда самъ собою вытекаетъ выводъ, что слова не имѣютъ никакого права на существованіе, если не составляютъ интегральныхъ частей сужденія, или, какъ выражаютъ эту же мысль нѣкоторые ученые, что сужденіе предшествовало отдѣльнымъ словамъ“.

Развивая эту мысль, Макс Мюллеръ прибавляетъ (247): „Каждое имя и каждый глаголъ составляли первоначально сами по себѣ полное сужденіе, состоящее изъ подлежащаго и сказуемаго, было ли это послѣднее выражено, какъ это обычно наблюдается въ арийскихъ языкахъ, или только подразумевалось, какъ въ китайскомъ. Такимъ образомъ *Lux-s* (латин. *lux*—свѣтъ) было первоначально настоящимъ сужденіемъ и означало *свѣтящій здѣсь*. Этого было достаточно на первый разъ. Подобно этому *lux-e-t* представляло собою полное сужденіе, и означало *онъ—свѣтящій*. Это не вызываетъ никакихъ сомнѣній, поскольку рѣчь идетъ о глаголахъ. Никто не задумается назвать *veni, vidi, vici* тремя независимыми сужденіями. Но какъ обстоитъ дѣло съ именами существитель-

¹⁾ По предположенію Макса Мюллера, слогъ *vā* (нѣм. *weben*, англ. *weave*) могъ служить для обозначенія дѣйствія тканья, какъ *mān*—тереть, шлифовать.

ными? Различіе между *man-u-s* (man, человекъ) и *man-u-te* (думаетъ, thinks, санскритскія слова) сводится, въ сущности, къ различію между „думающій—онъ“ (thinking-he, there) „и „онъ—думающій“ (he-thinking). Въ послѣдней стадіи языка два сужденія: *Manus* и *Manute* „человекъ“ и „думаетъ“ слились въ одно, и это привело къ ошибочному предположенію, что *manus* и *manute* никогда не имѣли самостоятельнаго существованія, но были съ самаго начала составными частями предложенья“ (247). Доказать, что первоначальныя слова были предложеньями, было бы, пожалуй, проще и убѣдительнѣе на примѣрахъ изъ языковъ банту или сѣверноамериканскихъ, но Макс Мюллеръ, какъ специалистъ по индійской филологіи, ограничился санскритомъ. Къ сожалѣнію, однако, онъ не развилъ намѣченныхъ точекъ зрѣнія на первоначальный характеръ словъ-предложенья и не сдѣлалъ изъ нихъ необходимыхъ выводовъ о происхожденіи языка, которые указывались уже Руссо. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Макс Мюллеръ внесъ въ простую и ясную теорію Нуаре нѣкоторую запутанность, возвратившись почти къ своему первоначальному агностицизму въ вопросѣ о началѣ словъ. Какъ и въ своихъ „Лекціяхъ“, онъ опять настаиваетъ на томъ, что „безъ разума нѣтъ языка и безъ языка нѣтъ разума“ ¹⁾, и слѣдовательно опять остается чуждъ эволюціонной точкѣ зрѣнія. На вопросъ, какъ человекъ образовалъ слова, онъ даетъ теперь слѣдующій отвѣтъ: „На этотъ вопросъ можетъ дать отвѣтъ только наука о языкѣ, которая показываетъ намъ, какъ образуя слово *man-u-s* (человекъ), наши предки сочетали корень *man* (измѣрять, думать) въ его вторичной формѣ *man-u* съ указательнымъ элементомъ *s*, вслѣдствіе чего получилось не что иное, какъ „думать—здѣсь“ (think—there). Это было предложенье, сначала частное предложенье, способное однако къ тому, чтобы быть повторяемымъ и примѣняемымъ къ различнымъ индивидуумамъ, изъ которыхъ о каждомъ можно было сказать „думать—здѣсь“; такъ что оно сдѣлалось, естественнымъ образомъ, общимъ предложеньемъ. Слово *manu-s*, будучи повторено или, съ помощью сокращеннаго процесса, будучи взято во множественномъ числѣ, *manu-as*, должно было ipso facto превратиться въ общее выраженіе, но въ общее выраженіе, такъ сказать, второй степени. *Manu-s* въ единственномъ числѣ было уже общимъ выраженіемъ, такъ какъ оно служило предикатомъ въ дѣйствіи, которое ему приписывалось. Это былъ не простой знакъ, какъ бы прикрѣпленный къ одному лицу, не собственное имя, само по себѣ ничего не значущее, но предикатъ (a predicative name) и, какъ таковой, примѣнимый ко всемъ тѣмъ, которые обладали тѣмъ же самымъ атрибутомъ, или совершали то же самое дѣйствіе. Это было общее выраженіе первой степени“ (270). Такъ какъ и здѣсь Макс Мюллеръ исходитъ изъ грамматическаго анализа

¹⁾ Эпиграфъ этой книги гласитъ: „No Reason without Language. No Language without Reason“.

одной индоевропейской формы (не говоря уже о томъ, что самый анализъ весьма далекъ отъ совершенства), то ясно, что примѣнить его точку зрѣнія вообще къ происхожденію названій нельзя. Такимъ образомъ, въ конечномъ результатѣ приходится признать, что знаменитый англійскій санскритологъ не далъ никакого положительнаго обогащенія нашего изученія тѣхъ данныхъ, которыя приводятъ къ разрѣшенію проблемы начала человѣческой рѣчи. Какъ мнѣ кажется, главная заслуга Макса Мюллера въ этой области заключается въ популяризаціи идей Нуаре.

Прежде, чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію дальнѣйшихъ болѣе крупныхъ явленій въ области разсматриваемаго вопроса, я останавлиюсь для полноты обзора на нѣсколькихъ изслѣдованіяхъ, появившихся въ шестидесятыхъ годахъ минувшаго столѣтія. Именно на этой эпохѣ я и закончилъ свой хронологическій обзоръ, изъ рамокъ котораго мнѣ пришлось выйти, чтобы дать оцѣнку взглядовъ Макса Мюллера на всемъ протяженіи ихъ эволюціи. Возвращаясь къ шестидесятымъ годамъ, я вкратцѣ изложу нѣсколько взглядовъ. Такъ, въ 1864 году выступилъ съ публичной лекціей о происхожденіи языка *I. ten Doornkaat-Koolman* ¹⁾, который развиваетъ безъ всякой оригинальности теорію восклицаній и звукоподражанія. „Въ звуковыхъ выраженіяхъ чувства или междометіяхъ заключается зародышъ взаимнаго пониманія, человѣческой рѣчи. Когда же, благодаря обозначенію одинаковыхъ чувствъ и ощущеній восклицаніями и звуками, для всѣхъ понятными, сдѣлалось возможно сообщеніе внутренней душевной жизни между людьми, тогда прирожденный всѣмъ одинаково инстинктъ подражанія вскорѣ привелъ къ дальнѣйшимъ результатамъ взаимнаго пониманія“. Эта точка зрѣнія, распространяемая въ публичныхъ лекціяхъ, представляла извѣстное благопріятное явленіе въ очищеніи совершенно ненаучной атмосферы, сложившейся около вопроса о происхожденіи языка, и потому брошюру Дурнкаата слѣдовало отмѣтить. Въ 1866 году появился этюдъ *Левенфельда* ²⁾, который поставилъ эпиграфомъ къ своей книжкѣ положеніе Якова Гримма: „Каждый звукъ получаетъ свое естественное содержаніе въ органѣ, который его вызвалъ“. Передъ нами, такимъ образомъ, теорія физиологическаго происхожденія языка. „Уже въ самой человѣческой натурѣ должно заключаться основаніе, почему люди дали ощущенію благополучія иное звуковое выраженіе, нежели ощущенію нерасположенія: почему они для общаго понятія *брать* стали употреблять другія слова, нежели для понятій *давать* или *ставить*. Основаніе это, по моему мнѣнію, заключается въ своеобразной *организациіи органовъ рѣчи*“. Уже эта цитата обнаруживаетъ, что авторъ бросается въ объятія своей

¹⁾ Die Sprache nach M. Carrière und Anderen. Vortrag, gehalten zu Norden im December 1864 von I. ten Doornkaat-Koolman. Zweite Auflage. 1866.

²⁾ Ueber den Ursprung der Sprache. Eine physiologisch-linguistische Studie von Dr. M. Schleis von Löwenfeld. München. 1866.

фантазіи; вообще же, его книжка представляетъ полный сумбуръ, нагроможденіе примѣровъ изъ индоевропейскихъ, семитическихъ и всякихъ другихъ языковъ и поразительные выводы, въ родѣ того, что „гортанные звуки *и* и *о*, небные *I, H, Ch, G, K*, и еще *M* должны означать въ корневыхъ словахъ нѣчто дружественное, понятіе дружескаго приема“ и т. п.

Разумѣется, авторъ долженъ былъ предположить, что въ основѣ всего этого прихотливаго развитія должны лежать восклицанія, сопровождающія ощущенія и *волевыхъ побужденія* человѣка. Книжка Левенфельда при всей своей ненаучности имѣетъ тотъ интересъ, что обнаруживаетъ, на какія опасности наталкивается эта теорія восклицаній, если къ ней свести все первоначальныя проявленія человѣческой рѣчи. Можно, конечно, быть осмотрительнѣе и не такъ давать волю своей фантазіи, какъ это сдѣлалъ упомянутый изслѣдователь, но существо дѣла отъ этого не измѣнится: междометія представляютъ сами по себѣ слишкомъ неблагоприятный, слишкомъ ограниченный и неподвижный матеріалъ для образованія словъ.

Въ слѣдующемъ 1867 году появилась книжка Рике ¹⁾, который, выступая послѣдователемъ Макса Мюллера, связалъ проблему происхожденія языка съ вопросомъ о началѣ мѣоовъ и сагъ и все это вмѣстѣ призналъ матеріаломъ для изученія доисторическаго прошлаго Германіи. Точка зрѣнія автора въ достаточной мѣрѣ обнаруживается въ слѣдующихъ его положеніяхъ (Riecke. 95): „Изъ естественнаго звука *а! ахъ! ахъ, ах!* и т. д. образовались символы для обозначенія сотенъ понятій и представленій, и такъ мало по малу составилъ цѣлый словарь; съ помощью перенесенія символовъ чувственно воспринимаемыхъ вещей на невоспринимаемые чувствами понятія расширилась область языка, а также и представленій; *авилонское столпотвореніе* вызвало въ жизнь саги и миѣы“ и т. п. Все это говорить само за себя и въ дальнѣйшей характеристикѣ не нуждается.

Не стоитъ останавливаться также на эклектической теоріи Бурграффа, которая пробуетъ сочетать теорію восклицаній съ звукоподражательной ²⁾, однако въ своихъ обоснованіяхъ лишена научнаго духа. Въ томъ же направленіи высказался въ 1868 году и извѣстный изслѣдователь южно-африканскихъ первобытныхъ народовъ, Бликъ ³⁾, мнѣніе котораго заслуживаетъ большаго вниманія и именно вслѣдствіе того, что ему были извѣстны языки такихъ дикихъ народовъ, какъ бушмены

¹⁾ Ueber den Ursprung der Sprachen, Sagen und Mythen. Auch ein Beitrag zur Kenntniss der vorgeschichtlichen Zeit Deutschlands. Von Dr. Med. C. F. Riecke. Nordhausen. 1867.

²⁾ Burgraff. Principes de grammaire générale ou exposition raisonnée des éléments du langage. 1863. Sp. Regnaud. 95—95.

³⁾ W. I. H. Bleek. Ueber den Ursprung der Sprache. Weimar. 1866. Sp. Giesswein. 152.

и кафры, и потому, что онъ могъ опираться на матеріаль, не просто выдуманый, какъ какой-нибудь Рике, но на дѣйствительно относящійся къ языкамъ наиболѣе некультурныхъ племенъ земли. На этомъ основаніи Бликъ могъ съ болѣшимъ правомъ утверждать, что первыя слова человѣческой рѣчи походили на звѣриные крики, не допускали разложенія на составныя звуковыя части, представляя собой неартикулированныя звуки, которые превратились лишь впоследствии въ слова вмѣстѣ съ другими звуками, первоначально производимыми не голосовыми органами человѣка (какъ напр., хлопанье въ ладоши). Что именно имѣлъ въ виду Бликъ, допуская это послѣднее предположеніе, не трудно понять, если припомнить о существованіи именно въ южноафриканскихъ языкахъ особыхъ прищелкивающихъ звуковъ. Эти послѣдніе могли, какъ позволительно думать на основаніи предположенія выдающагося африканиста, восходить къ прищелкиваніямъ, производимымъ сначала не языкомъ, но пальцами, или даже къ рукопесканію. Если же допустить такое предположеніе, то теорія звукоподражанія находитъ себѣ въ немъ поддержку, ибо подражаніе съ помощью звуковъ рѣчи инымъ звукамъ именно и лежитъ въ основаніи названной теоріи. Какъ мы выше видѣли, понятіе звукоподражанія получило уже въ шестидесятихъ годахъ извѣстное распространеніе въ примѣненіи къ теоріи происхожденія языка изъ восклицаній. Вѣдь и самыя эти послѣднія могли послужить источниками для образованія примитивнаго словаря лишь въ томъ случаѣ, если восклицанія, произвольныя рефлекторныя крики, воспроизводились произвольно, цѣлесообразно, т. е. входили въ кругъ матеріала, добытаго путемъ подражанія пѣнію птицы, крикамъ звѣрей, шуму потоковъ и т. п.

Къ 1871 году относится нѣсколько сочиненій, о которыхъ здѣсь слѣдуетъ упомянуть. Это, прежде всего, крупный и значительный по содержанию трудъ Г. Гербера „Языкъ, какъ искусство“ („Die Sprache, als Kunst“), который вышелъ первымъ изданіемъ въ двухъ томахъ въ 1871 году и вторымъ, нѣсколько переработаннымъ, въ 1885.

Свой взглядъ на происхожденіе языка Герберъ формулируетъ въ положеніи: „Возникновеніе языка вслѣдствіе взаимодѣйствія звуковой способности (Lautvermögen) съ духомъ человѣка, который, благодаря этому, достигаетъ своего развитія“. Въ дополненіе къ этому онъ прибавляетъ: „Только, создавая себя въ языкѣ, нашъ духъ становится дѣйствительностью“. Такимъ образомъ Герберъ примыкаетъ къ тому направленію, которое получило свое наиболѣе яркое выраженіе въ трудахъ В. Гумбольдта, и это имя, какъ и имена его послѣдователей, не сходитъ со страницъ сочиненія Гербера. Къ Гумбольдту же онъ примыкаетъ и въ своемъ утвержденіи, что рѣчь человѣка начинается не со словъ, но съ предложеній¹⁾. О „пред-

¹⁾ В. Гумбольдтъ: „Только связанная рѣчь должна разсматриваться, какъ первоначальное и истинное, во всѣхъ изслѣдованіяхъ, которыя желаютъ

варительныхъ стадійхъ“ въ созданіи рѣчи Герберъ высказывается въ томъ смыслѣ, что первоначальными произвольными выраженіями души служили „движенія тѣла и голосоваго органа“, которыя однако не могутъ быть признаны равными по своему значенію. „Чувство зрѣнія, на которое производятъ впечатлѣніе первыя (движенія тѣла), находится въ зависимости отъ явленія вещей въ пространствѣ, и если даже при дальнѣйшемъ развитіи этихъ отношеній пространственное воспринимается только, какъ приведенное въ движеніе дѣятельностью (durch die Action), или въ связи съ жестикуляціей и мимикой, и это получаетъ такой выразительный характеръ, что по движенію въ пространствѣ человѣкъ можетъ слѣдить за движеніями души и пытаться указывать на нихъ, то все-же самая конкретность вещества препятствуетъ всякому болѣе глубокому и существенному обозначенію его (съ помощью мимики и жеста). Точнѣе говоря, жестъ можетъ, пожалуй, живописать *покоющееся существованіе*, но не *приведенное въ движеніе* (ср. Лессингъ, въ „Лаокоонѣ“). Если *видимый знакъ* долженъ изобразить *приведенную въ движеніе психе* (Psyche, душу), то онъ опирается на выраженіе этой послѣдней съ помощью языка, какъ это видно на примѣрѣ языка пальцевъ. Зато въ высшей степени совершенное воплощеніе душевныхъ движеній происходитъ въ звукѣ человѣческаго голоса. Если первое раздраженіе оказывается достаточно сильно для того, чтобы вызвать реакцію со стороны человѣческаго организма, то это происходитъ именно съ помощью звука, издаваемого голосовымъ органомъ, при чемъ этимъ путемъ возстанавливается (психическая) цѣльность тѣла, нарушенная колебаніями частей. Голосъ выбрасываетъ возбужденіе наружу и, благодаря этому, снова приводитъ въ состояніе покоя нарушенное единство организма. Въ отношеніи къ раздраженію человѣкъ оказывается по преимуществу воспринимающей средой, въ отношеніи къ звуку скорѣе дѣйствующей, такъ какъ въ „издаваніи звука первоначальнымъ факторомъ служатъ голосовыя связки, а не воздухъ“ (Ioh. Müller. Physiolog II. 231). Въ голосѣ организмъ обнаруживается, какъ одно цѣлое, такъ какъ звукъ является какъ бы краткою жизнью тѣла, въ которой вырывается (ausstrahlt) внутреннее качество его; поэтому-то звукъ не столько оказываетъ воздѣйствіе на отдѣльное чувство, сколько непосредственно задѣваетъ самое внутреннее чувство (die innerste Empfindung). Голосъ и слухъ соотвѣтствуютъ другъ другу“ (Die Sprache, als Kunst. I. 142—143). Какъ мы видимъ изъ приведенной цитаты, Герберъ пытался обосновать происхожденіе человѣческой рѣчи на

проникнуть въ живую сущность языка. Разложеніе на слова и правила представляютъ мертвую стряпню ученаго расчлененія“. Этотъ взглядъ обстоятельно развитъ Лео въ „Nominalistische Gedankenspäne, Reden und Aufsätze“.

такихъ глубинахъ психики, которыя почти уже ускользаютъ отъ нашего наблюденія.

Звукъ обладаетъ инстинктивной силой воздѣйствія на духовный организмъ, и потому именно онъ сталъ выраженіемъ душевныхъ переживаній не только человѣка, но и нѣкоторыхъ животныхъ, какъ напр., птицы. Такимъ образомъ, по существу своему и взглядъ Гербера сводится къ теоріи происхожденія языка изъ восклицаній, для которой онъ только попытался найти глубокое философское и психологическое обоснованіе. Отъ восклицаній Герберъ переходитъ опять-таки по стопамъ многихъ изъ своихъ предшественниковъ къ звукоподражаніямъ, хотя онъ пытается здѣсь внести нѣчто новое и свое. Съ ссылкой на Гейзе онъ высказываетъ свое убѣжденіе, что „именно въ періодъ восклицаній, выражающихъ ощущенія (bei den Empfindungslauten), а не въ стадіи уже артикулированного языка можно говорить о звукоподражаніи. Кажется весьма вѣроятнымъ, что человѣческій звукъ используетъ природу, проявляющую свои особенности именно въ томъ же матеріалѣ звуковъ; звукъ избирается ею не для *называнія*, такъ какъ для этого было бы необходимо содѣйствіе артикуляціи, но для болѣе точнаго обозначенія воспріятія“ (Gerber. I. 154).

Здѣсь Герберъ, какъ мы видимъ, мало оригиналенъ. Но ему принадлежитъ въ дальнѣйшемъ развитіи этихъ точекъ зрѣнія довольно своеобразный и любопытный взглядъ. Именно, онъ считаетъ неправильнымъ видѣть въ тѣхъ первоначальныхъ восклицаніяхъ или звукоподражаніяхъ, которыя лежатъ въ основаніи человѣческой рѣчи, слова ея или даже корни рѣчи, изъ которыхъ возникло образованіе артикулированного языка. По мнѣнію Гербера (I. 174), здѣсь допускается логическій скачокъ. „Изъ этихъ звуковъ можетъ быть выведена только качественная сторона *материала*, но они не имѣютъ ничего общаго съ *формой*, т. е. съ артикуляціей корней и слова, и здѣсь именно обнаруживаетъ свою плодотворность понятіе *художественнаго творчества*, которое вводитъ въ кругъ психической дѣятельности опредѣленную новую силу человѣка и обнаруживаетъ ея дѣйствіе, освѣщая необъяснимое сравненіемъ съ извѣстными явленіями въ области искусства. Возможность начала художественной дѣятельности зависитъ отъ извѣстнаго господства надъ матеріаломъ. Поэтому, разнообразное употребленіе и достаточное развитіе звуковой способности должны предшествовать созданію артикулированного корня языка, при чемъ нельзя рѣшить, какъ должны быть разграничены въ хронологическомъ отношеніи описанные періоды звукового развитія. вмѣстѣ со звуками въ душу устремлялись образы, которые захватывали воображеніе. Но, навѣрное, въ теченіе долгаго времени это возбужденіе дѣятельности фантазіи ограничивалось только доставленіемъ матеріала (*lange gewiss war diese Anregung nur stoffartig*), и душа пребывала только въ состояніи періодическаго образнаго воспоминанія о внѣшнемъ мірѣ. Лишь послѣ того, какъ, благодаря

привычкѣ, душа научилась свободно представлять себѣ эти образы, фантазія стала проявлять дѣятельность, позволяла себѣ развлеченіе и приобрѣла способность играть, забавляться этими образами, давать ихъ выраженіе въ звукѣ, *сама создавать* этотъ звукъ. Тогда ниспосланное Богомъ вдохновеніе дало (душѣ) смѣлость и стимулъ къ дальнѣйшему образованію; тогда разсудительность (мы должны сказать, бессознательная разсудительность) провѣрила (и въ тотъ же мигъ избрала) на моментальномъ содержаніи духовной жизни звуковой матеріалъ, который собрала, уже давно собирала природа, и такъ возникъ языковой корень, который носитъ въ себѣ столько же слѣды природы, матеріаломъ которой онъ пользуется, сколько слѣды свободы, которою этотъ корень обязанъ образующей формѣ фантазіи“. Это, какъ мнѣ кажется, важнѣйшее мѣсто въ сочиненіи Гербера, поскольку оно касается вопроса о происхожденіи языка, и на немъ слѣдуетъ остановиться подробнѣе.

Что имѣетъ въ виду Герберъ, говоря о художественномъ созданіи корней рѣчи, творчества, основывающемъ свою дѣятельность на первоначальномъ междометномъ и звукоподражательномъ матеріалѣ, который человѣкъ собралъ бессознательно? Несомнѣнно, Герберъ имѣетъ въ виду тотъ моментъ въ эволюціи человѣческаго интеллекта, когда бессознательное звуковое творчество превращается въ сознательное. До того времени человѣкъ накоплялъ только запасъ звуковъ, не понимая, что изъ этихъ звуковъ можно образовывать слова, теперь, и только теперь онъ началъ говорить. Откидывая такія непонятныя выраженія Гербера, какъ забавы души, которая будто бы играетъ образами, мы получимъ слѣдующія положенія: еще до возникновенія языка человѣкъ обладалъ уже значительнымъ запасомъ звуковъ, съ которыми ассоціировались его ощущенія, и которые восходили къ общимъ для всей этой первоначальной среды людей процессамъ восклицаній и звукоподражаній; когда эти звуки стали привычнымъ и общимъ достояніемъ массы, тогда они изолировались отъ образовъ, съ которыми были первоначально тѣсно связаны. Звуки превратились для человѣка, такимъ образомъ, въ его личное *выраженіе* душевныхъ состояній и стали служить матеріаломъ для образованія первыхъ *значущихъ* самъ по себѣ словъ. Если можно изложить въ такомъ видѣ вышеприведенныя замѣчанія Гербера, представленныя въ довольно запутанной метафизической формѣ, то многое въ нихъ, по моему мнѣнію, заслуживаетъ вниманія. Дѣйствительно, періоду превращенія звуковъ въ слова долженъ былъ предшествовать продолжительный періодъ употребленія различныхъ звуковъ бессознательно. Этотъ процессъ долженъ былъ происходить, непременно, въ извѣстной соціальной средѣ: прежде, чѣмъ слова обратились, такъ сказать, въ глубь человѣческой души, составивъ элементы внутренней рѣчи, они должны были вызывать инстинктивное пониманіе въ окружающихъ, благодаря преобладающему въ нихъ музыкальному элементу, или связываться съ

пониманіемъ вслѣдствіе однородности переживаній въ средѣ. Такимъ образомъ, сначала звуки, какъ инстинктивное разряженіе энергіи: потомъ звуки, вызывающіе бессознательное пониманіе въ окружающихъ, благодаря указаннымъ выше причинамъ; наконецъ, звуки, которые и для самого производящаго ихъ человѣка стали служить выраженіемъ его душевныхъ содержаній. Эти звуки явились теперь уже *сознанными словами*, элементами внутренней рѣчи. Таковы, какъ мнѣ кажется, основы научнаго разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка, которыя можно найти—хотя бы въ еще мало развитой формѣ—въ сочиненіи Гербера. *Слова*, какъ таковыя, дѣйствительно, являются продуктами художественнаго творчества, поэзіей, какъ утверждалъ Руссо.

Верберъ, брошюра котораго появилась въ томъ же 1871 году ¹⁾, былъ профессоромъ медицины, но интересовался и проблемами философіи и былъ хорошо знакомъ съ литературой вопроса о происхожденіи языка. Специальныя занятія его отразились на томъ положительномъ направленіи, которое онъ стремится дать разрѣшенію вопроса. Отрицая гипотезы божественнаго откровенія языка и иныя предположенія метафизическаго характера, онъ отказывается также стать на ту точку зрѣнія, которую отстаивала школа Дарвина, такъ какъ, „по самому своему существу и по даннымъ біологін ни отдѣльный человѣкъ, ни весь человѣческій родъ никоимъ образомъ не могутъ быть приравнены къ животному“. Вообще, каждая изъ выставленныхъ теорій происхожденія языка страдает, по мнѣнію Вербера, крайностью и односторонностью, ибо „языкъ вытекаетъ изъ совокупности жизнедѣятельности человѣка и человѣческаго рода, изъ его ума, души, тѣла и всего физическаго организма“. Ихъ различныя взаимодѣйствія и создали языкъ, при чемъ никакъ нельзя предположить, что люди заговорили сразу послѣ сотворенія своего, ибо это предположеніе противорѣчитъ общеустановленнымъ законамъ постепеннаго развитія культуры. Для разрѣшенія проблемы необходимо остановиться на языкѣ жестовъ, языкѣ звуковъ и языкѣ письма. Что касается перваго, то онъ наиболѣе примитивенъ и присущъ всѣмъ существамъ, одареннымъ духомъ и душой (Seele und Geist), такъ какъ „всѣ эти существа испытываютъ потребность сообщенія“. Хотя это послѣднее утвержденіе не можетъ быть принято въ той формѣ, въ какую оно облечено Верберомъ, однако указанія его на инстинктивный характеръ языка жестовъ не лишены интереса. Вслѣдъ за языкомъ жестовъ идетъ въ общемъ ходъ человѣческой эволюціи языкъ звуковъ, die Lautsprache, который первоначально состоялъ изъ *гласныхъ звуковъ*. Это былъ „нѣбный языкъ (Gaumensprache), который болѣе легко и составляетъ основу для развитія согласныхъ. За это говоритъ рѣ-

шительно то обстоятельство, что такой языкъ служить выраженіемъ радостныхъ и болѣзненныхъ эмоцій, которое или всецѣло состоитъ изъ гласныхъ, или же по преимуществу вокализировано. Далѣе, за это ручается незначительное число коренныхъ словъ во всѣхъ языкахъ, такъ какъ, по замѣчанію В. Ф. Гумбольдта, изъ немногихъ и при томъ простыхъ корней произошло множество разнообразныхъ значеній, и такъ какъ самъ нѣмецкій языкъ обладаетъ всего 600 коренныхъ словъ, изъ которыхъ происходитъ безконечное обиліе словъ; Поттъ принимаетъ для каждаго языка 1000 корней; корень содержитъ въ себѣ глагольныя понятія; онъ выражаетъ какое-нибудь измѣненіе въ пространствѣ, движеніи или состояніи. Далѣйшее развитіе языка происходитъ съ помощью *согласныхъ*, которые производятся движеніями рта, особенно губъ. Соединенію гласныхъ съ согласными языкъ звуковъ обязанъ своимъ безконечнымъ богатствомъ; славянскіе языки особенно богаты согласными, и потому они такъ трудны для произношенія, тогда какъ языки, изобилующіе гласными, легче для произношенія и болѣе пѣвучи; таковъ напр., итальянскій языкъ“. Все это и спорно, и не оригинально, и заслуживаетъ вниманія только указаніе Вербера на гласный характеръ первоначальныхъ корней, что вполне вѣроятно, хотя и можетъ быть принято лишь съ извѣстными ограниченіями въ томъ смыслѣ, что артикуляція первоначальныхъ звуковъ была очень неопредѣлена. О языкѣ письменъ, которому Верберъ также удѣляетъ вниманіе, я не буду распространяться, такъ какъ къ нашей проблемѣ онъ имѣетъ мало отношенія.

Съ огромнымъ двухтомнымъ сочиненіемъ выступилъ въ 1871 году англичанинъ Морганъ Каванагъ ¹⁾, одинъ изъ яркихъ представителей міеологическаго направленія въ разрѣшеніи занимающаго насъ здѣсь вопроса. Онъ исходитъ изъ убѣжденія, что человѣку отъ природы языкъ не присущъ: такъ, не говорятъ одичавшіе люди, не говорятъ и рожденные глухими. „Но если люди не знали съ самаго начала (своего существованія) употребленія словъ, какъ могли они, будучи совершенно нѣмыми, передавать свои мысли другимъ“: задаетъ мудреный вопросъ авторъ, не замѣчая полной несостоятельности такой постановки вопроса. Отвѣтъ не менѣе простъ: они пользовались знаками. А далѣе все уже катится, какъ по маслу. „Люди должны были, какъ мною уже указано—утверждаетъ Каванагъ—выражать свои идеи первоначально знаками, какъ это дѣлаютъ еще и теперь двое людей, не понимающіе языковъ другъ друга. А такъ какъ они должны были часто при взаимныхъ сношеніяхъ прибѣгать къ какому-нибудь неартикулированному звуку съ единственною цѣлью обратить вниманіе (собесѣдника) на то, что они старались изобразить знаками, то легко понять, что ихъ первое слово должно было создаться изъ знака,

¹⁾ W. J. A. Werber. Die Entstehung der menschlichen Sprache und ihre Fortbildung. 1871.

¹⁾ „Origin of language and myths“, by Morgan Kavanagh. 1871.

который они дѣлали ртомъ. И если они хотѣли такимъ образомъ указать на солнце, то въ ихъ азбуку вошелъ такой звукъ, какъ *O* (затѣмъ іероглифъ)“. Изъ этого *O*, обозначававшего бога солнца, и развились постепенно всѣ остальные звуки человѣческой рѣчи, какъ изъ культа солнца вся мифология. Пылкая фантазія Каванага, по истинѣ, не знаетъ удержа, и сочиненіе его имѣетъ, конечно, значеніе только поучительнаго курьеза, только примѣра безудержнаго диллетантизма.

На почву науки мы возвращаемся въ 1875 году, когда вышли два труда: книга Уитнея о жизни языка и сочиненіе философа Марти о происхожденіи языка. Уитней, извѣстный американскій санскритологъ, авторъ нѣсколькихъ сочиненій по древне-индійской филологіи, написалъ книгу „Жизнь языка“, которая выдержала рядъ изданій и была переведена на многіе европейскіе языки¹⁾. Такимъ образомъ, передъ нами одинъ изъ авторитетнѣйшихъ ученыхъ. Вопросу о происхожденіи языка посвящена спеціальная глава, построенная на строго эволюціонныхъ принципахъ. Въ глазахъ Уитнея обладаніе языкомъ составляетъ часть человѣческой культуры, которая становится понятна для изслѣдователя лишь въ условіяхъ социальнаго развитія человѣчества. „Какъ бы низко ни стояло общество, оно все-таки будетъ всегда знать больше того, что можетъ узнать въ теченіе всей своей жизни наиболѣе одаренный отдѣльный человѣкъ, если онъ будетъ предоставленъ самому себѣ, и не подлежитъ сомнѣнію, что языка онъ не узнаетъ. Всякій приобретаетъ то, что случайность его мѣсторожденія положила на его пути; изъ этого каждый образуетъ исходный пунктъ для упражненія своихъ собственныхъ способностей, встрѣчая одновременно и противодѣйствіе, и поддержку со стороны своей среды, той среды, которую каждый отдѣльный человѣкъ обреченъ увеличить (*agrandir*) въ свою очередь. И это относится къ языку въ такой же мѣрѣ, какъ и ко всему остальному. Языкъ не можетъ быть обособленъ отъ другихъ человѣческихъ приобретеній: онъ не похожъ на другія знанія, но вѣдь и эти послѣднія также не похожи одно на другое“. Отсюда Уитней дѣлаетъ заключеніе, что каждый языкъ надо разсматривать какъ своего рода „институтъ“ (*institution*), одинъ изъ тѣхъ институтовъ, которые образуютъ въ каждомъ обществѣ цивилизацію. „Подобно тому, какъ всѣ другіе элементы культуры, языкъ варьируется у каждаго народа и даже у каждой особи. Существуютъ общества, въ которыхъ языкъ заключенъ въ границы расы; въ другихъ обществахъ онъ оказывается частью или цѣликомъ заимствованнымъ у сосѣднихъ расъ; нбо языкъ можетъ, какъ и всякая другая вещь, быть объектомъ обмѣна или импорта. Физическія черты расы могутъ быть переданы только вмѣстѣ съ кровью; но расовыя приобретенія, языкъ, религія, наука, могутъ быть заимствованы и предложены для заимствованія“. Эти

¹⁾ Я пользуюсь здѣсь французскимъ переводомъ: *La vie du langage*, par W. D. Whitney. 3 édition. 1880.

положенія, правильность которыхъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, рисуютъ каждый языкъ, какъ одинъ изъ продуктовъ человѣческаго творчества, но еще ничего не говорятъ о возникновеніи самаго перваго языка. Точно также правильно Уитней опредѣляетъ различіе между человѣческой рѣчью и тѣмъ, что называется языкомъ животныхъ: послѣдній инстинктивенъ, первый имѣетъ характеръ произвольный и условный. И даже въ фактахъ „ономатопей“ (звукоподражанія) мы находимъ между предметами и ихъ названіями не связь необходимости, но условное соединеніе. Переходя къ составнымъ элементамъ человѣческаго языка, Уитней указываетъ на важное значеніе мимики, интонаціи и жестикуляціи, но всѣ эти „естественные способы выраженія“ не выходятъ изъ сферы обозначенія чувствъ. Исторія языка начинается лишь съ того момента, когда выраженіе, служившее первоначально только цѣлямъ чувства, обращается къ интеллектуальной жизни человѣка. Значеніе этого факта было уже отмѣчено мною выше: дѣйствительно, лишь тогда, когда нормальное, а не слишкомъ возбужденное состояніе человѣка требуетъ своего выраженія въ звукахъ для *сознательнаго* обозначенія тѣхъ или другихъ содержаній сознанія, — лишь тогда возникаетъ рѣчь.

Соглашаясь до сихъ поръ съ Уитнеемъ, здѣсь я долженъ съ нимъ разстаться. Именно, никакъ нельзя согласиться, по моему мнѣнію, съ его предположеніемъ, что языкъ былъ созданъ стремленіемъ человѣка къ сообщенію (*le désir de la communication*). Именно, „это стремленіе замѣняетъ инстинктъ намѣреніемъ“. Впрочемъ, и здѣсь Уитней не сходитъ съ почвы эволюціонныхъ воззрѣній. Стремленіе сообщать явилось у человѣка не сразу въ ясной формѣ, но „по мѣрѣ того, какъ оно становилось болѣе отчетливымъ и приобретало самосознаніе, оно поднимало всевозможные способы выраженія надъ уровнемъ ихъ естественнаго основанія и превращало этотъ естественный способъ выраженія въ орудіе, способное, какъ таковое, къ расширенію своей дѣятельности и безконечному усовершенствованію. Тотъ, кто не считается съ этой силой (а такъ поступаютъ многіе), осужденъ на совершенное заблужденіе въ вопросахъ философіи языка. Тамъ, гдѣ отсутствуетъ стремленіе къ сообщенію, тамъ не происходитъ творчества рѣчи“. Если стать на точку зрѣнія Уитнея, мы будемъ поставлены въ безвыходное положеніе: какъ человѣкъ, еще не знающій, что съ помощью звуковъ можно дѣлать сообщенія, проникнется стремленіемъ издавать звуки именно съ цѣлью сообщенія? Какъ бы ни объяснять зарожденіе этого стремленія, и какъ бы постепенно ни было его развитіе, во всякомъ случаѣ, не съ него начинается созданіе человѣческой рѣчи, а со взаимнаго пониманія извѣстныхъ звуковъ, которое и наталкиваетъ на желаніе производить эти звуки для того, чтобы ихъ поняли другіе.

Послѣ того, какъ языкъ становится средствомъ сознательнаго сообщенія мыслей, онъ приобретаетъ то значеніе въ развитіи духовной жизни

человѣчества, которое хорошо охарактеризовано Уитнеемъ. „Люди стремятся къ достиженію ближайшей цѣли, а находятъ гораздо больше того, что ожидали. Когда они отбивали свои первыя (каменные) орудія, они имѣли въ виду только то, что можно назвать неизменнымъ назначеніемъ этихъ инструментовъ: удобство, безопасность, удовлетвореніе естественныхъ потребностей; но результатомъ этой работы явился фактъ подъема могущественныхъ способностей человѣка, подчиненія ему природы, фактъ такого освобожденія человѣка, которое дало ему возможность предаться болѣе возвышеннымъ исканіямъ и, наконецъ, фактъ раскрытія передъ нимъ физическихъ и нравственныхъ истинъ въ такомъ числѣ, что онъ совершенно потерялся отъ изумленія“. То же самое произошло и съ употребленіемъ языка, какъ средства сообщенія, которое дало необычно мощное развитіе умственнымъ способностямъ человѣка. Тѣмъ не менѣе, основная потребность сообщенія, которая составляетъ причину того, что мы говоримъ теперь, должна была, по убѣжденію Уитнея, создать языкъ. Онъ полагаетъ, вопреки тому, что намъ говоритъ психологія ребенка, будто бы „мы учимся нашему языку для того, чтобы намъ сообщали свѣдѣнія“. Уитней не чуждъ даже предположенія, что элементъ сознательности играетъ значительную роль въ образованіи языка. Сознаніе необходимости сохранять общепонятный языкъ налагается, по его мнѣнію, узду на развитіе діалектовъ; это же сознаніе необходимости служить для всякаго, сознательно или бессознательно, правиломъ въ употребленіи такихъ словъ и фразъ, которыя оказываются понятными для окружающей среды. Такъ значителенъ въ представленіяхъ Уитнея о происхожденіи языка сознательный и волевой элементъ. Развивая свою теорію до ея крайнихъ логическихъ выводовъ, образецъ которыхъ былъ мною представленъ сейчасъ, Уитней обнаруживаетъ и ошибочность самаго основанія, ибо первоначальный языкъ не могъ служить удовлетворенію потребности сообщать свои мысли ближайшимъ лицамъ, какъ и теперь наши дѣти научаются говорить не для того, чтобы сообщать о своихъ желаніяхъ, а развитіе говоровъ въ извѣстныхъ опредѣленныхъ границахъ не ограничивается опасеніемъ, что при дальнѣйшемъ развитіи діалекта говорящіе на немъ станутъ непонятны для сосѣдей, а непосредственно зависптъ отъ характера и интенсивности междудіалектическихъ отношеній. Языкъ развивается въ социальной средѣ, и ея требованіями опредѣляется направленіе этого развитія. Обращаясь къ элементамъ, изъ которыхъ былъ составленъ первоначальный языкъ, Уитней признаетъ исходнымъ пунктомъ его „естественные крики, которыми люди выражаютъ свои чувства, и съ помощью которыхъ они понимаютъ другъ друга. Это исходный пунктъ въ развитіи языка слышимого (audible), но мы не можемъ утверждать, что этимъ ограничивалось единственное или даже главное средство первоначальныхъ сообщеній между людьми. Жестъ и мимика такъ же естественны и такъ же понятны, какъ и крикъ, и въ

эпоху примитивнаго состоянія рѣчи видимые способы (сообщенія) могли въ теченіе долгаго времени преобладать передъ слышимыми для выраженія страсти. Но невозможно допустить, чтобы природа, давшая человѣку голосъ, не побуждала его пользоваться этимъ послѣднимъ“. Такова отправная точка взглядовъ Уитнея, который признаетъ тремя основными и естественными способами выраженія жестъ, мимика и интонацію, что вполне согласуется съ изложеннымъ выше, въ соответствующихъ главахъ. Среди этихъ средствъ артикулированный голосъ лишь постепенно завоевалъ себѣ первое мѣсто, которое досталось ему въ результатъ извѣстнаго процесса борьбы за существованіе и естественнаго отбора. „Никакой мистической связи между аппаратомъ мысли и аппаратомъ рѣчи не существуетъ. За исключеніемъ криковъ и естественныхъ интонацій, вызванныхъ эмоціей (и не артикулированныхъ), мускулы гортани и рта оказываются вислоько не болѣе близкими для души, нежели тѣ произвольныя движенія, къ которымъ относятся жесты“. Въ доказательство этого американскій ученый ссылается на глухонѣмыхъ, но именно глухонѣмые свидѣтельствуютъ о наличности извѣстнаго инстинктивнаго языка, присущаго человѣку. Достаточно напомнить изложенное выше о звукахъ, издаваемыхъ Лаурой Бриджменъ.

По мнѣнію Уитнея, наблюденіе за глухонѣмыми обнаруживаетъ значеніе жестикуляціи. Именно, „существуетъ естественное основаніе инстинктивной жестикуляціи, которая достаточна для того, чтобы внушить человѣческому уму цѣлую систему видимыхъ знаковъ для намѣреннаго выраженія мысли... Вместе съ тѣмъ, гортань и ротъ представляютъ мускульные органы, которые приводятся въ движеніе волей, какъ ею же движутся руки и ноги. Эти органы выполняютъ другія функціи, нежели функціи артикуляціи, и интонація, которую создаютъ голосовыя связки, служатъ не только для разговора“. Но на почвѣ интонаціи возникаетъ цѣлый рядъ знаковъ для намѣреннаго выраженія мысли, — знаковъ, воспринимаемыхъ слухомъ. Однако, далеко не всѣ средства, представляемые артикуляціей звуковъ, использованы языками. „Артикулированный языкъ используетъ лишь небольшую часть регистровъ голоса (голосовыхъ средствъ), и изъ всѣхъ звуковъ, которые онъ можетъ произвести, необходимо всего какихъ-нибудь двѣнадцать или пятнадцать для того, чтобы говорить. Подборъ этихъ 12 или 15 звуковъ не былъ опредѣленъ этнологическими причинами. Они были избраны случайно такъ же, какъ случайно были созданы языки, особенно открытые звуки, которые легки для произношенія и легко различаются одинъ отъ другого“¹⁾. Это замѣчаніе объ ограниченности зву-

¹⁾ Стоитъ сравнить съ этимъ постояннымъ подчеркиваніемъ (у Вербера, Уитнея и др.), что языкъ начинается съ наиболѣе легкаго произношенія, утвержденіе Есперсена (см. ниже), что самыя трудныя для произношенія сочетанія звуковъ были первичными. Повидимому, истина заклю-

ковъ, которое Уитней бросаетъ вскользь, заслуживаетъ вниманія уже потому, что отъ того или иного освѣщенія его зависить до нѣкоторой степени и разрѣшеніе вопроса о томъ, въ одномъ ли мѣстѣ и одинъ ли разъ возникъ языкъ, или намъ слѣдуетъ говорить не о происхожденіи языка, но о происхожденіи языковъ. Вѣдь если, дѣйствительно, изъ всей массы возможныхъ звуковъ человѣческой языкъ использовалъ ограниченное число, то отчего это произошло? Оттого, что языкъ былъ созданъ извѣстной группой лицъ, использовавшей лишь небольшое число звуковъ, или оттого, что лишь звуки, достаточно отчетливо артикулированные, звуки, такъ сказать, центральные въ извѣстномъ рядѣ оттѣнковъ, становятся возможны для языкового обихода? Какъ извѣстно, самые разнообразные *k, n, m* и т. п. артикулируются нами, какъ это обнаруживаютъ дапныя экспериментальной фонетики, но въ опредѣленныхъ границахъ эти оттѣнки не различаются ухомъ, и именно на несовершенство слуховыхъ органовъ слѣдуетъ возложить отвѣтственность за сравнительно небольшое число звуковъ человѣческой рѣчи. Однако, это число все же гораздо выше, чѣмъ указываетъ Уитней: множество оттѣнковъ согласныхъ и гласныхъ звуковъ извѣстно въ языкахъ міра, и если бы всѣ ихъ собрать (именно, какъ звуки языковъ, воспринимаемые сознаниемъ, закрѣпляемые письмомъ, какъ звуки, а не оттѣнки произношенія), то получилась бы весьма многочисленная коллекція. Поэтому, взятый съ фонетической стороны языкъ представляетъ скорѣе продуктъ многихъ отдѣльных и разрозненныхъ попытокъ создать рѣчь, нежели результатъ творчества одной ограниченной группы людей. Вернемся, однако, къ изложенію теоріи Уитнея.

Установивъ, что первоисточникомъ образования рѣчи было „намѣренное воспроизведеніе естественныхъ криковъ, воспроизведеніе, которое имѣло цѣлью выразить нѣчто аналогичное чувствамъ или ощущеніямъ, произведшимъ эти крики“, Уитней отмѣчаетъ, что это не есть звукоподражаніе или ономапоэя, но все же нѣчто столь близкое къ ней, что различіе оказывается болѣе теоретическимъ, чѣмъ дѣйствительнымъ. Мнѣ представляется вполне допустимымъ предположеніе названнаго ученаго, что „когда люди приобрѣли сознание необходимости взаимно сообщаться, и начали дѣлать попытки для осуществленія этой цѣли, область подражанія расширилась. Такъ какъ цѣлью служило взаимное пониманіе, а средствомъ для этого были артикулированные звуки, то слышимыя вещи должны были первыя получить свое выраженіе, но если бы средство сообщенія было иное, то нными оказались бы и первыя представленныя вещи“. Область подражанія не ограничивается воспроизведеніемъ звуковъ, которые раздаются въ природѣ—продолжаетъ Уитней: звукоподражаніе охватывало

частью въ томъ, что понятіе о *трудности* совсѣмъ надо исключить изъ рассмотрѣнія первоначальныхъ звуковъ рѣчи: вѣдь не существуетъ эта трудность и для младенца въ періодъ лепета.

также быстрое или медленное движеніе и т. под. „Мы должны представить себѣ, что въ эпоху, когда человѣкъ еще *подыскивалъ слова* (опять представленія о сознательномъ, намѣренномъ творествѣ словъ!), онъ долженъ быть гораздо болѣе хвататься за аналогіи, которыя онъ хотѣлъ воплотить (въ словѣ), нежели это дѣлаемъ мы, обладающіе такимъ изобиліемъ выраженій для передачи всѣхъ идей“. Но звукоподражаніе представляло необходимый принципъ словообразованія лишь до тѣхъ поръ, пока не образовался достаточный запасъ словъ для образованія изъ нихъ всѣхъ нужныхъ выраженій съ помощью тѣхъ средствъ, которыя уже входятъ въ область изученія филологіи.

Первоначальные корни, полученные первобытнымъ языкомъ, не были ни глагольными, ни именными; они заключали въ себѣ и то и другое значеніе и представляли извѣстнаго рода абстракцію. Наоборотъ, іероглифическія изображенія начинаются съ конкретныхъ представленій и лишь отъ нихъ переходятъ къ отвлеченнымъ: такъ, въ китайскомъ языкѣ поэтъ *свѣтъ* и *свѣтитъ* изображаются соединеніемъ рисунковъ, представляющихъ солнце и мѣсяцъ. Совершенно справедливо и своевременно Уитней отмѣчаетъ, что въ самомъ характерѣ того орудія выраженія мысли, какимъ является слово, заключается абстрактное начало, отсутствующее въ другихъ способахъ выраженія. Для развитія мышленія этотъ отвлеченный характеръ языка имѣлъ чрезвычайно важное значеніе; только эмансипація отъ образа создала абстрактную мысль.

А. Марти ¹⁾, профессоръ философіи въ Черновицкомъ университетѣ, полагаетъ, что для выясненія проблемы происхожденія языка необходимо отвѣтить на слѣдующіе три вопроса: „1. Какъ, вообще, среди людей могли возникнуть сообщеніе (мыслей), взаимная передача свѣдѣній и откровеніе (Kundgabe) внутренней жизни? 2. Какъ могли выработаться средства, служившія для этой цѣли, до такой степени, чтобы превратиться въ артикулированный языкъ? 3. Какъ могло случиться, что именно звуковые знаки (die Lautzeichen) получили такое развитіе и примѣненіе?“ Первая глава книги посвящена вопросу о возникновеніи среди людей, вообще, средствъ взаимнаго сообщенія. „Для того, чтобы у какого-нибудь существа явилось намѣреніе сообщить другому о своей внутренней жизни, оно должно было знать что-нибудь о чужой психической жизни и о значеніи, которое она имѣетъ для его собственныхъ переживаній“. Это указаніе ставитъ вопросъ на правильную психологическую почву: сообщеніе должно преслѣдовать цѣль, если оно выходитъ за предѣлы чисто инстинктивной дѣятельности, и эта цѣль должна хотя бы смутно называться. Пока этого нѣтъ, не можетъ существовать того, что мы называ-

¹⁾ Ueber Ursprung der Sprache von dr. Anton Marty. Würzburg 1875 (на обложкѣ 1876).

емъ языкомъ знаковъ. Какъ же объясняетъ возникновеніе такого пониманія Марти? Онъ констатируетъ, что и въ духовной жизни безъ языка, у дѣтей и у нѣкоторыхъ животныхъ, уже наблюдается фактъ пониманія извѣстныхъ знаковъ, что воспріятіе чего-либо, по самой своей природѣ полагаетъ основаніе стремленію предполагать одинаковыя послѣдствія при одинаковыхъ условіяхъ. Уже у самаго первобытнаго человѣка такія воспріятія также не пропадали даромъ; они должны были привести къ тому, что „онъ уже кое-что предполагалъ, хотя немедленно или непосредственно и не узнавалъ послѣдствій. Какъ легко и быстро онъ пришелъ къ тому, чтобы предположить наличность какой-нибудь психической жизни, аналогичной его собственной, но не дающей ему никакихъ прямыхъ воспріятій, и чтобы захотѣть оказывать на нее вліянія, это зависитъ отъ того, какъ сложились самыя раннія условія существованія нашего рода“. Марти нарочно предполагаетъ самыя неблагоприятныя условія, въ которыхъ могло бы возникнуть это сознаніе.

„Первоначально, какъ и теперь, каждый человѣческой индивидуумъ былъ, навѣрное, организованъ такъ, что съ душевными возбужденіями у него связывались непроизвольныя физическія движенія разнаго рода, и онъ тотчасъ же приобрѣлъ способность дѣлать эти движенія и произвольно. Уже у дочеловѣческихъ животныхъ, которыя теорія естественнаго подбора представляетъ производителями человѣческаго рода, эта способность должна была существовать издавна“ (она присуща всѣмъ высшимъ животнымъ организмамъ). Марти воображаетъ себѣ двухъ первобытныхъ людей, *A* и *B*, которые уже настолько развились, что приобрѣли способность владѣть членами своего тѣла и вмѣстѣ съ этимъ приобрѣли до нѣкоторой степени господство надъ внѣшнимъ міромъ. „Какъ завяжется между ними общеніе?“ спрашиваетъ Марти. Отвѣтъ автора въ кратцѣ сводится къ тому, что одинаковыя психическія состоянія, связывающіяся съ одинаковыми внѣшними выраженіями ихъ, образуютъ ассоціацію. „*A*, который чаще совершалъ съ извѣстными настрѣненіями движенія и видѣлъ, какъ другія движенія возникаютъ у него независимо отъ его воли, въ нѣкоторыхъ душевныхъ состояніяхъ, соединить съ воспріятіемъ подобныхъ движеній у *B*, по уже образовавшейся у него привычкѣ, представленіе о соотвѣтствующихъ психическихъ явленіяхъ. Онъ предположить, что *B* испытываетъ радость, боль и т. д. и *наимѣренно* выражаетъ ихъ во внѣшнемъ мірѣ (in die Aussenwelt eingreift), и такъ какъ онъ самъ переживаетъ пріятныя и непріятныя воздѣйствія со стороны этого внѣшняго міра, то онъ предположить при одинаковомъ положеніи *B* и при его аналогичномъ поведеніи, что и онъ испытываетъ такія воздѣйствія. И разъ у него укрѣпится привычка мыслить *B* (и каждый другой индивидуумъ подобный ему внѣшнимъ видомъ и обликомъ) по аналогіи самому себѣ, то такія предположенія (Annahmen) укрѣпятся у него очень быстро и крѣпко; безъ всякой

критики онъ будетъ предполагать свои собственные чувства при сходныхъ обстоятельствахъ и у *B* и ожидать отъ него такихъ поступковъ, какіе совершилъ бы онъ самъ, не вдумываясь въ особенности его положенія“. Марти справедливо указываетъ, что подобныя сужденія по аналогіи о чужихъ душевныхъ переживаніяхъ весьма присущи дѣтямъ и людямъ необразованнымъ, и что требуется даже большая умственная работа для того, чтобы не дѣлать такихъ заключеній о другихъ по себѣ. Этимъ указаніямъ Марти я склоненъ приписывать большое значеніе, какъ на видъ они ни просты, особенно если ихъ перенести въ область дѣятельности полового инстинкта, разгаръ котораго въ извѣстные періоды года вызывалъ усиленное возбужденіе органовъ рѣчи (въ смыслѣ пѣнія, крика и т. п.).¹⁾ Во всякомъ случаѣ, при разрѣшеніи общихъ вопросовъ культуры необходимо исходить изъ общечеловѣческихъ особенностей, присущихъ и дикарю, и культурному человѣку, и потому присущихъ человѣческому роду, какъ таковому.

И вотъ среди такихъ особенностей мы находимъ и неискоренимое стремленіе человѣчества судить о душевныхъ движеніяхъ людей по аналогіи того, что испытываетъ при извѣстныхъ переживаніяхъ каждый изъ насъ. Повидимому, это происходитъ отъ силы и быстроты ассоціацій у человѣка, и должно быть положено въ основаніе при объясненіи всякаго человѣческаго общенія, на какой бы почвѣ оно ни происходило. На этой же особенности человѣческой психики основана и способность людей подражать. Развивая далѣе свою теорію, Марти предполагаетъ, что его гипотетическіе *A* и *B*, научившись такъ полубезсознательно различать душевныя переживанія другъ друга, используютъ это познаніе съ цѣлью оказывать извѣстное вліяніе на чужую волю. „Если вліяніе *B* на *A* пріятно для послѣдняго, то онъ будетъ желать, чтобы его воздѣйствіе продолжалось; если непріятно, то чтобы оно прекратилось, а разъ онъ замѣчаетъ, что это происходитъ отъ произвола *B*, онъ постарается со своей стороны повліять на его волю“. Противъ этого положенія можно возразить то же самое, что я уже указывалъ выше, обсуждая теорію эмоциональнаго происхожденія языка, т. е. что для возникновенія послѣдняго необходимо предположить болѣе или менѣе спокойное состояніе сознанія, а не сильное возбужденіе. Да и самая постановка вопроса въ этой формѣ производитъ странное впечатленіе: точно не старается мышъ убѣжать отъ кошки, или собака „повліять на волю“ другой, бросившейся на нее собаки. Признавая справедливость первыхъ замѣчаній Марти, я не могу никоимъ образомъ согласиться съ его дальнѣйшими положеніями о стремленіи человѣка, находящагося въ состояніи сильнаго возбужденія, оказать вліяніе на психику другого человѣка съ помощью звуковъ. Такое стремленіе можетъ

¹⁾ См. взгляды Заборовскаго, Есперсена и др. (ниже).

вытекать лишь из *познания* действительности известных средств воздействия, напр. из сознания того, что криками можно отпугнуть врага, но познания приобретаются не в таком состоянии интеллекта, когда он безудержно охвачен чувством или потрясен паническим ужасом, но в таком, когда он спокойно созерцает или отдается смѣли не слепкомъ сильныхъ чувствъ. Какъ матеріалъ для образования языка, восклицанія, конечно, играютъ весьма важную роль,—и это показываютъ факты дѣтской психологіи,—но именно какъ матеріалъ. Переходя къ другому вопросу, о формѣ сообщенія, т. е. о предпочтеніи звуковой формы всякой другой, Марти основывается на непосредственно понимаемыхъ восклицаніяхъ. „Пониманіе т. наз. условныхъ знаковъ, какъ это мы видимъ на примѣрахъ изъ исторіи языка, а также изъ исторіи письма и на нѣкоторыхъ жестахъ, должно начинаться съ того, что оно возникло изъ пониманія само собой разумѣющихся знаковъ. Средства перваго рудиментарнаго общенія принадлежали именно къ этому послѣднему разряду явленій. Если мы можемъ предположить, что число ихъ было значительно увеличено (сравнительно съ первобытнымъ состояніемъ), и если аналогія известныхъ явленій позволить найти пути, на которыхъ они могли потерять свой первоначальный характеръ, тогда намъ станетъ въ значительной мѣрѣ понятно, какъ одинъ классъ, на использование котораго устремились съ особенной энергіей, могъ оказаться такъ богатъ условными элементами, какимъ явился языкъ звуковъ“ (Marty. 80). Этотъ процессъ обогащенія происходитъ, по мнѣнію Марти, съ которымъ я здѣсь согласенъ, съ помощью звукоподражанія въ широкомъ смыслѣ этого слова. „Чтобы составить себѣ полное представленіе о разностороннемъ примѣненіи подражательной дѣятельности, утверждаетъ Марти (82), слѣдуетъ имѣть въ виду, что съ каждой изъ позицій, которую приобрѣлъ звукоподражающій звукъ по ассоціаціи смежности, дѣлались новыя завоеванія въ области аналогіи, и вокругъ завоеванныхъ пунктовъ снова могли группироваться ассоціаціи по смежности. Исторія языка показываетъ, какъ условные знаки, исходя изъ одного значенія, могутъ приобретать неограниченное множество функций“. Такое же развитіе Марти допускаетъ и въ области значеній, имѣющихъ первоначальное звукоподражательное происхожденіе. О способахъ распространенія этихъ значеній и о развитіи ихъ въ такой степени, чтобы они могли быть положены въ основаніе сужденій, и о возникновеніи синтаксическихъ выраженій въ языкѣ, Марти сообщаетъ рядъ интересныхъ соображеній, съ которыми отчасти можно было бы поспорить, но входитъ въ эту область я уже не могу здѣсь. Перехожу къ вопросу о звуковой сторонѣ языка. Марти указываетъ на различныя преимущества звукового выраженія мыслей и чувствъ передъ иными способами выраженія,—преимущества, которыя уже съ самаго начала (von Anfang. 128) дали звукамъ перевѣсъ передъ иными формами языка. Отчего же, однако, только человѣкъ оказался го-

ворящимъ существомъ, почему не говорятъ высшія животныя? На этотъ вопросъ Марти даетъ слѣдующіе отвѣты (Marty 148): во-первыхъ, органы ихъ менѣе пригодны для этой цѣли, чѣмъ органы человѣка (ср. ниже теорію Габелентца), а во-вторыхъ и главнымъ образомъ, у человѣка уже рано образовалось большее богатство содержаній, которыя могли быть сообщены, и развились болѣе сильные и разносторонніе мотивы для того, чтобы стремиться къ сообщенію. Наконецъ, человѣкъ обладалъ искони и большей способностью сосредоточивать вниманіе на одной сторонѣ дѣйствія или образа или, иначе говоря, обнаружилъ способность, хотя бы и въ зародышѣ, къ отвлеченію, которой Марти не находитъ у высшихъ животныхъ. Именно поэтому они и не способны къ рѣчи.

Фр. Мюллеръ, имя котораго приходилось такъ часто цитировать въ главѣ, посвященной языкамъ дикарей, выступилъ въ 1876 году сторонникомъ теоріи эмоциональнаго происхожденія языка¹⁾. „Всякое новое умозрѣніе (Anschauung) новаго предмета вызывало новое ощущеніе у первобытнаго человѣка, а всякое новое ощущеніе обнаруживалось новымъ индивидуальнымъ звукомъ. Мы можемъ утверждать, что ни одно впечатлѣніе не было испытано, ни одно движеніе не было совершено безъ того, чтобы организмъ человѣка не отвѣчалъ на нихъ известнымъ звукомъ“. Уже изъ этого извлеченія видно, что Фр. Мюллеръ оказывается, какъ теоретикъ, весьма слабъ и не представляетъ ничего новаго для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка. Поэтому, мы спокойно можемъ миновать его. Нѣсколько лѣтъ спустя парижскій полякъ Заборовскій²⁾ сдѣлалъ попытку связать съ эволюціонной теоріей Дарвина свой взглядъ на происхожденіе языка изъ междометій и звукоподражаній. Но здѣсь есть нѣчто новое, что заслуживаетъ быть отмѣченнымъ, хотя психологическая часть проблемы хромаетъ и у Заборовскаго. Вотъ резюмѣ его взглядовъ: „Какъ животное, какъ, напр., *Sebus Aragaе*, котораго мы приводимъ здѣсь въ дѣйствіе отсутствія наблюденій надъ высшими обезьянами, первобытный человѣкъ испускалъ простые крики, чтобы передать (*traduire*) свои волненія и сообщить о нихъ себѣ подобнымъ съ помощью движеній фізіономіи и членовъ, къ чему онъ прибѣгаетъ еще и теперь: эту мимику и жестикюляцію мы находимъ почти тождественными у шимпанзе“. Прерывая здѣсь изложеніе Заборовскаго, я отмѣчу, какъ слаба его психологическая мотивировка: уже обезьяны стремятся будто бы *передать* свои эмоціи другимъ обезьянамъ съ помощью криковъ, жестовъ и мимики, такъ что самая сущность проблемы, *какъ* возникло пониманіе цѣлесообразности знаковъ, отъ Заборовскаго ускользнула. „Когда социальное положеніе человѣка укрѣпилось, продолжаетъ онъ, когда группировка особей получила болѣе широкий характеръ, то взаимное сообщеніе идей сдѣ-

¹⁾ Въ первомъ томѣ *Grundris der Sprachwissenschaft*. 1876.

²⁾ *Zaborowski. L'origine du langage*. 1879.

далось болѣе необходимо и болѣе часто, и тогда человѣкъ умножилъ (а multiplié) свои эмоціональные крики и свои жесты“. Далѣе Заборовскій правильно подчеркиваетъ фактъ, о которомъ упоминали уже французскіе энциклопедисты, но который впоследствии какъ-то оставался незамѣченнымъ, именно фактъ непремѣнно существовавшей связи между половымъ возбужденіемъ и началами рѣчи. Какъ доказываетъ Вестермаркъ въ своей исторіи человѣческаго брака, первобытный человѣкъ долженъ былъ имѣть періоды любви, какъ и другія животныя. Въ эти періоды поютъ птицы, кричатъ звѣри. Могъ-ли оставаться безмолвенъ и безгласенъ первобытный человѣкъ? „Въ это время, утверждаетъ Заборовскій, стремясь привлечь или очаровать другой полъ мелодичностью и разнообразіемъ испускаемыхъ имъ звуковъ или желая воспроизвести точно и полно всѣ шумы и всѣ крики, которые онъ слышалъ, или, что вѣроятнѣе, вслѣдствіе обѣихъ причинъ, человѣкъ придавалъ своему голосу болѣе тонкіе оттѣнки и болѣе разнообразныя интонаціи. Но что такое эти крики, потерявшіе свою свирѣпость и свой характеръ звѣриной дикости, крики, лучше артикулированные и сопровождаемые большимъ богатствомъ тоновъ? Не что иное, какъ междометія. Эти междометія и подражательные звуки и шумы были первыми словами, первоосновой языка“. Какъ произошло превращеніе звѣриныхъ криковъ въ восклицанія, объ этомъ Заборовскій не говоритъ, едва ли не предполагая и въ этомъ случаѣ сознательной дѣятельности человѣка. Но мы, разумѣется, должны представлять себѣ этотъ процессъ, какъ длительный и бессознательный, какъ своего рода естественный подборъ. Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ отмѣтить, что Заборовскимъ выдвинутъ весьма важный принципъ, связь рѣчи съ періодомъ половой жизни.

Первое изданіе книги Г. Пауля „Principien der Sprachgeschichte“ вышло въ 1881 году, и потому я посвящу нѣсколько страницъ этой замѣчательной книгѣ здѣсь же, въ общемъ хронологическомъ порядкѣ. Пауль доказываетъ, что тѣ законы развитія языковъ, которые дѣйствуютъ въ продолженіе ихъ исторіи, должны быть примѣнены и къ началу этой эволюціи, къ вопросу о самомъ происхожденіи языка. „Вопросъ о происхожденіи языка можетъ получить свое разрѣшеніе лишь на основахъ изученія принциповъ языка. Иного отвѣта быть не можетъ“, утверждаетъ Пауль. Еще рѣшительнѣе онъ заявляетъ въ главѣ, посвященной „первотворчеству“ (Urschöpfung), что и въ современной физической и духовной натурѣ человѣка должны заключаться всѣ тѣ условія, которыя были необходимы для первобытнаго творчества рѣчи. Если же теперь духовная организація человѣка достигла болѣе высокаго развитія, то отсюда слѣдуетъ сдѣлать тотъ выводъ, что и эти условія, необходимыя для образованія рѣчи, приобрѣли теперь только болѣе совершенный характеръ. Это психо-

логическое обоснованіе, которое восходитъ въ концѣ концовъ къ положеніямъ В. Гумбольдта и Штейнтала, заставляетъ для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка изучать дѣйствующіе и нынѣ законы развитія рѣчи, т. е. перенести вопросъ на вполне реальную почву. Если мы теперь уже не изобрѣтаемъ новыхъ языковъ, новаго „языкового матеріала“, какъ выражается Пауль, то мы не дѣлаемъ этого потому, и только потому, что не испытываемъ никакой надобности въ этомъ. Однако, самый процессъ творчества отнюдь не прекратился и теперь: для этого стоитъ изучить только словарный составъ любого изъ народныхъ діалектовъ. Сущность же первотворчества заключается въ томъ, что извѣстная звуковая группа приводится въ связь съ группой представленій, которая и становится значеніемъ первой; но такое соединеніе должно произойти (разъ идетъ рѣчь о первотворствѣ) безъ посредства какой-нибудь родственной группы представленій, которая соединена съ той же самой звуковой группой (иначе можно говорить только о развитіи значеній этой послѣдней). „Такое первотворчество, говоритъ Г. Пауль, является прежде всего дѣломъ минуты, которое можетъ исчезнуть, не оставивъ послѣ себя никакихъ длительныхъ слѣдовъ. Для того же, чтобы отъ этого возникъ дѣйствительный языкъ, подобныя образованія должны произвести длительное психическое воздѣйствіе, вслѣдствіе чего и позже звукъ можетъ быть воспроизведенъ по ассоціаціи (gedächtnissmässig) съ помощью звука. Далѣе, слово должно быть понято и другими индивидуумами и равнымъ образомъ воспроизведено ими“. Въ первотворствѣ рѣчи должно быть предположено непосредственное соединеніе предмета съ названіемъ, въ установленіи котораго Пауль приписываетъ значительную роль какъ жесту, такъ и одинаковости душевнаго состоянія двухъ лицъ.

Затѣмъ Пауль ссылается на развитое имъ ученіе объ общемъ (usuell) и случайномъ (casuell) употребленіи словъ. „Мы уже видѣли, что, обычно, въ языкѣ ничто не можетъ сдѣлаться общимъ (usuell), что не было бы создано самостоятельно (spontan) различными индивидуумами. Сюда же относится и то, что можетъ быть создано однимъ и тѣмъ же лицомъ въ разное время самостоятельно, безъ содѣйствія памяти. Но если тотъ же самый звуковой комплексъ связывается въ разное время и разными лицами съ тѣмъ же самымъ значеніемъ, то эта связь должна быть вызвана повсюду одинаковой причиной, которая должна заключаться въ самой природѣ звука и значенія, а не въ какомъ-нибудь случайно сопровождающемъ обстоятельствѣ. Можно допустить, что иногда приобретаетъ всеобщее распространеніе и такое соединеніе (звука со значеніемъ), которое было установлено всего одинъ разъ какимъ-нибудь отдѣльнымъ лицомъ. Но возможность такого случая ограничена опредѣленными границами. Если, напр., тотъ, кто придумываетъ впервые названіе для какого-нибудь предмета, былъ человѣкъ, открывшій или изобрѣвшій этотъ предметъ, такъ что

всѣ остальные лишь отъ него узнали объ этомъ послѣднемъ, то это обстоятельство сообщаетъ авторитетъ и придуманному имъ названію. Но подобное положеніе дѣлъ мыслимо лишь по отношенію къ самымъ немногимъ предметамъ. Вообще же говоря, лишь примѣнимость (*die angemessenheit*) названія обезпечиваетъ ему всеобщее распространеніе, т. е. опять-таки внутреннее отношеніе между звукомъ и значеніемъ, которое тамъ, гдѣ отсутствуетъ промежуточная среда, не можетъ основываться ни на чемъ другомъ, кромѣ чувственного впечатлѣнія, производимаго звукомъ на слышащаго, и на удовлетвореніи, которое доставляетъ говорящему лицу дѣятельность моторныхъ нервовъ, необходимая для произведенія звука“. (Н. Paul. 142—143). Этимъ послѣднимъ положеніемъ Пауль устанавливаетъ еще одинъ принципъ, который игралъ роль въ образованіи языка и заключается въ чувствѣ удовольствія, испытывавшемся при издаваніи звука. Этотъ принципъ находитъ полное подтвержденіе въ томъ множествѣ словъ для означенія шумовъ и движеній, которыя являются сравнительно новыми созданіями во всѣхъ современныхъ языкахъ. Сотни ихъ можно считать и въ русскомъ языкѣ, какъ во всякомъ другомъ. Разсмотрѣвъ цѣлую группу подобныхъ образованій въ современномъ нѣмецкомъ языкѣ, Пауль останавливается на ихъ звуковой формѣ. „То обстоятельство, что въ этой группѣ словъ мы ощущаемъ внутреннюю связь между звуковой стороной и значеніемъ, не является въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ доказательствомъ того, что они, дѣйствительно, обязаны своимъ происхожденіемъ именно этому отношенію. Ибо существуетъ, какъ можно доказать, множество такихъ словъ, которыя лишь путемъ позднѣйшаго развитія приобрѣли такой звуковой характеръ или такое значеніе, что могутъ производить впечатлѣніе звукоподражательныхъ образованій. Но все-таки обзоръ этихъ словъ во всей ихъ совокупности исключаетъ предположеніе сплошной случайности. При этомъ особенно бросается въ глаза одно обстоятельство, именно многочисленность сходныхъ словъ, отличающихся лишь гласнымъ звукомъ и имѣющихъ одинаковое или же очень близкое значеніе, но не могущихъ восходить по звуковымъ законамъ къ одной праформѣ. Точно также нѣрѣдко и въ различныхъ языкахъ встрѣчаются сходно звучащія слова этого рода, которыя однако по звуковымъ законамъ не могутъ быть въ родствѣ между собой. Точно также извѣстныя *измѣненія* уже готовыхъ словъ могутъ объясняться только звукоподражательнымъ стремленіемъ. Однимъ изъ самыхъ характерныхъ примѣровъ является средне-верхне-нѣмецкое *gouch*—современному нѣмецкому *kukuk* съ промежуточными формами *guckaich*, *kuckisch* и т. под. Всѣ подобныя образованія означаютъ отчасти шумъ, отчасти безпокойныя движенія. Всѣ эти превращенія слѣдуетъ совершенно отдѣлить отъ звуковыхъ переходовъ и разсматривать, какъ *частичныя новообразованія*. Абсолютными *новообразованіями* являются, въ сущности, только междометія“. На этихъ послѣднихъ Пауль считаетъ нужнымъ

остановиться болѣе обстоятельно. Онъ спрашиваетъ прежде всего, можно-ли видѣть въ междометіяхъ „первобытнѣйшія выраженія языковой дѣятельности (*sprechfähigkeit*)“. Пауль отрицаетъ это пониманіе, утверждая, что междометія становятся рефлекторными движеніями только въ силу прочно установившихся ассоціацій.

Поэтому, въ разныхъ языкахъ и діалектахъ и у различныхъ людей междометія служатъ для выраженія разнообразныхъ чувствъ, и то общее, что въ языкѣ связывается съ опредѣленными междометіями, обязано своимъ происхожденіемъ вовсе не природенной связи между извѣстными чувствами и восклицаніями, но такой же самой традиціи, которая установила значенія словъ иного происхожденія. Въ доказательство этого положенія Пауль приводитъ извѣстныя междометія, возникшія изъ сокращенія цѣлыхъ выраженій, въ родѣ *jemine* (*jesu domine*), но онъ все же допускаетъ наличность такой группы междометій, которая возникла, какъ это можно предположить съ наибольшей вѣроятностью, благодаря рефлекторнымъ движеніямъ. „Большая часть этихъ междометій, при томъ самыхъ индивидуальныхъ въ формальномъ отношеніи и по своему чувственному тону (*empfindungston*), представляетъ собою реакціи на мгновенныя возбужденія слухового и зрительнаго органовъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, мы должны смотрѣть на ихъ первоначальную сущность. Затѣмъ они употребляются и въ воспомнаніи и въ разсказѣ о такихъ событіяхъ, которыя вызываютъ подобное мгновенное возбужденіе“. Звукоподражательный элементъ силенъ и въ этихъ междометіяхъ: франц. *criccrac*, *drelin-drelon*, нѣм. *lirumlarum*, *pißpaffpuff* и мн. др. Перечисливъ такія образованія, которыя восходятъ къ новѣйшему языковому творчеству человѣка, Пауль справедливо указываетъ на то, что между ними и первоначальными образованіями языка должна быть существенная разница, заключающаяся въ томъ, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ не могло быть никакихъ образованій по аналогіи. „Въ нихъ нельзя найти еще никакихъ слѣдовъ какой-нибудь грамматической категоріи. Они соответствуютъ цѣлымъ возрѣніямъ. Это первоначальныя предложенія, о которыхъ мы еще можемъ составить себѣ представленіе“ по такимъ восклицаніямъ, какъ напр. „Воры! Пожаръ!“. Такимъ образомъ, такіе первоначальные языковые элементы, выражающіеся въ формѣ восклицанія—междометій, представляютъ собою, собственно, предикаты, которымъ субъектомъ служитъ извѣстное впечатлѣніе. „Для того, чтобы придти къ высказыванію такого предложенія, человѣкъ долженъ выдѣлить нѣчто опредѣленное изъ множества того, что дано одновременно въ воспріятіи. А такъ какъ подобное выдѣленіе еще не можетъ быть осуществлено съ помощью логической операціи, то оно должно быть вызвано внѣшнимъ міромъ. Должно нѣчто произойти для того, чтобы вниманіе фиксировалось въ опредѣленномъ направленіи. Не покоящийся и безмолвный міръ, но движущійся и зву-

чащій представляет ту среду, которая первая входит въ сознание чело-
вѣка, и для которой онъ творитъ первые звуки языка. Мѣсто движенія
окружающей среды можетъ занять движеніе собственнаго тѣла, при ко-
торомъ взоръ внезапно наталкивается на неожиданную картину. Разу-
мѣется, впечатлѣніе будетъ еще болѣе интенсивно, если имъ возбуждаются
радость или страданіе, желаніе или страхъ“. Эта психологическая моти-
вировка первого соединенія восклицанія съ впечатлѣніемъ страдаетъ нѣ-
которой расплывчатостью, общею всѣмъ психологическимъ теоріямъ про-
исхожденія языка. Неясно, почему только чело-вѣкъ перешелъ къ созда-
нію рѣчи отъ тѣхъ криковъ эмоциональнаго характера, которые произво-
дятъ вѣдь и другія животныя. Остается неразрѣшеннымъ и другой воп-
росъ, на который я не разъ обращалъ вниманіе въ предшествующемъ
изложеніи: именно, можетъ ли отъ крика аффекта начинаться названіе
предмета, вызвавшего аффектъ?

Для Пауля этотъ вопросъ, можно сказать, просто не существуетъ.
„Мы можемъ сказать относительно древнѣйшихъ словъ, что они связы-
ваютъ съ междометнымъ характеромъ несовершенное выраженіе возрѣ-
нія, которое впослѣдствіи передается предложеніемъ“. При этомъ Пауль
отмѣчаетъ, что эти первичныя выраженія сознания были лишены самой
существенной особенности всѣхъ позднѣйшихъ словообразованій: чело-вѣкъ
еще не понималъ цѣли рѣчи, не имѣлъ намѣренія что-либо сообщать,
такъ какъ цѣлесообразная дѣятельность начинается лишь тогда, когда
„составлено убѣжденіе, что данными средствами достигается опредѣлен-
ная цѣль“. Авторъ не прибавляетъ однако, что для подобнаго убѣжденія
должны быть извѣстныя психологическія предпосылки. Опять-таки, ссы-
лаясь на примѣръ животнаго, мы видимъ, что оно совершаетъ цѣлесообраз-
ныя дѣйствія, выходящія за предѣлы инстинкта, сначала лишь случайно, а
потомъ по устанавливающейся ассоціаціи. Чело-вѣкъ долженъ былъ обла-
дать особенной силой и живостью ассоціацій, чтобы первоначально безсозна-
тельное говореніе могло пріобрѣсти у него, послѣ удачныхъ результатовъ
этого „говоренія“, характеръ цѣлесообразныхъ дѣйствій. Удачный ре-
зультатъ (бѣгство врага, приближеніе друга и т. п.) долженъ былъ сое-
диняться съ цѣлымъ комплексомъ дѣйствій, а не только съ извѣстнаго
рода звуками. Какъ выдѣлился изъ этого комплекса звуковой элементъ,
какъ особенно важный факторъ, это представляется психологической про-
блемой, совсѣмъ не затронутой Г. Паулемъ. Первоначальные звуки явля-
ются съ его точки зрѣнія, согласно со Штейнталеваго теоріей, только рефлек-
сами. „Но когда такой рефлекторный звукъ воспринимается другими
индивидуумами одновременно съ чувственнымъ впечатлѣніемъ, которымъ
онъ вызванъ, то они могутъ вступить въ связь другъ съ другомъ. То
обстоятельство, что другой индивидуумъ ощущаетъ эту связь, можетъ
основываться на дѣйствительномъ причинномъ отношеніи, которое уста-

навливается при помощи перваго возбужденія между воспріятіемъ и зву-
комъ“. Почему именно со звукомъ, а, напр., не съ мимикой или жестомъ?
Вѣдь воспріятій могло быть безконечное множество, рефлекторныхъ зву-
ковъ, какъ утверждаетъ самъ Пауль, было сравнительно немного. Предполагая
же симпатическое (безсознательное) пониманіе значенія этихъ звуковъ средой,
авторъ еще усугубляетъ трудность задачи: вѣдь тогда элементъ безсознатель-
ности пріобрѣтаетъ еще большее распространеніе. Между тѣмъ, то, что запо-
нилось, должно было рѣзко выдѣляться изъ массы обычнаго, восприни-
маемаго напр. полубезсознательно или симпатически. Такимъ образомъ, въ
своемъ развитіи взглядъ Пауля мало чѣмъ отличается отъ шаблона теорій
междометнаго происхожденія языка. По вопросу о томъ, какъ уста-
новилась цѣлесообразность сообщенія, Пауль высказывается въ томъ
смыслѣ, что источникомъ такого познанія цѣли было пониманіе рефлек-
торнаго жеста. Но это пониманіе, какъ мы видѣли въ главѣ, посвящен-
ной „языку жестовъ“, является инстинктивнымъ, и уже потому не отъ
него пошло это расширеніе чело-вѣческаго сознания. „Если какому-нибудь
индивидууму удалось нѣсколько разъ возбудить съ помощью рефлектор-
наго движенія вниманіе“, то у него должно было явиться, по мнѣнію
Пауля, и сознательное намѣреніе обращать на себя вниманіе съ помощью
жестовъ. Отсюда уже, — если только допустить такое происхожденіе цѣ-
лесообразныхъ сообщеній, что едва-ли возможно, — не трудно перейти и
къ языковымъ средствамъ передачи своего содержанія другимъ. Къ не-
произвольнымъ рефлекторнымъ движеніямъ стали присоединяться зву-
ки, „въ произведеніи которыхъ съ самаго начала участвовало на-
мѣреніе сообщенія. Но мы должны подчеркнуть намѣренность сообщенія,
но не намѣренность создать какое-нибудь постоянное орудіе сообщенія.
Новая звуковая группа создается моментальной потребностью“. Такъ, въ
сущности, возникъ первоначальный чело-вѣчскій языкъ, полагаетъ Пауль.
Какъ и въ Гриммѣ, въ немъ чувствуется изслѣдователь историческаго
развитія уже существующаго языка. Пауль очень силенъ, когда онъ
стоитъ на почвѣ имѣющагося въ дѣйствительности матеріала, но его осно-
ванія довольно шатки, когда ему приходится обращаться въ область ги-
потезъ, затрагивающихъ область психологическихъ отношеній. Онъ не
достаточно подчеркиваетъ разность психическихъ организмовъ животнаго
и чело-вѣка. Зато относительно самаго характера первобытнаго языка со-
ображенія Пауля весьма цѣнны. Такъ, онъ думаетъ, что первоначальное
говореніе предполагаетъ полное разнообразіе жестигуляцій, но „извѣстныя
группы звуковъ должны были употребляться особенно часто не только
однимъ и тѣмъ же, но и различными лицами самовольно (spontan), т. е.
безъ воздѣйствія со стороны какого-бы то ни было желанія подражать,
но по существу одинаковымъ образомъ. Только для звуковыхъ группъ,
которыя вслѣдствіе естественныхъ условій пользовались особеннымъ пред-

почтениемъ, можетъ выработаться моторное чувство при отсутствіи какой-нибудь установленной нормы. Въ такомъ привилегированомъ положеніи находились прежде всего чистые рефлекторные звуки, и въ примѣненіи къ нимъ должно было развиться прежде всего моторное чувство“. Такъ установилась, по мнѣнію Пауля, первоначальная звуковая норма человѣческой рѣчи.

Продолжаю хронологическій обзоръ работъ, посвященныхъ происхожденію языка. Египтологъ Карлъ Абель ¹⁾ исходилъ изъ изученія древне-египетскаго языка. Онъ указывалъ на то, что въ древнѣйшую эпоху іероглифической письменности египетскій языкъ до такой степени кпшѣлъ синонимами и омонимами, что для современнаго человѣка въ высшей степени затруднительно разобраться въ немъ. Такъ, по словамъ Абеля, корень *ab* имѣетъ въ древне-египетскомъ языкѣ восемь совершенно различныхъ значеній, и данныя такого же порядка я приводилъ выше изъ языковъ дикарей. Подобно этому, слово *apt* имѣетъ шесть значеній, *ba* тоже шесть, *uet* семь и т. п. Съ другой стороны, для одного и того же понятія имѣется множество различныхъ словъ: *рѣзать* передается 37 словами, *сильный* десятью и т. дал. Такъ что первоначально кажется, будто бы звуковое сочетаніе можетъ имѣть разнообразнѣйшія значенія, а съ другой стороны одинъ и тотъ же предметъ можетъ получить всевозможныя названія. Даже ограничивая это положеніе и не обобщая его на всю область египетскаго языка, приходится вмѣстѣ съ Абелемъ спросить: каковы образомъ люди понимали другъ друга? Абель отвѣчаетъ на это указаніемъ на іероглифы. По его мнѣнію, эти послѣдніе представляли необходимое пособіе, безъ котораго египетскій граматей не могъ бы понять, какое собственно значеніе имѣетъ данное слово. Этотъ фактъ обнаруживаетъ, по его мнѣнію, что люди глубокой древности вовсе не такъ легко понимали другъ друга, какъ мы, и должны были прибѣгать къ изображеніямъ, чтобы точно указать, какое именно значеніе имѣетъ данное слово. Выходитъ, такимъ образомъ (развивая взглядъ Абеля), будто бы древніе египтяне не разговаривали между собою, а только рисовали образы, связываемые со словами, что, разумѣется, противно здравому смыслу. Въ дѣйствительности же указываемые Абелемъ факты, конечно, не лишены значенія и въ специальномъ вопросѣ о происхожденіи языка, такъ какъ подчеркиваютъ яркость образнаго мышленія въ древнее время. Какъ мы уже видѣли выше, дикарямъ приходится для установленія взаимопониманія прибѣгать къ оживленной жестикуляціи, иногда какъ бы рисовать жестами то, о чемъ они говорятъ, и какъ переживаніе этой связи образа со словомъ, іероглифы могли бы до извѣстной

¹⁾ Ueber den Ursprung der Sprache. 2 изд. 1881. Горячимъ приверженцемъ Абеля выступилъ въ Дрезденскомъ литературномъ обществѣ въ 1883 году д-ръ Зеemannъ, выпустившій въ 1884 году брошюру „Ueber den Ursprung der Sprache“.

степени имѣть отношеніе и къ началу человѣческой рѣчи. Но, конечно, не болѣе. Далѣе, Абель переходитъ къ своей излюбленной теоріи о первоначальномъ двойномъ противорѣчивомъ значеніи словъ, о чемъ я уже упоминалъ въ своемъ мѣстѣ, и затѣмъ останавливается обстоятельно на извѣстномъ фактѣ отсутствія обобщающихъ словъ въ дикарскихъ языкахъ при множествѣ названій для видовъ отдѣльныхъ предметовъ. Въ свѣтѣ называній человѣкъ исходитъ изъ стремленія связывать звуки съ образами, и такъ возникаетъ языкъ, первоначально представлявшій хаосъ звуковыхъ сочетаній и неясныхъ, неотчетливыхъ понятій. Лишь постепенно человѣческой умъ внесъ порядокъ въ это множество случайныхъ и прихотливыхъ сочетаній звуковъ со значеніями, и такъ образовался языкъ. Какъ мы видимъ, въ теоріи Абеля есть здоровое основаніе; онъ опирается на несомнѣнные факты дикарскихъ языковъ и изученіе древне-египетскаго языка, гдѣ связь образа со словомъ выражается еще очень ощутительно. Несомнѣненъ также первобытный хаосъ языка: обиліе значеній, связывавшихся съ однимъ звуковымъ сочетаніемъ, множество различныхъ звуковыхъ сочетаній для одного и того же понятія. Но какъ возникъ языкъ, объ этомъ Абель намъ не говоритъ ничего новаго.

Ничего оригинальнаго не находимъ мы во взглядахъ Курти ¹⁾, который представилъ эклектическую теорію происхожденія языка. Здѣсь есть и междометныя восклицанія, и *clamor concomitans* (крикъ, сопровождающій дѣятельность, а также извѣстныя воспріятія предметовъ), и шумы, производимые извѣстными жестами (какъ напр., чавканье), и подражаніе звѣринымъ крикамъ или космическимъ шумамъ, и наконецъ символическія слова. О послѣднихъ Курти высказывается слѣдующимъ образомъ: „(первобытные люди) не ограничиваются простымъ воспроизведеніемъ звука, но прибѣгаютъ и къ символикѣ, какъ это часто наблюдается въ исторіи языковъ. Достаточно вспомнить объ образованіи множественнаго числа съ помощью повторенія слова и объ обозначеніи прошедшаго времени съ помощью повторенія глагола“.

Реньо ²⁾, имя котораго мнѣ уже нѣсколько разъ приходилось называть при изложеніи различныхъ взглядовъ на происхожденіе языка, полагаетъ, что „ни одинъ изъ главныхъ способовъ, съ помощью которыхъ теперь обогащается языкъ, не могъ быть примѣненъ къ его возникновенію“ (144). Наличность во всѣхъ индоевропейскихъ языкахъ фонетическихъ двойниковъ (франц. *bel* и *beau*, *cheval* и *cavale*, латин. *verto-verto*, *optimus-optimus* и т. п.) заставляеть предположить въ качествѣ одного изъ

¹⁾ Th. Curti. Die Entstehung der Sprache durch Nachahmung des Schalles. 1885. Die Sprachschöpfung. Versuch einer Embryologie der menschlichen Sprache. 1890. Sp. Giesswein. 153--154.

²⁾ P. Renouard. Origine et philosophie du langage ou principes de linguistique indo-européenne. 1888.

первых факторовъ „фонетическую эволюцію“, являющуюся главной, если не единственной причиной, расхожденія диалектовъ одного и того же языка. Условія физиологическаго характера, которыя опредѣляютъ эту фонетическую эволюцію, сводятся къ слѣдующимъ звуковымъ законамъ: 1. „Прогрессивное пріобрѣтеніе звуковъ, начиная съ періода чистаго и простаго крика съ его рѣдкими модуляциями, и кончая артикулированнымъ языкомъ, которымъ человѣкъ обладаетъ съ историческихъ временъ, и фонетическое богатство котораго все возрастаетъ. 2. Вліяніе пріобрѣтенныхъ звуковъ другъ на друга, которое обнаруживается такъ очевидно и такъ обычно въ великомъ законѣ ассимиляціи. 3. Правильное и спонтанное измѣненіе звуковъ. 4. Исчезновеніе звуковъ вслѣдствіе стяженія и иныхъ процессовъ этого рода“. Переходя къ корнямъ, въ которыхъ Реньо справедливо видитъ не что-нибудь абсолютно существующее, но послѣднія, далѣе уже не разложимыя части слова, онъ сопоставляетъ множество вариантовъ корней въ различныхъ индоевропейскихъ языкахъ и приходитъ къ заключенію, что „число индоевропейскихъ корней, которые являются по отношенію другъ къ другу лишь фонетическими вариантами, гораздо значительнѣе, чѣмъ это предполагаютъ обыкновенно; они допускаютъ даже теоретическую возможность, что съ формальной точки зрѣнія *все* корни могутъ быть фонетически связаны одинъ съ другимъ или, другими словами, могутъ восходить путемъ *фонетической эволюціи* въ одному первоначальному типу“ (Regnaud. 178). Это положеніе заставляеть Реньо ополчиться противъ одного изъ принциповъ современнаго языкознанія, которое построено на принципѣ безъисключительности фонетическихъ законовъ. Реньо объявляетъ этотъ принципъ не соответствующимъ научнымъ требованіямъ (antiscientifique 186), не замѣчая того, что онъ рискуеть при отрицаніи его впасть въ полную произвольность, признавая любой корень происходящимъ отъ другого. Затѣмъ Реньо переходитъ отъ формальной стороны первобытныхъ корней къ ихъ значеніямъ“. Фонетическія измѣненія корней согласуются или имѣютъ тенденцію согласовываться съ измѣненіями значенія (*camp* и *champ* изъ лат. *campus*, *châsse* и *casse* изъ *capsa*). Имѣя это въ виду, можно думать, какъ предполагаетъ Реньо (189), что и различія значеній не препятствуютъ предположить первоначальной связи всѣхъ индоевропейскихъ корней. Въ доказательство этого Реньо рассматриваетъ нѣсколько группъ значеній, которыя представляютъ развитіе по ассоціаціи идей значеній въ направленіи отъ понятій свѣта и блеска къ понятіямъ познанія и пониманія и т. д. „Одна и та же форма и одна и та же идея могли породить двѣ серіи путемъ эволюціи фонетической стороны и значенія“ (210). Слѣдуетъ, однако, отмѣтить, что сопоставленія Реньо весьма произвольны: съ помощью такого метода можно доказать родство какихъ—нибудь корней. Минэологическія изслѣдованія Реньо представляютъ такіе же недостатки метода, но этотъ

ученый не лишенъ оригинальныхъ и плодотворныхъ идей, и одной изъ такихъ въ данномъ вопросѣ я считаю его указаніе на возможность возведенія къ небольшому числу первоначальныхъ корней и значеній всего запаса индоевропейскихъ словъ. Благодаря этому, численность первобытнаго словаря человечества принципиально очень уменьшается. Въ анализъ происхожденія суффиксовъ, склоненія и происхожденія отдѣльных частей рѣчи я не буду здѣсь углубляться вслѣдъ за Реньо, тѣмъ болѣе, что онъ оперируетъ исключительно съ такой развитой группой языковъ, какой являются индоевропейскіе. Такъ, относительно первоначальнаго индоевропейскаго глагола Реньо замѣчаетъ, что онъ означаетъ „модусъ субъекта (*un mode du sujet*) съ указаніемъ на время, когда совершается отношеніе тождества этого модуса и субъекта: настоящее время (санскр.) *bhârami* означаетъ *носитель я*“ (279). Изъ этого видно, что Реньо не признаетъ существованія отдѣльной группы глагольныхъ корней, но допускаетъ наличность корней существительныхъ. „Первоначально, говоритъ онъ, глаголъ является чистымъ и простымъ соединеніемъ съ однимъ удареніемъ прилагательнаго и слова, которое оно опредѣляетъ“. И склоненіе, и спряженіе были изобрѣтены лишь одинъ разъ (289), и „этотъ принципъ предполагаетъ, что одна единственная серія первобытныхъ формъ дала начало путемъ аналогіи всѣмъ позднѣйшимъ подобнымъ формамъ“. Съ этой точки зрѣнія возстановленія первоначальнаго единства рассмотрѣны и другія грамматическія образованія индоевропейскихъ языковъ. Такимъ образомъ, въ конечномъ выводѣ (328—330) Реньо изучаетъ происхожденіе не языка вообще, но именно индоевропейскаго языка. Этотъ послѣдній „не обязанъ своимъ происхожденіемъ ни откровенію, ни изобрѣтенію или соглашенію, ни подражанію. Онъ развился у человѣка, сначала какъ исключительно физиологическій эффектъ, чуждый, какъ кажется, всякой идеи цѣлесообразности; привилегированное (избранное) существо, главнымъ качествомъ котораго онъ сдѣлался, не имѣло никакого представленія ни объ его зачаткахъ, ни о цѣли, для которой онъ долженъ былъ употребляться. Сопровождаемый жестомъ, языкъ естественнымъ образомъ (*naturellement*) приспособлялся къ обозначенію разрядовъ предметовъ, все болѣе разнообразныхъ и точно опредѣленныхъ, по мѣрѣ того, какъ физиологическія причины, которыми онъ былъ порожденъ, продолжали дѣйствовать и создавать различныя формы его: такимъ образомъ, образовалось средство взаимобошенія между людьми, орудіе, наиболѣе пригодное для развитія ихъ ума и сдѣлавшееся вмѣстѣ съ тѣмъ одновременно его зеркаломъ и образомъ“. Какъ мы видимъ, въ основаніе связи слова съ представленіемъ, основнаго источника происхожденія каждаго языка, Реньо полагаетъ естественный жестъ показательнаго характера. Какъ отсюда развилась рѣчь, мы не узнаемъ изъ изложенія Реньо.

Въ 1891 году появилось первое изданіе извѣстной книги Габелентца

„Языкознание“¹⁾). Габелентцъ любилъ точное знаніе и не вдавался слишкомъ много въ теоретическіе вопросы; отъ увлеченія проблемой происхожденія языка онъ и прямо предостерегалъ (304). Какъ представитель положительнаго знанія, онъ обратилъ особенное вниманіе на физическія условія, содѣйствовавшія образованію человѣческой рѣчи. Такъ, по его мнѣнію, очень важно, что вслѣдствіе хожденія на нижнихъ конечностяхъ человѣкъ обладаетъ, подобно свдѣщей и поющей птицѣ, свободной грудью, которая независима отъ ритма движенія верхнихъ конечностей при бѣганіи и летаніи. У человѣка, благодаря дѣятельности его рукъ, свободенъ и ротъ отъ выполнения тѣхъ обязанностей, которыя совершаетъ у животныхъ пасть (тасканія тяжестей, обороны и т. п.). Наконецъ, и руки, освобожденные отъ хожденія, получили возможность жестикулировать; а познавательное значеніе жестикаляціи, какъ уже было отмѣчено въ спеціальной главѣ, очень значительно. Освобожденіе рукъ дало человѣку и еще одну способность: онъ получилъ возможность работать руками. „Ходить и при этомъ руками обрывать плоды или очищать ихъ отъ кожуры и въ то же время ртомъ говорить, шѣптать, смѣяться, кричать; какъ ни ничтожно все это кажется, однако, даже обезьяна оказывается неспособной на это; изъ всѣхъ животныхъ представляется способнымъ совершать это развѣ только слонъ, котораго индусы называютъ обладателемъ руки. Не этимъ-ли объясняется и умъ этого толстокожаго?“ (305). Послѣ этихъ замѣчаній, значенія которыхъ нельзя отрицать, Габелентцъ останавливается на связи между характеромъ пищи и интеллектуальнымъ развитіемъ существа: слишкомъ обремененный желудокъ не даетъ простора ументвенному развитію, употребленіе исключительно растительной пищи заставляеть цѣлый день употреблять на ѣду, какъ это дѣлаетъ насыщаяся корова. Въ этомъ отношеніи всеядное животное поставлено въ болѣе выгодныя условія. Далѣе, Габелентцъ отмѣчаетъ и то несомнѣнное преимущество человѣка (впрочемъ, можетъ быть, пріобрѣтенное имъ послѣдствіемъ), что время его спариванія не ограничено извѣстнымъ періодомъ года; онъ указываетъ также на слабость и безпомощность человѣческихъ дѣтенышей, которые требовали долгого сожитія семьи и такимъ образомъ укрѣпляли ея связь.

Все эти данныя имѣютъ несомнѣнное значеніе въ вопросѣ о происхожденіи языка, и Габелентцъ справедливо указываетъ на нихъ. Изъ семьи, какъ онъ развиваетъ дальше, въ параграфѣ, посвященномъ „психическимъ основаніямъ“, возникаютъ болѣе обширныя соціальныя организаціи, во главѣ которыхъ стоятъ вожди. Ближайшими цѣлями такого сожитія служатъ защита во внѣ, взаимная помощь внутри общества. Изъдѣсь

¹⁾ Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse von Georg von der Gabelentz. 2 Auflage. 1901.

же возникаетъ потребность во взаимосообщеніи. Воля играетъ на первыхъ ступеняхъ культурнаго развитія человѣка гораздо болѣе видную роль, чѣмъ рефлексія. „Съ чувствами удовольствія и неудовольствія были уже даны, собственно говоря, категоріи предложенія, положительнаго и отрицательнаго: безразличіе, разумѣется, пребывало въ латентномъ состояніи“ (308). Справедливо указываетъ Габелентцъ на стремленіе человѣка на всѣхъ стадіяхъ культуры развлекаться и забавляться упражненіемъ своихъ силъ, на присущее ему пристрастіе къ подражанію, на сангвиническій, легко возбудимый, темпераментъ нашихъ человѣческихъ предковъ. Можно сказать, не вдаваясь въ детальную характеристику взглядовъ этого ученаго, что антропологическія предпосылки, необходимыя для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка, выяснены Габелентцомъ и оригинально, и съ достаточной опредѣленностью. Они, несомнѣнно, должны быть приняты во вниманіе при разрѣшеніи проблемы.

Уже упомянутый ранѣе Гисвейнъ¹⁾ выступилъ со своей теоріей происхожденія языка „съ одобренія“ епископа Раабскаго. На его книгѣ лежитъ опредѣленная клирикальпая печать, но печать клирикализма католическаго, умѣющаго приспособляться къ новымъ научнымъ вѣяніямъ и доказывать ихъ допустимость съ церковной точкой зрѣнія, ихъ согласованность съ ученіями Библии. Гисвейнъ подходит къ разрѣшенію проблемы съ большимъ историческимъ аппаратомъ, далеко не всегда соглашается съ самыми крайними клирикальными воззрѣніями и оказывается даже до такой степени либераленъ, что по поводу теоріи Божественнаго откровенія языка, которая находила своихъ сторонниковъ еще въ 1888 г. (*V. De-Vit. Sull'origine e moltiplicazione del Linguaggio. Sienna. 1888*), заявляетъ о несолидарности съ ней современныхъ (католическихъ) богослововъ. Тѣмъ не менѣе, Гисвейнъ съ гораздо болѣе тонкостью, чѣмъ теологическіе ученые добраго стараго времени, проводитъ все-таки опредѣленную тенденцію, которая обнаруживается и въ заключительномъ обращеніи къ читателю съ призывомъ восхвалить „Всемогущаго, который создалъ человѣка по своему образу и подобию и возвысилъ его надъ всѣми тварями земли“, и въ критикѣ отдѣльныхъ теорій происхожденія языка. Эта критика, по его словамъ, можетъ исходить лишь изъ убѣжденія, что человѣкъ сотворенъ Богомъ, какъ разумное существо, и что, стало быть, мысль предшествуетъ слову (Giesswein. 165). „Ибо, если бы человѣкъ безъ языка былъ лишень и разума, т. е. былъ бы неразуменъ, то ему самому сообщеніе дара рѣчи (die Mittheilung der Sprache) едва-ли оказало бы какую-нибудь помощь, такъ какъ языкъ можетъ быть пригоденъ только мыслящему существу. Неразумный человѣкъ только безсмысленно повто-

¹⁾ Die Hauptprobleme der Sprachwissenschaft in ihren Beziehungen zur Theologie, Philosophie und Anthropologie von Dr. Alexander Giesswein. Freiburg. 1892.

рядъ бы слова, какъ это дѣлаетъ попугай“. Подобныя разсужденія, конечно, могутъ быть объяснены только полнымъ непониманіемъ эволюціонныхъ взглядовъ. Недовольнъ, разумѣется, Гисвейнъ, и теоріей „сопровождающаго крика“ (*clamor concomitans*), которая построена будто бы на довольно произвольномъ предположеніи, „такъ какъ остается совершенно невыясненнымъ, почему первобытный человѣкъ употреблялъ при одномъ дѣйстви такой звукъ, при другомъ иной“. И здѣсь отрицаніе Гисвейна чрезмѣрно поспѣшно: не слѣдуетъ-ли, дѣйствительно, выяснитъ, какъ звукъ соответствуетъ усилю, прежде чѣмъ отрицать это соответствіе. Противъ звукоподражанія Гисвейнъ выступаетъ столь же рѣшительно. „Эта теорія, какъ и теорія рефлекторныхъ звуковъ, можетъ объяснить происхожденіе лишь части того сырого матеріала, изъ котораго сложенъ человѣчскій языкъ, но и это она можетъ сдѣлать не съ достаточной достовѣрностью“. Въ такомъ же духѣ и вся остальная критика Гисвейна, цѣнность которой совершенно ничтожна: автору просто надо заявить, что всѣ предложенныя наукой точки зрѣнія неудовлетворительны. У него есть своя теорія, которая и получила „одобреніе“ такого авторитета въ психологическихъ вопросахъ, какъ епископъ Раабскій. Эта теорія сводится въ основномъ своемъ пунктѣ къ слѣдующему: „Языкъ не можетъ быть произведеніемъ чело-вѣкообразной обезьяны и обезьяновиднаго человѣка, или, вообще, неразумнаго существа; онъ является созданіемъ разумнаго существа, такъ какъ языкъ уже предполагаетъ мышленіе... Начало и развитіе языка было осуществлено, по крайней мѣрѣ, умственно одареннымъ и развитымъ существомъ“. Способность рѣчи лежитъ въ натурѣ человѣка, которому она была дана Творцомъ (*Giesswein 211—212*).

Въ неудержимый потокъ звукоподражаній бросаетъ насъ книга Клейнпауля ¹⁾, въ высшей степени своеобразная и неудобочитаемая книга, гдѣ мысль просто тонетъ въ хаосѣ полемическихъ выпадовъ, остроумныхъ замѣчаній, примѣровъ изъ разныхъ языковъ и діалектовъ. Звукоподражаніе есть *ultima ratio* (201). „Занятіе праотца Адама въ раю“ заключалось въ томъ, что онъ отъ скуки, увѣряетъ Клейнпауль (335), началъ прислушиваться къ крикамъ животныхъ и подражать имъ, и давать имъ имена по ихъ крикамъ. Такъ и теперь въ незнакомомъ животномъ насъ прежде всего поражаютъ издаваемые имъ звуки. Тюленя нѣмецкій народъ называлъ *Seehund* (морской собакой), потому что онъ лаетъ; одного изъ грызуновъ *Stachelschwein*, потому что онъ роется, какъ свинья (336). Обширный, охватывающій множество названій анализъ Клейнпауля стремится установить звукоподражательную основу въ именахъ животныхъ, но методъ этого ученаго такъ несовершененъ, что и доводы его не представляются убѣдительными.

¹⁾ К. Kleinpaul. Das Stromgebiet der Sprache. Ursprung, Entwicklung und Physiologie, какъ второй томъ книги „Das Leben der Sprache und ihre Weltstellung“. Leipzig. 1893.

Никто не станетъ противорѣчить, что въ нашихъ современныхъ названіяхъ животнаго міра чрезвычайно много такихъ звукоподражательныхъ попытокъ, но отсюда еще нельзя сдѣлать выводъ, что *весь* первоначальный словарь первобытнаго человѣка сводился къ звукоподражательнымъ элементамъ. А безъ этого предположенія и самый вопросъ о происхожденіи языка не является рѣшеннымъ. „Языкъ представляетъ своего рода искусство виртуоза, умѣніе, способность воспроизводить естественные звуки и съ ихъ помощью всѣ возможные вещи, въ томъ числѣ и собственную персону, вызывать чудоснымъ образомъ передъ воображеніемъ слушателя“ (397). Эти зовы, эти подражанія были, по мнѣнію Клейнпауля, первоначально лишь „акустическими сигналами“, которые были бѣдны идейнымъ содержаніемъ и только заключали въ себѣ въ сжатой формѣ какое-нибудь сообщеніе (403). Отсюда будто бы и развились всѣ дальнѣйшія стадіи человѣческой рѣчи. Думаю, что нѣтъ надобности, послѣ вышеизложеннаго, углубляться въ разсмотрѣніе совершенно необоснованной психологически теоріи Клейнпауля. Обратимся къ тому, что дѣйствительно имѣетъ значеніе.

Я имѣю въ виду здѣсь англійскую книгу датскаго ученаго, профессора англійскаго языка въ Копенгагенскомъ университетѣ, Отто Есперсена, который въ 1894 году издалъ книгу „Progress in language“, вызвавшую оживленную полемику и горячія одобренія ¹⁾. Авторъ стремится разсмотрѣть исторію англійскаго языка съ точки зрѣнія эволюціи, вообще, всякаго языка. Это, можно сказать, та же точка зрѣнія, которая положена въ основаніе попытки Якова Гримма объяснить происхожденіе языка изъ данныхъ грамматическаго развитія германскихъ (по преимуществу) языковъ. Только Есперсенъ пошелъ самостоятельнымъ путемъ и достигъ совершенно иныхъ результатовъ, нежели его знаменитый предшественникъ, хотя и этотъ послѣдній указывалъ на большую полноту и обиліе грамматическихъ образованій старыхъ языковъ по сравненію съ новыми. Данныя, на которыя опирается датскій ученый, гораздо шире: онъ пользуется матеріаломъ, извлеченнымъ какъ изъ индоевропейскихъ языковъ, такъ и изъ китайскаго языка, нарѣчій группы банту и т. д. и пытается установить основныя черты первобытной грамматики. „Простота въ лингвистическомъ строеніи, утверждаетъ Есперсенъ (75), является не первичнымъ, но уже вторичнымъ качествомъ, результатомъ развитія“. Самый вопросъ о происхожденіи языка сводится въ пониманіи Есперсена (338) къ возстановленію внѣшней и внутренней структуры извѣстнаго языка, болѣе примитивнаго, чѣмъ самый первобытный языкъ, доступный нашему наблюденію. При этомъ датскій ученый расчленяетъ свое изслѣдованіе на изученіе звуковой, грамматической и словарной сторонъ гипотетическаго пер-

¹⁾ Пользуюсь здѣсь вторымъ (безъ перемѣнъ) изданіемъ этой книги, вышедшимъ въ 1909 году: „Progress in language with special reference to english“.

воытнана языка. Чта касаетса первой, то „мы повсюду замѣчаемъ тенденцію сдѣлать произношеніе болѣе легкимъ, чтобы уменьшить мускульное усиліе; трудныя сочетанія звуковъ исчезаютъ, и остаются лишь такія, которыя не представляютъ трудности для произношенія“. Изъ наличности прищелкивающихъ и иныхъ неартикулированныхъ звуковъ въ дикарскихъ языкахъ (особенно, въ южно-африканскихъ) Есперсенъ дѣлаетъ выводъ, что „первоытныя языки, вообще, были чрезвычайно богаты подобными трудными звуками“. Большое значеніе для выясненія началъ человѣческой рѣчи Есперсенъ придаетъ музыкальности первоытнана языка. Въ исторіи развитія отдѣльныхъ языковъ постоянно приходится наблюдать процессъ постепенной замѣны прежняго, первичнаго музыкальнаго ударенія немусыкальнымъ, экспираторнымъ. Съ ссылкой на очеркъ Г. Спенсера, посвященный происхожденію музыки, Есперсенъ переходитъ къ другому интереснѣйшему вопросу, бросающему яркій свѣтъ на происхожденіе языка. Это — мелодія предложенія (sentence-melody), которая зависитъ отъ дѣятельности интенсивныхъ чувствъ, вызывающей болѣе рѣзкія и быстрыя повышенія и пониженія голоса. „По мѣрѣ развитія цивилизаціи страсть или, по крайней мѣрѣ, выраженіе страсти становится умѣреннѣе, и мы можемъ отсюда заключить, что рѣчь некультурныхъ первоытнанныхъ людей отличалась болѣе страстностью, чѣмъ наша, напоминая скорѣе всего музыку или пѣніе. И это заключеніе подтверждается тѣмъ, что намъ сообщаютъ о языкѣ нѣкоторыхъ дикарей въ наше время“ (342). Къ уже приведеннымъ мною выше, въ главѣ о языкѣ дикарей, примѣрамъ Есперсенъ присоединяетъ еще нѣсколько фактовъ: такъ, онъ отмѣчаетъ пѣвучесть въ произношеніи фразъ на Таити, музыкальность рѣчи, наблюдающаяся особенно въ языкѣ женщинъ въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ (Friendly Islands) и т. п. Отсюда вытекаетъ заключеніе, что существовало время, когда рѣчь была пѣніемъ, или, вѣрнѣе, когда эти дѣятельности еще не дифференцировались. Доказать это положеніе индуктивнымъ путемъ и съ полной достовѣрностью Есперсенъ, однако, не беретса при современномъ положеніи лингвистическихъ знаній. Дѣйствительно, можно думать, что не только пѣніе легло въ основаніе человѣческой рѣчи, но, кажется, нельзя сомнѣваться въ томъ, что первоначальные звуки ея имѣли музыкальный характеръ, какъ крики птицъ, пѣніе обезьянъ и т. п. Есперсенъ отмѣчаетъ здѣсь же еще тотъ фактъ, что первоначальныя слова длиннѣе современныхъ, что во всѣхъ языкахъ нашей группы наблюдается постоянное стремленіе къ сокращенію словъ (въ родѣ англ. *cab* изъ *cabriolet*, *bus* изъ *omnibus*), такъ что первоытныя языки должны были состоять не изъ односложныхъ словъ, но „изъ очень длинныхъ словъ, сдержавшихъ нѣкоторые трудные звуки, и скорѣе пѣвшихся, нежели произносившихся“. Это обобщеніе, какъ я полагаю, нельзя распространить

на всю область первоытнана языка, но наличность и такихъ длинныхъ словъ должна быть признана.

Очень интересны соображенія Есперсена о грамматикѣ первоытнана языка, которую онъ считаетъ возможнымъ возстановить на основаніи изученія общаго грамматическаго развитія языковъ. „Древніе языки имѣли по нѣсколько формъ тамъ, гдѣ современные довольствуются немногими; формы, которыя имѣли первоначально различный характеръ, затѣмъ съ теченіемъ времени смѣшались, или вслѣдствіе фонетической утери различій въ окончаніяхъ, или вслѣдствіе аналогическаго распространенія функциональнаго употребленія какой-нибудь формы“. Такъ англ. *good* замѣняетъ теперь слѣдующій рядъ старо-английскихъ образованій: *god, godne, gode, godum, godes, godre, godra, goda, godan, godena* или франц. *homme* соответствуетъ латинскимъ формамъ: *homo, hominem, homini, homine*. Другими словами, только основа имени съ различными предлогами явилась на смѣну развитой системы склоненія. И то же слѣдуетъ сказать про спряженіе. Лат. *cantavisset*, замѣчаетъ Есперсенъ (346), „соединяетъ въ одномъ нераздѣльномъ цѣломъ эквиваленты шести идей: 1) пѣніе, 2) *plusquamperfectum*, 3) неопредѣленную модификацію глагольной идеи, что мы называемъ сослагательнымъ наклоненіемъ, 4) дѣйствительный залогъ, 5) третье лицо и 6) единственное число“. Для такихъ образованій Есперсенъ предлагаетъ терминъ *синтезъ*. Онъ высказываетъ убѣжденіе, что вовсе не агглютинативное соединеніе первоначально независимыхъ частей породило формальныя образованія, но что эти части лишь постепенно приобрѣли свою независимость, такъ что первоытнаная рѣчь обладала *синтетичностью*. То, что въ позднѣйшую эпоху приобрѣло раздѣльность, первоначально входило въ одно неразрѣшимое цѣлое. Для этого предположенія, которое было подготовлено, несомнѣнно, изученіемъ инкорпорирующихъ языковъ или нарѣчій типа банту, мы находимъ извѣстную поддержку въ указанныхъ дикарскихъ языкахъ, но, съ другой стороны, какое все-таки у насъ право видѣть въ системѣ австралійскихъ „аналитическихъ“ языковъ иѣчто позднѣйшее? Какъ ни проста морфологія австралійскихъ языковъ, она представляетъ извѣстныя построенія формъ съ помощью соединенія односложныхъ словъ съ окончаніями, и возвести къ единству эти двѣ системы морфологическихъ образованій, синтетическую (въ банту, въ сѣверо-американскихъ языкахъ и т. п.) и аналитическую (австралійскую), едва-ли оказывается возможнымъ. Одинъ изъ критиковъ Есперсена, южно-американскій ученый Ленцъ, отрицая, вообще, *единство происхожденія* человѣческихъ языковъ, указываетъ на то, что въ языкѣ чилийскихъ туземцевъ слова-корни должны восходить къ первичнымъ образованіямъ¹⁾. И. если въ однихъ дикарскихъ языкахъ нельзя думать (какъ

¹⁾ „Ueber Ursprung und Entwicklung der Sprache“, von Rudolf Lenz in Santiago de Chile, въ журналѣ „Die neueren Sprachen“ VIII (изложено въ моей книгѣ „Слѣды корней-основъ въ славянскихъ языкахъ“, стр. 58—61).

утверждает Есперсенъ) просто о *ножъ*, но можно думать о немъ лишь въ связи съ другими словами („дай мнѣ ножъ“ и т. п.), то въ другихъ языкахъ это оказывается совершенно возможнымъ. Не всегда „первоначальныя языковыя единицы отличались своей сложностью значенія“, какъ думаетъ датскій ученый. Съ нѣкоторыми же его замѣчаніями, конечно, нельзя не согласиться: изобиліе неправильностей и аномалій въ синтаксисѣ, словообразованіи, въ спряженіи и склоненіи, вѣроятно, дѣйствительно было присуще всѣмъ первобытнымъ языкамъ. Говорили, какъ сказалося, и, если собесѣдники поняли сказанное, цѣль говорившаго была достигнута. Итакъ, слова-предложенія (sentence-words) были, по Есперсену, первичными языковыми образованиями.

Нѣсколько страницъ своей книги Есперсенъ удѣлилъ вопросу о первоначальномъ словарѣ человѣка. Онъ исходитъ изъ свидѣтельствъ путешественниковъ (въ родѣ тѣхъ, которыя были приведены мною выше) относительно *конкретности* этого словаря. „Въ то время, какъ наши слова лучше приспособлены для выраженія отвлеченныхъ вещей и для точной передачи конкретныхъ, они оказываются сравнительно безцвѣтными. Напротивъ, старыя слова обращались болѣе непосредственно къ чувствамъ; они были гораздо болѣе убѣдительны, болѣе живописны и художественны; въ то время, какъ теперь, желая изобразить какую-нибудь вещь, мы бываемъ вынуждены нагромождать одно слово на другое, старыя конкретныя слова ставили ее передъ воображеніемъ слушателя, какъ одно неразрѣшимое цѣлое; слѣдовательно, они были болѣе приспособлены для поэтическихъ цѣлей“. Первобытный языкъ, вообще, былъ близокъ къ поэзіи. „Первобытный человѣкъ, уже въ силу природы своего языка, былъ вынужденъ постоянно пользоваться словами и фразами въ образномъ смыслѣ; онъ по необходимости выражалъ свои мысли языкомъ поэзіи“. Подводя итоги своимъ воззрѣніямъ на первичный языкъ, Есперсенъ полагаетъ, что первобытный человѣкъ былъ чрезвычайно говорливъ. Въ фонетическомъ отношеніи его языкъ былъ чрезвычайно богатъ, въ смыслѣ содержанія очень бѣденъ. „Первобытные ораторы были вовсе не молчаливыми и сдержанными существами, но юными людьми, весело болтающими и не слишкомъ взвѣшивающими каждое свое слово. Они и не придавали слишкомъ много значенія каждому слогу. Не все-ли равно, однимъ больше или меньше“! Такимъ образомъ, первичный языкъ служилъ цѣлямъ выраженія эмоций. Какія же изъ этихъ послѣднихъ обладали болѣе способностью создать зародыши языка? Любовь или голодъ, спрашиваетъ Есперсенъ и отвѣчаетъ на послѣднюю часть дилеммы отрицательно: голодъ и связанныя съ нимъ чувства могли вызывать развѣ коротенькія восклицанія. Повидимому, не будучи знакомъ съ трудомъ Забо-ровскаго, Есперсенъ высказываетъ ту же плодотворную мысль: въ происхожденіи языка важную роль надо приписать любви, стремленію очаро-

вать другой полъ, которому Дарвинъ приписываетъ такое выдающееся значеніе въ образованіи человѣческой рѣчи. Такимъ образомъ, „источникомъ языка является не мрачная серьезность, но веселая забава и юная безпечность: въ первобытномъ языкѣ я слышу веселые крики ликованія, когда юноши и дѣвушки соперничали другъ съ другомъ въ стремленіи привлечь вниманіе другого пола, когда каждый пѣлъ свою самую веселую пѣсню и плясалъ лучшую пляску, чтобы заставить пару милыхъ глазъ кидать восторженные взгляды въ свою сторону“. Человѣкъ сначала пѣлъ, потомъ сталъ говорить; звукоподражаніе, восклицанія и т. п. играютъ извѣстную роль въ образованіи языка, но не доминируютъ.

Преобладаніе принадлежитъ пѣснѣ, изъ которой лишь впоследствии выдѣлились слова. Такова, въ общихъ чертахъ, интересная и оригинальная теорія Есперсена. Тотъ или другой языкъ могъ, дѣйствительно, возникнуть по указанному имъ способу, но обобщеніе этой „пѣсни—рѣчи“ на всю область происхожденія языка мнѣ кажется недопустимымъ: вѣдь пѣсня въ разгарѣ полового экстаза не связывается съ сознаниемъ; она является только разряженіемъ страсти въ звукахъ, да и содержаніе пѣсни было бы слишкомъ ограничено, не говоря уже о томъ, что половой инстинктъ былъ первоначально связанъ лишь съ опредѣленнымъ временемъ года. Замирала страсть, и съ ней утихала рѣчь! Я думаю, что лишь обычныя, постоянныя и спокойныя состоянія человѣка могли породить столь прочныя ассоціаціи между звуками и содержаніемъ сознанія, которыя легли въ основаніе рѣчи и создали стремленіе сообщать въ понятныхъ и для другихъ лицъ той же среды звукахъ объ этомъ содержаніи интеллекта. Но пѣсня въ періодъ полового влеченія подготовила органы рѣчи.

Послѣ Есперсена слѣдуетъ обратить вниманіе на появившуюся два года спустя статью извѣстнаго французскаго ученаго, В. Анри¹⁾, который высказалъ убѣжденіе, что проблема происхожденія языка не относится къ лингвистикѣ, но является однимъ изъ вопросовъ психо-физиологіи, и что „языкъ не есть дѣло человѣка, но представляетъ продуктъ природы“. Какъ ни категоричны эти положенія, въ нихъ не заключается, по существу, ничего новаго, чего бы уже не говорили изслѣдователи, считавшіе вопросъ о происхожденіи языка одной изъ важнѣйшихъ проблемъ исторіи человѣческой культуры: вѣдь, никто же не отрицалъ, что человѣкъ долженъ былъ обладать для того, чтобы говорить, физиологической способностью для этого и соотвѣтствующимъ цѣли развитіемъ психическихъ особенностей. И вопросъ заключается въ томъ, какъ именно сочетаніе этихъ способностей вызвало рѣчь, какъ, говоря словами самого названнаго ученаго, установить тѣ переходныя стадіи, которыя лежатъ между перво-

¹⁾ Antinomies linguistiques par Victor Henry. Bibliothèque de la faculté des lettres de Paris. II. 1896.

чальнымъ рефлекторнымъ крикомъ животного и обдуманнѣмъ актомъ человѣческой рѣчи. Въ этихъ предѣлахъ Анри изучаетъ вопросъ. Онъ начинаетъ съ рефлекторнаго крика, останавливаясь на психологii птичьяго пѣнія. Этотъ бессознательный, произвольный крикъ представляетъ собою лишь разряженiе энергii, подобно рѣчамъ безумно болтающаго пьянаго или крикамъ ведомаго на казнь, вовсе не рассчитывающаго своей мольбой смягчить своихъ палачей, или стомамъ человѣка, кричащаго отъ внезапнаго страха, или кудахтанью курицы и т. п. Все это составляетъ, по мнѣнiю В. Анри, одинъ разрядъ явленiй и относится исключительно къ области физиологii. Съ такимъ обобщенiемъ едва ли возможно согласиться: если въ состоянiи возбужденiя человѣкъ много говоритъ, то можно, конечно, найти нѣчто общее между этимъ его внутреннимъ побужденiемъ говорить и тѣмъ инстинктомъ, который заставляетъ кричать звѣря, но самое выраженiе этихъ стремленiй будетъ совершенно различно, а въ рѣчи человѣка мы находимъ именно определенное выраженiе, продуктъ творчества и процессъ творчества одновременно, и смѣшивать всѣ эти явленiя въ одну группу значить вопросъ не разрѣшать, а запутывать.

Послѣ этого В. Анри переходитъ къ языку-сигналу, „т. е. къ такимъ крикамъ, которые понимаются иными существами того же вида. Все происходитъ такъ, какъ будто бы животное испустило свои крики сознательно, съ намѣренiемъ вызвать ими извѣстныя послѣдствiя“. Чѣмъ, по существу, отличается такой крикъ отъ первой группы явленiй, это изъ изложенiя Анри не видно; вѣдь мы можемъ понять, почему кричитъ обезьяна, увидавшая льва, или ворона при видѣ ястреба, хотя ихъ крики не были вовсе „сигналомъ“. Тѣмъ не менѣе (по какой-то необъяснимой причинѣ), „не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнiя въ томъ, что вслѣдствiе всецѣло механическаго процесса языкъ сигналовъ оказываетъ могущественное воздѣйствiе на развитiе центральнаго нервнаго аппарата и, въ свою очередь, подъ влиянiемъ этого послѣдняго процесса, самъ все лучше и лучше приспособляется къ своей функцii: и все это совершается такъ точно, какъ если бы съ теченiемъ времени къ развитiю его была приложена сознательная воля“. Но какъ все это происходитъ, остается совсѣмъ непонятно изъ изложенiя французскаго лингвиста. Почему „языкъ сигналовъ“ остался на низшей стадii развитiя у животного и привелъ къ сознательной рѣчи у человѣка, какое значенiе имѣетъ указанiе на то, что процессъ развитiя этого языка совершается такъ, какъ будто здѣсь было сознание, и т. п.? Позитивизмъ Анри оказывается уже черезъ чуръ поверхностнымъ. Въ концѣ то концовъ и ему приходится прибѣгнуть къ гипотезѣ. У животного, справедливо утверждаетъ В. Анри, „языкъ“ не является толмачемъ мысли, но человѣкъ преступилъ таинственную границу, отдѣляющую бессознательный крикъ отъ сознательной рѣчи. „Благодаря памяти, болѣе одаренной и болѣе координированной, ему удалось однажды вспомнить

ощущенiе вчерашняго дня, съ ясностью и живостью, неравными, но сравнимыми (за исключенiемъ степени интенсивности) съ этимъ самымъ ощущенiемъ, достаточными для того, чтобы вызвать звуковой рефлексъ (l'émission d'un réflexe vocal): такъ мы можемъ представить себѣ происхожденiе значущаго языка. Слушатель могъ сначала ошибаться, думать о вѣднѣмъ проявленiи дѣйствительнаго чувства, но его собственное сознание, которое доставляло ему, въ свою очередь, разнообразные типы дѣйствительныхъ и пережитыхъ чувствъ, научило его разбираться въ актахъ сознаниа, обнаруживаемыхъ ему подобными, и такъ какъ онъ самъ вспоминалъ при случаѣ о своихъ исчезнувшихъ чувствахъ, то *семантическое* воспитанiе двухъ субъектовъ было непрерывно и взаимно. И такъ дѣло шло постепенно все впередъ, хотя на развитiе потребовалось не мало человѣческихъ поколѣнiй. Въ то время, какъ память создавала языкъ, языкъ, со своей стороны, придавалъ точность (фиксировалъ) памяти, и такъ въ человѣкѣ возрастала область сознательнаго, и развивалось его чувство или, если угодно, иллюзiя тожества и непрерывности „я“ и т. д. Итакъ, сначала крикъ рефлекторный, потомъ крикъ, понимаемый средой и вызывающiй въ самомъ испускающемъ его субъектѣ смутное сознание того, что его понимаютъ, и наконецъ крикъ, какъ выраженiе вспомнившагося ощущенiя. Такъ представляетъ себѣ разрѣшенiе проблемы В. Анри. Онъ не останавливается надъ вопросомъ о томъ, почему *рефлекторный* же крикъ, хотя бы вызванный не самымъ чувствомъ, но живымъ воспоминанiемъ о немъ, былъ *осознанъ* человѣкомъ, а вѣдь въ этомъ то проникновенiи въ человѣческое сознание рефлекторнаго или иного крика и заключается вся сущность проблемы. Можетъ ли подвергнуться такой эволюцii именно рефлекторный крикъ, надъ этимъ, какъ видимъ, французскiй ученый не задумывается. Между тѣмъ, такая эволюцiя, *до известной степени* наблюдаемая въ возникновенiи дѣтской рѣчи объясняется воздѣйствiемъ на психику ребенка со стороны говорящей среды, которая помогаетъ превращенiю рефлекторнаго крика въ значущiй, *указательный*. Я полагаю, что важнѣйшая психологическая проблема созданiя языка не только не выяснена Анри, но и просто не замѣчена имъ. И всякая подобная теорiя, исходящая изъ крика, созданнаго сильнымъ душевнымъ возбужденiемъ, рискуетъ наткнуться на тѣ же затрудненiя.

Большую жизнеспособность обнаруживаетъ теорiя звукоподражанiя. Въ 1900 году она была вновь поднята нѣмецкимъ ученымъ Фрейдентеромъ¹⁾, который въ небольшой популярной книжкѣ о „естественной исторii языка“ коснулся вопроса и о происхожденiи человѣческой рѣчи. Авторъ считается съ тѣми возраженiями, которыя дѣлались этой теорii, а прежде всего съ фактомъ разнообразiя „звукоподражательныхъ“ назва-

¹⁾ М. Freudenther. Beiträge zur Naturgeschichte der Sprache. 1900.

ний для одного и того же животного. Онъ самъ отмѣчаетъ, что крики курицы и пѣтуха передаются на самые различные лады: серб. *кукеруку*, англ. *took-took-thoo*, китайск. *kiao-kiao*, манджур. *dchor-dchor*. Но это расхождение заставляетъ Фрейденбергера придать только нѣсколько модифицированную форму теоріи. „Въ самомъ началѣ рѣчи процессъ не могъ быть одинаковымъ, такъ какъ соперничавшія звуковыя образования должны были обладать приблизительно одинаковой ассоціаціонной способностью. Здѣсь всегда боролись за первенство два или нѣсколько словъ, изъ которыхъ сначала каждое было понятно только своему создателю, а другимъ людямъ той же среды представлялось сначала чѣмъ-то бессмысленнымъ“. Такая борьба—прибавляю я—могла, дѣйствительно происходить, но только уже въ то время, когда рѣчь возникла, т. е. когда человѣкъ, „образующій слово“ (*der Bildner*), сознавалъ, что это *его* слово имѣетъ значеніе, и стремился передать это послѣднее своей средѣ. Роль личности въ образованіи первобытныхъ словарей не подлежитъ сомнѣнію, но тотъ процессъ, о которомъ говоритъ Фрейденбергеръ, не могъ восходить къ первоначальнымъ основамъ языка. Однако совершенно справедливо названный ученый подчеркиваетъ вліяніе одного говорящаго лица на другихъ. „Уже въ доисторическое время особенно привилегированному организму (*dem bevorzugten Organismus*) удавалось навязать свою манеру рѣчи подчиненнымъ. Дѣйствительно, словарь хранитъ ясные слѣды того, что находившіеся въ особо благоприятныхъ условіяхъ роды, состоянія, возрастные классы придавали языку извѣстный отпечатокъ, что онъ навязывался мужемъ, добившимся господствующаго положенія въ семьѣ, своей поработанной женѣ, зрѣлымъ возрастомъ—дѣтямъ, городскимъ жителемъ—селянину, побѣдившимъ господствующимъ сословіемъ подчиненному и вмѣстѣ съ тѣмъ поставленному въ духовную зависимость отъ него простому люду“ (144). При такой постановкѣ вопроса, которая исходитъ изъ положительныхъ данныхъ антропологии, самая проблема звукоподражательнаго происхожденія языка получаетъ совсѣмъ иной характеръ, нежели въ то простодушное время, когда всѣхъ людей одинаково заставляли передразнивать звуки природы и крики животныхъ. Въ современномъ пониманіи этой проблемы звукоподражаніе является такимъ образомъ отчасти стимуломъ для созданія человѣкомъ своихъ собственныхъ словъ, отчасти матеріаломъ для языка. Минуя психологическую сторону вопроса, т. е. не разсуждая о томъ, какъ стало возможно самое подражаніе, мы можемъ, какъ мнѣ кажется, признать извѣстное основаніе за теоріей Фрейденбергера, согласившись съ нимъ, что въ языкѣ „сырымъ матеріаломъ“ были подражанія естественнымъ звукамъ. Но вслѣдствіе индивидуальныхъ различій въ способности какъ воспринимать, такъ и воспроизводить эти послѣдніе имѣлись въ наличности всѣ необходимыя условія для безграничнаго

нарастанія синонимическихъ корней (ср. теорію Марти). Сложеніе словъ, метафоры и тому подобныя процессы создали позже весь словарь человѣка.

Лишь вскользь я упомяну о книгѣ Маутнера¹⁾, который въ своемъ диллетантскомъ изложеніи всевозможныхъ вопросовъ психологии рѣчи коснулся и происхожденія языка. Какъ далекъ онъ отъ пониманія самаго существа рѣчи, какъ творчества, видно изъ слѣдующихъ его замѣчаній: „Языкъ представляетъ собою *ничто* среди людей, цѣль его—сообщеніе. Но само по себѣ сообщеніе не можетъ быть цѣлью; оно оказывается таковою лишь у болтуновъ. Мы всегда желаемъ,—хотя бы даже часто косвенно и бессознательно,—повліять на мышленіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на волю другого человѣка соотвѣтственно съ нашей мыслью и волей, т. е. согласно нашимъ интересамъ. Такимъ образомъ, цѣлью языка является оказаніе воздѣйствія, направленіе воли и мысли, или, пользуясь моднымъ словомъ, внушеніе“ (461). Мнѣ нечего доказывать здѣсь, что языкъ, какъ творчество, не преслѣдуетъ никакой цѣли, и что сознаніе цѣлесообразности этого процесса является лишь вторичнымъ фактомъ.

Гораздо интереснѣе попытка американскаго ученаго, Фреда Ньютона Скотта, который въ годичномъ собраніи Американскаго общества для изученія новыхъ языковъ произнесъ рѣчь „Происхожденіе языка“²⁾. Въ виду малодоступности этой брошюры, которую авторъ любезно доставилъ мнѣ въ 1908 году, и оригинальности взгляда ея автора я считаю полезнымъ остановиться на ней нѣсколько подробнѣе. Проф. Скоттъ исходитъ изъ раздѣленія всѣхъ движеній тѣла на двѣ группы: 1) движенія, которыя полезны для сохраненія жизни (*life-serving movements*), и 2) движенія, которыя служатъ для выраженія и сообщенія (*expressive-communicative movements*). Простѣйшіе организмы знаютъ только первую группу движеній, которая нѣсколько дифференцируется у болѣе сложныхъ организмовъ, раздѣляясь на скрытыя и открытыя. Къ скрытымъ относятся движенія красныхъ и бѣлыхъ шариковъ въ крови, сердцебиеніе, выдѣленіе желчи и т. п.; къ открытымъ тѣ движенія ногъ, головы, всего туловища, которыя необходимы для полученія пищи, спасенія отъ неприятелей и т. п. „Въ первую категорію, говоритъ Скоттъ, входятъ движенія, содѣйствующія индивидуальной жизни; вторая охватываетъ такія движенія, цѣлью которыхъ служитъ первоначально обнаруженіе жизни и представленіе другимъ возможности судить о ней, т. е. тѣ, которыя должны выражать и сообщать. Примѣрами такихъ движеній являются оскалываніе зубовъ и выпучиваніе глазъ въ бѣшенствѣ, сжима-

¹⁾ Fritz Mauthner. Beiträge zu einer Kritik der Sprache. II Band. Zur Sprachwissenschaft. 1901.

²⁾ Fred Newton Scott. The Genesis of Speech. Reprinted from the Publications of the Modern Language Association of America. XXIII. 4. The modern language Association of America. 1908.

ніе губъ въ состояніи рѣшимости, пожатіе плечами при сомнѣніи“ и т. д. Вообще, сюда относятся явленія жестикуляціи, мимики и гримасы, а въ концѣ концовъ и самая рѣчь. Такого рода движенія не являются непремѣннымъ условіемъ сохраненія жизни въ организмѣ, какъ явленія перваго рода. По существу, однакъ, обѣ группы тѣсно связаны между собой, и Скоттъ отстаиваетъ ту точку зрѣнія, которую проводитъ въ своемъ сочиненіи о выраженіи ощущеній Ч. Дарвинъ. Въ конечномъ изслѣдованіи, выразительныя движенія восходятъ къ жизнехраняющимъ (life-serving). Но между ними остается все-таки одна существенная разница, которая въ глазахъ Скотта представляется особенно важной въ смыслѣ разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка. Выразительныя движенія „перестали поддерживать существованіе изолированнаго индивидуума для того, чтобы имѣть возможность поддерживать общее существованіе“. Такимъ образомъ, передъ изслѣдователемъ встаетъ вопросъ: „до какихъ этапамъ первоначально жизнесохраняющія функціи перешли въ функціи сохраненія общества?“ Какъ видно изъ самой постановки вопроса, Скоттъ начинаетъ изученіе выразительныхъ движеній человѣка съ изслѣдованія далекихъ до-человѣческихъ отношеній, примыкая въ этомъ отношеніи къ міровоззрѣнію Ч. Дарвина, Гексли и др. Но оригинальной мыслью мнѣ представляется пониманіе выразительныхъ движеній, какъ такой группы явленій, назначеніе которой состоитъ въ сохраненіи общества. Для этого Скотту приходится предположить у человѣка социальный инстинктъ (the social instinct), который заставляетъ его оказывать товарищамъ услуги съ цѣлью поддерживать существованіе общества. Мы стоимъ, такимъ образомъ, передъ самымъ острымъ проблемъ. „Какъ эти индивидуальныя и социальныя мотивы участвовали въ процессѣ превращенія жизнесохраняющаго акта въ настоящее сообщеніе, можетъ быть показано самымъ простымъ образомъ на примѣрѣ происхожденія одного социального жеста (a familiar gesture). Беру въ качествѣ примѣра жестъ или положеніе показыванія. Въ своей первоначальной формѣ этотъ жестъ оказывается дѣйствіемъ хватанія или доставанія. Его первоначальная цѣль — приобрѣтеніе пищи. Но это же движеніе служитъ какъ познавательный знакъ (a recognition sign), открывающій другимъ присутствіе и, до извѣстной степени, тожество индивидуума, совершающаго этотъ жестъ и обнаруживающаго въ немъ свое состояніе голода. Если бы всегда имѣлось изобиліе пищи, то этотъ актъ никогда бы не поднялся надъ своимъ первоначальнымъ уровнемъ. Всякій разъ, когда индивидуумъ испытывалъ бы чувство голода, ему стоило бы только протянуть руку къ пищѣ и взять ее. Но источникъ пищи, особенно для существъ очень молодыхъ, не всегда бываетъ достаточно изобиленъ. Рука протягивается напрасно. Желудокъ остается пустъ, и безцѣльный жестъ хватанія является только знакомъ возрастающаго голода“. Скоттъ беретъ въ качествѣ примѣра специальный случай пониманія, возникающаго между

матерью и дитятей. Въ этихъ отношеніяхъ „хватаніе принимаетъ сокращенную форму движенія руки, сопровождающагося выжидательнымъ взоромъ, который дитя бросаетъ на свою мать. Жизнесохраняющее движеніе хватанія переходитъ въ жестъ указыванія“. Какъ мы видимъ изъ вышеприведенной цитаты, американскій ученый совершенно минуетъ въ своемъ изложеніи весьма важный вопросъ о томъ, почему совершенно такая же эволюція не привела къ возникновенію рѣчи и въ животномъ мірѣ? Но, если возможно миновать этотъ вопросъ съ помощью молчаливаго предположенія высшей духовной природы человѣка, то процессъ эволюціи можетъ, дѣйствительно, привести къ взаимопониманію извѣстныхъ жестовъ. Передъ нами въ измѣненномъ видѣ, согласованномъ съ новѣйшими взглядами психологін, теорія Руссо о созданіи языка въ силу какого-то безмолвнаго договора между матерью и дитятей. Правда, психологія дѣтскаго возраста едва-ли даетъ основанія для подобныхъ обобщеній. Однако, въ средѣ взрослыхъ, одинаково настроенныхъ первобытныхъ людей переходъ „индивидуальнаго жизнесохраняющаго движенія хватанія, благодаря реакціи на него и коопераціи (through response and cooperation), въ социализированный символическій жестъ показыванія“ представляется психологически допустимымъ. Какъ мы знаемъ, до этого движенія доходятъ и обезьяны при нѣкоторой дрессировкѣ. Отсюда, по мнѣнію Скотта, уже не трудно перейти къ языку. „Если языкъ представляетъ собою движеніе голосовыхъ органовъ, аналогичное движеніямъ головы, рукъ, лица и т. п., то основными проблемами его происхожденія являются слѣдующія: 1) Какой жизнесохраняющей функціи потомкомъ или позднѣйшимъ развитіемъ оказывается языкъ? 2) По какимъ этапамъ первоначальная жизнесохраняющая функція превратилась въ функцію выраженія и сообщенія?“ На первый изъ этихъ вопросовъ Скоттъ отвѣчаетъ такъ: рѣчь произошла изъ дыханія, изъ движеній мускуловъ грудной клѣтки и діафрагмы. Что же касается этаповъ превращенія дыханія въ рѣчь, то Скоттъ указываетъ на различные способы дыханія, отмѣчаемые біологами, и на присущее человѣку дыханіе легкими, которое вызываетъ естественный характерный звукъ. „Въ началѣ человѣческой жизни звукъ нормального дыханія служилъ, несомнѣнно, познавательнымъ актомъ. Онъ обнаруживалъ присутствіе и въ нѣкоторыхъ случаяхъ, вѣроятно, тожество лица, производившаго его. Нѣтъ никакой необходимости представлять себѣ этотъ звукъ громкимъ. Слухъ первобытнаго человѣка былъ гораздо острѣ нашего. Незамѣтные, едва слышные звуки имѣли больше значенія, когда жизнь была борьбой à outrance. Даже для насъ, надѣленныхъ тупыми чувствами, слабыя шумы связываются въ минуты сильнаго напряженія съ особеннымъ значеніемъ“ (Scott. 13). Скоттъ распространяется относительно того, что и для насъ иногда самыя слабыя звуки представляютъ громадное значеніе, и продолжаетъ: „Измѣненія въ характерѣ дыханія и въ громкости звуковъ могутъ служить выраженіемъ

физических условий или социального положения и сообщать другим о наличии таких условий или положений, главным образом матери о ребенке и обратно. Нам предстоит далее рассмотреть, как эти движения и звуки продолжали видоизменяться и, особенно, как увеличилось число этих звуков⁴. В эту область исследования я не могу, к сожалению, углубляться вслед за Скоттом. Как мы видим, перед нами оригинальная теория происхождения языка из дыхания, — оригинальная, но едва ли убедительная. Она построена на совершенно произвольном предположении, что дыхание обладает в инстинктивном (ведь только о нем и может быть речь первоначально) понимании познавательным значением, что между характером дыхания и состоянием организма затѣм устанавливается рудиментарным сознанием человека — звѣря особая связь, полагающая начало сообщению: сообщению с помощью дыхания. К коллекции первооснов языка, междометий, звукоподражаний, сопровождающих криков, Скотт присоединяет, таким образом, еще и дыхание, как средство познания и сообщения.

Для изложения взглядов Вундта я выбираю последнее, т. е. *третье* переработанное издание его книги о языке, появившееся в 1912 году¹⁾. Оставляя в стороне данную Вундтом критику теорий о происхождении языка, которые он разделяет на теории изобретения, подражания, естественных звуков и чудесного откровения, я сосредоточу внимание на собственных взглядах знаменитого философа. По мнению Вундта, названные выше четыре теории должны быть противопоставлены эволюционному учению. „Ибо хотя и в них придается значение известным действительным или мнимым эволюционным моментам, однако все же о них всѣх можно сказать, что им чужда основная мысль настоящей эволюционной теории. Эта мысль должна была бы заключаться и здѣсь в томъ, чтобы было предположено не всякое возможное или даже любым образом направленные развитие, благодаря которому могъ бы будто бы возникнуть языкъ, но в томъ, чтобы за единственное основание изучения были приняты, с одной стороны, фактическое развитие языка, поскольку оно доступно нашему наблюдению при изучении изменений существующих языков и возникновения новых языковых форм из прежних, а с другой стороны, тѣ особенности человеческого сознания, которые представляет это последнее на самых низких ступенях, непосредственно доступных нашему наблюдению“.

Этимъ требованиям не удовлетворяет, по мнению Вундта, ни одна из существующих теорий, хотя, как мы уже видѣли, именно на них построены напимѣрь воззрѣния Г. Пауля. Быть может, они и просто

¹⁾ Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte von Wilhelm Wundt. Zweiter Band. Die Sprache. Dritte, neu bearbeitete Auflage. Zweiter Teil. Leipzig. 1912.

невыполнимы в данномъ случаѣ? Напимѣрь, на одинъ изъ вопросовъ, которому было посвящено с историей этой проблемы столько упорной мысли: что предшествует одно другому, разумъ языку или языкъ разуму, Вундт даетъ слѣдующій отвѣтъ: „Такъ какъ человеческій языкъ и человеческое мышление всегда и повсюду развиваются одновременно, то можно уже заранее сказать, что постановка такого вопроса ошибочна. Развитие человеческого сознания с необходимостью включает в себя развитие выразительныхъ движений, жестовъ, языка, и на всякой изъ стадій развития представление, чувство и мышление выражаются в совершенно адекватной (соответствующей) ей формѣ: это выражение само относится къ той психологической функціи, воспринимаемымъ признакомъ которой оно служитъ, и оно и не опережаетъ ея, и не отстаетъ отъ нея. Поэтому, с того мгновения, когда появляется языкъ, онъ служитъ объективной мѣрой для обнаруживающагося в немъ развития мышления, но онъ является таковымъ лишь потому, что самъ оказывается интегрирующимъ составнымъ элементомъ функций мышления. Далѣе, какъ продуктъ развития, языкъ долженъ совершенно такъ же, какъ соответствующая ему форма мышления, быть обусловленъ предшествовавшими духовными развитіями; онъ не можетъ возникнуть сразу и безъ подготовки. Но именно поэтому не представляется абсолютной граница между языкомъ и естественнымъ (первобытнымъ) состояниемъ лишеннымъ языка. Наблюдатель, которому было бы дано прослѣдить лично развитие языка со ступени на ступень, никогда не былъ бы в состояніи сказать: здѣсь, в это мгновение, начинается языкъ, а тамъ, в непосредственно предшествовавшей моментъ, языка еще не было. Какъ выразительное движение, какимъ языкъ остается на всѣхъ стадіяхъ своего развития, онъ выдѣляется с полной постепенностью изъ совокупности выразительныхъ движений, которые, вообще, служатъ признакомъ одухотворенности... Тамъ, гдѣ существуетъ какая-нибудь связь психическихъ явленій, и стало быть сознание, тамъ имѣются и движения, обнаруживающія во внѣ эти явленія. Эти внѣшніе признаки психической жизни сопровождаютъ сознание со ступени на ступень, и естественно, они совершенствуются вмѣстѣ с содержаніемъ, которому они подчиняются. И тѣмъ не менѣе, для насъ существуетъ пропасть между сознаниемъ даже самой низшей человеческой расы и сознаниемъ совершеннѣйшаго животного, и мы не в состояніи заполнить эту пропасть никакимъ непосредственнымъ наблюдениемъ. Однако, эта пропасть не такова, чтобы развития, начинающіяся у человека, уже не были подготовлены у животного в видѣ различныхъ предварительныхъ стадій. То, что в этомъ отношеніи можно сказать вообще о психическихъ функціяхъ, примѣнимо и къ выразительнымъ движениямъ, которые относятся къ этимъ функціямъ, какъ ихъ естественныя дополненія, и потому языкъ представляет собою не что иное, какъ такое устройство (Gestaltung) вы-

разительныхъ движеній, которое соотвѣтствуетъ эволюціонной стадіи человѣческаго сознанія. *Это послѣднее такъ же точно не можетъ быть мыслимо безъ языка, какъ языкъ не можетъ быть мыслимъ безъ человѣческаго сознанія.* Поэтому оба они (сознаніе и языкъ) возникли вмѣстѣ другъ съ другомъ и съ помощью другъ друга, и вопросъ о томъ, разумъ или языкъ былъ первымъ, имѣетъ столько же смысла, сколько знаменитый споръ о томъ, яйцо или курица возникли раньше. Такимъ образомъ, проблема происхожденія языка можетъ лишь постольку вызывать вниманіе, поскольку она ограничивается вопросомъ, какимъ образомъ выразительныя движенія, присущія человѣку и адекватныя степени развитія его сознанія, сдѣлались звуками рѣчи и вмѣстѣ съ тѣмъ превратились постепенно въ символы содержаній мысли, которые лишь въ извѣстныхъ исключительныхъ случаяхъ позволяютъ опредѣлить непосредственную связь съ ихъ значеніемъ. Такъ какъ языкъ развился, согласно нашему предположенію, изъ болѣе простыхъ формъ выразительныхъ движеній, которыя (особенно, наиболѣе близко примыкающіе къ намъ жесты) позволяютъ еще явственно различить связь съ обозначаемыми ими представленіями, то мы можемъ заключить, что *такое же соотношеніе всегда было присуще и звуку рѣчи.* Но это заключеніе не позволяетъ признавать подобное соотношеніе непосредственно даннымъ, какъ это предполагаетъ теорія звукоподражанія. Напротивъ, оно должно быть признано уже à priori и при томъ въ двоякомъ смыслѣ *непрямымъ*, и это не только допустимо, но даже исключительно это и возможно: во первыхъ и главнымъ образомъ потому, что самымъ непосредственнымъ выраженіемъ психическаго процесса является артикуляціонное движеніе, а не звукъ (этотъ же послѣдній стоитъ въ связи съ такимъ процессомъ не непосредственно, но только вслѣдствіе близости языкового движенія и звука), а во вторыхъ потому, что звуковое движеніе (die Lautbewegung) можетъ найти настолько дѣятельную поддержку въ сопровождающемъ пантомимическомъ и мимическомъ движеніи, что первоначально во многихъ случаяхъ звукъ получить свое значеніе только съ помощью этихъ сопровождающихъ жестовъ. Поэтому, существеннымъ моментомъ въ первоначальномъ языковомъ выраженіи является не самый звукъ, но *звуковой жестъ* (die Lautgebärde), движеніе органовъ артикуляціи, которое, подобно всѣмъ другимъ жестамъ, имѣетъ отчасти указательный, отчасти изобразительный характеръ, и которое, сопровождая жестикуляцію рукъ и другихъ частей тѣла, присоединяется, въ сущности, къ совокупному выраженію чувствъ и представленій, только какъ особенный видъ мимическихъ движеній. И лишь потомъ, какъ слѣдствіе звуковыхъ жестовъ, является звукъ рѣчи, который въ силу отношеній между артикуляціоннымъ движеніемъ и звукообразованіемъ, конечно, можетъ обладать пѣвѣстнымъ средствомъ съ тѣмъ, что онъ выражаетъ. Но все-таки это родство остается довольно далекимъ.

Поэтому, звукъ рѣчи тѣмъ менѣе можетъ быть принятъ à priori за совершенное выраженіе своего значенія, что даже звуковой жестъ, ближе стоящій къ этому значенію, составляетъ лишь одну часть совокупнаго мимическаго и пантомимическаго выраженія. Этому вполне отвѣчаетъ та роль, которую еще и теперь въ языкѣ дикихъ народовъ и въ языковомъ развитіи ребенка играетъ жестъ, представляющій собою вспомогательное средство языка“.

„Въ виду этого мы имѣемъ право предположить, что звуковой языкъ развился первоначально вмѣстѣ съ языкомъ жестовъ и при его содѣйствіи, и что онъ обособился отъ этого послѣдняго и приобрѣлъ самостоятельность лишь мало по малу, подъ вліяніемъ долгаго совмѣстнаго существованія. Если первоначальный звукъ рѣчи является звуковымъ жестомъ, который въ значительной мѣрѣ приобрѣлъ свое значеніе только съ помощью прочихъ мимическихъ и пантомимическихъ движеній, его сопровождавшихъ, то прочнаго, не допускающаго никакихъ недоразумѣній соотношенія между звукомъ и значеніемъ никогда не существовало. Пожалуй, во всякое время, когда вслѣдствіе какого-нибудь новаго впечатлѣнія вырывался новый звуковой жестъ, этотъ послѣдній, какъ и другіе жесты, воспринимался какъ говоримымъ, такъ и его средой въ предѣлахъ имѣвшагося кругозора за выраженіе опредѣленныхъ сочетаній представленій и чувствъ, какъ это еще и теперь наблюдается въ извѣстныхъ ономакопоэтическихъ звукообразованіяхъ. Но эти новообразования опять-таки совершенно ясно показываютъ, что исходный пунктъ этихъ явленій составляетъ повсюду не „звукоподражаніе“, но языковой жестъ. Говорящее лицо приспособляетъ свои собственныя артикуляціонныя движенія къ тому впечатлѣнію, которое производитъ на него предметъ. При этомъ оказываетъ дѣятельное участіе и обычная жестикуляція. Разъ возникнувъ, значеніе звука остается уже прочно, если даже выпадаетъ сопровождающій его жестъ, и если даже звуковой жестъ и звукъ утратили свое первоначальное средство съ предметомъ. И именно тогда нерѣдко случается, что подъ вліяніемъ впечатлѣнія возникаетъ стремленіе придать звуковому движенію новое родство съ тѣмъ, что оно выражаетъ: такъ возникаютъ разнообразныя явленія вторичнаго звукоподражанія. Такимъ образомъ, не случай создалъ языковой звукъ, но этотъ послѣдній былъ опредѣленъ сопровождающими мимическими и пантомимическими движеніями, относившимися первоначально лишь къ тому, что звукъ означаетъ. Это произошло при посредствѣ мимическихъ движеній, такъ какъ и самый звуковой жестъ представляетъ лишь особенную форму этихъ движеній, и при посредствѣ пантомимическихъ движеній, такъ какъ по отношенію къ нимъ звуковой жестъ и зависящій отъ него звукъ рѣчи представляютъ сопутствующее движеніе (eine Mitbewegung), которое зависитъ отъ остальныхъ компонентовъ совокупнаго выразительнаго движенія. Такъ напр., вытягиваніе рукъ вызываетъ инныя со-

путствующія движенія, нежели сжиманіе ихъ; болѣе энергичныя жесты вызываются болѣе сильными звуковыми жестиами и т. д. Такимъ образомъ, звукъ рѣчи возникаетъ всецѣло, какъ естественный и неизбѣжный результатъ психофизическихъ условій, преобладающихъ при его образованіи... Будучи продуктомъ имѣющихся въ данный моментъ психофизическихъ условій, звуковой жестъ представляетъ не механической рефлексъ, но именно лишь простѣйшую психофизическую реакцію въ сферѣ двигательныхъ процессовъ: инстинктивный или опредѣленный лишь въ одномъ смыслѣ волевой актъ. Но такъ какъ онъ съ самаго начала мотивируется не только физически, но и прежде всего психически, то и все примыкающее сюда развитіе языка превращается въ цѣнь процессовъ, въ которой отражается духовное развитіе самого человѣка, прежде всего его представлений и понятій. Во всемъ, что составляетъ сущность языка, въ словообразованіи, соединеніи предложений и въ переходахъ значеній, языкъ есть не только внѣшнее выраженіе общихъ процессовъ сознанія, но и частное необходимое явленіе ихъ". Такова теорія Вундта о происхожденіи языка, которая, въ результатѣ его двухтомнаго изслѣдованія о процессахъ выраженія сознанія въ рѣчи, пріобрѣтаетъ, какъ видимъ, чрезвычайно простой видъ. Источникомъ языка является жестъ, артикуляція звука представляетъ собою своеобразный жестъ, который вызываетъ и самый звукъ; дифференціація жестовъ и связанныхъ съ ними звуковъ составляетъ ту почву, на которой складываются первыя значенія при помощи мимическихъ и пантомимическихъ движеній¹⁾.

При этомъ Вундтъ совсѣмъ устраняетъ изъ своего разсмотрѣнія вопросъ, который представлялъ камень преткновенія для многихъ изъ его предшественниковъ, именно вопросъ о томъ, какой же уровень психического развитія долженъ предшествовать возникновенію языка.

Если, по мнѣнію Вундта, разумъ созданъ съ помощью языка. а языкъ съ помощью разума, то мы все-же не выходимъ изъ затрудненія. Вундтъ, насколько можно судить изъ его ссылки только на книгу Штейнтала о происхожденіи языка, слишкомъ мало знакомъ съ литературой этого вопроса: онъ знаетъ теоріи Нуаре, Макса Мюллера, еще кое-кого, но, кажется, вся сложность и глубина этой проблемы какъ-то не представились ему во всемъ своемъ значеніи.

Вслѣдствіе этого, остается неясно, какія же все-таки психологическія особенности человѣка дали ему возможность достигнуть того, что оказалось недостижимо для всѣхъ остальныхъ животныхъ, почему „звуковой

¹⁾ Въ другомъ мѣстѣ своей книги (стр. 257—259) Вундтъ устанавливаетъ генетическую послѣдовательность предложений (восклицаніе, сужденіе, вопросъ), при чемъ первичное выраженіе рѣчи принимаетъ форму „предложения восклицательнаго“ (Anrufungssatz), такъ что, можно думать рѣчь начинается не со словъ, но съ предложений.

жестъ“ у человѣка повелъ къ возникновенію рѣчи, а у животнаго не далъ такихъ результатовъ, каковы были тѣ бытовые условія, которыя облегчили процессъ развитія, хотя бы пути его были указаны Вундтомъ правильно. Вотъ почему его теорія, какъ она ни интересна въ психологическомъ отношеніи, не даетъ, по моему мнѣнію, окончательнаго разрѣшенія проблемы, потому что эта послѣдняя является далеко не только вопросомъ психологіи, но и вопросомъ культурной исторіи. Вѣдь въ созданіи человѣческой рѣчи долженъ былъ наступить моментъ, когда языкъ вышелъ изъ предѣловъ произвольныхъ или полусознательныхъ звуковъ. когда онъ предсталъ передъ людьми, какъ *изобрѣтеніе*, какъ продуктъ культуры, распространяющійся, какъ всѣ такіе продукты цивилизаціи, съ помощью вліянія одного человѣка на другого или на цѣлую группу другихъ. Люди in abstracto создали языкъ, или этотъ послѣдній былъ изобрѣтенъ наиболѣе одаренными или даже однимъ наиболѣе одареннымъ человекомъ, который встрѣтилъ въ своихъ окружающихъ среду, достаточно подготовленную для того, чтобы его изобрѣтеніе было ими воспринято? Такъ, кто-то нашелъ примитивное земледѣліе, кто-то сталъ приучать первое животное. Это не была цѣлесообразная дѣятельность, направленная на достиженіе опредѣленныхъ, хотя бы предполагаемыхъ результатовъ; это была, напротивъ, дѣятельность почти инстинктивная, съ результатами случайными, но по ассоціаціи связавшимися съ представлениями о самой дѣятельности,—дѣятельность, скоро вышедшая изъ предѣловъ безсознательности. О значеніи вліятельной личности въ кругу дикарскаго племени мы знаемъ, и нѣтъ основанія предполагать, что такихъ вождей не было уже и у первобытнаго человѣка. А власть вождя основана даже у самыхъ низкихъ дикарей не столько на его физическомъ преобладаніи, сколько на его нервной организаціи, на тонкости его воспріятій дѣйствительности, на его способности внушать другимъ какое-то суевѣрное почтеніе къ себѣ. И именно такой человѣкъ легче всего могъ ассоціировать звуки съ образами и использовать звукъ для выраженія своего сознанія, содержаніе котораго понималось инстинктивно его окружающими. Происхожденіе языка, какъ проблема историкокультурная, совершенно пренебрежено Вундтомъ. Далѣе, много говоря о звукѣ, какъ жестѣ (откуда и это оригинальное названіе: звуковой жестъ—Lautgebärde), Вундтъ совсѣмъ не говоритъ о звукѣ, какъ тонѣ, а между тѣхъ въ инстинктивномъ пониманіи, какъ мы знаемъ, чрезвычайно видная роль принадлежитъ не только жестикуляціи и мимикѣ, но и тону.

Не обративъ вниманія на роль этого послѣдняго въ возникновеніи человѣческой рѣчи, Вундтъ миновалъ рядъ такихъ фактовъ, которые связаны съ этимъ послѣднимъ: *тоны* у глухонѣмыхъ (напр., у Лауры Бриджменъ), тоны въ состояніи полового возбужденія (пѣніе птицы, крики звѣрей) и въ нормальномъ состояніи и т. под. Наконецъ, Вундтъ не отмѣ-

тить съ достаточной силой и того факта, что въ первоначальной, рудиментарной рѣчи не обычныя воспріятія должны были связаться съ звуками, но или *спеціальныя*, или болѣе яркія,—однако, не потрясающія всего нервнаго организма возбужденіями, которыя не могли сосредоточить вниманіе его на процессахъ внутренней жизни. Весьма важныя премущества физическаго строенія человѣка, отмѣченныя Габелентцемъ, также оставлены Вундтомъ безъ вниманія. Такимъ образомъ, признавая важность его указаній на связь жеста съ рѣчью (что согласуется и съ данными Болдуина относительно связи дѣятельности правой руки съ разряженіемъ энергіи въ звукахъ),—я полагаю, однако, что Вундтъ не далъ разрѣшенія проблемы о происхожденіи языка, и что для него просто не существовалъ этотъ вопросъ, какъ историко-культурный. Между тѣмъ миновать эту сторону вопроса не представляется возможнымъ.

Я закончу обзоръ изученія литературы разсматриваемой проблемы изложеніемъ недавно появившагося этюда русскаго ученаго, проф. Д. Н. Кудрявскаго ¹⁾, который въ согласіи съ требованіями современнаго языкознанія (укажу на данное выше изложеніе взглядовъ американца Скотта или Г. Пауля) полагаетъ, что „выяснить условія происхожденія языка мы можемъ только однимъ путемъ: намъ необходимо разсмотрѣть, въ какихъ условіяхъ живетъ и развивается языкъ въ настоящее время, каковы были эти условія въ прошломъ и этими данными освѣтить недоступное исторіи время возникновенія языка. При этомъ мы должны выбирать такія условія существованія доступныхъ нашему наблюденію языковъ, которыя общи всѣмъ языкамъ, которыя, слѣдовательно, могутъ являться также и условіями, необходимыми для возникновенія языка. Разсматривая эти условія, мы замѣчаемъ, что нѣкоторыя изъ нихъ наблюдаются не только у человѣка, но и у другихъ животныхъ. Въ такихъ случаяхъ, мы имѣемъ право предположить, что явленія человѣческаго языка представляютъ высшую ступень развитія тѣхъ зачатковъ, которые мы наблюдаемъ у другихъ животныхъ. Въ такихъ случаяхъ намъ необходимо выяснить, въ какомъ направленіи шло развитіе этихъ зачатковъ, и чѣмъ отличается отъ нихъ достигнутая человѣкомъ высшая ступень“. На этихъ методологическихъ предпосылкахъ построено проф. Кудрявскимъ разрѣшеніе проблемы происхожденія языка: звуковая сторона рѣчи, заключающаяся въ своихъ первоосновахъ въ естественныхъ звукахъ человѣка и животнаго, извѣстная психическая подготовка, принадлежащая человѣку, какъ одному изъ существъ въ общей цѣпи животныхъ организмовъ, спеціально человѣческія способности и общія всѣмъ языкамъ, какъ таковымъ, особенности. Какъ мы видѣли выше на цѣломъ рядѣ примѣровъ, эти частичные вопросы признаются современной наукой наиболѣе настоятельными для разрѣшенія кардинальной проблемы. Проф. Кудрявскій не полагаетъ пропасти между рѣчью животныхъ и че-

¹⁾ О происхожденіи языка. „Русская Мысль“. 1912, июль.

ловѣческой. Онъ констатируетъ, въ чемъ съ нимъ нельзя не согласиться, что сознательная рѣчь человѣка подготовлена уже психической жизнью высшихъ животныхъ. „Хотя у животныхъ инстинктивное пользованіе звуками преобладаетъ надъ сознательнымъ, а у человѣка, наоборотъ, разумное пользованіе имѣетъ перевѣсъ надъ инстинктивнымъ, тѣмъ не менѣе существенной разницы здѣсь нѣтъ: разница только количественная“ (стр. 120).

Особенное значеніе для разрѣшенія вопроса о происхожденіи языка проф. Кудрявскій приписываетъ междометіямъ. „То обстоятельство, что въ языкѣ мы находимъ не только слова, но и междометія, даетъ намъ возможность еще ближе подойти къ рѣшенію вопроса о происхожденіи языка. Дѣйствительно, если мы разсмотримъ разницу между нечленораздѣльнымъ междометіемъ и словомъ, то мы можемъ уяснить себѣ, какія условія необходимы были для созданія членораздѣльнаго человѣческаго языка. Мы имѣемъ полное право смотрѣть на междометія, какъ на ту стадію пользованія звукомъ, которая предшествовала созданію языка, и моментъ возникновенія языка мы можемъ опредѣлить, какъ переходъ отъ междометія къ слову“. Въ другомъ мѣстѣ своей статьи проф. Кудрявскій дополняетъ эту мысль указаніемъ на то, что языкъ „возникаетъ тогда, когда появляется сопоставленіе представленій и соответствующихъ имъ словъ“.

На этомъ я заканчиваю свой обзоръ литературы, посвященной изученію проблемы возникновенія человѣческой рѣчи. Я не разбивалъ этого обзора на изложеніе отдѣльныхъ теорій, потому что онѣ слишкомъ тѣсно переплетаются передъ собой, и каждое изъ явленій этой литературы можетъ быть понято, по моему убѣжденію, только въ хронологической связи съ другими: Штейнталь, будучи въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ послѣдователемъ Гумбольдта, является вмѣстѣ съ тѣмъ представителемъ эпохи, когда въ науку входили уже новые эволюціонные принципы; развитіе взглядовъ Макса Мюллера остается совсѣмъ непонятно внѣ ознакомленія съ теоріями Гейгера и Нуаре и т. п. Въ совокупности своей эта обширная литература выяснила, по моему мнѣнію, всѣ точки зрѣнія, которыя необходимо принять при разрѣшеніи разсматриваемой проблемы, и если я постараюсь въ дальнѣйшемъ изложеніи представить нѣсколько своихъ соображеній по этому вопросу, то все же я полагаю, что при настоящемъ уровнѣ знаній возможно лишь дальнѣйшее слѣдованіе по уже протореннымъ путямъ, и не представляется никакой надобности въ проложеніи совершенно новыхъ. Какъ мнѣ кажется, и теорія звукоподражанія, и теорія междометій, и теорія „сопроводительнаго крика“: всѣ заключаютъ въ себѣ извѣстныя здоровыя зерна, которыя должны быть взрощены наукой.

Не эклектизмъ, но критическое изученіе литературы предмета привело меня къ убѣжденію, что на первыхъ стадіяхъ развитія рѣчи, какъ и въ настоящее время, участвовали въ созданіи словаря всѣ эти процессы.

Никакъ нельзя оставить безъ вниманія и тѣ особенности человѣческаго строенія, которыя давали человѣку возможность свободно дышать при ходьбѣ, свободно пользоваться своими верхними конечностями для всяческаго труда, которыя, далѣе, оставляли его ротъ свободнымъ, такъ какъ онъ не долженъ былъ питаться въ продолженіе цѣлаго дня, какъ жвачное животное. И, наконецъ, человѣкъ долженъ быть принять изслѣдователемъ началъ рѣчи, какъ существо покоее, подвижное, животное, стремящееся къ общенію съ ему подобными.

ГЛАВА XVIII.

Происхожденіе языка. Языкъ и ритмъ.

Первобытнаго, еще не говорящаго человѣка мы должны представлять себѣ существомъ, ушедшимъ уже довольно далеко въ своемъ умственномъ развитіи отъ современныхъ намъ высшихъ животныхъ. Какъ утверждаетъ проф. В. А. Вагнеръ ¹⁾, „въ дѣятельности обезьянъ вообще нѣтъ ни одного момента, который для своего объясненія нуждался бы въ чемъ-нибудь, кромѣ памяти и способности къ ассоціаціямъ по смежности“. Американскій изслѣдователь, Торндайкъ, поставившій извѣстные опыты съ цѣлью проверить способность обезьянъ къ подражанію и изобрѣтенію, полагаетъ, что въ классификаціи умственныхъ способностей обезьяна заняла бы самое высокое мѣсто, но что, тѣмъ не менѣе, высота это ничто по сравненію съ человѣкомъ. Какъ бы мы ни толковали пути, по которымъ шло развитіе „антропонитека“ въ направленіи къ человѣку, все-таки исторію человѣческой культуры намъ приходится начинать съ предположенія того существа, которое стоитъ уже несоизмѣримо выше обезьяны. Безъ языка невозможно ни логическое мышленіе, ни образованіе понятій, но чрезвычайная сила и яркость образовъ, развитая эмоціональная сторона духовной жизни, способность къ ассоціаціямъ образовъ, превосходящая все то, что мы знаемъ по этой части у животныхъ: все это слѣдуетъ предположить уже у первобытнаго человѣка. Такое предположеніе является отчасти необходимой предпосылкой для умозаключеній о дальнѣйшемъ умственномъ развитіи человѣка, отчасти же фактомъ, установленнымъ изученіемъ самыхъ грубыхъ дикарскихъ племенъ. Поэтому, я полагаю, что однимъ изъ наиболѣе прочно установленныхъ положеній въ изученіи началъ человѣческой культуры должно быть выдѣленіе человѣка изъ всего животнаго міра, какъ существа, неизмѣримо выше развитого въ умственномъ отношеніи. вмѣстѣ съ тѣмъ, уже первобытный человѣкъ долженъ быть принять за существо, хотя и не стадное, но во всякомъ случаѣ живущее болѣе или менѣе долгій срокъ парами. Такъ, шимпанзе живутъ, по словамъ Вариньи ²⁾, „маленькими семействами, состоящими изъ отца, ма-

¹⁾ Вл. Вагнеръ. Біологическія основанія сравнительной психологій (Біо-психологія). Томъ II. Инстинктъ и разумъ. 1913, стр. 394—395.

²⁾ H. de Varigny. Histoire et moeurs des animaux. Paris. 1904. I. 20. 28.

тери и дитяти, и питается плодами, нѣжными листочками и сочными корнями. Они не брезгаютъ также яйцами, птицами и мелкими млекопитающими“. Младенцы шимпанзе растутъ медленно, и только по истеченіи четырехъ лѣтъ у нихъ прорѣзываются коренные зубы. Другая человѣкообразная обезьяна, горилла, держится также маленькими семьями, состоящими изъ самца, самки и *нѣсколькихъ дѣтей*, такъ что передъ нами уже сравнительно значительная группа. Подобно шимпанзе, горилла питается по преимуществу растительной пищей, но не брезгаетъ также ни яйцами, ни мясомъ птицъ или млекопитающихъ. Такимъ образомъ, эти данныя позволяютъ, какъ мнѣ кажется, предположить, что и первобытный человѣкъ зналъ семью, и что онъ питался какъ растительной, такъ и животной пищею, что оставляло ему извѣстный досугъ, такъ какъ онъ не былъ принужденъ весь день только собирать плоды и корни или охотиться на птицу и звѣря.

Способность и стремленіе издавать звуки должны были принадлежать первобытному человѣку за долго до того, какъ онъ приобрѣлъ рѣчь. „Сырой матеріалъ“ языка долженъ былъ накопиться ранѣе возникновенія сознательнаго языка. Этотъ матеріалъ заключался въ восклицаніяхъ, вырвавшихся изъ груди человѣка при извѣстномъ возбужденіи (а первобытнаго человѣка намъ слѣдуетъ предположить существомъ весьма эмоціональнымъ), въ пѣніи, которое составляло одно изъ выраженій его полового инстинкта, быть можетъ, также въ пѣніи и въ другое время, при чемъ въ звукахъ его должно было занимать мѣсто и звукоподражаніе. Пѣвучесть первобытнаго языка считалась необходимой принадлежностью его еще учеными 18 вѣка (ср. стр. 401), а Верберъ настаивалъ на преобладаніи въ немъ гласныхъ звуковъ, что соотвѣтствуетъ нашимъ представленіямъ о языкѣ, сначала *тѣшемся* и лишь потомъ превратившемся въ рѣчь.

Звукоподражаніе, а также упражненіе органовъ рѣчи, которое доставляло первобытному человѣку удовольствіе и удовлетвореніе, какъ всякое усиленное упражненіе своихъ органовъ, внесло тотъ матеріалъ, изъ котораго потомъ сложилась человѣческая рѣчь, множество всякихъ звуковъ, и прицелкиваній, и всасываній губами, и подражаній. Такъ младенецъ въ періодъ лепета производитъ своимъ голосомъ много разнообразнѣйшихъ неартикулированныхъ звуковъ. Если не инстинктъ рѣчи, то инстинктъ издаванія тоновъ человѣку слѣдуетъ приписать. Тѣ *собственные* звуки, которые издавала глухонѣмая Лаура Бридженъ, свидѣтельствуютъ о неудержимомъ стремленіи современнаго человѣка не только выражать свои эмоціи въ звукахъ, но и *воспринимать* эти послѣдніе какъ выраженіе эмоцій, *систематизировать* ихъ. Конечно, въ случаѣ Лауры Бридженъ можно говорить о наслѣдственности, но является вопросъ, можетъ ли быть унаслѣдована *приобрѣтенная* видовая особенность, какой

является стремление связывать звуки со значеніями. Однако, даже отбрасывая все то, что было принесено наслѣдственностью или влияніемъ окружающихъ, мы все-таки остаемся передъ фактомъ наличности у глухонѣмой такой способности къ ассоціаціямъ звуковъ съ представленіями, которая была присуща человѣку уже на той стадіи его развитія, когда возникла рѣчь. Въ этомъ смыслѣ можно, пожалуй, сказать, что человѣчеству, какъ таковому, принадлежитъ *инстинктъ* рѣчи, который использовалъ въ качествѣ матеріала всѣ тѣ звуки, какіе вошли въ обиходъ человѣка еще до возникновенія этого бессознательнаго стремленія болтать, т. е. звукоподражанія, восклицанія, неартикулированные звуки, порожденные упражненіемъ органовъ рѣчи при пѣніи и т. под. Это стремление, которое лишь въ условномъ смыслѣ слова можно назвать инстинктивнымъ, должно было принадлежать человѣку, какъ таковому, т. е., можетъ быть, оно было унаслѣдовано человѣкомъ отъ его животныхъ предковъ, но создало *языки* уже человѣчество. Я употребляю здѣсь слово *языки*, а не *языкъ* намѣренно, такъ какъ по моему мнѣнію, общечеловѣческимъ можетъ быть признанъ только языкъ, состоящій изъ словъ—предложеній (sentence-words Есперсена). Выдѣленіе же изъ этого предложенія отдѣльныхъ словъ произошло уже на почвѣ дальнѣйшаго, не общечеловѣческаго развитія. Я никакъ не могу возвести къ одному праязыку все то разнообразіе словообразованія, которое мы наблюдаемъ въ языкахъ дикарей. Дѣйствительно, корневой составъ языковъ австралійцевъ производитъ впечатлѣніе такой же первобытности, какъ и стремленіе сохранить характеръ слова предложенія въ языкахъ сѣвероамериканскихъ индѣйцевъ или негровъ—банту. И это стремленіе по разному выражается въ принципѣ включенія ряда словъ въ одноглагольное образованіе и въ принципѣ соединенія словъ предложенія съ помощью повторенія одной и той же части, т. е. въ языкахъ Америки и Африки. Что здѣсь первобытнѣе? Въ языкахъ корневыхъ, гдѣ одинъ и тотъ же корень въ два-три звука получаетъ рядъ разнообразныхъ значеній, эти послѣднія различаются только по интонаціи, и эта роль интонаціи въ такихъ языкахъ, какъ австралійскіе, нѣкоторые южноамериканскіе и т. под., представляется пережиткомъ древнѣйшихъ отношеній языка. Но только пережиткомъ же слова—предложенія (sentence word) можно объяснить и вышеуказанные типы строенія сѣвероамериканскихъ и африканскихъ языковъ, такъ что первобытность всѣхъ этихъ формъ образованія кажется, относительно говоря, одинаковой: все это результаты развитія первоначально одинаковаго типа языка. Такимъ образомъ, я считалъ бы правильнымъ выставить такое положеніе: *человѣчскій языкъ возникъ въ одномъ мѣстѣ, въ одной группѣ людей, на основаніи инстинкта, присущаго человѣческому существу, но то, что возникло здѣсь, еще не представляло языка въ нашемъ смыслѣ слова.*

Это были только зародыши будущей рѣчи, заключавшіеся въ ритмическихкихъ пѣвучихъ сочетаніяхъ слабо артикулированныхъ звуковъ, сочетаніяхъ, которыя уже связывались съ извѣстными эмоціональными значеніями. Эмоціи соединялись какъ съ этими звуковыми сочетаніями, такъ и съ образами: вѣдь, какъ мы уже видѣли, образамъ почти всегда соответствуетъ извѣстная эмоціональная окраска. Вслѣдствіе этого, звуковыя сочетанія ассоціировались и съ образами, и слово получило свое первоначальное образное значеніе. Эмоціональный характеръ, связывавшійся съ первыми звуковыми сочетаніями, положившими начало *человѣческому языку*, не могъ быть настолько силенъ, чтобы подвергать нервную организацію человѣка чрезвычайной встряскѣ. Панической ужасъ, или охватившій все существо человѣка восторгъ, или порывъ сильной половой страсти должны были, конечно, исторгать изъ его груди восклицанія ужаса или радости, но эти „крики страсти“, какъ называли ихъ французскіе писатели 18 вѣка (ср. стр. 496), не обладали ассоціативной способностью и остались въ силу этого донинѣ на уровнѣ инстинктивныхъ восклицаній. Эмоціи, давшія толчокъ развитію языка, должны были обладать характеромъ обычныхъ переживаній, привычныхъ радостей и печалей. Не эмоціи, вызывавшія крикъ, но эмоціи, сопровождавшія дѣйствія, связанныя вслѣдствіе извѣстныхъ причинъ съ криками или пѣнями, или пѣвучимъ ритмическимъ речитативомъ,—вотъ первоисточникъ *человѣческой рѣчи*.

На это указываетъ, кромѣ вышеприведенныхъ соображеній, роль, какую играетъ въ языкахъ дикарскихъ (т. наз. первобытныхъ) народовъ элементъ интонаціи, мимики, жеста. Я напому, чтобы не повторяться, какое значеніе придавали жесту въ вопросѣ о происхожденіи языка Вундтъ и Скоттъ, которые къ инстинктивной жестикуляціи человѣка возводили и самое начало его языка. Интонація есть выраженіе въ голосѣ внутренняго чувства: вотъ почему тамъ, гдѣ языкъ еще ближе къ своимъ первоосновамъ, чѣмъ у насъ, тонъ не только „дѣлаетъ музыку“, но и создаетъ слово съ опредѣленнымъ значеніемъ. Мимика и жестъ представляютъ до такой степени необходимый элементъ въ рѣчи дикарей, что, какъ мы видѣли выше, по указаніямъ этнографовъ, безъ нихъ становится просто непонятнымъ значеніе фразы. Человѣкъ, не только поющій свою рѣчь, но и сопровождающій ее инстинктивными спутниками эмоціи, мимикой и жестикуляціей: вотъ тотъ образъ, который рисуется мнѣ, какъ носитель первобытнаго языка. Пониманіе тона и жеста предшествуетъ пониманію словъ, и съ другой стороны, при утратѣ словесныхъ образовъ внутренней рѣчи сохраняется способность понимать тонъ, ритмъ, мимику и жестъ. Слѣдовательно, эти средства выраженія предшествуютъ возникновенію языка.

Но особенно важное значеніе слѣдуетъ приписать, по моему мнѣнію, ритму. Въ виду этого я останавлиюсь здѣсь на нѣкоторыхъ данныхъ пси-

хологической литературы о ритмѣ¹⁾. Такъ напр., „ритмъ рѣчи оказываетъ дисциплинирующее вліяніе на дѣятельность изученія. Онъ неумолно толкаетъ впередъ учащаго (стихи или сочетанія слоговъ), такъ какъ всякая неправильность въ произношеніи, всякая невнимательность разрушаетъ тактъ и вызываетъ чувство неудовольствія вслѣдствіе выпадевія изъ даннаго ритма. Вслѣдствіе этого эстетическаго момента нарушенія такта учащійся невольно придерживается такта соразмѣренной работы“ (Мейманъ, цит. Мюллеръ 349—350). При этомъ Мюллеръ отмѣчаетъ, что соразмѣренность работы, создаваемая ритмомъ, является иногда чисто внѣшней,— и это замѣчаніе представляетъ извѣстное значеніе именно при изученіи началъ рѣчи, такъ какъ здѣсь должно быть предположено дѣйствіе безознательнаго внѣшняго ритма. Стремленіе къ ритму лежить въ натурѣ человѣка.

„Если я пытаюсь заучивать рядъ слоговъ, согласныхъ и т. д. *безъ ритма*, въ видѣ сочетаній напр. по двое, при томъ имѣющихъ совершенно одинаковое удареніе,—говоритъ Мюллеръ (358),—то мнѣ приходится употреблять большое вниманіе, чтобы не впасть непроизвольно въ опредѣленный (хореическій или ямбическій) ритмъ. А впадъ въ такой опредѣленный ритмъ, оказывается уже очень трудно отдѣлаться отъ него“. То же самое онъ отмѣчаетъ относительно извѣстной тенденціи ритмически располагать въ своемъ слуховомъ воспріятіи услышанный рядъ звуковыхъ ударовъ (Schallschläge) одинаковаго характера и силы. Это происходитъ въ силу присущаго человѣку стремленія къ „субъективной ритмизаціи“, какъ называетъ эту особенность нашей психики Мюллеръ. Ограничиваясь даже приведенными фактами, мы имѣемъ право приписывать человѣчеству и на самыхъ раннихъ стадіяхъ его развитія инстинктивное влеченіе къ ритму. Его пѣсней могло быть ритмическое повтореніе извѣстныхъ слабоартикулированныхъ звуковыхъ сочетаній. На этомъ, однако, еще не заканчивается гипотетическая часть моихъ взглядовъ на происхожденіе языка. Какъ я отмѣтилъ уже выше, по моему мнѣнію, первобытнаго человѣка мы можемъ представить себѣ существомъ *работающимъ*. Шимпанзе строятъ себѣ гнѣздо, покрытое кровлей и сложенное изъ вѣтокъ; постройка гориллы представляетъ довольно сложное зданіе; орангъ-утангъ возводитъ свое гнѣздо на деревѣ, употребляя для строенія согнутыя имъ вѣтки и т. п.

Конечно, мы имѣемъ здѣсь передъ собою дѣятельность инстинктивную, но у того существа, которое создало человѣчество, необходимо предположить уже переходъ отъ инстинктивной къ полусознательной дѣятельности. Какъ бы велика по своей численности ни была та группа, среди

¹⁾ G. E. Müller. Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit und des Vorstellungsvorlaufes. I Teil. Leipzig. 1911. Zeitschrift für Psychologie. Ergänzungsband 5. Я цитирую здѣсь работу Мюллера и его ссылки на различныхъ авторовъ, не называя этихъ послѣднихъ.

которой онъ жилъ, была ли эта семья или цѣлая колонія, здѣсь должна была господствовать личность вождя, какъ это наблюдается и у обезьянъ. „У многихъ обезьянъ имѣется настоящая социальная жизнь, очень схожая съ режимомъ племени странствующихъ охотниковъ, въ которомъ пребываютъ еще многіе изъ дикихъ народностей“, утверждаетъ Вариньи. Особенно онъ подчеркиваетъ важное значеніе вождя такой группы у высшихъ обезьянъ. Повидимому, человѣкъ никогда не обходился безъ такихъ вождей, при чемъ власть этихъ послѣднихъ, которая первоначально зиждилась только на физическомъ превосходствѣ силъ, потомъ приобрѣтала свою опору и въ большемъ или оригинальномъ умственномъ развитіи вождя. У дикарей „колдунъ“—высшая власть, и съ этимъ фактомъ, наблюдающимся на протяженіи чуть не всей этнологіи дикихъ племенъ, конечно, приходится считаться, какъ съ однимъ изъ важнѣйшихъ пережитковъ глубокой древности человѣческаго рода. Другими словами, представляется возможнымъ предположить наличность какъ извѣстной индивидуализаціи въ первобытномъ обществѣ, такъ и сильной власти въ предѣлахъ первоначальной группы: первая была необходима для того, чтобы возникло творчество, вторая была необходима для того, чтобы результаты этого творчества получили распространеніе.

Такимъ образомъ, то состояніе пра-человѣчества, на которомъ въ извѣстной группѣ возникъ языкъ, и на которомъ *вслѣдствіе этого* началась эволюція отъ человѣковиднаго животнаго къ человѣку,—это состояніе предполагаетъ примитивную социальную группу, власть стоящаго надъ нею вождя, не только самаго сильнаго, но и самаго *умнаго* существа въ этой группѣ, и совмѣстный трудъ, производимый членами группы при участіи или подъ властью ея вождя. Этотъ трудъ долженъ былъ имѣть первоначально характеръ автоматическій,—и не только трудъ, но и веселье: даже танецъ обладаетъ у дикарей такимъ автоматическимъ характеромъ¹⁾. Автоматическія движенія, которыя сопровождаютъ выполненіе различныхъ формъ труда, составляютъ его *ритмъ*. Ритмически приходится грести, подымать молотъ надъ наковальной, двигаться впередъ и назадъ всѣмъ корпусомъ при пилкѣ дерева, при шлифовкѣ камня и т. под. И такой ритмъ работы вызываетъ ритмъ непроизвольныхъ восклицаній, сопровождающихъ усиліе.

Рабочія пѣсни въ своей простѣйшей формѣ представляютъ ритмъ восклицаній, соотвѣтствующій ритму работы. Индѣйцы Сѣверной Америки, гребя веслами, поютъ въ тактъ: ah yah ah yah ah ya ya ya! Китайцы замѣняютъ эти восклицанія слѣдующими: hei-ho, hei-hau, hei-ho, hei-hau и т. д. до безконечности; на островѣ Самоа пѣсню гребцовъ составляютъ соло и хоръ, при чемъ соло поетъ: fo-fa-l, а хоръ подхватываетъ: na-a.

¹⁾ Здѣсь и въ дальнѣйшемъ ссылки на знаменитое изслѣдованіе Бюхера: K. Bücher. Arbeit und Rhythmus. 3 Auflage. 1902.

gi-le fo-l; здѣсь же записана другая пѣсня слѣдующаго содержанія: *solo tu-te tu-ma-i le fou aue! хоръ: tu-te-na-lo-fia-oe!* Наконецъ, матросы феллахти, гребя на нильскихъ судахъ, поютъ: *ala om-my Be-da-wy* и т. д. Безмысленныя слова, очевидно, не играютъ здѣсь большой роли; ихъ значеніе отступаетъ на задній планъ передъ мелодіей, передъ ритмомъ пѣсни. Но это наблюдается не всегда: къ ритму примѣняются иногда слова, которыя даютъ ближайшее опредѣленіе дѣйствию. Гребцы на Нилѣ поютъ приведенную пѣсню, но они знаютъ и другія. Такъ, плывя по теченію, они поютъ слѣдующее: *Solo. He...! il Faium baladae ia-rum... Coro. He, He, il Faium baladae* и т. под., и эти слова уже имѣютъ значеніе: „Эй, Фаюмъ есть страна, о греки!“ Образцы того же рода мы находимъ и въ русскихъ пѣсняхъ: „Эй ухнемъ, эй ухнемъ! Еще разикъ, еще да разъ!“ Или при подъемѣ тяжестей: „Ой-разъ! Еще разъ! Ой разъ! Еще да разъ!“ Иногда пѣсня описываетъ производимое дѣйствіе, сохраняя своей мелодіей ритмъ описываемой дѣятельности. При выдергиваніи льна поется: „Ужь я сѣяла, сѣяла ленъ!“ Подобныхъ примѣровъ изъ различныхъ языковъ Бюхеръ приводитъ множество; они позволяютъ, по моему мнѣнію, представить эволюцію пѣсни отъ нечленораздѣльныхъ сочетаній слабо артикулированныхъ звуковъ, которыя своимъ ритмомъ передаютъ ритмъ работы, къ тѣмъ пѣснямъ, которыя, также соблюдая ритмъ работы, даютъ ея описаніе въ словахъ.

Нуаре и за нимъ Максъ Мюллеръ представляли дѣло такъ, что усиліе, связанное съ работой, вызвало восклицаніе, и что это послѣднее сдѣлалось наименованіемъ самаго дѣйствія, первичнымъ глагольнымъ корнемъ. Я внесъ бы въ это пониманіе поправку, основанную на данныхъ книги Бюхера: усиліе при ритмической работѣ вызвало ритмическій же рядъ восклицаній, который ассоціировался съ чувствомъ, вызываемымъ этой работой, и съ представленіями ея, такъ что, въ концѣ концовъ, совокупность образовъ, связанныхъ съ работой, связалась въ индивидуальномъ сознаніи съ совокупностью извѣстныхъ звуковыхъ (слуховыхъ и двигательныхъ) образовъ. Первая, такимъ образомъ, превратилась въ значеніе послѣдней. Вліяніемъ отдѣльной личности, которая господствовала надъ другими съ той силой внушенія, какая присуща первобытнымъ обществамъ, слѣдуетъ объяснить распространеніе этой связи звуковъ съ дѣйствіями и предметами и въ цѣлой группѣ лицъ. Каждое изъ этихъ послѣднихъ могло связывать съ звуковымъ сочетаніемъ свой образъ предмета и свое чувство, но связь между звуками и вещами была установлена, и такъ возникъ первоначальный языкъ, для котораго матеріалъ уже былъ подготовленъ еще безмысленнымъ пѣніемъ, еще ничего незначившими артикуляціями звуковъ. Пока господствовалъ хоръ, пока всѣ вмѣстѣ сопровождали одну дѣятельность одними и тѣми же звуками, до тѣхъ поръ изъ предѣловъ безсознательности эти звуки не могли выйти. Лишь тогда, когда изъ хора

выдѣлилось индивидуальное произношеніе, *solo*, оно вызвало вниманіе къ звуковому сочетанію. За этимъ *solo* вождя послѣдовалъ и хоръ, какъ и до сихъ поръ въ рабочихъ пѣсняхъ видная роль принадлежитъ запѣвалѣ. Повидимому, къ такому индивидуальному говоренію человѣкъ имѣлъ склонность уже отъ природы. Вышеприведенное свидѣтельство Мартіуса о южно-американскихъ индѣйцахъ, которые до прихода вождя и до начала засѣданія предаются монологамъ, не обращая никакого вниманія на сосѣдей, это свидѣтельство обнаруживаетъ склонность первобытнаго человѣка пѣть для самого себя свою пѣсню. Стремленіе людей, находящихся въ особыхъ ненормальныхъ условіяхъ (ср. то, что изложено выше о созданіи языка въ истеріи), говорить *по своему*, такъ же возвращаетъ насъ къ первобытному индивидуальному говоренію, какъ и школьные или искусственные языки, обнаруживающіе тенденцію человѣчества къ выдѣленію *своего* изъ массы общепринятаго. Но это было именно такое же „говореніе“, какое мы наблюдаемъ въ лепетѣ младенца, которому, повидимому, пріятно лепетать, и который, сердясь и волнуясь, тоже, но иначе лепечетъ.

Такимъ образомъ, еще до возникновенія рѣчи, люди „говорили“, т. е. болтали, пѣли про себя, для себя, безсознательно изливая свои чувства къ неартикулированныхъ пѣсняхъ, въ ритмическихъ повтореніяхъ одного и того же звукового сочетанія, въ прищелкиваніяхъ языкомъ, въ звукоподражаніи и т. д. Возникновеніе *рѣчи* заключалось вовсе не въ томъ, что звукъ связался съ чувствомъ: эта связь могла быть установлена въ каждомъ данномъ случаѣ индивидуальнымъ сознаніемъ еще задолго до созданія человѣческаго языка.

Болтая, первобытный человѣкъ уже могъ испытывать удовлетвореніе отъ производимыхъ имъ звуковъ, онъ уже могъ чувствовать, что такое-то звуковое сочетаніе особенно нравится ему, какъ бы соотвѣтствуетъ испытываемому имъ состоянію. Конечно, такое сознаніе было въ крайней степени смутно и очень непрочно: оно едва намѣчало связь между чувствомъ и его моментальнымъ выраженіемъ. Но этотъ процессъ все-таки уже создавалъ индивидуальныя *значенія*, минутныя, темно-сознаваемые, сначала только ощущаемыя, какъ удовлетвореніе. Рѣчь человѣка началась не съ нихъ, не съ этихъ рудиментарныхъ индивидуальныхъ „языковъ“. Она началась съ того момента, когда одному лицу удалось внушить свое *значеніе* звукового сочетанія другому лицу или цѣлой группѣ. Лишь тогда языкъ возникъ, какъ социальное явленіе, какъ орудіе пониманія.

Этотъ процессъ созданія языка связанъ, какъ уже указано *сейчасъ*, съ ритмомъ работы. Но не только съ нимъ. Какими бы путями и при какихъ бы обстоятельствахъ ни совершалось внушеніе *значеній* окружающимъ, все это создавало языкъ. И ритмъ работы, и восклицаніе радости, и звукоподражаніе, переданные однимъ лицомъ другимъ, становились зародышами языка, его первыми *словами*. Возникновеніе языка подготовлено

длительнымъ процессомъ психическаго развитія расы, но оно восходитъ не къ незамѣтному постепенному усвоенію средствъ взаимнаго пониманія, а къ моментальному *изобрѣтенію*. Пути всякаго изобрѣтенія готовятся медленно и незамѣтно, и вмѣстѣ съ Вундтомъ можно сказать, что нельзя найти его начала. Но на этой линіи подготовительнаго процесса все-таки есть точка, на которой процессъ завершается открытіемъ или изобрѣтеніемъ. Такъ, кто-то открылъ способъ добывать огонь, кто-то первый воспользовался орудіемъ. Точно также кто-то первый *изобрѣлъ* языкъ, т. е. свои *значенія* укрѣпилъ въ своемъ сознаніи болѣе, чѣмъ другіе, и сумѣлъ внушить другимъ *полусознательное* пониманіе и воспроизведеніе ихъ. Конечно, и у него связь звуковаго сочетанія со значеніемъ не была прочна, но въ какихъ-нибудь единичныхъ случаяхъ она укрѣпилась и почему-либо стала *нужна* другимъ, какъ стало нужно разведеніе огня, пользованіе камнемъ или вѣткой въ качествѣ орудія.

Какое же значеніе могло имѣть это первобытное слово—предложеніе, то длинное звуковое сочетаніе, то отдѣльный звукъ? Обозначало ли оно предметъ или дѣйствіе, глаголь или имя существительное? На эти вопросы я далъ бы слѣдующій отвѣтъ: совокупность представленій, связанныхъ съ чувствомъ, была первымъ значеніемъ тѣхъ звуковыхъ сочетаній, которыя должны были удовлетворить это чувство. И потому именно передъ нами не глаголь, не имя, но по своему значенію цѣлое предложеніе. Лишь съ разложеніемъ этого послѣдняго на части,—разложеніемъ, которое должно было выдѣлить отдѣльныя представленія изъ ихъ первоначальной совокупности, могли обособиться представленія о вещахъ и дѣйствіяхъ. Языкъ начинается съ *синтеза*, который не знаетъ ни именъ, ни глаголовъ.

Проф. А. Л. Погудинъ.

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	Строка.	Напечатано.	Слѣдуетъ читать.
11	15 снизу	спасти	снести
42	1 сверху	лиліи	линии
48	16 "	идушей	идущій
55	7 "	aux associativem	auf associativem
73	17 "	больно	больной
77	7 "	dé doublement	dédoublement
77	12 "	извѣстно	извѣстное
77	17 снизу	не огразиться	отразиться
80	3 "	транскортикальной	транскортикальной
107	22 "	кенечно	конечно
112	18 сверху	Тагформа	Та форма
114	1 "	производимой	производимое
117	19 снизу	второй	средній
119	16 "	соблюдающій	соблюдающихъ
128	6 "	проходитъ	приходитъ
187	2 сверху	взрослые	зрячіе
195	17 снизу	гласный	
195	11 "	посвящено	посвященной
195	15 "	конечнаго	предиослѣдняго
210	2 "	inferievres	inferieures
217	4 "	тактическая	фактическая
220	2 "	Австріи	Австрали
227	3 сверху	глаголь	глаголы
232	14 снизу	понять	понятія
252	9 сверху	агглютиціею	агглютинаціею
281	16 "	атторитетомъ	авторитетомъ
329	5 "	ă ххо	ă лло
338	15 "	увоззрѣнія	умоззрѣнія
355	21 снизу	rescipia	recus
369	1 сверху	ς	ρ
418	15 снизу	рѣчи	роли
424	3 "	сознаніемъ	созданіемъ
443	19 "	по пробовать	попробовалъ
455	4 и 9 снизу	мѣстоименія	междометія
460	20 "	ласкательное	угрожающее
542	4 "	генерическую	генетическую
552	3 сверху	феллахти	феллахи

Указатель понятій.

Абстрація въ мышленіи—334; роль слова въ процессѣ абстракціи.—335.
Агглютинація.—219.
Артикуляція въ дѣтскомъ языкѣ—194, у глухонѣмыхъ—100, въ языкахъ дикарей: австралійцевъ—218, въ меланезійскихъ языкахъ—227, у южно-африканскихъ дикарей—239, у жителей Судана—252.
Ассоціація представлений—319; ассоціація у ребенка—170, у животного—23; роль ассоціацій въ созданіи языка—515, 518.
Атавизмъ. Атавистическія черты въ развитіи ребенка—150.
Афазія—50. Виды ея: моторная (двигательная)—50; сенсорная (чувствительная)—53; амнестическая—57, 60; оптическая—61.
Аффектъ. Аффективный характеръ душевной жизни ребенка—160. Аффективный характеръ первобытнаго языка—402, 458.
Вербигерация—67.
Вниманіе у ребенка—167, у слабоумныхъ—86.
Воляпюкъ (см. искусственные языки).
Жестъ. Языкъ жестовъ и звуковой языкъ—541; языкъ жестовъ у глухонѣмыхъ—98; жестикуляція у дикарей—247.
Идо (см. искусственные языки).
Инстинктъ у животныхъ—9.
Истерія—76.
Культура. Характеръ культуры современныхъ дикарей.—215. Культура дикарей австралійскаго материка—218, 220; культура дикарей островной Океаніи—221; культура южно-африканскихъ народовъ—238; культура американскихъ дикарей—258, 272.
Междометіе, какъ выраженіе рефлекторнаго акта—517; междометія-слова—517.
Метафора—350.
Метонимія—350.
Мимика. Ея инстинктивный характеръ—122; мимика и слово—125.
Мистицизмъ—126.
Музыка. Внутренняя музыкальная рѣчь (музыкальное мышленіе)—45. Музыкальные мозговые центры—46. Музыкальность первобытной рѣчи—528.
Мутизмъ (ослабленіе и исчезновеніе способности рѣчи) у истеричекъ—79.
Мышленіе. Безъ-образное мышленіе—321, образное мышленіе—349.
Мысль и языкъ—482, 539.
Номинализмъ—философское ученіе средневѣковья—382.
Образъ—308. Образъ въ мышленіи—316. Образъ и слово—311; образы синтетическіе—309, конкретные и абстрактные—313, 334. Роль зрительныхъ образовъ у глухонѣмыхъ—96; двигательные образы въ психикѣ глухонѣмого—98. Слуховые и осязательные образы у слѣплого—100.
Память у ребенка—166, у дикарей—236.
Парафазія—67.
Познаніе. Мистическое познаніе—126.
Пониманіе въ процессѣ рѣчи—343.
Понятіе—337, 338. Понятія аналитическія и синтетическія—336.
Поэзія—349. Основные приемы поэтическаго мышленія—349.
Представленіе—340.
Психика ребенка—147, глухонѣмого—93, слѣплого—100, моторнаго афатика—50, сенсорнаго афатика—54, истериковъ—77, душевно-ненормальныхъ людей—81, животнаго—8.
Реализмъ—средневѣковое философское ученіе—378.
Рефлексъ въ жизни ребенка—151. Рефлекторное восклицаніе, какъ начало рѣчи—455.

Ритмъ. Роль ритма въ психикѣ человека—520. Ритмъ въ языкѣ дикарей—258; чувство ритма у слѣпыхъ—102; склонность къ ритму у психически больныхъ людей—81, 84.
Рѣчь. Внутренняя рѣчь (мышленіе словами)—30; типы внутренней рѣчи: слуховой (аудитивный)—34, двигательный (моторный)—35, зрительный (визуальный)—38. Половые эмоции и рѣчь—514, 530. Пониманіе въ рѣчи—343. Возникновеніе рѣчи у ребенка—177. Рѣчь у глухонѣмого—100; рѣчь въ состояніяхъ экстаза—125, 136. Разстройство рѣчи у душевно-больныхъ 68, 78.
Синекдоха—349.
Слово—значеніе слова для говорящаго—345. Характеръ словъ первобытнаго языка—346, 361, 509. Развитіе значеній словъ—355; суженіе значеній словъ—358; расширеніе значеній словъ—358.
Сновидѣніе—136; аффективный характеръ сновидѣній—136. Роль внутренней рѣчи въ сновидѣніи—144.
Сознаніе. Состояніе сознанія во снѣ—138. Самосознаніе у ребенка—211. Состояніе сознанія у душевно больныхъ—84; раздвоеніе сознанія у истеричекъ—77.
Сужденіе—340.
Творчество. Языкъ—какъ творчество (energeia)—437. Самостоятельное творчество ребенка въ области языка—200; творчество въ области языка въ патологическихъ случаяхъ (у истеричекъ)—69.
Чувство. Органы чувствъ у новорожденнаго—151. Чувство въ жизни ребенка—160, 164. Чувство и мимика—122. Роль чувства въ установленіи связи между звукомъ и значеніемъ—457.
Экстазъ—125.
Эпитетъ—349.
Эсперанто (см. искусственные языки).
Эхолопія—67.
Языкъ. Вліяніе личности на созданіе языка—224, 235, 243, 282, 543, 552. Языкъ жестовъ—114, взаимоотношенія его со словомъ—121. Предложеніе-слово въ языкѣ—243, 263, 280, 494. Происхожденіе языка—546. Гипотеза о до-языковой дѣятельности человека—491. Первобытный языкъ, какъ спутникъ труда человека—477. Соціальный элементъ въ возникновеніи языка—473, 476, 505. Роль звукоподражанія въ созданіи языка—456, 465, 467, 534. Эмоціальный характеръ первобытнаго языка—400, 549. Первоначальные корни словъ языка—523. Возникновеніе языка ребенка—177; стадіи его (языка) развитія—183. Вліяніе среды на развитіе дѣтскаго языка—185. Языкъ ребенка, какъ языкъ аффектовъ—205. Грамматическія категоріи въ дѣтской рѣчи—206. Особенности языка у некультурныхъ народовъ—278; музыкальный элементъ въ языкѣ дикарей—258, 280; характеръ грамматическихъ категорій въ языкахъ дикарей—225, 234, 239. Языки современныхъ некультурныхъ народовъ: австралійцевъ—218, дикарей островной Океаніи—223; малайскіе языки—229; языки дикарей центральной Африки—251; языки южноафриканскихъ народовъ—239; языки американскихъ дикарей—260, 275. Искусственные языки (воляпюкъ, эсперанто и проч.)—289. Исторія взглядовъ на происхожденіе языка: воззрѣнія древне-греческихъ философовъ (Гераклитъ—366, Демокритъ—367, Платонъ—368, Аристотель—369, Эпикуръ—371), стоиковъ—372, Августина—373, Л. Кара—375. Средневѣковые мыслители о происхожденіи языка: Эригенъ—378, Ансельмъ Кентерберійскій—380, Абеляръ—384, Фома Аквинскій—389. Взгляды на происхожденіе языка въ новѣйшее время: Лейбницъ—393, Руссо—395, французская философія 18 вѣка—403, Гердеръ—416, Гаманнъ—426; взгляды психологической школы: Гумбольдтъ—436, Штейнталь—457, Лапсарусъ—454; воззрѣнія эволюціонистовъ (Дарвинъ и проч.)—459; антропологическая школа—465, 470; Гейгеръ—481, Нуаре—487, Максъ Мюллеръ—487, 490, Герберъ—498, Пауль—514, Естерсенъ—527, Вундтъ—538.

Указатель именъ.

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Абелярь 384. | Верберъ 592. | Дурнякъ 496. |
| Абель 520. | Вестермаркъ 287. | Дюгасъ 160. |
| Августинъ 372. | Впльямсъ 233. | Есперсая 527. |
| Аделунгъ 434. | Вирховъ 151. | Жане 77. |
| Альбертъ Великій 387. | Владимирскій 95. | Заборовскій 513. |
| Альтумъ 16. | Вольфъ 63. | Заменгофъ 299. |
| Амента 187. | Вундтъ 119, 182, 354, | Зульперъ 435. |
| Апри 531. | 538. | Инженерось 45. |
| Ансельмъ-Кентерберій-
скій 380. | Вюльнеръ 442. | Иерусалемъ 340. |
| Аристотель 368. | Габеленцъ 226, 523. | Юдль 337. |
| Аствацатуровъ 55. | Гальтонъ 39, 282. | Карткаузъ 228. |
| Бабинскій 76. | Гаманъ 426. | Каръ (Лукрецій) 375. |
| Байрънъ 217, 230. | Гаррисъ 394. | Кейръ 175. |
| Балле 36. | Гейгеръ 481. | Келеръ 384. |
| Банкрофтъ 278. | Гейзе 447. | Кидтъ 235. |
| Бенфей 365. | Гейзеръ 338. | Киппманъ 24. |
| Бернхеймъ 47, 52. | Гексли 464. | Клапаредъ 149. |
| Бетсъ 315. | Геллеръ 101. | Клеве 245. |
| Бехтеревъ 53, 56. | Георговъ 184, 207. | Клейнпауль 526. |
| Бизе 327. | Гераклитъ 366. | Компейре 176, 180. |
| Бине 320. | Герберъ 498. | Кондильякъ 404. |
| Бине и Симонъ 77, 317. | Гердеръ 416, 428. | Коноваловъ 133. |
| Блеръ 414. | Гернесъ 471. | Корсаковъ 68. |
| Бликъ 497. | Гисвейнъ 525. | Крейбигъ 337. |
| Блохъ 194. | Голль 148. | Крушевскій 353. |
| Бодуанъ - де - Куртепе
303. | Гольдштейнъ 48. | Сгучетъ 158. |
| Болдуинъ 37. | Гриммъ (Яковъ) 443. | Кудрявскій 544. |
| Бонне 93. | Гумбольдтъ В. 276, 436. | Курти 521. |
| Брайсъ 238. | Гутцманъ 189. | Кусмауль 54, 59, 153. |
| Бреаль 356. | Hugenin 280. | Кутюра 307. |
| Брейзигъ 272. | Даджъ 36. | Кутюра и Лео 303. |
| Бринкманъ 328. | Дарвинъ 123, 459. | Лацарусъ 454. |
| Броссъ (де) 408. | Де-Броссъ 408. | Леббокъ 465. |
| Бюттнеръ 250. | Дежерандо 411. | Левн-Брюль 281, 288. |
| Вагнеръ 9. | Декартъ 290. | Лейбницъ 393. |
| Ватсонъ 27. | Деляфоссъ 251. | Леметръ 41. |
| | Демокритъ 366. | Ломброзо 171. |
| | Дорошевичъ 289. | Максимовъ 290. |

- | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Маллери 114. | Прейеръ 152, 167. | Фрейденбергеръ 533. |
| Марбе 341. | Равицъ 179. | Фреундъ 61. |
| Мари 48. | Ратцель 217, 244. | Фритчъ 285. |
| Марти 509. | Ренанъ 452. | Фробениусъ 290. |
| Мартинокъ 343. | Реньо 521. | Хаджерти 28. |
| Мартіусъ 284. | Ресежакъ 128. | Хакеръ 140. |
| Мейманъ 167, 170. | Рогозинскій 250. | Хейльброннеръ 54. |
| Мензератъ 319. | Росцеллинъ 381. | Хутнеръ 247. |
| Миклухо-Маклай 225. | Русло 382. | Цобель 425. |
| Моро 32. | Руссо 177, 395. | Шарко 32. |
| Муръ 334. | Скоттъ 535. | Швейнфуртъ 252. |
| Мэтьюсъ 219. | Смигъ Адамъ 413. | Шиннъ 156. |
| Мюллеръ Г. 550. | Тайландье 379. | Шлейеръ 295. |
| Мюллеръ Максъ 477. | Твардовскій 337. | Шлейхеръ 461. |
| Мюллеръ Фр. 217, | Тейлоръ 470. | Штейнень 216, 258. |
| 513. | Тетенсъ 433. | Штейнталь 366. |
| Нуаре 487. | Тидеманъ 430. | Штеррингъ 63. |
| Нюрнопъ 328. | Торндайкъ 21. | Штрикеръ 35. |
| Овсянко - Куликовскій | Уиджвудъ 469. | Штумфъ 201. |
| 318, 345, 352. | Уитней 504. | Шуртцъ 473. |
| Пауль 325, 514. | Уоллесъ 464. | Эбннгаузъ 347. |
| Пельобъ 324. | Ферраръ 466. | Эджеръ 33. |
| Пере 165. | Фетерманъ 221. | Эпикуръ 371. |
| Плато 11. | Филиппъ Ж. 308. | Эренрейхъ 234. |
| Платонъ 368. | Фиркандтъ 282. | Эригенъ 378. |
| Потебня 13, 345. | Фихте 450. | Оома Аквинскій 389. |
| Поуэаль 272. | Фрейдъ 137. | |

Оглавление.

	Стр.
Глава I. Объемъ задачи и методы рѣшенія ея	3
Глава II. Особенности духовнаго склада въ мѣрѣ животныхъ	8
Глава III. Внутренняя рѣчь	29
Глава IV. Афазія и другія расстройства рѣчи	49
Глава V. Расстройства рѣчи при истеріи, слабоуміи и душевныхъ болѣзняхъ	68
Глава VI. Формы внутренней рѣчи у глухонѣмыхъ и ихъ духовная жизнь	91
Глава VII. Мимика и жестъ	113
Глава VIII. Роль языка въ состояніяхъ экстаза и въ словидѣніяхъ	125
Глава IX. Психологія дѣтскаго возраста и рѣчь дѣтей	146
Глава X. Языки некультурныхъ народовъ	213
Глава XI. Искусственные языки	289
Глава XII. Образъ и слово. Развитие значенія слова. Слова безъ образа. Понятія. Сужденія	308
Глава XIII. Взгляды греческихъ и римскихъ философовъ и грамматиковъ на происхожденіе языка	364
Глава XIV. Взгляды на происхожденіе языка и сущность названій въ средніе вѣка	375
Глава XV. Лейбницъ и Гаррисъ. Руссо и французская философія 18 вѣка. Гердеръ и Гаманнъ. Гумбольдтъ. Гриммъ. Гейзе	393
Глава XVI. Дальнѣйшее развитіе ученій о происхожденіи языка (въ 19-мъ и началѣ 20-го столѣтія)	451
Глава XVII. Происхожденіе языка. Языкъ и ритмъ	546

Т. II, а). Вопросы теоріи и психологіи творчества.

Т. 2, выпускъ I.

(Опытъ популяризаціи „исторической поэтики“ А. Н. Веселовскаго).

	Стр.
К. Тиандеръ. Синкретизмъ и дифференціація поэтическихъ видовъ	1—46
Отъ Софокла до Ибсена	47—104
Народно-эпическое творчество и поэтъ-художникъ	105—174
Морфологія романа	175—256
Ө. Карташевъ. Лирическая поэзія, ея происхожденіе и развитіе	257—336

Цѣна 1 р. 25 к.

Т. II, б). Вопросы теоріи и психологіи творчества

Т. 2, выпускъ 2.

В. Харціевъ. Основы поэтики Потебни	1—98
Б. Лезинъ. Психологія поэтическаго и прозаическаго мышленія	99—137
А. Г. Горнфельдъ. Будущее искусства	138—181
Д. Н. Овсянко-Куликовскій. Лирика—какъ особый видъ творчества	182—228

Цѣна 1 руб.

Т. III. Очеркъ исторіи театра въ западной Европѣ и Россіи.

I. Народныя игры. Мистерія. Моралитѣ. Фарсъ. Фастнахтшпиль. Гуманистическая драма. Comedia dell'arte. Испанскій театръ. Шекспировскій театръ. La Comédie française. Классическій театръ въ Германіи. Театръ XX вѣка. II. Театръ въ Россіи. Школьная драма. Театръ при Алексѣѣ Михайловичѣ и Петрѣ Великомъ. Ложно-классическій театръ. Бытовой театръ (Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Островскій, Ал. Толстой, Л. Толстой). Театръ настроенія (Чеховъ, Горькій, Андреевъ).

К. Ө. Тиандеръ.

Цѣна 1 руб. 50 коп.

Сборникъ „Вопросы теоріи и психологіи творчества“ Учен. Ком. Нар. Просв. признанъ заслужив. вниманія при пополненіи ученическихъ библиотекъ сред. учебн. зав.; Главн. Управл. Военно-учебныхъ заведеній—рекомендованъ въ фундаментальныя библиотеки Кадетскихъ Корпусовъ.

Вопросы теории и психологии творчества.

Т. V. (Печатается и къ янв. 1914 г. выйдетъ изъ печати).

Статьи г.г.: **Е. Аничкова, А. Горнфельда, Г. Зиммеля** („сущность философіи“, переводъ, съ разрѣш. автора, Т. Райнова). **Е. Кагарова, И. Лапшина, Н. Лернера, А. А. Потební** (статьи о Л. Н. Толстомъ и Ф. М. Достоевскомъ), **А. Покровскаго, Т. Райнова, К. Тиандера, С. Франна, В. Харциева, П. Энгельмейера и Б. Лезина.**

Т. VI. (Выйдетъ изъ печати въ январѣ 1914 г.).

„Къ исторіи литературныхъ направленій въ Западной Европѣ XVII—XIX в.в.“ **Ив. Ив. Гливенко.**

СОДЕРЖАНИЕ: I. Введение. II. **Классицизмъ.** Происхожденіе. Сословный и отвлеченный характеръ классицизма. Его реализмъ. III. **Сентиментализмъ.** Происхожденіе. Вліянія общественныя и философскія. Мѣщанство сентиментализма. IV. **Романтизмъ.** Условія возникновенія. Психологія романтика. Разнообразныя проявленія сущности романтизма. V. **Реализмъ.** Основныя положенія реализма. Общественность и обыденность реализма. Его отношеніе къ другимъ направленіямъ. VI. **Неоромантизмъ. Декаденство. Импрессионизмъ. Символизмъ.**

Редакторъ сборника **Б. А. Лезинъ.**

Издатель 2-го тома **А. С. Суворинъ.**

Издатель I, III, IV, V и VI т.—**Б. А. Лезинъ.**

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ КНИГЪ въ книжныхъ магазинахъ „**Новаго Времени**“ (**ХАРЬКОВЪ, Петербургъ, Москва, Одесса, Ростовъ н/д., Саратовъ.**)